ВИКТОР
КОЛУПАЕВ

КАЧЕЛИ ОТШЕЛЬНИКА

КАЧЕЛИ ОТШЕЛЬНИКА

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

ВИКТОР
КОЛУПАЕВ

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

ВИКТОР

КОЛУПАЕВ

КАЧЕЛИ ОТШЕЛЬНИКА

АСТ издательство ЕРМАК
Москва
2003

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6
К60

Серия основана в 2001 году

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Художник М.Н. Калинкин

Подписано в печать 28.07.2003. Формат 84x108 1/32
Усл. печ. л. 45,36. Тираж 5 000 экз. Заказ № 3274

Колупаев В.Д.

К60 Качели отшельника: Сб. / В.Д. Колупаев. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. — 859, [5] с. — (Классика отечественной фантастики).

ISBN 5-17-019613-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-9577-0271-4 (ЗАО НПП «Ермак»)

Виктор Дмитриевич Колупаев (1936—1999) — автор поистине удивительный. Удивителен его творческий путь: спустя всего год после первой публикации («Билет в детство», 1969) он становится *профессиональным* писателем — явление, неординарное для советской литературы вообще, а уж для *фантастики* — тем более.

Удивительно его творчество — абсолютное большинство произведений Колупаева представляют собой «странную городскую прозу» или же — лиричную фэнтези. Жанры, мягко говоря, *нетипичные* для советской фантастической литературы.

В книгу, которую вы держите в руках, вошли повести и рассказы, демонстрирующие все МНОГООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ писателя. Как это всегда бывает с НАСТОЯЩИМИ вещами — их нельзя оценить однозначно. Кто-то восхитится отточенным стилем автора, кому-то придется по вкусу захватывающий сюжет, кого-то охватит лиричная грусть... Можно гарантировать лишь одно — отсутствие разочарования.

Найдите СВОЙ текст в этой книге.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6

© В.Д. Колупаев, наследники, 2003
© ООО «Издательство АСТ», 2003

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

С 2000 года в отечественной фантастике вручается премия «Малая Урания». Ее лауреатами становятся произведения, «продолжающие гуманистические традиции русской фантастики». Номинационной комиссии и жюри при выборе лучших произведений было рекомендовано ориентироваться в понимании термина «гуманистический» на рассказы и повести томского писателя Виктора Дмитриевича Колупаева. В июне 2001 года Виктора Дмитриевича не стало. Ныне премия «Малая Урания» носит его имя.

Колупаев родился 19 сентября 1936 года в поселке Незаметном (ныне город Алдан) Якутской АССР. Окончил школу в Красноярске и поступил в Томский политехнический институт. С того времени и до последних дней он жил в этом старинном сибирском городе, который под различными вымышленными именами (Усть-Манск, Марград, Фомск) впоследствии стал одним из героев произведений автора. Писать фантастику Колупаев начал еще в детстве, но первый рассказ опубликовал лишь в 1966 году, в тридцатилетнем возрасте. Из этой крошечной новеллы, напечатанной в томской газете «Молодой ленинец», много позже выросла большая повесть «Фирменный поезд «Фомич». Ну а первая книжка — «Случится же с человеком такое» — вышла в Москве в 1972 году.

С тех пор сборники Колупаева появлялись с завидной регулярностью, что для писателя, работающего в основном в жанре рассказа и короткой повести, достаточно большая редкость. Многим любителям фантастики хорошо запомнились такие замечательные книги, как «Качели Отшельника» (1974), «Билет в детство» (1977), «Фирменный поезд «Фомич»» (1979), «Зачем жил человек?» (1982), «Поющий лес» (1984), «Седьмая модель» (1985), «Весна света» (1986), «Волевое усилие» (1991), «Толстяк» над миром» (1992), «Пространство и время для фантаста» (1994). Повесть «Качели Отшельника» трижды переиздавалась в ГДР, а также выходила в США. Кроме того, рассказы писателя печатались в Чехословакии, Швеции, Японии, ФРГ, Польше и других странах. Тонкие, лиричные и одновременно строго научные произведения томского фантаста завоевали заслуженную любовь как читателей,

так и собратьев по перу: в 1988 году Виктор Дмитриевич Колупаев был удостоен «Аэлиты», самой знаменитой нашей премии в области фантастики. В последние годы жизни писатель отошел от «короткой формы» и писал романы. Откровенно некоммерческие, сложные для обыденного восприятия, они до сих пор не нашли издателя, впрочем, как и фундаментальная научная работа о проблемах Пространства и Времени.

Вообще, Пространство и Время — одна из базовых тем творчества писателя. В своих текстах он парадоксально сочетал размышления о глобальных материях с поэтичным бытописанием человеческой жизни. Вот как сам фантаст рассуждал о своем творчестве: «Я жил, работал, размышлял. Тайна пространства и Времени так и оставалась тайной. И тогда я начал писать фантастические рассказы. В общем-то, почти все мои рассказы — о Пространстве и Времени, и еще о Человеке. Главным, что дала мне фантастика, было какое-то раскрепощение сознания...»

В настоящий сборник мы постарались включить самые известные повести и почти все рассказы Виктора Дмитриевича. Все они — очень разные, непохожие друг на друга. Фантаст касается всевозможных тем, работает в различных поджанрах — от космических приключений и перемещений во времени до лирических зарисовок и притч. Наиболее характеризует творчество писателя повесть в двенадцати новеллах «Жизнь как год» — Колупаев писал ее несколько лет и считал одним из главных трудов своей жизни.

Мы надеемся, что читатели постарше с удовольствием вспомнят замечательные рассказы и повести томского писателя, а молодое поколение познакомится с одним из ярчайших представителей «третьей волны» отечественной фантастики.

Дмитрий Байкалов, Андрей Синицын

КАЧЕЛИ ОТШЕЛЬНИКА

1 «Фиалка», грузопассажирская ракета, обычно ждала трансзвездный лайнер за орбитой пятой планеты системы Севана. И на этот раз все было как обычно. Транслайнер «Варшава» материализовался в точно установленном месте, опередив график выхода в трехмерное пространство на одну минуту. Капитан «Варшавы» тотчас же послал в эфир свои координаты. Но «Фиалка» с помощью радаров уже засекла появление лайнера и, набирая скорость, мчалась к нему.

В командирском отсеке «Фиалки» царило оживление. Не так часто корабли Земли появлялись в окрестностях Севана. Теперь будут новые приборы, оборудование, которого всегда не хватает физикам, биологам, археологам и инженерам Отшельника. Будут новые статьи, новая информация. Будут часы, проведенные в обществе людей, совсем недавно ходивших по Земле.

События этих нескольких часов будут неделями рассказываться там, на Отшельнике. Экипаж «Фиалки» с трудом будет отбиваться от приглашения на чашку кофе в каждый коттедж Центральной станции. На каждой из двадцати баз вдруг срочно для проведения непредвиденных работ потребуется кто-нибудь из экипажа корабля. А их всего трое. Командир «Фиалки» — Свен Томсон. Его помощник — специалист по кибернетическим устройствам Николай Трайков. И связист — Генри Вирт.

Глядя на вырастающий на глазах шар «Варшавы», Свен Томсон потряс огромными кулаками и сказал:

— Когда вижу его, хочется убежать на Землю. На Отшельнике это проходит. А здесь с трудом сдерживаю себя, чтобы не написать рапорт.

— «Его зовет и манит Полярная звезда», — тонким дискантом пропел Николай Трайков. — Никуда ты с Отшельника не сбежишь. А Анитта...

— Ни слова дальше, Ник, — загремел Свен.

— Молчу, молчу, молчу. Только не надо подавать рапорт.

— Я забыл на Отшельнике голубую светящуюся рубашку, — испуганно произнес Генри. — Оза снова все перепутала.

— Что ты?! — гробовым голосом сказал Николай. — Это же катастрофа!

— Тебе шутки, а я говорю серьезно. В кают-компании все будут в светящихся рубашках, а я...

— Возьми мою, — предложил Свен.

— Твою? — удивленно переспросил Генри, уставившись на широкоплечую высокую фигуру командира. — Но ведь мне нужна не ночная сорочка.

— Как хочешь, — спокойно сказал Томсон и вдруг крикнул: — Осталось три минуты! Долой этикет, тем более что мы его никогда не соблюдали...

— Привет отшельникам! — прозвучал из динамиков голос командира «Варшавы». — Как дела с цивилизацией? Что-нибудь получается?

— Отлично! — крикнул в ответ Томсон. — Ничего нельзя в ней понять. А все ли готово в кают-компании? Чем удивит нас шеф-повар?

— Экипаж «Фиалки»! — раздался громкий голос. — Приготовиться к всасыванию.

— Готовы, — ответил Томсон.

— Даю отсчет. Десять, девять... ноль.

Громадный борт транслайнера заслонил весь обзорный экран «Фиалки», приблизился вплотную и в следующее мгновение, раздвинув металлокерамические плиты, втянул ракету внутрь. Плиты сомкнулись. «Фиалка» лежала на специальной платформе в грузовом отсеке транслайнера.

Пространство вокруг ракеты осветилось яркими огнями. К платформе бежали люди, казавшиеся муравьями в этом огромном зале. Массивные фигуры киберпогрузчиков пришли в движение.

Томсон нажал клавишу. Сейчас двадцатиметровые створки «Фиалки» разойдутся в стороны и киберпогрузчики начнут загружать емкое брюхо ракеты.

— Разрешаю выход, — раздалось из динамиков.

Все трое, обгоняя друг друга, кинулись к подъемнику и через минуту уже стояли на платформе, жмурясь от яркого света.

— Ну как у вас дела на Земле?

Отшельники даже не воспользовались трапом. С двухметровой высоты платформы они, не раздумывая, бросились вниз, в дружеские объятия людей, только что прибывших с Земли.

Какое имело значение, что эти люди никогда ранее не видели друг друга!

Вопросы, сложные, простые, нелепые, высказанные с тревогой, с любопытством, с юмором, сыпались со всех сторон.

— У вас сейчас зима?

— Зима.

— Почему зима? У нас лето.

— А-а-а. Понятно. И зима и лето сразу. Здорово!

Смех. Оглушительные похлопывания по спине. Рукопожатия.

— Сколько микронакопителей привезли?

— Узнаешь, когда будешь подписывать ведомость.

— Пятьсот килограммов писем. Полтора миллиона приветов.

Они вышли из грузового отсека «Варшавы», говоря сразу о тысячах различных вещей, понимая друг друга с полуслова.

В огромный подъемник лайнера все сразу не поместились. Поднимались группами. Ярко освещенные туннели уходили куда-то далеко вперед. В них можно было различить фигуры людей и киберов. Люди приветственно поднимали руки, хотя вряд ли они видели, кто находился в подъемнике. Они просто знали, кто сейчас проплывал вверх мимо них. Киберы не обращали ни на кого внимания. У них не было времени размышлять над происходящим, у них было задание.

Бесконечный, казалось, подъем наконец кончился. Вирт, Томсон и Трайков ступили на движущуюся ленту широкой улицы из пружинящего под ногами голубоватого пластика. Через каждые сто метров встречались переходы и ответвления в светящиеся огромные коридоры. Высокие залы были заняты странными конструкциями, состоящими из разноцветных шаров, конусов, параболических перекрытий, висячих мостиков, цилиндров, металлических скелетов. И везде отшельников встречали приветственными взмахами рук.

Это была огромная лаборатория, целый научно-исследовательский институт. «Варшава» не только снабжала исследовательские планеты необходимым оборудованием, продуктами, специалистами, предметами быта и строительными материалами. Около тысячи научных работников занимались исследованием четырехмерного пространства.

«Варшава» обходила за три земных месяца двадцать исследовательских планет. Затем цикл повторялся снова.

В кают-компании уже собралось человек двадцать. Томсон с серьезным видом обсуждал с командиром транслайнера Антоном Вересаевым проблемы выведения новых сортов кактусов в условиях четырехмерного пространства. Николай Трайков, собрав вокруг себя большую половину людей, закатывал глаза и, делая страшные жесты, рассказывал о хищниках Отшельника. Генри Вирт, заикаясь, беседовал с двумя девушками.

Потом Вересаев представил экипажу «Фиалки» Эрли Козалеса, журналиста-физика. Эрли должен был лететь на «Фиалке».

На обед было подано столько разнообразных кушаний, что ими вполне можно было бы в течение недели кормить всех научных сотрудников Отшельника.

После обеда пошли в концертный зал, затем смотрели хронику и еще несколько часов ходили из каюты в каюту, набираясь впечатлений.

И снова они катились мимо бесчисленных переходов, поворотов, туннелей, залов, прощаясь с «Варшавой». Грузовые люки «Фиалки» были уже задраены. Все, что предназначалось Отшельнику, было погружено. Киберпогрузчики медленной неуклюжей походкой удалялись в свои ангары. Последние слова прощания, последние рукопожатия.

Эрли сел в кресло в командирской рубке. Генри Вирт проверил радиосвязь. Николай Трайков — все кибернетические системы корабля. И тогда Томсон сказал в микрофон одно-единственное слово:

— Готовы!

Казалось, неведомая сила вытолкнула «Фиалку» из транслайнера. Двухкилометровый шар медленно уменьшался в размерах.

— Счастливой плазмы!

— Счастливого суперперехода!

«Фиалка» удалилась от «Варшавы» на несколько десятков тысяч километров, и обзорный экран осветила неяркая голубоватая вспышка. Это транслайнер ушел в четырехмерное пространство.

2

Для экипажа «Фиалки» семидневный путь на Отшельник должен был пролететь незаметно. Все системы корабля работали отлично, и трое космолетчиков зачитывались книгами, журналами и микрогазетами, расположившись в небольшой библиотеке и отрываясь от чтения только для принятия пищи, сна и проверки функционирования систем корабля.

Эрли летел на Отшельник за материалами для книги об этой странной планете. Чтобы не терять зря времени, он изучал последний отчет экспедиции. Отчет был написан лаконично, в нем излагались только факты. Чувствовалось, что у руководителей экспедиции нет даже гипотезы, объясняющей хоть часть, хоть одну сторону загадки Отшельника.

Отшельник был открыт восемь лет назад. На нем не было смен времен года. Влажный жаркий климат в приэкваториальных зонах постепенно сменялся сухим. Но даже на полюсах днем температура не падала ниже пятнадцати градусов тепла. На Отшельнике были вечное лето и вечная весна. На тысячи километров к югу и северу от экватора тянулась сельва, зловещая и мрачная. Человеческий разум был бессилен перед ней. Животный мир сельвы омерзителен и однообразен. Безмозглые твари, напоминавшие покрытые зловонной слизью мешки, прыгающие, ползающие, занятые только одним — пожиранием себе подобных, но меньших по размерам.

В этот серо-зеленый копошащийся мир человек не мог ступить, предварительно не уничтожив его. Первый космический корабль долго кружил над Отшельником, выбирая место для посадки и запуская разведывательные ракеты. Всюду было одно и то же. И тогда командир принял решение выжечь огнем планетарных дюз корабля пятачок диаметром в километр. Корабль приземлился. Разведчики вышли из него. Через час остатки группы вернулись на корабль, а через два недавно выжженный пятачок ничем не отличался от остальной сельвы, лишь только стрела корабля, направленная в зенит, нарушала мрачное однообразие пейзажа.

Корабль взлетел и направился к Земле. Командир был твердо убежден, что вновь открытая планета непригодна для жизни, разве что после полного уничтожения сельвы. Но быстрота, с которой сельва завоевывала отнятое человеком пространство, ужасала. И все же на Отшельник — кто-то успел назвать эту дикую планету Отшельником — была послана вторая экспедиция. Она проводила исследования с воздуха на винтолетах. О наличии разумной жизни на Отшельнике нечего было и мечтать. Здесь не было не то что млекопитающих, но даже рептилий.

На пятый день пребывания на Отшельнике экспедиция обнаружила посреди сельвы пятно коричневого цвета. Винто-

лет с тремя людьми опустился ниже и обнаружил несколько полусферических зданий с переходами между ними и белыми цилиндрами двадцатиметровой высоты. Это открытие было столь неожиданным, что вызвало бурю восторга у членов экспедиции. Но войти в эти здания люди не могли. Они даже не могли приблизиться к ним, потому что группу построек прикрывала полусфера силового поля, сдерживавшего напор сельвы. За кусочком неизвестной цивилизации было установлено круглосуточное наблюдение. Но там все было мертво.

Через день на экваторе была открыта Центральная, так ее сразу назвали. Она занимала площадь радиусом в десять километров. Огромное здание, стоявшее в середине, тоже было пусто.

Вскоре обнаружили еще девятнадцать небольших пятачков, отвоеванных кем-то у сельвы, застроенных странными зданиями и тщательно охраняемых невидимыми сторожами — силовыми полями. Двадцать пятачков, оставленных неведомой цивилизацией, были названы просто базами. Они растянулись кольцом по периметру Отшельника через каждые две тысячи километров. Их было всего двадцать и еще Центральная. И больше никаких признаков цивилизации. Ни городов, ни дорог, ни ракетодромов. Планета была пуста.

Третьей экспедиции удалось раскрыть секрет выключателя силовых полей, и после этого началось систематическое исследование планеты и работа по разгадке ее тайны.

Грузовые лайнеры в течение четырех месяцев перебрасывали на Отшельник оборудование, винтолеты, вездеходы, приборы, целые научные лаборатории, здания, пищу, мебель, людей. Экспедиция была прекрасно оснащена. В ней насчитывалось двести четырнадцать человек: археологов, зоологов, ботаников, физиков, техников, инженеров. Неизвестно, что произошло на Отшельнике, поэтому разгадка могла быть найдена представителями любой науки. Ну а если говорить правильнее, то усилиями всех наук, всей экспедиции.

Экспедицию возглавлял Конрад Стаковский, у которого Эрли учился. Когда Эрли увлекся журналистикой, Стаковский был раздосадован: уходил любимый ученик. Но Эрли не бросил физику совсем и стал журналистом, пишущим по вопросам науки. И сейчас он летел на Отшельник по приглашению старого учителя. Конрад не объяснил причину своего выбора, и Эрли терялся в догадках. Получить приглашение работать на Отшельнике было бы лестным для любого журналиста, Эрли это знал и был польщен. Но было еще одно обстоятельство... На Отшельнике в группе археологов работала его бывшая жена — Лэй. Уж не пришло ли в голову Стаковскому примирить двух людей, которых он хорошо знал. И об этом думал Эрли, но гнал от себя такие мысли.

Мечтая о встречах с Лэй, Эрли сам делал их невозможными. Но теперь они должны встретиться. Двести пятнадцать человек на одной планете — не очень густо. Не встретиться просто невозможно.

Эрли оборвал поток мыслей, бросил на стол копию отчета о работе на Отшельнике. Какая уж тут работа, экспедиция тыкалась в проблемы и загадки, как слепой котенок в глухую стену. Зоологи и ботаники делали некоторые успехи, но что за цивилизация была здесь? Куда она исчезла? Что означают эти циклопические постройки на Центральной? Для чего нужны были базы, расположенные на равных расстояниях друг от друга?

Эрли вышел из библиотеки и пошел по ярко освещенному коридору, намереваясь заглянуть в отсек управления и побеседовать с командиром «Фиалки». Николай Трайков лежал в кресле в библиотеке и на все вопросы Эрли только строил кислые гримасы и иногда односложно отвечал: «Позже. Да узнаешь ты все. Успеешь».

А Свен говорил:

— Полнейшая неразбериха. Топчемся на одном месте. «Фиалка» патрулирует пространство около Отшельника. Словно ждем, что к нам кто-то явится в гости.

— Не в гости, а домой, — поправлял его Генри. — Это мы гости, да еще незваные. — И тут же круто менял тему разговора:— Скажи, Эрли, какие новые имена придумали на Земле? У меня будет дочка, обязательно дочка. Оза хочет назвать ее Сеоной. А я не знаю, не решил еще.

А через некоторое время, как только Эрли начинал что-нибудь спрашивать, повторялся тот же разговор. Генри не мог ни о чем говорить, кроме Озы и дочери.

Прошло уже два дня как «Фиалка» рассталась с «Варшавой». Это означало, что при хорошем стечении обстоятельств они могут связаться по радио с Центральной.

3

Эрли сделал несколько шагов по коридору и увидел идущего ему навстречу Генри. Тот был явно расстроен и, поравнявшись с Эрли, недовольно бросил:

— Лентяи.

— Что-нибудь случилось? — спросил Эрли, не понимая, о чем идет речь.

— Не хотят раньше графика связаться с нами по радио. Не поверю, что Оза ничего не хочет сказать мне. Лентяи, и точка. Когда патрулируешь пространство, это бывает. Но ведь мы идем после встречи с «Варшавой»! Они же там сейчас минуты считают.

— Когда должна быть связь?

— Через два часа. Какая им разница. Меня трясет от злости. Видишь? — Эрли кивнул, хотя вид у радиста был вполне нормальный. — Два часа буду лежать и не подойду к передатчику. Не подойду, и все!

Это было сказано с такой убедительностью, что Эрли невольно подумал: Генри не выдержит и пяти минут. Вирт кинулся в библиотеку, а Эрли пошел мимо кают в командирскую рубку. Свен был занят какими-то вычислениями. Продолжая нажимать на клавиши математической машины, он молча кивнул Эрли, как бы приглашая его сесть в кресло. Тот сел и уставился в обзорный экран, но, сколько он ни смотрел, найти Отшельник на фоне ярких звезд не смог.

Эрли, по-видимому, задремал, так как вдруг услышал шум голосов.

Генри сидел за передатчиком, повернув голову к командиру. На лице его было страдальческое выражение. Он сказал:

— Связи нет.

— Что там у тебя произошло? — спросил Свен и, оставив свою машину, подошел к радисту.

Эрли подумал, что все это время он надеялся, не признаваясь себе, что Лэй, может быть, захочет с ним поговорить. Он вышел из рубки, боясь, что его чувства слишком заметны для посторонних.

Через два часа двери библиотеки открылись, и на пороге появились командир «Фиалки» и радист. Генри был бледен, Свен неестественно спокоен. Он сказал:

— Отшельник не отвечает. Там что-то произошло.

Трайков оторвался от чтения и сказал:

— Что там могло произойти? Прохождение радиоволн...

— С прохождением все нормально. Маяк космодрома прослушивается нормально. Но маяк — автомат.

У Эрли захлестнуло сердце.

— Что будем делать? — спросил Николай.

— Через десять минут все должны быть готовы. Будем идти с тройными перегрузками или даже... — тут Свен с сомнением посмотрел на Эрли: выдержит ли? — Будем идти на пределе, даже если кто-нибудь потеряет сознание.

Трайков включил своих кибернетических помощников, и через несколько минут все в корабле было приведено в аварийный режим.

Все четверо легли в амортизирующие кресла в командирской рубке. У троих были свои особые обязанности, которые нужно выполнять в условиях перегрузок. И только у Эрли не было никаких обязанностей.

Свен включил аварийные двигатели. «Фиалка» рванулась вперед, людей вдавило в кресла. Еще несколько минут они пытались разговаривать, обсуждая, что могло произойти с людьми на Отшельнике. Испортился передатчик? Но за это время его сто раз могли отремонтировать. Прорвалась сельва? Это было маловероятным, но возможным. Других объяснений просто не приходило в голову.

— Это могла быть только сельва, — сказал Свен.

— С баз оказали бы им помощь, — не то возразил, не то поддержал его Генри.

— Они могли эвакуироваться с Центральной на какую-нибудь базу, — предположил Эрли.

— Нет, — едва разжимая рот, сказал Николай. — Сельва — это ерунда. Что-то другое...

Непомерная тяжесть налила тела. Стоило больших усилий, чтобы пошевелить пальцем или удержать подбородок. Челюсть все время отвисала. Под глазами появились мешки. Особенно плохо приходилось Эрли.

Последней его мыслью было: «Что за люди эти космолетчики?!» Он потерял сознание.

Эрли очнулся через восемь часов, когда на короткое время наступило блаженное состояние невесомости. С кресла встал только Николай Трайков, чтобы влить в рот обессилевшему журналисту несколько глотков горячего бульона.

— Что со мной? — прошептал Эрли.

— Ты был без сознания. Но так лучше. Так ты сумеешь перенести это. Все будет хорошо.

Остальным было не до еды и воды. А затем началось торможение. Еще восемь часов с тройными перегрузками.

На протяжении всего полета связь с Отшельником установить так и не удалось.

Когда перегрузки кончились, Отшельник в обзорном экране был похож на огромный арбуз, занимающий четверть экрана.

Центральная располагалась на самом экваторе. «Фиалка» приближалась к ней со стороны северного полушария, затянутого полупрозрачной дымкой. Эта дымка, казалось, состояла из искусственных радужных колец, параллельных широтам Отшельника. До поверхности оставалось около двух тысяч километров, до базы — около четырех тысяч. И вдруг началось что-то странное. Первым это заметил Свен, чувствовавший малейшее движение своего корабля. Нос «Фиалки» начал медленно подниматься вверх. И сразу же начались перегрузки, корабль резко тормозил. Он не подчинялся воле человека. «Фиалка» словно вдавливалась в мягкую, пористую резину, словно сжимала гигантскую пружину.

Все произошло так быстро, так внезапно, что никто из людей не успел ничего сделать. Никто, даже Свен, не успел вмешаться. На высоте около полутора тысяч километров корабль повис, ничем не поддерживаемый, потому что двигатели были выключены. Повис на мгновение, а затем начал падать, но не вертикально вниз, а куда-то вбок, градусов под сорок пять к поверхности Отшельника. Это было беспорядочное кувыркание, словно «Фиалка» катилась с горы.

Свен все-таки выбрал момент и включил двигатели ракеты. «Фиалка» свечой рванулась вверх и, пройдя километров сто, стала замедлять движение.

С людьми ничего страшного не произошло, даже Эрли не потерял сознания.

— С чем нам удалось так мило столкнуться? — зарычал Свен.

— Мы ни с чем не столкнулись, — уверенно заявил Николай. — На такой высоте над Отшельником не может быть ничего.

— Метеор? — неопределенно вставил Генри.

— Нет. В системе Севана почти нет метеорных потоков.

— Почти — это значит все-таки есть.

— У «Фиалки» нет внешних повреждений, — сказал Николай. — Я проверил. Киберискатели повреждений нигде не обнаружили.

— Надо садиться, — сказал все время молчавший Эрли. — С «Фиалкой» разберемся позже.

— Черт возьми! — вырвалось у Генри, и он отвернулся. — Я не могу поверить, что с ними что-то случилось.

Свен повел корабль на юг к экватору и, только когда он повис над Центральной на высоте полутора тысяч километров, медленно, очень медленно начал опускать корабль. По его приказу никто не выключал круговых амортизаторов.

Связи с Центральной по-прежнему не было. Генри Вирт обшарил весь диапазон частот, применявшихся для местной связи на Отшельнике, но эфир молчал.

Корабль опускался. Двухсотметровая сигара медленно вибрировала. До поверхности оставалось пятьсот, километров, триста, сто... Пятно Центральной было уже видно невооруженным глазом. Пятьдесят... Двадцать... Десять... Три... Стали видны отдельные детали построек Центральной. Километр... Двести метров... На такой высоте хорошо было бы видно людей... Чуть Заметно вздрогнул корпус корабля. Из «Фиалки» выдвинулись амортизаторы, и корабль лег горизонтально.

Космодром был пуст, «Фиалку» никто не встречал.

4

— Сели, — глухо сказал Свен. — Что дальше?

Ему никто не ответил. Эрли прикоснулся к одной из чуть выступающих из подлокотника цветных кнопок. Круговые амортизаторы разошлись в стороны, и кресло мягко опустилось. Эрли встал. В голове у него что-то шумело, сдавливая болью виски. Тошнота подступала к горлу. Неуклюже, на несгибающихся, ватных ногах, не оглядываясь на Свена, пошел он к двери отсека управления, за ним — Генри Вирт.

— Николай! — крикнул Свен. — Всем надеть скафандры и взять бластеры...

— Бластеры! — чертыхнулся Трайков. — Здесь же все пусто. Зачем нам бластеры?

— Этого я не знаю. Кто-нибудь знает, что здесь произошло? — ответил Свен. — Все равно. Подъемник я заблокировал. Возьмем, сначала пробы воздуха. — Через минуту он сообщил: — Состав воздуха обычный. Выйдем все вместе. Ничего не предпринимать и не делать глупостей. Словом, мы не знаем, что здесь произошло, и поэтому должны быть осторожны.

Генри Вирт и Николай Трайков первыми выскочили из командирской рубки. Эрли понимал, что ему не следует проявлять инициативы. Они хоть знают, что здесь было раньше, а он и этого не представляет.

Размытые пятна светильников проносились мимо. Пол под ногами глухо пружинил. Свен заскочил в камеру, где хра-

нилось оружие. Но им так давно никто не пользовался, что, порывшись несколько секунд, Свен выскочил обратно в коридор, так ничего и не взяв с собой.

Первым спрыгнул на плиты космодрома Генри и бегом кинулся вперед. В километре от «Фиалки» виднелся купол Центральной станции с вычурными пристройками, пандусами, переходами, вышками и ажурными башнями. Все это переливалось разноцветными красками, отражая радужные блики во все стороны и отчетливо выделяясь на фоне голубого неба. От купола Центральной на север и на юг протянулись огромные цилиндры накопителей энергии. Еще дальше угадывались силуэты складов, ангаров, подсобных помещений и коттеджей. Ярко-зеленые пятна парков были раскиданы направо и налево, а дальше — черная издали полоса сельвы Отшельника, растянувшаяся по всему горизонту.

«Внешне здесь ничего не изменилось», — подумал Свен, догоняя Эрли. Генри и Николай уже значительно обогнали их.

— Нужна рабочая гипотеза, — сказал Эрли, тяжело дыша.

— Знаю... У Генри совсем сдали нервы.

— Может быть, возвратились те, кто строил Центральную?

— Именно сейчас. Ни столетием позже, ни столетием раньше? Впрочем, возможно и это. Только что тогда делать?

Обычно к «Фиалке» подходили вездеходы, до отказа набитые хохочущими и орущими физиками, технарями, ботаниками, математиками и биологами. Возвращение грузового корабля всегда было праздником для всех.

А тут мертвая тишина. Никаких признаков присутствия людей.

Пара вездеходов и сейчас стояла около Центральной, а третий с раскрытыми люками находился на полпути от корабля до станции. Генри пробежал мимо него. Николай задержался, вскарабкался на башню и прыгнул внутрь вездехода. Включил освещение. Засветилась доска управления. Трайков мельком, очень быстро, осмотрел приборы и ручки управления. Все было в порядке. Запасы энергии максимальные. Заглянул в жилой отсек, там никого не было.

— Интересно, зачем им понадобились вездеходы? — крикнул Свен, заглядывая в люк.

— Они собирались куда-то ехать?

— Непонятно, куда они могли ехать на них. Скорость маленькая. До базы на них не доберешься... Для этого есть вертолеты.

Эрли тоже вскарабкался на башню вездехода. Николай нажал стартер, мотор взревел, и машина рванулась вперед.

— Давай руку! — крикнул Эрли, когда они нагнали Генри.

Входная дверь Центральной оказалась открытой настежь. Генри одним движением взлетел на гранитные ступени.

— Сельва тут ни при чем! — крикнул Свен. — Сельва не прорвалась. — Генри кивнул, как бы говоря: «Понимаю, вижу». — Ты куда?

— К биологам.

— Подожди Ника и Эрли.

— Я посмотрю, что в секторе Озы! — крикнул Генри, останавливаясь в дверях.

— Возьми с собой Ника!

— Хорошо!

Вирт и Трайков скрылись в коридоре, ведущем во внешнее кольцо Центральной станции. Громкий стук ботинок затих за поворотом. Свен жестом пригласил Эрли следовать за собой. Они поднялись на эскалаторе на самый верх Центральной, туда, где находился штаб экспедиции, научная резиденция Конрада Стаковского и его помощников — Эзры и Юмма. Дверь помещения оказалась запертой. Свен и Эрли несколько раз попытались открыть ее, но дверь не поддавалась.

— Людей нет. Сельва не прорвалась. Никаких следов катастрофы, — сказал Эрли. — Почему могли уйти люди?

— Люди могли улететь на базы, как часто бывает. Но здесь все равно кто-нибудь должен остаться. Человек пять. А к прилету «Фиалки» они все собираются здесь. На базах защита от сельвы значительно слабее. Но все двадцать сразу?.. Что бы ни было, а проникнуть в штаб нам надо обязательно. Там кто-то дежурит постоянно. Там должен быть дневник экспедиции. Мы хоть что-нибудь узнаем.

Они немного помолчали, потом Свен сказал:

— Я сбегаю за чем-нибудь тяжелым. — Он помчался вниз, перепрыгивая через три ступеньки.

Эрли медленно пошел по кольцевому коридору. С одной стороны возвышалась стена помещения штаба, или, как его еще назвали, главного пульта экспедиции. Другая сторона — купол Центральной станции — была прозрачная. Прозрачным был и потолок коридора. Коридор был небольшим, метров пятьдесят в диаметре. Эрли несколько раз обошел его, собираясь с мыслями. Свен задерживался слишком долго. Это насто-

рожило Эрли. Что еще могло случиться? Наконец он не вытерпел и бегом пустился по эскалатору вниз.

— Свен! Свен!

Никто не ответил. Эрли пробежал по коридору третьего кольца несколько десятков метров и снова крикнул. И снова ему никто не ответил. Эрли бросился к подземному переходу во второе кольцо, где были хозяйственные помещения. Он понимал, что может заблудиться в этом лабиринте коридоров, переходов и эскалаторов, но и стоять на месте он тоже не мог. Налево тянулась цепочка светильников, направо была темнота. Эрли машинально бросился на свет и тут же сообразил, что светильники включил Свен. Значит, он шел здесь.

Светящаяся линия вдруг свернула в сторону, противоположную подсобным помещениям, и через десяток метров оборвалась у эскалатора № 5 третьего кольца. Эрли поднялся наверх и очутился метрах в двухстах от того места, где он начал свое путешествие.

— Свен! — закричал Эрли.

— Здесь я, — ответил голос совсем рядом, и за ближайшим поворотом Эрли увидел Свена, прижавшего ухо к двери.

— Что случилось?

— Там кто-то плачет.

— Что-о-о? — радостно и удивленно сказал Эрли.

— Тише, тише, — зашептал Свен. — Слушай.

Эрли на цыпочках подошел поближе. За матовой перегородкой комнаты действительно кто-то плакал. Эрли потихоньку надавил на ручку двери. И эта дверь была заперта.

— Я услышал еще внизу и поднялся, — сказал Свен. — Кто-то плачет и не открывает дверь. Придется выломать? Что нам еще остается делать?

— Подожди! — Эрли постучал в дверь кулаком.

Плач внезапно прекратился.

— Откройте!

— Не-э-э-эт! Не-э-эт! — голос был хриплый, срывающийся, жалкий.

— Ломай! — крикнул Эрли. Свен надавил на дверь плечом. Дверь поддалась не сразу.

— Не надо! Не надо! — Это уже был голос затравленного, перепуганного насмерть человека.

Дверь с грохотом упала на пол. Свен и Эрли влетели в комнату.

— Эрли, это же Эва! — крикнул Свен.

— Эва?!

— Нет. Я не знаю вас. Я не знаю вас, — чуть слышно шептали губы девушки. Она медленно пятилась среди столов. Зацепила рукой какой-то прибор, и он с грохотом упал на пол. Девушка прилипла к стене, словно стараясь втиснуть в нее свое тело.

— Эва, это я — Свен. Командир «Фиалки». Что с тобой? — Свен медленно подходил к девушке, вытянув вперед руки.

— Нет. Это невозможно.

— Успокойся, Эва. Успокойся.

— Нет... нет...

Свен дотронулся до плеча девушки. Она смотрела на него испуганными глазами затравленного зверька. Свен тряхнул ее.

— Что произошло?

— Свен. Ну, конечно, Свен,— вдруг сказала она тихо. — Это ты... как здесь страшно.

— Эва!

— Молчи, Свен... — Она прижалась к его широкой груди лицом.

— Где Стаковский? Где все остальные? — пытаясь оторвать ее от себя, спрашивал Свен.

Тело девушки вдруг обмякло, и Свен едва удержал ее.

— Эрли, она потеряла сознание. Нужно унести ее. Ты знаешь, где ее коттедж?

Эрли пожал плечами, потом нагнулся к девушке:

— Она спит.

— Первая линия, номер семь. Тебе помочь?

— Я найду. — Эрли осторожно взял девушку на руки и вышел из комнаты.

Свен сел за ближайший стол и набрал на диске внутренней связи код вызова Генри Вирта. Вирт не ответил. Тогда Свен вызвал Трайкова.

— Я слушаю, — сразу же ответил тот.

— Почему не отвечает Вирт?

— Он сидит в лаборатории Озы. Не тревожь его несколько минут. Он надеется что-нибудь найти. Записку от Озы или еще что...

— Хорошо. Не буду. Ник, мы встретили здесь Эву!

— Как... Эву... Разве здесь кто-нибудь есть?

— Пока только одна она.

— Эва! — радостно произнес Трайков. — Она что-нибудь сказала?

— Нет. Она без сознания. Приходите немедленно в ее коттедж. Знаете, где он?

— Конечно, знаю.

— Приходите скорее.

— Идем.

5

Эрли бережно вынес девушку на крыльцо Центральной. Севан стоял почти в зените, и только сейчас Эрли заметил, как здесь было жарко. Аллеи коттеджей находились метрах в трехстах от главного подъезда, и, чтобы сократить расстояние, Эрли пошел прямо по траве. Знакомая, земная трава мягко шелестела под ногами, ветви деревьев цеплялись за лицо и одежду. Их прикосновение было удивительно нежным и приятным. Эрли поймал себя на том, что он не думает о происшедшей здесь катастрофе, что он забыл о Лэй, забыл обо всем, кроме одного — неловким движением не потревожить бы сон девушки.

Эрли очнулся, и ему сразу же стало плохо. Время! Сколько времени прошло с тех пор, как они сели на Отшельник? Минут тридцать. А еще ничего не известно. Что с Лэй? Что произошло со всеми? Вся надежда на Эву и на то, что должно быть в главном штабе экспедиции. Должны быть какие-то записи... Должны быть!

Он пристально посмотрел в лицо Эве. Что она перенесла здесь? Эрли сразу же нашел коттедж, пинком распахнул дверь. Прошел одну комнату, другую. Где спальня? Черт бы побрал архитекторов! Здесь и заблудиться недолго. Наконец он увидел широкий низкий диван и положил на него девушку. Она спала. Сердце билось равномерно, дыхание было глубокое и спокойное. Эрли выглянул в окно.

Николай Трайков, спрыгнув с крыльца Центральной, бежал к коттеджу. Свен и Генри шли медленно. Они несколько раз останавливались. Видно было, что Томсон что-то говорит Вирту. Тот только отрицательно качал головой.

— Что с ней? — спросил Николай.

— Спит, — односложно ответил Эрли.

— Неужели она ничего не сказала?

— Сказала: «Как здесь страшно».

— Что это могло означать?

— Или то, что случилось со всеми, или то, что пережила она, или то и другое вместе. Нужно ввести ей стимулятор НД. У нас нет времени. Надо, чтобы она очнулась... Уснет позже.

— Хорошо, — ответил Николай и вышел в ванную комнату, где обычно хранились всякие лекарства.

В комнату вошли Свен и Генри.

— Генри просит дать ему винтолет, — с порога сказал Свен.

— Я только долечу до Озы и вернусь обратно. Это же всего четыре часа, — торопливо заговорил Генри. — Все равно на базы придется лететь. А Оза на самой ближней. Дайте мне винтолет.

— Но ведь ты даже не умеешь водить его, — сказал Свен и отвернулся. Трудно было вынести молящий взгляд Генри.

— Это не так уж и сложно.

— Нет, Генри, нет. Нас только пятеро. И прошло уже тридцать пять минут, как мы здесь, а мы еще ничего не знаем! Ничего! Понимаешь? — И он тихо добавил: — Потерпи немного. Сейчас проснется Эва.

Генри подскочил к Свену и схватил его за «молнию» куртки.

— По какому праву ты здесь командуешь?! Здесь не «Фиалка». Ты кто? Стаковский? Здесь по два винтолета на каждого! Можете заниматься чем хотите, а я полечу к Озе. Потому что мне обязательно нужно знать, что с ней случилось. Мне нужно это знать сейчас, понимаешь? Я не буду ждать, пока вы тут разберетесь!

— Ну что ж, — тихо сказал Свен. — Пусть решают все.

Вошел Николай, держа в вытянутой руке шприц. Он протер Эве руку выше локтя ваткой, смоченной в спирте, и сделал укол. Генри вдруг молча сел в кресло, закрыл глаза, откинулся на спинку и стал медленно раскачиваться вместе с креслом, вцепившись руками в подлокотники.

Эва открыла глаза, недоверчиво осмотрела комнату и едва слышно прошептала:

— Мальчики...

— Успокойся, Эва, — Свен подошел к ней, помог приподняться, сделал жест в сторону Эрли. — Эрли Козалес, журналист-физик. Прилетел с нами...

Девушка села, поджав под себя ноги и опершись на правую руку.

— Значит, я не сошла с ума?..

— Что здесь произошло? — твердо спросил Свен.

— Если бы я знала это...

— Эва, что здесь произошло? — повторил Свен.

— Я не знаю, что здесь произошло... Но я расскажу все, что знаю. Через четыре дня после того, как вы стартовали с Отшельника, Стаковский объявил, чтобы все готовились к вылетам на базы. Это периодически бывало и раньше. Никто не удивился. Начались сборы. Десятого на Центральной остались только Эзра, Юмм и я. Остальные на винтолетах вылетели на базы.

— Все, кроме вас троих?

— Да.

— И Оза вылетела на свою базу? — бесстрастно спросил Генри.

— Да. Ее уговаривали остаться, но она настояла, чтобы ее тоже послали.

— Когда они должны были вернуться?

— Двенадцатого. Кроме тех, кто жил на базах постоянно.

— Что предполагал сделать Стаковский? — спросил Свен.

— Не знаю. Я слышала, как Эзра говорил Юмму, что Стаковский хочет показать, что такое качели.

— Качели? — переспросил Свен.

— Что за качели? — спросил Эрли.

— Не знаю, — Эва пожала плечами. — Эзра и Юмм сидели в помещении главного пульта управления, в штабе. Оттуда ведь связь со всеми базами. Там и математическая машина. Они послали меня за кофе. За обыкновенным кофе. Я спустилась вниз. Кофе стоял в термосах в баре. Я взяла один и поднялась наверх. Все это заняло у меня не более двух минут, так мне показалось. Я зашла в помещение главного пульта. Эзры и Юмма там не было... Их не было. Там, где они сидели, я увидела два скелета и лохмотья истлевшей одежды... — Эва закрыла лицо руками и покачала головой. — Это что-то страшное.

Свен присел на краешек дивана и осторожно отвел руки девушки от заплаканного лица.

— Что было дальше?

— Я испугалась. Я не могла объяснить себе, что здесь, произошло. И это было самое плохое. Я вызвала все базы сразу. Никто не ответил. Вся радиоаппаратура была выведена из строя. Я выбежала из купола, захлопнула дверь. Может быть, связь возможна из сектора внешней связи, думала я с надеждой. Она ведь дублирует связь пульта. Никто не отвечал и там. И тут я представила, что осталась одна на целой планете, не зная, что произошло со всеми, что произойдет со мной сейчас, в следующее мгновение, через минуту.

Я осталась одна. Это было ужасно. Я заставила себя зайти в помещение главного пульта. Нужно было привести в порядок материалы. Должны же вы были прилететь на Отшельник. Я обязана была облегчить вам задачу. Хоть чем-то помочь. Но память вычислительной машины очищена от информации. Словно ее кто-то стер. Ленты регистрирующих приборов исчезли. Там все заржавело, потрескалось, разрушилось. Не осталось ни одного документа, по которому можно было бы судить, что делалось на базах в эти два часа до катастрофы. Там вы не найдете ничего.

Эва замолчала.

— Продолжай, Эва. Нас теперь пятеро, — сказал Свен.

— И тогда у меня начались галлюцинации. Я думала, что схожу с ума. И от этого стало еще хуже, еще страшнее. Иногда я видела Эзру и Юмма. Они ходят по Центральной. Они всегда спорят. Но ведь их нет. Не должно быть. Ведь они же умерли. И все равно они ходят. Это сумасшествие? Человек не может столько вынести. Какое сегодня число?

— Двадцать третье.

— Значит, сумасшествие длилось двенадцать дней. Я похожа на сумасшедшую?

— Ты здорова, Эва, — сказал Николай. — Но ты очень устала.

— Я боюсь.

— Теперь ничего не бойся, Эва, — Свен положил руку на ее плечо. — Ты не упустила ничего существенного?

— Нет... Я устала. Я устала от всего этого.

— Эва, ты сейчас уснешь. Тебе надо отдохнуть.

— Вы меня не оставите одну? Правда ведь?

— Эва, ты будешь здесь одна. Мы не можем терять время. Ты должна понять нас.

— Хорошо, я усну. Но не более двух часов. Этого будет вполне достаточно.

— Спи, Эва.

Четверо вышли из комнаты. Девушка проводила их взглядом, полным надежды. Теперь их пятеро.

6

Эрли вышел на крыльцо деревянного коттеджа и огляделся. Вокруг было так красиво! Разбросанные в беспорядке домики посреди могучего тенистого парка. Белая громадина Центральной, словно плывущая на фоне бездонного голубого

неба. Мягкая зеленая трава и дикие цветы, совсем как на Земле. Странные, кружащие голову запахи, на которые он раньше не обратил внимания, потому что все здесь было необычно. Все ново. Все незнакомо.

Он оглянулся, отогнал от себя красоту, и тогда остались только Отшельник и его ужасная сельва. Двести десять человек, имевших самые совершенные средства передвижения, связи и защиты, не вернулись на Центральную базу.

И снова, как и тогда, когда он нес Эву, ему стало плохо. Если бы у него было время разобраться в этом чувстве, он бы понял, что это страх. Страх, что он больше никогда не увидит Лэй. Самый сильный страх, когда человек даже не сознает, что он боится.

— Что будем делать дальше? — спросил Свен Томсон. — Ведь так нельзя, — и он показал рукой на других. — Надо что-то делать.

Генри Вирт лежал на траве лицом вниз и, кажется, плакал. Николай Трайков нервно покусывал губы.

— Прошел уже почти час, — сказал Эрли. — А мы по-прежнему ничего не знаем. Надо выработать план действий. Ведь не могли же они все сразу...

— Почему вы не пустили меня к Озе?! — крикнул Генри. — Почему?! — И он застучал кулаком по траве. Свен подскочил к нему, рывком поднял с земли и сильно встряхнул.

— Генри! Приди в себя! Не распускайся!

— Прости, Генри, — сказал Эрли. — Ты полетишь к Озе. Наверное, мы сейчас так и решим. Сейчас мы пойдем в Центральную и там все решим...

Слова Эрли заставили Вирта успокоиться, и они все четверо почти бегом двинулись к Центральной.

— О каких качелях все-таки говорил Стаковский? — спросил Эрли Свена. — Символ чего эти качели?

— Ничего не приходит в голову, — ответил Свен. — Качели — это значит что-то качается.

— Раньше никогда об этом не было разговоров?

— Ничего подобного мне не приходилось слышать.

Они остановились в главном пульте связи.

— Как можно изобразить качели? — вдруг спросил Николай. Остальные удивленно и непонимающе посмотрели на него.

— Ну как наиболее просто схематично можно изобразить качели?

Эрли нарисовал на бумаге прямую линию через весь лист, а посредине под небольшим углом пересек ее коротким отрезком прямой.

— Примерно так нарисовал бы и я, — сказал Свен. — Но к чему вопрос? Ты где-нибудь видел такое?

— Это не мудрено увидеть везде, — сказал Эрли.

— Видел. Совсем недавно видел, и не один раз. Может быть, неделю назад, может быть, больше. Только где и почему?.. Не могу вспомнить. Но я постараюсь.

— Сразу не можешь? — спросил Свен.

— Нет.

— Постарайся вспомнить. Неизвестно, что сейчас нам может помочь, — сказал Свен. — Может быть, именно это. А пока давайте выработаем план действий. Мы не можем все время находиться вместе. Поэтому нам будет нужна связь друг с другом. Нам нужен какой-то центр, куда бы стекалась вся информация, которую мы будем собирать. Один из нас должен постоянно находиться здесь, в Центральной. Лучше всего у главного пульта связи. Это будет удобно еще и в том случае, если кто-нибудь из них вдруг заговорит... Кто останется? Генри, конечно, не захочет этого...

— Нет.

— Тогда кто? Я вынужден лететь с Генри, хотя мог бы и один.

— Нет, — повторил Генри.

— Эрли мало что знает здесь...

— Эва, — сказал Николай. — Пока она спит, здесь буду находиться я. А когда она проснется... Мне, наверное, найдется работа более подходящая...

— Хорошо, — Свен встал и начал расхаживать по комнате.— Каждый должен взять радиостанцию внутренней и внешней связи и никогда не расставаться с ней. Каждый обязан иметь всегда с собой хотя бы легкий бластер, потому что мы не знаем, что здесь произошло. Генри и я вылетим на винтолете к базе Озы. Нам на это хватит четырех часов.

— Маяк там не работает, — сказал Генри. — Я прослушивал эфир.

— Раньше бы хватило четырех часов. А без маяка... Я не знаю, смогу ли быстро найти ее по карте.

— Я бывал там, — сказал Генри. — Мы найдем их быстро.

— Тогда вылетаем немедленно. Эрли, попробуй взломать дверь штаба.

— Эва же говорила, что у нее есть ключ, — сказал Николай.

— Действительно. Как я забыл. Тем лучше. Ну что ж, пошли. Что мы будем делать через несколько часов, я не знаю.

— Не будем загадывать, — сказал Николай, и они вышли в коридор.

Свен сказал:

— Если это вернулись те, кто был здесь до нас... Если они настроены к нам враждебно, нам ничего не останется, как взлететь на «Фиалке». Я бы так и сделал, если бы мы были здесь одни.

Минут пять им понадобилось, чтобы разыскать карманные радиостанции и бластеры. Свен и Генри побежали к стоянке винтолетов. Николай включил все приемники в пульте связи, Эрли помчался в коттедж Эвы.

7

Эрли решил не будить Эву. Несколько часов они обойдутся и без нее. Пусть лучше как следует отдохнет. Он выдвинул несколько ящичков из ее бюро, но ключей там не оказалось. Ключ оказался на груди у девушки на цепочке вместе с маленьким медальоном. Стараясь не разбудить девушку, он расстегнул цепочку и тихонько потянул за нее. Девушка слегка пошевелилась и сжала ему руку, но не проснулась. Наконец ключ оказался у него, и он не стал тратить времени, чтобы снова застегнуть цепочку. Потихоньку вышел из комнаты и снова бросился бежать.

Перед дверями в комнату главного пульта он остановился, перевел дыхание, включил радиостанцию и спросил у Трайкова:

— Ник, они уже улетели?

— Улетели. Все нормально. Я буду связываться с ними каждые двадцать минут. Ты можешь заниматься своим делом.

— Ну и отлично.

— Ты где?

— Открываю дверь главного пульта. Ключ едва нашел... Из них, конечно, никого нет в эфире?

Эрли открыл дверь. На него пахнуло застоявшимся воздухом. Это его удивило. Неужели испортилась вентиляция? Не зажглись и автоматические светильники. Едва заметно светился потолок, к северу и югу чуть ярче, в центре совсем темная полоса. При таком освещении трудно было различить что-

либо, и Эрли двигался почти на ощупь. Немного помогла полоса света, идущая из открытой двери.

Внутреннее устройство помещения главного пульта было ему неизвестно. Но глаза понемногу привыкли к густому сумраку. Он начал двигаться увереннее, но вся его уверенность мгновенно пропала, когда он взялся рукой за спинку кресла и матерчатая обивка рассыпалась под пальцами в пыль. Эрли вздрогнул и остановился. Нет, лучше взять фонарь. Но почему не работают светильники? Он быстро по светлой дорожке отошел к двери и нащупал рукой выключатель. Нажал. Щелчка не получилось. Детали выключателя с шумом упали на пол.

— Эрли, — вызвал его Трайков. Тот вздрогнул от неожиданности и ответил шепотом:

— Да, Ник.

— Что там у тебя?

— Непонятно...

— Помочь?

— Нет, Ник. Скажи лучше, где мне побыстрее найти фонарь?

— Фонарь? Ты что, в подземелье?

— Не думай, что я спятил. Автоматика не работает, а выключатель рассыпался у меня в руках.

— Ближе, чем в хозяйственных помещениях, вряд ли найдешь. Принести тебе?

— Я сам. Нельзя уходить от пульта связи.

— Связь еще через тринадцать минут. Успею.

— Нет, Ник. Кто-то каждую секунду должен быть на связи.

Эрли спустился по эскалатору вниз, снова пробежал по коридору третьего кольца, нырнул в подземный переход. Бластер колотил его по спине прикладом. И Эрли даже подумал, что здесь, на Центральной станции, оружие совершенно ни к чему. Цепочка огней бежала вместе с ним, немного опережая его. Здесь все работало нормально. В хозяйственном помещении была справочная машина. Эрли нажал кнопку «автономное освещение», запомнил номер секции и бросился дальше. Двери секции уже открывались перед ним, когда он подбежал. Особенно размышлять было некогда, и он схватил небольшой карманный фонарь, положил его в комбинезон. Нашел на полках два больших электрических фонаря, взял их в руки, потом, немного помедлив, взял еще два. Больше ему не унести.

Всё так же бегом вернулся он к главному пульту, глотнул воздуха перед дверью и вошел. Поставив на пол фонари,

он зажег один и, подняв его над головой, медленно пошел вперед.

Круглое помещение имело в диаметре метров пятьдесят. По стенам стояли шкафы с электронной аппаратурой вспомогательного обслуживания, вычислительные машины, накопители информации, самописцы. Около них стояло полтора десятка операторских кресел. Все они бывали заняты операторами, когда Конрад Стаковский начинал очередной аврал по обработке накопившейся информации.

В центре зала десятиметровой подковой располагался пульт: разноцветные доски с клавишами для набора программ, аппараты обратной связи с двадцатью базами, разбросанными по Отшельнику, пульт главной математической машины, сигнальные световые табло, аппараты видеосвязи, командные микрофоны.

В самом центре зала стояло еще несколько кресел. В них обычно работали Конрад Стаковский, Филипп Эзра, Эдвин Юмм и некоторые другие члены экспедиции.

Эрли поставил фонарь на пульт, обошел его кругом, ни к чему не прикасаясь, и затем зашел внутрь. Первые два кресла оказались пустыми. В третьем и четвертом лежали два человеческих скелета, обтянутые кое-где кожей и лохмотьями одежды.

Эрли несколько секунд рассматривал их, потом судорожно вдохнул теплый, затхлый воздух и сдавил виски руками. В третий раз на него накатилась волна страха, и он попятился к выходу, сдерживая рвавшийся из горла крик. Он наткнулся на угол двери и вздрогнул от неожиданности. Яркий свет в коридоре немного привел его в себя. «А как же здесь была Эва? — подумал он. — Женщина. Одна. И она еще кое-что сумела нам рассказать. Она нашла в себе силы убедиться, что в запоминающих устройствах стерта вся информация. Я даже этого с первого раза не смог сделать».

— Эрли, что там у тебя? — вызвал его Трайков.

— Осталось узнать, что случилось с остальными двумястами восемью...

— Значит... Эва сказала правду?

— Еще какую... правду.

— Меня вызывает Генри. Отключаюсь.

— Осталось узнать, что произошло с остальными двумястами восемью, — прошептал Эрли и снова вошел в зал.

8

На стоянке винтолетов стояло около десятка машин. Свен бросился было к маленькой, двухместной, но Генри остановил его.

— А вдруг они живы, и их надо будет срочно перевезти сюда?

Томсон не стал возражать, они подбежали к большому десятиместному винтолету, положили туда сначала свои бластеры, а потом влезли сами. Свен заглянул в багажное отделение, желая убедиться, что там есть огнеметы. Лететь в сельву без них было бы настоящим безумием.

Свен круто поднял винтолет вверх. Купол Центральной станции метнулся в сторону, замелькали белыми клавишами накопители энергии, темными горошинами рассыпались в стороны деревянные домики коттеджей, и через минуту исчезли последние пятна ярко-зеленых парков. Внизу расстилалась сельва.

— Генри, — сказал Свен. — Выйди на связь с Центральной. Надо все проверить.

— Хорошо... Ник! Как слышимость? — спросил Генри, включив радиостанцию. — Отвечай.

— Отлично, — ответил голос Трайкова. — Как у вас? Все в порядке?

— Все нормально, — сказал Генри и обратился к Томсону: — Связь действует, Свен... Ник! Я буду вызывать Центральную каждые двадцать минут, как и договорились.

— Хорошо. Отключаюсь.

Сверху сельва казалась однообразной. Угрюмые нагромождения грязно-зеленой растительности. Лишь на мгновение глаз кое-где угадывал робкие блики рек и озер. Местность была равнинная. На Отшельнике вообще не было больших гор.

«Куда ни глянь, всюду сельва! — Вирт передернул плечами.— А если сельва ворвется на какую-нибудь из баз? Страшно даже подумать. Дикий разгул исключительно живучих омерзительных растений-ползунов и животный мир, у которого только одна цель — пожирать. Никакие бластеры тут не помогут. Жуткая сельва. Но маловероятно, что сельва где-нибудь прорвалась. Пока на базах действуют установки запрета, сельва не страшна. Все может выйти из строя, только не установки запрета».

Генри Вирт краем глаз взглянул на указатель скорости. Светящаяся черта дошла до предела.

Свен и Генри молчали. Свен старательно сверял разворачивающуюся перед ним картину местности с картой. Генри Вирт думал о своем. Он не хотел верить, что с его Озой что-нибудь произошло.

Прошло двадцать минут как они вылетели, и Вирт вызвал Центральную.

— Ник, как слышимость?

— Отлично. Ты чего разговариваешь скороговоркой? Что-нибудь случилось?

— Все нормально. А у вас?

— Эрли только что говорил из главного пульта управления. — Николай старательно растягивал слова. Голос его стал низким и хриплым. — Эзру и Юмма можно больше не искать. Их уже нет.

— От чего?..

— От чего смерть? Он ничего больше не сказал.

— Ничего, Ник?

— Ничего, Генри.

— У тебя такой голос. Ник... Хриплый, мурашки по коже.

И снова внизу однообразная грязновато-зеленая сельва.

Свен повернул голову к Вирту:

— Через час, если все будет в порядке, увидим базу номер два. Сколько на ней было человек?

— На ней четверо! — ответил Генри, и Томсон понял, что он зря сказал «было». — Оза, Вытчек, Юргенс и Стап. Их там четверо.

— Я не умею успокаивать, Генри.

— Спасибо. Так даже лучше... Интересно, связь прервалась одновременно или нет?

— Может быть, и не совсем одновременно. Ведь Эва не сразу бросилась к пульту связи. Многое могло произойти за эти минуты.

— А сельва?

— Одновременно на всех базах? Трудно даже представить.

Прошло еще двадцать минут. Вирт вызвал Центральную:

— Ник, как слышимость?

В ответ раздалось низкое хриплое рычание. В горле Трайкова что-то бурлило и клокотало.

— Николай! Что случилось? Что случилось?

Рычание медленно затихало.

— Свен, ты что-нибудь понимаешь?

— Возвращаемся!

— Я спрашиваю, ты что-нибудь понимаешь?

— У них что-то случилось, Генри. Надо возвращаться.

— Здесь со всеми что-нибудь произошло. Возвращаться не будем. Ну! Ты же понимаешь меня, Свен? Ты все понял, правда ведь? Мне нужно узнать, что случилось с Озой.

— Я возвращаюсь.

— Осталось меньше часа, и мы бы знали, что произошло на второй базе.

— А если те трое, на Центральной, нуждаются в нашей помощи?

— Делай как хочешь, — Вирт безучастно откинулся в кресле.

Винтолет сделал крутой вираж.

— Возьми себя в руки, черт!— заорал Свен. — И попытайся наладить связь!

— Попытаюсь, — ответил Вирт шепотом.

Центральная на позывные не отвечала. Рев и глухой рокот иногда прерывались паузами относительной тишины. Свен и Вирт молча вслушивались в непонятные звуки.

9

Эрли снова вошел в зал и, стараясь не смотреть на те два кресла, расставил электрические фонари таким образом, чтобы они равномерно освещали всю площадь. Затем он выработал примерный план действий. Сначала он решил выяснить, что произошло с системами автоматики, потом осмотреть накопители информации, магнитную память вычислительных машин, самописцы. Осмотром останков двух ученых он решил завершить исследования здесь.

При самом беглом осмотре он обнаружил, что вентиляционные колодцы полностью разрушены, а компрессоры превратились в груду лома. Скрытую электропроводку он не смог рассмотреть, но все ее выключатели и розетки пришли в негодность. Пластмасса растрескалась, контакты покрылись толстым слоем ржавчины. Пытаться что-нибудь включить было совершенно бесполезным занятием. От одного прикосновения разваливались резиновые шланги и кабели приборов. Словно какая-то чума, какая-то болезнь напала на материалы, из которых были изготовлены различные приборы и механизмы. И только стены и пол, сделанные из термостойкого вечного пластика, казались такими же новыми.

Ручки приборов не вращались вокруг своих осей. Клавиши не продавливались или проваливались от малейшего прикосновения и уже не возвращались в исходное положение.

Не было никаких следов бумажных лент в самопишущих приборах. Магнитные барабаны вычислительных машин покоробились, а магнитные ленты превратились в порошок. Не сохранилось никаких носителей информации и в блоках накопителей информации.

Эрли осторожно переходил от одного прибора к другому, стараясь ничего не задеть, но то и дело что-нибудь с грохотом падало на пол, разваливаясь серой кучкой пыли или бесформенными обломками пластмассы и проржавленного металла.

И все-таки в этом хаосе изуродованных, искалеченных, мертвых приборов и предметов наблюдалось что-то вроде закономерности. Экватор планеты проходил прямо через центр зала. И все, что располагалось в непосредственной близости от этой условной линии, рассыпалось в прах чаще, чем у противоположных ей стен.

— Смерть началась с экватора, — сказал сам себе Эрли.

Потом он вошел в большую подкову пульта управления. Здесь разрушения были наибольшими. Эрли остановился у кресла, в котором, возможно, сидел Филипп Эзра. В момент смерти он, несомненно, сидел. Об этом говорило расположение скелета. Но постепенно скелет развалился, и сейчас череп глядел пустыми глазницами из-под ободранного подлокотника кресла. Эрли с минуту постоял над ним...

— Печальная встреча...

Он попытался представить себе, что мог делать Филипп Эзра, когда его настигла смерть. Какие клавиши программ он нажимал? О чем он думал? Что хотел сделать? А Эдвин Юмм? О чем они говорили перед смертью? Что означают качели?

В результате осмотра Эрли не пришел ни к какому выводу. Эзры и Юмма больше нет в живых. Все, что находилось в главном пульте управления, пришло в негодность, рассыпалось, развалилось. Но непонятно, почему это произошло. Эпидемия какого-нибудь заболевания? Но почему только здесь, в куполе Центральной? И какое отношение это имеет к экваториальной линии?

Впрочем, откуда он взял, что это произошло только в главном пульте? Потому что кольцевой коридор не имеет никаких признаков разрушений? Но ведь в нем ничего нет. Ведь

и стены и пол самого главного пульта выглядят совершенно новыми.

Эрли вышел в коридор и начал внимательно осматривать его.

Если бы он не ожидал этого заранее, то наверняка бы не заметил, как не увидел сначала. Да, в коридоре на стенах он нашел несколько трещин. Это потрескалась пластиковая обивка стен. Эрли распахнул в коридоре окна. Он хотел посмотреть, что там, на земле, над этой воображаемой линией экватора. Но крыши Центральной станции тянулись на несколько сот метров во все стороны, и на земле из-за дальности расстояния он ничего не мог различить. Но, кажется, на крышах была заметна более темная полоса.

Появилась какая-то закономерность. Пока еще не за что было ухватиться. Какая-то мысль вертелась в голове, но все время ускользала.

— Эрли, — вызвал его Трайков. — Сейчас связь с Виртом. Что тебе еще удалось выяснить?

— Здесь все разрушено. Сколько вы находились в полете?

— Двенадцать дней, — удивленно сказал Трайков.

— А что, если я тебе скажу, что вы не были на Отшельнике лет пятьсот? А? Что ты молчишь?

— В некотором смысле, может быть, и пятьсот.

— Нет, в полном, единственном смысле. Я нахожусь сейчас в главном пульте. И я уверяю тебя, что здесь прошло несколько сот лет. Ну, может быть, десятков. В общем, какая разница. А что, если вы летали действительно несколько сот лет?

— Эрли, я сейчас приду к тебе.

— Не надо. Ник. Я не сошел с ума. На Отшельнике прошло несколько дней. Ведь и Эва это подтверждает. А здесь несколько сот. Это может быть и нашествием какого-нибудь вируса.

— А что, если вернулись хозяева планеты?

— Такая жестокость? Тогда нам тоже несдобровать. Здесь есть одна странная закономерность.

— Что?

— Хочу пойти проверить.

— Хорошо. Отключаюсь.

Эрли опустился вниз и подумал, что на обратном пути в главный пульт надо захватить с собой из лаборатории некоторую аппаратуру. Он спустился в третье кольцо, решив пройти

по нему и установить, что же произошло в лабораториях, расположенных так же, как и главный пульт, над линией экватора.

Пульт связи находился в правом крыле, Эрли пошел в левое. Но не успел он пройти и нескольких десятков шагов, как его снова вызвал Трайков. Он был чем-то взволнован, хотя и старался говорить спокойно:

— Эрли, ты можешь зайти ко мне?

— Что случилось?

— Вирт и Томсон не отвечают.

Эрли сразу же повернул назад в правое крыло.

— У них что-то там воет! Сначала вообще ничего не было слышно. Потом еле различимо. Вроде ультразвука. А сейчас пронзительный вой.

Что же могло с ними случиться? Винтолеты сверхнадежны. Впрочем, здесь все было сверхнадежно, и все-таки что-то произошло.

Эрли открыл дверь зала связи. Трайков сидел к нему спиной и кричал в микрофон:

— Вызываю Вирта! Я Трайков! Вызываю Вирта! Прием.

Щелкнув тумблером, он повторил все сначала. Эрли тяжело опустился в кресло и закрыл лицо ладонями.

— Не отвечают, — сказал Николай, поворачиваясь к нему.

— Ничего. Вызывай.

Николай снова начал вызывать Вирта.

— Я не сказал тебе. Это мне как-то раньше в голову не пришло. Надо по всем каналам связи вести запись на магнитную ленту. Правда, мы все не сможем прослушать, но можно будет заложить ленты в математическую машину. Пусть обрабатывает. Может быть, мы получим хоть один бит информации.

— Я все записываю и периодически прослушиваю. Ничего нет... Вызываю Вирта! Я Трайков! Прием.

— Уже два часа...

— Что ты сказал?

— Уже почти два часа как мы на Отшельнике.

10

Они летели по направлению к Центральной базе минут пятнадцать. На мгновение воздух перед винтолетом размылся, затуманился, и машину с силой бросило вперед, как из туго натянутой пращи. Чувствовалось, как от бешеного сопротивления воздуха завибрировал обтекаемый корпус. Обоих людей вдавило в кресла. Свен сбросил скорость, но она вдруг

скачком упала до половины максимальной, и их бросило с сиденья вперед.

— Чертовщина, — пробормотал Свен. — Где-то в этом районе, когда мы еще летели на вторую базу, скорость винтолета резко упала, и мне пришлось до предела увеличить мощность двигателей, а теперь все наоборот. Вроде какого-то порога. Никогда раньше не сталкивался с таким явлением. И атмосфера спокойная.

— А пелена какой-то дымки?

— Так, значит, она действительно была? А я думал, что это мне показалось.

— Вызываю Вирта! Я Трайков! — вдруг раздалось в микрофонах хрипловато и нарочито медленно.

— Я слышу, Ник! — вскричал Генри. — Что у вас произошло? Почему не отвечали?

— У нас все нормально. Почему вы не отвечали?

— Мы вышли с вами на связь. Вы не отозвались. Тогда Свен решил, что у вас что-то произошло, и повернул назад. Нам осталось лететь до вас минут двадцать. Возвращаться нам или лететь на вторую базу?

— Эрли говорит, что можно лететь на вторую... Но почему не было связи? И вообще, что ты там тараторишь?

— Я говорю нормально. Это ты, Ник, кажется, засыпаешь.

Иногда между словами и фразами наступали небольшие паузы, и каждый думал, что с противоположной стороны обдумывают ответ.

— Чертовщина какая-то, — снова пробурчал Свен. — Держи связь все время. Мне что-то не нравится эта пелена воздуха.

— Ник, — сказал Генри. — Говори что-нибудь без передышки. Интересно, на какой минуте прервется связь?

— Ты думаешь, опять прервется?

— Не знаю. Говори. Что там у Эрли?

— У Эрли? Все неопределенно. В шутку, конечно, предполагает, что мы не были на Отшельнике лет пятьсот.

— Ого! Ничего себе шутка. Он где сейчас?

— Сидит рядом. Я вызвал его, когда прервалась связь.

— Ник, не растягивай, пожалуйста, так слова.

— Я говорю нормально. Это ты все время торопишься. Всю жизнь торопишься.

В ответ снова раздался пронзительный вой, прерываемый продолжительными паузами.

В кабине винтолета послышался глухой низкий рев, исходящий из телефонов.

— Связь прервалась, Свен, — сказал Генри.

— И опять эта пелена. И винтолет входит словно в тугую резину. Надо все-таки проверить, что это такое. Я разворачиваюсь.

— Хорошо.

— Следи. Вот она приближается. Держись! Сейчас будет толчок.

Винтолет рвануло вперед, но Свен справился с непослушной машиной гораздо увереннее, чем в прошлый раз, и в тот же момент из телефонов донеслось:

— ...ываю Вирта! Я Трайков!

— Слышу нормально.

— Что у вас получается?

— Пусть Эрли возьмет параллельный канал.

— Он все время прослушивает его.

— Я все слышу, Генри, рассказывай.

— Тут есть какая-то пелена воздуха, вроде полупрозрачной пленки. Когда мы уходим за нее, связь прекращается. Возвращаемся назад — связь работает нормально. Наверное, это какой-то экран.

— Как еще на вас влияет эта пелена?

— Когда мы проходим ее от вас, она действует как упругая пружина или резина. Свену приходится увеличивать мощность двигателей. Когда возвращаемся, нас вроде что-то выталкивает.

— Какая у вас скорость?

— Примерно две тысячи в час.

— Подойдите к этой пелене со скоростью километров двадцать или пятьдесят в час.

— Хорошо. Попробуем.

Свен начал сбавлять скорость, делая глубокий вираж. Стрелка указателя скорости поползла вниз. До дрожащей, размытой пелены воздуха осталось километров пять. Но машина не приближалась к ней, хотя скорость должна была быть около двадцати пяти километров в час.

— Она не пускает нас вперед, — сказал Свен. — Двигатели работают, а мы стоим на месте.

— Убавьте до нуля, — попросил Эрли.

— Сбавил, — ответил Свен. — Нас медленно отталкивает назад. Двигатели горизонтального полета совсем не работают.

— Хорошо. Отойдите назад, километров на десять, наберите скорость и пробивайтесь, как и в первый раз.

— Как ты думаешь, Эрли, что это было? — спросил Вирт.

— Не знаю. Генри. Какой-то энергетический барьер. Может быть, мы и выясним его природу, но сейчас просто пробивайтесь.

— Какова может быть его высота?

— Предполагаю, что это вам не поможет. «Фиалка» тоже на что-то натолкнулась, когда мы садились на Отшельник.

— Да, да, — сказал Свен. — Ощущение примерно такое же. Только тогда нас здорово тряхнуло.

— Раз связь нарушается, будете лететь без связи. До второй базы вам еще около часа. Короче, через четыре часа мы ждем вас в эфире.

— Хорошо. Значит, в шестнадцать тридцать пять, — заключил Генри. — Всего хорошего.

— И вам тоже.

— Набираю скорость, — сказал Свен.

11

— На несколько часов я свободен, — сказал Трайков. — А там меня может заменить Эва. Что мне делать?

— Хорошо бы осмотреть накопители энергии. Ник.

— Я проверю.

— А я хотел посмотреть, что вообще делается на территории Центральной. Мне нужен вездеход. Тебе тоже. Забеги к Эве и оставь ей карманную радиостанцию где-нибудь на видном месте и еще записку, чтобы она не волновалась и не искала нас. Вызывай меня чаще, особенно если заметишь что-нибудь необычное, непонятное. Хоть самую мелочь.

— Понимаю, Эрли. Я пошел.

— Подожди. Ведь экватор планеты проходит через Центральную?

— Да.

— Кому-нибудь приходило в голову обозначить эту воображаемую линию экватора? Ну, могу ли я найти ее на территории Центральной?

— Эта линия обозначена колышками. Стап занимался этим. Он был немного со странностями.

Они вместе вышли на крыльцо Центральной. Трайков побежал к коттеджу Эвы. Эрли взобрался на крышу вездехода,

открыл люк и спустился вниз. Он проверил управление машиной. Все было в порядке.

Дико взревев, вездеход рванулся по большой дуге, огибая здание Центральной. Проехав несколько сот метров, Эрли остановил машину и спрыгнул на траву. Сориентировавшись по куполу здания, он прошел еще несколько десятков метров, всматриваясь в траву.

Наконец он нашел то, что искал: на расстоянии нескольких метров друг от друга в землю были вбиты небольшие, в полметра, деревянные колышки. Когда-то они, видимо, были окрашены ярко-красной краской, чтобы их было заметно на фоне травы. Теперь же краски не было и в помине. Колышки разваливались от малейшего прикосновения. Многие лежали на траве, почерневшие от ветра, дождя и времени.

Эрли собрал несколько таких бывших деревяшек и осторожно положил в багажник вездехода. Затем он снова влез в машину, поднял переднюю стенку, чтобы был хороший обзор, и направил вездеход вдоль этой условной линии на небольшой скорости. Вскоре ему стали попадаться огромные упавшие полусгнившие деревья. Таких больших деревьев на территории Центральной никогда не было. Они просто не могли успеть вырасти, потому что были вывезены с Земли саженцами.

Он проехал вперед около километра и окончательно укрепился в мысли, что на этой полоске около линии экватора за время отсутствия экипажа «Фиалки» прошло не несколько дней, а, по крайней мере, несколько десятилетий. Сколько прошло точно, он мог окончательно узнать, только вернувшись на Центральную и произведя некоторые лабораторные анализы.

Он совсем решил было возвратиться назад, но тут его внимание привлекла черная полоса сельвы на горизонте. Что-то уж очень высокой показалась она ему.

На большой скорости помчался он вперед, сминая траву и мелкий кустарник, разбрызгивая фонтаны вокруг машины, когда пересекал небольшие искусственные речки и озера, взлетая на бугорки, спускаясь в цветущие лощины. Постепенно вид растительности менялся. Она приобретала более дикий вид. Но это не удивило его, так как культурной была только центральная часть парка, а дальше все было предоставлено самой природе. Правда, растения-ползуны, аборигены Отшельника, сюда не допускались. Здесь были только земные растения, культурные или одичавшие.

Когда до линии запрета оставалось не более ста метров, он понял, почему полоса сельвы на горизонте показалась ему неестественно высокой. Местные растения достигали в высоту не более пяти метров, но могли карабкаться друг на друга. Вот и сейчас они громоздились несколькими этажами, переплетенные так, что нельзя было различить отдельное растение. Это было какое-то жуткое месиво из стволов, корней и веток.

Эрли вылез из вездехода и подошел вплотную к линии запрета. И только тут он понял, что это были мертвые растения, наваленные огромным полукольцом по линии запрета с северной стороны парка. Высота этого завала была не менее ста метров. Какая сила могла создать этот мертвый пояс? Только бешеный ураган, невиданный ураган, представить мощь которого трудно. Ураган, очевидно, шел с севера и, натыкаясь на неприступную стену установки запрета, терял возле нее свои трофеи.

Но откуда мог взяться этот ураган? На Отшельнике такой мягкий климат. Без сильных ветров и бурь...

Тут он задался вопросом о том, что произошло с силовым полем там, где его пересекает линия экватора. Он снова сел в вездеход и поехал вдоль завала, высота которого заметно понижалась по мере приближения к точке пересечения. Увидев, что там все в порядке, он сообразил, что в этом месте установка запрета, наверное, черпала огромную энергию из накопителей, чтобы заткнуть брешь, но из строя не вышла.

Это здесь, на Центральной, где запасы энергии практически неисчерпаемы. А что осталось от баз, если над ними пронесся такой ураган? Минут десять сидел он на траве в тени вездехода, собираясь с мыслями. Что же он узнал за эти три часа?

Совершенно точно известно следующее: Эзры и Юмма больше нет. Они мертвы. Все, что расположено вдоль линии экватора, постарело на несколько десятков или сотен лет. Но возможно, что это просто работа каких-то микроорганизмов. В сотнях километров к северу от Центральной возникло неизвестное силовое поле, силовой экран, который отталкивает от себя материальные предметы и не пропускает радиоволны. На Отшельнике за время отсутствия «фиалки» пронесся невиданный ураган. Люди с баз не отвечают на вызовы Центральной.

Как связать все это в одно целое? И вдруг он на мгновение представил себе лицо Лэй. Не такое, какое оно было при

их последней встрече, а другое, дорогое, близкое, любящее. И тут же отогнал воспоминания.

— Эрли! — вызвал его в это время Трайков. — Ты слышишь меня?

— Слышу, Ник. Что у тебя?

— Дело вот в чем, — голос Трайкова был совершенно спокоен. — Что мне делать с людьми, которые возятся около накопителей энергии?

— Какие люди, Ник?! Что ты говоришь? — Эрли вскочил и одним прыжком взлетел на верх вездехода.

— Мне кажется, мы негласно договорились не считать друг друга ни в коем случае сумасшедшими. Эрли, здесь их несколько человек. Пока они не видят меня или делают вид, что не видят. Я их не знаю. У нас на Центральной таких не было.

— Я сейчас буду у тебя. Ник. Что тебе делать, не знаю. Думай сам.

— Отлично. Я на четвертом северном накопителе. Вездеход стоит внизу. А я на самом верху.

Эрли кинулся на сиденье водителя. Мотор взревел, и машина помчалась к видневшемуся вдали куполу Центральной станции, сильно забирая на юг. Эрли не хотел, чтобы неизвестные увидели его раньше, чем он сам этого захочет. Что за люди? Это было еще более непонятно, чем все предыдущее. На Отшельнике было двести четырнадцать человек. Четверо из них живы. Двое мертвы. Об остальных двухстах восьми ничего не известно. Если бы эти люди были из экспедиции Земли, Ник бы их непременно узнал. Здесь все знали друг друга в лицо.

Значит, это представители той цивилизации, которая создала все эти базы и Центральную? Если это так, то они были всемогущи по сравнению с пятью людьми с Земли. Они смогут сделать с ними все, что захотят. Они вернулись в свои владения. Что они предпримут? Что сказать им? Как объяснить им действия землян?

Когда до Центральной станции оставалось не более двух километров, его снова вызвали:

— Эрли! Ты существуешь? Ты есть на самом деле? Эрли!

— Это я, Эрли. Ты проснулась, Эва? Где ты находишься?

— Эрли! Возьми меня! Увези меня! Делай со мной что хочешь, но увези отсюда. Я схожу с ума! Я ничего здесь не понимаю!

— Где ты, Эва?

— Я у пульта связи, Эрли, как написал Ник. Я сижу здесь полчаса. Никто меня не вызывает. Словно вымерли все, словно все опять исчезли!

— Мы думали, ты спишь.

— Ты видел их, Эрли?

— Кого?

— Эзру и Юмма.

— Да... Видел...

— Они только что вышли из пульта связи. Увези меня! У нас ведь есть ракета. Через три месяца прилетит «Варшава»...

— Эва, что с тобой? Успокойся. Я скоро буду у тебя, но сначала мне нужно увидеть Ника. А Эзры и Юмма нет. Они не могут ходить. Их нет.

— Значит, я все-таки сошла с ума. Тогда мне остается посмотреть в дуло вот этого бластера.

— Не смей, Эва! Слышишь, не смей!

12

Винтолет Свена на большой скорости проскочил туманную пелену воздуха. Внизу, куда ни глянь, расстилалась сельва.

Настроение Генри Вирта заметно улучшилось. Теперь уже никто не может остановить его на пути к Озе. И если машина не подведет, они скоро будут на второй базе.

Свена смущало одно обстоятельство. Он довольно хорошо знал местность, да и карта была под рукой. Но иногда попадались какие-то незнакомые образования: озера и выжженные пятна, которых не было на карте.

Генри снова присмирел. Ему нечего было делать, связь все равно не действовала. А сидеть вот так, сложа руки, становилось невыносимо. Свен тоже молчал. Ему не приходила в голову ни одна подходящая для разговора тема...

Через несколько минут полета от первого силового экрана они встретили еще один. После преодоления его скорость винтолета не снизилась, но само преодоление чуть не обернулось катастрофой. Свен на мгновение потерял сознание, и винтолет начал падать. К счастью, он тут же пришел в себя, и все обошлось благополучно.

В нескольких десятках километров от второй базы они преодолели третий силовой экран.

Генри готов был броситься вниз без парашюта, когда они снизили скорость и под ними показались купола второй базы.

Но через минуту стало ясно, что на второй базе господствует сельва. Установки запрета не действовали.

Винтолет снизился к куполу жилого помещения. Гул его мотора, наверное, разносился по всей базе, но никто не появлялся под прозрачными куполами. Медленно перемещаясь, они облетели купол жилого помещения. Да, в этом месте их никто не мог встретить. Кругом были видны следы разрушений. Сам купол в нескольких местах лопнул и зиял метровыми трещинами. Сломанные балки и железобетонные перегородки, изуродованная мебель и разбитая аппаратура.

— Что же это? — сказал Генри, медленно выговаривая слова.

— Сельва, все-таки сельва, — прошептал Свен.

— Выпусти меня.

— Генри, я тебя выпущу. Только давай составим сначала какой-нибудь план. Ты с огнеметом умеешь обращаться? Ну тогда возьми один с собой. Спускаться лучше через трещины в куполах. Внутри этих ползунов все-таки не очень много.

— Я хочу узнать, как она погибла.

Свен застегнул на нем пояс, сунул в руки огнемет, на плечо повесил бластер.

— Далеко от трещин не отходи. Лучше проделать новое отверстие. Теперь уже все равно, — напутствовал он Вирта, опуская его на тросе из открытой кабины винтолета.

Вирт стоял на круглой площадке второго яруса, на которую выходили двери личных комнат. Их было двенадцать. Но только в четырех из них совсем недавно жили люди.

Он открыл дверь комнаты Озы, и тотчас же что-то бросилось на него. Над головой раздался гром, и это «что-то» шлепнулось к его ногам, слабо извиваясь, вздрагивая и издавая зловоние. Свен успел выстрелить вовремя.

Самым правильным сейчас было бы полоснуть по комнате из огнемета и только после этого войти туда. Но тогда сгорело бы все, что когда-то окружало Озу. Генри перешагнул через груду слизи и вошел в комнату. Вся мебель была изуродована и перевернута. Он не нашел здесь ни одного целого предмета. Низкий, когда-то мягкий диван был вспорот. Встроенный в стену платяной шкаф вырван и отброшен на пол. Генри перевернул его, осторожно раскрыл створки. Шкаф был пуст. Ночной столик стоял вверх ножками на переносном магнитофоне. Нет, в нем не было магнитной проволоки. Бесполезная вещь. Генри постоял несколько минут, иногда поворачиваясь из стороны в сторону, пока сзади него снова не грянул выстрел из огнемета.

Свен сидел на полу винтолета, свесив одну ногу наружу, спиной навалившись на косяк дверцы, и иногда нажимал на спусковой крючок огнемета.

Сверху ему было хорошо видно, что происходило под изуродованным куполом. Да и беречь этот купол теперь не имело смысла. Он стрелял прямо через прозрачный пластик. «Мешки», так их называли отшельники, каким-то образом чувствовали появление человека и теперь лезли во все щели жилого помещения. Обычно они настигали жертву в прыжке, хотя у них не было ног. Когда передняя часть мешка без головы касалась жертвы, он как бы выворачивался наизнанку, плотно облегая жертву, и всей своей внутренней поверхностью начинал переваривать. Чтобы настичь новую жертву, ему не нужно было выворачиваться. Теперь внутренней поверхностью становилась та, которая только что была внешней.

— Генри! Не отходи далеко! — крикнул Свен. — Я задержу их только минут на пять. Больше не смогу. Ты слышишь меня?

Вирт молча обходил пустые комнаты.

— Ты слышишь меня? — снова крикнул Свен в перерыве между выстрелами.

Генри махнул рукой, что означало: слышу. Сердце его бешено заколотилось. Одна из комнат была пуста. Совершенно пуста. В стене, которая выходила наружу, рядом с проломом он заметил несколько оплавленных отверстий. Кто-то здесь стрелял из бластера. А сам пролом был сделан выстрелом из огнемета.

— Генри, цепляйся за пояс! — крикнул Свен. — Их слишком много!

Вирт оглянулся. Неуклюжие на вид мешки приближались стремительными скачками. Он послал струю огня вперед и давил на спусковой крючок до тех пор, пока не кончилась воспламеняющаяся жидкость. Тогда он бросил бесполезный огнемет и, пробежав несколько шагов, вцепился в пояс. Свен, не выпуская из рук огнемета, поднял винтолет метров на пять над куполом и только тогда втащил Вирта в кабину. Он ничего ему не сказал и ни о чем его не спросил. Пусть Генри сам решит, когда им возвращаться. Может быть, он захочет спуститься еще раз...

— Они защищались, — сказал Генри. И в его голосе не чувствовалось тоски и горя. — Они даже выбрали правильное расположение для своих бластеров и огнеметов.

— Да. Они не могли сдаться просто так.

— Свен, кто-то из них должен быть жив. Они отбивались у входа на лестницу из комнаты Вытчека. Я видел пробоины, которые сделали бластеры. Кто-то, один или двое, защищали вход, а другие уходили. Куда они могли уйти из этого купола?

У Свена тоже появилась надежда. Может быть, Вирт и прав.

— Надо осмотреть базу сверху, — сказал он.

Винтолет начал медленно перемещаться между изуродованными куполами.

— Понимаешь, Свен, там в одной комнате ничего нет. Пусто. Ни дивана, ни кресел, ни столиков, ни вещей. Там нет ни одного обломка. В других же перевернуто все вверх дном. Но и в комнате Озы нет ее одежды. Куда это все могло исчезнуть? На первом этаже должны быть склады продовольствия и воды, столовая. Жаль, что я не успел посмотреть, что делается там.

Они медленно облетали территорию второй базы. Установки запрета были сорваны с фундаментов. Одна валялась, разбитая вдребезги, метрах в пятидесяти. Второй вообще не было видно. Вот почему сельва прорвалась на базу. Купола жилого корпуса, рабочего, корпуса связи и взлетной площадки островками выделялись на фоне грязно-зеленых шевелящихся и ползающих растений Отшельника. Эта планета снова захватила отвоеванные было у нее владения. Два винтолета, расколотые надвое, валялись недалеко от взлетной площадки. Свен снизился почти вплотную к чуть расступившимся ползунам. За эти несколько дней здесь все так заросло, словно и никогда не было по-другому. Через передний прозрачный колпак одного из винтолетов на них уставились глазницы человеческого черепа.

Вирт в ярости схватил огнемет Свена и начал поливать мгновенно сгорающие отростки ползунов. Но отовсюду на это место лезли другие, и казалось, им не будет конца.

— Бесполезно, Генри, — сказал Свен, положив руку ему на плечо, а другой мягко отбирая огнемет. — Они все равно не поймут. Кто это может быть?

— Они все могли водить винтолеты, кроме Озы...

— Значит, одного мы уже не найдем...

— Это Юргенс. Он был пилотом.

Второй винтолет был пуст. Здание рабочего корпуса было в таком состоянии, что его не имело смысла и осматривать.

— Смотри, — вдруг закричал Свен. — На куполе связи пятна, вроде заплаток. Кто-то заделал трещины и пробоины!

— Я же говорил! Я знал!

Винтолет облетел небольшой купол.

— Где же здесь вход?

— Тут все залито пластиком. Там, где был вход, все залито пластиком. С внешней стороны. Кто-то залил вход и остался снаружи.

Что могло быть в этом наглухо задраенном куполе? Документы? Люди? Кто остался снаружи? Для чего?

— Свен, у них должна быть еще пара вездеходов. Эти бесполезные здесь машины должны были стоять около винтолетов.

— Но их там нет.

— Значит, кто-то решил пробиться на вездеходах до базы. Это верная смерть.

Винтолет еще несколько раз облетел вокруг запечатанного купола.

Вдруг штурвал выпал из рук Свена.

— Оза! — закричал Генри.

Упершись руками и лбом в стену купола с внутренней стороны, на них смотрела женщина.

— Оза!

13

Николай Трайков вбежал в коттедж Эвы, убедился, что она спит, оставил на столе записку, как говорил Эрли, и бросился к вездеходу.

Накопители энергии шли цепочкой от Центральной станции на север и юг километра на два. Это были огромные белые цилиндры со множеством пристроек, мачт, растяжек, лестниц и лифтов. В обычное время их изучало около десятка инженеров, следивших, чтобы количество энергии в каждом не превышало определенной нормы. От них питалась система запрета, образующая силовые поля вокруг всей территории Центральной станции. Но чтобы питать установки запрета, не было необходимости в таком количестве накопителей. Для работы установок достаточно было триллионной доли запасенной в накопителях энергии.

Николай доехал на вездеходе до одного из них, выскочил и вошел в лифт, который за несколько секунд доставил его в инженерную. Небольшой светлый зал со множеством приборов произвел на него удручающее впечатление. Как во всем этом разобраться? Но вскоре он понял, что ему и не нужно во всем разбираться. Система контроля управления накопителями была довольно проста. Он записал показания общего счетчика. Вынул ленту из самописца, регистрирующего расход энергии в отдельные дни, часы и минуты, и спустился вниз. Ленту он сунул в карман кресла и помчался к другому накопителю. Там он произвел те же манипуляции. Потом он осмотрел третий, четвертый...

Лифт пятого цилиндра был поднят вверх. Николай несколько раз нажал кнопку, пытаясь спустить лифт вниз, но все было безрезультатно. Он подумал, что лифт испортился. Но вдруг лампочки на табло управления лифтом замигали. Лифт спускался с десятого яруса. Затем он остановился на пятом ярусе, где располагалась инженерная. Николай попытался снова вызвать лифт, но он снова был занят. Кто мог занять лифт? Внезапно лифт пошел вверх. Николай стукнул кулаком по табло, но ничего не изменилось. Тогда он отбежал в сторону и увидел сквозь решетчатые фермы, что лифт действительно движется. Осторожно, стараясь не греметь, он скользнул в люк вездехода и на самой маленькой скорости отвел его к четвертому накопителю. Там он вскочил в лифт и поднялся на последний, двенадцатый ярус. Это была плоская крыша цилиндра. Скрываясь за мачтами, он подошел к краю крыши... и чуть не упал вниз с семидесятиметровой высоты. Соседний цилиндр был метрах в ста пятидесяти. На его плоской крыше разгуливало несколько фигур. Фермы лифта пятого накопителя были обращены в сторону Трайнова, и он заметил, что сам лифт находится тоже на двенадцатом ярусе. Если они находились на крыше хотя бы две минуты, то должны были видеть его вездеход. А он еще столько раз пытался вызвать лифт вниз.

Полуголые фигурки людей на таком расстоянии казались маленькими. Но, сравнив себя с деталями мачт, он пришел к выводу, что неизвестные почти одного роста с ним. У них были загорелые тела. Одеты они были в короткие джинсы. На ногах что-то вроде сандалий. Рубашек нет. Головы не покрыты. В руках у одного из них было что-то вроде огромного листа бумаги. Через плечо у каждого висела короткая палка, очень похожая на бластер.

В самом начале было совершенно точно установлено, что на Отшельнике нет людей. Нет вообще никакой мыслящей жизни.

Тогда кто же эти люди?

Ник вызвал Эрли и сказал:

— Что мне делать с людьми, которые возятся у накопителя?

14

Эва проснулась сразу, освеженная спокойным, крепким сном. Несколько мгновений она не могла сообразить, каким образом оказалась здесь, но потом последние события всплыли у нее в сознании. Лишь бы ей все это не приснилось, но записка, оставленная Трайковым на столике, окончательно убедила ее в том, что экипаж в самом деле прилетел. Прислонившись к столику, стоял легкий бластер. После стольких дней одиночества, наполненных неизвестностью, страхом и горем, появление даже одного человека было бы величайшим счастьем для нее.

А эти четверо, они, конечно, размотают запутанный клубок случившегося на Отшельнике. Даже если и нет... Придет «Варшава» с ее фантастической техникой, с ее тысячами людей...

Привычным, заученным жестом она поправила прическу, некоторое время постояла у окна, вдыхая полной грудью запахи травы и леса. Потом, закинув за плечо бластер, не спеша пошла к Центральной, срывая на пути травинки. Как красиво стало вокруг от того, что появились люди.

Она легко взбежала на крыльцо Центральной и прошла по кольцу в пульт управления связи. Ей очень хотелось вызвать по радио Эрли и Ника, но мысль, что она может оторвать их от чего-то важного, остановила ее. Проверив настройку приемников и передатчиков, Эва отошла к окну, любуясь панорамой парка.

Что-то заставило ее оглянуться. Не было ни скрипа, ни движения воздуха, ни звука, но она почувствовала всем своим существом чье-то присутствие. Так уже было, когда она осталась одна... Мышцы сковал страх. Нужно было повернуться, но она не могла этого сделать. Все замерло. «Повернись, оглянись», — шептало что-то в ней самой. И она повернулась.

В кресле перед пультом, стоящем к ней спинкой, виднелся бритый затылок человека. Этого человека, вернее — этот затылок, она узнала бы среди тысяч других. Это была голова

Филиппа Эзры. В дверь, не открывая ее, вошел Юмм. Они всегда появлялись вдвоем. По движениям губ было видно, что они о чем-то говорят, но звуков не было слышно.

Руки Эвы прилипли к подоконнику. Эзра оглянулся, но взгляд его прошел сквозь девушку. Он не видел ее. Юмм подошел к креслу. В руках у него был рулон не то чертежей, не то рисунков. Он развернул его и что-то сказал Филиппу. Тот отрицательно покачал головой. Тогда Эзра встал с кресла, они оба отошли в сторону, растянули между собой лист и несколько минут продолжали так стоять, словно демонстрируя что-то невидимым зрителям. Потом рулон был свернут. Юмм показал рукой на дверь. Эзра приподнял руку и пошел к окну.

Эва дико закричала и отскочила в сторону, но они не обратили внимания на ее крик. Филипп Эзра подошел к окну, что-то там высматривая, потом сожалеюще чмокнул губами и отрицательно покачал головой. Юмм нетерпеливо переминался с ноги на ногу у двери.

Затем они оба прошли через закрытую дверь, причем Юмм сделал движение, как будто открывал ее, но она даже не скрипнула.

Несколько секунд Эва стояла неподвижно, пытаясь разобраться в своих мыслях. Может ли сумасшедший понять, что он сумасшедший? Потом она бросилась к карманной радиостанции и вызвала Эрли.

— Эрли! Ты существуешь?!

...Нет. Он не верил, что мертвые Эзра и Юмм могут ходить по Центральной. А разве она сама поверила бы в это, если бы была здорова? Разве кто-нибудь поверит в это?

Она взяла в руки бластер, блестящую легкую игрушку, и провела по дулу холодной ладонью.

15

Женщина смотрела на них, ничем не выражая своей радости или удивления. Вирт открыл дверцу винтолета и, высунувшись наружу, крикнул:

— Оза! Это я, Генри! Оза! Это я, Генри!

Каких-то десять сантиметров прозрачного пластика разделяло их.

— Свен, надо где-то прорезать купол огнеметом. Иначе мы туда не попадем.

Свен отвел винтолет на несколько метров вдоль стены. Генри вытащил из багажника еще один огнемет. Но стрелять

было нельзя. Фигура женщины передвигалась следом за ними. Огромные голубые глаза внимательно следили за их действиями. Но она ни одним жестом не показала, что узнала Генри или Свена. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она только медленно перебирала по стене руками, двигаясь как заведенная кукла.

— Свен, давай к вершине купола! Иначе она не даст нам прорезать стену. С ней что-то случилось!

Винтолет поднялся к вершине купола, но стрелять все равно было нельзя. Женщина стояла прямо под ними.

— Свен, я обвяжусь поясом и спущусь на тросе с огнеметом, а ты разворачивай винтолет в другую сторону. Она не сможет сразу находиться с двух сторон купола. Или ты, или я успеем проделать отверстие.

Вирт заскользил по гладкому куполу вниз и остановился на уровне пола. Женщина подошла к нему. Оза! Оза! Какая она стала худенькая! Лишь огромные глаза такие же живые. Но почему она не узнает его? Почему не подает знака, что рада видеть его?

В это время с противоположной стороны несколькими выстрелами Свен прожег в пластике дыру, достаточную для того, чтобы в нее смог пролезть человек. Винтолет снова поднялся на несколько метров, и Свен втянул Вирта в кабину.

Через минуту Генри был внутри купола, а Свен остался ждать в машине, держа наготове бластер, потому что слизистые мешки начали подпрыгивать вверх.

— Оза! — сказал Генри, ласково дотронувшись пальцами до ее лица. — Почему ты молчишь? Разве ты не рада? Почему ты молчишь? Что здесь произошло?

— Я ждала, — сказала женщина, — что сюда кто-нибудь придет. Стап, уходя, пообещал, что сюда кто-нибудь все равно придет.

«Оза ждала ребенка,— подумал Свен. — Неужели Генри не замечает, что у нее вполне нормальная фигура?»

Но Генри заметил. Заметил еще раньше, когда увидел ее прилипшей к стене купола.

— Оза, что случилось с нашим ребенком?

— Не понимаю, — сказала женщина.

— Что с тобой?

— Со мной? Ничего. Я очень долго ждала вас. Одна. Когда Стап уехал, он заварил входную дверь снаружи, чтобы в минуту отчаяния я не могла выйти и покончить жизнь само-

убийством. Но у меня и не возникало таких мыслей. Я наблюдала за ползунами и мешками.

— Оза, когда ушел Стап? На чем он ушел?

— Пять лет назад. Он был очень добр ко мне.

— Как пять лет?

— У меня все записано. Мы поддерживали с ним связь около часа. Потом он замолчал. Я думаю, он умер.

— Оза!

— Не-ет. Я не Оза. Она умерла восемнадцать лет назад. Я ее даже и не помню. Я покажу вам, где ее похоронили.

— Оза, что с тобой? Очнись! — Генри тряхнул хрупкую фигурку за плечи, но она сняла его руки со своих плеч и сказала:

— Стап говорил, что Оза все время кого-то ждала.

— Кого?

— Генри Вирта... Он говорил, что она очень ждала.

— Я — Генри Вирт. Я понимаю, ты устала за эти дни. Это, наверное, были ужасные дни. Но теперь все кончилось. Очнись! Оза! Встряхнись! Мы полетим на Центральную. Оза, не смотри на меня так.

— Я уже говорила, что я не Оза. Меня зовут Сеона.

— Сеона? Но ведь именно так мы хотели назвать свою дочь! Оза, ты немного больна. Но это скоро пройдет. Нам нужно торопиться. Скоро зайдет солнце. Что ты хочешь взять с собой?

— Солнце? Нет, оно зайдет еще не скоро. Оно зайдет через полгода. Я читала в книгах, что солнце садится каждые двадцать четыре часа. А когда оно садится, все люди ложатся спать. Но здесь все по-другому. Здесь день длится полтора года. Смешно, правда? День больше года. А потом на полтора года наступает ночь, и здесь все замерзает... и темнота. После этого ползуны и мешки кажутся такими приятными. Хочется поиграть с ними. Да, ночью мне было иногда плохо. Особенно когда уехал Стап. Бедный, он погиб через час. Я так думаю.

Генри умоляюще повернулся к Свену, как бы говоря: «Не обращай внимания, это она так». Свен так же молча кивнул ему, что означало: «Хорошо. Садитесь в машину, и полетим назад».

— Что ты хотела взять с собой, Оза? Мы сейчас полетим.

— Сеона...

— Ну хорошо. Сеона. Так что же?

— О, я хотела бы взять все. Ведь у меня на Центральной нет ничего. Я там ни разу не была. А мне всегда так хотелось

побывать там. Но я не буду брать много, ведь вы, наверное, спешите? Несколько платьев. Хотя нет, они все равно уже износились. Я возьму вот эту книгу, комбинезон. Он еще почти новый. А тебе Стап просил передать вот это, — она сняла с руки кольцо, у которого вместо камня было небольшое, на одну минуту разговора, запоминающее устройство. Это кольцо Генри когда-то сам подарил Озе. — Стап сказал, что это очень важно. И еще, пожалуйста, поднимите вот этот чемодан. В нем записи некоторых приборов и просто бумаги. Он стоит запечатанным столько лет, что я не верю, будто его когда-то открывали. Но Стап сказал, что это будет интересно людям, которые сюда придут.

Генри поднял ящик, поднес его к стене и передал Свену. Потом повернулся к Озе. Как она изменилась с тех пор, когда он видел ее в последний раз! Она стала совсем худая. И черты лица слегка изменились, заострились. Что она ему тут наговорила? Ведь это значит, что она сошла с ума... Бедняжка. Сколько нужно пережить, чтобы это произошло?

— Оза... Сеона, ничего не бойся, — он прижал ее к своей груди. — Все будет хорошо.

— Я не боялась и раньше. Я всегда ждала людей. А теперь, когда вы пришли, я совсем ничего не боюсь.

Они подошли к проему в куполе. Генри осторожно поддерживал хрупкую фигуру Озы-Сеоны. Сердце его и радовалось и разрывалось от горя на части.

— Свен, помоги ей, — сказал он. Но Свен и без того уже протягивал руки, чтобы принять женщину.

Когда винтолет оторвался от купола, Генри схватил огнемет и выпустил весь запас горючей жидкости по копошащимся внизу ползунам и мешкам.

— Зря ты это, Генри, — сказал Свен.

— Знаю, — коротко ответил Вирт.

— Да, это вы зря, — сказала Оза. — Они столько лет развлекали меня.

— М-мм, — замычал Генри и сжал голову руками.

Внизу снова расстилалась ненавистная грязно-зеленая сельва.

Свен вел винтолет на предельной скорости. Надо было скорее добираться до Центральной. Они и так опаздывали на два часа к сеансу связи. Эрли и Ник сейчас думают черт знает что.

— Что же здесь все-таки произошло? — спросил Генри. У него язык не поворачивался называть ее Сеоной.

— Я этого не знаю. Это было еще до меня. Но Стап рассказывал, что была буря. Страшная буря. И сельва прорвалась к нам. Их тогда на базе было четверо. Пилот Юргенс погиб сразу. Они даже не могли вытащить из винтолета его останки. Потом умерла Оза, — при этих словах Генри сжался в комок. — Был еще один человек. Его звали Вытчек, но я его тоже не помню. Он сказал, что тело Озы будет похоронено по-человечески, что ползунам до него не добраться. И они похоронили ее. Только после этого Вытчек уже не вернулся. Стап не смог сдержать ползунов. И мы остались вдвоем. Потом ушел и Стап. Он хотел прорваться к Центральной. Лучше бы он ушел зимой. А он ушел в самый разгар лета, когда солнце уже полгода не заходило за горизонт.

— Опять солнце, — прошептал Генри.

— Возьми себя в руки, — тихо сказал ему Свен.

— Да, солнце...

Через минуту Свен сказал Генри:

— Между прочим, солнце за эти четыре с половиной часа действительно не сдвинулось с места ни на йоту.

— И ты тоже, — устало прошептал Генри. — Но у тебя-то на это нет причин.

— Можешь убедиться сам.

Но Генри не сдвинулся с места, только крепче прижал к себе Озу.

— Как приятно тепло человеческого тела, — сказала она.

Винтолет приближался к полупрозрачной пелене воздуха.

16

Эрли бежал по кольцевому коридору, когда впереди раздался выстрел. Стреляли в отсеке связи. Там находилась только Эва. Неужели она не выдержала?

Эрли подскочил к двери и остановился. В двери зияла дыра, противоположная стена коридора тоже была разворочена. Эрли осторожно потянул ручку двери. В отсеке было тихо. Он осторожно сделал шаг вперед и сказал шепотом:

— Эва, это я — Эрли.

Ему никто не ответил.

Он сделал еще несколько шагов. Перед ним стояла Эва с бластером в руке. Она медленно опустила бластер, и он с грохотом упал на пол.

— Эрли, ты должен увезти меня отсюда. Еще немного, и я не выдержу.

— Я не имею права.

— А если бы... ты бы хотел этого. Лэй все время говорила о тебе. Но она не любит тебя. Нет. Мы были подругами. И она мне все рассказывала. Все. Достаточно много, чтобы я стала думать о тебе. Я знала, что ты прилетишь. И я ждала тебя. Может быть, Лэй сделала это нарочно, чтобы кто-то любил и тебя. Она была добрая. Ей самой ничего не надо было.

— Я всегда делал то, что она хотела. А она ничего не хотела для себя, — сказал Эрли. — Я бы увез тебя отсюда, если бы это было возможно.

Она подбежала к нему, обхватила его плечи своими руками и, заглядывая снизу в лицо, сказала:

— Правда, Эрли?

Эрли чуть отстранил ее от себя и сказал:

— На Центральной находятся какие-то чужие люди. Несколько минут назад мне об этом сообщил Ник. Он сейчас за ними наблюдает.

— Ты не поверил мне про Эзру и Юмма. Так ведь?

Он кивнул головой.

— А я только что стреляла в них. Но они ушли. Они вроде теней.

— Хорошо, Эва. Когда-нибудь мы выясним, что это было такое. Садись за радиостанцию. Через полчаса должна быть связь с Виртом. А я свяжусь с Ником.

Эрли вызвал Трайкова. Тот сразу же откликнулся, словно ждал его:

— Эрли! Где ты сейчас?

— В помещении пульта связи. Где эти люди?

— Часть на крыше пятого накопителя. Что они там делают, я не могу понять. Остальные поехали к шестому.

— Поехали? На чем?

— У них что-то вроде вездехода.

— Я не знаю, что делать. Ник. Оставаться тебе там или возвращаться сюда. Если бы знать, что они затевают, вообще кто они такие...

— Я пока останусь здесь. Если что, вызову тебя... Одно могу сказать твердо, это не наши, своих я всех знаю.

— Ну хорошо. Будь осторожен, Ник.

Эрли выключил радиостанцию и сказал устало:

— У меня голова идет кругом. И нет времени как следует во всем разобраться. Если это вообще возможно.

— Я понимаю, Эрли, — сказала Эва.

В эту же минуту его вызвал Вирт.

— База уничтожена, — спокойно заговорил Генри. — Практически уничтожена. Там все разрушено.

— Люди?

— Одна... Оза, — сказал Генри шепотом.

— Почему ты говоришь так тихо?

— Она сидит рядом. Эрли, я не могу об этом говорить громко.

— Что с остальными?

— По-видимому, их уже нет в живых. Во всяком случае, Юргенса. Мы его видели.

— Генри, возвращайтесь скорее. Когда будете подходить к Центральной, обогните ее с юга и заходите на посадку над самыми деревьями, прямо к центральному подъезду.

— Понял, — ответил Свен.

— Дело в том, что на Центральной появились какие-то люди. Кто они, я не знаю. Ник наблюдает за ними. Лучше, чтобы они вас не видели. Поняли?

— Слишком много загадок за один день, — сказал Свен.

— День еще не кончился.

— Ну хорошо, через двадцать минут мы будем у вас, — сказал Генри. — Отключаюсь.

Эрли передал микрофон Эве.

— Ну вот... Они нашли Озу. С ней тоже что-то произошло. Генри даже не хотел при ней говорить вслух. А троих уже нет.

Эва медленно поднялась с кресла, глядя в сторону Эрли. Тот удивленно посмотрел на нее. Что случилось? Девушка подняла правую руку и зажала ею рот, сдерживая крик ужаса. Эрли подошел к ней, чувствуя за спиной неприятный холодок. Он медленно повернулся и почувствовал, как зашевелились волосы на голове, а тело сковал липкий страх.

Дверь помещения была закрыта, а из нее высовывалась фигура Филиппа Эзры. Он словно стоял на пороге в раздумье. Потом он решительно вошел в комнату и направился к передатчику. Эрли подтолкнул Эву в сторону, но она вцепилась в его плечо побелевшими пальцами. А он и сам готов был сейчас вцепиться в кого-нибудь, чтобы избавиться от сковавшего его страха.

Эзра сделал несколько переключений на лицевой панели передатчика — ни одна ручка, ни один тумблер не сдвинулись с места, — но Эзра манипулировал ими так, словно действительно что-то переключал. Потом он протянул руку к микрофону и поднес ее ко рту, держа пальцы так, словно в руке действительно был микрофон. Но тот остался на столике. Сказав несколько слов в воображаемый микрофон, Эзра, по-видимому, не получил ответа и бросил его на столик. Несколько секунд он стоял, облокотившись на спинку кресла, барабаня пальцами по панели передатчика. Его действия не сопровождались ни единым звуком. Затем он погладил лысый череп ладонью и несколько раз прошелся по комнате, заглядывая в открытые окна.

Эрли стоял, затаив дыхание. Да, это был самый настоящий Филипп Эзра. Лысый. С большой головой. В неглаженых, как всегда, брюках. В широкой, свободной блузе с большим вырезом на шее. На ногах зеленые ботинки, которые он не снимал даже на пляже.

Эзра словно ожидал кого-то. Но кого? И вообще, каким образом он мог возникнуть, появиться, если Эва и Эрли уже видели его останки?

За дверью словно кто-то позвал его, он что-то беззвучно крикнул и тут же вышел через закрытую дверь.

— Эрли, — прошептала Эва. — Это последнее. У меня не было никогда галлюцинаций.

— Это не галлюцинации. Это действительно был он. Сначала я подумал, что мне конец... сумасшествие. А теперь я думаю, что это действительно было. Я пойду за ним.

— Эрли, а я?

— Эва, ты будешь сидеть здесь. С минуты на минуту прилетят Свен и Генри. Пусть сразу же идут сюда. Им и Нику пока ничего не рассказывай. Я очень быстро вернусь.

Он открыл дверь и выглянул в коридор. Фигура Эзры мелькнула в левой его части, которая вела к выходу. Стараясь не шуметь, Эрли быстро двинулся в ту же сторону, прошел через несколько коридоров и подземных переходов. Его всюду сопровождала полоска вспыхивающих светильников, а Эзра шел в темноте и прекрасно ориентировался.

Так они дошли до эскалатора, ведущего в главный пульт управления, и поднялись наверх. Дверь по-прежнему была открыта, как ее и оставил Эрли, но Эзра сделал движение, словно открывал ее. Внутрь они вошли друг за другом. Эрли ожидал увидеть здесь Юмма и не ошибся. Вместе Эзра и Юмм начали делать какие-то вычисления на математической машине, надавливая клавиши и перебивая друг друга, но, Эрли это ясно видел, клавиши не двигались.

Потом они развернули рулон бумаги, на нем была изображена какая-то инженерная схема.

Эрли, закусив губу, дотронулся до локтя Филиппа Эзры. Рука прошла через пустое место, не встретив сопротивления.

С юга донесся приглушенный звук приближающегося винтолета. Не оборачиваясь, Эрли вышел из главного пульта.

17

Свен посадил винтолет чуть ли не на ступеньки подъезда Центральной станции. Оза удивленно оглядывалась, не решаясь выйти из машины. Генри спрыгнул на траву и помог ей спрыгнуть на землю. Яркое солнце, опускающееся к закату, мягкая зеленая трава, разбросанные в беспорядке яркие цветы, тенистые кроны деревьев. Оза с восторгом прошептала:

— Я читала, что такое есть, что такое бывает. Но я не представляла, как это чудесно.

Генри обнял ее за плечи и повел вверх по ступеням. Свен повесил за спину два бластера и последовал за ними.

В коридоре, ведущем к отсеку связи, они встретили Эрли.

— Я рад, Генри! — он пожал руку женщине. — Здравствуй, Оза!

— Я — Сеона. Ведь Оза умерла.

Эрли мельком взглянул на Генри и, кажется, все понял. Генри стоял, опустив голову и держа Озу за руку.

— Ну хорошо. У нас мало времени. Пойдемте в отсек связи. Нам надо высказаться и решить, что же делать дальше.

Свен вошел в пульт связи раньше других и предупредил Эву, что женщина хочет, чтобы ее называли Сеоной. Когда они тоже вошли, Эва поднялась им навстречу и сказала просто:

— Здравствуй, Сеона!

— Здравствуй...

— Меня зовут Эва. Это — Эрли. Ну а других ты уже знаешь.

— Эва. Это очень красиво. Что мне сейчас делать?

— Сеона, тебе понравится смотреть в окно, — сказал Генри. — Я уверен. — Он осторожно отвел ее к окну и усадил в кресло. — Смотри, как там красиво! И нет никаких ползунов и мешков.

Оза затихла в кресле.

Эрли вызвал Трайкова. У него ничего существенного пока не произошло. Эрли попросил его оставаться на месте, но по радио принимать участие в их разговоре.

После этого каждый кратко рассказал о том, что он видел, слышал, какие у него возникли мысли, предположения. Причем по предложению Эрли особое внимание уделялось самым странным, самым необъяснимым моментам.

— Прошло пять часов как мы сели на Отшельник, — сказал Эрли. — Здесь все странно и непонятно. Но я уверен, что у каждого есть какая-то гипотеза, предположение. Кто выскажется первым?

— Прошло семь с половиной часов, — поправил его Свен.

— Нет, прошло пять часов, — жестом остановил его Эрли. — Это нетрудно установить. Так кто первый?

— Ты, Эрли, и начинай.

— Нет. Я буду последним. Начни ты, Генри.

Вирт несколько секунд помолчал, потом сказал:

— Я не знаю, отчего умерли Эзра и Юмм и что повлекла за собой их смерть. Но на базах просто прорвалась сельва. Был какой-то ураган, разрушивший установки запрета и здания, а остальное докончила прорвавшаяся сельва. Так, во всяком случае, произошло на второй базе. Уверен, что и на всех остальных.

— Одновременно? — спросил Эрли.

— Не думаю, — ответил Генри. — Ураган захватывал одну базу за другой.

— Ураган на всем Отшельнике? — удивился Свен. — Маловероятно. Здесь никогда не было даже сильного ветра.

— На нашей памяти действительно не было. И тем не менее ураган был, — возразил Эрли. — Я видел, что творится вокруг территории Центральной. Завалы высотой в сотню метров. Ураган шел с севера, и, судя по этому завалу, буря была страшная, и она могла пронестись на много тысяч километров к югу. И образоваться ураган мог за несколько тысяч километров от Центральной. Поэтому предположение о том, что базы были разрушены ураганом, мне кажется, объясняет многое. Хотя бы то, что в противном случае люди могли бы добраться до Центральной на винтолетах. Однако этого никто не сделал. Ураган был. Это факт. Не ясно только, почему он возник. Что ты еще можешь сказать, Генри?

— Больше ничего. Ураган и сельва. Никто не был готов к этому.

— Хорошо. Свен, ты.

— От Центральной до второй базы я насчитал четыре энергетических барьера. На обратном пути при прохождении

каждого нас выплевывало, как пробки из воды. Видимо, барьеры экранируют электромагнитные волны. Поэтому базы не смогли связаться друг с другом и с Центральной.

— Связь прекратилась сразу же после того, как что-то произошло в главном пульте, где были Эзра и Юмм, — вступила Эва. — Потому что, когда я спустилась сюда и попыталась с кем-нибудь связаться по радио, мне уже никто не ответил.

— Получается, что энергетические барьеры возникли одновременно с началом урагана или чуть раньше, — высказался Свен.

— Пожалуй, одновременно, — донесся из динамика голос Николая. — Иначе они успели бы эвакуироваться на Центральную. Но что-то им помешало. Ураган?

— Да, я слышала, как Эзра, когда еще был жив, требовал, чтобы все немедленно возвращались на Центральную.

— Так, значит, был приказ о немедленной эвакуации! Почему ты раньше не сказала? Значит, некоторые уже знали, что будет катастрофа!

— Это было, когда я выходила из помещения главного пульта.

— Значит, сигнал о немедленном возвращении они получили одновременно, — сказал Свен. — А ураган шел с севера. Тогда почему же не успели эвакуироваться базы, расположенные ближе всего к Центральной, особенно южные? Нельзя же предположить, что ураган возник везде одновременно.

— Нет, нельзя, Свен. Я видел завалы. Они только с северной стороны. Значит, ураган шел с севера.

— Тогда надо предположить, что скорость его распространения была несколько тысяч, даже десятков тысяч километров в час. В это я не могу поверить.

— И все же придется, Свен, — сказал Эрли. — Только так можно объяснить, почему, получив сигнал немедленного возвращения, они не успели взлететь.

— Но зато ничто не может объяснить такую скорость распространения урагана.

— Согласен. Но я бы придерживался именно такой версии, — сказал Эрли. — Итак, сразу же после того, как Эзра послал на базы сигнал о немедленном возвращении, возникли энергетические экраны, начался ураган и немедленно сельва прорвалась на все базы. Что ты еще можешь сказать, Свен?

— Мне непонятен один момент. Но это относится к нам. Мы были в полете почти шесть часов. Я рассказывал, что мы делали на второй базе. Этого нельзя было сделать за полчаса.

— Иногда человек делает столько за час, сколько в другое время он не сделал бы и за сутки, — начал Эрли, но Свен его перебил.

— Хорошо. Запишем это в раздел не поддающихся объяснению явлений. И еще. Пока мы были там, солнце за два часа не сдвинулось с места ни на одну угловую секунду.

— Секунду ты бы не заметил.

— Ну это я так. Короче, оно не сдвинулось с места.

— Солнце не заходит там полтора года, — тихо сказала Оза, не повернув головы и продолжая смотреть в окно. — Я же вам говорила.

Все замолчали.

— Свен, — сказал Генри, — лучше скажи, что это тебе показалось. Так будет лучше.

— Это мы учтем, — сказал Эрли. — Но это ничего пока не объясняет. И ничем само не объясняется. Что еще, Свен?

— Пока ничего.

— Эрли, признайся, что ты считал меня немного не в себе, когда я говорила об Эзре и Юмме.

— Да, я не верил, что такое может быть на самом деле.

— Может быть, и Свен и Сеона говорят правду. Может быть, это им не показалось.

— Я очень прошу вас, — тихо произнес Генри.

— Эва, теперь ты.

— После того как я увидела останки Эзры и Юмма и осталась одна, я несколько раз встречала их самих. Они ходят по Центральной. Особенно часто они появляются в помещении отсека связи, то есть здесь... Я сегодня даже стреляла в них. Не выдержали нервы. Заряд прошел сквозь Эзру, пробил дверь и стену в коридоре, но он спокойно ушел. Эрли видел их тоже.

— Да, я их видел, — подтвердил Эрли. — Но я не могу объяснить, что это такое. У тебя все, Эва? Пусть тогда скажет Ник.

— Я проверял накопители энергии и увидел их возле пятого накопителя. Они и сейчас там. Я их отчетливо видел. Похоже, они что-то монтируют. Совершенно точно, что они не имеют никакого отношения к тем людям, которые здесь жили и работали раньше. Они все очень смуглые и поджарые, у каждого за спиной какое-то оружие. И еще у них есть вездеход.

Он не похож на наш. У него две башни, и из каждой торчит по несколько стволов.

— Что ты думаешь обо всем этом?

— Я предположил, что это какие-то пришельцы. На Отшельнике нет разумной жизни. Даже чего-нибудь близкого к ней. Нет млекопитающих вообще. Значит, они откуда-то прилетели. Может быть, это те, которые были здесь до нас? Они выжидают, когда все люди разлетятся по базам, создают между базами энергетические барьеры, чтобы прервалась связь по радио. Если они в силах создать такие мощные силовые поля, то они могут создать и невиданный ураган, который и разрушил базы. Дальнейшее делает сама сельва. Планета чиста, и вдруг прилетаем мы, когда они уже считают себя хозяевами. И теперь они снова что-то замышляют. Может быть, они хотят взорвать накопители энергии. Тогда на сотни километров вокруг ничего не останется. Вот какая у меня смешная гипотеза.

— Гипотеза интересная. Но почему бы им не уничтожить нас более простым способом? Просто расстрелять из своего оружия.

— Не знаю. Может быть, их слишком мало, и они боятся. Может быть, они не выносят вида крови. Я же сделал только предположение.

— Да, Ник, в твою гипотезу укладывается наибольшее количество фактов. Но не все. Остаются Эзра и Юмм, неподвижное солнце и разность в ходе часов.

— Эрли, но ведь здесь могут происходить два разных события, никак не связанные друг с другом, — сказала Эва. — Разность в ходе часов может быть вызвана чем-нибудь другим.

— Ну а то, что в помещении главного пульта все превратилось в пыль? Примерно на десять-двадцать метров в обе стороны от условной линии экватора. Ведь там все как будто за эти несколько дней прожило столетия. Я проверил все до самой границы установок запрета. Это тоже не входит в гипотезу Ника.

— Я же не претендую на абсолютную истину...

— Я понимаю, Ник.

— Может быть, здесь все-таки происходят два события, — сказала Эва.

— Да, придется пока так и считать. Меня только смущает факт, что они совпали во времени. Они должны быть как-то связаны.

18

Эва кипятила чай и делала бутерброды прямо в помещении пульта связи. Все уже давно не ели. Оза оставалась у окна. Иногда Эва вступала с ней в разговор, но он очень быстро заканчивался. Эва несколько раз садилась напротив нее на подоконник и украдкой разглядывала. Она и раньше знала Озу. Внезапно возникшее предположение не давало ей покоя, но она боялась высказать его вслух. Что-то ее удерживало.

В противоположном углу помещения Эрли разбирал содержимое ящика, привезенного со второй базы. Эрли стопку за стопкой перекладывал диаграммы. Бумага часто ломалась, и он действовал очень осторожно. Если бы даже все регистрирующие приборы на второй базе работали день и ночь, то и в этом случае неоткуда было взяться такому количеству документов. Это сразу бросилось ему в глаза. Он все перекладывал пачки графиков, надеясь найти что-нибудь вроде письма, какого-нибудь объяснения. Ящик был уже почти пуст, но ничего подобного он так и не нашел. Тогда он начал развязывать пачки, и первая же из них выпала у него из рук. В углу каждой диаграммы стояла дата. Но это были очень странные даты. Первая попавшаяся гласила: «2195-й день со дня катастрофы». Он начал перебирать всю пачку и наконец дошел до 20-го дня. Более ранних дат на диаграммах не было. В одной пачке были записи скорости ветра, в другой — температуры, в третьей — давления, затем ускорения времени для двух датчиков, разнесенных всего на десять метров. Это же было ничтожное расстояние для такого исследования.

Здесь были такие цифры! Особенно в первые дни. Да, в первые... Потому что из диаграммы было совершенно очевидно: на второй базе с момента катастрофы прошло не менее пятнадцати лет. Потом записи обрывались. Не было и записей первых дней, видимо, потому, что люди боролись с сельвой за свое существование. Они выжили, и их труд сейчас помогал Эрли разбираться в происшедшем здесь.

Теперь многое встало на свои места. Теперь ясно, почему Свен утверждал, что солнце за время их пребывания на второй базе не сдвинулось ни на одну дуговую секунду. Ясно, почему они утверждали, что пробыли в полете шесть, а не четыре часа. Они могли пробыть на второй базе несколько дней, а по возвращении узнали бы, что на Центральной прошло все равно четыре часа. Потому что за одни сутки, за один оборот Отшельника вокруг своей оси на широте второй базы проходило полтора года.

— Эва, — позвал он девушку.

Она подошла к нему и села рядом.

— Эва, все, что говорила Сеона, правильно. Она действительно прожила там двадцать лет. Ты удивлена?

— Я не поняла. Но вот что я тебе скажу. Эта девушка не Оза.

Теперь Эрли удивленно посмотрел на нее.

— Она очень похожа на Озу. Удивительно похожа. Но это не Оза. Генри был слишком взволнован встречей с ней, ведь это было просто чудом, что она осталась живой, а потом тем, что Оза, как он думал, лишилась рассудка. Он скоро и сам заметит разницу... Так, говоришь, она прожила там двадцать лет? Когда я поняла, что это не Оза, я подумала: может быть, те, чужие, для каких-то своих целей воспроизвели Озу, жену одного из оставшихся в живых людей. Другого я не могла придумать. А раз ты говоришь... Значит, это дочь Озы. И все, что она говорит, правда.

— Да, кое-что проясняется. Но много и темных мест. Эва, введи в математическую машину эти данные и программу об ускорении времени на разных широтах Отшельника. Кажется, получится что-то ужасное. Я сейчас спрошу у Генри, где они пересекли энергетические пояса. Может оказаться, что это никакие не энергетические пороги или барьеры. Как ему рассказать все это?

Эрли выбежал из отсека связи и, пробежав несколько комнат, открыл дверь лаборатории записи информации. Генри должен был прослушать здесь записи переговоров с Центральной, сделанные, когда они несколько раз пересекали энергетический барьер.

Генри сидел, уронив голову на монтажный столик. Вокруг него валялись запоминающие кристаллы и магнитная проволока, крутилась пустая кассета магнитофона.

— Генри, — тронул его за плечо Эрли, — я хочу тебе сказать... Ты должен быть мужественным... Это не Оза, Генри.

Вирт поднял бледное, уставшее лицо и несколько раз кивнул головой:

— Я уже знаю, Эрли. Это моя дочь. Сеона. В кольце Озы был запоминающий кристалл. Это кольцо мне передала Сеона. Оза мне все рассказала. Правда, наша встреча длилась всего одну минуту.

— Здесь, Генри, все кого-то или что-то потеряли.

Эрли постоял еще мгновение, молча вышел, но тотчас же вернулся:

— Я хотел спросить тебя, Генри, на каких широтах вы пересекали энергетические барьеры?

Генри назвал широты и добавил:

— Только это были не энергетические барьеры.

— Догадываюсь.

— Это были границы областей, в которых время течет поразному. Чем дальше от экватора, тем оно течет быстрее. Слушай.

Он остановил крутящуюся кассету, вставил в нее проволоку и снова включил магнитофон. В комнате раздался резкий высокий вой.

— Это самая нижняя частота голоса Ника. А теперь слушай.

Он переключил скорость. Из динамика донеслось:

— Вызываю Вирта! Я — Трайков. Вызываю Вирта! — Слова повторялись много раз. — Что у вас произошло?

— За первым порогом время течет в двадцать раз быстрее, чем у нас. Во сколько раз оно быстрее за вторым, не знаю. На второй базе оно течет в пятьсот раз быстрее.

— Вот почему вас прижимало на каждом пороге. Время течет быстрее, и поэтому нужно иметь большой импульс энергии, чтобы попасть в него. Вот почему без всякой видимой причины перевернулась «Фиалка». У нее был слишком маленький импульс энергии, — рассуждал Эрли.

— Что мы теперь будем делать? — спросил Вирт.

— Я передам эти данные Эве, она введет их в вычислительную машину. Когда мы получим результат, то сообщим обо всем Свену и Нику. А что ты скажешь Сеоне?

— Я дам ей послушать вот это, — ответил Генри и разжал ладонь, на которой лежало кольцо с камнем. Он взял в другую руку небольшой аппарат для записи и считывания с кристаллов, и они оба вышли в коридор.

Эрли передал Эве необходимые для решения задачи данные. Генри сел рядом с Сеоной. Она улыбнулась ему. Было видно, что она чувствует себя неловко, как каждый человек, очутившийся пусть среди хороших, но все же незнакомых людей.

— Сеона, — сказал Генри, — я не буду тебе ничего объяснять. Меня зовут Генри Вирт. Послушай это. — Он вставил кольцо в зажим и включил аппарат. Раздался печальный тихий голос:

— Здравствуй, Генри. Любимый мой...

Эрли взял Эву за руку, и они вышли из зала.

— Я хотел выяснить возраст останков Эзры и Юмма, — сказал Эрли. — Это нужно сделать обязательно.

— Я могу помочь тебе.

— Нет. Я это сделаю один. Это не очень сложно. Только я не знаю, где находится лаборатория.

— Эрли, тебе придется пройти в северное крыло по этому коридору. Там есть табличка.

— Эва, скоро будут готовы результаты вычислений. Проследи.

— Сейчас мне неудобно входить туда. Я провожу тебя.

— Чудачка. Тут и провожать-то некуда. Все рядом.

— Все равно.

Они успели пройти несколько десятков шагов, когда открылась дверь, из которой показалась голова Генри.

— Куда вы ушли? — крикнул он им вдогонку.

— Иди, Эва. Я скоро вернусь.

Эрли шел по коридору неровными шагами, иногда запинаясь от усталости. Там, где коридор пересекал линию экватора, он не утерпел и заглянул в инженерный зал. Он знал, что увидит там, и не ошибся. Этому залу тоже было несколько сот лет. Всюду лежала столетняя пыль. Метрах в двухстах дальше по коридору он отыскал нужную лабораторию и взял в руки небольшой приборчик. Затем на эскалаторе поднялся на верхний ярус Центральной, несколько секунд постоял возле прозрачного купола, пытаясь разглядеть фигурки Свена и Ника на четвертом накопителе, но ничего не увидел.

В главном пульте ему встретились все время о чем-то спорящие Эзра и Юмм. Но он на них уже не обращал внимания. Они жили в каком-то ином измерении времени.

Анализ останков двух людей показал, что они умерли полторы тысячи лет назад. Через пять минут Эрли был в зале связи. Генри в зале не было. Оказывается, его вызвал к себе Свен. Неизвестные что-то затевали. Генри уехал к четвертому накопителю на втором вездеходе.

Эва встретила его в страшном замешательстве.

— Эрли! У них на двадцатой базе прошло около шестисот лет. Их давно уже нет в живых...

19

Свен и Ник вскочили в лифт и понеслись вниз. Николай на ходу передал:

— Эрли! Появился их вездеход. Они спускаются с накопителя. Впечатление такое, что они сейчас двинутся к Центральной. Мы тоже спускаемся к вездеходам.

— Отступайте к Центральной. Постарайтесь, чтобы они вас не обнаружили.

Но их уже обнаружили. Двухбашенный вездеход с десятком дул, нацеленных в разные стороны, внезапно выскочил из-за четвертого накопителя. Генри бросил свою машину вперед, наперерез, чтобы дать возможность Свену и Нику укрыться за ее броней. Неизвестные, очевидно, не ожидали встреч с кем-либо, и их вездеход резко остановился, закачавшись на рессорах. Генри проехал вперед. Тяжелый бластер лежал у него рядом на сиденье, но на ходу он все равно не смог бы им воспользоваться. Вездеход не был боевой машиной.

Неизвестные несколько минут никак себя не проявляли. Словно в их вездеходе никого не было. Все было тихо. За это время Свен успел поставить свою машину рядом с машиной Генри. Затем вездеход продвинулся немного вперед. То же самое проделали Свен и Генри. Расстояние между машинами сократилось до нескольких метров. Николай обо всем происходящем передавал Эрли.

— Отступайте назад, к Центральной! — кричал Эрли.

— Но тогда они подойдут туда вместе с нами, — ответил Ник.

— Пусть подходят! Здесь нас будет в два раза больше.

— Хорошо.

Неизвестные не проявляли агрессивных намерений. Наоборот, одно за другим исчезли из башен дула неизвестного оружия. Затем один из люков вездехода открылся, и из него показался человек с бронзовой кожей, золотящейся в лучах заходящего солнца. Он что-то крикнул, но слов нельзя было разобрать.

— Эрли, нам тоже выйти? — спросил Трайков.

— Подождите! Генри вам рассказал, что еще нам удалось выяснить?

— Вкратце.

— Так вот слушайте. Эти неизвестные тут совершенно ни при чем. Когда Эзра передал базам сигнал об эвакуации, было уже поздно. Скачком ускорение времени на полюсах Отшельника достигло огромной величины. На двадцатой базе время начало течь в двадцать тысяч раз быстрее, чем у нас, на Центральной. А у южного полюса в двадцать тысяч раз медленнее. К экватору градиент медленно убывал. Это и вызвало невиданный ураган. Воздух из области быстротекущего времени вытеснялся в соседнюю, где время шло медленнее. Ураган

практически мгновенно охватил все северное полушарие. Затем плавная кривая изменения ускорения времени сменилась ступенчатой. Там, на границах, и сейчас бушуют ураганы. Все базы оказались разрушенными почти мгновенно. Остальное сделала сельва. Неизвестна причина временного скачка. Но новый необъяснимый факт — эти неизвестные. С баз они добраться не могли, потому что если там кто и уцелел после урагана, их уже нет... Несколько десятилетий или столетий. Эти неизвестные не имеют отношения к Отшельнику.

Человек с бронзовой кожей уже стоял перед вездеходом Генри и что-то показывал знаками.

— Кажется, он просит впустить его в машину, — сказал Генри. — Впустить? У него нет оружия. И вообще, мне кажется, они настроены миролюбиво.

— Пусть сначала объяснит, что им нужно.

Генри до половины высунулся из люка и попытался знаками спросить, что им нужно, но у него ничего не получилось. Тогда он просто спросил:

— Что вам нужно на Центральной?

Бронзовый человек подошел совсем рядом к вездеходу. Генри повторил свой вопрос.

— Козалес! Нужно Козалес!

Генри на мгновение остолбенел, потом справился с охватившим его удивлением и передал в микрофон:

— Эрли! Им нужен ты.

— Я? Они что, говорят на нашем языке?

— Во всяком случае, я его понял.

— Возьми его в кабину и езжай скорее сюда. Свен пусть пока со своей машиной останется на месте. Вездеход неизвестных лучше пока не пускать сюда.

— Я понял, — ответил Генри и знаком показал человеку, что он может влезть в его машину.

Через несколько минут они были возле главного входа в Центральную станцию. Оба молчали. Генри провел неизвестного в зал связи. Неизвестный немного испуганно переступил порог и сказал:

— Здравствуйте! Мне нужен Козалес.

— Это я, — ответил Эрли, вставая с кресла.

Неизвестный быстро подошел к нему и протянул руку для пожатия. Эрли недоверчиво пожал ее.

— Мы добирались сюда около трехсот лет, — сказал неизвестный, — во всяком случае, в Большом Городе прошло

триста лет. Нас послал Констак. Его, правда, нет уже в живых. Он умер давно-давно. Но он оставил нам программу действий. И до нас посылались экспедиции. Но, очевидно, они не дошли, раз это еще существует, — и он развел руками.

— Что существует? — переспросил Эрли.

— Эта станция. Мы должны взорвать ее. Так говорится в программе Констака.

— Кто такой Констак и что это за Большой Город?

— Констак был великий ученый. Разве вы его не знаете?

Эрли улыбнулся:

— Как же я могу его знать, если вы сюда добирались триста лет. Меня тогда еще и не было. Ну а что это за Большой Город? Планета?

Неизвестный отрицательно покачал головой.

— Солнечная система?

— Нет...

— Тогда что же? Галактика?

— Нет... Нужен глобус.

Но глобуса, к сожалению, поблизости не оказалось.

— Понимаете, это бывшая база. Когда-то от Центральной до нее можно было добраться за десять часов. А теперь нужно триста лет. Мы не физики. Мы только выполняем программу Констака. Там сказано, что если мы не сможем взорвать накопители сами, то должны найти Козалеса. У нас есть письмо. Только оно очень старое. Его нужно читать очень осторожно. Его писал сам Констак.

— Каким видом транспорта вы добирались от Большого Города до Центральной?

— Мы шли на вездеходах. У нас было пять вездеходов. Дошел только один. Остальные погибли.

У Эрли голова пошла кругом. Да ведь они с двадцатой базы! Но за триста лет там все должны были умереть. Откуда же они тогда взялись?

— Констак — это Конрад Стаковский?! — крикнул он.

— Да. Это Конрад Стаковский. Но он обычно называл себя Констак.

— Свен! — крикнул Эрли в микрофон. — Веди сюда свой вездеход. И вездеход этих людей сюда. Это наши! Они с двадцатой базы!

— Как с двадцатой? Что, опять новая гипотеза?

— Нет, Свен, старая! Теперь все ясно. Веди их скорее сюда!

Бронзовый человек смущенно оглядывался вокруг.

— Сколько человек в вездеходе?

— Одиннадцать. Я двенадцатый. Восемь человек погибли.

— Как вас зовут?

— Энрико.

— Вы, наверное, чертовски голодны? Да и мы тоже. Эва и Сеона! Я хочу просить вас...

Девушки уже все поняли: они включили и настроили автоматы для приготовления еды.

Вскоре в Центральную ввалилась шумная ватага бронзовых людей. Свен и Ник недоверчиво шли позади с бластерами за спиной.

— Выбросьте эти игрушки, — сказал им Эрли.

Когда все немного поутихли, Энрико рассказал:

— После того как на базе получили сигнал об эвакуации, там сразу же возник невиданной силы ураган. База была разрушена. К счастью, это была самая многочисленная база. На ней было четырнадцать человек. В первые же минуты недосчитались одного... Остальные успели укрыться в подвальных помещениях станции. Выйти из этих подвалов удалось только через пять лет. И только через тридцать лет они более или менее очистили территорию базы от сельвы, но перед ними встала проблема голодной смерти. Конрад Стаковский к этому времени умер. Постепенно они нашли способ перерабатывать ползунов и мешки во что-то отдаленно напоминающее пищу. Потом наступила сорокалетняя зима и ночь.

— Но ведь все, кто был на этой базе, должны были умереть?

— Конрад Стаковский с самого начала знал, что произошло на Отшельнике, и наказал, что кто-то должен добраться до Центральной. Те, кто жил на базе с самого начала, не могли и мечтать об этом. И женщины рожали детей. Через триста лет, когда мы уезжали, там было уже около шестисот человек. Сейчас, наверное, гораздо больше. Но Отшельник должен погибнуть. На Отшельнике образовался генератор времени. Его излучающее кольцо проходит по Экватору. Как только время на полюсе Отшельника сровняется со временем, которое прошло в этом кольце, наступит насыщение и Отшельник взорвется. Когда это произойдет, Стаковский не знал.

— Через пятнадцать дней, — сказал Эрли. — Этому излучающему кольцу полторы тысячи лет.

— Нужно разорвать его на возможно большем расстоянии. Для этого нужно взорвать накопители энергии, взорвать

Центральную. Мы выяснили запасы энергии. Этого достаточно, но мы не знаем схемы соединения накопителей. На базе этого никто не знал. Там не было инженеров. А ждать пятнадцать дней нельзя. Надо взорвать Центральную как можно раньше. Большой Город еле сводит концы с концами. Им там приходится очень плохо.

— Можно забросить им продовольствие на винтолете, — сказал Свен.

— Нет, — ответил Эрли. — Энергетический барьер там очень высок.

— А «Фиалка»?

— «Фиалка» может садиться только на малой скорости. Кроме того, там нет посадочной площадки.

После обеда все немедленно принялись за работу. Основная часть людей под руководством Эрли грузила на «Фиалку» различные ценные приборы, оборудование, материалы исследований, все необходимое для того, чтобы колония Отшельника после уничтожения Центральной смогла просуществовать до прихода «Варшавы».

Схема соединения накопителей не была найдена. Это значительно усложнило задачу. Пробуя распутать этот клубок, они могли провозиться и не пятнадцать дней.

И тут Эрли вспомнил, что было изображено на рулоне бумаги, которую он видел у Эзры и Юмма. Теперь он уже не сомневался, что они живут в каком-то ином измерении времени, где, кроме Центральной и их двоих, никого и ничего не существует. Они понимают, что с ними произошло, потому что они руководили этим экспериментом. А то, что это был эксперимент, Эрли догадывался. Оба они представляли последствия эксперимента, когда он вышел из-под их контроля.

Эзра и Юмм чаще всего появлялись в главном пульте и зале связи, как бы предполагая, что там должны быть люди. Они часто разворачивали теперь уже не существующую для других схему, как бы приглашая срисовать ее. К закату солнца так было и сделано.

А в полночь все было готово для взрыва.

На «Фиалке» должен был взлететь Трайков и оставаться на орбите спутника Отшельника до тех пор, пока где-нибудь не будет подготовлена посадочная.

Остальные должны были лететь на винтолетах. Их нужно было обязательно сохранить. Конрад Стаковский разработал

программу взрыва накопителей энергии таким образом, чтобы ускорение времени, положительное и отрицательное, исчезло не скачком, а плавно. Нужно было избежать второго разрушительного урагана.

В начале первого ночи стартовала «Фиалка». Вскоре они услышали спокойной голос Трайкова:

— Все в порядке.

После этого с Центральной стартовали два грузовых винтолета с людьми. Их вели Эрли и Свен. Остальные винтолеты взлетели без пилотов. В них была заложена программа полета.

Вместе с Эрли летели Эва и несколько бронзовокожих людей с двадцатой базы.

— Вспомнил! — вдруг услышали они голос Трайкова. — Вспомнил, где я видел эти качели! Они же изображены на стенах Центральной! На самом экваторе ровная полоска, параллельная земле. А чем дальше к северу или югу, тем больше угол наклона этих качелей. И знак угла разный. У северного полюса положительный, у южного — отрицательный.

— Жаль, что поздно возвращаться, — сказал Эрли. — Странно. Ведь все видели их, а из сознания ускользало.

Винтолеты летели плотной группой, удаляясь по экватору на восток и забирая чуть-чуть к северу.

20

Они удалились от Центральной километров на пятьсот, когда раздался взрыв. Ночное небо озарилось яркой вспышкой.

Через час в эфире раздались слова:

— Почему эвакуация? Эзра, что там у вас?

Это говорили с девятнадцатой базы, расположенной почти у самого южного полюса. У них там с момента катастрофы прошло несколько минут.

Эрли нервно улыбнулся.

— Скажи им, Эва, чтобы все оставались на своих местах. Генри передаст им сообщение.

Потом они летели по направлению к двадцатой базе.

Эрли включил автопилот и вытащил из кармана два письма. Одно было от Конрада Стаковского, второе — от Лэй.

«Здравствуй, Эрли! — писала Лэй. — Мне так хотелось бы увидеть тебя еще раз...»

Он сложил письмо, хотел разорвать его, но передумал и положил на колено сидевшей рядом Эвы.

— Когда-нибудь прочтешь, — сказал он.

Она отрицательно покачала головой.

«Эрли! — писал Конрад Стаковский. — Мы все же добились того, чего хотели. Мы можем управлять временем. Я уверен, что ты продолжишь наше дело. Представляю себе, что ты создашь установку, на одном полюсе которой время будет ускоряться, а на другом замедляться. Эксперименты, на которые раньше людям нужны были годы, теперь можно будет проводить в считанные секунды. Я даже не могу себе представить, как далеко шагнет вперед человечество, приручив время, заставляя его течь по своему усмотрению.

...очень жаль, что это открытие повлекло за собой катастрофу. Но я уверен, что ты продолжишь работу, я постараюсь помочь тебе...

Если же страсть журналиста пересилила в тебе физика, вот начало твоей книги.

Мы так и не узнали, что за цивилизация оставила на Отшельнике свой след. Может быть, и не было никакой другой цивилизации? Может, через двадцать лет эта установка будет сооружена на Земле и окажется перенесенной сюда, на Отшельник, сдвинутая во времени. Ведь на Земле уже давно ведутся работы, связанные с попытками управлять временем. Эзра и Юмм были заражены этой идеей. Мы долго не могли понять, что представляют собой Центральная, ее накопители энергии, базы. А потом мы открыли излучающее кольцо Отшельника и постепенно пришли к выводу, что на этой установке можно экспериментально проверить возможность взаимного превращения пространства и времени. Основная часть экспедиции занималась изучением Отшельника, пытаясь выяснить, кто же все-таки побывал на Отшельнике. В одном из многочисленных помещений Центральной были найдены рабочие записи. Обычные рабочие записи, из которых немного что поймешь, но все же. И мы поняли, что кто-то уже пытался заниматься экспериментами с пространством и временем. Самое странное было в том, что рабочие записи были сделаны на земном языке. И в нескольких местах стояла твоя подпись. Я разговаривал с Лэй. Она сказала, что у нее не было никаких твоих записей, никаких документов, ничего твоего. Я не мог понять, где бы ты мог заниматься подобными экспериментами. Мне о них ничего не было известно.

К нашему эксперименту мы готовились долго и тщательно. Через четыре дня после того, как «Фиалка» стартовала с

Отшельника, Эзра настоял на том, что можно начинать эксперимент.

Это должен был быть тот самый эксперимент — взаимные превращения пространства и времени. На Центральной остались только Эзра, Юмм и Эва. Остальные на винтолетах вылетели на базы. Это должен был быть колоссальный эксперимент, и нам не хватало людей.

Одиннадцатого в семь ноль-ноль все двадцать баз доложили, что готовы к проведению эксперимента. Эксперимент начался в семь пятнадцать. Эзра отдавал команды по внешней связи и включал накопители энергии. Юмм немедленно обрабатывал результаты эксперимента на вычислительной машине и вносил корректирующие изменения в программу эксперимента.

Примерно до восьми часов все шло, как и в предварительных небольших экспериментах... Накопители израсходовали семьдесят процентов энергии, а изменения кривизны пространства в локальной области Отшельника не наблюдалось. Эзра начал нервничать. Примерно в восемь часов ноль три минуты приборы отметили искривление пространства. Ускорение времени было равно нулю. Эзра решил прекратить эксперимент, Юмм настаивал на продолжении. Через минуту выяснилось, что их спор бесполезен. Эксперимент вышел из-под контроля. Эзра выключил накопители, но искривление пространства осталось. Это подтвердили все двадцать баз. Затем искривление пространства исчезло, но началось ускорение времени, особенно заметное на экваторе. На полюсах ускорения времени не было. В восемь часов десять минут ускорение времени прекратилось, и приборы зарегистрировали искривление пространства. Ускорение времени было небольшим. Одна секунда за час.

Эзра передал всем, что эксперимент вышел из-под контроля и все должны приготовиться к возвращению на Центральную.

Раскачивание системы пространство — время продолжалось еще двадцать две минуты... Потом ускорение времени начало стремительно нарастать. Связь между базами и Центральной прервалась... Прошло уже пять лет, а мы еще не вышли из подземелья. Эрли, а что, если это были твои будущие рабочие записи? Ведь тогда нам не надо искать другую цивилизацию, ведь тогда все это сделали мы сами. Эрли, ты должен научиться управлять временем...»

Впереди уже была видна вторая база.

— Эрли, — сказал Генри. — Я хочу задержаться здесь на несколько минут... Ты понимаешь меня?

— Да, Генри, — и он выключил микрофон.

Четырнадцать винтолетов застыли на одном месте, а один, сделав крутой вираж, пошел на посадку. В лучах восходящего солнца он казался маленьким золотым жуком.

«ТОЛСТЯК» НАД МИРОМ

1 Разведывательный крейсер «Толстяк» приближался к солнечной системе.

— Есть ли новые данные? — спросил Стратег, захрустев ремнями мундира.

— Новые данные подтверждают старые данные, — ответил Звездочет. — Уровень радиоизлучения системы непрерывно повышается. Еще две-три минуты и мы поймем: шумит само Светило или какая-либо из его планет.

— И что это будет означать?

— Если излучает Светило, то в скором времени возможен взрыв, — ответил Звездочет. — Если же Планета, то это неопровержимо доказывает, что на ней обитают разумные существа.

— Хм... цивилизация... Сколько раз мы предполагали наличие разума на других планетах, но ничего пока не нашли. — Стратег задумчиво потер ладонью подбородок. — Что скажешь, Тактик?

— Как только приборы подтвердят, что радиоизлучение идет с Планеты, на «Толстяке» будет объявлена тревога нулевой степени, — ответил Тактик.

— Хорошо. — Стратег встал и прошелся по отсеку управления, затем взглянул на песочные часы.

Звездочет нагнулся над самописцем, регистрирующим радиоизлучение неизвестной солнечной системы. Перо вычертило горбушку, сделало два прочерка и наконец выдало огромный импульс.

— Есть! — радостно воскликнул Звездочет. — Третья планета!

— Так что это означает? — спросил Стратег.

— Это означает, что на третьей планете существует высокоразвитая цивилизация, — вытянулся Советник. — Необходимо записать эти радиосигналы и попытаться расшифровать их.

— Так займитесь этим! — нетерпеливо заметил Стратег и недовольно посмотрел на Тактика.

Тот поспешно схватил микрофон.

— Объявляется тревога нулевой степени! Произвожу проверку. Шкипер!

— «Толстяк» идет точнехонько к третьей планете!

— Канонир!

— Все бомбарды заряжены чугунными ядрами!

— Оружейник!

— Все арбалеты заряжены лучами повышенной убойной силы!

— Умелец!

— Все системы крейсера работают нормально, в точно заданных режимах!

— Лекарь!

— Лазарет готов к принятию раненых!

— Бунтарь!

— Начал расшифровку радиоизлучения!

— Дурашка!

— Согласно вашему приказу отбываю наказание в карцере!

— Стряпух!

— Накрываю в кают-компании стол на тринадцать персон!

— Неприметный...

— Я-я-а-а... — тихо зашелестело на корабле.

Тактик довольно шмыгнул носом. Теперь, когда Планету уже можно было видеть в обзорном экране, командование «Толстяком» переходило из рук Стратега в его, Тактика, руки. Стратег теперь мог давать только самые общие указания.

Команда «Толстяка» приготовилась к встрече с неизвестной цивилизацией.

2 — Прямо по курсу неизвестное тело! — доложил Шкипер.

Стратег зевнул, опустился в кресло, еще немного поскрипел ремнями мундира и заснул.

— Бомбарды к бою! — приказал Тактик.

— Есть бомбарды к бою! — с залихватской веселостью ответил Канонир.

— Тактик! — крикнул Бунтарь. — Удалось расшифровать одну фразу!

— Мы им пошифруем! — пообещал Тактик. — Ну что там у тебя получилось?

— «Милости просим!»

— Какой еще милости?! — не понял Тактик.

— Планета непрерывно излучает фразу: «Милости просим!»

— Ах, Планета! Уже милости просят! Прекрасно. Они у нас еще не этого запросят...

— Тактик, они не милости у нас просят. Они милости просят пожаловать к ним в гости!

— Не понимаю. Просить милости — это просить милости. Может, мы и смилостивимся. Это зависит от того, как они поведут себя.

— Тактик, ты совершаешь ошибку!

Тенью мелькнула в отсеке управления фигура Неприметного, на мгновение замерла возле Тактика и снова скользнула в открытую дверь.

— Бунт! — взревел Тактик. — На вверенном мне крейсере не позволю! Оружейник, препроводи Бунтаря в карцер!

— О, Пустынный Космос, — вздохнул Оружейник. — Каждый день одно и то же. Уж и поселили бы его там навечно.

— Разговорчики, Оружейник!

— Да слушаю, слушаю... Препровожу... Не впервой...

— Тактик, — успел крикнуть Бунтарь, — они наверняка хотят вступить с нами в контакт. Не ошибись!

— Посиди, остынь, — посоветовал Тактик. — Мы с ними в такой контакт вступим, что только дым пойдет!

Бунтаря увели.

— Тактик! — крикнул Шкипер. — Неизвестное тело производит какие-то маневры!

— Что скажешь, Советник? — спросил Тактик. — Тело-то неизвестное маневры производит.

— Может, припугнуть его для начала, — робко предложил Советник.

— Припугнуть бы хорошо... А если они?

— Выпустим дымовую завесу и уйдем.

— А ведь верно! Канонир! Как там у тебя?

— Неизвестное тело держу под прицелом бомбард левого борта!

— Повышенным... товсь!

— Понятно, что повышенным...

— Огонь!

«Толстяк» тряхнуло. С левого борта крейсера сорвалась дюжина молний и стремительно понеслась к неизвестному телу, охватывая его со всех сторон. В положенном месте возникло маленькое солнце, запульсировало, сжалось в ослепительную точку и исчезло. Космос снова был чист. Никакое неизвестное тело больше не болталось рядом с «Толстяком».

— Так-то оно надежнее, — сказал Тактик. — Что они теперь нам передают? Ну?!

— Странно, — сказал Звездочет. — Все радиостанции Планеты мгновенно замолчали.

— Замолчали? Что скажешь, Советник?

— Для того, чтобы мгновенно и одновременно выключить все радиостанции и излучающие установки, нужна не только высокая развитость цивилизации, но и ее высокая организация, синхронность, синфазность. Скажу одно: обитатели этой Планеты вымуштрованы что надо!

— Отлично! — обрадовался Тактик. Он чуть было не испугался непонятного поведения существ Планеты, но доводы Советника вернули ему уверенность. — Стратег будет доволен. Готовиться к посадке!

Но не успела команда «Толстяка» отрапортовать о готовности к посадке, как Звездочет выкрикнул:

— Повысился радиофон Светила! Смотрите!

Самописец раз за разом вычерчивал огромный импульс на месте, соответствующем Светилу. А на местах планет делал прочерки. И если бы не графики, выданные им минуту назад, можно было плюнуть на эту солнечную систему и преспокойно топать к другой.

— Насколько я понимаю, — сказал Тактик, — выключить все радиостанции Планеты мгновенно теоретически можно. Но как повысить в тысячи раз радиоизлучение Светила?! Ответствуй, Советник.

— Тут нужно проводить исследования. Хотя, как я полагаю, нас ведь интересует Планета, а не Светило. Возможно, у них существует такой переключатель...

3

«Толстяк» трижды облетел Планету. Его приборы фотографировали, записывали, анализировали. Но Планета была мертва.

— Кто же тогда просил милости? — удивился Тактик и приказал Шкиперу посадить крейсер на удобную площадку.

Только скалы да вода. Ничего больше не было на этой Планете. Шкипер ввел данные визуального обзора в компьютер, поразмышлял немного над ответом и повел крейсер на посадку.

Каменистое плато километров в пять диаметром окружало корабль. Датчики мгновенно проанализировали состав атмосферы.

Воздух оказался вполне пригодным для дыхания. Из выходного люка корабля выдвинулся пандус, и по нему на землю

негостеприимной Планеты, стуча копытами и мягко раздувая бока, сошли три скакуна. На своих спинах они несли Тактика, Оружейника и Советника.

Сдерживая горячившегося, заряженного на сто часов скакуна, Тактик сказал:

— Ну? Как вам нравится эта распрекрасная Планета? Куда они все подевались? Может, устроим маленький кавардак? Как ты считаешь, Советник?

— Кавардак не помешает. А если аборигены спят, то поможет разбудить их к обоюдной радости.

— Заметано, — оживился Тактик и пустил своего скакуна вскачь. — Кавардак устроим! А ты что думаешь, Оружейник?

— Мое дело маленькое, — нехотя ответил Оружейник. — Арбалеты да мечи. Оружие ближнего боя... Если сами нападут, что ж, будем отбиваться.

— Не чувствую задора. — Тактик остановил своего скакуна на краю пропасти. — Выбирай, какую из скал мы для начала превратим в пар.

— Не мое это дело — выбирать. Пусть Советник советует.

— А я тебя спрашиваю, Оружейник!

— О, Пустынный Космос! — вздохнул Оружейник. — Да по мне хоть и вовсе не превращать в пар. Красота-то, красота какая!

Скакуны высекали искры из камней, испуганно прядали ушами-локаторами, косились чувствительными фотоэлементами на край обрыва.

Внизу, под стометровой кручей, бежал ручей, неширокий, в три проскока хорошего скакуна, но бурный, горный. Далее расстилалась холмистая равнина с причудливым нагромождением скал. Ярко-желтое Светило заливало местность потоками лучей, и в нагретом, дрожащем воздухе, казалось, плывут и переливаются невиданные и чудные корабли.

— Значит, не превращать?

— Как скажешь, Тактик. Исполнять ведь Канониру, а не мне.

— Ну и настроение у тебя! Недаром Неприметный возле тебя трется.

— О, Пустынный Космос! — в испуге воскликнул Оружейник. — Да по мне хоть в пар, хоть в плазму. Только ошибается, ошибается Неприметный! Я ведь и Бунтаря в карцер, и Дурашку... Чуть ли не каждый день! Вспомни, Тактик, всю мою верную службу!

— Так-то лучше! Так что, Советник?

— Превращать.

— Эй, на «Толстяке»! — крикнул Тактик, нажав кнопку на мундире. — Вдарь-ка, Канонир, чтоб нам хорошенько видно было!

И через мгновение чугунное ядро просвистело над их головами и взорвалось километрах в полутора. Яркая вспышка ослепила Оружейника. Он закрыл ладонями глаза и долго не открывал их, хотя гул от взрыва, петляя между скал, уже затих.

— Что за чертовщина?! — испуганно сказал Тактик.

Оружейник открыл глаза и увидел, что долина не изменилась. Ничто не превратилось ни в пар, ни в плазму. Все так же плыли в солнечном расплаве странные корабли-скалы, светило Солнце, тихо журчал ручей. Мир оставался прежним. Оружейник проглотил комок в горле и испуганно огляделся. Чем черт не шутит! Этот Неприметный может оказаться за спиной, когда его и не ждешь. И как только у него получается?

— Канонир, усиленным! — крикнул Тактик. — Кавардак так кавардак!

Чугунное ядро в пять раз больше диаметром просвистело над головами. И снова яркая вспышка, и снова нетронутые скалы, целые, невредимые, сказочные.

— Да что же это?! Бунт! — Тактик повернул своего скакуна к крейсеру. — Из всех калибров! Чтоб только мокрое место!

«Толстяк» ощетинился жерлами бомбард и исчез в клубах дыма. Троица уже доскакала до вздрагивающего пандуса. Оружейник оглянулся. Мир только расцвел новыми красками. И нипочем ему были чугунные ядра.

— Да что же это?! — растерянно спросил Тактик. — Нападение! Враги! Уничтожить! Врезать!

— Стволы греются! — кричал Канонир. — Передохнуть бы...

— Ну, Планета! Смотри у меня! Ты еще попляшешь! Посмотрим, кто кого...

И пропустив вперед Оружейника и Советника, Тактик крепко закрутил запоры выходного люка.

4

Необъяснимое поведение Планеты встревожило Тактика. Если она не хочет превращаться в пар, то в свою очередь наверняка захочет проделать то же самое с «Толстяком». Необходимо было принять меры предосторожности. Все датчики

крейсера чутко уставились на Планету. На ночь было необходимо организовать и внешнюю охрану.

В сумерках на каменное плато сошли пять скакунов с пятью членами экипажа на своих пластмассовых спинах. Возглавлял ночной патруль сам Тактик.

— Оружейник и Лекарь, — сказал он, — будут охранять южную часть плато. А Советник и Звездочет — северную. Я поддерживаю связь с обеими группами и крейсером.

Застучали копыта скакунов, высекая из камней искры. Тактик для начала сопровождал южную группу. Светило скатилось за горизонт, но каменные нагромождения, отсвечивающие как драгоценные камни, были еще видны отчетливо.

— А красиво все-таки, — сказал Оружейник.

— И отсюда мы должны ждать нападения? — спросил Лекарь.

— Планета — враг! — сказал Тактик. — И неизвестно, что она может выкинуть.

— А планетяночки, должно быть, шикарные женщины, — вздохнул Лекарь.

— Так что будем делать, Тактик? — спросил Оружейник.

— Делать? А делать будем вот что. Вы остаетесь здесь. Особенно не шумите. Скоро станет совсем темно, так что надейтесь больше на уши, а не на глаза. Если заметите что странное, сигнальте.

— Если нападут, не успеешь и до крейсера доскакать, — сказал Лекарь.

— Нападут? — переспросил Оружейник. — Да кто тут на тебя нападет?

— А планетяне... — сказал Тактик.

— Кто их видел?

— Оружейник! Ты, кажется, уверен, что Неприметного нет рядом. Что за упадочническое настроение! А ну-ка, приободрись!

— Есть, Тактик! — и Оружейник выпрямился в седле, расправил плечи.

— Вот так-то лучше. В случае чего... первый выстрел в воздух, второй — по ногам, третий — сами понимаете...

— Да у них, может, и ног-то нет, — заметил Оружейник.

— Нет, значит, нет. Тем хуже для них!

Тактик развернул скакуна и начал удаляться, растаяв в уже опустившейся на плато темноте.

— Как ты думаешь, Оружейник, нападут они на нас? Мы, вроде бы, им еще ничего плохого не сделали.

— Вроде бы, нет...

— А тело-то неизвестное обстреляли! И скалы в пар хотели превратить. Не просто ведь так мы сюда приперлись?

— Ничего не могу сказать, — ответил Оружейник. — Это компетенция Стратега и Тактика... Ну что, для начала двинем налево или направо?

— Давай налево, — предложил Лекарь.

Впереди ехал Оружейник. Лекарь за ним. У Лекаря арбалет нелепо болтался и бил по спине, колчан с лучами свисал чуть ли не до земли. В случае необходимости до него и не дотянешься сразу. Было видно, что не привык Лекарь к оружию. Среди бинтов да скальпелей, вот где он чувствовал себя свободно и легко. У Оружейника арбалет словно прирос к мундиру, ни разу не шевельнулся отдельно, только вместе с телом, в такт осторожным шагам скакуна. Так доехали они до восточного склона, постояли немного, прислушались. Тишина, никаких посторонних звуков.

— Назад поехали? — спросил Оружейник.

— Ага. Давай.

И хотя места здесь было сколько угодно, они развернулись, как на узкой тропе, и снова поехали спина в спину, только теперь впереди был Лекарь.

Вдруг с запада послышался какой-то шум.

— А ну-ка, пригнись! — тихо приказал Оружейник. — Кажется, начинается... — И молниеносно сорвал арбалет с плеча, снял луч с предохранителя. Лекарь никак не мог сдернуть свой. Запутался, зацепился у него за что-то арбалет. — Фу ты! — вдруг с облегчением сказал Оружейник. — Это же Тактик. Он объехал плато, потому и с другой стороны.

— Эй! — донеслось из темноты. — Патруль!

— Здесь мы, — отозвался Оружейник.

Тактик подъехал ближе. Арбалет у него лежал поперек луки седла.

— Доложите обстановку! — коротко приказал он.

— Все спокойно, — отозвался Оружейник.

— Все, говоришь? Не замечено никаких признаков нападения?

— Не замечено, Тактик.

— Не нравится мне это. Притаились враги!

— Да откуда ты взял, что здесь есть эти самые враги? — удивился Оружейник.

— Разговорчики! — повысил голос Тактик. — О субъективных впечатлениях не спрашиваю.

Оружейнику вдруг стало ясно, что Тактику позарез нужно это нападение. Нападение! Враг! Все понятно. И Тактик будет точно знать, что ему делать. Уничтожить врага! Победить! Зачеркнуть в памяти тот неприятный случай днем, когда бомбарды «Толстяка» не смогли превратить в пар эту Планету. Победителей не судят. У победителей даже не спрашивают, правы ли они.

5

На вершине крейсера вдруг зажегся прожектор, тревожно замигал, заметался из стороны в сторону.

Тактик включил нагрудную радиостанцию, что-то выслушал, потом сказал:

— Понимаю... Хорошо... Приступаем к действиям.

— Ну?! — хрипло спросил Оружейник.

— Кто-то открыл люк крейсера, — сказал Тактик. — Проник внутрь или нет, пока неизвестно. Скорее всего — нет, потому что стреляли по убегающему.

— По какому убегающему? — недоуменно спросил Лекарь.

— Да разве в темноте разберешь? Кто-то открыл люк, был замечен и бежал.

Тактик снова прислушался к тому, что передавали ему по радио.

— Слушаю... Понятно... — И уже обращаясь к патрульным: — Неизвестный бежал в нашу сторону. Звездочет и Советник заходят слева, а нам — от центра и вправо.

— Километры здесь, — не очень радостно заметил Лекарь. — А нас трое.

— Ну и что?! — Тактик весь горел нетерпением. — Скачем к крейсеру челноком!

И Тактик, натянув поводья скакуна левой рукой, правой высоко поднял арбалет и помчался к «Толстяку». Лекарь жался ближе к нему. Оружейник оказался крайним слева. Через две минуты из темноты выскочили на взмыленных скакунах Звездочет и Советник.

— Что скажешь, Советник?! — крикнул Тактик.

— Стрелять по ногам! — ответил тот, мчась вдоль цепи. — Живые нужны! Живыми будем брать!

— Есть, значит, у них ноги, — с удивлением пробормотал Оружейник, пришпоривая и без того мчавшегося на предельной скорости скакуна.

— Слышите, живыми брать! — приказал Тактик.

Цепь начала заворачивать влево.

Сердце Оружейника билось в груди учащенно. Раза два скакун спотыкался и сбрасывал Оружейника на камни. Но тот снова вскакивал в седло и боли не чувствовал. Левее, ближе к центру, шибанул выстрел из арбалета. «Началось», — подумал Оружейник. А оно и действительно началось! Еще и еще раз громыхнуло из арбалета. Цепь смялась.

— ...вое! — донеслось до Оружейника.

«Что за «вое»?» — подумал он.

Выстрел грохнул совсем рядом.

— Не стрелять! Не стрелять! — орал кто-то, приближаясь со стороны крейсера.

Облава смещалась к обрыву изломанным кольцом.

— Не стрелять!

— Стрелять! — это голос Тактика.

— Не стрелять!

— По ногам целься! — А это голос Советника.

— Не знаешь, кого и слушать, — хрипло выдавил из себя Лекарь, внезапно появившись перед Оружейником. — Ты, что ли? Своих перестреляем!

— Вот они! — кричал кто-то. — Вот!

Крики. Топот копыт.

Чуть правее себя Оружейник увидел неясную фигуру. Она растаяла в темноте, растворилась. А в одно единственное мгновение случайно удержавшейся тишины Оружейник услышал тяжелое дыхание тех двоих. Двоих! Он поймал направление, бросил скакуна в их сторону. Мимо промчался Тактик, стрелявший из арбалета.

— Упустили! — заорал он.

Цепь приблизилась почти к самому обрыву. Саданул еще несколько выстрелов.

— Прекратить! Не стрелять!

«Это же Умелец! — удивился Оружейник. — Он-то как сюда попал?»

«Толстяк» грохнул из всех своих бомбард. Но это больше для острастки. В пламени взорвавшихся где-то за десяток километров чугунных ядер Оружейник увидел мчавшегося во весь опор Умельца. О, Пустынный Космос! Что же он делает?!

Умелец на всем скаку налетел на Тактика. И сделал он это не случайно, а намеренно. Но Тактик вовремя оглянулся, развернул своего скакуна и поднял его на дыбы. Скакуны столкнулись. Умелец вылетел из седла на камни, а Тактик бросил своего скакуна к самому обрыву.

Взрывы ядер освещали местность, но в перерывах между вспышками тьма становилась еще кромешнее, непроглядное.

Оружейник соскочил с седла и нагнулся над Умельцем. Тот был жив.

— Останови его, — с трудом прошептал он.

— Вниз! — крикнул Тактик, спешившись. — Заходи к ручью!

— Да останови же его! Не стреляйте! Ведь такие же люди!

Оружейник начал что-то понимать, но еще не совсем, не до конца. А крики погони раздавались уже откуда-то снизу. Умелец застонал. Оружейник хотел было поднять, его и усадить на своего скакуна.

— Скорее! Останови их! Да брось ты меня! — крикнул Умелец.

Оружейник кинулся к обрыву, заскользил вниз, как по мокрой глине, натыкаясь на острые камни и разрывая в клочья мундир. Последние метров десять он кувыркался через голову. Распластавшись на камнях, он услышал торопливый говорок горного ручья.

— Люди это! — крикнул Оружейник, поднимаясь.

Тишина, а потом страшное предупреждение Тактика:

— Стой! Стреляю!

«Как будто они могут понять», — удивился Оружейник и различил впереди себя человека, лежащего на животе, с раскинутыми в стороны ногами и твердо держащего арбалет на локте.

— Тактик?

— Смотрите, чтобы через ручей не ушли!

— Тактик! Остановись!

Тень метнулась по камням через горный поток. За ней вторая. Обе они не были неожиданными. Но первая все же подготовила успешный выстрел по второй.

И выстрел грянул!

Крик!

— Ушел!

И тут второй выстрел. Стрелял Тактик. Оружейник упал на него сверху, когда тот издал удовлетворенный, радостный

вопль. Попал Тактик! Пронзил врага лучом из арбалета! И хотя не ожидал нападения сзади, не растерялся, потянулся за ножом, но тут же сообразил, кто на нем, и только попытался скинуть его с себя.

— Зачем ты стрелял?! — застонал от внутренней, душевной боли Оружейник.

— А... Оружейник... Раздавишь... Катись...

— Один есть! — крикнул Советник.

Тактик скинул с себя Оружейника, встал, отряхнулся. Советник и Звездочет с арбалетами на изготовку стояли возле валунов, цепочкой протянувшихся через ручей, не решаясь приблизиться к тому, что лежало там.

6

— Один есть! — передал Тактик по радио Стратегу. — Канониру остудить стволы бомбард... А ну-ка! Я сам! — Тактик прошел мимо расступившихся Советника и Звездочета.

— Га-а-а-а-ды! — вдруг раздалось уже с той стороны ручья. — За что вы его убили!

Тактик остановился, вздрогнул, чуть не свалился со скользкого камня в воду.

Похолодели спины стоявших у ручья. Голос-то ведь был свой, только сумасшедший, дикий, гортанный.

Тактик нервно рассмеялся, крикнул:

— Эй ты! Выходи!

Тихий шорох шагов, и все смолкло.

— Эй, посветите фонариком, — попросил Тактик.

У Советника нашелся и фонарик. Четко очерченное световое пятно скользнуло по камням и воде и замерло на мгновение, потом задрожало, забилось в забавной и страшной пляске. Звездочет вскрикнул, застонал тоскливо и жутко.

— Похож, очень похож, — сказал Тактик и носком сапога перевернул тело.

Голова Бунтаря нелепо качнулась и стукнулась о камень. Грудь его была прожжена лучом арбалета.

— Да что же это?! — крикнул Оружейник.

— Выходит, на своих охотились, — констатировал факт Советник.

— А кто же второй? — всхлипнул Звездочет.

— Дурашка, наверное, — предположил Советник.

Оружейник надвинулся на Тактика, весь гнев и боль.

— Зачем ты стрелял?! Стрелял зачем?!

Тактик отступил на шаг:

— Ведь планетяне же...

— Зачем ты стрелял?!

Сильный и злой удар кулаком бросил Тактика в воду.

Сверху с обрыва засигналил Лекарь:

— Что там у вас? Поймали?

— Нет, — ответил Звездочет. — Убили.

— Убили? И кто же он такой?

— Бунтарь! Бунтаря убили!

— Бунтаря... Да как же так? Ведь за планетянами охотились...

— Что будем делать? — спросил Звездочет.

— Понесли на крейсер. Оружейник, держи голову.

— Взяли.

— Осторожнее!

— Чего уж теперь осторожнее...

Цепляясь за камни, трое медленно поднимали в гору четвертого. Чуть поотстав, но уже догоняя их, отплевываясь и что-то невнятно бормоча, полз Тактик.

Наверху нервно били подковами разгоряченные скакуны.

7

Дурашка был Офицером для Наказаний. Случалось иногда так, что провинившегося нельзя было помещать в карцер. К примеру, Шкипера, который проводил в это время сложный маневр «Толстяка» в пространстве, или Стряпуха, готовившего обед. Так вот, наказание в таких случаях за всех отбывал Дурашка. Плата за работу шла порядочная, наказание розгами применялось редко, карцер был давно обжит, казался родным и уютным. Находясь здесь частенько, Дурашка, как мог вычистил его, дал имена и своему, и запасному топчану, привинченному к полу столу и стульям, графину с водой и чашке, в которой ему приносили остатки обеда. Он научился разговаривать с неодушевленными предметами, знал их повадки и привычки, относился к ним с нежностью и уважением, любил и понимал. Ему и сам крейсер представлялся живым существом. В те дни, когда никто из команды не совершал проступков, он любил лазить по всяким закоулкам корабля, поглаживать трубы и кабели, спрашивать о самочувствии планетарные и космические двигатели, вытирать пыль или смазывать трущиеся части, выслушивать стуки и вздохи «Толстяка». Словом, корабль он знал хорошо, хотя никто об этом и не

догадывался. Но знал он его не с технической стороны, а подсознательно, чувствами, душой.

Команда относилась к Дурашке с юмором, не травила его, не смеялась над ним. Разве что Звездочет, Советник да сам Тактик иногда говорили: «Что-то ты, Дурашка, давно не работал» — и совершали какое-нибудь нарушение правил внутренней дисциплины, за что Дурашку немедленно отправляли в карцер. Но он не обижался. Ведь это действительно было его работой! Случалось, что в карцере поселялся еще кто-нибудь из команды. Звездочет молчал, не опускаясь до разговоров с Офицером для Наказаний, Советник всячески старался вывести его из терпения, Оружейник тоже молчал, но не так, как Звездочет. Молчание его было легким, приятным. Бунтарь беседовал с Дурашкой как равный с равным, сообщал ему много любопытных фактов, которые откладывались в сознании Дурашки не в виде знаний, а в виде настроений и чувств. Дурашка искренне сочувствовал попавшему в карцер. В таких случаях ему казалось, что он плохо выполняет свою работу.

Вот и в этот раз, когда в карцер вошел Бунтарь, Дурашка застыдился, покраснел от огорчения. Но Бунтарь никогда не принимал сочувствий. Его радовало пребывание в карцере.

— Ну, что? Займемся обучением? — спросил он просто.

Дурашка всегда был рад слушать его. Бунтарь заговорил о Планете. О том, что она, наверняка, населена разумными существами. Пофантазировал по поводу их вида и образа мышления. Посожалел о бессмысленном уничтожении неизвестного тела. Все разговоры в карцере прослушивались специальным устройством. Но вторичное наказание за один и тот же проступок не полагалось, и поэтому Бунтарь говорил не таясь.

Они знали, что «Толстяк» совершил посадку на поверхность Планеты. По вибрации и гулу догадались, что бомбарды начали обстрел.

Время шло. Дурашка, случайно подойдя к двери, обнаружил, что она не заперта. Это его озадачило. А в голове Бунтаря мгновенно созрело решение: нужно бежать. Бежать, чтобы предупредить планетян о том, что их ждет в случае контакта с «Толстяком» и что ждет Планету, если такой контакт не состоится. В существовании на Планете разумных планетян он не сомневался. Дурашка вдруг почувствовал, что Бунтарь давно ждал такого случая. Побег с «Толстяка» был для Бунтаря решенным делом. И вот случай представился.

Сердце Дурашки радостно забилось, когда Бунтарь предложил бежать вдвоем. Это было как отдых после работы. Он не сомневался, что через несколько часов их поймают и снова посадят в карцер. Но отдохнуть хотелось очень.

По странному стечению обстоятельств люк крейсера тоже оказался открытым и никем не охранялся. Дурашке это показалось смешным, ведь он знал о ночном патруле. Какой смысл было охранять открытый корабль? Но Бунтарь спешил уйти подальше от крейсера. Необходимость встречи с планетянами гнала его вперед.

Сначала беглецы крались по каменистому плато незамеченными. Потом на верхушке «Толстяка» зажегся прожектор, лучи из арбалетов пронзили воздух, цокот копыт скакунов надвинулся не них, но беглецы все же проскочили к обрыву. Только Дурашке вдруг показалось, что все это не очень смешно. Какая-то боль, тоскливое предчувствие сдавили ему сердце. Но впервые за весь рейс ему не хотелось возвращаться в карцер, и он бросился по камням через ручей... А потом сзади раздался крик, и Дурашка понял, что Бунтарь мертв. И говорливый ручей вдруг навсегда отрезал Дурашку от «Толстяка». Что-то мгновенно прорвалось в его сознании, еще неопределенное, неясное, но новое, незнакомое, это и обрадовало его и испугало. И страшный, звериный крик вырвался из его груди:

— Га-а-а-а-а-ды!

Никогда ранее он не смог бы так закричать. И слово-то такое не могло прийти ему в голову! Дурашка упал, забился головой о камни, заплакал, застонал. А те, преследователи, находились от него всего в каких-нибудь двадцати метрах, но почему-то не решались переходить ручей... Дурашке вдруг так захотелось умереть! Но смерть Бунтаря настойчиво влекла его к действию, и он встал и начал осторожно удаляться от ручья.

8

Тактик дрожал от страха, когда вошел в отсек управления. Такого еще не бывало за всю историю полетов «Толстяка». Убит свой! Пусть и Бунтарь, пусть и нечаянно. Но свой, свой! Да, Бунтарь достукался до того, чтобы закрепить за собой место в карцере пожизненно. Прощай, так удачно начавшаяся карьера! Черт дернул Бунтаря попасться на мушку арбалета!

— Доложить результаты ночного патруля! — приказал Стратег, позевывая.

— Враг отбит! — отчаянно крикнул Тактик. — Но... но с потерями с нашей стороны.

— Велики ли потери? — Видно было, что Стратег отчаянно боролся со сном.

— Убит Бунтарь...

— Этого следовало ожидать. Он всегда имел обыкновение лезть на рожон.

Нет, Тактик еще не докатился до такой степени, чтобы врать Стратегу.

— Стратег, — сказал он, — произошло страшное недоразумение. Бунтарь попал под луч моего арбалета. Я не хотел, я не знал...

— Кто просил его лезть на мушку? — удивился Стратег. Борьба его со сном, кажется, проходила успешно. — И как он вообще попал в ночной патруль? Ведь он сидел в карцере!

— Он не был в патруле. Бунтарь и Дурашка бежали из карцера.

— Бежали!

— Да, Стратег. В ночном переполохе и был убит Бунтарь. Дурашка удалился в неизвестном направлении. Преследовать его ночью по вражеской территории мы не решились.

— Ну, Дурашка сам придет, — сказал Стратег. — Захочет есть и обязательно придет. С него спрос небольшой. Но каков Бунтарь! А?

Тактик понял, что грозы не будет. Нужно, не теряя времени, переходить в атаку.

— Стратег, — начал он, — враждебность планетян очевидна. Мы не могли превратить в пар ни одного камешка. Кто-то открыл дверь карцера. Я не могу предположить, что это сделал кто-то из команды «Толстяка». Открытым оказался и люк крейсера. И это в то самое время, когда мы предпринимали все усилия, чтобы враг не смог прорваться в корабль!

— В надежности команды сомневаться не приходится. Даже Бунтарь не пошел бы на предательство.

— Стратег, я заметил нехорошие веяния среди команды.

— Какие же?

— Оружейник не верит, что мы окружены врагами. Более того, Планета ему нравится, он даже жалеет ее!

— Ну и Оружейник! В карцер? — спросил у кого-то Стратег. Но Советника рядом не было.

— Оружейника в карцер! — гаркнул Тактик.

— Да помолчи ты, — недовольно поморщился Стратег. Тень мелькнула за его спиной, и Стратег принял решение: — Оружейника в карцер не препровождать... И все же, если попытаться перебрать команду... Вдруг среди нас предатель?

— Нет, Стратег, нет! — закричал Тактик. — Все что угодно, но только не это. Нам хватает внешних врагов.

— Шкипер? — все же предположил Стратег. — Что в это время делал Шкипер?

— Не могу знать, Стратег.

— Звездочет?

— Звездочет, Оружейник, Советник, Лекарь и я были в ночном патруле.

— Значит, эти пятеро отпадают. Канонир?

— Канонир непрерывно производил обстрел Планеты и не отлучался от бомбард.

— Кто там у нас еще? Стряпух? Что делал Стряпух?

— Стряпух готовил стол на тринадцать персон.

— Хорошо! Умелец?

— С умельцем какая-то странность, Стратег. Он не был в ночном патруле. Но потом откуда-то появился, кричал: «Не стрелять!» Пытался выбить меня из седла своим скакуном, но сам пал жертвой провокации.

— Неужели он?

— Тогда зачем ему было вести себя так вызывающе? Он знал, где дежурил патруль, и мог увести беглецов незаметно.

— Кто еще?

— Неприметный, — прошептал Тактик.

— Тс-с... Тише ты! — испугался Стратег.

— Прошу прощения! Остаешься еще ты, Стратег.

— Ну я карцер и люк «Толстяка» не открывал. Это уж я знаю точно!

9 Стряпух расставил на столе в кают-компании тринадцать приборов. Он знал, что суп ему сегодня не удался, но надеялся, что никто не обратит на это внимания. Попробовали бы они сами отвешивать специи необходимыми порциями, когда весь корабль сотрясается от выстрелов.

Одиннадцать человек стояли возле резных деревянных кресел с высокими спинками. Но прежде чем дать сигнал к обеду, Стратег пожелал сказать речь.

— Офицеры разведывательного крейсера «Толстяк»! Сегодня ночью наш корабль подвергся нападению врагов. Только хладнокровие и изобретательность Тактика позволили нам обойтись малыми жертвами. Тактик приговаривается к награждению орденом лучеиспускающей Розы.

Тактик преклонил колени, и Стратег вдел в его петлицу сияющий орден.

— Дальнейшее после завтрака, — объявил Стратег. — Прошу к столу.

Только позвякивание ложек и вилок нарушало тишину кают-компании. Стряпух ждал, что вот-вот кто-нибудь отбросит ложку в сторону, и тогда ему придется идти в карцер, но никто не замечал вкуса предложенных им блюд.

— Нет сомнения, что карцер и люк крейсера открыли враги, — сказал Стратег, заканчивая обед. — И все же я спрашиваю: не кто-нибудь ли из вас открыл люк?

Все молчали.

— На крейсере находилось шесть человек: я, Шкипер, Умелец, Канонир, Стряпух и... э-э... м-м...

Неприметный, закутанный в темно-серый плащ, улыбнулся, и всем сразу стало неуютно.

— Кроме Шкипера и Умельца все были заняты своими делами.

— Я не открывал карцер, Стратег! — воскликнул Шкипер.

— Не открывал его и я, — сказал Умелец.

— Вот и хорошо. Враги еще поплатятся за свое коварное нападение на крейсер. Но почему ты, Умелец, кричал: «Не стрелять!», а потом напал на Тактика?

— Я виноват, Стратег. И мне трудно оправдаться. Кто-то сообщил мне, что облава идет на людей. Я только хотел предотвратить кровопролитие.

— Кто же сообщил тебе это?

— Не знаю, Стратег. Я находился в своей мастерской, когда кто-то сказал через динамик внутренней связи, что идет облава на людей.

— Внутренняя связь! — воскликнул Тактик. — Значит, они были на крейсере! Черт меня побери, если я не расколю эту Планету.

— Выходит, что они знают наш язык? — прикрыв глаза ладонью, спросил Неприметный. А ведь он очень редко говорил и еще реже задавал вопросы.

— Выходит, что так, — ответил Умелец. Нет, неспроста задал вопрос Неприметный. Его вопрос, все равно, что клеймо на лбу спрашиваемого.

— Кого-то из вас двоих, Умельца или Шкипера, необходимо посадить в карцер.

— За что?! — взмолился Шкипер.

А Умелец промолчал.

— Твое мнение, Советник? — спросил Стратег.

Советник уловил на себе тяжелый и пристальный взгляд, понял, что от него требуется, и сказал:

— Умельца в карцер. Шкиперу рыть могилу.

— Хороший совет, — согласился Стратег.

— Оружейник!

— Я отведу Умельца в карцер, — прервал Тактика Неприметный, путаясь в складках плаща.

— Нет, Неприметный, это, как всегда, сделает Оружейник, — твердо сказал Умелец.

— Пусть Оружейник, — тут же согласился Неприметный.

Умелец снял ремни и протянул их Оружейнику.

Что-то хотел и боялся сказать Звездочет.

— Дурашка уже захотел есть, — сказал Тактик. — Странно, почему он не идет.

— Отыскать, привести, наказать розгами! — приказал Стратег. — Обшарить всю Планету.

10

Первым ехал Тактик, облаченный в парадный мундир, с золотым пером в шляпе с большими полями. Он помахивал сабелькой и иногда сдерживал своего скакуна, аккумуляторы которого были заряжены до предела. За ним следовал Лекарь, обычно редко покидавший крейсер и оттого державшийся в седле неуклюже и растерянно. Советник ехал сосредоточенно, лишь иногда бросая по сторонам быстрые взгляды. Четвертым в кавалькаде был Оружейник, сросшийся с седлом, ловкий, сильный, привыкший к кавалерийским стычкам и знавший цену и скакуну, и арбалету, и сабле. Недаром же он служил на «Толстяке» в чине Оружейника! Замыкал шествие тяжеловоз, из лба которого торчала малая бомбарда, а спина была нагружена чугунными ядрами с автоматической подачей в ствол орудия и прочими припасами этой маленькой экспедиции.

Край плато был обрывист, но в одном месте сыскался оползень, по которому, где на ногах, а где и на брюхе, скакуны смогли спуститься вниз. От тряски и вибрации сработал какой-то механизм в тяжеловозе, и бомбарда лупанула по скалам на другом берегу ручья. Тяжеловоз спускался последним, и ядро прошелестело над головами экспедиционеров. Оружейник был готов поклясться, что скала, в которую ударило чугунное ядро, разлетелась в пыль, но, когда рассеялся дым, оказалось, что скала стоит себе целой и невредимой. Оружейник и обрадовался и подивился такому непонятному поведению Планеты, но все же больше обрадовался и даже подумал: «Нет, эта загадочная Планета себя в руки не даст!» И тут ему так захотелось бросить и арбалеты, и бомбарды, и прочее оружие, имеющееся на крейсере, прогуляться с легким сердцем по Планете, попытаться раскрыть ее тайну, а если и не раскрыть, то просто сказать: «Ну что ж, прости, что мы тут немного напоганили... все, все... улетаем...»

Остальные в момент выстрела были заняты только управлением скакунами, поэтому им ничего не показалось.

Только чуть сбив подковы, скакуны благополучно достигли ручья.

— Враг не дремлет! — сказал Тактик. — Поедем друг за другом. А на поворотах не терять едущего впереди из виду! Вперед!

Россыпь скал даже приблизительно не могла дать направления, по которому нужно было искать беглеца. Тактик нетерпеливо взглянул на Советника и услышал:

— Там, где легче пройти пешему!

Кавалькада тронулась, выбирая некие подобия тропинок. Только подобия, потому что настоящих в этом чужом и враждебном мире быть не могло. Тактик виртуозно поигрывал сабелькой, иногда, рассекая со свистом воздух, обрушивал ее на какой-нибудь валун, но вскоре прекратил это интересное занятие, потому что сабелька совершенно затупилась. Но золотое перо на шляпе продолжало горделиво и вызывающе покачиваться в такт шагам скакуна.

Вскоре вокруг пошли сплошные завалы из огромных камней, и пришлось остановиться. Времени на путь было затрачено более часа, а проехали от силы — километр, полтора.

— Что делать, Советник? — спросил Тактик.

— Продвигаться пешим порядком.

— Ищи-свищи тут! — сказал Лекарь, которому тряская езда изрядно надоела и который вообще чувствовал себя уютно только в стенах корабля.

— Разговорчики! — оборвал его Тактик.

— Мне что... Надо, вот я и трясусь.

— Не трястись надо, а проявлять бдительность. Искать! Глазами, ушами, носом!

— Мне что... — снова повторил Лекарь так тягостно, что Тактику пришло в голову приструнить свою команду.

— В линию равняйсь! — приказал он.

Здесь и кучкой-то стоять было тесно, но все же скакуны Советника и Лекаря стали в линию. А Оружейник вынужден был развернуться левым боком.

— Это еще что?! — удивился Тактик. — Где твой арбалет, Оружейник?

— Какой арбалет? — не понял Оружейник.

— Ты что, на прогулке?! Мы находимся в окружении врагов, а ты без оружия. Где твой арбалет?

— А... Арбалет... — наконец сообразил Оружейник. — Так ведь, когда ручей переходили, скакун споткнулся, тряхнуло, он и брыкнулся в воду.

— Та-ак! Значит, нечаянно?

— Нечаянно, Тактик.

— Что же ты не остановился, не подобрал его?

— Унесло его тотчас же. Да и вообще...

— Что вообще?

— Еще убьешь кого-нибудь из арбалета-то. А так уж точно в живых оставишь.

— Ну, Оружейник, сейчас ты у меня попляшешь!

11 Когда «Толстяк» совершал посадку на какую-нибудь планету, Шкипер оказывался самым незанятым офицером. Потому, наверное, Стратег и поручил ему предать тело Бунтаря земле, вернее, скалам.

Шкипер отыскал в запаснике заступ и лопату, закинул то и другое на плечо, вышел из корабля, охрану люка которого нес Стряпух, и тяжело зашагал по каменистому плато, отыскивая подходящее место. Шкипер не любил планеты. Не так, впрочем, чтобы уж и не любил. Просто не лежала у него душа к событиям, обычно разворачивающимся на планетах, к которым он имел малое касательство, часто к тому же томясь бездельем.

Другое дело в открытом космосе. Засечь свои координаты, свериться по картам звездных морей, задать программу

компьютеру, уже интуитивно чувствуя правильное решение, ощутить радостную дрожь обшивки корабля, крикнуть в переговорное устройство: «Полный вперед!», крепко сжать в руках штурвал, крутануть его ровно на три с четвертью оборота, выправить, посмотреть в обзорный экран на круговерть звезд, снова совершить разворот, дать ускорение, да и подойти к необходимой солнечной системе с такой скоростью и с таким спиралевидным сближением, что у какого другого шкипера глаза на лоб полезут от удивления и зависти! Вот это да! Вот это работа! Вдохновение! Упоение творчеством. И никакой компьютер не сделал бы лучше, тем более, что Шкипер часто и выключал его на особенно опасных участках сближения, чтобы не сбивал с толку своими сухими бесстрастными цифрами.

В открытом космосе Шкипер чувствовал себя человеком.

Эх, так и ходить бы всю жизнь, поднимая на корме Приветственный вымпел при встрече другого корабля, крейсера, сухогруза или контейнеровоза! Посидеть с другими шкиперами в таверне порта приписки или завести знакомство в новом. Эх, были когда-то времена, да прошли, канули в вечность. Вот уже и шелест тугих солнечных парусов сменился перестуком и чадом хитрых машин. Но это, впрочем, дело Умельца... Но как все же хорошо было идти в открытом космосе. Даже на поперечный рой метеоритов был согласен Шкипер. А нипочем ему были метеориты и незарегистрированные в лоциях астероиды! Была бы голова, да корабль слушался малейшего движения штурвала...

А тут камень вокруг, один камень!

Ничего подходящего не нашел Шкипер и очертил лопатой прямоугольник недалеко от обрыва. Звякнул заступом раз, другой. Силушки в плечах было предостаточно. Крушил камень, менял заступ на лопату, выкидывал щебень, снова хватал в руки заступ, потом лопату, заступ и далее все в таком же ритме. Мундир с золотыми стрелами на плечах пропитался потом, но мышечная работа заглушала тоску по космосу и какую-то тревогу, не за себя, а за кого-то другого. Но, не умея в себе разобраться, Шкипер только азартнее вгрызался в скалу, пока не достиг такой глубины, что уж и выбраться из ямы смог лишь с большим трудом.

Тогда он вернулся на корабль, положил Бунтаря на наскоро сколоченную волокушу, потолкался в переходном тамбуре. И не тяжело ему было тащить Бунтаря, а как-то жалко, не-

удобно, стыдно даже. Попросить бы кого помочь. Но Тактик, Советник, Лекарь и Оружейник собирались на поиски Дурашки. Звездочет заперся в своей телескопической башне и на вызов не отвечал. Канонир покрывал поворотные устройства бомбард специальной смазкой и складывал возле каждой ядра горкой. А защищал корабль Канонир. Уж этот врага не подпустит, вдарит так вдарит! Не Умельца же просить о помощи, да и в карцере он, ну, а Неприметный и Стратег такие большие начальники, что в разговор с ними Шкипер никогда не вступал.

Потолкался, потолкался Шкипер, хотел уж уйти, да поймал сообщническое подмигивание Стряпуха, выставлявшего арбалет и алебарду словно напоказ или для устрашения.

Пока в тамбуре толкались офицеры, скакуны и тяжеловоз, Шкипер принес инструмент и приделал к волокуше еще пару ручек. А когда кавалькада медленно тронулась в путь, Шкипер и Стряпух, подперев для надежности люк алебардой и навострив арбалет, осторожно понесли Бунтаря к уготованному ему месту вечного успокоения.

Шкипер мало водился с Бунтарем. Да он и вообще мало с кем разговаривал на «Толстяке». Жаль ему было Бунтаря и не понимал он его. Звал и манил Шкипера вольный космос!

Молча опустили Шкипер и Стряпух тело Бунтаря в яму, молча засыпали его камнями, которых теперь хватило и на продолговатый холмик, молча сняли широкополые шляпы, с белым, словно обсыпанным мукой или сахаром, пером у Стряпуха и черным, как драгоценный ночной алмаз, у Шкипера. Постояли еще немного, думая о своем, и собрались уже уходить, когда под обрывом у ручья оглушительно ухнула малая бомбарда тяжеловоза. Как прощальный салют прозвучал этот выстрел. Потянулся Шкипер за ненужным теперь заступом, потянулся и обомлел. Ровное место было перед ним. Ни холмика, ни щебня, который он наколол здесь. Ровная, нетронутая скала без всякого намека на человеческую деятельность. Лицо Стряпуха цветом сравнялось с пером, и бросился он невероятными прыжками к крейсеру, прыгая и виляя из стороны в сторону, словно сбивал кого со следа.

А Шкипер зачем-то потрогал нетронутую скалу лопатой, но уже не осмелился в этот раз оставить на ней метку, хотя бы и в виде черты, потом бросил ненужный теперь инструмент, примял шляпу, отломив при этом драгоценное перо, положил

ее на камень и прилег сам, словно загорал на солнышке или просто отдыхал.

Понял Шкипер, что уже никогда не взлетит с Планеты, и жизнь для него потеряла всякий смысл.

12

Всего на свете боялся Звездочет: и человека, и насекомых, и арбалета, который мог нечаянно выстрелить, но пуще всего боялся он Звезд. Потому и пошел в Звездочеты, что еще в ранней молодости услышал от одного надежного человека, что Звезды часто взрываются или коллапсируют, превращаясь в черные дыры, а это все равно, что исчезают. Свой счет вел Звездочет Звездам и никому не показывал заветного списка, в котором был им отмечен уже три миллиона сто пятнадцать тысяч один объект. Ни дымка, ни хмарь, источаемая большими городами, ни смена дня и ночи на планетах, ни дожди, ни туманы не мешали Звездочету в космосе. Сутками просиживал он в телескопической башне «Толстяка», обводя зорким глазом черное небо. И когда в положенном месте не оказывалось ранее сиявшего объекта, он пускался в пляс, отбивая у сапог каблуки, швырял шляпу с крапчатым пером на пол. Сильно он иногда при этом сбивал точнейшую настройку своего телескопа, но приводить механизм в порядок было делом Умельца.

Страх к Звездам происходил у него от непонимания. Не понимал Звездочет, кому понадобилось такое огромное количество косматых светил, издали обманчиво напоминающих холодные светлячки. Хорошо, что не у каждой Звезды, а лишь через десяток, имелись планетные системы. И только через сотню додумывались Звезды до создания жизни, и уж совсем хорошо, что лишь через тысячу жизнь порождала разум. Хорошо, но и плохо... Звездочет считал, что жизнь и разум могли бы проявляться в космосе и пореже. Иначе ему, затерянному среди себе подобных, никак не обратить на себя внимания. А ведь и галактик насчитывалось более пятисот миллионов. Такое количество миров Звездочет не мог объять своим разумом. И страх его был настолько велик, что среди членов экипажа «Толстяка» только Дурашка стоял ниже его рангом. Но Дурашка не сознавал своего унизительного положения, а Звездочет страдал. И если уж уничтожить звезду «Толстяку» пока было не под силу, то расправиться с Планетой он вполне мог. Звездочет никогда бы не осмелился дернуть шнур бомбарды, но не возражал в душе, если это делал кто-то другой.

Даже в планетянина не смог бы он выстрелить, но остаться, как Лекарь, над обрывом он тоже не мог, потому что это повлекло бы за собой справедливые вопросы: почему он не был в первых рядах? почему количество солнечных лучей в колчане не уменьшилось даже на единицу?

Таща тело Бунтаря вверх, машинально находя точки опоры для ног и выступы для свободной руки, Звездочет случайно взглянул в небо и чуть не сорвался вниз. Его наметанный глаз сразу заметил что-то незнакомое в до мельчайших подробностей знакомом черном покрывале неба. Окрик Тактика, правда, тут же вернул его к действительности, а на плато, когда идти стало легче, он уже просто не осмеливался поднять голову вверх, да и мешала бахрома широкополой шляпы. Но мысль твердо засела в сознании, единственный взгляд отпечатал небо со всеми подробностями. И во время ночной беготни по кораблю, и во время завтрака, когда Тактик был награжден орденом лучеиспускающей Розы, он думал только об одном и уже знал, что произошло, и даже придумал, что же нужно делать дальше, но не осмелился высказаться вслух. Да и проверить кое-что нужно было с помощью верного телескопа.

Обрадовавшись, что его не назначили в экспедицию и не заставили долбить могилу, он тотчас же по окончании завтрака помчался в свою башню. Телескоп имел устройство и для разглядывания Звезд в дневное время. Небо уже давно было поделено на равные участки с точнейше сосчитанным количеством светлячков в каждом. И десяти минут было достаточно, чтобы подтвердилось худшее. В секторе, насчитывавшем ранее ровно сто тысяч звезд, количество их увеличилось на тридцать штук. Если бы уменьшилось... Ну почему не уменьшилось?!

Увеличилось! Такого еще не бывало. Такое вообще не могло произойти! Звездочет изошел потом и похудел на три килограмма сразу. Уже не столь тщательно проверил он другие участки, и там прибавка шла на десятки и даже в одном случае на сто двадцать пять штук.

Вот это самое и заметил Звездочет, когда полз вверх по крутому склону обрыва.

Имелись еще некоторые расхождения в местоположении Звезд, иногда доходившие до десятка градусов и более, но тут обмануть Звездочета было трудно. Он знал каждую, не считая, конечно, только что возникших. Эти-то были совершенно незнакомыми.

Что же могло вытекать из столь неожиданного открытия?

Или мир сошел с ума, или...

Ясно было одно, что тут не обошлось без участия Планеты... Вот где-то глухо пыхнула бомбарда экспедиционеров, и тотчас же количество звезд увеличилось на одну!

Прекратить обстрел, вот что пришло в голову Звездочету. И, конечно, не от жалости к Планете, а, скорее, от ненависти и страха. Бежать, бежать скорее с нее, пока еще не поздно.

Звездочет бросился вон из своей телескопической башни, бессвязно выкрикивая:

— Небо! Небо!.. Бежать... Бежать...

Он выкрикивал невнятно и невразумительно, потому что торопился. Толкнулся в одну каюту, чтобы немедленно поделиться своей ужасной новостью. Заперто! Ах, это же каюта Бунтаря! В другую. Тоже заперто. Ах, это Шкипера... Стратегу! Стратегу! Вот кому нужно немедленно сообщить. Он вбежал в апартаменты Стратега.

— Стратег! Стратег! Стартовать с Планеты немедленно!

Нехотя отворилась дверь кабинета Стратега.

— И Планета, и небо сошли с ума! Единственное спасение — стартовать!

Такой знакомый, похожий с торца на птицу с распростертыми крыльями арбалет уставился ему в грудь.

— Стратег! Стра...

Алмазным лучом ощетинился арбалет. Все Звезды в мире навсегда исчезли для Звездочета. Осуществилась его сумасшедшая мечта.

13

— Ну, Оружейник, сейчас ты у меня попляшешь! — крикнул Тактик, и скакун под ним завертелся юлой.

Оружейник насмешливо наблюдал за происходящим, хотя главным действующим лицом в этой сцене был, кажется, он сам. Советник бросил своего скакуна назад к только что пробитой тропе, но дорогу ему преградил Лекарь, поднявший своего скакуна на дыбы. Советник отступил, но с явной неохотой.

— Беги! — крикнул Лекарь, освобождая Оружейнику тропу.

— Нет, — твердо ответил тот. — Мне некуда бежать, и, признаться, нет желания.

— Он же убьет тебя!

— Пожалел! — криво усмехнулся Тактик, наконец справившись со своим скакуном. — Я не буду его убивать. Я вообще не убийца!

— Это уж точно, — вставил Оружейник.

— Да! Да! Бунтарь сам виноват, что наскочил на мушку арбалета! Из-за него мы лишились двух офицеров, а проклятая Планета продолжает издеваться над нами. А теперь ты! Собственно, не теперь, а еще со вчерашнего дня. Все равно тебе не уйти от наказания!

— Только не поднимайте друг на друга руку! — взмолился Лекарь. — Хватит нам и одного Бунтаря. И вообще, что ж такого, что Планета не раскрывается перед нами. Нужно уйти и все.

— Да ты что?! — взвился Тактик. — Уйти! Признать свое поражение! Навеки покрыть позором «Толстяка»! Такого еще не было в истории.

— Не было, — согласился Лекарь. — Но раньше в экипажах не было ни Бунтарей, ни Дурашек. Что-то меняется в мире, Тактик. И мы совершаем жестокую ошибку, продолжая действовать как и раньше.

— Это бунт! — гневно выдавил из себя Тактик. — Это бунт! Но, чего бы мне это ни стоило, я все расставлю на свои места! Вчера, сегодня, завтра и вечно, всегда «Толстяк» будет над миром! Сдать оружие, Лекарь! Советник, вырви перья из их шляп! Негодяи! В такой ответственный момент, когда все висит на волоске... Будь в нас единодушие, мы бы уже давно раскололи Планету!

Лекарь протянул свой арбалет и колчан с солнечными лучами Советнику.

— Возьми. Я все равно не умею стрелять. Ланцет и зажим для остановки кровотечения, вот что привыкли держать мои руки... Ах, Оружейник, зря ты не воспользовался возможностью бежать.

— Что же ты не бежал сам? — спросил Оружейник.

— Никто не осмелится тронуть меня, — ответил Лекарь. — Ведь каждый в борьбе с невидимым и коварным врагом может получить тяжелую рану. Не так ли, Тактик? Судя по развивающимся событиям, мне не хватит корпии. Придется нащипать еще.

— Ладно, — успокоился Тактик. — Я назначаю вам обоим отложенный карцер. Как только Умелец отсидит свое, карцер займет сначала Оружейник, потом Лекарь.

Советник сделал странное движение, словно хотел обратить на себя внимание, но только одного Тактика.

— Что скажешь, Советник?

— Из-за уменьшения состава команды карцеры лучше отменить. Временно.

— Так ведь я и сказал — отложенный карцер. Ну что, бравые офицеры, продолжим экспедицию с целью поимки беглеца? Или продолжим теоретические споры?

— Бесполезно это, — ответил Лекарь. — Нам не найти Дурашку таким образом. Надо воспользоваться орланом. Сверху виднее.

— Только Стратег может поднять орлана вверх.

— Вот пусть и поработает, — заключил Лекарь.

Тяжеловоз, отвернув бомбарду в сторону от людей, иногда уныло перебирал ногами. Ясно, что дальше ему не пройти.

Тактик вдруг насторожился, подтянулся, щелкнул тумблером нагрудной карманной радиостанции.

— Прием... — По мере того, как он слушал сообщение с «Толстяка», лицо его серело, а бравая фигура расплывалась, теряя свою подтянутость. — Не может быть?! Кто охранял люк?.. — Ужасно... Немедленно возвращаемся! — Тактик выключил радиостанцию, натянул поводья, сказал срывающимся голосом: — Они проникли на корабль! Убит Звездочет! Голубым аллюром к «Толстяку»!

— Я остаюсь, — сказал Оружейник.

— Испепелю! — вскричал Тактик. — Бежишь, когда над нами нависла такая опасность!

— Нет, Тактик, я не бегу. Я вернусь на корабль. Только мне очень хочется узнать, что же все-таки происходит на этой Планете. Я буду ехать и думать, спрашивать себя и отвечать. Пойми, Тактик, здесь нужно действовать без арбалетов и бомбард.

— А убийство Звездочета?!

— А убийство Бунтаря?! — в тон Тактику спросил Оружейник. — Возвращайтесь. Я вернусь, как только что-нибудь пойму.

— Дурашка... — начал было Тактик.

— Приведу и Дурашку. Подумай насчет бомбард и арбалетов, Тактик.

— Чертовщина! — заскрежетал зубами Тактик и пустил своего скакуна голубым аллюром.

Советник молча зыркнул на Оружейника, и какая-то хитрость скользнула в его взгляде.

— Счастливо оставаться, Оружейник! — сказал Лекарь.

Все трое исчезли, только тяжеловоз, чугунно ступая своими колоннообразными ногами, еще некоторое время сотрясал камни.

14

Дурашка шел всю ночь. Его не интересовало, куда он идет. Непривычная к мыслям голова гудела. Иногда он ложился на камни, но не отдохнуть, а просто потому, что и движение, и покой были сейчас абсолютно равноценны. Если встречались непроходимые нагромождения камней, он неосознанно искал другой путь, мелкие ручьи переходил вброд, карабкался на скалы, даже не подумав, что ждет его впереди.

Рассвет застал его на высокой горе. Восходящее Светило странно меняло краски Планеты, укорачивало тени, играло отраженным светом на алмазных пиках гор.

«Какая красота!» — подумал Дурашка и сам удивился своим мыслям. Что делать дальше? Он не имел ни малейшего представления о том, откуда пришел и в какой стороне теперь находится «Толстяк». Но это его не пугало. Он не собирался возвращаться на корабль. Бунтарь убит, а без него на крейсере делать нечего. Пусть оставшиеся уничтожают Планету. Дурашка будет идти, пока есть силы, а потом станет частью ее. Эта мысль привела его в восторг. Стать частью Планеты! Не Офицером для Наказания, а частью Планеты, с ее горами, морями, реками, скалами, ручьями.

Теперь он по-другому взглянул на окружающее. Как часто ранее он рассматривал свои ни на что не пригодные руки, лоб, за которым ему чудилась пустота! Все, кроме Бунтаря, убеждали его в собственной бесполезности. Но теперь он станет необходимым. Он — это Планета. Планета — это он. Есть ли на ней разумные существа или нет, это теперь неважно. Раз жив он, значит, жива и Планета. Каждый камень, каждый атом!

Дурашка взял в руки камешек, обточенный водой. Планета несомненно жила! Когда-то здесь было море, иначе кто еще мог так обточить этот кусок камня? Дурашка ласково погладил камень, поцеловал его, хотел положить в карман изодранного во многих местах мундира, но передумал. Почему именно этот? Вот другой, не такой круглый, но приятный, родной... Или вот этот! А там, чуть ниже? Дурашка даже растерялся. Он понимал, что всю Планету не положишь в карман, даже десяток камешков не войдет во все карманы мундира. Но как выбрать один-единственный? Дурашка заметался по склону, бестолково, растерянно. Несколько камней, сдвинутых с места каблуком его сапога, покатились вниз, к далекому, бесшумному отсюда ручью. Дурашка похолодел. Ему не хотелось нарушать первозданность Планеты. Он чуть было не бросился к подножию горы, чтобы сыскать скатившиеся камни и положить их на определенное им Планетой место, но вовремя сообразил, что не сможет этого сделать, опечалился и решил ходить как можно осторожнее, чтобы не нарушать спокойствия Планеты.

Но не взять с собой хоть один камешек... От такого соблазна отказаться он не мог. И уже не выбирая, не высматривая, куда протянулась чуть вздрагивающая рука, даже закрыв глаза, он взял первый попавшийся камень, ощутил его вес и твердость, положил в карман брюк и лишь тогда осмотрелся, радостно ощущая, что он любит все вокруг.

Светило оторвалось от изломанного горизонта. И в это время приглушенный грохот раскатился между скал. Дурашка понял, что это бомбарда, горестно покачал головой, но тут два явления привлекли его внимание. Камень, который лежал в кармане, исчез, не вывалился, не провалился в дыру, а просто исчез. Что-то мелькнуло внизу над ручьем. Дурашка не успел рассмотреть, что именно, но подсознательно сообразил — камни, которые он бросал, вернулись на свои места. Он даже ощутил, как приподнялся каблук его сапога. Вот так чудеса! Планета исполняла его желания! Он ничего не хотел здесь нарушать, и она исправляла последствия его случайных действий. И даже то, что она отняла у него камешек, не огорчило Дурашку. Он понял, что поступал нехорошо, пытаясь присвоить себе часть Планеты.

Камень лежал на том самом месте, откуда Дурашка его взял. Он был тот самый и немного не тот. Точно Дурашка мог определить только на ощупь, потому что глазами не видел его, но ощупывать не стал. Ему было довольно и того, что они с Планетой поняли друг друга. Планета приняла, стала считать своим...

15

Тактик что есть силы пришпоривал своего скакуна. Крутой подъем на плато они взяли с разгона. Что-то мелькнуло слева, но некогда было обращать внимания на пустяки. До крейсера оставалось не более ста метров, когда люк

его открылся и каурый скакун стрелой вылетел навстречу, даже не коснувшись пандуса копытами. «Скакун Дурашки, — определил Тактик. — Кто и зачем выпустил его из корабля? Теперь Офицера для Наказаний вообще не догнать!» Сумасшедший, как и сам хозяин, был скакун у Дурашки.

— Спят, идиоты! — крикнул Тактик. — Так вас всех можно взять голыми руками!

Сдержав бег скакуна, он влетел в никем не охраняемый крейсер.

Советник, непостижимым образом чуя большие перемены, отстал от него не более, чем на минуту.

Лекарь был плохим наездником и вообще сломал бы себе шею на горных кручах, если бы не представил своему скакуну полную свободу. Взобравшись на плато, именно он увидел неподвижно лежавшего Шкипера. Соскочив со скакуна, бросив поводья, он кинулся к офицеру, приложил ухо к груди, ничего не услышал, разорвал мундир непослушными пальцами, снова прислушался. Шкипер был мертв! И смерть его казалась необъяснимой.

Скакун Лекаря несся по краю обрыва, и поймать его теперь было нелегко. Тяжеловоз глухо ухал где-то за ручьем. Осторожно положив тело Шкипера на плечи, Лекарь понес его к крейсеру.

А Тактик тем временем вихрем промчался по коридорам и эскалаторам «Толстяка».

— Как это произошло?! — крикнул он в кают-компании.

— Сначала спешься, — попросил Стратег.

Тактик, соскочив, пнул скакуна. Скакун, фыркнув, умчался на конюшню.

— Стратег!

— Успокойся, Тактик. Врагов на «Толстяке» уже нет. Убит лишь Звездочет. Мы выясняем обстоятельства его гибели.

Тактик огляделся.

Стол как всегда был накрыт на тринадцать персон. Стрянух разливал утреннюю похлебку, расплескивая холодный бульон на скатерть. Стратег сидел во главе стола. Справа от него расположился Неприметный. Канонир меланхолично жевал лепешку. Вошел Советник и сел на свое место.

— Где же остальные? — спросил Тактик.

— Я тоже спрашиваю: где же остальные?! — повысил голос Стратег.

— Оружейник отказался вернуться на корабль. Еще утром я предлагал посадить его в карцер. Но ты, Стратег, послушался совета Неприметного!

— Неприметный награжден двойным орденом лучеиспускающей Розы!

— Прошу прощения...

— Это он вовремя обнаружил врагов и спас крейсер от уничтожения. Где же Лекарь?

— Будет с минуты на минуту.

— Исчез Умелец, — сказал Стратег. — Двери карцера снова оказались открытыми. Возможно, его увели враги. Шкипер не отвечает на запросы. В шкиперской его тоже нет. Исходя из всего случившегося, я прихожу к выводу, что тактика нашего поведения на Планете является ошибочной.

— Стратег! — взмолился Тактик.

— Мы делаем что-то не то. Экипаж тает! Надежность охраны корабля не обеспечена! Планета посмеивается над нами. Я вынужден...

— Нет, Стратег! Нет! Только не это! Мы расколем Планету, клянусь тебе!

— Кого мы должны еще для этого потерять?

Тактик понял, насколько плохи его дела. Ну, да ведь есть еще язык арбалета. Он повел плечами, так что арбалет начал медленно сползать вниз, в подставленную ладонь. Но тут в кают-компанию вошел Лекарь.

— Я оставил его в коридоре... Шкипер не убит, он умер. Понимаете, умер!

— Еще один, — сказал Стратег.

И в это время на крейсер обрушился удар. Канонир своим опытным слухом сразу понял, что корабль обстреливают, и, не дожидаясь приказа растерявшихся Стратега и Тактика, бросился к своим бомбардам.

Еще и еще удар обрушился на «Толстяка». Крейсер начал крениться на бок. Все в кают-компании поползло к одной стене, посыпалась посуда, покатились, хватаясь за что попало, офицеры.

Взглянув в обзорный экран, Канонир понял, что враг немногочислен. Лишь в одном месте изрыгало огонь невидимое в дыму орудие. Несколько ядер ударили в корпус «Толстяка», но не смогли пробить его броню. Пандус же и одна опора крейсера уже перестали существовать. Канонир быстренько навел самую большую бомбарду на врага и ру-

кою дернул запальный шнур. Меткий глаз был у Канонира. Он никогда не ошибался. Больше никто не пытался стрелять в крейсер.

16

В кают-компании никто не пострадал. Только у Стряпуха на темечке вспухла шишка, но, прикрытая шляпой с белым пером, она была совершенно незаметна.

Некоторое время среди офицеров чувствовалась растерянность, но как только Канонир доложил по внутренней связи о полном уничтожении врага, все стало на свои места.

— Теперь мы уже не сражаемся с невидимками, — с удовлетворением отметил Тактик. — Наконец-то планетяне проявили свою истинную сущность!

— И все-таки тактика наших действий на Планете была неверна, — сказал Стратег, пытаясь установить резное кресло таким образом, чтобы на него можно было сесть. Давленые макароны облепили его мундир, соус залил эполеты и знаки отличия. Внешний вид его не внушал никакого страха и уважения. Впрочем, и все другие были заляпаны остатками различных кушаний. Но каждый видел только других.

Слова Стратега означали одно: место Тактика сейчас займет кто-то другой. А Тактик очень не хотел расставаться со своим чином.

— Стратег! — воскликнул он. — Тактика гибка. Возможно, и были кое-какие упущения и незначительные ошибки, но в рамках правильной стратегии они легко исправимы. — И, торопясь высказаться, не давая возможности Стратегу перебить себя, поспешно продолжил: — Все непоправимое происходит здесь, на крейсере. Врагам предоставлена возможность открывать люк корабля, карцер, убивать офицеров! Почему все это происходит?! Кто убил Звездочета?

Стратег искренне удивился нервной вспышке Тактика.

— Вот и нужно разобраться, — сказал он. — Не помогает ли врагам кто-нибудь из членов экипажа?

— Именно так, — скромно, но отчетливо отпечатал Неприметный.

Стряпух собирал разбитые чашки. Советник лихорадочно соображал, чьи советы он так удачно выдавал ранее за свои. Лекарь чувствовал себя здесь лишним, но удалиться ему не позволяла субординация. Вошел закопченный пороховыми газами Канонир, но на него не обратили внимания. Что-то гораздо более серьезное занимало сейчас умы офицеров.

— Где был убит Звездочет? — спросил Тактик.

— Я нашел его в приемной возле своего кабинета, — чистосердечно признался Стратег.

— Ага! Как он лежал? Был ли слышен звук выстрела? Откуда и чем предположительно стреляли? — Нужные вопросы сами собой возникали в голове Тактика.

Стратег посмотрел на него изумленно.

— Я могу ответить на все вопросы, — сказал Неприметный. И уж вовсе не таким неприметным, как всегда ранее, оказался он. Какая-то властность почувствовалась в его голосе. — Звездочет был убит выстрелом из арбалета. По отверстию, оставленному лучом в теле, можно уверенно сказать, что стреляли из нашего арбалета! По положению тела можно судить, что стреляли через чуть приоткрытую дверь кабинета Стратега.

— Но кроме меня в кабинете никого не было, — удивился Стратег. — Уверяю вас!

— Это понятно, — сказал Неприметный. — Кроме тебя в кабинете никого не было.

— Что ты хочешь этим сказать, Неприметный?! — закричал Стратег.

— Измена! На «Толстяке» измена! — понял, что нужно сейчас кричать, Советник.

— Слово сказано, — заключил Неприметный. — Вот кто помогал врагам, вот кто убивал своих же офицеров!

— Это ложь, — возразил Стратег. — Мне не было никакого смысла помогать врагам и убивать офицеров. Стратегия...

— Ах, так вот почему так подозрительно неверной была стратегия?! — обрадовался Тактик.

Канонир смотрел на все происходящее, ничего не понимая. Он только что отбил нападение врага, а его никто не поздравляет, никто не приговаривает к ордену. Черт знает, что творится на этой Планете! Лекарь осмысливал все, что произошло с «Толстяком», и начинал понимать прозорливость Шкипера. Стряпух сгребал в одну кучу макароны, вареные овощи и осколки разбитой посуды, благо это делать было нетрудно из-за довольно значительного уклона пола кают-компании.

— Трое убитых! — подытожил Неприметный. — Трое убитых! Крейсер поврежден! А Планете не причинено никакого ущерба!

— Измена! — возопил Советник. Он уже чувствовал, что будет налету ловить мысли Неприметного и выдавать их за свои советы. Да не его ли советы он оглашал вслух и ранее?

— Остановитесь, — слабо попросил Лекарь. — Образумьтесь.

— Кто же из вас желает стать Стратегом? — спросил поверженный.

Что-то запрыгало от счастья в груди Тактика, но тут же испуганно замерло от холодного взгляда Неприметного.

Стратег сломал золотое перо на широкополой шляпе и, скользя по покатому полу, медленно направился к выходу из кают-компании.

В один момент рядом с ним оказался Неприметный. В руке его блеснула сталь клинка.

— Только не это! Нет... — беззвучно произнес Тактик.

Стратег упал. Неприметный повернулся к офицерам. Глаза его горели сумасшедшим огнем.

— Я — Стратег! Тактиком назначаю Советника! Впрочем, нет... Тактик остается Тактиком, но только до первого неприятного случая.

Так он обезопасил себя от Советника и Тактика, направив их мысли на тяжелую и беспощадную борьбу друг с другом.

17

Стратег лежал на операционном столе.

Лечебница тоже здорово пострадала от нападения врага.

Рука Неприметного дрогнула в последний момент, а может, сердце Стратега от старости просело чуть вниз, но Неприметный только нанес смертельную рану, а не убил.

Лекарь свято хранил заветы своей древней профессии. Что бы ни случилось, пусть весь мир катится к черту на кулички, а он обязан спасать людей. Его не особенно интересовало, что происходит на планетах, которые встречал «Толстяк». Лишь бы были всегда прокипячены хирургические инструменты, имелся запас крови для переливания, содержались в сухом и прохладном месте сыворотка от насморка, антибиотики и витамины. Провести профилактический осмотр, измерить кровяное давление, выслушать легкие, проверить зрение и слух.

Во время полетов жизнь Лекаря текла спокойно, времени у него было предостаточно и для того, чтобы наточить ланцеты до субатомной остроты, и для того, чтобы сбраживать

дрожжи, на которых он проводил строгие научные опыты с магнитным полем. Но это, впрочем, было просто увлечением.

Подкручиванием винтов Лекарь привел операционный стол в строго горизонтальное положение, снял со Стратега мундир, подсоединил к телу необходимые датчики и приборы, вскрыл грудную клетку, мелкими аккуратными стежками зашил поврежденный правый желудочек сердца и артерию, помассировал уже остановившийся человеческий мотор. Сердце заработало, но редко, с минутными перерывами. Ему просто нечего было толкать. Стратег потерял всю кровь.

Лекарь еще раз на всякий случай проверил содержимое холодильников. Нет, все трехлитровые банки с запасами крови были разбиты, и кровь смешалась с ядами, лекарствами и печеночной желчью.

Все сделал Лекарь, но спасти Стратега не мог. Он не думал о том, нужно ли спасать Стратега. Просто перед ним лежал человек, и Лекарь был обязан сделать все возможное и невозможное.

Время бежало. Через десять-пятнадцать минут Стратегу не помогло бы уже ничто на свете. Тогда Лекарь пододвинул к Стратегу еще один операционный стол, строго выверил его горизонтальность, сделал резиновым шлангом отвод от артерии Стратега, разделся сам, протер шею спиртом, установил над вторым столом зеркало, улегся на стол, так что в зеркале была видна его голова и верхняя часть туловища, острым ланцетом сделал надрез, ловко на пару секунд перекрыл сонную артерию, рассек ее, соединил с резиновой трубкой, убрал зажим и взял руку лежащего рядом Стратега за запястье.

Боли он не чувствовал. Чистое спокойствие снизошло на него. Мир заблистал, заклубился радугами, ожил, открыв Лекарю свою потаенную, невидимую простым глазом красоту. Божественная музыка звучала в ушах, сначала одна лишь мелодия, а потом и ритм, все убыстряющий свой шаг. Это пульс Стратега, понял Лекарь и улыбнулся. Никогда и нигде Лекарь не нарушит своей Клятвы!

В зеркало ему было видно и лицо Стратега. Оно чуть оживилось, легкий румянец появился на дряблых щеках. Стратег приходил в сознание. Вовремя успел Лекарь.

Вот и веки шевельнулись, раз, другой, третий, и открылись глаза, затрепетали губы. Стратег ожил.

Что вспоминал он? Что сохранили в его памяти просуществовавшие почти час без кислорода клетки коры головного

мозга? Вспомнил ли он, что уже умер, а теперь воскрес? Или память пощадила его, не записав событий последнего часа?

Нет, Стратег не обрадовался своему воскрешению. Да неужели же он помнил все?!

Глаза его, полные боли, нашли в зеркале отражение глаз Лекаря.

— Поздно, Лекарь, поздно... Ошибка была не в тактике...

Он замолчал, минут пять собираясь с мыслями.

— Ошибка была в стратегии...

Ритм чудесной мелодии замедлялся.

Или нашлась какая течь в располосованных сосудах и капиллярах Стратега, или не слишком плотно соединил Лекарь сосуды с трубкой, или шероховатость самой трубки была выше допустимой нормы, а может, и еще что-то, но крови Лекаря уже не хватало на двоих.

Его не интересовало, что там шепчет Стратег, правильно или неправильно была выбрана стратегия и тактика поведения «Толстяка» и его команды — все это сейчас не имело значения! И единственное назначение человека Лекарь видел в спасении людей, в своей уже откатывающейся в прошлое работе, в чем-то ласковом, необходимом, что уже перестал сознавать, но еще чувствовал. А потом перестал и чувствовать.

Последняя капля скользнула по резиновому шлангу.

18 Умелец находился в своей лаборатории. Он не собирался бежать с крейсера, когда дверь карцера внезапно открылась. Первым его побуждением было броситься в кают-компанию или рубку управления, но тяжелые стальные щиты перегораживали коридоры перед самым его носом. Его словно загоняли в необходимый кому-то угол. Умелец бросался вперед, отступал, сворачивал в боковые проходы, поднимался и опускался по эскалаторам, направляемый чьей-то рукой. Наконец он понял, что его загоняют в лабораторию, и чуть было не расхохотался. Ведь лаборатория была единственным местом, где он чувствовал себя спокойно. Умелец любил свою лабораторию. Здесь, да еще в машинных и двигательных отсеках, он проводил почти все свое время.

Что сейчас происходило на крейсере, Умелец не знал. Но пусть остальные занимаются своими неотложными делами, он должен разгадать тайну Планеты. Убийство Бунтаря — дело рук Тактика. И он никогда не простит Тактику того рокового

выстрела. Жаль, что столкновение скакунов произошло не на самом краю обрыва. Но Планета скрывала в себе какую-то тайну. Обстрелы из бомбард не задевали ее. Да найдется ли в мире более страшное оружие, чем все разрушающее чугунное ядро, начиненное ужасающей силы взрывчаткой? Не только враждебный корабль, но и средних размеров астероид могли превратить в пар бомбарды корабля.

Очутившись в своей лаборатории, Умелец первым делом поразмышлял над возможным взаимодействием бомбарды и Планеты. Обычная планета, конечно, не могла устоять перед ядрами. Следовательно, Планета необычна. Да. Но это Умелец уже знал. Излучавшая мощный радиофон, она внезапно и неожиданно оказалась мертвой. Но это только внешне, только для «Толстяка» и его команды. Что же хотели сказать своим молчанием планетяне?

Итак, скалы Планеты не могли противиться ядрам бомбард. Следовательно, Планета мгновенно самовосстанавливает себя. Эта мысль вела к другой тайне. Как? Как Планета могла мгновенно самовосстанавливать себя?

И радиофон, естественный только для высокоразвитой цивилизации, и его внезапное исчезновение!

Нет, стройная теория не складывалась.

Что ж, подумал Умелец, начнем планомерное исследование. Он с помощью манипуляторов взял пробы воздуха. И сразу же заметил еще одну странность. Количество кислорода в атмосфере Планеты уменьшилось. Совсем немного, на какую-то сотую долю процента, но все же уменьшилось. Умелец решил вести непрерывные замеры. Тем более, что времени это не занимало, со всем прекрасно справлялся автомат.

С помощью пташек, оснастив их предварительно буравчиками, он хотел исследовать состав скал и камней вокруг крейсера.

Но тут как раз и случилось то самое открытое нападение неприятеля на корабль, которое привело к отклонению продольной оси корабля от вертикали. Кое-что из аппаратуры при этом, конечно, пришло в негодность, но не это расстроило Умельца. Нападение планетян на корабль он тоже отнес к разряду загадок. Судя по всему, крейсер не особенно пострадал. И такой необдуманной, половинчатой, неподготовленной акции планетян Умелец не мог найти оправдания. Ну не нападали бы совсем, как предыдущие сутки, или уж уничтожили бы «Толстяк» первым прицельным выстрелом. А получилось

ни то, ни се! Такая нелепость со стороны планетян даже обидела его.

За бортом корабля все стихло, и Умелец решил продолжить исследования. Через пневматическую трубу запустил он пташек, и, пока они буравили скалы в разных местах и в районе уничтоженного орудия планетян, бросил взгляд на таблицу замеров состава воздуха. Количество кислорода держалось стабильно с точностью до шестого знака. Этому не помешали и клубы порохового дыма, медленно растворявшегося над полем недавнего боя.

Возвратились пташки с пробами грунта. Умелец провел спектральный анализ образцов в пламени спиртовой горелки. Состав пород не вызвал удивления, да и сравнивать его пока было не с чем. И только один образец, взятый на месте уничтоженного ядром вражеского орудия, дал совершенно неправдоподобный результат. Он, конечно, отличался от всех других, что само по себе не было неожиданностью, так как орудие было делом рук планетян, а скалы — самой Планеты. Но вот запах горелой шерсти! Откуда мог взяться этот запах? Умелец тщательно исследовал остатки образца и нашел в нем какие-то волосинки. Странно! Можно было подумать, что бомбарды «Толстяка» разнесли в клочья скакуна или тяжеловоза. Но одно дело в неразберихе, ночью, убить своего офицера, другое — при свете дня стрелять в свое же собственное средство передвижения!

Но ведь Умелец не мог знать, что представляют собой орудия разрушения планетян.

Состав воздуха за бортом упорно продолжал оставаться прежним.

Ах, почему он не догадался взять пробы грунта накануне? Умелец сильно затосковал, но тут взгляд его случайно упал на сапоги с отворотами. Пыль! Ну, пусть не пыль. На Планете и пыли-то не было. Но случайные атомы и молекулы, налипшие на сапоги вчера... Да и на мундире! Как удачно, что скакун Тактика выбил его из седла!

Умелец немедленно взялся за анализ. Не прошло и десяти минут, как количество загадок увеличилось. Для проверки Умелец послал стайку пташек с буравчиками на место своего ночного падения. Успокаивая сердцебиение, дождался их возвращения, тщательнейшим образом провел анализ еще раз.

Проба грунта, взятая в том месте, где он упал ночью, совпадала с пробами в других местах, но не имела ничего общего

с пылинками, налипшими на его мундир и сапоги. Получалось так, что он вчера упал с седла совсем не на этом плато!

Умелец глубоко задумался, а когда очнулся, увидел, что перед ним лежит листок с временным графиком взятия проб воздуха и грунта.

Но в лабораторию, он был уверен, никто не входил.

19

У Неприметного теперь было много забот. Он даже не особенно интересовался, кто из двух офицеров, Тактик или Советник, успеет первым пустить солнечный луч из арбалета в своего противника. Конечно, Советник был ему ближе. Все-таки тот на протяжении всего полета высказывал под видом своих советов его, Неприметного, мысли. Но это при Стратеге. Тактик был энергичнее, предприимчивее, но и эти прекрасные качества сейчас не имели особого значения, когда он, Неприметный, взялся за дело сам. Стряпух не мог никому ни помочь, ни помешать. Обращать внимания на него не стоило. Только Канонир да Умелец интересовали сейчас Неприметного. И еще двое беглецов. Но с тех спрос особый!

Неприметный осторожно подергал ручку двери лаборатории. Нет, никто бы не смог проникнуть сюда. Канонира он нашел на артиллерийской палубе. Спокойно и отрешенно ходил Канонир между своими бомбардами, где смазывая механизм поворота из большой масленки, где проверяя крепость веревочки запала, поправляя аккуратно сложенные горкой чугунные ядра, вытирая тряпочкой пороховую пыль со стволов и лафетов.

— Будешь производить обстрел Планеты вот по этому графику, — приказал Неприметный.

— Слушаюсь! — отозвался Канонир.

— Секунда в секунду! Понял?

— Понял, Неприметный. Да только зачем все это?

— Не твоего ума дело. Присматривай за своими бомбардами да точно выполняй приказ!

— Слушаюсь, Неприметный!

— Стратег!

— Слушаюсь, Неприметный Стратег!

— Ладно. Если успеешь, научишься называть меня просто Стратегом.

Неприметный пошел к стойлам и клеткам, вполне уверенный, что Канонир сделает все так, как он приказал.

В стойлах били копытами застоявшиеся скакуны. Орлан, едва помещавшийся в клетке, встретил Неприметного возбужденным клекотом. Не каждый мог справиться с этой кибернетической машиной, предназначенной для дальних полетов. Но ведь Неприметный теперь был Стратегом! Он проверил, полностью ли заряжены аккумуляторы орлана, в порядке ли боезапас, и вывел огромную птицу из клетки. Поскольку «Толстяк» накренился на одну сторону, идти по коридорам было трудно, орлан все пытался помочь себе взмахами крыльев. Пандуса, уничтоженного неприятелем, больше не существовало. Неприметный взобрался на спину орлана, удобно устроился в седле, взялся за цепочки управления, слегка сдавил шпорами бока птицы.

Орлан тяжело оттолкнулся от люка, не успев расправить крылья, начал падать, но у самой земли все же выправился, оглушительно хлопнул махательными плоскостями, по крутой пошел вверх, описал над «Толстяком» круг и устремился в только одному наезднику известном направлении.

С такой головокружительной высоты Планета казалась еще наряднее и красивее, чем вблизи. Вершины огромных гор серебрились снегом. Проснувшийся вулкан смотрел в небо раскаленным глазом. Жилы ручейков и рек прорезали лик Планеты, устремляясь в Океан.

— Какая красота! — воскликнул Неприметный. — Но уж я проучу тебя, сравняю горы, засыплю реки и Океан, чтобы сделать тебя идеальным шаром!

Неприметный взглянул на точнейшие наручные песочные часы. Время! Сейчас Канонир должен дать первый залп по Планете.

Столб огня вырвался из вулкана, но не из того, что смотрел раскаленным глазом, а из другого, на том месте, где за мгновение до залпа бомбард и не было никакого вулкана, даже горы для него подходящей не имелось в округе.

— Отплевываешься! Мстишь! — крикнул Неприметный. — Думаешь, это тебе поможет? Черта с два!

Неприметный что-то отметил маленьким грифельным карандашиком на белоснежной манжете и направил орлана вперед, значительно увеличив скорость.

Нешелохнувшаяся гладь встретила его спокойствием. Лишь легкие вздохи нарушали тишину. Это Океан насыщал атмосферу Планеты кислородом. Смешно растопырив крылья и хвост, орлан тяжело пробежался по прибрежному песку и остановился. Неприметный соскочил с него, размял ноги, затекшие от сидения в седле. Поглядывая на песочные часы, пристегнутые к левой руке, медленно пошел к воде. У самой кромки он остановился и начал внимательно всматриваться в свое зеркальное изображение. Затем он сделал несколько шагов вперед, зачерпнул ладошкой воду, поднес ее к лицу. Десятиклеточные живые организмы сновали меж десятиклеточных же водорослей. В одной капле их было миллион. Неприметный радостно улыбнулся.

— Жизнь! Вот она жизнь! А ты, Планета, хотела перехитрить меня!

Вода внезапно отступила от ног Неприметного почти на километр. Неприметный вздрогнул, увидев, что его ладонь суха, но тут же успокоился, сообразив, что все это последствия залпа из бомбард. Реагировала Планета на поцелуи чугунных ядер. Реагировала, да еще как!

Неприметный настиг отступивший Океан и снова зачерпнул в ладонь воды.

Разве что чуть медленнее сновали девятиклеточные живые организмы меж девятиклеточных же растений.

Неприметный стоял со страной улыбкой на губах и смотрел на копошившиеся в его руке комочки. Но вот настало время. Океан снова отступил, на этот раз уже километров на десять, но Неприметный не стал больше преследовать его. Он все узнал. Планета не смогла утаить от него свою тайну. Жизнь существовала на ней. А следовательно, и разум, с которым он жаждал сразиться.

20

Скакун нетерпеливо ржал, словно просил разрешения показать свою прыть. Оружейник опустил поводья, давая ему такую возможность.

Ах, если бы был жив Бунтарь! Уж он бы знал, что сейчас нужно делать! Растерялся Оружейник от всего увиденного...

Когда кавалькада всадников, оставив его одного, умчалась к «Толстяку», Оружейник вздохнул свободно. Пусть скачут. Пусть ищут способы наказать Планету за коварство и непокорность. Он больше в этом деле не участник. С него хватит и смерти Бунтаря. И хоть какая-то цель есть в жизни. Найти Дурашку, поговорить с ним, узнать, что хотел сделать Бунтарь. Что он хотел предотвратить? Что было у него на уме?

Где искать Дурашку, Оружейник не знал, но интуиция говорила ему, что они встретятся. Как только Оружейник бро-

сил свой арбалет с колчаном лучей в воду, так их встреча стала неизбежной. И даже когда вдали загремели залпы бомбард, он не особенно насторожился. Нет... Ничего не сможет поделать Стратег с этой удивительной Планетой! Но залпы звучали как-то странно, не так стройно и ритмично, как это полагалось по инструкции, без соблюдения интервалов. Хаос звуков царил на плато, где стоял «Толстяк».

Оружейник бросил своего скакуна вперед, давая ему направление, но никак не сдерживая его, целиком полагаясь на чутье машины. Взлетев на вершину, значительно возвышающуюся над плато, он увидел страшную картину. Оседая после каждого выстрела на задние ноги, тяжеловоз одно за другим выплевывал ядра в сторону «Толстяка». Словно ослепленный яростью, тяжеловоз не разбирал ничего и бил куда попало, пока Канонир не поймал его в прицел и не развеял в пыль.

Вот так дела разворачивались на планете!

Несколько пташек пролетело мимо, а Оружейник все сидел, застыв в седле, не находя мыслей в своей голове. Тяжелый орлан вывалился из люка «Толстяка» и, с трудом набрав высоту, прошел стороной. Орлан подчинялся только Стратегу. И если уж за дело взялся сам Стратег, то дела «Толстяка» очень плохи. Как теперь в случае надобности поднять крейсер с Планеты? Разве что Умелец возьмется...

Планета планетой, но теперь и сам «Толстяк» попал в западню. Эх, бросить бы все раздоры, попросить у Планеты прощения, да и убраться восвояси. Так думал Оружейник и сам понимал: Стратег и Тактик никогда не откажутся от мысли об экзекуции Планеты. Бунтарь бы что-нибудь придумал. Да что именно? Что нужно делать?

И не знал еще Оружейник, что уже нет в живых Стратега, да и многих других тоже нет.

Опустив поводья, дал он волю своему скакуну, надеясь, что тот найдет Дурашку. А там уж можно будет и принять решение.

Оружейник искал пешего, а встретил всадника. Дурашка без мундира и шляпы счастливо восседал на своем скакуне, который мчался бесшумно, легко, даже как-то ненормально.

— Эгей! — крикнул Оружейник. — Эгей!

Дурашка остановил своего скакуна, оглянулся и увидел Оружейника. Обрадовался, но тут же и опечалился; приложив палец к губам, попросил:

— Тише...

— К черту тише! — загремел Оружейник. — Надо что-то делать. — Остановив своего зашедшегося в бешеной скачке скакуна, он заметил, что мундир и шляпа Дурашки намотаны на копыта неизвестно откуда появившегося скакуна. — Что говорил Бунтарь?

— Не надо ничего делать, — ответил Дурашка. — Планета приняла нас!

— Тебя, может, и приняла, а меня, да и всех других, нет. Что говорил Бунтарь?

— Бунтарь говорил, что Планета, несомненно, населена разумными планетянами. Он хотел их найти, извиниться, попросить прощения.

— Так ведь никого здесь нет! Одни камни!

— Я не знаю, что имел в виду Бунтарь, только думаю, что Планета — это и есть планетяне, которых хотел найти Бунтарь.

— Что ты мелешь, Дурашка! Тогда выходит, что я — Тола, что я и наша планета — это одно и то же?!

— Конечно, Оружейник. Мы и наша Тола — это одно и то же...

— Слишком хитроумно для меня... Что же все-таки хотел сделать Бунтарь?

— Прекратить разрушение Планеты, я думаю.

— Это мысль. Только, во-первых, не поздно ли? А во-вторых, что прекращать? Ведь о Планету хоть головой бейся, а ей хоть бы хны! Не чувствует она ничего!

— Ну нет, Оружейник. Она все чувствует. Каждое ядро приносит ей боль. Каждый удар копытом скакуна.

— Поэтому ты и обмотал ему ноги тряпками?

— Да, Оружейник.

— Значит, надо возвращаться на крейсер и остановить Стратега и Тактика?

— Наверное, Оружейник. Я ведь ничего не знаю, ничего не понимаю. Я Дурашка. Я только чувствую.

— Что ты еще чувствуешь?

— Я чувствую, что Планета становится молодой. В нее вливаются какие-то силы. Она вот-вот заговорит.

— Откуда у тебя скакун?

— Он отыскал меня.

— Отыскал? Слишком плохи дела на «Толстяке», если они выпустили скакуна. Ведь тебя искали специально, чтобы вернуть назад. А сами выпустили скакуна! Нет, здесь что-то не так,

Дурашка. Жаль, что нет Бунтаря. Я, пожалуй, возвращусь на «Толстяк», хотя, убей меня, не знаю, что там буду делать.

— Возвращайся, Оружейник, если хочешь.

— А ты?

— Я никогда уже не возвращусь на крейсер.

Оружейник вспомнил Пустынный Космос и пришпорил своего скакуна.

21

Никогда в жизни не делал Канонир более бессмысленной работы, чем сейчас. Уже более половины всего запаса ядер израсходовал он, и шальная мысль забрела ему в голову. Все острее и острее чувствовал он желание исполнить нечто.

Все другие бились с неприятелем на скакунах или в пешем порядке, он же всегда поражал врага издали. Ни стоны, ни крики не доносились до его ушей, лишь привычный гром бомбард да гул и эхо отдаленных взрывов. И свое занятие всегда казалось ему чистым и надежным, даже красивым. Дернув за запальную веревочку, он иногда подходил к амбразуре, чтобы посмотреть, как в нескольких километрах от крейсера возникает, распускается и вновь опадает диковинный цветок, созданный им самим. И пусть это дело рук человеческих было недолговечным, он все же чувствовал себя создателем. Каких только ценностей не придумал мир!

Но все было иначе на этой Планете! Ядра таяли, но лишь одно из них породило уродливый маленький цветочек, когда он попал в неприятеля, обстреливавшего корабль. Дымовой завесой окутал себя хитрый враг, да еще беспрестанно менял позицию. Но никому не уйти от возмездия бомбард!

Одно из тысяч! Из остальных семян ничего не вырастало, словно они были лишены зародыша. И никогда, никогда здесь ничего не вырастет. Канонир это понял. Но у него в запасе была хитрость, та самая шальная мысль. Необходимо было только выбрать время.

Канонир тщательно изучил график обстрела Планеты, с радостью обнаружил в нем часовой перерыв, запланированный, видимо, для охлаждения бомбард, и принялся за работу. Все, кроме одной бомбарды, развернул он на сто восемьдесят градусов. Особую же, самую большую и прицельную, тщательно навел на приметную скалу километрах в пяти, соединил запальные веревочки бомбард с очень сложным киберне-

тическим механизмом, который обязан был дернуть их ровно через необходимый промежуток времени, и поспешно выбрался из корабля. Где торопливым шагом, где рысцой, двигался он к облюбованному ориентиру. Путь оказался труднее, чем он предполагал, но шальная мысль давала новые силы непривыкшему лазить по горам Канониру.

Минут через пятьдесят он был уже на месте. Половина оставшегося времени ушла на то, чтобы как следует отдышаться. Затем Канонир спокойно огляделся. Да, местечко выбрал он себе что надо! Хоть сто лет ищи, а лучше не найдешь! Высоко, и все видно вокруг. Канонир даже ласково похлопал камни рукой. Нет, он не держал зла на Планету. Ну, хитрила она с ним, хотела оставить в дураках, да только все напрасно. Победителем останется он, Канонир, а не лукавая и несговорчивая Планета. А хороша, хороша! В меру тепла и в меру тверда. Вот только оспины вулканов стали появляться на ее лице. Ну да ладно! Разум человека тоже велик. Канонир даже рассмеялся от счастья. Вот ведь как здорово он провел еще ничего не понимающую Планету! Ха-ха-ха! Вот так-то! Нечего тягаться с человеком, до тонкости знающим свою работенку, хоть и пыльную, да все равно кому-то нужную.

«А кому?» — вдруг подумал Канонир. Кому была нужна его работа?.. Раз поручили, значит, нужна! Не надо было бы, не поручили. Кто-то там, Стратег ли, Тактик ли, все знали, а он, Канонир, только заряжал, наводил да дергал за веревочку, лишь иногда находя время взглянуть на диковинные цветы, выраставшие не без его участия. И то сказать, потаскай-ка ядра, покрути механизм наводки, повозвращай-ка назад так и стремившиеся после каждого выстрела откатиться бомбарды! Нет, тут кроме ума да ловкости еще и сила нужна. Ух, какая сила, силища!

Но сейчас торопиться некуда. Сейчас отдых, а не работа. Красота! Блаженство!

В небе возникла точка, приблизилась, превратилась в орлана.

Неприметный тоже хотел узнать, что же происходит там, где был обязан расцвести цветок, зародыш которого несло в себе ядро.

Канонир устроился поудобнее. Время настало.

И точно, там, в пяти километрах, распустился цветок, какого Канонир еще не видывал. Ну, да ведь и постарался он на

славу. Не подвел сложный кибернетический рычаг, в нужный момент дернул веревочки запалов. Молча распустился цветок. Обманул, обманул Канонир Планету! Но вот и гул докатился до Канонира, а за ним последовало и ядро той единственной бомбарды, которая не была нацелена на пороховой погреб «Толстяка».

Дым от взрыва рассеялся.

Орлан сделал несколько кругов над спокойно, как и прежде, возвышавшейся скалой. Ни единой царапины не заметил на ней Неприметный. Ничего не осталось и от Канонира.

22

Для Тактика теперь не было задачи важнее, чем отстоять свой чин. Неприметный вскользь брошенной фразой как бы разрешил Советнику попытать счастья. Но что за Тактик выйдет из Советника?! Что он может!? Его глупые советы уже привели к тому, что «Толстяк» не может взлететь с Планеты, а сама Планета так и не получила положенной ей взбучки. Правда, тут во многом виноват и сам Стратег. Но он тоже слишком часто прислушивался к словам Советника.

Нет, удержание во что бы то ни стало с таким трудом доставшегося чина принесло бы необходимую пользу не только самому Тактику, но и всем остальным!

Только жестокая борьба! До победы или смерти!

Тактик осторожно крался по коридору, приноравливаясь к наклону пола, стараясь не зацепиться колчаном с солнечными лучами за какую-нибудь выступающую часть стены, сжимая в руках взведенный арбалет. Скорость солнечного луча мгновенна. Практически все решает реакция стрелка. А Советник был плохим стрелком. Тактик это знал и считал, что у него есть несколько очков форы.

Коридор под прямым углом повернул направо. Тактик остановился, вдвойне насторожился. Острый слух его уловил шорох крадущихся шагов. Тактик подождал еще, пока не определил, что человек за поворотом удаляется. Тогда он бесшумно выдвинулся из-за угла и мгновенно поймал на мушку широкую, мясистую спину Советника. Все разрешилось так просто, что Тактик даже разочарованно вздохнул. Лишь на пять миллиметров нужно было согнуть указательный палец, чтобы навсегда остаться Тактиком. Других соперников у него на «Толстяке» не было.

Но что-то удерживало его. Простота происходящего, что ли? Он ожидал борьбы, хитростей, ловушек, игры ума... А тут широкая мишень, не попасть в которую просто невозможно.

— Эй, претендент! — неожиданно для самого себя крикнул Тактик. — Так дело не пойдет! Слишком примитивно!

Лишь на мгновение растерялся Советник, замер, но уже в следующее резко обернулся и пустил луч, второй, а затем уже и целую очередь. Ни один из лучей не попал в Тактика, который чему-то смеялся, успев заскочить в помещение и захлопнуть за собой дверь. Он отчетливо представил себе, как, обезумев, убегает Советник по коридору, ища спасительного поворота или двери. Ну и Советник! Тактиком захотел стать! Но Тактиками не становятся, а рождаются!

Металлический звук наружной защелки заставил его образумиться. Советник, оказывается, не бежал и даже поймал его в ловушку. Тактик растерялся, но лишь на секунду. Попытался вспомнить, что было написано на двери, которую он так неосторожно закрыл за собой. Вспомнил. Это еще не ловушка! Есть другой выход! Советнику никогда не догадаться, что у этого помещения есть другой выход!

Для того, чтобы окончательно сбить с толку Советника, он с грохотом набросал возле двери разных металлических предметов. Помещение оказалось кладовой инструментов. Пусть Советник думает, что он строит баррикаду и готовится к длительной осаде. Затем, сбросив сапоги с металлическими набойками, чтобы не выдать себя случайным стуком, Тактик начал пробираться к запасному выходу. Все здесь было перевернуто и разбросано, так что ему пришлось основательно потрудиться, пока он не добрался до лестницы, которая вела на другой ярус. Люк был открыт. Тактик начал осторожно взбираться наверх, крепко хватаясь за металлические перекладины. Иногда он поднимал голову, чтобы определить, много ли еще осталось. Но вот и последняя ступенька... Рука прилипла к холодному металлу, и не было сил оторвать ее. А в каком-нибудь полуметре в грудь ему смотрел арбалет. Советник сидел на стуле. Он, видимо, уже устал ждать.

Никакая реакция не могла спасти Тактика. Советник перехитрил его! Но что же он медлит? Неужели ему так приятна эта пытка? Тактик осмелился перевести взгляд с арбалета на лицо Советника и ужаснулся. На него смотрел не человек. Какое-то чудовище с мукой и отчаянием в глазах. Тактик пожалел, что не выстрелил там, в коридоре, потом ему стало все равно. А Со-

ветник медлил. Память Тактика жестоко подсовывала ему фрагменты из их деятельности на Планете. Охота на Бунтаря и Дурашку. О, Бунтарь! Много крови ты испортил Тактику! Но стрелял Тактик все же в планетянина, а не в Бунтаря. В планетянина... Если бы он знал, что это Бунтарь! А в планетянина стрелять было можно. И в него, в Тактика, тоже сейчас можно стрелять. Но почему можно было стрелять в планетянина? Правда, сначала в воздух! Но почему, зачем? Потом по ногам... Все-таки у планетян был шанс, если первый выстрел в воздух! Почему под взглядом арбалета приходят в голову такие мысли? Почему нужно было стрелять в планетян и разрушать Планету?

Да что же это? Лучше смерть, чем такие вопросы! Да разве можно вынести столь внезапно свалившуюся тяжесть?

— Стреляй, Советник, — попросил он.

Лицо того оживилось:

— Нет, нет... Уж лучше ты стреляй.

— В кого?

— В меня, конечно!

— Зачем же, Советник?

— Тошно все и противно...

— Ты первый...

— К черту все! — вдруг заорал Советник и бросил арбалет. — Как звери! Да нет! Мы же хуже зверей, страшнее. Те хоть не уничтожают себе подобных!

— Ты прав, — сказал Тактик, вылезая из люка. — Мы здесь столько натворили, что наше существование кощунственно.

И тут на них обрушился потолок и стены.

23

Советник очнулся и почувствовал на себе чей-то взгляд. В полумраке светились глаза, дикие, сумасшедшие.

— Помогите... — прошептал Советник.

— Как?! — сказал кто-то удивленным голосом. — Советник и Тактик! Разве вы не охотились друг на друга?

— Это ты, Неприметный?

— Нет, я — Стратег.

— Ты — Неприметный. Да, мы охотились друг на друга.

— Надеюсь, ты выиграл новый чин?

— Я проиграл, Неприметный...

— Ладно. Пусть я для тебя останусь Неприметным. Но только и ты в этом случае не станешь Тактиком. Уж он-то ни упустил бы момента угостить тебя солнечным лучом из арбалета. Только Оружейник стреляет лучше его... Что посоветуешь, Советник?

— Я знаю, что ты смеешься надо мной. Я знаю, что всегда выполнял твои тайные желания. Ты подавал советы моим голосом! Даже сама мысль, не отгадать твои желания, приводила меня в ужас.

— Так, так. Все так, — согласился Неприметный.

— Это твоя вина, что мы навсегда останемся на этой Планете! Ты тайно направлял действия офицеров.

— Какая же тут вина?

— «Толстяк» взорван. Одни убиты, другие бежали!

— Пусть вина. Но только ли моя?

— Да... В равной степени виноваты все.

— Приятно прозреть, Советник, не правда ли? Особенно, когда уже ничего не можешь сделать...

— Почему не могу? Я еще жив. Мне бы вот только высвободить ноги.

— Конечно, высвободи.

— Я понял, Неприметный. Ты не поможешь мне.

— С какой стати. Планета должна быть разрушена! А ты ведь теперь еще, поди, станешь возражать?

— Теперь — да.

— Тогда возражай здесь.

— Будь ты проклят! Спаси хоть Тактика!

— А он еще жив?

— Дышит. Может он...

— С какой стати я стану спасать Тактика?

— Ну уж он-то служил верой и правдой.

— Что же он не выстрелил в тебя?

— Не знаю, Неприметный.

— Вот если бы он выстрелил в тебя, тогда другое дело. А так... Нет. У меня много работы. Заковыристая попалась Планета. Но с тремя такими отличными помощниками ее тайну мы разгадаем сегодня же.

— Кто это собрался тебе помогать, Неприметный?

— Умелец, Оружейник, Дурашка.

— Спасибо, Неприметный, что рассмешил перед смертью. Как раз эти трое были всегда настроены против тебя. Они, да еще Бунтарь.

— Бунтаря жаль... Я тогда ночью послал Умельца спасти его, но Тактик слишком настойчиво придерживался своей тактики.

— Так это ты открыл карцер и люк крейсера?

— Я. Бунтарь мог очень быстро разгадать тайну Планеты. Я надеялся, что, бежав с крейсера, он даже вступит в контакт с планетянами. Но ничего, эти трое вполне заменят Бунтаря.

— Где же ты их найдешь?

— Где? Умелец в своей лаборатории.

— Он же бежал!

— Да. Но только до своей лаборатории, из которой уже не сможет выйти. Оружейник возвращается на корабль. С минуты на минуту он будет здесь. А Дурашку я могу найти в любой момент. Ведь я послал ему меченого скакуна.

— Они не станут помогать тебе, Неприметный.

— Отчего же? Неприятель убил большую часть экипажа. Тебя, Советник, в том числе. Подверг крейсер обстрелу, а потом и взорвал его. Все взывает к отмщению.

— На этой Планете нет никакого неприятеля, кроме тебя. Теперь я понял.

— Понимай, Советник, понимай. Мне кажется, что вот-вот лопнет шпангоут, и тогда на вас обрушатся верхние ярусы. Пойду, пожалуй... Ведь разгадка Планеты так близка.

Неприметный протиснулся между покореженными металлическими конструкциями в люк, спустился по лестнице и уже выскочил в коридор, когда наверху раздался грохот.

Обрушилась еще одна часть «Толстяка».

24

Умелец честно проводил эксперименты, придерживаясь графика, который ему кто-то подсунул. Очень интересные получались результаты. Тайну Планеты он еще не разгадал, но уже приближался к этому. Не хватало какого-то одного звена.

Страшный взрыв потряс корабль.

Умелец очнулся в темноте, ощупал себя. Кажется, он отделался лишь ссадинами да синяками. Не теряя времени, Умелец начал восстанавливать электропроводку. Но главный генератор крейсера, видимо, был разрушен. В лаборатории имелись аккумуляторы, и вскоре электрические лампочки зажглись.

Разгром был полнейший. Ни о каком продолжении экспериментов не могло быть и речи, но Умелец упорно трудился. Входная дверь все равно заперта, а сидеть без дела он не привык. Вскоре на стене, на расстоянии полутора метров друг от

друга были прикреплены клеммы, куда Умелец подсоединил все аварийные аккумуляторы. Он начал разгребать остатки аппаратуры, надеясь, что что-нибудь уцелело, и не заметил, как кто-то открыл дверь и вошел в лабораторию.

— Плохи наши дела, Умелец, — услышал он, вздрогнул и обернулся.

— Неприметный!

— Стратег, — поправил Неприметный.

— Стратег? А что же произошло с настоящим Стратегом?

— Убит!

— Убит?

— Да. Он и еще многие.

— Кто же?

— Тактик, Шкипер, Звездочет, Канонир, Советник, Лекарь. О Бунтаре ты знаешь и сам.

— Как же это произошло, Неприметный? — ужаснулся Умелец.

— Неприятель жесток и коварен! Нам не будет пощады, если мы не разгадаем тайну Планеты. Корабль взорван. Обратного пути все равно нет.

— Я не верю, Неприметный, что планетяне могли так поступить.

— Кто же тогда убил семерых офицеров? Может, я?

— Что ты, Неприметный... Хотя, Бунтаря убил Тактик.

— Они ввели Тактика в заблуждение. Значит, это их вина, а не Тактика. Так что же ты выяснил, Умелец? Знай, ты сейчас единственная надежда «Толстяка».

— Странных фактов много, но объяснить их я еще не могу.

— Выкладывай свои факты, Умелец. Я подбавлю своих. Может, вдвоем мы что-нибудь и поймем.

— В атмосфере Планеты непрерывно уменьшается количество кислорода. Вернее, не непрерывно, а скачками. И это как-то связано с обстрелом скал из бомбард. При каждом выстреле доля кислорода уменьшается.

— В момент выстрела или в момент взрыва? — уточнил Неприметный.

— В момент взрыва.

— Что же там взрывается?

— Я заснял скоростной камерой момент соприкосновения ядра с Планетой. На одном кадре видно, что скала взорвалась. Но уже на другом она стоит целой и невредимой.

— Длительность кадра?

— Одна микросекунда. И вот еще что. Скала восстановилась не совсем в таком виде, какой она была прежде. Она стала чуть больше, ровнее. Первая из второй могла бы получиться под действием Светила, ветра и дождя. Но вторая из первой — никогда. Я не знаю, в чем тут дело.

— Ландшафт Планеты вообще здорово изменился. Возможно, что выстрелы из бомбард пробудили дремавшие в ней силы. Вулканы возникают десятками. Учти и это, Умелец.

— Массовое возрождение вулканов?! А ведь возросла и тектоническая деятельность Планеты.

— Жаль, что у «Толстяка» больше нет бомбард. Мы бы ее так растрясли ядрами, что она уничтожила бы сама себя.

— Уничтожила, Неприметный?

— А что ты думаешь?! Простить ей все, что она сделала с «Толстяком»?! Впрочем, не это сейчас главное... На Планете есть жизнь!

— Что же ты молчал, Неприметный!

— В пригоршне воды Океана я обнаружил десятиклеточные живые организмы и водоросли. После залпа бомбард Океан отступил на километр, но я догнал его. В нем снова были живые организмы и водоросли, правда, почему-то только девятиклеточные. Это тебе говорит о чем-нибудь?

— Жизнь... Жизнь! А мы обстреливали Планету из бомбард.

— Умелец! Мы должны разгадать тайну Планеты?

— Ты говоришь, десятиклеточные, а потом — девятиклеточные... В таком случае, боюсь, что жизни на Планете больше не существует.

— Объясни.

— Скажи, Неприметный, а не замечал ли Звездочет каких-нибудь странностей в ночном небе?

— Замечал. Еще как замечал! Он как сумасшедший орал: и Планета, и небо сошли с ума! Единственное спасение — стартовать!

— Если бы знать, что он там увидел.

— Уверен, что что-то со звездами.

— Я думаю, — сказал Умелец, — он заметил, что изменилось расположение звезд.

— Звезд?! На Планете может происходить все что угодно, но звезды не могут меняться так быстро. Они далеко!

— Тогда кое-что проясняется. Только это не в нашу пользу.

— Что теперь думать о нашей пользе, Умелец. Подумай о вреде для Планеты. Больше нам ничего не остается.

— Неприметный! Я понял, в чем тут дело. Каждый раз, когда мы наносили Планете какой-нибудь вред, она...

— Ну, ну, — с нетерпением сказал Неприметный.

— Остановись, Умелец!

В дверях стоял Оружейник.

25

Оружейник подумал, что он заблудился, настолько неузнаваемо изменилась местность. Горы стали выше, ущелья глубже, обрывы круче. В каком-нибудь километре от него вдруг вырос вулкан и начал извергать из себя темно-вишневую лаву и плеваться каменьями. Столб дыма и пепла поднялся в стратосферу. Оружейник развернул своего скакуна, бросился в одну сторону, чуть не попал под град камней, завертелся на одном месте. Скакун захрапел испуганно и протяжно. И намека на тропинку не было вокруг. Увеличив мощность скакуна до предела, Оружейник погнал его в гору, тяжело дышавшую, вздрагивавшую, шевелившуюся камнями и целыми скалами. Преодолев подъем, он понял, что кратчайшим путем до «Толстяка» уже не добраться. Горы шевелились, вулканы ревели. Оружейник отчаянно гикнул, прижался к шее скакуна, вонзил в его бока шпоры, засвистел над головой витой плетью. Выручай, родной!

Скакун высоко заржал, на пределе слышимости человеческого слуха, и помчался, сам выбирая нужное направление. Он мягко перепрыгивал ущелья, карабкался, тяжело мотая головой, на скалы, чуть ли не на брюхе скатывался с крутых склонов, увлекая за собой груды камней, мягко касался копытами едва затвердевшей корочки лавы и ни разу не провалился, с удивительной точностью увертываясь от падающих с неба камней. Он весь покрылся грязью, потом и пеплом, натужно дышал, но шел хорошо, легко, уверенно, хотя интегральные схемы и исполнительные механизмы его наверняка уже перегрелись.

Оружейник не запомнил, как скакун взобрался на вздыбившееся плато, совсем не похожее на то, что лежало тут несколько часов назад. И «Толстяка», красавца крейсера, грозы Вселенной, Оружейник перед собой не увидел. Только груда металлических конструкций даже отдаленно не напоминающая корабль, пучилась и вздрагивала на голых камнях.

Оружейник бросил поводья, и скакун, медленно опустившись на передние ноги, судорожно задышал и завалился на

бок. Короткое замыкание превратило его в никому не нужный хлам. Сердце дрогнуло в груди Оружейника, но там, впереди, его, наверняка, ждали люди!

Проникнуть в корабль было нетрудно, хотя и опасно. Первым делом Оружейник бросился в кают-компанию. Кое-как соорудив стол из обломков и досок, Стряпух расставлял приборы на тринадцать персон.

— Что здесь происходит?! — крикнул Оружейник.

Стряпух посмотрел на него, но ничего не ответил, даже когда Оружейник тряхнул его за лацканы изодранного мундира.

— Кто здесь есть! — крикнул Оружейник еще раз и выпустил офицера из рук.

Стряпух спокойно и старательно, медленно, как в полусне, расставлял на столе черепки чашек. На Оружейника он не обращал внимания. Он сейчас вообще ни на что не обращал внимания. Приближалось время ужина, и стол на тринадцать персон должен был быть накрыт в любом случае.

Оружейник бросился по уцелевшим ярусам. Звездочет с солнечным лучом в груди... Убит?.. Оружейник наклонился, исследовал луч. С луча была соскоблена личная метка, но следы ее остались. Неприметный! Да что же происходило здесь?.. Оружейник растерялся. Но и в лечебнице было не лучше: на двух сдвинутых операционных столах рядом, как братья, лежали Стратег и Лекарь. А среди инструментов — кинжал. И снова — Неприметного!.. Оружейник взял в руки братоубийственное оружие и взглянул на рану Стратега. Да! Кинжал несомненно побывал в груди Стратега!.. Ноги несли Оружейника дальше, пока среди металлического залома он не обнаружил Тактика и Советника. Ну эти-то погибли под рухнувшими балками... Но что это? Следы подошв!.. Оружейник, как следопыт, присел на корточки и всмотрелся в отпечатки каблука. Здесь проходил, долго сидел на корточках, а потом поспешно бежал Неприметный. Причем он даже пальцем не дотронулся ни до одного обломка. Оружейник бросился на груду металлических балок, перекрытий, листов стали и прочих обломков. Он разгребал их и отбрасывал в сторону, гнул, сгибал, пока не освободил тела офицеров. Его помощь запоздала... Ну, Неприметный! Оружейник озверел. Он еще поискал Шкипера, Канонира и Умельца, но никого не нашел. Впрочем, ни палубы бомбард, ни шкиперской рубки на корабле уже не существовало. Каким-то чудом уцелела лаборатория. Оружейник бросился было в распахнутые двери, но остановился, замер, сжал плеть, которая

неизвестно как оказалась в его руке. Прислушался. Говорили Неприметный и Умелец... Умелец явно что-то знал о Планете, и похоже, это знание должно было сейчас перейти к Неприметному... А Неприметный ни перед чем не остановится! Он уничтожит все! Он никого, даже себя, не пожалеет, если такое понадобится для достижения его бредовых целей.

— Ну, ну! — поощрил Умельца Неприметный.

И тогда Оружейник выступил из своего укрытия.

26

— Оружейник! — воскликнул Неприметный. — Уж и не знаю теперь, нужен ли ты мне?

— Нужен, Неприметный! Нужен! Еще как нужен! — Оружейник приблизился, поигрывая плетью.

— Проходи, — предложил Неприметный. — Расскажи, что видел интересного. Нашел ли беглеца Дурашку? Не образумился ли он?

— Дурашку тебе не достать, Неприметный! А вот с остальными ты сыграл ловко! Умелец, это он убил Бунтаря!

— Вот что значит быть в бегах, — спокойно ответил Неприметный. — Бунтаря убил Тактик. Это знают все. Да ты ведь и сам участвовал в деле!

— Твоя рука направляла арбалет Тактика. Он лишь выполнял твою волю. Да и все остальные тоже. Ты убил Звездочета!

— С какой целью? Ты видишь, Умелец, Оружейник сошел с ума!

— Ты убил всех! И Стратега, и Тактика, и Канонира, и...

— Снова ложь. Канонир убил сам себя. Тактик и Советник начали охоту друг на друга, и я не успел им помешать. Они погибли под завалом. Я бы помог, да не сумел добраться до них.

— А я добрался.

— Конечно, Оружейник. С твоею силою можно гнуть стальные балки.

— Там следы твоих сапог! Офицеры были живы, когда ты сидел рядом. Ты просто не захотел им помочь, потому что они мешали тебе.

— Ты тоже начинаешь мешать мне, Оружейник. Я организовал побег Дурашки и Бунтаря. Я санкционировал твой уход из экспедиции. Я освободил Умельца. Я знал, что только вы четверо сможете разгадать тайну Планеты. Вы с самого

начала были против того, чтобы подвергнуть ее наказанию. Но я, кажется, ошибся во всех, кроме Умельца. Ты мне больше не нужен, Оружейник. Берегись!

— А теперь слушай меня. На солнечном луче, пронзившем грудь Звездочета, твоя метка. Ты плохо стер ее. Конечно, когда кругом неприятель, кому придет в голову исследовать смертоносный луч. Но никакого неприятеля нет! Мы воевали только друг с другом!

— Планета все равно получит свое! Ее тайна разгадана!

— Твоим кинжалом, Неприметный, был убит Стратег!

— В этой неразберихе, когда никто честно не исполнял свои обязанности, мне некогда было следить за тем, кто взял в руки мой кинжал.

— Умелец! Не выдавай Неприметному тайну Планеты! Мы и так произвели здесь множество необратимых изменений!

— Необратимых изменений... — прошептал Умелец. — Разве ты тоже догадался, Оружейник?

— Нет, я больше привык действовать руками, чем умом. Я знаю только одно: Неприметного надо остановить.

— Ты слишком много знаешь, Оружейник! И ты мне действительно больше не нужен!

Неприметный отступил на шаг, завел правую руку за спину, что-то нашаривая там. Взведенный арбалет в миг уставился Оружейнику в грудь. Но и Оружейник не был бы Оружейником, если бы не его мышечная реакция. Он метнулся чуть в сторону и прямо, витая плеть свистнула в воздухе и наверняка рассекла бы Неприметного надвое, но бросок Умельца испортил дело. Плеть обрушилась на пустое место. И в тот же миг солнечный луч вонзился Оружейнику в грудь.

— Эх, Умелец... — только и успел сказать Оружейник.

27

— Что ты наделал?! — ужаснулся Умелец.

Он почти всю свою жизнь просидел в лаборатории, разгадывая тайны природы, считая общение с офицерами корабля помехой в работе. Он никогда не принимал участия и в наказании планет. Исследования, исследования были его уделом да еще четкая работа всех систем корабля. И он не зря был Умельцем. Каждый болтик и каждый рычажок корабля чувствовал он как живое существо. Все слушалось его и редко выходило из строя. Усовершенствовать что-нибудь на крейсере, будь то новая броня или двигатель орлана — вот это жизнь, достойная

человека. А все остальное, все, что происходило на крейсере, его не касалось. Слишком долго это его не касалось!

— Что ты наделал?!

— Нет, это не я. Это ты подтолкнул меня, Умелец. И арбалет сделал случайный выстрел. Ах, как жаль, что ты убил Оружейника!

— Я, Неприметный?!

— Ну да ладно... Ведь об этом никто не знает.

— Нет, Неприметный! Я не мог убить человека!

— И все же убил... Я понимаю, что это нечаянно. Вот и Бунтаря убили нечаянно.

— Нечаянно, — прошептал Умелец. — Нечаянно! Нет, не нечаянно! Все было закономерно! Я, действительно, виноват в их смерти. Я молчал. Я старался ничего не замечать. Я заменил человеческое окружение машинами. Пусть все происходит так, как происходит! Мне ни до чего нет дела! Ведь я ни во что не вмешиваюсь... А оказалось, что не вмешиваться нельзя!

— Да что об этом говорить, Умелец. Мы, конечно, совершали ошибки. Но тайну... Тайну Планеты...

— Ты не узнаешь ее, Неприметный.

— А вдруг я не утерплю и расскажу, что ты убил Оружейника?

— Рассказывай.

— Тебя будут судить. Тебя будет мучить совесть. Говорят, что это страшнее всего.

— Я уже осудил себя.

— И что же... Это больно?

— Больно, Неприметный.

— А если я сделаю еще больней?

— Больней уже нельзя.

— Посмотрим!

Неприметный схватил даже не сопротивлявшегося Умельца, подтащил его к стене, закрепил одну руку в клемме высокого напряжения, разорвал провод, ведущий к ней, чтобы не ударило током, зажал второй клеммой другую руку Умельца, отошел на несколько шагов, оглядывая, хорошо ли у него получилось, взял в руки плеть.

— Тайну!

— Нет, Неприметный.

Плеть рассекла Умельцу лицо.

— Тайну!

— Нет.

Плеть разорвала мундир на груди Умельца.

— Тайну!

— Нет! Нет. Нет...

Неприметный остановился передохнуть.

— Тебя обратит в пепел электрический ток, Умелец. Послушай, ну зачем тебе тайна? А мне она так нужна! Еще не все потеряно. Я найду способ расправиться с Планетой, только бы знать ее тайну. Сжалься, Умелец! Сними с моей души гнет неведения! Что тебе?! Да и ей тоже! Скажи, она мертвая?

— Она жива, Неприметный! Планетяне приглашали нас в гости.

— Они просили милости! А потом затаились. Тайну... Тайну. Тайну!

Взрыв близкого вулкана потряс остатки корабля.

— Молодец, Планета, — прошептал Умелец. — Представляю, что здесь будет через час.

— Что? — с надеждой спросил Неприметный.

— Расплавленный шар.

— Это ведь от бомбард, правда?! Мы ведь все-таки встряхнули ее?

— Нет, Неприметный. Это она сама. Я, пожалуй, раскрою тебе тайну Планеты.

— Давно бы так!

— Мало радости принесет тебе это. Планета обманула тебя. Вернее, она увернулась от твоих действий. Как жестоко ты просчитался!

— Мне бы только узнать тайну. А там...

— На Планете существуют разумные планетяне. Они хотели принять нас с радостью и желанием. Но мы тотчас же уничтожили их корабль. Уверяю тебя, Неприметный, у них хватило бы средств уничтожить в ответ наш крейсер. Но они не могут убивать людей. Они просто забросили наш корабль в свое прошлое, когда на Планете еще только зарождалась жизнь. Они хотели посмотреть, что мы будем делать. Если, не обнаружив планетян, спокойно улетим, что ж... далеко за пределами своей солнечной системы они бы наверняка вернули нас в свое время. Но мы обстреляли Планету из бомбард. Им наверняка пришлось здорово поработать, чтобы сгладить следы, оставленные нами. Планетяне перебросили нас в еще более далекое прошлое. И так случалось каждый раз, когда мы производили на Планете какие-либо разрушения. Поэтому уменьшалось в воздухе количество кислорода, поэтому убегал от тебя Океан, поэтому десятиклеточные организмы превратились в девятиклеточные, поэтому менялся ландшафт, а сейчас вдруг ожили вулканы. Мы уходим все дальше и дальше в прошлое этой Планеты. Ты понял, Неприметный?! Скоро здесь заплещется лишь одна расплавленная лава. А за стенами корабля наверняка уже нечем дышать.

— Не верю!

— Это так, Неприметный.

— Они убили всех нас!

— Нет, это сделали мы сами. Ведь они только предоставили нас самим себе.

— Будь проклята эта Планета! Я буду бороться с ней до конца!

— Поздно, Неприметный, поздно!

— Для тебя — да. — Неприметный соединил концы проводов и даже не взглянул, что там осталось между клеммами высокого напряжения.

Хлеща плетью все, что попадалось под руку, Неприметный бросился вон.

28

По мнению Стряпуха, что-то случилось. Никак не хотел стоять скрепленный чем попало стол. Потух очаг, пищевые продукты превратились в неприглядное месиво. Никто не отдавал приказаний относительно ужина. Стряпух чувствовал, что его вина безмерна. Не накормить как следует команду! Да такого, наверное, еще никогда не случалось за всю историю флота Толы!

Стряпух разжигал из стульев костер, но тут же гасил его, хватался за погнутые кастрюли, наливал в них воду и снова все бросал. Он принюхивался к перцу и корице, пробовал на язык соль и сахар, удрученно качал головой, после каждого толчка бросался к разваливающемуся столу, прислушивался к гулу, доносившемуся извне, задумчиво разглядывал ряды потухших светильников, бросался протирать немногочисленные уцелевшие. Он старался, напрягал весь свой мозг, но что-то не складывалось в его сознании. Что-то не получалось. Словом, происходило непонятное, и Стряпух не в силах был разобраться в этом непонятном.

Он чувствовал, что время ужина пришло, но никто не входил в кают-компанию, не слышно было оживленных голосов, обсуждения доблестных побед, поздравлений.

Стряпух хватался то за одно, то за другое, ничего не доводя до конца. И в его одуревшую голову уже закрадывалась мысль о бесполезности этих действий. Но он гнал ее от себя, потому что ничего не умел делать, кроме как кормить людей вкусной пищей. В создании кушаний был весь смысл его жизни. Его не особенно интересовало, что там делают все остальные, он твердо знал, что без него мир не может существовать. Все мироздание держалось на его сковородках и кастрюлях.

Уже и без того вздыбившийся пол тряхнуло и установило под новым углом. Этот сошедший с ума пол и был сейчас главной помехой Стряпуху, но как укротить его, он не знал.

Спешный топот подошв отвлек его от решения неразрешимых проблем. В проеме двери стоял Неприметный. Стряпух испугался, задрожал. А вдруг Дурашка уже отбывает наказание в карцере за кого-нибудь? Вдруг и ему, Стряпуху, придется проследовать туда же? А ужин еще немножко не готов!

— Что ты тут делаешь? — спросил Неприметный.

— Ужин, — коротко ответил Стряпух.

— Ужин больше никому не нужен, — сказал Неприметный.

Эта фраза была выше понимания Стряпуха.

— Не нужен! — повторил Неприметный. — Ничего больше не нужно!

Нет, на крейсере, кажется, действительно что-то происходило...

Неприметный исчез.

Стряпух увидел чистую кастрюлю и улыбнулся, но не взял ее в руки, потому что рядом валялась другая. А там крышка от сковороды. А еще дальше — уже и не поймешь что. Стряпух засмеялся, легко, свободно, замолчал, засмеялся еще громче, снова смолк, прислушиваясь, захохотал оглушительно, даже удивляясь силе своего голоса.

Откуда-то приближался шум. Он все нарастал. Стряпух опомнился и начал собирать черепки чашек, чтобы склеить их. Эта работа была сейчас самой важной.

29

Неприметный успел выбежать из корабля через какой-то пролом. Все кругом гудело и стонало. Десятки действующих вулканов выбрасывали в небо огненные столбы. Цепляясь когтями за шевелящиеся камни, нахохлившись, клекотал орлан. Пепел покрывал его, и кое-где уже дымились и таяли перья. Неприметный усмехнулся. Времени оставалось мало. Уже, наверное, исчезли моря и океан, но дышать еще было можно. Неприметный топнул каблуком сапога, ожег Планету ударом плети.

— Наказание! — крикнул он. — Наказание!

Орлан пополз к нему, широко разевая клюв. Кое-где из его боков торчали оплавленные балки каркаса, дымились интегральные схемы.

— Сначала Дурашку, — сказал сам себе Неприметный и вскочил в седло, тотчас же прожегшее ему мундир. Но боли не было.

Орлан тяжело запрыгал и с трудом поднялся в воздух. Скакун у Дурашки был меченый, и разыскать его по радиодатчику не составляло труда. Кибернетическую птицу подбросило и чуть не переломало ей махательные плоскости. Это возник еще один вулкан, на том месте, где лишь вчера совершил посадку «Толстяк». Крейсера больше не существовало.

Неприметный вперился в экран пеленгатора. Светящаяся точка указывала ему путь. Лететь по прямой мешали километровые столбы огня, приходилось делать зигзаги и петли. Орлан все медленнее и медленнее махал крыльями, но и цель уже была близка.

Дурашка стоял на плато, со всех сторон окруженном лавой. Скакуна он держал в поводу.

И каких-то сто метров не смог еще пролететь израненный орлан, упав в густую, медленно текущую огненную массу. Птица сгорела мгновенно. Но с Неприметным ничего не случилось. Лишь на миг потеряв самообладание, он встал, поправил широкополую шляпу с хрустальным, прозрачным пером, хлестанул плетью Планету и пошел вперед. Никакие вулканы ему были не страшны!

Дурашка видел Неприметного и спокойно ждал его приближения.

— Ты знаешь, что сотворила с нами Планета? — спросил Неприметный.

— Знаю.

— И как же, по-твоему? Она и теперь не заслуживает наказания?!

— Она приняла нас как мать, Неприметный. Разве можно наказать мать?

— У нас одна мать — Тола! — Неприметный стеганул Планету плетью. — Понял? Конечно, она переиграла меня. Но

отмщение все равно состоится! Ты видел, как я шел по расплавленной лаве? Планета ничего не сможет со мной поделать. И я еще сумею исхлестать ее всю вдоль и поперек!

— Она просто ничего не хочет с тобой делать, Неприметный. Ты ей не нужен.

— А ты нужен?! То-то все уже превратились в пар!

— Нет, не в пар, Неприметный. Они уже там, на зеленой и чудесной Планете.

— Как же!

— Я тоже иду туда, Неприметный.

— А вот этим! — Неприметный ударил плетью Дурашку, но она прошла через того, как сквозь пустоту.

— Что, не получилось?

Неприметный ударил еще раз, другой, третий! Дурашка был неуязвим.

— Бесполезно, Неприметный. Мы уже живем в разных временах.

Дурашка и его скакун неуловимо, но быстро становились прозрачными, Неприметный рубил плетью пустоту, но Дурашка не обращал на него внимания.

— Она живая, — сказал он сам себе, — живая... зеленая и ласковая. Я чувствую это. Я всегда больше чувствовал, чем понимал. Здравствуй, Планета...

Неприметный остался на плато один.

30

Планета стремительно проваливалась в прошлое. Уже исчезли вулканы, потому что все превратилось в один большой огненный Океан.

А Неприметный все хлестал Планету плетью. Он шел, и идти ему было далеко.

Ускорялся бег времени, словно Планета хотела избавиться от Неприметного хитрым и страшным образом. Постепенно потухал огонь, увеличивался радиус Планеты, рыхлее и легче становилось вещество, из которого она состояла. А вот уже только огромная, аморфная туманность окружала его. Да и та все более разреживалась. И плеть уже не встречала сопротивления, и за каждым атомом приходилось гоняться, как за быстрым зверьком. Первоначальная пепельная мгла наполнялась светом, пока наконец туманность не рассосалась по всей Вселенной. И Светило, которое когда-то в будущем потрудится над созданием Планеты, откатывалось все дальше и дальше.

Вот и оно превратилось в Звезду, обыкновенную, как и все другие. И уже не отличить ее от всех других недосягаемых светлячков неба.

И плеть Неприметного была обречена рассекать лишь пустоту...

31

Дурашка высвободил ногу из стремени и спрыгнул в густую зеленую траву, повел своего скакуна в поводу. Вокруг раздавались пение птиц и стрекот насекомых. Вскоре он набрел на тропинку, пересекавшую лес, вышел на опушку и... остолбенел от счастья. Сказочный хрустальный город раскинулся перед ним. Не спеша прохаживались планетяне, ребятишки как всегда и везде во Вселенной с шумом носились по улицам города. В гору поднимался человек, приветная улыбка играла на его губах.

— Так вот ты какая, Планета! — удивленно прошептал Дурашка. — Здравствуй еще раз! Здравствуй и ты, приветный человек!

— Здравствуй! — ответил планетянин.

— А мы хотели разрушить ее, — сказал Дурашка, — но только погибли сами...

— Погибли? — переспросил планетянин.

— Да. Все, кроме Неприметного.

— Тебе больно?

— Больно. Я чувствую, что все они были добрыми людьми. Но это в душе, глубоко в душе. Страх перед Неприметным заставлял их творить зло. Но это ошибка, ошибка! Все могло быть иначе!

— Ты хочешь сказать, что без Неприметного они стали бы совершенно другими людьми?

— Да, да! Они уже становились людьми и в присутствии Неприметного. Не хватало какого-то маленького толчка.

— Мы знаем это. Все члены экипажа живы. Но захотят ли они стать новыми людьми?

— Захотят! Захотят! — вскричал Дурашка.

— Помня о всем том, что они здесь пытались сделать?

— Нет, — задрожал Дурашка.

— Они ничего не будут помнить, если ты так хочешь.

— Нет, — застонал Дурашка.

— Тогда что же?

— Пусть они и помнят, и не помнят.

Дурашка устал. Он уже что-то понимал, а не только чувствовал. Он понимал, что человека нельзя заставить, человек должен выбрать сам!

— Хорошо, — сказал планетянин с приветной улыбкой. — Ваш корабль приближается к нашей солнечной системе, как и в первый раз. Действуйте.

Дурашка торопливо вскочил в седло, и его скакун с места пошел огромными скачками. Его бока покрылись пеной... И Дурашка чистил своего скакуна, недоумевая, как это его Каурый умудрился так устать в своем стойле. Но тут прозвучал сигнал. Это Тактик сзывал всех офицеров.

Разведывательный крейсер приближался к солнечной системе.

...1

— Прямо по курсу неизвестное тело! — доложил Шкипер.

— Движется в нашу сторону... Причаливает... Готово... Кто-то выходит из него!

Двенадцать офицеров крейсера в хрустящих мундирах, начищенных сапогах с отворотами и шпорами, в широкополых шляпах с разноцветными перьями замерли возле резных кресел, стоящих вокруг стола.

Дверь кают-компании открылась и вошел человек.

— Приветствую вас, братья по разуму, на нашей Планете! — сказал он.

— Экипаж крейсера приветствует Планету и планетянина! — хором ответили офицеры.

— Приветный! — представился планетянин и всем по очереди пожал руки.

— Прошу к столу! — пригласил Стратег.

— А что за название у вашего крейсера? «Толстяк», что ли?

— «Тол-стяг»! — поправил его Тактик.

— Стяг. Флаг. Знамя. «Знамя Толы»!

— Ах, Тола — это планета, с которой вы прибыли? — догадался планетянин.

— Да, да! Тола — это наша родная планета.

— И что же за задачи у вашего крейсера?

— Искать братьев по разуму! — ответил Стратег. — Вступать с ними в контакт. Добиваться взаимовыгодного сотрудничества.

— Ну что ж... Наши цели совпадают. Планета примет вас с радостью! А много ли миров вы уже открыли?

— Ваш первый, — правдиво ответил Стратег. — Разум — слишком редкая ценность во Вселенной! Иногда нам казалось, что некоторые планеты обитаемы. Но при тщательном исследовании все они оказывались мертвыми. Возможно, тут все дело в стратегии поиска...

— Или в тактике, — добавил Тактик.

— Да, — согласился планетянин. — Стратегия и тактика поиска братьев по разуму не терпит ошибок...

— Значит, торговля, обмен духовными и культурными ценностями, — заключил планетянин. — Прекрасно! Эта ваша стратегия только или стратегия самой Толы?

— Конечно, наша! — воскликнул Отгадыватель.

— Конечно, Толы! — воскликнул Тактик.

Оба офицера посмотрели друг на друга недоуменно. Больно сжалось сердце у Тактика.

— Послушай, Отгадыватель... Мне кажется, что я доставил тебе какую-то неприятность. Обидел, что ли?

— Да что ты, Тактик! Как мы можем обидеть друг друга?! Никаких обид у нас нет! Иначе был бы невозможен поход нашего крейсера.

— Хорошо, если так... И все-таки что-то крутится у меня в подсознании.

— Может, дурной сон?

— Да, да, сон, наверное! — обрадовался Тактик.

— Так как же быть со стратегией Толы? — напомнил планетянин.

— Есть малюсенькая загвоздка, — вздохнул Стратег. — В общем-то, нам рекомендуется немного припугнуть каждую встреченную цивилизацию. Продемонстрировать, так сказать, силу. Но... но на это не стоит обращать внимания.

— Да, — согласился Канонир. — Кроме букетов цветов бомбарды могут заряжаться и чугунными ядрами. Но я, правда, закрыл погреб на замок, а ключ выбросил.

— Да и арбалеты приспособлены не только к стрельбе лучами фейерверков, — сказал Оружейник. — Я свинтил с лучей все боевые наконечники. Но ведь так просто навинтить их вновь.

— Тем более, — подхватил Звездочет, — что Звезды все-таки иногда внушают страх.

— Лазарет тоже не всегда бывает пустым, — буркнул Лекарь.

— В наставлении по вождению судов, — сказал Шкипер, — есть, кстати, термин: боевой разворот.

— Да и я не сижу без работы, — сказал Умелец.

— А я чувствую, — сказал Умница, — что на нашей Толе, кажется, не все в порядке.

— И стол в кают-компании всегда накрывался на тринадцать персон, — вставил Стряпух.

— Ну, это на всякий случай, видимо, — объяснил Тактик. — Для встречи дорогого гостя, вот как, например, сейчас.

— Что-то мы копнули тревожное, — нахмурился Стратег. — Тут такая радость. Встреча с братьями по разуму! А в сердце тревога...

— Что скажешь, Советник?

— Скажу. На Толе, конечно, все не так хорошо, как мы поведали планетянину Приветному. Да и стратегия и тактика «Толстяка» неприметно меняется во время нашего похода. Почти у каждого раны на теле...

— Да, да! Это правда, — подтвердил Лекарь.

— ...Я думаю, что все здесь рады такой приятной и интересной встрече. Но на Толе нам не простят, что мы не поприветствовали Планету двумя-тремя залпами чугунных ядер из всех бомбард. Дело в том, что наша стратегия и тактика отличаются от принятых на Толе. Контакт контактом, а глубокий карцер на Толе нам всем обеспечен.

— Выходит, что мы, планетяне, поставили вас в тяжелое положение? — огорчился Приветный.

— Нет, нет. Мы так рады! Нам бы только выкрутиться на Толе, — сказал Стратег.

— Я предлагаю не возвращаться на Толу, — сказал Советник.

— Я согласен! — воскликнул Шкипер.

— Оставайтесь у нас, — предложил планетянин. — Мы примем вас с радостью. Все разумные существа — братья.

— Нет, нет, — запротестовал Отгадыватель. — Наш долг — вернуться на Толу.

— А! — поморщился Стратег. — Ты всегда был бунтарем!

— Мы вернемся на Толу, но не с тем, чтобы поселиться в глубоком карцере, а с тем, чтобы рассказать всем, что стратегия и тактика Толы неверна.

— Только попробуй, — сказал Тактик. — Так тебе и разрешат.

— А зачем спрашивать разрешения? Мы поднимем весь флот Толы! Мы объясним всем гражданам Толы, что долго заблуждались. Пора исправлять свои ошибки!

— Это значит, что придется отказаться от длительных походов? — сказал Шкипер.

— Я не знаю. Я еще ничего конкретно не знаю. В голове лишь одна мысль: надо возвращаться на Толу и попытаться изменить ее.

— Да, да! — поддержал его Умница. — Я чувствую, что буду круглым дурашкой, если не поддержу Отгадывателя! Что толку от нашей встречи с планетянами для Толы? Она постарается прислать сюда целый флот!

— Выходит, — сказал Стратег, — что мы доставим Планете большую неприятность?

— Нет, нет, — ответил планетянин. — В ваших искренних мыслях и действиях нет никакой вины. Если даже к Планете подойдет весь флот Толы, мы не пострадаем.

— Война?! — ужаснулся Лекарь.

— Нет, нет. Мы обходимся без военных действий. Тем более, что ваше возвращение на Толу, я уверен, не повлечет за собой такой устрашающей акции.

— Вы верите нам? — спросил Умница.

— Верю!

— Но вы же совсем не знаете нас!

— Как знать...

Проведя на Планете несколько дней, крейсер на предельной скорости ушел к Толе.

И снова экипаж крейсера насчитывал тринадцать человек.

СЛУЧИТСЯ ЖЕ С ЧЕЛОВЕКОМ ТАКОЕ!..

1 Жил в Усть-Манске инженер Перекурин Александр Викторович. Было ему тридцать три года, и работал он в БОТе. БОТ — это сокращенно: бюро по открытию талантов. И хотя талант не консервная банка, которую можно открыть, организация именно так и называлась. Дело, конечно, не в названии, но можно было придумать и покрасивее.

Бюро располагалось на проспекте Лесных Богатырей. Значилось в нем девяносто восемь человек, считая двух уборщиц, которые работали на полставки, и директора, который частенько бывал в разъездах, делясь опытом с другими БОТами и перенимая их опыт.

Перекурин особыми талантами ни в искусстве, ни в спорте, ни в изобретательстве и рационализации не отличался, впрочем как и все сотрудники бюро. Если бюро открывает таланты, то уж в нем самом талантов, естественно, не может быть. С какой стати талантливый человек станет работать в бюро, которых в каждой области пруд пруди. Такому человеку прямая дорога в консерваторию, на стадион, в крайнем случае в хор электролампового завода.

Играл когда-то в молодости Перекурин на гитаре и пел смешные и грустные песни. Но потом повзрослел, забросил гитару. Другие дела и заботы отнимали все время, да и желания не стало.

Перекурин возвращался с работы. Настроение его было не особенно хорошим. Конец месяца, план по валу летит ко всем чертям, особенно в его секторе. Ну надо же! За один день из пятисот человек, обследованных на предмет наличия таланта, у двадцати обнаружились задатки мастеров по шахматам и стоклеточным шашкам; у одного даже задатки гроссмейстера. И ни одного поэта, певца или композитора. Весь май так и прут будущие чемпионы мира командного, вероятно, первенства. Для личного что-то уж больно их много.

Сектор искусства, которым заведовал Перекурин, лихорадило. Срочно через родных и знакомых передавалась приглашения зайти в бюро людям, которые писали стихи хотя бы для стенных газет или были запевалами на праздничных вечеринках. Все было напрасно. Может быть, в машине что-то разладилось? Так нет! Перекурин лично проверял все ее блоки, тщательно сверяя с картами напряжений и сопротивлений. Даже в качестве эталона сам присоединялся к машине. И машина дала совершенно правильный ответ, не обнаружив у Перекурина никаких талантов.

Александр подошел к дому, в котором жил вот уже пять лет, и остановился поговорить с одним своим знакомым, который приходил с работы рано и жадно ловил у подъездов собеседников, так как не мог выговориться, хотя говорил без передышки вот уже лет тридцать с лишним.

— Здравствуй, Саша! — сказал знакомый. — А ты знаешь, как на Урале краску для полов делают? Ведь эта-то, которая из магазина, — ерунда одна. Ею хоть крась, хоть не крась. А на Урале краску делают из глины. Наливают в бочку воду, ссыпают туда же мешок глины и начинают размешивать. Потом воду сливают, наливают чистой, и все сначала.

Воду в бочке меняли уже в семнадцатый раз, и Перекурин затосковал: сложноватая все-таки технология... И вдруг что-то, как будто насильно, заставило его повернуть голову вправо. У подъезда стояла женщина, невысокая, в коричневом плаще и черных туфлях. Ее темно-рыжие волосы были уложены на голове в какую-то странную, но очень идущую ко всей ее фигуре прическу. Она держала за руку девочку лет четырех и разговаривала с женщинами.

Александру стало не по себе. Он испуганно соображал: что же случилось? Ему неудержимо захотелось подойти к этой женщине и поцеловать ей руки, а потом закрыть этими руками свои глаза... Дальше Александр уже не думал. Все смешалось в его голове. Он знал наверняка только одно, что не подойдет к ней и уж, конечно, не поцелует ей руки, ведь кругом соседи, а сверху еще, поди, и жена смотрит с балкона.

Знакомый все еще перемешивал глину в бочке.

Женщина нечаянно посмотрела в сторону Александра и улыбнулась. Не ему, не Перекурину, конечно, а просто так. Что-то в разговоре с женщинами заставило ее улыбнуться. Лишь мгновение вот так смотрела и улыбалась она, и Перекурин понял, почувствовал, что спокойное течение его жизни кончилось. Не лицо, не фигура поразили его дремавшее много лет сердце. Что, он и сам бы не мог объяснить.

Александр попытался представить себе, что увидела она, если хоть на миг задержала на нем свой взгляд. Высокую фигуру в черном плаще, заметно сутулую, особенно когда он

старался быть стройным? Начинающие редеть короткие черные волосы? Что за нелепый вид! Перекурин покраснел и бросился в свой подъезд мимо ошеломленного знакомого. Взлетев на свой этаж, он скинул с себя плащ, погода-то на улице была солнечная, хотя и нежаркая.

— Тебя чем-то стукнули по дороге домой? — весело спросила его жена. У нее было хорошее настроение. Она немного подумала, подождала, когда Сашка что-нибудь ответит, и чмокнула его в щеку, проговорив:

— Сашка, вынеси-ка мусор. Машина, наверное, уже пришла.

— Ага, ага, — пролепетал Сашка, схватил ведро, тотчас же поставил его снова, потянулся за плащом...

— Солнце же на улице! — сказала Машенька. — Ну и видик у тебя. Принцессу, что ли, увидел, или премию обещают?

А ведь действительно премию-то за первый квартал подписали!

— Вот-вот. Будет премия. Я сейчас. — И он решительно схватил ведро, выбежал на площадку, скатился вниз по лестнице, вынырнул из подъезда, как бы нечаянно замешкался, чтобы оглядеться.

Ее уже не было.

Перекурин покачал головой. Показалось, что ли? А если и нет, то все равно ее теперь не увидишь. Живет она уж наверняка не в этом доме. Впрочем, он мало кого знал из жильцов. Только сослуживцев да еще несколько человек. У подъезда стоять просто так, от нечего делать, ему и в голову не приходило. А в домино он не играл и поэтому никогда не занимал место на скамейке за столиком возле чахлой березки. С работы на работу, в магазин, в кино, на футбол. И времени-то не осмотреться, вечно опаздываешь. В лес соберешься в воскресенье с семьей и то бежишь сломя голову, потому что уже десять часов, а до леса еще нужно добраться, разжечь костер, сварить уху из заранее приготовленной рыбы и успеть на обратный автобус, чтобы не тащиться пешком.

Нет. Никогда он не видел этой женщины раньше. А вдруг и не увидит? Перекурину захотелось все бросить и побежать по улице, догнать ее, расспрашивать прохожих, заглядывать в окна магазинов и автобусов, останавливаться на перекрестках, ждать, надеяться, случайно встретить ее и на ее глазах совершить подвиг. На меньшее, чем подвиг, он сейчас не был согласен. Понимал Перекурин, что все это смешно и нелепо.

Понимал и сам смеялся над собой. И где-то в глубине души думал: хорошо, что она ушла. Иначе бы его мир и покой были взорваны. Ушла, и теперь грустно, потому что все останется по-старому. Вот и разберись в себе!..

Шофер мусорницы нетерпеливо нажал на сигнал и этим возвратил Александра в привычный, до мельчайших подробностей известный мир мелких и больших забот, мусорного ведра, ужина, телевизора, серого здания из бетонных панелей, давно надоевших разговоров и развлечений.

Весь вечер он был молчалив, отвечал на вопросы невпопад, и жена решила, что премия, по-видимому, будет крупная. Это оправдывало поведение Сашки. На очереди была покупка шифоньера с зеркалом, и тут было от чего задуматься.

А вечером «Спартак» выиграл, правда 1:0, у «Торпедо», и качество изображения телевизора при этом было хорошее. В Усть-Манске разница во времени с Москвой на четыре часа, и матч кончился поздно. Дочь, сын и жена Машенька уже спали. Перекурин, взволнованный победой «Спартака», пришел в хорошее настроение, разделся, лег под теплый бок что-то проворчавшей жены, закрыл глаза и увидел маленькую женщину с темно-рыжими волосами.

Утром он встал раньше, чем зазвенел будильник, потому что ночью так и не уснул.

2

На работу он пришел, как всегда, за десять минут до начала, надел белый халат, проверил напряжение в электросети, включил на прогрев математическую машину, дал указание своим помощникам, чтобы четче организовывали работу, разложил в зале ожидания свежие газеты и журналы, пожурил техника Косолапина, что тот опять пришел без галстука, и сел за пульт машины.

Но сегодня его не волновало, сколько будущих талантов откроет он. И это тревожило, так как он привык относиться к работе с душой, бился за каждый процент вала, переживал все срывы и падения своего бюро, утешал плачущих людей, у которых не только талантов, простой одаренности не обнаруживалось.

Вот уже пять лет, как проверка на талантливость стала обязательной для каждого гражданина и гражданки и даже детей старше шести лет. Талант дело государственное, а не просто личное, и никто не имеет права скрывать свою одарен-

ность. С футболом вот в стране дела никак не ладятся. А вдруг какой-нибудь товарищ Иванов на самом деле второй Пеле, но сам этого не знает, потому что ему мама не разрешала в детстве играть в футбол, чтобы зря не рвал ботинки?

Приглашения на осмотр рассылались один раз в квартал, потому что если у вас сегодня нет таланта, это еще не означает, что он не прорежется через месяц или год.

Работа у Перекурина была хлопотливая. В двадцать мягких и удобных кресел садилось сразу двадцать взволнованных мужчин и женщин. К вискам каждого крепились параметрические датчики, затем люди погружались в приятный гипнотический сон, и гигантская математическая машина с гибкой программой, которая подсознательно задавалась самим осматриваемым, анализировала способности человека. В конце осмотра каждому человеку задавалось несколько сложных стандартных тестов. Результат бывал известен уже через пять минут.

И вот тут-то и начиналось самое трудное, потому что некоторые люди никак не хотели согласиться с тем, что у них отсутствует талант хоть к чему-нибудь. Одни требовали жалобную книгу, другие предъявляли справки о талантливости своих предков, и потрясали картами генеалогических деревьев, третьи требовали повторного испытания. Да и те, у которых была обнаружена одаренность, создавали много шума и хлопот. Одни требовали, чтобы им дали направление в консерваторию, обязательно в Москву или Ленинград, другие спрашивали, где можно купить орфографический словарь, — это были потенциальные поэты или прозаики.

Словом, хлопот у Перекурина был полон рот и вся голова в придачу. Он, бывало, так закручивался на своей работе, что забывал про обед. А в детский сад за сыном Андрюшкой он опаздывал настолько часто, что Машенька была вынуждена взять эту заботу на себя.

Но сегодня что-то раздвоилось в его сознании. Он по-прежнему делал все, что нужно, успевая и поговорить, и успокоить, и проверить, и выслушать анекдот. А перед глазами все стояло удивительно необходимое, милое и дорогое лицо увиденной случайно женщины. И чем больше он хотел избавиться от этого наваждения, тем явственнее, отчетливее и объемнее он видел ее. А через час после начала работы он поймал себя на том, что разговаривает с этой женщиной, нисколько не смущаясь, как с хорошей знакомой. Он, конечно, понимал, что это только плод его воображения, но разговор получался такой складный и интересный, что в конце концов Перекурин во все поверил.

С этого дня началась его странная жизнь. И если раньше он мог думать только о чем-то одном и даже малейший шум сбивал его с мысли, то теперь мысли его текли по двум независимым каналам. И даже оживленно разговаривая с друзьями по работе, он в то же время говорил этой женщине о любви.

О любви! Перекурин догадался, что говорит об этом уже давно, и это его насторожило, испугало и обрадовало. Он, конечно, ни на секунду не забывал, что он женат, что они никогда не ссорились с женой, что у них в семье все просто, весело и легко. И ребятишки чудесные. Старшая Леночка — третьеклассница, а Андрюшке — пять лет. Несколько раз он говорил себе: «Все! Хватит! Выдумал, придумал, теперь давай развыдумаем назад».

Но что-то в его душе или сознании отказывалось подчиняться его приказам. Мысли его начинали переворачиваться, скакать как угорелые, сбиваться и путаться. И снова перед глазами вставало лицо этой женщины, и в сердце возникала какая-то стремительность, радостное нетерпение мучило его, комната с пультом раздвигалась, вбирая в себя весь мир, состоящий из музыки, деревьев, цветов, детей и странно красивых и симпатичных ему людей.

И Перекурин чувствовал, что в его душе все начинает петь. В голову приходили такие слова, что другая, знакомая и привычная, половина сознания только ахала от удивления.

После обеда Перекурина вызвал к себе директор и устроил разнос. Александр ни в чем не был виноват. Но и директора нужно было понять. Месяц кончился, а план в секторе Перекурина так и остался невыполненным. Директор кипятился, размахивал руками и вообще старался казаться грозным и страшным. На какую-то секунду он оторвался, вышел из этой своей роли и взглянул на начальника сектора искусства. Тот слушал, старательно смотрел в глаза своему шефу и... улыбался.

— Черт знает что такое, — тихо сказал директор и успокоился.

— У нас же план дается по среднестатистическим данным, — сказал Перекурин. — В июне нагоним, если теория вероятностей чего-нибудь не напутала.

— Теория — это одно! — твердо сказал директор. — А двенадцать теноров в хор мы так и недодали.

Надо сказать, что у директора была одна идея, которой он отдавал много рабочего времени и собственных сил. Директор хотел, чтобы Усть-Манск занял первое место, ну хотя бы в Сибири, по количеству талантов на душу населения.

— Может, в июне... — начал было Перекурин.

— В июне, в июне, — передразнил директор. — Городской смотр на носу. Фестиваль «Белые ночи Усть-Манска». Вечно с твоим сектором что-нибудь происходит. Ну что ты улыбаешься! Не можешь найти таланты, пой сам! Стихи пиши и сочиняй музыку!

— Я, — подавился смехом Перекурин, — петь...

Директору и самому стало смешно, но он все же сказал:

— А что? Честь города превыше всего! Если Марград вас обскачет на межобластном смотре, то смотри тогда. Вот ведь с шахматами и бегом на стометровку у нас здорово, ничего не скажешь.

— А что... я хоть сейчас могу попробовать.

И снова Александр увидел перед собой лицо женщины, улыбающееся и доброе. Ему стало стыдно, он поднялся со стула и молча вышел из кабинета. Директор покачал головой и сказал сам себе:

— Вот это дела...

Когда уже нет никаких возможностей выполнить план, начальник тоскливо успокаивается. Успокоился и директор. И Александр успокоился. Да он особенно и не волновался, надеясь на среднестатистические данные.

Он шел в хорошем настроении, а когда завернул за угол своего дома, то внезапно снова увидел ее. Такую же, как и вчера. Она стояла с сумкой в руке, в которой была булка, молоко в бутылке и еще какие-то свертки.

Перекурин запнулся на ровном месте и, хотя на него никто не смотрел, покраснел и стремительным шагом прошел мимо.

Пролетел месяц, и теперь он почти каждый день видел ее вечером разговаривающей с женщинами или просто гуляющей с маленькой черноволосой девочкой. Он подолгу простаивал на балконе, выкуривая сигарету за сигаретой, с радостью по несколько раз за вечер бегал в ближайший магазин за покупками, потому что в таком случае, если судьба была к нему благосклонна, он мог пройти мимо этой женщины, не осмеливаясь, правда, поднять головы и с трудом подавляя в себе желание подойти к ней и заговорить. В этом не было бы

ничего особенного. Сотни людей подходили друг к другу и разговаривали, хотя раньше никогда не были знакомы. Ведь у жильцов многоэтажного дома были общие интересы, заботы и мечты. Но Перекурину все время казалось, что, подойди он к ней, и все поймут, что здесь что-то не так.

Он по-прежнему не знал ее имени, в какой квартире она живет, как ее фамилия. И ни у кого он не спрашивал об этом, не желая делиться своей тайной даже с самым близким другом. А однажды он увидел ее на балконе, развешивающей разноцветные платья своей дочери. И балкон-то ее был совсем рядом, всего-навсего через один соседский.

До него наконец дошло, что она живет в этом доме уже давно, с самого первого дня, как его заселили, что он наверняка сотни раз проходил мимо нее, и все в его сердце оставалось спокойным, и что его нескладная фигура, возможно, уже примелькалась этой женщине, и теперь он уже ничем не сможет привлечь ее внимания.

3

В июне надежды Перекурина на то, что дела его сектора пойдут лучше, оправдались. Статистика все-таки не подвела. Александр свято верил в нее, хотя теперь ему почему-то казалось, что дело не в теории вероятностей, а в белых ночах, когда до самого утра по улицам бродят слегка подвыпившие компании с гитарами и совершенно трезвые парочки, не замечающие ничего на свете. Он и сам бродил по ночам, испытывая странное чувство тоски и радости.

Несколько раз он со скрупулезностью ученого пытался проанализировать, что же с ним происходит. Но та, первая, привычная половина сознания относилась к этому желанию совершенно равнодушно, не проявляя ни малейшего интереса к душевным мукам Перекурина, а вторая, вызванная к жизни случайным взглядом совершенно незнакомой женщины, была в состоянии такого полнейшего восторга, что отказывалась членить себя на логические составляющие, и, обратившись к ней, Александр всегда слышал одно и то же: «Хочу любить!»

В начале июля жена с сыном и дочерью уехали к бабушке в Марград.

И теперь он совершенно потерял душевное равновесие. В доме не с кем было поговорить, и этим привычная половина сознания как бы выключалась совсем. Оставалась та, которая медленно сжигала его мозг. Он твердо решил поговорить с

этой женщиной и принес домой с работы материалы для полугодового отчета, чтобы выкинуть эту фантастическую мысль из головы.

Он мог просто и неназойливо заговорить с любой женщиной в автобусе, в магазине, на улице, мог взять женщину под руку, так что это совершенно не обижало ее, и проводить до ближайшего угла, а там сказать что-нибудь смешное, распроститься и тут же забыть все.

Но с ней поступить так он не осмелился бы, потому что с губ могло сорваться: «Я люблю тебя!»

Однажды в воскресенье в полдень он как угорелый выскочил на балкон, очень желая ее увидеть. И увидел. И тогда впервые в жизни Перекурин сочинил стихи. Стихи с профессиональной точки зрения были, конечно, неважные, прямо скажем, плохие, без рифм и размера. Это просто был какой-то сдавленный крик. Он не сделал никакого усилия, просто вдруг отчетливо и ясно представил себе, как он дотронулся до ее голого плеча, как она вздрогнула и ушла в квартиру, наивно полагая, что это нажгло ее солнцем. И никогда-никогда она не узнает, что это он, а не солнце, прикоснулся к ее телу.

Перекурину стало так тошно и тоскливо, что он бросил работу и пошел к своему лучшему другу Ивану Гордецову. У того сидел только что пришедший в гости Анатолий Степкин. Все трое работали в одном бюро, у всех троих жены уехали отдыхать. Такое совпадение удивило их лишь на миг, а через минуту они уже уверенно продвигались к магазину, беспокоясь только об одном, как бы его не закрыли на обед.

Они взяли по бутылке сухого вина и пошли в квартиру Перекурина. Закусок у него, естественно, было хоть шаром покати, стаканы же нашлись.

Разговаривая на производственные темы, покуривая сигареты, они не спеша потягивали кисловатый рислинг. А когда пустые бутылки были составлены в угол, все захотели вдруг есть и начали шарить по кухне. Им повезло. В ящике для овощей была найдена картошка. Сварили ее, не чистя, а Перекурина послали в магазин за хлебом и кабачковой икрой. Александр выполнил все поручения, а на обратном пути на автобусной остановке увидел рыжеволосую женщину с девочкой. Он прошел мимо с независимым видом, подкидывая в руке булку, и остановился. Подойти или не подойти? И он круто повернулся и подошел.

— Здравствуйте, — сказал Перекурин.

— Здравствуйте, — ответила женщина, улыбаясь.

А девочка уцепилась за мамину руку и начала скакать на одном месте, выражая свое явное нетерпение. А улыбка у этой женщины была такая ласковая и открытая, что Александр подумал: этой женщине никто никогда не осмеливался говорить пошлости.

Они стояли друг против друга и улыбались, а девочка все прыгала, дергая маму за руку. На улице было солнечно, но не жарко. Ветер гнал по небу легкие облачка. На остановке никого не было. Она молчала, потому что не знала, зачем подошел к ней этот чудаковатый жилец из соседнего подъезда. А у него язык не поворачивался от радости.

— Почему мама рыжая, а дочь черная? — вдруг брякнул Перекурин, но женщина не обиделась, прижала к себе девочку и, слегка рассмеявшись, сказала:

— Это все чудеса химии.

— Меня зовут Александр, — осмелился Перекурин. — А вас?

— А меня — Мира.

— Как — Мира?! Просто Мира?

— Мира.

— Мира — это значит весь мир! Ведь так?

Она засмеялась и пожала плечами.

— А ваша фамилия? Я здесь многих парней знаю. Может быть, и вашего мужа знаю.

— Серегина.

— Серегина? Так ведь это значит, ваш муж известный поэт? Я его знаю. Он бывал у нас в бюро.

— Бывал и потом здорово ругался.

— Интересно. Так это вам я однажды не уступил такси?

— Такси? Это четыре года назад?

— Да, да. Четыре года уже прошло.

— А я и не знала, что вы там были. Сергей рассказывал, что там был Гордецов. Он ваш друг?

— Да. Мы знакомы лет десять.

Она помолчала и, глядя в сторону, сказала:

— Так, значит, это были вы...

— Да. Я.

Женщина оглянулась. Подходил автобус.

— Извините, наш автобус, — сказала она.

— А куда вы едете?

— В лес...

— А где же ваш папа?
— Мы этого не знаем...
— Возьмите меня с собой!
— С булкой? Вас там друзья ждут. Идите.
— Откуда вы знаете?
— Это же видно.

Подошел автобус, и женщина с девочкой сели в него. Автобус покатил дальше. Перекурин постоял еще немного, глубоко вдыхая воздух, чтобы хоть немного успокоилось сердце.

В кухне на столе уже дымилась картошка. Перекурин молча открыл банку, нарезал хлеба. Анатолий Степкин пытался затянуть арию. У него была способность к пению, была и справка из БОТа, удостоверяющая это. Вот только еще бы стаканчик вина, чтобы талант раскрылся полностью. Иван Гордецов, прирожденный остряк, начал подшучивать над Перекуриным по поводу его молчания.

— Что случилось, Саша? — спросил он. — А я знаю, что случилось. Саша встретил на улице женщину и никак не может опомниться от ее красоты.

— Откуда тебе это знать? — буркнул Перекурин, а в душе испугался: вдруг Гордецов догадается. Ведь шутками изведет, растрезвонит на весь город, потому что не поверит, что все это серьезно.

— Тут и знать нечего. Что тебя еще может выбить из колеи?

Он сказал это просто так, чтобы подразнить Перекурина, и поэтому Александр ничего не ответил. Степкин вдруг засобирался в театр слушать оперу. В Усть-Манске в это время действительно гастролировали артисты из Бурятии. Перекурин отказался идти в оперу. Гордецов пошел домой. И Александр не стал их задерживать, потому что хотел остаться один.

Он еще с полчаса посидел на кухне, потом вышел из квартиры и направился к троллейбусной остановке. Он должен был сегодня увидеть Миру еще раз.

Перекурин вымеривал квартал шагами часа четыре, выкуривая одну сигарету за другой.

Они приехали уже под вечер, и Перекурин чуть было не просмотрел их, потому что в это время стоял на углу улицы, далеко от остановки. Он догнал их и сказал:

— Я ждал вас тысячу лет, а автобус все не привозил вас. Тысячу лет, ведь это страшно долго.

— В лесу так хорошо. Если бы не вечер, мы бы еще остались там.

— Не уходите, поговорите со мной.

— Вы соскучились по женщине. Вот приедет ваша жена, и у вас все пройдет. И вам не захочется говорить со мной.

— Нет. Жена тут ни при чем. А откуда вы знаете, что она уехала?

— Ее не видно уже недели две.

— Погуляйте со мной. Ведь на улице так хорошо. Давайте погуляем возле дома.

— Чтобы все видели это?

— А вы боитесь? Боитесь, что про вас будут говорить всякую ерунду?

— Нет, не боюсь. Но только зачем мне это? Это ведь с вами что-то случилось. Затосковали по жене. А со мной ведь ничего не случилось. Да и потом ваша дочь выше меня ростом.

— Да, она у меня большая.

— Что она-то подумает? Ирочка, пошли домой.

— Вас ведь никто не ждет дома. Я был у вас. Никто не отвечает.

— Так вы уже и домой ко мне сегодня приходили?

— Приходил. Хотите, я покажу вам стихи. Я написал их вам.

Перекурин забыл, что ее муж первый поэт города Усть-Манска. Он готов был сейчас сделать все, чтобы хоть еще немного задержать ее, видеть лицо, и странную прическу, и улыбку. Ведь она все время улыбалась. И снова ее улыбка была доброй и ласковой. Нет, она не сердилась на Перекурина. Просто она хотела, чтобы он опомнился. Ну случилось что-то с человеком. Так ведь пройдет! А ему самому потому будет неудобно.

— Не нужно. Завтра вы уже не захотите этого. Ведь вы выпили сегодня. Вот у вас воображение и разыгралось. До свидания. Все у вас будет хорошо. Ирочка, пошли домой.

И она ему улыбнулась грустно, как бы говоря: «Ну не дурите, пожалуйста. Возьмите себя в руки».

Ах, милая женщина! Как взять себя в руки? Как заставить себя не думать о вас? Как сделать, чтобы ваше лицо, спокойное, улыбающееся и чуточку грустное, не стояло все время перед глазами? Как выбросить вас из головы, из сердца?

А надо ли все это делать?

Женщина ушла, ведя пританцовывающую девочку за руку.

«Хочу любить», — сказал сам себе Перекурин, обогнул дом с другой стороны и вошел в свой подъезд.

Он, конечно, был слегка пьян. И очень жалел, что выпил. Ведь она могла подумать, что это вино в нем заиграло. Нет, ему нужно было еще раз увидеть ее. Ведь кроме пустой ерунды, он так ей ничего и не сказал. А сможет ли он подойти к ней завтра? Когда он скажет, что любит ее? Только сегодня, только сегодня.

Перекурин взял ручку, лист бумаги и написал свое нелепое, смешное, но искреннее стихотворение. Вложил лист в конверт, надел пиджак, вышел из квартиры, спустился вниз, подошел к соседнему подъезду и, не глядя на женщин, стоящих там, поднялся по лестнице и постучал в дверь.

На площадке было темно. Дверь открылась, и Мира вышла на порог, освещенная лампочкой, горевшей в передней. Маленькая, она была едва ли до подбородка ему, в домашнем халате и тапочках, спокойная и гордая. Не просто гордая, а доброжелательно-гордая. Такая уж она была. Она не удивилась, а только сказала:

— Вы еще не спите?

— Простите, пожалуйста, — пробормотал Перекурин и протянул ей конверт. — Все. Я не буду вас больше беспокоить.

А как ему хотелось задержать ее! Прижать к своей груди и увидеть ее глаза совсем рядом.

— Ну вот, вы уже начинаете делать глупости, — сказала она, но конверт взяла. — А если бы Сергей был дома? Что бы он сказал?

— Я как-то не подумал об этом. Простите. До свидания.

Он повернулся и медленно пошел вниз, вздрогнув, когда позади захлопнулась дверь.

4

А на следующий день вечером приехала жена с ребятишками. Привезла рюкзак яблок, помидоры, письмо от матери, новую рубашку — тоже подарок матери. Ребятишки загорели, а Андрюшка так даже, кажется, заметно подрос. Он сразу же бросился к отцу, повис у него на шее, болтая ногами, взахлеб выкладывая интереснейшие события, участником которых он был. Ох, что это были за события! Охота на ежа в лесу! Рыбалка! Прятушки! Сыщики-разбойники! Всего и не перескажешь.

Леночка — совсем уже взрослая девочка — серьезно сказала:

— Папка, на следующий год ты тоже поедешь с нами. У бабушки, конечно, хорошо. Но с тобой все-таки лучше.

— Ну что же, — сказал папка, — поедем, если отпуск будет летом.

— Ну как ты тут жил без нас? — спросила Машенька. — Что ел? Готовил хоть сам-то? О, да тут у тебя целый склад, — добавила она, увидев в углу три пустые бутылки.

— Да это мы вчера с Гордецовым и Степкиным. А что же вы даже телеграмму не дали? Я бы встретил. И холодильник совсем пустой.

— Телеграмму мы не дали нарочно, чтобы посмотреть, что ты тут делаешь, — сказала Машенька, и сразу стало понятно, что они не дали телеграмму, чтобы не беспокоить его. Сами ведь хорошо добрались. — Ну а насчет еды сейчас что-нибудь придумаем... Ох и пыли у тебя кругом! Генеральную уборку сегодня делать будем.

За ужином Маша, Леночка и Андрюшка наперебой рассказывали о своих впечатлениях. Перекурин не знал, кого и слушать. Ему было хорошо и уютно среди них. Он закурил сигарету и уселся в кресло.

Много ли нужно человеку для счастья?

Машенька такая красавица, высокая, все еще стройная и изящная. Всегда спокойная, веселая. Все хорошо в семье. Вот только почему даже сейчас, слушая их, он снова видит перед собой лицо этой женщины? Она грустно улыбается и говорит: «Ну не дурите, пожалуйста. Все у вас будет хорошо».

Перекурин покачал головой. Покоя больше не будет. Покой взорван. За свою странную любовь он теперь ежесекундно будет расплачиваться муками, разрывая свою душу и сердце между семьей и этой женщиной, стараясь не обидеть Машу, стараясь любить ее. Стараясь... И, странное дело, он не чувствовал себя виноватым перед женой. Ведь его неверность родилась в его сердце. Сердце, которое неподвластно доводам рассудка.

Жена вдруг сказала:

— С тобой что-то случилось, Александр? На работе что-нибудь?

— Нет, нет. У меня все хорошо. Все совершенно хорошо.

— Ну и слава богу! Давайте-ка приберем квартиру.

Перед сном они все четверо пошли погулять.

У своего подъезда, как всегда с девочкой, стояла Мира. Она разговаривала с соседками. Перекурин почувствовал, что

она увидела его. И его жену, и детей. Он был уверен, что она не поздоровается первой, не потому, конечно, что боится. Бояться ей было нечего. Ей было просто интересно, как поведет себя он сейчас, окруженный семьей и совершенно трезвый. А Перекурин не смог произнести ни слова. Ему нужно было сказать хотя бы: «Здравствуйте». Но он не сказал и этого. Он прошел мимо, проклиная себя за трусость, униженный этой трусостью, стыдясь своей трусости.

Она и вчера не приняла его всерьез. Просто ему было скучно. А теперь. Ну что теперь-то она о нем подумает? Поволочиться вздумалось пьяному мужику? А теперь от стыда глаз поднять не может от земли? Ну будь мужчиной. Поздоровайся! Ведь как ты вчера ждал ее! Все бы для нее сделал! Ног под собой не чуял от радости, что услышал ее голос, узнал имя.

Перекурины завернули за угол здания, и Александр не видел, что Мира почти тотчас же ушла в подъезд.

...Целую неделю Перекурин не видел ее, не везло ему, не пересекались их дороги. А желание видеть ее, говорить с ней переросло всякие пределы, и он мог постучать в ее квартиру и сказать: «Поговорите со мной немного. Не могу я жить, не видя вас».

А когда он снова случайно встретил ее возле дома, то опять не поздоровался, настолько растерялся от неожиданности, и прошел мимо, но через десять шагов остановился, догнал ее и чуть слышно сказал:

— Мира, здравствуйте.

— Здравствуйте, Александр.

Ох, какой у нее сейчас был повод отчитать его, посмеяться, отхлестать по щекам несколькими насмешливыми словами. Ну хотя бы язвительно улыбнуться.

— Мира, я хочу говорить с вами и видеть вас. Я сошел с ума, это верно. Захотите и вы поговорить со мной... когда хотите, в любое время.

— Вам нужно выговориться, — сказала она и снова улыбнулась, добродушно, нисколько не смеясь над ним.

На мгновение Александр ужаснулся. Вот сейчас она сможет сделать с ним все, что захочет. Только одно слово, и он пойдет за ней, ни о чем не спрашивая. А дальше будет еще хуже, он это уже чувствовал. Вот только она ничего не захочет, ей ничего от него не надо.

— Да. Нет, нет. Просто говорить и видеть вас.

Она чуть заметно покачивала головой и смотрела на него, словно говорила: «Как же мне вам помочь?»

— Хорошо, приходите ко мне на работу перед обедом. Я работаю в управлении главного архитектора. Знаете, где это?

— Знаю. Я обязательно приду.

— В понедельник... А с виду вы так похожи на добропорядочного, положительного главу семейства. Если выходите, то только с детьми или с женой. Серьезный, спокойный... словом, добропорядочный.

— Ах, нисколько я не добропорядочный. У меня в голове все перепуталось. Я и на балкон-то выхожу с одной только мыслью — увидеть вас.

— А я и сама хотела поговорить с вами или написать вам. Вдруг бы вы получили от меня письмо?

— Это было бы чудо...

— А ваша жена прочла бы его...

Перекурин прикусил губу.

— Я очень хотела написать вам что-нибудь в таком же духе, как и вы, только позлее.

— Да, глупо. — Перекурин затосковал, стыдно ему было сейчас.

— Приходите в понедельник, около часа. А сейчас идите домой. Ваша жена смотрит на нас с балкона. До свиданья. — И снова она улыбнулась ему той же улыбкой. С ума можно было сойти от этой улыбки! Машенька не спросила его, с кем это он разговаривал. Мало ли у Александра знакомых. Если нужно, сам скажет, если нет — значит пустяки.

Ну что он мог рассказать ей? Тут и себе-то ничего не можешь объяснить, не то, что Машеньке.

5

Перекурину в этот понедельник хотелось петь с самого утра.

Погода была пасмурная и прохладная. В бюро по открытию талантов все шло своим чередом. Александра вызвали к директору. И он уже знал зачем. План, провались он пропадом, снова срывался. Директор был не один. У него в кабинете сидел представитель из главка. Значит, дела Усть-Манского БОТа шли плохо.

Ну что мог сказать им Перекурин? Что таланты в Усть-Манске иссякли? Или машина испортилась? Или снова напирать на среднестатистические данные?

— Разрешите мне уйти, — попросил Перекурин. — Я подумаю и соберусь с мыслями.

— Хорошо, — сказал директор. — А мы тут пока бумагами займемся.

...К управлению главного архитектора Перекурин пришел на полчаса раньше, походил возле подъезда, потом зашел внутрь, нашел комнату, где работала Мира, спросил Серегину, но ее на месте не оказалось, она уехала на какой-то объект. Перекурин испугался, а вдруг она забыла, вдруг пошутила. Нет, не могла она пошутить. Он взглянул на часы, до обеда оставалось еще минут двадцать. Это его чуть успокоило. Он снова вышел на улицу и начал неторопливо расхаживать возле подъезда. Неторопливо — это внешне. А что творилось в его душе?! Как загнанный зверь метался он в своих мыслях. Он не знал, что скажет ей. Ему нужно было только одно: увидеть ее. Увидеть близко.

Перекурин заметил ее метров за сто. Она шла тихо, она никуда не торопилась. Увидев его, не прибавила шагу, не выразила на лице ни удивления, ни озабоченности, ни неприязни. Словом, ничего. Просто она подошла к знакомому и спокойно ответила, когда он поздоровался:

— Здравствуйте, Александр.

— А я думал, вы не придете, забыли, — растерянно сказал Александр.

— Но ведь обед еще не начался. Я не опоздала.

— Все равно. Просто я думал, что вы не придете.

— Я выйду минут через пять. Подождите меня здесь.

Она ушла, а Перекурин вдруг совершенно успокоился. Да и чего ему было волноваться? Он знал, что будет дальше.

Он подождал ее на углу. Она была в серой юбке и голубой теплой кофте. С утра-то ведь было холодно. А сейчас тучки расходились и слегка парило. И ей, наверное, было жарко в этой кофте. Ее черные туфельки спокойно отстукивали по асфальту.

Они перешли через улицу и нашли на сквере свободную скамейку.

— Так о чем вы хотели поговорить со мной? — спросила Мира.

— Ни о чем. Я хотел не поговорить с вами. Я хотел говорить с вами. Понимаете, просто говорить. Видеть вас. Слушать...

— Так говорите, просто говорите...

— Почему мне все время хочется расцеловать вас? Ведь я вас совсем не знаю.

Она кивнула, не глядя на него:

— Я это чувствую...

Он вдруг замолчал, смутился.

— Простите, Мира.

— Ничего. Говорите, говорите.

— О чем говорить? Голова пуста. Только одно и осталось: видеть вас.

— Это ничего. Это пройдет... Расскажите, какой вы были в детстве.

— В детстве? — удивился Перекурин. — О чем же тут рассказывать? Был как все. На лыжах бегал, на коньках. Мы тогда на валенки коньки привязывали. Да и стадионов-то не было.

— Я тоже любила кататься на коньках. Я даже в секции фигурного катания занималась. Мне так нравилось на льду, особенно ночью, когда тепло и снег. Снег весь звездочками, мягкий и ласковый. А вот на лыжах я не любила бегать. Просто ходить по лесу, не спеша — хорошо.

— А у вас есть лыжи? Вы ходите теперь зимой в лес?

— Нет. Но нынче собираюсь начать. Уже и Ирочку можно учить ходить на лыжах.

— А мы с Леной давно ходим. И Андрюшка пыхтит как паровоз. Пыхтит, а в гору лезет. Вывозится весь в снегу, на сосульку похож. А из лесу не уведешь. Это в воскресенье. А по субботам я хожу один. Побегать хочется. С гор покататься. Чтобы ветер свистел, и чтобы слезы из глаз, и чтобы дух захватывало.

Они проговорили с полчаса. Перекурин и не заметил, как пролетело время. И говорить было легко, и слушать, и вспоминать. И лицо ее, Миры, в полупрофиль, рядом-рядом, с чуть широковатыми скулами, с большими карими внимательными глазами, черными ресницами. Скажет она несколько слов и чему-то улыбнется, сама не замечая этого.

— Так значит, это вы тогда не уступили моему мужу такси? — сказала она, не изменив интонации.

— Такси? Да, да. Я тоже был там. Прошло, кажется, четыре года?

— Да, четыре года. Пошел пятый...

Она тогда сидела у подъезда. Кто-то догадался вынести табуретку. И какая-то старушка уговаривала, успокаивала ее.

А у нее рот разрывался от крика. И жара, душно. Боль! Пыль кругом. Это начинались ее первые роды. А машины все нет...

— Я не знал, что это были вы, — тихо сказал Перекурин.

— Да, вы тогда этого не знали.

Перекурин отчетливо помнил тот день. Четыре семьи с ребятишками собрались в лес с ночевкой. Сколько у них было с собой рюкзаков, сеток, палаток, теплых одеял! До лесу не дойти. Автобусы тоже не ходят. Один выход — ловить такси. Раз с ночевкой, значит нужно подальше, чтобы и лес был покрасивее, и вода рядом, и порыбачить утром. А таксисты, как назло, отказываются ехать. Обратно-то ведь везти будет некого. Да и такси-то нужно два, если не три. Бегали больше часа, нервничать уже начали. Поймали одно такси. Уговорили все-таки. Тут, на счастье, и второе подошло. Побросали рюкзаки и палатки в машины, и вдруг из-за угла дома выбегает Серегин, глаза большие, на лице улыбка, не то от радости, не то от растерянности. Кричит:

— Дайте такси! Жену в роддом отвезти надо.

— Садись! Чего ждем! — кричит с другой стороны Гордецов.

— Да вот тут такси просят...

— Какое еще такси?! Полтора часа бегаем! Поехали!

— Женщину надо в роддом отвезти.

— Так ведь на это есть «Скорая помощь». «Скорую помощь» надо вызвать. Чего стоишь? Дуй, звони из автомата!

— Да, да, я, вообще, звонил уже... Жена у меня...

А женщины переглянулись и ничего не сказали. Ребятишки уже хнычут, раскисли от жары. Духотища, пыль. Поймать еще одно такси, чтобы уехать в лес, безнадежная затея.

— Да и не повезет таксист. Очень ему нужно. «Скорая» на это есть, — объясняет Гордецов, но так, чтобы таксист не слышал.

Раз в год ведь собрались в лес.

Серегин повернулся и молча побежал за дом.

Перекурин стоял, и ему было стыдно. Да и остальным неловко. А тут еще ребятишки стонут.

— Не в лесу живем. Поехали, чего там, — сказал Гордецов. — Ей-богу, на «Скорой» ее быстрее увезут.

— Он тогда вызывал «Скорую помощь». Но она почему-то не приехала, — сказала Мира. — И такси ему не досталось. Какой-то мужчина ехал на своей машине. Так вот он и довез меня. Семью высадил, а нас посадил.

Перекурин закрыл лицо ладонью, потом медленно потер лоб. Минуты две они молчали. Вспоминал ведь Перекурин эту историю и раньше и не чувствовал за собой особой вины. Надо было, конечно, уступить такси. Надо было... Пусть хоть одну минуту мучилась она из-за него. Хоть мгновение. Ведь больно же ей было! Ему и не представить эту боль. А она еще сидит рядом с ним, разговаривает.

— Мира, простите. Все плохо, все... Я уйду.

Но он не ушел, а она сказала:

— Ирочка у меня родилась маленькая, худенькая. Я ей долго не решалась имя дать. Мне нравилось совсем другое. Красивое. А потом думаю: вдруг она вырастет некрасивой. Мучилась, мучилась, все «доченька» да «доченька», а потом назвала просто Ирой. Тоже ведь хорошее имя, правда?

— Правда, Мира, правда. — Перекурин боялся посмотреть в ее сторону.

— А у вас дочь такая большая, высокая, ноги полные.

У Перекурина полегчало на душе. Нет, не сердится она на него. Он даже осмелился взглянуть ей в лицо, в глаза. Ничего. Чуть поджала губы и опять улыбается. Да что же это делается! Безоружный он перед ней, безоружный. Хоть бы одно слово злое, насмешливое, чтобы самому внутренне озлиться, чтобы увидеть, что она не такая уж и добрая. Нет, именно такая она и есть. И гордая и добрая.

И на Перекурина нахлынуло что-то новое. Какой-то приступ счастья. Вот он сидит рядом с ней. И увидел-то он ее случайно, не слышал, не разговаривал с ней, не знал, как ее звать. А ведь любил. И сейчас любит. Еще больше прежнего. Нет, не ошибся он ни в себе, ни в ней. Любит, но не будет говорить об этом.

— А вы с детьми часто гуляете. Я вижу. Хорошие у вас дети?

Вот уж об этом-то Перекурин мог говорить сколько угодно. И снова они проговорили чуть ли не с час.

— Вы же на обед опоздали? — испугался Перекурин. — Кончился ведь обед-то у вас!

— Кончился, я знаю, — сказала Мира. — Можно разок и без обеда обойтись. Ведь вы тоже не успели.

— Для меня это сущие пустяки.

— Я хотела вам сказать, только не обижайтесь, что мне не понравились ваши стихи, — она посмотрела на него изучающе, но он ничего не понял. Руганул только себя в душе. Зачем

он только полез со своими стихами к ней? Ведь у нее муж поэт. Известный, признанный? И хотя Перекурину никогда не нравились его стихи, как-то внутренне он был с ним не согласен, все равно тягаться с Серегиным было непростительно глупо.

— Да, стихи, конечно, ерунда, — сказал Александр, стараясь казаться беспечным, словно это его мало интересовало. — Так себе. Белый стих.

— Я не про рифмы. В стихах я, наверное, тоже плохо разбираюсь. Особенно своего мужа. Смешно, правда?

Перекурин только пожал плечами.

— Я и ваши не берусь судить. Мне не понравилось то, как вы меня увидели. Что вы во мне увидели...

— И тут я что-то сделал не так?

— Вы писали стихи своей будущей жене, когда еще не были женаты?

— Нет, я никогда не писал стихов. Писем-то даже не писал.

— Почему?

— Да мы почти все время были вместе. Мы почти и не расставались.

— А мне Сергей писал стихи.

— Ну что же, может, вы и счастливее от этого.

— Только он мне писал не такие стихи. Они были нежные, чистые, хорошие.

— Значит, они вам нравились?

— Нравились, — сказала Мира. — Когда-то... нравились.

— А разве я обидел вас? Что-нибудь в них было грубое, нехорошее?

— Нет. Просто вы увидели во мне женщину. Только женщину. Вам ничего и не надо было видеть больше. А он видел во мне, наверное, и что-то другое. Чего, может быть, и нет.

— Господи! — сказал Перекурин. — Это так вы поняли мои стихи?!

— А разве это не так?

— Нет! Нет! Конечно, нет! Я же от вас... у вас ничего не прошу.

— Еще бы! — сказала Мира. И вот теперь-то он увидел ее другой. Не такой, как всегда. Но не злость была написана на ее лице. Нет. Какое-то отчаяние. — Ну почему вы видите в нас только женщин? Мы же люди. Ведь почти каждую неделю, чаще, все время слышишь: «Какие ножки! Какая грудь! Глазки! Бедра!» И каждый стремится сказать пошлость, притиснуть, если поблизости никого нет. Ведь не машины же мы,

призванные удовлетворять ваши желания. Вот и вы. Ведь вы разглядели только то, что я вышла на балкон без платья.

Перекурин снова стиснул свое покрасневшее лицо в ладонях и нагнулся вперед, почти к самым коленям.

— Нет, нет, Мира, — только и смог сказать он.

— Вы любите свою жену? — вдруг спросила она.

— Нет, не люблю! — с вызовом сказал Александр. — Не люблю. Иначе бы я не пришел сюда.

— Интересно, почему мужья не любят своих жен? — Это был не вопрос, просто мысли вслух.

— Не знаю. Ничего не знаю. Я хочу только одного — уйти. Простите меня, Мира. Идите, Мира. Я больше никогда не буду причинять вам огорчения и неприятности.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет, я хочу знать, что привлекло вас во мне.

— Привлекло? — рассмеялся Перекурин. — Нет, я...

Он хотел сказать: «Я люблю вас», но не сказал. Зачем? Кому нужна эта смешная его любовь? А, может быть, она поняла его вполне правильно? Может, она поняла его лучше, чем он сам? Ведь и сегодня он сказал ей, что хочет расцеловать ее всю с ног до головы. Хочет, конечно, хочет! Но ведь не только ее тело любит он. Ведь в глазах у него всегда стояла ее ласковая, такая родная, необходимая ему улыбка. Сколько месяцев он разговаривал с ней в своих мыслях? Что это? Было в ней что-то от него самого. Родство душ?

Она смотрела на него пристально, но спокойно... Она уже поняла, что ничего он ей не объяснит, не расскажет. И от этого в ее душе поднялась досада. Хотелось услышать ей что-то такое, что еще никто не говорил, хотелось узнать его мысли, хотелось представить его чувства.

А он знал, что не сможет ничего сказать ей. Что бы он ни сказал сейчас, все будет звучать пошло, нечестно, глупо, потому что она не верит ему. И именно сейчас, когда все стало плохо, он понял, как любит ее. Как нужны ему ее глаза и слова, и мысли ее, и просто звуки ее голоса. Все испортилось, все развалилось. И нужно было сделать так, чтобы никогда не могло наступить продолжение. И он сказал:

— Да! Я действительно хочу исцеловать вас всю с ног до головы. Я хочу этого! Но только мне ничего не надо. Все ерунда. Все. Забудьте, если сможете.

Он откинулся на скамье. Пусть будет так, как он сказал. Он вдруг почувствовал, что ему стало легко. Удивительно

легко. Он сказал все, что хотел. Ведь он же действительно ничего не ждал от этой встречи, от своей любви, от всей этой нелепой истории. Он выговорился. Выговорился.

— Может быть, есть кто-нибудь, кто говорит такие же слова и вашей жене.

— Может быть. Почему нет? Она же красивая и умная женщина.

— И вы были бы спокойны, если бы узнали об этом?

— Не знаю. Все зависит от того, как бы все это понравилось ей. Кто-то должен любить и ее...

Мира достала из сумочки лист бумаги и протянула его Александру.

— Возьмите. Эго ваше стихотворение.

Он молча кивнул, взял листок, мелко-мелко разорвал его, собрал клочки в ладонь, поднял ее, желая развеять по ветру листочки, но передумал и сложил их в карман.

— Нет, не выброшу я их сейчас.

Они оба замолчали. Потом Мира сказала:

— Почему вы молчите? Ведь трудно сидеть вот так, молча.

— Мне не трудно. Мне стало легко, потому что хуже уже быть не может... Мне сейчас легко.

— А мне? Сделайте же гак, чтобы и мне стало легко.

— Если бы я знал, как это сделать...

— Ну ничего, это просто настроение. Пройдет.

Больше всего Перекурину сейчас хотелось остаться одному. Спокойно разобраться в своих чувствах. Уйти куда-нибудь в лес, упасть в траву, чтобы над головой только голубое небо и пляшущие ветви берез. Но он знал, что даже и сейчас, пусть даже в лесу, он все равно увидит лицо этой женщины. Ему хотелось уйти, хотя он знал, что это их последняя встреча, последний разговор, что он уже никогда больше не увидит ее так близко.

Она снова заговорила с ним о всяких пустяках. Но даже об этом он проговорил бы с ней много часов, дней, лет... Потом она сказала:

— Ну а все-таки мне нужно идти на работу. Мне нужно съездить еще на один объект.

— Ну что ж, — спокойно сказал Перекурин. — Идите, Мира. Я еще немного посижу.

— Нет, я не уйду первой. Понимаете, привычка. Уходите вы.

— Пойдемте тогда вместе. А ведь правда, Мира, пройдите со мной рядом шагов пять. Ведь мы, наверное, никогда больше не встретимся.

— Наверное, никогда.

Они встали и пошли из сквера. Она едва доставала ему до плеча, и он подумал, что с ней хорошо было бы ходить, обняв ее за плечи. Она подошла к остановке своего троллейбуса, и он с ней. Минут пятнадцать они простояли там, но троллейбус все не приходил, потом пришел битком набитый. Она спросила у него, сколько времени. Было уже половина четвертого, и Мира сказала, что на объект все равно опоздала.

— А мне нужно быть на работе, — сказал Перекурин. — Только мне на другой троллейбус.

— Я провожу вас, — сказала Мира. — Это мне по пути.

Они пошли на другую остановку, постояли там, и он сказал:

— Но ведь мне нужно совсем на другую остановку, — и тихо улыбнулся.

— Ах, ведь правильно! Что же вы ничего не сказали?

— Я нарочно, чтобы еще тридцать секунд побыть с вами.

— А мне показалось, что вы уже успокоились. Я пойду.

— Теперь мне по пути проводить вас.

Она кивнула. Они дошли до подъезда. Мира поднялась по ступенькам и сказала:

— Ну, до свиданья.

— До свиданья, Мира. Все равно я хочу вас видеть! Все равно!

Она улыбнулась ему устало. И снова ее улыбка сказала ему: «Возьмите себя в руки, Александр. Все у вас будет хорошо».

Он повернулся и ушел не оборачиваясь.

Весь остаток дня на работе он не произнес ни слова и только на вопрос директора «Где пропадал после обеда?» сказал:

— На свидании.

И тут-то наконец он начал понимать, что он делает с ней, чем он обидел ее. Поздно было теперь хвататься за голову, ничего не изменишь.

И тогда он решил написать ей письмо. Лишь бы она прочла его.

6 Перекурин пришел домой. Отказался идти с Машей в кино. Жена ушла с соседкой. Ребятишки бегали на улице. В квартире было тихо. Перекурин сел за стол, достал лист бумаги и ручку. Время бежало, а он все сидел над чистым листом. Он не заметил, как пришли дети, как вернулась из кинотеатра Машенька и пыталась рассказать ему содержание какого-то индийского кинофильма, на котором она даже всплакнула. Все пролетало мимо его сознания, он был в каком-то полусне.

Наконец он вывел, стараясь писать разборчиво: «Здравствуйте, Мира!» Жена принесла ему стакан горячего чая, потрепала его по макушке и ушла спать, не поинтересовавшись, что он собирается писать. А Перекурин писал быстро, боясь, что пройдет его смелость, что он не успеет высказаться и что это невысказанное так и останется лежать тяжелым камнем на его душе рядом со стыдом, который жег его. Стыд этот был во всем его существе, в душе, в глазах, в лице, во всей фигуре. Он знал, что, написав это письмо, не избавится от ощущения стыда. А! Все равно. Он и боялся, и хотел, чтобы это продолжалось всегда.

Он не раскаивался, что написал свое глупое стихотворение. Ведь он написал его только для себя и никогда бы и не подумал, и не поверил, что может показать его Мире.

Да! Он увидел в ней сначала только женщину. Он ведь не знал ни ее имени, ни фамилии, не слышал даже ее голоса, смотрел только издали, стараясь ничем себя не выдать и надеясь, что это может продолжаться всегда. Глупая надежда. Ведь именно тихий покой, устроенность, благополучие он и хотел взорвать в себе. Он никогда и не верил в покой. Просто согласился, сдался, стараясь не думать об этом.

Он ничего не знал о Мире и видел в ней только женщину. Но ведь и женщин видят по-разному, одну представляя только в постели, перед другой становясь на колени.

Он только раз в своих мыслях прикоснулся к ней, к ее ладоням, щекам, груди, зная, что она этого никогда не заметит. И видя ее, он всегда испытывал странную радость, больше похожую на грусть. Но все же это была и радость! И все это должно было остаться в нем, никто не должен был знать об этом. А он все рассказал ей, сбивчиво, нелепо, пытаясь иногда сбиться на игривый, шутливый тон, вроде бы его это не очень и волнует. Глупо. Этой своей глупости он и стыдился.

Что она о нем подумала! А ведь он увидел в ней маленькое чудо.

Перекурин писал, что когда шел к ней, то уже знал, что скажет. И ничто не могло бы его остановить. Он думал только о себе, не отдавая отчета в том, что, может быть, она и не захочет его слушать. Он писал о том, что забыл, что их там было все-таки двое. И что главной в их встрече была она, а не он.

Он вспоминал, как был горд, что все так честно рассказал ей. Ведь тогда ему действительно стало легко. Как будто с души свалился камень.

«Я так и остался в глупом неведении, — писал он, — если бы Вы не заговорили о моем письме. Это было необыкновенно хорошо. Тут только я начал понимать, что я делаю с Вами.

Вы не прогнали меня, не надавали пощечин, даже не взглянули на меня с презрением, не высмеяли. Сколько же доброты и мягкости в Вашей душе!

А я еще что-то говорил Вам, чтобы Вы меня простили, что я не хотел Вас обидеть. Что я говорил? Всякую ерунду, о которой и вспомнить-то стыдно! Так стыдно! И вы все еще не прогнали меня и даже прошли со мной тысячу шагов, хотя я просил всего о пяти!

Простите меня за все, что я Вам там наговорил, за то, что хоть на миг испортил Вам настроение, за то, что не разглядел с балкона, что Вы не только Женщина, но прежде всего Человек, прекрасный, как чудо, в которое я всегда верил.

И еще.

Четыре года назад четверо мужчин, у которых уже были дети, и четыре женщины, которые все уже рожали детей, отказались уступить машину, чтобы отвезти Вас в родильный дом. И я был одним из них. Я даже не пытался уговорить их уступить машину. И все четыре года мне и в голову не приходило, что я совершил подлость.

Мне всегда казалось, что я люблю людей. И вдруг открыть в себе, что ты бесчеловечен. И не сейчас, не только что, а давно. Тут дело не в Вас. Ведь это была Женщина, которая должна была родить Человека.

И это оказались именно Вы.

Вот видите, сколько я доставил Вам неприятностей. Я еще не знал Вас, не предполагал вообще, что Вы существуете, а уже причинил Вам боль.

Потом я увидел Вас и в первую же встречу обидел Вас.

Встретился еще раз, и снова Вам стало плохо.

Я не знаю, простите ли Вы меня когда-нибудь или нет.

Я говорил Вам, что мне хочется видеть Вас, говорить с Вами, слушать Вас, целовать Вас. Все не то.

Я просто люблю Вас.

Я люблю Вас, Мира.

Мира, я счастлив! И мне ничего не надо, кроме одного: будьте счастливее меня!

Я никогда не спрашивал у Вас, любите ли Вы своего мужа, любите ли Вы кого-нибудь, потому что я уверен, что Вы любите своего мужа. И ничто не заставило бы Вас остаться с ним, если бы ушла Ваша любовь.

Я не буду искать с Вами встреч. Считайте, что меня нет, меня не существует.

Мне даже кажется, что не было и этой глупой недели, когда мне посчастливилось видеть Вас близко, говорить с Вами, сгореть со стыда и после этого полюбить Вас.

Мира, я люблю Вас!»

На улице было уже светло, когда Перекурин кончил писать. Он вышел на балкон, закурил. Хоть бы небо раскололось, чтобы она вышла посмотреть на него. И он бы увидел ее.

Но небо не раскололось. Какое ему дело до любви Перекурина? Александр положил листок в карман и вышел на улицу. Первой он сегодня должен увидеть ее.

7

Он ждал ее возле детского сада, у трамвайной остановки, у здания Управления главного архитектора, но не встретил.

Едва он вошел в свой отдел, как увидел Гордецова. Тот даже не сострил при встрече, только сказал:

— Что случилось?

— Весна, — коротко ответил Перекурин.

— Какая, к черту, весна! — заволновался Гордецов. — Август, август на дворе! Представитель тут все ногти себе пообкусал. А директор валидол пьет. Ведь полнейший завал в секторе. Никакие статистические данные здесь не помогут.

— Хорошо. Пойдем беседовать с представителем.

В кабинете директора все пропахло табаком, хотя окна были раскрыты настежь. Пухлые пачки отчетов и протоколов обследования граждан на предмет наличия таланта и одаренности лежали на полу. Представителю, наверное, уже надоело их изучать, он сидел, тупо глядя перед собой.

— Вот, явился, — сказал директор. — Тебе сейчас надо не вылезать из своего сектора, а ты порхаешь Бог знает где. —

Директор хотел сказать «черт знает где», но его остановило присутствие представителя. Все-таки из главка.

— Ну так что, Александр Викторович, — спросил представитель, — собрались с мыслями? Почему сектор лихорадит? В мае недовыполнили план, в июне наверстали. А в июле завалили так, что за два месяца не нагонишь.

— Спокойный месяц, — ответил Перекурин. — Я уже думал над этим.

— Что значит спокойный? — удивился директор.

— Июль, август. Покой в душах людей. Не будет до осени талантов.

— Да июль, август самые жаркие месяцы, — заволновался директор. — Все в отпуск торопятся. Билеты, чемоданы. Детей пристроить надо. Какой же тут покой!

— В том-то и дело, — сказал Перекурин. — Я где-то читал. Прилетели разумные существа на одну планету, может быть, на Землю. Слышали, что на морях и океанах бывают бури. Но что это такое, никто не знал. Летают над водой. Море тихое, ласковое, спокойное. Всю измерительную аппаратуру повключали пришельцы. Нет бури! Летают день, неделю, вторую. Нет бури. Что за напасть! Вдруг налетел ветер, а летательные аппараты хрупкие, вот-вот разобьет их. Скрылись пришельцы на берегу. Переждем, думают. Переждали. Снова тишина да покой. И снова бедные летают над океаном или морем и никак не могут найти бурю. Так и улетели. Решили, что на этой планете бурь не бывает.

— Интересная история, — улыбнулся представитель. — Только в чем тут аналогия?

— Чудишь, Александр, — сказал директор.

— А аналогия вот в чем. Может ли быть талантливой спокойная душа? Покой — это нулевая линия. От нее можно и вверх и вниз. А талант — это отклонение от нулевой линии. Только, я думаю, не обязательно вверх и строго параллельно покою. Талант — это колебательный процесс. От горя к счастью. Это когда душа человека ищет, не хватает ей чего-то. С одной стороны. А с другой стороны — ее переполняют страсти, буря, непокой. Когда человеку просто необходимо выплеснуть частицу своей души, искренне, страстно, без оглядок. Когда человек не боится, что обеднеет, отдав частицу себя... Мне кажется, это должно быть трудным состоянием. Талант для человека не только счастье и радость. Это и боль, и горе, и мучительные раздумья, и разочарования.

— Занятно, — прервал его представитель. — Вот еще увязать бы это с планом.

— Эксперименты проводишь? — нахмурился директор.

— Тихий месяц июль, — сказал Перекурин. — Людям не до стихов и музыки. Билеты в Геленджик доставать надо. Не тем заняты сейчас души людей. Пришел на днях один гражданин. В кресло садится, а сам смотрит на меня умоляюще и говорит: «У вас нет знакомых в агентстве Аэрофлота?» И я уже знаю, что для музыки этот человек сейчас глух. И для стихов тоже, и дли любви. В спортивный сектор его надо. Он сейчас стометровку может пробежать по второму разряду, хотя не бегал уже лет десять.

— Но ведь вы неуважительно относитесь к своим... — начал было представитель.

Перекурин махнул в его сторону рукой, словно говоря: «Да подождите вы».

— Был я однажды в гостях у поэта Серегина. — Перекурин замолчал. Вот смех-то! Ведь он был у нее в квартире еще зимой. Серегин тогда сам попросил кого-нибудь прийти из БОТа. Поговорить, узнать друг друга лучше. Ему хотелось завязать прочные контакты с бюро. А Миры в тот день не было дома. Ну конечно, ведь это было в рабочий день.

— Поэтов у нас маловато, — сказал директор.

— Так вот. Был я однажды у него в гостях... Сколько он ни выпустил книжек, а ведь мы ему до сих пор свидетельство даже о простой одаренности выдать не можем. Не находит наша машина ничего. А он на нас обижается. Халтурщики, говорит, вы. Вот и я подумал, может, у него в душе покой, когда он к нам приходит, потому и получается круглый нуль. А он говорит: «Вот хотите, я на ваших глазах напишу гневное стихотворение. О Вьетнаме, например», — «Хочу», — отвечаю я. Берет Серегин лист бумаги и шариковую ручку. Начинает писать. Написал две строчки — заело. Походил немного по комнате. Мать его предложила нам кофе с коньяком и конфеты. Выпили мы. «Прекрасно, — говорит он. — Люблю этот напиток. А вы?» Поговорили о кофе и коньяке. Тут Серегин еще пару строчек написал. Снова заело. Это меня не удивило. Не может же человек как из рога изобилия сыпать строфами. Наоборот, что-то уж очень быстро у него получалось, по моему мнению. За полчаса написал стихотворение. И поговорить за это время успели о многом. И о собаках, и о любовницах, и о бельгийских костюмах из черного шевиота. Показывает он

мне стихотворение. Очень аккуратное стихотворение. Даже с восклицательным знаком. «Через недельку, говорит, — увидите в областной газете». И действительно ведь появилось. Только зря бумага пропала. Никого оно не тронуло, я уверен. Разве что главного бухгалтера, когда он ведомость подписывал. Не было в этих стихах гнева. Не было! Разве можно писать о горе, а самому рассказывать сальные анекдоты в это время? Тишина у него в душе. Покой. Доволен он всем. И войной этой он доволен, потому что она его не касается, а писать о ней можно. Напечатают.

— Так, значит, машина правильно выдает свидетельства? — спросил представитель. — В чем же тогда дело?

— Если в душе покой — машина не ошибается. У этого Серегина вечный покой. Но ведь бывает и по-другому. Что-то взрывает покой, и человек начинает сочинять музыку. Человек талантлив не всю свою жизнь. Это моменты, периоды. У одних короткие, и человек проскакивает мимо них, боится их. Ведь это что-то необычное. У других продолжительные. Мы же ведь анализируем спокойные души людей и выдаем им справки, что они обычные, серые, неодаренные, как и большинство. Не то мы делаем. Над спокойным морем мы ищем бурю. Катись к черту весь план! Не в нем дело. В людях дело. Надо разрушить покой в человеческих душах. Ведь не для того же мы живем, чтобы тратить зарплату на мясо и брюки, чтобы износить семьдесят пар ботинок и умереть, испытывая гордость, что ты помогал развивать обувную промышленность.

— Но ведь никто и не признается, что живет ради этого, — успел вставить директор.

— Никто, — подтвердил Перекурин. — Никто, но многие так и живут.

— С таким настроением нельзя работать, — сказал представитель.

— Нельзя. Я знаю. Я уйду с этой работы.

— Нет уж, милый! — вспылил директор. — Развалил и сразу: уйду. Ты сначала наладь как следует в своем секторе, а потом будем говорить.

— Закрыть надо мой сектор. Бесполезен он. Вреден даже. Только в хор электролампового завода и можем набирать людей. Да и там поют только: «Ох, миленок...»

— Этот хор известен по всей Сибири, — возвысил голос директор. — А ты его хаешь.

— Я его не хаю. Не тем мы занимаемся. Не открывать таланты надо. Что их открывать. Талант сам откроется. Делать нужно так, чтобы в людях исчезал покой. Тогда и таланты будут. Хотя, наверное, не у всех... Все равно не у всех.

— Времени у вас много свободного, вот вы и мечетесь, — сказал представитель. — Я буду в главке ставить вопрос. У станка бы постояли, меньше глупых мыслей лезло бы в голову.

— Неправда, — тихо сказал Перекурин.

— У тебя у самого в душе покой или как? — спросил директор.

— Нет в моей душе покоя.

— Что же ты стихи не пишешь?

— Вполне могу обходиться и без этого, потому и не пишу.

— А что же тогда нам, серым, делать? — съехидничал директор. — У меня вот тоже одни волнения, а что-то петь не хочется.

— Вы прекрасный организатор. В этом ваш талант.

— Ну будет, будет, — заскромничал директор. — Говорить хорошо. Что с планом делать?

— Ничего. Раз сама система неправильная, техника нам не поможет. На юг люди едут. Не до нас им.

Перекурин вышел. А когда дверь за ним захлопнулась, директор сказал:

— Ишь ты. Волновать сердца людей ему надо! Влюбился, что ли, мужик?

— Надо серьезно подумать... — начал представитель.

— Нет, я его в обиду не дам, — не дослушав, предупредил директор.

8

А Перекурин снова пошел к Управлению главного архитектора. Надо было ему увидеть Миру. Чтобы не думала она, что он просто поволочиться хотел. Чтобы знала она, что любит он ее. Любит! Чтобы успокоилась она, не боялась встретить его на улице, не боялась выходить на балкон.

В управлении уже начался обед, когда он зашел в комнату, где работала Мира. Там никого не было, кроме одной незнакомой женщины. Перекурин ничего не спросил и вышел. Он пересек улицу и стал ходить напротив окон здания. Еще раз зайти он не решался. Ведь какой стыд он испытывал при этом! И уйти отсюда он не мог. Не мог уйти, не увидев ее.

И вдруг за его спиной раздались шаги. Это была она. Он не видел ее, но уже почувствовал это. Обернулся. Ну, конечно же, это была она.

— Мира, — сказал он.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Мира, здравствуйте.

— А я случайно посмотрела в окно, вижу, знакомый человек ходит. Я подумала, что вы пришли ко мне.

— Да, да. Я даже заходил в комнату, где вы работаете. Но вас там не оказалось.

Она стояла перед ним в легоньком в синих цветочках платье. Стояла и улыбалась. И снова добродушно, словно говоря: «Нет, Саша, я не обиделась на тебя».

Знала бы она, что делает своей улыбкой! А он стоял и смотрел на нее, и казалась она ему чудесным незнакомым ритмом, странной и прекрасной мелодией и словами, нежными и красивыми. Вся она была как песня. Далекая песня. Песня, без которой и жить-то, наверное, не стоит.

Она чуть-чуть кивнула ему, как бы говоря: «Ну что же вы?» Перекурин представил себе, что с ним будет, если он больше не увидит ее, как и писал он в своем письме. Сейчас можно было просто постоять рядом с ней и помолчать. И не говорить глупых слов, потому что неглупые куда-то пропали. Но Перекурин решил быть честным. Ведь он хотел передать письмо. И только.

— Хотите еще одно стихотворение? — спросил он.

— Хочу! — ответила она. Это было сказано таким тоном, что Перекурин писал бы ей каждый день, лишь бы слышать это «Хочу!» Он протянул ей сложенный вчетверо лист бумаги и сказал:

— Вот и все. Я не буду задерживать вас. До свиданья, Мира.

— До свиданья, — сказала она, и теперь в ее голосе ему почудилась растерянность. Может быть, она хотела услышать еще что-нибудь от него. Или у нее просто есть несколько свободных минут времени, которые все равно пропадут зря.

— Ну я пошел, — сказал Перекурин.

Она кивнула ему и улыбнулась. Он повернулся и ушел не оборачиваясь.

В его секторе все шло размеренно. Приходили люди, заполняли анкеты, садились в кресла, вставали, получали свиде-

тельства. Одни уходили молча, ничуть не расстроенные, другие все-таки протестовали.

— Вот у меня рассказ, — напирал на Гордецова один упитанный молодой человек. — Я на конкурсе первое место занял. Проверьте свою машину!

— Что за конкурс? — поинтересовался Гордецов.

— Во второй пекарне. Хлеб-то наш едите. Что я, зря писал, что ли?

— Бросьте писать, — сказал Перекурин. — Если для конкурса да для нашей машины, то не стоит. Кроме этого рассказа что-нибудь еще писали?

— Нет.

— А хочется?

— Хлопот много, а толку мало. Может, действительно бросить?

— Бросьте. Не пожалеете потом. Зачем писать, если можно без этого?

Недовольный толстячок успокоился.

— Здорово это у тебя получается! — сказал Гордецов. — От некоторых ведь никак не отвяжешься. Прут как на буфет.

— Тут дело не в том, чтобы отвязаться. Не надо прельщать людей надеждой на то, что они могут стать талантливыми. Надо сделать так, чтобы они становились ими. Халтурой занимаемся.

До вечера Перекурин успокоил еще многих, а некоторых отговаривал прямо в небольшом зале ожидания.

План за день едва выполнили на двадцать процентов.

После работы Перекурин пошел на сквер возле здания, где работала Мира. Сел на скамейку. Он не знал, когда она кончает работу, да и не хотел попадаться ей на глаза. Он видел, как она вышла из подъезда, как шла по улице в пятидесяти метрах от него. С этого дня он каждый вечер садился на привычную скамейку. И ждал ее. Ждал, хотя дал ведь себе слово не искать встреч. Он их и не искал. Да и к чему они были? Ведь, кажется, выяснено все. Каждый день он говорил себе, что больше не пойдет, что это смешно, нелепо, глупо, что нужно же иметь гордость, наконец. Но только все было напрасно.

Так прошло три недели. Три мучительные недели. Но как радовалось его сердце, как он бывал счастлив, когда видел ее хотя бы издали. А ведь он видел ее еще и со своего балкона. Она тоже выходила на балкон, обычно сразу же после захода солнца. Ее профиль четко выделялся на фоне медленно тем-

неющего неба. Она почти всегда была одна. Раза два, правда, выходил ее муж Сергей. И тогда Перекурин с удивлением обнаруживал, что он радуется. Пусть хоть у них в семье все будет хорошо.

В конце августа он случайно встретил ее в Университетской роще. Оба вначале растерялись. Перекурин смутился, покраснел, сказал:

— Это случайно. Я не искал вас.

— Я знаю. А вот мне хотелось вас увидеть. Ваше последнее «стихотворение» было так непохоже на первое. Неужели что-то изменилось в вас за такой короткий срок?

— Ничего не изменилось, Мира. Разрешите, я буду называть вас на «ты». Смешно ведь. Я люблю вас. Я хочу сказать хоть раз: я люблю тебя.

— Хорошо. Если хочешь, скажи.

— Я люблю тебя.

— Я знаю. Дальше не надо.

— Это, наверное, наказание мне за тот день, когда я не уступил такси вашему мужу.

— Наказание?

— Наказание и прощение. Все сразу. И даже награда. Почему ты не гонишь меня? Ведь каждый раз я причиняю тебе только горе.

— Нет. Хочешь, я тебе расскажу, как я училась в школе.

— Хочу.

Они встречались еще раза три. В роще и в Лагерном саду.

— Хочешь, — говорила она, — я расскажу тебе...

— Хочу! Конечно, хочу!

Они и домой возвращались вдвоем, только он не провожал ее до подъезда. Она так хотела.

9

Как-то Перекурин возвращался с работы поздно вечером, почти ночью. Нагнал компанию подвыпивших ребят с девушками. У одного из них была гитара. Перекурин умел играть на гитаре, хотя брался за нее в последние годы редко.

И такое вдруг на него накатило! Хоть плач, хоть кричи, хоть пой! Он просто представил себе, что с ним будет, когда она уедет. Это она вчера сказала ему, что Сергей собирается переезжать в Марград. В Усть-Манске у него были натянутые отношения с писательской организацией. И он решил переехать в Марград.

Перекурин представил себе это. А если навсегда? Ведь не жизнь будет это! А раньше смеялся, что из-за любви стреляются.

Перекурин молча втесался в толпу ребят и снял с плеча у одного из них гитару.

— Таскать надоело, — только и сказал тот. — Каждый день, как лошадь.

— Спой нам цыганский романс! — крикнули девушки и рассмеялись.

Нет, цыганских романсов он не пел. Он и вообще не знал, зачем ему понадобилась гитара. Вот только не может он без нее, и все.

И Перекурин запел. Слова и мелодия возникали сразу, словно кто-то нашептывал их ему на ухо. А пел он о ее улыбке. И снова видел перед собой ее улыбающееся лицо. И дальше уже не помнил ничего, пока его не начали трясти за плечи.

— Что с тобой, старик? — спросил один парень.

— Завидую его жене, — сказала одна из девушек.

— Ненормальный какой-то, — сказал кто-то. — Разве можно так петь.

С этого вечера все и началось.

С ним что-то происходило. Это начиналось внезапно, без всякой видимой причины и было как клапан, через который вырывалось наружу нервное напряжение его мыслей и чувств.

Он называл эти взрывы приступами счастья. И бросал все. Работу, если это происходило в бюро; семью, если был дома; друзей, если был в их компании. Он брал гитару и шел на улицу. И не имело никакого значения, был ли это день или ночь, шел ли дождь, жгло ли солнце. Он ничего и никого не замечал, и в голову приходили слова, а руки сами начинали перебирать струны, и Александр пел.

Пел странные и незнакомые песни.

Пел, будоража и взвинчивая сердца и души незнакомых людей чем-то необычным, прекрасным и далеким-далеким, как несбыточное.

Сказка! Сказка была в его песнях!

Друзья заметили, что с Перекуриным что-то случилось. И Машенька заметила, и даже директор бюро. Но говорить с ним на эту тему было просто бесполезно. Это понимали, чувствовали все, хотя и пытались все-таки что-то сделать. Хуже всего было Машеньке. Он не стал более молчаливым, замкнутым. Не стал менее внимательным к ней и детям. Внимания он им уделил теперь даже больше, чем прежде. Он дарил своей жене цветы, целовал ее, словно торопился, что не успеет сделать ей приятное. Но она-то чувствовала, что, целуя ее, он видит кого-то другого. Другую женщину. И здесь не мелкое увлечение, за которое можно дать пощечину. Машенька плакала тайком и терялась в догадках. И спросить было не у кого. Да и стыдно, тем более что, она была уверена в этом, никто из его друзей все равно ничего не знал.

Директор бюро шел как-то вечером по бульвару и встретил Перекурина. Тот стоял, прислонившись спиной к тополю, с полузакрытыми глазами и пел. «Пьяный, что ли?» — подумал директор и подошел поближе. Перекурин его не заметил. Вокруг него стояло человек пятьдесят, а подходили все новые и новые. Директор не сразу понял, о чем поет Александр, но что-то резануло его по сердцу; закружилась голова, перед глазами всплыло лицо школьницы, которую он любил тридцать пять лет назад. Директор был волевым человеком и отогнал видение. Но ему вдруг стало грустно-грустно. Ведь надо же! Лет пятнадцать уже не вспоминал ее. А тут вдруг на тебе! Директор покачал головой и поспешил уйти. А в спину неслось: «Не убивайте любовь!» И ритм какой-то нервный, непохожий ни на что слышанное ранее.

Директор жил с младшим сыном. Старший уже обзавелся собственной семьей. А жена у директора умерла пять лет назад. Допоздна просидел директор над альбомами с фотографиями, тихо улыбаясь и покачивая головой. Ну и Перекурин... Волновать души людей ему надо. А для чего?

А может, действительно надо?

Директор всю ночь промучился. Не заснуть.

А на другой день вызвал к себе Перекурина и сказал:

— Вот что, дружок! Ты ведь в Анапу не едешь или там в Гагры? И душа у тебя неспокойная. Слышал я тебя вчера. Ну что ж, умеешь ты волновать людей. Что с тобой случилось, спрашивать не буду, все равно не скажешь. Но только если ты так же споешь на сцене, «Золотую осень» мы выиграем. Согласен?

— Я на все согласен. Только толку от моего согласия будет мало. Нет у меня ни к пению, ни к танцам, ни вообще к искусству никаких способностей. Сами ведь знаете.

— Не было, да вдруг стало. И так бывает. Мне справки не нужны. Мне человек нужен. Давно уж про тебя говорят. Ждут на улицах. Только вроде ты не по расписанию выходишь. И

гитару иногда забываешь. Давай-ка выручай. Подтверди наглядно свою теорию. А насчет машины... Как-нибудь на досуге подключись еще раз.

В начале сентября в машине сгорело полторы сотни интегральных схем. И все из-за предохранителей. Директор рвал и метал. Инженеры и техники сконфуженно переминались с ноги на ногу. А Перекурин объявил аврал. В субботу и в воскресенье все чинили машину, проверяли ее режимы, настраивали. Работали и в ночь на воскресенье. А в обед Перекурин решил сбегать домой, пообедать, да и вообще посмотреть, как там.

Он открыл дверь квартиры и обомлел. В кресле сидела его жена Машенька, а около нее хлопотала Мира. На столе стояла маленькая бутылочка с нашатырным спиртом, лежало мокрое полотенце, рецепты.

Перекурин сказал: «Здравствуйте» — и прошел в комнату. Вот чего он никогда не предполагал, так это увидеть их вместе.

— Помидоры уж очень хорошие были, — сказала Машенька. — Вот я и набрала целую сумку. Подняла и...

— Вашей жене нельзя поднимать тяжести. Она же ребенка ждет. А вы... — Мира впервые посмотрела на него с нескрываемым осуждением.

— Ребенка? — повторил Перекурин еле слышно.

— А, — махнула рукой Машенька. — Он и не знает ведь еще даже. Пятый месяц уже...

— Ребенка, — повторил Перекурин. — Почему же ты раньше ничего не сказала?

— А ты, конечно, не заметил?

— Нет... нет...

— Вот всегда так. Как будто он в другом мире живет. Принцесс все еще видит во сне и даже летает.

— Принцесс? — Перекурин наконец понял, что это за положение, в которое он попал. Жена ждет третьего ребенка, а рядом стоит женщина, которую он любит, которую видит во сне и наяву, без которой и жить-то не хочется.

— Мира мне помогла. Вы хоть познакомьтесь... Без нее не знаю, что и делала бы. Сумка тяжелая.

— Зачем же? Может, «Скорую» вызвать?

— Была уже, — коротко ответила Мира. — Ну, я пойду. Счастливо вам. Берегите жену.

— Живем в одном доме и даже незнакомы. Мира, вы заходите к нам. Не всегда ведь я так раскисаю.

— Зайду, если будет время. Мы ведь уезжаем... — Она уже вышла в коридор.

— Саша, проводи! Чего стоишь?

Перекурин вышел на лестничную площадку. Молча. Она стояла перед ним, стараясь понять, что происходит сейчас в его душе. Он посмотрел ей в глаза. Она не отвела свои и только сказала:

— Вот как бывает...

И пошла вниз, держась за перила и не оглядываясь.

Он вошел в квартиру, наклонился к Машеньке, взял ее руки, спрятал в них свое лицо и прошептал:

— Что же ты наделала, Машенька...

С Машей не случилось ничего страшного. Она лишь один день пролежала в постели.

Перекурин несколько дней был удивительно спокоен. Казалось, что он снова становится прежним добропорядочным отцом семейства. Да и дела на работе пошли лучше.

Вот только он не мог спать.

10

В середине сентября он позвонил Мире.

— Я хочу еще раз видеть вас. — Он снова говорил ей «вы». — Ведь даже осужденный имеет право на последнее слово. Можно мне увидеть вас?

— Приходи, Саша, — ответила она.

Он встретил ее в Университетской роще. Было тепло. Последние теплые дни осени.

— Я хочу рассказать вам одну смешную историю, — сказал он и рассказал ей о своей любви. Подробно, день за днем. Все, что он чувствовал, что с ним происходило, все.

Они стояли под сосной. Он не удержался и положил свои руки ей на плечи. Она не протестовала.

— Слушай еще. Я люблю тебя, Мира. С самого начала я знал, что ничем не сумею увлечь тебя, что моя любовь так и останется во мне, что никогда ты не скажешь мне: «Люблю». Я знал. Только не мог удержаться, не мог не рассказать тебе все. Может, я и напрасно это сделал. Я хочу только одного. Чтобы моя любовь когда-нибудь пригодилась тебе. Если кто-нибудь захочет втоптать в грязь твою гордость, твою любовь, если тебе будет невыносимо больно от обиды, знай, что я люблю тебя. Знай, что тебя надо любить. Знай, что ты более других достойна любви. Тебя нельзя не любить.

— Милый, смешной Сашка. Тебе плохо сейчас. Я знаю.

— Да, мне плохо. Но я ничего не хочу возвращать назад, ни в чем не раскаиваюсь. Мне сейчас плохо. А через пять минут, когда ты уйдешь, мне будет еще хуже. Пускай. Зато ты разбудила меня. Я так и проспал бы всю жизнь. Хорошо, что я встретил тебя.

— И мне хорошо.

— Хорошо, что ты не любишь меня. Для тебя. Со мной бы тебе было трудно. И у тебя бы не было покоя в душе, и ты бы металась, как я, не находя успокоения. И все время тебе что-то было бы нужно. И ты бы пела и плакала. Хочешь, чтобы был взорван мир в твоей душе?

— Нет, — она освободилась от его рук и сделала маленький шаг назад.

— Хочешь не знать покоя?

— Нет, нет, — она оттолкнула его.

— Хочешь любить?

— Нет! Не надо! Перестань! Остановись! Я уеду через неделю. У тебя пройдет.

— Нет.

— Ничего не говори! Я тоже хочу любить! Не говори больше. Ведь я же останусь с тобой! Что мы тогда будем делать? Что будут делать твои дети? Машенька? У меня есть еще капелька покоя. Не отнимай ее. Может, я переживу. Прогони меня, скажи что-нибудь, чтобы я ушла. Нам нельзя вдвоем... нельзя. — Она провела по его лицу рукой. — Я поцелую тебя, только забудь все. Я все еще жду, что будет покой.

Он прижал ее к себе. Не отпускать бы никогда! Чувствовать, как бьется ее сердце! Видеть ее глаза, ее улыбку, гладить ее волосы. Мир мой! Губы ее, горячие и упругие! Глаза, большие и совсем рядом. Совсем рядом. Ближе уже нельзя. Худенькие плечи... И больше никогда этого не будет.

— Я ухожу, Саша. Мне не хочется уходить. А иначе нельзя. Прощай, Саша.

— Прощай, Мира.

Она побежала быстро, не оглядываясь. Только бы не остановиться, не вернуться. Вернуться нельзя. Ведь разорвется он между нею и детьми.

А она? Что будет с нею? Ведь увидела первый раз — смешной парень и все. Какой-то не такой. Застенчивый, неуклюжий. И ведь была зла на него, что написал он свое нелепое стихотворение. Думала, смеется. А он не шутил. И еще сегодня шла, думала, что все кончится тихо. Хотя в душе уже не было тишины. Уже хотелось видеть его, остаться с ним. Любила этого смешного мужика, у которого трое детей. Скоро будет трое.

Она шла по песку и беззвучно всхлипывала. И жалко ей было себя, и думала в то же время, что все пройдет, что все образуется. А что образуется? Вспомнила, как первый раз уехала в командировку. Ирочку у мамы оставила. Приехала, соседи говорят, что у мужа тут женщина жила. Не поверила, поссорилась с соседями. А Сергей встретил ласково. Отутюженный весь, выбритый, веселый. А потом стал спрашивать, не было ли у нее в командировке мужчин. Не шутил, допрашивал. Потом оказалось, что соседи говорили правду. Соседи все знают. От стыда чуть не сгорела, но ему ничего не сказала. Только больно было и обидно. Ведь такие стихи писал ей! И сам-то он, ведь вот только когда разглядела, был каким-то гладким, обтекаемым. Когда надо — веселый, когда надо — ласковый. Не такой, какой есть, а какой требуется.

И у знакомых, и на работе расспрашивал, как ведет себя его жена. Нет ли у нее любовника, не ходит ли она с кем. Не стеснялся заводить разговоры с совершенно незнакомыми людьми, лишь бы узнать что-то о ней. А ведь ей говорили, передавали. И по-прежнему время от времени появлялись у него женщины. Только она не хотела разбираться, не просила его ни о чем и не угрожала. Передурит он, и все образуется. Снова все тихо, мир кругом, до следующего раза.

И тут появился этот Перекурин. Знала она его давно. Видела часто. Человек как человек. Немного смешной. А в общем-то очень добропорядочный. Когда подошел первый раз — не прогнала, интересно было. Что случилось с человеком? Потом встретила еще раз. Говорит сбивчиво, но искренне же! Поверила, что любит ее. Ох, как нужна была ей чья-нибудь искренняя, хорошая любовь! Гордость ее, любовь ее давно уже втоптали в грязь. А нужно было делать вид, что все хорошо, чтобы соседи не совали свой нос, не сочувствовали, не расспрашивали.

И увереннее она стала. И в своих мыслях, и в словах. Все-таки нужна была ей эта любовь. Но думала, пройдет все. И вот сегодня сама бросилась к нему. И поняла, что не жить без него. Но только никогда он не будет ее Александром. Машенька, милая, простодушная женщина, и трое детей стояли между ними.

Впервые поняла, как больно любить. Не сдержалась. И хорошо, что не сдержалась. Может, так и надо. Выдержать бы еще неделю. А потом все угаснет, успокоится.

Прошла неделя. Перекурин видел, как они уезжали. Был конец сентября, но погода все еще стояла солнечная, хотя и прохладная. Их провожали родные и знакомые. Мужчины по этому поводу были, конечно, навеселе. Они не поздоровались. Ведь «прощай» было уже сказано. Все те сели в автобус и уехали.

А он стоял и видел ее так же явственно, как и раньше, все так же обнимал ее за худенькие плечи, понимая, что никогда больше не увидит ее.

И снова на него накатило это странное состояние, когда надо кричать от горя, но кричать стыдно. Ему хотелось петь. Вложить в слова, в ритм, в мелодию всю свою боль, всю нелепость обстоятельств, всю любовь к ней.

Зашел к нему директор, чуть не на коленях просил спеть на фестивале «Золотая осень». Провалится же ведь все! Перекурин согласился, взял гитару.

Фестиваль проходил во Дворце спорта. Перекурин пел. Его не вызывали на «бис», потому что он не уходил, пока не почувствовал, что музыка оборвалась в его душе. Ему долго аплодировали. Взволновал он песнями весь зал. Директор сиял. Директор тоже был взволнован. Молодец Перекурин! Случится же с человеке такое... Тридцать с лишним лет был обыкновенным человеком и вдруг запел. Да как запел!

А Перекурин сразу же ушел и не слышал, что там о нем говорили. Зачем ему это? Ведь он пел только для нее. Он вспоминал ее, каждую черточку ее лица, каждое движение, каждое слово, каждый звук. Вспоминал и пел. Он не знал, что в то самое время, когда он пел, в поезде Усть-Манск — Марград, в коридоре у окна стояла маленькая женщина и пыталась убедить себя, удержать, чтобы не выйти на очередной остановке и не сесть в обратный поезд. В купе муж заводил новые знакомства, а маленькая девочка укладывала спать куклу.

Она простояла у окна больше часа и осталась, вошла в купе.

А на Перекурина насели. Честь Усть-Манска превыше всего! Петь надо, петь! Он доказывал, что не может петь просто так, ни с того ни с сего. Не может петь по расписанию. Ну бывает иногда с ним такое. Так ведь может произойти совсем не в то время, когда нужно областной самодеятельности.

К машине его подключали раз двадцать. И все время машина выдавала результат: таланта к пению и вообще к музыке нет. Нет — и все! Директор махнул рукой на машину. Черт с ней! Ученые поломают головы и усовершенствуют. Но ведь не ждать же!

Перекурин подчинился. Тем более что теперь он не мог жить без песен. Потребность у него была такая. Хоть кричи, хоть пой. Лучше петь.

И Перекурин поехал в турне вместе с усть-манской самодеятельностью. Он пел, но ему не становилось легче. Нет, время тут было ни при чем. Не мог он забыть ее. Мир мой — называл он ее.

11

Года через два он получил от нее письмо. Она писала: «Здравствуй, Александр! Я разошлась с Сергеем. Это ты помог мне. Меня любит один человек и хочет, чтобы я вышла за него замуж. Мне с ним хорошо и спокойно. Он не поет песен и не пишет стихов. Он говорит, что никогда в жизни не летал во сне. У него на все есть правильные ответы, и он все знает. Он никогда не совершает не подобающих его положению поступков. Но иногда на меня накатывается волна беспокойства, все мечется в душе, все задает вопросы, на которые нет ответов. Это бывает, когда ты поешь. Однажды я была на твоем концерте и поняла, что это твои песни. Что они делают с людьми? С людьми, которые тебя даже не знают. А я знаю. Вот и представь, что они делают со мной. Это происходит всегда, где бы ты ни пел, в любое время. И расстояние здесь не имеет никакого значения. Я чувствую, я знаю, когда ты поешь. И тогда мне не нужно никого, кроме тебя. Это невыносимое смешение боли и счастья. Ты такой и есть. И я бы с тобой все время была такая. Только этого не вынести. Это как бег через силу, вечная буря, вечная неуспокоенность.

Когда я спокойна, я с радостью думаю, что нашла тогда в себе силы и не осталась с тобой. Но когда на меня находит это, несчастье мое оттого, что я не осталась с тобой, становится невыносимым. Я боюсь твоей любви. Она взрывает покой в душе.

P.S. Я слышала, у тебя родилась дочь. Как ты ее назвал?»

Перекурин только раз прочитал письмо и сжег его. Потом пошел на телеграф и дал телеграмму: «Мою дочь зовут Мира. Я больше никогда не буду петь. Александр».

Он вышел из душного помещения телеграфа, сорвал галстук, расстегнул воротничок рубашки. Все пройдет, все пройдет, успокаивал он себя. А в голове стучало: «Мира! Ми-ра! Мир мой! Мир мой!»

И новый, радостный и до слез горький ритм возник в его голове. И слова. Их не надо было выдумывать, над ними не надо было мучиться. Они возникли сами. И не было сил, чтобы сдержаться и не запеть. И все кружилось, и пело, и свистело, и скручивало душу в стремительный вихрь. Он прислонился спиной к стене дома. Он не запел. Он дал слово. Он снова видел перед собой ее лицо.

Пусть в ее сердце будет покой.

А за тысячу километров, в саду возле небольшого домика, уткнувшись головой в ствол клена, плакала маленькая женщина с рыжими волосами, уложенными на голове в какую-то странную, фантастическую прическу.

Покоя больше не будет.

Сашка!

Мир мой!

ЖИЛПЛОЩАДЬ ДЛЯ ФАНТАСТА

1

Шел мокрый лохматый снег, падал на асфальт и не успевал таять, превращаясь в жидкую чавкающую массу, которая с бульканьем и кряхтеньем выжималась из-под подошв. Иногда неожиданно налетал порыв ветра и залеплял лицо влажной холодной маской, тут же стекавшей по щекам и подбородку. Приходилось вытирать лицо мокрой уже перчаткой.

И все серо. И снег, и деревья, и пешеходы, и дома...

Что за скверная погода? Хуже не придумаешь.

Я разгонял промокшими ботинками жижу по сторонам и шел в каком-то тягостном и опустошенном состоянии. Шел, потому что нужно было сделать все, что возможно. Хотя уже стало совершенно ясно, что все мои усилия и потуги тщетны. Да и, собственно, какие усилия, какие потуги? Никакого усилия я и не мог сделать, разве что упасть на колени, взмолиться, просить со слезами на глазах и бить себя в тощую грудь. Нет. Такого я еще не мог допустить. Просить я ничего не стану. Спросить... Это другое дело. Спросить и все. А вдруг — вот проклятые надежды! — а вдруг там просто забыли про меня или произошел какой другой сбой?

Потому и шел. Даже просто спросить и то было трудно. Убеждай себя, сколько хочешь, что спросить нужно, а все равно это уже прошение, все равно на тебя будут смотреть как на просителя. Много их тут ходит!

Стыдно... Боже, стыдно-то как!

Ну да ладно.

Я свернул на Тополиный бульвар и пошел по аллее меж мокрых, исхлестанных снегом и ветром голых деревьев.

Хорошо, что не встречалось знакомых. А то ведь: куда? зачем? в рабочее время! А ты ему: да вот, понимаешь, квартирешку себе четырехкомнатную выбиваю. А тот тебе: о! тут зубами драться надо! вот когда ордер получишь, да и то... А ты ему: да, да... А самому и стыдно, и неудобно, и тогда уж, хочешь, не хочешь, решительно: ну, пока! я спешу. А он тебе: давай, успевай, рви! А потом он же знакомым: Федю видел, квартиру рвет! четырех... о! четырехкомнатную!

А ведь не будет ее. Да и черт с ней! Тут ведь дело в чем? В ней, квартире этой, вот где можно будет поработать! Утром,

ночью, днем. Когда вдохновение набежит. А ведь хочется, хочется писать. Больше уж и ничего... Жил себе и жил, писал, был помоложе, нервы покрепче, да и брал в основном чистым вдохновением. Четыре часа выпадения из мира — и рассказ готов. Потом, правда, попытки, мучения, чистые листы, недели, месяцы. И никому ведь не объяснишь, что происходит в эти недели и месяцы. Да и себе-то не объяснишь. Это потом прорвется и сразу выльется в рассказ. Чудо? Мучение... Ведь когда пишешь, не мучаешься. Мучаешься, когда не можешь писать, когда чистый лист перед тобой становится пыточной, испанским сапогом, дыбой.

Чердак бы, сарай, баню по-черному.

Слева, легко пролетая, трезвонили трамваи, справа тяжело тормозили троллейбусы. Еще не подмерзало, но идти уже становилось скользко. Завтра, через три дня, через неделю. Там уже настоящая зима будет.

Пришла в голову мысль о недавно купленных новых ботинках местной фабрики. Сейчас-то кажется, что лучше бы я их натянул. Но нет. В неразношенных не дойти. Чертовы ноги! Всякий раз мучения! А все-таки интересно, как это было?..

...Втаскивают, бросают на грязный пол.

Он поджал ноги, тихо завыл. Палач легко приподнял его одной рукой, встряхнул, швырнул на изгаженную солому, засмеялся, засопел носом, показал что-то чудовищное, страшнее чего уже не было на свете. Сапог. Сапог! Клещи, раскаленное железо. Все, все можно вынести, ускользнуть в потерю сознания. Но это...

Фу! Что это я все о мучениях? Ведь научился же утишать боль особой постановкой шага, дыханием и даже просто выключением ее из сознания. Тут только сосредоточиться на чем-нибудь другом. А жизнь... Что жизнь? Жизнь прекрасна и удивительна.

На Главном проспекте пошло немного под гору, но всего с квартал, а там снова все ровно.

Зачем иду? Ах, да... для самооправдания. Чтобы сказать себе: я сделал все. А и сделал-то только: сначала обрадовался, разинул рот, а потом... Да еще бутылок пять водки выпил. Развил, развил отечественную ликероводочную промышленность. Не зря жизнь прожил. Ну и живи. Кто тебе мешает? Угол, разве что, не на месте. Так туда стенку из тумбочек во весь проем. Распилить их повдоль. Книги в один ряд. Удобно. Все рационально, все занимает мало места. Просто и тишина...

Тишина... А теща пусть хоть до одури смотрит свой телевизор. И храпит, пускай захрапится. А еще...

Вот черт!.. Снова понесло. Это как болезнь. Навязчивая идея. Как только увидел предполагаемую квартиру, так и началось. Лечись, Федя, лечись... Сейчас все кончится. Скоро уже.

В такую погоду пешеходы не интересуются друг другом.

Массивные, но без скрипа, упруго открывающиеся двери Учреждения. Уважительная тишина и деловитость в движениях людей. Я снял шапку, топнул ногами, смахнул с себя капли воды. Пальто уже проволгло, а брюки торчали колом, никакой стрелки на них и в помине не было. Ботинки слегка всхлипывали, но не очень громко, прислушиваться даже надо, чтобы обратить на эти звуки внимание.

Почему-то я сразу почувствовал себя здесь лишним. Люди работают, делают что-то полезное. А я? В неприемный день, никем не званный... Отрывать людей... Надо, конечно. Неизвестность гнетет. Хотя, какая уж тут неизвестность! Просто официальный отказ и все. Вежливый, короткий.

Это ничего, это я выдержу. Валентину только будет жалко. Она ведь так радовалась... Очень, очень неудобно мне перед ней. Как будто пообещал ей что-то нужное, необходимое и не дал, обманул.

А лестница широкая и ступеньки уже поистерлись подошвами посетителей и работников самого Учреждения.

Приемная на втором этаже. Народу здесь действительно никого, не то что в тот раз. Две секретарши. Одна что-то перебирала на столе, вторая разговаривала по телефону. Я знал, что нужно обращаться ко второй, и ждал. Зазвенел еще один телефон, тут их была целая батарея.

Язык окаменел, не ворочался во рту.

Молоденькая, лет двадцати секретарша закончила говорить и бросила трубку, но тут затарахтел третий телефон. Я стоял, переминаясь с ноги на ногу. Все-таки обратил на себя внимание... Девушка вопросительно кивнула в мою сторону и тут же подняла трубку, сказала тихо, потом прикрыла ее ладонью.

— Вам что?

Я уже приготовил свое коротенькое и точное обращение к секретарю.

— Спросите, пожалуйста, у Главного распорядителя абсолютными фондами: не сможет ли он на одну минуту принять писателя Приклонова?

— У нас сегодня неприемный день.

— Я это знаю. И все же прошу вас передать мою просьбу.

Девушка вопросительно посмотрела на вторую секретаршу.

— Если нельзя, я тотчас же уйду.

— Ну, хорошо. Только я сейчас не могу зайти к Геннадию Михайловичу. Подождите.

— Хорошо. Спасибо.

Я огляделся. Чистый ряд пустых жестких кресел. Полированный паркетный пол, на котором я уже наследил. Это все из-за ботинок. Там на подошве такие прорези, в которые набивается снег и грязь. Неудобно, но, вроде бы, стаявший снег не очень и заметен. Да и до меня уже кто-то следил тут. Я отошел к стене и сел в кресло. Пальто снимать не стал. Никто еще не приглашал меня на прием. А если снять пальто, то это могут расценить как твердое и наглое намерение во что бы то ни стало добиться приема у самого Главного распорядителя абсолютными фондами.

От пальто пахло мокрой тряпкой. Брюки окончательно потеряли свою форму. Ботинки, там, где под коже-заменителем торчали болезненные наросты на суставах пальцев, оттопырились и на вид были просто дешево неприличны, грубы и некрасивы. Никогда я не обращал внимания на красоту обуви и одежды, а тут насколько было возможно подобрал ноги под сиденье деревянного кресла. Сидел, глаза в пол, иногда на противоположную стену.

В кабинете Главного распорядителя было тихо, но я уже знал, что туда вела двойная, с тамбуром, обитая кожей дверь. Звуки через такую не проникают.

Кто-то вошел из коридора, но я отметил только красивые ботинки на толстой подошве. Ботинки были импортные, добротные, плотные, кожаные, приятные для ног. Ходить в таких ботинках было, наверное, сплошным наслаждением. Ботинки прошли уверенно, с достоинством, хотя и не по-хозяйски. Ясно. Это руководитель отдела Учреждения. Ботинки были сухи и не оставляли на паркетном полу следов.

Когда кто-нибудь входил в кабинет, за дверью неразборчиво, но довольно громко слышался разговор. Я сидел не шевелясь. Очень хотелось курить, но выйти в коридор я боялся. Во-первых, кто знает, можно ли там курить, во-вторых, секретарша может подумать, что мне самому надоело ждать и я отказываюсь от аудиенции.

Две женщины переговаривались между собой, звонил телефон или сразу два, но в каждом случае секретарша точно

знала, какую трубку брать первой. За окном троллейбусы высекали электрические брызги.

Что же я сижу? Ах, да... Сижу только с единственной целью: услышать официальный отказ. А ведь могли предупредить... предупредить... Телефона нет... Далеко... далеко... Только один автобус на этот Чердак и ходит. Всегда набит битком. Если Олька будет ходить в ту же школу, то как же ей лучше ездить? На площади пересадку делать? Там всегда толпы народу. Сам-то, когда с пересадками ездил, ох и намучился! Оттого и место работы сменил. Ага! Работа. Теперь, значит, снова через весь город. Но ведь это не на всю жизнь. На три, четыре года, пусть на пять. Ведь должен же я когда-то бросить все, кроме своих рассказов. Писать так писать. Стилем своим не обольщаюсь. Тут ведь время нужно. Спокойно, не торопясь... по пять, по десять раз все переписывать. Возьмусь и за стиль. Не только одними сюжетами будут интересны рассказы. Вот будет отдельная комната. Пятнадцать метров. Диван сюда. Там стенка для книг... И белить здесь каждый год не надо. Обои! Хорошо. Курить прямо в комнате. Тоже удобно. Трубку надо купить... Фу! Курить ведь тогда не буду, решил уже. Брошу. И начал-то только из-за этой эпопеи... А секретер у окна, как и раньше. Там стол для Валентины. У-у! Сколько места-то еще... Два стула... или три. Когда-нибудь и кресла. Хорошо будет читать в кресле, а рядом маленький столик, на котором перфокарты и ручка, чтобы сразу выписки делать. А ведь еще можно читать и в постели, лежа... И Валентина иногда на ночь почитает. Теперь вместе. Незаметно усну, она свет выключит. А если она уснет раньше, то я сразу иду на кухню. Вот где читать-то! Боже, что за кухня! Квартира! На все плевать. Ведь теперь не придется сидеть под храп тещи. Никакого храпа, никакого! Это же ведь просто невероятно. Неужели можно спать, не слыша чужого храпа, всеобъемлющего, вечного?.. Далеко вот только. Но все образуется, утрясется... И троллейбус когда-нибудь на Чердак пустят. Но тишина. Главное — тишина! Тишина... тишина... И звук...

...шагов.

Туфли, темно-красные с черным, на толстой, которой не страшна никакая грязь, подошве, но легкой на ходу, бесшумной.

Заныли суставы. Вот сейчас. Вот сейчас будет трудно сделать шаг. Минут пятнадцать-двадцать будет больно, как будто кто-то выворачивает пальцы из суставов. А потом...

... — Встаньте! — крикнул Федор. Гул от его голоса раскатился по... (тут еще не было найдено слово). Те трое низко приникли к полу. Четвертый перестал играть обрывком цепи.

— Кто? — спросил Федор.

— Федька, — прохрипел боярин. — Михайлов сын... Собака Приклонов.

— Это который на Казань ходил? — уточнил Федор.

Вот именно! Не просто «он», а Федька! Собака Приклонов.

И что это он вырядился в такую погоду-погодищу? Ах, да... Учреждение. Ведь эти туфли и не ходят по грязи, не для того они сработаны. Разве что: туда-сюда двадцать метров по чистому асфальту, потому что в центре города асфальт метут и стараются не пускать сюда самосвалы с ошлепками грязи.

Одни из кабинета, другие в кабинет. Эти тоже импортные... А почему? Почему я думаю, что они импортные? Так ведь надежные и крепкие, красивые. Такие разве в магазине купишь? Прошу прощения! Поэтому и думаю, что они импортные. А на самом деле, может быть, и наши, со знаком качества.

И снова шум из кабинета. А секретарша, кажется, и не заходила туда, чтобы передать мою просьбу. Но просить вторично или посоветовать провернуть это дело побыстрее я не мог. А время шло. Да черт с ним, со временем! Оно идет у всех. Вот разве что у меня сейчас проходит бесполезно. А оторвать Главного распорядителя от работы, значит, отнять у него минуту, а может, и полторы, если разговор затянется. Тогда у него время пропадет зря.

И всего-то нужно: вам в квартире пока отказано по такой-то и такой-то причине. Всего хорошего! Ах, да... Ведь отказано. А в голову лезут дурные мысли. Шифоньер сюда поставлю, телевизор туда, это в угол, то к косяку. И знаю, знаю, что чушь, что о другом думать надо, о работе, которая уже какой месяц не может сдвинуться с места, а все равно... Как наказание, как сумасшествие, как вечный плен: это сюда, то туда... не поцарапать бы пол... щели замазать... пластилином не буду, усыхает он со временем... хорошо бы шпаклевкой, а в углах и косяки пластырной лентой... а обои... цветики-цветочки... пять лет белить не надо... да здесь только потолок... с душой надо относиться к квартире, лелеять ее, ухаживать за ней... плитку в ванной комнате... не купить плитку... или повезет... Гвозди... Вот гвозди — проблема! Вернее, их вбивание. Продают, правда, «подарок» или «сюрприз» для новосела... Дюбели!

Тьфу!

Дюбель!

Дюбель и есть!

Тряхнул покрепче головой, нечаянно посмотрел на секретаршу, ту, к которой обращался с просьбой. Видел ее однажды в этом же кабинете. Ничего о ней не знал, потому придумать ее не составляло труда.

... — Здравствуйте, Машенька! — сказал он.

— Ах, — ответила секретарь Машенька и запахнула домашний халатик из розовых махровых полотенец. А вот прическа на голове у нее была в совершеннейшем порядке, модная и красивая, очень идущая к ее востроносенькому, чуть припухлому личику. — Федор Михайлович еще не приходил. — Машенька на всякий случай заглянула в кабинет своего начальника, двери которого оказались не опечатанными и даже не на замке, и ахнула. Главный распорядитель сидел за своим столом и, видимо, изучал деловые бумаги.

— Мое имя Федор, — представился поджарый...

Что дальше будет, я еще не знал.

Секретарша что-то положила в папку, наверное, с тиснением «На подпись» и тоже взглянула на меня. Наши взгляды встретились. Я понимал, как ей не хочется идти в кабинет. Она уже предполагала, с каким вопросом пришел я, чувствовала: Геннадий Михайлович тоже знает это и будет недоволен, что промокший да еще наверняка злой проситель рвется в его кабинет. Секретарша медлила, едва уловимыми машинальными движениями поправляя свое строгое деловое платье. Я отвел глаза и снова уставился в пол.

Импортные или отечественные туфли изредка проходили передо мной.

Ну, хорошо. Почему не сказать просто: извините, товарищ, снова неувязочка вышла. Придется подождать. Ведь я и не просил, и не заикался даже о новой квартире. Ну, пятый десяток, а все равно писатель-то я еще молодой, хотя и подающий надежды. И ничего сверхпрекрасного у меня не написано. «Фирменный поезд» да еще рассказишки. И страна не говорит о моих творениях. Город даже не говорит. Ну, получаю иногда письма от читателей, так ведь все больше от самих пассажиров фирменного поезда, от Артемия, Валерия Михайловича... Да и кто из писателей не получает их. Особенно с просьбой выслать книжку с автографом. Так что просим извинить, но не заслужили вы еще, товарищ Федор. А все равно

противно. Не просил — предложили — отказали. Отказали, это уж точно. Но почему никто не скажет? Нет, так нет. Уйду, просить не стану. А вот приперся же сюда, хотя меня никто и не приглашал.

Ботинки мои все еще не просохли, да и от пальто, по-прежнему, пахло сыростью.

Я чуть пошевелился. Секретарша смотрела на меня с тоской и неприязнью. Почему это она из-за какого-то там писателя должна пережить несколько неприятных секунд или даже целую минуту? Сидит и сидит. Уж пора бы и понять. Тоже мне, несчастный, разнесчастный! Секретарша схватила папку и вошла в кабинет.

Я облегченно вздохнул. Ну, сейчас будет определенность. Не надо мне ничего кроме определенности.

Секретарша вышла из кабинета и сказала:

— Я еще не доложила о вашей просьбе. Геннадий Михайлович занят.

— ...Хорошо, — ответил Федор.

А дальше было то, ради чего он пришел сюда.

Вокруг по-прежнему была тьма, но он теперь отлично знал путь и поэтому шел быстро, словно торопясь, уверенно. Вид Федора привел человека с факелом в трепет. Федор молча прикурил от факела уже давно торчавшую изо рта сигарету. Пустил дым. Человек застонал и чуть не уронил факел.

— Митроха Лапоть, — вспомнил Федор.

— Смилуйся!..

— Хорошо, — ответил я.

А секретарша все непонимающе смотрела на меня.

И я теперь не знал, что мне делать, ждать ли еще, или уже нужно уходить. Но, во-первых, меня еще не выгоняли из приемной, во-вторых, я так ничего определенного и не узнал.

Секретарша перестала обращать на меня внимание.

Я остался сидеть, только чуть переступил своими мокрыми ботинками. Слава богу! Не захлюпало. И наслеженное мною уже высохло. Ничего почти и не видно. Нет, вовсе и не испортил я этот паркет.

А *там*-то ведь тоже паркет. Ну, не совсем, конечно, а так... похоже. Псевдопаркет. Наклеенные заранее досточки на плиту и так, и эдак. А уж из этих плит и настилают пол. Натирать только чем-то надо. Тоже целое дело. Но все же не красить. С этой покраской полов всегда беда да и только. Чтобы получилось хорошо, нужно на два раза. А это значит — неделю жить у родственников. Хорошего мало. А если покрасишь ацетоновой, то на следующий год начинай все сначала. А тут натер и кончено. Столы поставлю Валентине и Ольке, а себе секретер, потому что бумаги в обычный стол не вмещаются. И твори. Твори! Выдумывай! Фантазируй! И не спеша. Ну, совершенно без всякой тебе спешки. Теперь надо работать по-настоящему. Главное-то ведь в чем? А тишина! Тишина... Никакой храп тебе не мешает ни работать, ни спать. А писать есть о чем. Вот об этом самом путешественнике во времени. И имя ему дать, непременно — Федор. Потому что еще неизвестно, что с ним произойдет в этом путешествии. Сам написал, самому и расплачиваться. Нечего других впутывать в это дело. А в секретере...

Секретарша глянула в окно, что-то нетерпеливо переложила на столе.

— Геннадий Михайлович вызвал машину...

Это сообщение, кажется, предназначалось мне. Но я не понял. Недоуменно посмотрел на женщину. Машину? Что же это означает?

Сердясь на мою непонятливость, секретарша добавила:

— Геннадий Михайлович сейчас поедет...

— Но мне только одну минуту. — Я почему-то заторопился, смешался, растерялся.

— Хорошо. Сейчас спрошу.

Туфли уже минут тридцать не прогуливались передо мной, но я только сейчас осознал это. Секретарша стала вдруг задумчивой, вся — внимание, озабоченность, и с этим видом вошла в кабинет. Вышла она минуты через три.

— Геннадий Михайлович не сможет вас принять.

И все.

Я поднялся, осторожно, медленно, потому что сейчас нужно было сделать удачный переход к ходьбе, сказал спокойно, вежливо, секретарша ведь тут ни при чем:

— Извините. До свиданья.

— До свиданья, — ответила она. Вторая тоже кивнула.

И тут я понял, отчетливо, ясно, достоверно, что Главный распорядитель абсолютными фондами все эти часы, что я сидел здесь, знал, знал, что в приемной у него торчит писатель, проситель, неудачник.

Не мог он не знать.

Ну да ладно... Проживем.

2 Я вышел в коридор, пустой и гулкий. Постоял, застегнул верхнюю пуговицу пальто, вытащил из кармана перчатки, зачем-то затолкал их в шапку.

А ведь можно и в коридоре отнять эту минуту у Геннадия Михайловича. До машины-то ведь ему все равно идти пешком.

Прошла минута, две, три, пять. Я все стоял. Главный распорядитель вышел из кабинета в приемную. Голос его был слышен и в коридоре. Геннадий Михайлович что-то говорил своим секретарям. Я уже приготовил фразу, короткую и точную, чтобы не отнимать у него времени на осмысливание вопроса.

Главный распорядитель вышел в коридор. И коридор для него был совершенно пуст.

— Здравствуйте, Геннадий Михайлович, — сказал я.

Геннадий Михайлович услышал звук человеческого голоса, оглянулся, вернее, просто посмотрел вбок, туда, где я стоял. На лице его отразилось мгновенное недоумение. Что это? Голос? А кто говорит, не видно. Не было никого в коридоре. Ни одного человека!

— Здравствуйте, Геннадий Михайлович, — повторил я. — Моя фамилия Приклонов.

И тут, наконец, меня заметили, но не остановились, а все так же неторопливо и с достоинством, перекатываясь с пятки на носок прекраснейшего и добротнейшего ботинка, проследовали вперед, оставляя за собой всем понятное:

— ... ст...

Нормально.

Главный распорядитель абсолютными фондами шел уверенно и спокойно. Теперь, вне стен рабочего кабинета, обеспокоить его было не так-то просто. Да и шагов до автомобиля, который дожидался его у дверей вестибюля, оставалось совсем немного, какая-нибудь сотня или того меньше. Я поспешил за распорядителем.

— Геннадий Михайлович! Скажите, пожалуйста, почему мне снова отказали в квартире?

Объяснять сейчас, что я не просил эту квартиру, что ее мне предложили, что я был страшно рад и уверен, что теперь уж все нормально, сейчас не представлялось возможным. Нужно было задавать вопросы точные и краткие. Однозначные.

Геннадий Михайлович не оглянулся, не остановился, даже не замедлил шага, да и с какой стати стал бы он это делать. Он только сказал раздраженно и громко:

— Не зна-аю!

Причем звук «а» он немного растянул, отчего получилось такое впечатление, словно он отталкивался от меня рукой.

То, что квартиры не будет, я понял еще утром, когда произошла заминка со сдачей моей прежней квартиры уполномоченному с завода, где я работал. И ответ удивил меня не этим, не отказом, хотя форма его и показалась мне странной.

— Но ведь именно вы и должны это знать, — сказал я. А действительно, к кому я еще мог обратиться за разъяснениями? Ведь во всех других инстанциях только неопределенно пожимали плечами. Дом заселялся, я был в списках, но старую квартиру никто не брал на себя смелость принять. А без документов о ее сдаче я не мог получить ордер на новую. Это-то ясно. Вдруг я пожелаю захватить обе квартиры! Но причины заминки?

— Я не могу дарить тебе четырехкомнатную квартиру, да еще заводу двухкомнатную!

Главный распорядитель раздражался все больше. Эти прилипалы, просители. Интеллигенция! Тихой сапой лезут с «пожалуйста» и «прошу прощения».

Да при чем тут «дарить»? Ну при чем тут какое-то дарение? Не подарки мне нужны, не подачки, не куски, которые я и не собирался у кого-то рвать. Ну, если не положено, если не заслужил, если еще рано, если нет возможности, так и не надо срывать меня с места. Ведь человек привыкает. Вот и я привык уже и к тяжести, которую носил в своем сердце, и к тесноте, в которой приходилось жить, и к тому, что нет места для работы. Ну зачем же он так? Зачем дарить? Мне — четырехкомнатную, а заводу — двухкомнатную, ну, то есть ту, в которой я сейчас жил. Да что же это? Что?

Геннадий Михайлович был мне понятен. Я мог, мог *придумать* его! Никакого труда это для меня не составляло. Вот только не хотелось...

А ведь была и другая встреча. Жара давила неимоверная. Я, как всегда, проводил свой отпуск в городе. Одуревши от жары и писанины, я спал. Помятый, спросонья, небритый, я ничего не понимал. Валентина растолкала меня, сказала: «К тебе пришли». А какой-то незнакомый человек торопит: «Скорее. Геннадий Михайлович ждет. Книжку свою подписали? Книжку обязательно. Как она у вас называется?» Книжек не было. Вернее, были, но мало. Не хватало книжек. «Какому Геннадию?» — не понимал я. «Главному распорядителю аб-

солютными фондами. Через пять минут должны быть у Геннадия Михайловича. Да можете вы побыстрее?!» — «Квартиру обещают», — шепнула Валентина. — «Какую квартиру?» — «Может и дадут, раз обещают», — сказала Пелагея Матвеевна. Я все равно ничего не понимал... Даже не умывшись, влез в черную «Волгу». В приемной Главного распорядителя толпилась очередь. Сопровождающий подталкивал меня в спину. Вокруг зашумели: «Без очереди! Постоял бы, не старый!» — «По вызову», — объяснила секретарша, но ее не слушали. Хотелось сбежать, но уже открывалась двойная дверь с тамбуром... «Писатель Приклонов», — доложила секретарша и исчезла. «Здравствуйте!» — сказал я. Геннадий Михайлович сидел и не видел. В его кабинете раздался посторонний звук, словно вошел кто-то. Вид у меня, я знал это, был подзаборный. Меня все же обнаружили. «Где заявление?» — «Какое заявление? — не понял я. — Книжка вот... Никакого заявления у меня нет». — «Пиши». Я положил на стол заляпанную вспотевшими руками книжку. Геннадий Михайлович отогнул корочку, хмыкнул. «Ах, да! — ужаснулся я. — Ручку. Ручку дома забыл. Подпись». Я отнимал время, я торопился, я даже не написал «Уважаемому», просто: «Геннадию Михайловичу с наилучшими пожеланиями!» Книжка захлопнулась. «Пиши заявление». — «Да о чем же?» — «Квартиру тебе даю... четырехкомнатную». — «Спасибо. Не ожидал». — «Ожидал, ожидал». — «А нельзя сначала ее посмотреть?» — «Чего тебе ее смотреть?» — «Посмотреть...» — «Пиши заявление». Геннадий Михайлович пустил по столу чистый лист бумаги. «Все же... сначала посмотреть». Геннадий Михайлович утратил интерес ко мне. Это было ясно. «Как хочешь. Но чтобы заявление завтра было у меня на столе». — «Вот спасибо! Съездим и сразу же заявление». Геннадий Михайлович нажал на столе какую-то кнопку. «Спасибо. До свиданья», — сказал я и шмыгнул в уже открывающуюся дверь. В приемной недовольно зашумели посетители. Я отнял у них время. Про квартиру мне верилось и не верилось. Все было слишком быстро и неожиданно.

А потом все сорвалось...

— Ты что, не мог пойти к директору завода и сказать, чтобы он отдал твою квартиру городу?

Мы уже спускались по мраморной лестнице. Главный распорядитель хотя и был раздражен, но нес свое тело все так же с достоинством.

Может быть, ему все-таки чуть-чуть стыдно, думал я. Ну не за то, конечно, что не дал мне квартиру, а потому что сорвал человека с места, вольно или невольно, но все же заставил его ходить, спрашивать, унижаться ведь, потому что никто не желает отвечать на мои вопросы. Вот он наверняка и говорит так грубо, потому что смущен, потому что ему хоть немножечко, а все-таки неудобно.

— Так ведь это совсем не моя работа, — вспомнил я о своей попытке прорваться к директору завода.

— А ты думаешь, что я за тебя буду ходить и носить эти справки. Ты что думаешь, у меня другой работы нет?!

Вот теперь Главный распорядитель не скрывал своей злости и даже какой-то ненависти. Он на миг остановился на лестничной площадке, чтобы смерить меня с ног до головы бешеным взглядом. Ну нет, совесть его сейчас не мучила, да и случалось ли это когда прежде? Никакого неудобства, тем более — стыда, он сейчас не испытывал. Он был у себя, в своей вотчине. Он сейчас являл собою разгневанного барина, который может подарить, но может и посмеяться, может кинуть кость, но может тут же и отобрать ее.

— Я думаю, — сказал я, — что для этого у вас есть специальный штат работников. И потом... я пытался пробиться к директору завода, но он даже не захотел со мной встретиться. Ведь я для него простой настройщик.

Теперь уже и я говорил со злостью. Ну нет, я не холоп, тут у Геннадия Михайловича выйдет промашка.

Мы уже шли по холлу нижнего этажа, а через стеклянные двери можно было рассмотреть «Волгу» и шофера в ней, который только и ждал, чтобы распахнуть дверцу.

Мое заявление о попытке прорваться к директору завода Геннадий Михайлович оставил без внимания. Дележ квартир, городу или заводу, от меня не зависел. Да и что я представлял собой, хилый писатель? Очень много развелось их, и все умные, все знают, на что имеют право, на что — нет.

Главного распорядителя вдруг прорвало окончательно.

— Ты знаешь, сколько я уже подарил вам всем квартир?! — Он кричал.

Нет, я не знал этого. Да и кому — всем?

— Нет! Ты знаешь, сколько я уже подарил вам квартир?! Вы только от меня их и получаете! Я дарю, а вам все мало! Скольким художникам и писателям я подарил квартиры, ты знаешь?! Нет?! А вы все ходите! Дай квартиру! Дай квартиру!

Дай квартиру! Вы ничего больше не можете, кроме как просить: дай! дай! дай!

Геннадий Михайлович сам отворил двери Учреждения и вышел на тротуар.

Я держал шапку в руках. Но это не от робости, просто руки задеревенели.

Главный распорядитель продолжал кричать:

— Вам все дай! Дай! Дай! Дай!

Прохожие оглядывались, но, правда, не останавливались.

А что ему можно было сказать в ответ? Что он подлец? Да он уже столько раз это слышал. Что он не интеллигентный человек? Эка беда! Плевал он на все интеллигентство. Ведь он заведовал распределением абсолютных фондов!

И потом... Ведь я все-таки подарил ему свою книжку. И это мое действие все время висело на мне, как камень на шее.

«До свиданья» мы друг другу не сказали. Я сейчас вообще ничего не смог бы сказать. Главный распорядитель сел в автомобиль, и «Волга» тронулась с места.

Значит, дарить! Барин холопу! Благодетель просителю! Прохожий нищему! Но все же точнее всего: барин холопу. И откуда только такие берутся?! Ну уж нет! Холопа из меня не сделать!

А ведь на душе-то отлегло. Отлегло, ей-богу! И даже хамство чиновника задело лишь гордость. А вся, так сказать, информационная сторона этого хамства принесла почему-то облегчение. Принесла! Все известно, все ясно, не надо ломать голову, мучиться незнанием, томиться ожиданием. Ничего теперь не надо. Ничего. Да черт с ней, с квартирой! И еще тысячу раз черт с ней! Стыдно вот только перед Валентиной. Но ведь Валентина молодец. Она все поймет. Хоть и тяжело ей, а все равно поймет. Реакция тещи меня сейчас не интересовала. Олька вот вся издерганная. Но ей-то легче. Она еще не понимает. Видит, но не понимает. Ага! Светлое что-то появилось в душе. Это от того, что все, наконец, объяснилось, хоть и таким образом, но все же объяснилось. Это сейчас даже радовало. Ну, огорченье семье, обида, стыд, что ящики уже упаковали. Но это все пройдет, пройдет. Вся шелуха пройдет, все дерьмо отвалится. Все, все, все нормально. Сейчас только первое напряжение с души сбросить. Но тут есть испытанное средство.

Уже в шапке, но еще без перчаток завернул я за угол гастронома. Нет, сюда не за водкой. Нужно было, пожалуй, зайти в писательскую организацию и, если ответственный секретарь еще не уехал, доложить о происшедшем. Не жаловаться, нет, боже упаси! Жаловаться я никому не буду. Но и просить тоже. И вообще, пошли-ка все благодетели куда подальше! Работать надо. Ведь написал же на кухне по ночам полсотни рассказов. Да. И еще напишу. Только чтобы никаких дерганий, чтобы ничто не отвлекало. Ну, от отвлечений, конечно, никуда не денешься. Да и от тещиного храпа тоже. Но все же не хамство.

Перестал, что ли, падать снег? Ага. Не совсем, правда, но сыпал реже, да и не такой мокрый. И подмерзало к тому же. Дело к ночи. Зима скоро, зима. И хорошо, что зима. И вообще все хорошо... Вот ноги только. Испанский сапог. Пытка. Но это уже совершеннейшая ерунда. Привычное дело.

Вдоль трамвайной линии, мимо городского сада дошел я до писательской организации. В окнах темнота. Ясно. Все ушли. Ну, ладно. И то сказать, времени-то ведь уже седьмой час.

В том-то и дело, что седьмой час! Скоро водку перестанут продавать. А выпить сегодня нужно было обязательно. И в последний раз. С радости я выпил уже много. А с горя, да и не горе это вовсе, а облегчение, ну, словом, из-за квартиры этой можно в последний раз. За упокой ее души. Два-три дня еще, конечно, пройдут в разговорах, но уж потом только одна работа. Что я значу без своей работы, без своих рассказов и повестей? Да и самому в первую очередь это нужно, самому. Ну вот и начнем. А бояре пусть дарят холопам. Благо, такие еще не перевелись и долго, наверное, не переведутся. Да и никогда не переведутся.

В гору я поднялся малолюдными переулками и вышел на Тополиный бульвар. Здесь, возле кинотеатра «Октябрь», агентства Аэрофлота и продовольственного магазина бурлила толпа. На остановке в переполненные троллейбусы и автобусы лезли одуревшие от долгого ожидания пассажиры. Кто-то выскочил чуть ли не на середину проезжей части дороги, пытаясь остановить такси, но, кроме резкого скрипа тормозов да отборной брани шофера, не получил из этого предприятия ничего. И поделом. Дорога уже начала леденеть, улица узкая, движение напряженное.

Стемнело. Зажглись фонари.

В полураскрытые двери продовольственного магазина стремились пробиться два встречных потока людей. Это им как-то удавалось и уже привычно не вызывало ни у кого удивления. Я тоже протиснулся. Отдел, где продавали водку и та-

бачные изделия, для удобства покупателей располагался прямо у двери. Я пристроился в конец очереди.

Все-таки удивительно, как изменилось у меня настроение. От гнетущей неизвестности и растерянности к какому-то освобождению. Обиды не было. Да и на кого обижаться? Осталась злость, но она уже проходила. Она и накатилась-то не от того, что мне снова не дали квартиру, а оттого лишь, что меня обхамили. Хамство это забыть было нельзя, но и основывать на его действии свою дальнейшую жизнь тоже не стоило. От всей этой истории оставалось только одно — Валентине будет стыдно, что она уже упаковала посуду, связала узлы, поторопилась, обрадовалась прежде, чем ей вручили подарок. А подарок-то и не дали вовсе. Так только, показали, а потом: это не для вас. И без извинений.

Из кармана пальто я достал тройку, смятый рубль и мелочь. Конечно, достаточно было и четвертинки водки, чтобы уснуть нормально, но продавали, как всегда, только поллитровки. Да бог с ней... Можно и ноль-пять. В таком состоянии, в каком я находился сейчас, опьянеть было невозможно. Да и не хотелось мне пьянеть, а только расслабиться. Сейчас бы только расслабиться и уснуть.

Бутылка оттопыривала левый карман пальто, но никаких неудобств или сомнений на этот счет я не испытывал. Несет человек в кармане водку и несет. Значит, ему так нужно. Да и домой несет, а не под забором тянуть из горлышка. До дома было рукой подать. Я спешил, чтобы скорее все рассказать, и уже хотелось, чтобы мое сообщение осталось где-нибудь в прошлом, ну хотя бы в пятиминутном. Но невозможность путешествий во времени не замедляла мой шаг, чуть ли не бег. Если нельзя, чтобы *это* уже осталось в прошлом, то пусть оно скорее произойдет в будущем, потому что сразу же за этим наступит и облегчение.

Вот и дом, вот и подъезд, а вот уже пятый этаж и ободранная дверь, виденная тысячи раз. Ключ в замочную скважину, поворот. Дверь открывалась без скрипа.

Я вошел в коридорчик, хлопнул дверью, начал расстегивать пуговицы пальто. Из кухни выглянула Валентина. Теща сидела на диване и смотрела научно-популярную передачу по телевидению. Из второй комнаты, маленькой, вышла Олька. Все уставились на меня, но ничего не говорили, не спрашивали.

— Не вышло, — поспешил сообщить я.

— Вот черт! — сказала Валентина и исчезла на кухне, там у нее что-то кипело.

— Да-а, — сказала дочь. И в голосе ее слышалась растерянность.

— Не дали? — спросила Пелагея Матвеевна.

— Не дали, — выдохнул я.

Ну вот. Главное теперь уже позади. Теперь можно коротко, потом подробнее, затем уже вспоминая и самые мельчайшие подробности, рассказать все. Рассказывать, конечно, придется не раз. И родственникам, и знакомым, но к тому времени уже появится стереотип рассказа, хотя повторять его не будет никакого желания. А потом уже и вообще: не дали и все.

Валентина немного погремела на кухне посудой, убавила там, наверное, газ у плиты и снова вышла.

— Значит, не дали? — спросила она и поправила очки мокрыми пальцами.

— Не дали. В следующий раз, наверное.

— Да уж сколько раз и все следующий, — пробурчала Пелагея Матвеевна.

Я снял пальто, шапку, шарф, развязал шнурки своих мокрых ботинок, швырнул их с ноги в угол. Ноги, застонали, отходя, распухая. Вытащил из кармана бутылку, потряс ею над головой.

— Последняя... с радости. Теперь будем пить только с горя.

— Ну и ладно, — сказала Олька.

— Проживем, — согласилась Валентина.

— Уж тут и жить-то осталось... — Это подала свой голос Пелагея Матвеевна.

Я прошел в комнату, но на узлы и картонные ящики старался не смотреть.

3

«...Эксперимент кончился, и Федор, даже не сняв с рук присоски-электроды, вышел в коридор покурить. Курилка располагалась возле запасного выхода и там всегда дуло, чуть ли не свистело. В общем, было неуютно, да еще и грязно. Федор прошел к главной лестнице, постоял мгновение и спустился на один марш вниз. Здесь на площадке было тепло и полусумрачно. Лестница вела в подвальные помещения, где размещались различные технические службы, и еще дальше вниз, но Федор никогда туда не спускался. Повода просто не было.

Группа, в которой работал Приклонов, занималась исследованием точек акупунктуры. Работы велись уже какой год, а механизм загадочных «китайских» точек оставался непонятным. Научные работники пропускали через точки электрический ток, пытались воздействовать на них магнитным полем. Груды таблиц и графиков росли, но и только...

Кожа рук после пробоя электрическим током саднила, горела. И то, что через час это ощущение пройдет, не приносило облегчения, потому что через час эксперимент будет продолжен.

Федор стоял и курил в неположенном месте, как, впрочем, делал часто. Комендантша не раз ловила его здесь и стращала штрафом, но он лишь отмалчивался, тушил о каблук сигарету и уносил окурок в кулаке. И, может быть, то, что он не бросал в сердцах окурок на пол, и удерживало суровую женщину от справедливого наказания. С того места, где он стоял, открывался вид на коридор подвала, расширяющийся возле лестницы, замусоренный, пыльный, слабо освещенный. Откуда-то доносился грохот, визг пилы, удары молота о наковальню, раздался крик, но не о помощи, а вопль жуткого страха. Нет... Показалось. Просто здесь очень шумно.

Научный работник докурил сигарету, но продолжал стоять в раздумье. Что-то влекло его вниз, но что-то и удерживало. Нужно было пойти в лабораторию и вычертить пару графиков, но подвал все настойчивее звал его вниз.

На марш выше, с лестницы в коридор, из коридора на лестницу сновали научные работники, иногда тащили ящики с приборами, а то и просто пакет со съестным из буфета.

— Федя, — вдруг услышал Приклонов. — Не ходи туда. Прошу тебя.

Федор удивленно оглянулся на голос. На ступеньках лестницы стояла Валентина.

— Куда туда? — нервно спросил Приклонов.

— Туда. Вниз. Прошу тебя.

— Да что я там не видел?

— Соглашаешься, а все равно ходишь.

— Никогда я туда не ходил.

— Если бы не ходил...

Федор вынул из пачки еще одну сигарету. Советов жены он не понимал, но расспрашивать дальше не хотелось. Это даже *запрещалось*. Все сдвинулось с места и понеслось к какой-то непонятной, но уже намеченной цели. Кажется, Валентина поняла это, потому что больше ничего не сказала и убежала вверх по лестнице.

Да что же там, подумал Федор. Если бы Валентина его не предупредила, он мог бы и не сделать шага вниз. Такие колебания были у него и раньше, но он всегда сдерживал себя. Почему же тогда Валентина утверждала, что он не раз бывал *там?* Все это было странно, и все это нужно было проверить. Он сделал шаг вниз, другой, третий. В подвальном коридоре никого не было, только где-то в дальнем его конце маячила фигурка человека, но так неясно, что даже невозможно было понять, мужчина это или женщина.

С незажженной сигаретой во рту, просто-напросто забыв о ней, Федор медленно прошел по коридору из конца в конец, обнаружил, что в одном месте коридор раздваивается, и пошел по неисследованному еще рукаву. При каждом его шаге из-под ног поднималась пыль. Последняя стоваттная лампочка осталась позади, а он все шел и уже начинал думать, что коридора такой длины здесь не может быть. Но вот впереди вспыхнул свет, приблизился, разросся в фонарь. Мимо проскочил человек, держа в опущенной руке что-то продолговатое, багор, что ли? Фонарем он загораживал свое лицо, так что Федор не узнал его. Да это было и не важно. Мало ли кого он не знал в институте? Главное, что научные сотрудники здесь что-то делают, чем-то занимаются. Да-а... Площадей всегда не хватает. Им только разреши, так они вокруг института деревянных сарайчиков понаделают, забьют все аппаратурой, и никакая «техника безопасности» даже свой нос туда не сунет.

Идти стало уже совсем трудно. Темно. Того и гляди, что наскочишь лбом на какую-нибудь трубу отопления или колено вентиляционной системы. Федор вытянул вперед обе руки, одну чуть повыше, чтобы защитить голову. Продвигался он медленно. Иногда и вовсе останавливался, чтобы ощупать бетонные стены с той и другой стороны коридора. Что-то подсказало ему об опасности. И тогда, вытянув вперед ногу, он не нащупал пола. Но это была не ловушка, не дефект строительства. Коридор ступенями уходил вниз.

Федор понимал, что идти дальше не следует, но остановиться уже не мог. Скользя левой рукой по стене, он начал осторожно спускаться. Лестница шла левым винтом. Запахло сыростью, и все та же тьма. В кармане лежал коробок спичек, но Федор не решался чиркнуть хотя бы одной. Спускался он долго и монотонно, пока вдруг не осознал, что пальцы не

ощущают привычный бетон. Под ладонью были шершавые камни. Федор знал, что камню здесь взяться неоткуда, строители не применяли в своих работах трудоёмкий камень. И все же здесь была каменная кладка! Огромные, хорошо обработанные, тщательно пригнанные друг к другу глыбы камня.

И тут вдруг пришло непонятное знание. Знание, что впереди еще шесть высоких ступенек, сводчатый потолок с мокрыми скользкими потеками, заплесневелые стены, еще одна лестница, большое помещение, окованная железом дверь, а за ней...

А за ней было то, ради чего он пришел сюда.

Вокруг по-прежнему расстилалась тьма, но он теперь отлично знал путь и поэтому шел быстро, словно торопясь, уверенно. На ступенях очередной лестницы стоял человек с факелом. Он вдруг затрясся и чуть не грохнулся Федору в ноги. Слышно было даже, как стучали его зубы. Откуда-то донесся вопль. Но человек с факелом испугался не этого страшного звука. В трепет его привел вид Федора. И Федор молча прикурил от факела уже давно торчавшую изо рта сигарету. Пустил дым. Человек в кафтане, мягких сапогах, какой-то странной шапке и с алебардой в левой руке, теперь Федор рассмотрел и это, застонал и чуть не выронил факел.

— Митроха Лапоть, — вспомнил Федор.

— Смилуйся! — захрипел стражник.

— Да ты-то тут при чем? — зло удивился Федор.

— Верой, правдой...

Федор стряхнул пепел на сырой пол, ничего не ответил и начал спускаться дальше. Низкая сводчатая темница в свете колеблющихся факелов. За крепким дубовым столом, вцепившись в него оцепеневшими пальцами, то ли приподнимаясь, то ли, наоборот, опускаясь, застыл опричный боярин Захарья Очин-Плещеев, один из бесчисленного рода князей Очин-Плещеевых. На столе горела свеча, лежали бумаги, гусиные перья, стояла чернильница, литая, тяжелая даже на вид. Рядом со столом валялись в ногах трое. Четвертый, голый по пояс, разогретый тяжелой работой, стоял и поигрывал обрывком цепи.

— Встаньте! — крикнул Федор. Гул от его голоса раскатился по темнице. Те трое еще ниже приникли к полу. Палач перестал играть цепью. — Встаньте, — уже спокойно сказал Федор. — Прошу вас.

На полу началось движение, послышались всхлипывания. Боярин, низко наклонив голову, начал с трудом подниматься.

— Да ты-то сиди, — загрохотал усиленный стенами голос Федора. — А эти пусть встанут. Чего они метут кафтанами пол? Тут за сто лет не выметешь.

Палач загыкал, но под холодным взглядом Федоровых глаз смещался, заклокотал горлом, подавился. Федор взял одного из лежащих на полу за крепкий воротник, приподнял, тряхнул, но тот упорно валился на колени. Два других несмело поднялись, но старательно отворачивались, шмыгали носами. Федор одной рукой рванул валившегося и швырнул его в угол как мешок. Палач засопел. И Федор понял, что того поразила сила, с которой он отбросил пристава. Такой в худом теле пришедшего палач не ожидал. Физическую силу он мерил по себе, и теперь мгновенно и навсегда стал верным рабом непонятного.

— Кто? — спросил Федор.

— Федька, — прохрипел боярин Очин-Плещеев. — Михайлов сын... Собака Приклонов.

— Который на Казань ходил? — уточнил Федор.

— Он... собака... Порчу напущает.

— Давно?

Захарья Очин-Плещеев понял по-своему:

— С утра бьемся. Боюсь, отпустит.

— У меня не сбежит! — ощерился палач.

— Душа, душа сбежит! — крикнул боярин и тут же испугался своих слов. — Живого надо...

— Чем пытал? — спросил Федор.

— Хы!.. Дыбой... Ручишки-то как верви теперь вьются. Хоть туды, хоть сюды...

— Скотина! — закричал Федор.

— Ты!

— Сам на дыбу пойдешь! — крикнул и Захарья Очин-Плещеев.

— Старался... умаешься тут, — испугался палач.

— Ладно. Открывай. Посмотрим, что можно сделать. — Федор щелчком пустил потухшую сигарету в угол, где все еще лежал пристав.

— Сбегет... — прошептал один из двух писарей.

— У меня не сбегет, — пообещал Федор и повернул говорившего лицом к свече, слегка пригнул. Нет, лицо незнакомо, перекошено, искажено гримасой. Второй сам, не дожидаясь, зажмурился на свечку. — Не знаю, — сказал Федор. — А тот кто? — Он кивнул в угол.

— Не прогневи! — взмолился боярин. — Бес попутал!

— Ну-ну!

— Тоже Федька Приклонов. Собака! Два их, два... Пытать прикажешь?

— Помогать будет, — определил Федор. — А вообще-то их три! Три Федьки Приклоновых.

— Мать, пресвятая богородица! — завопил Захарья, опричный боярин. — Спаси и помилуй!

Федор нагнулся к боярину, поднес к своему лицу свечу.

— Похож, князь?

— Нечистая сила! — заорал Очин-Плещеев. — Сегодня на Приклонова, вчерась на Гниду Заременного!

— Работа такая, — пояснил Федор. — Будешь похож. Ну что, охлынул? Жила в тебе слабая, князь.

— Господи, спаси... господи, спа... господи...

— Ладно. Пора. Кто будет записывать?

— Худородный писаришко... — вылез из-за спины один из двух, видно побойчее.

— Вот и пиши!

— Приказуй... свят, свят, свят!

Второй тоже взял перо, но оно у него в руках ходило ходуном.

— Чтоб вас... — озлился Федор. — Открывай!

— Преблагой царь! — неожиданно завопил третий из угла и поднялся. — Ты хорошо делаешь, что наказуешь изменников по делам их!

— Преблагой, преблагой! — согласился Федор и приказал: — Иди за мной. Вины вычитывать будешь. Да открывай же!

Палач засуетился возле двери, загремел запорами.

— Взглянуть бы, — осмелился опричный боярин Захарья Очин-Плещеев.

— Дойдет очередь, увидишь, — пообещал Федор.

— Видит Бог! — взмолился боярин. — Прегнуснейшие, богомерзкие и кровожадные падут! Как по Малютиной сказке в Подгорецкой посылке Малюта отделал полторы тыщи ручным усечением, а из пищали отделано пятнадцать!

— Открыл?! — в крайнем нетерпении крикнул Федор, не обращая внимания на слова боярина.

— Во, — сказал палач. — Вылеживается. Дыху у него мало.

В тусклом свете нескольких факелов Федор увидел лежавшего на полу человека в окровавленных лохмотьях. Поза его была нелепой, неестественной. Он был в беспамятстве. Втащив в пыточную слабо сопротивлявшегося пристава, Федор притворил за собой дверь, наклонился над тем, кто еще недавно был человеком, пробормотал:

— Федя... Что они с тобой сделали? Не успел, не успел... — Быстро определив наощупь точки акупунктуры, которые отвечали за общее состояние организма, он пальпацией (надавливанием пальцами) попытался привести Приклонова в чувство. Это долго не удавалось. Тогда он начал ощупывать вывернутые в суставах руки, ловко вправил все вывихи, поглаживанием срастил несколько переломов. Выяснять, что произошло с внутренними органами, не хватало времени, да и дело это было сложное. Приклонов, наконец, пришел в себя. Он слабо застонал, промычал что-то, узко, щелочкой открыл глаза.

— Очнись, Михайлов сын, — попросил Федор. — Уходить отсюда надо.

— Все, — простонал Приклонов. — Отходил свое...

Федор снова занялся точками акупунктуры, по особому надавливая на них, поглаживая, массируя. Пристав, сгорбившись на полу чуть поудобнее, одним глазом наблюдал происходящее. Чудо! Чудо! Господи, спаси и помилуй!

Приклонов уже мог стоять, но вид его все еще был ужасен.

— Иди, Михайлов сын... иди... Там тебя будут ждать.

— Ты кто? — спросил хрипло Приклонов.

— Я — ты.

Приклонов внимательно посмотрел в лицо Федору. Запомнить своего спасителя. И отшатнулся.

— Наваждение!

— Я — Федор Михайлович Приклонов.

— А я?.. Бес меня путает!

— И ты — Федор Михайлович Приклонов. Иди. Пора.

Он приоткрыл дверь пыточной. Та ржаво заскрипела. Палач спал стоя, только цепь валялась на полу. Писари тонко посвистывали носами.

— Вверх по лестнице, — сказал Федор, — по коридору, затем по каменной винтовой лестнице, снова по коридору... Держись рукой стены. Как только камень перейдет в бетон, ты у своих. Понял?

— Бетон? — переспросил Приклонов.

— Бетон, бетон. Поймешь, все поймешь. Прощай, Федор, сын Михайлов. Может, и встретимся еще...

— Храни тебя господь... — сказал Приклонов и, пошатываясь, начал взбираться по каменным ступеням. Он еще ничего не понимал, кроме одного: пыточная осталась позади.

Федор хлопнул дверью. В сводчатой комнате проснулись, испуганно, тягостно.

— Молчит что-то богомерзкий... — начал было Захарья Очин-Плещеев, и тут в пыточной раздался крик. Мороз прошел по коже у палача.

— Лютует шибко. Послабже бы надо.

В пыточной пристав Приклонов вычитывал вины. Федор, приподнятый на дыбе, закричал:

— Будьте прокляты, кровопийцы, вместе с вашим царем!

Пристав Федька, шибко удивленный тем, что *этот* оказался на дыбе, но не привыкший особенно размышлять, да еще вдруг почувствовавший, что всемогущий — черт ли, дьявол ли! — находится в его руках, сразу сообразил, что ему делать.

— Опричь кого замышлял злодейство?!

— Неоправданно историей! Глупо! Дико! Будьте людьми! — Федор кричал так, что его слышали в сводчатой комнате.

Писцы заскрипели перьями.

— Ну завел... — зевнул Захарья Очин-Плещеев. — Каждый день одно и то же... Эка невидаль!

Пристав Федька озверел. То кнут, то раскаленное железо появлялись в его руках. Федор иногда проваливался в яму беспамятства, но лишь на мгновение. Страшная мысль пришла ему в голову...

Он многое, многое знал. Ведь у него в *своем* времени была отличная историческая библиотека. Читал Федор и Скрынникова, и Соловьева, и Ключевского, и переписку Грозного с Курбским, и многое другое, даже «Ономастикон» Веселовского. Из «Ономастикона» и узнал, что обязательно встретит здесь Приклонова и того, другого — пристава. Знал, что к концу царствования Ивана Грозного разорится Центр и Северо-Запад Руси. Знал, что население Руси сократится втрое. Обезлюдеют сельские местности. В Московском уезде будут засевать только одну шестую пашни. В Новгородской земле — одну тринадцатую. Села и деревни превратятся в кладбища. Все знал и хотел сказать: *остановитесь!*

Знал и надеялся, что простым словом можно что-то изменить.

И вот та страшная мысль: не поймут... *не поймут!*

Рано. Поздно. Нужно. Не нужно.

Зря.

Ан нет... Ведь Федор, сын Михайлов, все-таки ушел из пыточной. Значит, не зря. Не зря!

А все остальное?

Прошлое нельзя изменить. И вовсе не потому, что оно прошлое. Вовсе не потому.

Пристав тащил какой-то чурбан. Тащил и аж сам вздрагивал от сладостного ужаса.

Испанский сапог, подумал Федор. Это не страшно. Это привычно. Уж тут-то Федька просчитался. Пристав Федька крутанул винт.

— Будьте людьми!

Знакомая, привычная боль вошла в суставы ноги.

— А вот ежели так! — радостно возопил Федька. — Покрепше...

— Будьте лю...

И никакой боли. Ничего, Ничего вообще.

— Отошел, кажись, — появляясь в дверях, растерянно сказал пристав Федор Михайлович Приклонов.

— Собака! — чему-то испугался опричный боярин Захарья Очин-Плещеев.

А Федор, иногда выныривая из беспамятства, вставал и шел дальше. Ощупывал стену. И уже что-то незнакомое было под его пальцами. А, это же бетон, как сказывал *тот*, подумал он и снова нырнул в бездонную темень.

Окончательно очнулся Фёдор возле лестницы, ведущей из подвала на первый этаж. Несколько человек из лаборатории стояло вокруг. Слышалось:

— Что с ним?

— Кто его так отделал?

— И ведь уже не в первый раз!

— Федя! — приподняла его голову Валентина. — Да что же это?!

— Жив! Смотрит!

— Все сказал, — прошептал Федор.

— Что? Что он говорит?

— Только ведь и сказать-то, по правде говоря, было нечего, — добавил он. — Не поняли.

— Скорую!

— Не надо скорую... — Федор попытался встать. Ему помогли. — Все нормально, ребята...

Валентина вытирала кровь с его лица и плакала.

— Успокойся, — попросил Федор. — Ничего особенного не произошло. В подвал просто ходил.

— И куда он там ходит?

— Да нет там ничего! Нет! Ерунда какая-то.

— Ты идти-то можешь, Федя?

— Могу. Пустите. Умоюсь только.

— Смотри. Через десять минут философский семинар. А тебе доклад делать.

— Не беспокойтесь. Доложу.

— Федя, — сквозь слезы прошептала Валентина. — Бросил бы ты все это... а!

— Ладно... Видно будет... Так вы идите...

Валентина осталась его ждать.

Федор вошел в умывальную комнату, начал осторожно смывать с себя кровь. Мешал блестящий браслет из какого-то неизвестного ему металла с куском цепи. Браслет был на правой руке. Ладно, подумал Федор, дома спилю. А пока руку в карман. Нормально все. Нормально. Вот только как *там* его спаситель?

4

Дня через четыре после нашего несостоявшегося вселения в новую квартиру пришел Афиноген.

— Здорово, миряне! — прогудел он, заняв собой почти весь коридорчик.

Афиногена я не придумал.

Когда мы ехали в фирменном поезде «Фомич», Артемий Мальцев ночью разговаривал с бабусей. Бабуся рассказывала о своем сыне Афиногене. Я не слышал их разговора. Чуть позже я взялся за повесть о наших приключениях и написал выдуманную биографию Афиногена. Артемий читал черновик. Оказалось, что рассказ бабуси я повторил слово в слово. Из окончательного варианта повести биографию Афиногена выбросили по чисто техническим соображениям: она замедляла развитие сюжета, а сам Афиноген в повести так и не появился.

Вот что тогда выбросили:

«Бабуся прикусила губу и посмотрела на Артемия сухими, горячими, жгуче молодыми глазами.

— Все хорошо, голубчик, но вот один шалопай у меня уродился, младшенький. Сорок пять лет уже подлецу стукнуло. А все гудит, гуди-ит. Старшие-то и воевали и ранены были. Работали. Все люди с умом и обстоятельные. А уму помогают своими руками. А этот, Афиноген, в войну-то еще мальчишкой был. Уж сообразительный и на всякие выдумки горазд! В колхозе-то каких только хитростей не понапридумывал. Трактора у него сами пахали, а комбайны жали. Сидит, бывало, на пригорочке, а трактор с плугом ходит по полю, сам заворачивает, нигде огрехов не делает. И пахота хорошая».

Я понимал, что такого в войну не могло быть, но верил. Хотелось верить...

«— Непривычно все это было, — продолжала бабуся. — Председатель придет и давай костерить его на чем свет стоит. А малец улыбается. Председателю это и подавно в обиду. Выгоню, говорит, к чертям собачьим! Лоботрясы мне не нужны! Оно с виду-то, может, и похоже было на это. Но ведь трактора-то пахали. Жутко смотреть было, как они без человека ходили. Раз, другой, третий обругал его председатель, а потом и в привычку вошло. Вроде присказки. Афиногенишь, мол. Это о тех, кто плохо работал. Ну, а мой уж школу кончил. Приходит раз домой и говорит: «Хватит, мама. Пусть председатель сохой пашет. Не может он поверить, а я мучиться не хочу. Да и не лежит у меня душа к деревне. В город поеду. В Москву! Учиться буду!» Я так и, ахнула. В город! Да еще в Москву! Ждут его там не дождутся! Тут у нас ведь уже и житье полегчало. Старшие шестеро с фронта пришли. У кого еще и перед войной дети были. А другие сразу переженились. Работай, да радуйся, хотя радости-то, правда, было мало. И то счастье великое: живы все. Но Феня заладил свое, ни родителей, ни братовьев не слушает. Что делать? Меньшего вроде всегда балуют. И сам не замечаешь, а получается. Советовали, увещевали, он все свое. Ну, купили ему хромовые сапоги и отпустили. Месяца три молчал, потом письмо пришло, учится, мол, в Москве, в университете. Я и слова-то такого выговорить не могла. Агроном спросит, на каком он факультете? А я и сказать ничего не могу. И что это такое — факультет? Учился Феня, приезжал на каникулы, рассказывал. Отец, братья соберутся, он им что-то рисует, чертит. Лбы нахмурят, смотрят, молчат. Физика — наука-то, которую он изучал. Молчат, не верят, а потом еще и смеяться начнут. Я их стыжу, а они свое: «Ну, Феня, сочинять ты мастак!» Обидится, уйдет, а потом что-нибудь в колхозе или дома сотворится. То дома перепутаются, глядишь, а соседи уже другие. Сельпо однажды поднял на

воздух, метров на пять, продавщица Манька по веревке спускалась. А мужики, что за водкой пришли, грозились побить Феню. Ну это они, конечно, так. Столько братовьев, кто его тронет... А лезть по веревке за своими бутылками поопасались. Потом уж, когда бабы пришли кое-чего купить, так он снова магазин в земле укрепил. Будто так и было. А все не верили ему. Фокусы, мол! В цирке в городе и не то показывают! Фокусы... Рассказывал, что ему и в университете не верят. Не может быть там чего-то и все тут! И не помню уж чего... По науке какое-то слово. А так к нему братовья хорошо относились, любили младшенького. Потом как-то приехал, смотрю: выпивши. Отец, да мать, братья вы мои, да племяши хорошие! И два дня беспробудно. И где только зелье доставал? В доме ни капли. В сельпо не ходил. Приносил, что ли, кто? Так и не узнала. Потом снова все хорошо. А осенью пишет, что учебу свою бросил. Ну, а раз бросил, то, значит, в армию забрали. Через три года вернулся, неразговорчивый, хмурый. Жену привез. Мальцу-то уже, Коленьке, пятый годок пошел. А ведь ничего Феня нам раньше и не говорил про женитьбу свою. И про науку свою ни слова. Горько уж нам стало, что Феня в физику свою не выбился, ну да ладно, лишь бы человеком был. В деревне не остался. Уехал в Фомск. Работать устроился в мебельный магазин грузчиком. Известно, какая там работа. Погрузил, выгрузил, затаскивать какой-нибудь шкаф поартачился, потому что выше первого этажа бесплатно не положено, ну, а за пятерку — пожалуйста. Сколько их за день-то, этих рейсов. Деньги шальные. От таких толку не бывает. К пяти часам уже и водочки примут. А после пяти у грузчиков вообще частная лавочка открывается. Магазин доставку оформляет только до пяти, а люди-то до пяти в основном сами работают. Вечером самый и наплыв. Крутятся, а все равно едва успевают. Ну и уставали они страшно как. Была я у него в гостях, видела все. Работа, что ни говори, тяжелая. Товарищи-то знали, что он когда-то на физику учился, да бросил. Так и прозвали — «физик». А что, мол, твоя физика для грузчиков может сделать, кроме подъемного крана? Так нам с ним несподручно. Злился он. Видно, о физике только и думал. Сноха говорила, что пишет он иногда что-то по ночам, но никому не показывает. Да и кому показывать? А потом сделал он друзьям грузчикам подарочек. Какая-то нуль-упаковка называется».

В Марграде нам с Афиногеном встретиться не довелось. Не до этого было. Да и не знал я, что бабуся и ее внучек Коля

привезли Афиногена в Марградское отделение Академии наук на предмет изучения его изобретения: нуль-упаковки. Сам-то я тогда прибыл в Марград в служебную командировку по рекламации на многоканальный тензометрический усилитель. И только в Фомске...

«Милый ты мой голубчик! Я сейчас знаю, что он хотел от жизни. Он хотел много ей дать, но хотел много и взять. Но то, что он предлагал, никого не заинтересовало, этого даже никто не понял, его просто высмеяли. И вот он уже двадцать с лишним лет грузчик. И это с его-то гордостью. Ничего плохого не хочу сказать про грузчицкую работу. Тяжелая, но ничуть не хуже других. Дело в том, что она ничего не дает его душе. В душе-то он все равно физик, хотя я и не понимаю, что он там такое сделал. А эти каждодневные пятерки покупателей, которым он услугу оказал, они ведь на выпивку идут. Не углядела я за ним. Он уже два раза лечился, не помогает. А семья у него хорошая. Трое детей. Коленька вот университет кончил, в Старотайгинском Академгородке работает. Этим-то он в отца пошел. И умом, а ростом, и фигурой. Только бы на кривую дорожку не ступил, как отец. Вот приедет он в Фомск, и тогда отец совсем другим делается. Тут у них разговоры разные начинаются. Сидят, чертят, пишут, спорят. Но верх-то всегда берет Афиноген. Колько-то еще до отца далеко. И не пьет Феня в это время. Но чувствую, что душа у него все равно болит: пролетела жизнь и ничего в ней интересного не получилось».

Однажды через мебельный магазин я узнал адрес Афиногена и познакомился со странным грузчиком. И тут оказалось, что оба мы интересны друг другу. Изобретение Афиногена не подтвердилось, и я иногда думал: а вдруг от очередного запоя его спасла именно моя дружба? По вечерам мы иногда ходили друг к другу в гости. Сидели обычно на кухне, если это было у меня, и в комнатке с отгороженной кухней — у Афиногена. В сарае Афиноген оборудовал себе нечто вроде художественной студии. Он рисовал, лепил, чеканил. Эти занятия тоже помогали ему держаться.

И вообще я вскоре понял, что Афиноген в первую очередь художник. Грузчик ли, физик, но всегда художник.

В сарай он, правда, меня ни разу не приглашал и картины свои не показывал.

5

Ну так вот...

— Здорово, миряне! — прогудел Афиноген, заняв собой почти весь коридорчик.

— Здравствуй, Афиноген Каранатович, — ответил я, пожимая огромную ладонь. — Раздевайся, проходи.

— Разденусь, коли пришел.

Афиноген был широк в кости, высок, слегка сутул. Таскать шкафы и диваны такому было нипочем. Лестницы вот только в стандартных домах узковаты.

Он снял шапку, полушубок, валенки, подшитые в два слоя, пригладил седые, торчащие в разные стороны волосы.

— Вот и зима, Федор Михайлович.

— Да уж зима, — согласился я. — Ты проходи.

Афиноген шагнул в комнату. На диване сидела Пелагея Матвеевна и смотрела по телевизору хоккей.

— Как здоровье, Пелагея Матвеевна? — пробасил Афиноген.

— Здравствуй, Феня... Какое уж теперь здоровье? Давление вот поднялось. Скорую помощь бесперечь вызывают. Уколы ставют. А так какое здоровье...

— Здравствуй, Афиноген, — выглянула из кухни Валентина. — Что поделывает жена?

— Да дома дела найдутся.

— Ох, и не говори. Все дела, да дела.

— Здравствуйте, — выглянула из второй комнаты Ольга и тут же скрылась, покрепче притворив дверь. Гость даже и не успел ответить.

— Подруги там у нее, — объяснил я. — В пальто сидят. На минутку, пришли.

— На минутку, а уж третий час сидят, — сказала Пелагея Матвеевна.

— Пусть сидят, — махнул я рукой. — Чем по подъездам-то околачиваться...

— Так, значит, снова с квартирой ничего не выгорело? — спросил Афиноген и с опаской опустился на стул, тяжело под ним заскрипевший.

— Пока не выгорело, — ответил я.

— Обещают, обещают, а не дают, — огорченно сказала Пелагея Матвеевна. — Зачем тогда в писатели поступал?

— Да дадут, дадут.

— Догонют и еще раз дадут! — сказала старуха и, поджав губы, уставилась в телевизор, звук которого был приглушен.

Там в это время забили в чьи-то ворота шайбу. — Федя, ведь это Испазита?

— Да нет, — с некоторой досадой ответил я. — Эспозито у канадцев играет. А это наши: «Спартак» и «Динамо».

— А-а... — согласилась теща. — То-то я смотрю, что на Испазиту смахивает.

Пелагею Матвеевну я не придумал. Жизнь ее прошла тяжело, как и у многих тысяч других женщин, оставшихся во время войны в тылу без мужей. С четырьмя детьми на руках, младшенькая из которых, Валентина, даже и не помнила своего отца. Голодная деревня, голодный город. Мне почему-то казалось, что Пелагея Матвеевна даже не понимала всей трагедии, выпавшей на ее долю. У нее была одна сверхзадача, подсознательная — выжить, чтобы вырастить детей. Малограмотная, непредприимчивая, простоватая, она могла исполнять только подсобные работы. Вершиной ее карьеры была должность вахтера в небольшом гараже. Но это уже ближе к пенсии. Однажды, сразу после войны, она пыталась заняться спекуляцией, если только можно так выразиться. Одолжила у кого-то денег и поехала в Старотайгинск за чугунками, надеясь продать их в Фомске подороже. На обратном пути все чугунки у нее реквизировали, да еще преподнесли штраф за попытку спекулировать. Так прогорело это рискованное мероприятие. А в нетопленой комнате ее ждало четверо детей. Старшие подрастали и начинали работать, работать и учиться, учиться и работать.

Выжили.

Валентина поступила в университет уже сразу после школы. Времена стали полегче. Но тут всевозможные болезни начали одолевать старуху. Аукнулись и лесозаготовки, и осенний сплав, холод и голод.

— А я уж думал, таскать твое барахлишко придется, — сказал Афиноген. — Ребят крепких подобрал.

— Да кому таскать — найдется, — отмахнулся я и от резкого движения сморщился. Жутко саднило кисть руки.

— Ты что? — спросил Афиноген.

— Да... пустяки... рука немного болит.

— Ну-ка, покажи. Да что это с ней?

— Браслет надавил.

— Что за браслет? — удивился Афиноген, разглядывая запястье. — Ничего себе браслетик! Тебя в кандалы, что ли, заковывали?

— Да кто это меня в кандалы? Вроде, не за что... Силу свою в настройке проверяли. Наклеиваешь на пружину с браслетом тензодатчик и растягиваешь ее. А по прибору, измерительному усилителю опре...

— Вот он, браслетик, — сказала Валентина, показываясь из кухни. В руках у нее было то самое кольцо из неизвестного мне материала. — Едва распилил. Так и ходил бы!

— Ну-ка, ну-ка, — попросил Афиноген. — И впрямь, кандалы! Откуда?

— Да слушай ты их больше — рассердился я. — Валентина, просил же...

— Кандалы и есть! — сказала Валентина. — Ты бы хоть Ольку пожалел!

— Да никакие это не кандалы! Ну... Писать начал... Один там у меня в прошлое пропутешествовал, а его в пыточную.

— Ты знаешь, Афиноген, пишет, пишет по ночам, а утром то избит, то в кандалах, то связанный, то еще что-нибудь. Не знаю, кому «скорую» вызывать.

— Да ерунда все! — Не любил я эти разговоры. — Это не со мной, а с тем, про кого пишу. Это его в кандалы заковывали... А впрочем, даже и его не заковывали. На дыбе он висел.

Откуда у меня взялся этот странный браслет, я сам до сих пор понять не мог. Не было такого в моих рассказах.

— Ерунда, а едва распилил железку-то, — подала голос Пелагея Матвеевна. Она хоть и смотрела хоккей, а разговор тоже не пропускала, благо информация тут поступала по разным каналам.

— О чем рассказ-то, Федор Михайлович? — спросил Афиноген.

— Да разве это расскажешь... Незакончен он к тому же.

— А все-таки...

— Ну, про боль человеческую... про пытку жизнью...

— Ой Валя! — позвала старушка. — Дай мне лекарство. Опять в глазах круги. По́ют, по́ют, а толку никакого!

— ...про ответственность...

Валентина сходила на кухню за лекарством.

— А ты то принесла?

— Да то, то, мама.

— Понимаешь, Афиноген Каранатович, в двух словах пересказать свой же рассказ, это все равно, что перед толпой раздеться. Стыдно, а главное, кажется, никому не нужно.

— Папа, — выглянула дочь. — Ты по физике можешь задачку решить?

— Сейчас, Оля. Сейчас решу.

— Так дай почитать! — почему-то обрадовался Афиноген.

— Да я же от руки пишу. Ты разве поймешь мои каракули?

— А ты не беспокойся, Федор Михайлович, пойму, если захочу.

— У него не фантастика, а черт знает что! — сказала Валентина.

— Не одна ты такого мнения придерживаешься, — согласился я. — Сейчас принесу. Хочешь, так поразгадывай.

Я вошел в маленькую комнату. Три дочерины подруги на мгновение стушевались, но тут же вновь зашушукались, чему-то засмеялись.

Вид комнаты являл собой купе спального вагона. Справа от двери письменный стол дочери, дальше кровать жены. По цельной стене — кровать дочери, шифоньер, моя кровать. Слева от двери — секретер, надстроенный до потолка частью со стеклами распиленного когда-то серванта. Между кроватями дочери и жены — глухая часть того же серванта — пенал для хранения белья. Два стула, возле стола и секретера, заключали обстановку. Больше здесь уже ничего нельзя было разместить при всем желании.

Подруги, да и сама Ольга сидели на кроватях.

— Вы почему не разденетесь-то? — спросил я и понял, что это прозвучало как сигнал к отходу. — Да ладно. Сидите. Где задачка?

Ольга ткнула пальцем в раскрытый учебник.

— Вы тут, конечно, уже поломали над ней головы?

— Поломали, — ответила дочь.

— Не может быть, чтобы она не имела решения!

— Ответ, по крайней мере, есть. А вот решение...

— Решим... Совместно будем решать или мне сначала одному?

— Совместно!

— Одному!

Мнения подруг разделились.

— Одну минуточку! Вы пока прочтите условия задачи. — Я повернулся к секретеру и вытащил из него тетрадь, толстую, в клеточку, 96-листовую. — Займу сейчас Афиногена Каранатовича и к вам. — Я вышел в большую комнату.

Комната была проходной, с огромным проемом в стене между коридорчиком и кухонькой, с очень неудобной планировкой. Три кровати здесь было не разместить. Комнату занимала теща. Здесь стояли: пианино, телевизор, письменный стол Валентины и стенка в торце комнаты с книгами, проигрывателем и магнитофоном.

Когда-то, лет двенадцать назад, чуть ли не сразу после вселения в эту квартиру, мы поместили Пелагею Матвеевну в маленькую комнату с Ольгой. Но теща неимоверно, ужасающе храпела. Лишь одну ночь втихомолку проплакала в страхе внучка, и старуху вернули в проходную комнату. Конечно, больному человеку было здесь не сладко. Через комнату постоянно приходилось ходить, почти тут же гремели кухонной посудой. Правда, немного скрашивал жизнь старухи вечно включенный телевизор.

Дочь подросла, и спать с нею в одной комнате казалось мне мучительно стыдным. Но другую квартиру раз за разом не давали. Что-то сюрреалистическое было в этих предложениях, комиссиях, посещениях лиц, которые намеревались сюда вселиться. Они нисколечко не стеснялись хозяев, вслух «расставляли» свою мебель по углам и вдоль стен. Это было противно слушать, но я их понимал. Я и сам расставлял мебель в каждой вновь предлагаемой квартире, правда, лишь в своем воображении. Странными казались мне и причины отказов, когда я словно в заколдованном круге ни от кого не мог добиться ответа. Каждый раз мы с женой решали не поддаваться больше на провокации, жить себе и жить здесь, но проходило время, злой волшебник снова предлагал нам квартиру, и когда мы решили, что уж на этот-то раз все будет в порядке, начинали упаковывать вещи, *непонятное* насыщало атмосферу вокруг нас, и я тыкался как слепой котенок в приемные и кабинеты, выслушивая ничего не значащие обещания, успокаивания и еще что-то, названия чему я не мог придумать, и все закручивалось в какой-то постыдной карусели, откуда меня в конце концов выбрасывало центробежной силой.

И тогда я покупал бутылку водки: начинал считать себя человеком, освобождался от всего нелепого, что успевал нацепить во время квартирной эпопеи. По ночам меня мучил тещин храп. Каждый вечер, ложась в постель, я уже ждал этого храпа, боялся, ненавидел и потому лишь настраивал себя на него. Уже много лет я не спал нормально. Но когда впереди не

было никакого просвета, я чувствовал себя все же увереннее, тогда я не расслаблялся.

— На вот, — сказал я Афиногену, — в конце там...

— Вам какую-нибудь закусочку соорудить? — спросила Валентина.

— Нет, благодарствую, — серьезно ответил Афиноген, — сейчас я очень занят необходимейшим делом, так что выпивки не принимаю.

— Ох, уж и занят! Что же это за дело, если не секрет?

— Да никакого секрета и нет. Жилплощадь вот для фантаста пробиваю.

— Пробьете вы! — развеселилась Валентина. — Сидите уж...

— Я серьезно, Валентина Александровна.

— У вас только с бутылкой дело серьезно.

— Нет, нет. Никаких бутылок. Правда, Федор Михайлович?

— Правда, Афиноген Каранатович, — согласился я. Работать, работать надо было!

В это время задремавшая было старуха дико всхрапнула и проснулась. На экране телевизора продолжали бегать хоккеисты.

— Федя, это ведь Испазита? — как ни в чем не бывало спросила она.

— Да нет же! — рассмеялся я. — Эспозито играет в другой команде.

— А че смеешься... Я же вижу, что Испазита.

— Ну пусть Эспозито.

— Валя, ведь это Испазита?

Почему-то из всех хоккеистов Пелагея Матвеевна помнила лишь одного Эспозито.

— Ах, мама, мне не до хоккея.

— Конечно, Испазита, — убедила себя старуха. — Смеются еще...

— Читай, — сказал я Афиногену и снова отворил дверь в маленькую комнату.

Что-то у девушек вид был совершенно неподходящий для решения задач по физике.

— Ну, как дела с задачей? — спросил я.

— Никак.

— Давайте смотреть. Где она? Так-с... Так-с... А что такое фокальная плоскость? А... Ясно... А это линейчатый спектр?.. Странно... Тогда решетка должна быть.

— Так она и есть! — сказала Ольга.

— А! Ну, так тогда все ясно.

Через минуту задача была решена. Причем я лишь задавал наводящие вопросы, большей частью для самого же себя.

— А! — воскликнула Ольга. — Задачка-то ерундовая! И с ответом сходится.

Подруги меня явно стеснялись, и я поспешил уйти. В большой комнате уже сидела соседка. На лбу Пелагеи Матвеевны лежало мокрое полотенце.

— Пошли в кабинет, — сказал я Афиногену.

— Идите, идите, — напутствовала нас Валентина.

— Ой, я, наверное, помешала? — заволновалась соседка.

— Нет, нет, — возразила Валентина. — Им там удобнее.

6

Кабинетом я вполне серьезно называл кухоньку, крохотную, два метра на два. Но здесь все-таки можно было уединиться.

— Так что у тебя, Федор Михайлович, с квартирой?

— Ерунда, — отмахнулся я.

— А все-таки?

— Да, понимаешь, мы ведь живем в заводском доме. И в случае, если я съеду отсюда, завод немедленно вселит в квартиру своего очередного.

— Логично, — кивнул Афиноген.

— А Учреждение тоже желает поселить сюда кого-нибудь из своей очереди. Раз мне Учреждение дает, то уж старую квартиру ему за это подавай непременно.

— Так ведь у Учреждения, вроде, никаких прав на нее нет.

— Нет, — согласился я.

— В чем же тогда дело?

— Геннадий Михайлович не может дарить мне четырехкомнатную, да еще заводу двухкомнатную.

— Да что же он дарит заводу? Его же собственное? И при чем тут — дарить?

— При всем при том. Непосильно для Учреждения так разбрасываться квартирами.

— Тут мой стариковский ум ничего понять не может. Тебе обещали квартиру?

— Обещали. Резолюция горисполкома даже есть.

— Так в чем же дело?

— Там написано об улучшении жилищных условий писателя Приклонова.

— Ну?

— А если мне дадут новую квартиру, а старую заберет завод, то получится, что я *получил* новую квартиру, вместо того чтобы *улучшить*.

— А это что, не одно и то же?

— Как видишь, не одно.

— Ничего не понимаю. Тебе обещали квартиру?

— Обещали. Уже три раза давали... но не до конца. Тут все дело в том, что мне не квартиру положено, а улучшение жилусловий...

— Совсем ты меня, Федор Михайлович, запутал. Ты мне одно скажи, дадут тебе квартиру?

— Нет.

— А что тебе сделают?

— Улучшат жилищные условия.

— А каким образом можно улучшить жилищные условия?

Я обомлел. Смотрел на Афиногена, но не видел его. Где-то над затылком возникла точка. Не дышать, задержать ее на мгновение. Сказать: «Так...» Так, так, все так. Все мгновенно связалось, расставилось по местам, превратилось в рассказ. Это у меня часто бывает. Возникает точка, в которой уже заключен рассказ. Только бы не спугнуть его. Все еще смутно, подсознательно, но рассказ-то готов. Готов! А как и почему, объяснить не могу. Да и не хочу. Готов рассказ про квартиру, про то, каким образом можно улучшить жилищные условия. Про везучего человека Артемия Мальцева, его жену, детей. Про друзей их. Я уже знал рассказ до последней точки и... еще не знал его. Но это обычно, нормально. Сейчас нужна была только ручка да бумага. Все получится. Я никогда не спешил писать. Приятно носить в голове рассказ, существующий пока лишь в виде точки. Это как секрет, как тайна. Торопиться нельзя и в то же время уже хочется написать этот рассказ. Так, так, все так.

Наверное, я глупо улыбался.

— Тьфу, — сказал Афиноген. — На тебя смотреть, так счастливее человека нет.

— Сейчас нет.

Носились же в голове всякие сюжеты. Многое было начато. У меня всегда в работе полтора десятка рассказов. А вот этот вспыхнул, и все в миг изменилось. И что мне теснота! Что мне тещин храп! У меня ведь есть *нечто!* Я, может, и запел бы сейчас, да вот только не умел.

— Сколько раз ты уже «вселялся» в новую квартиру?

— Трижды, Афиноген Каранатович. Трижды.

— Тогда тоже причины были?

— Были, были причины. В первый раз оказалось, что нецелесообразно селить всех писателей Фомска в один дом...

— А сколько вас всех?

— Пятнадцать.

— И в тот дом всех поселили?

— Никого не поселили.

— При чем тогда: всех?

— Вот этого, Афиноген Каранатович, не знаю.

Давай, давай, Афиноген. Спрашивай. Что-то еще нужно. Какое-то слово. Крутится оно возле, а не поймешь. Какое-то одно слово для рассказа нужно.

— А второй раз?

— А во второй раз выяснилось, что в городе пять тысяч семей живет в подвалах.

— Как это выяснилось? Что, до твоего случая никто этого не знал?

— Знали, наверное.

— Ты представляешь, сколько нужно домов, восьмидесятиквартирных, чтобы всех выселить из подвалов? Шестьдесят с лишним!

— Да там тогда ошибка с ордером произошла.

Ошибка! Ошибка с ордером! Вот ведь что нужно-то было: ошибку, ошибочку милую, маленькую такую, настолько очевидную, что она никому не бросится в глаза. Да я ведь уже столько месяцев про ту ошибку со своим ордером знал, а ошибка для рассказа в голову не приходила! Почему же это так? Не знаю. И никогда не узнаю. Но уж теперь-то все в порядке. Радуйся, Артемий Мальцев! Афиноген своим вопросом создал в моей голове рассказ. Фантастический рассказ о твоей квартире!

— Понимаешь, Афиноген... ха-ха-ха! — Меня просто распирало от смеха. Не удержишься никак.

— Развеселая, я вижу, у тебя жизнь, Федор Михайлович.

— Не жалуюсь... Ха-ха-ха... Фу! Ты прости меня, Афиноген Каранатович. — Я еще раза два хохотнул и все же успокоился. — Там в ордере стояло: пятьдесят семь квадратных метров. А на самом деле в квартире было сорок семь квадратных метров. Кто-то описку сделал. Вот если бы в ордере площадь была записана правильно, мы бы квартиру получили. Ну, а

когда разобрались, уже поздно было. Да и не я, конечно, разобрался, а те, которые въехали.

— Бред собачий! Ордера, подарки, метры! Еще ждать будешь?

— Нет, Афиноген Каранатович, не буду я ждать. Мы с Валентиной решили, что нам новая квартира не нужна.

— Ну, молодец!

— Да... Зашел я на следующий день в писательскую организацию... Ответственный секретарь спрашивает, ну как, мол, дела с квартирой? Нормально, отвечаю. Ну вот, а ты волновался, нервничал, не верил! Не дали, говорю, квартиру. Как не дали?! Это почему еще не дали?! Я объясняю. А он: пиши объяснительную записку! Квартиру он не получил! Нам их что, каждый квартал дают?! Я и написал. Все, как в пьесе, по лицам. А в конце сообщил, что подарки мне не нужны.

— Не нужны?.. Что же теперь делать будете?

— Ничего. Жили ведь раньше, проживем и еще.

— Тьфу! Баранья голова...

— Так ведь здесь ничего не поделаешь. Заколдованный круг. Вот если бы у меня вовсе квартиры не было...

— Да-а... — сказал Афиноген.

— А ты-то сам, Афиноген Каранатович, вспомни, как развертывались дела с нуль-упаковкой. Ведь была она, была! Сам, своими собственными глазами видел! И другие видели. Ведь двое людей очень даже просто проникли в макет Марградского универмага. А потом получили телеграмму от ученых: с одной стороны, вроде бы, действительно, существует эта нуль-упаковка, а с другой — нет ее и не может быть никогда. Как это понять? Так ведь дело и заглохло.

— Там совсем другое дело, — нахмурился Афиноген. — Там ведь для проникновения нужен был вполне определенный человек. Может, в комиссии такого не оказалось?

— А поезд? А пасека? Тут ведь специальные люди были не нужны! И все равно — было, не было.

— Для проникновения в нуль-упакованный мир всегда нужны люди определенного психологического склада. Это дело сложное.

— Конечно. Нуль-упаковка — сложное, а квартира — простое.

— Должны же ведь понимать, что у всех, кто работает, есть свое рабочее место. А у писателя оно дома! Дома! Ему, кроме жилплощади, бумаги да ручки, больше ничего не надо.

— Как не надо?

— Ну, это другое. Вдохновение, работоспособность и прочее. Но писать-то, писать где?! На кухне пишешь? По ночам?

— На кухне, — согласился я. — Тут ничего поделать нельзя. Конечно, тещин храп загонит меня в психолечебницу, но уж там и отосплюсь... Это что-то ужасное — храп. Камера пыток. Интересно, была или нет в средние века пытка храпом? Мне почему-то кажется, что была. Никому не выдержать.

— Уж не потому ли ты и про камеру пыток написал?

— Может быть. Не знаю. Написал и все. Это снимает напряжение. Напишешь, как мучили человека и вроде самому легче станет. Не один ты такой. Только если я и пишу что ужасное, то только про себя, про Федю Приклонова, то есть. Да и был, был такой Федор Михайлович Приклонов. Казань брал. В опричнину попадал. А что дальше — неизвестно. Отделали или отпустили. В «Ономастиконе» Веселовского сначала прочитал. Есть там упоминание о Приклонове. А потом уж и временем этим стал специально интересоваться. Но все рука не поднималась. Не хватало чего-то. А вчера вот заснуть никак не мог, встал да и написал.

— И продолжение будет?

— Теперь, раз начал, будет. Я его сквозь время хочу протащить. И в настоящее, и в будущее.

— А почему их там у тебя три?

— Сам еще не знаю. Но почему-то получилось три.

— А с Главным распорядителем абсолютными фондами все так и оставишь?

— Что значит — оставишь? Я ничего не брал, так и оставлять нечего.

— У вас, писателей, все на заметке. Где-нибудь да и вставишь.

— Возможно. Ручаться не могу.

Да что тут ручаться?! О той истории, которая произошла со мной, я писать не хотел. Противно было. А вот о другой... Я ведь мог, мог *выдумать* Геннадия Михайловича! Так вот о том, другом Главном распорядителе я действительно хотел написать. У меня уже и сюжет был в голове. Собственно, он начал складываться еще там, в приемной, когда меня привезли на «Волге». Этот рассказ я не чувствовал в виде точки. Он складывался по частям, по следам событий, по отпечаткам событий в моем сознании. Рассказик должен был получиться веселым и безобидным. Я знал, что писать про Главного распорядителя абсолютными фондами реалистический рассказ не стоило. В моих глазах Главный распорядитель был нетипичен.

— Я тебя вот еще о чем хочу спросить, — сказал Афиноген. — В твоем рассказе в нашем времени оказался другой Приклонов?

— Пожалуй, что так, — согласился я.

— Почему, пожалуй? Ты же ведь писал рассказ, тебе и знать! Так тот или не тот?

— Скорее всего не тот.

— Нашего-то Приклонова в кандалы не заковывали?

— Нет. На дыбу поднимали, а в кандалы — нет.

— А почему же ты, Федор Михайлович, в кандалах оказался?

— Ну вот. И ты туда же... Производственная травма. Да и не травма даже, а так, пустяк. Я даже в санчасть не обращался.

— А железка?

— Что железка?

— Откуда цепь с кольцом взялась, Федор Михайлович?

— Придумал.

— Та-ак... А почему Валентина Александровна вдруг в каком-то НИИ оказалась? Она ведь, кажется, в Политехническом работает? Преподавателем...

— А в рассказе она в НИИ работает. Это ведь все-таки рассказ, а не хроника жизни нашей семьи.

В большой комнате началось какое-то движение. Загремел таз. Торопливо пробежали в коридор Ольгины подруги.

— Федя, — открыла дверь кухни Валентина. — «Скорую» опять вызывать надо. Маме плохо.

— Сейчас, — ответил я. И Афиногену: — В автомат бежать надо.

— Пошли. Позвоним. Да и домой мне пора. А ты, Федор Михайлович, как-нибудь заскочи ко мне на днях. Дело есть.

— Ведь сколько раз говорила, — сказала Валентина, — попроси в писательской организации, чтобы тебе телефон поставили.

— Телефон! Еще чего захотела. Хм... Телефон. Не так-то просто.

— А бегать по автоматам легче?

Пелагея Матвеевна сидела на диване, закрыв лицо мокрым полотенцем, по которому в таз ручьями бежала, кровь. Кровь шла из носа. Вот уже с месяц, как только началась оче-

редная эпопея с квартирой, иногда по несколько раз в день случалось это.

— Да не надо «скорую», — донеслось из-под кровоточащего полотенца. — Каку холеру ее вызывать.

— Я все же вызову, — сказал я.

Соседка уже ушла. Дочь и жена суетились возле Пелагеи Матвеевны. Подруги, распрощавшись, выскочили на лестничную площадку.

Я вызвал «скорую», вернулся в квартиру, сообщил, что машина вот-вот придет, и снова вышел, чтобы встретить врача.

Афиноген ждал меня внизу. По его лицу было видно, что он что-то хочет сказать мне. Но тут подошла «скорая».

Врачи сделали, что могли, и уехали.

Ничего непоправимого в тот вечер не произошло.

Потекла, потекла у старухи кровь из носу, да и перестала.

7

Черт дернул меня начать писать. Но потом я об этом перестал жалеть. Писать было интересно. Когда я говорю: придумал, то на самом деле я ничего не придумал. На самом деле все так и было, есть или будет. Ну, а если и не будет, то не беда, я придумаю что-нибудь еще.

Первый рассказ я начал писать по картинкам. Журнал «Техника — молодежи» предложил конкурс по рисункам, иллюстрациям, на которых было изображено все, что могло встретиться в фантастических романах: пришельцы, звездолеты, дельфины, египетские пирамиды, непонятные статуи (каменные — решил я про себя) и люди. Впрочем, они вполне могли быть пришельцами. Я тогда еще не знал, что все, что я напишу, уже было, есть или будет, но почему-то сделал все «наоборот». Каменные статуи стали у меня разумными существами, люди — кибернетическими машинами, и дальше все в таком же духе. Рассказ я писал девять месяцев, по одной строке в день. Мне жалко было зачеркивать уже написанное, и я ничего не зачеркивал. Рассказ я назвал «Почти как люди?» Вру, вернее, ошибаюсь. Рассказ назывался: «Не только нам подобные...» Оказалось, что такие рассказы уже писали и до меня. Я впервые был потрясен волшебной силой фантастики.

Теперь-то я уж точно знаю, что придумать, чего бы не было, нет или не будет, невозможно. Но тогда я этого не знал и написал еще пятьдесят рассказов. Начиная с десятого, я тратил на рассказ уже от одного дня до трех. И это не потому, что

я стал быстрее водить пером по бумаге. Я просто немного наловчился. Рассказы мои никто не печатал. Рассказы мои никто из редакторов и рецензентов даже не читал, потому что они не были фантастическими. Но я-то писал фантастические, даже научно-фантастические!

Писать мне нравилось, но тематику я решил изменить. Со звезд я свалился на Землю. У меня в это время впервые возникла еще смутная догадка, что ничего нельзя придумать. Но окончательно я еще этого не почувствовал. Я стал писать о том, что хорошо знал, о самом простом, обыденном, о том, словом, что каждый видел тысячи раз.

Мои рассказы стали называть фантастическими. Я не возражал, потому что меня не спрашивали. А если бы и спросили, я все равно бы не возразил, хотя уже *почти* знал, что ничего придумать нельзя.

Рецензенты стали почитывать мои рассказы, но редакторы еще не решались их печатать.

А потом я взял да и написал о том, что произошло в фирменном поезде, который шел из Фомска в Марград.

Так я стал кое-где официально называться писателем. А до этого был просто настройщиком тензометрической аппаратуры. Еще раньше я учился в политехническом, а до этого — в школе. Школа была хорошая. Потом из нее сделали интернат для умственно отсталых детей. Но это ничего, потому что из нашей школы успели выйти доктора и члены-корреспонденты Академии наук. А что будет дальше, я не знаю, потому что не хочу придумывать... Еще раньше была война. Отец воевал. Мать весила сорок килограммов. Старший брат возглавлял в школе комсомольскую организацию. Младшая сестра ходила в детсад. Бабушка пыталась что-то варить. Все мы жили в одной комнате с печкой посредине. Так было теплее. Впрочем, другой у нас и не было.

Я родился в 1936 году. А что было еще раньше — не помню, хотя и знаю из книг.

Я ничего *не придумываю*.

Я знаю, что было сто и сто миллионов лет назад. Ну, конечно, в самых общих чертах. Но для повседневных забот и этого за глаза. Я даже знаю, что Солнечная система образовалась из газопылевого облака или чего-нибудь другого, но это к делу не относится. Когда потребуется, я все буду знать точно, потому что ничего *не придумываю*.

На работе я кое-что изобретал, но не машину времени.

Машину времени изобрел не я и даже не Уэллс. Но об этом в другой раз.

Впрочем, иногда можно обходиться и без всякой машины.

Я сидел и писал на кухне. Здесь было удобно. Можно вскипятить чаю или заметить, что с Пелагеей Матвеевной опять плохо. С просьбой вызвать «скорую» она обращалась редко. Это означало, что ей уже очень плохо, совсем невмоготу.

Но сейчас она храпела, и я мог писать спокойно. Я и писал. Мне нравилось это занятие.

8

«...В центре города, ничем не прикрытого с юго-запада, ветер свирепствовал. Влетев с широкого вольного простора на Центральную площадь, он бешено метался в поисках выхода, а затем стремительно нес волны колючего снега по улицам и прилегающим переулкам мимо института радиоэлектроники, дома Ученых, трибуны, верхнего гастронома и Учреждения. Прохожие, старательно отворачивая лица, закрывая их варежками и перчатками, сгорбившись бежали на работу. Не опоздать, да не поморозиться бы. Оглядываться по сторонам тут было некогда, так что никто и не удивился даже и не заметил, скорее всего, как со стороны Центральной площади по направлению к Учреждению двигался человек. Двигался себе и двигался. Эка невидаль! Человек был в сером слегка помятом костюме в мелкую клеточку, голубой нейлоновой рубашке, без галстука и в разношенных летних туфлях-плетенках. Телосложение человек имел если и не тщедушное, то уж во всяком случае очень поджарое, а выражение лица — добродушное и вроде бы даже лукавое.

Человек посмотрел на часы, свои, наручные, но шагу не прибавил, не спешил, видимо, или цель была близка. Человек прошел мимо верхнего гастронома, огромные окна которого замерзли снизу доверху, улыбнулся чему-то, чем дистанционно, телепатически ввел заведующую мясо-рыбным отделом в секундную панику, и, не останавливаясь, прошел дальше. Заведующая отделом отдала небывалое распоряжение выбросить на прилавок... Впрочем, это к делу совершенно не относится...

Человек дошел до массивных, деревянных с толстым стеклом дверей Учреждения и остановился, видимо, достигнув цели своей прогулки. Стекла дверей совершенно замерзли, ну ни единой щелочки, но человек преспокойно рассмотрел через эту пустяковую, даже просто несуществующую для него

преграду милиционера в холле у лестницы и человека в штатском у столика с телефоном.

Поджарый мог преспокойно пройти через такую немудрящую, без особых ухищрений дверь, но решил не пугать милиционера и позвонил, нажав кнопку. Пиджак его при этом задрался, а за шиворот влетело порядочно снега, но худощавый даже не поморщился.

Из молочного магазина наискосок, сквозь специально оттаянный ртом глазок в толстом слое льда на стекле за человеком наблюдали. Вернее, наблюдали не за ним, а за тяжелой дверью Учреждения, надеясь не пропустить момент, когда она откроется. Обычно можно было ждать и у самих дверей, но в сегодняшний мороз и продирающий до костей ветер... Брр!

Человек сквозь замерзшее стекло видел, как милиционер снимает крючок, а из магазина наискосок сквозь оттаянный глазок видели, что человек этот собирается войти внутрь, следовательно, и им пора покидать предварительные позиции. Милиционер из гордости не стал спрашивать, кто это там рвется, потому что время уже приближалось к девяти, и вот-вот должны были нахлынуть и сами работники Учреждения, да, наверное, один из них, первый, уже и стоял на улице. Дверь отворилась, милиционер понял, что ошибся: такие здесь не работают, но рвать ручку на себя было уже поздно, да и неловко как-то: человек вот раздетый стоит, замерзнет еще, а потом неприятности, то да се... А из молочного магазина уже скользнула цепочка людей, державшихся за руки, хотя никто им этого и не советовал. Сами догадались.

— Вы к кому? — на всякий случай строго спросил милиционер. — Еще рано...

— К Федору Михайловичу, — ответил тощий.

— Конечно... Мороз... Входите. Только здесь еще никого нет.

— Как это никого нет? — удивился человек в сером, чуть помятом, костюме.

— Вот именно! — поддержали его подоспевшие с другой стороны улицы. — Как это никого нет?!

Милиционер был молод и не боялся нападения, даже вооруженного, поэтому он отступил в сторону и начал пропускать желающих, раза два проговорив при этом:

— Еще полторы минуты...

— Полторы минуты, а тут никого? — задал кто-то нехороший вопрос.

Милиционер и сам сегодня был несколько удивлен. Обычно в это время кто-нибудь из работников Учреждения да приходил. Уж не праздничный ли день сегодня? Милиционер напряг свою память: нет, совершенно точно, день был обычный, будничный, приемный. Милиционер постоял у двери: еще немного, но здесь ему больше нечего было делать, и пошел на свой пост, на котором, впрочем, делать ему тоже было нечего. Вдруг сверху, с лестницы скатился, да еще чуть было не сбил его с ног начальник транспортного отдела Учреждения, что-то крикнул неразборчивое и получил сверху ответ. Да как же это, растерянно подумал милиционер, ведь не входил никто. А тут еще секретарь начальника отдела капитального строительства тяжело вывалился из своей приемной. Там, чуть дальше, тоже захлопали дверями. И на втором, да и на третьем этаже... Отовсюду доносились звуки, означавшие, что рабочий день в Учреждении начался. Все пришло в движение. Милиционер расстегнул было кобуру, но даже не взялся за рукоятку пистолета и снова застегнул ее. Никто, вроде, не буянил, не кричал, не рвался и даже не просил о помощи.

Человек в сером костюме поднялся на второй этаж и повернул направо, к приемной Главного распорядителя абсолютными фондами. Он шел уверенно, словно знал дорогу, намного обогнав цепочку людей, выпорхнувших из молочного магазина на противоположной стороне проспекта, да это и не удивительно, ведь он и в холл вошел первым, да и побойчее был, пошустрее, попробойнее.

Худощавый заглянул в открытую дверь приемной и ласково сказал:

— Здравствуйте, Машенька!

— Ах, — ответила секретарь Машенька и запахнула домашний халатик из розовых махровых полотенец. А вот прическа у нее на голове была в совершеннейшем порядке, модная, и красивая, очень идущая к ее востроносенькому, чуть припухлому личику. — Ах! — повторила Машенька. — Даже халат не успела переодеть. Вечно в спешке.

— Это ничего, — успокоил ее посетитель. — Так даже лучше. По-семейному, по-домашнему.

— Вы так думаете? — недоверчиво спросила девушка.

— Я знаю это точно, — ответил человек. — Федор Михайлович занят?

— Федор Михайлович еще не приезжал, — сказала секретарь, и на ее лице уже не было домашнего выражения, а появилось служебное, хоть и приветливое, а все же чуть с холодком, но уж точно — деловое.

Секретарь на всякий случай заглянула в кабинет своего начальника, двери которого оказались не опечатанными и не на замке, и ахнула в третий раз. Главный распорядитель сидел за своим рабочим столом и, видимо, старательно изучал какие-то деловые бумаги. Машенька попробовала захлопнуть дверь, которая, вдобавок, была с небольшим тамбуром, двойная, но у нее ничего не получилось. А тут еще во всю противоположную стену приемной, закрывая собой картину «Научные работники на заготовке сенажа» одного местного, но известного и в столице художника, появилось зеркало, ровнехонькое, без единой волны, новехонькое, и в нем отразился Федор Михайлович за своим рабочим столом, видимый теперь всем, кто уже вошел в приемную.

«Что же теперь будет?» — в ужасе подумала секретарь Машенька, толкая взбесившуюся дверь, и на всякий случай, для самооправдания сказала, громко, надрывно, со слезой и чуть ли не истерикой в голосе:

— Федора Михайловича нет. Он сегодня не принимает!

Но все вошедшие в приемную видели, что Федор Михайлович есть, но вот будет ли он принимать — это еще являлось вопросом.

— Мария Георгиевна! — вдруг позвал Главный распорядитель. — Начинайте прием. Только проследите, пожалуйста, чтобы сегодня было не более тысячи четырехсот сорока одного посетителя. Больше не успею, хоть разорвись.

— Ах! — в четвертый раз сказала Машенька, — она же Мария Георгиевна, — и побежала к столу за списком, поискала его среди каких-то листочков, потом опомнилась и взяла в руки переплетенную типографским способом тетрадь, на которой золотым тиснением значилось «Список посетителей на прием к Главному распорядителю абсолютными фондами на двадцать шестое ноября». Сам список состоял из листов пятидесяти с лишним.

— Федор, — вызвала секретарь уже твердым голосом, окончательно справившись с волнением.

— Это я, — отозвался худой.

— Тут только имя, — чуть озадаченно сказала Мария Георгиевна. Розовый халатик очень шел к ней.

— Вполне достаточно, — сказал Федор Приклонов.

— Я тоже так думаю, — согласилась Мария Георгиевна. — Прошу вас в кабинет Федора Михайловича. — Она,

оказывается, слегка картавила, но от этого казалась еще милее.

— Чем могу быть полезен? — спросил Главный распорядитель и, приподнявшись, протянул вошедшему сухую, но крепкую и мужественную ладонь. — Федор Михайлович Приклонов, — представился он.

— Федор, — сказал сухощавый, ну в точь похожий на Распорядителя, и пожал ему руку.

Рукопожатие первого посетителя понравилось Федору Михайловичу. В него как бы влилась непоколебимая уверенность, что сегодня он всенепременно сможет принять тысячу четыреста сорок одного посетителя.

— Так чем могу? — еще раз спросил Главный распорядитель.

— Прошу прощения. Просьба совершенно пустяковая. Не согласитесь ли вы надеть пиджак и галстук?

Это Федор проверял настройку.

— Ах да! — воскликнул Федор Михайлович. — Завертелся совершенно. Верите ли, даже галстук нет времени завязать. Все дела, вопросы, решения, совещания... Простите, а мы с вами раньше не встречались? Уж очень мне знакомо ваше лицо. Так и кажется, что видел вас неоднократно.

— Мы с вами раньше не встречались, — с нажимом ответил посетитель.

— Жаль, очень жаль.

А Федор тем временем вытащил откуда-то коричневый галстук, уже завязанный широким узлом, немного перегнулся через стол, но не сдвинул при этом с места ни одной важной бумаги, отвернул воротничок рубашки Федора Михайловича, нацепил галстук, затянул, но не туго, да и не слабо, а в самый раз, и снова расправил воротничок.

— Теперь хорошо, — сказал он.

— Чудесно, — согласился Федор Михайлович.

А Федор уже снимал с себя пиджак. Потом махнул им как мулетой перед мордой быка, проверяя реакцию, и вежливо, нисколько не принижая человеческого достоинства, опустил его на не слишком широкие плечи Федора Михайловича. Пиджак словно тут и сидел, даже цвет его изменился и стал темно-коричневым в мелкую полоску, в унисон с брюками.

— Премного, премного благодарен! — сказал, Федор Михайлович. — Будут ли еще какие просьбы?

— Я совершенно удовлетворен вашим решением, — сказал Федор, теперь уже без пиджака. — Спасибо! До свиданья!

— Наша святая обязанность... — бросил ему вслед Главный распорядитель. — Да! Одну минуточку!

Федор остановился в дверях.

— Будьте добры! Сколько будет тысяча четыреста сорок один, ну, скажем, с учетом выходных и праздников, на двести пятьдесят?

— Триста шестьдесят тысяч двести пятьдесят человек, — мгновенно ответил Федор.

— Значит, за год успею охватить всех, — удовлетворенно сказал Федор Михайлович. — Всего хорошего! Мария Георгиевна, прошу следующего.

Система была настроена согласно пунктам технического задания и работала нормально.

В кабинет вошла гражданка.

Федор пересек приемную, наполненную оживленными и жизнерадостными людьми, точно знающими, что сегодня они обязательно добьются того, за чем безуспешно ходили от одного месяца до нескольких лет.

А в коридоре на Федоре снова оказался тот же чудесный серый пиджак фабрики «Таежница». Тот же, да, наверное, не совсем, потому что и с Федора Михайловича эта часть одежды не исчезла.

Федор стоял в коридоре, но слышал и видел все, что происходило на трех этажах, во всех кабинетах и приемных.

— Слушаю вас, — сказал Федор Михайлович гражданке.

Гражданка объяснила ситуацию с жилплощадью, в которой она оказалась. Но, странное дело, говорила спокойно, не плакала, словно просто пришла к соседке поболтать о том, о сем.

— Один момент, — сказал Федор Михайлович и сразу же нашел нужную папку с делами. — Алевтина Сидоровна Сидоренко? Вам выделена квартира в восьмидесятиквартирном доме, второй подъезд, второй этаж, сорок четыре квадратных метра. Вам ордер сейчас или подождете до обеда?

— Хм... Ордер! Да что я с ордером делать стану? В доме-то этом еще и потолков нету. И когда еще будут...

— Не может быть! — заволновался Федор Михайлович. — Его должны были сдать три дня назад! Сейчас проверим. — Федор Михайлович схватил трубку телефона, соединяющего его с заведующим отделом жилищного строительства. — Никифоров?

Федор щекотнул Никифорова за пятку, тот хихикнул, ойкнул и оказался в кабинете Главного распорядителя.

— Что там с домом на Восьмилинейной?

Никифоров пожевал губами.

— Так... Значит, правда? Не сдали? А акт о приемке подписали!

Никифоров тяжело вздохнул.

— Ясно. Лично о вас, Никифоров, поговорим позже. А сейчас немедленно изыщите возможности и примите меры по устранению недоделок... Я думаю, должность Главного снегоочистителя города вам больше подходит.

Федор Михайлович никогда не называл своих подчиненных на «ты».

Никифоров радостно засмеялся, хлопнул себя ладонью по лбу, сказал:

— Сегодня все сделаем. А новому повышению очень рад!

И за две минуты, прямо по телефону на всех стройках города организовал бригады, работающие по подрядному методу строительства, да так умело все у него получилось, что когда создавалась последняя, первая уже действительно, безо всякого обмана и очковтирательства заканчивала дом на Восьмилинейной.

Гражданка Сидоренко хотела было подождать до обеда, но Федор Михайлович чуть ли не насильно вручил ей ордер на новую квартиру, сказав:

— Тут случай совершенно ясный. Живите на здоровье!

Гражданка взяла ордер, но ей при этом было как-то неудобно. А за дверями приемной ее уже ждал курьер транспортного отдела с подписанной всеми, кому положено, заявкой на грузовой автомобиль для перевозки имущества Алевтины Сидоровны Сидоренко со старой квартиры на новую.

Дело с гражданкой Сидоренко заняло у Главного распорядителя семь минут, и это его озадачило, потому что такими темпами всю тысячачетырехсотсорокаодновую очередь принять было невозможно. Еще с минуту Федор Михайлович Приклонов искал выход из создавшегося положения, потом вскочил и, подбежав к огромным настенным часам без боя, чтобы не отвлекали, перевел стрелку на семь минут и пятьдесят секунд назад. Кто это ему подсказал, выяснить невозможно. Но не лишено основания предположение, что он дошел до всего сам.

Не останавливаясь на достигнутом уплотнении рабочего времени, Главный распорядитель пошел значительно дальше.

Выяснив у Марии Георгиевны, сколько человек явилось на прием по квартирному вопросу, а таких оказалось ровно пятьсот четырнадцать с поло... нет, нет, без половины, не считая ста семидесяти пяти претендующих на расширение, Федор Михайлович тут же раздал всем ордера, пожав каждому оквартиренному руку, и подсчитал в уме, что на сегодняшний день осталось еще две тысячи пятьсот незаселенных квартир. Правда, шестьдесят процентов должны были быть распределены по заводам и другим организациям, десять — для военнослужащих, но тридцать процентов, то есть, семьсот пятьдесят квартир все-таки в наличии имелось, а это был неплохой задел для работы на завтра, даже если подрядные бригады устроят себе передышку. Нельзя же было все время работать такими стремительными темпами. Никифоров, телепатически уловив безмолвный вопрос Федора Михайловича, немедленно заверил, что бригады, работающие по подрядному методу, не подведут. И это было чистой правдой даже в условиях зверского холода и сошедшего с ума ветра.

Столь быстро расправившись со значительной частью дел, Главный распорядитель абсолютными фондами довольно потер руки и начал принимать следующих посетителей.

И каких тут только не было вопросов! И с детскими садами и яслями, и с прорванной канализацией и трубами отопления. Один гражданин пришел даже с жалобой на родильный дом имени Николая Александровича Семашко, и Федор Михайлович тут же удовлетворил его просьбу, хотя сам даже не успел вникнуть в суть дела. Да и не обязательно это было — вникать. Главное, чтобы человек ушел удовлетворенным, окрыленным успехом, радостным.

Федор Михайлович не спешил, но делал все быстро, расторопно. Мария Георгиевна едва успевала помечать птичками фамилии людей, входящих и тут же выходящих из кабинета. Три внезапно возникшие на своих местах машинистки ласково касались пальцами клавиш пишущих машинок и не отказывались печатать с неразборчивого текста. Руководители отделов, успевшие умыться и причесаться, звонили по телефону, принимали решения и граждан с просьбами, в коридорах не было никакой беготни, нужные лица возникали в кресле напротив, даже не выходя из своего кабинета, и тотчас же корректно исчезали, когда надобность в них проходила, с тем, чтобы появиться за своим рабочим столом.

В зале заседаний крутили «Сибирь на экране» для тех, кто мог потерять здесь хотя бы десять минут своего драгоценного

времени. Из ресторана доставляли беляши с мясом и пиво «Омагниченное». Все это раздавалось бесплатно, только бы, не дай бог, кто-нибудь не остался недовольным. Лекторы общества «Знание» проводили индивидуальные беседы о вреде алкоголя и даже отвечали на вопрос: почему в городе продают лишь одну водку? В Старотайгинск, где гастролировал Венский балет на льду, дали телеграмму-молнию с просьбой немедленно выехать в Фомск для выступления в холле Учреждения. А под полом уже устанавливали холодильные машины, и вот-вот должна была начаться заливка искусственного льда.

Гигантская машина Учреждения работала с грохотом, все-таки слишком много здесь было колес, колесиков и винтиков. Федор метался по этажам с масленкой, стараясь не допустить назревавшей где-нибудь остановки. Тут подлить масла, там протереть ветошью, здесь пощекотать под мышкой, повязать коричневый галстук с широким узлом, да еще и не удавить при этом, там накинуть на плечи пиджак в мелкий рубчик или полоску, здесь подвинтить, там отпустить, ослабить пружины, доверить надежность рычагов управления, приободрить какой-нибудь винтик, отполировать его головку, полукруглую, круглую или вовсе впотай, расцепить зубья, садануть под зад маховику, чтобы крутился как следует, проверить, достаточно ли поступает в систему энергии, нет ли где утечки налево, да и направо тоже.

Словом, крутился Федор как угорелый. Уж и пуговицу на воротничке оторвало, и лацкан пиджака где-то зацепило, и колени брюк лоснились от масла. Вроде все нормально, но не мешает проверить еще раз. Так. Так. Все так. Теперь ажур. Можно и перекурить, вздохнуть свободнее, отдышаться.

Ну и работенка!

Федор бросился на улицу немного поостыть. Тридцать градусов мороза, может, чуть больше. Хорошо! Прохладно. Ветерок обдувает.

Над входом в Учреждение уже повесили новую вывеску: «Вечный двигатель для удовлетворения все возрастающих нужд населения». В приемное отверстие машины втекала очередь понурых, замерзших граждан, а из выходного отверстия выплескивалась радостная волна отогретых материальным теплом и отеческой заботой людей, бодро волокущих на своих плечах кто трехкомнатную квартиру, кто детские ясли, кто штамп на прописку, а один так даже тащил теплотрассу, отремонтированную, можно сказать, созданную заново из отличных труб нужного диаметра и теплоизолирующего материала, с кирпичной кладкой и бетонными перекрытиями, с траншеей и самим переулком. Подгорным, кажется. Тут и не разглядишь толком, так быстро гражданин все уволок. Кто-то тащил в студенческую столовую «Дружба» коровью тушу, которая заунывно тянула: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья». А впрочем, слов из-за воя ветра почти нельзя было разобрать, хотя мелодия была та самая.

Заработала машина, удовлетворенно сказал сам себе Федор и подставил разгоряченное лицо встречному ветру.

А чуть поодаль в каком-то мальчишеском пальтишке, шапке с надорванным ухом и еще неразношенных ботинках местной фабрики стоял писатель Федор Михайлович Приклонов. Стоял и не решался подойти к другому Федору Михайловичу Приклонову, чтобы спросить, как там третий Федор Михайлович Приклонов?

А потом повернулся и, неуклюже переступая ногами, иногда морщась, пошел на завод...»

9

Была середина месяца, и аврал на заводе для настройщиков еще не начался. Я пришел домой, как всегда в таких случаях, часов около пяти вечера. Вся семья была в сборе и потихонечку собиралась ужинать. Пелагея Матвеевна смотрела передачу «На переднем крае науки». Она немного «оклемалась», хотя медсестра из третьей горбольницы продолжала ходить ставить ей уколы. Ольга разучивала на пианино первую часть «Патетической» сонаты Бетховена. Валентина раздвигала на кухне стол.

Я снял ботинки и сразу проковылял на кухню.

— Ты почему раздетый ходишь в такой мороз? — спросила Валентина.

— Как это раздетый? Ничего я не раздетый!

— Мама же говорила, что ты утром ушел в одном пиджаке. Что еще за мода? — подозрительно посмотрела она на меня.

— Да тут и идти-то всего три минуты, — начал сдаваться я.

— И однако раньше ты раздетый не ходил. Хоть и три, а все равно мороз. Да еще ветер!

— Ладно, не буду больше, — сдался я.

— Ага! Значит, все-таки ходил?

— Ну... Ходил.

— О, господи! А что это с пиджаком у тебя?

— Где? — испугался я. — Что это у меня с пиджаком?

— Да тебя в мясорубку, что ли, толкали? Пуговицы у рубашки нет... А с брюками... Да ты что сегодня делал?

— Станок ремонтировал... фрезерный.

— Фрезерный! С каких это пор настройщики стали фрезерные станки ремонтировать?

— Так ведь работы-то у нас пока нет. А без дела сидеть тоже не положено.

— Федор, скажи честно. Ты опять чудачил?

— Чего я чудачил?

— Скажешь, нет?

— Работал я.

— Работал... А ты знаешь, что сегодня в городе творилось?

— Ничего в нем не творилось.

— Глянь-ка в окно.

Я выглянул в форточку, потому что окно совершенно замерзло. Дом наискосок, который еще вчера, еще сегодня утром глядел пустыми проемами окон, без крыши, засыпанный чуть ли не до второго этажа строительным мусором, заселялся. В четыре его подъезда одновременно рвались восемьдесят ответственных квартиросъемщиков с диванами, холодильниками и прочим скарбом. Дом стоял как игрушечка. Строительный мусор исчез. Еще ранее наполовину растасканный предприимчивыми людьми забор — тоже.

— Ну что, видел? — спросила Валентина.

— Видел. Повезло людям. Пусть вселяются.

— Конечно, пусть. Да только дом не могли так быстро достроить и сдать комиссии.

— Сейчас подрядный метод на стройках внедряется.

— Да хоть сверхподрядный! Не могло этого произойти.

— Не могло, да произошло. Я-то тут при чем?

— Ты, Федор, не выкручивайся. Куда ты с утра пошел раздетым?

— Куда я хожу по утрам?

— В том-то и дело, что тебя до обеда на работе не было.

— Да там еще и настраивать нечего. Через неделю всерьез начнем.

— Значит, не был?

— Где не был?

— На работе!

— А... на работе. С утра я на работе действительно не был.

— Ох, когда ты только человеком станешь?! Где же ты был? Да еще раздетый?

— Ну... в Учреждение ходил... в пальто, впрочем, и шапке...

— И что? Дал тебе Геннадий Михайлович квартиру?

— Да я и не просил.

— Что же тебя туда понесло?

Я не любил говорить про свои литературные дела. Пока пишешь, никому это неинтересно. Да и сыровато получается. Когда еще до кондиции дойдет. Слава богу, Валентина никогда моими писаниями не интересовалась.

— Я же говорил, что пишу повесть про одного... во времени он путешествует. В прошлом, настоящем и будущем... Вот ночью написал про настоящее. Черновик, конечно, еще... Да и вообще ерунда! Не нравится мне эта глава. Как-то все не так у меня получилось... Писал, писал и вдруг вижу, что он уже в Учреждении... Ну вот и пошел посмотреть, правда это или нет.

— Убедился?

— Кажется, правда? Я его лишь издали видел. Чувствую, что занят. А в само Учреждение я входить не стал. Так... постоял на улице немного. Перерыв у него был. Охладиться выскакивал. Я и домой пошел... На... на работу, то есть.

— Значит, это все его шутки? И с домами, и с ремонтом теплотрассы, и с плавательным бассейном?

— Ну уж подробности мне неизвестны. Тем более про плавательный бассейн. Тут, кажется, никакая фантастика не поможет.

— Ох, Федор... — Валентина все же заметно поуспокоилась. — Напишешь ты что-нибудь на свою шею. Сегодня на кафедре только и разговоров было, что всем квартиры дают. Даже преподавателям и ассистентам политехнического. С ума сойти можно, сколько квартир дали! Три или четыре... А ты, выходит, не просил?

— Нет. Чего еще просить?

— Ладно... Ужинать будем... А те, что сегодня вселяются, они взаправду квартиры получили? Ну, не произойдет так, что это им только приснилось или пошутил кто над ними?

— Нет, уж мой Федор, сын Михайлов, так зло шутить не станет. Он все сто раз обдумывает, прежде чем сделает.

— А Геннадия-то Михайловича, говорят, с должности Главного распорядителя снимают...

— Так уж и снимают! Да кто его снимет? Может, на повышение переводят?

— А может, и на повышение. Только, говорят, у нас теперь новый Главный распорядитель будет.

— Это не нам решать.

— Знаю, что не нам. Я ведь о том, что слышала... Режь-ка хлеб.

Нарезав хлеб, я расставил три тарелки, солонку, перечницу, разложил вилки, ложки. Обедать в нашей кухоньке вчетвером не представлялось возможным даже в принципе. А Пелагее Матвеевне, восьми пудов весом, сюда и войти-то было трудно. Она ела или в комнате, или после нас. И мне из-за этого всегда было ужасно стыдно, словно я нарочно унижал старуху.

— Иди зови Ольку, — сказал Валентина. Я шагнул в комнату, остановился у косяка и сначала взглянул, что там делается на экране телевизора. Какой-то ученый рисовал на доске формулы. Теща меня не видела. Вернее, не слышала, так как Олька в это время раз за разом повторяла какое-то трудное место.

— Ты, Оля, так бурчишь или чего-нибудь играешь? — спросила Пелагея Матвеевна.

Это был стандартный вопрос. И задавала его старуха не со зла или желания причинить внучке неприятность. Не понимала она и, наверное, совершенно искренне хотела понять, просто так бурчит на пианино внучка или играет что-нибудь правильное.

Олька хлопнула крышкой пианино и резко встала.

— Да играй, мне-то что, — сказала Пелагея Матвеевна.

Но играть уже было нельзя. Этот вечный эффект «публичности», невозможность уединиться, побыть одному, заняться интересным, любимым делом, зная, что никто не смотрит тебе в спину.

— Оля, пошли есть, — сказал я.

— Сейчас, — через силу ответила дочь, но сначала пошла в ванную умываться. Я знал, что Ольга будет долго плескать в лицо холодной водой, прежде чем выйдет оттуда.

Здесь нужно было вечно сдерживаться. На себя я давно махнул рукой, тещу во внимание не принимал, считал, что Валентина живет в одной квартире все-таки со своей матерью и ей от этого легче, а Ольгу старался всячески ограждать от тягостных эффектов тесноты. Не заходил в комнату, если к дочери являлись подруги; вслух в присутствии Пелагеи Матвеевны просил Ольгу поиграть на пианино, этим как бы беря ответственность на себя; провел динамик от магнитофона в маленькую комнату, чтобы его можно было включать, не мешая бабушке. Какие же все это были мелочи, потуги, самообман. Я чувствовал, чувствовал, как что-то рвалось в душе, подгонял время, надеясь на перемены к лучшему, не верил в них и писал. Писательство стало для меня единственной отдушиной в нормальной на первый взгляд жизни.

— Мама, ты сейчас будешь есть или потом? — спросила Валентина.

— Да потом, ладно уж, — ответила Пелагея Матвеевна.

Я включил у телевизора звук. Хоть и ничего не понимала в этих передачах Пелагея Матвеевна, но звуки человеческого голоса убаюкивали ее, успокаивали. Она всегда любила разговоры. А музыка, эстрадная или симфоническая, раздражала ее.

Эти ужины втроем, когда дверь кухни прикрыта, я любил. Получался какой-то семейный круг, где можно рассказать о своих радостях и неудачах, зная, что все примут близко к сердцу, но никто не будет особенно охать и внешне расстраиваться. Здесь все переходило в какую-то шутку, минуя этап тягостных переживаний. И беды уже не казались такими страшными, а удачи — сверхудачами. Одно выражение: «Ну, ты даешь, папаня!» или: «Да брось ты об этом думать, Федор» снимало, хотя и не до конца, нервное напряжение.

— Отец-то опять своими рассказами кашу заварил, — сказала Валентина.

— Влюбил кого-нибудь друг в друга? — спросила дочь.

— Да нет, стареет он. Про любовь пишет все меньше и меньше.

— Ничего я не старею. Просто, кроме любви, в жизни есть еще очень многое.

— А что ты опять натворил, папаня?

— Да ничего особенного, во-первых. А во-вторых, если что и было, то это Федор, сын Михайлов.

— А! — воскликнула Ольга. — Ты говорил, что у нас был какой-то предок. У Юрия Долгорукого или Петра Первого...

— Во времена Ивана Грозного.

— Все равно. Дом, что ли, заселил?

— Вот напечатают если, тогда и почитаете. Только это, наверное, будет не скоро. Если вообще будет...

— Что-то тебя и в журналах давно не публиковали, — сказала Валентина.

— Опубликуют еще. Бумаги, сама знаешь, мало... А что нового в школе?

В школе, в отличие от всего другого мира, интересные новости были всегда. После новостей пошли анекдоты, планы на завтра. Но тут в квартиру кто-то позвонил. Ольга открыла дверь. К жене пришли подруги, но без мужей. А я подумал, что нужно сходить в гости к Афиногену.

10

Афиноген жил в деревянном бараке, где занимал с семьей две комнаты, в одной из которых была отгорожена кухонька. Комнаты были большие, каждая метров в двадцать квадратных.

Двое детей поздоровались со мной и юркнули во вторую комнату. Афиноген что-то мастерил на кухонном столе, но сразу же все бросил, встал, протянул широкую ладонь.

— Проходи, Федор Михайлович, гостем будешь!

— Я отвлек тебя от дела?

— Какое у меня может быть дело? Так... К выходу на пенсию готовлюсь.

— Выгонишь тебя на пенсию! Да и рановато еще.

— Все равно придется. Вот и начал. Шучу, конечно. К другому готовлюсь. Письмо прислали, что какая-то комиссия из Марградского отделения Академии наук собирается ко мне в гости.

— Это по поводу нуль-упаковки?

— Не совсем... Да только что толку, если они заранее не верят. Готовлюсь вот. Да только одному мне не справиться. Помощь нужна. Человек надежный нужен. Тебя, Федор Михайлович, хочу просить.

— Да что меня просить. Я согласен. Справлюсь ли только с помощью-то? Да и что нужно делать?

— А сделать нужно вот что... Веру им свою показать... убежденность. Ты вот в макет моего универмага-то продолжаешь верить?

— При чем тут вера? Тут знание.

— Значит, все-таки до сих пор убеждён, что было такое явление — нуль-упаковка?

— Я уже не одной комиссии это докладывал. Но могу и еще.

— Вот и хорошо! — обрадовался Афиноген. Даже руки потер от удовольствия. — Это я тут по хозяйству. А мастерская у меня, знаешь, в сарае. Великое дело — сарай! И все-то в нем можно сделать. А в этих пятиэтажках и из квартиры-то не высунешься. Да не возражай, не возражай. Я не против твоих благоустроенных. Я только говорю, что сарай — необходимость. Малюю вот там. Стучу. Пилю. И никому не мешаю. Так что, Федор Михайлович... А у тебя все без изменений?

— Нормально у меня все.

— Нормально и будет. А я вот некоторые свои холсты сюда перенес, сарай ведь не будешь все время отапливать.

— Давно хотел посмотреть. — Я еще когда вошел, сразу же заметил три холста, висящие по стенам. Два из них были завешаны, один простыней, второй цветастой тряпкой. Афиноген словно устраивал выставку своих картин. — Позволишь взглянуть?

— Отчего не взглянуть. Смотри. Готовься.

— К чему это еще мне готовиться?

— А к встрече комиссии.

Я не понял, что он имел в виду, пожал плечами и подошел к глухой стене, чуть ли не во всю длину и ширину завешанной разноцветной занавесью.

— Это напоследок, — сказал Афиноген. — Сначала вот...

Он подвел меня к небольшой картине, висящей между окнами. На холсте было изображено лицо женщины... или нет. И не поймешь сразу. Какая-то галактическая туманность.

— Модернизм? — на всякий случай спросил я.

— Модернизм, экспрессионизм, абстракционизм! Глупость это. Картина и все. Не видишь, значит, не надо.

Я не обиделся, потому что мало что понимал в живописи.

— Да тут и не сразу поймешь!

— А ты не понимай. Ты чувствуй! Здесь чувствовать надо! Поймешь, не поймешь, — забурчал Афиноген. Видно было, что он немного расстроился.

Я чуть отошел, остановился... Лицо... галактика... и два глаза. Один зеленый, второй карий. Снова подошел ближе. Что-то получилось. И теперь, уже уверенно отойдя на два-три шага, я медленно пошел на картину, не отводя от нее глаз. У меня аж дух захватило на мгновение. Прекрасная женщина-галактика, вот что это было! Мать, материя, природа, первоисточник! И дух, струящийся через глаза, живые, разноцветные, дикие, непонятные.

— Ну, Афиноген...

— Почувствовал, — тихо выдохнул Афиноген.

— Да что же это?! Ведь даже страшно, жутко. У тебя тут самая великая тайна природы! Женщина-галактика...

— Можно и так назвать. А вообще-то — «Свет Вселенной». Да дело не в названии. Понравилось, значит?

— Вот это да! Нет, Афиноген Каранатович, это тебе не рассказики клепать. Это настоящее...

— Брось прикидываться, Федор Михайлович. Наслышан о твоих рассказах... Сегодня вот приходили. Сносить, говорят, барак будут. То никакого звуку, а то сразу — сносить. Да и по городу разные слухи ходят.

— А ты слухам не верь. Показывай еще.

— Смотри, коли интересно. Но экзамен ты уже прошел. А эти две я тебе покажу просто так.

Афиноген сбросил простыню со следующего полотна.

Я снова ничего не понял. Вернее, понял. Но тут же ничего и не понял. Картина была размером метр на два и располагалась вертикально.

Чуть боком к зрителю сидел человек. Вернее, он ни на чем не сидел. Просто поза его тела соответствовала позе сидящего человека. Перед ним располагалась плоскость с нарисованными на ней квадратиками, треугольниками и другими фигурами, некоторые из которых были разорваны, но не более, чем в одном месте. У меня создалось странное ощущение, что эти фигурки живые, что они двигаются, мыслят. Даже какая-то растерянность чувствовалась в них, страх перед чем-то происшедшим. Человек держал одну из фигурок. И ясно было, что он взял ее из одного разорванного четырехугольника и намеревался перенести в другой.

Вся картина была выполнена в чуть абстрактной манере.

Отходить назад и возвращаться здесь было бесполезно. Это не помогло бы почувствовать картину. Я оторопел в смятении. На картину хотелось смотреть. Смотреть и молчать. И так продолжалось минуты три.

— Хватит, — сказал Афиноген и попытался было закрыть картину.

— Подожди, — попросил я. — Тут вот что у тебя... Это двумерный мир... Двумерные существа... Они способны воспринимать только длину и ширину. Но они у тебя явно разумны. Они чем-то обеспокоены. Я очень хорошо чувствую растерянность этих фигурок. Трехмерное существо — человек — выдернул из какого-то «помещения» одно из существ

и сейчас перенесет его в другое. Ну да! Ведь для них исчезновение подобного им существа необъяснимо, невозможно! Так же, как его появление вот здесь. — Я показал пальцем на разорванный в одном месте квадрат, куда, по моему мнению, человек должен был опустить «двумерца». — Тут нужно только одно условие: двумерный мир должен иметь свойство отражать световые лучи, падающие на него извне. И тогда мы, жители трехмерного мира, сможем увидеть его. Мы увидим все, находящееся внутри любого двумерного закрытого вместилища. А если мы сможем из нашего трехмерного мира брать двумерные предметы, то схватим предмет, находящийся внутри закрытого двумерного вместилища. Для этого нам не нужно переходить через границы этого двумерного вместилища. Достаточно поднять предмет над двумерным миром в третье измерение, а затем опустить в другое «помещение». С точки зрения «двумерцев», произошло бы необъяснимое чудо.

— А ты, Федор Михайлович, кажется, действительно поможешь мне. Чую я.

— Если смогу, так помогу... Только ты подожди. Успокоюсь я. — А в голове возникла мысль: а если из четырехмерного мира выхватить трехмерный предмет? Но и только. Дальше я еще ничего не понимал.

Афиноген зашел за перегородку и выпил из кадки воды. В соседней комнате чему-то смеялись дети.

— Хлебни, — посоветовал хозяин. — С мороза. Только что привез. У нас из скважины.

Я хлебнул. У меня заломило зубы от ледяной воды, и я почему-то успокоился.

— Теперь показывай дальше.

Третье полотно занимало почти всю стену. Афиноген рывком сдернул с нее цветную тряпку.

Я увидел стеклянный куб, нарисованный стеклянный куб. И больше ничего. Но это только вначале. Я оглянулся на Афиногена, тот смотрел на меня хитро и чуть выжидательно. Ладно, поразмышляем. Стеклянный куб... Я постоял некоторое время в задумчивости, покутил слегка головой. Что-то получалось. Отошел шага на два, затем чуть в сторону. Куб исчез. Вернее, не исчез, а теперь я смотрел через одну его грань, перпендикулярно ей самой. На глазах куб из трехмерного превратился в двумерную фигуру, в проекцию куба на плоскость. Превращение было мгновенным и впечат-

ляющим. Ай да Афиноген! Вот какие чудеса он может делать на простом холсте? Но оказалось, что это еще не все. Ободренный успехом, я сделал несколько шагов в другую сторону. С кубом снова произошло превращение. В трехмерном кубе возник еще куб, меньшего размера. И какие-то линии или плоскости соединяли первое и второе тело. Я выбрал точку, с которой, как мне казалось, удобнее смотреть, и замер на несколько минут. Сначала ничего не произошло. Потом с пространством что-то случилось. Холст, сам холст стал вдруг трехмерным. Я уже не рассуждал, не удивлялся. Я стремился вперед. Мне хотелось, нестерпимо хотелось узнать, что там, что там за этим трехмерным холстом. И вот то, что я вначале принял за куб в кубе, начало оживать, обретать смысл, неожиданный и таинственный, но возможный, возможный! Там было что-то, что неудержимо влекло меня. Я протянул руку, кажется, даже успел заметить, что она как-то странно трансформировалась. Но тут Афиноген вернул меня к действительности.

Я еще непонимающе и потрясенно хлопал ресницами, когда в квартиру вошла жена Афиногена, Зоя Карповна. Она подозрительно посмотрела на мужиков, но, кажется, ничего не обнаружила.

— Соображаете? — спросила она.

— Соображаем, — пробасил Афиноген, — да только совсем не то соображаем.

Из второй комнаты прибежали дети, полезли в хозяйственную сумку. Мать, наверное, ходила в магазин.

— Чай пить будем, — сказала хозяйка.

— Нет, спасибо, — отказался я. — Домой пора.

— Отчего же...

— Мы еще в сарай сходим, — сказал Афиноген.

— Да, да, — обрадовался я. — Нам еще в сарай надо.

— Он там рисует, — пояснила жена Афиногена. И по тому, как она это сказала, стало ясно, что занятие это она очень и очень одобряет. Может, и не понимает, а одобряет. Ведь как изменился Афиноген после того случая с фирменным поездом... Слава богу! Ведь совсем пропадал человек. И я, кажется, не вызывал у нее особых подозрений. Ну выпьем когда, так в меру. А не пить после таких Фениных запоев, это значит держаться волевым усилием. А Феня не держался, он просто не хотел. А ведь это совсем не одно и то же.

Мы пошли в сарай.

Я почему-то представлял себе сарай захламленным и пыльным, но увидел перед собой настоящую мастерскую, пусть и без естественного дневного света, да ведь все равно была зима. Здесь стоял верстак для столярных работ, стол, заваленный листами латуни, различный инструмент, несколько стульев и табуретов. Дощатый пол был чисто подметен. В углу стояла остывшая печь, сооруженная из железной бочки. В сарае было холодно, но все же не так, как на улице.

— Садись, — предложил Афиноген.

Но я сначала походил, дотрагиваясь руками до разных предметов. У Афиногена было свое место. Свое! Он мог здесь уединиться, работать, творить!

— Хорошо тут у тебя, Афиноген Каранатович, — сказал я.

— Не жалуюсь. Ты садись. — И не дожидаясь, пока я усядусь, продолжил. — Сделал все, как хотел. Ну, насколько было возможно. А ты представляешь себе свою квартиру, свой кабинет?

— Какой кабинет! — вскричал я.

— Да ты постой, постой... В мечтах, во сне...

— А... Там-то представляю. Тихо. Стол. Книги. Окно. И главное, я никому не мешаю. Никому.

— Страдаешь?

— Бывает.

— Что уж там — бывает. Страдаешь вовсю!

— Из моей души, Афиноген Каранатович, страдание исчезает, если я нахожу слово высказать его.

— Подробнее не расскажешь о своем кабинете, о жилплощади для фантаста?

— Я все сказал.

Афиноген отодвинул мольберт. За ним оказалась еще одна дверь, не гармонирующая со всем остальным. Словно Афиноген вырвал ее из какой-то стандартной многоэтажки и поместил сюда.

— Попробуй открыть, — попросил Афиноген.

Я подошел и взялся за ручку.

— Хватит, — остановил меня Афиноген. — Завтра приезжает комиссия. Ты уж помоги мне, Федор Михайлович.

— Да чем же?!

— Приходи сюда вечерком и все.

11

«...Эксперименты не шли. Как говорили в группе, кто-то путал научных сотрудников, сбивал их, направлял в тупик. На некоторое время можно было выключить аппаратуру, заняться пока обработкой таблиц, построением графиков, осмыслить полученный материал.

Все вышли покурить. Но дверь на улицу возле курилки была открыта. Работники какой-то лаборатории таскали упакованное в огромные ящики оборудование. Волны холодного воздуха неслись по коридору. Покурить можно было и возле своей комнаты. Мгновение все еще молчали, потом кто-то сказал: «Послушай...», и начался обычный в таких случаях научный треп.

Федор медленно, бочком отошел в сторону, постоял возле лестницы. Вниз идти было уже незачем. Неуверенно сделал он несколько шагов вверх. На площадке между первым и вторым этажом распахнулись двери актового зала. Там сейчас было ветрено и холодно. Федор это знал точно. Его несло вверх все быстрее. Между вторым и третьим на маленькой дверце, которая вела в кинобудку, висел пудовый амбарный замок. Антикварный. Федор уже бежал. Он помнил, что там, выше, есть еще одна дверь. Аппендикс библиотеки и актового зала был высотой всего в два этажа. Между четвертым и пятым стена была сложена из стеклянных кирпичей. А на высоте пояса приклеилась маленькая глухая дверца, которая никуда не вела. Это знали в институте все, ну, во всяком случае, многие, и никому не приходило в голову открывать ее. Здесь можно было лишь вывалиться с огромной высоты. Дверь не запиралась. На ней не было никаких замков, ни висячих, ни врезных.

Федор перевел дух. Его непреодолимо тянуло открыть дверь, словно звали его и нельзя было отказать. Вверх и вниз по лестнице сновали люди. А при них лезть в дверцу было почему-то неудобно. Но и ждать бесполезно: тут ходят целый день. Он принял непринужденную позу, но так, чтобы в любое мгновение рвануть ручку.

— Папаня! — донеслось снизу. Это, задыхаясь от спешки, кричала Ольга. — Ну зачем ты туда? Ведь снова...

Федор не дослушал, легко распахнул дверцу и, зажмурившись от яркого света, шагнул. Последнее, что он услышал, было тихое:

— Папаня...

Под ногами был твердый пол. Стены огромного зала дугами уходили вверх. Свет струился отовсюду. Все было просто и красиво, даже изящно, но ничто не останавливало взгляд, лишь где-то вдалеке, диссонансом, чернела точка, притягивающая к себе, как магнит. Федор пошел вперед, уже зная, где он очутился. Это и страшило его, и манило, звало. Противиться зову было нелепо, да и не хотелось.

Федор шел и точка, увеличиваясь в размерах, превращалась в стол и сидящего за ним человека. Человек ждал Федора, аккуратно сложив руки на пустой столешнице.

— Здравствуйте, — сказал Федор.

— Здравствуйте, — ответил человек. — Меня зовут — Федор-сто восемьдесят Михайлович-девяносто шесть Приклонов-семнадцать. Садитесь, пожалуйста.

Федор продолжал стоять.

— Что же вы? — удивился Приклонов-17. — Ах, да... Ну да уж потерпите. Или, быть может, имеете сильное желание сесть на мое место?

Федор промолчал.

— На вас, уважаемый, поступила жалоба от писателя Федора-десять в девятой Михайловича-два на десять во второй, в квадрате, попросту, Приклонова-сто. Фантаста, между прочим... Что вы имеете сказать в свою защиту? Ах да... презумпция невиновности... Простите, простите... Начнем, пожалуй, со следующего. Автор «Фирменного поезда» это ведь вы и есть?

— Я, — согласился Федор и почувствовал, что голос его дрогнул.

— Любопытная вещица, ничего не скажешь. И долго вы ее писали, если, конечно, это не профессиональный секрет?

— Четыре часа. Пока в поезде спал Артемий Мальцев. Писать нужно было именно, когда он спит.

— И что же, вы всегда так быстро пишете повести?

— Нет. Но тогда очень нужно было. А Артемия...

— Ах, — отмахнулся Приклонов-17. — Знаю, знаю про Артемия, Артемахуса, Артемида, Артюшу и прочая и прочая. Но очень хотелось бы знать, как вы сами считаете: можно ли было написать такую большую, между прочим, повесть за такой короткий, откровенно говоря, срок? Да еще в условиях эмоционального стресса.

— Все что-то делали, старались... Я — тоже. А повесть я потом дорабатывал. Даже урезать пришлось. Редактор категорически потребовал.

— Хорошо, хорошо, хорошо! — всплеснул руками Приклонов-17. — Верю, верю, верю. Но доказательства... Где до-

казательства? Ах, простите, совсем забыл. Снова эта проклятая презумпция! Вы, естественно, можете не защищаться, пока мы не предъявим вам доказательства вашей вины.

— Предъявляйте, — сказал Федор.

— Вы ведь знакомы с фантастом Федором?

— Нет, не знаком.

— Ну как же! С фантастом Федором Михайловичем Приклоновым!

— Я — Федор Михайлович Приклонов.

— Ну вот видите! А говорите, что незнакомы. Нехорошо с самого начала.

— Я не могу быть знаком с самим собой. В этом случае понятие «знаком» теряет свой смысл.

— Теряет? Хм... Согласен. Это вы хорошо сказали: теряет свой смысл. Надо запомнить. И все же... Я имею в виду Федора-десять в девятой Михайловича-два на десять во второй, в квадрате, то есть, Приклонова-сто. Только не путайте его со мной.

— Нет, не знаю, — заявил Федор. — Насколько я понимаю, он, да и вы из двадцать третьего века?

— Совершенно верно. А уж если говорить точнее, то из самой середины, середки, сердцевины двадцать третьего... Все равно — нет?

— Не имел чести.

— Смотрите, вам виднее. Но ведь придется очную ставку...

— Любопытно познакомиться.

— Ах, даже любопытно! И что же, ни тени трепета, страха перед содеянным?.. Фу, прощу прощения... Все забываю. Начнем, пожалуй.

— Валяйте, — согласился Федор..

— Прошу возникнуть истца! — торжественно сказал сидящий за столом.

Чуть толкнув Федора плечом, так что тому даже пришлось попридержать возникшего, рядом сделался, образовался, появился фантаст Федор-10 ^{9}.

— Прошу, так сказать, прощения, — чуть нервно сказал он. — Спят, что ли, там? Не могут «возникнуть» меня нормально. Все с выкрутасами, шаляй-валяй, за что только *время* получают?!

Федор, сидящий за столом, терпеливо ждал, когда возникший поостынет.

— Вы успокоились? — спросил он через некоторое время. — Учтите, что банк может опротестовать этот вклад и тогда ваше *время* тю-тю, в трубу вылетит.

— Мое время священно! — заявил Федор-10 ^{9}.

— Да, да, конечно, — согласился сидящий за столом. — Никто не спорит.

— Вор! — вдруг грубо сказал Федор-10 ^{9}. — Вором был, вором и остался!

— Будьте взаимно вежливы, — попросил Федор-180.

— Конечно, — внезапно согласился Федор-10 ^{9}. — Прошу, так сказать, прощения. Но Федор — вор!

— Объясните же наконец! — потребовал Федор.

— Один момент! Один момент! Вот заявление фантаста Федора, — сидящий за столом показал двум другим пустую ладонь, — в котором истец обвиняет Федора Михайловича Приклонова в плагиате.

— Что? — удивился Федор.

— Да, да. В плагиате. В ваше время уже было известно выражение «плагиат»?

— Было. Что же это я у него украл?

— А повесть-то! — заявил Федор-10 ^{9} и, чуть отодвинувшись, уставил руки в бока. — А «Фирменный-то поезд «Фомич»!

— Но позвольте! — заволновался Федор.

— Не позволим! Всею массою *времени* не позволим! — внезапно взвизгнул обворованный.

— Позвольте... Как я мог украсть повесть, если жил на триста лет раньше вас? Кроме того, я ведь писал о том, что произошло со мной и моими друзьями. Так что ваше предположение полностью ошибочно.

— Хм, — сказал сидевший за столом, — он что, правда жил на триста лет раньше?

— Ну, конечно, — заулыбался Федор.

— Экая безделица! — заорал Федор-10 ^{9}. — Что же тут особенного. Пропутешествовал во времени и баста!

— Да мы еще не можем путешествовать в будущее, — заверил Федор. — Мы еще и в прошлое-то только на пятнадцать лет.

— Вы не можете?! Ха-ха! А кто, по-вашему, может?

— Да пока еще никто.

— Никто! — взревел Федор-10 ^{9}. — Никто, говорите! А товарищ Обыкновеннов?! Пришелец с планеты Ыбрыгым!

— Что товарищ Обыкновеннов? — струхнул почему-то Федор.

— Ведь товарищ Обыкновеннов очень даже запросто может путешествовать во времени туда, прошу прощения, и сюда.

— Не знаю, — пролепетал пораженный Федор.

— А я знаю. Знаю, что вы перед тем, как написать свою, если только можно так выразиться, повесть, вели приватную беседу с товарищем пришельцем!

— Да какой он пришелец? Обыкновенный человек.

— Не скажите! О чем вы в таком случае беседовали, если не секрет? — ехидно спросил Федор-10 ^{9}.

— Да так... О том, о сем... О жизни... Очень умный человек товарищ Обыкновеннов.

— Еще какой умный! Ведь это он вам и передал мою рукопись, — зловеще заключил обворованный фантаст.

— Ничего он мне не передавал! Слышите! Я сам написал эту повесть!

— О-хо-хо! — сказал сидящий за столом. — Вас послушать... И чем только люди занимаются. А еще говорят, что время — *время*.

— Не понял, — сказал обиженный фантаст, — не понял вас, Федор-сто восемьдесят Михайлович-девяносто шесть.

— Да что же тут непонятного? Сядьте на мое место, все и поймете.

— С удовольствием, — еще не веря, сказал Федор-10 ^{9}.

— А фантастика? — растерянно спросил Федор.

— Какая еще фантастика? — оскорбился Федор-10 ^{9}. — Тьфу! Вот вам ваша фантастика! — Он как-то осторожно обходил стол, пританцовывая, похлопывая его ладонями.

— Зад немного размять, — сказал сидящий за столом, с трудом встал и действительно начал разминать свой костлявый зад, тоже похопывая его ладонями.

Фантаст тотчас же занял его место и великая озабоченность выступила на его лице.

— Я вас слушаю, — осторожно сказал он.

— Вменить в обязанность! — вдруг взорвался разминавший зад. — Чтобы не ерепенился! Не сомневался! А брал без размышлений!

— Вменим, — пообещал Федор-10 ^{9}. — Возьмет! Как миленький возьмет, да и еще раз возьмет! А пока маленький презент, так сказать, от будущего. — Фантаст открыл дверцу стола, выдвинул ящик, вынул из него что-то блестящее и позвакивающее. — Самозащелкивающиеся... — пояснил он. — Не каждому, не каждому такое счастье выпадает. Ловите!

Федор машинально подставил ладони и на его правом запястье щелкнул замок изящного, прочного кольца. С кольца свешивалась пятисантиметровая цепочка. Второго кольца не было. Заметив недоумение Федора, сидящий за столом пояснил:

— Все нормально. Все правильно. Это кольцо Мебиуса, только не в пространстве, а во времени. Как только вы *возьмете*... заметьте: как только вы *возьмете*, оно защелкнется и на второй руке. И тогда уже ваша взяла! Прекрасная вещица. С гарантией на один миллион лет.

Браслет не жал и даже был не виден на руке, если опустить ее вниз.

«Дома распилю», — подумал Федор и спросил:

— Больше у вас тут нечего посмотреть?

— Мы не для того вас вызывали! — заорал тот, что теперь сидел за столом. — Не на смотрины! Ах, да! Прошу прощения. Вы в официальном учреждении, между прочим. Прошу помнить. Так что он *там* отказался взять?

— Один момент. Может, уважаемый Федор Михайлович недопóнял — недопóнял! Но о нуль-упаковке-то, надеюсь, имеете какое-то представление? Так ведь?

— Так, — согласился Федор. — Имею.

— И Афиногена знаете?

— Знаю Афиногена Каранатовича.

— И чем он сейчас занимается, знаете?

— Что показывал, то знаю.

— Знает он, все знает! — закричал сидящий за столом. — В бараний рог!

— А дверь-то, дверь-то он вам показывал? — осторожно спросил тот, который стоял.

— Показывал, — ответил Федор.

— И жилплощадь фантасту нужна?

— Ох, нужна жилплощадь, — чистосердечно признался Федор.

— Тогда все в порядке! — заключил сидящий за столом. — Все, все вам прощается. Более того, вот тут передо мной сидел Федор-сто восемьдесят Михайлович-девяносто шесть Приклонов-семнадцать... Так я вам по секрету скажу, что это не он сидел, — шепотом добавил Федор-10 ^{9}.

— Нет, нет, не он, — быстро согласился Федор-180.

— Это вы, извиняюсь, сидели... Вы...

— Я? — удивился Федор. — Никогда я там не сидел. Да и желания сидеть нет.

— Да будет, будет желание. Все будет. В нашем мире все возможно. Слава, почет, уважение, банкеты, издания вне плана.

— А что же вы?

— Господи, боже мой! Да мы — это вы и есть. Все, все преотлично. У истца больше нет претензий? — спросил он сам у себя и сам же ответил: — Надеюсь, что нет.

— Какие могут быть претензии к Федору Михайловичу Приклонову? Мы же его любим!

— Любим? — переспросил сидящий за столом. — Ах, да... Любим. Ну, конечно, любим! Как же нам самого себя не любить! Любить надо. Обязательно надо.

— Все. Идите и берите. И комиссию убедите, что нульупаковка существует.

— Какую еще комиссию? — не понял Федор.

— Да ту, что сегодня должна посетить Афиногена Каранатовича. Нам все, все известно, хе-хе...

— Да в чем же я ее должен убедить?

— Ну вот. Снова да ладом! Ведь вам жилплощадь нужна?

— Нужна.

— А Главный распорядитель абсолютными фондами пока не дает.

— Возможности, значит, пока нет.

— Ну, конечно, пока. Не дает, не дает, да вдруг даст, — забегал вокруг Федора Приклонов-17. — Только когда это еще будет? С бригадным подрядом вот никак не могут наладить дело. То да се. А тут сразу. И, уверяю, Афиноген Каранатович не поскупился. Квартирка у него получилась, что надо. Любодорого! Тишь, да гладь, да божья благодать! Сиди пописывай. Теща-то ведь здорово храпит? Ну вот... Конечно, почему бы ей и не похрапеть в свое удовольствие? Да только вам, насколько я знаю, это мешает. Мешает, мешает, не отпирайтесь! А здесь у вас все будет. И номера... не какие-нибудь там десять в девятой... об этом и подумать-то неприятно... а единицу присвоим. Федор-один Михайлович-один Приклонов-один. А то-десять в девятой!

— Между прочим, — заметил сидящий за столом, — это вы сейчас Федор-десять в девятой.

— Как это я? Я Федор-сто восемьдесят.

— Был да сплыл!

— Позвольте!

— Нет, не позволю!

— Да я вас силой!

— А я ручками, ручками уцеплюсь!

— Оторву, оторву паршивые руки неудавшегося фантаста!

— Так ведь фантаст-то теперь вы?

— На!

— Хра!

Бац!

Грох!

Оба Федора Михайловича Приклоновых, и тот, что сто восемьдесят, и тот, что десять в девятой, клубком покатились по блестящему скользкому полу. И разобрать, кто есть кто, теперь уже было невозможно.

Что-то недосказанное было в этом разговоре. Что-то от Федора хотели недостойного, подлого. Подчиняясь какому-то внутреннему порыву, он подошел к креслу и сел в него.

И сразу же все стало ясно.

— Эй вы! — грубо окликнул дерущихся Федор. — Поработали, и хватит, пора отдохнуть!

Подействовало. Федоры с порядковыми номерами расцепились, встали, наскоро привели себя в порядок, обратились в слух.

— Вот что, — сказал Федор. — Вы тут, насколько я понял, ерундой занимались. Кто из вас пойдет к Афиногену Каранатовичу? Что? Даже желающих нет? Странно. Кто же убедит комиссию? Великое изобретение Афиногена не должно пропасть *во времени!* Что вы без него? Так... Нуль без палочки. Ты, Федор-десять в девятой?

— Это не я, это он — Федор-десять в девятой!

— Нет, не я, а ты! Я — сто восемьдесят!

— Прекратите, — вдруг устало попросил Федор. — Не хотите, не надо. Мне иногда приходит в голову, что ваш нульупакованный мир нужно уничтожить. Он нуль, хотя и упакованный. Нет в нем ни добра, ни фантазии. Бред собачий! Страшно, но надо. На этом и порешим. Никто не пойдет к Афиногену. Никто! А другого случая не представится, потому что Афиноген уже не перенесет этого. Он и держался-то только надеждой, что ему поверят, помогут этой верой, человеком сделают. Жаль Афиногена Каранатовича. Но никто из нас троих этого уже не увидит. Конец! Простимся, что ли, Федоры Михайловичи Приклоновы?

— Нет! — заорал один.
— Нет! — заорал другой.
— Я! — согласился первый.
— Мы! — согласился второй.
— Не позволю! Никуда вы не пойдете!
— К чертовой матери! — завопил один и бросился бежать.
— К чертям собачьим! — загундосил второй, догоняя первого.

— Глупцы! Ведь тот, кто поможет Афиногену... — Федор вдруг смутился... — ведь тот и станет основателем этого «будущего». Стойте!

Федор выскочил из-за стола. Догнать, догнать, во что бы то ни стало догнать. Задержать! Зубами! Ногтями!

Но все-таки слаб был Федор, хотя и бросил давно это прилипчивое занятие — питье. Да и суставы пальцев ног взмолились от боли. Мешал бежать и браслет с цепочкой. Нет, не догнать ему было шустрых двойников. Но среди тех, уже на бегу, снова разгорелась борьба. Кто-то из Федоров подставил ножку другому. Тот упал, успев схватить первого за штанину. И покатились они по чудному полу. Тут снова один вырвался и пробежал в лидерах метров сто. И снова свалка. Хоть и секунду длилась она, но Федор успел приблизиться.

Давайте, давайте, еще, еще поборитесь, мысленно упрашивал их Федор.

Догнал он своих двойников у самых стеклянных кирпичей. Федор-10 [9] уже рвал ручку двери. Оттаскивая то одного, то другого, Федор окончательно измотался. И в какой-то момент пропустил бросок наиболее шустрого из двойников. Дверь распахнулась.

«Что я наделал?» — успел подумать Федор, и тут блестящий дворец будущего со сверкающим полом, уходящими ввысь арками и неизвестно откуда льющимся светом, рухнул. С карниза, срываясь, падал Федор-10 [9].

Федор очнулся на крыше актового зала. Все кости болели, глаз распух, губы разбиты в кровь. Завывал ветер, и Федор почувствовал, что он замерзает, но не было сил даже пошевельнуться. Откуда-то сверху раздались крики, потом перед уцелевшим глазом проплыла веревочная лестница, чьи-то сильные руки приподняли его и передали в другие.

Федор с досадой подумал, что этот проклятый фантаст из двадцатого века все-таки спер у него фантастическую повесть, и захрустел зубами.

Стало теплее и чуть темнее.

Он уже лежал на носилках.

— Ты лежи, папаня, лежи, — сказала Ольга. — У нас занятия санитарной дружины. Никто не хочет изображать из себя раненого. А нам баллы срежут.

— Ладно, — прошептал фантаст и подумал, как хорошо, что в институте есть санитарная дружина.

Его куда-то понесли, но не особенно осторожно, потому что в носилках лежал совершенно здоровый человек с поломанным ребром, распухшим глазом и разбитой губой».

12

— Папаня! — ахнула Ольга. — Кто это тебя разукрасил?
— Да пустяки, — отмахнулся я.
— О, горе мое, — вздохнула Валентина. — На тебя бодяги не напасешься. И чем вы только на заводе занимаетесь?

— Тензометрические усилители настраиваем. Конец месяца. Кто-то из заказчиков приехал и давай требовать: оттарируйте им усилитель на консольной балке, и все тут. А у нас же новая методика настройки. Балки давным-давно метровым слоем пыли покрылись. Ну... приволокли, датчики проверили, какие оборвались — заменили, нагружать стали. А одна балка возьми да и сломайся. Меня вот и шарахнуло.

— Сочиняешь, папаня, — немедленно уличила меня во лжи дочь. — Мы же учебно-производственную практику проходили на вашем заводе и прекрасно знаем, что это за балочки. Они маленькие и уж сломаться никак не могут. Их и загружают-то килограммов в десять.

— Опять? — испуганно спросила Валентина.

— Да, — нехотя ответил я. — И не желаю я этого, а иногда получается. Еще когда из поезда в Марграде вышли, решил, что завязываю. Все. Кончено. Но ведь оно от меня не зависит...

— Нет, Федя, от тебя многое зависит.

— Квартеру, ли чо ли, дают? — нараспев спросила Пелагея Матвеевна.

— Да никто ничего не дает! — Я даже рассердился.

— М-м... А я думала, квартеру дают, — сказала теща, не отводя взгляда от телевизора, где всмятку рубились хоккеисты.

— Примочку сделать? — спросила Валентина.

— Да само пройдет, не беспокойся.

— Пройти-то пройдет, а будешь ходить, людей пугать своим синяком.

— Да ты ему забинтуй, — посоветовала дочь.

— Ага, — согласился я. — Забинтовать можно.

— Это, Федя, ведь Испазита? — спросила Пелагея Матвеевна.

— Он, он самый, — подтвердил я.

— Ну... я же вижу, что личность-то на Испазиту смахивает...

— Вы ешьте без меня.

— В ночь, что ли, настраивать будете? — недовольно спросила Валентина.

— Да нет. Афиноген просил к нему зайти. Комиссия из Марграда приезжает. Просил помочь. Хочется мужику доказать, что нуль-упаковка и в самом деле возможна.

— Занимались бы вы лучше делом, — посоветовала жена.

— Нет, нет, папка, вы уж лучше что-нибудь необыкновенное выдумывайте!

— Ох, Оля, да разве можно выдумать необыкновенное...

— А вы старайтесь!

— Нет, это уж вы теперь старайтесь. Ваше время приходит.

Валентина чем-то смазала синяк и забинтовала мне голову наподобие тюрбана, но так, что шапку все же можно было натянуть. Я оделся и открыл дверь квартиры.

— Ты когда придешь-то?! — крикнула мне вслед Валентина.

— Вот уж не знаю. Как все кончится, сразу и приду.

— Банкет, наверное, для комиссии будет?

— Какой банкет? Афиноген Каранатович — частное лицо.

— Ну, давайте! — напутствовала жена. Я вышел на улицу и поднял воротник пальто. Мела поземка и вообще было неуютно. Я попытался понять, почему этой ночью написал какую-то непонятную главу о будущем. Во-первых, рассказ вылился внезапно, без всякой подготовки, без всяких размышлений и даже озарений. Я написал и не думал, что же будет в следующем абзаце. Само писалось. Во-вторых, ведь совсем не таким представлял я себе будущее. И была, была в тайнике души мысль написать роман о потомках. Была! Но все не хватало времени. Да и мысль-то, по правде говоря, еще не созрела, не рвалась на бумагу. А что собой представляли вот эти Федоры, «сто восьмидесятый» и «десять в девятой»? Я ведь чувствовал, что это мое продолжение, только при каких-то

особых обстоятельствах. И что-то тут было связано с квартирой и нуль-упаковкой Афиногена. Ответ крутился где-то рядом, уже стучался, да что говорить, я уже все знал, но знал как-то не так, как положено, интуитивно, словно сам остановил знание на пороге.

13

В окнах Афиногеновой квартиры горел свет, но я решил сначала толкнуться в сарай и не ошибся. Из мастерской Афиногена тянуло теплом и чуть — дымком. Радостные голоса приветствовали меня. Я ничего не успел сообразить, как тут же оказался в объятиях Артемия Мальцева.

— Федор! — кричал он. — Кого я вижу?!

— Господи... Артемий...

— Сколько лет, сколько зим!

— Полтора года... зима... осень... — забормотал я растерянно. — Ты-то как сюда, Артемий?

Но мне и в самом деле казалось, что со времени нашей последней встречи прошло много лет и много зим. И в то же время все происшедшее в фирменном поезде произошло чуть ли не вчера. Но парадоксы времени меня уже не удивляли, а только лишь очень интересовали.

— Ну, наши дороги теперь, кажется, переплелись навечно. — Мальцев выпустил меня из рук и сделал шаг назад, чтобы получше рассмотреть. — Что это у тебя с глазом? Ячмень сел?

— Ячмень проклятый, — обрадовался я. — Никогда не было, а тут сел.

— Его студить нельзя. Надеюсь, ничего страшного?

— Ерунда одна. Все пройдет. — Я огляделся и поздоровался со всеми другими присутствующими.

Здесь оказался Геннадий Федорович, шеф Артемия, которого я помнил еще по фирменному поезду. Один из «академиков». Тот самый, который никак не среагировал на мой клич: «Академики, занимайтесь гиревым спортом!» Не нашел я тогда поддержки в его душе. Два незнакомых человека. Ну и, конечно, Афиноген Каранатович, вырядившийся как на свадьбу, но немного сумрачный и тихо взволнованный.

— Ну, все, кажется, собрались? — спросил Геннадий Федорович.

— Все, — ответил Афиноген.

— Начнем?

— Сейчас... Одну минуточку, — попросил Афиноген и начал что-то искать. Я понял, что он отдает эту «минуточку» мне, чтобы я хоть немного поговорил с Артемием.

— Читал, Федор, читал твой роман, — сказал Мальцев.

— Повесть, Артемий, повесть.

— В рукописи-то был роман. Ведь это я был первым читателем «Фирменного поезда».

— Хорошо, что я его тогда тебе отдал. Ход получился. А сам бы я ничего не смог пробить.

— Ну, когда нами заинтересовалась наука, твой роман понадобился и как подробнейший протокол событий, что ли, в нашем поезде. Так что, как только ты его написал, так тут же, можно сказать, стал писателем.

— Не стал я еще писателем, Артемий... Ладно. Сам-то как живешь? Как Инга? Дети?

— Инга молодец. На повышенную, правда, уже не вытягивает, но все равно молодец. А дети растут. Сашка в третий класс ходит. Валентина в детский сад. А Мишеньку еще в ясли носим... О! Тут у нас такая история с квартирой была! Ошибка произошла. Но об этом коротко не рассказать. После поговорим. Крутимся, по правде говоря, как белки в колесе. Едва вырвался в Фомск.

Упоминание о квартире и ошибке с этой квартирой меня заинтересовало. Я уже точно знал, о чем напишу рассказ, название даже придумал: «Квартира площадью тридцать восемь кубических метров».

— Ты, Артемий, извини, — сказал я, — но все же как здесь-то оказался? В комиссии?

— Я уже говорил, что наши дороги переплелись навечно. С Иваном я буду полгода работать. Я ведь в Марграде ломаю голову над проблемой параллельных пространственно-временных миров. Это очень близко связано с темой Ивана и очень отдаленно, но все же имеет отношение к нуль-упаковке. Да и встретиться хотелось. И с Афиногеном Каранатовичем, и с Иваном, и со Степаном Матвеевичем. Ты-то с ними связь поддерживаешь?

— Редко, Артемий. Редко. Слышал, что Иван надеется как-то облегчить страдания Степана Матвеевича. Тот ведь так все и путешествует во времени...

— Знаю. Этим мы с Иваном и займемся. А ты-то, Федор, как в эту комиссию попал?

— Да нет. Я не в комиссии. Я просто. Афиноген Каранатович попросил прийти.

— В поезде ведь только Семен и Валерий Михайлович могли проникать сквозь нуль-упаковку. Неужели и у тебя получилось?

— Нет. Я не пробовал. Но зачем-то Афиногену Каранатовичу понадобился. Верю я, Артемий, в Афиногена Каранатовича. И в его открытие верю. В картины. Ты вот не видел... Я вообще в него верю.

— Ну, поговорили, и хватит? — спросил Геннадий Федорович.

— Не к спеху, — подал басом Афиноген.

— Нет, нет, давайте, — заторопился я.

— Итак, — тоном конферансье возвестил Мальцев. — Нуль-упаковка!

— Скорее, нуль-прорисовка, — поправил его Афиноген.

— Как! — воскликнул Геннадий Федорович. — Уже нуль-прорисовка. А как же с нуль-упаковкой?

— В общем-то, это две разновидности одного и того же явления, — объяснил Афиноген. — И то и другое в экспериментах не повторяется. В этом вся и беда.

— Вот именно, — сказал один из членов комиссии. — В науке основное для каждого феномена — повторяемость.

— Да, да, — подхватил другой. — Вот и полтора года назад бились, бились с этой нуль-упаковкой, а ничего не нашли, хотя читали потом отчет о событиях в фирменном поезде «Фомич». Да ведь и в самом поезде эффект сначала был, а потом исчез!

— Ко времени моего прибытия, — подтвердил «академик», — феномен уже не наблюдался.

— Это не физический феномен, — сказал я. — Это психофизический феномен.

— Вроде телепатии, что ли? — не поверил первый член комиссии.

— Про телепатию ничего не могу сказать, — сообщил я.

— Лженаука! — подтвердил Геннадий Федорович. — Давайте ближе к делу.

Афиноген, как и вчера, отодвинул в сторону мольберт с холстом, не тронутым кистью. Все подошли поближе, стараясь, правда, не загораживать при этом свет. В стене сарая находилась дверь. Дверь как дверь. Коричневая, с косяками и стандартной ручкой. И даже номер был прибит: 137. Ничем не примечательная дверь, кроме одного: в дощатой стене этого сарая она была неуместна. Все молча смотрели на дверь, не прикасаясь к ней руками.

— Войти в нее надо, — сказал наконец Афиноген.

— Если надо — войдем, — пообещал Геннадий Федорович и взялся за ручку двери.

Но только никакой ручки двери здесь не было! Рука его схватила пустоту.

— Что такое? — удивился Геннадий Федорович. — Голографическое изображение?

— Нарисовано, нарисовано это, — отчего-то волнуясь, сказал я. — Вы еще не видели картин Афиногена Каранатовича.

— Ну и что, что не видели? — сказал один из членов комиссии. — Картину от настоящей двери я еще могу отличить. — Он тоже попытался открыть дверь.

И все другие по очереди провели опыт. Когда у всех не получилось, Афиноген взял дверь за косяки, легко оторвал ее от стены и развернул боком. Это действительно оказалось картиной, нарисованной в натуральную величину на холсте.

— Искусство, — сказал Мальцев.

— Да, несомненно. Но мы ведь здесь не ради искусства. У нас совсем другие задачи, — напомнил Геннадий Федорович.

Афиноген снова поставил картину таким образом, что она стала обычной дверью, и сказал:

— А вот Федор Михайлович войдет.

— Федя! — испугался Артем. — Ведь она сработана... э-э... нарисована...

— Я сейчас объясню, — начал Афиноген. — За этой дверью расположена жилплощадь для писателя-фантаста Федора Михайловича Приклонова. Комната для его тещи, дочери, спальня-кабинет...

— Зал для приемов, — иронически вставил «академик».

— Нет, зала нет. Кухня и прочее. Я хочу, чтобы Федор Михайлович наконец получил возможность работать нормально. Может, ему и подарят настоящую квартиру, да только когда это будет, а ему уже сорок два года. Быстро время бежит.

— И вы хотите убедить меня, что это не бред? — спросил «академик».

— Это не бред, — ответил я за Афиногена. Я ничего не знал про нуль-прорисовку да этого момента, но я верил Афиногену. — Это не бред. Это фантазия. Я и сам не понимаю, в чем здесь дело, но *это* есть, есть!

— Есть, Федор Михайлович, — подтвердил Афиноген.

А я вспомнил весь тот ад, который представляла моя теперешняя квартира, тихий, без ссор и ругани, тесный, тоскливый, невыносимый. Себя, живущего уже на пределе; жену, махнувшую на все рукой и не верящую ни в какие изменения к лучшему; дочь, которой молодость и свои особые заботы позволяли еще радоваться жизни и не замечать тесноту; тещу, семидесятилетнюю старуху, больную, уставшую, которая даже не представляла, что можно жить в отдельной, тихой, не проходной комнате. Вспомнил я и все эпопеи получения квартир, последний разговор с Главным распорядителем абсолютными фондами... И мне так захотелось уйти в другой мир, благожелательный, уютный, красивый, просторный... так захотелось, что я, сам того не замечая, протянул вперед руку, ощутил твердость железной ручки, потянул ее на себя. Дверь заскрипела, но не очень, чуть-чуть, самую малость, и я перешагнул порог.

Большая квадратная прихожая. Направо — кухня. Я открыл уже настоящую дверь. Кухня была раза в два больше, чем в моей квартире. Здесь стояла электрическая плита, в углу от пола до самого потолка — встроенный шкаф для посуды. Я покачал головой и вышел в прихожую. Прямо вела стеклянная дверь в большую комнату площадью метров двадцать с большим окном и лоджией. Налево из прихожей и чуть назад — комната метров шестнадцать, рядом еще одна — метров десять квадратных. Дальше из прихожей шел коридорчик с тремя встроенными шкафами и антресолью. Санузел и рядом маленькая комнатка метров в шесть квадратных. Это и был мой кабинет. Здесь уже стоял полуразвалившийся секретер с рукописями и книгами, надстроенный до самого потолка. Тяжелый стул. И больше ничего. Я сел на стул и ласково начал трогать свои папки, не развязывая их. Я и так очень хорошо знал, что в них было.

Я чувствовал, что какая-то бессмысленная улыбка появилась на моем лице. Так я просидел минут двадцать. Потом я встал и направился к выходу.

Квартирка была та. *Та самая.*

— Есть! — услышал я, выходя из нарисованной двери.

— Ну! — нетерпеливо спросил Мальцев.

— Все засняли на кинопленку? — проверил первый из членов комиссии.

Афиноген смотрел куда-то в бок.

— Спасибо, Афиноген Каранатович, — тихо поблагодарил я. — Спасибо.

— Да что там... Пиши на здоровье.

— Рассказывайте! — навалились на меня со всех сторон.

— Да что рассказывать? Квартира там, четырехкомнатная, с улучшенной планировкой, серии «восемьдесят пять».

— План, планчик, пожалуйста.

— Что видно из окон?

— Время года? Время года — тоже зима?

— А водопровод? Вода есть? Как с электричеством? Откуда там могут взяться вода и электричество?

— Геннадий Федорович, помните, у меня был случай с квартирой? — спросил Мальцев.

— Что за случай? — поинтересовался «академик».

— Товарищи! Там все было ясно, — сказал Геннадий Федорович. — Ошибочка в официальном документе, в ордере, то есть. Квартира площадью тридцать семь кубических метров. А в объеме, как известно, бесконечное число плоскостей. Вот Артемий и получил квартиру с бесконечным числом комнат и кухонь. Хорошо, хоть балкон не входил в указанную площадь. Через него семью Мальцевых и спасли. Ошибку в ордере, естественно, исправили... Но мы-то сейчас исследуем феномен нуль-упаковки!

— Нуль-прорисовки, — поправил его Афиноген.

Так... Рассказ мой про квартиру скончался, не успев родиться... Но это не беда... Напишу другой.

— Товарищи! Вернемся к нуль-прорисовке. Федор Михайлович...

Я долго чертил план квартиры, рассказывал, что там видно из окон, из чего сделан пол, вспоминал цвет обоев и еще многое другое.

Комиссия работала. Кое-что я не запомнил. На что-то не обратил внимания. И меня попросили повторить вхождение в нарисованную дверь.

Я исполнил просьбу, но без всякого желания, предварительно собрав все заявки, чтобы не входить в третий раз. Я даже взял с собой фотоаппарат и сделал несколько снимков, которые могли пригодиться комиссии.

— Ну что ж, — заключил работу комиссии Геннадий Федорович, — феномен нуль-прорисовки, кажется, действительно имеет место. Хотя работы здесь еще очень и очень много.

— Поздравляю тебя с новой квартирой, Федя, — сказал Мальцев. — От души рад!

Я не ответил.

Комиссия собрала много материалов, и теперь нужно было хоть немного привести их в систему. Афиноген пригласил

всех к себе домой пить чай. Но многоопытные члены комиссии хорошо представляли себе последствия таких чаепитий и отказались. В барак к Афиногену пошли только я и Мальцев. Мальцев был радостно возбужден встречей. Хозяин достал к чаю законную бутылку водки. Сидели вспоминали и сам фирменный поезд и его пассажиров. Даже пытались строить предположения, почему в нем все *так* произошло... Ведь тайна фирменного поезда до сих пор не была разгадана. Напротив, объяснений становилось все больше и больше. Афиноген был настроен как-то чинно, благородно, пил мало, так что в конце концов жена его даже забеспокоилась.

По моей просьбе квартирного вопроса в этот вечер не касались.

Но вот настало время расходиться. Афиноген и я проводили Артемия до остановки и усадили в автобус. Уехал Мальцев.

— Ну? — сказал Афиноген.

— Что, ну?

— Я ведь тебе дарю ту дверь, Федор Михайлович.

— Спасибо, Афиноген Каранатович. Спасибо за доброту.

— Да что там! Нарисовать недолго. В тебе все дело. Тебе спасибо, что помог старику.

Афиноген вынес из сарая полотно, натянутое на деревянную раму.

— Помочь? Или сам донесешь?

— Да в ней и весу-то никакого. Конечно, донесу сам.

— Ну, живи себе на здоровье, Федор Михайлович. Твори. Пиши. Читать будем.

— А сам-то ты? Почему себе не нарисовал дверцу? Тоже ведь не хоромы.

— Да зачем нам со старухой? Колька вон подрос. Доктор наук. В Старотайгинске окопался. Средний школу кончает. В Морфлот собрался. А младшенькая с нами проживет. Сарай же у меня, сам знаешь, какой!

— Картину я возьму, Афиноген Каранатович. А вот жить *там* не стану.

— Это почему же?

— Хоть я и фантаст, а от реального мира не отрываюсь. И в вымышленном, созданном своим воображением мире жить не хочу.

— Тогда хоть писать уединяйся.

— А вдруг воображение больное? Афиноген Каранатович, мне ведь и так хорошо. Жена у меня, дочь, ты вот, Арте-

мий... Друзей у меня много. А ты не расстраивайся. Я тебе, Афиноген Каранатович, очень благодарен. Ты для меня больше, чем *эту* квартиру сделал.

— Эх, Федя... — Афиноген сгреб меня в охапку. — Упрямец ты. А нравишься. Ну, упрямец! Таким и оставайся.

14

Я приволок картину домой.

Пелагея Матвеевна смотрела телевизор и иногда оглушительно всхрапывала, вздрагивала и тут же задавала вопрос:

— Это ведь который женился, Оля?

— Да нет, бабушка! Тот уже в городе живет. А этот только что сюда приехал.

— Ну... Я же вижу, что тот.

Ольга дергала плечами.

Валентина сидела в ногах у матери и тоже смотрела отсутствующим взглядом в экран.

— И куда ты этот шедевр ставить будешь? — спросила она.

— А к стене за свою кровать.

— Ты, папаня, сначала посмотри, что возле твоей кровати делается...

— Что там может делаться?

— Секретер твой исчез... А в нем ведь твои рукописи.

— Да вы что?! — мгновенно озверел я и бросился в маленькую комнату. Секретера в ней действительно не было. — Фу! — Так же внезапно успокоился я. — Фу! Это же все Афиноген Каранатович. Это он для комиссии. Сейчас внесем.

— А что комиссия-то? — спросила Валентина.

— А комиссия признала, что что-то такое Афиноген Каранатович все же открыл, изобрел.

— Фенька изобрел?! — не поверила Пелагея Матвеевна. — Смотри-ка ты...

Я оттащил кровать в сторону и поставил ее торчком.

— Фокусы буду показывать, — сказал я, прислонил картину к стене, взялся за ручку и... начал работу. Книги, папки, тетради, стул. С секретером пришлось, конечно, покорячиться. При каждом резком движении, при чуть заметном усилии пронзительная боль впивалась в ребра. Но через полчаса мой угол принял полагающийся ему вид. Кроватью я прижал картину к стене, чтобы не падала.

— Это твои или Афиногеновы фантазии? — поинтересовалась жена.

— Афиногена Каранатовича.

— Тебе до такого в жизни не додуматься.

— Правда, Валентина, правда. Не додуматься.

— Только пусть он в своей квартире фокусы показывает. Пол теперь мыть надо.

— Вымоем...

Я вспотел после перетаскивания своего барахла, снял повязку со лба.

— Господи! — сказала Валентина. — Ну на кого ты похож! Весь избит, волосы торчком. Бродяга подзаборный... — И добавила уже на кухне: — Вот горе-то мое... О-хо-хо...

— Нормально, папаня, — сказала дочь. — Вид у тебя почти что геройский.

Пелагея Матвеевна спала сидя.

А я ночью снова долго не мог уснуть. Храпела теща. В голову лезли всякие мысли. Хотелось, ох как хотелось отодвинуть кровать и войти в тихую нарисованную квартиру. Но что-то удерживало меня. Будущее, что ли?

Я встал и начал писать рассказ, но уже не про квартиру и не про путешественника во времени. Этот этап в моей жизни кончился. Я и так потерял много времени. Подумать только, за четыре месяца не написать ни одной путевой строчки!

Все, все, все! Теперь все. Работать надо.

Через открытую форточку слышался скрип отдираемых досок. Это предприимчивые жильцы растаскивали забор, который отделял наш дом от стройки. От стройки! Как же... Неужели все зря? Но... но ведь сломанное ребро болело, а вспухший глаз ничего не видел...

Ладно! Будем работать.

1977 г.

ЗАЩИТА

Смешно было надеяться, что его встретят с распростертыми объятьями и скажут: «Просим, товарищ Григорьев! Мы оставили для вас раскладушку в шикарном коридоре у окна, выходящего на южную сторону». Но и такой очереди он не ожидал.

Еще издали, увидев с десяток экскурсионных автобусов, Александр понял, что дело плохо. А ведь он так надеялся на эту гостиницу, особенно после того, как объехал с десяток других.

Солнце клонилось к закату, но неожиданная для сентября жара не спадала. Приезжие, в беспорядке расположившиеся на ступенях подъезда, изнывали от зноя. А за стеклянной стеной взмокшая толпа безуспешно атаковала администратора. На стойке красовалась такая знакомая табличка: «Мест нет».

Александр медленно прошелся по шумному залу, потом протолкался к столу и сказал:

— Запишите. Григорьев Александр. Одно место.

— У вас будет сто восьмидесятая очередь, — сообщил ему белобрысый энтузиаст, делая запись в ученической тетради.

Сто восьмидесятая! Прекрасно! Это означало, что ждать придется два дня. Александр не спал прошлую ночь. Да и в позапрошлую удалось уснуть всего часика на три. А сегодня первый и, быть может, решающий день защиты.

«Нет, Сашка, — сам себе сказал он, — тебе должно повезти. Обязательно должно!»

Григорьев немного постоял в толпе, слушая, о чем говорят. А говорили в основном о том, что мест нет, что и в других гостиницах то же самое, даже еще хуже, что завтра из «Спутника» ожидается выезд иностранных туристов. Александр бесцельно побродил по холлу, натыкаясь на чемоданы, вышел на улицу, выкурил сигарету, вернулся назад, снова вышел...

Этого человека он увидел издалека и сразу почувствовал — вот оно, везение. Мужчина был тучный, запыхавшийся, редкие волосы прилипли к взмокшему лбу, галстук сбился набок, да и костюм на нем был так помят, словно в нем спали целую неделю.

— В суд, в суд! — бессвязно выкрикивал он. — Издевательство!

Человек шариком вкатился вверх по ступеням, и Григорьев не спеша двинулся за ним. Мужчина вбежал в холл и, продираясь сквозь толпу, бросился к стойке администратора. Вид у него был настолько странен, что люди невольно расступились.

— Опять, — испуганно сказала женщина-администратор паспортистке, сидевшей рядом.

— Я из семьсот двадцать третьей комнаты, — второй корпус, — судорожно дергая кадыком, выпалил мужчина и вдруг закричал: — Дайте! Дайте мне другой номер!

— Мы вас предупреждали, — сказала администратор.

В толпе жаждавших попасть в гостиницу начались вопросы: «Кто? Что? Номера освободились?.. Финны уезжают?..»

— Товарищи! Ведите себя потише, — попросила паспортистка. — Ведь работать невозможно!

— Я не могу жить в этом номере, — скороговоркой верещал мужчина. Пот лил с него градом, но он даже не пытался вытереть лицо платком или ладонью. — Пожалуйста, другой. В этом ни один нормальный человек жить не сможет. — И вдруг опять закричал: — Я жаловаться буду!

— Да в чем дело?! — зашумели вокруг.

Григорьев протолкался к самой стойке.

— Нехорошо в номере, — шепотом сказал мужчина и вздрогнул.

— Мы же вас предупреждали, — жалобно простонала администратор.

— Что же там нехорошо? — строго спросил кто-то, а остальные притихли.

— Нехорошо, — шепотом повторил мужчина, и лицо его вдруг стало таким затравленным и испуганным, что стоявшие рядом с ним две женщины сдавленно ойкнули.

— Черт знает, что творится в этом номере! — неожиданно басом сказала паспортистка.

Кто-то догадался принести стакан газированной воды и протянул мужчине. Тот выпил, немного приободрился, но было ясно, что прямо сказать, что же все-таки в номере «нехорошо», он боится.

— Вот позади вас стоит человек, — сказал он какому-то высокому парню с толстенным портфелем в руке. Парень оглянулся и молча утвердительно кивнул. Мужчина продолжал: — Вам ведь не страшно? — Все заулыбались. Расплылся

в улыбке и парень. — А когда вы сидите в совершенно пустой комнате, зная, что в ней никого нет, и вдруг чувствуете, что за вашей спиной кто-то стоит? Оборачиваетесь — действительно стоит. — Мужчина захлебнулся от возбуждения, а парень зябко поежился. — Так и в этом номере. Совершенно невозможная вещь! А так и тянется все время.

— Да что же там? Привидение?

Мужчина остолбенело уставился на спрашивающего. Он столько объяснял, а его, оказывается, вовсе и не поняли.

— Нет, — сказал он. — Там хуже. Этого не объяснить. Но только жить там невозможно. — И вдруг опять крикнул: — Я жаловаться буду!

— Тося, — сказала администратор паспортистке, — позвони по этажам во втором корпусе. Может, кто собирается срочно выезжать. Надо устроить товарища.

Тося взяла трубку, но перед этим сказала:

— А в семьсот двадцать третий больше никого не поселять. Пусть комиссия вначале разберется.

— Как это, никого не поселять? — возмутился старичок, стоявший у стойки первым. — Номер освобождается, а вы — никого не поселять!

— Из него все бегут через час, — сказала администратор.

— Не через час, но близко к этому, — поправил взмокший толстячок, сообразив, что ему, кажется, дадут другую комнату.

— Тем более, — глубокомысленно заключил чистенький старичок, и с ним все стали соглашаться.

— Вы, что ли, хотите там переночевать? — спросила администратор.

— Да нет, — замялся старичок. — Подожду. У меня первая очередь.

— Одну минутку, — сказал белобрысый энтузиаст с ученической тетрадью в руке. — Кто тут у нас по списку? Веревкин! Два места.

— Номер одноместный, — напомнила администратор и этим как-то сразу сдала свои позиции.

— Веревкин, не хотите взять одно место?

— Нет уж, подождем.

— Сидоров? Абрамов? Авесалом?

Желающих что-то не находилось.

— Смешно, — сказал Григорьев. — Ерунда какая-то. Люди уже по Луне ходят, а тут — «нехорошо». Поселите меня.

— Все сначала говорят «смешно», а потом прибегают с дикими глазами и просят перевести их в другой номер. А где я его возьму? Нет! Не буду я никого поселять, — заявила администратор.

— Я не боюсь привидений. Честное слово! Я вам расписку напишу, что не буду просить другой номер. В двадцатом-то веке, и бояться!

— Да поселите вы его. Посмотрим, как он примчится назад. Все время веселее пройдет, — предложил энтузиаст с тетрадкой.

— Долго ждать придется, — спокойно отрезал Григорьев.

— Не завидую вам, — сказал бывший владелец номера 723.

— А я вам, — искренне ответил Григорьев.

Администратор еще раз недоверчиво посмотрела на Александра, но все же протянула ему листок для заполнения.

Вот так Григорьеву и достался одноместный номер.

Владимир Зосимович Карин выбрался из троллейбуса и с минуту стоял в тени липы, поставив тяжелый портфель прямо на пыльный асфальт. Галстук он снял еще в институте, а теперь расстегнул и вторую пуговицу рубашки, но прохладнее от этого не стало. Огромное стекло витрины гастронома на мгновение отразило его маленькую, достаточно стройную для пятидесяти семи лет фигуру и этим напомнило ему о хозяйственных поручениях, которые он еще не выполнил.

В магазине была толкучка и ужасная духота. Владимир Зосимович ходил с трудом. Обе ноги его были перебиты автоматной очередью еще в далеком сорок первом. Даже при очень медленной ходьбе ноги сгибались неестественно резко, почти судорожно. Карин уже позабыл о том времени, когда ходил как все люди. И стоять было тяжело, но заставить себя обойти очередь он не мог, — стыдно. Жена старалась не загружать его хозяйственными заботами, но иногда все же приходилось это делать. Например, сегодня. Да и всю предыдущую неделю. Дочь уже второй год подряд проваливала экзамены в университет. А переживали и расстраивались из-за этого больше всего отец и мать. Мать до невроза дошла. Хорошо, подвернулся случай поехать на Черное море в санаторий. Уехала. А Ленка вдруг начала готовиться к экзаменам на заочный. И теперь Владимир Зосимович боялся ее послать даже за хлебом, чтобы не отрывать от занятий. Вдруг поступит!

От гастронома Карин свернул в переулок, и ему еще метров сто пришлось идти по солнечной стороне. Авоська с бутылками молока, свертками, пакетами и хлебом оттянулась почти до земли. И идти от этого было еще труднее.

В квартире надрывался магнитофон.

— Занимаешься? — подозрительно спросил отец у дочери.

— Занимаюсь. Антракт был.

— Смотри. Снова завалишь.

— Завалю — выйду замуж.

— Я тебе выйду, — буркнул отец и начал снимать туфли.

— А к тебе тут обзвонились уже.

— Кто же?

— Вот. Я записала телефон. Солюхин.

— Что-то не припомню такого.

Владимир Зосимович сбросил наконец туфли и подошел к телефону, думая о том, как хорошо бы сейчас принять душ. Он набрал номер, и на другом конце провода сразу же ответили.

— Уважаемый Владимир Зосимович, мы тут хотели включить вас в одну комиссию. Кляузное дело. Не возражаете?

— Возражаю. Я уже и так в пяти комиссиях.

— Тогда тем более! Это ж прекрасно! — Товарищ Солюхин был, по-видимому, веселым человеком. — Всего на двадцать процентов нагрузка возрастет. Нет, право же...

— А вы откуда и кто есть?

— Вот это ближе к делу. Я директор гостиницы «Спутник». Знаете такую?

— Угу. Слышал.

— Солюхин Андрей Павлович. Я уже тут обзвонил все инстанции и по своей линии, и по вашей. По нашей линии мне рекомендовали ваш институт, а по вашей.Анатолий Юльевич...

— Согбенный?

— Точно. Он самый. Так вот, Анатолий Юльевич рекомендовал вас. Я звонил на работу к вам, но, видимо, опоздал. Пришлось побеспокоить дома. Так я пришлю машину?

— Когда?

— Завтра.

— Но я завтра работаю в комиссии, которую возглавляет сам Анатолий Юльевич. У меня просто-напросто нет времени.

— А мы пришлем машину после... после работы.

Карин ругнулся про себя. Еще одной комиссии ему не хватало!

— Да в чем дело-то?

— Жильцы бегут.

— Куда бегут?

— Не куда, а откуда. Из гостиницы, из нашего «Спутника». Чертовщина какая-то. Может, и ерунда. А выяснить все равно надо.

— Чертовщина? А точнее неизвестно?

— Какие-то голоса, как из загробного мира.

— Жара это.

— Что?

— Жара, говорю. От жары люди свихнулись.

— У нас в комнатах кондиционеры. Работают, конечно, не все, но все же...

— Так чем я могу вам помочь?

— Не знаю. Но вы уж помогите.

— Господи, да чем же?

— Я пришлю за вами завтра машину часиков в семь вечера, пожалуй. И остальные как раз соберутся.

— У вас что, большая комиссия?

— Да человек пять. Инженеры, психологи... Директор «Спутника» перечислил фамилии.

— Ого! Интересная компания.

— Так ведь неизвестно, что это такое.

— Ну хорошо. Присылайте...

Владимир Зосимович положил трубку и помянул нехорошим словом Анатолия Юльевича Согбенного, заместителя директора НИИ по научной работе.

— Этот Солюхин уже пять раз звонил, — сказала Лена. — Хочешь яичницу с помидорами?

— Отлично. Я пока приму душ.

Карин взял портфель, прошел в стандартно обставленную комнату с телевизором, книжным шкафом, сервантом, диваном и прочей необходимой для гостиной мебелью и устало опустился в кресло. В комнате беспорядок. Но так сейчас, наверное, удобнее Ленке.

Несколько секунд он сидел, опустив руки и пытаясь расслабиться, потом расстегнул портфель и вытащил из него толстый том отчета, который нужно было прочитать сегодня вечером. На титульном листе справа внизу стояла подпись руководителя темы: «к. т. н. Бакланский Виктор Иванович». Карин перевернул лист. На следующем был список исполнителей. «Григорьев, — прочитал Владимир Зосимович, — Соснихин,

Бурлев, Данилов...» Дальше шло еще несколько фамилий, незнакомых Карину. Соснихина и Бурлева он знал хорошо. Они приезжали несколько раз к нему в лабораторию. И Бакланского он знал, правда хуже. Тогда тот еще не был кандидатом наук. А вот фамилии Григорьева и Данилова ему ничего не говорили.

— Папка, яичница готова! — крикнула из кухни Ленка.

Григорьев открыл дверь, вошел и огляделся. Номер был как номер. Маленькая прихожая. Слева шифоньер со скрипучими дверцами и деревянными плечиками. Справа умывальник и полотенце. В комнате стояла низкая кровать, застеленная покрывалом с узором из роз, тумбочка с телефоном, кресло, посредине столик с графином и двумя чистыми стаканами. Все просто, строго и удобно. Паркетный пол, окно во всю стену. Кондиционер. И в таком-то номере «нехорошо»? Ерунда!

В комнату вошла пожилая женщина, горничная, сгребла простыни в кучу и сказала:

— Я вам сейчас постель переменю.

Минут через десять она заправила кровать чистым бельем, не произнеся больше ни слова, но украдкой поглядывая на нового жильца.

— Так что же все-таки в этом номере происходит? — не выдержав молчания, спросил Григорьев.

— Так. Болтают разное, — нехотя ответила женщина.

И все. Александр решил «про это» больше не спрашивать и не думать.

Вещей с ним не было. Чтобы зря не таскаться с чемоданом, он оставил его в камере хранения на вокзале.

Вечер был душный. Александр снял рубашку и подставил плечи под холодную воду, потом вытерся жестким полотенцем и немного посидел в кресле, спокойно покурил.

Вместе с ним в Марград приехали Бакланский и Данилов. Бакланский являлся начальником лаборатории, в которой работал Александр, и руководителем темы, которую они все трое приехали защищать.

Григорьев решил было позвонить Бакланскому и сообщить, что с жильем он устроился нормально, но потом передумал. Вряд ли тот сейчас у своих родителей. Да и, кроме всего, Бакланский — свинья. Ведь он даже не пригласил Александра переночевать. А, впрочем, он все равно бы отказался. Возможно, Бакланский это и чувствовал. Анатолий Данилов — тот совсем другое дело. Но ему еще нужно найти свою тетю.

Необходимо составить план на вечер. Григорьев так и сделал. Сначала в ресторан, чтобы не искать столовую. Потом бросок на главпочтамт, затем на вокзал и назад, в гостиницу. Будет уже около десяти вечера. И сразу спать. Спать, спать, спать. Изменить этот план могло лишь письмо, ждущее его на главпочтамте.

В голове стоял гул, а она должна быть свежей, потому что завтрашняя защита — дело не шуточное...

Григорьев заказал шашлык и стакан рислинга. Народу за столиками сидело немного, не подошло еще время. И вообще здесь было уютно, чисто, тихо, когда смолкал, конечно, оркестр.

Вино и шашлык ему принесли почти сразу.

За соседним столиком расположились две девушки и молодой человек с бородкой. Они все трое потягивали коктейль через трубочки и молчали. Когда оркестр взорвался своим «ча-ча-ча», парень пригласил одну из девушек, а другая посмотрела на Александра чуть вызывающе и чуть просительно.

Нет, девочка, подумал он. Ты красивая, даже очень, ей-богу, но мне еще нужно на главпочтамт. Меня ждут, понимаешь? Я, наверное, и приехал-то ради этого...

Девушка снова посмотрела на Александра, но он отрицательно покачал головой, расплатился и вышел на улицу.

На главпочтамт он успел за пять минут до конца работы, как и хотел, чтобы не мучиться потом мыслью, что письмо пришло после его ухода.

Нет, никто и ничто не ждало его здесь. На железнодорожном вокзале суета. Одни цветы продают, другие, очевидно, опаздывают на поезд, третьи торопятся, наверное, встретить.

Григорьев получил чемодан и к десяти часам был в гостинице. Спать ему хотелось зверски. Вот еще бы стаканчик холодного молока. Но молока так поздно здесь не достать.

Раздевшись, он выключил свет и лег. И тотчас мысли завертелись вокруг ожидаемого письма, стало тоскливо и пусто, захотелось позвонить кому-нибудь, сказать ничего не значащие ласковые слова, в которых была не информация, а только лишь настроение: «Здравствуй! Как живешь? Что нового?» Вот только кому звонить? Здесь, в Марграде, он знал лишь один телефон — Бакланского. Позвонить ему? Спросить, как его приняла мама?

И тут в голову пришло сочетание цифр: 19-77-23. Это был телефонный номер, и номер очень знакомый. А чей — он не знал. Но желание позвонить было настолько сильным, что он встал.

И тогда в голове вихрем промелькнуло — может, может... Он так ждал этого! А если это мысленное внушение? Ну должна же быть телепатия! Хоть иногда, хоть раз в жизни! А ему была нужна она именно сейчас!

Не включая света, он набрал номер. В неглубокой темноте еще можно было различить цифры диска.

— Здравствуй! Как живешь? Что нового? — раздалось в трубке.

Голос был мужской, и знакомый и незнакомый одновременно. И какое-то непонятное волнение чувствовалось в нем.

— Оригинально! — выпалил Григорьев в трубку.

— Сашка, почему ты здесь оказался?

Трубка чуть не выпала у него из рук.

— Кто говорит? — спросил он хрипло.

— И письма нет... — Это было сказано как-то грустно, печально, но без вопроса, а с утверждением.

— Кто говорит? — крикнул Александр.

— А, ладно, — раздалось в ответ. — Спи. Утро вечера мудренее.

— Да кто же... — начал Григорьев, но трубку на том конце линии уже бросили на рычаг.

И Григорьев положил свою. Вот так штука! Кто бы это мог быть? Ведь не ждал же он, тот человек, его звонка? Но тогда почему сразу же назвал по имени? Это был наверняка кто-нибудь из комиссии, решил он. Кто-то сегодня днем сказал ему свой номер, а он машинально запомнил его и позвонил. Но... стоп. Про письмо не мог знать никто. Никто! Нет, комиссия тут ни при чем.

Нет, тут просто не разберешься. И его снова неудержимо потянуло позвонить по телефону. И снова по этому же номеру. Поговорить. Просто так, ни о чем, но поговорить. Услышать человеческий голос. Но Александр лишь отодвинул телефон на край тумбочки и плашмя бросился на кровать. Спать уже не хотелось.

«Ну зачем я сюда приехал?» Завтра, он уже знал это, с самого утра снова попрется на главпочтамт. Потом до пяти защита. После защиты снова главпочтамт. И до самого его закрытия он будет кружить по тротуарам. Но ведь ничего не

будет! «Неужели я сам этого не понимаю. Понимаю, но не могу справиться с собой. Не хочу!.. А может, хочу? Надо? Хорошо? Плохо?»

Его взяла злость на все на свете и в первую очередь на самого себя. Он закутался с головой в простыню, послал всех к черту... и заснул.

В семь часов утра Григорьев проснулся. За окном было пасмурно, но это его не удивило. Что еще можно ждать от осенней погоды? Сегодня солнце, завтра — дождь.

На улице истинный сентябрь, и в голове сентябрь, и в душе. Неуютно.

Десятиминутная пытка бритьем, умывание, буфет. Без десяти восемь он был уже готов выйти из гостиницы.

И снова ему захотелось позвонить по телефону. Поговорить. Хоть с кем. Просто взять трубку и поговорить. И номер, по которому он звонил накануне, все не выходил из головы.

Александр сел в кресло и с любопытством начал разглядывать аппарат. Телефон как телефон, из бежевого пластика, самых совершенных, современных форм. Внизу собственный номер его, выведенный красивыми цифрами в рамочке... Григорьеву на мгновение показалось, что его ударили по голове чем-то тяжелым. Несколько секунд он ничего не мог сообразить, настолько все это было необъяснимо: номер телефона был 19-77-23! Чертовщина какая-то! Значит, он звонил по собственному телефону! Тогда можно объяснить, почему он пришел ему в голову. Случайный взгляд, и номер подсознательно запомнился.

Но по собственному номеру звонить бесполезно, невозможно! Элементарная электротехника объяснит это каждому. Никогда в жизни он не звонил по номеру, с которого говорил сам. Это и в голову не приходило. Он был уверен, что это и никому вообще не приходило в голову. Может, все, происшедшее вчера, ему только показалось, приснилось? Может, ничего и не было?

Он снова набрал злополучный номер.

— Здравствуй, Александр, — приветствовал его тот же самый голос, знакомый и незнакомый одновременно. — Ну хоть ты-то разобрался?

— Кто говорит? — разъяренно спросил Григорьев. Все это было очень похоже на розыгрыш.

— Александр Григорьев.

— Это я — Александр Григорьев.

— Я — тоже... Значит, не разобрался...

— Кто вы такой?

— А на главпочтамт пойдешь?

Никто не мог знать об этом!

— Да кто же вы такой, черт вас возьми!

— Я Александр Григорьев.

— Как это понимать? Откуда вы знаете про главпочтамт?

— Я знаю. Ну ладно. Звони, если захочешь.

— Вряд ли! Я мистификаций не люблю.

— Звони, если захочешь.

Александр бросил трубку. В то, что его душа может разговаривать с ним самим по телефону, он, конечно, не верил. Он и в душу-то не очень верил. Но на розыгрыш это все-таки мало походило. А что говорили тому толстячку, подумал Александр, который здесь жил перед ним? Действительно, с ума можно сойти.

В дверь постучали, осторожно, негромко, но по-хозяйски. Александр поднялся с кресла и открыл дверь.

— Входите.

— Директор Солюхин. Андрей Павлович. А вы — Григорьев?

— Да. Александр. Проходите. Садитесь.

Директор, стройный, подтянутый, похожий на крупного научного работника, прошел, сел в кресло и дотронулся пальцем до корпуса телефона. Александр сел рядом на край кровати и машинально взглянул на часы.

— Понимаю. Времени у всех в обрез. Буду краток. Вы, Александр, уже пользовались этой штуковиной? — Директор осторожно щелкнул телефон. — Действует?

— Пользовался. Действует, как аттракцион «американские горки». Аж дух захватывает.

Директор рассмеялся:

— Ах, молодежь! Крепкие у вас нервы. Значит, он вам не мешает жить?

— Да как вам сказать... Ничего страшного, но и не особенно приятно.

— А другие бегут.

— Я знаю. Видел.

— Так вот, Александр, этим феноменом заинтересовался ученый мир.

— Откуда же ученый мир узнал?

Директор непонимающе посмотрел на Григорьева.

— Я сам сообщил. По долгу службы.

— Ну-ну.

— Сегодня вечером в эту комнату явится комиссия. Человек пять. Понимаете?

— Понимаю. Выметаться, значит, надо.

— Что вы? Наоборот! Вы как представитель пострадавших...

— Я не пострадавший. Этот телефон не нанес мне никакого ущерба.

— Ну, хорошо. Как свидетель. Устраивает вас это?

— Допустим.

— Вы, как свидетель, можете быть полезны комиссии. Наверное, придется отвечать на вопросы или продемонстрировать феномен. Мало ли что еще. Словом, я попросил бы вас сегодня вечером, часиков в семь, быть у себя в номере. Как вы?

Александра это не устраивало, но взгляд директора молил.

— Ладно. Буду в семь.

История с телефоном заняла слишком много времени. Теперь Александра могло выручить только такси. И случай сразу же улыбнулся ему, как только он вышел из корпуса, таща в руке помятый плащ.

На главпочтамте девушка, выдающая корреспонденцию до востребования, приветливо улыбнулась ему как хорошему знакомому и развела руками, прибавив:

— Наверное, еще пишут.

«Если бы так», — подумал он с тоской.

У главпочтамта он позвонил из автомата Бакланскому, но того не оказалось дома. Тогда Александр снова поймал такси и через десять минут был у проходной головного научно-исследовательского института, где и должна была проходить защита.

В бюро пропусков Григорьев встретил Анатолия Данилова. Тот изучал карту достопримечательностей Марграда, висевшую на стене. Пропуска наконец были выписаны. Григорьев и Данилов благополучно миновали проходную, поплутали по этажам института и нашли нужный отдел.

Бакланский был уже здесь. Он сразу представил своим сотрудникам прибывших в институт гостей. Григорьев запомнил троих: заместителя директора института по научной части Анатолия Юльевича Согбенного, начальника отдела Игоря Андреевича Громова и начальника лаборатории Владимира Зосимовича Карина. Работы Карина, кстати, были близки к

исследованиям группы Бакланского. А вот Данилов, впервые попавший в столь именитую компанию, от волнения не удержал в памяти ни одной фамилии.

Григорьеву не раз приходилось встречаться с руководителями и администраторами всех рангов, но всегда его не оставляло неловкое чувство самозванца, как если бы его по ошибке принимали чуть ли не за родного сына. Впрочем, он так же хорошо знал, что, приведись случай, и все эти добродушные «дяди» столь же запросто могут раздолбать любую его, не понравившуюся им идею. При этом он никогда бы не смог на них рассердиться.

Комиссия должна была начать работу в десять часов, но шел уже одиннадцатый, а собрались далеко не все. Особенно грешили представители проектных организаций.

Бакланский смеялся, рассказывал анекдоты, но те, кто хорошо его знал, видели — Бакланский нервничает. Незаметно для одних, заметно для других, он и в частной беседе прощупывал почву. Когда необходимо, Бакланский умел отключаться от всех лишних проблем, терял суховатость, выказывая навыки вполне обаятельного человека, особенно в делах, касающихся защиты тем. Он уже успел выяснить, как относятся к их отчету те, кто будет разрабатывать темы дальше, и те, кто проводил работы, несколько похожие на их собственные.

Члены комиссии разгуливали по коридору. Бакланский выбрал момент и спросил у Григорьева:

— Как устроился с гостиницей?

— Хорошо, Виктор Иванович.

— Ну и отлично. А если бы не повезло, мог позвонить мне. У меня отец болеет, но устроить можно. А старик, так тот был бы чрезвычайно рад. — В его голосе было столько искреннего участия, что Григорьеву даже стало чуть-чуть стыдно за вчерашние мысли о шефе. — А ты, Толя, нашел свою тетку?

— Нашел, — ответил Данилов. — Все нормально.

В коридоре на стенах висели газеты лабораторий, разнообразные, яркие, привлекающие внимание стенды и плакаты, фотографии лучших людей отделов. На одной из них Александр узнал вчерашнюю девушку из ресторана. Ее звали Галя Никонова. Фотографы, конечно, умеют делать фотографии, на которых все кажутся красавцами и красавицами. Но здесь было что-то совершенно необыкновенное. Каждый понимает красоту по-своему. Так вот, для Александра эта девушка с фотографии вдруг предстала эталоном красоты. У нее было правильное, овальной формы лицо с высоким лбом и искусно сделанной прической. Большие, широко расставленные глаза, живые даже на фотографии. Нос прямой, с продолговатыми нервными ноздрями, губы ярко очерченные...

На такое лицо можно смотреть сколько угодно, и оно не перестает нравиться, каждое мгновение поражая совершенством и красотой.

Ему захотелось увидеть ее, но он, конечно, не стал разыскивать ее по лабораториям. Для чего? Он просто вспомнил вчерашний вечер, вспомнил, как ей вчера хотелось танцевать. Вчера он мог познакомиться с Галей естественно. И она была бы рада, он это чувствовал. А сегодня она так же естественно может и не захотеть видеть его.

Он не влюбился в нее, нет. Просто он долго не замечал других женщин. А теперь он подумал, что, может, это будет началом его выздоровления. Что бы ни случилось, жить все-таки стоит... Все дело, однако, было в том, что он не хотел выздоравливать, не хотел, чтобы к нему вернулось серое, мучительно однообразное, если вдуматься, настроение.

Рядом остановился Анатолий, проследил направление взгляда Александра и сказал:

— Хороша! Я видел ее. Работает в лаборатории. Тебе нравится?

— Ради бога! — остановил его Александр. — Ничего не хочу про нее знать. Понял?

— Понимаю, — сказал Данилов и тихонько кашлянул.

Это означало, что он принял решение помочь своему товарищу. Он всегда и всем любил помогать, даже если эта помощь от него не требовалась. И теперь он мог вот здесь же в коридоре, хотя Галя ему тоже явно нравилась, познакомить Сашку с ней и тихонько уйти, оставив их вдвоем. И тогда Григорьев не знал бы, что ему с ней делать, о чем говорить. Поэтому он предупредил, чуть резковато, но искренне:

— Толька! Учти, что я просто подошел и посмотрел. Мне нравится совершенно другая женщина.

Данилов понимающе кивнул, но не поверил.

Комиссия наконец собралась, и их пригласили в кабинет начальника Громова.

Григорьев шел рядом с Бакланским и неожиданно для самого себя спросил:

— Виктор Иванович, а почему вы все-таки взяли на защиту меня, а не Соснихина или Бурлева?

Бакланский вздрогнул и удивленно посмотрел на Григорьева, потом, как ни в чем не бывало, спокойно сказал:

— Ты нашел очень подходящее место, чтобы задавать ненужные вопросы... Тебе ведь хотелось поехать в Марград? Вот ты и в Марграде. А Соснихин и Бурлев и так часто ездят по командировкам. Доволен ответом?

— Доволен, — ответил Григорьев. Он понимал, что Бакланский говорит неправду, но выяснять сейчас что-либо было действительно не место.

— А почему у тебя возник такой вопрос? — спросил Бакланский.

Все уже рассаживались за огромный стол.

— Звонил мне... спрашивал, почему я здесь оказался...

— Кто звонил? — теперь Бакланский был по-настоящему заинтригован. — Когда звонил?

— Да так... ерунда какая-то.

— Когда звонил?

— Вчера. В гостиницу.

— Ты говорил кому-нибудь, в каком номере гостиницы остановился?

— Нет, конечно. У меня и знакомых-то здесь нет...

— А голос? Голос хоть немного знакомый?

— Голос очень знакомый. Я пытался вспомнить, ничего не получается. Мистика какая-то.

— Он назвал себя?

— Да, сегодня утром.

— Так он и сегодня звонил тебе. Кто же он?

— Назвался Александром Григорьевым.

— Однофамилец? Странно, странно. Может, родственник? Хотя все равно это ничего не объясняет.

— Таких родственников у меня нет... Собственно, звонил не он, а я сам.

— Час от часу не легче. Кому и зачем ты звонил? Накануне защиты!

— Я звонил по собственному номеру.

Бакланский сразу обиделся:

— И у тебя шуточки в стиле Соснихина. Помощнички!

Соснихина он терпеть не мог за его неиссякаемый юмор.

— Я на самом деле звонил по собственному номеру. Не верите? Приезжайте ко мне в гостиницу!

— Глупости, ерунда. Собственный номер всегда занят. Когда ты поднимаешь трубку, номер уже занят. Господи, ну

что за глупости приходят людям в голову? Тут о другом должна голова болеть. Тема, наше СКБ, люди...

— Вот она у меня и начала болеть. Причем не здесь, я еще в Усть-Манске.

— Смотри, Григорьев. Всякие выходки здесь неуместны. — Настроение Виктора Ивановича мгновенно стало тоскливым-тоскливым. Но он взял себя в руки. Он умел это делать.

— Итак, товарищи, — сказал Анатолий Юльевич Согбенный, председатель комиссии, — позвольте, я зачту вам приказ министерства от девятнадцатого сентября. — Он назвал номер приказа, наименование темы, фамилии членов комиссии и фамилии людей, которым было разрешено присутствовать на защите.

Это была обычная формальная процедура перед началом защиты.

Несколько экземпляров отчета лежало на столе. Члены комиссии должны были ознакомиться с ними. Хотя, как Григорьев знал, читали в основном техническое задание, выводы и рекомендации. И только кто-нибудь, обычно самый молодой из членов комиссии, который присутствовал на подобной защите впервые, удосуживался прочесть весь отчет. Но это, однако, не говорило о том, что комиссию можно обвести вокруг пальца. Это были опытные люди. Они обычно на лету схватывали основное и очень тонко чувствовали всякие подвохи и слабо проработанные места.

Одним словом, если Бакланский и не подавал виду, что волнуется, то это делало ему честь. Вернее, честь его выдержке. Тема, которую приехала защищать группа Бакланского, была, конечно, не совсем доработана. Это чувствовали все исполнители. Но им приходилось защищать и не такие темы. И они всегда выкручивались.

Первое слово было предоставлено Бакланскому. Демонстрационные плакаты и графики были уже развешаны на одной из стен кабинета. Они были выполнены в цвете, с большим изяществом и вкусом.

Виктор Иванович заговорил хорошо поставленным голосом. У него был прирожденный дар оратора. Своим голосом он мог заворожить любую аудиторию. Неслышными шагами передвигался он вдоль стены, водил по цветным диаграммам указкой и говорил.

Его группа работала над созданием устройства по автоматическому распознаванию речи. Для проверки принципа автоматического распознавателя был создан фонетограф. Это ог-

ромное устройство состояло из микрофона, усилителя, распознающего устройства, и электрической пишущей машинки, Для них это устройство служило просто инструментом проверки правильности гипотезы. Но в принципе его можно было использовать как самостоятельный аппарат. Например, для диктовки в микрофон текста доклада или научной статьи, чтобы получить на выходе устройства тот же текст уже отпечатанным. Другими словами, это устройство могло решить проблему автоматизации труда машинисток и стенографисток. А сотрудники вычислительных центров смогли бы вводить данные в математические машины, просто диктуя их в микрофон.

Решение проблемы, которая стояла перед ними, нельзя было переоценить. В системе «человек — машина» больше не было промежуточных звеньев и составление программы значительно упростилось.

И еще одну проблему могла решать их система. Проблему передачи информации на большие расстояния при уровне сигналов соизмеримых или даже меньших, чем уровень помех. Для демонстрации этой возможности Бакланский, Григорьев и Данилов почти двое суток устанавливали свою машину на телефонной станции.

Результаты работы были пока скромными. Машина могла распознавать всего лишь семьсот слов. Но, как говорят, лиха беда начало. В принципе, более мощную машину можно было создать уже сейчас. Вот только какие бы у нее получились габариты и вес? Об этом в отчете не говорилось ничего.

Некоторые исполнители давно чувствовали, что избрали не совсем правильный путь. Но Бакланский умел убеждать и доказывать. Кроме того, он работал над докторской диссертацией. На теме, собственно, и основывалась его диссертация. Работать он мог почти без всяких передышек, заражая всю лабораторию верой в успех и неистощимой энергией. Когда же сотрудники лаборатории скисали, он просто давил на них своим авторитетом, своей эрудицией, рассуждениями о государственной необходимости их работы...

Виктор Иванович кончил говорить, уложившись в точно отведенное ему время. Это свойство обычно очень ценится комиссиями. Следующим по распорядку дня должен был выступать Григорьев. Пока снимали графики и развешивали схемы и чертежи, нетерпеливые члены комиссии успели задать Бакланскому несколько вопросов. Но Виктора Ивановича нельзя было так просто застать врасплох. Он пообещал ответить, но сделал это так громко и в такую подходящую среди шума паузу, что председательствующий вынужден был напомнить, что вопросы должны задаваться позже. Все согласно закивали и успокоились.

Григорьев начал рассказывать о принципиальной схеме своей аппаратуры. Причем, как было условленно у него с Бакланским, особое внимание уделял применению в ней микромодулей, прочих микродеталей и интегральных схем. Сам он, честно говоря, не видел в их применении особого достоинства, особой заслуги своей группы, но в техническом задании имелся пункт об интегральных схемах, и Бакланский строгонастрого приказал ему остановиться на этом особо. Вот он и шпарил терминами из полупроводниковой техники.

Григорьев не успел уложиться в отведенное ему для доклада время, но когда сел на свое место, Бакланский шепнул, что это даже хорошо. Комиссия очень дорожит временем и теперь вынуждена будет ограничиться вопросами, ответы на которые содержались в его, Бакланского, докладе, но были им пропущены. Они всегда старались делать так, специально упуская в докладах некоторые важные моменты, чтобы члены комиссии вынуждены были задать вопросы. В этом усматривалось два плюса. Во-первых, ответы на предполагаемые вопросы были уже готовы, во-вторых, некоторые члены комиссии считали, что они сами додумались до каверзных вопросов, и были весьма довольны собой и даже проникались к защищающимся уважением и доверием. На самом же деле доклад строился так, что эти вопросы, не страшные для исполнителей, просто-напросто логически вытекали из него.

Выступления Бакланского и Григорьева заняли часа полтора, и поэтому председательствующий Анатолий Юльевич Согбенный объявил перерыв, которого любители покурить ждали со все возрастающим нетерпением.

Не успел Григорьев выйти в коридор, как к нему подошел начальник лаборатории Владимир Зосимович Карин. Голова у него была совершенно седая. А улыбался он так добродушно и понимающе, что невольно вызывал у собеседника ответную улыбку. Он подошел к Григорьеву, трудно переставляя ноги, и сказал:

— А вы, мальчики, кота в мешке привезли. — Карин не осуждал, просто констатировал факт. И не успел Григорьев возразить, как он продолжил: — Но это ничего. Защититесь. Проблемка-то модная, да и сложна. С ходу не взять.

— Должны защититься, — согласился Григорьев.

— А почему вы пошли по этому пути? Ведь метод простого увеличения параллельных блоков приведет вас к тому, что ваша аппаратура станет высотой с Монблан. И все равно с вершины этой горы решения проблем не увидишь.

— Вообще-то мы пытались ухватить проблему с разных сторон. Для частных решений наш метод, наверное, наиболее совершенен.

— Но ведь не устройство же для программного управления станками вам нужно сделать? Для этого, конечно, хватило бы и ста слов. А так вы рискуете зайти в тупик.

К ним подошел Бакланский.

— Ну что, Владимир Зосимович? Как тут поживает Марград? Жары-то как не бывало. В такой прохладный вечер и рюмочку пропустить не худо!

— Было бы время, — усмехнулся Карин.

— А что? Сегодня вечер занят?

— Вечером нужно успеть еще в одну комиссию.

— На износ работаете, Владимир Зосимович. А то бы поговорили, — продолжал Бакланский. — Александр вот у меня еще не был.

— Спасибо, Виктор Иванович. Но мне сегодня нужно в семь обязательно быть в гостинице, — сказал Григорьев.

— Ну ладно, заняты, так заняты. Коньяк, он не испортится. А как, Владимир Зосимович, настроение у комиссии?

— Обычное. Одним поскорее смотаться надо, а другим все равно, где сидеть.

— Ну-ну, — потер руки Бакланский.

— Тут вот только представитель какого-то института на вас зуб точит.

— Какого института? — мгновенно преобразился Бакланский.

— А тот товарищ, что сидит рядом с вами. Высокий такой.

— Ростовцев? Так это же представитель института, который будет продолжать нашу работу. Они же второй этап делать будут!

— Да?.. Там хитроватые мужички сидят, — сказал Карин.

— Им бы только отбояриться от данной темы. Тема хлопотная, а денег не так уж и много.

— Было бы с чего начинать. Может, поэтому? — спросил Карин.

— Начинать есть с чего, — твердо ответил Бакланский и добавил: — Извините, Владимир Зосимович.

Он отвел Григорьева в сторону и спросил:

— Послушай, Александр. Так кто же тебе все-таки звонил?

— Не знаю, Виктор Иванович. Давайте попробуем позвонить вместе.

— Да куда звонить-то?

— По собственному номеру телефона. Может, это не только в гостинице.

— Ничего не понимаю. Толком можешь объяснить?

— Не могу. Тут надо самому испытать.

— Это в твоей гостинице, в твоем номере чудеса происходят. А весь остальной мир нормален и занимается полезными делами.

— Вы правы. Но проверить не долго.

— Сейчас не могу, да и не верю.

— Не хотите, я один схожу.

Кто-то взял Бакланского под руку, а Григорьев пошел искать телефон.

В гостинице он звонил по собственному номеру. Может, с другими телефонами ничего не получится! Да и не должно получиться.

В лаборатории он заглядывать постеснялся и поэтому дошел до приемной. Там он попросил у секретаря разрешения и набрал на диске номер, написанный на самом телефоне. Это был идиотский эксперимент. Григорьев понимал не хуже Бакланского, что ему должны, как обычно, ответить частые гудки. Но в трубке что-то щелкнуло и затем раздалось:

— Слушаю, Сашка.

— Так, значит, с любого телефона к тебе звонить?

— Наверное, не знаю... Как у тебя настроение? Защищаетесь?

У Александра вдруг пропало всякое удивление, и он спокойно, как при обыкновенном телефонном разговоре с хорошо знакомым человеком, сказал:

— Начали, потихоньку...

— Мы тоже начали. И в голове сейчас всякие бунтарские мысли бродят, Бакланский узнает — с ума от злости сойдет.

— У меня тоже всякие дикие мысли в голове... Постой, так значит, и у вас есть Бакланский? — спросил Григорьев.

— Есть.

— А откуда ты говоришь? И нельзя ли нам встретиться? Интересно, все-таки. Такое странное совпадение.

— Я говорю из приемной института. — И он назвал институт.

— В Марграде?

— Конечно, в Марграде.

Вот так. Он звонил из Марграда, из того же института, что и Григорьев, из той же приемной, по тому же самому телефону. В таком случае Григорьев мог разговаривать только сам с собой.

— Ну и что ты намерен делать? — спросил тот Григорьев.

Александр промолчал.

— Все ждешь письма?

— Жду, жду! — выкрикнул Александр и бросил трубку на рычаг.

Ему было плохо, ему нужно было письмо. Оно должно прийти на почтамт. Пусть на листке будет хоть одно слово «Нет!», но ответ должен быть. И как это ни нелепо было, он вдруг понял, что в командировку поехал только из-за нее...

В коридоре, когда он вышел из приемной, все еще разгуливала комиссия. Да и сотрудники лабораторий тут же курили. Словом, было оживленно, как на Главном проспекте. Навстречу попался Бакланский, уже о чем-то разговаривающий с председателем комиссии.

— Ну что ж, пора заканчивать перекур, — сказал Анатолий Юльевич. — Давайте, товарищи, продолжим работу.

Бакланский задержался и сказал:

— Александр, ты выбрось всякую ерунду из головы. Сейчас начнется самое главное.

— Я снова с ним разговаривал, — сказал Александр. — Можно с любого телефона. Попробуйте, интересно ведь.

— Черт бы вас побрал! — вдруг озлился Бакланский. — У одного блажь в голове, другой из буфета не может вылезти.

Тут и у Григорьева в душе что-то взорвалось:

— Тогда зачем вы меня с собой взяли? Чтобы я как попугай повторял все, что скажете вы?

— Успокойся, Александр. Люди же смотрят.

— Постараюсь, — буркнул тот.

Он отстал от шефа и задержался возле стенда, на котором висела фотография хорошенькой девочки — Гали Никоновой. Нет, она определенно действовала на Александра положительно — успокаивала, ободряла. Настроение у него сразу

улучшилось, и он спокойно вошел в кабинет, где уже рассаживалась комиссия.

Бакланский сидел возле телефона, и вид, надо честно признать, был у него жалкий и растерянный. Он положил трубку на рычаг и посмотрел на номер телефона. Александр подумал, что шеф сейчас звонил по собственному номеру. Виктор Иванович отошел от телефонного столика и сел рядом с Григорьевым.

— Чертовщина какая-то! — сказал он.

Но Бакланского не так-то просто было выбить из колеи. Он уже снова был жизнерадостен, полон сил и энергии.

— Ты вот что, — сказал он Григорьеву, — ты в прениях не выступай.

— Почему же? — удивился Александр. В другой раз он бы только обрадовался этому. Но сейчас тон Бакланского ему не понравился. — Я тоже хочу высказать свои мысли.

— Кому они нужны?! Еще брякнешь что-нибудь.

— Значит, Виктор Иванович, началась паника? Или просто плохие предчувствия?

— Конечно, — сказал Бакланский, — в нашей работе есть определенные недостатки. А где их нет? Но все-таки тему мы должны защитить. Понял?

Александр, конечно, понял. На карту поставлена не только тема сама по себе, но и труд всего СКБ, его руководителей, инженеров, техников. Одно смущало Григорьева. Никогда ранее мысль о бесполезности или явной недоработке их темы ему и в голову не приходила...

Председатель комиссии предложил задавать вопросы. Вопросы, естественно, делились на три типа. О принципиальной стороне дела, о его схемном решении и об экспериментальных результатах. Первое относилось к Бакланскому, второе — к Григорьеву, а третье, по-видимому, опять к Бакланскому. Анатолию Данилову Виктор Иванович наверняка бы не разрешил отвечать на вопросы. Тот мог или не понять существа вопроса, или ответить по простоте своей чистосердечно и честно. Анатолий на этой защите был как бы некоторым дополнением к их экспериментальной установке.

На защите не принято отвечать на вопросы немедленно. Нет. Комиссия задавала вопросы, а исполнители пока только записывали их. Причем Бакланский записывал все, а Григорьев только то, что относилось к нему. Уже в самих вопросах была некоторая путаница, неразбериха. Это означало одно:

мало кто из членов комиссии удосужился тщательно изучить отчет. Многие, конечно, пролистали его мельком, а некоторые — мало заинтересованные этой темой — не читали вовсе. Совместными усилиями они, конечно, дойдут до всего. Однако сколько до этого момента наслушаешься глупых и наивных вопросов! Но Бакланский был этому только рад. Вопросы позволяли ему отвечать изящно, с юмором, занимали время. А ведь всем известно, что любая комиссия всегда торопится.

Наконец все вопросы были заданы. Комиссия немного подустала, и все мирно пошли обедать.

Столовая располагалась на двух этажах. Григорьев потолкался на одном этаже столовой, потом спустился на другой. Есть не очень хотелось. Можно было зайти в буфет и выпить пива. Он так хотел было и сделать, но вдруг увидел ту хорошенькую, милую девушку — Галю Никонову. И тогда он подошел к ней и сказал:

— Галя, вы пропустите меня без очереди? Впереди себя.

Сначала она посмотрела на него удивленно и насмешливо, потом узнала:

— А я думала, вы обедаете только в ресторанах.

— Это только когда вы там, Галя.

— А я и была-то там впервые. Правда, Любаша? — обратилась она к подруге, в которой Александр узнал ее вчерашнюю спутницу. Любаша посмотрела на него с улыбкой и кивнула копной светло-желтых волос.

— Я сомневаюсь, что этот... — сказала она.

— Саша, — подсказал Александр.

— ...что этот Саша обратил вчера на нас внимание. Он был так поглощен своим шашлыком.

— Я тоже хочу есть, — сказал подошедший Данилов.

— Ну вот, еще один! — недовольно и громко сказал кто-то из стоящих в очереди.

Григорьев смутился и решил стать в конец очереди, но тут раздался добродушный голос Карина:

— Да что вы, ей-богу! Это же наши дорогие гости из Усть-Манска.

За стол они уселись вчетвером: Галя, Любаша, Анатолий и Александр. Незаметно разговор перекинулся на то, как приезжие устроились с жильем. Сначала Данилов рассказал о своей тетушке, потом Александр о том, что произошло в гостинице «Спутник». Он рассказал о комнате, и о телефоне, и о своем разговоре с Сашкой, не вдаваясь, правда, в подробности. Тут с иронией вспомнили о телепатии. А Григорьев возьми да и предложи:

— Вот кончим обедать и пойдемте звонить. А потом каждый расскажет, что услышал. Хорошо?

Ему, конечно, не поверили, но согласились. Побродили по коридорам, нашли телефон в пустующей комнате. Первым вызвался звонить Данилов, а две девушки, то смеясь, то приглушая смех и глядя на Григорьева преувеличенно серьезно, ждали, как же он будет выкручиваться, ведь ничего не произойдет.

Но Александр был уверен в себе и глубокомысленно изрек: «Вот так!», когда телефон сработал, а глаза Данилова полезли из орбит.

— К-кто гов-ворит? — растерянно спросил Анатолий.

— Так это не шутка? — удивилась Галя.

— Будет ваша очередь, — сказал Григорьев, — узнаете.

Данилов сначала заикался, потом перестал, а в конце заговорил бодро и даже рассмеялся.

— Ну что? — спросил Григорьев, когда тот повесил трубку.

— Это, конечно, розыгрыш, но только я не знаю, как ты это устроил.

— Я ничего не устраивал.

— Да что же вам сказали? — нетерпеливо спросила Любаша.

— Кто-то, знающий меня по имени, заявил, будто я хочу, чтобы мы все четверо провели вечер вместе... Но... но я сам хотел это предложить. А? Как вы? Договорились?

— Но я... — начала было Любаша. — Нет, давайте сначала все позвоним.

— Давайте, — согласились остальные, а Данилов вдруг выгнул грудь колесом и стал очень похож на красавца улана, только что надвое разрубившего врага. Это превращение означало, что жизнь хороша и Анатолий доволен собой.

Любаша набрала номер и ей, конечно, тоже ответили. Она смешно зажала трубку обеими ладонями и говорила в нее, повернувшись к остальным спиной. Она говорила и отвечала односложно: «Откуда вы знаете?.. Да... Нет... Конечно... Хорошо...» Потом она облегченно вздохнула, повесила трубку и повернулась уже успокоенная, довольная и даже веселая. Смешинки так и прыгали у нее из глаз.

— Ну что? Что тебе сказали? — затормошила ее Галя.

— Ой, девочки! — сказала Любаша. — Это или гипноз... Скажите, — она ткнула Григорьева пальцем в грудь, — откуда вы все знаете?

— Ничего я не знаю.

— Но вы же видели вчера Игоря?

— Игоря?

— Да. Так вот она сказала, чтобы и Игорь был с нами...

— Кто это — она? — спросила Галя и потянулась к трубке.

— Я бы и сама хотела знать.

— Любаша говорила с Любашей. Так ведь? — спросил Григорьев.

— Так, — удивленно ответила девушка. — Она назвала себя Любашей.

— Любашей? — повторила Галя рассеянно. — Я тоже попробую.

Она говорила чуть испуганно и недоверчиво, но последняя фраза вырвалась у нее непроизвольно громко.

— Да, нравится... Ну и что?.. Нет, все равно!

Теперь Любаша трясла ее за руку:

— Что тебе говорили? Что тебе нравится?

— Нравится? — переспросила Галя. — Мы говорили... о платьях. Мне нравится голубое.

— У тебя ведь и нет такого...

— Нет, — согласилась Галя. — Ну, в общем, это не важно. Она сказала, что мне нравится эта идея насчет сегодняшнего вечера. И это действительно так. Какая разница, как провести вечер?

Она была чем-то расстроена, словно ей сказали колкость, на которую она не сумела ответить. Александр почти не знал эту хорошенькую девочку Галю Никонову, но чувствовал, что если и та Галя похожа на эту, то она не могла сказать ничего грубого, злого. Хотя, возможно, это была мягкая правда, которая иногда жестче грубой.

Настроение у девушки изменилось, это было заметно. Она пыталась вызвать в себе прежнюю легкость и веселость, но это ей плохо удавалось.

Теперь настала очередь звонить Григорьеву.

— Сашка, — сказал он и замолчал, потому что не знал, что говорить дальше.

— Вот что, — тоже после некоторого молчания заговорил тот Александр. — Неужели ты думаешь, что кто-то поможет тебе забыть ее?

— Нет. Но я бы и не согласился, будь это даже возможным.

— Вдруг ответ уже есть?

— Я поеду сразу же после работы.

— А этот вечер в компании с девушками? Тебе нравится Галя?

— Нравится. И многим, наверное. Что ж из этого?.. А от вечера я, пожалуй, откажусь. Их будет четверо, я — пятый лишний. Да у меня же вечер занят! В семь часов комиссия начнет выяснять, кто ты такой и почему мы можем разговаривать.

— Тебе не кажется, что ты смутил душу этой девушки?

— Нет, нет. Конечно, нет.

— Ну, хорошо. А защита?

— Защита, кажется, пройдет нормально.

— А что будет после?

— Что будет?

— Кто-то ведь должен будет разрабатывать технический проект.

— Это уже нас не касается.

— Да, вас это уже не касается.

Тот, другой Александр, неожиданно положил трубку. Григорьев пожал плечами и положил свою. Хорошо тому, знающему, по-видимому, все.

Данилов смотрел на Григорьева настороженно. Любаша с любопытством, Галя с каким-то смешанным чувством недоверия и презрения.

— Говорите же! — чуть ли не приказала она Григорьеву.

— Вечером мне нужно быть в гостинице. Там будет ждать очередная комиссия. В семь часов.

— Какая еще комиссия? — удивился Данилов. — Что за ерунда!

— Не я ее выдумал. Авторитетная комиссия. Вы же, вероятно, хотите знать, с кем только что говорили? И я хочу. И многие другие.

— Пошли, — Галя потянула подругу за локоть. — У Александра, видимо, много забот. Непорядочно было бы отвлекать его.

— Стойте же, — задержал их Данилов. — Он же хороший парень, этот Григорьев. Не может, значит, не может. Но мы-то встретимся вечером? Ну кто-то ведь должен показать мне вечерний Марград?

...Комиссия уже наполовину втянулась в кабинет, когда Григорьев все же нашел знакомый коридор и прошел мимо фотографии Гали Никоновой. С фотографии она смотрела на него очень серьезно и даже осуждающе.

Кое-кто, извинившись перед председательствующим и сославшись на срочные дела, уже сбежал. Это были люди, менее других заинтересованные в теме, люди, которым было все равно, попавшие в комиссию волей непонятных обстоятельств. Они, конечно, придут, чтобы расписаться в приемочном акте, и подпишут все, что бы в нем ни заключалось.

Но до этого акт еще должен быть составлен. И как составлен! Бакланского мало радовало уменьшение рядов столь представительной комиссии. Но он был тверд в решении постоять за свое СКБ, за своих работников. Можно было поклясться, что сейчас в голове у него не было ни одной мысли, которая бы не касалась темы.

— Товарищи! — сказал председательствующий. — Сейчас Виктор Иванович будет зачитывать вопросы и отвечать на них. А задавший вопрос пусть, пожалуйста, представится. Мы тут собрались из разных организаций и городов и пока еще не очень хорошо знаем друг друга. Но, я думаю, у нас будет время познакомиться поближе.

— Будет, будет! — зашумели некоторые члены комиссии, выразительно подмигивая друг другу.

— Итак, товарищи, начнем. Пожалуйста, Виктор Иванович.

Анатолий Юльевич сел с таким видом, словно он проделал наиболее важную и тяжелую часть возложенной на него работы.

— Можно мне отвечать, не вставая? — спросил Бакланский.

— Конечно, Виктор Иванович.

— Первый вопрос, — начал Бакланский. — «Может ли наша система решить проблему словесного ввода программ в вычислительные машины?»

— Это мой вопрос, — чуть привстал молодой человек, сидевший напротив. — Марград. Институт автоматизированных систем управления. Кандидат наук Стеблин Виктор Викторович... Только в моем вопросе пропущено одно слово. Может ли ваша система полностью, — он еще раз подчеркнул, — полностью решить проблему...

— Все понятно, — перебил его Бакланский и просиял, словно ему сказали комплимент. — Поскольку это наиболее общий вопрос, то нам необходимо договориться, что значит «полностью», что означает «словесный ввод программы» и что такое «вычислительная машина».

— Ну, знаете ли! Мы так долго прозаседаем, — недовольно сказал Стеблин. — Тут, по-моему, можно ответить просто и коротко.

— Это только вопросы можно задавать просто и коротко. Да и то — на первый взгляд. Вы можете дать определение, что такое вычислительная машина, и учесть при этом философскую, техническую, информационную и прочие стороны этого понятия?

— Конечно, — полез в бой молодой кандидат наук, но уже через две минуты вынужден был сдать свои позиции. Бакланский закидал его вопросами так, что даже непонятно стало — кто же здесь защищается?

— Вот видите, — сказал Бакланский. — Я, конечно, не могу ответить на данный вопрос, поскольку составляющие самого вопроса не имеют точного определения.

— Товарищи, — сказал Анатолий Юльевич, который как раз в это время отвлекся от мыслей по предстоящей на следующей неделе конференции и вслушался в спор. — Прошу задавать вопросы конкретно и чтобы они не выходили за рамки технического задания. Прочие вопросы можно задавать в кулуарах.

Бакланский, конечно, допек этого кандидата из НИИАСУ. Ясно стало, что в дальнейшем Стеблин поостережется задавать вопросы во время заседаний, но в перерывах будет долго и нудно ходить за Бакланским, дергать его за лацкан пиджака и выяснять, в чем же заключается философская проблема компьютеров, чтобы хоть как-то вернуть утраченное расположение духа.

— «Пробовали ли мы применить другие идеи для составления функциональной схемы?» — зачитал вопрос Бакланский.

— Это мой вопрос, — сказал начальник отдела Громов.

— Конечно. На этапе предварительной проработки задания мы рассматривали и другие варианты. На совместном заседании заказчика, и исполнителей был одобрен именно этот вариант.

— Как?! — взвился сидящий рядом с Бакланским Ростовцев — представитель института, который должен был разрабатывать технический проект. — Разве такое совещание было?

— Было, — спокойно сказал Бакланский. — В феврале прошлого года. Протокол совещания подписан обеими сторонами и без особых мнений.

— Но почему же нас не...

— Спокойно, товарищи, — попросил Анатолий Юльевич. — В работе должен быть порядок.

— Но почему же нас не поставили в известность?! Заказчик заказчиком, но ведь продолжать-то работу нам!

— Состав совещания утверждали вышестоящие инстанции, — сказал Бакланский. — Обратитесь к ним. Хотя прошло уже полтора года.

— И мы только сейчас узнаем об этом?!

— Разве это наша забота — информировать?

— Ну, хорошо. По чьей инициативе было созвано совещание? — спросил Ростовцев. Выражение лица его было растерянным, словно он получил неожиданный удар в спину.

— Мне отвечать на вопрос? — спросил Бакланский у председателя.

— Товарищи, ради бога, давайте по порядку. Так мы прозаседаем всю неделю. Игорь Андреевич, вы удовлетворены ответом?

— Ни в коей мере! — ответил Громов, и его сухая стариковская фигура еще более вытянулась. — Интересно было бы посмотреть этот протокол, Сергей Сергеевич, — обратился он к представителю заказчика. — Было такое совещание?

— Кажется, было, — Сергей Сергеевич Старомытов вопросительно и чуть испуганно посмотрел на Бакланского.

— Господи, неужели меня сейчас начнут уличать во лжи? — тихо спросил Бакланский.

— Да, да, было, — поспешно сказал Сергей Сергеевич.

— Вы же заказчик! — удивился Громов. — Вы деньги платите за работу! Мы все можем подписать акт о приемке темы, но ведь кашу-то расхлебывать будете вы!

— Мы... — Сергей Сергеевич чуть было не сказал, что они только платят деньги... Странно запутаны иногда финансовые дела. Хотя и в этом, наверное, есть смысл. Своеобразная перекачка денег из одного министерства в другое или из главка в главк. Тему финансирует одна организация, а делается она для другой. Первой все равно, что там делается, а вторая не имеет никаких юридических прав, если только в ней не найдется пробойный мужичок, который все расставит на свои места. — Мы проводили такое совещание. Меня лично, правда, там не было. Я недавно занимаюсь этой темой. Но протокол был. И это направление одобрено.

Такое совещание действительно было, вспомнил Григорьев. Приехал к ним представитель заказчика. Путешествие все-таки, да еще за государственный счет! Бакланский быстренько убедил его в необходимости создания совместного документа. «Чтобы дело двигалось без задержек». Кто теперь знает, что это был за специалист, скорее всего инженер в совершенно другой области, да еще с больной печенью или напротив — большой любитель повеселиться в чужом городе. Он и подписал протокол. Потом протокол ушел к заказчику. И директор организации-заказчика подписал его, раз внизу уже была подпись человека, который должен был разбираться в технике лучше самого директора. Соснихин тогда возражал, потому что выбор направления работ был далеко не обоснован, и этот протокол до какой-то степени связывал руки и самим исполнителям.

— Стало быть, есть два документа, — сказал Громов, — техническое задание и протокол согласования. Причем второй документ необоснованно ограничивает первый, который, кстати, утвержден в министерстве.

— Милый ты мой Игорь Андреевич, — вступил в спор председатель, — что они, по-твоему, не выполнили пункты технического задания?

— Да как сказать? Получается, на мой взгляд, что-то вроде этого...

— Так сказать... что-то вроде... Игорь Андреевич, ты разве не знаешь, что это в акт приемки не запишешь? В акте все должно быть четко и понятно каждому. Ну не будут же в министерстве проводить работу по сравнению каких-то методов. Им на это начхать. Для этого и создана наша комиссия, чтобы все проверить и подать в готовом виде. Такие-то пункты выполнены, такие-то требуют доработки, одни — за счет исполнителя, если их вина, другие — по дополнительному договору. Конкретно, какой пункт они не выполнили?

— Я, Анатолий Юльевич, сформулирую свою мысль в достойных выражениях позднее, но смысл моего вопроса и выступления в том, что товарищи сделали паровой велосипед. Вроде бы он и движется, но какой ценой?

— Опять: вроде бы, — улыбнулся председатель.

— Ну, ладно. Пробовали ли исполнители решить проблему распознавания образа не тривиальным методом, который, кстати, может завести в тупик?

— Пробовали, — ответил Бакланский.

— Вы удовлетворены ответом? — спросил Согбенный.

— В высшей степени! — съязвил Громов и как-то стал меньше ростом. — Большего, я вижу, тут не добьешься.

— Виктор Иванович, — перегнулся через стол Карин. — Соснихин ваш, да и Бурлев ведь были у нас. Кое-что мы им показывали; да и вы сами знаете. Почему же никакого упоминания в отчете. Ведь наше направление очень перспективно...

— Владимир Зосимович, — постучал ручкой по пепельнице председатель. — Что за тайные переговоры? Давайте придерживаться установленного порядка. Продолжайте, Виктор Иванович.

— Еще два слова по второму вопросу, — сказал Бакланский. — Я понимаю, что в науке, а особенно в технике, можно идти разными путями. Но путь, который нравится одним, не дискредитирует другой. И личные симпатии...

— Я удовлетворен вашим ответом, Виктор Иванович, — остановил его Громов. — Не трудитесь продолжать.

— Следующий вопрос.

Виктор Иванович зачитал его. Задавший вопрос представился. Им оказался товарищ из Перми. Вопрос был о гибкости в применении системы с различными исполнительными механизмами. Бакланский ответил четко и понятно. Пермяк остался доволен.

И еще на несколько вопросов ответил Виктор Иванович. Если вопрос касался чего-то хорошо проработанного, то ответ был точен, предельно лаконичен и изящен. В этом Бакланскому нельзя было отказать.

— «Может ли ваша система распознавания образа служить в качестве секретаря-машинистки?» Товарищ, наверное, имел в виду, может ли наша система печатать с голоса. — Кто-то хихикнул. — Может. Правда, специальные тексты. В отчете есть протоколы испытаний. А завтра, если распорядок работы комиссии не изменится, вы сможете это увидеть собственными глазами.

— Что за специальные тексты? — спросил Ростовцев. — Нам ведь нужно печатать любые тексты!

— Я выскажу свои соображения, если меня пригласят на обсуждение вашего технического задания, — вежливо сказал Бакланский.

— Извините! Но вы все-таки могли бы пояснить.

— Могу. Тексты, состоящие из набора семисот-восьмисот слов.

— В протоколе сказано, только семьсот, — заметил Громов.

— Работы велись до самого отъезда. Есть дополнительные изменения в сторону улучшения работы системы.

— Протокол должен отражать полное состояние дел по теме, — сказал председатель. — Одного дня не хватило?

— Извините, но одного дня у всех не хватает, — сказал Бакланский с улыбкой, понимающей и доброй. — И у комиссии может не хватить.

— Судьба всех комиссий...

— И исполнителей тоже... Так я продолжу? «Имеет ли значение тембр голоса говорящего, скорость речи, динамический диапазон?»

— Старков. Марградская телефонная станция, — представился молодой человек, которому принадлежал вопрос.

— Динамический диапазон не имеет значения. На входе стоит устройство с автоматической регулировкой усиления. Скорость речи — в пределах нормальной человеческой, до ста слов в минуту. Тембр голоса имеет значение. Система настраивается на спектр с определенными формантами голоса. Но в каждом конкретном случае можно настроить систему на любой голос.

— То есть вас система поймет, а меня не поймет?

— Да. А если точнее, то сейчас она настроена на форманты голоса нашего старшего инженера Анатолия Данилова.

— Сколько времени занимает перестройка?

— М... м... Несколько часов.

— Фью, — присвистнул кто-то.

— В том случае, если форманты очень различны. Но практически это не вызовет дополнительных трудностей. Ведь обычно с системой будет работать один оператор.

— Или два, — вставил Карин.

— Да... Может быть, и два. Вам, — Бакланский обратился к Старкову, — как представителю АТС, наверное, будет интересно узнать, что система может быть использована, как увеличитель отношения сигнал — шум, то есть неразборчивую речь делать разборчивой. Для телефонной станции это должно быть очень интересно.

— И тоже только на определенный голос?

— Не совсем. Поскольку на другом конце провода в качестве приемника используется человек, возможности системы расширяются.

— Это понятно, — сказал Громов.

— Да. Конечно.

Прошло почти полтора часа. Председатель объявил перерыв.

В коридоре Бакланский сказал Григорьеву:

— Александр, защита, кажется, будет трудная. Кое-кому мы перебежали дорогу. Надо держаться дружно.

— Не дорогу мы перебежали, а лежим бревном на дороге.

— Черт тебя возьми! Ты сам напросился в эту командировку! Изволь слушаться и говорить то, что нам требуется... Анатолий вот понимает это, кажется.

— Мне что... — сказал Данилов.

— И то хлеб.

— А не будет ли честнее признать, что тему мы не выполнили? — спросил Григорьев.

— Кто тебе это внушил? В Усть-Манске ты говорил совсем другое.

— Прозреть никогда не поздно. Я знал и раньше, только меня это не очень касалось.

— Ты прозреешь... Из-за нимфы слюни распустил?

— Как вы смеете!

— Ах, да! Молчу, молчу! Твое дело. Но только, что касается меня, ты должен просто-напросто исполнять. Кто тебя надоумил?

— Я уже говорил, что задумывался над этим и раньше. А телефонные разговоры с моим двойником...

— Чтобы не слышал я об этом больше! Детство! Дурость!

— Но ведь и вы, кажется, говорили со своим?

— Фокус это. Не стоит размышлений.

— На вас лица не было, когда вы положили трубку.

— Чушь!.. Мне, возможно, понадобится ваша поддержка.

— Тогда лучше отправьте меня в Усть-Манск.

— Ну, Григорьев! Ты...

Карин убеждал Громова:

— Игорь Андреевич, кое-что они все-таки сделали.

— Ну да. Спаяли груду транзисторов, а для чего? Разве что-нибудь новое появилось в результате этого?

— Не всегда новое получается. И потом, ведь затрачен труд людей. Не пропадать же ему впустую.

— А он и не пропадет. Этот труд превратится, превратился уже в докторскую диссертацию Бакланского. И не более.

— Разве он готовит докторскую?

— Уже готова. Он меня в оппоненты пригласил. Теперь, наверное, кается, что разговор завел.

— Нет, для докторской здесь слишком много липы.

— Значит, для докторской — много, а для защиты проекта — мало?

— Ох, да какие только темы не проходят!

— А меня увольте.

В кабинете заместителя директора НИИ по науке Ростовцев говорил Анатолию Юльевичу:

— Анатолий Юльевич, эту тему нельзя пускать дальше.

— Завалить, значит, надо?

— Ну, завалить, не завалить...

— А тут только одно из двух.

— Пусть они как хотят, но мы продолжать ее не будем.

— Записано же у вас в плане?

— Рекомендации надо включить в акт, чтобы тему дальше не развивали.

— Выходит, братец, тему принимаем и прикрываем? И все довольны!

— А хотя бы и так!

— Вы же раньше за нее чуть ли не в драку.

— Да! Если бы она была сделана на уровне.

— Ничего не могу поделать. Запишите в акте свое особое мнение.

— Придется. Но можно и по-другому. Через вышестоящие инстанции.

— Уж не угроза ли это?

— Да что вы!

— Хорошо. Если придет распоряжение из главка, мы эту тему не примем. Но ведь не придет такое! Так что пусть все-таки решает комиссия.

Сергей Сергеевич Старомытов в одиночестве угрюмо посасывал сигарету и размышлял: «Черт меня дернул перейти на эту руководящую работу. Паял раньше транзисторы, настраивал схемы, отвечал только за себя, за свой труд... Миллиончик

Бакланский скушал. Миллиончик мы ему выдали. Не из своего, правда, кармана. Из государственного. Я — представитель заказника. Но ведь я ничего в этом не понимаю. И вообще, вся эта тема мне до чертовой бабушки! Да и институту нашему. Обходились без компьютеров, а теперь автоматического секретаря уже надо? Предположим, нам не надо, но ведь кому-то надо, раз весь этот сыр-бор загорелся. Пешка! А если начнут в поддавки играть? Кем пожертвуют? Представитель заказчика, вы Бакланскому миллион стравили. Ваше мнение? Принимать тему или нет? Принимать все же? Жаль. Ведь целый миллион ухлопали».

Старомытов в сердцах бросил сигарету и пошел по коридору.

Комиссия вновь собралась в кабинете начальника отдела Громова.

— Продолжим, товарищи, — сказал Анатолий Юльевич. — Что-то заметно поубавилось нас. Ученого секретаря прошу выяснить, кто не вытерпел и ушел. Тема очень важная для народного хозяйства. В исполнении темы есть недостатки. Решать должны все, а не перекладывать ношу на наши плечи. Вы, пожалуйста, обзвоните всех утром. Вплоть до директора звоните, но чтобы завтра были все! Пожалуйста, Виктор Иванович.

— Вопрос в том, каковы перспективы уменьшения габаритов и веса аппаратуры.

— Сколько она у вас сейчас? — спросил Карин.

— Около двух тонн, — чуть поморщился Бакланский.

— А, помнится, товарищ Григорьев очень здорово упирал на микромодули и интегральные схемы, — вставил слово сам председатель.

— Естественно, на это и был сделан главный упор в работе.

— И все равно две тонны? — сказал Ростовцев и чуть покосился на сидящего рядом Бакланского.

— Но вы же, товарищи, знаете, что у нас за интегральные схемы. До японских, к примеру, им еще далеко.

— А почему? — неожиданно спросил Григорьев.

— Что «почему»? — удивился Бакланский. — Ты, Григорьев, не мешай отвечать.

— Ну, а все-таки... — настаивал Ростовцев.

— Извините, товарищи, — сказал Бакланский. — Я сейчас отвечу.

Григорьев нагнулся к самому уху Бакланского и сказал очень тихо:

— Потому что кто-то вроде нас защитил тему, которая не сделала в микроэлектронике ни одного шага вперед.

— Да, да, — громко сказал Бакланский. — Я согласен, что если бы нашу систему выполнить на японских интегральных схемах, ее габариты уменьшились бы в пять раз.

— Всю систему или только макет, который вы привезли? — спросил Ростовцев.

— Да, я имею в виду макет, конечно.

— Тогда хорошего мало, — сказал Ростовцев.

Виктор Иванович продолжал отвечать на вопросы. И хотя судьба темы висела на волоске, не очень, впрочем, еще тонком, Бакланский держался с достоинством. Он был корректен и не давал втянуть себя в перепалку, которая, казалось, вот-вот могла разгореться по каждому вопросу. На один вопрос он даже ответил: «Нет. Не знаю». И этим как бы показал, что вот, мол, чего не знаю, того не знаю, но уж что знаю, того у меня не отберешь.

И на вопросы, обращенные к Григорьеву, он тоже отвечал сам. В электронике Бакланский разбирался превосходно, да и по схемным решениям с ним особенно не поспоришь. Конечно, триггеров, к примеру, или эмиттерных повторителей можно изобрести десятки типов, но отличаться друг от друга они будут не принципиально.

— А что у вас Григорьев и Данилов молчат? — спросил вдруг Карин.

— Отчего же. Данилов у нас специалист по экспериментальной части. Завтра у него будет работа. А Григорьев составлял всю принципиальную схему. Конечно, может и он отвечать на все, что касается схемы.

— У меня только один вопрос к Григорьеву, — сказал Громов. — Как он считает, можно ли чисто схемными решениями уменьшить вес системы до необходимого по техническому заданию уровня?

Григорьев молчал. Бакланский безучастно рассматривал свои руки.

— Так как же?

— Нет, — ответил Григорьев. — Нельзя.

— С применением самых совершенных интегральных схем?

— Все равно.

— Вопросов больше нет.

— У меня вопрос, — сказал Ростовцев. — Что же нам собираются передать товарищи из Усть-Манска? С чем мы начнем работать?

— Вполне нормальная тема, — сказал Бакланский. — У вас институт сильный. Вы и не такую тему можете поднять.

— Бойтесь данайцев, дары подносящих, — буркнул Ростовцев.

— Я думаю, — сказал председатель комиссии, — мы на сегодня сделали много. Заслушали два доклада, ответы на многочисленные вопросы. Многое выяснили. Недостатки в исполнении темы, конечно, есть. Завтра посмотрим, как действует макет. Все собираются здесь, а отсюда на автобусе поедем на телефонную станцию. Послезавтра будет обсуждение. А там пора и проект акта приемки набрасывать... Ну, что ж, товарищи, все на сегодня. Не забудьте отметить пропуска у секретаря.

Несколько минут члены комиссии еще не расходились. Бакланский мирно и вежливо беседовал с Громовым и Ростовцевым. Григорьев и Данилов ждали его в коридоре.

— Так что делать вечером будем? — спросил Данилов.

— Толя, я не могу сегодня быть с вами. Ведь в гостинице действительно переполох с этим телефоном. И в семь часов приедет комиссия. И вообще, мне ничего не хочется: тоска зеленая.

Из кабинета вышел Бакланский, взял за локоть Григорьева, отвел в сторону и сказал тихо и спокойно:

— Ты вот что, Александр. Ты завтра, пожалуй, сходи-ка в музей. Да и дела у тебя какие-то здесь. Займись ими. Отдохни. В общем, развейся. Мысли глупые выбрось из головы.

— Так... Понятно...

Легковая машина действительно заехала за Кариным, едва он успел поужинать. И пока она мчалась к гостинице, Владимир Зосимович больше думал о прошедшем дне защиты, чем о привидениях в каком-то номере ультрасовременной гостиницы.

Самое интересное было в том, что формально руководитель темы прав. Всевозможные протоколы, двояковозможное истолкование пунктов технического задания ограждало его от критики большинства членов комиссии.

Словом, тема будет принята. Это, пожалуй, понимали все. Только одним это было необходимо и приятно, а другим — опасно и накладно в недалеком будущем.

По сути дела, борьба должна была развернуться вокруг пункта рекомендаций акта, где и будет указано, что в системе, предъявленной Бакланским, нужно переделать, каким образом, в какой срок, за чей счет. И тут уж заказчик никаким образом не согласится платить лишние деньги на доработку и тем самым из поддерживающего превратится в нападающего, еще более запутывая ситуацию. Институт Ростовцева, как будущий исполнитель и продолжатель работ, хотел бы получить, конечно, эту тему отработанной до предела. А поскольку этого не предвиделось ни сейчас, ни в ближайшем будущем, администрация института, чьи интересы защищал Ростовцев, воздвигла бы ему памятник, сумей он провалить тему.

Остальные члены комиссии по разным пунктам технического задания тоже занимали различные позиции, исходя, конечно же, из интересов своих собственных институтов.

Карин понимал, что каждый в чем-то прав, что никого нельзя обвинить в заведомой лжи и неискренности, что компромиссы неизбежны, моральные издержки здесь тоже неизбежны, что здесь трудно, пожалуй невозможно, найти единственно правильное решение, да еще удовлетворяющее всех.

Были на памяти Карина и такие темы, защита которых доставляла чуть ли не эстетическое наслаждение всем членам комиссии своей логичностью и завершенностью. Но таких все-таки было мало.

Карин полагал, что тему надо спустить на тормозах, тихо, без грохота и шума, и постепенно прикрыть. Потому что и дальнейшее ее развитие в другом институте, если тема будет принята, и доработка ее в Усть-Манске, если тема будет завалена, потребуют одинаково огромных средств, в любом случае не оставляя никаких надежд на успешное завершение.

Так Карин решил для себя все проблемы, когда машина лихо подкатила к парадному подъезду гостиницы.

На главпочтамт Григорьев приехал зря. Не было там для него письма. И на мгновение стыдно стало ему, что так сильно привязала его к себе женщина, которую он почти и не знал. Ну что он нашел в ней? Однако стоило ему только задать себе этот вопрос, как всплыло все, что было связано с ней, случайные встречи возле киосков и магазинов, остановок трамвая и

троллейбуса... И столь поразительно полной показалось жизнь в эти последние месяцы.

Нет, что бы ни случилось, а Григорьеву необходимо было увидеть ее. Вот только так ли необходимо ей увидеться с ним? Судя по всему, он ей был вовсе не нужен.

Ну вот, приехал он из-за нее в Марград. Тут уж не станешь себе врать. Из-за нее. И эта защита вначале казалась препятствием, отнимающим время. А что-то вдруг стало меняться. Противно вдруг стало на себя смотреть. Вроде и не человек ты, а пешка какая-то. Толкнет тебя Бакланский туда, сделаешь шаг вперед, прижмет пальцем — на месте будешь стоять, прикрикнет — сожрешь кого-нибудь.

И участие в обмане, о котором раньше не задумывался, становилось невозможным. Но если обман длился уже долго, если ты искренне верил, что делаешь что-то необходимое, без чего люди не могут обойтись!! Если сто человек, выбиваясь из сил, создавали машину, надеясь на благодарность, на премию, на простое участие и уважение, если все они делали эту тему два года, вкладывая в нее свои души, свои знания, свою боль и свое счастье, — разве можно сейчас все это бросить, оставить сотню людей без надежды? Даже не сотню, а все СКБ, да и свое ли только? Каково будет людям узнать, что они занимались ерундой, чепухой? И делали ее с чистой совестью.

Впрочем, вот тут-то, наверное, и закавыка. С чистой ли? И все ли? Разве он не знал, что Соснихин и Бурлев давно уже пытались повернуть решение темы в другом направлении? Он просто не примкнул ни к ним, ни к Бакланскому. Он бездумно делал то, что ему поручили. И делал огромную работу, хорошо делал. Почему же только теперь он начал все понимать? Почему вдруг прозрел?

А эти телефонные разговоры? Почему он воспринимает их так близко? Уж не потому ли, что и сам с ними в душе давно согласен? Ведь его даже не очень удивляет, что он разговаривает с кем-то таинственным, непонятным, невозможным, что все это абсурд, если не мистика. Ведь только смысл вопросов его и занимает, а не сам факт невозможного.

«Почему ты здесь оказался?.. Ты все еще ждешь от нее письма?»

Этот кто-то очень хорошо его знает. Даже лучше, чем он сам себя... То, что тему не стоит защищать, он уже понял. Ну, работали они впустую, так ведь теперь будут другие работать впустую! И кто-то потом будет мучиться, как сейчас он сам.

Но и то, что тему не дадут не защитить, и что он сам в открытую не выступит против нее, он тоже знал. И злость на себя, на свое равнодушие, на желание жить тихо и мирно охватила его. Он понял, что ему хочется быть другим перед этой женщиной. Или он всегда хотел быть другим, но не хватало какого-то маленького толчка, импульса.

Ну что ж, Бакланский, подавляй восстание, неподготовленное, стихийное, заранее обреченное на неудачу...

В полседьмого Григорьев уже был в гостинице. Поскольку спешить ему было некуда, он зашел в буфет, съел сардельку — необходимый атрибут каждой гостиницы, и выпил стакан топленого молока. Потом поднялся к себе в комнату, сел в кресло у телефонного столика и представил себе, что он один в этом большом незнакомом городе, и только нить телефонного шнура связывает его с все-таки существующим где-то миром. И если это чувствовал каждый, кто жил здесь в комнате, конечно же, им хотелось добраться до этого мира, кому-нибудь позвонить, чтобы услышать человеческий голос. И ничего таинственного в этом нет.

Александр набрал номер. И теперь уже совершенно знакомый голос сказал:

— Ну что, печальный рыцарь?

— Ничего, — ответил Александр. — Сижу, жду комиссию.

— Боишься?

— Боюсь.

— Ну, конечно, не комиссии?

— Да нет. Боюсь того, что хочу сделать.

— Я тоже боюсь. Но думаю, что сделаю.

Они оба замолчали. Александр чувствовал, что между ними сохраняется еще ледок недоверия, который пока не позволяет говорить без некоторой настороженности, совершенно свободно. Но все ближе становились они, эти два Александра, два Сашки.

В дверь постучали.

— До свиданья, ко мне пришли, — сказал Александр.

— До свиданья, ко мне тоже пришли, — ответил тот Александр.

Григорьев крикнул:

— Да, да, войдите!

Дверь распахнулась. На пороге стояли директор гостиницы и еще несколько человек.

— Добрый вечер, — сказал директор. — Это наша комиссия. Проходите, товарищи. Сейчас вы тут во всем разберетесь.

Члены комиссии, здороваясь, вошли в комнату.

— Господи! — вдруг громко сказал один из вошедших. — Григорьев! Так это вы? В вашей комнате телефон мудрит?

— Владимир Зосимович? Вот неожиданность! И вы попали в эту комиссию?

— Попал вот каким-то образом.

— Эта комиссия предварительная, — пояснил директор. — Ничего ведь пока не известно.

— А что же вы днем ничего не сказали про свою комнату?

— Да как-то к слову не пришлось.

— А Виктор Иванович знает?

— Знает, но не верит. Да об этом уже многие знают, даже в вашем институте.

— Вот как!

Комиссия чувствовала себя неуверенно. Во-первых, дело-то было какое-то несерьезное, невзаправдашнее, во-вторых, все были незнакомы, в-третьих, место для работы было неподходящее — одноместный номер гостиницы. Некоторые представились Григорьеву, другие промолчали.

— Дорогие товарищи, — начал директор. — Может, здесь фокус какой? Вы уж, пожалуйста, разберитесь. Вот вам телефон, вот товарищ, который все сам испытал. Приступайте, прошу вас.

Карин подошел к тумбочке, с недоверием поднял трубку и набрал злополучный номер. Григорьев пододвинул ему стул, но Карин не успел сесть.

— Володька, черт, давненько мы с тобой не разговаривали! — раздалось в трубке.

Владимир Зосимович от неожиданности даже отдернул руку с трубкой.

— Ну что? Сработало? — спросил Григорьев.

— Похоже... — И в трубку: — Кто со мной говорит?

— Да ты что! Уже и узнать не можешь? Неужели настолько забыл?

— Факт, — сказал Карин собравшимся в комнате. — Связь с кем-то устанавливается. Довольно необъяснимо. — И снова в трубку: — С кем имею честь разговаривать?

— Раньше звали Володькой. А теперь Владимиром Зосимовичем Кариным. Помнишь такого?

— Карин? Я Карин... Нет, это я Карин! — Собравшимся: — Какой-то однофамилец. — В трубку: — Ничего не понимаю. Кто вы?

— Значит, компромиссы неизбежны, говоришь? Так, Володя?

— Ах, вот что! — Карин положил трубку на рычаг. — Попробуйте еще кто-нибудь. Если это фокус, то подстроено очень здорово.

— Дайте попробовать мне, — попросил директор гостиницы.

— А вы что, не пробовали еще? — удивился Карин.

— Не удосужился как-то. Все дела. — И он взял трубку.

— А голос не показался вам знакомым? — спросил Григорьев у Карина.

— Вроде бы — да. Но чей, не могу вспомнить... Вот что. Тут нужен магнитофон. Надо все записывать на ленту. А потом, когда наберутся записи, проанализировать. Может, даже на математической машине. Есть тут у них магнитофон?

Директор в это время кончил говорить с таинственным собеседником. Лицо его заметно посерело, а глаза виновато блуждали.

— Д-действительно. Трубку больше в жизни никогда не подниму.

— О чем поговорили? — с улыбкой спросил Григорьев.

— Да уж поговорили!

— У вас в гостинице магнитофон есть? — спросил Карин.

— Магнитофон? А-а... Магнитофон. Есть. А что?

— Хорошо бы записывать телефонные разговоры.

— Магнитофон сейчас принесем. Только вы уж меня увольте от дальнейших экспериментов... Маша! — крикнул он женщине, украдкой заглядывающей в дверь. — Позвони Водкину. Пусть магнитофон принесет!

В комнату внесли магнитофон. У электрика, который тащил его, оказалась и отвертка. Начали разбирать телефон и подсоединять его к магнитофону. Когда все было готово, комиссия вдруг застенчиво запереглядывалась. Чей разговор записывать? Директор отказался наотрез. Карин тоже не высказал желания. Александр Григорьев, поскольку не был членом комиссии, скромно помалкивал.

Наконец выразил желание представитель телефонной станции Петр Галкин. Он больше всех чувствовал всю ответственность в работе комиссии. Включили магнитофон. Запи-

сали. И как набирается номер, и как что-то щелкает в телефоне, и как Галкин сказал первую фразу:

«Кто говорит?»

Разговор был короткий, но для комиссии от этого не менее важный. Разохотившись, записались на магнитофонную ленту еще двое. Во время записи все вели себя тихо, стараясь даже не покашливать. А когда было записано несколько разговоров, все оживились, оставили телефон в покое и начали прослушивать запись.

Запись получилась хорошей и чистой. И вот на что все сразу обратили внимание. Человеку, который поднимал трубку, отвечал его однофамилец. И не просто однофамилец, а человек с таким же именем и отчеством. Причем он, казалось, хорошо знал говорившего с ним. И даже более того. Чувствовалось, что он ждал этого звонка. Кто-то во время разговора догадался спросить того, на другом конце провода, о месте, с которого говорил таинственный собеседник. Место оказалось то же самое: Марград, гостиница «Спутник», комната 723. Чепуха, одним словом.

Магнитофон закрыли, записи решили забрать для «дальнейшего изучения феномена».

Карин уходил последним.

— Что вы намерены делать вечером? — спросил он у Григорьева.

— Лежать, смотреть в потолок и мечтать. Контакты, даже с пришельцами, мне запрещены Бакланским. Все это может помешать защите темы. Он все предусмотрел, кроме этого казуса с телефоном. Но Бакланский не бог, и он не может все предусмотреть.

Карин улыбнулся, протянул руку.

— Владимир Зосимович, а ведь вы говорили с самим собой! — крикнул ему на прощание Григорьев.

Прежде чем лечь спать, Бакланский заказал срочный разговор с Москвой, где сейчас был начальник СКБ, а потом прилег на диван и все думал о прошедшем дне защиты, о том, где он мог допустить ошибку, где проглядел изменение в настроении Григорьева, о его дурацком рассказе — таинственном телефоне, и о своем малодушии в кабинете Громова, когда он поддался какому-то импульсу и тоже набрал номер телефона, с которого и звонил. Вот чертовщина! Телефон сработал, и

кто-то там, на другом конце линии, сказал одно слово. Только одно слово.

Чувствовал Виктор Иванович, что дела складываются скверно, хуже, чем предполагалось, а помощи ждать неоткуда. И начальник СКБ должен знать об этом.

Минут через двадцать раздался звонок, и голос телефонистки сообщил: «Междугородная. Ждите Москву», — Алло, алло! Москва? Кирилл Петрович?.. Алло! Это Кирилл Петрович? Бакланский говорит! Здравствуйте, Кирилл Петрович... Как защита? О ней и хотел с вами поговорить. Дела складываются не очень удачно. Заказчик не тянет, не везет. И эти, из института, который будет продолжать наши работы, уперлись — и ни в какую... Помощнички? Помощнички лучше бы сидели в Усть-Манске. Один на экскурсию приехал, другой, извиняюсь, за юбкой гоняется. И вообще, Григорьев вдруг стал считать, что тема наша недоработана. Я ему приказал пока не являться на защиту... Да. Вы когда вылетаете из Москвы? Завтра утром?.. Да, да. Это было бы очень кстати. О гостинице не беспокойтесь. У меня тут родители живут. Места предостаточно... Запишите, пожалуйста, мой адрес и телефон на тот случай, если я не смогу вас встретить...

«Ну хорошо, — думал Бакланский, — дело еще не проиграно. Еще не вступила в бой главная артиллерия, еще не все доводы приведены. Конечно, кое в чем виноват я сам. С Григорьевым, например. Но брать с собой Соснихина или Бурлева было бы тем более нельзя... С Громовым вот неудобно получилось. Карин как будто бы не против, но Карин всего-навсего кандидат. Громова надо было поймать. Но он вырвался. Да еще раскудахтался на весь свет... А феномен с телефоном все-таки существует. Тут Григорьев прав. Необъяснимо, но факт».

И ему вдруг захотелось позвонить по собственному номеру. Только сделал он это не сразу, рука не поднималась. Вспомнилось то единственное слово. И все-таки искушение было велико. Он набрал номер. И ему ответили. Тем же единственным словом.

— Кто говорит?! — крикнул Бакланский. — Кто хулиганит?! Я докопаюсь, тогда пощады не ждите!

Григорьев уже ни на что не надеялся... И только ноги, как заведенные, тянули на главпочтамт. Там он молча сунул в окошечко паспорт, молча выслушал отрицательный ответ,

вышел на улицу, закурил сигарету, рассеянно глядя на проходивших мимо людей. И тут возникла мысль, что как только он уйдет, на его имя поступит письмо и будет лежать до самого вечера. Надежда, вероятность которой была ничтожно мала, разрасталась в какую-то нелепую уверенность. Уйти сейчас показалось предательством.

И все же он преодолел себя, поднял воротник плаща, втянул голову в плечи и зашагал по мокрому асфальту. И чем дальше он уходил от почтамта, тем настойчивее в его голове стучало: «Зачем ты сюда приехал? Зачем ты сюда приехал?» Действительно, зачем? Защищать тему? Но ведь так получилось, что его присутствие приносит Бакланскому только вред.

Значит, он приехал сюда не тему защищать. Он приехал сюда ради нее.

Александр представил, что было бы с ним, останься он в Усть-Манске. Ни мысли, ни занятия, ни встречи с друзьями — ничто не приносило бы облегчения, когда не можешь забыться даже во сне.

Он знал, что она уезжает в Марград. Он знал, что поедет за ней, несмотря ни на что. Там, в чужом городе, он мог быть ей полезным.

Приближался день ее отъезда, и сходились круги, которые он делал по городу в попытках хотя бы усталостью сбросить с себя бремя изматывающей любви к почти незнакомой женщине. Но вернуться в то время, когда ему нравилось все, что окружало, он уже не мог. До встречи с ней он этого не замечал и, не будь ее, не заметил бы никогда.

Она не знала ничего, кроме одного-единственного «люблю», которое он сказал ей на улице, среди людской сутолоки, в зной, в совершенно неподходящем для объяснения месте. Она даже не предполагала, что сделала с ним.

Оставалось выяснить — нужен ли ей он?

Нет, мир, полный красок, который она создавала своим присутствием в нем, не рассыпался бы, скажи она «нет». Этот мир, казалось, навечно останется в нем. Лишь рассказать об этом было некому.

Но она уехала, и мир начал тускнеть, странный мир, в котором он теперь жил.

Он стоял перед ее окном. Конусы света падали на него. И из ее окна падал свет. А он все стоял и не мог уйти. Он думал: а там, за этим окном, что-нибудь изменилось с ее отъездом, исчезла для кого-нибудь сказка?

Окна, одно за другим, погружались в сон. Уснуло и ее окно. А он все стоял, ему все казалось, что в следующее мгновение легкая тень, отбрасываемая ее головой, метнется по стеклу.

Он простоял до утра, и выстыло все в душе, как будто умерло, и на целом свете остался он один, без настоящего и будущего. С одним лишь прошлым. Прошлое, после которого ничего нет.

И вот Григорьев в Марграде. И мелкий дождь, образуя ручейки, скатывается по его плащу на мокрые уже брюки и туфли.

Нет ответа на его отчаянное письмо, и вероятнее всего — не будет...

Говорят, что главное — принять решение. Он принял его — на главпочтамт больше не ходить, — но облегчения не наступило. Значит, в чем-то ошибка. Или это сердце сопротивляется, не желая терять последнюю нелепую надежду?

Неожиданно для себя Григорьев оказался возле Дома Техники. И почему-то, все, что он решил только что, показалось ему смешным и надуманным. А вдруг просто-напросто не получила она письма, вдруг и на главпочтамт не ходит, незачем ходить. Следовательно, ее просто нужно найти. Не ждать, а действовать!

И тогда он взбежал наверх по мокрым ступеням здания, очутился в вестибюле, не имея никакой мысли, которая могла бы привести к цели... Он знал фамилию и имя. Знал, что она работает в управлении главного архитектора Усть-Манска. Он иногда ждал ее у входа в это управление. Больше он не знал ничего.

Александр ворвался, взволнованный, в приемную Дома Техники, и все, кто там находились, повернулись к нему, а машинистка перестала стучать по клавишам.

— Здравствуйте, — сказал Григорьев. — Дело в следующем. Мне нужно разыскать в Марграде одну женщину. — Его хотели перебить, но он остановил возражение судорожным движением руки. — Я понимаю. Нет, адресный стол не годится. Она не живет постоянно в Марграде. Она приехала сюда на месяц на курсы, какие — точно не знаю. Что-то связанное со строительством или архитектурой.

— И вы надеетесь на успех, зная столь много? — с иронией спросила пожилая женщина.

— Надеюсь.

— Чем же мы можем вам помочь?

— Вот чем. Мне нужно знать, какие в Марграде проходят курсы, постоянно действующие или только осенние, начиная от производства кирпичей и кончая строительством Эйфелевых башен.

— Но у нас нет таких сведений, — уже сочувственно, произнесла все та же женщина. — Ничем не можем помочь, молодой человек.

— Можете, — уверенно сказал Александр. — Мне нужна хотя бы ниточка.

— Александр Петрович, возможно, знает? — спросила машинистка у пожилой женщины.

— Да, да, — подхватил Григорьев. — Александр Петрович наверняка что-нибудь знает.

— Я позвоню, — сказала женщина. — Хотя все это смешно. Очень.

— Вы даже не представляете, как смешно, — ответил Григорьев.

Женщина стала звонить. Она пересказала невидимому Александру Петровичу просьбу Григорьева, что-то записала на листке бумаги, поговорила еще о служебных делах, а положив трубку, сказала:

— Александр Петрович не в курсе. Но он дал телефон Михаила Семеновича, который, возможно, осведомлен лучше. Только прошу вас, звоните из автомата, наш телефон и так перегружен.

— Спасибо, спасибо вам всем! — сказал Григорьев и взял листок. — Теперь я найду ее!

— А кто она вам?

— Сам не знаю. Но только очень-очень нужна. Спасибо! До свиданья.

Он закрыл за собой дверь, но еще успел услышать:

— Смешной парень... Ненормальный какой-то.

Да, да. Сейчас, вероятно, он выглядел и смешным и ненормальным. Но какое это имело значение? Важно найти ее. Александр выскочил на улицу и поискал глазами телефон-автомат. Тот стоял на углу рядом с газетным киоском, и народу возле него не было. В кармане у Григорьева оказалось несколько двухкопеечных монет. Дождь уже не моросил. Ветер рвал низкие тучи, они бежали к востоку. В их разрывах проглядывало голубое и холодное, как лед, небо. Александр заскочил в телефонную будку и набрал номер телефона, который ему сообщила добрая женщина. К счастью, Михаил Семенович оказался на месте, но чувствовалось, что он куда-то торопится.

Коротко, в нескольких словах, рассказал Григорьев о том, что ему нужно. Михаил Семенович сначала произнес: «Ну, братец мой. С такими сведениями...» — затем на минуту умолк и сообщил Григорьеву следующий телефон, посоветовал спросить некую Нину Ивановну. Может, она что знает.

И Григорьев начал звонить. Колонки цифр появлялись в его записной книжке и имена людей, которых он никогда не увидит. Через десять минут звонить было не к кому. Круг замкнулся, и кончились монеты. Но Григорьва теперь уже нельзя было остановить. Он мог пойти в горисполком, обойти все марградские гостиницы. Он уже нисколько не сомневался, что найдет ее.

Итак, монеты кончились. Нужно было наменять их в газетном киоске. Григорьев пошел и разменял целый рубль, накупив при этом кипу газет, которые тотчас же опустил в урну. Он начал снова с телефона Михаила Семеновича. Но того уже не оказалось на месте. Александру терять было нечего, и он все объяснил человеку, ответившему ему. Неизвестно почему, но этот человек, как показалось Григорьеву, проникся сочувствием и задал несколько вопросов. Григорьев ответил, как мог. И в записной книжечке появилось еще несколько цифр.

Наконец он напал на след курсов, имеющих какое-то отношение к архитектуре и строительству. Теперь уже там, у другого телефона, просмотрели списки, переспросили фамилию и ответили: «Нет, в наших списках не значится, спросите там-то». И он упорно шел вперед. Неизвестно, что было в его голосе, но ему отвечали дружелюбно, участливо, чуть ли не успокаивая.

Он нашел ее. Ему сообщили, где находятся эти курсы, в какое время там начинаются занятия, номер аудитории и даже отчество и год ее рождения. Он нашел ее! Прошло тридцать минут с того момента, как он очутился возле Дома Техники. У двадцати человек он отнял по полторы минуты. Пусть они его простят за это.

Он нашел ее.

Выйдя из кабины, Александр посмотрел на часы. До начала лекций оставалось сорок минут. Через сорок минут он мог увидеть ее.

«Почему я не сделал этого раньше? — подумал он. — На что я надеялся? Ей просто-напросто незачем было отвечать мне».

Ему было все равно. Он вступил на скользкий путь и рано или поздно должен был поскользнуться и упасть, если она не поддержит его за руку. Он уже падал, оставалось совсем немного.

Занятия у нее проходили в современном — из стекла и бетона — корпусе строительного института. Возбуждение вновь охватило его, но какое-то холодное, рассудочное. Сейчас он мог бы умножить в уме два шестизначных числа и не вспомнить свое имя.

Александр вошел в красивое прозрачное здание с широкой лестницей, убедился, что курсы находятся здесь. И снова вышел на улицу, машинально отметив, что тучи исчезли, небо чистое и сияющее, что ветер высушил его плащ и лужи на асфальте. Он снял плащ, ему было жарко. Увидев телефонную будку, он вспомнил, что не звонил Бакланскому, хотя и был уверен, что тот его не ждет. Он позвонил и попросил к телефону Виктора Ивановича.

Разговор был короткий. Бакланский неожиданно приказал ему к обеду явиться на телефонную станцию, где была установлена их система. Немного помолчав, Бакланский вдруг весело рассмеялся:

— Еще не все потеряно!

Григорьев сказал, что не опоздает. И голос у него, наверное, тоже был веселый, потому что Бакланский спросил:

— Нашел, что ли?

— Нашел, Виктор Иванович.

— Ну, теперь очухаешься. Может, польза будет.

— Польза будет. Не сомневайтесь, Виктор Иванович.

А на улице было такое солнце!

На место испытаний Данилов приехал первым. Анатолий ласково погладил ладонью машину. Много и его труда было в ней. Паял, настраивал. И тембр голоса у него оказался особенным. Хорошо понимает его машина. А других не очень.

Машина была включена. Она так и работала здесь с того дня, как они ее установили, делала речь при междугородных переговорах более разборчивой.

Вскоре появился и Бакланский. Ему тоже не спалось, но по другой причине. Он сухо поздоровался с Анатолием, бегло осмотрел показания измерительных приборов. Вроде бы все было в порядке. Ну уж если и здесь что-нибудь выйдет из строя, ох и спустит он шкуру с Данилова. Исполнительный, хотя и толстокожий этот Данилов. Подковы бы ему гнуть или

пятаки. Бакланский задал Анатолию несколько вопросов, так, чтобы настроение узнать. Сияет что-то парень сегодня. Да черт с ним. Это все лучше, чем искания Григорьева.

Бакланский подошел к телефону, подозрительно посмотрел на него и позвонил председателю комиссии о готовности к испытаниям.

Часам к одиннадцати приехала почти вся комиссия. Все-таки некоторые ее члены не явились. До подписания акта было далеко.

Бакланский жестом хозяина пригласил всех осмотреть свое детище. Хотя это был пока еще всего-навсего макет, но сделан он был с размахом. Вся система блестела никелем. Чувствовалось, что здесь поработали и дизайнеры. Расположение ручек управления, тумблеров и кнопок было тщательно продумано. Измерительные приборы стояли на местах, удобных для обзора.

Бакланский вскрыл стенки машины, вынул блоки с печатным монтажом, показал их членам комиссии и снова объяснил, какие микромодули и интегральные схемы здесь применены.

Работа была выполнена тщательно, это признали сразу.

Игорь Андреевич, складываясь как перочинный нож, заглядывал во все закоулки машины и слегка похлопывал ее рукой.

— Да, Виктор Иванович, — сказал он. — Постарались вы здорово!

— Стараемся, — весело откликнулся Бакланский.

— Только зря старались. А?

— Игорь Андреевич, воздержитесь пока от обобщений, — урезонил его председатель комиссии. — Мнения свои будем высказывать позже.

— Не возражаю, не возражаю...

— Виктор Иванович, — спросил Карин, — а почему нет Григорьева?

— У него сегодня отгул, — ответил Бакланский. — А он вам нужен?

— Да нет, просто так спросил. Я вчера был у него как бы в гостях.

— Да? — чуть растерянно сказал Бакланский.

— Не совсем точно я выразился. Меня тут втолкнули еще в одну комиссию, по гостинице «Спутник». Вам Григорьев говорил, кажется, о странных телефонных разговорах?..

— Вроде что-то говорил.

— Интересная штука. Набираешь номер телефона, с которого звонишь, и, представьте себе, телефон срабатывает. Не пробовали?

— Нет. Шутки, наверное, чьи-то.

— Я тоже так думал. Попробовал, серьезный разговор получается.

— А с кем?

— Это тоже вопрос. Получается, что вроде с самим собой.

— Это определила комиссия?

— Она еще ничего не определила. Записали пока несколько странных телефонных разговоров.

— А я пробовал звонить, — вмешался Данилов. — Григорьев вчера нам предложил.

— Кому нам? — спросил Бакланский.

— Мне и еще двум девушкам из отдела Игоря Андреевича.

— Да, да, — сказал Карин. — Я сегодня уже разговаривал с Галей Никоновой. Не скрывает, что такой разговор вчера был. Но о чем, не говорит. Наотрез отказалась.

— Вы это серьезно? — усмехнулся подошедший к ним Громов.

— Вполне, Игорь Андреевич, — ответил Карин.

— И откуда же надо звонить?

— Да с любого телефона, — подсказал Данилов.

— Похоже, что с любого, — подтвердил Карин.

— А вы попробуйте, Игорь Андреевич, — предложил Данилов.

— Любопытно. — Громов подошел к телефону, близоруко сощурился, разглядывая номер, потом взял трубку. Через минуту он положил ее на место и удивленно сказал: — Кто-то действительно ответил. Непонятно. Даже более того — невозможно.

— А о чем спрашивали вас?

— Это секрет, — усмехнулся Громов. — Вопрос был чисто личный.

Около телефона начали собираться все члены комиссии. Подошел и председатель, спросил, в чем дело, потом сказал:

— Ну что ж, может, сначала посмотрим, на что способна машина? А на досуге займемся и телефоном?

— Ничего, ничего, Анатолий Юльевич, — сказал Бакланский. — Пусть товарищи поговорят. Нам ведь не к спеху.

— Нет, нет. Вы, конечно, джентльмен, Виктор Иванович, но работа есть работа.

Ростовцев недовольно спросил у Карина:

— И эту бандуру мы должны дорабатывать? На железнодорожной платформе ее, что ли, перевозить?

— Тише, товарищи! — попросил председатель. — Давайте, Виктор Иванович, демонстрируйте возможности машины.

— С возможностями нашей системы вы, конечно, уже познакомились из протоколов отчета. Сейчас будет, так сказать, наглядная демонстрация. Вот микрофон, в который произносится текст. На выход системы подключена электрическая печатающая машинка. Наш старший инженер Данилов будет говорить. Текст для контроля отпечатан на бумаге. А потом мы посмотрим, что выдаст нам система, и сравним.

— Можно ведь и сразу смотреть? — спросил кто-то.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— А она что, и знаки препинания сама расставляет? — спросил председатель комиссии. — Занятно, занятно.

Сколько полезного узнает иногда председатель на защите!

Данилов взял лист бумаги с отпечатанным на нем текстом и начал читать медленно, делая правильные ударения и соблюдая интервалы, соответствующие запятым и точкам.

— Речь состоит из слогов, слов и фонем. Наименьшим элементом речи является звук-фонема. С физической точки зрения звуки речи различаются и частотным составом, и интенсивностью, и продолжительностью. В речи нет четких границ между звуками. Так же как рукописные буквы соединяются друг с другом промежуточными элементами, звуки речи в словах стыкуются с помощью переходов-звуков, которые возникают при перестройке нашего голосового аппарата для произнесения очередного звука. У разных людей форманты даже одних и тех же гласных звуков несколько разнятся по частоте и интенсивности. Кроме того, даже у одного и того же человека форманты одного и того же звука заметно отличаются в зависимости от того, в каком слове произносится звук, ударный он или безударный, высок он или низок. Важной характеристикой звуков является также число и частота обертонов. Индивидуальные особенности характеристик формант, а также присутствие в голосе еще и других специфических для каждого человека обертонов, придают голосу человека неповторимый, присущий только ему одному тембр. Все это многообразие особенностей речевого сигнала заставляет ученых идти разными путями в поисках оптимального решения задачи распознавания речи.

Данилов выключил микрофон и сказал: «Все».

— Товарищи! — позвал всех председатель комиссии. — А отпечатано почти без ошибок. Даже не верится.

— Как! — воскликнул Бакланский. — Есть ошибки?

— Да вот здесь. Видите: «печевого сигнала». А надо: «речевого».

— Этого не может быть! Слова «печевого» нет в программе. Тут просто-напросто барахлит сама машинка.

— Это не страшно, — сказал Карин. — Один сбой на столько слов. Надежность довольно большая.

— Да, надежность у нее очень большая, — сказал Бакланский. — Во всяком случае, в этом тексте опечаток раньше не было. Можно проверить по протоколам испытаний.

— А можно мне несколько слов прочитать? — спросил Анатолий Юльевич.

— Можно, — нехотя согласился Бакланский. — Хотя сбоев будет очень много.

Председатель комиссии прочел несколько строк текста, тщательно выговаривая слова. Машинка наделала много ошибок и просто пропусков.

— Жаль, — сказал Анатолий Юльевич. — Не понимает меня машина.

— Это порок всех машин, обученных распознавать целые слова, — сказал Громов. — Каждый человек, говорящий по-русски, использует для передачи сообщений около сорока основных звуков-фонем и примерно десять тысяч слов. Так что же легче — научить машину различать сорок фонем или десять тысяч слов?

— Все это было бы верно, — возразил Бакланский, — но при произнесении одного звука «ай» сто раз одним и тем же человеком получается около тридцати различных картин. Фонемы одного и того же слова не похожи друг на друга. А что будет, если начнут говорить разные люди?

— От разных людей не работает и ваша машина. Идентифицировать фонемы трудно, но все же это единственно разумное решение.

— Оптимального метода распознавания речи не существует. Каждый идет своим путем.

— Но некоторые из них, например ваш, обречены на неудачу. Для решения проблемы вам не хватит всех транзисторов, которые выпускает наша промышленность.

— Мы делаем на интегральных схемах.

— Позвольте, товарищи, — вмешался Анатолий Юльевич. — Нельзя ли прочитать машине еще какой-нибудь текст?

— Отчего же? Можно. Из освоенных нами семисот слов можно составить множество текстов. Даже литературные. Шекспира, разумеется, не потянем, а некоторых авторов, — пожалуйста. Анатолий, прочти еще что-нибудь.

У Анатолия в запасе было около десятка текстов, сильно различающихся по смыслу. Минут двадцать диктовал он их, а комиссия смотрела на лист, выползающий из электрической машинки. Анатолий Юльевич и Старков — представитель АТС — удивленно качали головами. Громов с Ростовцевым всем своим видом показывали, что это обычная халтура. Карин и некоторые другие относились к эксперименту спокойно, как к чему-то давно знакомому. Да так оно и было на самом деле.

После того, как чтение текстов решили прекратить, Бакланский предложил продемонстрировать действие автомата, управляемого голосом человека. Из специальной ниши машины выползла черепашка. Она реагировала на десять команд. И поскольку команды были несложными, она практически слушалась любого человека. Черепашка подползала на голос зовущего, разворачивалась вправо, влево, останавливалась на месте, подходила к специально установленной на полу доске, откидывала панцирь, выдвигала из себя электродрель и сверлила доску на заранее заданную глубину.

Черепашка произвела на некоторых членов комиссии неотразимое впечатление.

После этого Данилов устно составлял программы для вычислительных машин. Программы заранее отрепетированные и проверенные. Почти все получалось, как и было отмечено в протоколах испытаний. Нет, Бакланский не врал, никого не обманывал. Все, что он сделал, было выполнено на хорошем техническом уровне.

Заметно повеселел Бакланский. Председатель комиссии был явно очарован экспериментами, особенно черепашкой. Карин не высказался ни за, ни против. Ростовцев как-то сник. Да и остальные члены комиссии были настроены миролюбиво. Эксперимент был делом более веселым и интересным, чем сухие доклады. И только Громов по-прежнему оставался недоброжелателен. И не эмоции руководили им, а знания и опыт. Бакланский понимал и боялся именно этого. Свернуть Громова с линии, которой он следовал, было не-

возможно. Однако один противник в комиссии это еще не противник. Ну запишет он в акте свое особое мнение... Так ведь к нему могут прислушаться, а могут и нет. Тем более что акт будет утверждаться в двух министерствах — заказчика и исполнителя. А уж на свое министерство можно будет натравить начальника СКБ. Его в главке хорошо знают, его послушают.

Остался еще один вид испытаний: улучшение разборчивости речи на междугородных магистральных линиях связи. Здесь, собственно, свое слово должны были сказать телефонисты. Третий день система работала, включенная в линию Иркутск — Усть-Манск — Марград — Москва. Бакланский еще не видел заключения, но не сомневался в положительном отзыве. И когда отзыв огласили, и он все-таки оказался отрицательным, Бакланский растерялся. Нет. Не может этого быть. Тут какая-то ошибка. Он так и сказал:

— Товарищи! Тут какая-то ошибка. Сейчас разберемся. Надеюсь, все понимают, что теоретически у нас все сделано правильно.

Комиссия, воспользовавшись перерывом, пошла в коридор курить. Бакланский и слегка трухнувший Данилов начали разбираться в схеме подключения машины к магистральной линии. Схема была сложная и запутанная. Бакланский работал четко. Ошибка, а это несомненно была ошибка, должна быть найдена. Полчаса он не думал ни о чем другом. И он нашел ее. Ошибка была глупая, такая и в голову прийти не может. Машина была включена в городскую сеть.

— Ну, Данилов! — сдерживая ярость, сказал Бакланский. — Это работа твоя и Григорьева.

Возле сверкающего на солнце корпуса было многолюдно. Здесь, по-видимому, находились не одни курсы. Александр увидел ее еще издали... Она шла с двумя женщинами. Они спокойно разговаривали между собой, не спешили, радовались неожиданному солнцу. Она взглянула в его сторону, узнала, дотронулась до локтя подруги, что-то сказала ей и пошла к Григорьеву.

Она шла, а он думал, что, если бы эти двадцать метров оказались бесконечными, он бы бесконечно ждал ее, все-таки *приближающуюся...*

Он поздоровался, а она в ответ сказала:

— Значит, желание было так велико...

— Да. Я сказал, что приеду, и приехал.

— Желание было велико... — задумчиво повторила она, словно самой себе.

Он видел ее спокойствие, и это многое сказало ему. Александру не на что было рассчитывать. Но как она сейчас была прекрасна! Как все шло к ней! И ее спокойная улыбка, и волосы, чуть рассыпавшиеся по плечам, и плащ, и сумочка в руке.

— Как вы меня нашли? — спросила она.

— Я бы нашел сразу, — ответил он, — но я все ждал, что получу от вас письмо. И понял, что письма не будет. Я столько хотел сказать вам...

— Не надо, — слабо попросила она.

— Хорошо. Не буду. Но почему вы не ответили? Нет или да. Все равно. Вы получили письмо?

— Получила. И хотела ответить... Я ответила, только не отправила.

— Почему?

— Не знаю... Так...

— Чего-то боялись?

— Боялась? Нет. Я теперь ничего не боюсь.

— Тогда почему?

— Не знаю.

— Покажите ответ.

— Зачем? Вы ведь и так нашли меня.

— Извините, — сказал он.

Они оба молчали, разглядывая носки своих туфель.

— Покажите, пожалуйста, это письмо.

— О, господи, ну зачем вам оно? — тихо сказала она, но все же раскрыла сумочку и вынула оттуда конверт. Он был надписан и заклеен.

— Можно мне распечатать? — попросил Григорьев.

— Да.

Он разорвал конверт. Вынул сложенную вдвое половинку листа из ученической тетради, на которой было написано: «Меня можно встретить...» и дальше перечислялись: гостиница, корпус института, где проходили курсы, кинотеатр... и время... Много, много цифр. Она писала, что он может встретить ее и утром, и вечером, и днем. И места встреч, и время, все было тщательно перечислено. Внизу стояла дата. Она написала ответ еще семь дней назад, как только, наверное, получила его отчаянное письмо.

— Подарите мне это, — попросил он.

— Нет, — сказала она и взяла из его рук листок. — Вы прочли. Теперь оно не нужно.

— Я хотел бы что-нибудь сохранить на память.

Она только покачала головой, мелко-мелко разорвала лист и выбросила клочки в урну.

— Мне надо идти, — сказала она.

— Да, да. Конечно. Но... но я еще увижу вас?

Она пожала плечами:

— Ну зачем? Зачем?

— Не знаю.

«Ну скажи же, — молил он, — чтобы я пришел вечером! Будем бродить по вечернему Марграду. Зайдем в какое-нибудь кафе. Будем сидеть и рассказывать друг другу сказки. Мне и нужно-то всего — видеть тебя. А зачем мне это нужно, я не знаю. Может, тебе захочется узнать, как там, у нас, в Усть-Манске, спросить про свою дочь. Я ведь видел ее. Только я к ней не подходил, потому что она была с бабушкой, а бабушка не должна знать меня. Никто ведь не знает, что мы чуть-чуть знакомы с тобой...»

Она странно на него посмотрела. А он ничего не понял в ее взгляде. Они молчали. Нужно было разойтись или что-то сказать. Лучше разойтись.

Она сказала:

— У нас с гостиницей ерунда получается. Сегодня придется что-то делать, просить, чтобы оставили еще на несколько дней, или искать новую.

— Я помогу вам.

— Нет-нет. Нас ведь трое. Что-нибудь придумаем.

— Значит, я вас больше не увижу?

— Не знаю. Наверное, — произнесла она тихо, глядя в сторону, потом резко вскинула на него взгляд своих больших глаз: — Ах, вся эта история не стоит выеденного яйца.

Она все смотрела на него, отталкивая и притягивая одновременно.

— Да, — сказал он. — Для вас это все, наверное, действительно не имеет значения.

— Я устала, — сказала она. — Я пойду. Я уже и так опоздала.

— Идите, — кивнул он.

Она пошла не оглядываясь.

— Катя! Я видел перед отъездом вашу дочь. Она здорова. У нее все хорошо.

Она остановилась, обернулась.

— Правда?! Это правда? А мне снилось, что она заболела. Я хотела уехать...

— Она здорова.

— Спасибо, Санчо.

Она снова совладала с собой, пошла и оглянулась уже на ступенях. Наверное, в это мгновение ему нужно было подбежать, и все было бы хорошо...

Бакланский на всякий случай составил схему нелепостей, которые нагородили Григорьев и Данилов. Он еще припомнит им путаницу с подключением, сунет в нос им эту бумажку! Своим работникам таких вещей прощать нельзя.

Наступило время обеда, и вся комиссия отправилась в соседнее кафе. Бакланский отправил и Данилова, но сам остался. И пока они обедали, он еще раз облазил машину и все проверил, прокрутил, пока не успокоился. Нет, товарищи члены комиссии, здесь комар носа не подточит! Придется все-таки вам подписать акт!

Через час члены комиссии начали собираться.

— А погода-то разгулялась, — сказал Данилов.

— Что? Погода? — переспросил Бакланский. — Я вам с Григорьевым покажу погоду! Своих забудете!

— Да я так, — сконфузился Данилов.

— Нет, погода, что ни говорите, сегодня прекрасная, — сказал Карин. — Солнце, и не очень жарко. Самая хорошая для работы.

— Ну что ж, я рад, — сказал Бакланский.

— Что-нибудь еще нашли? — поинтересовался председатель комиссии. — Жаль, что заминка произошла.

— Очень жаль, — согласился Бакланский. — Тут, Анатолий Юльевич, элементарная ошибка получилась. Не спали наши товарищи две ночи, вот и напутали немного. Я уже все сделал как требуется.

В помещение вошел Григорьев. Он негромко поздоровался со всеми. Бакланский косо взглянул на него и отметил, что тот сегодня какой-то легкий, пустой, что ли, выжатый. «А был весел, — подумал он, вспомнив телефонный разговор. — Впрочем, я тогда тоже был весел...»

Бакланский подошел к Григорьеву и сказал:

— Твои похождения интересуют меня постольку, поскольку от них, видимо, зависит твое поведение на защите. Будь добр, помогай мне. Вы тут с Даниловым такое напороли! И из-за этого могла сорваться защита. Перестань быть младенцем.

— Я не младенец и похождениями не занимаюсь. А что касается сомнительного направления нашей работы, то его защищать я не намерен.

— Опять за свое! Зря я тебя вызвал.

— Зря.

— В Усть-Манске ты никогда не возражал.

— Прозреть никогда не поздно.

— Прозреть! Слово-то какое! Да за одно то, что вы тут с Даниловым натворили, вас нужно гнать в три шеи.

— Ну так гоните...

А Данилов стоял в стороне. Лучше сейчас на глаза Бакланскому не попадаться. Все равно в Усть-Манске отметит чем-нибудь: или выговор объявит, или премию урежет.

— Виктор Иванович! — позвал Бакланского Согбенный, и тот отошел от Григорьева.

Александр постоял один, потом подошел к Данилову:

— Что мы тут с тобой напутали?

— А! Это все я. Ты же входом и выходом машины не занимался... Не волнуйся. Только я виноват. Но сейчас объяснять ему просто страшно. Когда до выговора дойдет, я все и скажу.

— Не волнуйся, Толя. Мне выговор тоже обеспечен.

— За что?

— За поздно проснувшуюся совесть.

К ним подошел Карин.

— Разлад, я смотрю, в святом семействе, — сказал он. — И не на шутку.

— А, — махнул рукой Григорьев. — Тут вряд ли что можно изменить. Ну вот вы, например, вы же прекрасно понимаете, что путь, выбранный нами, может привести только в тупик.

— Я это знаю, — спокойно согласился Владимир Зосимович.

— А если знаете, то почему молчите?

— Но ведь и вы, Александр, знали это. Возможно, раньше меня.

— Скорее догадывался, но интересно было работать. Собирать из кубиков небоскреб. Соснихин и Бурлев — те пытались что-то изменить, но Виктор Иванович их быстро взнуздал. Я дозрел здесь, в Марграде. Кстати, не без помощи своего странного телефона.

— То есть — однофамильца?

— Вряд ли просто однофамильца. Я понял, почему Бакланский за меня схватился, когда я заикнулся о поездке в Марград. Ведь он думал, что я совершеннейший дурак, у которого только баба на уме. А поэтому, как попугай, буду повторять все за шефом и, где надо, голосовать обеими руками.

— Обидно?

— Обидно... И злость на самого себя, что дал немало поводов думать о себе, как о пешке.

— А не жаль, что пропадет труд сотен людей?

— Жаль. Очень жаль. Но в дальнейшем может быть загублено еще больше труда. А наш — все равно пропащий.

— Ну, хоть без большого треска.

— Вы думаете, если тему примут и диссертация испечется, то Бакланский на этом успокоится?

— Надо полагать, в дальнейшем ему встретятся не только дураки.

— А наша комиссия — с комплексом неполноценности?

— Ну, не сказал бы, — усмехнулся Карин.

— Это еще как знать?

— Один Громов?

Данилов предостерегающе кашлянул: Бакланский был не так уж и далеко. Но Григорьев понял его по-другому.

— Данилов тоже не полезет. Ему ведь когда-нибудь надо будет защищать диссертацию. А куда он без Бакланского?

— Иди-ка ты! — обиделся Данилов.

— Так, — сказал Карин. — Обсуждение будет завтра. Завтра и проект акта составлять. — Он оглянулся. — Ишь ты, сколько вокруг нас членов комиссии собралось.

— Любопытно было послушать, — сказал представитель телефонной станции Старков.

— Кстати, что это тут все про какой-то телефон болтают. Вроде бы в вашей комнате? — спросил Ростовцев.

— Не только в моей комнате, — ответил Григорьев. — С любого телефона можно говорить. Попробуйте хотя бы с этого.

— Прекратим на сегодня принципиальные споры, — предложил председатель. — Оставим, товарищи, работу на завтра. Сохраним силы для заключительного этапа...

Члены комиссии начали постепенно расходиться.

Ростовцев подошел к Григорьеву и сказал:

— Ничего таинственного не получилось. Телефон занят, как и должно быть. Частые гудки.

— Александр, вы сегодня вечером будете у себя? — спросил Карин.

— Буду. А что?

— Мне с утра звонил директор гостиницы. Комиссия-то снова решила собраться у вас. Вы разве не знали?

— Нет, я сегодня рано ушел из гостиницы... Приходите, пожалуйста. Буду рад.

— Послушай, Сашка, — забеспокоился Данилов. — У тебя, значит, и сегодня вечер занят?

— Выходит — да.

— Подождите немного, — сказал им Бакланский, когда комиссия разошлась. — Свои дела, я вижу, вы уже уладили. Хорошо бы и общие устроить.

Все трое молчали. Данилов торопился позвонить Гале. Григорьев не знал, что говорить шефу, да и не хотелось ему говорить. Бакланский выжидал, что скажут его помощники, но не дождался.

— Отлично, — сказал Бакланский. — Нас сейчас трое. Поговорим... Послушай, Александр, за что ты на меня взъелся?

— Ничего подобного нет, Виктор Иванович.

— Нет? В Усть-Манске было хорошо, а в Марграде — кувырком. Из-за чего? Из-за какой-то женщины?

— Не трогайте ее. Слышите? Никогда даже не упоминайте.

— Ладно. Можно и так. А ты, Анатолий, не надумал еще речь против нас самих?

— Мне что... Я свою работу выполнил.

— Ну и молодец. А Григорьев хочет твою честную работу псу под хвост.

— Но это я напутал с подключением.

— Боже мой, об этом ли речь, — вздохнул Бакланский. — Ты, кажется, куда-то спешишь, Анатолий? Иди, иди...

— До свиданья.

Данилов выбежал на улицу и глубоко вздохнул.

Григорьев с Бакланским остались одни.

— Я тут слышал, о чем ты говорил с Кариным, — начал Виктор Иванович. — Извини, но ты говорил громко. Кое в чем ты, конечно, прав. А в остальном... Откуда ты взял, что я

толкаю тему только из-за своей диссертации? Да начхать мне на нее! Нужно будет, я еще три напишу. Но какими глазами смотреть людям в лицо, если мы провалимся? Столько работы! И учти, что только ты здесь воду мутишь, Громов не в счет. Одному ему придется писать особое мнение, которое для нас ничего не значит. Так что он еще подумает. Остальных можно повернуть в любую сторону. Тут Карин главный авторитет, хотя он и не крупный начальник. Он-то понимает что к чему... Ведь он против нас ни слова не сказал. Так что все сейчас, ну, скажем, многое, зависит от тебя. Хотя ты не обольщайся. Перемелет тебя между колес, не встанешь. А тему мы все равно защитим... Понимаю, очень хорошо понимаю твое настроение. Женщина и все такое. Но у меня, поверь, настроение не лучше. У меня отец лежит с сердечным приступом. Волновать его нельзя. Потому и тебя не пригласил к себе. А жена у меня свистнула в сторону. Понимаешь, жена! Не посторонняя женщина, а жена. И уехала. А дочь сейчас в Усть-Манске. Одна. Понимаешь ты теперь?

— Понимаю. Извините, про отца и жену вашу не знал.

— Не знал, — утвердительно сказал Бакланский. — И я про твою беду не знал. Но чувствовал, что тебя что-то гнетет, что рвешься ты в этот Марград. И взял тебя. Пришлось телеграмму в министерство давать, чтобы тебя включили в комиссию вместо Соснихина. За это чуть выговор от начальника не заработал, но убедил. И вот ты в Марграде, в который так рвался. Завтра еще один трудный день. А там начнут писать проект акта, времени свободного будет хоть отбавляй. Гуляй себе сколько влезет. И после защиты можно будет дня на три задержаться, если тебе нужно. Отдохнуть после двух лет этой каторжной работы надо, я знаю. Развеяться надо, ну, словом, стряхнуть с себя нервное напряжение. Ты вот холост и молод.

— Да и вы, Виктор Иванович, не старик. Ведь почти с одного года мы.

— Я не о том. Я устал изнутри, в душе. Все время эта бешеная гонка с работой и планом. Тебе что? Ты пришел с работы, и у тебя по ней душа не болит. Наплевать тебе на нее. Ты в кино, ты к девочкам. Захотел, выпил с друзьями. Волен, как сокол... Да. Вот еще что. Не бери умную женщину в жены. Не в том смысле умную, что она кандидат или доктор наук. Нет, не в этом дело. Она может и воспитательницей в детских яслях работать. Но она, такая женщина, думает. Ей все интересно знать. И почему ты в начальники вышел, и зачем тебе док-

торская диссертация, и что на душе у тебя, и как ты к людям относишься. И не займешь ее ничем. Ни Черным морем, ни озером Балатон. Она и там будет думать, и все у нее вопросы, все философия, все мораль, все душевные искания.

— Виктор Иванович.

— Ты слушай, слушай.

— Виктор Иванович, вы ведь о своей жене говорите. А вдруг это потом будет вам неприятно? Я ведь вас не просил.

— Нет, не просил, а попросил бы — не сказал. Трудно мне сейчас, а вокруг пустота. Жена где-то, отец болен, матери не до меня, друзей нет. Понимаешь эту пустоту? Ты же умный парень, Александр, тебе еще свою жизнь делать надо. И квартиру, и детей. У тебя душа широкая. И размашистый ты... Да. Вот только размахнулся ты не вовремя и не на того человека... Эх, выпить бы сейчас, что ли? По рюмочке коньяку? А?

— Спасибо, не хочу.

— Ну-ну...

— Вы извините меня за все, что вы тут мне сказали. Это может быть вам очень неприятно.

— Не думаю, чтобы ты был способен на предательство, Александр.

— Мы, наверное, по-разному понимаем это слово.

— Значит, я ни в чем тебя не убедил?

— Убедили, но только это не имеет отношения к нашей теме. Зачем просыпаться, если снова тут же начинаешь спать?

— Ерундишь, Григорьев. Значит, на тебя нельзя рассчитывать?

— Можно, но только вы опять поймете не так.

— Не получился разговор. Жаль.

— Я предупреждал.

— Ну смотри. Сегодня в Марград прилетает наш начальник СКБ. Боюсь, что вечером он пожелает заглянуть к тебе.

Григорьеву впервые в этой командировке никуда не надо было спешить, ни на главпочтамт, ни в корпус строительного, ни на защиту, ни в корпус гостиницы, где его будут ждать лишь вечером.

Может, лучше всего, думал он, взять билет на самолет и улететь в Усть-Манск, к его золотым сейчас лесам, где по земле, гонимые ветром, летят, смешно переваливаясь с боку на бок, тысячи маленьких, золотых, смешных человечков — сухих березовых листьев. Он любил смотреть на них, когда на каком-нибудь бугре или склоне холма они накатывали вал за валом, словно шли на приступ вражеской крепости, выставив вбок остроконечные копья. А когда ветер вздыхал стремительными вихрями, они пускались в пляс, словно торжествуя победу...

«Хочу в Усть-Манск, — сказал он сам себе. — Хочу на неделю уйти в лес. Хочу спать у костра и говорить своему псу правду, только правду, ничего, кроме правды».

У очередного встретившегося ему гастронома он задержался, а потом зашел, чтобы выпить чашечку кофе. Пришлось выстоять минут десять. Он поставил чашечку на столик из самого серого в мире мрамора.

Не хотелось даже поднять руку, чтобы взять чашку. Ничего не хотелось. Совершенно ничего...

А за огромным окном шли прохожие, и среди них шла... она, все с теми же подружками. Григорьеву была видна часть улицы и троллейбусная остановка. Григорьев схватил плащ и выскочил из магазина. К остановке подкатил троллейбус, в него уже входили люди. И она сейчас войдет.

Но она не вошла: не ее, наверное, это был троллейбус. Григорьев остановился метрах в пяти, под деревом. Вот странно! Как хотел он раньше ее увидеть, как нужна была ему эта встреча, но нигде не мог он ее встретить. А теперь и встреча не нужна, а она вот, рядом... Подошел следующий троллейбус, и она вошла в него, самая последняя. Григорьев размял сигарету и зажег спичку.

— Санчо! Санчо! — донеслось до него. Троллейбус ушел, а в его ушах все еще звенело: «Санчо! Санчо!» Это она его звала, а может, и не звала, а просто невольно выкрикнула, заметив его. Наверное, так и было. И он не побежал за троллейбусом, а поплелся по проспекту, разглядывая вывески и рекламы.

Через полтора часа он дошел до своей гостиницы, поднялся на седьмой этаж. И хотя Григорьев не опоздал, его уже ждали.

Комиссия вошла в комнату.

— Магнитофонные записи, — сразу же начал один из вошедших, — которые вчера были сделаны нами, мы прокрутили через математическую машину. Для начала делали сравнительный анализ частотных спектров голосов в каждом разговоре. Результат: фонемы речи человека, который вчера

говорил здесь, и фонемы речи того существа, так пока условно назовем его, совпадают. Причем совпадение настолько совершенное, что можно сказать — это фонемы одного и того же человека.

— Постойте-ка, — прервал его Григорьев. — Это — правда. Свой голос всегда знаешь хуже других, поэтому до меня не сразу дошло...

— Анализ следующих разговоров показал, что в каждом случае речь велась голосами с совершенно одинаковыми фонемами. Учитывая тот факт, что фонемы человеческого голоса строго индивидуальны, подобно отпечаткам пальцев, можно предположить, что в каждом случае человек говорил по телефону сам с собой.

— Предположить! — хмыкнул Григорьев.

— Даже не предположить. Это — объяснение, которое, впрочем, ставит вопросов во много раз больше, чем их объясняет. Всякому здравомыслящему человеку понятно, что с самим собой разговаривать нельзя. Тем более по телефону. Мы попытались, используя магнитофонные записи, определить расстояние, с которого велся разговор вторым... э-э... существом.

— Что? И такое возможно? — удивился кто-то.

— Возможности техники безграничны.

В это время в дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Григорьев.

Дверь чуть приоткрылась, и в проеме появилась смущенная фигура Данилова.

— Можно войти?

— Входи, входи, Анатолий!.. Это мой товарищ, — пояснил Григорьев собравшимся.

— Я не один, — сказал Данилов.

— Входите, чего там. Места хватит. — Григорьев подошел к двери и широко распахнул ее. В коридоре, кроме Данилова, стояла хорошенькая девочка Галя Никонова, ее подруга Любаша и Игорь.

— Ой, сколько тут народу! — смутилась Галя. — Мы не знали, что вы заняты.

— Не волнуйтесь, я не очень-то и занят. Проходите, я сейчас стулья принесу.

Четверо гостей неуверенно и робко вошли в комнату.

Григорьев сбегал за стульями в холл и рассадил вновь прибывших.

Любашин друг тотчас же склонился к Карину. А сама Любаша завела разговор с Даниловым. Анатолий посмотрел на Григорьева, и что-то тоскливое и горькое было в его глазах. Но не злое. Нет, он не злился на Григорьева, он просто жалел себя и презирал. Ведь Галя была неравнодушна к Александру, а он, Данилов, чем-то не подошел. Это он ясно чувствовал и вчера, и сегодня. Особенно сегодня, когда Галя настояла на том, чтобы они зашли в гостиницу.

Что-то почувствовал и Григорьев.

— У меня есть сообщение, — сказал представитель телефонной станции. — После двенадцати часов нынешнего дня «эффект телефона» исчез.

— Как исчез?! — подпрыгнул на стуле один из членов комиссии. — После двенадцати исчез, а мы до сих пор ничего не знаем!

— Пойду-ка я покурю, — тихо сказал Григорьев, — Сейчас здесь, кажется, запахнет жареным.

— И я с вами, — неожиданно сказала Галя.

— Галя, — спросил Григорьев, — вы разве курите?

— Иногда, — ответила девушка. — А что? Это плохо?

— Лекций о вреде курения вы от меня не услышите. Это, конечно, ваше дело.

— И ничего-то во мне тебя не касается? — спросила Галя, переходя вдруг на «ты».

— Это трудный вопрос...

Они дошли до холла и сели в кресла у столика с пепельницей. Александр достал из пачки две сигареты, одну предложил девушке, другую закурил сам. Девушка закашлялась. Нет, курить она не умела.

— Бросьте, Галя, — попросил он. — Не идет вам.

Галя неумело затушила сигарету и сказала:

— Вот и послушалась. Тебя легко слушаться. Почему?

— Это самовнушение. Извини, но ты просто взвинтила себя... Я приехал и уеду, и следа от меня не останется...

— Не понимаю.

— Видишь ли, ты красивая девушка. Таких красивых, наверное, больше и не существует на свете. Знаешь, как я тебя называю?

— Нет.

— Хорошенькая девочка Галя. А в вашем институте я каждый перерыв выхожу в коридор, чтобы посмотреть на твою фотографию. И хорошо на душе становится. Но это не любовь, Галя.

Девушка смотрела на него с улыбкой, но чуть заметная грусть пряталась в уголках ее рта.

— Я тебе расскажу, может, ты поймешь. Есть на свете одна женщина. Я ее почти не знаю, но люблю. И это навечно. Она прошла мимо, а я остался один. Мне по-прежнему нравятся женщины, но ни одну из них я не смогу полюбить... Словом, я не тот человек, который тебе нужен.

— Господи, какую ерунду ты говоришь, — рассердилась Галя.

— Правильно. Я говорю ерунду... Но у тебя все пройдет, да ничего и не было. Посмотри вокруг. Сколько красивых и умных парней.

— Например, Данилов? — спросила она.

— И он хороший парень. А если уж полюбит, то навсегда.

— Да, наверное, — тихо сказала она, бледность заливала ее щеки. — Вчера вечером он просто блистал.

— Еще бы! При виде тебя как не засверкать!

Долгая тишина повисла в воздухе.

— Глупые вы люди, мужики, — сказала наконец Галя.

— Глупые, — согласился Григорьев.

— Что ж, пошли. Твой хороший Данилов, вероятно, совсем раскис из-за того, что я с тобой исчезла.

— Не надо, Галя, — покачал головой Григорьев. — Неосторожное слово бьет насмерть.

К ним вдруг подошел Данилов и, смешно шмыгнув носом, сел в свободное кресло.

— А мы тут поболтали немного, — сказал Григорьев. — Тебя просклоняли. Не сердишься?

— А что я?.. Я обычный, серый, не такой, как другие.

— Не лезь в пузырь, Данилов. Все мы серые, и не такие... Ну, вы тут посидите, я сейчас вернусь. Посмотрю только, что с моей комнатой сделали.

Григорьев вошел в комнату. Почти сразу длинно зазвонил телефон.

— Тише, — мгновенно сориентировался представитель телефонной станции. — Алле! Кого? Галкина? Я Галкин. Слушаю.

Говорил он недолго, короткими фразами, а по лицу его было видно, что произошло что-то значительное, если не из

ряда вон выходящее. Наконец он положил трубку. Все заинтересованно и выжидающе молчали.

— Товарищи! — торжественно начал Галкин. — Только что получено сообщение. «Эффект телефона» проявился в Усть-Манске и Иркутске. Жаль, что работники телефонных станций этих городов не смогли сообщить нам об этом сразу. По предварительным данным, эффект зафиксирован в двенадцать часов пятнадцать минут.

— Игорь, пошли, — потребовала Любаша. — У меня голова кругом идет.

— Но, Люба, здесь такое! Такое!

— Пошли, и никаких разговоров.

— Сигарету, пожалуйста, — попросили у Григорьева.

— Интересно, — сказал Карин, — в чем же здесь дело?

— Я сейчас сбегаю в буфет, — ответил Григорьев. — Кончились сигареты.

— Ну и бедлам! — сказал кто-то, приоткрывая дверь.

— Сашка! Выйди на минуту!

Григорьев протолкался к двери и вывалился с клубами дыма в коридор. Перед ним стоял Бакланский. Чуть поодаль — Данилов и Галя Никонова. А за Бакланским — начальник СКБ. Данилов растерянно моргал длинными ресницами.

— Здравствуйте, Григорьев, — сказал начальник СКБ Кирилл Петрович.

— Здравствуйте, — машинально ответил Григорьев. — Проходите в комнату... Тесновато, правда.

— Что у тебя там за сборище? — спросил Бакланский.

— Комиссия тут второй день работает. Ну, все с этими телефонными разговорами.

— И чем только у тебя голова забита!

— Но я не могу их выгнать, да и не хочу.

— А ты, Данилов, что здесь делаешь?

— В гости пришли к Григорьеву. Хотели на улицу вытянуть, да не удалось.

— У тебя, я вижу, тоже хобби появилось, — развеселился Бакланский, бесцеремонно разглядывая Галю Никонову.

— Фу! — сказала та. — Пойдем, Анатолий. Зови Любашу и пойдем.

— Люба! — приоткрыл дверь Данилов. — Мы уходим!

А из дверей неожиданно вывалил Карин.

— О! Виктор Иванович!.. Ох, там уже нечем дышать!

— Надо бы окно открыть, — сам себе сказал Григорьев, но с места не сдвинулся.

— Знакомьтесь... Карин Владимир Зосимович, — представил Бакланский. — Начальник нашего СКБ, Кирилл Петрович.

— Очень приятно, — сказали оба, протягивая друг другу руки.

— И вы здесь? — сказал Бакланский Карину. — Странно...

— Да вот — развеселая компания, доложу я вам. И проблемка-то действительно интересная.

Из комнаты вышли Любаша и Игорь. Любаша — сердитая, а Игорь — с горящими от восторга глазами.

— Может, возле телевизора поговорим? — предложил Кирилл Петрович.

— Нет, нет! Там неудобно... Скоро кончится заседание? — спросил Бакланский у Карина.

— Ну мы пошли. До свиданья, рыцарь печального образа! — распрощалась Галя Никонова.

— До свиданья! — ответил Григорьев. — Вы меня извините!

— До свиданья!

— Скоро кончат, — утвердительно сказал Карин. — А проблемку-то, наверное, передадут в Академию наук.

— Так, значит, все это очень серьезно? — удивился Бакланский.

— Вполне. И необъяснимо, вдобавок.

— Любопытно...

— Проходите в комнату. Послушайте, — предложил Карин.

— А что, — ответил Бакланский. — Все равно ждать. Послушаем, Кирилл Петрович? Веди, Григорьев.

— Я, Виктор Иванович, за сигаретами в буфет сбегаю. Вы проходите, а я сейчас вернусь.

— У меня своих проблем хоть отбавляй, — заявил начальник СКБ. — Вы идите, а я с Григорьевым в буфет. Перекушу пока.

— Ай, Кирилл Петрович, — укоризненно закачал головой Бакланский. — Я же вам предлагал пообедать.

— Ничего, Виктор Иванович. Вы идите, идите.

Карин и Бакланский вошли в комнату, а Григорьев и Кирилл Петрович направились к буфету.

— Что у вас тут происходит? — устало спросил начальник СКБ.

— Ничего. Защищаемся. Было бы что защищать.

— Защититесь?

— Бакланский — наверное. А я — нет.

— У вас что, разные темы? Юмор мне непонятен.

Григорьев промолчал. Они зашли в буфет. Народу здесь было мало, но сигарет с фильтром не оказалось.

— Выпьем по чашечке? — предложил Кирилл Петрович.

— Спасибо. Я кофе уже наглотался. Сбегаю-ка в ресторан. Может, там сигареты есть. Я быстро вернусь.

— Беги, беги, — Кирилл Петрович принялся изучать витрину буфета.

Григорьев выскочил в коридор — ну и денек сегодня выдался! — и метнулся вниз по лестнице, заметив, что у дверей лифта очередь.

В холле на нижнем этаже, в двух шагах от Григорьева на чемодане сидела Катя. Рядом с ней стояло еще два чемодана.

Весь этот взбалмошный вечер как-то успокоил Григорьева. Заботы других людей и проблемы, которые они решали, отвлекали его от собственных грустных мыслей. Все-таки на виду, на людях легче переносить свое горькое и тоскливое. Вот и суетился он, отвечал на вопросы, задавал их сам, успокаивал кого-то, и ему было легче.

А теперь в двух шагах от него на чемодане, подперев щеку рукой, сидела Катя. Она не видела его, и он еще мог уйти незамеченным. Но как уйти? Тем более что здесь, в гостинице, просто так не сидят. Здесь ждут, не освободится ли местечко.

Григорьев подошел, отодвинул один чемодан и присел на него. Катя сделала движение рукой, как бы удерживая чемодан, и увидела Григорьева. Она растерялась: слишком внезапно все произошло.

— Здравствуйте, Катя! — сказал Григорьев.

— Александр, здравствуй!.. А... а я тебя видела из тролейбуса, крикнула даже.

— И я тебя видел.

Сейчас, когда все было выяснено, когда они были просто знакомыми, разговаривать стало легче. Особенно ему. Просто знакомые — и все.

— А нас вытурили все-таки из гостиницы. Делегация какая-то приехала. Но на произвол судьбы не бросили. Обещают дать здесь три места, после десяти часов.

— А где же твои подруги?

— Они только что ушли обедать в ресторан. Потом пойду я. А чемоданы в камеру хранения не принимают, пока мы здесь не прописаны.

— Так давайте мне ваши чемоданы. Я унесу их к себе в комнату, что вам с ними таскаться. Потом вы зайдете или я сам принесу.

— А удобно ли?

— Очень даже удобно! Я живу в семьсот двадцать третьей комнате. Заходите ко мне или позвоните по местному телефону — тоже семьсот двадцать три. Я все время там буду. Только вот сигареты куплю... Надо же, какая встреча. Третий раз за день.

— Ладно. Идите за своими сигаретами.

— Я мигом.

Григорьев заскочил в ресторанный буфет, купил две пачки сигарет и вернулся.

— Вот я и готов. У меня сейчас в комнате комиссия, знакомые. Весь вечер дым столбом.

— Что-нибудь неприятное?

— Скорее — фантастическое: второе Я.

— Как второе Я?

— Потом объясню. Запомни, комната семьсот двадцать три.

— Запомнила. А не тяжело сразу три чемодана?

— Что ты?! Я лечу!

— Спасибо тебе, Санчо!

Она пошла и оглянулась, как днем на лестнице института.

Григорьев схватил три чемодана и взлетел на седьмой этаж бегом.

Начальник СКБ уже сидел в холле возле телевизора и курил. Григорьев поставил чемоданы и сказал ему:

— Кирилл Петрович, заходите, пожалуйста, в комнату.

— Я зайду. Докурю и зайду. Там и без меня дыму хватает. А ты что, съезжать собрался? — спросил он, кивнув на чемоданы.

— Нет. Знакомых встретил. На время чемоданы к себе поставлю.

— Тогда пойдем. — Кирилл Петрович потушил сигарету, и они вместе двинулись по коридору.

В номере было страшно накурено. Григорьев пропустил начальника вперед, а сам, раскрыв ногой дверцу шифоньера, толкнул туда чемоданы.

В комнате спорили, то и дело упоминая Академию наук. Виктор Иванович смело и с ходу мог входить в любые проблемы. Вошел и здесь, и можно было не сомневаться, что он уже собрал всю возможную информацию и, шутки ради, будет теперь строить мысленные конструкции в поисках решения. Это для него было как вечерний кроссворд. Кирилл Петрович бросил шляпу и плащ на кровать, больше некуда было, и, заложив руки за спину, спокойно ждал, когда все выметутся вон. Бакланский начал записывать адреса и телефоны членов комиссии и этим как бы предложил им сниматься с места. Последним уходил Карин. Бакланский его остановил, но тот покачал головой:

— Я вижу, тут семейное собрание намечается. Не буду мешать. Всего хорошего...

Григорьев открыл настежь окно и дверь.

— Ну что ж, — сказал он. — Теперь и мы можем закурить спокойно. Пожалуйста, Кирилл Петрович, — и положил пачку сигарет рядом с пепельницей.

— Я чуть позже.

— А проблемка действительно интересная, — сказал Бакланский. — Подумать можно.

— Вы мне вот что скажите, — начал начальник СКБ. — Тема будет защищена?

— Тема прошла бы почти без сучка и задоринки, — ответил Бакланский. — Один Громов не в счет. Но вот Григорьеву вдруг показалось, что мы не выполнили тему и втираем кому-то, то есть государству и комиссии, очки.

— Вы мне ответьте прямо. Будет тема защищена или нет?

— Будет, если Григорьев перестанет мешать. Он уже и так много напортил. В комиссии начался разброд, — сказал Бакланский.

— Нет, — ответил Григорьев. — Если я останусь в комиссии, тема не будет защищена.

— Так! — сказал Кирилл Петрович. — Ситуация. Тема должна быть защищена. От нее зависит многое. Это самая крупная у нас тема. И строительство нового корпуса, и премия для всего СКБ, да и еще кое-что, все зависит от этой защиты.

— Пусть Григорьев уезжает в Усть-Манск, — не глядя ни на кого, сказал, почти потребовал Бакланский.

— Александр, — спросил начальник СКБ, — ты можешь уехать в Усть-Манск завтра же?

— Нет. Я член комиссии, которая еще не кончила работу.

— Это мы устроим. Никто тебя не будет винить за твой отъезд. Приказ можно изменить...

— Нет. Быстро вы ничего не сможете сделать. Приказ подписан в министерстве. Будь иначе, вы бы немедленно дали мне под зад коленом.

— Зачем так грубо? — поморщился Бакланский.

— Тему нашу вредно защищать.

— Допустим, — сказал начальник СКБ. — Но посмотрим с другой стороны.

— Учти, — невольно перебил Кирилла Петровича Бакланский. — Я взял тебя только потому, что ты рвался в Марград. Иначе бы ты здесь сейчас не находился.

— Я еще не кончил, — заметил Кирилл Петрович.

— Извините. Не сдержался.

— Так вот. Почему и когда ты решил, что тему не стоит защищать? Ведь делал-то ее и ты! Это значит, что два года и ты занимался чепухой!

— Я составлял и настраивал схему.

— И тогда уже знал, что она «вредна»?

— Нет, не знал. У меня не было времени думать над этим. Но, наверное, чувствовал.

— Что значит — чувствовал?

— Иногда руки опускались, даже когда все шло хорошо. Но если возникала такая мысль, то я говорил себе, что это не мое дело.

— Так скажи себе это и сейчас! — воскликнул Бакланский.

— Сейчас не могу... Этот процесс ведь все время развивался. Да и борьба Соснихина и Бурлева за изменение направления работ кое-что мне подсказала... Вот ответ на вопрос «почему?» Нет у меня моральной удовлетворенности, моральной убежденности, что мы сделали эту тему. Не могу я лгать самому себе.

— А раньше мог?

— Выходит, что мог.

— И стать честным на три дня позже ты уже не можешь?

— Не могу.

— Соснихин и Бурлев, те хоть что-то предпринимали, пытались исправить, доказать. Но ведь ты-то раньше молчал!

— Я виноват, — сказал Григорьев. — Я чувствую себя подлецом, потому что пришел к этой мысли только сейчас. Но я буду чувствовать себя еще большим подлецом, если буду теперь защищать тему.

— Интересные градации, — заметил начальник СКБ. — Больший подлец, меньший подлец. Нельзя ли попроще?

— Проще не получается. Нашу машину делать не надо.

— Но ты не министр. Ты инженер нашего СКБ. И не решай чужих проблем. Люди без тебя разберутся, что надо делать, а что — нет.

— В том-то и дело, что не разберутся. Все решает наша комиссия. Если тема будет принята, никому и в голову не придет подумать над ней еще раз. Так она и покатится дальше.

— Вы хоть представляете, — сказал Кирилл Петрович, — в какое глупое положение поставили меня? Я не могу вникать подробно во все темы, которые делаются в нашем СКБ. Да это от меня и не требуется. Для этого есть вы, исполнители и руководители тем. Я могу помочь и принять меры, когда у вас что-то не идет, что-то не получается. Но ведь не на защите же! Теперь уже поздно что-либо исправлять. Виктор Иванович, почему не были приняты меры к нормальному исполнению темы? О чем вы раньше думали?

— Кирилл Петрович! Я защищаю свою тему, не кривя душой. В ней все продумано и сделано на высоком техническом уровне. Многие пункты задания сделаны лучше, чем требуется.

— Тогда о чем же здесь толкует Григорьев!

— В науке много направлений и путей, Кирилл Петрович. Григорьев вдруг решил, что мы идем неправильным путем. В этом все дело.

— Григорьев... А ты?

— Проблему распознавания образа не решить методом, который мы приняли. Лучше в этом сознаться сразу.

— Отлично. Если, Григорьев, ты сейчас прав, то твоя вина от этого еще значительнее. И ни ты, ни Виктор Иванович так просто не отделаетесь. В Усть-Манске будет разговор посерьезнее. Человек, справляющийся со своим делом, должен знать это дело, а не прозревать, когда уже поздно, как Григорьев, и не дожидаться, когда ему помогут прозреть, как Виктор Иванович.

— Кирилл Петрович, — сказал Бакланский. — Я и сейчас считаю, что мы все решили правильно. И никто меня не переубедит в этом.

— Очень жаль, — сухо сказал Григорьев.

* * *

В дверь постучали. Это могла быть только Катя. Григорьев мгновенно вскочил, крикнул: «Да! Войдите!» — и подбежал к двери, которая уже открывалась.

— Можно войти? — спросила Катя, все еще стоя в коридоре.

— Входи, Катя, входи. У нас тут небольшое совещание, но мы уже...

Женщина вошла и остановилась в растерянности.

— О! — коротко сказал Бакланский. — Вот это явление! Недурно, Григорьев.

— Я... Простите... Я за чемоданами...

— Ах, за чемоданами. Ну конечно, за чемоданами. За чем же еще?

— Виктор Иванович, перестаньте, — попросил Григорьев.

— Постой-ка, постой, Сашенька! Уж не за этой ли нимфой ты приехал в Марград?

— Да, я приехал за этой женщиной, которую зовут Катя.

— Дайте мне мой чемодан! — потребовала Катя.

— Значит, Саша приехал за Катей... А вы, Катя, знаете, что здесь из-за вас вытворяет товарищ Григорьев, или как вы его там зовете в интимной обстановке?

— Это гнусно, — тихо сказала Катя. — Дайте же мне чемоданы!

— Катя, но вам же их не донести. Я помогу!

— Не нужна мне ваша помощь!

— Катя...

— На государственный счет этот самый Григорьев катается за женщинами, заваливает темы! — кричал Бакланский. — И вы, Катя, хороши! А поди, и муж у вас есть в каком-нибудь Усть-Манске?

— Вы это нарочно устроили? — спросила Катя Григорьева.

— Катя, как вы можете?

— Господи, — сказала она, — как я устала...

Григорьев взял чемоданы, все три.

— Стойте! — крикнул Бакланский. — Вы что-то здесь оставили!

Катя толкнула дверь и выбежала в коридор, прижимая ладони к лицу. Григорьев выскочил за ней. Бакланский хлопнул дверью и глухо выругался. Катя пробежала несколько шагов, остановилась и, когда Григорьев догнал ее, повернулась к нему.

— За что он так?! — с рыданиями выдавила она. — За что?!

— Катя, не плачьте.

Она уткнулась к нему в грудь и заплакала, затряслась, судорожно вцепившись в его рубашку. Плечи ее вздрагивали, волосы рассыпались по спине, и столько горя, обиды и отчаяния было во всей фигуре, в бессвязных словах, что Григорьев выпустил из рук чемоданы и не услышал звука, с которым они упали.

— Успокойся, Катя. — Он гладил ее волосы, плечи, а она все крепче прижимала свое мокрое лицо к его груди, постепенно затихая.

И вдруг оттолкнула его и выпрямилась. Слез на лице не было, остались их следы, и отчаяние, и ненависть.

— Уходите! Слышите? Никогда не появляйтесь больше! Я вас ненавижу!

— За что, Катя? — только и сказал он.

Из дверей выглядывали люди. Дежурная по этажу уже шла к ним, чтобы выяснить, в чем тут дело.

— Вы все, все одинаковые! Слышите?

Она взяла два чемодана и сказала подошедшей к ним женщине:

— Помогите мне, ради бога...

Женщина подняла чемодан и косо посмотрела на Григорьева. Потом они обе повернулись и пошли, а Григорьев все стоял. Он рванулся было за ними. Катя услышала звук его шагов и еще раз обернулась.

— Санчо! Ну что ты за мною ходишь? Разве ты не видишь, что из этого получается?

— Катя...

— Идите, молодой человек, идите, — сказала дежурная по этажу. — Потом все успеется.

— Санчо... — сказала Катя и больше ни слова. Они дошли до лифта и остановились. Григорьев повернулся и пошел к себе в комнату.

Кирилл Петрович курил, Бакланский расхаживал по комнате.

— Вот оно, Кирилл Петрович, и объяснение. Труд сотен людей угробить, извиняюсь, из-за этой...

В одну секунду Григорьев оказался возле Бакланского и ударил его по лицу. Бакланский еле устоял.

— Вы что, сдурели! — крикнул Кирилл Петрович и бросился их разнимать. — Ну, Григорьев!

— Гад! — рычал Григорьев. — Какое право ты имеешь так говорить о ней?!

Начальник СКБ наконец разнял их.

— Я тебя уничтожу, — тихо пообещал Бакланский Григорьеву.

— Чтоб вас! — крикнул начальник СКБ. — Одевайся, Бакланский. Поехали. Завтра я сам буду на защите, хоть я и не член комиссии. А в Усть-Манске я с вас обоих штаны спущу! Выговорами вы не отделаетесь.

«Все. Завтра защита будет провалена», — думал Бакланский, лежа в постели.

Ищи выход! Ищи выход!

Нужна идея, сногсшибательная, которая разоружила бы комиссию, ошеломила бы ее, повернула все в другую сторону! Вроде летающих тарелок.

На пустой крючок комиссию не поймаешь.

Что-то должно быть. Что-то должно быть...

Вроде бы блеснула где-то в подсознании мысль-спасение и угасла. Стоп. Это было где-то совсем рядом, недавно, вчера. Что? Комиссия, эксперимент, ошибка в монтаже, неудача, исправление, скрытое недовольство комиссии, встреча начальника СКБ, гостиница, этот дурацкий телефон и комиссия к нему в придачу. Катя, пощечина. Круг! В каком месте разорвать?

И надо было проявиться феномену телефона именно в момент защиты! Ни позже, ни раньше. А именно в момент защиты... Время... Григорьев свихнулся на телефоне. «Эффект телефона» возник в момент, совпадающий с защитой. Совпадение? Возможно. Но не обязательно. Ведь исчез же вчера после полудня этот феномен. Почему после полудня? С чем тут связь? И в это же время возник в других городах... Но другие города сейчас его мало интересовали. Марград...

А не связано ли как-то появление эффекта с их приездом в Марград? Еще один шаг, и можно будет предположить, что Григорьев — пришелец, а их система — замаскированная летающая тарелка. Вот так — по совпадению фактов во времени, а не из их связи, и возникают бредовые гипотезы.

Бакланский поднялся с постели, оделся, побрился в ванной безопасной бритвой, чтобы не шуметь электрической, оставил на столе записку матери и Кириллу Петровичу, чтобы не волновались, и вышел на площадку, осторожно прикрыв дверь.

На улице было прохладно, но сухо, и уже чуть брезжил рассвет. Сначала Бакланский шел просто, куда глаза глядят. Нужно было развеяться, дать продуть себя ветерку. Но затем Бакланский поймал себя на мысли, что идет куда-то, твердо придерживаясь определенного направления. А еще через два квартала он уже знал, что идет на телефонную станцию к своей машине.

Григорьев курил, лежа в постели и поставив пепельницу рядом с кроватью. Всю жизнь он считал себя счастливцем. Все, вроде бы, удавалось ему. Правда, он и не ставил перед собой великих целей, но зато никогда и не ушибался больно. Жил да жил. И вот наступило время оглянуться. А что там было в прошлом? Так, что-то невзрачное. И не боль от того, что не совершил ничего стоящего, а боль другая — что свое среднее и обыкновенное прожил наудачу — резанула его душу. И два человека встретились на его пути. Катя — любовь его первая, настоящая. Не влюбленность, не увлечение. И подойти к ней с нечистой совестью было нельзя. И второй — тот Сашка, который несколькими словами, вроде оброненными невзначай, заставил его понять, кем же он был на самом деле.

Нет, наполовину честным быть нельзя. Наполовину подлецом быть нельзя. И стать человеком нельзя, лишь захотев этого.

С темой развал. Ничему он не помог. Ничего не доказал. Добился только того, что вытурят его из СКБ. Но это лишь обидно, не больно. Больно другое. Даже то, что он помог Кате с чемоданами, обернулось для нее горем. И хорошенькую девочку Галю Никонову обидел.

В прошлое вернуться нельзя. Время необратимо. Но ведь он действительно считает, что они не сделали свою тему, он действительно любит Катю и не может любить Галю Никонову. Теперь, когда он не лгал, все разваливалось под его руками. Почему?

Григорьев выбрался из постели, подошел к телефону, набрал номер, спросил:

— Сашка? Ты?

Ему ответили лишь частые гудки.

* * *

В этот день никто из членов комиссии не опоздал. В десять часов с минутами комиссия уже начала работать. Пришел и Кирилл Петрович. Он хотя и не имел решающего голоса, но все же мог выступать, участвовать в обсуждении и тем самым влиять на окончательное решение.

Данилов сегодня светился. Даже защита казалась ему праздником. Он уже видел сегодня Галю Никонову и в перерыве опять может увидеть ее, и весь вечер они снова будут вместе.

Перед началом защиты к Данилову и Григорьеву подошел Карин и от имени администрации института предложил им недельки две поработать в его лаборатории. Данилов, конечно же, согласился. А Григорьев сдержанно отказался. Данилову могут разрешить. А его ни Бакланский, ни Кирилл Петрович здесь не оставят. Нечего и надеяться.

Григорьев с утра даже не хотел здороваться с Виктором Ивановичем, но тот поздоровался первым. Словно между ними ничего и не произошло. Александр ответил, но больше не подходил к своему шефу.

А с тем произошла какая-то перемена. Он, конечно, в любых переделках умел держать себя в руках, этим часто и выигрывал в безнадежных ситуациях. Но сегодня с ним произошло что-то особенное. Это могли заметить только Григорьев и Кирилл Петрович. Тот, как только явился в институт, сразу же спросил:

— Ну что, Виктор Иванович? Есть у нас еще шансы?

— Есть, Кирилл Петрович. У нас есть все сто шансов из ста.

— Что-то из одной крайности в другую. Григорьев что-нибудь...

— Григорьев меня теперь не интересует вообще. Нет такого человека.

Председатель комиссии предложил начать работу. Перед ним лежал список выступающих.

— Евгений Павлович, — сказал он Старкову. — Прошу.

— Я тщательно ознакомился с протоколами испытаний, которые сегодня утром предложил нам Виктор Иванович, — начал представитель телефонной станции. — Собственно, меня в основном интересовала способность системы улучшать разборчивость человеческой речи на междугородных линиях связи. К сожалению, должен сообщить, что ожидаемый эффект не подтвердился. Улучшение отношения сигнал — шум на десять процентов для человека трудно различимо. По-видимому, спектр конкретных фонем намного превосходит спектр, заложенный в машине. Кроме того, я вынужден был проконсультироваться с рядом проектировщиков и разработчиков в других институтах. Большинство ответов свелось к тому, что данная система принципиально не может обеспечить необходимую разборчивость речи. То же, я полагаю, относится и к основным пунктам задания. — Старков говорил еще, но смысл его выступления был ясен. Тема не проходила.

Бакланский сидел спокойно и даже кивал в некоторых местах выступления Старкова, словно соглашался. Григорьев сидел, уставившись в бумаги. Кирилл Петрович не вытерпел и написал Бакланскому записку: «Куда все катится?» Бакланский прочитал записку, но ничего не ответил, даже не посмотрел в сторону начальника.

Анатолий Юльевич предоставил слово Громову. Игорь Андреевич в нескольких фразах, точно и лаконично выразил свое мнение, которое сводилось к тому, что тема Бакланского ведет в тупик, что направление работ сразу было выбрано неправильно, и что Бакланский еще раньше получил дружеское предупреждение и предложение о помощи, но не внял советам более опытных товарищей. За это теперь вынуждены расплачиваться многие люди. Его мнение было таково: тему принимать нельзя.

Громов сказал то, что Виктор Иванович от него и ждал.

Затем выступил представитель заказчика. В технические подробности темы он не вникал, целиком полагаясь на специалистов. Ему не хотелось бы признавать, что деньги заказчика потрачены впустую, но и принимать тему, которая явно недоработана, он не может. Если тема не будет принята, пусть исполнитель дорабатывает ее за свой счет.

Для Кирилла Петровича это было чувствительным ударом. СКБ не смогло бы выдержать такой дополнительной нагрузки. Деньги на дороге не валяются.

Ростовцев был настроен враждебно к теме Бакланского с самого начала, как только пролистал отчет. Принятие этой темы автоматически переложило бы все заботы, трудности и недоработки с плеч Бакланского на его плечи. Расплачиваться за чужую глупость у него не было никакого желания. Выступление его было немного грубоватым, но это в данном случае не имело никакого значения.

Карин, когда ему предоставили слово, долго вздыхал, словно не решаясь начать, потом все-таки сказал:

— Мне жаль ребят. Работу они проделали огромную. И делалось это, судя по макету системы, с душой и выдумкой. У них золотые руки и головы. Жаль только, что все это они сделали зря. Я сначала не хотел провала темы. Чего греха таить, принимали мы темы и со значительными недоработками, а потом кто-нибудь отдувался за виновника. Но там хоть можно было что-то исправить. Здесь все нужно начинать с нуля. Разве что этой темой заинтересуются на заводе станков с программным управлением... Жаль! Эти ребята могли сделать действительно чудесную тему. Таланта и знаний у них бы хватило. При составлении акта мне придется писать о неправильно примененной исходной идее. Это совсем не легко. Я не злорадствую.

И чем дальше шла защита, тем отчетливее становилось, что тема Бакланского провалилась. Были, правда, выступления и в ее защиту, но они сводились в основном к тому, что результатов этой темы ждут во многих отраслях науки и техники.

— Ну, Виктор Иванович, — сказал Анатолий Юльевич. — Ваше слово.

— Заключительное слово, — усмехнулся Бакланский. — Как на суде.

— Что вы, что вы! У нашей комиссии совсем другие функции.

— Ну, хорошо, — сказал Виктор Иванович. — Я выслушал всех выступающих. Критика и замечания во многом были правильными. Мы ведь не святые. Недостатки есть у всех, в том числе и у нас. Возможно, мы пошли неправильным путем при разработке своей темы, хотя, повторяю, в науке и технике много путей, и не всегда сразу видно, какой путь правильнее.

— Здесь-то было видно, — успел вставить Громов.

— Видно? — переспросил Бакланский. — Видно, как и всегда, только до ближайшего поворота. Что за поворотом, не знает никто. Вот вы идете своим, по-вашему, правильным путем. Дорога ясна, не так ли?

— Более-менее... чтобы можно было начинать работу, — ответил Громов.

— А что будет за вашим поворотом? Проспект? Тупик? Во-первых, еще не доказано абсолютно достоверно, что наша система ни к черту не годится. Кое-что она делает прекрасно. На худой конец, может управлять станками. Пусть похуже, но

может делать и все остальное. Громоздкая? Да. Жрет много энергии? Да. Тяжелая? Да. Недостатков много. Но ничего совершенного пока нет и у вас. Все тоже в стадии разработок. Я уже сказал, что наша система кое-что может. Но она может и еще одно, чего пока не может ничья система. Анатолий Юльевич, позвоните, будьте добры, по номеру восемьдесят восемь — семнадцать — пятьдесят три.

Председатель комиссии удивленно посмотрел на Бакланского.

— Ей-богу, я в своем уме. Позвоните, пожалуйста.

— Это же номер нашего телефона, — сказал Громов. — Зачем звонить по собственному номеру?

— Как! — воскликнул Карин.

— Пожалуйста, — пожал плечами председатель комиссии. Он набрал номер, послушал немного, потом сказал, все еще держа трубку в руке: — Ничего. Короткие гудки, Занято. А что должно быть?

— Ничего. Так и должно быть. Я просто хотел, чтобы все в этом убедились.

— Виктор Иванович, мы не отвлекаемся от основной задачи нашей комиссии?

— Нет, нет. Одну минуточку. Дайте мне трубку, пожалуйста.

Бакланский встал со своего места, обогнул стол и подошел к председателю. Взяв трубку, он набрал какой-то номер и спросил:

— Это Галкин? АТС? Сделайте, пожалуйста, те переключения, которые я вам показал.

— Это же работник нашей АТС! — почти крикнул Старков.

— Да, — согласился Бакланский. — Он сейчас подключит нашу машину к городской телефонной сети.

— «Эффект телефона»! — сказал Карин.

— Да, тот самый «эффект телефона». Он проявляется, когда наша система включена в городскую сеть. Если систему переключить на междугородные линии, то эффект возникает в других городах: Иркутске, Усть-Манске, Москве. Как, например, это было вчера.

Комиссия уже достаточно знала об эффекте, поэтому наводящих вопросов не возникло.

— Попробуйте позвонить кто-нибудь. Например, вы, Анатолий Юльевич.

Бакланский отошел от телефона, спокойно направился к своему месту и сел. Он был спокоен и уверен в себе. Анатолию Юльевичу ответили, и он даже немного поговорил с таинственным собеседником. Да, «эффект телефона» действовал.

— Вы это предусматривали? — спросил Карин Бакланского.

— Честно признаю — нет. А потом, что это? Кто знает, что это? Я могу только сказать, что *это* действует через нашу машину. Машину, которая создана на основе «порочных идей», как здесь говорили.

— Вот это да! — сказал Карин. — Кто мог подумать? Связь с кем-то или с чем-то!

— С самим собой, — вставил Григорьев.

У телефона образовалась небольшая очередь. Начальник СКБ протолкался к Бакланскому.

— Я вижу, настроение комиссии изменилось.

— Да, Кирилл Петрович. Всю ночь разгадка была где-то рядом, но не давалась. Только утром понял, что это за чертовщина.

— И это поможет?

— Поможет? Помогло уже! Я звонил председателю той комиссии, которая занималась телефоном. Что бы ни было в этой заварухе, но она надолго, и субсидирование работ нам обеспечено. Теперь никто не будет говорить, что мы зашли в тупик.

— Ну, Виктор Иванович, молодец! А я уж думал, все кончено.

— Ерунда, Кирилл Петрович. Еще поработаем. Только без этих — Григорьева, Соснихина, Бурлева. И еще нескольких — с глаз моих долой. Ведь если бы я послушался их или сдался здесь Григорьеву, «эффект телефона» никогда бы не был открыт!

— Я подумаю, Виктор Иванович. Мне нужны толковые люди. Мне нужно, чтобы темы защищались.

Григорьев молча вышел из кабинета, подошел к фотографии хорошенькой девочки Гали Никоновой, посмотрел на нее и двинулся к выходу.

И закрутилось колесо! Бакланский был на волне.

Успех не вскружил ему голову. Он был по-прежнему собран, подтянут, вежлив, остроумен и целеустремлен. На работу в

комиссии у него теперь времени не хватало, но он все-таки выкраивал его и являлся, чтобы принять участие в написании акта приемки. Тема, недоработанная в чем-то одном, оказалась открытием в другом, необыкновенном, важном, таинственном.

Перед отъездом начальник СКБ попытался смягчить сердце Бакланского.

— Послушай, Виктор Иванович. Не будь с тобой Григорьева, тема была бы защищена?

— Несомненно. Попыхтели бы, но защитились.

— И Григорьев...

— Не хочу о нем слышать!

— Но не будь его с тобой, не поселись он в этой гостинице, как бы ты пришел к успеху?

— Не важно. Тем путем или этим, я все равно бы пришел к успеху!

— Выходит, Григорьев тут ни при чем?

— Да, Кирилл Петрович. Ни при чем!

Комиссия составляла акт по приему темы. Ситуация резко изменилась. Бакланский был мгновенно прощен. Деньги, пусть и случайно, потрачены были не зря. Карин первый подписал акт. Изменил свое отношение к теме и Ростовцев. Было известно, что работу продолжит не его институт, а сам Бакланский, — Ростовцеву нечего было больше бояться. О Старкове с телефонной станции нечего было и говорить — он голосовал за Бакланского двумя руками. Один Громов ворчал, что надо бы время, чтобы подробно во всем разобраться, однако когда пришел момент — он подписал акт по приему темы без особых раздумий. Он, как и все другие, внутренне поверил уже в «эффект Бакланского», как теперь сей эффект именовали уже официально.

Остался один Григорьев. Дурацкое у него было положение. Он витал в пустоте. Лишь Карин, кажется, понимал его, но Карин разрывался между комиссиями. Все у Григорьева получалось шиворот-навыворот.

— Одна подпись будет против. Это даже хорошо, — сказал Бакланский. — Это говорит о том, что в теме все разобрались, даже исполнители, что была борьба. Борьба — основной стимул любого, развития. А все-таки, Григорьев, ты чуть было не испортил мне настроение.

— Не огорчайтесь, Виктор Иванович, на вашем пути встретится еще какая-нибудь личность, посильнее и поумнее меня.

— С радостью скрещу шпаги...

* * *

Катю Григорьев больше ни разу не встретил. Да и не хотелось ему этих встреч. Если бы он увидел ее на улице, то перешел бы на другую сторону. Данилов и Галя Никонова пытались растормошить Александра. Но он замкнулся, отказывался от приглашений в театр, в гости, объясняя свой отказ тем, что хочет в одиночестве побродить по Марграду.

Погода установилась хоть и прохладная, но солнечная. Приятно было ходить одному, не выбирая направления, а так, куда ноги несут. Какое-то опустошенное успокоение установилось в его душе. И мыслей особенных не возникало. Так, закурить сигарету, остановиться возле какого-нибудь музея, послушать, о чем говорят в толпе туристов, и идти дальше. Хорошо, свободно, пусто.

Но когда акт был подписан, Григорьев заспешил в Усть-Манск к своему осеннему лесу, к своему псу по кличке Плут. Старая жизнь сломалась, и начиналось что-то новое, хорошее или плохое, он не знал. И не было жаль старого. И новое не манило своей неизвестностью. Период, когда еще нет никаких желаний и стремлений, как после тяжелой болезни, когда хочется только свежего воздуха. Прохлады и воздуха.

Семьи у него не было. Его ждали лишь золото осени Усть-Манска и тишина засыпающих лесов, неясные шорохи реки и горячий преданный язык пса.

А ученые спорили. Карин высказал предположение, которое вполне поддавалось проверке. Известно, что когда человек думает, но не говорит вслух, его голосовые связки все равно работают. И если к горлу человека подключить чувствительные датчики и соответствующую аппаратуру, то можно, в принципе, услышать, о чем думает человек.

Когда человек набирает номер собственного телефона, шаговый искатель на телефонной станции подключается через машину Бакланского, на входе которой стоит высокочастотный модулятор, так что собственный номер не оказывается занятым на время, пока поднята трубка, и мысли, усиленные машиной, преобразуются в звуковые колебания, которые человек и слышит.

Получается, что человек разговаривает сам с собой, поэтому собеседник всегда называет себя фамилией и именем спрашивающего. Поэтому он все знает о человеке, поднявшем трубку. Поэтому он знает о нем даже больше, чем предполагает сам человек. И ответ на самый тревожный вопрос уже заключен в самом человеке, но он подавляется человеком, когда тот боится этого ответа, когда исполнение этого ответа сопряжено с трудностями, особенно морального порядка.

Человек говорит с самим собой.

Григорьев возвращался в Усть-Манск. Его никто никогда не провожал и не встречал. А теперь, по-видимому, не будет и работы. Он знал, что Бакланский и Кирилл Петрович зря слов на ветер не бросают. Формулировка приказа об увольнении будет подобрана вполне корректная. Ничего нельзя будет опротестовать. Да и не станет он опротестовывать.

Без работы он не останется. Жаль только свое нелепое детище, в котором были его дела и мысли.

Да бог с ней, с машиной! Свет клином на ней не сошелся.

Как быть с собственной совестью?

Григорьев должен был лететь сегодня из Марграда ночным рейсом, хотя мог бы еще задержаться дня на два, на три. Интересно было бы поговорить с Громовым, с Кариным и ребятами из его лаборатории. Владимир Зосимович упорно оставлял его поработать в своей лаборатории, но Бакланский так кисло морщился при этом, что Григорьев отказывался, тем более, что здесь оставался Анатолий Данилов. И не на два дня, а на две недели. Он, кажется, теперь всерьез привязался к Марграду. И хорошенькая девочка Галя Никонова была тому причиной. Григорьев был рад за Анатолия и немного завидовал ему.

Делать Григорьеву было нечего, поэтому он сел в такси и за три часа до отлета прибыл на аэровокзал.

Здесь ему было спокойнее. Он любил сутолоку аэровокзалов. Она отличалась от толкотни железнодорожных, где люди сидят на узлах и чемоданах, придерживая их руками и ногами. Там часто едут семьями, еще не пережив в душе, что насиженное место брошено навсегда. На аэровокзалах же люди все больше налегке. Это командированные, спортсмены, разные делегации. Время их пути коротко, они здесь, как на эскалаторе, не располагаются надолго, не бегают за чаем, не жуют на каждом деревянном диванчике бутерброды. Они уже почти дома, или почти у места назначения.

И стиль этих вокзалов, их открытые прямолинейные пространства создают атмосферу перекидного мостика, на котором не надо долго задерживаться.

Григорьев ходил по вокзалу и наблюдал за людьми. Ему интересно было, о чем они сейчас думают. И — совершенно неожиданно увидел Катю.

— Ах, здравствуйте, — растерянно сказала женщина.

— Здравствуйте, Катя. Разве ваши курсы уже окончились? Или случилось что-нибудь?

— Нет, ничего не случилось. Просто хочется побыстрее домой.

— Конечно, — согласился Григорьев. — Наверное, это так и должно быть.

— Давайте сядем, — предложила Катя. — Вот есть два места.

Кресла стояли друг против друга, и их разделял низенький столик с пепельницей из большой картонной коробки, заваленной окурками. Григорьев поставил чемодан и снял со столика коробку, сунув ее под соседнее кресло. Катя села и оглядела зал поверхностным взглядом, потому что нужно было что-то делать или говорить, не сидеть же в тягостном молчании.

— А ваши подруги? — спросил Григорьев.

— Они улетают завтра.

— Это хорошо, — сказал он, хотя сам бы не объяснил, что здесь хорошего. Может, то, что вот они сидят вдвоем.

Он протянул вперед свою руку, это было невольное движение, неосознанное, или, наоборот, давно желаемое и поэтому быстрое, точное и нежное. Он дотронулся до ее руки и погладил пальцы. Она хотела отдернуть их, это было ее первым порывом. Но руки остались лежать на столике. Он взял ее ладони в свои и сдавил. Зачем он это сделал? Ничего не изменилось в ее лице. Она была безучастна, как каменная.

Ему нужно было поцеловать эти маленькие ладони, а он еще крепче их сжал.

— Мне больно, Санчо, — сказала она.

Он сразу выпустил ее руки — так неожиданно сейчас прозвучало это «Санчо».

— Простите, — сказал он.

— Нет, — она чуть покачала головой. — Нет, мне не больно.

Григорьев выпрямился, поставил локти на желтую исцарапанную поверхность столика и упер в ладони свое лицо.

Он не знал, что произошло с ней только что. Он ничего не просил у нее раньше, ничего не хотел просить и сейчас. Он просто смотрел ей в глаза. Он знал, что сейчас в его взгляде нет ни страсти, ни восторга, ни призыва. Он просто хотел, чтобы она увидела ни к чему не обязывающий взгляд человека, который ее любил. Она могла отвести глаза, посмотреть, например, на часы, но она этого не сделала.

— Почему ты больше не пришел, Санчо? — спросила она и сама смутилась своего вопроса, прикусив губу и переплетя пальцы.

— Я бы прибежал в любое время и хоть куда. Но вам этого не нужно... Забудем, ладно? Как ваши курсы? Закончились успешно?

— В основном... Хотя я умудрилась все-таки схватить одну тройку.

— У вас и экзамены были?

— Были... А как дела у вас? Вы ведь... в командировке?

— Не бойтесь этого слова. Хоть я и приехал за вами, но не на государственный счет. Я в командировке и отработал ее сполна.

— Значит, удалась командировка?

Григорьев пожал плечами.

— Как вам сказать... Мне кажется, удалась. Хотя теперь будет в одном СКБ на одного инженера меньше. Но человечество это переживает. Тем более что будет больше на одного доктора наук. Все СКБ получит премию. Будут строить новый корпус. А я пойду искать новую работу... Возьмите меня к себе каким-нибудь техником. Я хорошо умею чертить, даже без линейки и циркуля. А?

— Значит, командировка была неудачной? Это... из-за меня?

— Нет. Это все из-за меня самого. Чуть изменился угол зрения. Да Сашка помог. Он парень ничего.

— Кто этот Сашка?

— Ах, да! Я ведь так и не рассказал вам про «эффект Бакланского».

— Бакланского? Я знаю «эффект Бакланского»... — тихо сказала Катя.

— Знаете? — не понял он. — Тогда вам нечего и объяснять. С телефона все и началось в этой командировке. — Он рассказал ей вкратце все, что было с ним в Марграде, и замолчал. Молчала и она. — Я люблю вас, Катя, — внезапно сказал он. — Я люблю и буду любить всегда, потому что мне без этой любви не прожить.

При этих словах она чуть подалась назад и сняла руки со столика.

— А я? — спросила она.

Он не понял вопроса.

— У меня уже большая дочь... Что делать мне?

— Вы должны это знать. Я не вправе звать вас за собой. Ведь вы меня не звали. Я пришел сам.

— Да.

Она замолчала, сказав это слово, но продолжала смотреть на него.

Она была совсем рядом. Тени каких-то неуловимых для него мыслей скользнули по ее лицу, нервному и открытому сейчас. Зрачки ее глаз были расширены, в них он мог, как в зеркале, видеть себя. Его минутное спокойствие кончилось.

— Вот что, — сказал Григорьев. — Я не отпущу тебя больше! Мы теперь будем вместе. Правда, у меня нет дома, у меня есть только осенний лес. Но тебе в нем будет хорошо.

— Но ведь кругом столько... — начала она тихо, а он закончил:

— ...молодых и красивых девушек? Я знаю. Некоторые мне даже нравятся. Но пусть они любят других, а мне невозможно жить без тебя.

— Но ведь у меня...

— ...У тебя дочь. Я знаю и это. Теперь и у меня будет дочь.

— Я не знаю. Я боюсь.

— Не знаешь? А ты спроси сама у себя.

Объявили регистрацию билетов на их рейс.

— Дай, пожалуйста, мне твой билет, — попросил он. — Я зарегистрирую его и сдам чемодан.

Он взял билет, который она ему протянула, и чемодан и пошел к стойке, а она осталась сидеть. Он не оглянулся, пока все не уладил. Он знал все. Нет, миры так просто не создаются. Не создаются ни для кого. Он только сейчас понял, почему она так подробно написала в своем письме, где и когда он мог ее встретить и почему не отправила письмо, а носила в своей сумочке...

Они с Катей стояли на галерее, где было меньше народу, и он, сжав ее руками свои пылающие щеки, говорил. Или не говорил, а думал, но она слышала его. Она тоже видела все, что видел он.

— Пассажиры рейса Марград — Усть-Манск приглашаются на посадку.

— В путь?

— В путь!

А внизу голос Карина:

— Григорьев! Григорьев! Едва нашел. Успел все-таки! Тебе необходимо остаться! Слышишь? Необходимо!!

И Григорьев растерянно смотрит на Катю.

— Не хочу! Не хочу!

— Григорьев! — Карин уже рядом. — Там все еще сложнее и интереснее, чем предполагалось. Там все дело в схеме. А схему ведь ты разрабатывал?

— Разрабатывал. Но я не хочу задерживаться тут.

— Ты нужен! Слышишь, Григорьев?!

— Катя...

— Иди, Санчо... Иди... Я ведь буду ждать тебя...

И Григорьев идет... возвращается, отдает Кате билет, посадочный талон, квитанцию... и снова идет.

И Карин идет рядом с ним.

ЖИЗНЬ КАК ГОД

От автора

Жизнь... Радость и горе, встречи и разлуки, мысли и дела человека... В этом повествовании жизнь не одного человека, а нескольких, по-видимому, двенадцати людей. Один из них был в Великую Отечественную еще мальчишкой, другой воевал сам. Один из них — инженер, второй — врач, третий работает в мастерской Красоты, четвертый... и т. д. Но мне кажется, что их судьбы, их жизни выстраиваются в одну жизнь.

Я вполне мог бы сделать героем новелл одного человека, но зачем столько чудес на одну простую человеко-душу. А вот однажды в жизни человека чудо должно встретиться обязательно. Оно у каждого свое. У кого любовь, у кого работа, у кого цветы или дети... Чудес не перечесть.

Но чудо из чудес — это сама Жизнь!

Новелла первая
ЯНВАРЬ

Я стою на берегу. Вокруг туман, но я все знаю на память. Внизу есть лыжня. И она выведет меня в лес, а там видно будет, что делать...

Жить, вообще-то, интересно, хотя злые волшебники и стараются нам во всем навредить. То проливной дождь на нас напустят, то метель. Но в проливной дождь мы бегаем босиком по лужам и орем: «Дождик, дождик, перестань!..» А бабушка стоит в дверях и смешно приговаривает: «Куда вас, окаянных, понесло?» Она очень боится грома. А сейчас зима. Хорошо, что не метель. В метель приходится сидеть в избе.

А изба у нас большая. Три кровати, лавка, три табуретки, стол, кадушка с водой, печка посредине. Дверь открывается сразу на улицу. Были и сени, но их в прошлую зиму сожгли. Плохо, что елку поставить некуда. Мы с сестрой, она еще совсем маленькая и не умеет даже читать, к Новому году делали игрушки из старых газет. Звездочки, цепочки... Звездочки мы

слюнями приклеили к печке. Но когда бабушка растопила печь, звездочки упали. Тогда мы нашли им место на стене, на которой висит один черный круглый репродуктор. Там они и сейчас. А цепочки мы прикрепили к спинкам кроватей.

Брат принес из школы две булочки и два кулька с сахаром. Это Дед Мороз передал ему для нас с сестрой. В школе Дед Мороз был, а у нас в избе — нет. С соседскими ребятишками мы ходили искать место, через которое Деда Мороза не пускают к нам. Сначала думали, что это снежная стена, высокая-высокая, через которую я могу перелезть только с большим трудом. Наверное, и Дед Мороз не может через нее перешагнуть. Мы сделали в стене проломы, но Дед Мороз не пришел. Кто-то не пускал его к нам. С другой стороны был забор базара, пустого, замерзшего. Мы бы и здесь проделали дыру, но нас прогнал сторож. Не очень-то мы испугались! У него вместо одной ноги деревяшка, а раньше была тоже нога.

С третьей стороны не было никаких преград, но там шли все дома, дома, сначала такие, как наша изба, а потом огромные, непонятные: один дом стоял на крыше другого, и первый не разваливался. Я не понимаю, как это может быть, и ни разу не заходил в них, хотя посмотреть из окна верхнего дома очень хочется. Ведь там такая высота. Нет, с этой стороны Дед Мороз не мог появиться. Ведь он приходит из леса. Мы не раз пытались найти, где же кончаются эти дома, но не могли. Или кто-нибудь начинал хныкать и проситься домой, или нас легкими шлепками возвращали старшие братья.

С четвертой стороны был берег, крутой, высокий: мы катались здесь на санках. И однажды чьи-то санки переехали мне голое запястье, проборознив его до крови. Но я не плакал. А один оголец прикладывал к ране снег. И когда он становился красным, хватал новый комок. А все стояли и смотрели. Рука замерзла, смотреть на нее стало неинтересно, и все пошли снова кататься, я — тоже. Потом дома бабушка долго ругала меня, потому что я испортил рубашку. Она парила ее и стирала. А потом я снова носил ее.

Здесь, на берегу, было наше место. Далеко-далеко виднелся лес. Весной вода подходила к самым окнам, но потом исчезала, откатывалась. До реки нужно было идти долго. Встречалось много озер. В них мы ловили гальянов. Потом начинался лес, настоящий, дремучий, а за ним снова была река, но уже настоящая, которая всегда, а не так, что только весной.

Я надеялся, что Дед Мороз придет отсюда. Его можно будет увидеть издали. Здесь хорошо видно, а он сам большой, большой. За спиной у него мешок, в котором подарки. Подарки самые разные: сахар, леденцы, карандаши, много старых газет, на которых можно рисовать. А что еще, я не знал. Но само слово «подарки» мне очень нравилось. Кто-то из нас даже говорил, что Дед Мороз принесет пушки, танки, машины, самолеты. Я их еще никогда не видел, но рисовал. Они получались у меня какими-то кривыми, некрасивыми. И я не хотел таких игрушек. Мне нужен был карандаш и резинка. Карандаш, чтобы рисовать, а резинка, чтобы стирать нарисованное и рисовать снова, пока на газете не появятся дыры.

С Дедом Морозом вообще какая-то странность. Он один, это я знаю. Он ходит по домам и школам и всем раздает подарки. Это-то понятно. Вот он и брату дал подарки: две булочки с сахаром. Но в этот же день он был еще и в другой школе, и в третьей. И еще на фабрике, и еще на другой фабрике, и в детском саду, и где-то еще. Он был один, но успевал сразу в несколько мест. Тут было что-то непонятное. Дед Мороз — волшебник, добрый волшебник, но как он может быть сразу в нескольких местах? Я уже знаю, что есть время. Есть утро, день, вечер, ночь. И если я лечу на санках с горы, то не могу в это же время греться у печки. Время было просто и понятно. А Дед Мороз делал со временем что-то странное. Он словно умножал его, делал много времен, которые были одновременно. Этого постичь я не мог.

И еще одна странность. Как он поднимал мешок с подарками для всех? Нас ведь в городе было много. Не унести столько. И я чувствовал, что если каждому по карандашу, то это будет много-много. Может, он не сумел поднять мешок, отсыпал немного, вот нам и не хватило. Но в такую несправедливость я тоже не мог поверить.

Дни шли, а Дед Мороз не приходил. Некоторые из нас уже разуверились. В школах, да и вообще в городе давно никто не видел Деда Мороза. Кто-то даже сказал, что Дед Мороз — вообще неправда, наряжают, мол, кого-нибудь в белую шубу, привязывают ему бороду, дают мешок с подарками... и все такое прочее. Ему и верили и не верили. Другой сказал, что Деда Мороза просто забрали на войну, мобилизовали. Но этим-то нас было не провести. Мы знали, что на войну берут летом, когда к пристани подходят большие пароходы; все тогда шумят, галдят, суетятся, кто-нибудь играет на гармошке, кто-то плачет, кто-то даже воет. А взрослые плачут хуже ребятишек. Это почему-то страшно.

Я же думал, что Дед Мороз просто сидит где-нибудь, разведя костерок. Репродуктора у него нет, вот он и не знает, что пора идти к нам. Просидит так до весны, а потом нам снова ждать целый год.

Нет, нужно было что-то делать. Что делать? Искать! Играем же мы летом в сыщиков-разбойников. И уж как умеем прятаться по сараям и на пустырях, а все равно ведь находим друг друга. Так неужели же мы не найдем Деда Мороза.

Я так и сказал. Меня не поддержали. Поздно мне в голову пришла эта мысль. Разговоры о Деде Морозе пошли на убыль.

Но я решил так!

Зима была теплая. Обмораживались мы не каждый день. Стояли туманы, но днем расходились немного, так что можно было видеть соседние дома. Лыжи у меня были широкие, крепкие. Брат сделал. Я умел их так привязывать к катанкам, чтобы они не сваливались с ног. Палки мы еще с лета делали сами себе.

В любую погоду, кроме метели, никто не держал меня дома. И в дремучий лес, что стоял на берегу реки, я мог ходить, не спрашивая разрешения. Брат научил меня ходить на лыжах так, что я не мог заблудиться. Да и как тут можно было заблудиться?

Наши окончательно потеряли интерес к Деду Морозу, потому что подошло время, когда нужно было драться с огольцами с соседней улицы. Сначала велись длительные переговоры: как и чем драться. Считать ли убитыми тех, кому расквасят нос или достаточно положить противника на лопатки. С носами было правильнее. Тут уж не ошибешься. Но по предыдущим годам знали, что разбитый нос — явление редкое. Надоест драться. А лопатки — ненадежно. Попробуй докажи, что ты кого-то придавил к снегу, когда другим вовсе не до тебя, а поверженный тут же вскочит тебе на спину, лишь ты сделаешь шаг в сторону. Меня, правда, пока брали только в разведку. А когда начиналось настоящее сражение, огольцы вроде меня только кричали и прыгали как сумасшедшие, но в военных действиях участия не принимали. Переговоры на этот рез велись как-то вяло, поговаривали даже, что пора начинать играть в «коробочку» конскими шевяками.

Я не совсем понимаю, где я буду искать Деда Мороза, но искать надо. Надо! Произошла какая-то ошибка и ее нужно исправлять.

Я стою над укатанным лыжами и санками берегом. Туман даже не искрится. Туман тяжел. Лучи низкого невидимого солнца не пробивают его. А мне легко и радостно. Сейчас я уверен, что найду Деда Мороза. А рядом с ним будет какая-то таинственная Снегурочка. Образ Деда Мороза уже давно составился в моей голове, а вот Снегурочку я не представляю. Из снега? Когда выпадал первый снег, мы лепили снежных баб, толстых, смешных, неуклюжих. Неужели Снегурочка похожа на них? Нет, тут что-то другое... Снегурочка — девчонка. Я совершенно подсознательно чувствую, что здесь есть какая-то связь. Ну, посмотрим. Ждать осталось уже немного.

А мороз жжет. Но я привычен к нему. Потер щеки и нос шерстяными варежками — и вниз. Со свистом, со слезами из глаз, с прерывающимся дыханием. Внизу туман плотнее. Лыжня видна впереди лишь на несколько шагов. А когда она раздваивается, нужно выбирать одну, нужную, которая ведет в дремучий лес. Я выбираю. Я не задумываюсь над этим. Я не могу ошибиться.

Промерзшая лыжня не дает мне разогнаться. Да я и не хочу. Я знаю, что идти сейчас надо спокойно, размеренно, чтобы не вспотеть, иначе при остановке быстро замерзнешь. В катанках ногам тепло. На мне стеганые штаны, телогрейка, шерстяные варежки на веревочке, продетой в рукава, и настоящая меховая шапка.

Первыми начинают мерзнуть руки. Тогда я сжимаю пальцы в кулаки. Палки держу под мышками. Теперь мерзнет лицо. Я растираю его еще не успевшей отогреться ладонью. Делаю несколько взмахов палками. И снова нужно сжимать кулаки и шевелить, шевелить пальцами. Но это все обычно, нормально. Это меня не пугает. Так всегда. Я знаю, что лицо скоро начнет гореть, а пальцы отогреются. И тогда только соответствующим ритмом движения нужно будет поддерживать в себе это приятное состояние тепла.

По моим предположениям я уже на полпути к цели — дремучему лесу. Лыжня иногда поднимается на пологие холмы, потом также плавно спускается и некоторое время идет ровно. Здесь, в этих местах, когда уйдет весенняя вода, а земля просохнет и покроется травой, устраивают гуляния. Люди поют, пляшут, обнимаются. Отец с мамой никогда не ходили на эти праздники. Может, потому, что все хорошо видно было из окна. Да отца я уже помню как-то смутно. А маму на этом празднике не могу себе представить. Мне кажется, она не может подпрыгивать и петь. Она всегда уставшая. Да и вижу я ее не каждый день. Я просыпаюсь — ее уже нет, я засыпаю — она еще не пришла с работы. И лишь по воскресеньям... Да только почему-то теперь и они не каждую неделю. Да, со временем что-то происходит... Где-то сбилось оно, растеряло дни недели, перемешало часы.

А лыжня вдруг круто уходит вниз. Я качусь, стремительно набирая скорость, и не знаю, что там, впереди. Тормозить ли мне палками, так ведь здесь не должно быть крутых горок, или на этой скорости попытаться выскочить на противоположный склон? Но что-то слишком долго несет меня вниз. Лыжня бросает из стороны в сторону. Я уже не думаю ни о чем, кроме одного: как бы устоять. Меня подбрасывает вверх, ударяет лыжами о твердую лыжню, я качусь то на двух, то на одной лыжине. Я чувствую, как мое тело отклоняется назад. Я знаю, что этого нельзя допустить, пытаюсь согнуться в коленях, но поздно, я уже падаю, падаю... И миг падения почему-то растягивается. Но замедляются и мои движения. И только мысль работает с прежней скоростью. Это река! Я сбился с пути, взял левее.

Обидное и бессмысленное кувыркание и, наконец, остановка. Сыромятные крепления лыж выдержали, но катанки вырвало из передних петель, и я теперь не могу встать на ноги. Надо, лежа на боку, умудриться привести крепления в порядок. Одна варежка свалилась с руки. Но на то и веревочка. Я надеваю варежку, она полна сухого, твердого снега. Лицо саднит. Угораздило меня проехаться щекой по ледяной лыжне. Я барахтаюсь в снегу, но испуга нет. Я представляю, где я нахожусь, и знаю, как мне выйти к цели. Взобраться бы только на берег.

Падать я умею. Брат даже специально учил меня падать, а потом вставать на ноги. Все туман виноват. Если бы я видел лыжню, ни за что бы не упал. Туман. Ничего не видно. Я, оказывается, не знаю сейчас, в какой стороне берег.

И вот я уже стою на лыжах. И мне кажется, что берег справа.

Никакой лыжни подо мной нет. Но я знаю, что если начнется подъем, то впереди будет берег. Я иду. И действительно вверх, но подъем подозрительно пологий. Да ведь и кувыркался я долго! Я совсем немного иду вверх, и вот уже лыжи потихонечку начинают катиться вниз. Стоп. Это, наверное, островок. Назад. Я разворачиваюсь и качусь вниз и что-то уж очень

долго. Ладно. Теперь вперед. Иду. Ровное место, никаких подъемов и спусков. Значит, я иду по реке. Самое неприятное то, что снег очень плотный и на нем не остается следов от лыж. Я чуть поворачиваю вправо. Бегу. Ничего. Ровно. Разворачиваюсь. Снова бегу. И здесь все ровно. И вот, когда я хочу развернуться еще раз, лыжи мои упираются в снежную стену. Я соображаю. На другую сторону реки я, конечно, не успел уйти. Ведь тут и в ясную погоду противоположный берег едва различим. Значит, я на своем берегу. Здесь обрыв. Он идет до самого дремучего леса и еще дальше. Надо вернуться. Там есть более пологое место. То самое, с которого я так глупо скатился вниз.

Ну, злые волшебники! Попадетесь вы мне когда-нибудь!

В моей голове теперь нет других мыслей, кроме одной: взобраться на берег.

Я иду. А обрыв вот он. Нельзя отходить от него. Он все тянется и тянется. Неужели я успел столько пройти? Сомнение закрадывается в мою душу. Я холодею, но не от мороза. И вдруг обрыв превращается в склон, основания которого я не вижу. Ну вот! Теперь бы только взобраться наверх. Я иду под углом. Можно и елочкой, но катанки вырываются из креплений. Иду так, а потом лесенкой. И вот дальше хода нет. Слишком круто. Надо немного пройти вперед. Приходится съезжать вниз. Я еду боком, торможу палками изо всех сил. Снова карабкаюсь наверх. Снег очень тверд, и лыжи срываются. Меня все время тянет вниз. Я понимаю, что сейчас лучше бы снять лыжи и попытаться вскарабкаться вверх на четвереньках. Но ремни на таком морозе не развязать. А если и развяжешь, то как идти потом? Всунуть катанки в одни петли для носка? Я уже достаточно опытен, чтобы не делать этого. На первом же склоне лыжи укатятся вниз, и я их, пожалуй, не найду больше.

И вот карабкаться уже некуда. Передо мной несколько шагов ровного места. Теперь надо уйти подальше от берега, повернуть налево и прямо в дремучий лес. Мне жарко и весело. Лицо горит. По спине скатывается струйка пота.

Дед Мороз, а я к тебе иду! Мог бы сейчас повернуть домой, а я к тебе, потому что ты есть, а я тебя еще никогда не видел. И не надо мне никакого карандаша. Да и нет у тебя в мешке уже ничего. Но вот посмотреть на тебя! Убедиться, что ты есть. Настоящий, большой, добрый! Я все время представлял себе, где я нахожусь, а тут вдруг подумал, что иду совсем

не туда. Мне попадались старые укатанные лыжни. Я переходил с одной на другую, настораживаясь, только когда начинался спуск. Кувыркаться с обрыва я больше не хотел.

Неожиданно я замерз. Разогретый, я как-то не думал, что сейчас холодно. Я начинаю растирать лицо, но это не помогает. Варежки стали твердыми, они только режут лицо, да и пальцы в них уже начинают деревенеть.

И все-таки страха нет. Лишь удивление, почему так долго нет Деда Мороза? И до дремучего леса я что-то никак не могу добраться.

Я остываю, коченею, но знаю, что нужно идти. Идти и идти. Все будет только впереди. И я иду, уже не сознавая куда. Лишь бы не скатиться вниз, потому что наверх я второй раз уже не вылезу.

А потом вдруг все светлеет. Туман искрами оседает на снег. Снег блестит, переливаясь разными цветами. А сам я стою на небольшой поляне, окруженной деревьями дремучего леса.

Лес какой-то странный, непохожий на тот, в который я шел. И непохож он именно своей красотой, сказочностью. Он словно бы сделан.

Я, наверное, где-то потерял свои лыжи. В руках только одна палка. Тихо и тепло. С потолка свешивается большая лампа. Я нагибаюсь, снимаю с рук обледенелые варежки и беру горсть снега. Снег ватный, политый сверху чем-то блестящим, сверкающим. На полянку выскакивает зайчик. Ростом он чуть ниже меня, белый, с застежками из пуговиц на груди и животе. Тряпочные уши его смешно торчат. Они не двигаются, а лишь болтаются, когда зайчик подпрыгивает. В лапках у него огромная морковка. Но он даже не пытается грызть ее. Он здесь для меня. Только для меня.

Я зачарованно смотрю на зайца. Я уже понял, что попал в сказку. В самую настоящую сказку. Я еще никогда не был в сказке. А вот теперь попал.

Мне становится жарко, но я не могу развязать непослушными пальцами завязки шапки и расстегнуть пуговицы ватника. А зайчик все прыгает вокруг меня, все старается рассмешить. И ему на помощь уже спешат другие звери. Медведь, шкура на котором болтается как на палке; лиса с пристегнутым рыжим хвостом; олень с рогами из сухих корней... А некоторых зверей я еще не знаю. У одного длинная-длинная шея, а в основании этой шеи проделаны две дырочки, в которых блестят чьи-то глаза. У второго на животе висит почталь-

онская сумка, а из нее выглядывает странная мордашка неизвестного мне зверьки. Звери начинают кружиться в хороводе, втягивают в этот хоровод и меня. Я роняю палку. Лиса хватает ее и втыкает в ватный снег посреди поляны. Палка превращается в дерево, в огромную ель. Палку я летом выстрогал из лиственницы, но здесь она превращается в елку. И я не удивляюсь, потому что в сказке все возможно.

На елке холодным светом зажигаются огоньки. Серебряные сосульки свешиваются с ее ветвей, тонко позванивают колокольчики, алмазные бусы дугами опоясывают ее.

Все прыгают и веселятся. Все поют песенку: «В лесу родилась елочка...» Потом медведь начинает читать стихи: «Трещит на улице мороз, морозец пятиградусный. А на снегу повесив нос...» Я тоже знаю эти стихи. Медведю долго хлопают в ладоши. Я тоже хочу что-нибудь сделать, но не могу придумать что. В голове крутятся обрывки песни, которую пел когда-то отец. Отца вот я помню плохо, а некоторые слова песни... «... с собою пару-пару-пару пузырей-рей-рей берет он, плавать не умея...» Дальше я забыл. Кажется, вырос какой-то лес... Я стою в кругу, и все чего-то от меня ждут, но не могут дождаться.

Меня попеременно охватывает то ужас, то восторг.

Но все это только начало, главное впереди.

Раздается музыка марша. Я знаю, что такое марш. Это когда громко играют трубы. Доски пола сотрясаются под тяжелыми шагами. И вот, отведя в сторону занавеску, на поляну выходит Дед Мороз.

Вот я и увидел его! Вот я и увидел Деда Мороза!

Он большой-большой! Он в белой шубе и белой шапке, с белой бородой и усами. Все на нем сверкает. И мешок лежит у его ног. Но мне он кажется подозрительно пустым. Да ведь мне и не нужно большого подарка, мне бы карандаш или резинку. Да мне бы хоть что, лишь бы это был подарок.

Дед Мороз кряхтит, вздыхает, отворачивает глаза. Щеки его краснеют.

— Вот дела-то, — говорит он. И я слышу огорчение в его голосе.

А рядом с ним вдруг появляется девчонка, тоже вся в белом, с длинной белой косой до пола. Они хитро переглядываются с Дедом Морозом и начинают дурачиться. Это почему-то кажется мне подозрительным. Но уже дурачатся все. И я не хочу от них отставать. Вот только мне очень жарко.

А девчонка-то ведь — Снегурочка! Никто не говорит мне этого, но я догадываюсь сам.

Мы снова кружимся вокруг елки, топчем ногами пустой мешок. Пустой... Пустой! Но, может быть, в нем хоть что-нибудь да есть? Я ведь не могу почувствовать этого, наступая на мешок подшитыми в два слоя катанками.

А они словно назло стараются отвлечь меня.

Но ведь так долго продолжаться не может!

И вот Дед Мороз начинает рыться в мешке. Он роется долго и старательно. Он ничего не может найти в нем. Это видно по его растерянным глазам, которые он отводит от меня.

А я знаю, что он уже раздарил все подарки в Новый год. А Новый год уже прошел. Я просто опоздал! Я все понимаю и ничего не хочу понимать.

Снегурочка подбегает к тому странному зверю с почтовой сумкой на животе. Мордашка маленького зверька исчезает. А белая-белая девчонка достает из сумки листок и протягивает его мне. Я уже видел такие листки. Это похоронка. Я не знаю, что такое похоронка. Но когда ее кому-нибудь приносят, все плачут. А я не хочу, чтобы все плакали. Я не хочу, чтобы все плакали, особенно взрослые. Уж очень страшно они плачут. Я рву ненавистную бумажку и плачу сам. Снегурочка подает мне другую, точно такую же. Я рву и рву! Она подает мне целую горсть. Да сколько же их там, в этой бездонной сумке?! Я рву, рву и рву! Я уже не плачу. Мне некогда. Плачет Снегурочка. И льдинки падают из ее глаз. Я рву и бросаю. И клочки похоронок кружатся и никак не могут упасть на ватный снег. Они кружатся все быстрее, быстрее, превращаясь в настоящий снег. Ветер, бешеный, злой, крутит снежный вихрь из похоронок, ломает все вокруг, обрывает ветви елок, бросает вниз хрустальные украшения. Дед Мороз успевает схватить одну из сосулек и сует ее мне в руки, как-то украдкой, чтобы никто не заметил. Это, наверное, подарок. Подарок...

Я прячу подарок за пазуху, вталкиваю сосульку под ватник, с трудом, потому что мне сейчас не расстегнуть пуговицу.

Мне жарко.

Дед Мороз подхватывает меня на руки. Ветер срывает с него бороду и усы. И на сказочных зверях уже нет сказочных костюмов. Они тоже в ватниках и стеганых штанах, в завязанных под подбородком шапках. Они идут, идут тесно, чуть ли не прижавшись друг к другу. Иногда останавливаются и о чем-то спорят и показывают рукой вперед или в сторону, а

потом снова идут. Меня во что-то заворачивают, но мне и так жарко. Я лечу, я падаю, я исчезаю. Потом снова появляюсь, замечаю, что на брате нет ватника. Ему тоже жарко, радостно, думаю я. Они кричат что-то друг другу, но мне сквозь вой ветра ничего не разобрать.

А потом я вижу печку, нашу печку, вокруг которой можно ходить, потому что она посреди избы. Вижу восторженные глаза сестренки. Она-то знает, что я был в сказке. И почему причитает бабушка? Мама раздевает меня. Я так редко вижу ее. В глазах у нее что-то такое... Что-то такое... Я не знаю — что. Но мне приходит в голову, что это и радость и горе. Вместе. Я никогда так не думал. Это впервые. Радость-горе. Они что-то говорят. Трут меня, дают выпить что-то обжигающее. Я уже начинаю понимать их. Мне что-то втолковывают, повторяют, показывают листок с написанными на нем вкривь и вкось буквами.

И вдруг до меня доходит. Так вот в чем дело! Мы получили письмо от отца. Он теперь у нас однорукий! И такая радость в глазах у мамы. Еще бы! У нас скоро вернется отец! Он в каком-то госпитале. Но это не очень ясно. Главное, что он живой. Приходят какие-то женщины. Шепчутся, плачут, обнимаются, ревут. Я же вижу, что они поздравляют маму. А сами плачут. И она тоже плачет. А в глазах то самое радость-горе.

Я требую отдать мне мою сосульку. Мой подарок! Они сейчас на все согласны. Но сосулька холодная, а я, оказывается, чуть не замерз. Я смеюсь. Они пугаются моего смеха.

— У меня вернется отец! — кричу я. — Я был в сказке! Дед Мороз подарил мне сосульку! Мы со Снегурочкой сделали снежный вихрь из похоронок!

Они отдают мне сосульку. Она не тает, хотя и холодная как лед. Я прячу ее под одеяло. Я сам с головой накрываюсь одеялом. Я чувствую, как на меня наваливают еще что-то теплое и тяжелое.

Мне жарко.

Я осторожно, словно от кого-то таясь, подношу сосульку к языку. Она волшебная. Она сладкая-сладкая, как сахарин... и горькая...

Мне жарко...

Мне холодно...

Новелла вторая
ФЕВРАЛЬ

От дома до школы тридцать минут ходу. От школы до дома больше. Все зависит от того, какой дорогой я иду. Иногда я забредаю даже на Воскресенскую гору. Школа наша расположена между двумя оврагами, один из которых дикий, а второй мы засадили яблоньками, черемухой и рябиной. Они сейчас почти и не видны. Все занесено снегом. Снег шевелится, несется, танцует, полосует острым ножом по лицу, стремится набиться под шапку и за отворот телогрейки.

Морозец слабый. Какой это мороз! Я даже уши у шапки не опускаю. Тру, конечно, иногда, но это так, машинально. Можно и не тереть.

Сегодня у нас было занятие физического кружка. Я делал доклад о принципах телевидения. Даже схему нарисовал и кинескоп. Все из журнала, конечно, потому что телевидения в нашем городе еще нет. И я ни разу не видел телевизора. Но скоро в нашем городе будет все. И телевидение, и троллейбусы, и трамваи, и аэродром настоящий сделают. А все потому, что мы взялись за это сами. Весь наш девятый класс и классная руководительница. Она у нас физику преподает. А физика — это главное.

Улицы у нас широкие. Возле каждого дома палисадник. Но машины здесь ходят редко. Так, если только дрова или уголь кому привезти. Поэтому дорогу не чистят. А после сильного снегопада пешеходы проделывают дорожки. В морозы они становятся шире; все-таки много народу ходит по улицам. А вот в такую метель все снова заносит. На моих ногах ботинки и сверху боты «Прощай, молодость!» Когда мама купила их, я сначала наотрез отказался носить эту стариковскую обувь. Но потом оказалось, что чуть ли не все старшие классы носят «Прощай, молодость!». Носят, да еще нахваливают, подшучивают, конечно, друг над другом, подменивают или прячут их на переменах. Словом, от этих бот, оказывается, жизнь становится интереснее. Да и ступаешь по снегу увереннее, потому что они тяжелые. Не поскользнешься. А если попадет под ногу консервная банка, так уж летит, будь здоров! И не увидишь даже куда.

Сегодня я выбираю длинный путь, переулками, задними дворами. Подумать надо. И не то, чтобы подумать, все уже давно думано-передумано, а так, привести мысли в порядок. Судьба моя, да и еще многих из нашего класса, решена. Мы

будем переделывать мир. Мы сделаем его лучше! В нем будет и телевидение, и трамваи, и самолеты будут летать из нашего города в Африку и Южную Америку, не говоря уже... ну, например, о Европе. В Европу-то уж запросто будут летать.

Вот только почему классная руководительница время от времени тихонечко прерывала нас и словно бы пыталась направить в каком-то другом направлении? И не восстановить теперь в памяти то, что она говорила, а все-таки что-то в душе осталось. О душе-то мы стараемся говорить поменьше. Вообще почти что не говорим. Да и что о ней говорить. Так и до любви можно договориться. Девчонки из женской школы уже и так пытаются втянуть нас в свой драматический кружок. Да только ничего у них не выйдет. Нам нельзя отклоняться от цели. Сначала драматический кружок, потом танцы, провожать их надо с праздничных вечеров, разговаривать о чем-то. А время будет идти, идти и когда-нибудь окажется, что его не хватило.

Нет. Раз уж мы решили построить новый мир, то на пустяки отвлекаться не стоит.

Фонарей на улицах мало. Да и те мотаются из стороны в сторону, как ошалелые. И так в глазах рябит, а тут еще тени от фонарей мечутся. Да и не нужны мне фонари. Я ведь здесь все знаю наизусть, с закрытыми глазами могу идти, даже спиной вперед.

Я еще окончательно не выбрал, за что возьмусь после окончания школы; за телевидение, за авиацию или за городской транспорт. Ну да время есть. Тут главное — не прогадать. Телевидение, конечно, хорошо. Да вдруг есть что-нибудь более интересное! Астрономия, например... Астрономию мы еще не проходили, но я уже сам изучил ее. Даже телескоп начал делать, но не нашел большого увеличительного стекла. А труба из картона ведь уже была склеена. Выдвигающаяся, крепкая. Астрономия меня привлекает. Во-первых, через сто лет люди полетят в космос, а я им — карты планет... Пожалуйста, вот вам! Здесь овраг на планете, там пустыня, а еще дальше каналы с водой. Только сначала возьмите пробу, можно ли ее пить, эту воду. Нет, сто лет — это слишком долго ждать. И хотя я проживу, конечно, больше, чем сто лет... Все равно. Вот если бы люди пораньше полетели к планетам!.. Можно, конечно, поступить в медицинский, чтобы научиться пересаживать сердце или даже целую голову. Но нет. Мне легче самому нарочно порезать руку, чем видеть рану другого человека. Крови не переношу. С медициной, кажется, все ясно. А вот если самому начать конструировать космические корабли, чтобы не через сто лет они появились, а через тридцать. Тут тоже загвоздка. Сиди, черти, а черчения-то у нас в школе нет и не будет. Учителя такого не могут найти. Да и готовальни с рейсфедером у меня нет. Раз готовальни нет, то космический корабль вряд ли построишь. Вот черт! Из-за такого пустяка! Жди теперь сто лет!

Да и с телевидением не лучше. Где взять паяльник? В школе-то есть четыре штуки. Большие, лудильные, но это даже лучше. Уж если нагреешь хорошо, так сразу все припаяется как надо. На сто лет.

Снег набивается в боты и ботинки. Снег холодит мне лодыжки. Но сейчас это даже приятно. Ноги слегка мерзнут, и от этого голова работает лучше. Можно даже снять шапку, чтобы проветрить голову. Ха-ха! Проветрить голову. Как класс в школе. Открыл форточку и проветрил!

Жаль, что нельзя делать все сразу. Вон кто-то тащится по сугробам, а был бы трамвай — садись и поезжай куда надо. У него рельсы. А рельсы-то не заметет в такую погоду? Снегоочиститель надо придумать. Чтобы трамвай шел и сам рельсы от снега чистил.

А что это нам классная руководительница говорила? Что-то там о доброте... О чем тут говорить! Надо вот только мир заполнить техникой и все. Пусть она сама все делает, а человек тогда и станет добрым. Чего ему сердиться, если за него все другие делают? Нажал кнопку — еда появилась. Нажал другую — брюки тебе дают, клеши матросские например. Вот здорово! Нажал кнопку — а тебе в сумку килограмм хлеба или нет... целая булка, тяжелая, черная, с такой вкусной хрустящей корочкой!

А это здорово — весь мир из кнопок. Да их и нажимать не надо. Можно ведь сделать так, чтобы кнопки нажимала какая-нибудь машина. И всего одна-единственная кнопка! Нажал ее, и всем хорошо. Все даже и не знают, что кто-то за них нажал кнопку. Да только мне это не трудно. Пожалуйста! Живите на здоровье. Летайте в Африку, катайтесь на троллейбусе. Кушайте хлеб. А к праздникам машина выдаст печенье и конфеты-витамины, которые называются — драже.

А что, если все захотят нажимать ту единственную кнопку? Очередь, что ли, установить? И так кругом очереди. Да и ждать долго. Нет. Уже если я кнопку изобрету, то я ее и нажимать буду. А если надоест, тогда могу и другому дать. А

если их много, других, желающих? Как выбирать-то? Знакомым — это понятно. Да и то не всем. А что же с другими? Вдруг они так захотят, что отберут кнопку и меня близко к ней не подпустят. Запасную, что ли, сделать? Так ведь могут и запасную отобрать. Драться тогда с ними за свою кнопку? А что... Пусть только попробуют! К дракам мне не привыкать. Уж что-что, а драки... Нехорошо как-то все же получается. Придумал так, чтобы всем было хорошо, а из-за этого «хорошо» люди драться будут! Вот тебе и понапридумывал! Много хватанул. Теперь отрабатывай назад. А вот сделаю один троллейбус и буду на нем кататься. Людей возить буду. Кто желает к Лагерному саду? А вам до Михайловской рощи? Нет, туда троллейбус не идет! Почему, почему? Потому что не может троллейбус возить людей сразу в разные места! Ах, почему он всего один? Потому что один, да и все! Хотите, так сделайте себе другой! Не можете? И я не могу!

Нет, что это я? Ведь я все могу... Все!

Говорят, что дома эти скоро сносить будут. А на их месте пятиэтажные построят. Это сколько же в каждом доме тогда будет жить людей? Сколько же в таком доме квартир? Сто или больше? Нас вот шестеро. Комната да кухня... Шестьсот человек в доме?! Ничего себе! А рядом еще и еще! Да они как все вывалят из своих квартир, так и по улице не пройдешь. Куда же это мне народ пораспихать?

Может, все же, автобус или трамвай? Да сделаю я, сделаю вам трамваи. Сколько надо, столько и будет! Вам куда? На Кирова? Идет, идет по Кирова! Садитесь... Нет, на Ключевскую не идет. До Батенькова и обратно. Почему, почему? Да сделаю сейчас, сделаю!

Так... Там же линию не провести. Дома сносить надо. А где их строить? Здесь вот? И сюда, значит, трамвай тоже надо пускать?

Я, дяденька, не дурак, но если вы хотите попробовать сами, пожалуйста. Хватит с меня трамваев и троллейбусов!

Я выскакиваю из трамвая, который сам же завел не знаю куда. Ага. Площадь! Площадь. Рельсы, провода, трамваи, троллейбусы, автобусы, еще эти, как их, такси! Что творится! Все перепуталось, чуть-чуть только кого-то не задавили. И какой дурак все это понапридумывал? Я? Ну уж нет!

Я проталкиваюсь сквозь толпу. Куда это она? А, в магазин прет. За телевизорами, что ли? Ну да! Телевизоры привезли. Большие! Один и не унесешь. Вдвоем надо тащить.

А вот эти, наверное, из Африки прилетели. Или, наоборот, в Африку летят. А у самолетов крыльев нет. Космический корабль садится прямо на площадь. Еще миг, и раздавит он площадь своей громадой. А тут еще школы сделали смешанными, и сиди теперь за партой с девчонкой!

Да что же это делается?!

Мальчик, эй, мальчик!

Я не мальчик! Какой я вам мальчик?!

Мальчик! Эй, мальчик! Что это ты такое натворил?! Трамваи, автобусы, такси, троллейбусы, а светофоры не поставил!

Какие такие светофоры?

Такие! Чтобы каждая машина знала, куда и когда ей можно ехать.

Не знаю никаких светофоров. Не было у нас в городе светофоров. Пусть милиционера поставят на площади. Он и разведет всех.

Милиционера? Ты кашу заварил, а теперь милиционер пусть все расхлебывает?

Да ничего я не заваривал!

Не заваривал? А ну-ка, посмотри в трубу!

Я смотрю в телескоп, но, кроме бешеного движения снежных вихрей, ничего не вижу.

А погодой ты можешь управлять?

Погодой?

Ну да! Погодой.

Могу. Чего тут...

Метель им мешает. Убрать метель? Это я могу. Сейчас сделаю такое солнышко, что загорать можно будет.

Не вздумай! Утопишь людей в талой воде. Ишь ты, снег ему растопить захотелось.

Так ведь я же для вас стараюсь! Одну-единственную кнопку хотел! Чтобы нажал, и все готово, все, как надо, все, что надо!

А ты хоть людей-то спросил, что им надо?

Чего их спрашивать? Я и сам знаю, что им надо.

Знаешь? Ты все знаешь...

Да! Знаю.

А ведь я, кажется, ничего не знаю. Даже того, что мне самому надо, и то не знаю. Ну, шаровары из сатина на лето. И чтобы пояс был широкий. Ну, картошки побольше. Дрова чтобы без очереди продавали. А то стой каждую неделю. Ну, что-

бы все уметь. Мир чтобы по-своему переделать. Чтобы всем хорошо было.

Да что это такое — хорошо?

Хорошо? Хорошо и все! Всем чтобы хорошо!

Да-а... Тебе позволь сейчас осуществить свое хорошо, так ты дров наломаешь!

Ничего я не наломаю!

Из толпы я выбрался. Вернее, я уменьшил ее, эту толпу. Не надо никаких пятиэтажных домов с колоннами. Сразу и посвободнее стало. И троллейбусов с трамваями никаких не надо. Ведь народу-то меньше, раз нет больших домов. Вот пусть и ходят ножками. Да никто из них никогда и не ездил ни на каких автобусах и такси. Такое время. Лошадей уже нет, а машин еще не понаделали. Вот когда я вырасту и... Ладно. Это все я потом сделаю. А сейчас не надо ни Африки, ни Америки... Нет, вот этого-то жалко. Как же без стран, в которых так хочется побывать?

Давай убирай всю свою чертовщину! Куда только милиция смотрит?

Фигу! Милицией меня не испугаешь.

Но и желание переделать мир по-своему пропадает. Не то чтобы пропадает... Нет. Мир-то я переделаю. Но сначала нужно узнать, что требуется этому миру. Правду говорила классная руководительница: сначала пойми людей. Нет, не говорила она этого. Она таких громких слов вообще не говорит. А просто... То посмотрит как-то странно, и сразу становится ясно, что ты что-то не то делаешь. То песенку споет. Куплет или того меньше. Да и песню-то какую-то не такую, какую нам положено слышать. А послушаешь, и страшно становится. Страшно оттого, что ты понял какую-то истину, высказанную не в лоб, не прямо. Тебе только намекнули, а ты взял и понял. Оттого и страшно, что ты сам что-то понял. Понимать — страшно. Это значит, что ты уже за что-то отвечаешь, раз понял. Ладно. А то еще просто покачает головой, и стыдно становится. Вроде бы ты ничего такого не сделал, а все равно стыдно. Позже и поймешь, что действительно что-то сделал не так. Мы все без нее жить не можем. Без нее и без географички, да еще француженки. Они все разные, но что-то в них есть общее. Что? То, что они уже не считают нас за детей? То, что они как-то делают так, что мы учимся отвечать за свои действия? Тем, что они верят в нас, что ли? Чем, чем, чем? Вот это загадка! И не отгадать мне ее за всю свою жизнь.

И страшно, что они могли не встретиться нам. Могли же меня отдать в другую школу, за железнодорожную линию. Вообще-то нет. Туда наших не записывают. Значит, что? Значит, я обязательно должен был встретиться с ними? Значит, мне всю жизнь везло! Везло, что я приехал в этот город. Везло, что я сейчас учусь именно в девятом классе!

Хорошо, что я еще не могу переделать мир по-своему. Но фантазировать могу. Уж эти-то трое любят, чтобы мы фантазировали. Но и знали тоже. Знать, чтобы фантазировать!

А та площадь... Была она не самом деле или нет? Были пятиэтажные дома с колоннами или нет? И трамваи и троллейбусы?

Да если это все только в моей голове, то уж я бы, наверное, смог распорядиться так, чтобы всем было хорошо. И чтобы космические корабли летали, и машины друг на друга не наезжали, и хлеба было у всех вдоволь.

И отец бы не...

Значит, это все было! Было! Хоть на миг, но было! Я создал мир таким, каким хотел, да только ничего хорошего из этого пока не вышло.

Стыдно. Так стыдно. Казалось ведь, что я все знал, все предусмотрел, а выяснилось, что даже такой мелочи, как светофор, не мог выдумать. Да что светофор! Люди-то, люди-то куда рвались? Они же рвались из этого созданного мною мира, хотя в нем на каждого было по булке хлеба и по шароварам с широким поясом. Ну, шаровары-то, впрочем, это только для нас, взрослые не очень ими прельщаются.

Я чувствую, что стало холоднее. Но ветер все так же метет снег, закручивая вихрями верхушки сугробов. Носки в ботинках промокли и уже заледенели.

Надо идти домой, но стыдно. Ведь никто там не знает, что я нафантазировал, а все равно стыдно.

Взялся и не справился.

Но у меня-то еще есть время. Все равно попробую. А вот отец уже ничего не сделает. Тоже был фантазером, как мама говорит. Чудил и выдумывал черт знает что.

Но у меня получится!

Получится!

Я вот только подучусь немного... Немного...

Тоска в душе после всего, что со мной сейчас произошло. Может, зря я затеял эту переделку мира? Может, у меня и че-

рез сто лет ничего не получится? Ну нет! Чтобы никогда никто не увидел далекие миры в других галактиках?

Ну нет! Нет! Не зря. Не получилось у меня? Пока не получилось. И завтра не получится. И послезавтра! Но уж потом-то должно получиться. Да и не один я. Не один. Нас целый класс! И еще три учительницы: физичка, географичка и француженка!

Долго же я шел сегодня из школы...

Никогда не закрывающаяся калитка нашей ограды, расчищенное крыльцо одних соседей, заметенное — других, третье — наше. Его тоже замело. Ясно. Мама ушла на работу. Трое «сидят по лавкам». А отец...

Я вхожу в квартиру, сбрасываю с ног промерзшие боты «Прощай, молодость!», снимаю шапку и телогрейку. На кухне холодно и темно. Чуть приоткрыта дверь в комнату. Оттуда доносятся голоса моих младших сестер. Они боятся выглянуть на кухню. Зря я так долго задержался. После физкружка нужно было сразу идти домой. На кухне поперек кровати лежит отец. Его-то и боятся сестренки.

Я пытаюсь приподнять его и переложить вдоль кровати. Да, отец запил. Когда меня нет дома, он куражится, бьет иногда посуду, но это редко, чаще поет и плачет. А утром прячет глаза, пьет холодную воду из кадушки, кряхтит, иногда рисует на печной дверце крест и клянется, что пить больше не будет, но к вечеру возвращается домой снова пьяным. Напиться — денег не надо, говорит мама. Да он все реже и реже приносит домой деньги.

Я все-таки перекладываю его на кровати. Только бы он не открыл глаза. Только бы он не начал свои бесконечные разговоры-крики, разговоры-жалобы. Только бы... Но сегодня он спит.

Я захожу в комнату. Под потолком лампочка, вдоль стен кровати, комод, стол, за которым я готовлю уроки, а мама шьет. Три головастика поднимают на меня глаза и смотрят выжидательно, настороженно. Ведь я сейчас затоплю печку, накормлю их картошкой и вареной кетой, расскажу сказку. Без сказки они не лягут спать.

Ну что, малышня?!

Говорить можно громко, отец все равно не проснется.

Словно сигнал подал я им, и они начинают вдруг кричать, прыгать, толкать друг друга, лазить по мне, как по столбу.

Я немного подыгрываю им. Пусть побесятся, пусть отойдут, развеселятся.

А теперь марш чистить картошку!

Чистить они еще, конечно, не умеют, да это и не важно. Я сам начищу, но пусть они думают, что помогли мне. А когда-нибудь у них это получится. Дрова для топки приготовлены, лежат аккуратно сложенные возле печки. Маловато, да ладно. В сарае дров уже нет. Завтра я возьму большие салазки с коваными полозьями и поеду за дровами к ларьку, что расположен в трех кварталах от нас. Я могу привезти почти полкубометра, если только хватит денег.

И вот уже кипит в котле картошка, и начинает пускать вкусный пар рыба-кета, наша беда и выручалочка, как говорит мама. Соль и крупно нарезанные ломти черного хлеба на столе. Будет и чай, и комок сладких-пресладких слипшихся конфет под названием «Фруктовый букет».

Все будет. Все!

И телевизоры, и космические корабли. И троллейбусы, и дома, в которых у каждого человека будет своя комната. И театр, и объемное кино. И хлеб, и ботинки. И речка для ребятишек. И ягода летом, и лыжи зимой. Все будет. Мне бы только узнать, что же самое главное нужно людям. Самое, самое! А там уж им недолго ждать. Учиться осталось полтора года. Полтора года учиться, а после этого — делать. Делать, делать, делать! Свой сегодняшний конфуз я запомню надолго. Я уже чувствую, что же самое главное нужно людям. Чувствую. Не могу только сформулировать. Ну да ладно. Главное-то ведь, чтобы это было в сердце, говорит мама. Переверни, сын, мир кверху тормашками, просит отец. Главное — чтобы ты был человеком, скажут три учительницы. Человеком? А я кто? Таракан, что ли? Да нет, так в лоб они ничего не скажут. Они, может, вообще ничего не скажут, а ты сам это почувствуешь. И останется что-то в сердце на все сто лет, которые мне предстоит прожить. И буду думать я, и покажется мне, что я уже что-то понял.

Но вот ужин готов. Еще пять минут и нужно будет начинать сказку. «Жил-был Иванушка-дурачок. И пришло ему в голову, что мир устроен плохо. И решил он сделать его лучше. Да вот только пока не знал...»

Сделаю! Все сделаю. Ну, хоть попробую. Зачем и жить, если все так и останется. Пусть будет лучше.

Новелла третья
МАРТ

Ночью выпал снег, а сейчас ясно, солнечно. Снег слепит глаза, заставляет жмуриться, на мгновение оборачиваться назад. Здесь, между главным корпусом института и десятым, на тротуарах полно народу. Перерыв двадцать минут. И нужно успеть пробежать полтора километра, раздеться и занять в аудитории место повыше. Я всегда сижу на «галерке», сам не знаю почему.

Время-то какое! Ясно, что зима кончается. И самой зиме это понятно. Вот и хочет она уйти в блеске и ослепительном сиянии, запечатлеться в памяти людей яркой, нарядной, теплой. И это ей удается. Сегодня уже стерлись из памяти морозы и бураны, метели и бешеные ветры без снега. Белизна вокруг изумительная, потрясающая. Жаль, нет времени забежать в Лагерный сад и там с обрыва вдохнуть красоту бесконечного снежного простора. Да, в общем-то, и не жаль. Я ведь видел это и еще сто раз увижу. Я еще столько увижу, узнаю, почувствую! Вот если бы она согласилась после лекции побродить со мной по Лагерному саду... Да только что ей до меня?

Я иду быстро. Я и вообще-то не умею тихо ходить. Прищуриваю глаза, с силой вдыхаю чуть-чуть морозный воздух. Он пьянит, этот воздух. Настроение какое-то окрыленное, невесомое. Это все Зима. Это все весна. Это все она.

Никогда я не пылал любовью к начертательной геометрии. А вот ведь прусь на лекцию с радостью. Наша группа растянулась, наверное, на километр. Никого не видно рядом из наших. Только что была лабораторная по физике. А теперь вот начерталка.

Я не сознаюсь себе, но ведь бегу еще и потому, что могу обогнать таким образом больше студентов, так выше вероятность встретить знакомых из других групп, встретить...

— Привет, — говорю я и не успеваю промчаться дальше.

Ответный «привет» чуть притормаживает меня.

— Ты куда так торопишься?

Это «почти что приятель», из ее группы. Он почти что и ее друг. Парень крепкий и с юмором. Но есть в нем что-то жестокое, цепкое, хищное. «Я тебе морду набью», — сказал он однажды, когда в коридоре девичьего общежития были танцы, а я долго не отпускал ее, и на попытки других кавалеров пригласить ее на танец решительно отвечал: «В другой раз, ребята. В другой раз!» Морду он мне, конечно, не набил. Шутка это была, шутка. А вот «почти что приятелем» почему-то стал. И в комнате нашей стал своим. И в столовой, если стоял впереди, призывно махал мне рукой, сообщая этим, что занял на меня очередь. И в конькобежную секцию зачем-то меня втянул, хотя сам вскоре оставил ее.

— Привычка, — отвечаю я.

— Надо избавляться от дурных привычек.

— Да что ж тут дурного? — Вот он уже втянул меня в глупый разговор. Вместо того, чтобы отшутиться, я начинаю на «полном серьезе» доказывать, что ходить быстро целесообразнее.

Я теперь иду медленно, но все же чуть быстрее других. В пятидесяти шагах идет она, но «почти что приятель» не позволяет мне ее догнать.

— Да не торопись ты, — увещевает он. — Успеем.

— Не привык так ходить.

— Привыкнешь, — обещает он. — А ее ты сегодня не узнаешь. Брюнетка она у нас сегодня. Ха-ха!

— Да? — В моем голосе не то вопрос, не то растерянность.

— Покрасилась. Но вообще-то ты не теряй времени зря, а то ведь мне это дело может и надоесть.

— Какое дело? — Вот ведь, только глупые фразы приходят мне в голову. Вернее, в голову-то приходят вроде бы и умные, а вот вслух я говорю сплошные глупости.

— А то самое дельце-то!

Да только я его уже не слушаю. Ишь ты... Покрасилась! Конечно, черный цвет волос ей больше идет. И не то, чтобы в душе я поощряю всякую там косметику и крашение, а просто... просто она и должна была быть черной. Такой я себе ее представляю. Ведь думал, думал я, что ей еще надо, немного, чуть-чуть, чтобы стать настоящей принцессой. Вчера вот вечером за переводом английского вдруг и понял: к ее матовому белому цвету лица и пепельным глазам нужны черные волосы. А она словно почувствовала это.

Впрочем, «почти что приятель» может и пошутить. Но ведь он не мог знать мои мысли. Никто этого не мог знать. Да нет, все так и есть. Она слушается меня. Другого слова я не могу подобрать. Слушается. И хотя встречаемся мы не очень часто, общие лекции не в счет, да и отношения наши вполне обычны между однокурсниками (потанцуем иногда, побродим

по улицам или Университетской роще, да еще раза два мне удавалось проводить ее с факультетского вечера), несмотря на это, она меня слушается.

Это началось с самого первого дня, с первой лекции. И не лекции даже, а общего собрания, потому что наша студенческая жизнь началась с колхоза, с сельхозработ. Так вот. Я еще и свою группу-то как следует не знал. Аудитория амфитеатром, крутая, светлая. Через ряд сидит какая-то... Вот ведь чуть слово «пигалица» не вырвалось. Волосы какие-то линялые, прямые. Лица я еще не видел, но уже представлял: нос картошечкой, на щеках веснушки, рот большой, глаза белесые, веки без ресниц. Я так увлекся составлением ее портрета, что даже не слушал, что это там вещает декан о нашем предстоящем трудовом подвиге. Я хоть и горожанин, но еще в школе достаточно наездился на осенние сельхозработы. И ничего там непривычного или нового для меня не могло быть. Не знаю уж, как другим...

И вот я сижу и нахально смотрю ей в затылок. Сам понимаю, что нехорошо, подло даже, а ничего не могу с собой поделать. Притягивает она меня чем-то. В душе смех, веселость какая-то идиотская. А потом вдруг как что-то грохнется! Оборвалось что-то в душе. Тут она и оглянулась. Наверное, почувствовала мой взгляд. Головой кивнула, как бы спрашивая: тебе чего? Я медленно пожимаю плечами. Да так, ничего. А нос у нее действительно картошечкой, на лице веснушки, рот большой, глаза... Глаза пепельные-пепельные! Поразительные глаза. Она еще раз кивком спросила, какого черта мне от нее надо?! Я отвернулся, потом мельком взглянул в ее сторону. Все еще смотрит. Но в глазах уже раздражение, ярость. Я уронил ненужную мне сейчас ручку, которую зачем-то вертел в руках, и полез ее искать.

А потом я встретил эту девушку в коридоре. Вся их группа, наверное, тут стояла. Росту девушка была небольшого, фигурка мальчишеская, без этих самых... ну... понятно... Платье школьное, туфли простенькие. И ничего-ничегошеньки особенного. А вот во рту у меня пересохло, ноги ватными стали. Все вокруг галдят, о чем-то спорят, предлагают что-то, старосты с какими-то списками бегают. А мне... да я ничего и понять-то не могу. Ну, была бы красавица. Красавицу-то ведь я себе представляю. А тут ведь ничего особенного. Прохожу мимо. Вид напускаю на себя совершенно безразличный. Вроде, я уже к лопате примериваюсь, чтобы картошку начать копать. Слышу, догоняет.

«Ты что?» — «А?» — «Ты что на меня пялился?» — «Да ничего я не пялился». — «Понравилась? Ну скажи, понравилась я тебе?» И это на виду у всего потока! И вот ведь что нужно было мне сделать: плюнуть на все, неприступность свою, рисовку бросить, сказать, выдохнуть: понравилась. И не бросаться обнимать или, скажем, целовать, а просто сказать: очень! А что же я? Стою болван болваном, чувствую, что краснею, просто заливаюсь краской. И кажется мне, что все только на нас и смотрят, ждут, что я брякну, чтобы оглушительно засмеяться. «Да нет, — мямлю я, — я просто...» — «Ну что просто, что просто-то?» — «В колхоз вот еду...» — «А-а...» И все. Повернулась и пошла к своим. Плечики худенькие, и кажется, вздрагивают. Нет... Смеется чему-то со своими. Ясно.

Из колхоза мы вернулись через полтора месяца. Мы были в разных деревнях и ни разу не встречались. Но я думал о ней. Все время думал о ней. Я ее конструировал. Специальность наша будущая — конструкторы-дизайнеры. Что это такое, я еще толком не понимаю. А вот слово «конструировать» нравится. Вот я и конструировал. В мыслях, конечно. Времени было предостаточно. Темнело быстро, шли нудные дожди. По вечерам сидим по избам и режемся в карты. Шахматы-то никто не догадался с собой захватить, а карты продавали в магазине. Значит, так, думаю, ты меня, вроде бы, как поразила. Допустим. А чем? Красотой? Умом? Так я с тобой и двух слов не сказал. Характером? В характерах я и вообще-то не очень разбираюсь. Сам не знаю, чем. Влюбился!

Да, да. От себя, по крайней мере, скрывать это не стоило. Она была самая лучшая, самая красивая. Она стала в моих мечтах чуть выше ростом, волосы ее волнами спускались на плечи. Исчезли веснушки. Нос тоже как-то неуловимо изменился. И даже чуть большой рот казался единственно естественным на ее таком милом лице.

И вот мы встретились на лекции. Не специально, конечно. Да и слово «встретились» — неверно. Просто мы оказались на лекции недалеко друг от друга. Я видел, куда она села, а мне удалось захватить место чуть повыше, через два ряда. Я старательно записывал все, что говорил лектор. Опыта в этом деле у меня никакого не было. Но писать было надо, все писали. Я старался не смотреть, на нее, от этого было только хуже. Я чувствовал, что мое поведение неестественно. Она обернулась и покачала головой, словно я ей мешал. Я дернулся и начал что-то быстро писать, совсем уже ничего не соображая.

Дело в том, что она была та самая. Уже не замухрышка и пигалица, а красавица. Веснушки с ее лица действительно исчезли. Конечно, осень. В это время они и должны исчезать или быть не так уже заметными. У нас у всех пообветрели лица, огрубели, а у нее кожа лица была чистая, матовая. И нос, и губы, все, все в ней было так, как я себе представлял. Она менялась.

В перерыве между лекциями она сама нашла меня, спокойно поздоровалась, расспросила о колхозе и посоветовала не пялиться на нее во время лекций. Причем, все это было подано как шутка, чуть ли не поощрение. Мы, вроде бы, даже сразу стали друзьями. Но только я чувствовал, что все пропало, развалилось, сгинуло. Так спокойно, как она, можно было разговаривать с любым.

А потом началась размеренная студенческая жизнь: лекции, практические занятия, лабораторные работы, тысячи по английскому, коньки, лыжи, праздники, танцы, театр, кино...

А меня уже несло вскачь. Ничего я не мог с собой поделать. В своих мыслях я наделял ее все новыми и новыми качествами. Я даже дошел до того, что в новогодний вечер представил ее в каком-то королевском наряде. И она действительно явилась в нем. Она выделялась среди всех. Ведь маскарадных костюмов почти ни у кого не было. Я танцевал с ней вальс, и она сказала: «Спасибо! Не за вальс...» За что же?

Девушки из нашей группы рассказывали, что у нее не было этого платья из бархата и парчи ни до, ни после вечера. Какой бархат, какая парча в студенческом общежитии?! Но у нее все откуда-то бралось, а потом бесследно исчезало. И если я хотел видеть ее в развевающемся алом плаще, она и появлялась в нем, и плащ развевался, несмотря на то, что ветра не было.

Она как-то очень быстро стала центром всего курса, а я бултыхался где-то на его окраине. Она и экзамены в зимнюю сессию сдала блестяще. А как же иначе, думал я. И хотя к экзамену по физике она не готовилась (моя вина; погода стояла снежная, теплая, и мы с ней бродили по городу с утра до вечера), она и его сдала на отлично. Я, конечно, уверял ее, что она сдаст, я даже ей что-то объяснял, потому то мне физика давалась легко, но столь блестящий успех ее напугал.

Мы то сближались с ней, то отдалялись, ей было «некогда», хотя в это время она ходила на танцы с кем-нибудь другим. Не любовь, не дружба. А так — мучение одно. И чем дальше, тем лучше я понимал, что она начинает специально, сознательно сторониться меня. Я ее чем-то пугал. Однажды она сама это сказала.

«Тебе бы очень пошли черные волосы», — сказал я ей вчера. Она даже не засмеялась. Она уже, кажется, ненавидела меня.

И вот «почти что приятель» утверждает, что она действительно выкрасила волосы в черный цвет. В раздевалке десятого корпуса я вижу, как она встряхивает головой, раскидывая свои черные, жгуче-черные волосы по плечам. Подруги что-то говорят ей, смеются. А она — каменная. Ее словно и нет здесь. Случилось что-то, случилось!

В перерыве ко мне подошел «почти что приятель» и сказал, что она хочет поговорить со мной после лекций. А он сам надеется, что после этого разговора я не буду столь часто маячить у него перед глазами и преследовать ее. Я ему сказал: ничего не обещаю. А он мне: смотри!

А снег все так же блестит, слепит глаза, сверкает. Чистота его необыкновенна, чарующа.

Мы идем с ней по бульвару. Так ей ближе к общежитию. И я чувствую, что она выбрала этот бульвар тополей, чтобы в любое мгновение сказать «пока!» и убежать.

Сначала мы говорим о том о сем, о чем-то незначительном, постороннем. А потом она вдруг заявляет:

— А ведь ты мне тогда сразу понравился.

— Да? — глупо спрашиваю я и, кажется, даже ухмыляюсь. Я уже знаю, что с моих губ будут сейчас срываться одни банальности, глупости, но ничего не могу с собой поделать. Такой день сегодня, что ли? — Только тогда?

— Нет, не только. — Она говорит искренне, словно хочет выговориться и больше не возвращаться к этому. — И позже тоже.

— Позже... А что же... сейчас уже нет?

— Да, сейчас уже нет.

Снег поскрипывает под ногами. Солнце светит нам в спины. И мир искрится уже не так празднично, как раньше. Песком посыпают проезжую часть улицы. Она чернеет.

— Что ж... — говорю я.

— Да нет, ты ничего не понял. И этот твой друг тут ни при чем.

Она имеет в виду моего «почти что приятеля».

— А кто при чем?

— Кто? Ты сам.

— Я?

— Ты, ты! — Она останавливается и смотрит мне в глаза. Зрачки у нее сейчас маленькие-маленькие. Ну да, это от солнечных лучей, от света. И глаза пепельные-пепельные, как моя сгоревшая мечта. Я даже различаю в них самого себя, маленького человечка. — Ты думаешь, мне вся эта красота очень нужна?

— Какая красота?

— И волосы по плечам, и греческий нос? — Нос у нее вовсе не греческий. — Меня уже девчонки в общежитии затюкали. Скажи да скажи, как это все у тебя получается? А у меня все само собой получается. Я ничего не делаю. И волосы вчера не красила. Это все ты!

— Я?

— Ты, ты! Не знаю уж как, но только это все ты делаешь. Ты же ведь говорил, что я стану красавицей!

— Говорил?

— Говорил, говорил. Да если бы и не говорил, я все равно чувствую. Ты хочешь, чтобы у меня исчезли веснушки, и они исчезают. Ты в своих мечтах видишь меня принцессой, и я действительно ею становлюсь. Ты веришь, что я умница, и я блестяще сдаю экзамены. Если ты захочешь, чтобы я научилась летать, — я, наверное, полечу. Да только я не хочу всего этого! Понимаешь, не хочу!

— Не хочешь?

— Нет. Не хочу. Это все не мое. Это все твои фантазии. Ты решил — и я такой стала. Я ничего не могу с собой поделать. Я как робот, как марионетка в твоих руках. Я живу и боюсь, а что тебе взбредет в голову завтра?

— Взбредет?

— Да, взбредет. Ты думаешь, я страдала от того, что была такой пигалицей, как на первой лекции? Нисколечко. Я нравилась сама себе. Я была такая, какая есть. И все, что мне нужно, я сделала бы сама. Даже покрасилась или сделала пластическую операцию.

— Операцию?! — ужасаюсь я.

— Нет, ты сейчас просто прикидываешься простачком. Ведь ты делаешь со мной, что захочешь.

Да, это кажется, так и есть. Ну, не совсем, что захочу, а только то, чтобы она была еще прекраснее.

— А мне это не нужно. Я хочу быть сама собой. Почему ты тогда, в первый раз, не сказал, что я тебе понравилась? Господи, как бы все хорошо было! Все было бы хорошо... А теперь я тебя боюсь. И страх этот сжигает мою любовь. Мне даже с твоим другом легче. Ему хоть наплевать на то, какая я есть.

Страх? Чего же она боится?

— Ты думаешь, это счастье — быть такой, какой ты захочешь? А вдруг тебе когда-нибудь захочется, чтобы я стала дурнушкой? Вдруг ты меня разлюбишь? Что тогда? Что тогда?!

— Да разве я могу разлюбить тебя?

— Можешь, можешь! Ты и сейчас любишь не меня, а свою мечту, свою принцессу! Так и оставь меня. Я не хочу, не хочу!

Она чуть не плачет.

— Прошу тебя, не думай обо мне, не замечай меня, разлюби, возненавидь... А я снова стану той, что была раньше. Ты обещаешь? Обещаешь?

— Обещаю. — Я ошеломлен. Я даже не знаю, что я обещаю. В моих ли это силах?

— Ну и хорошо. Спасибо тебе. Всего только полгода я и не жила. Всего только полгода. Но ведь это же не на всю жизнь? О господи, для чего все это? Так я пошла?

А я смотрю на нее и вижу, как выбившиеся из-под, вязаной шапочки волосы светлеют, блекнут. Медленно, неохотно.

Она сама еще этого не видит.

Я не хочу, не хочу!

— Ну, пока? — говорит она.

— Пока, — говорю я.

Я стою один, приговоренный. Пусть будет так, она хочет, пусть будет так всегда! Пусть она явится завтра на лекцию той замухрышкой, какой я увидел ее в первый раз! Пусть! Пусть все удивляются, сожалеют, успокаивают ее. Пусть. И тогда я подойду, возьму ее на руки, скажу...

Ах, опять я только о себе...

Новелла четвертая
АПРЕЛЬ

Мы с другом идем по улице, которая ведет от площади Южной к реке, улице, частично заасфальтированной, частично забетонированной, но на большей своей части все же разбитой вдребезги, с ямами, которые уже привычно объезжают грузо-

вики, но не имеющей тротуара, хотя по ней ежедневно ходят тысячи людей.

По этой улице идем и мы, я и мой друг, только он чуть впереди, потому что я задерживаюсь прикурить. Зимний снег еще не везде растаял. Грязь и лужи. Мокрый снег сверху.

Я успеваю прикурить. И тут раздается крик. Кричит какая-то женщина, словно увидела нечто ужасное. Сначала одна, потом несколько. И непонятен сразу мне этот звук, потому что заглушается и искажается ревом самосвалов. Да и не звуки интересуют здесь людей, а пятачок земли, на который можно отскочить, когда на тебя несется смерть.

Кричит женщина. Одна, потом несколько. И скрежет тормозов, и лязг сцепившихся металлических кузовов, и стон, но не человека, стон только что происшедшего.

Он, мой друг, лежит в луже грязи, нелепо и страшно, и к нему уже бегут люди, а кто-то все еще тоскливо и испуганно кричит. К нему бегут, теперь уже не разбирая грязи. Я к нему ближе других. Я опускаюсь на колени в жижу. Он мертв или почти мертв. Нужна «скорая помощь».

— Что с ним?!

— Я видела...

— Что же это!

— Врача!

Это все говорят окружающие нас люди.

— Я врач, — говорю я. — Кто-нибудь... вызовите «скорую помощь»!

Среди людей чувствуется растерянность.

— Где телефон?

Я знаю, что в радиусе километра телефона-автомата не найти.

— Кто-нибудь в институт! — подсказываю я. Несколько человек бросаются бежать.

Я ничего не могу больше говорить, только поддерживаю голову друга ладонями. Изо рта и носа у него течет кровь, блестящими темно-красными ручейками. У него проломлен череп. А что еще, я даже не хочу знать. Достаточно и этого.

— Отнесите в сторону, — советует кто-то.

И водитель одного из сцепившихся самосвалов, испуганный и желающий теперь сделать хоть что-нибудь, протягивает руки.

— ГАИ надо вызвать!

Это уж их дело. Я сейчас жду только «скорую».

Мы переносим моего друга в сторону и опускаем на чей-то плащ. Друг не стонет. И если еще не умер, то умирает.

«Скорая» не успеет!

Какой-то человек берет моего друга за кисть.

— Вы врач? — зачем-то спрашиваю я.

— Нет... Но я знаю. Чувствую. Он умирает. «Скорая» не успеет.

Все... Все... Так нелепо... Что же мне, броситься с кулаками на водителей самосвалов? Убить их? Закричать? И криком попытаться облегчить свою душу? Свою... Свою!

— Кто может отдать ему час жизни? — спрашиваю я. — Всего час.

Я слышал, что есть люди, которые могут отдать несколько часов или даже дней своей жизни человеку, который умирает. Из своей жизни они эти часы и дни вычеркивают, вырывают. Я слышал это, но не понимаю, как можно отдать другому часть своей жизни. И я бы отдал, но не знаю, не умею, не могу!

— Кто? — спрашиваю я.

Все молчат. И не потому, что им жаль нескольких своих часов или даже только одного часа. Просто, люди с такой удивительной способностью встречаются очень редко, и вероятность того, что такой мог оказаться именно здесь...

— Никто, — говорит кто-то. — Он уже...

— Если бы я мог! — говорит другой из толпы.

— Да где же «скорая помощь?!

— Человек умирает!

Мокрый снег превращается в дождь. Кто-то открывает зонтик над лицом моего друга.

— Ладно, — говорит человек, которого я чуть было не принял за врача; он словно с чем-то соглашается. — Документы у меня в кармане.

И непонятно, зачем он это говорит.

— Час я, пожалуй, натяну...

Лицо его вдруг становится землистым, он пытается встать с колен, но не может. Он шатается и падает. А тот, первый, мой друг, дышит. Он не приходит в сознание, но он дышит.

— Сообщите... — и дальше человек не договаривает. Его кладут рядом на еще чей-то плащ, и никто не знает, жив он или мертв.

Случай! Этот мужчина оказался именно тем человеком, который может отдавать свою жизнь по частям другим людям, которым вот так, как сейчас, нужен этот час или день, пока

пострадавшего не положат на операционный стол, не подсоединят к нему датчики и приборы, поддерживающие жизнь, пока не сделают все возможное. Но только его-то жизнь укорачивается! И он не знает, как и все другие, сколько же ему осталось еще: много, очень много, или совсем ничего, как вот у этого. Он не знал, но, может, чувствовал, иначе бы зачем он сказал: «сообщите...»? Но только как отказать человеку в жизни? Он не смог отказать... И ведь не стар он еще. Просто слишком щедро отдавал свою жизнь другим.

Я нагибаюсь ухом к его губам, надеясь услышать еще что-то. Но он молчит. Он уже никогда больше не заговорит.

Подходит машина «скорой медицинской помощи», затем вторая.

Их увозят, но только в разные места.

Меня не берут. Я весь в грязи. На меня, наверное, страшно смотреть.

Работники ГАИ разбираются в происшествии, но многие свидетели уже разошлись: спешили на работу, по делам или даже просто поделиться поскорее новостью.

А я иду к автобусной остановке, чтобы доехать до больницы, которая сегодня является дежурной, и мысли разбросаны в разные стороны в моей голове. Я не верю, что друг умрет. Его спасут, его вернут к жизни. Я думаю о нем и еще о том человеке, имени которого даже не знаю, и стараюсь понять его или представить другого или себя на его месте. Я понимаю и не понимаю. И человек становится для меня еще загадочнее, еще открытее, и все это в одно и то же время. Но это не странно, потому что я уже давно пришел к мысли, что никогда не сумею понять людей до конца. Эта мысль не приводит меня в отчаяние, ведь человек очень сложное существо, чтобы его можно было и в самом деле понять до конца.

Новелла пятая
МАЙ

Весь май простоял холодный. Мой шеф сказал, что такой весны не было шестьдесят лет. Он прав. Почти прав. Такой весны не было еще никогда.

Деревья стояли голые и испуганные, и каждый день хлестал то холодный дождь, то мокрый снег. Все исходило тоской и ожиданием тепла.

И вот в последнюю неделю мая, когда казалось, что лето обойдет наш город, в утренней метеосводке передали, что днем ожидается двадцать градусов тепла, да еще и без существенных осадков. Никто не поверил в это. Как же! Двадцать градусов! После восьми месяцев снега!

Прохладное утро не предвещало обещанной жары. А когда я шел из института на обед, в черном плаще и черной кепке, солнце прожгло мою спину и разогнало кровь так, что застучало в висках. После дождей воздух был прозрачен и голубел, и что-то уже происходило с голыми ветвями деревьев. В недвижном воздухе ясно слышались шорохи и вздохи, словно звуки радостного пробуждения. Окна девятиэтажек студенческих общежитий раскрылись настежь, и в них уже торчали голые спины парней и девушек, подставленные чисто вымытому солнцу.

Странно было смотреть на людей, что шли по улицам. Кто в плаще, кто в пальто, кто перекинув пальто или плащ через руку. Никто ведь не поверил с утра в это тепло. И какая-то мягкая растерянность в лицах: извините, так уж вышло... Конечно! Сбросить с себя, наконец, и зимнюю одежду, и зимнее настроение.

А я иду, так и не сняв плаща: пусть все расплавится во мне от солнца. Трава кое-где уже повылезла из земли и зеленеет. Птицы одурели от счастья: голуби, воробьи и скворцы копошатся в земле и на влажном еще асфальте. Тополя на глазах выбрасывают из почек сережки и роняют их на плечи и головы прохожих. Сережки пахнут смолой, или это так пахнут осыпавшиеся стручки почек?..

Я подхожу к дому и чувствую, что меня ждет еще что-то радостное. На мгновение я пугаюсь: мне уже ничего не надо. Пусть это будет завтра, а сегодня я уже переполнен счастьем.

Я подхожу к двери, вставляю в замочную скважину ключ, за дверью тишина. Странно. Почему это Никса не встречает меня радостным лаем? Я открываю дверь и вхожу в прихожую. Ах, вот все-таки она. Собака бросается ко мне, цокая когтями по полу, виляя хвостом, нагибаясь и приседая. Сейчас бросится ко мне на грудь и попытается ткнуться мокрым носом в ухо. Я нагибаюсь. Так у нас заведено. Но Никса вдруг бросается в комнату, залитую солнцем, припадает там передними лапами к полу, взвизгивает, снова бросается ко мне, прыгает передними лапами на грудь, но тут же, перевернувшись прямо в воздухе, снова бросается в комнату.

— Никса! — кричу я.

— Гав! — отвечает Никса из комнаты.

— Что с тобой сегодня? Это весна на тебя так подействовала?

— Гав! Гав! — Как четко различается в собачьем лае радость.

Нужно немного прогулять собаку. Я снимаю наконец плащ и протягиваю руку за поводком.

— Гав! — говорит собака.

— Да что с тобой, Никса?!

Я вхожу в комнату.

На стуле у окна сидит девушка и гладит по спине мою собаку. Не так-то просто это сделать — Никса вертится как вьюн.

— Здравствуйте, — говорю я тихо и растерянно. Девушка поднимает голову:

— Здравствуйте.

А вот в ней нет никакой растерянности, словно она каждый день сидит у этого окна.

— Я уже ходила с Никсой на улицу... Это ничего, что я здесь? — спрашивает она.

— Ничего... — Я прихожу, кажется, в себя. — Это хорошо, это просто здорово!

Но вот только как она могла попасть в мою квартиру?

— У меня был ключ, — поясняет она.

Фу ты, черт! Конечно же, у нее просто-напросто был ключ. Что тут голову ломать, все ясно.

— У вас хорошая собака. Мы с ней немного поиграли...

«Ну кто же она?» — думаю я. Это так здорово, что она здесь. И хорошо, что ключ у нее оказался. А то ведь могла постоять у дверей и уйти, не дождавшись меня.

Солнце золотит ее волосы, но я так и не могу понять, какого они цвета. На таком солнце все из золота. Она сидит спокойно и гладит собаку. А Никса положила ей голову на колени и жмурится от удовольствия. На девушке летнее, короткое и без рукавов, платье, цветное и яркое. И вообще вся она какая-то весенняя. Другого определения я не могу подобрать. Я возвращаюсь в прихожую, снимаю пиджак, вешаю его на крючок, сегодня он мне уже не понадобится. Рубашка прилипла к спине. Нет, пора переходить на летнюю одежду.

Я снова вхожу в комнату и сажусь на стул. Никса подбегает ко мне, смотрит своими человеческими глазами и чуть

наклоняет голову вбок. Все в ней сейчас вопросительно и выжидающе.

— Хорошо ведь, Никса, что она пришла к нам?

— Гав! — отвечает Никса.

Девушка встает и подходит ко мне. Встаю и я. Она ниже меня ростом и поэтому смотрит вверх, внимательно, словно ожидая чего-то, и в глазах прозрачная зелень и бездонность.

— Давай говорить друг другу «ты»? — предлагает она.

— Давайте... то есть, конечно, давай.

Она протягивает мне руку. Ладонь прохладная, маленькая, пальцы крепко сжимают мои, не хочется выпускать их. Спросить ее, откуда она взялась такая? Я боюсь. Спрошу, а она исчезнет или скажет, что ошиблась номером квартиры, и уйдет. Нет уж, ничего я не буду спрашивать. Пусть останется маленькая тайна. Если тайну сохранить, то она продлится... Вдруг она, эта тайна, продлится еще!

— Так будет лучше, — кивает она. Словно мысли мои прочитала! — А вообще-то я появилась у вас в городе только сегодня.

— Понятно, — говорю я, хотя ни черта мне сейчас не понятно!

— У меня здесь много дел. Я сейчас уйду. А вернусь вечером. Или лучше я встречу тебя у института. И тогда мы пойдем вместе. Хорошо?

Я согласен.

— Никсу я возьму с собой. Мы побродим по лесу. А вечером ты покажешь мне город.

Не хочется мне ее отпускать.

— Это очень нужно?

— Очень, очень.

Никса нетерпеливо повизгивает, чувствуя, что ее поведут в лес.

Девушка высвобождает руку и проводит ею по моей щеке. Щека горит.

— У нас с тобой все будет хорошо, — говорит она.

— Это навсегда? — спрашиваю я и понимаю, что спрашивать было нельзя.

Она смеется, мотает головой из стороны в сторону. А я так и не могу рассмотреть, какого цвета у нее волосы. И смех ее болью застревает в сердце.

— Так мы пойдем?

Никса уже вся — нетерпение! Ах ты, собака! Ведь я твой хозяин!

Солнце рвется через открытое окно и балконную дверь, с улицы доносится запах молодой листвы.

Я выхожу на балкон и не слышу даже, как хлопает дверь. Я вижу их уже внизу. Никса идет без поводка, рядом. Это тоже очень странно. И еще... Березки-то перед домом уже распустились и зеленеют вовсю. И там, где только что шли они, деревья тоже распустились, а что делается дальше, я не могу рассмотреть.

Я варю суп из брикета, пью холодное вчерашнее молоко, переодеваюсь. Я как бы принял окончательно переход от зимы к весне.

В институте я заканчиваю генераторный датчик для измерения переменных электрических полей, кладу на свой рабочий стол два метровых листа меди с зазором между ними в несколько сантиметров, создавая тем самым конденсатор, и начинаю градуировать свой датчик. Я гоняю его на разных частотах и при разных напряженностях поля, составляю градуировочную таблицу, а потом вычерчиваю график.

Шеф смотрит на меня несколько оторопело: такого темпа в работе я ему еще не показывал. Из студенческих девятиэтажек доносится музыка. А у меня в голове и без того музыка, трепетная и неожиданная.

— Странно, — говорит шеф, — во дворе института еще ни один листочек не распустился.

— Так ведь только первый день тепла, — возражает ему кто-то.

— Да, первый. Однако вот на Красноармейской, на западной ее стороне, уже все тополя распустились.

— Почему только на западной?

— Потому что на западную сторону солнце светит только с утра, — поясняет шеф, — а на восточную — после обеда. К вечеру распустятся.

Да, я заметил, когда шел с обеда, что тополя выпустили листья. А на другую сторону улицы даже и не взглянул, в голову такое не пришло. Постойте... По этой стороне улицы шла она с моей собакой! Здесь был самый короткий путь в лес. И шеф, и я проходили здесь после обеда. Я мало что заметил, а вот шеф — многое. Ну, на то он и шеф, чтобы все замечать и знать. Я немного успокаиваюсь.

Перед концом работы распускаются листья деревьев и под окнами нашего института. Происходит это почти мгновенно. Я замечаю. Замечают и другие, но почему-то не начинают спорить, выдвигать гипотезы и объяснения, а просто торопливо собираются домой.

Я выхожу из проходной и вижу мою незнакомку. Она сидит на куче кирпичей за дорогой. Никса лежит возле ее ног, а в руках у девушки охапка цветов. И где только она смогла их найти? Какие сейчас в лесу цветы? Через день, через два — тогда они действительно будут. Букет из кандыков, медунок и подснежников...

Я подхожу, а она все сидит, и деревья вокруг стоят совершенно зеленые. Не могли они так распуститься за день. Неделю нужно на это.

— Ну, как? — спрашиваю я.

Никса смотрит на меня отсутствующим взглядом.

— У вас тут хорошо. Весь лес зазеленел.

— Давно вы меня ждете?

— Минут десять.

Десять минут назад деревья вокруг нашего института вдруг покрылись листвой.

Подходит шеф и смотрит на девушку испуганно-недоверчиво, потом говорит:

— Познакомь.

Как я могу их познакомить? Я даже не знаю ее имени. Я просто говорю:

— Знакомьтесь.

Они протягивают друг другу руки, но имен тоже не называют. Шеф-то, конечно, просто забыл свое.

Мимо идут научные сотрудники и инженеры. Деревья стоят зеленые-зеленые.

— У вас должно получиться тоже, — говорит она моему шефу. — Я знаю. Вы ведь сейчас пойдете по правой стороне Красноармейской?

— Да. — Шеф трясет головой и приходит в себя.

— Вам это понравится, вот увидите.

— А вы?

— Мы пойдем по берегу через Лагерный сад.

Я думал, шеф обидится, но он словно сам желает отделаться от нас. Конечно, у него жена, дети, магазин, ясли, то да се. Он наскоро прощается и чуть ли не бегом бросается по краю лесопитомника к Южной площади, от которой и начина-

ется улица Красноармейская. А девушка подходит к проходной и кладет свои цветы на бетонную плиту, так что становится ясным, что они не просто здесь брошены, а подарены тем, кто будет проходить мимо.

Мы идем по бетонной дороге к обрыву, бетон через сто метров кончается, дальше ведет тропинка, по правую сторону которой тянется огромный пустырь-свалка с предупреждениями на фанерных щитах: «Свалка мусора запрещается!»

— Не смотри туда, — говорю я. — Вот влево ионосферная станция. Здесь красиво.

— Да, — отвечает она. — Красиво тут у вас. Только и пустырь должен зеленеть.

— Он и в хорошие-то годы не... — начинаю я и замолкаю.

Пустыря нет. Вернее, он есть, но... но какой же это пустырь-свалка?! Зеленеющие бугры и ложбинки. Густая трава скрыла отбросы человеческой деятельности.

— Да-а... — говорю я. — А завтра снова все завалят мусором.

— Жаль, что завалят. Но что я могу сделать.

Мы идем и разговариваем, а иногда молчим. Легко и разговаривать, и молчать. Зеленеют маленькие березки возле нашего института и старые березки и осины в Лагерном саду. А потом мы идем по проспекту Ленина к центру города.

Воздух над городом чист. Солнце высоко стоит над левым берегом Маны, но уже можно представить, каким будет закат, — мягким, теплым, во все небо.

— Ты замечаешь, что творится с природой? — спрашиваю я.

— Замечаю.

— Наверное, она слишком долго ждала тепла, все в ней уже было подготовлено к сегодняшнему дню, но удерживалось холодами; и вот солнце и тепло — как пусковой импульс. Поэтому все расцвело и распустилось...

У главного корпуса политехнического, где проспект Ленина сбегает с горы вниз и открывается вид на главпочтамт и низинную часть города, я вдруг смутно ощущаю, что сейчас своими глазами увижу разгадку тайны. Вот она рядом, тайна, нужно какое-то усилие мысли, чтобы сообразить, что же происходит. Небольшое усилие воображения. Надо мной шелестят на легком ветерке листья, шумят несущиеся мимо машины, проходят люди, в основном студенты, а я стою и пытаюсь прочистить какие-то фильтры в своем головном

мозге. Я чувствую, что только здесь, только сейчас смогу понять все.

А она стоит и улыбается, она знает все. И как, наверное, смешон я, ничего не понимающий, беспомощный и страдающий от этого.

Кто-то пробегает мимо, вниз, и кричит:

— Смотри, а там еще голые деревья!

Конечно, можно все видеть и быть слепым. Как я... Над нами березы шумят листьями, а там, внизу, в тополиной аллее, нет еще и намека на зелень, словно весна там еще и не начинается. Это необъяснимо и немного жутковато. Слишком резок контраст.

— Ну, пошли, — говорит она.

— Такого не может быть, — бормочу я. — Невозможно... Мор, что ли, на них напал какой?

— Да нет же. Просто нужно, чтобы их кто-нибудь разбудил. Они, конечно, распустятся и сами, но все же лучше им помочь.

— Это как же?

— Просто пройтись рядом и представить себе молодую листву. Деревья надо любить.

— Так это ты помогла деревьям по одной стороне Красноармейской?

— Я. Я еще и в лес ходила.

— А другая сторона?

— А по другой стороне уже, наверное, прошел твой шеф. У него это должно получиться.

— Да откуда у него может взяться такое свойство?

Никса смотрит на меня и тихонечко лает. Это она голос свой проверяет.

— Оно передается от человека к человеку. Я сразу поняла, что у него получится.

— А у меня?

— Ты же не веришь...

— С научной точки зрения это ерунда. Невозможная вещь.

— Тогда у тебя ничего не получится.

— Конечно, нет. И ни у кого не может такое получиться.

— Не может? А ну, смотри!

Она бросается вниз по ступеням. Никса за ней. А я остаюсь стоять. Зеленая волна движется вниз по проспекту. Сверху все отлично видно. Ну и явление природы! Там, внизу и впереди, была тополиная аллея, и вот по ней зашагал светло-

изумрудный цвет. Движение зелени даже немного опережало ее.

Я догоняю ее и говорю:

— Попробую сам.

Но у меня ничего не получается. Я и убеждаю себя, и настраиваю, я вроде бы и люблю лес, и хочу, чтобы он зазеленел, но ничего, ничего у меня не получается.

Я могу так идти сколько угодно среди голых деревьев, пока им не придет время распуститься самим.

В общем, я оказываюсь неспособным делать чудеса. Но у меня находится другое занятие: показывать ей город. Так и идем мы с ней до самой ночи, и собака, устав, еле плетется за нами.

Обидная мысль приходит мне в голову. Может, ей нужна рядом с собой обыденность. Может, чудеса невозможны без чьей-то ординарности... Ладно. Пусть так. Но уж мне-то эта тайна все равно очень, очень нужна.

Я теперь каждый год буду ждать весну, ждать пору, когда деревья вот-вот начнут распускаться. Я пойду среди голых стволов. Но деревья, наверное, так и останутся голыми. А потом мы пойдем с ней, и Никса побежит за нами. И тогда все вокруг начнет зеленеть. Но я не буду завидовать, я буду только тихо радоваться, и каждый раз у меня будет возникать надежда, что когда-нибудь и я научусь оживлять лес.

Новелла шестая
ИЮНЬ

Ночь...

Распахнутое окно и звезды.

Мысли, одна тяжелее другой, лезут в голову. Что-то не ладится в мастерской Красоты, где работаю я. Что-то мы не то делаем. От споров и доказательств пухнет голова. Криков и советов много. Еще больше предостережений. Да, красота все же возникает. И в городах, и на улицах, и в квартирах. Но красота постепенно исчезает из лесов и с полей, рек и озер. Мир стремительно меняется. И мы не успеваем за ним. Мы спешим и делаем ошибки. Мы творим новую красоту и уничтожаем ту, что существовала веками и тысячелетиями. Нам некогда осмыслить последствия наших дел, мы больше заняты сиюминутным, чем вечным. Да и что нам вечность! Смена, декада, месяц, квартал волнуют нас больше.

Что Красота? Полезности! Норма. Стандарт...

Как понять Красоту? Можно ли ее понять? Нужно ли?

Не спится мне. Нетерпение, ожидание, трепет...

И вдруг я чувствую, как что-то грустное и зовущее начинает стучать во мне, раздвигая смутно белеющий оконный проем, приближая неуловимые, маленькие, мигающие светлячки неба и наполняя меня странным ощущением, названия которому я не могу придумать. Я только чувствую и принимаю его, как неизбежное и радостное, как неожиданные цветы в осеннюю слякоть.

Кто-то зовет меня, еще не зная, откликнусь ли я, услышу ли.

Кто-то зовет меня, и грусть закрадывается в его сердце от моей глухоты.

И тогда я вспоминаю, что такое со мной уже было. Кто-то звал меня, а я отгонял от себя этот крик мыслями о калькуляции завтрашнего дня, в котором будут и деловые встречи, и поездки, завтрак и обед, время для шутливых бесед с друзьями и еще множество мелких, но необходимейших действий и дел.

В дни, разложенные по минутам, как расписание пригородных электричек, иногда врывался этот зов, ненавязчивый, словно пробующий осторожным движением ноги тонкий, предательский весенний лед ручья. А я отгонял его, точно он был насекомым, случайно залетевшим в окно. И не было во мне мыслей и желаний прислушаться к тому, что шепчут мне на ухо. И только по ночам, когда все затихало, погружаясь в сны, я слышал чуть отчетливее. И это сминало стереотип моего поведения, словно дружески предлагало руку.

Смутная еще мысль-догадка возникает во мне. Она как воздух, присутствующий всегда, но сознательно не ощущаемый. И нужно глубоко задержать дыхание, чтобы почувствовать его.

Кто-то зовет меня, и я пробую разобраться. Кто же он? Но малейшая попытка применить логику к ощущению, которое я испытываю, приводит к тому, что все возвращается на свои привычные, первоначальные места. Нет, мне не понять этого, потому что, пытаясь разобраться, я невольно отвергаю, отдаляю его от себя, отпугиваю раз и навсегда заданной определенностью, в которой нет места непонятному.

Хорошо! Я согласен. Я не буду допытываться, что да почему? Пусть сегодня будет нарушено равновесие обыденности и порядка.

И тут я сам начинаю понимать, что это я неосознанно и давно зову кого-то, далекого, непонятного мне, как непонятен я сам себе.

Да, это так. Каждый раз, когда наступает ночь, я гляжу начинающими уже скучнеть глазами в белый четырехугольник, и это я сам зову кого-то, живущего в чужом, незнакомом мне мире! И я хочу взглянуть на другое.

Я стучусь в дверь, не замечая, что стучатся и с другой стороны.

Я, кажется, уже представляю себе его. Нет, не лицо, не фигуру. Я даже не знаю, есть ли у него лицо в понятии, которое люди в это слово вкладывают. Он может быть и человеком, и сгустком кипящей при миллионах градусов материи. Не это важно. Я представляю себе его чувства и мысли, возникающие из этих чувств. Он, как и я, рвется куда-то за пределы отведенного ему круга, ограниченного законами природы. Вернее, только познанными им и мной законами природы. Мне понятны его грусть и отчаяние при мысли, что он не может увидеть что-то, скрытое от него рядом или за тысячи световых лет. Его грусть — моя грусть. Он понятен мне в своих чувствах, я согласен с ним, потому что они есть я, только не здесь, на Земле, а где-то...

И тогда я осторожно, чтобы не вспугнуть неведомое, встаю, и порыв свежего ночного ветра, пахнущего необычным и странным, упруго бьется в мое тело, мгновение рвет мягкие шторы, превращая их в паруса, и затихает. Я воспринимаю это как согласие, как начало раскрывающегося секрета.

Я принимаю ночь со всеми ее тайнами.

Я сдергиваю со стула брюки и рубашку, шарю в темноте коридора, отыскивая туфли. Вот и все. Я готов. Я знаю и не знаю, куда мне идти. Знаю, потому что ни на секунду не раздумываю над следующим шагом. И не знаю, потому что иду не сам, что-то ведет меня.

Стараясь не шуметь, спускаюсь я по лестнице, выхожу из дома. Тишина... И вдруг короткий и резкий взрыв шагов. Это я спугнул девчонку и ее парня. Они отбегают ровно на столько, сколько могут выдержать без поцелуя, шагов на пять. Мне нужно пройти мимо них. И они снова убегают, на этот раз на три шага. И больше уже не срываются с места, когда я прохожу мимо них, только парень загораживает девушку своей спиной. Чудак!

Ночь глубока, но коротка. Всего часа полтора отведено ей сегодня. У подъезда темно, не видно даже асфальта. И только

когда я сворачиваю за угол дома, мягкий свет уличных фонарей начинает создавать смежные, пересекающиеся, как в калейдоскопе, тени столбов и деревьев. И моя тень, сначала чуть поотстав, стремительно обгоняет меня, вытягивается и плавно исчезает, с тем, чтобы вновь возникнуть позади и начать свой волнообразный циклический бег. Прямолинейная и пустая перспектива улицы сообщает мне, что это и есть дорога туда. Но пустота и безмолвие здесь только кажущиеся. Я начинаю различать листья тополей, их шепот и тихое прерывистое дыхание. Чтобы не мешать им, я выхожу на середину улицы, точно зная, что шорох шин автомобилей меня сейчас не обеспокоит.

Дорога, ограниченная двумя рядами сходящихся впереди огней, ведет в бесконечность. Я это знаю, так же как знаю, что бесконечность начинается там, где эти огни сходятся друг с другом и со звездами.

Я иду, сдерживая себя, потому что мне хочется бежать. Но топот спешащих подошв сейчас невыносим. И поэтому я просто иду, смотря вверх и перед собой. Я пытаюсь разыскать в небе свою звезду и нахожу ее, хотя не могу объяснить, почему это именно моя звезда. Я многого не могу объяснить в эту ночь. Из ближайшего парка на меня налетает запах трав и цветов. А трава по обочинам дороги иногда сверкает каплями драгоценных камней, сохранившимися от вечернего, теплого и короткого дождя. Где-то за спиной выбивают мелодию городские куранты, по которым нельзя загадывать годы оставшейся жизни, потому что они научены вызванивать только до двенадцати.

Чей-то зов и грусть в моей душе все сильнее, все нестерпимее. Ночь с ее таинственностью и мнимым покоем закручивает меня в свои мягкие, легкие крылья, поднимает и бросает вперед, создавая ощущение полета. И чей-то далекий крик внезапно обрывает волшебство. Но я уже не боюсь, что все это пройдет.

Стволы деревьев, выхваченные из темноты светом фонарей, отступают за мою спину, а темные спящие громады зданий медленно, словно нехотя, надвигаются на меня и затем неожиданно расступаются, разрешая увидеть следующие за ними. Бегущие огни троллей-проводов спешат мне навстречу, стремительно растекаясь в длину и исчезая, так что из темноты выступают только сами провода, переплетенные, как паутина гигантского насекомого, но не страшного, а лишь замысловатого и интересного.

Улица делается все шире, расправляя свой асфальт в какое-то странное подобие крыла, замершего, неподвижного и в то же время несущегося вперед со скоростью его мысли. И все окружающее меня странно меняется, трансформируясь в причудливый мир его образов.

И вот я мчусь сквозь пространство, населенное пустотой и звездами, и рассматриваю прихотливую игру красок, развивающуюся по какому-то непонятному мне сценарию. Сочетания этих красок никогда не видены мной, так же как и характер их изменения. Огромные спирали разноцветного пламени окружают меня, втягивая в свой вихрь, ласково касаются моего лица и тела, но не обжигают, а лишь приносят ощущение радости. И тогда краешком сознания я замечаю, что представляю собой уже не то существо, которое было минутой или десятилетием раньше. Что-то изменилось во мне. Столкновение красок, огня, гравитационных и электромагнитных полей и еще чего-то, что мне никогда не понять, втягивает меня в воронку, которая кончается где-то в центре звезды, звездного скопления или галактики. И мне тепло от этих миллионов градусов. А тело послушно и стремительно переносится из красного в голубое, зеленое, желтое и, наконец, туда, где нет цвета в человеческом понимании этого слова, но зато есть в каком-то другом.

Здесь хорошо, и я могу остаться, но ведь есть что-то еще кроме этой бушующей красоты, тепла и красок без цвета и названия.

Я выбираю направление и стремительно выношусь на поверхность океана, кипящего вокруг меня. Потом эта поверхность плавно отстает от движения моего тела, метнувшегося в пустоту, в прохладу и искристость несущихся в десятках световых лет звезд, маленьких смешных точек, одна из которых только что сжимала меня в своих объятиях. Ощущение свободы наполняет меня. Я могу мчаться куда угодно, могу согнать впереди себя клубы космической пыли и спрессовать ее в небольшой, какой-нибудь миллион километров в диаметре, шар, а потом зажечь его, превратив в еще одну звезду.

И он, он мчится рядом со мной! Непохожий на меня, странный, огромный, непонятный! Он мчится рядом, чтобы показать мне все, что знает и сам. А вот и я становлюсь похожим на него, и нет мне ни конца, ни края, и ветер пустоты обвевает меня.

Если захочу, я могу увидеть рождение Сверхновой или почувствовать гравитационный коллапс. Я могу вернуться на миллиард лет назад и даже увидеть самое начало, сингулярность Вселенной, когда из неизвестного мне состояния материи возникло все, когда еще не существовало ни Пространства, ни Времени, когда формы бытия материи были совершенно другими. Я могу увидеть то, что никогда не увидит ни один человек. Одно движение — и я уже в будущем. Только и его не понять, разве что почувствовать, что оно прекрасно и сложно.

Световые годы, закрученные в спираль и вытянутые в идеальную прямую, остаются позади, а я все впитываю в себя, стараясь все запомнить, понять. Но последнее мне редко удается. И тогда я прихожу вот к какой мысли:

Ведь это контакт!

Контакт!

Контакт с совершенно другим миром, другой цивилизацией, или как ее еще там назвать. И я ничего не пойму в том, что он мне показывает, потому что для этого я должен быть им самим. И он это знает? Или только догадывается вместе со мной? Значит, все напрасно? Контакт не удался. Я не могу впитать их информацию, он не может передать ее Земле. Она пропадет навечно, разбившись о мое непонимание.

Нет, не то, говорит он мне.

Нет, не то, говорю я ему.

Дело совсем в другом!

Мы слишком разные. И мне никогда не понять его. Да мне и не нужны его знания. Так же как и ему — мои. Ну что я могу предложить ему? Теорему о прямоугольном треугольнике, которая в его мире не имеет смысла, или принцип движения реактивного космического корабля, который ему не нужен? И его законы неприемлемы в моем мире. Люди никогда не смогут нестись в пространстве со скоростью сотен световых лет в секунду, да еще испытывать при этом счастливое ощущение полета. Людям не ощутить приятное тепло, находясь в самом центре огромной звезды. Для этого людям нужно стать теми существами.

Так, значит, получается вот что. Контакт на уровне передачи знаний между нашими двумя мирами невозможен. Почему же люди всегда ждали такого контакта? Может быть, потому, что такая встреча неминуемо подтолкнула бы обе цивилизации на пути небывалого научного прогресса? А не при-

ведет ли это к гибели мира людей? Смогут ли они использовать эти знания себе во благо?

Но ведь возможен еще один путь. Путь без передачи научных знаний. Без взаимного потока сугубо научной информации.

Это путь чувств! Я не могу понять его, но я могу почувствовать, что он такое. Я не могу нестись в пространстве с его скоростью, но с его помощью я могу представить себе это, могу почувствовать. Ведь почувствовал же я красоту Вселенной, красоту мира, красоту начала, развития и конца, прелесть пустоты и тепло звезд, музыку гравитационных полей и шелест потоков нейтрино.

И этого вполне достаточно. Я уже стал другим. Я не тот, что был вчера. И из-за этого что-то новое появится на Земле. Цветок ли, поэма, математическая формула или корабль, улыбка или чистая слеза, мысль или простое понимание.

Да один ли я? Нас должно быть много, совершенно обыкновенных существ. И движет нами не только красота Вселенной, но и скромная красота Земли, красота своего города или реки, любимой девушки или интересной книги, красота и фантастика человеческих чувств, мыслей и отношений.

И как бы они, две или миллион цивилизаций, не были далеки и непохожи друг на друга, как бы они значительно не разошлись в техническом и научном отношении, одно у них есть общее — ощущение красоты.

Так пусть же первый контакт будет на уровне ощущения красоты, как это произошло сегодня ночью со мной!

Ты, огромный и непонятный, не имеющий со мной ничего общего, то ли сгусток энергии, то ли живое существо из белков и аминокислот, спасибо тебе!

Я видел красоту твоего мира!

А завтра я покажу тебе красоту Земли.

Я знаю, ты хочешь, ты ждешь этого.

Я буду встречать тебя. Приходи!

Я встречу тебя на той же дороге, где встретил меня сегодня ты.

И мы пойдем.

И увидим и ту смешную девчонку, которая прятала свое лицо у парня на груди, и освещенные перекрестки улиц, и цветы, для которых даже не хватает названий, и реки, и города, и горы, и океаны, и пустыни. Все, что я видел сам; все, что я когда-нибудь увижу; и все, что я так никогда не успею увидеть! Потому что на Земле прекрасного и таинственного не меньше, чем в твоей Вселенной.

У нас есть и боль, и грязь, и слезы, и смерть. Да, все это есть и в количествах на много порядков больших, чем положено, отпущено нам самой природой. Человек стал настолько могущественным, что уже способен уничтожить себя и свой мир. И даже не в адском пламени, а просто тихой и спокойной своей деятельностью без оглядки. Но мы существуем. И мы уже начали работать во славу грядущей Красоты своего мира. Нам не увидеть его.

Но пусть его увидят другие, которые придут после нас. Увидишь его и ты!

Приходи!

И, может быть, я, показав тебе обыкновенный, неприметный полевой цветок, сам увижу на небе вспышку Сверхновой или звездный дождь. Я ведь не знаю, что произойдет с тобой после виденного на Земле. Но я уверен, что ты способен ощутить и нашу красоту.

Приходи.

Я жду.

И вот я снова в конце шоссе, где начинается паутина проводов. А воздух свеж и влажен, хотя и не было дождя этой ночью. И громады зданий послушно расступаются передо мной, когда я иду по улице. И небо все светлее и светлее.

Прощай, ночь!

Сегодня я стал другим.

Прощай, самая короткая ночь в году!

Я тороплюсь в свою маленькую мастерскую, в мастерскую Красоты.

Новелла седьмая
ИЮЛЬ

Многие еще, наверное, помнят, что в Лагерном саду когда-то не было асфальтированных дорожек и разноцветных скамеек. И ходить там можно было, где захочешь, а сидеть, где вздумается: прямо на траве под соснами или на обрыве, свесив ноги вниз. И единственную лестницу, которая вела к реке, не могли отремонтировать много-много лет. Она совсем

уже развалилась, и спускаться по ней было опаснее, чем просто спрыгнуть с кручи.

Обрыв в Лагерном саду шел вдоль берега извилистой линией, кое-где глубоко вдаваясь в территорию сада, а кое-где выпячиваясь к реке. И на этих мысах часто можно было видеть парней и девушек. Лагерный сад пересекала одна-единственная аллея, являвшаяся как бы продолжением проспекта. Она была метров сто пятьдесят длиной и вела прямо к обрыву. Сюда приводили приезжих знаменитостей, чтобы они могли с высоты посмотреть на извивающуюся реку и поля за ней.

В городе любили Лагерный сад. Сосны в нем перемежались с березками и невысоким осинником. Встречались тополя и кедры. Здесь, даже если и было много народу, стояла тишина, или это ветер с реки относил звуки в город?

В Лагерном саду, в отличие от городского сада, не было никаких аттракционов и развлекательных заведений. Только в самом начале единственной аллеи стояла бочка с квасом, да и то лишь летом.

Почти на самом краю обрыва, немного в стороне от деревьев, прилепилась полуразвалившаяся избушка. Окна в ней были крошечные, крыша вся в заплатах, отставшие листы фанеры придавлены кирпичами. Избушка стояла здесь, наверное, лет сто, и до ее трубы без особого труда можно было дотянуться рукой. В домике жил старик, часто выходивший посидеть на завалинке, и две собаки-дворняжки. Они или безмолвно и безразлично следили за людьми, проходившими мимо по тропинке вдоль обрыва, или бежали метров сто за кем-нибудь, потом возвращались.

На одном углу полуразвалившейся избушки красовался кусок фанеры с надписью: «Вход 5 коп». Наверное, этот кусок прикрывал какую-нибудь дыру. Старик всегда курил и ни с кем не разговаривал, даже не делал попытки к этому. Вся тропинка возле того места, где он сидел, была усыпана окурками, и каблуки гуляющих вдавливали их в землю.

Привычка гулять по Лагерному саду прочно овладела мной. И день уже казался мне чем-то неполным, потерянным зря, если я не бродил по краю обрыва или в глубине сада.

Девушку в серой юбке и белой кофточке с короткими рукавами я видел здесь часто. Обычно она приходила сюда с гурьбой мальчишек и девчонок. Они бежали от конечной остановки по аллее к обрыву и стояли там минут десять, о чем-то споря вначале, потом умолкая. Постепенно группа рассыпалась, редела. Одни шли к выходу из сада, другие просто разбредались кто куда. Девушка оставалась одна. Она стояла так близко к обрыву, что я боялся, как бы резкий порыв ветра не сбросил ее вниз.

Мне было двадцать лет, и я знал, что она не исчезнет навсегда. Я бы нашел ее, все равно нашел.

Я не подходил к ней, не решаясь спугнуть ее мысли, ее настроение. Она стояла неподвижно, а ветер развевал ее волосы. Потом она вдруг оборачивалась, смотрела в мою сторону. Это длилось всего одно мгновение. И убегала. Убегала по единственной аллее к автобусной остановке.

А я оставался в Лагерном саду и бродил один, и думал, что подойду к ней завтра. Но наступало завтра, а все не подходил.

— Дай закурить, — сказал как-то старик, когда я шел мимо домика.

Я протянул ему пачку сигарет. Он взял одну, подумал и взял еще одну.

И я закурил вместе с ним, облокотившись на заборчик из жердей. Мы оба молчали. Я — потому что не знал, что сказать. Он, наверное, по привычке. Сигарета моя догорела до фильтра, я бросил ее в обрыв и уже совсем было собрался уходить, как вдруг неловко повернулся и зацепил плечом кусок фанеры с надписью: «Вход 5 коп». Лист оторвался и упал. Я смутился, схватил лист, хотел прикрепить его к стене. Старик осторожно, но настойчиво потянул его у меня из рук. Я отдал. Старик взял кусок кирпича, валявшегося рядом, и прибил фанеру на прежнее место. Никакой дыры этот лист не закрывал.

— Для чего он здесь? — спросил я.

— Плати пять копеек и заходи, — буркнул старик.

Так это была афиша! Старик, видно, давно потерял надежду, что в его избушку кто-нибудь зайдет. И в рекламе он явно смыслил мало. Я пошарил в кармане, но пяти копеек не нашел.

— Ну, давай еще сигарету, — сказал старик, — да и заходи, если хочешь.

Я дал ему сигарету и спросил:

— А что там?

— Что хочешь, то и есть, — снова буркнул он, сел на завалинку и затянулся сигаретой. На меня он перестал обращать внимание.

Я перепрыгнул через изгородь, подошел к покосившейся двери, с трудом открыл ее, спустился по деревянным ступеням вниз. Дверь захлопнулась, но неплотно. Внутри избушки стоял полумрак. Свет проникал только через два маленьких окна да щель в дверном проеме. Посреди избушки стояла печь, в углу — нары, покрытые старой изорванной шкурой, возле дверей — грубо сколоченный стол и бочка с водой. Ничего особенного и таинственного. Я обошел печку. За ней оказалась еще одна дверь... «Наверное, что-то там», — подумал я и толкнул ее. Но и там ничего. Я вышел наружу. Все было так же, как и минуту назад. Только на солнце набежала откуда-то появившаяся тучка, да старик курил уже не сигарету, а папиросу.

— В чем заключается аттракцион? — спросил я.

Но он уже, наверное, забыл про меня, потому что долго не отвечал, что-то соображая. Наконец, видимо, вспомнил и посмотрел на меня чуть насмешливо.

Или это мне показалось?

— Иди, иди, — сказал он мне. — Возвращайся только поскорее.

На обрыве снова стояла та девушка. И тут что-то неудержимо повлекло меня к ней. А она вдруг нетерпеливо обернулась и махнула мне рукой. Остолбенеть можно было от счастья! Значит, и она обратила на меня внимание! Я подошел. На ней было совсем другое платье, чем обычно.

— Помоги Ольге выбраться, — попросила она и показала вниз. По обрыву карабкалась вверх девочка лет семи. Я осторожно, чтобы не поднимать пыли, спустился к ней. Девочка подала мне руку, и мы благополучно выбрались наверх.

— Я бы и сама смогла, — сказала девочка.

— Конечно. Ты вон какая ловкая!

А девушка сказала:

— Стало прохладнее. Пора домой.

И они пошли.

«Сестры, что ли?» — подумал я.

— А ты не пойдешь? — вдруг обернулась девушка.

— Я?

— Не задерживайся долго, — попросила она.

Я было двинулся за ними, но меня окликнули. Старик что-то кричал и махал мне рукой.

— Сейчас! — крикнул я им вслед и подбежал к старику. — Ну? Что случилось?

— Заходи, а то мне надо еще воды натаскать, — сказал он и подтолкнул меня к двери.

Я снова вошел в избушку. Как и несколько минут назад, обошел вокруг печки, остановился возле двери, которая была чуть приоткрыта. Из нее пробивался косой солнечный луч. Машинально толкнул дверь и оказался на том же самом месте, откуда вошел. Мне и в голову не пришло обратить на это внимание, потому что я сразу же бросился смотреть, куда ушли эти сестры. Но их уже не было. И такая досада вдруг взяла меня!

— И зачем только вы меня позвали?! — набросился я на старика.

— Красивая девушка, — вместо ответа сказал он.

— Еще какая красивая!

— Любишь ее. — Он не спрашивал, а словно утверждал.

— Люблю.

— Ну и люби. Только помни: пока любишь ее, она будет молодой. Такой, как сегодня.

Я и без него знал, что она всегда будет молодой. Какой же ей еще быть?

— Дай-ка закурить, — снова попросил он.

Я выдал ему сигарету и спросил:

— Так что же все-таки за аттракцион в этой избушке? И зачем две двери?

— Дверь здесь одна, парень, — ответил он. — Одна дверь. Куда вошел, оттуда и вышел.

А, действительно, дверь-то была одна. Только сейчас это до меня дошло. А внутри домика я шел по прямой, лишь огибал печь. Вот тебе на! Что же это было? Вывернутое пространство? Здесь? Но для чего? Я так и спросил:

— Для чего это?

— А чтобы посмотреть, что там будет.

— Так ведь это одно и то же место. Что же здесь смотреть?

— Место-то одно, да время разное.

— При чем тут время?

— А при том... Кому ты помогал на обрыв влезть?

— Девчушке одной, Олей зовут.

— Вот то-то и оно, что Олей... Дочь это твоя была, девушка — твоя жена.

— Ну вот еще, — смутился я.

Он вдруг замолчал, закашлялся. А я вспомнил, что когда вышел из этой двери, то на небе была тучка, хотя и сейчас, и до этого на небе ни облачка! Да и одежда на ней, на этой де-

вушке, была другая. И позвала она меня так, словно не сомневалась, что я пойду.

— Можно еще раз?

— Отчего же. Хоть сколько. Пять копеек только плати. А лучше дай сигарету. Только подумай, стоит ли?

— А что так?

— Да так... Заходили тут всякие...

— А вы-то сами заходите?

— Захожу, да только все в одну дверь. Выйдешь в другую, а вернешься ли? Да и на что оно мне?

«Конечно, — подумал я. — Он настолько стар, что может и не вернуться».

Но я не боялся этого. Будет ли только она здесь в это время?

— Если захочешь, конечно, будет, — сказал старик.

И я рискнул. Я отдал ему всю пачку сигарет и шагнул в дверь.

А когда вышел, то почувствовал, что за спиной ничего нет. Домика нет. Только асфальтированные дорожки да белоснежные корпуса зданий над обрывом.

Я оглядел себя. Все на мне было другое. Да и сам я, кажется, стал чуть ниже ростом и шире в плечах. И в сердце вдруг что-то кольнуло, словно какая-то болезнь послала предупреждение.

А на обрыве стоит она. Она и еще одна девушка. Они очень похожи друг на друга, только вторая повыше ростом. И обе машут мне руками.

— Ну что ты все ходишь туда? — говорит она. — Ведь уже сколько лет прошло, как эту избушку снесли! А ты все ходишь.

Они очень похожи друг на друга. У обеих чуть вздернутые носы, восточный разрез глаз и черные волосы. И лет им, казалось, поровну. Их так и называют: сестры. Я сейчас это вдруг припомнил. Я все-таки что-то помню, но очень мало. В один миг пронеслись эти двадцать лет. В один миг...

— Что с тобой, папка? — спрашивает меня дочь.

— Так, Оля. Грустно. Время бежит... Только вошел в одну дверь и вышел, а прошло почти двадцать лет...

— Брось, папка. Ты еще совсем молодой.

— Правда, ты совсем не изменился, — говорит она. — Какой был, такой и остался. Секрет молодости, наверное, знаешь?

Я смотрю на нее. Нет! Это она совсем не изменилась. Ей так и осталось восемнадцать. Прав оказался старик. Она всегда будет молодой.

А я? Что я помню из этих двадцати лет, промелькнувших в одно мгновение? Что я знаю о ней? Только то, что люблю ее. Двадцать лет! Ведь я даже не знаю, какие ей нравятся цветы, запахи, книги. Я почти ничего о ней не знаю. Кроме одного: я люблю ее.

Они берут меня под руки, и мы идем по чистеньким асфальтированным дорожкам Лагерного сада, мимо киосков и каруселей, мимо аттракционов и клумб. Лагерный сад уже не тот. Только молодые парочки все так же ходят в обнимку и целуются, полагая, что их никто не видит. Или им просто ни до кого нет дела?

И мне вдруг так захотелось очутиться в том, старом, Лагерном саду, в котором я увидел ее первый раз...

Но домика старика уже нет. И даже на мгновение я не могу вернуться в прошлое.

— Знаете, что? — говорю я жене и дочери. — Расскажите-ка мне, как мы жили эти двадцать лет... Я что-то... Все тот день у меня перед глазами...

А в Лагерном саду, как и раньше, как и всегда, тихо-тихо. Это, наверное, ветер с реки относит звуки в город.

Новелла восьмая
АВГУСТ

Темнеет. Пора идти. Такая у меня работа.

Я стою на балконе. Прислушиваюсь. Всматриваюсь в просветы между шестнадцатиэтажными домами и девятиэтажками. Где-то там только что село солнце. Но закат мне не виден. А над головой начинают зажигаться звезды. На агитплощадке сейчас будут показывать кинокомедию. Старушки с малыми детьми уже заняли скамейки. А позади и с боков толпа молодых людей, парней и девушек. Еще несколько минут, и звук из стоваттного динамика начнет отражаться от домов и гулять в небольшом замкнутом пространстве, многократно отражаясь, накладываясь друг на друга, превращаясь для жильцов бетонных коробок в какофонию. А зрители периодически дружно и громко будут взрываться хохотом. А потом еще долго будут расходиться, теряя друг друга в толпе и

громкими голосами отыскивая знакомых. Что ж... По плану на агитплощадке раз в неделю должны показывать кинокомедию. И даже проливной дождь не устраняет это мероприятие, а лишь переносит его на следующий день.

Слева между домами чернота. Это ползет туча. Гроза предсказана. Ну что ж, посмотрим. Я никогда ничего не решаю заранее. Все должно получиться само собой, естественно, ненавязчиво, свободно. Такая уж у меня работа.

Жена провожает меня. Она привыкла. Хотя сначала никак не могла понять, за что мне платят сто двадцать рублей плюс пятнадцать процентов — северная надбавка к зарплате. Жена вздыхает. Она не любит мою работу. Ты очень быстро стареешь на ней, говорит она. Возможно. Но дело в том, что работа мне нравится.

Старший сын в отъезде, дочь на какой-то вечеринке, младший, наверное, затесался в первые ряды любителей кинокомедий. И вот ведь что странно. Почти в каждой квартире включен телевизор, каждый вечер, каждый день. А им, людям, нужно еще кино на агитплощадке. Впрочем, вполне возможно, что они хотят побыть на людях, почувствовать свою приобщенность к человечеству.

— Ну, я пошел, — говорю я.

— Счастливо, — отвечает жена. — Опять сегодня промокнешь?

— Не знаю. Но это не страшно, если и промокну.

Я выхожу. Мне нельзя торопиться. Мне нужно вжиться, войти в роль, окунуться в воспоминания. И в то же время остаться здесь, в этом теплом вечере. А какой сегодня, действительно, теплый вечер! Что за вечер! Как тогда... Последняя теплая, тихая, насыщенная запахами и таинственностью неделя. Днем еще долго будет тепло. А вот ночью — уже нет, до следующего лета. Работать в такой вечер, в такую ночь легко. Все получается само собой. Не то что в холод и слякоть. А вот зимой снова легче.

Я иду по бульвару Кирова. С двух сторон тополя, старые-старые, им уже по семьдесят лет. Скамейки. Люди сидят на скамейках. Разговаривают, смеются. Очень много людей. Но это не те, что будут бродить ночью. Вернее, большинство из них вскоре разойдется по домам и общежитиям. Ну, да ведь каждый волен...

А вот идет навстречу мой сослуживец. Идет медленно, опираясь на тросточку. Он уже не может быстро ходить. Он

стар. Шляпа-канотье на нем. Белоснежная манишка и манжеты. Начищенные до блеска желтые штиблеты с чуть загнутыми вверх носками. Костюм немыслимого покроя. В плечах широк, в талии узок. Брюки мешком от самого ремня. Кто-то даже показывает на него пальцем, правда, за спиной, и смеется. Наверняка прохожие думают, что он из цирка. А он просто вышел на работу. Он уже пятнадцать лет как на пенсии, а вот ведь все равно работает. Мы раскланиваемся молча, он — с достоинством, я — с глубоким к нему уважением. И хочется, мне давно хочется посмотреть на его работу. Там еще, наверное, есть рысаки, красные рубахи с кушаками, сапоги в гармошку, картузы. И совсем другой город. Там, где мы с ним только что раскланялись, стоят редкие домишки с садами из черемухи и рябины. Лай собак. Лавочки у ворот. Тихий шорох, шепот. Чья-то пьяная песня. И тишина. Все равно там такая тишина! Небо чистое, звездное, от горизонта до горизонта. Пройтись бы по этим улочкам, этой городской окраине, посидеть бы под черемухой, сорвать гроздь еще не дозрелых ягод, ощутить во рту их вяжущий вкус. Он это может. Да вот только, к сожалению, мы всегда работаем в одну смену. К тому же, мне нужно идти дальше.

Я иду и чувствую, как незаметно перескочил в далекое прошлое. Не свое, а чье-то. Но откуда легче возвращаться. Поэтому, наверное, все наши сотрудники любят его, этого старика, и стараются в начале смены хоть издали махнуть ему рукой или раскланяться, как только что я.

Бульвар мало изменился. Разве что вместо песка стал асфальт, да бетонные бордюры, установленные таким странным образом, что в дождь или после дождя лужам некуда стекать, а людям негде пройти. Аллея Славы в конце бульвара, с портретами лучших людей района. Дальше квартал вниз, под горку. Угол общежития. Здесь... Но это чуть позже, на обратном пути.

А туча уже закрыла полнеба. Но такое однажды было. Я очень хорошо помню. Все посматривали на нее настороженно. Ну, пусть не сегодня! Пусть через неделю! Зачем же сегодня? И туча вняла мольбам. Уползла за горизонт, все же успев насытить воздух влагой. Звезды засверкали, как хрустальные. Но прохладнее не стало. Все так же тепло, прозрачно, тихо. И ветерок, слабенький, чуть-чуть, как напоминание о неразошедшемся дожде.

Пусть и сегодня уползет туча. Как тогда... Пусть все будет, как тогда. Редкие машины, так что можно идти по проез-

жей части. Асфальт, кончающийся здесь, на этом перекрестке. Там дальше, вверх по проспекту Тимирязева, вдоль главного корпуса политехнического — булыжная мостовая. Ах, как приятно было ходить по ней. Отчетливый и таинственный стук, чуть наклоненные к середине дороги березы, вечность. Конечно, в современных туфельках по булыжникам... А может, интереснее даже. Ведь это не навсегда, это только на одну ночь, да и то не для всех, а только для тех, кто захочет.

Машины идут потоком, корячатся на повороте громоздкие троллейбусы, иногда выбрасывая в небо свои пружинистые рога. И тогда образуется пробка.

А для тех, кто хочет — пустынная улица. Разве что в полчаса раз пройдет пустой автобус. Пусть нетерпеливые скучают, пусть бегут к телевизорам, пусть те, кто думает, что так было всегда, пусть те, кто считает: что за жизнь была у вас там тогда? — пусть эти уходят. А останутся влюбленные, непризнанные поэты, мучащиеся бессонницей, покинутые, желающие протанцевать под звездами, промокнуть под теплым ночным дождем. Пусть выйдут те, кому неуютно дома, кому не с кем поговорить, некому излить душу, кого никто не хочет поцеловать. Идите! Все может случиться в эту теплую августовскую ночь.

Так было...

Пожалуй, еще рано. Не беда. Я начну с Университетской рощи. Это, наверное, самое красивое место в Усть-Манске. Фонари выхватывают из темноты кусты давно отцветшей сирени, ветви деревьев и даже целые деревья. И очень странен зеленый цвет листьев. Он и зелен, и в то же время слепяще бел и черен. Сейчас нет полутонов и плавных переходов цвета. Светлый лист и тут же за ним, чуть повернутый под другим углом, черный, отливающий глянцем. Конусы света сейчас сами кажутся фантастическими деревьями, безмолвными, загадочными, пирамидальными, каких здесь не может быть. Решетка рощи. Вход. Хорошо, что здесь нет ворот. Вход свободен в любое время суток. Я не знаю, сколько видов деревьев и кустов в этом чудесном уголке. Когда-то слышал или читал, но уже забыл. Да и неважно это. Некоторые из них наши, сибирские, а названия других я бы, наверное, не смог выговорить.

Я иду по тропинкам, и уже песок скрипит под ногами. Как все пахнет вокруг! Какой сложный узор запахов! Тишина. И звуки где-то далеко-далеко, но они не разрушают тишину, а лишь оттеняют ее, подчеркивают. И что-то творится с моей

душой. Это и тревога, и печаль, и ожидание. Не спугнуть это настроение. Печаль — самое информационное состояние человека. Грусть и печаль. Сейчас все и рождается. То настроение, с которым я бродил когда-то здесь. Конечно, я был более уверен в себе, потому что ни черта не понимал. Но и это — драгоценность. Я иногда останавливаюсь и прислушиваюсь. Я ничего не хочу услышать специально. Это получится само собой. Я даже и не прислушиваюсь, разве что к себе. Кто-то идет мне навстречу, кто-то удаляется, кто-то стоит, один, и непонятно, ждет ли он кого или уже расстался. И звезды над головой, и тишина, напоенная шорохами, дыханием, запахами, ожиданием, которое никогда не разрешится.

Все так, как было когда-то. Только люди другие.

Я хочу только одного, чтобы они почувствовали мое настроение, и тогда они перенесутся в другой мир, не оставляя своего.

Фонари меняют свою форму, они даже возникают в других местах, да и немного их здесь... А на месте клумбы возникает скульптура, которой уже давно нет. И слава богу, что нет.

А я все брожу по дорожкам и тропинкам. Я никому не мешаю. А сердце в груди готово разорваться от невыносимого счастья-боли. Счастье-боль. Пусть почувствуют люди, какой сегодня вечер, какая сегодня ночь! Пусть выйдут из своих бетонных коробок.

Они придут. Я знаю. Они уже начинают собираться, сами не понимая, что их так влечет, гонит на улицу. Не все, конечно... Но пусть — хотя бы некоторые.

Но ведь была не только грусть. Грусть все чаще и чаще приходит сейчас. А тогда она лишь иногда налетала. Было иное, многое, чего уже нет и не вернется, потому что город изменился, помолодел и состарился. Он стал не таким сорвиголовой, условности сковывают его, респектабельность, порядок.

Да и я ведь уже не тот.

Ах, как здесь танцевали! Прямо на асфальте. Под звездным небом. Пошли на пятачок? Пошли. А на пятачке тысячи полторы народу. Кто в лыжных брюках, широких, фланелевых, и куртках с карманами на груди, тогда это еще было модным, кто в зауженных до предела брюках, это еще только набирало силу и считалось стильным. Стиль преследовался, не по закону, конечно, а так, в меру умственных способностей некоторых очень правильных людей. Здесь парни в лыжных

ботинках и даже в кирзовых сапогах. А девушки в простеньких платьицах, у некоторых сверху кофточки, это на тот случай, если станет прохладнее.

Да только разве станет прохладнее в такую дивную ночь?

Не играет на эстраде «группа», не плачет в микрофон солистка. Здесь все стихийно, все ненарочно, все получается само собой. В одном конце играет аккордеон. Что-то модное, фокстрот «линда», который на вечерах в клубе еще остерегаются танцевать. Могут ведь и из зала вывести. Но только не здесь. В другом конце кто-то бренчит на гитаре, его и слышат и не слышат, но всем ясно, что это танго, танго! А вот и «Амурские волны» льются из баяна. Здесь танцуют со знакомыми, однокурсниками и совершенно незнакомыми людьми. Да здесь и не надо знакомиться, хотя, вообще-то, можно. Здесь даже не надо говорить «пошли». Здесь все ясно по глазам, по взвинченному, радостному, легкому настроению. Здесь все понятно. Протянул руку, обнял за талию и пошел, закружился, понесся в вихре. На мгновение выпустил из рук, и уже другая положила тебе руку на плечо. Кто-то кого-то потерял и растерянно ищет в толпе и, может, даже проклинает себя за то, что так неосмотрительно привел подругу на этот пятачок. А вот там танцуют не под аккордеон, а под свою песню. И аккордеон сдается, меняет мелодию, выжимает из мехов столько звуков, сколько только может. Да и надоело аккордеонисту, ну, не надоело, а вон с той красавицей бы пройтись. Эй, кто умеет? Умеют, здесь все умеют. Поиграй, а? Давай. Ремень с плеча на плечо. И не боится владелец, что сопрут его драгоценный инструмент. И кружится в сторону Московского тракта, переходя из вальса в фокстрот, а потом в танго и даже в вальс-бостон, да все с шуточками, с выкрутасами разными. Расступаются перед ними, хохочут, смеются, хлопают в ладоши. А он уже в другую сторону, к физико-техническому и Дому Ученых. И не устал, нет, не устал, только крикнет: давай эту! И гитарист его понимает, и баянист уже идет за ним, на ходу раздирая мехи. И что-то новое, запретное, уже носится в воздухе, с ним будут долго бороться, но потом все же поймут, что ничего в нем страшного нет. Не развращает он молодежь. Да и пройдет, сам собой пройдет, сгинет, исчезнет. Рок... Рок-энд-рол. Рок-н-рол. Это еще потрясение, невидаль. Даже любители фокстрота «линда» возмущаются. Бесстыдство. Позор. Стиль! Да и каждый ли сможет так? Дернул партнершу за руку, кажется, оторвет руку, перекинул через спину? Что делается?!

Ладно...

Тут ведь еще что? Тут ведь рядом клиники мединститута и, напротив, родильный дом. Проклинают молодежь больные, которые не могут заснуть. А роженицы, наверное, не проклинают. Да и больные не все. Прыгал же раз из окна один с загипсованной ногой, предварительно выкинув костыли. И тоже пытался незнакомо вертеться на одной ноге, отбросив в стороны ненужные ему в тот момент костыли. Потом едва нашел их. Все-таки, как-никак, государственное имущество. Нянечки прибегут, покричат, покричат, а если помоложе, то и сами сначала потанцуют, а потом уж докладывают, что студенты их не слушают. Никто не умер из-за этой ночной вакханалии. А дети, по статистике, рождались нормальными и, подрастая, все же были чуть веселее других по характеру.

А я вижу, как какой-то баянист начинает играть. Негромко, словно примериваясь. Нет, сейчас здесь нельзя. Пойдем вон туда, к общежитию по Кирова, 2. Там мешать некому. Общежития, корпуса политехнического, а места тут не меньше. Пойдем, соглашается он. И компания, с которой он, наверное, пришел, устремляется к другому «пятачку». Их не один и не два, этих «пятачков». Есть и у Лагерного сада, есть и в других местах.

О, здесь уже ансамбль! Аккордеон, три гитары, три мандолины. Ну, эти-то все могут, начиная от вариаций на тему «Светит месяц» и кончая вальсом «Плач Наполеона».

Сегодня мне и делать-то почти ничего не приходится. Настроение. Да... настроение.

Студенты возвращаются к началу семестра. Город осенью молодеет.

Не всем, конечно, хочется танцевать. Одни идут в обнимку и даже не замечают эту многотысячную толпу. А вот кто-то бочком отходит в сторону, но все еще приплясывает, оглядывается. Тянутся пары и целые компании от пятачка к пятачку. Тут подхватили баяниста под руки и волокут в гору. Да он и не упирается. Крикнул что-то и заиграл вальс. Один, второй, третий. А остальные, значит, будут кружиться от этого перекрестка до самого Лагерного сада. По спору. Или просто так.

Людей много. Идут и по тротуарам, и по булыжникам, сворачивают в переулки и улицы, идут и компаниями с песнями и хохотом, идут в одиночку. Я пьян, пьян. Ни с того ни с сего, без всяких бутылок и стаканов. Нет, не пьян, я опьянен.

А у Лагерного сада раздолье... Площадь огромна и звонка. Жаль вот только, что и здесь неподалеку клиника. Но эта все же подальше, чем у Московского тракта.

Ночь дышит, живет и проходит...

Ух, ты! Я ведь чуть было не забыл про дождь. Дождь тогда был. Будет и сейчас.

Никто из них и не заметил, как надвинулась туча. Тихо зашелестело что-то со стороны реки, зашуршало и обрушилось. Дождь плотный, прямой, теплый. Крупные капли его взбивают пузыри на асфальте. Приглушается музыка. Неужели побегут? Да нет... Только двое держат над баяном куртку. Кто-то стаскивает с себя уже промокший пиджак и накидывает на плечи девушке. Но парней в пиджаках здесь мало. Ведь ночь так тепла. Облепили мокрые платьица фигурки девушек, шлепают по ногам широкие штанины у парней. Кто-то все же не выдержал, побежал по лужам. Но, впрочем, может, им просто пора в общежитие, и дождь тут ни при чем.

Дождь короткий, минут на десять. И снова звезды, да такие огромные, такие яркие! А что теперь волноваться? Пять минут, и платье высохнет. Но зато откуда-то ударяют запахи. Чистым и благоуханным пахнет после дождя.

Я еще брожу. К роще, к Лагерному. Сам Лагерный сад — не мой участок. Это так, для порядка. Мне уже ничего не нужно делать.

Светает. Пятачки рассыпаются. Но человек пятьдесят возле Лагерного продолжают танцевать. А у аккордеониста сводит пальцы, и он иногда ошибается. Да только его уже все равно не слушают.

Вот и кончается моя работа. Потанцевали, погорланили песни, побродили по тихим и зеленым улицам и садам.

И всю ночь шли по улицам машины, и никто не нарушал сон больных, рожениц и вполне здоровых людей.

Разве что дождь... Дождь действительно был. Теплый, тихий и короткий.

Уже светло. Солнце иногда выглядывает из-за коробок бетонных домов. Прохожих еще мало. Я иду домой.

А что же мне вспомнить на следующую ночь? Вообще-то я никогда не задумываюсь над этим. Настроение должно само все подсказать. Но сейчас хочется чего-то особенного. Гуляния, что ли? От Лагерного сада до речки Ушайки.

Ведь были же такие. Были! Начинались еще в апреле и продолжались до самой осени. И никто их специально не организовывал. Никто никого не заставлял, не принуждал, не уговаривал. На улицы Тимирязева и Ленина вываливал весь город. Ходили, танцевали и пели. Кто что хотел. Вот только что делать с транспортом? Оборвать где-нибудь тролли? Или вскрыть канализацию за деревянным мостом? Теперь-то на его месте бетонный. Нет. А как же пассажиры, рвущиеся с вокзала на Каштак? Что же придумать?

Что-нибудь придумаю.

Вот я и дома.

Жена уже встала.

— Все нормально? — спрашивает она.

— Все нормально, — отвечаю я.

— Устал?

— Да нет. Не устал я нисколько.

Она подходит ко мне и долго смотрит в лицо. Не в глаза, а в лицо.

— Стареешь ты. Вот еще морщинка появилась.

Чего это я старею? Ну, не без этого. И морщинки, конечно, есть. Да только это еще не старость.

О, милая, да ты, кажется, сама провела ночь без сна. Тоже путешествовала?

— Вспомнила, — говорит она, угадав мой вопрос. — Накатилось что-то. Не уснуть... Да. Унеси сегодня туфли в Дом быта. Каблуки твоя дочь сбила на булыжниках.

— На каких булыжниках? — удивляюсь я.

— На самых обыкновенных. Пришла под утро, туфли в руках. Возле политехнического сбила на булыжниках. Они, видите ли, вальсировали от Университетской рощи до Лагерного сада.

— Ладно. Отнесу.

Уже давным-давно булыжную мостовую по проспекту Тимирязева залили асфальтом.

— Пей кофе, — говорит жена. — И все же, сколько у тебя морщинок от этой работы.

Это не от работы. Тут другое. Мы взрослеем, стараясь заглянуть в свое будущее. Мы стареем, потому что все чаще и чаще возвращаемся в свое прошлое...

Но вслух я ничего не говорю.

Да она и сама это знает...

Новелла девятая
СЕНТЯБРЬ

Каждый год в конце сентября я беру отпуск. Меня не влечет бархатный сезон на юге, я остаюсь в городе.

Рано утром я выхожу из дому и спешу в лес. Что тянет меня туда? Затихает шум машин и перезвон трамваев. Город остается позади. И вот я среди берез. Они стоят наполовину голые, и ветер ежесекундно срывает с них трепетные живые листочки, которые, описывая замысловатые траектории, мягко падают на землю. Ласковый золотой дождь, золотая земля, золотое солнце и воздух. И лишь стройные молнии белых, как снег, стволов берез.

Я не останавливаюсь, я иду дальше, я почти бегу, спускаюсь в Бабий лог. Ноги пружинят по болотистой почве, я продираюсь сквозь кусты. Они еще совсем зеленые. Грязноватый, замусоренный ручей. Домики владельцев мичуринских участков на другом берегу, огороженные колючей, проволокой. Мимо, мимо. К реке. Я скатываюсь с бугра, подхожу к реке, зачерпываю пригоршню воды. Рыбаки в резиновых сапогах, стоящие чуть ли не по пояс в воде, косо смотрят на меня. Я могу распугать рыбу. Тишина кругом. Только чуть слышный шепот реки, да далекий гудок теплохода, да мягкий шелест ветра в ветвях берез.

Пусть не волнуются рыбаки. Я ухожу. Пожухлый Потапов луг остается позади с пустой теперь лодочной станцией, с грибками, под которыми сейчас скрываются от солнца только их собственные тени. Закрытые пионерские лагеря и случайная дворняга, которая все еще живет здесь, хотя дети давно в городе. Огромные лапы кедров, которых не страшит скорый приход зимы.

Кедровый бор выводит меня к Басандайке. За лето она почти совсем обмелела, и я перехожу ее вброд. Я с удивлением смотрю на странное смешение красок: золота и густой зелени, белых полос и могучих коричневых стволов. Они стоят вперемежку. Березы и кедры. Как юноши и девушки, приготовившиеся к танцу. Но я лишь на мгновение могу задержаться здесь. Я лезу в гору. Здесь снова пионерские лагеря. Асфальтированная дорожка над обрывом. Людей нет. Молчание. Говорит только лес. Вперед, вперед. Через поле не скошенной еще пшеницы, через овраги и разбросанные стометровыми пятнами березовые островки. Рябины, сползающие вниз по

оврагу. Странные и родные, будоражащие душу. Мне легко, мне не терпится, я бегу все дальше и дальше.

Цель моего утра — Синий утес. Он возвышается многометровой стеной над грустной рекой. Серо-синий, кое-где изъеденный ветрами, размытый дождями.

Я пришел.

И я снова встречаю ее.

Она появляется среди берез, словно ждала моего прихода. Сегодня она не машет мне рукой. И не поймешь, веселая она или грустная. Она словно плывет по желтому ковру из сухих березовых листьев. Она останавливается в пяти метрах от меня и смотрит долгим взглядом.

— Здравствуй, — говорю я.

— Здравствуй, — отвечает она.

— Значит, я увижу их?

— Ты не передумал? Еще есть время.

— Нет. Я все решил.

Она подходит ко мне и треплет волосы на макушке.

...Так было и в первый раз.

Я встретил ее здесь же. Много лет я прихожу сюда в конце сентября. Она, как и сегодня, словно возникла среди деревьев, черноволосая, в белом платье. Я посмотрел на нее. Нельзя было не посмотреть на нее хоть раз. Все равно она пройдет мимо. Все равно пройдет стороной. А она подошла ко мне.

— Тебе не холодно в таком легком платье? — спросил я. Ведь было действительно прохладно, сентябрьское солнце уже не так греет.

— Нет, — ответила она.

Мы замолчали. Да и о чем было говорить? Желтый дождь шелестел вокруг. Я и знал, и не знал ее. Она была похожа на женщину, которую я любил когда-то. Только это было давным-давно.

Она пошла, и я пошел рядом с ней.

— Хорошо здесь, — сказала она.

— Хорошо.

Мы подошли к обрыву. Противоположный берег Маны был низкий, заливной, весь в озерах и старицах. Горизонт отстоял от нас километров на двадцать и терялся в сероватой дымке. Я не хотел уходить, не уходила и она. Стоять с ней рядом было радостью, и я сказал:

— Ты очень похожа на одну женщину.

— Я знаю, — ответила она.

— Ты не можешь этого знать. Это было очень давно.

— Я все знаю.

— Ты колдунья?

— Нет-нет, — испугалась она. — Просто я все знаю.

— Тогда скажи, как ее звали.

Она назвала ее имя. Назвала правильно и добавила:

— Это и мое имя. Спроси еще что-нибудь.

Я не стал спрашивать, повернулся и пошел прочь от обрыва. Мне не хотелось ее ни о чем спрашивать. Она все знала. Я поверил в это. Я не хотел вспоминать то, что каждый день старался забыть. Но она догнала меня, остановила и потрепала рукой по макушке.

— Не обижайся. Мне очень хотелось побывать здесь.

— Пожалуйста. Я не буду мешать.

— Всегда ты так. Разве дело в том, чтобы только не мешать?

— Что же еще?

Она покачала головой. И грусть была в ее глазах.

— Нарви мне букет. Я возьму его с собой.

— Сейчас уже нет цветов.

— Цветов нет, но есть листья. Разве они менее красивы, чем цветы?.. Я помешала тебе? Ты хочешь остаться один? Скажи тогда, зачем ты приходишь сюда?

Я не ответил.

— Я приду сюда завтра, — сказала она. — А ты?

— А я — нет.

— Не верю. — Она повернулась и ушла, и растворилась среди берез. И тогда я бросился за ней, но не догнал, потому что некого было догонять. Только ветер вздымал маленькие вихри листьев и бежал дорожкой среди деревьев, словно это был ее след.

На следующий день я встретил ее с букетом листьев. Я излазил все овраги, стараясь найти красивые. Красные, оранжевые, темно-желтые и светло-серые. Букет ей понравился.

— Почему ты не захотел этого сделать вчера?

— Я боялся, — честно признался я. — Боялся, что не уйду от тебя.

— Ты и тогда боялся, — тихо сказала она.

— Когда тогда?

— Когда у тебя должен был родиться сын.

— Кто может знать, сын или дочь?

— Но я знаю. У тебя родился сын.

— Нет! Ты ничего не можешь знать. Это было давно. Тебя и самой-то еще, наверное, не было тогда... Да. У меня должен был быть ребенок. Но я не захотел этого. Струсил? Возможно. Тогда было слишком трудное время, чтобы рождались дети...

— У других все же рождались.

— Ну и пусть. Я ни о чем не жалею.

— А ты совсем не изменился.

— Ты говоришь так, словно знала меня раньше.

— Знала.

В тот день мы больше не говорили об этом. Просто бродили по лесу, загребая ногами листья, разглядывая муравейники, смеясь и радуясь солнцу и прозрачному воздуху. Я помогал ей перепрыгивать через ручьи, переносил через маленькие болотца, потому что она была в летних туфлях. Я разглядывал ее украдкой. Да. Она была очень похожа на ту женщину, только той сейчас было бы не двадцать лет.

— Хороший был день сегодня? — спросила она.

— День был самый лучший, — искренне ответил я.

— Ты уже однажды говорил это, — погрозила она мне пальцем.

— Значит, сегодня еще лучше.

— Мне пора. Я ухожу. А завтра снова буду здесь.

— Где ты живешь?

— Там же, где и ты. — И она ушла и снова затерялась среди берез, и маленькие смерчи побежали за ней, но не догнали и успокоились, улеглись желтыми полосами.

На следующий день я сказал:

— Ты и есть та женщина, которую я когда-то любил.

— Конечно, — согласилась она. — Я — это она.

— Как можно поверить в возможность такого?

— Но ты же сам пришел к этой мысли.

— Значит, это возможно?

— У нас стало возможным. А у вас нет.

— У вас, у нас... Как это понять?

— Я расскажу. Помнишь, в вашем классе учился один мальчишка? Белобрысый, худой. Он любил стихи и плохо справлялся с физикой.

— Помню! Мы же с ним потом в одной роте служили.

— Так вот. Он стал великим физиком. Он разработал теорию Возможных Миров.

— Неправда. Его убили. Я был с ним рядом, когда он упал. Я вынес его, но он был уже мертв.

— Расскажи...

— Что рассказать?

— Почему его убили, почему ты остался жить...

— В разведке. Мы неожиданно увидели трех автоматчиков. Он встал передо мной. Он заслонил меня.

— Вы увидели их одновременно?

— Нет. Я чуть раньше. Он смотрел в другую сторону. Надо было нам упасть.

— Ты и сейчас так думаешь?

— Я часто думал, что мог заслонить его прежде, чем это сделал он.

— Почему же ты этого не сделал?

— Не знаю.

— Так вот. Ты успел это сделать. Он вынес тебя к своим, но ты был уже мертв. Ты умер, а он остался жить.

— Нет. Все наоборот. Ведь я стою перед тобой.

— Это здесь. А в мире, который является для вас только возможным, тебя нет.

Я поверил ей, хотя не мог себе представить этого странного мира. Мира Возможного. И отсутствие себя в этом мире я не мог представить.

Был еще день. Я просил ее рассказать мне о Мире Возможного. И она рассказывала. И мир ее был прекрасен. Не своими городами и реками, не полетами за пределы солнечной системы и радостным трудом. Он был прекрасен мыслями, чувствами и отношениями людей. Она рассказала мне про моих друзей. О белобрысом худом поэте, который стал Великим Физиком. И о других, которых уже не было на этой Земле или о которых я ничего не знал. И чем больше она рассказывала, тем явственнее я понимал, что моя жизнь была цепочкой маленьких и больших предательств, невидимых окружающим, потому что они были спрятаны глубоко в душе; цепочкой страхов и сомнений, когда нужно было действовать прямо и решительно; цепочкой недомолвок, которые незаметно перерастали в боль и страдания других людей.

Я испугался любви к женщине, испугался, что она затянет меня в свой непонятный мне мир. И я посоветовал ей избавиться от ребенка, чтобы быть свободным. Я спрятался за спину своего лучшего друга, когда нам в лицо смотрели дула автоматов. Я не подал руки одному человеку, когда тот в этом

нуждался, посмеялся над другим, когда этого не следовало делать, я ушел, когда мне не нужно было уходить, закрыл глаза, когда нужно было смотреть еще пристальнее, чем прежде.

— Неужели все это правда? — я покачал головой.

— Правда, — сказала она, имея в виду свое, потом посмотрела на меня и смолкла на полуслове.

— Не смотри на меня так, — попросил я.

— Что с тобой? — спросила она и погладила мои волосы длинными гибкими пальцами. — Ты поседел...

На следующий день она спросила:

— Почему ты никогда не спросишь о своем сыне?

— Так он все-таки родился?

— Да, в нашем мире он родился. Ему уже двадцать два года. Он работает летчиком-испытателем и любит одну очень красивую девушку.

Она рассказывала мне о нем, а я все слушал, слушал, слушал. Мне хотелось знать о нем все. Мне хотелось видеть его. И тогда я стал просить ее, чтобы она привела его сюда.

— Это невозможно, — сказала она. — Ведь его нет в вашем мире. И он не может появиться здесь.

— А ты? Значит, та женщина еще жива, если ты здесь?

— Да. Это должно быть так. Тебе не хочется увидеть ее?

— Я боюсь.

— Ты всегда боялся.

Она ушла и не появлялась целый год. А в этом году в конце сентября я увидел ее вновь. На том же самом месте. Она нисколько не изменилась. Ей снова было двадцать лет. Я бросился к ней и прижал к себе. И она не протестовала, только заметила:

— Ты изменился за год.

Да. Она была права.

За год я изменился.

Теперь я был не только слушателем, я рассказывал сам, а она смотрела на меня удивленными и радостными глазами. И глаза ее говорили: «Тебе стало лучше...» Да. Я прожил беспокойный год. Лучший год в своей жизни.

Мы рассказывали друг другу, а потом просто молчали, и желтые кружочки березового дождя падали нам на плечи.

— Ты был у нее?

— Был. Она не захотела меня видеть.

— И ты ушел?

— Нет. Я все же видел ее. И рассказал ей все.

— Она простила тебя?

— Нет. Но она улыбнулась.

— Ты любишь ее?

— Люблю.

— Ты вернешься к ней?

— Нет. Я ей не нужен. У нее есть семья.

И был еще день. И еще. Один счастливее другого. Она возникала среди белых стволов берез, и я бежал к ней. Мы сидели обнявшись у самой воды, и река медленно текла у наших ног, что-то шептала нам, чего нельзя было понять из-за ее глубины.

— Я хочу посмотреть на ваш мир, — сказал я вчера.

— Я ждала этого. Ты не боишься?

— Нет.

— Все равно это невозможно. Тебя нет в нашем мире. И ты не можешь в него попасть. Разве что на мгновение. Но тогда ты не сможешь вернуться назад. И, прожив мгновение там, исчезнешь, перестанешь существовать везде.

— Все равно я хочу увидеть его, этот мир. И тебя, и сына, и Великого Физика, и всех остальных.

— Подумай. Здесь мы могли бы встречаться еще долго.

— Нет. Разреши мне все увидеть собственными глазами.

— Хорошо. Подумай хотя бы до завтра.

...Она появилась среди берез, словно ждала моего прихода. Сегодня она не машет мне рукой. И не поймешь, веселая она или грустная. Она словно плывет по желтому ковру из сухих березовых листьев. Она останавливается в пяти метрах и смотрит на меня долгим взглядом.

— Здравствуй, — говорю я.

— Здравствуй, — отвечает она.

— Значит, я увижу их?

— Ты не передумал? Еще есть время.

— Нет. Я все решил.

Она подходит ко мне и треплет волосы на макушке.

— Поцелуй меня, — говорит она. — Там будет много людей.

Мы стоим, прижавшись друг к другу, двадцатилетняя женщина и я, уже совсем седой, поседевший в один день. Я чувствую, что она не хочет меня отпускать. Ведь теперь она потеряет меня навсегда. Она отталкивает меня и шепчет беззвучно: «Люблю».

— Люблю, — говорю я ей.

— Подожди меня здесь, — говорит она. — Я дам тебе знак.

Она уходит все дальше и дальше, медленными шагами, оглядываясь и останавливаясь на секунду. Обнимает березу. Может быть, ей трудно идти, или там кнопки неведомого мне аппарата.

Она отрывается от ствола, выпрямляется, зовет меня к себе. И я иду к ней.

Я хочу хоть на миг увидеть мир, в котором я не испугался своей любви, мир, в котором я не убил своего сына, мир, в котором я не предавал своих друзей, не прятался за их спины.

Я иду к тебе, моя молодость! Возьми меня хоть на миг!

Ветер взвивает сухие желтые листья, создавая маленькие стремительные вихри. Ветер режет лицо, сушит глаза... Я иду, и она все ближе, ближе. Остался один шаг...

Новелла десятая
ОКТЯБРЬ

Трижды в день мы ходим с Маркизом на этот пустырь.

Когда-то здесь был ипподром, но потом город разросся, забор и деревянную трибуну снесли, конюшни перевели в другое место. На новом ипподроме я никогда не был. А здесь началось строительство. Сначала возник Дворец Зрелищ и Спорта, но места еще оставалось много. Потом на другом конце — три девятиэтажки-башни. Плавательный бассейн пятый год зиял огромными пустыми глазницами окон.

Ипподром прикрыли, но еще долго строительство на нем не начиналось. Он весь зарос травой, полынью, репейником и ромашками. Тогда-то жители окрестных домов и начали заводить себе собак. Эта волна прокатилась как эпидемия. А однажды жена и дети заявили, что нам нужна овчарка. Я предполагаю, что они сговорились предварительно, так как напирали на меня дружно и энергично.

Хорошо, сказал я, возьмем овчарку. Но собаки были в дефиците. В клубе служебного собаководства очередь за щенками растянулась уже на год. Я втихомолку радовался этому, потому что предполагал, что все заботы по уходу за другом человека свалятся на меня. А за год многое еще могло измениться. Но однажды жена принесла щенка, серого, толстого, симпатичного и сказала: вот у нас и овчарка! Эту «овчарку»

она купила у какой-то старухи, которая продавала щенков возле магазина.

Никакая это было не овчарка, а обыкновенная дворняга, метис, помесь овчарки с лайкой. Плебей, одним словом. Но он привел в такой восторг всю нашу семью, так смешно переваливался с боку на бок на коротеньких еще лапках, звонко лаял и уже чего-то требовал, что мне тут же стало ясно: у нас появился новый член семьи. Да и потом, подумал я, какая разница: овчарка это, дворняга или дог? Ведь люди, может, и выбирают себе собак по породе, но уж любят-то их просто так. Смотришь, и спина прогнулась у иной собаки, и лапы задние саблевидные, рахит, да и только, а хозяин взахлеб рассказывает, какая она красавица да умница.

Плебею единодушно дали кличку «Маркиз». Он вырос сильным, своенравным, себе на уме, иногда даже просто шкодливым. Но последнее с возрастом прошло. Утром и в обед я водил его на этот пустырь. А по вечерам мы часто уходили в лес.

Никогда ранее я не предполагал, что на свете существует столько пород собак. Овчарок и лаек на «ипподроме» было большинство. Но сюда водили и сеттеров, английских, ирландских и шотландских, спаниелей и коккер-спаниелей, догов и боксеров, пуделей и дратхаартов, эрдель- и фокстерьеров, болонок и даже русскую псовую борзую. Владельцы собак, да и сами собаки, обычно держались группами, благо места-то вначале было предостаточно, большие собаки отдельно, средние и маленькие — тоже. Были и необщительные, гулявшие где-нибудь в сторонке. И только молодняк держался вместе, независимо от роста и породы. И смешно было смотреть на борзую, игравшую со спаниелем, или на дога, пытавшегося догнать юркую болонку.

Маркиз относился к овчаркам, догам, боксерам и доберман-пинчерам настороженно, но с достоинством. Вздыбливал загривок, глухо ворчал, движения его становились замедленными, напряженными, в любое мгновение он мог взорваться. Драки между собаками все же происходили, хотя, слава богу, не так уж и часто.

Октябрь.

Самое слякотное время. Земле уже не нужна влага, а дождь все льет и льет. Деревья голы, трава умерла. Но трижды в день в любую погоду мы ходим с Маркизом на этот пустырь. Я-то уж мог бы и не ходить. Есть кому заменить меня. Но я

сам хочу так. Я беру в руки поводок с ошейником, говорю: Маркиз, пошли гулять! Маркиз поднимает голову. Он спал. Он сейчас очень много спит, вздрагивает во сне, рычит, повизгивает, дрыгает лапами. Собачий сон. Маркиз поднимает голову и послушно сползает с дивана, покорно стоит, пока я застегиваю ошейник. Маркиз, ведь мы же гулять идем! Гулять! Он смотрит на меня своими странными собачьими глазами. Он все понимает. И в этих глазах что-то есть. Что-то есть непонятное для меня, еще не человечье, но уже и не звериное. Я все хочу разгадать тайну его взгляда. Сейчас уже, конечно, по памяти, потому что я... Скажи, Маркиз, о чем ты сейчас думаешь? Но Маркиз молчит. Он немного оживляется, когда я деланно веселым тоном говорю: сейчас мы гулять пойдем! На ипподром! Он знает, что такое ипподром. Он знает много слов. И понимает он не интонацию, а именно смысл слов. Но сейчас он просто устал. А когда-то, лет пятнадцать назад...

Я еще очень хорошо помню, как в первый раз понес его на руках, как опустил на траву, молодую, свежую, мокрую от недавнего дождя, как он ошалел, испугался, потом взвизгнул от восторга, затрясся, приник к земле, вскочил, неуклюже отпрыгнул, а потом побежал, смешно, потешно, нелепо. Это и бегом-то нельзя было назвать. И тут же втянул в себя воздух, фыркнул, потянулся носом к траве, что-то узнал и поковылял уже более целеустремленно, что-то открыв для себя в этом новом для него мире. И с тех пор не уставал открывать.

А сейчас он устал. Сейчас просто нужно идти. Таков распорядок нашей жизни. И он это знает. Я открываю дверь, пропускаю Маркиза вперед. Он уже не рвет поводок, не напрягается, не спешит. Он стоит на площадке и ждет. Покорно, послушно, конечно, ведь он понимает, что мне нужно трижды в день выходить на улицу. Он знает, что если не выведет меня, то у хозяина начнет болеть голова, и я буду долго на ощупь копаться в аптечке и вздыхать. Он все понимает, мой Маркиз, и начинает осторожно спускаться вниз по ступеням. Осторожно — не то слово. Осторожно — это когда есть выбор, когда можно и быстро. Но мы с ним теперь спускаемся только так. По одной ступеньке, с отдыхом на каждой площадке. И так целых девять маршей, пять этажей.

Ах, как он мчался тогда, вырывая поводок из моих рук, поскуливая от нетерпения. Да и я отставал разве что чуть-чуть. Конечно, сравниться с ним в резвости я никогда не мог. Воля, свобода опьяняли его. И познание мира.

Мы с ним жили в разных мирах. Кое-где они, конечно, соприкасались. Но и там он, наверное, воспринимал мир по-своему. В лесу меня, например, в основном интересовал цвет, а его — запахи. Запахи, конечно, воспринимает и человек, но разве можно сравнить эти способности.

Наша обычная летняя прогулка раньше была до Басандайки. Это шесть километров. От реки до шоссе километра два-три. Вот эти пятнадцать квадратных километров он знал наизусть. Пройти здесь можно было различными тропинками, они шли и вдоль, и поперек. Я как-то попытался сосчитать количество возможных, разумных, конечно, маршрутов. И насчитал их больше ста. Первый год Маркиз бегал, как ему хотелось. И мне приходилось искать его, свистеть. Далеко, впрочем, он никогда не убегал. Позже он на каждом пересечении тропинок останавливался, и вопросительно смотрел на меня. Я рукою указывал маршрут. Но иногда я просто говорил: бегай! — и тогда он волен был выбирать маршрут нашей прогулки сам. А однажды я составил маршрут заранее и решил ничего не приказывать Маркизу. Я шел и мысленно проигрывал в уме этот маршрут. Маркиз прошел его так, как я составил.

Я почувствовал, что между нами установилась какая-то странная связь. И теперь маршрут часто выбирал он сам. И я всегда знал его еще до прихода в лес. Я рассказывал об этом своим друзья. Но они не верили. Самовнушение и все. В лучшем случае пес узнает мои намерения по моим неосознаваемым движениям. Пусть так. Я-то все равно думал по-другому.

Если дверь из подъезда на улицу бывала чуть приоткрытой, Маркиз останавливался и ждал, когда я открою ее настежь. И это относилось только к дверям в подъездах. В квартиру и в комнаты он открывал двери сам, с силой тыкаясь в них носом.

На улице идет дождь, мелкий и нудный. На асфальте тонкая пленка откуда-то всегда берущейся осенью грязи. А ведь в летние дожди мостовая всегда чиста, хотя и мокра.

Маркиз идет тяжело. Ему трудно. Он почти слеп, плохо слышит, ходьба причиняет ему боль, как и мне.

Но трижды в день мы должны выходить на прогулку. Ради меня.

С Маркизом мы раньше часто разговаривали. Разговариваем иногда и сейчас. Говорил в основном я. А он сидел передо мной и старался понять, что же я ему хочу сообщить. Много слов он понимал, я уже говорил об этом. Но иногда мы разговаривали и на философские темы. О смысле жизни, о погоде. Маркиз смотрит на меня, чуть склонив голову набок. Он явно старается что-то понять. Он даже понимает. Он все понимает. В глазах внимание. Я говорю фразу, и голова его склоняется на другой бок. Иногда он нетерпеливо перебирает лапами, приоткрывает рот и издает какие-то горловые звуки, нечто среднее между ворчанием и мычанием. Он мучается оттого, что не может поддержать разговор.

И в глазах мука.

Скажи мне, Маркиз, о чем ты сейчас думаешь? Ну что там, в твоей собачьей башке? Хоть на минуту дай понять, как ты мыслишь, каким ты видишь мир?

Так думал я когда-то, когда Маркиз был молод.

А потом я ослеп и увидел мир глазами Маркиза.

Вот ведь что интересно. Люди и собаки смотрят на одно и то же, а видят совершенно разное. К примеру, Маркиз совершенно не воспринимал изображения на экране телевизора. Ящик с ножками он видел, чтобы не натыкаться на него, но и только. И дело тут вовсе не в том, что зрение у него было менее инерционное, чем у меня. Кадры телевизионного изображения не мелькали для него, не складывались в осмысленную картину. Нет, они просто для него не существовали. Так же, как не существовали картинки и фотографии. А вот своим отражением в зеркале он интересовался, подолгу смотря на него, обнюхивая стекло, пытаясь заглянуть за него. И меня в зеркале видел, понимал, что это именно я и в то же время не я, исподлобья поглядывал то на меня, живого, то на мое отражение в зеркале, вздыхал и о чем-то думал.

И вот мы с ним заворачиваем за угол дома. Я вижу его, этот угол, размытый, колеблющийся, серый. И яркое пятно на нем, там, где какая-то соседская собачонка оставила свою метку. Метки все разные. Цветные — не цветные, — не поймешь. Я различаю и фигуры случайных прохожих, если они попадают в поле зрения полуослепшего Маркиза. И почему я не смотрел его глазами, когда он был молод? Что за мир открылся бы мне? Я предполагаю, что Маркиз хорошо видел то, что его интересовало. Знакомых моих, собак, птиц и зверей в лесу, деревья, кусты, траву. То, что имело смысл в его жизни. Лужи вот он сейчас не замечает, поэтому и я шлепаю по лужам. Но это не страшно. Хуже, что он почти не видит (и не видел!) машин. Вообще-то он их как-то чувствует, но отно-

сится к ним с пренебрежением, считая, что всегда успеет проскочить перед носом каждой. Благополучно перейти улицу — для нас самое сложное. Дело в том, что через улицу я всегда водил его на поводке, я руководил им, не оставляя ему самостоятельности. И он привык к этому.

Холодно, сыро, неуютно. Я вслушиваюсь сквозь тоскливый шум дождя, пытаюсь определить, далеко ли от нас троллейбус или автобус. Хорошо, что слух у меня почему-то обострился. Хорошо...

Раньше, когда я еще мог читать книги, Маркиз иногда подходил ко мне и обнюхивал книгу. Маркиз, говорил я ему, ты ничего в книжках не понимаешь. Ни-че-го! Он старательно обнюхивал книгу и, по-видимому, все же извлекал какую-то информацию, потому что иногда весело помахивал хвостом, иногда чихал или недовольно пятился. Но ведь всего, что было в книге, он не мог воспринять. В принципе! Маркиз, говорил я ему, вся жизнь мимо тебя проходит. Ничего ты не понимаешь, ничего. Что мешает тебе? Хотя... тут все ясно. У тебя не развита вербальная половина мозга. Левое и правое полушария твоего мозга одинаковые. Ты не можешь мыслить словами, как я. Ты, наверное, мыслишь только образами, картинами. Да и я часто мыслю образами, сознательно не стараясь переводить их в слова, потому что при этом в них что-то теряется. А с другой стороны, ведь ты понимаешь много слов. И пусть некоторые люди говорят, что ты воспринимаешь не их смысл, а лишь эмоциональную окраску, что это, мол, рефлекс. Вы сто раз произносите слово «гулять», подкрепляя его соответствующим действием, и Маркиз на сто первый раз после произнесения этого слова начинает нетерпеливо повизгивать. Я уверен, что на самом деле все гораздо сложнее. Маркиз отлично понимает и смысл слов. Стоит только посмотреть на него, когда он что-нибудь напроказничал, не съел вовремя свою кашу, например. В это время с ним можно говорить суровым тоном о погоде. Эмоциональная окраска голоса хозяина его не обманет. А можно ласково спросить, почему это он не съел свою кашу, даже не употребляя это «знакомое» слово. Маркиз все поймет и начнет скулить, ложиться на пол, повизгивать... Или слово «лыжи». Пока на улице нет снега, это слово на него не действует. Он, конечно, встрепенется, поднимет голову, внимательно посмотрит на меня и тут же свернется клубком, недовольно запыхтит. Он явно обижен, потому что знает, что ни на каких лыжах я сейчас не могу

пойти. Может быть, даже он считает меня глупцом или обманщиком. Не знаю. Но он многое понимает в человеческой речи, хотя у него не развита вербальная, словесная, половина мозга.

Несмотря ни на что мы каждый раз благополучно переходим улицу.

Пустырь, бывший ипподром, я помню еще хорошо. От афиши Дворца Зрелищ и Спорта по диагонали его вела разбитая колесами грузовиков колея. Слева было футбольное поле, справа — кусты и полоски берез и сирени. Маркиз немного оживляется, видимо, он тоже помнит пустырь своего детства. Я смутно различаю очертания кустов и пучков травы, полыни и репейника, но не с высоты своего роста, а как бы лежа. Я словно иду чуть ли не по шею в земле. Но такое собачье зрение мне уже привычно. Я знаю, что запах для собак бывает различного цвета. Да, да, цвета... или чего-то похожего на цвет. Может, резкости восприятия, глубины... Словом, там, где есть запах, изображение проявляется наиболее четко. Запахи квартиры Маркизу привычны, если только не приходит какой-нибудь посторонний человек, поэтому там, смотря глазами Маркиза, я различаю лишь очертания предметов, да и то не всех. А здесь, на пустыре, ближайшие три-четыре метра я вижу более отчетливо. Пахнет ли это промокшая земля, голые ветки кустов или пожухлая трава, я не знаю.

Я отцепляю карабин с ошейника и отпускаю Маркиза побегать. «Побегать», конечно, не то слово. Он уже не может бегать. Так, поковылять от одного куста к другому, замирая иногда от какой-то внутренней боли. А я стою, и мир потихонечку движется передо мной. Я могу повернуться к Маркизу спиной, от этого какой-нибудь куст не окажется позади меня. Он все равно будет впереди и лишь медленно приблизится, если Маркиз подойдет к нему. Но ведь это все равно движение. Движение!

Наверное, Маркиз не воспринимал телевизионное изображение потому, что оно не имело запаха. Я частенько говаривал ему: ну что ты, Маркиз, сел спиной к этому ящику? Разве спиной смотрят телевизор? Я даже разворачивал пса как следует. Но он ничего не видел. Тогда я говорил: Маркиз, вся жизнь мимо тебя проходит. Ничего ты не понимаешь, ничего-то ты не видишь. А ведь вокруг столько информации! Смотри, Маркиз, только зря проживешь свою собачью жизнь. Он виновато смотрел на меня, словно стыдился своей непонятливо-

сти. А я все наговаривал ему и про человеческую цивилизацию, и про звезды и Метагалактику, которая по какой-то причине расширяется, и про хоккей или футбол, в зависимости от сезона, и про повадки собак, волков и носорогов. Он слушал и пытался понять. И мука, собачья мука была в его взгляде. Я гладил его по лохматой башке и прижимал к себе. Нет, такого взгляда я вынести не мог. Да и никто не смог бы вынести. Он что-то понимал. Что-то, чего не понимал я. И пусть я знал больше его, мое знание не включало в себя полностью его знание. Наши знания лишь слегка пересекались. А когда я однажды представил себе эти пересекающиеся круги, то вдруг понял, что ведь чего-то не понимаю и я. И не просто не понимаю, а вижу и не понимаю! Что-то вокруг есть такое, на что я смотрю, как Маркиз на экран телевизора. Оно есть, но только не для меня и вообще не для людей. Я уверен, что еще ни одна собака не сообщила другой, что по телевидению передавали репортаж о каком-то событии. Так и люди. Никто из нас не воспринимает этого. И мы не можем поделиться этим с другим человеком.

Так на что же я всю жизнь смотрел и не увидел? Что прошло мимо меня незамеченным? Что это было? Ах, Маркиз, а я-то подшучивал над тобой, не замечая, что посмеиваются и надо мной. А когда я почувствовал эту насмешку, то, как и ты, Маркиз, только замычал. И наверное, боль, невыразимая боль сверкнула в моих глазах. Такая боль... что глаза не выдержали. Еще чуть-чуть и я бы что-то понял. Почти понял. Но у меня нет какой-то части мозга, как у Маркиза нет вербальной. А то бы я понял...

Маркиз с трудом перебирается от одного куста к другому. А может, ему кажется, что он мчится?

И все же, что я тогда воспринял? Чего не могли вынести мои глаза? Это был миг, в котором спрессована вечность? Громко и неточно. Да ведь я и не могу выразить это словами и тем более образами. В памяти все осталось, но нет способов извлечь это из памяти.

А дождь все моросит. Промок плащ и берет, промокли туфли и брюки. Где-то сзади с шумом разбрызгивают воду автомобили. Я все стою, не сразу сообразив, что мир замер. Он не движется. Он не движется зрительно. Слух мой воспринимает движение. А вот глаза Маркиза — нет. Маркиз, зову я. Ничего не меняется. Маркиз! Он не мог меня услышать, ведь он ничего уже почти не слышал.

Я пугаюсь. Я двигаюсь к Маркизу. Я вспомнил, вспомнил, почему я ослеп! Это было Время, все Время, все Время сразу. А мое сознание как волна шло по этому Времени. И это было Настоящее. Но было еще все Время сразу, прошлое и будущее. И вот этого-то я и не смог вынести. Сейчас-то уже даже в памяти все сгладилось, поэтому оно, наверное, и открыло мне тайну. Теперь это вызвало лишь удивление. Удивление, хотя и страх тоже. Но все, все уже было сглажено. Да я и помнил-то лишь то, что тогда увидел Все Время Сразу, а что это было, уже не узнать. Лишь один кадр еще помнился. Люди травят собак. Почему именно он? Какой в нем смысл? Люди травят собак... Что же это? Нет, я не мог это увидеть тогда, ведь тогда было Все Время Сразу. Стоп... Это же кадр из телевизионного кинофильма. Да почему же? Почему я его запомнил?!

Куст смещается в сторону, падает, переворачивается, все куда-то мчится, не разбирая дороги. Грязь, брызги, дождь, страх. Что-то тыкается мне в ноги, и свет меркнет.

У моих ног лежит мертвый Маркиз.

Он не воспринимал телевизионное изображение. А вот этот кадр травли собак почему-то воспринял, не осознал, но воспринял, и вспомнил почему-то лишь сейчас.

Вокруг темно навсегда.

Я беру пса на руки и иду домой. Скользко, ноги разъезжаются в грязи. Сверху льет холодный дождь. Но мне теперь все равно. И только очень обидно, что Маркиз воспринял один этот кадр. Воспринял и умер. Значит, он понял, понял нечто человеческое. Он превзошел себя.

Ах, Маркиз... Зачем тебе это нужно было? Жил бы простой собакой... Вот как я. Живу себе и многого не понимаю. И не стремлюсь даже... Вру, Маркиз, вру... Тебе нельзя врать. Хотел я, рвался понять Все, страдал оттого, что есть что-то сокрытое от меня навсегда. Ты же знаешь, Маркиз, что такое жить и не понимать. Чувствовать, что есть нечто иное и не воспринимать его.

Кто-то из редких прохожих берет слепца под руки и переводит меня через улицу.

Спасибо...

Как обидно прожить жизнь и ничего не понять в ней... А, Маркиз...

Новелла одиннадцатая
НОЯБРЬ

Я нагибаюсь за упавшей шариковой ручкой.

Я точно помню, что нагнулся... и оказываюсь в постели.

Такая благоговейная тишина, белизна. Все подчеркнуто чисто. Все это словно ненастоящее.

Я лежу, и мне не хочется вставать. Нет сил встать. Я не могу пошевелить ни одним пальцем. Язык прилип к гортани. Мне ничего не хочется. Даже говорить. Лучше я буду закрывать веки в знак согласия и смотреть, не мигая, в знак отрицания, несогласия. Так будет лучше. Мне становится смешно. Значит, когда я сплю, я со всем согласен? А днем? Нет. Тут что-то не то. Впрочем, это ведь только сейчас. А раньше все было по-другому.

Тишина. Окно. Замерзшее стекло. Всего каких-нибудь два миллиметра. Потом слой холодного воздуха. Снова два миллиметра стекла. А дальше мир. Целый мир! Мир, в котором я жил. Ветер. Снег. Сугробы. Люди. Дома. Холод. Жар. Свет. Тьма. Там все.

Я рвусь туда, стремлюсь всей душой. Примите меня. Возьмите. Я ваш, ваш! Я никогда не буду своим, я буду теперь только вашим. Да и был ли я когда своим? Наверное, был, потому что меня отличали от других. Каждый отличен. Но я был и вашим, потому что меня принимали, считали своим, не отделяли. Каждый должен быть с кем-то.

Но теперь барьер, стена, молчание.

Мне ни жарко, ни холодно, ни радостно, ни скучно.

Мне — никак.

Я вижу, что стена белая. Белая... Ну и что? На подоконнике стоят в горшках цветы. Пусть стоят. Все равно я даже не знаю, как они называются. Я этого никогда не знал. Срезанные цветы — другое дело. Гладиолусы, астры, флоксы. А названия тех, что стоят в горшках, я почему-то никогда не знал. На стене акварель. Три замерзшие березы и снег. Снег, снег. Ладно. Пусть снег. Что дальше? Ага. Вот шерстяное одеяло. Еще, поди, и верблюжье? Подумаешь... Какая разница...

Что-то еще и еще... Так было, так будет. Мне все безразлично.

Я слышу, что открылась дверь. Кто-то вошел. Я, конечно, даже не поворачиваю головы. Я даже суживаю сектор зрения,

но человек все же врывается в него. А, это сосед по площадке! Я знаю его, но не узнаю.

— Здравствуй, — говорит он. Я пока молчу.

Мне все безразлично.

— Здравствуй, — повторяет он. — Ты что, не узнаешь меня?

— Здравствуй, — неожиданно для самого себя отвечаю я.

— Он говорит! — кричит сосед. — Он уже говорит!

Я не знаю, к кому он обращается. Но в дверях какое-то шевеление. Значит, там ждали. Ждали, что я заговорю. Ждали, что я что-нибудь сделаю. Безразлично — что. А я взял и сказал: «Здравствуй».

— Что, что он сказал? — спрашивает кто-то. — Он заговорил?

— Он сказал... он сказал... З-з.

Мучительное удивление появляется на лице соседа. Он не может выговорить такое простое, такое необходимое слово. Я удивлен. Я удивлен дважды. Тем, что он не может выговорить такое простое слово. И еще раз тем, что я сам удивлен этим. Неужели мне не все равно? Раз я удивлен, значит, нет. Странно.

— Он сказал, он сказал...

— Здравствуй, — подсказываю я.

— Да, да, он это самое и сказал, — подтверждает сосед.

Комната наполняется людьми. Эти — с работы. Те — просто знакомые. А вот и родственники. Свояки, сестры жены, племянницы.

— Ну! Что я вам говорил?! — восторженно кричит один.

— А я им говорю...

— Молодец! Встанешь и еще плясать будешь. И на рыбалку, и по грибы.

— Давай, давай, поворачивайся. На работе без тебя все горит.

— Да ты молодцом!

— А, что она, эта медицина, знает! Я сто раз всем говорил!

— Я говорю вам: здравствуй, — твердо произношу я. Фраза не совсем правильная, но по-другому я сказать не могу.

— Здравствуйте, дядюшка! — Это говорит племянница.

Как хорошо! Теперь у меня есть правильный набор слов.

— Я говорю вам всем: здравствуйте!

— Ну! Что я... что я каждому... что я каждому произносил?! — Он сказал, но с каким-то трудом. Ведь ему пришлось

искать слова! И вместо обычного и естественного: вам говорил, он нашел: каждому произносил.

— Что я вам говорил! — кричу я. — Я молодцом!

— Чудеса! Ты и впрямь... это... как его... м-м... огурцом выглядишь!

Я вижу, с какой натугой он искал слово. Что они, разучились говорить?

— Молодцом! — уверенно говорю я. — Что она, эта медицина, знает?! Я сто раз всем говорил!

Они ошеломлены. Они все обрадованы тем, что я выздоравливаю, что я могу говорить. Но такого темпа, такой прыти никто из них от меня не ожидал. Ведь я же разговариваю вполне нормально. Правда, набор слов у меня пока невелик. Ну, да это дело наживное! Уже кто-то выскочил за дверь. Сейчас врача позовет.

Вот вам медицина — чудо. Действительно, что медицина знает?

Говорят почти все сразу, не слушая друг друга, да и меня тоже. Им сейчас надо выговориться, успокоиться. Они часто не могут найти слов. Самых обыкновенных слов, которые произносили минуту назад. Им приходится совершать обходные маневры, заходить с тыла. И от этого их речь кажется напыщенной и тяжеловесной. Но зато у меня в запасе уже несколько сот слов.

— Мы тут поболтаем с тобой немного, а потом уж жена. Мешать не будем. Хорошо?

— Хорошо, — отвечаю я. — Пусть она придет потом.

— А дети еще не прилетели. Но завтра уж будут наверняка.

В комнату врывается врач.

— Что тут происходит?

— Происходит? — спокойно спрашиваю я. — Мы тут поболтаем немного...

— Как это поболтаем? Да ведь!.. — Он вовремя замолкает.

— Здравствуй! — говорю я. — Здравствуйте!

— Здравствуйте, — отвечает он, все еще ничего не понимая.

Да и никто ничего не понимает. Неважно. Главное — я говорю.

— Да ты, поди, и плясать можешь?

— Ты можешь шею повернуть?

— Шею повернуть?

— Нельзя, — кричит врач. — Да как это повернуть? Вы что-нибудь смыслите в медицине?

— А вот так, — говорит товарищ с работы. — А вот так! — И начинает крутить шеей, вправо, влево, вверх, вниз. Ух и старается! У него, наверное, даже мышцы заболели от такого верчения.

— Пожалуйста! — уже умоляет врач. — Не беспокойте больного. Не волнуйте!

— Пожалуйста, — говорю я. — Повернуть шею?

Я верчу шеей вправо и влево, верчу энергично, как только что мой товарищ. А у него глаза на лоб вылезли от удивления. От удивления и какой-то натуги. Он окаменел. Потом какая-то мысль мелькает в его глазах. Он что-то нашел в своей памяти.

— Вот черт! — говорит он. — Опять шейный радикулит схватил. Полгода не беспокоил.

— Конечно, — говорит кто-то, — ты так крутил шеей, что и сломать ее было недолго.

— Да, да, — соглашается он. — Вот черт!

Он чуть отходит в сторону, нелепый со своей негнущейся шеей. Я осматриваю сразу ставшую непохожей палату, одеяло, под которым спрятано мое тело, тело, которое как будто и не принадлежит мне. Две неподвижные руки, вытянутые вдоль него. Друзья перехватывают мой взгляд.

— Руку! Руку! Ты можешь согнуть руку!

Нет, я не могу. Я просто забыл, как это делается.

— Смотри-ка! Вот как это делается. — Один из родственников с силой сжимает руку в локте. Даже пиджак и халат не могут скрыть, как бугром выпирают его мускулы.

Он так и замирает с согнутой рукой.

Потому что, потому что... я тоже сгибаю руку. Правда, бугор мускулов у меня поменьше.

Я кое-что начинаю понимать. Во мне еще нет ни испуга, ни радости. Просто, я начинаю что-то понимать.

— Радикулит? — беспечно спрашиваю я.

— Свело... — еле выговаривает он.

— Бывает, — соглашаюсь я, и рука моя бессильно падает на одеяло.

Родственник трет только что в судороге сведенные мускулы, кусает губы.

— Это у тебя от перевозбуждения, — успокаиваю его я. — Ты не волнуйся.

Все слова их. У меня нет ни одного своего слова. Но их слов у меня уже набралось много. Я могу свободно разговаривать на не слишком специальные темы.

— Вы можете это проделать еще раз? — спрашивает врач.

— Нет, не могу.

— Но ведь только что...

— Я забыл.

— Разработается! — уверенно говорит кто-то. — Массаж. Тренировка.

— Да, да, — подхватываю я, — массаж и тренировка.

Я не хочу больше двигать рукой. А как радостно было движение!

Все испуганно молчат. И каждый наверняка думает, что виноват именно он.

А я сам? Убедился ли я в чем-нибудь? Догадался ли кто другой? Ведь если догадался хоть один, они от меня не отстанут. Они заставят меня, убедят. А я не... Шея снова не слушается меня. Вернее, слушается чуть-чуть, чтобы они все же видели, что я могу совершать движения, что я владею своим телом.

Я взял слишком много. Сразу. Я начинаю специальный разговор. Иногда мне не хватает слов, но они помогают. И все равно мне трудно говорить.

— Что это за больница?

Первая городская.

— На улице, наверное, гололед?

Нет. Сейчас нет. Почти каждый день идет снег, а вот на праздники был такой страшный гололед!

— Скорая, наверное, едва успевала? Ушибы, переломы?

Переломов, действительно, много.

— Есть, наверное, и такие, что лежат с ног до головы... загипсованные?

Да, конечно. Травм в этом месяце очень много.

Ясно. Ты, которого я не вижу, отдай мне на время какое-нибудь микродвижение. Шевеление пальца. Сжимание кулака. Сгибание руки в локте. Пожимание плечами.

Дайте мне в долг! Ведь ты загипсован с ног до головы. Что тебе стоит? Согласен?

Он согласен, потому что даже не подозревает, что у него крадут. Я не все сразу. Я помаленечку. Ну, подумаешь, онемел у тебя палец на ноге. Тебе же ведь сейчас не ходить, не плясать.

И слова. Почему только у этих, что стоят возле моей кровати? У всех. По буковке, по звуку. Никто ничего и не заметит. Я знал картавого, который даже не подозревал, что он картавый. А дальтоники? Разве бы они знали о своем неправильном восприятии цвета, если бы им на это специально не указали?

Ну подумаешь. У тебя поболит колено. Так ведь я не навсегда. Я на пять минут, на секунду, на миг. На микромиг у каждого, так что никто ничего и не заметит.

— Да я уже здоров! — весело говорю я.

А кто-то не смог встать.

Я отшвыриваю прочь одеяло, уверенно свешиваю ноги с кровати, встаю, оправляю на себе пижаму.

— Ну что, может, вам сплясать что-нибудь?

Они, конечно, остолбенели. Особенно врач. А я иду вприсядку, да так, как никогда и не умел. Я вообще не умел плясать. Я многого не умел. А теперь все смогу!

Я выйду на площадь и возьму у людей по маленькой, маленькой частичке их движений, по одному звуку.

Никто ничего и не заметит. Я буду не такой, как прежде. Я смогу поднимать штангу рекордного для нашего города веса. Я ведь на минутку возьму силу и спортивную технику у какого-нибудь чемпиона. А если мне попадется тяжеловес, то уж в своей-то весовой категории я толкну непостижимый вес. Да только мне это ни к чему. Зачем? Мне бы ходить, видеть, слышать. Мне бы дышать. Мне бы просто жить...

С друзьями я буду осторожен. Это только сейчас, когда я еще ничего не знал, я нечаянно взял у них что-то. А так... Нет. Да я с ними и встречаться буду редко. На всякий случай. Я ведь не знаю, управляема ли моя способность? Ведь все это наверняка идет из подсознания. Да-а...

Я всегда хотел стать певцом. А теперь я иногда смогу петь. Как? Я запою, а у певца на сцене пропадет голос. Что почувствует он? Какая боль и какой страх навеки останутся в его душе? Я сделаю шаг, а кто-то всю жизнь будет помнить, как он ни с того ни с сего оступился на ровном месте. Пусть даже не расшибся, ничего не сломал! А тот мой сосед, который теперь никому не сможет сказать «Здравствуй!»?

Я уже не пляшу. Я стою и смотрю на них. Я слышу, как этажом ниже забегали медсестры и врачи. Кто-то из распятых на растяжках почувствовал, что у него нет ноги. Сейчас он не чувствует своей хоть и с переломом, но все же своей ноги!

Еще минуту, еще лишь одну минуту. Мне нужно было сказать друзьям и родственникам «До свиданья». Но я не мо-

гу, потому что никто еще не говорил сейчас эти слова. Я машу рукой, но они не понимают.

— Я один! Я хочу один! Один!

Они ничего не понимают, но уже послушно поворачивают к дверям.

— До свиданья! До свиданья! — говорят они.

— До свиданья! — кричу я.

Они испуганы.

— Это кризис, — слышу я слова врача.

Они ушли. Я осторожно выталкиваю из палаты врача. Подхожу к окну. Так вот что мне довелось увидеть в последний раз. Там, за стеклом, все застыло. Весь мир застыл. Все схвачено холодом. Деревья голые и нет сейчас в них никакой красоты. Люди торопятся, люди спешат. В тепло, в домашний уют. Прочь от стужи. Движения угловаты. Небо низкое и серое. Солнца нет. Я даже не могу определить, на какую сторону света выходят окна моей палаты. Нет. Уже больше ничего нет. От моего дыхания, что ли (да только при чем тут оно?), стекло затягивается льдом. Мир мутнеет, отделяется от меня, уродливо меняет свои пропорции. Узор. Да нет на стекле никакого узора, уж я бы нашел в его линиях какую-нибудь интересную аналогию. И ассоциации бы вспыхнули в моем мозгу, управляемые и неуправляемые. А тут ничего нет. Мир исчез. Или это исчезаю я? Исчезаю навсегда.

Ладно...

Я поворачиваюсь. Дверь даже не скрипнула, но я все же поворачиваюсь.

Она вошла. В глазах ее надежда и боль. Я шумно и энергично иду ей навстречу. Я широко раскидываю руки. И от этой моей игры глаза ее тускнеют. Ее не обманешь. Она почувствовала, что все это ложь, обман, все это — неправда.

— Ложись, — говорит она. — Ведь ты, наверное, устал?

А я и в самом деле устал. Устали не мускулы, не сердце. Устала душа. Я ложусь. Она накрывает меня одеялом, расправляет его.

Теперь я лежу так, как лежал десять минут назад, когда вошли друзья и родственники.

— Ты лежи, молчи. Я все понимаю. И все будет хорошо.

Я на секунду опускаю веки. Я мог бы и ответить. Но я просто опускаю веки.

— Молчи. А я буду говорить.

Кажется, напрасно поднял панику парень из хирургии. Чувствительность кожи у него нормальная. Он может даже пошевелить пальцами. Остальное-то все в гипсе. Никаких признаков радикулита у соседа. И не каменеет рука у родственника. Никто на улице не спотыкается. Споткнуться в такой гололед! Ах, да сейчас нет гололеда. Но все равно... Певцы не теряют свои голоса. Исправно поднимают штанги тяжеловесы, устанавливая мировые рекорды. Все в мире нормально.

А я лишь иногда закрываю глаза, опускаю веки.

Я многое брал. Всю жизнь. Любовь, дружбу, участие, чувства, мысли. Я делил с другими радость и горе. Я, наверное, что-то и давал, если оно у меня было. А теперь я устал. Ничего я не хочу больше брать, потому что мне теперь уже нечего отдать.

Она говорит, а я иногда опускаю веки. Это движение мое.

— Люблю, — говорит она.

А я молчу. Я молчу! Ведь могу я, могу взять у нее это слово и сказать ей: «Люблю!» Но тогда... но тогда она никогда уже никому не скажет это.

Тихо целует она меня.

И снова. Я мог бы ответить ей. Но тогда она больше никого в жизни не поцелует!

— Ты слышишь меня? Это я. — Она называет свое имя.

Я слышу. Я все отлично слышу. Но только не звуки. Я слышу как-то по-другому.

Наверное, что-то возникло в моих глазах, потому что она улыбается. А я обрадовался вот чему. Я могу, могу сказать одно слово. И это ей не повредит. Ведь она никогда не зовет себя по имени. Она мама, сестра, тетушка, преподаватель. По телефону она называет себя по фамилии или по отчеству.

Значит, дано, дано мне еще одно, последнее слово.

Она говорит, говорит и вдруг замолкает. Я долго не опускал век.

Согласен ли я? Слышу ли я? Вижу ли ее?

Да! Да!! Да!!!

И я произношу это волшебное, последнее для меня слово:

— Валентина...

Я закрываю глаза. Все. Теперь все. Все...

Новелла двенадцатая
ДЕКАБРЬ

Я слушаю. И шорохи вокруг, потрескивания. Это в доме, старом, как я. Старом, как мой отец, старом-престаром, как мой дед. Он стоит, хотя и покряхтывает от тяжести прожитых годов. Он-то стоит, а тех, других, кто его строил и кто в нем жил, — нет. Сколько мне лет? Этого не знает никто, разве что дом. Так ведь я для него все равно мальчишка. Люди редко живут до ста лет. Дома выдерживают. Потом их разбирают и перевозят на мичуринские участки, а там делают из них домики, небольшие, так метра три на пять вместе с верандой.

Я все лежу и слушаю. Я только что проснулся или не спал вовсе. Но кажется, что выспался, потому что легко, как когда-то в детстве. Это от старости. Дом хихикает, поскрипывает, но добродушно, ему это позволено, ему вообще все позволено. Я лежу у глухой стены против широкого окна на железной кровати под новым почти еще полушубком. Лежу и слушаю. Потрескивание и шорохи дома.

Темно. Солнце еще не всходило. Но я-то знаю, знаю... Я все равно знаю, что там дальше. Сосны под окном, прямые, замерзшие, высокие. А внизу сугробы у полузаметенного заборчика, а за ним — дорога, по которой ходит кто-то, но не я, кто-то другой. Она спускается от дома вправо с холма в небольшую ложбинку, по которой летом течет ручей, но сейчас его нет, он замерз, его замело, нет и следа от него, только ровная пелена снега, пересеченная ниткой дороги. Вдоль дороги, со стороны дома — сосны, одни сосны. Только там, где летом бежит ручей, они расступаются. Там летом трава выше головы и кусты. А дальше снова на бугор, справа сосны, слева пологий склон. Тут дорога петляет и соединяется с шоссе. Оттуда сегодня придут к нам они.

А слева от дома начинается кедрач с редкими проплешинами. Там когда-то тоже стояли дома, но теперь их нет. Их уже никогда не будет.

Надо вставать. Ведь поздно. Скоро рассветет. А сегодня самый короткий день в году.

Встаю. Одеться мне недолго. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу окна. Надо бы затопить печь. Все выстыло в доме. Сейчас, сейчас. Я это сделаю. Мне ведь не трудно. Вот только разомну спину. Э-хе-хе...

Потрескивает дом, щелкает, но как-то не так, как-то уж слишком весело. Да ведь это дрова в печи горят! И уж пахнет чем-то вкусным. Ну да! Для утра и не сыскать более приятного запаха, чем запах молотого кофе. Так и прошло кофе со мной через всю... А дед пил чай...

— Эй, старый!

И голос знаком.

— Проснулся? Иди на кухню. Здесь уже тепло.

— Ага, иду...

— Кофе готов! Это ее голос.

Ну и денек сегодня. Хорошо-то... с самого утра.

Я вхожу на кухню. Здесь и в самом деле тепло. Из кофейника идет пар, а на сковороде пузырится поджаренный хлеб. А уж как я его люблю...

— Умойся, старый. Борода-то еще спит.

Вот старуха. Так бы и подзудить ей меня. Часа не пропустит, чтобы не поддеть, не подковырнуть. Но не обидно. Легко и вроде бы так и надо.

— Умылся? Садись. И как только ты умудряешься есть поджаренный хлеб! Губами, что ли, кусаешь?

— Губами! — смеюсь я. — Ага! Губами. — А у меня ведь и зубов-то еще полон рот. Стальных, нержавеющих, вечных. Да и старушке моей палец в рот не клади.

Пьем кофе и смеемся. Смеемся и кусаем поджаренный хлеб. От плиты уже жар, значит, и в комнате тепло. Раскочегарила старуха печь.

— Слышишь, как дом-то разговорился?

— Слышу, — отвечаю я.

— С чего бы это?

— Так ведь сколько его не протапливали... Вот и дает теперь усадку.

— Усадку, — передразнивает она. — Много ты понимаешь! Разговаривает он.

— Скажешь тоже...

— Ясно, что разговаривает. Он тоже их ждет.

— Скажешь тоже...

— Вот заладил.

И мы смеемся и пьем кофе, горячий и с непередаваемым запахом. И хрустим хлебом, и снова смеемся.

— Пирожков им напеку. С картошкой и со смородиной.

— Напеки, напеки.

— Мороз ведь на улице. Приедут ли? С ребятишками еще...

— Ребятишки что, — говорю я, — они морозу не заметят.

— На тебя, голодранца, похожи...

— А что. Может, и похожи. Хорошо, коли похожи.

— Ох уж, молчи!

Она моет посуду и начинает что-то делать с тестом, вытащив его из кастрюли и дубася почем зря, шлепая его о стол. Так, наверное, и надо. Никогда я не мог понять этой премудрости.

Кофе, конечно, взбодрил. Но кости все равно болят. Такая жара от печки после обеда разморила бы раньше до сна, а сейчас ничего. Все как-то легко. И черт с ними, с ноющими костями. Все равно легко и ново, и необычно как-то, вроде бы даже непонятно.

Но было это, уже было.

— Дров надо принести, — говорит она.

Я смотрю на аккуратную маленькую поленницу возле печки и говорю:

— Хватит, пожалуй.

— Хватит... Тебе бы только нос на улицу не казать. К Новому году просохнут. Ты о них подумай, а не о себе. Нам уж что теперь...

— Ладно, схожу.

— И воды принеси... два ведра.

— Принесу.

Знаю я ее, знаю. Я сейчас уйду, а она в это время из своего тайника достанет бутылку настойки. А ведь искал я, бывало, этот тайник. Не нашел. Тут и прятать-то негде, а вот поди ж ты, не нашел. Хитра старуха. Мне не очень-то и нужно. А ей каждая бутылка — сюрприз для кого-нибудь. Было время, когда для меня, а теперь — для них. Но немножко и для меня, чисто символически, потому что мне ее, эту настойку, не пить.

Я толкаю тяжелую дверь, и клубы холодного воздуха, мгновенно превращаясь в пар, врываются на кухню. Воздух щекочет в носу. На мне почти новый полушубок, валенки, шапка, меховые рукавицы. Я выхожу в сени, закрываю за собой дверь. Да-а. Мороз на улице, видно, крепкий. Холодом обдает все лицо, сухой воздух перехватывает дыхание, пронзает кожу тысячами мельчайших невидимых иголок. Выхожу на крыльцо. В руке ведро.

Смотрю на юго-восток. Там сейчас должно взойти солнце. И что-то белесое уже красит горизонт блеклой краской. Рассвет. Да какой сегодня рассвет? Невидимое из-за тумана солнце нехотя покатится по горизонту, словно боясь от него оторваться, чуть приподнимется на цыпочках в полдень, но тут же, устав, начнет неудержимо скатываться вниз. И это день? Самый короткий день в году.

Туман как вода, как студень, как плотное вещество, которое можно резать ножом. И без всякого термометра ясно, что сейчас градусов под пятьдесят. Ничто не колышет воздух. Мороз выпарил из него влагу и разбросал, окутал ею деревья. И стройные сосны стоят с белыми лапами ветвей. Ветви не видны, чуть проглядывают из тумана лишь сами стволы. Но мне не нужно видеть все. Многое я знаю и так.

Я схожу с крыльца. Ведро позванивает в руке. Из окна кухни падает свет, падает на десятилетнюю елочку, серебряную сейчас, взъерошенную ледяными иглами, сверкающую инеем, маленькую и сказочную. Эта елочка для того, чтобы не рубить другие. В Новый год на ней появятся игрушки и свечи. Весело станет вокруг нее, а снег будет утоптан, утрамбован ногами веселящихся людей.

Похрустывает иней под ногами, поскрипывает снег, тропинка ведет к колодцу, старательно закрытому теплым срубом. И следы новых неподшитых валенок вокруг него. Не мои и не ее. Уже давно не шел снег. Все морозы и морозы. От этого и скрипит дом.

Ведро, привязанное на цепи, приходится бросать вниз несколько раз, чтобы пробить ледок, который все-таки образовался в колодце. Он не толст, он тонок. И я несу в дом ведро воды, в котором позванивают льдинки, стараясь сцепиться друг с другом, но не успевая, хотя им и помогает мороз.

Я приношу в дом еще одно ведро ледяной воды, потом закрываю сруб колодца и иду в сарай за дровами. Странно, но я не оставляю на снегу следов. Даже иглы инея на нем не ломаются. Вот как все сковал мороз! Или это я невесом? Дров я принес много, не только на сегодняшний день, но и на Новый год. Вдруг мороз продержится до того дня? Тогда им не придется лишний раз ходить в промерзший сарай.

Теперь можно посидеть у открытого поддувала, покурить. Я дед, но трубку не курю, курю сигареты с фильтром. Несолидно для деда, но что делать — привычка. На трубку все не хватало времени. Теперь-то вот хватает, но только трубка уже не нужна. Ничего не нужно. Посидеть вот только, глядя на мерцающие красные с черными прожилками угольки, живые, в самом деле живые, двигающиеся, дышащие, шевелящиеся, меняющие окраску, но все же умирающие, потому что у них

уже все выгорело внутри и не хватает огня. Все, дальше для них ничего не будет. Только сверху сыплются и сыплются другие, огненные, раскаленные, они, наверное, еще и не предполагают, что это конец, Но они дали тепло дому, хотя и не осознают этого. Только не расстраивайтесь, угольки. Вы горели. Я видел. Я тому свидетель.

— Задремал, старый?

Это ее голос.

Нет, я не задремал, я думал. Ну что ж... Теперь моя задумчивость похожа на сон. И она это знает. Знает. Но не может сдержаться. Не хочет просто.

— Задремал, — отвечаю я.

А из русской печи такие запахи! Томление и пряный дурман. Умение и искусство. Радость и надежда. Это она может. Это у нее получалось и ранее. Это у нее получалось всегда.

— Хочешь попробовать?

— Нет, — отвечаю я.

Мне теперь достаточно и запаха.

Мне теперь вообще ничего не надо.

Кроме моих воспоминаний.

Хорошо.

Легко.

Светло как-то и радостно-грустно.

Пусть другим и непонятно.

Но я ведь только про себя.

Да еще про нее.

— Ну вот, — говорит она, — теперь хватит на всех. Придут ли только?

— Придут, — отвечаю я. — Обязательно придут. Уже и встречать пора идти.

А сам смотрю на вино в бутылке, которая стоит на подоконнике, чтобы не согрелась. Смотрю и смеюсь. Никогда мне не обнаружить тайник, в котором такие вкусные и красивые настойки и наливки. И сколько уже лет? Знает ли кто? Вряд ли. Даже она сама.

— И зачем такой мороз?

Это ее голос.

— Декабрь ведь. У нас здесь всегда так. Забыла?

— Как забыть это? Просто боюсь, ведь маленькие еще.

— Ты за них не бойся. Сама-то разве когда боялась? Помнишь, как мы носились? И мороз нипочем. А морозы раньше были не то, что сейчас.

— Морозы были такие же, — говорит она. — Загибаешь, старый.

— Пусть такие, — соглашаюсь я.

Она права. Она всегда была права.

— Так пойдем встречать?

— Пойдем, пойдем. Вот только приберу маленько.

В доме все чисто, все ждет гостей. Уютно и тепло.

— Пошли, что ли? — говорит она.

— Пошли, — говорю я.

На улице все-таки под пятьдесят, и мы одеваемся потеплее.

Выходим. Иглы холода только и ждали этого, чтобы наброситься на нас. А пусть! Идем тихо, всматриваясь в искристый сверкающий воздух. Это солнце, невидимое солнце подсвечивает его, чуть оторвавшись от горизонта, но не пробивает. Силы еще не на его стороне. Мы идем к калитке, у которой нет щеколды, да, наверное, никогда и не было, и снег осторожно хрустит под ногами, но следов нет.

За нами не остается следов.

Теперь уже в молоке тумана можно разглядеть и сосны, конечно, когда ты рядом с ними. Я задираю голову вверх и смотрю. Ледяное развесистое чудо, молчаливое и неподвижное. Неужели ты оживешь весной? Неужели тебе не холодно? Можно стукнуть тебя по стволу, но снег не осыплется с твоих ветвей. Это плотная бахрома инея. Как давно не было снегопадов...

Она идет впереди. Оглядывается. Говорит. И пар изо рта вылетает тугими струйками.

— Да ты был ли молодцом? Плетешься еле-еле.

— А ты не помнишь?

— Забывать стала.

Она не забывает. Это просто так, чтобы я пошевеливался побыстрее. А что? Я еще могу наддать ходу. И наддаю. Даже теплее становится.

— Ну, помчался!

— Руку давай! Руку!

Она подает мне руку в двойной вязаной варежке. Варежкам этим уже очень много лет. Она подает мне руку, но дышит сначала где-то за спиной, потом рядом. Я не смотрю в ее сторону. Я знаю, что сейчас морщины на ее лице разглаживаются, а кровь бросается к щекам, и волосы снова черны, как много-много-много лет назад. Я это знаю, потому что помолодел и я. Ах, морозец! Что ты делаешь со стариками! Все шутишь?! Играй! Балуйся!

А мы уже бежим, сначала медленно, потом все быстрее. И сосны справа в снежно-ледяной броне проносятся мимо, а пустое поле слева подпрыгивает своими сугробами и ухает в заснеженные ямки-ложбинки, а мы бежим вниз, туда, где летом ручей, а через него мостик, но сейчас все занесено белым хрустом и тишиной.

Тепло, жарко даже.

Все вниз и вниз.

— Хорошо! — кричит она.

И голос ее звенит, а сосны откликаются, но это вовсе не эхо. Это другое.

— Хорошо! — кричу я.

Я молод. Вот чудо! А ну, мороз! Ударь покрепче! Соберись с силами!

Что, не можешь?

Вот и лог. А теперь вверх. На бугор. Оттуда мы увидим их всех.

Они обязательно должны прийти.

Мне смешно и жарко.

Она толкает меня в бок, но не сильно. Откуда возьмутся силы у девчонки? А вот я ее сейчас толкну! Бац! Летит с тропинки в снег, смешно вздергивая ногами. Снег облачком, а через него радуга, бледноватая, но все равно цветная.

— Противный! — визжит девчонка.

«Ты противная», — хочу сказать я, но не говорю, а протягиваю руку, а она пинает меня, отбрыкивается, но это все нарочно, потому что эта девчонка хочет, чтобы я ее поднял. И я хочу этого.

Поднимаю, отряхиваю снег. Лицо ее мокро, а на ресницах капельки воды. Это растаял снег.

Она смотрит на меня удивленно, растерянно. Что же произошло? И я растерян. Шапка сидит на мне боком, смешно, нелепо.

— Глупый! — говорит она.

— Ага, — соглашаюсь я, но это машинально.

Она еще раз отряхивается и бежит в гору. Я за ней. Оглядываюсь.

Мы не оставляем следов.

А зачем они нам?

Она выскакивает на пригорок и машет кому-то рукой. И я останавливаюсь рядом. А пар уже идет от нас клубами.

Снизу поднимаются от автобусной остановки люди. Отец, мать, дяди, тетки.

— Обморозите носы! — кричит мама.

— Какое там, — смеется отец.

А нам только это и надо! Теперь мы к дому! Срываемся с места и мчимся вниз, но теперь уже к дому, который отсюда кажется едва торчащим из сугробов. Бежим и проваливаемся в снег, барахтаемся и снова бежим. Да... Давно никто не ходил по этой дорожке. И змейка следов катится за нами с пригорка вниз.

Ну, конечно. Кто первый? А пусть она. Ей так хочется первой открыть дверь. Толкает калитку, у которой никогда не было щеколды, взбегает на крыльцо, радостно заскрипевшее от ее легкого тела или мороза. Не разберешь. Взбегаю и я. Что ж. Мальчишки всегда уступают девчонкам.

Порог. И что-то другое. Какая-то другая сущность. Непонятная ему, мальчишке, но очевидная мне, его деду.

Я принимаю их в себя, и детей, и внуков.

Мои и ее руки переплелись венцами бревен. Мы и есть этот старый дом. Старый, старый. Ему уже 100 лет. Когда-то я вбегал в него так же. И она.

— Здравствуй! — кричит девчонка.

— Здравствуй! — кричит мальчишка.

И сбрасывают с себя пальто, шапки и рукавицы, которые чуть влажны от налипшего на них снега. Потом замирают.

— Слышишь? Скрипит...

— Это он здоровается с нами.

— Ну, конечно, здоровается.

— И тепло.

— А в печке огонь.

— Это потому, что дом волшебный.

— Ясно, что волшебный.

— Смотри! Пирожки!

— Ага. И горячие еще.

— А тут льдинки в ведре.

— Вот так дом!

— Вот это дом?! Да?

— Ага.

За порогом топанье ног. Голоса. И клубы пара, когда они все входят.

— Закрывайте! Холодно ведь.

— Да тепло здесь, тепло!

— Мам, и пирожки.

— Какие еще тебе пирожки?

— Да ты посмотри!

— Господи! Кто же это?

— Да-а. — Это их отец, это наш сын.

— Пап, — а голос таинственный и загадочный, — ведь дом-то волшебный!

В доме тепло. Все раздеваются. Вешают одежду на крючки или бросают в комнате на кровать. Трут лица и руки. Это-то, конечно, замерзли. Час на автобусе из города, да еще пешком по такому морозу минут пятнадцать.

— Да-а, — еще раз говорит их отец.

— Хорошо здесь будет в Новый год, — говорит наша дочь.

— Хорошо.

— Нет, ломать его не надо.

— Пусть стоит. Хорошо здесь.

— А дед с бабушкой здесь долго жили? — это девчонка.

— Да. Долго. — Это ее отец. Хмурится вдруг и отходит к окну. Там бутылка с настойкой, горькой или сладкой, я не знаю. Знают они.

— Согрелись немного?

— Ага!

— Да здесь же жарко.

— А до того, как жить здесь, они чем занимались?

— Чем?

— Ну да, чем?

— Как вам сказать. Дед все хотел, чтобы его поняли взрослые и немного дети. А бабушка, чтобы ее поняли дети и немного взрослые.

— Это трудно, — вдруг говорит девочка.

— Да. Трудно. — Их отец чуть удивлен таким заявлением.

— А сами... — Это мальчишка. — Ну... сами-то они понимали друг друга?

Отец молчит. Потом:

— Они умерли в один день...

Это сказка.

Он ставит на стол бутылку маминого вина.

Дом поскрипывает. Это я. Это она. Память, память моя. С потолка упало несколько капель.

— Надо будет починить летом. — Это второй сын. Наш.

Я-то знаю, что это ее слезы. Как выдержать? Я могу. Мои глаза сухи. А она — нет.

— Давайте к столу, раз нас здесь ждали.

Они рассаживаются тихо. Потрескивают дрова в печи. Тепло. Чисто. Дымятся еще горячие пирожки.

— А у меня с картошкой.

— А вот здесь с вареньем.

— Вот так дом!

— Дом, что надо.

— У других такого нет.

— А вдруг здесь место такое? А другие дома сломали, увезли.

Мы — дом. Просто дом, которому уже сто лет. Мы все видим. И все слышно нам. Все. Пусть им будет хорошо в нашем доме. Пусть они захотят прийти сюда раз. Ну, на Новый год.

— Значит, решено. Новый год будем встречать здесь. Видели у крыльца елочку? Ее и нарядим игрушками.

— Мы осторожно, — говорит девочка.

— Еще бы не осторожно, — говорит мальчишка.

— Ну и отлично.

Ну и отлично. Ведь мы их будем ждать. Снова натопим печь, принесем воды. Будут и пироги, и бабушкина наливка. А вдруг я найду ее тайник?

Потом они уходят, чтобы не опоздать на автобус.

И я смотрю, как они уходят, своим разбитым чердачным окном. И она. И солнце. Оно пробилось и заиграло лучами на искрах инея, на шестигранных кристаллах снега.

Мальчишка с девчонкой снова бегут. Они бегут впереди.

И я не верю, что они когда-нибудь состарятся. Нет. Они повзрослеют, но не состарятся. Ведь они это были немножечко я и она.

Нет. Не состарятся.

Никогда.

БИЛЕТ В ДЕТСТВО

Этот вокзал не был похож на все другие. Здесь никто никого не встречал и не провожал. Никто не суетился, не спешил и не опаздывал. Здесь не было камер хранения и носильщиков, потому что никто из пассажиров даже на одно мгновение не захотел бы расстаться со своим багажом, состоящим из воспоминаний о прошлом и мыслей о будущем.

Сюда приходили после глубоких раздумий. Одни — предчувствуя приближающуюся смерть, другие — перед тем, как навсегда улететь с Земли; третьи — чтобы полнее осознать сущность своего Я, сравнить себя, теперешнего, с молодым, на которого еще не налипли комья сомнений, страха, зависти, пошлости и себялюбия, который еще не согнулся под тяжестью повседневных забот.

Были и такие, что приходили сюда от безделья. Но вокзал не прощал людям насмешек и оскорблений. На них страшно было смотреть, когда они возвращались, так стыдились они своего настоящего. Но этих было мало, или они просто не решались появляться здесь.

...Я уже давно ощущал потребность встретиться с самим собой, задать самому себе несколько вопросов и самому же на них ответить. Эта потребность росла во мне с каждым днем, и однажды я не выдержал и пошел на вокзал.

— Билет в детство, пожалуйста, — сказал я в окошечко кассы и через пять минут уже сидел в жестком вагончике допотопной конструкции, с нетерпением ожидая свистка паровоза.

В купе рядом со мной оказалась старушка с корзиной фруктов и конфет. Волнение, с которым она поминутно перебирала ее содержимое, могло рассмешить кого угодно, но только не в этом поезде. Ее можно было понять: она ехала к маленькой девочке, в свое детство.

Напротив сидели мужчина с поседевшими висками и старик. Я знал этого мужчину по портретам в журналах. Это был известный пианист. Перед каждым концертом он совершал поездку в свое детство. Утверждали, что именно связь с детством делает его игру неповторимо прекрасной, но я слабо верил в это. Многие музыканты ездили в свое детство, но что-то мало среди них было гениев.

Старик сидел, положив руки на массивную трость. Он вез в подарок детству только мудрый взгляд своих уставших глаз.

Поезд тронулся... Размеренно стучали колеса, изредка раздавался свисток паровоза. Кто-то в соседнем купе потребовал у проводника холодного пива и долго ворчал, возмущаясь плохим обслуживанием.

Прошел грустный и задумчивый час. Вдали за поворотом уже можно было различить платформу.

— Приехали. Станция, — объявил проводник.

Все начали торопливо собираться и сбились в проходе.

— Суздаль! — удивленно сказала моя соседка.

Это был Загорск. Для меня это был Загорск. А для нее — Суздаль. Для старика — Пенза или Сызрань. Каждый приехал в город своего детства. Я уже видел золоченые купола Троице-Сергиевской лавры. А кто-то видел тайгу, стремительное течение Енисея, ленивую гладь Онежского озера.

Загорск... А я даже и не знал, что это мой город. Я не помнил своего детства.

Вагон быстро опустел. Старушка увидела в толпе встречавших пухленькую девочку, замахала ей платком и заплакала. Пианист положил руку на плечо мальчугану, и они пошли к виадуку, очень серьезно и сосредоточенно. На платформе было шумно и тесно, но постепенно люди расходились.

Меня никто не встречал. Я несколько раз махал рукой то одному, то другому мальчишке, но каждый раз он оказывался не мной. Трудно представить, каким ты был в детстве, тем более, что у меня не сохранилось ни одной фотографии. И вообще, были ли они?

Через десять минут около поезда почти никого не осталось. Только на самом краю платформы десятилетний мальчишка в майке и не по размеру больших брюках пинал носком ободранного ботинка стаканчик из-под мороженого.

— Сашка! — крикнул я. Но он, даже не взглянув в мою сторону, спрыгнул с платформы, пересек железнодорожные пути и скрылся за углом здания.

Я так ждал встречи со своим детством, так надеялся, что это поможет мне обрести утраченную в последнее время уверенность в себе, поможет лучше понять свои поступки. Эта встреча была так необходима мне.

А он не пришел...

Искать его в городе не имело смысла. Я бесцельно проболтался на вокзале около часа, дожидаясь, когда объявят посадку на обратный поезд.

Весь путь до Усть-Манска меня не покидало ощущение какой-то невосполнимой потери. Почему он не пришел? Почему? Соседи по купе были погружены в свои мысли, лишь одна женщина все время пыталась рассказать о своих проказах сорокалетней давности, но никак не могла найти внимательного слушателя.

Не успел я сойти с поезда на вокзале в Усть-Манске, как меня вызвали к диспетчеру.

— Простите, — сказал молодой парень в железнодорожной форме, когда я вошел в диспетчерскую и назвал свою фамилию. — Мы виноваты в том, что испортили вам настроение. Что-то произошло с системами волноводов темпорального поля. А может быть, темпограмма не дошла до адресата, и поэтому он не пришел вас встречать.

— Он мог и не захотеть со мной встретиться. — Я махнул рукой, собираясь выйти.

— В следующий раз это не повторится, — заверили меня. — Мы все проверим. Можете ехать в детство хоть завтра.

— Вряд ли в ближайший месяц у меня будет свободное время, — ответил я и вышел, не попрощавшись.

Приближался один важный эксперимент, и времени действительно не хватало.

И все же на следующий день я снова был на вокзале, снова ехал в дряхлом вагончике, снова стоял на пустеющем перроне.

На краю платформы, как и вчера, я увидел мальчишку.

— Сашка! — крикнул я. — Это же ты!

Я чувствовал, я твердо знал это.

Он хотел спрыгнуть с платформы, но передумал и остался стоять, глядя себе под ноги. Я бегом кинулся к нему, схватил за плечи. И вдруг он прижался к моей груди. На секунду, не более. Затем оттолкнул меня и, глядя исподлобья, сказал:

— Так вот ты какой...

В его голосе было очень много от взрослого мужчины. И вообще для мальчика он выглядел очень серьезным.

— Сашка! Значит, ты все-таки узнал меня?

— Еще бы. Но только я не Сашка. Меня все зовут Роланом... Ну, то есть Ролькой.

— Но ведь меня-то зовут Александром. Значит, и ты — Сашка.

Он пожал плечами.

Я в свои сорок лет выглядел еще крепким человеком. А он был нескладный и худой.

— Послушай, Сашка. Я буду звать тебя Александром, а не Роланом. — Здесь он снова пожал плечами, как бы говоря: «Как хочешь». — Почему ты такой тощий, чертяка?! Тебе надо заниматься спортом, иначе долго не протянешь.

На мгновение мне показалось, что его глаза смеются надо мной, и я тоже расхохотался. Какую глупость я только что ляпнул! Ведь я стою перед ним живой и здоровый. Как же в таком случае он может «долго не протянуть»? Вот ерунда-то.

Он тоже засмеялся, и мы дошли до самого виадука, хлопая друг друга по спинам ладонями и даже не пытаясь что-либо сказать из-за распиравшего нас смеха.

Привокзальная площадь была не такой, какой я привык ее видеть. Бывая в Загорске, я почти всегда заходил в кафе «Астра». Но сейчас его еще не было и в помине. Справа доносился гомон базарчика, который не могли заглушить даже паровозные гудки.

— Ну, ладно, Сашка, — сказал я. — Трудно ведь сразу вести себя так, чтобы кому-нибудь из нас не было смешно. Я еще не раз попаду впросак. И это вовсе не означает, что мы с тобой не должны где-нибудь основательно пообедать.

— Я не хочу, — сказал Сашка. — Нас уже кормили.

«А что он думает на самом деле? — попытался сообразить я. — Если бы я хотел есть, то никогда бы не отказался, тем более что предложение исходит от меня же самого. Ага! Но ведь я-то взрослый человек, я все понимаю. А он?»

— Не хочешь так не хочешь, — сказал я. — Расскажи-ка лучше, как ты живешь? Кто твои друзья?

— Только не надо допроса, — ответил он, и я понял, что мои вопросы действительно напоминают анкету, на которую нельзя ответить искренне.

Мы подошли к базарчику, и я спросил:

— А мороженого хочешь?

— Ага! — радостно ответил он.

— С орехами или пломбир?

— Ну да. С орехами! Такого и не бывает.

— Посмотрим, — загадочно сказал я, но у женщины, продающей мороженое, действительно не было ни того, ни другого. Я спросил ее на всякий случай, но лучше бы я этого не де-

лал. Она вдруг раскричалась на меня: «Ишь чего захотел!» Сашка потянул меня за руку:

— Пойдем...

Но я все же купил порцию обыкновенного молочного мороженого. Сашка взял его, глядя в сторону, но мне еще пришлось раза два сказать ему: «Ешь, чего ты?» — прежде чем он развернул бумажку. И тут же, как мне показалось, он забыл про меня. Сразу стало видно, как он хотел это мороженое. Обыкновенный десятилетний мальчишка, у которого мечты и желания еще не идут дальше этого...

— А ты научился лечить неизлечимые болезни? — неожиданно спросил он.

Я растерялся.

— Откуда ты это можешь знать? Ведь я занимаюсь этим всего лет двадцать. И начал совершенно случайно. Неужели я думал об этом еще тридцать лет назад?

— Но ведь я — это ты, — сказал он. — Только в детстве. Я знаю про тебя больше, чем ты про меня, потому что всегда хотел, чтобы ты был похож на меня, чтобы ты занимался тем, чем хочу заниматься я. Я этого очень хочу.

В нем как-то странно сочетались детская наивность и суровость взрослого.

— Нет, Сашка, я еще не научился лечить неизлечимые болезни. Но я думаю, что скоро это станет возможным.

— Правда? — обрадовался он.

— Правда. — Я потрепал его по макушке. — Но только мне очень не хватает времени. Тебе хорошо. Ты еще не замечаешь, как быстро бежит время.

Он бросил на меня стремительный взгляд, чуть насмешливый и странный, словно знал и скрывал до поры что-то очень важное для меня. Выцветшие брюки сидели на нем мешком. Рубашка в клеточку выгорела. «Не сладко же тебе приходится», — подумал я.

— Мне тоже не хватает времени, — сказал он наконец.

— Вот как?! — рассмеялся я. — И чем же ты занимаешься, что у тебя не хватает времени?

— Я хочу, чтобы ты получился счастливым...

— Ну, что ж. Считай, что я таким и получился. Только знаешь ли ты, что такое счастье?

Он не ответил на мой вопрос, словно и не слышал его.

— И еще я хочу, чтобы люди становились счастливее оттого, что ты есть.

Вот уж этого-то я наверняка не знал. Счастливы ли люди оттого, что я есть? Нет, я не мог это утверждать с уверенностью...

— Ты очень серьезный, Сашка. Это все-таки плохо в твоем возрасте.

— Это хорошо.

— Не будем спорить. А почему ты вчера не подошел?

— Ты ведь тоже не сразу приехал ко мне? А почему я должен был сразу броситься к тебе? Я тебя тоже ждал.

— Прости...

Мне показалось, что между нами внезапно возникла стена отчуждения, что мы чужие друг другу и что я никогда не смогу его понять, этого десятилетнего мальчишку, — то ли потому, что взрослые вообще плохо понимают детей, то ли потому, что он умнее меня. Но последнее я отбросил сразу же, так как не мог согласиться, что с годами глупею. Во всяком случае, до этой встречи мне такое и в голову не приходило.

Мы долго бродили по городу. Я узнал, что и он не помнит отца и мать, живет в интернате. Его неразговорчивость, некоторую скрытность я отнес за счет того, что это была наша первая встреча.

Позже я понял, что хотя Сашка и говорил меньше, чем я, но именно он направлял разговор. Он экзаменовал меня, делая это незаметно, ненавязчиво. И я вынужден был согласиться, что он в чем-то все-таки умнее меня. Не суммой знаний, которые я накопил за свои сорок лет. Конечно, нет! Может быть, своей системой мышления, своей способностью точно знать, чего он хочет, своей собранностью и иронией. Грустной-грустной, немальчишеской иронией.

Мы договорились встретиться еще. Я уехал с вечерним поездом. В последнюю минуту, когда я уже был в тамбуре вагона, он весело засмеялся, несколько раз лихо подпрыгнул и крикнул:

— А ты ничего! Не совсем такой, как я предполагал, но все же ничего. Пока!

Стена отчуждения между нами исчезла. И снова это сделал он. Сделал, когда сам захотел.

— Пока, Сашка! — крикнул я.

Поезд тронулся. Как мне было легко! Радость, непонятная, странная, необыкновенная, распирала грудь.

И все-таки я не знал, не мог предполагать, как нужна была мне эта встреча. Я стал работать так, как не работал уже дав-

но. Какое-то небывалое вдохновение овладело мной. Теперь я был уверен, что эксперимент пройдет удачно. Я сделаю то, о чем мечтал еще в детстве.

Несколько месяцев промелькнули незаметно. Целый ряд больших и маленьких удач, бессонные ночи, мимолетные сомнения, ожесточенные споры и захватывающие обсуждения, встречи и командировки. Наш институт работал над очень трудной и важной проблемой. Мы разрабатывали мгновенные нехирургические методы лечения травм на расстоянии. Короче, об этом можно рассказать так. Человек упал с высоты и разбился. Пока его доставят в ближайшую клинику, будет уже поздно. Мы разрабатывали методику и аппаратуру, которая позволяла этот мешок костей превратить снова в человека, так что он даже не успевал почувствовать боли. Человек падал с высоты и тут же вставал совершенно целым и невредимым.

Мы хотели уменьшить количество нелепых смертей. И у нас это уже получалось. Теперь я мог сказать: «Да, люди будут счастливее оттого, что я есть». Сказать только Сашке, то есть самому себе, и никому больше.

Только через полгода я смог выбрать время и купить билет в детство... Сашка на вокзал не пришел...

«Детская, нелепая выходка, — подумал я. — Обиделся, что я долго не приезжал». А я мог бы ему многое рассказать из того, о чем он мечтал.

Расстроенный, я вернулся в Усть-Манск. На вокзале меня снова пригласили в диспетчерскую.

— Что-нибудь с телеграммой? — с надеждой спросил я.

— Нет, телеграмму мы послали. Дело вот в чем... У вас не было детства... Это невероятно, но это так.

— Что за ерунда! Ведь я видел... я уже разговаривал с Сашкой.

— Это был не Сашка, то есть это были не вы в детстве. Это был Ролан Евстафьев.

Ролан Евстафьев? Я не знал такого, но фамилия была мне знакома.

— У вас не было детства.

— Но почему же тогда он приходил встречать меня? Да нет же! Это именно он, то есть я. Я это чувствую.

— У вас не было детства. Это случается по разным причинам. Очень редко, но случается.

Мне дали стакан воды. Наверное, вид у меня был растерянный и жалкий. Я плюхнулся в кресло, не в силах выйти

сейчас на улицу. Меня не тревожили и больше ничего не говорили. Да и что они могли сказать? Они выяснили, что у меня не было детства. Почему и как это произошло, они не знают. И помочь тут мне ничем не могут.

Когда у человека бывает трудное детство, говорят, что у него не было детства. Война, тяжелая болезнь, жестокое отношение окружающих людей... Да! Но у меня-то не было детства в прямом смысле, как мне только что сказали.

Я немного пришел в себя. Настолько, чтобы нормально двигаться, не вызывая подозрительных взглядов прохожих.

Через час я добрался до своей лаборатории. Было уже довольно поздно, почти все разошлись. Я сел за свой стол и попытался собраться с мыслями. Через некоторое время лаборатория опустела. Может быть, перед уходом они что-нибудь и говорили мне, но я не слышал... Только за стеной раздавался стрекот печатающей машинки. Это Елена Дмитриевна перепечатывала материалы наших экспериментов.

Я сидел за столом и вспоминал. Выискивал в памяти факты и сопоставлял их, и вспоминал, вспоминал.

Двадцать лет назад я очень долго болел. Во время болезни я потерял память. Я не помнил ни друзей, ни знакомых, ни самого себя до этой болезни. Странно, но в моей памяти отчетливо сохранились все знания и опыт начинающего молодого ученого. Исчезло только то, что касалось лично меня. Я как бы родился заново. Ко мне часто приходила одна девушка, Лена Евстафьева. Елена Дмитриевна Евстафьева. Двадцать лет она работает моим секретарем. Однажды вечером, это было уже после болезни, примерно через год, она вдруг заплакала за своим столиком, заставленным телефонными аппаратами и заваленным деловыми бумагами и папками. Я приподнял за подбородок ее мокрое от слез лицо.

— Я все равно люблю тебя, — сказала она.

Это было так неожиданно. И потом, почему «все равно»?

Она встала и ушла. Впервые ушла с работы раньше меня. На мой безмолвный вопрос она ответила:

— Не спрашивай. Ничего не было.

И я ничего не спросил у нее. Почти два десятка лет мы работаем вместе, и я ни разу не нашел времени поговорить с ней самой обо мне. Нет... Я просто боялся услышать от нее что-то... Что? Не знаю...

Замуж она не вышла. Я был женат, но недолго и неудачно.

Лена Евстафьева...

Я не помнил первой половины своей жизни, но был уверен, что Лены в ней не было.

Я набрал номер справочной и попросил продиктовать мне список лиц, работавших в институте двадцать лет назад. Тогда это была просто большая лаборатория. Монотонный голос называл фамилии: Абрамов... Волков... Ролан Евстафьев.

Стоп. Он работал здесь же. Я продолжал вспоминать. Нет. Я не помнил такого.

Перебирая личные дела, я узнал, что Ролан Евстафьев умер в тот день, когда я потерял память. Потерял память?!

И тут я понял. Я никогда не терял памяти. Меня просто не было. Я возник... стал существовать в тот день, когда он умер.

Кто я? Киборг? * Киборг, у которого вырезан аппендикс и который часто страдает насморком? Нет.

Его сознание, его Я вписали в мое тело? Нет.

Он создал меня и умер. Тут, конечно, ни при чем ни мое тело, ни даже клетки головного мозга. Он создал меня в каком-то более сложном, более совершенном смысле этого слова. Он создал мой образ мышления, мой интеллект. И я должен быть таким, каким он хотел видеть меня.

А этот мальчишка? Ведь он уже все продумал в свои десять лет, потому он со мной так странно и говорил. Он уже знал, что я — это то, что он создаст в будущем, когда поймет, что смертельно болен и уже ничего не успеет сделать сам.

Меня не должно было быть. Я не был предусмотрен штатным расписанием природы. Он создал меня.

У меня не было детства. Он подарил мне кусочек своего детства.

В соседней комнате зазвонил телефон. Елена Дмитриевна взяла трубку.

Я никогда серьезно не любил женщину. Он подарил мне ее. Теперь я знаю. Я всегда любил ее. Я скрывал это от себя. Я обманывал и себя и ее.

Он, этот десятилетний мальчишка, сделал для меня все, ничего не попросив взамен... Лишь одну порцию мороженого.

Он только раз захотел встретиться со мной, чтобы проверить, правильно ли поступит однажды, когда-то в будущем.

Я слышу, как Лена встала со стула и идет к дверям моей лаборатории легкой походкой.

* Киборг — кибернетический организм.

Ей тридцать семь лет. Она вдова Ролана Евстафьева, которому я обязан всем.

Сейчас она откроет дверь, и я все спрошу. Я спрошу ее, кто я.

И она мне все расскажет.

Дверь открывается.

Сейчас я узнаю все.

ДЕВОЧКА

1 Это произошло однажды вечером в конце мая. В квартиру кто-то настойчиво позвонил. Я открыл дверь и увидел на пороге девочку лет семи-восьми. Она была в белом коротеньком платьице, туфельках-босоножках и с большим белым бантом на голове. В руках она держала ученический портфель.

— Здравствуйте, маленькая волшебница, — сказал я. — Вы ко мне?

Она весело рассмеялась, бросила портфель и кинулась ко мне на шею.

— Здравствуй, папка! Какой ты смешной сегодня!

Я оторопел на мгновение, но тут же пришел в себя и опустил девочку на пол.

— Как ты сказала? Папка?

— Папка! Папуля! Папочка!

— Вот как... Это даже интересно. Что же мы стоим, в таком случае, на пороге? Проходи.

Она схватила портфель, вприпрыжку вбежала в комнату, бросила портфель на диван, мимоходом потрепала по спине лениво дремавшую кошку, потрогала колючие иголочки кактуса, росшего в горшке на подоконнике, открыла книжный шкаф, передвинула стулья и произвела еще немало перестановок, напевая вполголоса какую-то детскую песенку.

Придя в себя от изумления, я понял, что, несмотря на загадочность, появление этой девочки мне очень приятно. Я даже пожалел, что она не из нашего дома. Я бы приглашал ее иногда в гости, а она носилась бы по комнате, сея беспорядок, непосредственная и веселая, маленькая и легкая, стремительная, как солнечный зайчик. Вот только: «Здравствуй, папка!..» На детскую шутку мало похоже. Может быть, пошутил кто-нибудь, из взрослых? Но это было бы слишком жестоко по отношению к самой девочке. А вдруг она перепутала, дом? Сейчас ведь все дома одинаковые. Но в таком, случае я должен был бы походить на ее отца. Тоже маловероятно. Тем не менее что-то нужно было делать, и я отложил решение непосильных для меня загадок. Только сама девочка могла мне помочь.

— Ну, раз уж ты пришла, то что бы нам купить к чаю?

— Ах, папка! — укоризненно ответила она. — Ну конечно, эклер «Снежный». Как будто ты не знаешь!

— Да-да, — поспешил ответить я. — Как я мог забыть?

— Папка, ты иди в магазин, а я полью цветы. Они у нас совсем засохли.

— Отлично, — сказал я, надевая пиджак. — Я мигом вернусь. Чайник я сейчас включу, а ты его не трогай. Договорились?

— Договорились, папа, — и она, снова что-то замурлыкав, достала из кухонного шкафа графин и стала наполнять его водой.

Я спустился вниз и зашел в ближайший кондитерский магазин. Минут через пять я вернулся, неся коробки с пирожными и конфетами.

Девочка сидела посреди комнаты, пытаясь растормошить кошку, которая упорно отказывалась играть. Пустой графин стоял рядом. Цветы были политы.

— Ну вот я и вернулся. И чай, наверное, уже готов. Посмотри-ка, что я тебе принес!

Я разложил коробки на столе, и девочка сама открыла их. Через несколько минут на скатерти уже стояли варенье, сахар и чашки с чаем. Мне было приятно чувствовать себя гостеприимным хозяином.

Уговаривать девочку, конечно, не пришлось. Некоторое время мы молча прихлебывали чай, выбирая в коробках что-нибудь по вкусу. Я окончательно убедился, что вижу эту девочку впервые.

А она вела себя так, словно действительно была дома. Ни тени смущения или робости. Предметы в комнате, казалось, тоже были ей известны и знакомы. Нашла же она сразу графин. Около стены стоял стул. Это она его поставила. Значит, полит и маленький кактус на книжном шкафу. А его не сразу-то и заметишь.

— Знаешь, папа, — сказала она, смешно сморщив носик, — я сегодня получила четверку по русскому. За диктант.

По некоторым ноткам в ее голосе я понял, что она немного расстроена этим событием.

— Как же так?

— Так. — И она внимательно посмотрела мне в глаза. — И четверочка-то такая, ближе к тройке... Нет, папочка, старайся не старайся — не выйдет из меня отличницы.

— Ну, ничего, — сказал я и даже осмелился потрепать ее по волосам. — На следующий год ты уж как следует поднажмешь. Правда ведь?

— Правда, папка! — И она снова вся засияла, словно солнечный зайчик.

— Скажи, папа, почему, как только мама куда-нибудь уедет, ты всегда что-нибудь в квартире сделаешь по-своему?

Вот как! Значит, еще и мама! А впрочем, почему бы и нет? Мама обязана быть.

— Что же я сделал по-своему?

Она кивнула в сторону окна:

— А шторы? У нас таких не было.

— Ну, это я купил вчера... то есть сегодня. А знаешь что? Давай с тобой играть? Будем пить чай и играть.

— За столом?

— За столом. Будем не спеша пить чай и не спеша играть.

С этой девочкой было интересно говорить. Меня только смущало то обстоятельство, что она называла меня папой. И еще: я даже не знал ее имени. Спрашивать прямо мне было почему-то неудобно. Может быть, потому, что это расстроило бы игру. Какой же я папа, если не знаю, как зовут дочь.

— Мы будем играть с тобой в такую игру. Представим, что мы друг друга не знаем. Хорошо?

Она весело рассмеялась и пододвинула поближе к себе коробку конфет.

— Ну, тогда начали. Мы не знаем друг друга... Девочка, как тебя зовут?

— Оля.

— Чудесное имя.

— А как зовут вас?

— А меня зовут, — я набрал полную грудь воздуха и низким, насколько было возможно, голосом пробасил: — Онуфрий Балалаевич.

Она даже подпрыгнула от восторга на стуле и засмеялась так, словно по комнате рассыпались серебряные колокольчики.

— Ой, папка! Смешной! А почему тебя все зовут Григорий Иванович? А иногда, — тут она прижала палец к губам, словно доверяла большую тайну, — а иногда — Григ.

Теперь подпрыгнул на стуле я. Но только не от восторга, а от неожиданности. Подпрыгнул да еще поперхнулся горячим чаем. А Оля, этот солнечный зайчик с огромным белым бантом на макушке, тихо повизгивала от распиравшего ее смеха.

Я прокашлялся, взял себя в руки и сказал:

— Мы же договорились играть. Значит, пока меня нельзя называть папой. А откуда ты знаешь, что меня зовут Григорием Ивановичем, или Григом?

— А откуда ты знаешь, что меня зовут Оля?

— Я этого не знаю.

— Так ведь то в игре. А вообще, откуда ты знаешь, что меня зовут Оля?

Я чуть было не брякнул, что я ее вообще не знаю, но вовремя спохватился.

— Видишь ли, папы обычно знают, как зовут их детей. Они сами выбирают им имена. Вот и я... А откуда ты знаешь мое имя?

— Я же слышу, — и она коснулась пальцем своего уха.

— Понятно, — сказал я, чувствуя, что все больше и больше запутываюсь. — А в каком классе ты учишься? И в какой школе?

— В первом классе «Б». В школе... в Первой школе.

— Это здесь, недалеко, за углом? На Зеленой улице?

— На Зеленой... Можно, я еще съем пирожное, папа?

— Конечно, Оленька. — Я, наверное, придумал хорошую игру. Но я был настолько растерян, что потерял способность задавать вопросы, в голове вертелось одно: откуда она взялась здесь?

Мы еще минут пятнадцать продолжали придуманную мною игру. Причем девочка показывала поразительную осведомленность во всем, что касалось меня. Я уже удивлялся все больше и больше и наконец понял, что игра ей надоела. Уж очень скучные и нелепые вопросы я задавал.

— Я вымою чашки, папочка, — сказала она.

И, не дожидаясь ответа, понесла посуду на кухню.

Я уселся в кресло и закурил. Через открытую дверь мне была видна фигурка девочки, ее загорелое лицо, на котором все время менялось выражение. Ее вздернутый носик выражал любопытство, черные быстрые глаза — нетерпение, плавные движения рук были грациозны и пластичны. Все в ней было противоречиво. Я подумал, что, наверное, невозможно предугадать, что она сделает в следующее мгновение. А белый огромный бант на макушке окончательно утвердил меня в мысли, что эта девочка — солнечный зайчик.

— Папа, — вдруг сказала она, — почему ты так смотришь на меня?

— Извини, Оленька. Я задумался.

— А почему ты куришь? Ты ведь раньше не курил.

— Ах да. Это я так. Просто... Случайно. — Наконец-то она сказала такое, что ко мне не относилось. Я курил давно и ни разу не бросал. Значит, она знает обо мне не все.

Девочка вприпрыжку выбежала из кухни, подскочила к радиоприемнику, включила его и, открыв дверцу тумбочки, начала рыться в пластинках.

— Папка, ты будешь танцевать со мной лагетту?

— Конечно буду, Оленька. Только тебе придется меня научить. Я никогда не танцевал лагетту.

— Ох и хитрый, папка! Ведь мы с тобой почти каждый день танцуем лагетту. Притворяешься?

— Давай договоримся, что я забыл этот танец. А ты меня будешь учить.

— О-ё-ёй! — погрозила мне пальчиком девочка и снова начала переставлять пластинки. — Пластинки куда-то убежали, папочка. Может быть, у них есть ножки?

— Шейк или чарльстон тебя не устраивает?

— Устраивает, — ответила девочка.

И мы стали отплясывать чарльстон.

— Тебя, папочка, не перетанцуешь, — сказала девочка, смеясь.

— Да я уж и сам с ног валюсь.

Танцы кончились. Девочка села за рояль. Старый беккеровский рояль, на котором играли еще мои предки. Играла она неважно, но очень старательно, отсчитывая доли такта вслух. Потом захлопнула крышку рояля и сказала:

— Все равно мне Ксения Николаевна больше тройки не поставит.

— Если очень захочешь, то поставит.

— Я поиграю вечером. А вообще-то этот контрданс мне не очень нравится.

— Ну, Ксения Николаевна, наверное, знает, что тебе нужно играть.

— Я пойду к Марине, папа. Сначала мы с ней поиграем, а потом сделаем уроки. Хорошо?

— Хорошо, Оля. Иди, конечно.

Девочка взяла портфель, помахала мне рукой и выскочила за дверь. Я бросился вдогонку за ней и крикнул:

— Оля! Ты еще зайдешь ко мне?

— Что, папа? — ответила она звонким голосом откуда-то снизу. — Что ты сказал?

— Я говорю, чтобы ты долго не задерживалась.

— Хорошо-о-о!

Хлопнула входная дверь. Я вернулся и попытался читать книгу, но это заняло меня ненадолго. Я почему-то ждал, что девочка придет снова.

Но она не пришла в этот вечер.

2

Утром я, как обычно, наскоро позавтракав, уехал на испытательный полигон. Он был расположен километрах в пятнадцати от Усть-Манска, недалеко от реки, на небольшом, слегка волнистом плоскогорье. Полигон занимал площадь пять-шесть квадратных километров. Приземистые, но просторные корпуса лабораторий были, на первый взгляд, разбросаны по территории полигона в совершенном беспорядке. У въезда возле проходной теснились огромные ангары для транспортных машин и высилось здание подстанции. В центре блестела отполированная тысячами подошв и шин площадка для запуска капсул. Пятачок, как называли его здесь. Впрочем, пятачок этот был не так уж и мал. Его диаметр составлял около двухсот метров.

Из нашей группы испытателей кто-нибудь всегда оставался ночевать на полигоне, и поэтому дверь в домик была уже открыта. Внутри раздавались голоса, стук кнопок шахматных часов, возгласы: «Вылазь! Вылазь! Шах тебе!»

— А, Григ! Здорово! Значит, и начальство приехало?

— Здорово, парни, — сказал я. — Сваливайте шахматы, Феоктистов идет!

Шахматы и часы тотчас же убрали, и у всех на лицах появилось сосредоточенное выражение.

Феоктистов — руководитель группы исследователей, в которую входило девять человек, — появился на заросшей травой дорожке и еще издали, замахав длинными руками, закричал:

— Опять спите! Почему Ерзанов не в капсуле?!

— В капсуле он! — закричал в ответ Иннокентий Семенов, который был дежурным.

— В капсуле. Черта с два! Через неделю запуск, а вы тут блиц гоняете!

У всех, да и у меня тоже, лица вытянулись:

— Ну да?!

— Группу Стрижакова хотели, — вдруг совершенно спокойно сказал Феоктистов. — Потом заспорили. А в конце вы-

яснилось, что у них двое кашляют и чихают. У нас вроде все здоровы. Нет? — Он вопросительно огляделся. — Не вздумайте простыть. Тогда запуск снова отложат.

— А кого же? — чуть заикаясь от волнения, спросил Ерзанов, неизвестно откуда появившийся.

— Кого, кого... Веревкина! Вот кого!

Мы набросились на Веревкина, что-то кричали, хлопали его по спине и трясли за плечи. Левка сначала изумился, когда назвали его фамилию, потом обрадовался, а потом смутился и бормотал что-то нечленораздельное.

— Если бы Филиппыч сейчас видел вас, — сказал Феоктистов, — он бы никого из вас не допустил к запуску, по крайней мере, еще год. Какие эмоции?! Вы что, не умеете держать себя в руках?

— Но ведь радость-то какая! — сказал кто-то из нас.

— А если горе, несчастье? Вы, как никто другой, должны владеть своими чувствами. Авария! Семенов в главную капсулу, остальные дублировать. Волновод времени сужается! Перемычка!

Семенов прыгнул в дверь домика, пролетел половину коридора и скрылся в люке. Мы тоже кинулись по коридору врассыпную по своим местам.

Феоктистов, наверное, задал программу имитатору отказов еще с главного пульта в административном домике, потому что, когда я захлопнул за собой люк, с начала сужения волновода времени прошло уже двадцать секунд. Через двадцать секунд волновод времени будет перекрыт. И тогда крышка. Крышка пока еще чисто символическая. Но теория предсказывала, что это может быть на самом деле.

Итак, оставалось двадцать секунд. Даже меньше. Нужно или увеличивать мощность, поступающую в реверины, которые создают волновод, или увеличить скорость прохождения через волновод, или то и другое вместе.

В кабине имелась небольшая логическая вычислительная машина. Решала проблемы она молниеносно. Но ввод программы... Нужно определить, как далеко во времени образуется перемычка, какова скорость ее нарастания. Если полагаться на приборы, то времени не хватит. Здесь необходима работа не только сознания, но и подсознания, всего тела. Нужно врасти во время, раствориться во времени, почувствовать его.

Прошло девятнадцать и семь десятых секунды. Я успел проскочить перемычку. Рука потянулась к вспотевшему лбу, но

задержалась на полпути. Энергия поступала в реверины без контроля, огромными порциями. Система начала работать вразнос. Через семь секунд я выпаду со своей капсулой в какому-нибудь времени и замкну петлю обратной связи. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Шесть секунд... Система все более выходит из-под контроля... Выключить источники энергии! Сразу же появилась перемычка сверху. Энергию в реверины. Снова все вразнос. Система совершала колебания между двумя предельными состояниями: выпадением в чужое время и перспективой остаться вне всякого времени, то есть нигде и никогда.

Нужно удлинить промежутки критического времени. Как говорят, спуститься потихоньку на тормозах... Через десять секунд пляска прекратилась.

Через полчаса начались перегрузки. Обыкновенные перегрузки, когда нет сил поднять руку, закрыть рот, когда даже мысли в голове едва ворочаются, как будто придавленные тысячекилограммовым грузом. И снова перемычки, генерация без насыщения, вернее — с насыщением, которое есть конец.

К началу второго часа капсула времени в совершенно чистом идеальном волноводе споткнулась о непреодолимую преграду. Реверины по-прежнему пожирали энергию, но капсула не двигалась в прошлое. Это означало, что волновод моей капсулы пересек волновод, вернее, наткнулся на волновод какой-то другой капсулы. Может быть, из двухтысячного года. Может быть, на мой собственный, но более поздний. В прошлое не пройти. В настоящее... Кто-то пересек и путь к отступлению. А если это надолго?

В институте на каждый запуск в прошлое будут оформлять нечто вроде обращения к потомкам: не заполняйте такие-то силовые линии темпорального поля. Осторожно! Идут первые попытки человечества пробиться в прошлое.

Все это хорошо. Все это сверхнадежно. Нам, конечно, уступят дорогу. Ну, а если ошибутся, забудут?

И вот я сейчас сижу в западне. Что мне до того, что это только имитация!

Я перестал расходовать энергию капсулы. Когда произошло столкновение, я немного растерялся. Нужно было мгновенно возвращаться в настоящее. И теперь мне приходилось раскачиваться между двумя окнами в прошлое. Ни объехать, ни обойти. Я должен был не пропустить мгновения.

На секунду открылся путь в настоящее. Руки сами произвели необходимые действия.

Прошло два часа, три.

Внезапно заныли зубы. Все сразу. Потемнело в глазах. И, конечно, в тот момент, когда нужно было проскочить очередную перемычку. Потом на меня поочередно напали кашель, смех, апатия. Кто-то щекотал мне ступни. Все это сопровождалось перегрузками, отказом важнейших узлов электронной аппаратуры, перемычками, темнотой, воем, грохотом, леденящей тишиной.

В начале пятого часа началось самое страшное. Я на мгновение потерял сознание. Это испугало меня и сразу же лишило уверенности.

И все-таки какая-то часть сознания или подсознания бодрствовала. Я увидел перед собой искаженное от смеха свое собственное лицо. Ощутил слабую дрожь. Дрожь кабины. И руки начали плясать по клавишам, тумблерам и ручкам. На несколько секунд я пришел в себя и отметил, что только что проскочил опасную перемычку...

Все кончилось внезапно, как и началось.

Теперь снова будут трава, солнце, земля и небо.

3 Через несколько дней в моей квартире снова раздался звонок. Я сразу подумал, что это пришла девочка. Звонок пытался воспроизвести какую-то нехитрую мелодию. Это наверняка была она.

Валентина, моя приятельница, сделала движение, намереваясь открыть дверь, но я попросил ее посидеть немного на кухне, ничем себя не выдавая. Валентина недоуменно пожала плечами.

Я открыл входную дверь. На пороге снова стоял Солнечный зайчик.

— Здравствуй, папка!

— Здравствуй, Оленька!

— А мама приехала?

— Мама? Как тебе сказать...

— Приехала! Мама приехала!

Девочка вбежала в большую комнату, затем в маленькую.

— А где же мама?

Я поднес палец к губам, как бы говоря: «Терпение, сейчас будет сюрприз. Только не надо торопиться».

— Вымой руки, Оля.

Девочка скрылась в ванной, а я вошел на кухню.

— Ну вот, — сказал я Валентине. — Эта девочка снова пришла. Она называет меня папой, она почти все обо мне знает. Она ведет себя так, словно прожила здесь всю жизнь.

Мне показалось, что по лицу Валентины пробежала какая-то тень сомнения или недоверия.

— Ну что ж. Я пойду. Я думала, что все это шутка.

— Куда ты, Валюша? Я второй раз вижу эту девочку. Это просто игра.

— Игра? Вот она сейчас войдет, увидит меня и подумает, что у ее папы в доме чужая женщина. И игра будет испорчена. Я лучше уйду.

— Ничего не будет испорчено.

В это время открылась дверь и в кухню влетела девочка.

— Мама! — закричала она, задохнувшись от радости. — Мама!

Я заметил, как Валентина, на мгновение оторопев и чуть подавшись назад, вдруг схватила девочку и прижала к себе.

— Мама! Мамочка! Наконец-то ты приехала!

— Оля, — сказал я, когда они нацеловались. — Не мешало бы полить цветы. А?

— Но я их поливала сегодня утром.

— Вот как? Ты их поливала сегодня утром? Что-то не похоже. — Я ковырнул пальцем землю в одном горшке. — Совсем сухая.

— Ну хорошо, — сказала девочка. — Я полью их. Но все равно я поливала их сегодня утром. — И она пошла за графином.

— Что скажешь, Валюша? Вот ты и мама! Признайся, что немного не верила мне? Как тебе все это нравится?

— Странно... Но она действительно считает меня мамой, а тебя отцом. Ничего не понимаю.

— Она мне очень нравится. Я про себя называю ее Солнечным зайчиком. Правда, похожа?

— Очень похожа...

В этот вечер мы были одной семьей. Нужно было, по крайней мере, пообедать по-семейному. Но в моем холодильнике не было никаких припасов. Валентина поставила на плитку кастрюлю с водой, а я побежал в магазин и купил там мяса, масла, луку и еще всякой всячины. Весь мой кулинарный опыт исчерпывался покупкой колбасы, сыра и рыбных консервов, и поэтому мне пришлось туго. Я импровизировал на ходу.

Через полчаса я был дома. Валентина и Оля сидели на диване. На кухне кипела кастрюля, пуская клубы пара. Они про нее, конечно, забыли. По их счастливым лицам было видно, что им хорошо вдвоем.

Валентина поцеловала девочку и сказала:

— Оля, ты поиграй немного. Мне надо заняться кое-чем на кухне.

— Хорошо, мама.

Я в это время разгружал сумку. Валентина прикрыла дверь и обняла меня за плечи.

— Гриша, она знает обо мне все. Она не перепутала. И мне сейчас кажется, что она действительно моя дочь. Странно, правда? Она не играет.

— Успокойся, Валюшенька. Все выяснится. Когда она ушла в тот раз, я все время ждал ее возвращения. Весь вечер, всю ночь и на другой день. Потом решил, что она уже никогда не придет. И мне было грустно... Смешно, правда?

— Она опять сегодня уйдет?

— По-моему, уйдет.

— И не вернется?

— Этого я не знаю. Сегодня, во всяком случае, нет. Может быть, завтра или через неделю...

— Я не отпущу ее.

— Мне кажется, этого нельзя делать. Ведь где-то у нее есть дом. И настоящие отец и мать.

— Может быть, она из детского дома? Может быть, ей просто хочется иметь папу и маму? Вот она их и придумала. Пусть ее сказка окажется правдой. Вдруг она действительно из детского дома?

После обеда Валентина и Ольга так раздурачились, что я невольно сам принял участие в их возне. Устав, они снова взобрались на диван, но еще долго не могли успокоиться, начиная вдруг ни с того ни с сего хохотать. Смеялся и я.

Потом девочка, как и в прошлый раз, засобиралась к подружке поиграть. Валентина начала отговаривать ее и предложила сходить в кино или просто погулять. В кинотеатре народу было не очень много, но детей на вечерние сеансы не пускали, и мы отправились в городской сад.

Мы гуляли по дорожкам парка, причем Ольга и Валентина все время о чем-то говорили. Я немного отстал. Вдруг я увидел растерянное лицо Валентины.

— Она все-таки ушла!

— Как ушла?

— Она захотела мороженого. Я дала ей денег. Она бегом кинулась к киоску, а когда я подошла, ее уже здесь не было.

Мы спросили у продавщицы, не подходила ли только что к ней девочка с большим белым бантом на голове, но та ответила что-то нечленораздельное.

— Я говорил, что она все равно уйдет, — сказал я.

— Нет. Она, наверное, просто потерялась. Надо объявить по радио. А если она тоже ищет нас?

Мы побежали к радиобудке, но в душе я мало верил в успех нашего предприятия. У девочки где-то есть свой дом. Там ее ждут. Может, это детский дом. А может, и настоящая семья. Все равно у нее есть дом. А к нам она приходит только поиграть.

Мы ждали девочку около большого фонтана, обычного места встреч. Диктор несколько раз объявил, что потерялась девочка, и просил ее или тех, кто видел девочку, подойти к фонтану. Но к нам никто не подошел.

— Она, наверное, дома, — сказала Валентина. — Она потерялась и ушла домой. Здесь ведь совсем недалеко. Она ждет нас.

В окнах моей квартиры света не было. И в самой квартире никого не было. Я надеялся, что остался хотя бы ее портфель и если девочка не вернется за ним, то я открою его и посмотрю, что в нем есть. Но портфеля в квартире тоже не было. Я точно помнил, что она пришла с портфелем, а когда мы вышли втроем, портфель остался в квартире. Теперь его не было. Значит, девочка заходила сюда и взяла свой портфель. Иного объяснения я не мог придумать. Ведь не мог же портфель исчезнуть сам по себе. Не мог он испариться. Но, с другой стороны, у девочки не было ключа...

Валентина вышла на балкон. Наступал вечер. Стало прохладно. Я закурил.

— Ты все еще ждешь? — спросил я.

— Я буду ждать ее, — ответила Валентина. — Она придет.

— Сегодня она не придет.

— Все равно я буду ждать.

Валентина осталась у меня. И на другой день мы решили перевезти ее вещи.

4 Утром мы ехали на полигон вместе. Валентина работала в лаборатории измерений, расположенной почти в противоположном от нашего домика конце полигона.

— Объявим, что мы муж и жена, вечером, — крикнул я ей.

— Когда Левка вернется!

— Хорошо!

Около нашей лаборатории толпился народ. Кто-то из администраторов безуспешно пытался разогнать эту толпу. Но все было напрасно. Группа Стрижакова в полном составе расположилась под окнами комнаты, где сейчас медики тщательно проверяли состояние психики Льва Аркадьевича Веревкина.

Около капсулы, на площадке для запусков, возились техники и инженеры. Там тоже шли последние приготовления. Кто-то в последние часы перед стартом нашел несколько мелких неисправностей, и сейчас впаивали новые интегральные схемы, меняли тумблеры, Феоктистов бегал вокруг и был страшно недоволен.

Веревкина предполагалось запустить в прошлое, которое будет отстоять от момента запуска капсулы на два-три часа. Он должен был увидеть время, непосредственно предшествующее самому запуску.

К одиннадцати часам дня напряжение на полигоне достигло предела. В разных его концах ревели моторы фургонов, перевозивших аппаратуру поближе к пятачку, инженеры и техники бегали как угорелые, группа администраторов во главе с директором института твердой походкой прошла в наш домик, появились люди с кинокамерами и фотоаппаратами.

Время запуска приближалось.

В половине двенадцатого полигон замер. Люди, которые непосредственно не участвовали в запуске, отошли на приличное расстояние от пятачка. И сразу же выяснилось, что все идет по порядку, что все знают, что им нужно делать, что нет никакой сутолоки и спешки.

И вот мы по очереди обнимаем Левку, говорим какие-то слова, что-то советуем. Левка твердым шагом идет к капсуле и, неуклюже согнувшись, лезет в люк.

Закрыли люк. Теперь Веревкина связывал с настоящим только шнур телефонной связи. Феоктистов сказал еще несколько слов в трубку, и техники отсоединили и этот канал связи. Сматывая кабели и провода, обслуживающий персонал бежал от капсулы к краям пятачка. Феоктистов смотрел на стрелку своих часов, сверенных с часами Веревкина. Истекали последние секунды. Феоктистов махнул рукой. Махнул просто так, потому что Левка должен был сам произвести запуск.

Капсула исчезла.

Кто-то закричал «ура».

И вот уже все на полигоне кричат. Только Феоктистов трет переносицу и молчит.

В толпе, метрах в ста от того места, где я стоял, я заметил Валентину. Она махала мне рукой. Я пробрался к ней.

— Здорово, Валя! Теперь нас не удержишь.

— Я тоже рада, — ответила она. — Страшно только. Лучше бы эти несколько часов до его возвращения исчезли. Или уснуть бы.

— Не уснешь, во-первых, — сказал я. — А во-вторых, на полигоне нельзя спать в рабочее время.

— Я хочу, чтобы он вернулся вовремя.

— Я тоже. Все этого хотят.

— Я хочу больше всех. Если он вернется, тогда и ты будешь возвращаться.

— Не смей трусить.

— Что он там сейчас делает?

— Вернется — расскажет.

Капсула должна была вернуться через два часа, и поэтому никто не отходил от пятачка, хотя уже наступило обеденное время. Радостное оживление, вызванное благополучным запуском капсулы, прошло, и теперь наступило ожидание, когда кажется, что время течет очень медленно, когда не знаешь, куда себя девать и чем заняться. Теперь мы уже не могли помочь Веревкину, если бы с ним что-нибудь случилось.

С утра погода была солнечная и теплая. А сейчас потянуло ветерком и на небе собрались тучки. Несколько раз принимался чуть заметный дождик. Некоторые на всякий случай сбегали за плащами или просто притащили большие куски брезента, чтобы не промокнуть. Но дождь только шутил.

Прошло около двух часов, и людьми овладела тревога. Только бы он вернулся!

Первым почувствовал неладное Феоктистов. Взглянув очередной раз на часы, он вдруг подошел к директору института и что-то сказал ему. Директор покачал головой. Феоктистов сказал еще что-то, и директор жестом подозвал начальника отдела надежности. Тот подошел к ним, и лицо у него было не очень радостное.

Прошло уже два с половиной часа, а капсула Веревкина не возвращалась.

Снова инженеры и техники метались по полигону. Из фургонов тащили какие-то чертежи и схемы. Начальник отдела надежности стоял бледный-бледный. Феоктистов рассматривал детали, которые вынули из капсулы.

— Ничего не надо было менять перед стартом. Это плохо действует на человека, — донеслось до меня.

— Гриша, — сказала Валентина, — он должен вернуться. Понимаешь, он должен вернуться.

Я это понимал. Ох, как хорошо понимал.

Прошло три часа, потом четыре, затем пять. Капсула не возвращалась.

— Валя, не плачь. Еще ничего не известно, — сказал я.

Хотя чего уж тут теперь неизвестного. Лицо ее заострилось, глаза потухли.

Когда солнце склонилось к горизонту, всем стало ясно, что Левка не вернется. Еще несколько часов назад была создана комиссия по выяснению причин катастрофы. Она заседала в административном корпусе. Постепенно люди стали расходиться, но человек сто, в том числе вся наша группа, группа Стрижакова и Валентина, оставались здесь всю ночь.

Ничем наше присутствие не могло помочь Левке, но как заставить себя уйти? Казалось, что если уйдешь, то совершишь маленькое предательство. И мы не уходили. Все молчали. Было тягостно и страшно.

Утром приехали представители из других институтов, из министерства и еще каких-то учреждений и организаций. Нам всем по очереди задавали самые сложные программы, и мы выполняли их в наших тренировочных капсулах, ни разу не сбившись, ни разу не дрогнув, хотя позади была бессонная ночь. Феоктистов ходил молчаливый, односложно отвечая на вопросы комиссии. Наша подготовка была признана хорошей. Аппаратуру гоняли на разных режимах целый день, и она все выдержала на «отлично».

Комиссия не нашла ничего, что пролило бы свет на трагедию, разыгравшуюся на полигоне.

Можно было только предположить, что сам Левка что-то там, в капсуле, сделал не так.

5

Наступил июль. Стояла жара. Я перевез немногочисленные вещи Валентины в теперь уже нашу квартиру. Феоктистов настоял, чтобы тренировки продолжались, и мы занимались в тренировочных капсулах по несколько часов в день. Настроение у всех было подавленное. Один испытатель ушел из группы. Нас осталось семеро.

До конца лета был произведен запуск в прошлое полутора десятков автоматических капсул. Вернулись назад все, кроме одной, у которой перед самым стартом было заменено несколько интегральных схем. Инженеры ухватились за эту зацепку, но объяснить причин катастрофы капсулы по-прежнему не могли.

Таинственная девочка Оля, Солнечный зайчик, появлялась у нас несколько раз. Валентина каждый раз не хотела отпускать девочку домой, придумывая разные хитрости, чтобы задержать ее, но все было напрасно. Девочка исчезала. Она стала настоящим членом нашей семьи. Мы купили ей диванчик и поставили его в маленькую комнату, но она ни разу им не воспользовалась. Она никогда не оставалась у нас на ночь.

Однажды она не приходила к нам недели три, и мы с Валентиной обошли все детские дома в Усть-Манске — Ольги не было ни в одном из них. Мы побывали и в школе, в которой, по ее словам, она училась. Но и в этой школе Ольга не числилась.

А между тем девочка знала всех. Почти всех. Во всяком случае, очень многих.

В июле было решено сделать попытку проникнуть в прошлое хоть на десять секунд. Исполнителем этого эксперимента был назначен Иннокентий Семенов.

Эксперимент готовился тщательно. Люди не собрались, как в прошлый раз, толпой под окнами нашей лаборатории. Не было шума, не было и веселого оживления, предшествовавшего первому запуску.

Вокруг пятачка установили щиты с большими электрическими табло, на которых отсчитывались секунды. Они отсчитывались в таком порядке, чтобы испытатель в своей капсуле смог засечь время выхода в прошлое. Ведь десять секунд для человека очень малый промежуток времени. Правда, в тренировочных капсулах за десять секунд мы успевали дважды проскакивать перемычку в волноводе времени. Но то было на тренировках...

25 июля к одиннадцати часам все было готово к проведению эксперимента. Все отошли от пятачка, и электронное табло начало отсчет времени.

Капсула Семенова исчезла. Все затаили дыхание. Над полигоном стояла тишина. Только кузнечики преспокойно стрекотали в траве. Их это не касалось.

И вот капсула снова появилась на пятачке. Мы бросились к ней. Семенов мог сам открыть люк изнутри, но он почему-то этого не делал.

Добежать до капсулы было делом нескольких секунд. Отвинтили люк, спустились в капсулу. Вынули Семенова. К нему кинулся врач. Несколько секунд он колдовал над испытателем, потом закрыл свой чемоданчик. Семенова положили на носилки и понесли. Врач поднял вверх обе руки и сжал их, как будто здоровался.

У нас отлегло от сердца. Вид у встречающей группы был встревоженный, но все же стало ясно, что Семенов жив.

Когда Семенов пришел в себя, мы уже не старались сдержать радости. Он встал, удивленно оглядываясь. К нему со всех сторон лезли пожать руку. Хроникер трещал своей кинокамерой, подняв ее на вытянутых руках.

Вокруг орали так, что с трудом можно было расслышать отдельные выкрики. Потом испытателя начали качать, и в это время к нему пробились директор института, Феоктистов и другие администраторы. Семенова посадили в легковую автомашину и увезли в главный корпус.

— Ничего не дадут узнать, — сказал кто-то недовольно.

Меня потянули за рукав. Это была Валентина. Она смеялась и чуть ли не плакала от радости. Мы отошли с ней в сторонку и сели под березу, прямо на траву.

— Ты рад? — спросила она меня.

— Спрашиваешь. Конечно! Все-таки мы пробились в прошлое. Пусть на мгновение, но все же пробились. Теперь в эту брешь мы и прорвемся. А ты заметила, что никто не дышал, пока капсула не появилась на пятачке? Верили и не верили. Ты верила?

— Я знала, что она вернется.

— Как ты могла знать?

— Я не рассказывала тебе, потому что это что-то такое... ну, что всегда связано с Ольгой... Все понятно. Я как-то случайно спросила ее, кто на нашем полигоне вернется из прошлого первым. И она ответила, что дядя Семенов.

Я удивленно уставился на Валентину.

— Не смотри на меня так, Гриша. Мне кажется, что она как-то может влиять на происходящее. Что подумает, то и получается на самом деле.

— Совпадение, — сказал я. — Нет, Валентина, девочка тут ни при чем.

— Ты так думаешь? Ты уверен?

Конечно, я был уверен. Не могла она влиять на происходящие события.

— Я, Гриша, все время хочу спросить у нее о тебе. Но у меня язык не поворачивается. Я боюсь.

— Валя, ты становишься суеверной. Со мной ничего не случится. Я знаю это точно.

По радио объявили, чтобы все испытатели собрались в административном корпусе в зале заседаний. Мы побежали. Мы не могли идти спокойно.

В зале было полно народу, но нам отвели пустой первый ряд.

На сцене сидели ученые, ведущие инженеры-разработчики и Семенов. Феоктистов поднялся на трибуну и сказал:

— Капсула действительно была в прошлом. Аппаратура это зафиксировала. Но сам испытатель этого подтвердить не может. Он этого не помнит.

Потом было сделано несколько сообщений о том, как вели себя отдельные узлы аппаратуры во время эксперимента. Медики доложили о состоянии здоровья Семенова. Потом выступил сам испытатель. Его речь была очень краткой. Последнее, что он помнил, было мгновение, когда он поднял руку, чтобы нажать кнопку пуска, и посмотрел в иллюминатор. Затем его глаза застлала какая-то дымчатая пелена, и он потерял сознание. Это было не совсем похоже на потерю сознания. Но более точно он объяснить не мог. Когда он вернулся в настоящее, то у него был уже обыкновенный обморок.

Обморок? Пускай. Но почему он не помнил, как нажимал кнопку пуска? Разве мог он в бессознательном состоянии произвести запуск?

Об этом спорили несколько часов и пришли к выводу, что Семенов просто забыл в результате обморока время, непосредственно предшествовавшее самому запуску.

И все же дверца в прошлое была приоткрыта. Камера зафиксировала те десять секунд, что капсула находилась в прошлом.

После этого в течение двух недель последовала серия запусков на десять-двадцать секунд и даже на минуту. Все обошлось благополучно, не считая того, что снова никто не помнил, как он производил запуск и что было в капсуле до тех пор, пока он не оказался в настоящем.

Девочка по-прежнему иногда появлялась у нас. Валентина так и не осмелилась спросить у нее, что будет со мной, когда меня запустят в прошлое. Я был доволен этим, потому что Валентина в последнее время и без того стала нервной и раздражительной.

Откуда приходила к нам эта девочка? Я много размышлял об этом. Может быть, она действительно моя дочь, каким-то образом переносящаяся из будущего в настоящее, но без аппаратуры, без капсулы?

Однажды в середине августа я встретил ее на улице. Это был первый случай, когда я встретил ее не в своей квартире. С ней шел какой-то мужчина. Она прошла почти рядом, не заметив меня, а мужчина на мгновение оглянулся и смерил меня взглядом. Я успел расслышать, как девочка назвала его папой. Это объясняло все. Значит, девочка жила где-то рядом. Все дело в том, что не только дома, но и родители все более стандартизируются и становятся похожими друг на друга... Все стало на свои места, и это принесло пустоту и грусть. Мы с Валентиной очень привязались к Ольге и все еще надеялись найти ее в каком-нибудь детском доме и взять к себе.

Я рассказал Валентине о случившемся, но она мне не поверила. Она не могла этому поверить.

6

И вот настал день, когда в капсулу должен был сесть я. Это было в конце августа.

Меня должны были запустить на полчаса. Примерно за час до этого начались сборы. Я облачился в комбинезон и выслушивал последние наставления и советы. По роду службы Валентина в это время должна была находиться на другом конце полигона. Мы пожали друг другу руки немного раньше. И вдруг неожиданно раздался возглас:

— Папа! Папа!

Я оглянулся. В дверях лаборатории стояла Оля. Солнце светило ей в затылок, и распущенные волосы казались золотыми. Она снова была в белом прозрачном платье и с большим белым бантом на голове. Лицо ее стремительно меняло

выражение. То радостное, потому что она увидела меня, то чуть испуганное, потому что незнакомые дяди и тети могли ее отсюда выгнать, то детски наивное, словно все это игра. Она бросилась ко мне. Она снова была маленьким солнечным зайчиком. Никто не прикрикнул на нее, не остановил. Правда, некоторые хмыкнули в ладошку: откуда у этого молодого испытателя могла взяться такая большая дочь? Но заметив, что я нисколько не удивлен этой встрече, взрослые посерьезнели и по-одному вышли из комнаты.

— Ты хотел мне показать капсулу, папа! — сказала она. — И разрешить посмотреть на кнопочки. Можно?

Мы зашли в одну из капсул-тренажеров. Я начал объяснять ей назначение ручек управления, не очень заботясь о связности объяснения, так как она все равно ничего бы не поняла. Ее особенно интересовала кнопка возвращения. Она несколько раз заставляла меня нажимать ее, приговаривая:

— Домой! Домой! Ты возвращаешься! Ты возвращаешься!

Потом я объяснил ей, что эту кнопку можно и не нажимать, потому что у капсулы есть электронный мозг, которому перед стартом зададут программу, и он сам возвратит капсулу на пятачок.

— А если этот мозг уснет, папа? Что тогда?

— Он не может уснуть. Он не умеет спать.

— Ну, а если он разобьется или сломается?

— Он очень прочный, Оля. С ним ничего не сделается.

— Ну, а все-таки?

— Тогда я нажму вот эту кнопку и верну капсулу сам.

— Пап, нажми кнопку. Еще. Еще.

При нажатии этой кнопки гудел зуммер и мигали лампочки пульта управления. Это, наверное, и заставляло ее просить меня нажимать кнопку. Я нажал на нее, наверное, раз двадцать.

— Папа, не забудь нажать эту кнопку, когда будешь там, — сказала Оля, и в это время меня осторожно позвали.

Мы вышли из лаборатории. Девочка держалась за мою руку, не выпуская ее.

Мы подошли к пятачку. Валентина увидела нас издалека и подбежала. Ольга кинулась к ней. В глазах у Валентины можно было прочесть: как ты сюда попала?

В электронный мозг капсулы закладывали программу возвращения. Я помахал друзьям рукой. Валентина вцепилась в девочку и напряженно смотрела на меня.

— Все будет хорошо! — крикнул я и пошел к капсуле.

Того, что произошло дальше, я не помню. Но все было точно так, как я об этом рассказываю. Иного объяснения тому, что со мной произошло, я не могу найти. Позже все подтвердилось.

Когда я нажимал кнопку пульта, я был в полном сознании, но сразу же после этого начался обморок. Он длился несколько минут. Потом я пришел в себя и каким-то образом понял, что нахожусь в капсуле. Именно каким-то странным образом, потому что мое сознание в это время говорило мне, что я стою возле капсулы. Около пятачка тоже стояли люди и что-то кричали. Потом я начал медленно пятиться от капсулы. очутился на краю асфальтового пятачка, как-то нелепо спрыгнул с него.

И в то же время я находился в капсуле. Я каким-то образом каждое мгновение чувствовал свою кабину, ручки и кнопки управления. Вдруг едва заметно задрожала кабина и, хотя я в это время, пятясь, отходил от пятачка, руки произвели необходимые действия, потому что в волноводе начала образовываться перемычка.

В это мгновение я уже не помнил, что со мной было с того момента, когда я прощался с Валентиной, и до того, как я проскочил перемычку.

Передо мной вставали все более и более ранние картины, предшествовавшие старту. Это были даже не картины. Я все чувствовал, ощущал, я все слышал, различал запахи леса, трав и цветов. Это было мое настоящее, только чуть-чуть размытое в мелких деталях, на которые я, очевидно, тогда не обращал внимания. А то, что было в кабине капсулы, действительно напоминало какую-то картину, нереальную, выдуманную, не имеющую права на существование, потому что в это время я был еще только возле домика, следовательно, никак не мог находиться в капсуле.

Словно две кинопленки разворачивались передо мной.

Иногда это казалось мне сумасшествием. Я переставал понимать, что происходит со мной и где я нахожусь. Я не знал, что мне надо делать в следующее мгновение.

У меня, правда, возникла мысль, что все наоборот. Но что наоборот? Зачем наоборот? Что такое — наоборот?

Любой посторонний наблюдатель, если бы это только было возможно, сразу понял бы, что у меня в капсуле время течет вспять. И вся информация, которая имелась в моем мозгу и в запоминающем устройстве вычислительной машины капсулы, постепенно прокручивалась в обратную сторону и тут же стиралась, уничтожалась.

Я уже не мог знать, почему и как я очутился в капсуле. Все предыдущие воспоминания об этом исчезли.

Я еще не осознал, в каком ужасном положении я нахожусь. Я не мог возвратиться в настоящее сам, потому что не знал, что нахожусь уже в прошлом. И автоматика не могла вернуть меня. Программу для возвращения в память вычислительной машины заложили за несколько минут перед стартом, и она уже была стерта текущим в обратную сторону временем.

Со мной случилось то же, что и с Левкой. Поэтому Левка и не вернулся. Он так и не нажал кнопку возвращения.

Я был обречен, пока в кабине оставался воздух, все дальше и дальше уходить в прошлое, не догадываясь нажать кнопку возвращения.

Я сидел в тренировочной капсуле. Рядом стояла Оля. Наши движения были смешны и нелепы, а речь вообще воспринималась как бессмысленный набор звуков.

— Укпонк имжан, пап, — говорила девочка.

Я понимал ее там, в лаборатории, на полигоне, а здесь, в капсуле, мне было смешно. Что такое «укпонк»?

— Укпонк имжан, пап, — снова сказала девочка.

Я рассмеялся. Но она повторяла это снова и снова, и я там, в лаборатории, старательно отдергивал палец от кнопки.

Ольга повторила смешную фразу раз десять, и это вдруг заставило меня насторожиться. Я делал все в обратном порядке, но подсознательно ухватился за эту фразу. Что такое «укпонк»? Почему Оля столько раз повторяет?

А она все повторяла и повторяла.

И вдруг я почему-то прочел фразу наоборот. Это было какое-то секундное возвращение к действительности.

— Пап, нажми кнопку!

Я еще, конечно, не осознал, где нахожусь, но раз Ольга просила, значит, надо нажать.

Я и нажал кнопку возвращения в настоящее. И сразу же лента в сознании, которая прокручивалась в обратном направлении, остановилась. Это позволило мне окончательно прийти в себя. И я увидел, что нахожусь в кабине капсулы. Ничто не напоминало мне, что я действительно возвращаюсь из прошлого, что нахожусь не в тренировочной капсуле.

Но я не трогал ни одной ручки. Я сидел неподвижно, передо мной было лицо девочки с большим белым бантом.

— Ты возвращаешься! Ты возвращаешься!

Вспыхнула световая сигнализация и раздвинулись створки иллюминаторов. Лицо девочки исчезло.

«Ну что ж, — сказал я себе. — Я нахожусь в тренировочной капсуле. Ольге надоело выслушивать мои объяснения, и она убежала. Через полчаса запуск».

Я толкнул люк и почувствовал, что он завинчен. Что случилось? Вдруг крышка люка отлетела в сторону, и ко мне заглянул человек.

— Жив! — заорал он. — Жив и даже улыбается!

— Что случилось, ребята? — спросил я, вылезая из люка. — Кто перетащил сюда эту капсулу? Ведь скоро запуск.

Мне не дали договорить, схватили на руки и потащили к краю пятачка. Рядом бежала женщина в белом халате и кричала:

— Отпустите его! На носилки! Его же исследовать надо!

— Успеете. Теперь успеете, — сказал кто-то.

Я видел, что лица людей радостны, но не понимал причины такого бурного веселья. Кроме того, мне было немного неудобно, что я что-то забыл, а через несколько секунд запуск. Еще отменят из-за этого.

Когда меня наконец отпустили, я увидел плачущую Валентину.

— Валя, — сказал я, — мы же договорились, что ты не будешь плакать.

— Я и не плакала...

— Но ведь ты плачешь. Я вернусь. Не бойся за меня.

— Ты вернулся, — сказала она, плача и смеясь. — Ты вернулся!

«Ты возвращаешься! Ты возвращаешься!» — вдруг вспомнил я. И лицо Ольги. Значит...

— Где Ольга? — крикнул я.

— Я опять упустила ее, — сказала Валентина. — Но теперь, мне кажется, она вернется к нам навсегда.

Я просто вынужден был поверить, что побывал в прошлом. Кинокамера, у которой не было программного управления и которая включалась при нажатии кнопки возвращения, зафиксировала, что я действительно на полчаса проник в прошлое.

Весь институт потом долго ломал голову над тем, что же со мной произошло. Постепенно картина вырисовывалась.

Время в капсуле раздваивалось. Одна составляющая его текла вспять и воспринималась ярко и отчетливо. Другая составляющая текла в нашем обычном понимании, но практически не воспринималась.

Теперь я мог рассказать всем, что со мной произошло в капсуле, почему я вернулся, почему погиб Левка, почему теряли сознание предыдущие испытатели, почему не возвращались некоторые автоматические капсулы. Задавать программу автоматическим капсулам необходимо было хотя бы за несколько часов перед стартом, если их отправляли на продолжительный срок.

Мы выиграли сражение, хотя и с потерями.

А что мы имели в результате?

В прошлое проникнуть можно. Но капсула движется медленно, со скоростью обычного времени.

Прощай, мечта проникнуть в прошлые столетия! Нельзя увидеть даже собственное детство, потому что сам испытатель за это время в капсуле превратится в ребенка.

Какова же практическая польза наших исследований? Конечно, можно проникнуть в прошлое на сутки или даже на неделю. Но для этого испытателя надо столько же времени специально готовить. Вписывать в его мозг события последних суток в обратном порядке с помощью какой-либо аппаратуры или заранее стирать всю информацию за сутки, предшествующие запуску.

Да, результаты были очень скромные. Не могло быть и речи об исследовании истории. В лучшем случае мы могли вторично просмотреть недавние события, расследовать какое-либо преступление.

Теперь для испытателей появился еще один вид тренировок. Тренировки в темпокамере, камере времени. А точнее — антивремени.

Это были самые тяжелые тренировки. Ведь эксперимент проводился над нашим мозгом, после чего мы не помнили многих событий своей жизни. И, несмотря на то, что все это было нужно, именно этот вид тренировок отталкивал людей от нашей профессии. Она потеряла ореол романтики.

Через несколько лет мы уже не тренировались, мы работали, проникая в прошлое с исследовательскими целями.

Я рассказал Валентине, как меня спасла наша таинственная девочка. Наш Солнечный зайчик. Это она заставила меня нажать кнопку возвращения.

После того дня мы ждали ее каждый вечер, но она не приходила. Теперь мы знали точно, что она появилась не из бу-

дущего. Это было принципиально невозможно. А мы даже не догадались сфотографировать ее.

Ольга не появлялась у нас больше. Она словно возникла для того, чтобы однажды спасти меня и исчезнуть навсегда.

Особенно тяжело переживала ее исчезновение Валентина.

Но время шло, и боль постепенно стиралась.

Когда у нас родилась дочь, мы без колебаний назвали ее Ольгой. Валентина оставила в квартире все так, как было, когда у нас появлялся Солнечный зайчик. Она ни за что не позволяла мне делать какие-нибудь перестановки.

— Она еще вернется, — говорила Валентина. — Пусть для нее все будет привычным.

Прошло несколько лет. Наша дочь пошла в школу. Валентина заплетала ей в косы такие же большие банты, какие были у Солнечного зайчика, шила ей такие же платья. Она до мельчайших подробностей помнила девочку. Однажды она даже сказала мне, что наша дочь и лицом и фигурой походит на ту девочку. Прошло уже девять лет, и я не мог точно воспроизвести в памяти портрет девочки. Ведь и видели-то мы ее всего несколько раз.

7

Это произошло однажды вечером в конце мая. Валентина в это время была в командировке. В квартиру кто-то настойчиво позвонил. Так могла звонить только наша Ольга. Я открыл дверь, на пороге стояла, конечно, она.

— Почему ты так долго задержалась в школе? — строго спросил я.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Но ведь я уже была дома.

— Когда это? Что-то я не заметил.

— Сразу после школы. Я поливала цветы, а ты сходил в кондитерский магазин. Мы пили чай. Ты был еще такой смешной. Потом я пошла готовить уроки и поиграть к Марине.

Теперь я посмотрел на нее удивленно. Цветы не были политы. Ни в какой магазин я сегодня не ходил.

— Ну и сочиняешь ты, Оля. Надо все-таки приходить домой пораньше или предупреждать, чтобы я не беспокоился. Садись кушать.

Мы сели за стол. Я взял газету. Она поглядела на меня сердито. А когда дело дошло до чая, она не вытерпела и спросила:

— Папа, почему ты не достанешь коробки с пирожными и конфетами? Ведь я же ничем не провинилась, правда?

— Оля, о каких коробках ты говоришь? Я не покупал ничего сегодня.

— Покупал! Ты был такой смешной. Курил. И придумал смешную игру, как будто ты меня не знаешь и впервые видишь. Спрашивал, как меня зовут. Я обжегся горячим чаем.

— Постой, постой! Что ты говоришь? Какую игру?

— Ну как будто бы мы не знаем друг друга. И еще сказал, что тебя зовут Онуфрием...

— ...Балалаевичем! — заорал я во все горло.

— Балалаевичем, — засмеялась она и стала вдруг так похожа на быстрого, неуловимого солнечного зайчика, так похожа на ту Ольгу, на ту девочку. — Вспомнил?

— Вспомнил, Олька! Все вспомнил! Так это, значит, ты и была?

Она захлопала ресницами. Выражения радости, испуга, удивления, восторга и недоумения возникали и исчезали у нее на лице.

— Ну, а кто же это еще мог быть, папочка? Ты сегодня какой-то совсем смешной. То игру придумал, а теперь все забыл.

— Я все помню, только не могу поверить, что это была ты. Ты и цветы уже поливала? И играла на рояле? И я не знал, как танцевать лагетту? Правильно?

— Ты придумал новую игру, папочка?

— Придумал, Олька! Ты подожди немного, я сбегаю в магазин. Бегом!

Потом мы пили чай с эклерами «Снежный». Она так их любила. Я вспомнил то, что случилось со мной однажды, девять лет назад.

— А когда мы танцевали с тобой чарльстон, ты сказала: «Тебя, папочка, не перетанцуешь».

— Да. Смешно. — Она засмеялась, словно серебряные колокольчики рассыпались по полу.

Когда она ложилась спать, я осторожно спросил:

— Оля, когда ты шла из школы, а потом к Марине, с тобой ничего такого не было?.. Ну голова, например, закружилась? Или еще что-нибудь?

— Нет, папа. Я встретила Кольку из шестой квартиры.

Ну, Колька-то уж, конечно, не имел к этому никакого отношения.

— Спи спокойно, Оля.

Да, это была она. Солнечный зайчик. Но как она могла очутиться в прошлом? Девять лет. Я работаю столько лет над

проблемой путешествий в прошлое, но я ничего не могу понять. А она так просто путешествует в прошлое и настоящее... Значит, возможно что-то принципиально новое, другое. Значит, нам нужно искать другой путь...

Когда Валентина возвратилась из командировки, я ей все рассказал. Она мне сначала не поверила. Как такое может быть? И это говорит старый испытатель!

А я уже знал, что в скором времени я тоже появлюсь в том времени вместе с Ольгой. Человек, которого я однажды встретил с Ольгой, ведь это был я! Это я тогда, не в силах сдержаться, оглянулся и бросил быстрый взгляд на себя, тогда еще двадцатитрехлетнего.

— Помнишь тот день, когда ты ее увидела в первый раз? Она так была обрадована, что ты приехала из командировки. И сразу же назвала тебя мамой. Потом мы не попали в кино и гуляли по Городскому саду. А потом она внезапно исчезла. Вон на диване лежит ее портфель, но сама она еще дома не была. Я не знаю, как он попал в комнату. В котором часу она тогда исчезла?

— В девять, — одними губами прошептала побледневшая Валентина.

— В девять часов она позвонит в дверь и спросит, почему мы ее бросили в саду одну. И нисколько не удивится, что ты приехала, потому что для нее ты приехала тогда, на несколько часов раньше.

Все в этот вечер валилось из рук Валентины. Она и верила и не верила. Было уже довольно поздно, и Валентина на всякий случай позвонила всем знакомым, у которых могла быть Ольга. Но ее ни у кого не было.

В девять часов раздался звонок. Валентина не нашла в себе сил подняться с кресла. Я открыл дверь.

— Почему вы меня бросили одну в Городском саду? А? Признавайтесь! Испытываете на храбрость?

— Олька, — сказала Валентина и заплакала. — Солнечный зайчик!

— Почему ты плачешь, мама?

— Я ждала, я все время верила, что ты вернешься.

— Ну, мама, не такая уж я трусиха. Здесь всего-то четыре квартала.

Здесь «всего-то» было девять лет.

ГАЗЕТНЫЙ КИОСК

1 В двадцати шагах ничего нельзя было рассмотреть, такой стоял туман. Только электрические фонари да подслеповатые фары автомобилей тускло светили размытыми желтыми пятнами. Полста градусов ниже нуля! Редкий скрип шагов да пронзительные гудки машин, и холод, холод... И в Усть-Манске, и в его пригородах, и на тысячи километров вокруг. Я бежал из гостиницы в клуб электромеханического завода, где в двенадцать часов открывалась конференция, бежал быстро, потому что был в легких ботинках и осеннем пальто. Нос совершенно онемел, и хотелось сунуть его под мышку. И еще мне хотелось, чтобы мороз отпустил и я смог бы посмотреть на свой Усть-Манск, побродить по его новым кварталам, зайти к кому-нибудь из старых друзей в гости, а потом пойти в городской парк, как когда-то давным-давно, покататься там с горок, потерять шапку и найти ее набитую снегом, и смеяться, и играть в снежки, и дурачиться... Десять лет я не был в Усть-Манске, а до этого прожил в нем двадцать лет.

У меня в запасе было еще полтора часа. Я хотел прибежать первым и согреться. А потом стоять и смотреть, как замерзшие люди вместе с клубами пара вваливаются в фойе, стучат ногами и растирают друг другу щеки.

— Никогда в этом киоске не купишь свежую газету, — раздраженно сказал кто-то закутанный с ног до головы и чуть не сбил меня с ног. — Извините.

Я отскочил в сторону и увидел перед собой газетный киоск в кружевах искрящегося инея. Он весь светился изнутри и был как из сказки. Вот только как там сидит старушка, продающая газеты? Предположим, что внутри на десять градусов теплее. Все равно минус сорок. Бр-р! Как только она там сидит? Может быть, замерзла уже?

Я решил купить газету, чтобы не терять зря времени на некоторых докладах. На мой судорожный стук окошечко киоска тотчас же открылось.

— Бабуся! — крикнул я. — Пять сегодняшних газет. Одну местную.

— Я не бабуся. Я Катя-Катюша, — ответил мне девичий голос.

— Катя-Катюша? Отлично, Катя-Катюша! Так как же насчет газет, Катя-Катюша? — Слово «Катюша» губы выговаривали с трудом, но я нарочно несколько раз повторил его.

— У меня не бывает сегодняшних газет.

— Это я уже слышал. Но только зачем мне вчерашние? Я их уже читал.

— И вчерашних не бывает, — ответила девушка, и в окошечке показалось ее лицо в теплой вязаной шапочке. — Господи! Да вы же щеки поморозили! Оттирать нужно! Вам далеко?

— До клуба электромеханического...

— Не успеете. — И чуть помедлив: — Заходите ко мне. Здесь тепло.

— А можно?

— Заходите. Чего уж...

Я дернул дверцу киоска, протиснулся вместе с клубами мгновенно образовавшегося пара внутрь — там и на одного-то человека места было мало — и остановился в нерешительности.

— Садитесь, — девушка указала на кипу газет.

Я сел и сразу же придвинул ноги к двум электрическим батареям.

Внутри киоска было светло, тепло и сухо. И еще — очень чисто и уютно.

— Щеки почернеют, девушки любить не будут, — сказала она и засмеялась. — Оттирайте.

Я стянул зубами перчатки и попытался распрямить пальцы. Ничего не вышло.

— Плохо ваше дело, — сказала девушка, сняла варежки и, вместо того, чтобы оттирать мои щеки, осторожно прикоснулась к ним теплыми ладонями. Я не возражал. Она спросила: — Вы приезжий или просто пижон?

— Я приезжий, Катя-Катюша. Я бегу из гостиницы на конференцию... По распространению радиоволн.

— А-а... Я уже читала в газете. — Она еще несколько раз провела своими теплыми ладонями по моим щекам. — Теперь отойдут.

— Спасибо, Катя. Давайте знакомиться, — я протянул ей свою еще не совсем отогревшуюся пятерню. — Дмитрий Егоров.

Она тоже протянула свою руку и при этом почему-то весело рассмеялась.

— Так это, значит, вас раскритиковали на конференции? Вы и есть Дмитрий Егоров, беспочвенный фантазер?

До меня не сразу дошел смысл ее слов.

— Катя, я не беспочвенный фантазер. Я, напротив, почвенный. Вы представляете, как проникают радиоволны в почву, точнее, в глубь земли?

Она отрицательно покачала головой.

— Ну, тогда скажу короче. Я ищу полезные ископаемые и воду с помощью проникающих радиоволн. Без буровых вышек и проб грунта. Но только никаких фантазий здесь нет. Интересно?

— Интересно, — ответила она. — Расскажите. Все равно ведь конференция начнется в двенадцать.

Я рассказал ей, как нынешним летом наша экспедиция работала в Васюганских болотах на севере области, как нас ели мошка и комары, как барахлила аппаратура, и ребята становились злыми и замкнутыми, а Гошка, наш руководитель, начинал орать песни. Ему предлагали заткнуться, катиться подальше, показывали кулаки, а он все пел, выплевывая гнус, и называл нас «манной кашей». Но «манной кашей» нас не проймешь. А вот его песнопений никто выдержать не мог. Кто-нибудь, всхлипывая, начинал хохотать. А потом не выдерживали и остальные. И все хохотали, хватаясь за животы...

Комары все так же ели нас, а аппаратура не работала, но в нас появлялась злость на самих себя, на свою беспомощность. И мы уже не хотели быть «манной кашей» и не вылезали из тайги, хотя нас отзывали три раза. Только наша аппаратура так и не заработала как следует. Это, в общем-то, мало кого удивило. Есть электро-, магнито-, радиационная и гравиразведка. Но мы-то хотели совсем другое. Мы хотели видеть сквозь землю, как через прозрачное стекло. Экспедиция провалилась.

— И все равно интересно, — закончил я. — И нужно...

Мне показалось, что в ее глазах промелькнула мгновенная зависть. Ведь в конечном итоге я что-то делал, к чему-то стремился, падал и вставал и шел дальше. А она сидит в этом маленьком киоске, продает газеты и открытки, отсчитывает сдачу, видя только протянутые в окошечко человеческие руки, и даже не пытается что-нибудь изменить в своей судьбе. Я расправил плечи и предложил:

— Катя-Катюша, поедем с нами в экспедицию?!

— Поварихой? — вполне серьезно спросила она.

— Почему именно поварихой? — смутился я.

— А кем же еще?

— Ну, например...

— Хорошо, я согласна, — сказала она. — Но вы все равно меня не возьмете. Вы шутите. А притом продавать газеты тоже интересно.

— Куда уж интереснее, — с сарказмом, как мне самому казалось, сказал я. — Так и просидишь здесь всю жизнь.

Она не обиделась, сверкнула на меня своими большими глазами, в которых уже не было зависти, а только смех и ирония.

Я уже окончательно согрелся, но уходить не хотелось. За все это время никто ни разу не стукнул в окошечко. Наверное, в такой мороз никому не хотелось покупать газеты.

Я украдкой рассматривал Катю. Она была небольшого роста, с черными, выбивающимися из-под шапочки волосами. И глаза у нее были черные, а щеки немного припухлые, как будто она их слегка раздувала. На ней были кожаные сапожки на высоких каблучках, а в углу, за стулом, я заметил валенки. Легонькое зимнее пальто с небольшим воротником было расстегнуто до половины, и из-под него выбивался голубой пушистый шарф.

— А почему вы решили, что я фантазер? — спросил я, возвращаясь к началу разговора. — И про критику... Еще неизвестно, кто...

Я не договорил, потому что она вдруг сунула мне в руки газету и сказала:

— Читайте. На третьей полосе.

Я развернул газету и прочитал: «24 декабря в 12 часов в Доме культуры электромеханического завода открылась всесоюзная конференция по распространению радиоволн...»

— Какое сегодня число? — хрипло спросил я, с ужасом думая, где я мог потерять целый день.

— Двадцать четвертое, — ответила Катя серьезно.

— Тогда почему об открытии говорится в прошедшем времени? Ведь она откроется только через час!

— Так ведь это завтрашняя газета.

Я перевернул лист. Газета «Красное знамя», 25 декабря.

— Ничего не понимаю... Какое же сегодня число?

— Двадцать четвертое.

— Ну, вот что, Катя. Вы меня простите. У меня что-то с головой. Переохладился, наверное.

— Вы не переохладились, и голова у вас в порядке. Это завтрашняя газета! Я продаю завтрашние газеты.

Этого не может быть, подумал я, но ведь статья-то написана про нашу конференцию. И мой доклад назван прожектерским.

— Странно, — сказал я. — Теперь я знаю, что со мной будет в ближайшие часы. А если я захочу все сделать не так, как здесь написано? Возьму и не пойду на конференцию?

— Ничего не выйдет, — сказала Катя. — У вас нет причин для этого. Ведь это не только ваш доклад...

— Да, действительно. — Я на мгновение представил себе взбешенную физиономию Гошки. — Похоже, что ничего не изменишь... Ловко это у вас получается, Катя. Продавать завтрашние газеты — это не то что сегодняшние. Это интересно.

— Значит, не возьмете в экспедицию? — спросила она насмешливо.

— Вот что, Катя, — сказал я, не отвечая на ее вопрос. — Когда вы закрываете киоск?

— В восемь.

— Я зайду за вами в половине восьмого. Хорошо?

— Хорошо. Только что мы будем делать? На улицу вас надолго нельзя выпускать. Замерзнете.

— Что-нибудь придумаем. Я побежал, Катя-Катюша. Я хочу сделать все, чтобы меня не назвали беспочвенным фантазером!

— Счастливо, — кивнула она. — А я хочу вас ждать.

Я как вкопанный остановился в дверях, не зная, что и сказать. Опять она смеется надо мной!

— Бегите, бегите. Я буду ждать!

2

Я выбежал в пятидесятиградусный мороз и, окутанный столбом пара, помчался вверх по проспекту — мимо университетского общежития, мимо скульптуры Кирова, стоящего с поднятой рукой, мимо корпусов политехнического.

В просторном фойе Дворца культуры с канделябрами, люстрами и кожаными диванами было уже полно народу. Я сдал свое чисто символическое пальто в гардероб, взбежал на второй этаж и оттуда с балкона стал смотреть вниз, надеясь отыскать в толпе знакомое лицо.

Мне повезло, и через десять минут я уже разговаривал со своим бывшим однокурсником. Начались вопросы: где? когда? кем? женат? дети? сколько? диссертация?

Из знакомых я больше никого не встретил, однокурсник вскоре оставил меня. Он был одним из организаторов конференции, и я понимал его. Хлопотное все-таки дело эти конференции.

Ровно в двенадцать зазвенел звонок. Вступительное слово произнес знаменитый академик. Потом объявили распорядок работы секций и подсекций, комитетов и комиссий. Конференция начала свою работу.

Я не взял в Катином киоске газету. Почему — сам не знаю. Наверное, растерялся, заторопился. И теперь приходилось слушать длинные обзорные доклады.

В перерыве все бросились в буфет пить пиво и жевать бутерброды.

Потом началась работа секций, и в нашей секции, к моему удивлению, оказалось человек сорок. А я-то думал, что все радиофизики ринулись в исследование ионосферы, плазмы и прочего, что ближе к космонавтике.

Половина докладов была из тех, которые нужны будущим кандидатам наук, чтобы набрать шесть печатных работ. Ведь любой доклад, даже самый захудалый, засчитывается как печатная работа. И сами докладчики старались отбарабанить их побыстрее, облегченно вздохнуть и скромно сесть на место. Вопросов и выступлений по таким докладам обычно не бывает.

Потом начались доклады посерьезнее. Некоторые были просто блеск. А уже в шестом часу выступил и я. Я говорил сдержанно и уверенно, и меня слушали, не перебивая. Мне даже показалось, что не будет завтрашней статьи о «беспочвенном фантазере». Вопросы задавали самые простенькие, и я уже надеялся выйти отсюда живым, но это была только легкая разведка. Через полчаса от моего доклада не осталось камня на камне. Причем особенно старались «зубры» из политехнического института. Как назло, в комнату вдруг вошел фотокорреспондент и несколько раз сверкнул вспышкой.

А я почему-то не был особенно расстроен. Конечно, от Гошки мне достанется. И денег на летнюю экспедицию дадут в три раза меньше, чем необходимо. Но я сделал все что мог. Я старался изменить корреспонденцию в завтрашней газете. Старался изо всех сил. Ничего не вышло. И теперь я знал, что в газете все будет так, как я уже читал. Значит, девушка из стеклянного киоска действительно продает завтрашние газеты!

3 Я зашел за ней без двадцати восемь. Раньше не мог освободиться. Двадцати минут до закрытия киоска мне хватило, чтобы немного согреться.

— Ну и как? — спросила Катя, а глаза у нее смеялись.

— Все правильно, — ответил я. — Доклад прожектерский... Странно только это все. Откуда же тебе привозят завтрашние газеты?

— Из типографии, — спокойно сказала она, — откуда же еще?

Пора было закрывать киоск. Катя переобулась в валенки, потушила свет и заперла дверь. Нам повезло, и через минуту мы остановили такси. Гулять по улице в такой мороз было невозможно, особенно мне. Я пригласил ее к своему институтскому товарищу, и она согласилась.

Мой товарищ жил в двухкомнатной квартире. Его жена только что пришла с работы и сразу же начала жарить картошку. Трое ребятишек, от шести до девяти лет, затеяли с нами возню.

Мы распили бутылку вина и часов в одиннадцать ушли. Я проводил Катю до общежития и даже зашел в коридор. Мы проговорили еще с час, но я уже не приглашал ее в экспедицию. Я и сам бы с радостью согласился продавать вместе с ней газеты.

Мне всегда все хотелось узнать до конца, и я спросил Катю:

— Ну, а все же какой смысл в этих завтрашних газетах?

— Я-то знаю, — ответила она.

— Но ты все равно ничего не можешь сделать!

— Как знать, — ответила она мне загадочно. — Завтрашние газеты приходят разные. Не во всем, конечно. В мелочах. Погода чуть теплее или холоднее. Чья-нибудь болезнь или выздоровление, чья-нибудь радость или грусть. Газеты приходят немного разные, а я выбираю какую-нибудь одну. И уж это и есть настоящая газета.

Она резко наклонила мою голову, поцеловала в губы и убежала, крикнув:

— Завтра в девять!

А я остался стоять, растерянный и счастливый.

4 Утром я встал часов в семь. Сосед по комнате еще спал, его храп разносился, наверное, по всей вселенной. Он не давал мне спать всю ночь, и выслушивать его рулады у меня не было больше сил. Я оделся и пошел в буфет съесть горячую сардель-

ку. Потом вернулся в комнату, взял портфель, пальто и спустился в фойе. Там я просидел, наверное, с час. Я должен был зайти к Кате в киоск в девять часов, а было еще только восемь.

В полдевятого я не выдержал и ринулся в морозное утро. Было ничуть не теплее вчерашнего, и, наученный горьким опытом, я теперь передвигался по улицам только бегом.

Газетный киоск, как и вчера, блестел, словно усыпанный алмазами. Я постучал в окошечко и вместо приветствия крикнул:

— Катя-Катюша, я замерзаю!

Она не ответила, скомканная газета зашуршала внутри киоска, я дернул дверь и ввалился внутрь.

Катя сидела, повернувшись ко мне всем корпусом и прижимая к груди кипу пахнущих типографской краской газет.

— Я вовремя? Не опоздал?

— Не знаю, может быть, — сказала она еле слышно.

Это меня несколько удивило и озадачило. Она была чем-то расстроена и словно не хотела со мной разговаривать. Я спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Случилось, — сказала она. — Мне нужно уйти.

Я ничего не понимал.

— Прости меня, Дмитрий. В десять часов загорелся... загорится детдом на улице Вершинина. Я должна предупредить.

Я мельком взглянул на часы. Времени было еще больше часа. А до улицы Вершинина, где расположен детдом, я знал, было минут десять ходу.

— Здесь есть где-нибудь поблизости телефон? Надо просто позвонить им.

— Телефон есть в институте радиоэлектроники. Но по телефону могут не поверить. Надо идти.

— Мы успеем еще, — сказал я. — Давно ты это прочла?

— Только что, когда ты стукнул в окошечко.

— Бежим, — сказал я.

— Не ходи со мной. Я должна одна.

— Ерунда. Подробности известны?

— Известны, — ответила она, но как-то через силу, словно не хотела отвечать, словно говорила неправду.

— Дети все невредимы?

— Все...

Я выскочил из киоска, за мной вышла Катя, закрыла киоск на замок и сунула ключ мне прямо в карман. Я был немного взвинчен и не так остро чувствовал мороз, как пять минут назад.

Она схватила меня за руку, и мы побежали.

Возле кинотеатра «Октябрь» мы срезали угол и очутились на улице Вершинина, прямо напротив детского дома. Здание было новое, двухэтажное, кирпичное, в окнах горел свет, и ничто не предвещало близкого пожара. Мне даже вдруг показалось, что Катя подшутила надо мной, что она зачем-то проверяла меня. Но она так решительно дернула калитку небольшого, не выше метра, заборчика, что у меня пропали всякие сомнения. Калитка тотчас же со скрипом отворилась, но возле парадного нам не повезло. Или звонок не работал, или его никто не слышал. И только когда мы догадались обежать дом, то сообразили, что парадное наверняка завалено всяким хламом и входить нужно с черного хода.

Дверь была открыта, а свет — конечно, в целях экономии — выключен. Натыкаясь друг на друга и на ступени, мы добрались до коридора. В нем было светло. Напротив можно было угадать парадную дверь, заваленную почти доверху грудой самых разнообразных предметов. Слева располагалась кухня. Оттуда тянуло приятными запахами. Рядом была комната, что-то вроде столовой, и там уже сидели ребятишки. Две воспитательницы с подносами ходили вокруг столов. Напротив была спальная комната. Что находилось на втором этаже, я, конечно, не знал.

Катя сразу же направилась к двери столовой и поманила женщин рукой:

— Можно вас на минутку?

Воспитательницы взглянули на нее удивленно, и одна из них, поставив поднос на тумбочку, подошла к дверям.

— Не спрашивайте, откуда я это узнала, — начала Катя. — Я не смогу объяснить этого толково... Около десяти часов в этом здании возникнет пожар.

— Ой, — схватилась за грудь женщина.

— Надо одеть детей и договориться с соседними домами, чтобы их приняли.

— Ой, — повторила женщина и позвала вторую: — Мария Павловна!

Дети с интересом поглядывали на нас и уже начинали шуметь и шалить.

— Мария Павловна, пожар у нас, — запричитала женщина.

— Что случилось? — строго спросила Мария Павловна. — Вы кто такие?

— Я продаю газеты, он — инженер. В десять часов у вас будет пожар. Детей надо выводить.

— В такой-то мороз выводить? — снова строго сказала Мария Павловна.

— Так ведь пожар, — прошептала первая воспитательница.

— Действовать надо, — решился вступить в разговор и я. — У вас тут есть телефон?

— Есть, — ответила Мария Павловна и показала рукой. Телефон оказался за моей спиной.

— Он позвонит в пожарную, а вы одевайте детей. — Катя говорила спокойно и негромко. Она старалась говорить убедительно, чтобы ей поверили.

Первая воспитательница, испуганно ойкая, убежала на второй этаж. Из кухни вышла повариха и присоединилась к нам. С улицы пришел дворник, закутанный шарфом до самых глаз, и стукнул об пол деревянной лопатой, которой сегодня на улице делать было совершенно нечего. Я набрал номер и, когда на другом конце провода ответили, сказал в трубку:

— Нужно пожарную машину к детдому на улице Вершинина.

— Давно горит? — деловито осведомился мужской голос, а невидимому для меня собеседнику крикнул: — Седьмую на выезд! Что горит-то? — Это уже относилось ко мне.

— Пока ничего, но в десять часов загорится.

— Снова шутники, — недовольно сказал голос, и трубку повесили.

Я набрал номер второй раз, но разговор кончился так же безуспешно. Мне не верили.

Со второго этажа спустились три женщины. Одна из них была заведующая детским домом.

— Противопожарная безопасность у нас в порядке, — сказала она нам. — Вы с проверкой?

Кате снова пришлось объяснять, но заведующая все же подтащила нас к стене и заставила прочесть «порядок эвакуации детей в случае пожара».

— У вас хоть есть огнетушители? — спросил я, поглядывая на часы. Было уже около десяти.

— Есть, — сказала заведующая. — Были то есть. Они вот тут висели, — и она указала на стену. — Один сорвался и чуть было не убил Танечку Солнцеву. Пришлось в сарай вынести.

— Почему огнетушителей нет на месте?! — рявкнул я.

Заведующая сразу струсила. Она решила, что мы действительно комиссия с проверкой.

— Аникеич! — крикнула она. — Тащи живо огнетушители!

Дворник рванулся на улицу, тотчас же возвратился, потому что у него не оказалось ключей. Женщины начали нервно разбираться, у кого могут быть ключи. Аникеич нашел их у себя и снова ринулся на улицу.

— Одевайте детей! — приказала Катя.

Ее и послушали и нет. Детей подняли из-за стола и повели по коридору. Но все это делалось как-то неуверенно, словно все ждали, что ложную тревогу вот-вот отменят.

Детей было около пятидесяти. И, как я понял позже, на втором этаже было еще сто двадцать. Я начал растаскивать свалку у парадного входа. Санки кидал прямо в спальню, бочонки с остатками прокисшей капусты закатывал на кухню. Кто-то пытался мне помогать, но я крикнул, чтобы быстрее одевали детей и сразу же выводили на улицу.

Катя снова позвонила в пожарную команду, и ей, кажется, поверили. Я разгреб половину свалки, и теперь мне нужно было только добраться до двери, чтобы все остальное выкинуть прямо на улицу. Пошли какие-то грабли, лопаты, старые половики и ведра с пробитыми днищами.

Повариха загасила плиту водой. Начали выключать электрокамины, но они были включены в самых неподходящих местах, так что до розеток кое-где нельзя было сразу и дотянуться. Одна из воспитательниц побежала в кинотеатр договариваться, чтобы там приняли детей в фойе. Заведующая все еще не верила нам.

Отворилась дверь черного хода, и в коридор ввалился дворник с двумя огнетушителями в руках.

— Горим! — крикнул он, прибавив несколько крепких слов, и ударил огнетушителем об пол. Но толку от этих мерзлых огнетушителей было мало. А пар, ворвавшийся вместе с дворником в коридор, не рассеивался. Это был не пар. Это был дым. У меня ело в глазах. Дворник бросился помогать мне. И, когда парадная дверь была очищена, деревянная перегородка уже горела.

Через двадцать минут приехала пожарная машина. Дети к этому времени уже были в безопасности. Пожарное начальство начало разбираться в причинах пожара. Воспитательницы еще не совсем пришли в себя от пережитого. А я мчался в ма-

шине «скорой помощи», держа в своей руке холодную и мокрую Катину ладонь... Катя пыталась удержать падающую деревянную перегородку между двумя комнатами, чтобы успели увести последних детей. Их вели по запасному выходу, металлической лестнице со второго этажа во двор. Их всех увели, а она не успела отскочить, и на нее рухнула горящая деревянная перегородка. За минуту до этого она сунула мне в руки полуодетую девочку и крикнула, чтобы я подошел с улицы к окну, возможно, через него придется подавать детей.

У меня даже мелких ожогов не было. А на ее лицо мне не разрешили взглянуть, оно было закрыто чем-то белым.

5

Я сидел в холле клиники, растерянный и разбитый. Врачи сказали, что сделают все, что в их силах. Я представлял, в каких случаях говорят такое.

Мне раза три предлагали уйти, потому что я ничем не мог помочь и только раздражал врачей своими вопросами. Когда меня выгоняли в четвертый раз, а я все приводил доводы, чтобы остаться, один из молодых врачей вдруг сказал:

— Пусть попытается, если хочет помочь. Завтра об этом объявят в газетах, сегодня вечером передадут по телевидению и радио, но, может быть, будет уже поздно. Вы где живете?

Я покачал головой:

— Я приезжий.

— Жаль. Значит, у вас здесь нет знакомых?..

— Есть, но очень мало.

— Нужно делать пересадку кожи. Нужны добровольцы. Человек пятьдесят. Может быть, больше.

— Я сделаю! — закричал я и выбежал на улицу.

Конференция уже начала свою работу.

У меня хватило ума не поднимать паники и разыскать своего институтского товарища. Он выслушал меня молча и сказал:

— Подумать только. Вчера она была такая веселая. — И добавил: — Ты хорошо сделал, что сказал мне. Все будет сделано. Вашу же секцию и пошлем первой.

Я вошел вместе с ним в помещение, где работали радиофизики-почвенники, и сел на первый попавшийся стул. Мой товарищ о чем-то пошептался с председателем секции, и тот, дождавшись, когда выступающий закончит свой доклад, объявил:

— Товарищи! В городе произошел несчастный случай. Требуется кожа для пересадки. Я думаю, мы сделаем перерыв и все вместе пойдем в клинику. Это недалеко, всего два квартала... Девушка может умереть.

В клинику отдельными группами и через определенные интервалы пришла вся конференция.

Около часу дня меня все-таки впустили в палату, где находилась Катя. Белая подушка, белая простыня поверх тела и моток бинтов вместо лица. Только черные кружочки глаз с обожженными ресницами да чуть обозначенные губы. Я присел на табурет рядом с кроватью.

Катя смотрела на меня неподвижно, не мигая. А я не знал, что сказать ей. Я бы только погладил ее по щеке и волосам, но этого нельзя было делать. Я просто кивнул ей и попытался бодро улыбнуться. Не знаю, что она прочла в моей улыбке, но губы ее слегка шевельнулись, и по их движению я понял, что она сказала:

— Щеки почернеют, любить не будешь...

— Буду, буду, — сказал я. — Катя, я увезу тебя из Усть-Манска. А летом мы поедем на Васюганские болота кормить комаров.

Меня вывели из палаты. Кате снова стало хуже.

— Вы здесь ничем не можете помочь, — сказали мне. — Идите в гостиницу. Зайдите к Кате на работу, сообщите, что случилось. Ну, в общем, делайте что-нибудь, действуйте. Утром можете прийти.

6

Я был в состоянии какого-то душевного оцепенения, в голове не было ни одной мысли. Даже мороз не действовал на меня. Так я дошел до Катиного газетного киоска и вспомнил, что ключ от него лежит у меня в кармане. Я открыл замок, зашел внутрь и включил свет. Газета лежала четвертой полосой кверху. Я сразу нашел небольшую заметку под рубрикой «Происшествия». В ней говорилось, что вчера в десять часов утра из-за плохой электропроводки возник пожар в детдоме по улице Вершинина. При спасении детей погибла Екатерина Смирнова.

Катя Смирнова. Я даже не знал, что ее фамилия Смирнова. Просто Катя-Катюша.

В газете была написана неправда! Ведь она не погибла, она жива!

Я случайно взглянул на скомканный лист газеты, лежавший рядом, и вспомнил, что, когда утром зашел сюда, Катя смяла газету, взглянула на ту, что сейчас лежала передо мной, и только после этого сказала, что будет пожар. Она знала, что с ней произойдет, и все же пошла.

Я развернул смятую газету. Она тоже была завтрашняя. И заметка о пожаре была. Только в ней говорилось, что погиб... Дмитрий Егоров.

В висках застучало. Теперь я понял всем своим существом, что она имела в виду, когда говорила, что по утрам выбирает газету. У нее всегда бывает несколько разных экземпляров. И вот сегодня она выбрала свою смерть только потому, что еще был я. Это я должен был держать падающую горящую стенку, а она отправила меня на улицу с поручением, которое мог выполнить любой другой. Я должен был лежать, придавленный горящими досками!

Я взял из пачки еще одну газету... Погиб Дмитрий Егоров... Третью... То же самое. Я настойчиво искал нужную мне газету. Должен быть третий вариант. Должен! Кате просто не хватило времени, чтобы найти его. Она так спешила. Она так обрадовалась, что нашла второй, что я останусь жить...

И я нашел этот экземпляр. В нем было написано, что Екатерина Смирнова получила сильные ожоги. Он был правильный, и теперь сотни людей делали все, чтобы она жила, сотни людей старались, сами не зная того, изменить содержание тех заметок.

И я решил, что выберу и буду продавать именно эту газету, чтобы все знали, что Катя жива, что она только получила ожоги, но будет жить, обязательно будет жить! Я буду внушать это всем людям, которые заглянут в киоск.

Было слишком холодно, и никому не хотелось задерживаться у киоска. Тогда я вышел на тротуар с пачкой газет и начал раздавать их прохожим.

— Прочтите, пожалуйста, про Катю Смирнову! Она будет жить! Прочтите! Катя будет жить! Захотите этого!

Сначала я думал, что на меня будут смотреть как на сумасшедшего. Но ничего подобного не произошло. Прохожие брали газеты, останавливались, расспрашивали меня, сочувствовали, выражали надежду, что она, конечно, будет жить.

— Вы должны очень желать этого, — говорил я. — Это она, Катя, доставляет вам маленькие и большие радости. Вы не замечаете этого, потому что не знаете, что, не будь ее, не было бы и ваших радостей. Это она хочет, чтобы была хорошая погода, и вы идете в воскресенье в лес за грибами или за ягодами. Это она предотвращает катастрофы на улицах. Читайте газету. Пусть Катя живет!

Мне верили, и теперь я знал: Катя будет жить, потому что все этого хотят.

Я зашел на главпочтамт и отдал ключи от газетного киоска. Потом я забежал на конференцию, и «зубры» из политехнического института сказали, что в моем фантазерстве что-то есть, что они уже дали телеграмму о продлении моей командировки. Они понимали, что мне сейчас нельзя было уехать из этого города.

Я буду находиться здесь, в Усть-Манске, пока не докажу им, что можно видеть сквозь землю, пока Катя не выздоровеет, пока не начнется подготовка к экспедиции, пока мы вместе с ней не улетим на Север.

Я бежал в клинику. В двадцати шагах от себя ничего нельзя было рассмотреть, такой стоял туман. Полста градусов ниже нуля. Редкий скрип шагов да пронзительные гудки Машин и холод, холод... И в Усть-Манске, и в его пригородах, и на тысячи километров вокруг...

Я бежал к Кате, потому что она меня ждала.

НА АСФАЛЬТЕ ГОРОДА...

На проезжей части дороги собралась толпа прохожих, какая обычно возникает, если кого-то сбило машиной. «Вот вам еще пример, — подумал Игнатьев. — Очистить надо улицы от машин. Автострады можно строить и под землей». Игнатьев возвращался с трудного совещания, и в голове у него гудело. Он возглавлял областную комиссию, которой было поручено изучение вопроса о переносе дорог и автострад под землю. Сам он был ярым сторонником такого мероприятия, но, являясь председателем, старался воздерживаться от эмоций. Все учла комиссия: и стоимость предстоящих работ, и уменьшение загрязнения воздуха, и количество автокатастроф. Все «за» и «против» были взвешены, и все-таки воображаемая стрелка решения застыла где-то около нуля. Нужен был еще какой-то факт, какая-то мелочь, нюанс, чтобы сдвинуть стрелку с мертвой точки.

Игнатьев поравнялся с толпой и вдруг услышал крик своей младшей дочери:

— Папочка!

Папочка мгновенно перепугался и врезался в толпу, тоже негромко выкрикивая: «Танечка! Танечка!»

Перед ним расступились. Сначала он увидел темно-вишневую «Волгу», затем своих дочерей. Всех четверых, живых и невредимых. Они стояли перед автомобилем, обнявшись за плечи. За ними было пустое пространство, круг, в который никто из прохожих почему-то не вступал.

Шестилетняя Танечка отчаянно трусила. Это было заметно. Она бы и убежала давно, но старшая, десятилетняя Ира, крепко держала ее за плечо. Рядом стояли Оля и Марина, близнецы, им недавно исполнилось по восемь лет.

Старшая, конечно, понимала, что нет ничего хорошего в том, что они собрали такую толпу. И по ее глазам было видно, что она лихорадочно ищет выхода из этого неприятного положения.

Близнецы поглядывали исподлобья и были полны решимости. Первой увидела Игнатьева Танечка, резко вырвалась и с плачем (теперь, раз папа близко, можно и зареветь) бросилась к нему.

— Мы тут игра-а-ли...

— Ох, сейчас начнется, — вздохнула Ира.

— Все равно мы не пустим их, — сказала Оля.

— Поиграть и то негде, — вздернула носик Марина и отвернулась в сторону.

Все трое не сдвинулись с места.

Игнатьев прижал к себе Танечку, растерянно спрашивая:

— Что тут у вас произошло? Что опять натворили?

Пора бы ему и привыкнуть к беспокойному характеру дочерей, а все не может. Все еще кажется, что они лишь недавно научились ходить. И когда только успели вырасти?

— Послушай, дорогой товарищ Игнатьев! — Дверца машины открылась, на тротуар вышел рассерженный товарищ Чичурин, начальник отдела строительства при горисполкоме, оппонент Игнатьева по проблеме подземного транспорта. — Хоть ты и одержим своей прекрасной идеей, но по улицам еще разрешается ездить на автомобилях. И потом, с каких это пор взрослые стали брать себе в союзники маленьких детей, да еще своих собственных?

— Дети, — строго спросил Игнатьев, — что вы тут делали?

И только сейчас он прислушался к шумевшим вокруг него людям. Говорили о его дочерях неодобрительно, слышалось даже слово «безобразие». Многие не знали, что здесь происходит, но на всякий случай останавливались. А один парень, студент художественного училища, присел на корточки на асфальте, разглядывая что-то, потом выпрямился и сказал:

— Это же искусство!

— Да что тут происходит? — спросил Игнатьев.

— Встали вот твои дочери поперек дороги и не дают проехать, — сердито объяснил Чичурин. — Что прикажете делать?

— Ира, вы зачем безобразничаете? Ведь это дорога!

— Во-первых, здесь очень редко ездят, — начала Ира.

— Мы здесь город строим! — сказала Оля. — Вот так!

— Да-а, а разве по домам ездят? — взбунтовалась Марина.

— Папочка, папочка, этот дядя разрушит наши домики! — Танечка уже перестала плакать, хотя еще боялась оторваться от своего папочки.

— Ну, Игнатьев! — вспылил Чичурин.

— Хоть бы разошлись, что ли, — вздохнул Игнатьев, устало оглядывая собравшихся. — Ничего ведь не произошло. Сейчас мы разберемся. Товарищи, расходитесь, пожалуйста.

Собравшиеся стали расходиться.

Только девочки остались на месте. Немного сердитые, но нисколько не испуганные и даже радостные, потому что отстояли свое, не испугались ни «Волги», ни только что окружавших их прохожих.

— Еду я, — рассказывал Чичурин. — А они на асфальте на коленках ползают. Рисуют что-то. Я сбавил скорость, думал — разбегутся сейчас. А они словно и не замечают. Я даже просигналил им, благо тут автоинспекция редко появляется. Не услышать они меня не могли. Нет, ползают, словно не замечают. Сигналю еще. Поднимается твоя средняя.

— Олька?

— Она самая. Встала и руки в стороны расставила. — Кричит что-то. Я остановился. Пока вылезал из машины, они уже все четверо...

Какая-то светящаяся стрела-молния беззвучно пронеслась мимо них, раздался негромкий хлопок. Взрослые вздрогнули от неожиданности. А лица девочек засветились торжеством, каким-то детским превосходством над взрослыми.

— Сейчас еще один цветочек будет, — сказала Танечка и посмотрела снизу вверх на папу, словно ожидая одобрения или поддержки.

— Здесь скоро все будет засеяно цветами, — сказала Оля, упрямо сдвинув брови.

— Ага! Чтобы их машины давили? — поджав губы, спросила Марина.

— Ну-ка, помолчите минутку, — строго сказал папа и добавил, обращаясь к Чичурину: — И что же дальше?

— Вылез я. А они говорят, что дальше дороги нет. Дальше начинается город.

— Что еще за город?

— Город на асфальте. На асфальте город. Значит, машинам ездить нельзя. Вот ведь как рассуждают. Полюбуйся.

Игнатьев и Чичурин сделали несколько шагов. И вдруг Игнатьев чуть не упал. Прямо перед ним, не более чем в метре, из асфальта вытягивался стебель какого-то растеньица. Он достиг высоты сантиметров в двадцать. Уже и листочки были на нем, густо-зеленые, с темноватыми прожилками. На конце стебля возник бутон, и через десять секунд перед потрясенным Игнатьевым расцвел цветок. Мраморно-белый, сочный, с пятью лепестками, необычный и очень, очень красивый.

— Вот и расцвел цветочек! — крикнула Танечка и выпорхнула из-под папиной руки.

Трое дочерей перестали изображать живую стену и тоже подошли к цветку, стараясь не наступить на белые линии мела.

— Ой, какой красивый, — прошептала Оля. — Такого еще не было. Правда ведь, девочки?

— Был, — уверенно сказала Марина. — У сто первого дома вчера такой распустился.

— Вы что, серьезно, что ли, хотите сказать, что цветы вот так из асфальта и вырастают? — спросил Игнатьев.

— Папочка! — испуганно крикнула Таня. — Ты на домик наступишь.

Папочка поспешно сделал шаг назад.

— Я что-то тоже не слышал, чтобы из асфальта цветы лезли, — поддержал Игнатьева Чичурин.

— Так ведь здесь не слушать, а смотреть надо, — сказала Оля и исподлобья взглянула на взрослых: как расценят ее дерзость?

— Это космические корабли маленьких человечков, — пояснила Ира.

— Что же им, и не приземляться теперь? — недовольно спросила Марина.

— Ах, корабли звездных пришельцев, — с облегчением рассмеялся Игнатьев.

В это время в воздухе опять чиркнула белая молния.

— Еще два домика нужно строить, — сказала Ира.

— Мы им вчера концерт устраивали, — начала Оля. — Они очень любят музыку. Просили сегодня вечером еще сыграть. Ты, папочка, дашь нам большой аккордеон?

— Это кто же такие — «они»? — переспросил Чичурин.

— Маленькие человечки, — сказала Ира.

— Папа, разве ты их не видишь? — спросила Оля.

Игнатьев внимательно посмотрел на асфальт. Ну что ж. Его дочери умели рисовать. Особенно старшая. А фантазии хватало у всех четырех. На асфальте были нарисованы дома, около десятка домов. Одноэтажные и двухэтажные. Из кирпича и бревен. С резными крылечками, трубами, палисадниками, дорожками. Городок был цветной. Фантазия девочек странно и причудливо трансформировала привычные представления об архитектуре.

Нечего было даже и пытаться понять стиль этого разноцветного городка. Это был особый, детский стиль. Здесь одна стена могла быть выше другой, крыша — покрывать только

половину дома, труба — завалиться набок. Цветок мог быть выше дома, а маленькие смешные человечки...

Игнатьев вдруг подумал, что человечки-то нарисованы не детской рукой. Фигурки застыли в самых разнообразных позах. Вот женщина, развешивающая занавески на окнах потешного домика. Садовник, поливающий клумбу. Бабушка в окружении внучат. Мужчины, собравшиеся в кружок. Выписана каждая морщинка на лице, каждая складка одежды. Выражения лиц схвачены предельно реалистично.

— Да, я вижу, — вымолвил наконец Игнатьев. — Город у вас получился красивый. Хороший город. А кто рисовал маленьких человечков?

— А ведь действительно красиво! — воскликнул Чичурин. — По такой красоте и ездить как-то неудобно...

— Папа, ну а цветы-то хоть ты видишь? — спросила Оля, глядя исподлобья. Она начала сердиться на непонятливость взрослых. — Их за последнее время столько распустилось на асфальте.

Игнатьев оглянулся, заставив себя на несколько секунд забыть и свою комиссию, и совещания, и подготовку материалов к отчету, и всю эту ежедневную суету. Необходимую, нужную, но все же не позволяющую ему вот так взять и просто оглядеться.

Что делалось вокруг!

Асфальт во многих местах горел, переливался, сверкал, искрился цветами. Самых разнообразных форм и красок. Все цвета радуги, казалось, собрались на асфальте.

Чичурин вдруг заторопился, поспешно распрощался с Игнатьевым и его дочерьми и бросился к автомобилю.

— Поехал я! Через пять минут не выберешься отсюда! А дочери твои не дадут смять ни одного цветка. Что делается...

Его автомобиль осторожно развернулся и на самой маленькой скорости, лавируя и иногда даже сдавая назад, выкатился из переулка на автостраду.

— Эти цветы нельзя мять, — голосом учителя сказала Марина.

— Ну конечно, конечно, — поспешно согласился Игнатьев.

— Папка, — сказала Оля, — мы ведь все серьезно говорим.

— Этот цветок можно срезать и унести домой, но на его месте тотчас же вырастет другой, — сказала Ира.

— Это волшебные цветочки, — объяснила Танечка. Для нее еще многое было волшебным.

— Папа, ведь уже все, все ребятишки знают, что на Землю прилетели маленькие человечки, — сказала Ира.

— Встретились две цивилизации, а взрослые ничего не замечают. Ну надо же, — удивилась Марина.

— Они добрые, веселые, они любят музыку! А как они танцуют! — с восторгом выпалила Оля.

— Только им негде жить, — огорченно заметила Танечка.

— Постойте, постойте, — остановил их Игнатьев. — Давайте не все сразу, а по очереди. Ну хоть ты, Ира.

— Уже целую неделю на Землю прилетают корабли маленьких человечков. Когда они летят, их нельзя видеть. Только вот такие стрелы, как молнии. — Игнатьев зажмурился, потому что в метре от него пронеслась огненная стрела, и на асфальте распустился ярко-оранжевый цветок. — Это их корабли, — продолжала Ира. — Так мы думаем. Когда они выходят из корабля, он превращается в цветок. Они хорошие, эти человечки. Они как будто нарисованные. А как они радовались, когда мы нарисовали им домики!

— Это рисунки и есть, — заикнулся было Игнатьев.

— Нет, нет, папочка, — перебила его Оля. — Они живые. Они двигаются, они разговаривают с нами. А прилетели они с другой звезды, потому что там им негде стало жить. Их города раздавили автомобили.

— Так они еще и двигаются? — удивился Игнатьев.

— Конечно, — сказала Марина. — Как они могут не двигаться, если они живые. Только они очень боятся взрослых и особенно автомобилей и замирают сразу.

— Сказка какая-то, — прошептал Игнатьев. — Скажите же им, чтобы они меня не боялись.

— Улиас, Мелла! — крикнула Танечка. — Не бойтесь! Это наш папа!

И маленький городок ожил, наполнился движением, веселым шумом, какими-то непонятными звуками и восклицаниями. Плоские двумерные маленькие человечки ожили в разноцветном сказочном двумерном городке.

— Они спрашивают, — перевела Ира, — позволят ли им жить здесь. Не раздавят ли их, как случилось уже с ними однажды?

— Я думаю, что не раздавят. Вы ведь не позволите?

— Нет, нет! — в один голос закричали девочки.

— А еще они просят нас устроить им концерт, — сказала Оля. — Так мы возьмем большой аккордеон?

— А донесете? — усомнился Игнатьев.

— Донесем! — снова хором закричали они.

Игнатьев только покачал головой.

— Мы над ними шефствуем, — сказала Марина. — Все девочки и мальчики рисуют им города. А потом мы посмотрим, чей будет лучше.

— Почему я ничего не понимаю из их разговора?

— О! Это и мы не сразу научились, — сказала Ира. — С час, наверное, времени ушло.

— Ну, так мы пойдем за аккордеоном? — нетерпеливо спросила Оля.

— Пойдем. Ну и чудеса!

— Ура! Сейчас концерт для вас будет!

В двумерном городке бурно радовались маленькие плоские человечки.

Игнатьев и его дочери помахали человечкам руками и направились домой. Ребятишки всего двора рисовали смешные домики. А взрослые, не особенно вникая, отчего так тихо во дворе, просто радовались этой вечерней тишине.

Все пятеро с шумом ввалились в квартиру.

— Тише вы! — крикнула им из комнаты мама. — Тут по телевидению что-то важное передают.

Папа приложил палец к губам.

— Передаем экстренное сообщение, — взволнованно говорил диктор. — Многие радиостанции Земли приняли сообщение от неизвестных разумных существ. Разумные существа, именующие себя двумерцами, просят разрешения поселиться на нашей планете. В настоящее время создается комиссия, которая вступит с пришельцами из космоса в контакт. Просим всех присылать свои соображения по этому поводу. Предполагается, что комиссия закончит свою работу через пять месяцев...

— Носитесь бог знает где, — сказала мама. — Тут такие события происходят. Садитесь есть живо, а то вдруг еще что-нибудь передадут интересное.

— А мы уже... — начала было Танечка, но три сестры и папа так на нее посмотрели, что Танечка замолчала.

— Берите аккордеон, барабан, маленький аккордеон и пошли гулять, — скомандовал Игнатьев.

— Это еще что такое! — возмутилась мама. — А есть кто будет?

— Потом. Успеем, — успокоил ее папа.

Они стали собираться. Диктор снова начал читать экстренное сообщение, повторяя его в который уже раз. Взрослые во всем мире прильнули к телевизорам. А дети во всем мире, не слыша сообщения диктора, рисовали на асфальте города. Маленькие и большие, цветные и одноцветные, многоэтажные, каменные и из тростника. С клумбами, лесами, холмами и реками.

И короткие белые молнии время от времени разрезали небо, и тогда на асфальте расцветали фантастические цветы.

Но ребячьи города на асфальте все же были еще фантастичнее.

ВЕСНА СВЕТА

За толстыми керамитовыми стенами базы расстилалась снежная пустыня, делавшая поверхность безжизненной планеты одинаковой во всех ее точках, однообразной, унылой и холодной. Планета словно не могла пробудиться от бесконечного сна.

Они сидели возле электрического камина. Он и Она.

Она родилась в космическом корабле. Все ее детство прошло среди предметов, сделанных руками человека. Землю ей заменял пластик пола, вентиляция заменяла ветер, свет неярких светильников — солнце, вода журчала для нее только из крана, магнитофонные записи заменяли пение птиц и шелест травы. И лишь цветы, невзрачные, тусклые, но живые и от этого теплые и приятные на ощупь, были настоящие. Цветы росли в главной оранжерее корабля. За цветами тщательно ухаживали, но они все равно гибли. Их становилось все меньше и меньше. Последний увял, когда ей было одиннадцать лет.

Корабль тогда подошел к искусственной планетке диаметром в двадцать семь километров. Здесь было миллионное население, четыре университета, школы, театры, искусственные катки и даже рощи лиственных деревьев. Искусственная планета, казалось, затерялась среди звезд, но она была очень нужна людям. За ней начинался еще неисследованный космос. Здесь строили новые корабли, которые уходили в дальний поиск.

Она училась в школе, затем в университете. И у нее было много друзей и подруг. А потом Она встретила Его. Он недавно прилетел с Земли и не был похож на всех, кого Она знала раньше. Он видел все, Он видел Землю. Он даже родился на ней. И улетел с нее впервые в учебный полет, когда Ему исполнилось двадцать лет.

Он хорошо знал, что такое мягкая черная земля, знал, какое счастье валяться на траве и смотреть в небо, ощущая обжигающие лучи солнца. Он жил в Сибири, видел сохраненную навечно тайгу, переходил вброд холодные таежные речки и рвал цветы, а потом дарил их девушкам и уходил, потому что ни одна не тронула его сердце.

Когда Он встретил Ее, то удивился Ее жизнерадостности, счастливому выражению лица, потому что в Его воображении человек, который ни разу не видел Землю, не мог быть счастливым.

Они полюбили друг друга. Он — сын Земли. Она — дочь Неба. А потом огромный корабль ушел в дальний поиск открывать новые звезды и планеты, и они отправились с экспедицией. На каждой новой планете оставалось два или три человека, которые должны были все узнать о ней.

На одной из планет остались Он и Она.

Экипаж корабля соорудил им керамитовый домик, в котором был маленький зал для танцев и аппаратная с тысячей очень сложных приборов, столовая и кабинет для работы, кухня и ванная, прихожая и каморка, в которой жил старый-престарый робот, знавший Ее еще с пеленок.

Им было хорошо друг с другом. Одиночество не тяготило их. С утра они запускали маленькие ракеты, которые после обеда возвращались, доставляя им кинофильмы о различных областях планеты и данные о температуре, давлении, составе почвы — словом, обо всем, что можно было узнать о планете. Они обрабатывали материалы, танцевали, рассказывали друг другу всякие истории. И старый робот осторожно останавливался где-нибудь в углу и молча слушал их. Он вообще был неразговорчив.

Через день они садились в винтолет и летали по заранее намеченному маршруту, удаляясь от базы иногда на несколько тысяч километров. И тогда старый робот поддерживал с ними связь и пытался самостоятельно обрабатывать материалы исследований.

В этот день они сидели возле электрического камина.

Он молчал, словно не замечая Ее. И бобины магнитофона крутились зря, потому что Он не слышал музыки, и Она зря тормошила Его за плечо, предлагая потанцевать.

Она заметила, что с Ним что-то делается. Уже несколько дней Он был таким — неразговорчивым, ушедшим во что-то свое, чужим, непонятным. И Ей было от этого не по себе.

— Хочешь остаться один? — спросила Она.

Он очнулся и отрицательно покачал головой. Она запела что-то, а Он вдруг спросил:

— Почему эта планета мертвая?

Странный был вопрос. Почему эта планета мертвая? Почти все планеты мертвые. Жизнь даже в самой примитивной форме встречается очень редко. Она так ему и ответила:

— Потому что это обычное явление в космосе. Сколько мы с тобой знаем планет? Разве хоть на одной из них была жизнь?

— Была.

— Нет. — И Она отрицательно покачала головой.

— Ветер, снежные ураганы, песчаные вихри, землетрясения, вулканы. Нам везде приходилось бороться. А здесь все мертво. Нет ни гор, ни ущелий, ни ветра, ни смены температур, ни дня, ни ночи. Здесь все застыло, как при абсолютном нуле.

— Ну и что же в этом плохого? Разные бывают планеты. Попалась вот и такая. Зато какие здесь звезды! Отчетливые. И видны даже самые маленькие. А Солнце отсюда можно увидеть?

— Нет, нельзя.

— Вот видишь, как далеко мы забрались с тобой. А мне нравится эта тишина. Словно все замерло в ожидании чего-то нового. Хочет и боится. Ждет и не верит. Так и я. Мне тоже кажется, что я чего-то жду. И я, наверное, такая же мертвая.

Он воскликнул:

— Нет, ты живая, ты теплая, ты разная, ты можешь и смеяться, и плакать, и грустить, и радоваться... Я хотел бы показать тебе Землю.

— Ты знаешь, мне совсем не хочется туда. Наверное, потому, что я не могу себе представить ее. Сколько бы я ни смотрела фильмов, ни слушала рассказов, я не понимаю ее, не чувствую. Мне хорошо и здесь. Лишь бы горели звезды.

— Здесь даже звезды не такие, как на Земле. Одинаковые. А там они разные. То большие и мигающие — это перед дождем. То блестящие, сухие и маленькие — это в морозные ночи.

— Скоро придет корабль. Ты можешь возвратиться на Землю. Даже видя ее, ты, наверное, будешь тосковать по ней.

Она села на спинку кресла и обняла Его, спрятав свое лицо в Его волосах. Он не пошевелился. От электрокамина исходило приятное тепло, но это было совсем не то тепло, которое исходит от костра. Тепло огня живое.

Она чувствовала, что Он снова забыл о ней, в который уже раз. И Ей сделалось грустно и досадно, и неприязнь возникла в ней к Земле. И, может быть, впервые Она захотела увидеть ее. Узнать, что же в ней такого, что Он не может жить без нее.

Он только сказал:

— На Земле март.

Это Ей ничего не говорило.

А Его непреодолимо тянуло на Землю. Именно сейчас, когда там начинается весна, когда солнце поднимается все выше и выше, когда снега только чуть-чуть подтаивают и их ослепительное сияние вызывает чувство неудержимой радости и легкости. Когда в лесу уже твердый наст, и можно ходить без лыж, и маленькие ручейки пробиваются в оврагах и логах, а бугры кое-где обнажили землю.

В такие дни Он уходил в лес и бродил, не разбирая дороги, до вечера. Возвращался мокрый и счастливый. И особенно хорошо Ему было, когда удавалось найти первый подснежник, маленький, хрупкий, кажется, такой неприспособленный к жизни, а все же выбивающийся первым из земли.

Он сидел в неприступных стенах надежного убежища. Тепло камина согревало Его, волосы гладила, конечно же, самая красивая женщина на свете. И все равно Его давно уже тянуло прочь от этих стен, в мороз, в снег, в гнетущую однообразность. Разбросать, разбудить все, чтобы была весна света, чтобы Она увидела эту весну света... Нетерпение в груди накапливалось. И только одно сейчас удерживало Его — поймет ли Она его поступок, не разрушит ли Он непонятным для Нее желанием любовь. Ее любовь.

— На Земле март, — тихо повторил Он.

— Ну и что? — даже не удивилась Она.

Тогда Он сбросил Ее руки со своих плеч и встал. Она испугалась, но лишь на мгновение, потом успокоилась и сказала:

— Что такого, что на Земле март? Был февраль, стал март...

Он молча вышел в прихожую и надел меховой комбинезон, затем унты, рукавицы, теплый шлем, спускающийся прозрачным забралом на лицо. Она смотрела на Него немного отчужденно, но с усмешкой. Еще мать рассказывала Ей, что мужчин иногда что-то уводит с прямого, понятного и всеми одобренного и проверенного пути. Но чаще всего они все равно возвращаются. Возвратится и Он. Здесь некуда уйти.

Он открыл дверь. Клубы пара ворвались в переднюю и медленно исчезли, когда Он захлопнул за собой дверь. Старый робот вопросительно повернулся к Ней.

— Иди, — приказала Она. — Только чтобы Он тебя не видел.

Все-таки Она немного боялась, что Он не вернется.

А Он вышел из сверхнадежной керамитовой базы и остановился. Темнота кругом, но не полная, не страшная, а какая-то безразличная, пустая. Он крикнул что-то в эту пустоту, но не получил ответа. Здесь даже эха не было. Тогда он пошел вперед, по своим же следам, и добрался до того места, где остановился вчера. Он постоял немного в раздумье. Нет, Ему не хотелось возвращаться. Вперед, вперед. Оставить хотя бы цепочку следов на этой ничего не желающей планете. Хоть этим сделать ее не такой однообразной.

Он шел все быстрее. Стало жарко. И Он сбросил теплый шлем, потом рукавицы, расстегнул комбинезон. Старый робот шел в километре за ним, чуть в стороне. Увидев, что человек сбрасывает одежду, он изменил направление и подобрал ее. Он знал, что было холодно, но не решался напомнить об этом человеку. Ведь Она сказала, чтобы он только издали охранял Его, не попадаясь на глаза.

А человек шел все вперед. Он уже ничего не замечал вокруг. Да и что тут было замечать? Это белое однообразие? Он снова был на Земле, среди полыхающего бликами моря света. Сощурив глаза, Он смотрел на солнце. Нагнул ветку тальника в небольшом овражке возле замерзшего ручья и с давно забытым чувством, заставившим учащенно забиться его сердце, ощутил ее запах.

Затем Он очутился в березовой роще и медленно кружил вокруг стволов, прижимаясь к ним разгоряченным лицом и гладя их гладкую кожу с коричневыми зигзагами разрывов коры. Он прислушался. Он услышал, как переговариваются деревья. Как красные и желтые птицы то и дело вмешиваются в их неторопливую беседу...

Весна света! Половодье света! Солнце куда ни глянь! Солнце в небе, солнце на снегу, разбросанное мириадами блесток, солнце в воздухе, в деревьях, в настроении, в душе.

Он спустился в небольшую ложбинку, запнулся за что-то и упал в снег. Поднялся... и понял, что Он не на Земле. Он был на этой тоскливой планете. Тогда он ничком бросился в снег. Снег, прилипший к лицу, немного привел Его в себя. Он перевернулся на спину и посмотрел в небо. Звезды чуть заметно проглядывали сквозь темно-серую дымку. Снег попал Ему за воротник и растаял там. Он сел, ощущая, как холодная струйка воды проскользнула между лопатками.

Что-то заставило его оглянуться. Что-то было не так, как прежде. Он не сразу сообразил. Потом понял, что он не видит

горизонта. Он встал во весь рост, но все равно не увидел горизонта. Он находился в небольшой ложбине. Это Его удивило... Еще ни разу на этой планете Он не встречал никаких отклонений от поверхности идеального шара.

Он попытался подняться вверх. Это Ему удалось, но с трудом, потому что склоны были довольно круты. Он медленно повернулся на месте. Горизонт был отчетливо виден. Так отчетливо, как никогда раньше. Он попытался сообразить, почему это. Потом понял: стало светлее.

И тут Он услышал какой-то звук...

Звук был очень знакомый, но необычный... здесь.

Он прислушался. Звук доносился из ложбинки. Тогда Он снова спустился вниз, растерянно глядя по сторонам. Ноги его чуть не по колено провалились в снег, Он попытался выбраться, но провалился еще глубже. Он начал разгребать снег руками и обнаружил, что снег мокрый. И это при семидесятиградусном морозе.

Он вспомнил, что напоминал Ему этот необычный звук. Так журчит первый лесной ручеек. Самый первый. Что-то мягко било по его ногам, возле самых подошв. Это и был ручеек. Он не поверил и зачерпнул воду рукой. Ручеек был холодный, прозрачный, свежий. Глаз нельзя было оторвать от него.

И тогда Он пошел вниз по ручью, увидел, как осел снег на одном из склонов ложбинки. «Так и должно быть, — подумал Он. — Это должно было произойти. Не может быть абсолютной смерти». Он что-то искал, разгребая руками рыхлый мокрый снег. А вокруг становилось светлее. Он уже явственно различал свою тень.

И вот в одном месте Он увидел, что снег протаял почти до самой почвы. Он бросился туда, низко наклонился, как в глубоком поклоне, и замер.

Маленькие беленькие лепестки подснежников на тонюсеньких стеблях пробились через тонкую корочку льда. Их было несколько. Он долго стоял и смотрел на них. Потом вспомнил Ее. Она должна увидеть их. Он сбросил с себя комбинезон, оставшись в одних брюках и ярком свитере. Осторожно сорвал подснежники, положил их на ладонь, прикрыл сверху другой ладонью и начал взбираться наверх. Он все время смотрел себе под ноги, чтобы случайно не упасть. А когда выбрался наверх, то вынужден был тотчас же закрыть глаза, такой ослепительный свет разливался вокруг. Он засме-

ялся от счастья и, проваливаясь по колено в снег, пошел к базе. Какое-то черное пятно на мгновение привлекло его внимание, но тут же исчезло. Это был старый робот. Ему приходилось трудно, ведь он был тяжелый и все время проваливался в снег, недоумевая, что же произошло, почему такая твердая раньше поверхность вдруг стала непослушной и коварной.

А Она, когда Он захлопнул дверь, разделась и легла в постель. Взяла книгу, но читать не хотелось. Мысли Ее все время возвращались к Нему. Что погнало Его прочь? Неисправимый! И Она ждала Его в темноте, начиная уже волноваться, — слишком долго Он задерживался. Но старый робот должен охранять Его. Роботу Она верила.

Дверь открылась внезапно, рывком. Она приподнялась на локте. Яркий свет ударил Ей в глаза. Она увидела Его, протягивающего Ей раскрытую ладонь. Он был без теплой одежды, мокрый и радостный.

— Что случилось? — испуганно спросила Она.

— Весна света! — ответил Он.

— Неисправимый, — тихо сказала Она.

— Смотри, — Он поднес к ее глазам чуть вздрагивающую ладонь. — Это подснежники. Я нарвал их для тебя.

— Здесь? — удивилась Она и взяла цветок. — Неужели это правда? — Она тихо рассмеялась.

— Ты увидишь это. — Он взял Ее на руки и, хотя Она, смеясь, просила: «Отпусти! Отпусти!» — вынес из керамитового домика. Она чуть не ослепла от льющегося отовсюду света и уткнулась лицом в Его грудь. Потом осторожно отняла свое лицо, медленно приоткрывая глаза.

— Необыкновенно как, — только и сказала Она тихо-тихо, но Он расслышал.

— Пойдем туда.

Он отнес Ее назад в домик. Она надела блестящие черные брюки и белый свитер, ботинки с толстыми подошвами.

И Они вышли вдвоем в сверкание снега, в удивительные блики солнца.

Взявшись за руки, Они пошли вперед.

Старый робот едва добрался до базы. Он согнал с себя капельки воды перед камином, подзарядил аккумулятор и сел в кресло. У него вдруг появилась потребность осмыслить все происходящее. Он думал долго, но не пришел ни к какому выводу. Неужели человек настолько одержим, настолько велик, что может растопить силой своих чувств вечные снега

мертвой планеты? Или просто проснулось светило? Робот не выдержал и пошел в аппаратную, и включил там вычислительную машину. Он заложил в нее все данные о планете и ее солнце. Длинная лента ответа потянулась из вычислительной машины. Робот читал ее, удивленно покачивая головой.

А Они все шли вперед. И случалось, что Он отставал от Нее, и тогда Она брала Его за руку и вела за собой. Они оба смеялись, оба были очень рады. И неизвестно, кто больше. Он ли, потому что показал Ей эту весну... Она ли, потому что впервые увидела весну света...

А на Земле действительно был март. В северном полушарии начиналась весна света...

РАЗНОЦВЕТНОЕ СЧАСТЬЕ

1

Перед тем, как войти в испытательный бокс, я взглянул на индикатор личного счастья. Золотистая стрелка остановилась на тридцати пяти делениях. Достаточно, чтобы быть в хорошем настроении.

Эдик Гроссет стукнул меня ладонью между лопатками и сказал:

— Прости меня за эти несколько минут.

— Брось, Эд. На то и эксперимент. У тебя нет выбора, ты обязан это сделать. Не вздумай только хитрить. Иначе все ни к чему!

Про хитрость я сказал, конечно, зря. Гроссет не умел хитрить, никогда и ни при каких обстоятельствах. Но тем труднее ему было участвовать в этом эксперименте.

— Сам понимаешь, — сказал Эдик. — Это все равно, что вывернуться наизнанку. Противно.

— Перестань скулить. — Я взялся за ручку двери. Лицо Эдика, как мне показалось, осунулось и постарело. — И Ингу заставь.

— Телячьи нежности, — сказал Сергей Иванов. — Работать — значит работать. И нечего тут рассусоливать...

Перед боксом толпилось еще человек десять. Среди них выделялся могучим телосложением и удивительным спокойствием Антон Семигайло. Мне всегда казалось, будто он создан специально для иллюстрации выражения «в здоровом теле — здоровый дух». Глядя на Антона, можно было сказать даже, что в исключительно здоровом теле — ну просто поразительно здоровый дух! Во всяком случае, уровень счастья у него всегда выше средней нормы, а часто даже более семидесяти процентов.

Антон пожал мне руку и подмигнул. Я ни с кем не хотел прощаться, но так уж получилось. Вслед за Семигайло и все остальные начали протягивать мне руки.

— Вы все с ума посходили! — раздался голос руководителя наших работ Карминского. — До начала эксперимента осталось десять минут, а вы его специально взвинчиваете! Ему же еще успокоиться надо!

Однако никто не ушел. Уж очень хорошо все знали кандидата технических наук Виталия Карминского, чтобы в страхе разбежаться по своим местам.

— Как со счастьем? — спросил наш руководитель.

— По сто восемьдесят пакетов каждого цвета, — ответил Иванов.

— Хватит?

— Что он, бездонная бочка, что ли?

— Ну-ну, — согласился Карминский. — Не подвела бы только аппаратура.

— Что вы, — спокойно пробасил Семигайло. — Все на уровне.

— Знаю я этот уровень. А как с откачкой счастья?

— Плохо, — ответил Гроссет.

— Что так?

— Освободили бы вы меня, Виталий Петрович, от этого. На теплотрассу бы лучше послали, землю копать. Все равно ведь кого-нибудь пошлете. А я добровольно.

— Каждый сверчок знай свой шесток, — глубокомысленно изрек Карминский. — Все расписано и утверждено. Изменений не будет.

В это время в лаборатории зазвонил телефон. Инга подняла трубку, послушала и сказала, кивнув мне:

— Саша! Тебя к телефону. Марина хочет с тобой говорить.

Я вопросительно посмотрел на Карминского.

— А, — безвольно махнул он рукой. — Говори. Чего уж тут поделаешь. Сорвем эксперимент! Ей-богу, сорвем...

Я взял трубку:

— Марина?

— Я, Саша. Слышишь? Я люблю тебя!

Я промолчал. Много, много лет я не слышал от нее этого слова.

— Ты слышишь, что я говорю? Сашка!

— Слышу.

— Я люблю тебя!

— Не верю.

— Ты это говоришь, потому что эксперимент?

— Марина, я знаю это точно.

— Ладно, дерзайте! — У нее будто перехватило горло. — Буду думать про тебя только самое плохое. Отключаюсь.

Она испугалась? Или что-то поняла? Десять лет прожито вместе. Десять лет... Много или мало?

— Ну что, сантименты кончились? — строго спросил Карминский. — Разрешите начать эксперимент?

Я открыл дверь бокса, перешагнул порог и повернул рукоятку. Теперь дверь была плотно закрыта. И сразу же на меня навалилась тишина, неприятная, холодная, испытующая. Я сделал несколько шагов, очутился возле кресла, сел в него, удобно устроившись. Ведь неизвестно, сколько мне придется в нем просидеть. Теперь лишь оставалось натянуть на голову шлем, но я не торопился. Подождут. Перед началом всегда ждут. Я хотел успокоиться, попробовать ни о чем не думать, а сам начал строить логические предположения, почему Марина мне позвонила. Она, конечно, знала, что сегодня эксперимент, но это ничего не проясняло... «Я люблю тебя». Решила утешить или... Ничего не понимаю!

На пульте перед креслом засветилась лампочка. Ага, им надоело ждать, просят включить мой телефон. Я щелкнул тумблером.

— Ну, что ты там? — сердито спросил Сергей Иванов. — Можно начинать?

— Сейчас... — Я натянул на голову шлем, похлопал его ладонью, чтобы лучше прилег. Хорошо, что сейчас конструкция шлема не требует бритья головы. Сколько курьезов из-за этого было...

— Готов, — сказал я, к своему удивлению, не почувствовал ни страха, ни желания бросить всю эту чертовщину. А! Будь что будет! Это даже интересно.

— Сашка, я буду поддерживать с тобой телефонную связь, — сказал Гроссет. — Кричи, если что.

— Начинайте, — ответил я.

— Проверяю уровень личного счастья, — услышал я чей-то голос. — Тридцать пять процентов. В норме.

Я выключил свет. Сидеть в темноте мне казалось приятней. Теперь уровень моего счастья начнут искусственно понижать. Доведут до нуля, а потом попробуют догнать до ста.

Меня начали «выворачивать наизнанку».

Сначала меня выселили из квартиры, потом уволили с работы, как не соответствующего занимаемой должности. Они экспериментировали, а для меня все это было на самом деле. Марина укоризненно говорила мне: «Докатился». Я и сам был расстроен. Черт возьми, никогда не предполагал, что не соответствую должности ведущего инженера. Или за десять лет я действительно порастерял все свои знания, или их и не было, но никто не догадывался об этом. А, ладно. Работа у нас не проблема!..

— М-да, — с сожалением протянул Карминский. — А я думал, что работа для него все.

— Вы по цифрам не судите, — сказал Эдик. — Неизвестно еще, сколько процентов у нас с вами эта самая работа составляет. Можно, кстати, проверить!

С квартирой было хуже. Сколько лет жили в маленькой душной каморке. Получили тридцать квадратных метров — и вот снова лишились всего...

— Всего ноль целых две десятых, — сообщил Гроссет.

— Странно, странно, — сказал Карминский.

— И ничего нету странного, — защищала меня Инга. — У каждого свои моральные ценности.

Лишать меня серванта, дивана, стульев и телевизора не имело смысла. Это, кажется, понимали все. И все-таки лишили. Все сгорело.

— Ага! Четыре процента! — заволновался Антон Семигайло: обрадовался, что нашел единомышленника. (А я плевал на все это барахло. Голова есть, заработаем, купим.)

— У него же мультивокс сгорел!

— Проверим еще раз, все по отдельности, — сказал Карминский. — Диван, сервант, стол. Что?

— Кухонный стол, — подсказал Сергей.

— При чем тут кухонный стол?!

— У него же там ноты хранятся, — с улыбкой пояснил Сергей.

Он явно подшучивал над нашим руководителем. Ведь это Карминский хранил в кухонном столе ноты своих машинных симфоний. Симфоний, которые под его руководством и по его программам сочиняла математическая машина нашего отдела. Это было хобби Виталия Петровича.

Но Карминский проводил сейчас эксперимент и к шуткам был не склонен.

— Кухонный стол, — сказал он. — Телевизор. Эти самые... костюмы, платья...

— Ноль процентов, — сказал Эдик.

— У него что, действительно из всего домашнего имущества лишь один мультивокс имеет цену? — спросил Карминский. — Проверим. Мультивокс.

— Четыре процента.

Мультивокс мы делали вдвоем с Гроссетом. Бились над ним четыре года. А через полгода они появились в продаже. Но наш был лучше! Лучше в том смысле, что он был создан

специально для нас. Мы понимали его, и он понимал нас с полуслова, вернее с полумысли, потому что мультивокс воспроизводил музыкальные мысли, музыку, которая так часто звучит в голове, — странную, непонятную, ускользающую. И бывало порой до слез жалко, что не можешь воспроизвести ее. Во-первых, нет музыкального образования. А во-вторых, будь оно, все равно нужно какое-то связующее звено между мыслью и нотными знаками. У композиторов все получается и без мультивоксов. Но ведь мы не были ни композиторами, ни даже людьми с выдающимися музыкальными способностями. Во всяком случае, Марина именно так и считала. Гроссет сочинял симфонии, их даже исполняли, правда, лишь в нашем городе. А я писал симфонические этюды-экспромты. Музыковеды таких не признавали. Не бывает, мол, симфонических экспромтов! Как не бывает? Вот же они! Послушайте! Но даже Марина не верила, что такое может быть. Раз не было раньше, значит, не может быть и в будущем.

— Все равно буду их писать, — говорил я. — Не хотят слушать, не надо. Некоторые люди все же понимают.

— Бросил бы ты эту ерунду. Диссертацию давно пора делать.

Ох, уж эта диссертация. Была ли она мне нужна? Я честно признавал, что работа не настолько меня увлекает, чтобы я был в состоянии выдать какую-нибудь оригинальную мысль или идею. Я был довольно средним инженером.

— Все — и средние, и серые — пишут диссертации, — доказывала Марина. — Одни гении, что ли, докторами и кандидатами становятся?

— К сожалению, нет, — отвечал я. — Но чтобы я, серый инженер, стал серым кандидатом?! Нет, не получится. Хватит их и без меня.

— А композитор из тебя получится?

— Еще не знаю. Когда пойму, что нет, — тоже брошу.

— Может, ты только к старости поймешь?

— К старости и брошу. А пока мне интересно этим заниматься...

Эксперимент шел уже полчаса.

— Ну что ж, перейдем к личности? — не то сказал, не то спросил Карминский.

Гроссет тяжело вздохнул.

— Выключаю Марину, — странным голосом сказал Эдик.

Марина меня не любит! Удар? Нет. Я это предполагал и раньше, а теперь знаю точно.

Дело не в том, что она любит кого-то другого. Нет. Это просто стандартная, нравящаяся соседям и знакомым любовь. Мы часто появляемся на людях вместе, за исключением тех случаев, когда я отказываюсь от этого сам. Ей это только приносит облегчение, но она все равно твердит:

— Ты со мной не разговариваешь, не ходишь в кино, молчишь, ничто тебя не интересует. Все люди как люди, а ты?

Но о чем говорить? Ведь разговоры-то не получаются. Не получаются! Может быть, и хорошо, что я умею молчать?

Любви нет. А что же есть? Привязанность. Привычка. Все утряслось, устоялось. Ничего не хочется изменять.

— Один процент. Почти один, — сказал Эдик растерянно.

— Сколько точно? — спросил Карминский.

— Господи! — сказала Алла, молодой инженер, ей было лет двадцать, не больше. — Человека жена не любит, а он: сколько процентов!

— Товарищи! Мы на диспуте о любви или важный эксперимент проводим, запланированный тематическим планом? — строго спросил Карминский. — Что за детство?!

— Господи! Что же это делается? — снова сказала Алла.

— Ноль целых девятьсот одна тысячная, — зло сказал Эдик.

— Опять шуточки? У этой шкалы нет тысячных делений.

— Извиняюсь. Ноль девяносто.

— Товарищи! Прошу относиться серьезно.

— Может быть, ускорим темпы? — предложил Иванов. — Время идет, а мы тут дебаты разводим.

— Молодец, Сергей, — сказал Карминский. — Время — деньги. Кто там у нас следующий по списку? Гроссет? Выключаем Гроссета.

Мы знали друг друга пятнадцать лет. Странный он был парень. То заговорит, разорется, руками размахивает, бараньи кудри свои дергает. Доказывает что-то. А потом вдруг скажет: «Нет, доводов мало», — и замолчит. Если не мог что-то доказать, сдавался немедленно. Даже на экзаменах. Скажет: «Я не уверен в этом, давайте сразу следующий вопрос».

Что нас сблизило?

Любовь к музыке? Да. Вначале только это. Хотя само отношение к музыке у нас было разное. Я признавал в музыке только импровизации, полет фантазии. Он — строгую, кро-

потливую работу. Я никогда не задумывался, садясь за мультивокс, что я буду играть. Это приходило уже во время игры. А Эдик неделями не подходил к инструменту, что-то тщательно вынашивая в голове. И я часто, очень часто вынужден был признавать, что его симфонии всегда содержательней моих импровизаций.

Но главное все-таки было не в музыке. Просто мы понимали друг друга без слов. Мне нравилось то, что он всегда разный, никогда не повторяющий себя, честный. Однажды, еще в институте, его побили вместо меня. Я не знал, что это должно было произойти. Он знал и пошел один... Мне стало известно это месяц спустя. А сам Эдик и словом не обмолвился...

Теперь его нет. Есть кто-то по фамилии Гроссет с его лицом и фигурой. Но это не Эдик. Я чувствую, я твердо знаю это. И пусто, пусто на душе. Как жить на свете без друзей?

— Десять, — сказал Эдик.

— Что десять? — переспросил Карминский.

— Процентов.

— Ого! Отлично! На снижение резко пошло. Скоро закончим... Следующая — Инга Гроссет.

О, счастье мое! Не мое, конечно, а Эдика. На них смотреть — и то счастье. Она танцевала испанский танец на одном из институтских вечеров. Как танцевала... Они познакомились. А через неделю решили пожениться. Я сам по поручению бюро факультета разговаривал с ним — не легкомысленна ли такая скоропалительная женитьба. Дурак дураком! Как будто дело в сроках. Ведь у них вся жизнь — переходный процесс. Ничего устоявшегося, стандартного, каждый день все по-разному, по-другому.

— Четыре процента, — сказал Эдик.

— Отлично, — радовался Карминский. — Кто следующий?

— Но почему больше, чем у Марины? — из женской солидарности спросила Инга.

— Разберетесь позже. Иванов Сергей.

— Ноль два. Пять. Три. Ноль пять. Стрелка скачет.

— Скачут зайцы! — заорал Карминский. — Семигайло! Почему аппаратура барахлит!

К Сергею у меня отношение сложное. Работать с ним было одно наслаждение. Все спорилось в его руках. Когда мы еще только разрабатывали индикаторы счастья, он мог за день изобрести с десяток схем, спаять и настроить их. И они работали. Правда, повторить их обычно уже никому не удавалось. Они работали только созданные его руками. И дома, и в лесу, и в командировках он был таким. Если что-нибудь всем казалось невозможным, он, не раздумывая, бросался вперед очертя голову. И у него получалось. На мотоцикле он умудрялся ездить по таким немыслимым дорогам, где даже тракторы вязли. В шахматы выигрывал в безнадежных позициях. У него был какой-то странный талант везения и легкая рука.

Десять лет он, Эдик и я были неразлучны. Потом он немного отошел от нас. Это произошло тогда, когда я понял, что люблю его Нину.

Стрелки индикаторов пляшут, и Карминский почем зря ругает Семигайло, который ни в чем не виноват.

— Все работает нормально, Виталий Петрович.

— Нормально, нормально. Тогда проинтегрируй по времени.

— За какой отрезок?

— Откуда я знаю! За минуту.

— Хорошо... Две и семь.

— Антон Семигайло!

— Ноль.

— Алла Куприна!

— Ноль две.

— Карминский!

— Ноль.

— Филатов! Скрипкин!.. Президент США!.. Директор института! Дежурный водопроводчик!..

— Ноль, ноль, ноль...

— Где осечка? — спросил Карминский. — Остается двенадцать процентов. Вроде всех перебрали. И знакомых и незнакомых.

— А здоровье-то забыли! — взревел Антон. — Здоровье — это о-го-го!

— Здоровье!

— Ноль.

— Он же хочет стать знаменитым композитором, — сказал Сергей.

— Сергей, как ты можешь? — прошептала Инга.

— Слава! Признание! Талант!

— Ноль, ноль, ноль.

Карминский устало опустился на стул.

— Ну, что еще позабыли?

— Может, взять толковый словарь и по порядку? — предложил Сергей.

— Вот что, Гроссет. Спроси-ка у него сам. Ему лучше знать.

Они отобрали у меня все. У меня уже ничего и никого не было, кроме Нины. Эдик, конечно, знал. Разве это скроешь? И Сергей знал, но не подавал виду. А может быть, не знал?

Маленькая женщина с черными короткими волосами, которую я и в мыслях-то боялся поцеловать, потому что потом нужно будет смотреть Сергею в глаза.

— Сашка, — позвал меня Эд.

Я сделал усилие и напряг всю свою волю. Нет у меня никого и ничего! Нет! Один я! В этом сером, бесцветном и пустом мире.

— Двенадцать процентов, — тихо-тихо сказал Эдик.

— Итого ноль, — заключил Карминский. — Первая половина эксперимента закончилась. Иванов, давай сюда контейнеры со счастьем!

Сергей ногой подтолкнул ящик. Молча подкинул на ладони полиэтиленовый мешочек с розовым счастьем и запустил им в ползающую по подоконнику муху. Убить муху счастьем!

— Кощунство! — укоризненно покачал головой Карминский.

— Вычтите из зарплаты, — тихо ответил Сергей.

— А все-таки странно, — вдруг всполошился Карминский. — Только сейчас в голову пришло... Существует ведь какое-то отношение к жизни, какие-то убеждения, цели... Ничего этого мы у Александра не отнимали, а он абсолютно несчастлив!

— Во-первых, убеждения у человека не так-то просто отнять, — возразил Эдик.

— Да-да, — сразу же согласился Карминский. — Тут методика нашего эксперимента явно недоработана. Надо еще подумать...

— Все равно ничего не выйдет. Отношение к жизни и мультивокс — это не одно и то же. Более того, если мы и сможем отнять у него убеждения, то из бокса выйдет уже не человек... Вспомните народовольца Николая Морозова. Он просидел в каземате двадцать пять лет, но тюрьма его не сломила.

— Да, но у Александра-то сейчас нуль!

— Сейчас — да. Это потому, что на него все слишком быстро обрушилось. Пройдет время, и он сам начнет искать выход, то есть начнет выходить из этого состояния абсолютной

опустошенности без всяких пакетов со счастьем. Именно убеждения человека и дают ему возможность выжить в таких ситуациях. Но эксперимент наш и без того получается жестоким.

— Методика, методика... — пробормотал Карминский.

А я болтался между горем и счастьем, никому не нужный. И мне никто не был нужен. В душе и голове пустота. Абсолютная! Странное состояние. Так, наверное, чувствует себя камень. Перетащит его река с места на место — хорошо. Не перетащит — и так пролежит тысячу лет. Но я все-таки не камень! Пожалуй, самой яркой мыслью была мысль о бесполезности собственного существования... Я представил себе, как они все сидят там, в лаборатории, вычерчивают графики, обсуждают результаты, готовятся к продолжению эксперимента. Несчастный подопытный кролик!

— Убейте меня! — закричал я в микрофон. — Убейте!

Ведь каждый из них мог бы очень просто зайти в бокс и стукнуть меня по голове табуреткой или чем-нибудь еще. И все... Но нет. Они будут сидеть. Никто и пальцем не пошевелит, чтобы поднять табуретку! Тоже мне, коллеги...

— Не могу! Не могу больше!

2

Года четыре назад нам предложили новую тему. Нужно было разработать индикаторы счастья. Ох и смеху было в первые дни, когда мы изучали техническое задание! Неужели серьезно? Оказалось — без всяких шуток.

Нам выдали несколько экспериментальных датчиков, ненадежных, громоздких, которые определяли общее настроение человека. Первый индикатор нужно было возить на грузовике. К технической стороне дела мы уже относились серьезно, но к самой идее — все еще с усмешкой.

Потом наша лаборатория получила ящик полиэтиленовых пакетов неопределенного цвета. В них находился какой-то газ, вдыхание которого приводило к улучшению общего настроения. Некоторые пакеты ссохлись, потому что газ улетучился из них или превратился в порошок.

Карминский, тогда еще ведущий инженер, тщательно изучил инструкцию по применению и разрезал один пакет. Помню, дело было перед обедом, и мы все хотели есть как черти. И вдруг... Я почувствовал, что сыт. И не просто сыт, а сыт приятно, счастливо. Никогда я не получал такого удовольствия от самой еды. Антон лучился блаженством. А уж он-то любил

поесть! Но, видимо, одного пакета сытного счастья на всех было мало, и Семигайло потребовал вскрыть еще один. Я испугался. Ведь я сыт по горло, только испортим все.

— А... Экспериментировать так экспериментировать, — сказал Карминский и вскрыл еще один пакет.

И ничего не произошло. Антон выворачивал пакет. По его растерянному выражению лица было ясно, что он все еще ничего не понимает. «Что же это, братцы? — как бы говорил он. — Обман?»

А одна девушка, старший техник Лена, которую почему-то не задело «сытное» счастье, вдруг удивленно посмотрела вокруг, вся расцвела, высоко подняла голову, гордая и счастливая.

— А вы не верили! Ведь он же любит меня!

Оказывается, Карминский вскрыл пакет с газом, который мы потом назвали «счастьем любви». И действительно, Ленка вскоре вышла замуж. Она уволилась, но еще с год я встречал ее иногда в городе с белобрысым толстоватым парнем, и всегда она прямо светилась. Но я почему-то думал, что тот вскрытый пакет не повлиял на ее жизнь. Это просто было совпадением. Не получи мы тогда этого ящика, все равно она ходила бы гордая и счастливая.

— Отметим. Другой тип счастья, — сказал Карминский. Он всегда отличался любовью к систематизации, к раскладыванию по полочкам, хотя часто эти полочки были покаты.

— Почему без этикеток? — разволновался Антон.

— Потерпи, — успокоил его Сергей. — Скоро обед. Десять минут осталось.

— Макетные образцы счастья, — важно заметил Карминский. — Что с них возьмешь? Вот когда все это запустят в серию...

Кто-то догадался включить наш тысячекилограммовый индикатор и по очереди присоединить его к каждому из нас. Что ни говори, а процент счастья был у всех выше, чем обычно.

Постепенно мы привыкли к своей теме. Действительно, ведь измеряют же температуру человеческого тела. Значит, медицине это нужно. Почему же не измерять уровень счастья человека? Может быть, это еще важнее, чем температура.

Больше в отделе никто не усмехался по поводу наших индикаторов. А мы работали не покладая рук. Нас все время торопили, но и помогали тоже здорово. Новейшее оборудование, аппаратура, материалы, необходимые штатные единицы — все появлялось как по мановению волшебной палочки. Макетная мастерская с молниеносной быстротой выполняла наши заказы.

Удобные индикаторы нужно было сделать во что бы то ни стало. И мы сделали. Весом в тридцать граммов и размером чуть меньше градусника, который ставят под мышку.

Внешний вид нашего индикатора был, конечно, неважный. Ну, что это такое? Идет человек по улице, а из кармана пиджака у него выглядывает стеклянный градусник. Смех да и только! И мы, и наше начальство понимали это. И после массовых летних отпусков — вот повезло-то всем! — мы снова принялись за работу. Через год мы демонстрировали уже изящные вещицы. Были индикаторы в виде часов со стрелками, показывающими проценты и даже доли процентов, индикаторы в виде запонок и брошек, где процент счастья определялся по цвету и звуку, в виде колец и браслетов, детских сосок-пустышек и вечных ручек.

Иногда мое воображение разыгрывалось, и я отчетливо представлял, как в магазинах, киосках и цветочных ларьках вдруг начнут продавать счастье в чистом виде.

Розовое — семейное, крепкое, непробиваемое, добротное. Голубое — мечтающее, ищущее, стремящееся к чему-то необыкновенному. Желтое — безумное, не знающее границ и меры. Коричневое — сытное, приятное, отяжеляющее пузо. Красное — решительное, бескомпромиссное, прямолинейное и честное. Серо-буро-малиновое — для шутливых подарков в дни рождения, все переворачивающее вверх дном, смешное, легкое и быстро забывающееся. Синее — свистящее и резкое, как ветер морей и странствий.

О! Да разве можно было бы перечислить все цвета и оттенки счастья! Кто знает это? Может быть, где-нибудь в ведомостях и калькуляциях они и будут перечислены с точным указанием цен и срока действия. Может быть. Но тогда этот перечень, наверное, займет тысячи страниц.

Не будет только черного счастья. В принципе и такое вполне возможно. Счастье лжи, подлости, обмана и клеветы. Но если такой род счастья и будет выведен в научных целях, то секрет его производства, надо полагать, спрячут далеко-далеко, за семью замками. А может быть, такое счастье и невозможно? В самом деле, и ложь, и клевета, и подлость — ведь это же вечный страх. Какое уж тут счастье, если все заполняет страх? Да и подлец по-настоящему счастлив лишь тогда, когда его нечароком принимают за благородного человека.

Я представлял себе, как в первые недели и месяцы возле магазинов и ларьков выстроятся длинные очереди. Женщины средних лет будут расхватывать розовое семейное счастье. И не зря. Некоторые любители спиртного неожиданно протрезвеют. Чудаки будут брать голубое счастье и становиться еще чуднее, делать странные открытия, говорить странные речи, совершать необъяснимые поступки, часто прямиком переходящие в геройство. Идя на какое-нибудь собрание, люди будут захватывать с собой красные пакетики и потом резко, правильно критиковать себя, свое начальство и испытывать при этом огромное счастье оттого, что говорят правду.

Разумеется, коричневое, сытное счастье вначале будут стесняться покупать. Но и тут найдутся предприимчивые директора столовых, кафе и ресторанов. Прямо на раздаче будут продавать коричневые пакеты, и взявший их будет съедать невкусный стандартный обед или ужин, испытывая явное счастье, чувствуя, как тяжелеет желудок.

Сорванцы вместо того, чтобы потратить пятнадцать копеек на обед в школе, будут вскладчину покупать синее счастье и воображать себя капитанами дальних плаваний, космонавтами, отважными землепроходцами и исследователями. Значительно возрастет успеваемость в школах и институтах, особенно по географии, физике и истории.

Словом, эффект от продажи счастья, как я предполагал, был бы только положительный. Каждый человек будет теперь считать своим долгом носить индикатор и тщательно следить за уровнем своего счастья, не допуская, чтобы оно падало ниже определенных пределов. Появятся новые науки: счастьеоника, счастьеведение, счастьетехника. В поликлиниках откроются специальные кабинеты счастьепедии.

В свободное время, по вечерам, мы с Гроссетом иногда экспериментировали. И однажды заметили, что если сложить десять процентов розового, например, счастья с десятью процентами голубого, то в одном случае получается десять и одна десятая, а в другом — тридцать два процента. А могло получиться — правда, очень редко — всего пять процентов.

Наверное, это стали замечать и другие. Ведь иногда получить, например, в подарок букет цветов приятнее на голодный желудок, чем на полный. И чья-нибудь случайная улыбка может наполнить сердце ощущением счастья гораздо большим, чем при покупке новенького автомобиля.

И вот мы получили новую тему. Необходимо было исследовать — в чем счастье.

Работа есть работа, и мы принялись, снова засучив рукава, выполнять план. Разработали аппаратуру по «откачке» счастья и методику насыщения счастьем. Для первого раза нужно было выяснить, можно ли догнать процент счастья у человека до ста и как это сделать.

3

Я сижу в испытательном боксе, задыхаясь от пустоты, которая заполняет мою душу, мое сознание. Нет в мире ничего, что приносило бы мне счастье, и сам я никому не даю его.

— Не могу я больше так жить! Вы слышите?

— Слышу, Сашка, — сказал Эдик. Он чуть не плакал.

— Начинаем! — скомандовал Карминский. — Розовое! Один пакет.

Сергей поспешно схватил пакет, пихнул его в пневмотрубу, нажал кнопку, пакет влетел в бокс. Иванов нажал еще одну кнопку. Острое лезвие ножа вспороло пакет.

Я едва заметно улыбнулся. Жить еще стоит.

И тут они начали напихивать меня счастьем.

Только и слышалось:

— Два пакета зеленого!

— Ноль один процента.

— Отлично! Пятнадцать серо-буро-малинового!

— Ноль два.

— Прекрасно! Коричневого! Синего! В крапинку! Фиолетового! Еще два! Еще восемнадцать! Прекрасно! Чудо!

— Ноль. Ноль один. Пошел вниз. Еще ноль четыре.

Бедняги. Они запыхались. Исследовать счастье — задача нелегкая. Все суетились. Там надо было вставить новый рулон бумаги в самописец. Там кончилась фотопленка в шлейфовом осциллографе. Магнитные барабаны математической машины заполнялись информацией. Стрелки вдруг начинали бешено биться о края шкал. Нужно было сделать мгновенное переключение.

— Отлично, старик, — сказал Эдик. — Ты им задал жару!

Гроссет повеселел. Как только мне отвалили голубого счастья, я немедленно вернул Эдика в свое сердце. Он это почувствовал и теперь радовался. По-моему, ему сейчас весь этот эксперимент до чертовой бабушки. Сидит, машинально отсчитывает, строит график, а сам рад, что самое страшное,

самое неприятное — предательство друга, хоть и на несколько минут, хоть и во имя науки, — все же позади.

Я вернул их всех. И Марину. Как я был счастлив, что она есть, Марина. Все, что было у нас хорошего, давно-давно, всплыло перед глазами. Ведь это потом между нами установились чисто деловые отношения, простые, понятные, обычные...

Давайте сюда ваше счастье! Я сумею им распорядиться. Режь, Сергей, пакеты, режь, учись вскрывать счастье!

Я вернул их всех. И Ингу, и Сергея, и свой мультивокс.

Мне стало весело. А у них — заклинило, заклинило!

— Может, бросить? — сказал Сергей. — Толку-то ведь никакого.

— Не может быть! — заволновался Карминский. — Сколько?

— Двадцать пять, — ответил Эдик.

— Аппаратура что-нибудь?..

— Ерунда! — пробасил Семигайло. — Аппаратура как часы.

— Что он, бездонная бочка, что ли? Ну-ка дайте, я сам с ним поговорю.

Карминский схватил телефонную трубку и заорал:

— Саша, милый! Ну, что тебе надо? Говори! Яхту? Славу? Ну, возьми же, возьми. Господи, эксперимент же пропадает... Ага, проняло наконец!

Это я открыл свое сердце для Нины.

— Какого цвета был пакет? — заорал Карминский. — Зафиксировали?

— Никакого, — пожал плечами Сергей. — Не было никакого.

— Почему всплеск? На пятнадцать процентов! Напутали, что ли?

— Да не посылали ему никакого счастья! — обиделся Сергей.

— Странно. Ты объясни, Саша, что произошло. Хоть до девяноста процентов дотяни! Я тебе все что угодно. Кто там ближе? Дуйте на склад! Да еще пару ящиков выпишите.

— Не надо, Виталий Петрович.

— Как не надо? — опешил Карминский.

— Бесполезно, — пояснил Эдик.

— Плевал я на все эти эксперименты, — сказал я. — Пусть Семигайло лезет в бокс. У него уровень счастья выше нормы. Вот над ним и проводите эксперименты.

— Да ты что! С ума сошел! У нас же план!

— Все! Снимаю этот дурацкий колпак. По плану — нужно провести эксперимент. Его результаты не планируются. Пусть на первый раз будет отрицательный результат.

— Не допущу! — закричал Карминский и защелкал тумблерами на панели пульта. Я рванул шлем, да так резко, что ударился головой о стенку. На минуту у меня даже в глазах потемнело.

— Вот и отлично, — вдруг обрадовался чему-то Карминский. Тому, что я ударился, что ли? Больно. Чему же тут радоваться?

Я бросил шлем на пол, открыл дверь бокса и вышел на божий свет.

— Парни! — сказал я, хотя среди них было и много женщин. — Парни, я больше не могу. Здесь нужно специально готовиться. Вы меня простите.

Я чувствовал, что им неудобно. Ведь они вывернули мою душу, мое самое сокровенное Я.

Все они стали какими-то нерешительными. Даже Эдик не подался мне навстречу. Впрочем, и я их видел как в тумане.

— Ладно, Александр, — сказал Карминский. — Ты на сегодня свободен. А нам надо обрабатывать результаты эксперимента.

4

Комплексный обед в институтской столовой состоял из окрошки, куска тушеного мяса и стакана компота. У раздачи было душно, от кастрюль и баков тянуло жаром и каким-то соусом с замысловатым резким запахом. Народищу, несмотря на все старания работников столовой, было много, и очередь рассасывалась медленно.

Антон Семигайло, Эдик Гроссет, Сергей Иванов и я лишь минут через двадцать отошли от стойки с подносами в руках. Антон, как всегда, взял два вторых. Он взял бы и три, но ему было неудобно. Я всегда думал, что таким, как он, надо давать к зарплате надбавку. Получаем мы одинаково, а съедает он, как минимум, в два раза больше, чем я. Где же справедливость?

Мы сосредоточенно жевали.

— Эх, — сказал Антон. — Ревизором бы пойти по ресторанам, как в кинофильме «Гангстеры и филантропы»!

Каждый раз в обед он начинал разговор, смысл которого сводился к тому, что он не наедается. Мы уже не обращали на это внимания, и все же кто-нибудь, не удержавшись, вставлял какую-нибудь едкую реплику. Но Антон не обижался. Он во-

обще был не из тех людей, которые, слыша, что они прожорливы и глупы, обижаются. Он только расплывался в улыбке: ведь надо же, глуп, туп, а достиг. Достиг! Это главное. Как достиг, уже неважно. Вдвойне приятно, что ты туп и глуп и тем не менее достиг. Чего? Ну, хотя бы места ведущего инженера, как Антон Семигайло.

— Ха-ха-ха! — обычно отвечал Антон. — Ваш юмор помогает мне выделять желудочный сок. Приятно!

Раз желудочный сок выделяется, значит — приятно, значит — счастье. Это закон. И Семигайло постиг его в совершенстве.

— Послушай, Антон, — сказал я. — Шпарь-ка ты прямо сейчас в испытательный бокс. Эксперимент-то ведь в этом случае закончится удачно.

— Бросьте вы, — ответил Антон. — Хорошая еда — это половина счастья и без эксперимента.

Даже Антон иногда врет. Ведь хорошая еда для него — все счастье. Я сидел с ним рядом и будто нечаянно задел его за рукав. По-моему, его наручный индикатор показывал процентов девяносто. Исключительный случай! Патологический! Еще две порции мяса, и индикатор разлетится от перегрузки.

Наконец, с обедом было покончено. Мы вышли из столовой, купили газеты в киоске и пошли в свою лабораторию.

Карминский переписывал запись результатов эксперимента. Увидев меня, он спросил:

— Что это был за всплеск в конце? Кто или что? Объясни, пожалуйста.

— Идите вы... — ответил я, и он отошел.

Они сидели и обрабатывали результаты эксперимента. Молча. Не было оживления, как обычно в таких случаях. А мне было нечего делать. Меня стеснялись. Я бы ушел сейчас, но нельзя.

— Поедешь на рыбалку? — спросил меня Сергей. — Одно место есть свободное. Я домой заезжать не буду. Антон — тоже. Поедешь?

— Нет, — я покачал головой. — И ты не езди. Сегодня у Нины день рождения. Ей тридцать один.

— А, ерунда. Восемнадцать или тридцать один...

— Ей будет приятно, если ты вспомнишь.

— Значит, не поедешь?

— Нет. И вообще учти, что я хочу поздравить ее с днем рождения. И подарить ей цветы.

— Ох и клев сейчас на озере, — вздохнул Сергей.

А ведь они с Антоном всегда ставили сети. При чем тут клев? Не то он говорит.

— Сергей, я поеду к ней.

— Зря. Сейчас такая рыбалка.

Я был уверен, что теперь, после того, что я сказал, рыбалка занимает его не очень. Просто он не хотел изменять своим правилам.

Рабочий день кончился. Сергей, Антон и Карминский поехали на озера. Инга подошла ко мне и молча уставилась на меня.

— Передай Марине, — сказал я. — Домой не вернусь. Не могу.

— Я понимаю, — сказала она...

Я поехал в магазин и купил гладиолусов на все деньги, что у меня были. Потом сел в автобус и поехал в пригород Усть-Манска. Туда, где жила Нина.

Я должен, обязан был увидеть ее.

Из города я выехал довольно рано, народу в автобусе было немного, и мне удалось не помять цветы. Больше всего на свете сегодня я хотел сохранить их.

Ее дом был вторым от остановки. Я поднялся на третий этаж, позвонил, и она открыла мне.

В первое мгновение в ее глазах выразилось удивление. Удивление, которое я больше всего любил в ней. Потом она машинально спросила:

— А где Сергей?

— Уехал на рыбалку.

Она как-то потухла. Я протянул букет, который до этого напрасно пытался спрятать за спиной.

— Это тебе, Нина! Поздравляю с днем рождения!

— Спасибо, — сказала она. — Проходи.

И я прошел в комнату. Ее дочь, Наташенька, играла на полу в куклы. Ей было четыре года.

Нина сразу прошла на кухню, словно меня и не было. Я занялся разговором с Наташенькой, который в основном состоял из вопросов: «Почему ты есть? Кто ты такой? А папка еще не пришел? А у Тани головка отпала...»

Я сел прямо на пол. Неудобно играть с детьми, сидя на стуле или на диване. Прошло пять минут, десять. Нина не выходила из кухни. А мы с Наташенькой играли в куклы.

— Нина, — сказал я негромко. — Ты слышишь меня?

И она ответила, хотя я был уверен, что она не открывала рта:

— Конечно, слышу. Только не заходи на кухню.

Она плакала. Беззвучно. Молча. Самые страшные слезы. А я продолжал сидеть на полу.

— Нина, — сказал я. Но она не могла меня слышать. — Что делать? Я люблю тебя. Так получилось. Я люблю жену одного из своих друзей. Нина. Можешь ты это понять?

— Могу. — Она не ответила вслух, но я расслышал ее.

— Что же мне делать?

— Не знаю...

— Только ты можешь сказать, что мне делать.

— А ты не знаешь? Ты будешь действовать в зависимости от моего ответа?

Я передвинул куклу в очереди, купил яблок и заплатил за них мелко разорванными бумажками. Наташенька была в восторге.

— Будь мужчиной!

— Это значит — уходи?

— Не знаю. Я сама ничего не знаю.

Она вышла из кухни. В клеенчатом переднике, с руками, красными от свеклы, и совершенно спокойная.

— Будь счастлива, Нина.

— Спасибо, Саша. Я постараюсь...

5

Я просидел у обочины дороги под деревом несколько часов. Начало темнеть. Напротив из окна на третьем этаже раздавалась музыка, но там никто не танцевал. Да и кому было? Ведь собрались одни женщины. На балкон иногда кто-нибудь выходил, но это каждый раз была не Нина. Хозяйке некогда. На кухню, в комнату, подогреть, остудить, вымыть посуду, посидеть минутку с гостями, уложить спать Наташеньку. И все время казаться веселой. На вопросы: «Куда девался Сергей?» — отвечать шутками.

В свой день рождения Сергей приглашал желающих из нашей лаборатории в магазин грузинских вин. Мы выпивали по стаканчику, поздравляли новорожденного, шли на берег реки, курили, говорили. Потом снова возвращались в магазин. Сергей редко приглашал нас к себе в гости. Может быть, стеснялся. Ведь она, Нина, не инженер, даже не техник.

После нескольких таких кругов, здорово навеселе, мы разъезжались по домам. Сергей писал нашим женам шутливые

объяснительные записки, чтобы нас не особенно ругали за столь позднее возвращение.

На следующий день все начиналось с вопроса: «Ну, как доехали?» Все всегда кончалось благополучно. Иванов рассказывал, как Нина отпаивала его молоком и при этом весело смеялась. Моя Марина, естественно, не приходила в восторг от таких торжеств. Она обычно сонно поднимала голову с подушки и говорила всегда одно и то же слово: «Пришел?» Потом отворачивалась к стене и мгновенно засыпала.

...На кухне задернули занавески. Кто-то в третий раз ставил одну и ту же пластинку.

— Ты все еще здесь? — спросила Нина. — Иди домой. Скоро пройдет последний автобус. Марина, наверное, переволновалась. Ты тоже ее не жалеешь.

— Ага! Вот здорово! Во-первых, почему «тоже»? Разве дело в том, что Сергей тебя не жалеет?

— Пусть будет без «тоже».

— Хорошо. Но при чем тут «не жалеешь»?

Возьми меня, возьми меня
В чужие города... —

пела пластинка.

Ну и ладно! Тридцать процентов счастья — это тоже немало. К врачам не буду обращаться!

Возьми меня, возьми меня
В чужие города...

— Уходи, — сказала Нина. Это было сказано с таким вызовом, с такой болью, с такой отчаянной решимостью, что я понял: сейчас, в это мгновение, она перестанет быть тихой, сбросит с себя тщательно скрываемую покорность выдуманной судьбе, страх перед возможностью потерять маленький кусочек уже имеющегося счастья, страх перед неизвестным. Теперь она сама станет решать свои проблемы, не дожидаясь, когда Сергей позволит ей это.

Тихое, спокойное, розовое счастье. Работа, не слишком скучная и не слишком интересная. Муж, исправно приносящий деньги домой. Варка обедов, стирка белья. Вечером телевизор до одурения. Все правильно, все в меру. Все как у людей!..

И все, как на лезвии бритвы! Между счастьем и горем, в какой-то вязкой пустоте, когда даже отгоняешь в страхе мысль, что что-то может быть по-другому, не так ровно и спокойно, однажды и навеки заведено.

Говорят, что нельзя предсказать будущее. У некоторых людей — можно. И на день, и на год, и на всю жизнь. Прямая линия без взлетов и падений.

— Уходи! — сказала Нина.

— Нет.

— Тогда возьми меня, возьми меня с собой...

— Нина. Любишь?

— Ну зачем тебе слова? Разве дело в словах? Разве нужно об этом говорить? Ты должен чувствовать это всегда, каждое мгновение, без слов...

Часто бывает так: нравятся глаза, манера танцевать, умение быть в компании веселым, остроумным. И уже — «люблю». А ей не нужно слово. Почему же я всегда ждал, что она скажет, чуть ли не бросится на шею, заплачет и засмеется от радости? Розовое счастье все еще сидит во мне! Я наговорил ей столько слов, хороших и злых. Напыщенный и иногда сентиментально страдающий, я думал, что понимаю ее. И хотел, чтобы поняла она.

— Я бегу к тебе! — крикнул я.

Она понимала все. Давно. Сколько же времени прошло?

— Не нужно. Я приду сама.

Я поднял голову. В окнах ее квартиры горел свет. Музыки уже не было. Слышались голоса. Это расходились ее подруги.

— Ты знаешь, что нас ждет? — спросил я.

— Знаю. Все равно будут и обеды, и грязная посуда, полы, телевизор.

— И все?

— Нет. Каждый день будет новый. Я знаю, будут и слезы, и размолвки. Ты ведь вспыльчив. Все будет.

— И ты не боишься?

— Нет.

Погас свет на кухне. Мне не нужно было глядеть в окно, чтобы знать, что она делает сейчас. Вот она стоит посреди комнаты. Что она оставит здесь? Воспоминания, свои сомнения, страх, кусочек своей души? Все равно трудно. Все ведь с виду было правильно. «Какая семья!» — говорили соседи. Они никогда не ругались, даже крупно не ссорились. А счастья не было...

Нина подошла к Наташеньке, погладила ее, спящую, по головке. Может быть, в этом самая главная проблема?

— Нина, я ничего тебе не обещаю, кроме того, что нам будет трудно. И соседи будут говорить: «Ну как они живут?» И никогда толком нас не поймут. Что за жизнь, если ее понимают все, кроме нас? Пусть будет наоборот.

Она вдруг подошла к окну и посмотрела в темноту. Она не могла видеть меня. Она не знала, что я здесь стою.

— А если это пройдет? — спросила она. — Что будет с тобой? Что будет с нами?

Даже здесь она не спросила, что будет с ней. Что будет с нами? Не знаю. Это уже не имеет значения, если мы перестанем понимать друг друга.

Я даже не помню, когда увидел ее в первый раз. Это не осталось в памяти. Только: «О-о! Сережка женился! Молодец!» Потом видел ее и десять раз и сто. И ничего не менялось. Мир оставался прежним. Она всегда молчала. Петь — не пела вообще. Было даже странно. Мы по праздникам, после тостов, начинали танцевать, обязательно со всякими чудачествами, горланили песни, кто громче. Со стороны это, наверное, было не очень красиво. А кому из нас приходило в голову посмотреть на себя со стороны?

Потом я заметил, что она все время улыбается. Тихо, незаметно и грустно, словно уже давным-давно все про нас знает. А Сергей как-то стеснялся, сторонился ее. Он был веселый парень, но себе на уме. Не знаю, что у них произошло, но только это было очень похоже на то, что у нас с Мариной.

И однажды я понял, что она все время ждет чуда, каждый день, каждую секунду. Чудеса происходят, только их никто не замечает. Она ждала чуда, а Сергей не верил в чудеса и ее заставлял не верить. А она не хотела не верить. И тогда он пришел к мысли, что она ничего не понимает в этой стремительной, рациональной, не терпящей сомнений жизни, которая окружает нас. Он пожалел ее, оставил ей только домашние заботы. Не понимает — не надо. Он все будет решать сам. Примеров много, все правильно. У Сергея был железный характер и крутой нрав. Он никогда не колебался, не сомневался, все решал сразу, и все у него получалось. Так должно было быть и на этот раз.

Но произошла осечка.

Стоило раз взглянуть на нее, когда она была одна, чтобы понять все. Ничего у Сергея не вышло. Нет, взглянуть не один

раз. Может быть, миллион! И лишь в миллион первый раз увидеть. ЭТО не лежит на поверхности. ЭТО спрятано очень глубоко в душе.

...Чуть заметная полоска зари горела на горизонте. Дома засыпали.

— Что будет с тобой?

— Не знаю, Нина. Я этого не знаю. А с тобой?

— Я сейчас выйду. Подожди. Холодно.

Она скользнула с балкона в комнату.

«Сейчас что-то произойдет, — подумал я. — Что? Сейчас Нина будет здесь. И еще что-то. Что?»

Что-то забухало, как огромные часы. Ближе. Громче. Где-то во мне. Из-за угла дома показалась безмолвная женская фигурка. Стук молота раздавался все ближе, все громче. Я уже ничего не слышал, кроме этого знакомого и странного, страшного звука.

Нина сжала лицо в ладонях, нагнула голову и торопливо шла, почти бежала в мою сторону.

И в это время что-то взорвалось у меня на руке. Над ухом кто-то противно хихикнул. Я машинально отвел руку в сторону. Рукав рубашки был разорван, в каплях крови. Я понял, что это такое.

— Нина! — закричал я и бросился ей навстречу. — Сними свой браслет! Сними!

Она не ожидала увидеть меня здесь и остановилась, удивленная и счастливая. Счастливая, я был уверен в этом.

Некогда было объяснять, и я молча пытался сорвать с ее руки браслет-индикатор счастья.

— Что ты делаешь? — тихо спросила она.

— Нельзя тебе носить этот браслет.

— Чудеса... Ты откуда здесь взялся?

Я наконец сорвал браслет, зажал в кулаке и размахнулся, чтобы выбросить его. Не успел: он тоже взорвался. Ей оцарапало щеку и плечо.

— Не надо, ничего не надо, — сказала она, когда я пытался вытереть капельки крови с ее лица. — Ты почему здесь оказался? Или это правда, что ты со мной разговаривал весь вечер?

— Правда.

— Пойдем?

И мы пошли по шоссе, как семнадцатилетние, обнявшись за плечи.

За поворотом замаячило размытое пятно света от фары мотоцикла. Мы посторонились, но мотоциклист вдруг резко затормозил, чуть не задев нас коляской. Это был Сергей.

— И далеко вы направляетесь? — спросил он.

— Сергей, — сказала Нина, — я не вернусь. Понимаешь, не вернусь... Там дома соседка осталась...

— Сергей, — сказал я. — Это случилось, и ты тут ничего не изменишь.

— Что-нибудь осталось выпить? — спросил Сергей.

— Осталось...

— Пойдемте выпьем по этому поводу.

— Нет, Сергей.

— Ну что ж! Идите к черту... Наташку не оставишь?

— Нет.

Он дал газ и рванул с места.

— Не больно? — спросила Нина, дотрагиваясь до разорванного рукава.

— Нет. Все в порядке. А тебе? — Я дотронулся до ее щеки.

— Нет. — Она покачала головой.

...А вы хотели видеть счастливого человека. В чем же ошибка эксперимента, товарищ Карминский?

6

Первое, что меня поразило, когда я открыл глаза, был яркий солнечный свет. Я сидел на упаковочном ящике из-под счастья. Инга держала меня за плечи. Антон перевязывал руку.

— Дрянь эти индикаторы, — сказал он. — Я свой сегодня же выброшу.

— С индикаторами еще придется повозиться, — глубокомысленно поджал губы Карминский.

— Тебе не больно? — спросила Инга.

— Ничего, старик. — Эдик попытался улыбнуться мне. — Мы это сделали ненарочно. Почему так получилось, еще никто не может понять.

— Понимаешь, — сказала Инга, — это было все как на самом деле. Только сжато во времени и без перемещений в пространстве.

— Где Сергей? — спросил я.

— Ушел позвонить домой. Вот он.

Вошел Сергей. Все молча уставились на него.

— Все правильно, — усмехнулся Сергей. — У нее тоже взорвался индикатор счастья... Ничего страшного.

Оцарапало щеку и плечо, как ты и предполагал... Ну, так кто едет на рыбалку?

Я встал и подошел к нему.

— Сергей, я тебе не лгал.

— А... иди к черту, — сказал он без всякой злости, как очень уставший человек. — А у нее действительно есть характер.

— Без обеда сегодня работали, — заявил Антон. — Учтите, товарищ Карминский.

— А у вас день не нормирован, — нашелся руководитель. — Эксперимент, слава богу, удачно прошел. И с первого раза.

— А чем он удачен? — поинтересовалась Алла. — Что мы выяснили? Что человек может быть счастлив? А как?

Все были страшно растеряны и немного злы друг на друга. Если бы я ушел, тогда бы им было легче, свободнее.

— Сколько ящиков счастья израсходовали? — спросил я, чтобы что-то сказать.

— Сначала по сто восемьдесят пакетов каждого цвета, — начал Виталий Петрович. Нет, он был только ученый. Только кандидат технических наук. — А потом заклинило. А позже без всяких пакетов вдруг получилось. Помнишь, когда ты шлем сорвал?

— У вас получилось?

— Ну да, а у кого же? Эксперимент получился. В понедельник начнем обрабатывать результаты. Сегодня бы надо вообще-то...

— Валяйте.

Я позвонил Марине и сказал, что домой не приду.

— Я знаю, — ответила она. Она плакала. — Не могу поверить. Все было так хорошо. Саша, что же произошло?

— Прости, Марина.

Я не мог с ней говорить. Я ни с кем сейчас не мог говорить. Вышел из института, пешком добрался до цветочного магазина и купил огромный букет цветов на все деньги, что у меня были.

И вдруг я понял, что сейчас не могу ехать к Нине. Что я ей скажу? То, что уже говорил сегодня? Все осталось таким же сложным, как было вчера и год назад.

ВДОХНОВЕНИЕ

В одном из залов краеведческого музея открывалась выставка картин художников-любителей. Событие не такое уж и ординарное для Марграда! К 12 часам дня широкая лестница, ведущая на второй этаж, была запружена людьми.

Внизу, около раздевалки, стоял Юрий Иванович Катков, крепкий мужчина лет сорока пяти. Было заметно, что он немного нервничает, но старается казаться спокойным. Ему было отчего волноваться. Он выставил свою картину, после того как двадцать пять лет не брал в руки кисть.

Приглашенный из Новосибирска известный художник Самарин перерезал красную ленточку, и люди хлынули в зал.

Народу внизу стало меньше, и Юрий Иванович не спеша начал подниматься по лестнице. Войдя в зал, он остановился возле первой же картины и начал внимательно ее рассматривать. Два монтажника стояли на перекладинах опоры высоковольтной линии. Их богатырские фигуры, веселые лица, потоки света, льющиеся на них спереди, создавали атмосферу радости. Им было легко работать. Это чувствовалось в их позах и выражении лиц. Лишь бы вовремя подвозили изоляторы и бухты провода. Спасательные пояса не подведут, движения точны, сила в молодых телах, красота вокруг. Эти люди были победителями.

Каткова мало интересовала техника живописи. О какой уж технике ему говорить или рассуждать, когда столько лет прошло среди станков, машин и гор металла, когда руки огрубели и держат свободнее тяжелый гаечный ключ, чем легкую кисть. Вот и здесь. Отточенная техника не тронула его. Он отметил только общее настроение, которое вызвала у него картина. Это было ощущение победы, но победы легкой. Эти парни наверняка не знали, что такое настоящий бой. Им все давалось легко.

И все же картина ему понравилась. Но задерживаться возле нее надолго не было желания. Достаточно было взглянуть, почувствовать счастье этих парней, а потом сразу идти дальше. Тогда еще оставалось ощущение радости труда, которое хотел передать художник.

Посетители выставки говорили о цвете и красках, о размерах полотен и тщательно проработанной перспективе пей-

зажей, о подражании Дейнеке, о Сарьяне, о том, сколько времени тратит художник на свою картину, и о том, сколько он получит денег, если картину продадут. Одни подолгу останавливались возле каждого полотна, другие чуть ли не бегом осматривали сначала все и лишь потом задерживались возле наиболее для них интересного.

Комиссия приняла картину без всяких возражений, но сейчас Юрий Иванович на мгновение испугался. А что, если ее здесь нет? Он ушел с работы, чтобы осмотреть выставку одному. Потом можно будет прийти всей семьей.

И вдруг он почувствовал, что следующее полотно — его, хотя самой картины еще не было видно, так как перед ней собралось много людей.

— Еще одно направление! — с гневом в голосе сказал красивый высокий мужчина, выбираясь из толпы. — Вы представляете — пустое полотно. А название «Вдохновение».

— Нет, нет, — сказал другой. — Оно не совсем пустое. Там какие-то тени, но нельзя понять, что это такое.

— Куда смотрят устроители выставки?! Так и до сюрреализма можно дойти и до поп-искусства!

Катков посторонился, пропуская разгневанного мужчину и его спутника, и на мгновение увидел свою картину. Да нет же! Она не пустая! Что имели в виду эти двое?

И вообще возле картины говорили непонятное, совсем не относящееся к его полотну. Так, во всяком случае, ему показалось. Может, речь идет о соседних полотнах? Но рядом висели два индустриальных пейзажа.

Катков постоял немного и отошел к окну.

Он давно хотел написать эту картину. Наверное, тогда же, двадцать восемь лет назад. Но была война. Мать возвращалась домой поздно вечером с провалившимися от усталости глазами. Отец, вернувшийся с фронта без руки, все ходил по родным и знакомым и пил. Раньше он был резчиком по слоновой кости. А теперь, с одной рукой!.. По ночам мать шила рукавицы, стирала белье и плакала. Только семилетний брат и пятилетняя сестра не знали забот и допоздна носились по улицам. А солнце летом в Якутске почти не заходит.

Война была далеко, за тысячи километров. Но ее чувствовали не только по сводкам Совинформбюро. Калеки на улицах. Дети худые, как прутья. И здесь, за шесть тысяч километров от фронта, был госпиталь. В школах — военная подготовка, штыковые бои. Посылки на фронт с теплыми варежками и бельем... А он, ученик девятого класса, организует бригады по заготовке дров, жердей, погрузке угля...

Он услышал за спиной вежливое покашливание и оглянулся. Перед ним стоял марградский художник Петровский и незнакомый Каткову пожилой человек.

— Самарин, Анатолий Алексеевич, — протянул он руку.

— Катков, Юрий Иванович.

— А скажите-ка, Юрий Иванович, где мы раньше с вами встречались? Вы случайно не работали в студии Броховского в Усть-Манске? Примерно в пятидесятом?

— Нет-нет, я никогда не был профессионалом.

— Странно, откуда же вы знаете, что я там работал и что это именно там со мной произошло?

— Да нет же! Я впервые слышу, что вы там работали. А что там произошло с вами, тем более не знаю.

— Странно, — задумчиво сказал Самарин и смешно задвигал козлиной бородкой.

Художник Петровский все время стоял молча, но по его лицу было видно, что он хочет что-то сказать. Юрий Иванович кивнул ему, и тот, откашлявшись, спросил:

— Где вы откопали сюжет своего полотна?

— Мне его не пришлось откапывать. Он у меня в голове уже двадцать восемь лет. Все никак не мог собраться. Думал, что уж никогда не напишу.

— Вы сказали: двадцать восемь? Но ведь это было пятнадцать лет назад.

Юрий Иванович рассмеялся:

— Да нет же. Это было в сорок третьем, в Кангалассах.

— Невероятно. Я точно знаю, что это было в Ташкенте, в пятьдесят пятом.

— Вы, наверное, говорите о чем-то другом.

— Я говорю о полотне, которое называется «Вдохновение». — Он расстегнул рукав рубашки и показал шрам от локтя до запястья. — Вот чем мне пришлось заплатить за это вдохновение. Но я не жалею, — улыбнулся Петровский. — За это можно было отдать и жизнь.

— За что «за это»? — спросил Катков.

— За вдохновение, — ответил Петровский.

— И все равно я не могу поверить, что вы никогда не бывали в студии Броховского, — сказал, прощаясь, Самарин. — Простое совпадение здесь невозможно.

Катков еще с полчаса побродил по залу, подолгу задерживаясь возле некоторых картин. Многое ему нравилось. И только несколько бодряческих, скорее похожих на рекламы полотен вызвали у него недоуменную улыбку. В них все было напоказ, неестественно легко и неправдоподобно. Его все-таки тянуло к своей картине. И он снова подошел к ней.

На картине был изображен обрывистый берег с широкими деревянными мостками, по которым несколько подростков цепочкой катили тачки с углем. Возле берега стояла деревянная баржа. В ее необъятное нутро они сбрасывали уголь из тачек и возвращались назад на берег.

...Да. Все было действительно так. Небольшой поселок Кангалассы в двадцати километрах от Якутска вниз по Лене; горы угля на берегу, черные от угольной пыли тела, горячее якутское солнце и проливные дожди, четырнадцать ребят и усталость, усталость, усталость...

Они приехали сюда с гитарой и мандолиной, чтобы по вечерам сидеть у костра и петь. Вначале у них еще было свободное время, но они так уставали за день, что руки отказывались держать гриф. Поскорее смыть с себя грязь и уголь, поесть, блаженно растянуться в палатке во весь рост, немного поговорить, пошутить над нерасторопным Алехой Бирюковым и заснуть. А утром голос Потапыча: «Хлопцы! Уголек ждет!» Никто не знал, когда он умудрялся спать. Это был двужильный старик, всюду и все успевающий делать. Он наращивал деревянные съезды с кучи угля, разжигал костер, варил картошку, нагружал тачки ведерной лопатой. И все время приговаривал: «Уголек-то ждет, хлопцы».

А с хлопцами что-то происходило. Раньше они были уверены, что могут все. Перевыполняли же план на лесозаготовках! Они и на фронт пошли бы, не берут только. И работать могут как черти. Дайте только эту работу!.. А вышло, что не такие они железные. И летний зной стал невыносим. И баржи оказались какими-то бездонными. Болели все мускулы, все тело, не успевавшее втягиваться в монотонный, но бешеный ритм работы. Они грузили по четырнадцать часов в сутки, а Потапычу все было мало. Ведь скоро кончится короткое якутское лето, начнутся дожди, холод, пойдет по Лене шуга. И до следующего лета будут лежать бурты угля, засыпанные снегом. А в июне и ночью светло почти как днем. Работать можно круглые сутки.

Все понимали девятиклассники. И никому не приходило в голову возмущаться дряблым картофелем и перловой баландой. Четырнадцать часов с тачкой! Надо — так надо. Только исчезли шутки, потух огонек в глазах, все делалось через силу, машинально, как во сне.

Потапыч это видел. Каждый раз, когда приезжали новые группы грузчиков, происходило то же самое. Месяц тяжелых работ доводил их до такого состояния, что они уезжали, едва завидев смену и даже не попрощавшись с ним. Потапыч не обижался. Он хорошо знал человеческую натуру. Знал, что неприятности забудутся, люди «отойдут» и уже по-другому будут смотреть на проведенный в Кангалассах месяц.

Прошло всего две недели, но страшно было представить, что впереди еще две. Потапыч старался растормошить их хоть чем-нибудь. Он достал где-то ведро селедки и несколько пар новых брезентовых рукавиц, читал им при свете керосинового фонаря газету, когда они уже проваливались в лихорадочный сон. Только напрасно это было. Все валилось у ребят из рук.

В конце второй недели произошло событие. Алеха Бирюков не удержал тачку. С берега к барже был порядочный уклон, и тачку понесло вниз. Растерявшись, он не выпускал ее из рук и бежал рысцой. А тачка катилась все быстрее и быстрее, и Алеха уже несся вниз сломя голову, делая нелепые прыжки. Тачка при такой гонке сто раз должна была завалиться набок или перевернуться, но она благополучно влетела на баржу, не снижая скорости, пересекла ее по помосту из досок и с шумным всплеском свалилась с противоположного борта. Вместе с ней ушел под воду и Алеха, так и не разжавший пальцев.

Все это произошло настолько быстро, что остальные ничего не успели сделать, только кто-то крикнул: «Потапыч! Алеха!» Растерянность прошла, и двое ребят прыгнули в ледяную воду. С откоса, ломая кусты, спрыгнул Потапыч, быстро отвязал лодку и оттолкнул ее от берега.

Очутившись в воде, Бирюков выпустил из рук тачку, всплыл на поверхность и тут же снова начал пускать пузыри. Он плохо плавал. Ребята еще не успели доплыть до него, когда Потапыч рывком втянул Алеху в лодку. Затем он помог и тем двоим влезть в нее, и через минуту лодка была уже у берега. Все это он проделал молча. И мимо ребят на берегу прошел молча, не сказав ни слова. Искупавшиеся побежали сушиться к костру. А потом возле них собрались и все остальные.

Ребята сидели у костра, нехотя отгоняя ветками мошкару, лишь иногда перебрасываясь случайными фразами, не находя в себе сил даже для того, чтобы радоваться Алехиному спасе-

нию. Устали. Провались оно ко всем чертям! И уголь, и баржа, и Потапыч... Только бы вот так сидеть... Только бы сидеть...

Потом кто-то вспомнил о Потапыче. Странное дело, Потапыч исчез. Юрка Катков с трудом поднялся и, пошатываясь, пошел к палаткам. В одной из них он нашел Потапыча. Через минуту он вернулся к костру и удивленно сказал:

— А Потапыч-то плачет...

Сначала никто не пошевелился, не поверил.

— Он правда плачет...

Они медленно побрели к палатке и откинули полог. Потапыч, стоя на коленях, уткнулся лицом в березовый чурбан. Плечи его вздрагивали. А парни стояли молча, не зная, что делать. Он, наверное, почувствовал их присутствие и поднял голову. Некрасивое лицо его стало черным. Он плакал, но слез на его лице не было. И оттого он казался еще страшнее и невозможнее.

— Саньку убили, — хрипло сказал он.

Они догадались, что это известие еще утром привез ему старый сморщенный якут Тургульдинов, который на разбитой телеге доставлял им хлеб из поселка.

— Саньку, — повторил Потапыч.

Они так никогда и не узнали, кем этот Санька приходился Потапычу. Сыном, братом, другом, а может быть, дочерью?

— Картошку я начистил, — вдруг сказал он. — Ешьте... Спите... Сегодня... — Помолчал, потом чуть слышно сказал еще раз: — Саньку, гады, убили... — Он снова уронил свою кудлатую голову на чурбан. Они задернули полог палатки и молча пошли по тропинке к костру. Идущий первым чуть замедлил шаг, поравнявшись с ним, но не остановился и прошел дальше к бурту угля. Второй носком разбитого сапога подтолкнул в костер обгоревшую ветку. Третий только оглянулся на идущих следом. Четвертый неуверенно шмыгнул носом. Пятый сказал: «Мошка проклятая!» — и зло сплюнул себе под ноги. Шестой... Седьмой... Двенадцатый крикнул: «Тачка есть у шестого бурта!» Это относилось к Алехе Бирюкову. Ведь его тачка утонула в Лене... Последний оглянулся на палатку. Там, ухватившись рукой за растяжку, стоял Потапыч...

— ...Ах, Юрий Иванович! — услышал Катков лукавый голос соседки по этажу. — Вечно-то вы что-то скрываете!

— А-а-а! Галина Львовна! И вы здесь?

— Пришла вот посмотреть на вашу картину. Раньше ведь вы все отказывались показать. Ну и талант у вас!

— Что вы! Шутите, конечно.

— А я и не предполагала, что вы такой проницательный. Все-то вы знаете. Кто же это вам рассказал?

— Никто. Я сам видел.

— Ой! — сказала Галина Львовна, женщина лет тридцати, с хорошенькой фигуркой и красивым, приятным лицом. — Как же это? И зачем вы меня нарисовали в таком виде? — И она смущенно, едва заметным движением показала на середину картины, где Иван Лесков из последних сил, оскалив свои крупные зубы и обливаясь потом, толкал в гору тачку.

Он был высокий и худой. И у него уже не было сил. Но все же было ясно, что он выдержит, вкатит проклятую тачку на гору, трясущимися руками наполнит ее углем, и покатит снова, и упадет, и снова встанет, и снова упадет, и крепкое слово с хрипом вырвется из его горла. Но он все равно докатит тачку до пузатой баржи и вернется назад, потому что в его глазах вдохновение.

Ему даже не приходило в голову, как это выглядит со стороны. Дождь, скользкие доски, грязные руки в ссадинах, шершавые рукоятки тачки...

Алеха Бирюков на вид покрепче, хотя в семнадцать лет сил еще маловато. Но и им уже овладело странное вдохновение. Вдохновение, рожденное из злости на самого себя, за свое нелепое падение, за свою слабость, за дрожь в поджилках. Его теперь не утащить с этих скользких досок ни за что на свете. Он больше не упадет и будет толкать тачку, пока не исчезнут бурты мокрого угля.

И сам Катков, представивший, как сидит, тупо уставившись в колени, его отец, который уже никогда в жизни не возьмет в руки резец скульптора. Отец, который выпустил из автомата лишь одну длинную очередь, когда их необстрелянная, только что прибывшая из тыла рота поднялась из окопов, и тут же упал, сначала подброшенный вверх вместе с комьями земли и останками своего лучшего друга, и очнулся за сто километров от линии фронта, еще не зная, что у него нет руки, и снова представляя себе фигурку женщины, вырезанную из слоновой кости, которую он хотел изваять еще до войны, но все не решался... Боль за него, за поседевшую мать, боль в мускулах, в висках, в душе. И вдохновение, родившееся из этой боли. Не мимолетное, не легкое, но осознанное и твердое.

Якут Никифор с вдохновением отчаяния в узких черных глазах. Второгодник Сапкин с вздувшимися венами на шее и

на руках, еще не знающий, что он больше никогда не увидит своего отца и братьев. Комсорг класса Бакин, получивший похоронную на отца 1 Мая, в день своего рождения.

Дождь, противный, мелкий, не летний. Вздувшаяся река. Кургузая баржа. Скользкий, глинистый берег. И пятнадцать уставших, отчаянно уставших людей. Четырнадцать девятиклассников и один старик. И где-то чуть заметно, в глазах каждого, — еле уловимая радость. Радость, потому что в душе они почти уверены, что выдержат.

Они грузили баржи еще две недели. И еще целый месяц. И еще полмесяца. Им не понадобилось смены. И денег в то время за эти работы не платили. А в последний день, когда по Лене уже шла шуга, Бакин играл на гитаре негнущимися пальцами, и все пели и плясали у костра, и пар шел из их разгоряченных глоток. Потом Потапыч взял у комсорга гитару и запел: «Там вдали за рекой...» А они, ошеломленные, слушали и молчали. Такой у Потапыча был голос...

...Юрий Иванович огляделся. Соседка уже отошла, наверное, обиженная тем, что не дождалась ответа. Он все писал так, как было. Он ничего не приукрасил. И название картине он дал правильное. Это было настоящее вдохновение, родившееся из отчаяния и боли, бессилия и усталости, надежды и борьбы. Он уже давно не знал, где эти парни и что с ними. Но в этой картине они всегда были вместе.

Катков заглушил в себе воспоминания, снова возвращаясь к действительности. Все смотрели на его картину как-то странно. И здесь, в зале, и дома, когда он писал ее, и в приемной комиссии, когда он после долгих размышлений принес ее сюда. Говорили мало, а если и говорили, то что-то непонятное, вроде бы и не относящееся к его полотну. Жена как-то сказала: «Почему ты пишешь про меня? Пиши про Кангалассы. Ты же давно хотел». Что он мог ответить на это? Ведь он и так писал про Кангалассы. Значит, жена просто не видела этого. Даже младшая дочь и та все время находила в левом углу картины смешного зайчика и смеялась тому, какой он занятный. И сейчас. Смотрят, молчат, удивляются. Неужели он не смог выразить в своей картине трудное вдохновение, которое тогда охватило их, неужели оно так и осталось в его душе?

Юрий Иванович посмотрел на часы. Пора было идти на завод. Он медленно прошел по залу, спустился по широкой мраморной лестнице и вышел на проспект — в зной, в шум, в людскую сутолоку.

Однажды он рассказывал школьникам про Кангалассы. Его слушали внимательно, не перебивая. Глаза десятиклассников загорелись. А потом кто-то сказал: «Время тогда было другое». Да, время тогда было другое. Это верно. Но все же, может, время внутри нас? Может, это мы делаем время таким, а не иным?

А Самарин с Петровским спорили, вернувшись к картине Каткова.

— Да, да, да! — говорил Самарин. — Это студия Броховского. Я не вылазил из нее месяцами и никак не мог написать то, что хотел. Я грунтовал написанное за месяц и начинал все сначала. И в душу уже закрадывался страх, и тоска, и жалость, и злость на самого себя. Было время, когда я хотел все это бросить, но пересилил себя. И тогда родилось это незабываемое вдохновение. Катков предельно искренне изобразил тот самый переломный момент. С него все началось. Не мог он написать свое полотно, не видя меня в то время... Талант этот Катков.

— Согласен с вами, — ответил Петровский. — И про вдохновение правильно. Но только это написано про меня. Здесь изображен момент, когда отчаяние и страх неизбежного поражения заставили меня собрать всю волю, все свои силы в кулак и победить. Это было то же вдохновение.

— Значит, вы видите в полотне не то, что я? — спросил Самарин.

— Я вижу самый важный момент в своей жизни, — ответил Петровский.

— Но то же самое вижу и я. Только из своей жизни.

— Это же невозможно! Как ему удалось создать картину, в которой каждый из нас видит свое?

— Мы, наверное, этого никогда не узнаем.

— Счастливый, должно быть, человек этот Катков, — вздохнул Петровский.

А Юрий Иванович шел по мягкому, в дырочках от каблуков, асфальту. В сорок пять лет уже не особенно расстраиваются оттого, что не совершили в жизни ничего значительного, лишь тихая грусть поселяется в сердце.

Катков шел на работу, к станкам и чертежам, к привычному шуму завода, к его людям и заботам. И снова, как и двадцать восемь лет назад, отступали усталость последних сумасшедших месяцев, сомнения и неуверенность. И снова в его душе появилось странное вдохновение, и он уже был уверен,

что сегодня или завтра найдет причину, по которой взрываются подземные «кроты», — огромные машины, сконструированные им и еще десятком инженеров.

Юрий Иванович расстегнул воротничок рубашки и пошел быстрее. А картина? Ну что ж, он напишет еще одну. И снова назовет ее «Вдохновение».

Он не знал, что люди увидели в тот день себя на удивительном полотне. Оно заставило их вспомнить, близко ощутить то, что было главным в их жизни.

Катков не знал этого. Он шел быстрым шагом, и его ждала новая работа, новое вдохновение.

НАСТРОЙЩИК РОЯЛЕЙ

Его звали просто настройщиком. Никто не знал, сколько ему лет, но все предполагали, что не менее ста; а ребятишки были уверены, что ему вся тысяча, такой он был сухой и сморщенный.

Он появлялся в чьей-нибудь квартире часов в десять утра, с небольшим чемоданчиком в руке, и долго не мог отдышаться, даже если надо было подниматься всего на второй этаж. Его сразу же приглашали пройти в комнату, предлагали стул, заботливо спрашивали, не налить ли чаю, потому что настройщики на вес золота: инструментов нынче стало много, чуть ли не в каждой квартире, а настройщиков нет.

И вот он сидит в чисто прибранной комнате, делая частые неглубокие вдохи, покорно дожидаясь, когда сердце перейдет с галопа на неторопливый шаг, и молчит. Он не произносит ни слова. И седенькой старушке, которая до сих пор с опаской обходит пианино, приходится говорить. Она понимает, что раз пришел настройщик, значит, надо говорить об инструменте. Она с радостью поговорила бы о погоде, о том о сем, но положение обязывает говорить только об инструменте.

— Вот купили эту пианину. Говорят, дочка пусть учится играть. Ей и было-то три года, а уже деньги копить начали. Теперь-то, говорят, в кредит купить можно. Ну, да ведь не знаешь, что завтра будет. Купили, и слава богу, Танюша уже второй класс кончает. И играет. Придет со школы и за нее, значит, за пианину эту. Понимает уже все. И по нотам разбирается.

Старушка смолкла, ожидая, что заговорит настройщик, но тот не произнес ни слова. И, когда молчание стало слишком затягиваться, снова заговорила:

— С матерью, с дочкой, значит, моей, они по вечерам сидят. Бренчат, бренчат, хорошо получается. Особенно эти... этюды. И отец тоже сядет где-нибудь в уголок и слушает. Молчит и слушает...

Настройщик молча кивал, чему-то улыбаясь.

— Значит, Танюша в час придет? — вдруг звонким мальчишеским голосом спросил он, так, что старушка чуть не ойкнула от удивления, — ведь она ему об этом ничего не говорила...

— В час, в час...

— Ну, так я в час и зайду! — весело и громко сказал настройщик.

Взял свой чемоданчик и вышел из квартиры.

На лестничной площадке он немного постоял и решительно позвонил в соседнюю дверь.

Его встретила высокая полная женщина в тяжелом, расшитом павлинами халате, в замшевых туфлях с загнутыми вверх носками и с огромной бронзовой брошью на груди.

— Вам кого?

— Я настройщик, — тихим, усталым голосом отрекомендовался старик.

— А! Наконец-то. Проходите. Терпенья уже от соседей не стало. Ноги об коврик вытрите. Проходите вот сюда. Садитесь на этот стул. Пианино у нас чешское. Тыщу триста вбухали. Такие деньги! А оно и играть-то не играет.

Настройщик поставил чемоданчик на пол и осторожно опустился на стул, словно тот мог не выдержать его иссохшее тело.

Хозяйка квартиры подошла к пианино, открыла крышку и стукнула пятерней по клавишам:

— Слышите! Оно и не играет совсем.

Настройщик повернулся к инструменту одним ухом, словно прислушиваясь.

Женщина еще раз стукнула по клавишам, извлекла из инструмента какой-то сумасшедший аккорд.

Настройщик все так же молча продолжал сидеть на своем стуле.

— Что же вы? — загремела хозяйка. — Пришли, так работайте. Или вам тоже стаканчик водки надо? Нет уж! Приходили тут батареи промывать, так сначала им водки подавай! А после них ремонт на тридцатку пришлось делать... Что же вы сидите?

— Кто у вас на нем играет? — осторожно спросил настройщик.

— Я играю. А вообще-то для Коленьки купили. А вам-то что до этого?

— Нужно, — твердо ответил настройщик.

— Коленька! — позвала женщина. — Иди сюда. Уроки потом сделаешь.

Из комнаты вышел мальчик лет десяти и, глядя куда-то в сторону, поздоровался.

— Не хочешь играть? — вдруг спросил его настройщик.

— Не хочу! Не хочу и не буду! — скороговоркой ответил мальчишка и испуганно посмотрел на мать.

Та погрозила ему пальцем и строго выговорила:

— Мал еще: хочу — не хочу. Что скажу, то и будешь делать.

— Коля, сыграй мне что-нибудь, — попросил настройщик. — Просто так, как будто для себя. А я послушаю, что с вашим инструментом.

Мальчишка насупился, но все же сел за пианино и сыграл этюд Черни.

— Вот слышите, как тихо играет, — сурово сказала Колина мама. — На третьем этаже уже ничего не слышно. За что только деньги берут?

— А в школе сказали, что у меня слуха нет, — объявил Коля.

— Не твое дело, есть или нет, — отрезала мама.

Настройщик подошел к пианино, и Коля поспешно уступил ему место. Старик ласково пробежал по клавишам пальцами обеих рук и осторожно погладил полированную поверхность.

— Хороший инструмент. Почти совершенно не расстроен.

— Так ведь тихо играет, — забеспокоилась хозяйка. — Соседи играют — у нас все слышно. Мы играем — им хоть бы хны. Ни разу не пришли, не сказали, что мы им мешаем. А мне чуть ли не каждый день приходится стучать в стенку. Телевизор не посмотришь... Сделайте, чтобы играло громко. Чтобы на всех этажах слышно было.

— Понимаю. Это пустяковое дело, — сказал настройщик.

— А сколько берете? — подозрительно спросила Колина мама.

— Я беру десять рублей.

— За пустяковое-то дело?

— Кому — пустяковое, кому — нет.

— Ох, уж с этими халтурщиками спорить! Все равно вырвут.

— Я настройщик, — твердо сказал старик.

— Господи, да заплачу я. Сделайте только, чтоб как гром гремел.

— Сделаем. Так, значит, ты, Коля, не хочешь играть на пианино?

— Нет, — ответил мальчишка, глядя в угол.

«А слуха у сорванца действительно нет», — отметил настройщик.

Он снял с пианино передние стенки, верхнюю и нижнюю, вытащил из чемоданчика всякие молоточки, ключики, моточки струн и с час провозился с инструментом, ни на кого не обращая внимания. Потом поставил стенки на место, закрыл чемоданчик и сказал:

— Готово. Можете проверить.

Хозяйка недоверчиво подошла и долбанула по клавишам пухлой пятерней. Раздался ужасающий грохот, в окнах зазвенели стекла, с телевизора упала фарфоровая статуэтка купальщицы.

— Ну, теперь они у меня попляшут! — грозно сказала женщина. — Коленька устанет — сама сяду. А ну, сынуля, давай! Садись! Посмотрим, долго ли они выдержат.

Мальчишка, чуть не плача, сел за пианино, и квартира снова наполнилась неимоверным грохотом.

— Прекрасно, — сказала Колина мама и выдала настройщику десятку.

Тот не торопясь, положил деньги в потрепанный бумажник и взялся за чемоданчик. Лишь только он переступил порог квартиры, как гром сразу же смолк. Настройщик на всякий случай переступил порог в обратном направлении и удовлетворенно улыбнулся. В квартире гремело пианино и дребезжали стекла. Но только в квартире. Сразу же за ее пределами гром стихал.

Настройщик знал свое дело.

Он поднялся на третий этаж и позвонил в дверь, из-за которой доносилось пьяное пение. Здесь со вчерашнего дня праздновали день рождения.

Дверь открыл глава семьи, нетвердо державшийся на ногах, но очень вежливый.

— Папаша, проходите. Мы вас ждали. Шум сейчас мы устраним. Не хотите ли стаканчик за здоровье моей любимой дочери? Впрочем, пардон-с. Бутылки пусты. Но это мы вмиг организуем. Садитесь за стол. Это моя жена. А это не то брат жены, не то дядя. Черт их всех запомнит! Его драгоценнейшая супруга. А это моя Варька. Что за черт! Варька, где ты? Варька! — зычно крикнул отец. — Иди сюда. И сыграй нам на пианино... Три этюда... Три этюда для верблюда, — пропел он и вдруг захохотал, а за ним и все остальные. — Она у меня талант! Ее на конкурс хотят послать. Талант, а для отца и

гостей не заставишь сыграть! Варька! Ну, Варюшенька, сыграй нам.

В дверях показалась девочка. Вид у нее был сердитый и вызывающий.

— Чего вам надо! Орете второй день, а я вам играй! Все равно ничего не понимаете.

— А я говорю — играй! — приказал папа.

Настройщик вдруг подмигнул девочке, и та прыснула в плечо от смеха. Потом села за пианино и отбарабанила что-то совершенно непонятное. Папа, мама и гости зааплодировали.

— Доченька, сыграй для гостей еще что-нибудь, — попросила мама.

— А водки-то тю-тю, — сказал вдруг настройщик, и все забыли про музыку.

— Это мы сейчас сообразим, — уверил папа, и через минуту они вместе с дядей-братом устремились в магазин.

— Нельзя их одних отпускать, — сказала мама, и обе женщины бросились за мужьями.

— А теперь мы посмотрим, что случилось с вашим пианино, — довольным голосом сказал настройщик. — И мешать нам никто не будет.

— Да, не будет! Сейчас вернутся и затянут «Скакал казак через долину».

— Не вернутся. Они двери не найдут.

— Правда, не найдут? Вот здорово! — сказала девочка. — Всегда бы так.

— Так и будет. Как только они тебя заставят играть, сразу всем понадобится за чем-нибудь выйти, а вернуться назад они не смогут, пока ты их не захочешь впустить.

— И я буду играть одна?

— Одна. Никто тебе не помешает.

— Спасибо, дедуля, спасибо! — Девочка бросилась на шею настройщику, так что тот едва устоял на ногах. — Я бы их совсем сюда не пустила и все время играла.

— Как захочешь, так и будет, Варюшенька. А теперь давай вместе возьмемся за него.

Через час пианино было настроено, и старик, устало закрыв глаза и задумчиво улыбаясь, слушал, как Варенька импровизировала.

Потом они сжалились и впустили гостей в квартиру. Настройщику было выдано десять рублей, и он осторожно поло-

жил десятку в потертый бумажник. А папе снова захотелось, чтобы дочь сыграла для гостей.

Варенька заговорщицки подмигнула настройщику и сказала:

— С огромнейшим удовольствием.

Едва она села за пианино, как папа встрепенулся:

— А пивка-то не взяли! Пойдем-ка, пока магазин не закрыли.

Мужчины чуть ли не бегом выскочили на лестничную площадку.

— Опять квартиру не найдут, — заволновалась мама. — Надо проследить. — И обе женщины вышли следом.

— Вот здорово! — закричала в восторге девочка. — Приходите ко мне еще, дедуля! Я так хочу вас еще видеть!

— Приду, Варенька, приду, — сказал настройщик, подмигнул и вышел за дверь. Здесь он минут пять постоял, слушая, как девочка переносит в музыку свою маленькую, чистую и уже очень сложную душу. А во дворе препирались папа и мама, в каком подъезде они живут.

Настройщик знал свое дело.

Было пять минут второго, и настройщик снова спустился на второй этаж, где жила Таня. Она уже пришла из школы.

— Здравствуй, Танечка, — мальчишески звонким голосом сказал старик.

— Здравствуйте, — ответила девочка. — Вы настройщик? И вы настроите мне пианино? У него «ля» в третьей октаве расстроено и «ре» в контроктаве западает.

— Мы его вылечим. У тебя хорошее пианино.

— Да вы садитесь, — засуетилась бабушка. — Отобедайте. Ведь время уже.

— Обед подождет, — ответил настройщик. — Сначала мы займемся лечением. А еще раньше ты, Танюша, сыграешь. Я сяду вот сюда в уголок, и меня совсем нет. Никого нет. Играй.

Девочка нерешительно перебирала ноты, не зная, что выбрать. Выбрала сонату Бетховена. Эту сонату играют редко, но настройщик много раз слышал ее. И в который раз подивился тому, как дети чувствуют музыку, как страдают и радуются вместе с ней. Безошибочно, но каждый по-своему.

Девочка кончила играть и сказала:

— Я очень люблю, когда меня слушает папа. Он как-то очень странно слушает, словно помогает мне. И еще я люблю играть с мамой в четыре руки.

«Да, — подумал настройщик роялей, — здесь работы совсем мало. Настроить «ля» в третьей октаве да подтянуть «ре» в контроктаве».

И все же он провозился целый час.

В это время пришел на обед папа, на цыпочках прокрался к дивану, взял в руки книгу, но так и не перевернул ни одной страницы.

Закончив работу, настройщик сложил инструменты в потрепанный чемоданчик и сказал:

— А теперь, Танюша, проверь, так ли я настроил твое пианино.

Девочка села за инструмент, и по мере того, как она играла, лицо папы меняло свое выражение. Сначала на нем была недоверчивость, потом удивление, затем самый настоящий испуг и, наконец, восторг и растерянность.

— Что вы сделали? — тихо спросил он у настройщика. — Она так никогда еще не играла. Ребенок вообще так не может играть! Ей ведь всего десять лет. Что вы сделали?

— Я настроил пианино вашей дочери, — скромно ответил старик.

— Но... но это что-то невозможное. Она чувствует музыку лучше, чем я.

— Она действительно чувствует музыку лучше, чем вы, хотя вы тоже чувствуете ее прекрасно. Об этом мне рассказала сама Танюша.

Папа смущенно протянул ему десять рублей и сказал, что расплачиваться деньгами за такую работу просто неудобно. Не может ли он еще что-нибудь сделать для настройщика?

Настройщик бережно положил деньги в потертый бумажник и откланялся, улыбнувшись на прощанье Танюше.

Выйдя на лестничную площадку, он постоял немного перед дверью и поднялся на четвертый этаж, потом на пятый, затем спустился вниз и зашел в соседний подъезд. И снова началось его путешествие по этажам.

Часам к семи он устал, годы брали свое, и зашел в ближайший магазин. Там он купил конфет, а в соседнем магазине — игрушек. А когда он выходил из магазина, его уже ждала толпа ребятишек, и он пошел с ними в сквер и там раздал конфеты и игрушки. Он точно знал, кому что нужно дарить. Одним — конфеты, другим — игрушки. Потом он рассказал им смешную сказку, а когда ребятишки начали, перебивая друг друга, пересказывать ее и показывать в лицах, незаметно ушел от них.

Потом он зашел еще в один магазин, и снова встретил шумную компанию своих бесчисленных друзей — ребятишек, и даже придумал новую игру, такую интересную, что все тотчас же увлеклись ею, а он незаметно ушел и от них.

И вот магазины начали закрываться, да и денег к тому времени у него не осталось. И теперь он уже не угощал ребятишек, а только что-то тихо рассказывал им и незаметно уходил, когда чувствовал, что им интересно и без него.

Солнце уже спряталось за домами, а он все шел, не спеша, слыша иногда музыку пианино и роялей, которые он настраивал. Многим людям настраивал он инструменты, мальчишкам и девчонкам, взрослым и даже одной старушке, которая уже двадцать пять лет была на пенсии.

Взрослые звали его просто настройщиком, а дети — дедушкой или дедулей, потому что никто не знал его настоящего имени. И лет ему было, может быть, сто, а может быть, и вся тысяча. Так, во всяком случае, думали ребятишки.

СПЕШУ НА СВИДАНИЕ

Я стоял в магазине электротоваров и раздумывал, что мне купить: ИВП или ИХП. ИВП — это портативный изменитель внешности, а ИХП — портативный изменитель характера. Изменитель характера стоил гораздо дороже, но не в деньгах было дело. Я считал, что характер у меня вполне сносный, а вот внешность... Хотя... Ведь считала же меня моя жена когда-то красивым парнем! А потом, наверное, привыкла или поняла, что это ей только казалось.

Словом, я купил ИВП, размером чуть больше пачки сигарет, положил его в карман пиджака и вышел из магазина. Кажется, я еще и сам не очень-то понимал, зачем он мне нужен. Не дома же пользоваться им? Нет. Просто во мне назревал какой-то внутренний протест, взрыв. Я еще не знал, что сделаю, но уже исподволь готовил себя к этому.

На улице шел снег, пушистый и легкий. Снежинки, словно нехотя, падали вниз. Я нажал кнопку портативного изменителя внешности и пожалел, что рядом нет зеркала, чтобы посмотреться в него. Мимо прошел Кондратьев из нашего отдела. Он был уже немного навеселе, хотя после окончания работы прошло всего сорок минут. В таком состоянии он привязывался ко всем своим знакомым, чтобы они составили ему компанию для продолжения уже начатого им занятия. И по тому, что он даже не узнал меня, я убедился, что внешность моя подверглась значительному изменению. Никаких неприятных ощущений, как и говорилось в паспорте приборчика, я не испытывал.

Подошел троллейбус. Народу в нем было мало, и я, сел на свободное сиденье у окна. Голова тупо болела от всевозможных совещаний и планеров в нашем СКБ. А придешь домой, что тебя там ждет? Нужно сходить купить картошки, подмести пол, просмотреть газеты и журналы и засесть за телевизор. Жена будет варить ужин. Потом она на минутку присядет к телевизору, спросит, что там в газетах пишут, а сама даже не выслушает ответа. Да я и не отвечал на такие вопросы уже давно. Говорить нам не о чем. Мы настолько привыкли друг к другу, что даже не замечаем один другого.

И вот тут-то мне и захотелось сделать что-нибудь не так. Не пойти, например, домой, а пригласить женщину, сидящую

рядом со мной, в кино или ресторан. Влюбиться в нее, стоять вечерами под ее окнами, ждать встреч. Жене ведь все равно. Лишь бы деньги домой приносил да не приходил пьяный. Она ведь не расстроится, если даже узнает. А что?! Сделаю!

Я понимал, что никто со мной ни в кино, ни тем более в ресторан не пойдет. В лучшем случае воспримут как шутку, а в худшем — начнут звать милиционера. Да будь что будет! Я резко повернулся к женщине, сидящей рядом, и сказал:

— Послушайте! Хотите, я приглашу вас в ресторан? Ей-богу, ничего плохого в этом нет.

Женщина удивленно посмотрела на меня, и я узнал свою жену. Это было так неожиданно, что я на несколько секунд онемел. Но отступать было поздно, и я решил доиграть свою роль до конца. Тем более, что изменитель внешности сделал меня неузнаваемым.

— Или, может быть, вас дома муж ждет? — спросил я немного язвительно.

— Нет, — спокойно сказала она. — Никто меня не ждет. Моему мужу все равно.

— Тогда я вас приглашаю в ресторан.

— Сразу в ресторан? — рассмеялась она. — Нет. В кино было бы еще можно. А вы сразу в ресторан.

— Ну, тогда пойдемте в кино. Только вы не подумайте, что я донжуан какой. Просто домой идти не хочется.

— Я понимаю, — сказала моя жена. — Мне тоже не хочется. Придешь — дома тишина, тоскливо...

— Так не ходите!

— Нет, нельзя. Нужно ужин приготовить. Ведь кроме мужа у меня еще дочь. В первый класс уже ходит... Извините, — сказала женщина. — Мне выходить на следующей остановке. До свиданья.

— Я провожу вас! — закричал я на весь троллейбус.

— Не нужно. Еще увидит кто-нибудь и передаст вашей жене.

— Но с вами так легко было разговаривать... и интересно.

Моя жена как-то странно улыбнулась, но в это время троллейбус остановился, и она вышла. А я бросился следом, извиняясь перед теми, кого нечаянно толкнул. Я догнал ее и крикнул:

— Подождите! Я пойду с вами, тем более что нам по пути.

— Вы говорите это нарочно, — сказала она.

— Нет, нет... Скажите хоть, как ваше имя?

— Вероника.

— А меня зовут Алексеем.

Она была в легкой шубке и черных сапожках, с пушистым шарфом на голове. Ей отчего-то вдруг стало весело, и лишь раза два она задумывалась на мгновение, и на переносице появлялись морщинки. Она несла хозяйственную сумку, и я чуть ли не силой отобрал ее. Мы дошли до табачного магазина.

— Все. Дальше меня провожать не нужно. Следующий дом — мой. До свиданья, Алексей.

— Вероника, неужели я вас больше не увижу? Ну, назначьте мне свиданье! Я буду ждать вас завтра возле кинотеатра в шесть вечера.

— Нет, Алексей. Ничего из этого не выйдет. Прощайте.

— А я все равно вас буду ждать! До свиданья!

Я отдал Веронике сумку, и она быстро ушла. А я завернул в табачный магазин, купил сигарет и только после этого двинулся домой. Возле дома я немного постоял и только потом вошел в подъезд, предварительно выключив свой изменитель внешности. Жена встретила меня стереотипной фразой:

— Пришел?

— Пришел, Вероника, — ответил я, и, когда чуть позже справился насчет ужина, она ответила так же стереотипно:

— Нету ничего. Ходишь, бог знает где, да еще обеды спрашиваешь.

— Ах, опять ты свое начала. В столовую буду ходить, если тебе жалко.

— Ладно, — примирительно сказала Вероника. — Сходила лучше за картошкой, а я пока мясо поставлю варить. Я сама недавно пришла.

— Ленка на улице бегает? — строго спросил я.

— На улице.

Я взял сетку и пошел в магазин. Потом подметал пол, хлебал борщ, читая книгу, просматривал газеты, сидел у телевизора. Дочка наша уже легла спать. Вероника кончила свои домашние работы, устало опустилась на диван и спросила:

— Что там в газетах пишут?

Я, как обычно, не ответил, да она и не ждала от меня ответа. А я вдруг сказал:

— Вероника, завтра я задержусь. У меня срочное дело.

— Что еще за дело? — безразлично спросила жена.

— Да так. С человеком одним надо встретиться.

— Мне тоже надо, — вдруг сказала она.

— Странно, ты же никуда обычно вечером не ходишь...

— Ты тоже обычно сидишь вечером, уткнувшись в телевизор.

— Да я ничего. Надо, так надо. Только вот как Ленка одна дома будет?

— Ой, да большая она уже! Обед на газовой плите сама разогревает.

— Ну хорошо. А во сколько ты вернешься?

— Не знаю точно. Может, в семь, может, позже.

Вопреки своим правилам, я выгладил брюки. Вероника смотрела на меня удивленно.

На следующий день без пятнадцати шесть я был уже около кинотеатра. Верный изменитель внешности, конечно, спокойно лежал в кармане. Я не очень-то верил, что Вероника придет на свидание. Мне и хотелось, чтобы она пришла, потому что я знал, она будет не такой, как дома, и в то же время я был немного оскорблен, задет, что моя жена ходит на свидание с кем-то другим. Ведь для нее я сейчас был, конечно, другим. И вот я стоял и ждал.

Она все-таки пришла. Чуть раньше назначенного срока.

Как истинный влюбленный, я бросился к ней навстречу:

— Здравствуйте, Вероника! Я все боялся, что вы не придете.

— Я просто случайно шла мимо и увидела вас, — ответила она, стараясь казаться рассеянной и безразличной. Но я-то знал, что случайно в этом районе города она не может оказаться.

— А вот в кино я вас пригласить не могу, — сказал я. — Все билеты уже проданы. Если вы не будете против, то завтра я обязательно достану билеты. Соглашайтесь.

— Не знаю, что и сказать, — ответила Вероника. — Я так давно не была в кино. Но дома-то что без меня будут делать?

— А разве ваш муж не приглашает вас в кино, театр?

— Это ему и в голову не приходит.

— Вот скотина, — искренне сказал я.

— Вы действительно так думаете? — спросила Вероника.

— Да. Я так думаю.

— Тогда я принимаю ваше предложение. А что мы будем делать сегодня?

— Сегодня? На улице тепло. Можно просто побродить по Университетской роще, — сказал я. — И еще. Разрешите мне, пожалуйста, взять вас под руку.

— А вы такой же, как все, — сказала моя жена, но взять под руку разрешила.

Мы долго гуляли по узеньким тропинкам Университетской рощи. Погода, что ли, тут виновата или лунный свет и искры на снегу? Но мне с Вероникой было удивительно хорошо. Она рассказала про свою школу, где преподавала историю, про учеников и товарищей, про директора и подготовку к смотру художественной самодеятельности. Все в ее словах было интересным для меня. А говорила она увлекательно. Она была прирожденным рассказчиком.

Я слегка прижал ее локоть к себе. Она вся напряглась, вырвала руку и сказала:

— Алексей, ведите себя благоразумно.

И мне стало стыдно, словно я пытался соблазнить чужую жену. А ведь сейчас мне так хотелось обнять ее за плечи и стоять, чуть-чуть покачиваясь, уткнувшись лицом в ее платок, и ничего не говорить, молчать.

— Вероника, ради бога извините меня, — сказал я. — Со мной что-то произошло. И мне так хочется обнять вас...

Вероника холодно посмотрела на меня и сказала:

— Почему бы вам это не проделывать со своей женой?

— Почему? — задумчиво повторил я. — Если бы она этого хотела.

— Значит, только потому, что ваша жена не хочет ваших объятий, вы и пригласили меня сюда?

Я испугался. А вдруг она сейчас уйдет, и никогда не будет больше этой ночи, этих деревьев, ее тихого голоса, скрипа шагов. Ничего больше не будет.

— Вероника, — сказал я. — Мне хорошо с вами. И моя жена тут ни при чем. Не уходите. Пусть этот вечер будет счастливым.

— Моему мужу тоже никогда не приходит в голову обнять меня, — вдруг сказала она. Я чуть не сел в снег.

Она протянула мне руку, и мы побежали, как когда-то, лет десять назад, прямо по целине, проваливаясь чуть ли не по пояс, и даже упали в сугроб и долго барахтались, пытаясь выбраться. А когда, наконец, нашли аллею, то были все в снегу, как дед-мороз и снегурочка. Я отряхнул ее, но снег попал ей за воротник, и она смешно съежилась, полуоткрыв рот. Губы ее были совсем рядом, в трех сантиметрах от моего лица. И глаза у нее были закрыты, но я не осмелился поцеловать ее. Я боялся, что она рассердится и прогонит меня.

Возвращались мы, взявшись за руки, как мальчишка и девчонка. Я проводил ее до подъезда. Мы стояли еще минут пять, потом она сказала:

— Я замерзла. Уходите, Алексей.

— Завтра в шесть. Там же. Не забудьте, Вероника, — сказал я.

Она кивнула и убежала в подъезд. А я постоял еще немного, потом дошел до табачного магазина, купил там сигарет и вернулся домой. Перед дверями на лестничной клетке вытащил свой изменитель внешности, выключил его. И так мне захотелось швырнуть его куда-нибудь подальше или просто растоптать! Но почему Вероника дома со мной не такая, какой была сегодня в Университетской роще? Все из-за этого идиотского изменителя внешности. Но я не выбросил и не растоптал его. Пусть хоть ей будет хорошо...

Когда я зашел в квартиру, Вероника что-то пела на кухне, но сразу же смолкла, увидев меня. Она уже переоделась в старенький халатик и домашние туфли. И вообще она стала обычной, какой я привык ее видеть всегда. Я тоже переоделся, напялив свое вылинявшее трико, висевшее на мне мешком, и заглянул на кухню.

— Еще ничего не готово, — сказала Вероника машинально.

Я взялся за газеты. Прибежала с улицы Ленка и тоже спросила ужин. Вероника рассердилась и крикнула мне, чтобы я сыграл с дочерью в шашки. Мы сыграли три партии, причем все три я проиграл. Я никогда не мог постичь премудрости этих шашек. Потом мы сели ужинать, и жена спросила:

— Что нового на работе?

— А-а, — сморщился я. — Все по-старому. А у тебя?

— Что в школе может быть нового? — ответила она.

И я подумал: действительно, ну что там может быть нового и интересного? За ужином, как обычно, нас развлекала Леночка. У нее был неистощимый запас историй, но и ее иногда нужно было поддерживать, поддакивать, вставлять вопросы, удивленно вскидывать брови, а мне так хотелось плюхнуться в кресло перед телевизором.

После ужина жена сказала:

— Я завтра после работы задержусь часов до девяти. Ты бы помог на кухне. А то завтра некогда будет...

— Да? — удивленно сказал я, и на мгновение сладко сжалось сердце: неужели и завтра возле кинотеатра она будет такой же чудесной, удивительной женщиной, как сегодня в Университетской роще. — А мне что же, дома прикажете сидеть?

Я заметил, что она вдруг испугалась, а потом сказала сухо и неприязненно:

— Можешь раз и посидеть.

— Не могу, завтра много работы.

— Так ты поможешь мне?

Еще бы я не помог! Да я бы все сделал, чтобы увидеть ее завтра у кинотеатра. Вероника распределила обязанности, и мы быстро управились с делами.

И снова на следующий день я ждал ее возле кинотеатра. Она пришла в хорошем настроении. У меня чуть ноги не подкосились, когда я увидел ее. Да и сам я, я это чувствовал, стал не таким сутулым и серым, как дома. Я тоже хотел быть красивым, хотел нравиться ей.

Я даже не запомнил, какой кинофильм показывали в тот вечер. Мы сидели в темном зрительном зале. Кто-то украдкой щелкал орехи, кто-то хрустел оберткой шоколада, некоторые вслух комментировали события, происходящие на экране, кто-то сдержанно храпел, а перед нами сидела парочка и целовалась в открытую. А я думал только о том, как бы мне насмелиться и взять ее ладонь в свою.

Я осторожно протянул руку и нашел ее пальцы. Я чуть-чуть, едва заметно погладил их. Вероника вздрогнула. Тогда я взял ее руку в свою, и она позволила мне это. Потом она повернула ладонь вверх и сжала мои пальцы.

Как я любил ее сейчас! Почему ее рука, которую я видел тысячи раз, сейчас привела меня в трепет? И ее едва заметный в темноте профиль, такой знакомый и такой необычный сейчас... Она вдруг погладила мою руку и прижалась к плечу. А я был счастлив. События, происходящие на экране, потеряли для меня всякий интерес. Я сидел и смотрел на ее лицо. Я любил ее.

Из кинотеатра мы вышли оба притихшие. Надо было что-то сказать. А что? Вам понравился кинофильм? Нет. Таких вопросов я задавать был не намерен. Я просто обнял ее за плечи. Она попыталась вырваться, но только один раз. И когда я еще крепче прижал ее к себе, она повернула ко мне лицо и сказала как-то тихо, нерешительно, словно оправдываясь:

— Глупая я...

— Нет, — сказал я. — Ты чудесная. И если твой муж тебя не любит, то он просто дурак.

— Алеша, не будем говорить об этом. Скажи лучше мне что-нибудь хорошее.

— Вероника, моя милая. Все слова глупые. Разве скажешь, что творится у меня на душе. Как сказать, чтобы ты поверила? Ведь я люблю тебя.

— Я знаю, Алеша. Но все равно говори. Говори.

— Странность какая-то происходит. Ведь я вижу тебя всего третий раз, а уже не утерпел и объяснился в любви. Все в тебе какое-то необыкновенное. И слова, и лицо, и глаза, и ресницы, и мысли. Иногда мне кажется, что я знаю тебя много-много лет. А потом опомнюсь — да нет же, всего три дня как знакомы. Ну кто знает, как приходит любовь? У меня и жена, и дочь. А вот я хожу с тобой. И хотелось бы мне быть рядом с тобой всю жизнь. И каждый день мне было бы интересно с тобой. Ну скажи, ты хочешь, чтобы я любил тебя?

— Хочу, — сказала Вероника. — Мне кажется, я всю жизнь ждала этих дней. Ну зачем жить, когда тебя никто не любит?.. Мне будто только что двадцать лет исполнилось... А вдруг все это сегодня и кончится? Я уже привыкла ко всему. И к тому, что меня муж не любит, и к работе, и к домашним делам. Это не тяготит, но и радости не приносит. А сейчас все взорвалось. Я приду домой и буду плакать. Ты такой ласковый и добрый. И я чувствую, что ты любишь меня. Неужели это пройдет? Мне так хорошо с тобой, что лучше бы я тебя не встречала. Нелогично, правда?

— Правда. Только ну ее к черту, эту логику. С тобой хоть на край света.

— Мне когда-то это же говорил мой муж. Десять лет с тех пор прошло. И край этот оказался так близко, что ему и одного шага не надо делать. Не надо идти.

Я повернул ее к себе. Ну конечно! Она плакала.

— Не плачь, Вероника. Это потому, что тебя муж не любит?

— Я тебя люблю, Алеша. Не надо мне ни мужа, ни кого другого. Я тебя люблю. Не отпускай меня... И мне тоже кажется, что я знаю тебя давным-давно... Ну, поцелуй же меня!

Мы стояли посреди тротуара и целовались. Мне было тридцать четыре года, а ей — тридцать два. Шел мягкий снег. И фонари на столбах огромными конусами света выхватывали этот снегопад из темноты. А мимо шли взрослые люди и всякие юнцы, молоденькие девушки и думали, наверное, про нас черт знает что.

— Отпусти, — сказала Вероника. — Ой, не могу... Я вся задохнулась.

— Я понесу тебя на руках, — сказал я.

— Не дури.

Но я все-таки поднял ее на руки, прошел два шага, поскользнулся и упал. Вероника засмеялась, она не сердилась на меня.

— Эх, Алеша. Лет десять назад нужно было носить на руках.

— Ай-яй-яй! — сказал какой-то прохожий. Это потому, что мы все сидели на снегу.

— Извините, — рассмеялся я. — Сейчас поднимемся.

Мы поднялись и пошли дальше. И через каждые десять шагов я останавливался и целовал ее в губы, в щеки, в замерзший нос и ресницы. Она не противилась. Она хотела этого.

Так мы дошли до нашего подъезда.

— Алеша, уходи, — сказала моя жена. — Мне все-таки нужно домой. Муж придет, сразу есть захочет. Да и Леночка одна... Уходи.

— Нет, я не отпущу тебя. Мне плохо без тебя. Я же умру без тебя.

— Ну хорошо. Еще пять минут.

Мы простояли полчаса. И мне никогда не было так хорошо. Может быть, только тогда, когда я поцеловал ее в первый раз. Мы познакомились Первого мая. А через неделю я поцеловал ее. И она не отшлепала меня по щекам, не прогнала, не сделала вид, что я обидел ее. Она сказала: «Еще. Хочу еще». И тогда мы простояли до утра, и слов было сказано мало, только самые нужные. Да и некогда было говорить. Потом мы поженились. И вот прошло уже столько лет...

— Ты замерз? — спросила Вероника.

— Нет, нет. Я нисколько не замерз.

— Пошли в подъезд. Здесь столько прохожих.

В подъезде было темно, какая-то парочка метнулась вверх. Здесь было тепло, но все равно я распахнул пальто, расстегнул ее шубу и прижал Веронику к себе. Она то принималась плакать, и тогда я целовал ее мокрые глаза, и она успокаивалась, то вдруг начинала гладить своими теплыми ладонями мое лицо, и я боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть ее нервные пальцы.

Потом она резко вырвалась и сказала:

— Все. Уходи.

— Где я завтра увижу тебя?

— Алеша, ты действительно еще хочешь видеть меня? Я тебе не надоела?

— Что ты говоришь?! — замахал я на нее руками. — Как только в голову-то тебе это пришло?

— Давай встретимся в Лагерном саду, — сказала моя жена. — Завтра суббота. Леночка уйдет во вторую смену в школу. Давай в двенадцать.

— Спасибо, милая.

— Ну, а теперь иди. Тебя, наверно, дома ждут. Иди, иди...

Она убежала, и я снова вышел на улицу и направился к табачному магазину. Но на этот раз он был уже закрыт.

Прохожие удивленно смотрели на меня. А мне и самому сейчас казалось, что я похож на ходячий эталон счастья.

Я выключил изменитель внешности и открыл дверь квартиры. Тишина. Леночка уже спала. Я включил свет. Из кухни вышла Вероника. В стареньком халатике, какая-то маленькая, с заплаканными глазами.

— Ты где это бродишь до полуночи? — спросила она меня.

Вот она какая спокойная. А ведь только что целовала меня в подъезде. Нет. Любить мужа, очевидно, нет смысла. Меня как обухом по голове стукнули. Ведь она и целовала, и любила не меня, а того, другого Алешку. На меня она и взглянуть ласково не хочет. Я почувствовал, как снова ссутулилась моя спина, и я стал серым-серым, скучным-прескучным.

Я нехотя сказал:

— На работе задержался. Испытания заели...

— Испытания заели! — вдруг крикнула жена. — А на лице у тебя тоже испытания?!

— Что, что у меня на лице? — испугался я.

— Посмотрись в зеркало!

Я так и сделал. Все лицо у меня было покрыто следами губной помады. Да-а... Исцеловали меня крепко.

— Господи, ну что же делать? — Вероника чуть не плакала. — Ну зачем ты говоришь, что был на работе? У тебя ведь женщина есть! Зачем ты так?

Все ясно. Все эти три дня она, конечно, не узнавала меня, теперь мне не оправдаться.

И я взорвался:

— Послушай, дорогая. Ведь это же твоя помада! Ты не узнала меня, потому что я купил изменитель внешности. Ты меня не любишь. Это я, я тебя люблю! Три дня счастья — это, наверное, очень много для меня.

— Какой еще изменитель внешности? — удивленно спросила она.

— Вот такой. — Я достал из кармана пластмассовую коробочку. — Вот я перед тобой обычный, давно надоевший, скучный, некрасивый. А вот я нажимаю кнопку и становлюсь красавцем, которого ты сегодня и целовала в подъезде. Теперь поняла?

— Поняла, — засмеялась она. — Ты посмотрись в зеркало.

— Нечего мне смотреться. Все и так известно.

Но она все-таки настояла, и я взглянул в зеркало. На меня смотрело все то же лицо, мое собственное. Изменитель внешности был неисправен.

— И ты все время знала, что я — это я?

— Конечно, знала. Удивилась только сначала, что это с тобой произошло... Алешка, так, значит, счастье еще будет?

— Будет, Вероника. Есть уже.

— Ага! Значит, сначала вы ходите весь вечер где-то, а потом целуетесь! — это Ленка появилась в дверях спальной комнаты. Она была в ночной рубашке и босиком.

— Лена, марш спать! — скомандовал я.

— Ага! Я спать, а вы тут целоваться будете!

— Ну ладно, — сдался я. — Давайте пить чай. А потом устроим танцы.

Мы занялись приготовлением чая. И всем было хорошо и весело, я уверен в этом.

— Кого это мы спугнули в подъезде? — спросил я у Вероники.

— Они целовались? — строго спросила Леночка.

— Кажется, да, — замялся я.

— Тогда это были Медведевы.

— Медведевы? — удивилась Вероника. Да и я не поверил:

— Им же ведь уже по сорок лет!

— Ну и что же, — сказала Леночка. — Если они любят друг друга.

Мы с Вероникой понимающе переглянулись. В это время вскипел чай, и мы начали рассаживаться у стола.

А на другой день я вскрыл злополучный изменитель внешности. Этого можно было и не делать, достаточно было взглянуть на паспорт приборчика. Он был выпущен тридцатого ноября. А уж я-то знал, что выпускают некоторые заводы тридцатого ноября.

Потом Леночка ушла в школу, а мы с Вероникой отправились в Лагерный сад. Мы очень спешили на свидание друг с другом.

ЖЕМЧУЖИНА

— Теперь открой глаза, — тихо сказал Он Ей на ухо.

Она широко открыла и без того огромные черные глаза и сразу же задохнулась от радостного удивления.

Прямо над Ее головой сияла спиральная галактика с десятком изящно изогнутых рукавов. Она перевернулась через голову на сто восемьдесят градусов, и спираль оказалась под ногами. Но зато теперь перед глазами мириадами звезд искрились два шаровых скопления. Она повернулась еще чуть-чуть, и перед Ней возник сплюснутый диск четвертой галактики. Еще правее. Вот оно что! Они находились на окраине пятой галактики. Огромный, вполнеба, Млечный путь!

Затаив дыхание, зачарованно смотрела Она на этот блистающий, искрящийся, живущий какой-то своей странной жизнью мир. И Он иногда бросал по сторонам любопытный взгляд, но все Его внимание было поглощено Ее лицом.

А потом пришло нечто вроде легкого опьянения. Они подняли руки над головой, и мир подчинился Их желанию. Они играли галактиками, закручивая в пространстве замысловатые кривые. Они могли менять их местами, заставлять кружиться в стремительном хороводе. Они зажигали сверхновые, сталкивали друг с другом целые миры, высекая из них фонтаны негаснущих искр, и даже одним махом стирали всю картину мироздания, закрывая на секунду глаза.

Так прошел час. Он осторожно тронул Ее за плечо и сказал:

— Мы еще не выбрали. Летим?

— Летим, — ответила Она, и Они понеслись в гущу звезд, которые осторожно расступались при Их приближении.

Она была слабее Его и отстала. Он почти тотчас же почувствовал Ее отсутствие, остановился и окликнул, но не получил ответа. Она слышала Его. Ей просто пришло в голову, что Она одна в космическом пространстве и (а это так и было) не знает дороги к Солнцу и Земле. Сладкий ужас приключения сжал Ее сердце, но Его голос был уже настолько тревожен, что Она не смогла продолжать игры и, внезапно появившись из черной пустоты, обвила Его грудь маленькими крепкими руками. Он нахмурил брови и сказал что-то серьезное и нравo-

учительное. Она рассмеялась. Тогда Он сжал Ее руку в своей и уже больше не выпускал.

Пролетая мимо звезды Бетельгейзе, Они немного задержались.

— Как тебе нравится вот эта? — спросил Он.

— Нет, — сказала Она. — Издали хороша, а вблизи какая-то рыхлая. Да и слишком большая.

— Пожалуй, — согласился Он, и Они понеслись дальше.

Алголь отпугнул Ее своим красноватым цветом. Денеб Она просто пожалела. Жаль было лишать глаза прекрасную птицу. Мицар нужно было брать вместе с Алькором, а зачем Им две? Им нужно только одну звезду. Сириус остался на своем месте, потому что в южных широтах стояла ясная погода и отсутствие самой яркой звезды земного неба было бы тотчас обнаружено. Зачем тревожить людей? Завороженная красотой, Она остановилась возле Веги и уже хотела сказать «Вот эту!», но Он потянул Ее за руку, проговорив:

— Я знаю, что тебе нужно. Летим!

И Они снова понеслись прочь от Солнца, рассекая холод пустоты, пронизанной мириадами светящихся лучиков.

— Хочешь Жемчужину из Короны? — спросил Он.

— Правда? — обрадовалась она. — Хочу!

Они остановились в одном парсеке от звезды, излучавшей приятное тепло, и Он заметил на лице своей подруги восторг и изумление. Это были отблески несущейся Им навстречу звезды.

— Это действительно Жемчужина, — тихо сказала Она. — Я поняла. Это Гемма.

— Да, Гемма, — ответил Он.

— Возьмем ее с собой!

Они были совсем рядом с Жемчужиной Северной Короны. Ее глаза расширились от страха перед такой массой раскаленной материи. А Он подлетел вплотную, и теперь казалось, что Он держит звезду на вытянутых вверх руках.

— Обожжешься! — крикнула Она. — Надо было взять хотя бы перчатки!

— Ерунда, — смеясь сказал Он и сдвинул Гемму с ее вечной орбиты.

— Но она все равно большая для нашей комнаты!

— В нашей комнате поместится вся галактика, — пошутил Он и стал слегка обминать звезду с боков до тех пор, пока она не превратилась в небольшой шар.

— Без нее здесь плохо, — сказала Она с грустью.

— Мы вернем ее завтра утром. Ведь это только на одну ночь.

— Да, только на одну ночь, — печально согласилась Она.

На левой вытянутой руке Он держал пылающую Жемчужину, а правой крепко сжимал Ее руку.

Обратный путь до Земли Они проделали за пятнадцать минут. Над Сибирью стояли сорокаградусные морозы, и туман покрывал тысячи километров пространства...

Они вынырнули из тумана прямо перед своим подъездом и, не успев затормозить, сбили с ног человека в унтах, полушубке и пыжиковой шапке. Человек упал, и бутылки «Столичной» и шампанского, позванивая, покатились по утоптанному снегу.

— Новый год еще не начался, а они уже пьяные разгуливают, — проворчал человек в полушубке и бросился собирать бутылки. К счастью, ни одна не разбилась. Он даже не взглянул на сияющую Жемчужину, хотя машинально отметил, что перед подъездом небывало светло.

Они вбежали на свой этаж — лифт не работал по случаю праздника — и открыли ключом дверь квартиры. Он осторожно положил звезду на стиральную машину, стоявшую в коридоре, и начал оттирать побелевшие от мороза щеки своей жены. Она замотала головой, засмеялась и убежала в ванную принимать душ, пока не пришли гости.

Потом Они долго выбирали, на какую ветку положить Жемчужину, и расположили ее почти на самом верху, но так, чтобы ее можно было достать рукой. В Их малогабаритной квартирке можно было достать рукой и до потолка. Во всяком случае, Ему.

Они быстро накрыли на стол, а без пятнадцати двенадцать пришли гости: молодой, подающий надежды астроном с женой; сосед-пенсионер, бывший пожарный, и физик-теоретик с женой — тоже физиком-теоретиком. Минут десять все топтались в коридорчике, помогая друг другу раздеваться, доставая подарки, целуясь и обнимаясь. Потом пожарный сказал:

— А ведь пять минут осталось... — и крякнул.

Все всполошились, женщины забеспокоились за свои не приведенные в порядок прически, но времени было в обрез, и все поторопились занять места за столом.

Он принес из холодильника пару бутылок шампанского, молодой астроном проделал с ними все необходимые манипуляции, да так ловко, что, когда по радио раздался голос дикто-

ра, извещавшего о наступлении Нового года, бокалы у всех были уже наполнены и с протяжным певучим звоном сдвинуты над столом.

А через час, выпив и за старый и за Новый год, за успехи, за хозяев дома, все захотели потанцевать. Она пила мало и все время оглядывалась на медленно вращающуюся, светящуюся Жемчужину, а Он тихо улыбался при этом.

— Хочу «Вальс гаснущих свечей», — баритоном сказала жена астронома. — Люблю танцевать в темноте.

— Даешь вальс в темноте! — закричали остальные.

Старичок сосед, зная наверняка, что ему не придется участвовать в танцах, тем более в вальсе, тем более в темноте, налил полстопочки водки, выпил и, воспользовавшись шумом, положил себе кусочек фаршированных артишоков. Все хвалят, все едят. Любопытно попробовать. Он попробовал, покачал головой, как бы говоря: «Эх, молодежь...», и с хрустом раскусил соленный огурчик.

«Вальса свечей» в фонотеке физика-теоретика, принесшего с собой магнитофон «Астра», не оказалось. И вообще у него вальсов не было. Бывший пожарный покряхтел немного, сходил к себе в квартиру и принес старую-престарую пластинку «Амурские волны». Включили радиолу и выключили свет.

А в комнате по-прежнему было светло.

— Выключите елочные гирлянды! — догадался кто-то.

Выключили и гирлянды. В квартире все так же светло.

— Люминесцентная игрушка, — констатировал физик-теоретик. — Интенсивность свечения поразительная. Где купили?

— Это Жемчужина из Северной Короны, — сказала Она.

— Да, — подтвердил Он. — Это Гемма.

— Люди все достают, — недовольно сказала женщина-физик своему мужу. — А ты не мог купить приличных игрушек... Когда купили?

— Это мы взяли на одну ночь, — сказала Она. — Такое чудо разве можно купить...

— Да, — согласился физик. — Сейчас приличную вещь разве купишь...

— Это не вещь. Это звезда. Звезда под названием Гемма из Северной Короны. Это созвездие еще иногда называют Северный Венец.

— Что касается параметров Геммы... — начал молодой астроном, но его перебили.

— Невозможная вещь, — отрезал физик-теоретик. — Звезд на Земле не может быть.

— Ого! Да эта игрушка горячая! — воскликнул астроном, дотронувшись до звезды и дуя себе на пальцы.

— Одиннадцать тысяч градусов на поверхности, — сказал Он.

«А где же ящик с песком?» — лихорадочно подумал бывший пожарный и налил себе еще полстопочки, но не выпил.

— Да тут не одиннадцать, а все пятьдесят градусов будет.

— Одиннадцать тысяч градусов, а не одиннадцать, — поправил Он.

— Разыгрываешь, — обиделся астроном.

— Не верите? — спросил Он и взял чью-то вилку. — Смотрите. — Он дотронулся вилкой до сияющего шарика, и вилка начала исчезать. — Все, она при такой температуре просто испарилась.

Физик-теоретик отошел от елки, взял со стола салфетку и начал что-то писать, хмурясь и дергая шеей.

Бывший пожарный встал, оперся руками о стол и угрожающе произнес:

— Может возгореться!

— Да нет же, что вы! — возразила Она. — От нее ничего не может загореться здесь.

Сосед недовольно покачал головой и вышел в коридор.

— Вот вам! — вставая из-за стола, сказал физик-теоретик. — Вот формула, вот результат. При исчезновении вилки, при ее практически мгновенном испарении должен произойти взрыв. Где он? Я его не слышал.

— Что значит вилка по отношению к звезде? — сказал Он. — Ты ошибся в массе звезды на двадцать один порядок. Посчитай.

— Я взял массу этого шарика, — защищался физик-теоретик. — Ну сколько там? Пусть килограмм.

— Почему килограмм? Ведь это же масса звезды!

— Брось, брось, — не поверил физик и хотел поднять Гемму. Это ему не удалось. Астроном ввязался помогать ему, но у них и у двоих ничего не вышло. — Да, тяжеловатая штучка. Килограммов сто пятьдесят.

— А почему в таком случае елка выдерживает этот груз? — неожиданно спросила женщина-физик.

— Действительно, почему? — удивленно посмотрели друг на друга физик и астроном.

— Разве мы за этим принесли ее в нашу комнату? — спросила Она у Него. — Ведь мы хотели, чтобы было красиво, чудесно, необычно. А тут такие разговоры...

— Фокус какой-то и все, — сказал астроном.

— Давайте танцевать! — предложил Он. — Никто в мире еще не танцевал в комнате при свете звезды.

— А я хочу в темноте, — заупрямилась жена астронома.

В это время в комнату вошел сосед с ведром воды, сделал всем успокаивающий жест и поставил ведро возле елки, сказав назидательно:

— Предупредить пожар всегда легче, чем потушить. Прошу учесть.

Все снова сели за стол, и через пять минут про Гемму забыли. Все, кроме Нее и Его. Она все так же украдкой поворачивалась, чтобы краем глаза взглянуть на звезду. Бывший пожарный налил полстопки и поставил перед Ней.

— Что вы? Я не пью это, — сказала Она.

— И не пей, — наставительно ответил сосед. — Не обязательно ее пить. Ты садись на мое место, а я на твое. Это я себе налил. А то шею скрутишь. Красивая штука! Аж за сердце схватывает.

Они выпили за счастье, за исполнение желаний, танцевали. И даже бывший пожарный с удивлением обнаружил, что может отплясывать твист не хуже молодых. Поставили и вальс «Амурские волны». По очереди кто-нибудь из гостей трезвел или пьянел, так что шумная компания не распадалась. Было весело и легко. Никто не вспоминал о злополучной Гемме, которая чуть было не расстроила весь праздничный вечер.

Расходились часов в шесть утра. Он пошел провожать гостей, а Она с ногами устроилась в мягком кресле и смотрела на медленно вращающийся шар. Тени странных мыслей и улыбок проносились по Ее лицу, придавая ему загадочное выражение. Она встала и без всякого усилия положила Гемму себе на ладонь и не обожглась. Иногда с поверхности звезды срывались гигантские, в сотни миллионов километров, протуберанцы и слегка касались Ее лица, отражаясь в зрачках белыми молниями. Поток всепроникающих нейтрино вырвался из недр звезды и покорно угас, коснувшись Ее грустной и одновременно радостной улыбки.

Когда пришел Он, Она прижала к груди Жемчужину и спросила:

— Уже все?

— Да, — ответил Он. — Пора.

— Я понесу ее сама.

— Хорошо.

Они вышли на улицу и рванулись в быстро редеющий туман.

Физик-теоретик по приходе домой сразу же уснул, крепко обняв свою жену, тоже физика-теоретика. А проснувшись и вспомнив Гемму, подумал: «Что не привидится с пьяных глаз!»

Астроном на следующий день проверил снимки звездного неба, сделанные с искусственного спутника Земли. Геммы в созвездии Северной Короны в эту ночь не было. Астроном радостно хихикнул и решил писать диссертацию об однократных изменениях яркости некоторых звезд. Материал для диссертации уже был.

...Они неслись среди звезд и наконец отыскали место, с которого взяли Гемму. Они выпустили из рук звезду, и та, стремительно расширившись, вновь приобрела свой первоначальный вид. Он прикинул в уме скорость Геммы и, приподняв, переместил ее на шесть миллиардов километров. Теперь все было в порядке...

Не успели Они лечь спать, как в квартиру постучал бывший пожарный:

— Вы эту штуковину уже на место определили? — спросил он. — Внучке хотел показать. Шуточное ли дело — звезда! Не каждому дано видеть ее равно как на ладони. — И он растопырил свою угловатую пятерню.

— Определили, дедушка, — сказал Он. — Звезды должны видеть все.

— Ну, стало быть, ладно. При случае, если что... вы... уж это... внучке показать...

— Непременно покажем, — пообещал Он, и сосед поверил.

По профессии Он был простым физиком-теоретиком, даже не кандидатом наук. Она преподавала в школе историю древнейшего мира. Они оба были чудаками и умели делать чудеса. Только Им редко верили...

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ

Девочка проснулась, но лежала не шевелясь и не открывая глаз. Ее разбудила тишина, которая была только во сне. Потом девочка осторожно открыла глаза и увидела перед собой лицо мамы.

Утро еще не наступило, только чуть посветлел восток. Едва заметный ветерок слегка шевелил мамины волосы, распущенные по плечам.

— Что с тобой, доченька?

Девочка протянула вверх ладони и обняла маму за шею.

— Хорошо дома...

— Хорошо. Ты спи. Еще рано.

— Я не хочу спать. Там тишина, а потом пусто, и я просыпаюсь.

— Хочешь, я посижу с тобой?

— Посиди и спой мне песенку. Помнишь, которую ты мне пела, когда папа ремонтировал отражатели, и у него заело трос, и он никак не мог попасть к нам. Про самый большой дом.

— Я спою тебе другую. Про лес и солнце.

— А ту ты уже не помнишь?

Мама чуть покачала головой и погладила девочку по черным, рассыпавшимся по подушке волосам. Она не забыла эту песенку — она не знала ее. Она не знала почти ничего, что касалось ее дочери. Да и кто это знал? Мама чувствовала себя виноватой перед девочкой.

— Закрой глаза, хорошая моя. Я буду тихо-тихо петь. А ты ни о чем не думай. Просто слушай.

И мама запела. У нее был низкий и ласковый голос, наверное, она любила эту песню. Девочка заложила руки за голову и, не мигая, смотрела маме в глаза. Так они и смотрели друг на друга. Одна из них пела, а другая слушала и молчала. А потом мама вдруг поняла, что девочка не видит ее, что она смотрит сквозь нее, что в мыслях она не на этой увитой цветами веранде, а где-то далеко-далеко.

...Едва заметно привычное тиканье. Оно настолько привычно, что без него стало бы странно. Без него — абсолютная тишина. Это ласково тикает индикатор нормальной работы всех жизнеобеспечивающих систем корабля. Девочка сидит в

глубоком кресле рядом с креслом отца и играет самодельной куклой. Куклу сделала ей мама из обрезков своих старых платьев, которые не пошли на одежду самой девочки.

Отец хмуро вглядывается в индикаторы приборов, снова и снова вводит в математическую машину колонки цифр, изменяет программу и, дождавшись ответа, составляет новую. Обзорный экран открыт только на одну треть, и в него видны тусклые точки звезд. Туда, к одной из них, мчится корабль.

— Там наш дом, — внезапно говорит девочка и показывает рукой в самый центр экрана.

— Да, маленькая моя. Там наш дом.

Девочка привыкла показывать в центр экрана. Так ее научили отец и мать. Так и было раньше. Но сейчас ее палец указывал на какую-то другую звезду, которая теперь была в центре экрана. Отец ничего не говорил ей о том, что корабль сбился с курса. Ей этого еще не нужно было знать. Да она бы ничего и не поняла.

— Эльфа, тебе не скучно сидеть здесь?

— Нет, па... Я учусь быть капитаном большого-пребольшого корабля.

«Нет, доченька, я постараюсь, чтобы ты никогда не улетала с Земли», — думает отец.

А мама спит. Четыре часа сна. Потом четыре часа они все будут вместе. Потом заснет на четыре часа папа. И Эльфа вместе с ним. И тогда мама будет решать головоломку: как повернуть корабль к Земле.

Дверь открылась, и на пороге появилась мама. Ох, как красиво она была одета! Она все время меняла платья, комбинировала что-то, перешивала. И прическа у нее была красивая. Волосы рассыпались по плечам, и узенький золотой ободок пересекает лоб. Мама сейчас похожа на добрую волшебницу из сказки. Девочка так и говорит:

— Ты сейчас волшебница?

— Она у нас волшебница, — радостно подхватывает папа. — Правда ведь?

— Правда, правда!

— А если правда, — говорит мама, — то закройте глаза.

Капитан и его дочь закрывают глаза, и у них в руках оказывается по яблоку...

Мама, наверное, любит петь. Уже почти совсем рассвело, а она все гладит девочку по головке и поет. Поет про смешных

зверюшек и ручеек, голубой-голубой, чистый-чистый. Девочка вдруг приподнимается на локте:

— Мама, ты говорила, что у нашего дома будет голубой потолок... и черный.

Мама чуть было не сказала: «Разве я так говорила?», но вовремя спохватилась.

— Хорошо, доченька. У нас будет голубой потолок. А ночью, когда темно, он будет черным.

— Со светлячками?

— Со светлячками? Ну конечно со светлячками.

— И по голубому будут плыть белые кудри?

— Да, — согласилась мама и подумала, что это можно будет сделать.

— И иногда потолок будет разрываться пополам?

— Все будет, как ты захочешь.

— А у нас правда самый большой дом?

— Ну, не совсем. Есть и больше. А тебе хочется жить в самом большом доме?

— Ты говорила, что я буду жить в самом большом доме.

— Людям лучше жить в маленьких домах. Таких, как наш. Чтобы кругом был лес, трава, и речка, и обрыв над речкой. А в лесу...

— Да, так лучше. Только ты говорила...

— Спи. Еще только светает, и очень рано. А утром мы пойдем с тобой на ферму. Ты ведь видела, как доят коров?

— Да... Но я пойду.

Девочка села на кровати. Ночная рубашка спустилась с ее худенького плеча, но она не заметила, не поправила ее.

— Я пойду. Я хочу идти. Ты отпустишь меня, мама?

— Я отпущу тебя, только сначала мы попьем молока... Значит, тебе не понравилось у мамы?

— Мне очень понравилось у тебя. Но я хочу идти. Я хочу посмотреть на другие дома. Ты ведь не обиделась, мама?

— Нет, нет. Но мне очень не хочется отпускать тебя.

Девочка оделась. Они вдвоем выпили молока, и Эльфа, осторожно ступая по чуть влажному от росы песку, дошла до садовой калитки и помахала рукой.

— Я пошла!

Девочка ушла, и тогда женщина повернула небольшой диск на браслете. Диск вспыхнул и матово засветился.

— Главного Воспитателя, — сказала женщина. На экране тотчас же возникло лицо мужчины.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Она... она ушла, — сказала женщина.

А девочка шла по проселочной дороге, иногда поднимая голову и смотря на звезды, угасающие в утреннем небе.

...Капитан последнее время появлялся в рубке корабля редко. Эльфа вообще стала видеть его редко. И когда он все же появлялся, весь замасленный и испачканный металлической пылью, она тотчас же взбиралась ему на колени, не давая даже умыться. Он играл с ней, потом осторожно снимал с колен, наскоро мыл руки и исчезал. Теперь Эльфа почти все время проводила с мамой.

Потом начались странные события. Сначала отец вынес ее диван в маленькую библиотеку, а мама сказала, что Эльфа будет спать здесь. Девочка только на миг представила себе, как ее окружает темнота, и залилась слезами. Отец впервые строго посмотрел на нее, она удивилась этому и успокоилась. Ей казалось, что первую ночь она не спала. Но приборы, датчики которых папа предварительно вмонтировал в диван, показали, что она плакала лишь пятнадцать минут, а потом уснула.

А однажды отец и мама посадили ее в кресло за небольшим круглым столом в зале отдыха и сказали, что она уже почти взрослая (ей и вправду было уже шесть лет). И, чтобы проверить, насколько же она взрослая, они решили запереть ее в библиотеке на неделю. Неделю она не должна видеть их. Мама пыталась было что-то сказать про три или четыре дня, но папа был тверд: неделю.

— Это очень нужно? — спросила Эльфа.

— Очень, — сказал папа.

— Я хочу, чтобы ты увидела наш дом, — сказала мама.

— Куклы вы у меня не отберете?

— Нет, — сказал папа. — Ты можешь взять с собой все, что захочешь. Мы просто решили проверить твою храбрость.

На следующий день ее заперли в библиотеке. Сначала ей нисколько не было страшно. Было даже интересно. Потом стало немного скучно. А к вечеру она расплакалась, но к ней никто не пришел. Отец в это время что-то сверлил в небольшой мастерской, расположенной в подсобных помещениях корабля. А мама сидела за вычислительной машиной. Рядом с пультом был установлен телевизор, на экране которого плакала девочка. И чем дольше она плакала, тем больше морщинок появлялось на мамином лице, но она продолжала

делать вычисления. Иногда ее вызывал по телефону капитан и спрашивал:

— Ну как вы там? Держитесь?

— Держимся, — бодро отвечала она.

Через неделю Эльфа вышла из библиотеки. Отец носил ее на руках, а мама все время говорила:

— Теперь все будет хорошо. Я верю, что все будет хорошо.

После недельного затворничества Эльфа будто и вправду повзрослела. Мама учила ее мыть посуду, готовить пока еще нехитрые обеды, стирать в специальном составе платьица. Она учила ее читать, писать и считать.

А однажды Эльфа с отцом вышла из корабля. В скафандрах, конечно. Они долго носились в пустоте, то удаляясь от корабля, то вновь приближаясь к нему.

— Ты не боишься остаться здесь одна? — спросил ее отец.

— Нет, — храбро ответила девочка.

В десять часов утра Эльфа была у стоянки глайдеров. Она прошла несколько километров и немного устала, хотя ей и нравилось идти по полям и лесочкам, разговаривать со встречными людьми и спрашивать их, не знают ли они, где находится самый большой дом — ее дом. Если ей отвечали, что знают, где такой дом, она начинала расспрашивать о нем. Нет, это были другие дома, не такие, о каком рассказывала мама. Но она не отчаивалась, потому что кругом было весело, желтое-прежелтое ослепительное солнце сияло в голубом небе, а кругом были цветы, незнакомые, красивые, названия которых она еще не знала.

И всегда, стоило ей захотеть, рядом оказывались мама или папа.

На стоянке было только два глайдера. В один грузили какие-то большие ящики, второй был уже готов взлететь. Эльфа смело подошла ко второму и знаками попросила пилота открыть дверцу.

— Эльфа! — удивился тот. — Ты откуда здесь взялась?

— Пап, я хочу с тобой полететь.

— Полететь? Это можно. Но ведь я оказался здесь случайно и больше сюда не вернусь. Придется тебя потом с кем-нибудь отправить.

— Я останусь с тобой, папа.

— Со мной? Ты это твердо решила?

— Нет еще, но у тебя красивая машина.

— Ну хорошо. Садись.

Он осторожно втащил Эльфу в кабину, захлопнул дверцу. Глайдер взвился вверх.

Пилот показал рукой вправо и вниз и, когда девочка прильнула к стеклу, рассматривая с восторгом то, на что ей указали, осторожно повернул диск на браслете левой руки. Диск заблестел, заискрился.

— Главного Воспитателя, — сказал пилот.

На матовом маленьком экране появилось лицо человека. Он вопросительно поднял брови.

— Она у меня в кабине, — сказал пилот. — Глайдер типа «Божья коровка» № 19-19. Лечу в таежный поселок на Алдане.

Человек на экране улыбнулся:

— Ну что ж. Придется тебе везти ее туда. Мы предупредим людей поселка. Как она тебя называет?

— Папой.

— Спрашивала про самый большой дом?

— Нет еще... А его так и не разыскали?

— Нет, — покачал головой Главный Воспитатель. — Ведь она не знает, где он был. Да и был ли он вообще? Скорее всего, это какая-то детская гипербола. Жаль, что это становится ее навязчивой идеей... Но пусть пока попутешествует. Благодарю за сообщение.

Эльфа с удивлением смотрела вниз на зеленые пятна лесов, слегка пожелтевшие поля, синие прожилки рек и крапинки озер.

— Это ковер? — спросила она.

— Где? А... Вот это? Да. Очень похоже на ковер. Тебе нравится?

— Мне нравится. Это очень похоже на мой дом.

В таежном поселке глайдер сразу же обступили геологи. Они уже знали о прибытии Эльфы.

— Здравствуй, мама, — сказала Эльфа невысокой женщине, одетой в голубой комбинезон. У женщины были черные жгучие глаза, загорелое лицо и короткие черные волосы.

— Здравствуй, доченька...

...Мама тогда тоже была в голубом комбинезоне, в котором она всегда появлялась, прежде чем надеть скафандр. И отец был в голубом. Последние дни они оба были часто с ней. Отец играл с Эльфой, часто сажал ее в маленькую одномест-

ную ракету, рассказывал, зачем здесь разные рычажки, кнопки, разноцветные глазки. Она уже разбиралась во всем этом, вернее, просто помнила своим детским, еще не отягощенным грузом знаний, умом. Во всяком случае, она могла водить ракету. Несколько раз она стартовала с корабля, удаляясь от него на десятки километров, и там делала развороты, меняла ускорение, тормозила и снова возвращалась на корабль. Управление ракетой, конечно, дублировалось с корабля.

Отец был необычайно ласков с нею. И мама... Она будто все время сдерживала слезы. Словно ждала чего-то. Ждала и боялась.

И вот однажды отец сказал:

— Сегодня.

Они снова усадили ее в кресло в библиотеке. А сами сели напротив, совсем рядом, чтобы можно было держать ее руки в своих.

— Эльфа, — сказал отец. — Ты уже взрослая девочка. Помнишь, мама рассказывала тебе о самом большом доме?

— Она мне про него пела.

— И пела про него. Это твой дом. Ты должна жить в нем. И ты туда полетишь в маленькой ракете, в которой ты уже столько раз летала.

Девочка радостно захлопала в ладоши. Она так хотела увидеть этот дом.

— Ты будешь лететь одна. И ты будешь лететь долго-долго. Но ты ведь не боишься находиться одна?

— Нет, — храбро ответила девочка.

— Ну и молодец. Ты не должна скучать. Я сделал тебе маленького смешного человечка. Он умеет ходить и даже разговаривать, хотя и не очень хорошо. Ты возьмешь его с собой.

— А вы? Почему вы не полетите со мной?

— Но ведь ракета рассчитана только на одного человека. Да и потом, нам нужно работать. Так ведь? — обратился он к жене.

Она не смогла ответить, только стиснула руку девочке да сглотнула комок в горле.

— Но вы прилетите позже?

— Да, да. Мы постараемся. Но пока нас не будет. У тебя там дома будет другая мама и другой папа. Ты сама выберешь.

— А они будут такие же хорошие, как и вы?

— Эльфа, ты сама их выберешь.

Девочка недоверчиво кивнула.

— Ты умеешь делать все, что тебе нужно. А когда ты подлетишь к Земле, тебя встретят. Тебя обязательно встретят.

И вот она уже сидит в ракете. Рядом с ней маленький смешной человечек-робот. На коленях — кукла. Над головой пространство в полметра. Перед ней пульт, некоторые ручки и тумблеры закрыты колпачками, чтобы Эльфа не могла их случайно задеть.

В ракете все предусмотрено. Запасы пищи, воды и воздуха. Книги, написанные от руки, которые сделала сама мама. Бумага, карандаш. Маленький эспандер, чтобы развивать мускулы рук, и велосипед, намертво прикрепленный к полу. Всего четыре кубических метра пространства.

— Ведь ей всего должно хватить? — в который уже раз спрашивает мама у капитана.

— Ей хватит всего на полтора года. Но ее должны встретить раньше. Через четыреста дней.

— Она не...

— Она не пройдет мимо Солнца. Я считал все много раз, да и ты проверяла.

— Да, проверяла...

Под креслом ракеты небольшой ящичек с бумагами и микропленками. Это их отчет об экспедиции. Экспедиции, в которую они вылетели вдвоем. Они сделали все, что было нужно. Вот только не могут вернуться на Землю, в свой дом. Но она, Эльфа, должна увидеть Землю.

Почти год отец переделывал эту маленькую ракету, последнюю из трех, когда-то имевшихся на корабле. Он предусмотрел все.

Мама едва сдерживается. Как только ракета стартует, она упадет, не выдержит, забьется в плаче. Ведь она никогда больше не увидит свою дочь. Никогда!

— Пора, — говорит папа. И движения его стали какими-то неестественными, угловатыми. — Эльфа, ты летишь к себе домой. Это твой дом. Самый большой дом в целом мире, во всей вселенной...

— Эльфа... — шепчет мама.

— У него голубой потолок? — спрашивает Эльфа.

— Да, да, да! — кричит мама. — И по голубому потолку плывут белые облака, похожие на кудри! А ночью он... черный... и светлячки.

— Эльфа. До свиданья, маленькая моя девочка. Будь мужественной.

— Эльфа... — Это сказала мама.

И вот Эльфа уже сидит в ракете.

— Старт, — говорит отец и нажимает кнопку на пульте.

Короткая молния срывается с обшивки корабля и уходит в сторону Солнца.

Мама не плачет, она просто не может плакать, не в силах. Плачет отец.

Неуправляемый корабль мчится вперед, куда-то далеко-далеко мимо Солнца.

— Сейчас мы будем обедать, — говорит женщина в голубом комбинезоне. — Прямо под открытым небом, у костра. Ты еще ни разу не сидела возле костра?

— Нет, — отвечает Эльфа.

— А потом мы пойдем в горы и встретим медведя.

— Настоящего?! — спрашивает девочка, а у самой от нетерпения горят глазенки.

— Настоящего.

— Пойдем сразу, мама.

— Нет, доченька. Надо сначала набраться сил. А вся геологическая партия стоит вокруг и улыбается. Здоровенные парни в выцветших комбинезонах и совсем молодые девчонки.

— А правда ведь, что внизу ковер, когда летишь на глайдере? — спрашивает она всех.

— Правда, — отвечает пилот. — И когда идешь, тоже ковер. Смотри, какой ковер из брусники. Красивый, правда?

— Красивый, — отвечает Эльфа и садится на корточки и осторожно гладит жесткие мелкие листики. — А правда, что небо похоже на голубой потолок? Помнишь, мама, ты мне рассказывала о самом большом доме?

— Помню, — на всякий случай говорит женщина в голубом комбинезоне. Но она почти ничего не знает об этой девочке. Да и кто о ней знает больше? Разве что Главный Воспитатель Земли.

— ...Возьмите меня на борт! Возьмите меня на борт! — Такие сигналы услышали однажды несколько кораблей, совершающих полеты в окрестностях Плутона. Чей-то спокойный мужской голос повторял: — Возьмите меня на борт!

Один из кораблей изменил курс и принял маленькую, неизвестно как здесь оказавшуюся ракету. В ракете не было мужчины. Его голос был записан на магнито-пленку. В ракете была маленькая девочка.

— Я хочу домой, папа, — устало сказала она седеющему капитану грузового корабля, который подобрал ее.

— Где же твой дом, крошка?

— У меня самый большой дом.

А потом, уже на Земле, с ней разговаривал Главный Воспитатель. Девочка была удивительно развита для своих семи с половиной лет. Она многое знала, многое умела. На лету схватывала все, что ей объясняли. Но две странности были у нее. Она вдруг неожиданно для всех называла какого-нибудь мужчину папой, а какую-нибудь женщину — мамой. Проходил день, и у нее уже был другой папа и другая мама. И еще. Она все время просила показать ей Ее дом, самый большой дом.

Совет воспитателей навел справки о ее настоящих родителях. Нет, у них никогда не было большого дома. Вообще никакого дома не было. Прямо из школы эти астролетчики ушли в Далекий Поиск.

— Я буду искать свой дом, — заявила Эльфа и ушла от Главного Воспитателя. Тот ее не удерживал. Он только сделал так, что каждый человек на Земле теперь знал, что Эльфа ищет свой дом. Все обязаны были ей помогать. И каждый должен был быть готов заменить ей отца и мать.

— А правда, что крыша дома может загрохотать и сверкнуть? — спрашивала Эльфа.

— Ну нет, — сказал кто-то. — Крыши сейчас очень прочные.

— Правда, — вдруг сказал пилот глайдера. — Может. Вот будет гроза, и ты увидишь сама.

— Это страшно?

— Страшновато, но очень красиво.

— А правда, что стены дома раздвигаются, когда ты к ним приближаешься?

— Правда, — сказал пилот. — Вон видишь ту стену, за горой? Мы слетаем к ней, а она отодвинется дальше. И сколько бы мы за ней ни гнались, она будет отодвигаться все дальше и дальше.

— Это очень похоже на то, что ты мне рассказывала о самом большом доме, о моем доме, — сказала Эльфа женщине в голубом.

— Так это же и есть твой дом! Вся Земля — твой дом. Это самый большой дом во всем мире, во всей вселенной.

— Да, ты так мне и говорила...

А вечером, когда они спускались с гор к костру, небо уже потемнело. Женщина спросила:

— Ты ведь не уйдешь от мамы? Ты останешься со своей мамой?

— Мама, — ответила девочка, — я вернусь. Но сначала я хочу посмотреть свой дом. Я хочу осмотреть его весь.

Утром Эльфа снова была в глайдере. И когда он долетел до горы, она крикнула пилоту:

— Смотри, папа, стены моего дома раздвигаются!

КАКИЕ СМЕШНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Сначала было ничто, потом какое-то полузабытье. Сознание все время ускользало, хотя одна мысль уже живо билась в голове, пытаясь разбудить другие, спящие, участки головного мозга. Эта мысль была — приказание прийти в себя. Он ухватился краешком сознания за нее, как за спасательную соломинку. На какое-то мгновение его сознание заполнили свист и грохот, но это длилось недолго. Потом наступила звонкая тишина, и он окончательно пришел в себя.

Он лежал под прозрачным колпаком, который, как только сознание вернулось к нему, приподнялся и сдвинулся в сторону. Он еще с минуту полежал, чувствуя, как мышцы тела снова становятся сильными, а память начала восстанавливать события прошлого, пока не охватила все, что должна была охватить. И тогда он легко соскочил с возвышения. Теперь он помнил и знал все. Знал, что система «воскрешения» где-то дала небольшую осечку. Он не должен был чувствовать этого неприятного момента перехода к жизни.

«А как же дети?» — подумал он. Их каюта находилась в соседнем помещении. И, пока он шел к двери рубки управления, успел взглядом обежать все световые индикаторы.

Все было нормально, кроме одного зеленого глазка, который, казалось, извиняюще подмигивал ему. Это был его индикатор. Ну что ж. Он разберется, что случилось, когда они будут собираться в обратный путь. А теперь к детям.

Когда он открыл дверь детской, то сразу понял, что здесь все в полнейшем порядке. Вернее, в беспорядке. Дети кидались друг в друга подушками, и от этого в комнате был шум и визг. «Переход» они, видимо, перенесли прекрасно.

— Папка! — крикнула Вина. — Мы закидали Сандро подушками! Он первый начал.

— Да, я начал первым, — сознался Сандро. — Мне было очень весело, а они немного куксились. Нужно же было их растормошить.

— Отец, мы уже прибыли на место? — спросила Оза. Она была старшая и, не дожидаясь, пока отец напомнит им, начала наводить в детской порядок.

— Да, — ответил отец. — Мы уже прибыли, корабль вышел на орбиту спутника этой планеты. И если вы поторопитесь, то успеете посмотреть на нее в обзорный экран.

— Я первая! — крикнула Вина.

— Я думаю, — поправил ее отец, — что ты будешь последняя. Чтобы прибрать твою кровать, потребуется уйма времени.

— Я помогу ей, отец, — сказал Сандро.

— На сборы вам дается пять минут. Поспешите. Но чтобы здесь был полнейший порядок.

Он вышел, радуясь, что дети хорошо перенесли «переход». Что же случилось с его аппаратурой? Откуда взялись этот грохот и свист? Он думал об этом, пока шел в рубку корабля, и еще там, пока не прибежали дети.

Он хорошо знал устройство своего корабля и поэтому не мог понять, отчего мог быть грохот.

Дверь открылась, и в рубку вбежали дети. Оза, серьезная, сосредоточенная, знающая, что сейчас ей покажут что-то интересное и поучительное. Сандро, решительный, настроенный воинственно и готовый по малейшему знаку броситься из корабля вниз, чтобы первому достичь поверхности планеты. Вина, вся сгорающая от нетерпения, возбужденно ожидающая, когда же ей дадут поиграть этой интересной игрушкой, которая называется — Планета.

Отец рассадил их по креслам, которые могли вращаться вкруговую. У него был вид фокусника, который готовится к самому интересному, самому главному фокусу своей программы.

— Папка, ну скорей же! — не выдержала Вина.

— Все готово, — сказал отец. — Вот какая это планета! — И он нажал кнопку. Створки, закрывающие обзорный экран, разошлись, съежились и исчезли. Перед ними была прозрачная полусфера — впереди, под ногами и над головой.

Вина не выдержала и завизжала от восторга. Сандро весь подался вперед. Оза удивленно замерла в неловкой позе.

Перед ними был туманный шар, неподвижный туманный шар. Солнце освещало эту часть планеты. В промежутках между спиралями облачных покровов проглядывали голубые пятна океанов, светло-коричневые полосы пустынь, горные цепи, ослепительные полярные шапки.

Да! Из-за этого стоило перенестись через сотни световых лет. Отец делал снимки, ребятишки молчали, глядя широко раскрытыми глазами на это чудо.

— Хотите поближе? — спросил отец.

— Я хочу ступить на нее ногой, — решительно заявил Сандро.

— Успеем. Мы ведь прилетели сюда не на пять минут.

— Папка, мы будем ходить по ней?! — радостно крикнула Вина.

— А для чего же мы тогда брали скафандры? — сказала Оза. — Конечно, мы будем ходить по ней и даже бегать.

— Будем, — согласился отец, — но там мы увидим только малую часть, а отсюда можем рассмотреть все.

— Но ведь мы очень высоко над ней, — сказал Сандро.

— Мы снизимся и осмотрим ее всю.

— А как она называется? — спросила Оза.

— Я смотрел в звездных атласах, — ответил отец. — У нее очень странное название. Оно никак не переводится на наш язык. Смысл его непонятен.

— Мы дадим ей название, — предложил Сандро.

— Нет, сынок. У этой планеты есть свое имя. Он сел за пульт управления, и корабль пришел в движение, начав описывать витки вокруг планеты и приближаясь к ней по спирали. Вскоре они уже летели над самыми облаками, видя в их разрывах реки, озера, леса, поля и даже города. Самые настоящие города! Ну, конечно, немного странные, маленькие и большие, разрушенные полностью и частично. А некоторые были совершенно целыми.

— Отец, — сказал Сандро. — Здесь существует какая-то цивилизация?

— Да, — ответил отец. — Или существовала.

— Но если она еще существует, то мы должны заметить это. Давай понаблюдаем за каким-нибудь городом!

— Согласен, — ответил отец. Их корабль замер на высоте десяти километров. Все четверо пристально всматривались в экран.

В городе не было никакого движения. У них уже начали уставать глаза, когда Оза сказала:

— Вон те точки! Они перемещаются.

— Какие? — заволновались все.

— Вон те, похожие на крестики.

— Тебе показалось, — сказал Сандро.

— Нет, не показалось, — заступилась за сестру Вина. — Они немного перемещаются.

Они наблюдали еще несколько минут и пришли к выводу, что предметы действительно двигаются, но настолько мед-

ленно, что это очень трудно заметить. Отец сравнил их размеры с размерами зданий. Они были одного порядка.

— Это, наверное, — не жители городов, — сказал отец. — Они не поместились бы в эти здания. И, кроме того, они перемещаются не по поверхности планеты. Видите, внизу тени? Они находятся над поверхностью.

— А где же тут живые существа? — растерянно спросила Вина. Очень уж ей хотелось увидеть живого, самого настоящего инопланетянина.

— Спустимся еще ниже, — предложил отец.

Все согласились. Корабль остановился на высоте пятьсот метров, в самой гуще взвешенных, не падающих на поверхность, летающих крестов. Теперь улицы города были видны отчетливо. Тишина и полное отсутствие какого бы то ни было движения. Здесь даже облака не меняли свою форму. Это заметила Оза.

— Какой-то мертвый, застывший, уснувший мир, — сказал отец. — С высоты в несколько сот километров он гораздо красивее.

— Смотрите, смотрите! — закричала Вина. — Вон там растет дерево!

— Да, — согласился отец. — Это очень похоже на дерево. Только на мертвое дерево.

— Нет, нет! Вы не туда смотрите! Вон внизу, под нами, чуть левее. Видите, оно выпускает ветви!

— Вон тот черный куст? — спросил отец.

— Да, да. Только это не куст, — сказал Сандро. — Больше похоже на дерево.

— Какое-то странное дерево, — заметила Оза.

— Да. Какие смешные здесь деревья! Они растут на глазах!

Дерево, действительно, росло на глазах. Прямые ветви его, расположенные под разными углами к поверхности, постепенно изгибались и опускались вниз. Затем все дерево медленно оседало и исчезало.

— А вон еще одно! — крикнул Сандро.

— И еще!

— Они живые, отец. Спустимся и посмотрим. А?

— Чуть позже, — ответил отец. — Здесь город. Лучше мы спустимся в более пустынной местности.

Эти деревья ему чем-то не нравились. Они вырастали не только там, где было положено расти деревьям, но и посреди мостовой и на крышах зданий.

Он повел корабль на север. Внизу кое-где они продолжали замечать странные деревья и опустевшие полуразрушенные города.

Он снова услышал незнакомый грохот и свист, и сердце его тоскливо сжалось. И он подумал, что, пожалуй, зря притащил сюда детей. Можно было выбрать какую-нибудь давно известную планету, с аттракционами и экскурсионным бюро, с гостиницами и гидами. В следующий раз они посетят другую планету, не такую странную и застывшую.

И он почему-то вспомнил свою планету, населенную веселыми и смелыми людьми, своих друзей и знакомых, свою жену, которая сейчас была в далекой экспедиции, свой дом на обрывистом берегу голубого моря. Нет. Пусть дети посмотрят эту необычную планету.

Они выбрали место на зеленой застывшей поляне, переходящей далее в пологий холм, перерезанный узкой извилистой траншеей, прорытой какими-то животными или вымытой водой.

Он взял пробы воздуха, и тот оказался вполне пригодным для дыхания. Сам он решил выйти без скафандра, а детей заставил надеть их. Они надели реактивные ранцы — на тот случай, если понадобится перемещаться быстро. Дети были все так же оживлены и заинтригованы. А отец — немного озабочен. Смутное беспокойство внушала ему эта планета.

И вот они ступили на поверхность планеты. Скафандры не стесняли движений, и дети начали прыгать, кувыркаться, бегать друг за другом и кричать от восторга. Необычность обстановки подчеркивалась тем, что кругом стояла полная тишина, не было ни малейшего дуновения ветерка, ни малейшего движения вообще.

И вдруг отец увидел летящий предмет. Он летел откуда-то со стороны запада. Предмет был продолговатой формы. Он падал на поверхность по очень пологой дуге.

— Смотрите, — крикнул он.

Дети остановились и тоже начали наблюдать за предметом.

— Что это? — спросила Оза.

— Птица, — предположила Вина.

— Нет, — сказал Сандро. — У нее нет крыльев.

Отец снова услышал резкий свист. Но этот свист теперь был в нем самом, потому что вокруг по-прежнему была идеальная тишина.

Предмет упал и начал зарываться в почву, которая вдруг зашевелилась, приподнялась, как будто ее что-то выпирало изнутри. И вдруг почва разорвалась, и из нее начали вытягиваться побеги — черные, состоящие из комочков, шариков и неправильной формы параллелепипедов. Побеги росли на глазах, превращаясь в высокое дерево, напоминающее красивый фонтан. Одни побеги успевали изломаться и осыпаться на почву, другие только вылезали из земли, третьи уже достигали высоты метров десять. Дерево ни секунды не оставалось неподвижным. Оно все играло, жило, двигалось, росло и умирало по частям. И это буйное движение так контрастировало с остальным замершим, уснувшим миром, что невольно вызывало восторг и радость.

Дерево достигло, по-видимому, пика своего развития и начало уменьшаться, осыпаться, распадаясь на мелкие комочки. Что-то пролетело мимо плеча отца, и он успел схватить его. Это был кусочек чудного дерева. Он был твердым, как сталь, и тепловатым, даже горячим на ощупь.

Отец подкинул этот кусочек дерева на ладони и спрятал в карман куртки.

— Дерево! Это дерево! — кричали дети и собирали комочки, на которые оно распалось.

— Смотрите, летит еще одно! — крикнул Сандро.

Все повернули головы в направлении, которое указал мальчик. Такой же продолговатый предмет летел в их сторону.

— Это семя! — сказал отец. — Ну да, это же семя странного дерева. Смотрите, оно заострено спереди, чтобы лучше проникать в почву. И еще вращается вокруг собственной оси. Оно, как штопор, ввинчивается в почву и дает начало новому дереву. — Отец был очень доволен своими объяснениями. Теперь все укладывалось в его гипотезу. — Видите, как оно вгрызается в почву? Сейчас появятся побеги.

Отец, конечно, оказался прав. Из земли снова полезли черные, живые, шевелящиеся стебли.

И вдруг в воздухе показалось сразу несколько семян, потом еще и еще! Их было очень много. Они приближались медленно, безмолвно, вонзались в землю, и она во многих местах начала вспучиваться, вытягиваясь сначала хрупкими стебельками, а затем крупными деревьями. Это был уже целый лес. Он тянулся от горизонта на севере до горизонта на юге шириной в несколько сот метров.

— Деревья! Какие смешные деревья!

Одни деревья только начали прорастать, другие уже рассыпались на частицы, которые медленно летели по радиусам от того места, где упало семя. Эти частицы можно было рассматривать тоже как семена, потому что они давали начало новому, карликовому, в несколько сантиметров ростом, дереву.

— Вот здорово! — кричали дети. Да, такого они еще не видели. Вряд ли вообще кто-нибудь такое видел. Вал из растущих и умирающих деревьев катился в их сторону. Вот он уже достиг неглубокой траншеи и миновал ее.

— Папа, — сказала Вина. — Я хочу туда. В самую их чащу.

— И я тоже, — поддержал ее Сандро.

— А мне немного страшно, — созналась Оза.

— Нет, — сказал отец. — Туда мы не пойдем. Ведь мы до конца не знаем, что это такое. И притом, мне кажется, что там должно быть жарко. Вот пощупайте. — Отец поймал медленно пролетающий мимо кусочек дерева. — Видите, оно теплое. А там их очень много. Вам будет жарко.

— Но ведь мы в скафандрах! — возразил Сандро.

— На вас скафандры очень легкой защиты. Почувствовали же вы тепло этого кусочка дерева?

— А откуда прилетают семена? — спросила Вина.

— Оттуда, — показал рукой Сандро.

— Понятно, что оттуда. Меня интересует, откуда они берутся. Растут на деревьях?

— А действительно, не посмотреть ли нам, — предложил отец. Ему почему-то хотелось на время увести отсюда детей. — Включайте ранцы. Вверх и на запад.

Они взлетели все разом. Сверху картина была тоже очень живописна. Они пролетели над полосой неповторимого, невиданного ими раньше леса и, ориентируясь по летящим семенам, понеслись дальше.

— Здесь есть какая-то закономерность, — отметил отец. — Они летят не куда попало, а именно сюда, где эта траншея, канава или как там ее назвать. Может быть, во время дождей она заполняется водой, и тогда семена вызревают?

Они пролетели километров десять и заметили впереди стройный ряд стволов.

— Держу пари, что они вылетают откуда-то отсюда, — предложил Сандро.

— Никому не нужно твое пари, — сказала Вина. — Это ясно с первого взгляда и притом каждому.

— Они мне не нравятся, — заявила Оза.

— О! Оставалась бы тогда дома, — сказал Сандро.

— Сандро, ты не смеешь так говорить, — остановил его отец.

Стволы деревьев были гладкими, без всяких сучков и ветвей. Да и сами деревья, наклоненные под тридцать градусов к вертикали, казались неживыми, мрачными. Они не шевелились, лишь слегка приседали, как на корточках, когда из них вылетали семена.

— Нет, это не так интересно, — сказал Сандро. — Тот, живой лес, лучше. На него интереснее смотреть.

— Глядите, и сюда летят семена! — крикнула Оза.

— Ну вот, просмотрели, — недовольно буркнул Сандро. — Пока мы летели, те деревья, наверное, сами стали выбрасывать семена. Летим туда. Я хочу посмотреть.

— И я тоже, — заявила Вина.

— А я хочу на корабль, — устало сказала Оза.

— Ну, хорошо, — сказал отец. — Летим назад. Посмотрим, что произошло там с нашим лесом. А потом на корабль. Мы ведь сегодня еще и не завтракали. Согласны?

— Согласны, — заявили дети. Конечно же, все они немного устали.

Они вернулись назад, туда, где пышно распускались чудные, необычные, ни на что ранее виденное не похожие деревья. Они смотрели на них с высоты нескольких десятков метров.

Только лес жил. Все остальное было без движения. В узкой и длинной канаве, с высоты это было хорошо заметно, виднелись какие-то пятиконечные предметы с одним укороченным лучом. И если кусочек дерева попадал в них, он тоже прорастал. И вообще, заметил отец, эти деревья были поразительно живучи. Они начинали расти везде, была ли почва глинистая, или каменистая, или вот в этих неправильной формы звездах. Полоса шевелящегося леса уже дошла до того места, где они стояли несколько минут назад, и продолжала двигаться дальше.

— На корабль, — скомандовал отец. — Завтракать и отдыхать. Потом продолжим осмотр.

Они полетели к кораблю и заметили, что поле пересекают еще две линии, параллельные друг другу, два канала.

И вот они уже на корабле. Отец опустился в кресло перед пультом, и корабль вертикально взлетел, остановившись на высоте пяти километров.

В столовой их уже ждал завтрак. Возбужденные виденным, они наперебой рассказывали друг другу: «А вот одно дерево... А у них почему-то нет листьев... Дерево... Стволы... А ты видела?..»

— А эти пятиконечные звезды очень похожи на людей, — сказала Вина.

— Что? — поперхнулся отец. — Что ты сказала?

— Они очень похожи на людей.

— Да, да, похожи, — подтвердили Оза и Сандро.

— Странно, — задумался отец. — Ну, хорошо. Идите в зал, отдохните немного, а я займусь делами в рубке управления.

— Папа, ты надолго? — спросила Вина.

— Нет, нет. Я быстро. Может быть, я слетаю вниз. Но вы не беспокойтесь.

А в голове у него снова прозвучал грохот. Грохота не должно было быть! И когда грохот затих, мысль, нелепая, глупая, страшная, закралась в мозг. Нет. Этого не должно быть! Он закрылся в рубке, включил обзорный экран, вынул из камеры, которая делала рапидосъемку, кассету, хотел вставить ее в проектор, но передумал и оставил ее на видном месте, чтобы она сразу же бросилась в глаза, если сюда кто-нибудь зайдет.

Затем он надел ранец, набрал на пульте управления время старта. Старт должен был произойти через пятнадцать минут, автоматически, если с ним что-нибудь случится. Настроил автоматический пуск на ритм своего мозга, если вдруг старт придется давать неожиданно, а его не будет на корабле, и вышел в шлюзовую камеру. Пятнадцати минут ему было вполне достаточно. Он бросился вниз.

Чем ближе он подлетал к поверхности планеты, манипулируя ручками реактивного ранца, тем явственнее в его голове звучали свист, вой и грохот. До поверхности осталось совсем немного, когда что-то произошло со временем.

Время начало стремительно убыстрять свой бег. И деревья, ранее распускавшиеся за десять минут, теперь возникали и умирали за секунду-две.

Он упал на дно траншеи, чувствуя, как в грудь врезается осколок снаряда. Голову разламывало от свиста и воя, от грохота взрывов, от тонкого повизгивания осколков. Он хотел встать, но не смог, только чуть приподнялся и упал навзничь.

«Хорошо, хоть дети не видят этого, — еще успел подумать он. — Они далеко, за тысячи километров. В Сибири...

Как там жена-то одна с ними тремя?.. Сашка, Зоя, Валентина... Лишь бы они никогда не увидели этого...»

Он лежал, чувствуя, как горячая волна заливает грудь. Взгляд его был направлен в зенит, где чуть сверкало неподвижное пятнышко. И тут ко всему этому грохоту и реву прибавился еще один звук — монотонное гудение. Это шли бомбардировщики со свастикой на крыльях, прикрываемые истребителями. Три бомбардировщика вдруг отделились от общей массы и взмыли вверх.

«Сандро, Оза, Вина... Не успеют».

— Старт, — прошептал он.

— Васька, ты что? — прохрипел лежавший рядом солдат. — Зачем вставать? Команды еще не было...

— Старт, Сандро, старт. — Он приподнялся на локтях, небритый, серый и страшный. Грязная шинель на груди набухла кровью.

Он успел заметить, как рванулось ввысь блестящее пятнышко корабля.

— Ты лежи, Вась, лежи. В атаку сейчас пойдем.

Странное черное дерево, похожее на фонтан, выросло перед ним, и десятки его частичек впились в тело.

Последнее, что он услышал, было:

— В ата...

Вселенная вздыбилась, перевернулась и погасла.

Мир, из которого он прилетел или, быть может, который просто придумал за несколько мгновений, и мир, в котором он жил, исчезли для него навсегда.

А из окопов выплеснула и покатилась вперед волна оглушенных, грязных, разъяренных, что-то орущих солдат...

ФИЛЬМ НА ЭКРАНЕ ОДНОГО КИНОТЕАТРА

Препротивнейшая погода стояла в Усть-Манске уже целую неделю. То дождь, то мокрый снег, да еще с ветром. Не знаешь, что надеть на себя: в плаще — холодно, в пальто — как-то еще неудобно. Ведь не зима же! Осень... Октябрь... А тут еще воскресный день. И на улицах только энтузиасты.

Да, да. По улицам спешили лишь одни энтузиасты, да и то, чтобы только поскорее добраться до теплого угла... Словом, молодежь... И еще один человек. Этот никуда не спешил, хотя и проклинал себя за характер, который привел его на мокрую улицу.

Впрочем, проклинать свой характер и даже подвывать от нестерпимой мысли, что характер этот — тряпка, вошло у промокшего человека в какую-то чуть ли удобную привычку.

Фамилия его была — Непрушин, Петр Петрович Непрушин.

Непрушин, собственно, и не спешил, а просто шел и если уж и обгонял редкого прохожего, то только для того, чтобы согреться. В холодную, но сухую погоду это было бы вполне оправдано. Но в такой, как сегодня, промозглости сколько ни беги, не согреешься.

Идти домой Петру Петровичу не было совершенно никакого смысла. Там его никто не ждал, а если и ждал, то с руганью, неторопливой, нисколько не грозной, а, напротив, привычной и ленивой, как капля воды на обритую голову во время пытки. Или, что несколько интереснее, но и неприятнее — Цельнопустов, друг семьи, который уже давно брился лезвиями Непрушина, носил его тапочки и даже носки, сидел в единственном кресле перед телевизором, запросто выпивал заготовленную к празднику водку и что-то там еще такое делал... Присутствие его Непрушину было невыносимо, позорно, но Варвара — жена Непрушина — боготворила Цельнопустова и много лет подряд ставила его мужу в пример.

Непрушин то привыкал к такой жизни, то начинал робко и неуверенно с нею бороться; впрочем, до первого лишь окрика Варвары: «Где уж тебе!»

Летом и в начале осени можно было уходить в лес. Но куда пойти вот в такую мерзкую погоду?

К друзьям, если только их можно так назвать, он не любил ходить... Правильные и решительные, они посмеивались над его нелепым существованием, пусть добродушно, пусть без ехидства, но посмеивались.

Не лучше было и на работе, но там хоть можно было что-то делать, чертить, проверять кальки, соблюдать «единую систему конструкторской документации», спорить (только много ли тут наспоришь?) с нормоконтролером. На работе Непрушина считали средненьким, а если уж говорить честно, то и просто некудышненьким инженером-конструктором.

Да ладно... Черт с ними со всеми! Убежать бы куда-нибудь от этого нудного и холодного дождя.

Непрушин никогда не задумывался, почему так получилось. Получилось и получилось. Ниже среднестатистического уровня? Так ведь на то он и средний, чтобы были выше и ниже.

И маршруты-то ведь уже все были хожены-перехожены. По асфальтику, по асфальтику! В грязь переулков даже Петр Петрович не хотел лезть. Вот сейчас будет детский сад, за ним кинотеатр «Октябрь» и рядом магазин «Театральный», где можно купить конфет или выпить молочный коктейль. Но коктейль — холодно. Хотя все же можно постоять в сухом месте... Можно и в кинотеатр, но смотреть кинофильмы Непрушин не любил. У киногероев все получалось. Ну, в боевиках — понятное дело. А вот в простых, обыкновенных-то? Все равно получалось! В начале каждого, конечно, конфликт. Не работе начальство зажимает прогрессивные методы строительства или новые методы заточки сверл. Дома сын попадает в плохую компанию. Жена не разрешает задерживаться на работе... Но уже по умным глазам и решительному выражению лица понятно, что главный герой все осилит. Помучают его, помучают, но все же сдадутся.

Словом, не любил Непрушин ходить в кино. Постоять в очереди за билетами, если народ ломится в обе кассы, еще куда ни шло. Стоишь сначала в одной, а когда очередь подходит, задумчиво выходишь из нее и пристраиваешься во вторую. И так — сколько угодно. И деньги целы, и содержание кинофильма все равно узнаешь, и, вроде бы, на людях побыл, в обществе... человеческом.

Непрушин вышел на небольшую площадь перед кинотеатром и привычно, машинально бросил взгляд на афиши. В голубом зале «Октября» шел кинофильм «Битва в токарном цехе», а в зеленом — «Петр Петрович Непрушин». Да, грустно, вздохнул Непрушин, на такие народ в кассы не лезет валом, да еще в такую пого... Тут что-то сработало в его мозгу... Что же это? «Битва в токарном цехе»... Понятное дело! А здесь... «Петр Петрович Непрушин»! Нет, постойте! Как это: Петр Петрович Непрушин? Это я — Петр Петрович Непрушин! Петруша, если уж на то пошло... Непруша, то есть... Как это, как это?

Непрушин растерянно остановился перед афишей, потом чуть отошел, чтобы лучше рассмотреть ее. Нет уж, помилуйте. Как это: Непрушин, и вдруг на афише?! Цельнопустов придумал? Ах, Цельнопустов, гад, то есть! Мало ему, всем мало, так еще на афишу! Петр Петрович непривычно разгорячился, даже ручейки, стекающие со старенького черного берета за шиворот, перестал замечать.

Да что же это? Уж совсем житья нет, что ли?!

Он еще раз подозрительно исследовал неряшливую афишу. Вот и сеансы. 12^{35}, 14^{10} и так далее. Студия! Студия даже есть! Ну надо же! Зеленым по серому: Марградская киностудия.

Так, так... Что же выходит? Выходит, что Марградская студия поставила кинофильм «Петр Петрович Непрушин».

Фу ты черт! — снова что-то сработало в голове Петра Петровича. Это же кинофильм! «Петр Петрович Непрушин» называется. Это не про него, а про какого-то обобщенного Петра Петровича Непрушина, который борется, наверняка, со всеми, а в конце фильма побеждает.

У Непрушина даже на душе полегчало. Все чуть было не опрокинулось, но тут же крепко стало на ноги. Петр Петрович ощутил холодные струйки, ползущие по спине, передернул плечами и вошел в кинотеатр.

Что-то пустовато было возле касс. Можно сказать, совсем пусто. В фойе, правда, кто-то ходил, но здесь, у входа, на Непрушина с двух сторон цепко узрились настороженные кассирши. Возьмет гражданин билет или не возьмет? Петр Петрович сначала прошелся, словно раздумывал, размышлял, решался, старательно не смотря в окошечко кассы голубого зала. Он не хотел подавать надежду, а потом грубо разрушать прекрасное здание мечты той кассирши.

Билетерша, женщина лет тридцати пяти, злая, неряшливо одетая, определенно сознающая всю бессмысленность своего сегодняшнего стояния возле врат отечественного киноискусства, посмотрела на делающего возле касс третий круг гражданина, как на известного всему городу шаромыжника, который только и ищет себе местечко, где бы распить бутылку

дрянного вермута. Посмотрела и вызывающе зевнула. Видела она всяких...

Название кинофильма Марградской киностудии все же интриговало. Да и разгуливать здесь — все равно что жевать бутерброд в зале филармонии... Не для прогулок этот пятачок возле двух настороженных амбразур. Непрушин решился.

— Один билет, — сказал он в зеленую амбразуру и протянул полтинник.

Кассирша швырнула монету в коробку из-под немецкой магнитофонной ленты, но билет не оторвала.

— Один, один, — повторил Непрушин.

Кассирша разверзла уста:

— На какой сеанс? Я что, гадать должна? Вас тут много!

— На этот, — сконфузился Непрушин. — На ближайший...

— Ближайший только что начался! А следующий в четырнадцать десять.

— На который начался...

Кассирша шлепнула билет на нижнюю доску амбразуры и сопроводила свой профессиональный жест словами:

— Здесь вам не бульвар, чтобы прогуливаться.

Но Непрушин ее уже не слушал, так как сеанс-то ведь уже начался, а впереди еще могли возникнуть осложнения. Он слегка помахал билетом перед закрытой стеклянной дверью, чтобы привлечь внимание. Билетерша все распрекрасно видела, но дверь не открывала. Петр Петрович махнул билетом энергичнее. Обе кассирши с интересом наблюдали, что же будет дальше.

Человек, размахивающий билетом, являл собой фигуру жалкую и ненапористую. Билетерша приоткрыла дверь, сказала недовольно, но уже с какими-то примирительными нотками в голосе: «После третьего звонка воспрещается...», но Непрушина все-таки пропустила. И тот, торопясь и делая вид, что торопиться ему некуда, бросился в зеленый зрительный зал.

Темнота, на миг ослепившая его, рассеялась, и Петр Петрович, сев на первое попавшееся место, огляделся, заметил где-то впереди с десяток чуть задранных кверху голов, успокоился, поежился в волглой своей одежде и сосредоточенно уставился в экран. Киножурнал, конечно, уже кончился. Прошли и титры фильма. На белом с полосами швов полотне разворачивалась нехитрая завязка скучнейшей, судя по всему, интриги. Ее и интригой-то назвать было нельзя.

Непрушин пожалел, что приперся сюда, но тут же опомнился: ведь кинозал еще не худшее место в его несуразной

жизни, по крайней мере, тут не дует и не льет за шиворот. А вдобавок ко всем благам, можно еще посмотреть на себя со стороны, хотя, честно говоря, смотреть на это не особенно-то и приятно. Ну, мечется вот Петр Петрович по экрану, по жизни то есть своей экранной, делает глупость за глупостью. И даже не глупость, а так, что-то аморфное, безвольное, бесформенное, потому что даже для того, чтобы сделать глупость, нужно иметь хоть какой ни на есть характер-характеришко... А у того Петра Петровича-то намека на него хотя бы вовсе никакого и не было.

Тут и режиссеру, и киноартистам, и даже осветителям и статистам было ясно, не говоря уже о потенциальных зрителях, что сдержаться, не сделать какую-нибудь пакость тому Петру Петровичу было выше человеческих сил. Никакой возможности не было сдержаться! Вот все, кто мимоходом, даже и не подозревая об этом, кто сознательно, мучаясь содеянным или радуясь ему, и пакостили товарищу Непрушину. А тот ничего не понимал, и было совершенно ясно, что он именно не понимает, а не делает с тайными мыслями вид, будто ничего не понимает.

Впрочем, и пакостями-то действия людей назвать было нельзя. Ну, лишили премии, так ведь он мог обжаловать, три дня на доске приказ висел! Начальник конструкторского бюро, может, и лишил его премии специально, потому что Непрушину она была положена, а кому-то там — нет. Но кто-то там ничего не мог обжаловать, а Непрушин мог. И тогда премия досталась бы и самому Непрушину, и кому-то там еще. И все было бы нормально. Так ведь не сделал Непрушин совершенно понятного и естественного удела, не сообразил или просто не захотел облегчить моральные страдания начальника, остался соринкой в глазу. А ведь ему даже намекали, и текст обжалования был заранее заготовлен. Но Петр Петрович только виновато разводил руками, нес в оправдание начальника какую-то ахинею. И ведь все-таки убедил всех, что он крепко виноват, что премии его лишили законно и даже мало ему такого наказания. На тут же созванном летучем собрании администрация объявила ему выговор с занесением в личное дело, само собой разумеется, с согласия месткома.

А ведь именно так и было в настоящей, не экранной, жизни Петра Петровича. До сих пор носил он в своем одуревшем от тычков и ударов сердце тот выговор и еще парочку более свежих. О премиях узнавал, когда товарищи, спохватившись,

приглашали его на стаканчик «сухаря» — сухого вина то есть. Но Петр Петрович чаще отказывался, так как даже пить совершенно не умел, пьянел, лишь взглянув на стакан, а отхлебнув, начинал самоуничижаться и падать на колени, «всех уважать» и просить прощения за свое происшедшее сорок лет назад рождение. Настроение он этим портил всем основательно, вплоть до нецензурных эпитетов со стороны слушателей и ударов кулаком в солнечное сплетение с воспитательными целями. Так что его и приглашали-то редко, чаще лишь делая вид, в стопроцентной уверенности, что Непрушин откажется.

Все это было, было! Ну да ладно. Не с одним же с ним это происходит... Странно и тревожно задевало другое. Тот, экранный, Петр Петрович Непрушин как две капли воды походил на сидящего в зале. Всем, всем! И лицом, и фигурой, даже стареньким, давно не глаженным костюмом с дырками в карманах, куда часто проваливалась мелочь, осложняя этим до скандалов проезд в трамваях и троллейбусах; даже плащом, после покупки ни при каких обстоятельствах не желавшим расправлять свои залежалые складки; ботинками, один из которых всегда приходил в негодность, в то время как второй лишь приближался к этапу легкой поношенности.

Кинофильм сейчас доставлял Непрушину новое неудобство, какую-то дополнительную неуверенность, а жизнь ведь и так не радовала его! У Петра Петровича уже и мысль возникла: уйти, убежать от этого экранного двойника, привычно подставить шею своей невыносимой обыденности и ординарности. Но ведь и идти-то было некуда! Снова в дождь, в грязь, в слякоть? Да и выпустят ли его из зала? Вошел не вовремя, уходит, не досмотрев. Подозрительно и обращает внимание. Этого Непрушин боялся больше всего.

Так и сидел он, точно зная, что не увидит ничего нового, разве что посмотрит на себя со стороны.

События на экране разворачивались в вымышленном городе, в вымышленном конструкторском бюро. И фамилии героев все были вымышлены. Цельнопустов, например, оказался Половиновым. Жена Варвара — Маргаритой. И похожи они были на своих прототипов не очень, хотя жесты, характеры и поступки схвачены просто здорово, правдиво.

Зрители, сидящие впереди, не уходили из зала лишь потому, что на улице было еще тоскливее, чем здесь. И, наверное, одному лишь Непрушину, единственному из всех потенциальных зрителей кинофильма, было интересно. Интересно — не то,

впрочем, слово. Конечно, и интересно, но и стыдно, неуютно... противно. Вот его нелепую жизнь развернули перед людьми, а им и смотреть-то неохота. На что тут смотреть? Чему тут учиться? Да и отдохнуть на таком фильме невозможно.

Ясно, что кассовых сборов фильм не даст, а режиссеру в дальнейшем предложат снимать скучнейшую кинохронику. К скукотище у него явный талант.

Кинофильм кончился. Так ничего интересного и не произошло в жизни экранного Непрушина. Зал опустел мгновенно. Петр Петрович вышел под противный дождь. И одна мысль вдруг закопошилась в его голове. Кто, кто играл роль заглавного героя? Кто согласился на эту смертную муку?

Непрушин обогнул угол кинотеатра и торопливо вбежал в холл. Нет, очереди в кассах сегодня не предвиделось. Нашарив в кармане мятый рубль, он ринулся к кассе зеленого зала. Вид его среди этого ленивого покоя и нетронутой тишины был странен и нелеп. Куда, скажите, пожалуйста, рвется человек?

— Один билет! — с хрипотцой в голосе сказал он.

Видя такую поспешность, человек шесть-семь, только что вошедших и начавших было отряхиваться, не раздумывая, образовали очередь за Петром Петровичем. Кассирша синего зала даже просунула голову в окошечко, чтобы получше рассмотреть это чудо.

— На четырнадцать десять? — чуть испуганно спросила кассирша зеленого зала.

— Да! — коротко, но с некоторым нажимом ответил Непрушин, схватил билет, сдачу и бросился к билетерше.

Что его несло? Что несло его еще раз со стороны посмотреть на самого себя? Ведь только тоска и безнадежность были оставлены ему в удел...

Билетерша посмотрела на Непрушина с явным сочувствием.

— Не началось? — с испугом спросил Непрущин.

— Нет, — вежливо ответила женщина и немного приосанилась. Даже платье на ней стало сидеть опрятнее и красивее. — У нас после третьего звонка начало.

— Ага, — сказал Непрушин облегченно. — Это хорошо, что после третьего...

— Хорошо, — согласилась женщина и быстрым жестом поправила прическу. — Вам понравилось?

— Разве это может кому понравиться?

— Вчера вот на два сеанса вообще ни одного билета не продали.

— Бывает... Так, значит, после третьего?

А у кассы зеленого зала уже вытянулась цепочка человек в двадцать.

Билетерша, удивленная и даже как будто чем-то обрадованная, отрывала корешки билетов. Двери в зал распахнулись, и Непрушин, кивнув женщине, побежал занимать место. Титры, титры бы только не пропустить! Он нашел свое место посреди ряда прямо перед проходом. Никогда в жизни ему не доставались такие хорошие и удобные места. И ничья голова впереди мешать не будет.

Человек пятьдесят зрителей свободно разместились в пятисотместном зале. Свет начал меркнуть. Сначала показывали журнал «Сибирь на экране» за март месяц, «линейку готовности», последние массовые лыжные кроссы, хор завода режущих инструментов.

А вот пошли и титры. Так. В главной роли... Кто же в главной роли? Кто в роли?! Петр Петрович Непрушин... и далее ничего, пропуск, многоточие! Маргариту Непрушину вот кто-то играет, и Половинова, Цельнопустова, то есть, в действительности. А самого Непрушина?! Что за фокус, растерянно подумал Петр Петрович, это же издевательство! Никого, видимо, и не интересует фамилия артиста. Всем все равно. А вот ему нет. Даже тут на Непрушина свалилась очередная нелепость.

Ну хорошо. Играй, играй, уже злорадно подумал Непрушин, посмотрим, что у тебя получится. А ничего путного у тебя не получится. Потому как — тряпка, размазня, ошибка природы. Убивать таких рохлей надо... при рождении... Сейчас вот Половинов, Цельнопустов то есть, первый раз придет к нему домой и как барин развалится в кресле. Играй, играй! Да я бы его попер, так что только пыль столбом. Уже тогда все ясно было, но неудобно, нетактично... А он носки мои носит, галстук... еще что-то... Нет, сейчас бы дал ему хорошенечко.

А Непрушин на экране словно прочел мысли Непрушина, сидящего в зале, схватил Половинова, то есть Цельнопустова, за шиворот, выволок из кресла и встряхнул.

— Ты че? — удивился Поло... Цельнопустов.

— Это кресло для Варвары, — спокойно пояснил Непрушин.

— Для какой такой Варвары?! — завопил Пол... Цельнопустов. Это он страх нагонял на хозяина квартиры. — Знать не знаю никакой Варвары! Маргаритой твою жену зовут!

— Для кого — Варвара, а для кого — Маргарита, — лениво сказала жена Непрушина, подводя брови черным карандашом.

— Нет, Варвара! — упорно повторил Непрушин. — А ты никакой не Половинов, а Цельнопустов! Цельнопустовым был, Цельнопустовым и останешься!

— За оскорбление, знаешь, че бывает? — спросил Половинов-Цельнопустов.

— Знаю, — вдруг сник Непрушин. — Я не ответственности боюсь, я вас боюсь, подлости вашей, бессовестности боюсь.

— Да поддай ты ему как следует! — выкрикнули в зеле.

— И никуда он жаловаться не пойдет! — пообещал кто-то еще. — Вот ведь скотина!

— Ты, Петруша, жизни-то ведь не знаешь, — лениво сказала Варвара-Маргарита. — Ты ведь не от мира сего... Другим жить не мешай...

— Да разве жизнь у вас?! — возопил Непрушин.

— А у тебя? — нехотя спросила Варвара-Марга...

— Нет у меня жизни, — согласился Непрушин.

— Нет, — подтвердила Варвара-Ма... — И не путайся под ногами у других... Ты прогуляться-то, Петруша, не хочешь ли?

— А! — с отчаянием сказал Непрушин. — Делайте что хотите. Только учтите, что никакие вы не Маргарита и Половинов, а Варвара и Цельнопустов. Это уж я точно знаю. — И ушел, даже не хлопнув дверью.

— Ну и дурак! — раздалось в зале. — Вот дурак!

Дурак, согласился Непрушин, всю жизнь дураком был. Ведь не встряхнул тогда Цельнопустова, не схватил его за шиворот, а даже спичку поднес, чтобы Цельнопустов прикурил свой неизвестно откуда берущийся «Филипп-Морис». Цельнопустов тогда еще немного покуражился, словно не замечал, что огонь подбирается к чуть вздрагивающим пальцам хозяина квартиры, мужа Варвары.

Вот как оно было на самом деле...

А тут кино!

Но... но ведь и в кино, на предыдущем сеансе, все было как в нелепой жизни Непрушина! Что же это?!.. Кусок ленты пропустили? Так нет. Дубль, может, какой нечаянно вклеили? Петр Петрович настороженно уставился в экран.

Господи боже мой! Кинофильм чем-то изменился! Невозможно, а изменился. И Цельнопустова уже в основном называли Цельнопустовым, а не Половиновым. И если иногда и

путались, то тут же извинялись. А сам Цельнопустов один раз даже крикнул на Варвару: «Никакая ты не Маргарита! Варвара ты обыкновенная!» На что, впрочем, Варвара нисколько не обиделась.

Ну дела! Дела, да и только!

Что-то еще происходило на экране, но уже совсем не так, как на предыдущем сеансе.

Что-то закипало в Непрушине на экране, хотя и не прорывалось больше наружу. Что-то закипало и в Непрушине, сидящем в зале.

Зрители расходились слегка возбужденными. Обсуждали увиденное, пытались понять замысел режиссера.

— Модернизм, — говорил кто-то. — Сейчас модно ставить модернистские фильмы.

— А кто режиссер? Малиновский?

— Малиновский, наверное. Кто же еще? Или Иванов-Ивановский.

— Многое все же непонятно.

— Тут надо раза два посмотреть. Фолкнер ведь, к примеру, как отвечал тем, кто не понял его роман «Шум и ярость»? Читайте, мол, дорогие товарищи, второй раз. А если снова не поймете, то и третий. Вот так!

— И с именами какая-то путаница. То Маргарита, то Варвара.

— Не-ет. Это не путаница. Это прием такой. Она то Маргарита, когда с Половиновым...

— С Цельнопустовым...

— С Половиновым... То Варвара, когда с Непрушиным. Этим как бы раздвоение характера режиссер подчеркивает.

— Надо бы еще раз посмотреть. — Это сказал уже кто-то третий.

— А что... Погода мерзкая. По телевизору ничего интересного. Пошли?

— Пошли.

Ну уж нет, думал Непрушин, они ведь думают, что я полнейший идиот, что мне жизнь не в жизнь, если по морде не дадут, в душу не плюнут. Они ведь что? Они ведь безнаказанность свою чувствуют. Проглотит Непрушин, все проглотит! При нем что хочешь делай! Его в любую дыру сунуть можно, куда больше никто не полезет, Непрушин — сплошной комплекс неполноценности и вечной неосознанной вины! Да... Опустился, сдался, со всеми согласился... Да только не со

всем. Не со всем! Есть еще искра Божия в душе. Ведь больно ей, родимой, больно. Вечно, что ли, носить эту боль?!

Из желавших посмотреть кинофильм еще раз к кассе Непрушин добежал первым. Но его возбужденный бег, тучи разбрызгиваемых капель, странная спешка — все это утвердило еще колеблющихся в мысли, что надо торопиться. Торопиться! Там, у кассы, наверное, не протолкнешься!

Человек тридцать бросилось за Непрушиным, хотя обогнать его никто не смог. Тут подошел трамвай. Дождь дождем, а сидеть людям дома в воскресенье не очень-то и хочется. Кто в гости, а кто и в кино! Ничего плохого нет в том, что человек в такую дерьмовую погоду захотел сходить в кино. Да если и не хотел, но видит, как толпа прет в кассу, едва успев выйти из зала... Да тут и думать нечего. Так просто в кассу не бросаются!

Трамвай полностью опустел, лишь девушка-водитель с сожалением закрыла двери. Работа! На последний сеанс разве успеть...

— А что? Хороший кинофильм? — спрашивали в толпе, мчавшейся с остановки.

— Во! Кинофильм во!

Понятное дело. Если уж все так бегут, то кинофильм: во!

Возле кинотеатра образовалось маленькое столпотворение. В неположенном месте остановился троллейбус. Из кафетерия выскакивали, не успев допить молочный коктейль. Продрогшая группка возле винного магазина, ожидавшая конца обеденного перерыва, держалась дольше всех, но, так и не дождавшись скрипа двери, неуверенно двинулась к кинотеатру.

Нет, так просто кинотеатры не осаждают!

А кассу зеленого зала и в самом деле брали приступом.

Непрушин-то успел взять билет первым. Кассирша даже не спросила, на какой ему сеанс. И так все ясно. Вроде бы как своим человеком стал Непрушин в кинотеатре «Октябрь».

Он и не видел, что там творилось у него за спиной. Он бросился к билетерше, взволнованной, почему-то радостной, кажется, даже ожидающей именно его. Он кипел, он бурлил, он увидел со стороны, что являл собою всю жизнь. Тоска собачья! Мука зеленая! Жуть сорокалетняя!

— Понравилось! — обрадованно спросила билетерша.

— При чем тут: понравилось?! — не понял Непрушин. — Вы хоть знаете, за кого они меня принимали?

— За кого же? — испугалась женщина. Но испугалась как-то не так, не обыкновенно, а со значением. Знала она, зна-

ла, что гражданина, стоявшего перед ней, принимали за кого-то другого. По ошибке принимали. А он совсем другой! Он вот какой, хоть и взволнованный, а симпатичный, уставший, но решительный. Ясно, что он им всем покажет, кто он такой на самом деле! И в кино уже третий раз подряд идет.

— Они меня за... — Но договорить Непрушин не успел, потому что в двери повалили зрители, нетерпеливые, возбужденные. Времени до начала сеанса оставалось совсем мало, а у кассы вон какая давка!

Билетерша принялась за работу, а в двери все напирали, напирали. Тут и двум не справиться. Хорошо, что из комнаты с надписью «Администрация» на помощь выбежали две женщины, потом еще откуда-то две появились. Дело свое они знали, так что первая билетерша даже нашла время спросить еще раз:

— За кого же?

— За дурака, за человека, который все стерпит...

— Господи, — сказала женщина. — И давно?

— Сорок лет. Я вам расскажу...

Непрушин настойчиво потянул женщину в сторону. Та с готовностью отошла. И тут Петр Петрович неожиданно осознал, что он хочет выговориться, давным-давно хочет выговориться. Но не было на земле человека, который бы захотел его выслушать. Никому до него не было дела. Разве что вот этой незнакомой билетерше... А ведь он сам, сам, наверное, делал так, чтобы его не желали слушать. Ну что можно услышать от Непрушина? Жалобы на свою неудавшуюся жизнь, тоскливое описание ударов, подножек и предательств? Так ведь с ним очень трудно не поступать не подло. Он ведь вроде как сам вызывает всех на такие действия. Уж не сам ли он делает других людей хуже, чем они есть на самом деле! Ну пусть некоторые носят нечто в своих душах, так ведь другие не дают развернуться, расцвесть этому нечто. Не специально, не приказом, не давлением, а просто своим поведением, своим отношением к миру.

Вот какая мысль вдруг осенила Петра Петровича Непрушина.

— Знаете что? — сказал он. — Ничего я не буду вам рассказывать. Все увидите сами.

— На работе я, — слабо запротестовала билетерша. — Да и видела уже.

— Это я устрою. Кто у вас администратор?

Женщина молча показала взглядом. Прозвенел третий звонок.

— Я извиняюсь, — сказал Непрушин администраторше. — Эта... м... м... Как вас зовут?

— Надя, — ответила билетерша.

— Надежда Сергеевна сейчас пойдет со мной смотреть кинофильм «Петр Петрович Непрушин».

— А вы кто такой? — грозно надвинулась на Непрушина администраторша.

— Я Петр Петрович Непрушин.

— Про артистов нас не предупреждали.

— Надежда Сергеевна...

— ...Ивановна, — поправила билетерша.

— Все равно. Надежде Ивановне необходимо посмотреть этот кинофильм.

— Если вы настаиваете, я не возражаю, — сдалась администраторша.

— Я настаиваю, — сказал Непрушин, удивляясь своему тону. — Прошу то есть.

Дверь в зал уже закрывали, но их пропустили. Как-никак, билетерша-то свой, кинотеатровский, так сказать, человек. Свет начал гаснуть. Искать свое место в переполненном зале не имело смысла. Два свободных места оказалось в первом ряду с краю.

— И что это народ повалил? — тихонечко удивилась Надежда Ивановна.

Но Непрушина сейчас интересовало другое. Он жаждал увидеть, каким боком еще повернется его экранная жизнь.

И вот побежали титры.

«Петр Петрович Непрушин». А фамилии артиста нет.

«Половинов» зачеркнуто наискосок, а сверху буквами, написанными в явной спешке: «Цельнопустов». И снова нет фамилии артиста, а ведь была, только Непрушин уже не помнил ее.

Зачеркнуто и «Маргарита». И тем же торопливым почерком исправлено на «Варвару». И снова без фамилии актрисы.

То же и с начальником КБ и со многими другими.

По залу прошел шепоток. Все заметили странность в титрах.

Но вот начался и сам кинофильм.

Да-а... Непрушин на экране был жалок и чем-то даже омерзителен Непрушину, сидящему в зале.

Но это только в самом начале. Характер главного героя странно ломался. Он и сам удивлялся этому, удивлялись и окружающие. Друзьям и знакомым было еще труднее, чем самому Петру Петровичу. Он хоть и страшился перемен, происходящих в нем, но, кажется, понимал, прозревал. А ведь другие-то десятилетиями привыкли видеть его мямлей и тряпкой, человеком, который ни при каких обстоятельствах не постоит за себя. И вдруг — на тебе! К примеру, с премией. Ведь раньше Непрушин стандартно и привычно проглатывал обиду, находя ей даже оправдание. А тут вдруг заартачился, да как-то непонятно заартачился. Нет, он не стал требовать себе законную премию. Он просто в нужный момент тихо и спокойно сказал начальнику КБ в чем тут дело, дал точную характеристику происходящему, все расставил на свои места, ввел в краску чуть ли не с десяток человек. И выговор ему не смогли вынести. Собрание проголосовало против.

И уже становилось понятным, что Непрушин не просто изменился, бунтует, защищает свое Я; нет, о себе он, может, думал меньше прежнего, разве что о том, как он влияет на других. Вот и в сцене, когда одному изделию хотели присвоить государственный Знак качества, он вдруг вылез со своими мыслями и соображениями, а ведь его никто не просил, и сорвал все дело. Сорвал без крика, без какого-либо надрыва, а тихонечко, в двух десятках слов объяснив, что если в погоне за Знаком делать, к примеру, тару из полированного дерева, то шифоньеры придется собирать из неструганных досок.

Сорвал Непрушин важное дело, да еще под аплодисменты комиссии, хотя теперь всем стало ясно, что план КБ по Знакам качества будет определенно завален. Ничего в КБ не нашли предложить комиссии взамен.

И на экране, и в зале Непрушину сочувствовали, симпатизировали. И тот, экранный Петр Петрович, кажется, черпал в этом сочувствии новые силы. Раза два Непрушин экранный внимательно посмотрел на Непрушина, сидящего в зале, так что зрители даже начали привставать с мест, чтобы увидеть, кого он там разглядывает.

В миг, в час, конечно, не переродишься. Экранный Непрушин иногда все же срывался на свое прежнее, особенно, если ему противостояли уверенные наглецы.

И когда он чуть ли не в конце фильма пришел домой и увидел нахально развалившегося в кресле Цельнопустова, что-то оборвалось у него внутри. Нет, этого ничем не прошибешь.

Так и будет он всю жизнь носить непрушинскую пижаму и носки, освежаться чужим одеколоном, пользоваться безопасной бритвой, никогда не вытирая ее после бритья.

— Отец, — сказал сын. Порядочный, надо заметить, пацан уже вырос. — Отец, почему он в твоей пижаме ходит?

— Пусть, — еле слышно ответил Непрушин. — Пусть. Не могу я с ним бороться. Сил нет.

— Давай, отец, спустим его с лестницы, — предложил сын.

— Нельзя. Засудит.

— Нельзя, — уверенно подтвердил Цельнопустов. — По судам затаскаю.

А Варвара добавила:

— И без пижамы проживешь...

Лениво, лениво сказала она это.

Непрушин на экране повернулся и вышел из квартиры.

— Ну уж нет! — закричал Непрушин в зале. Закричал так громко, так протестующе и грозно, что в зале ахнули, а Цельнопустов на экране испуганно привстал.

Не помня себя от гнева и ненависти, Непрушин вскочил со своего места на первом ряду с самого краю, и билетерша не успела его удержать, может, впрочем, и не хотела, рванулся по ступенькам на сцену перед экраном, и с ходу, с лету, с разбегу долбанул чуть пригнутой головой Цельнопустова в живот. Не совсем, правда, в живот, чуть пониже, потому что фигуры на экране были побольше размером, чем обыкновенные люди, да и фильм был широкоэкранным. Как бы там ни было, а Цельнопустов согнулся от боли и взревел благим матом.

— Так его и надо! — кричали в зале.

— Не будет ходить, куда не звали!

— Давай, Непрушин! Дави его, подлеца!

Но Непрушин не хотел убивать Цельнопустова. Да и успокоился он почему-то после своего удара.

— Давай, отец, за руки, — посоветовал сын.

— Давай, — согласился Петр Петрович.

И они, подхватив обмякшего, что-то нечленораздельно мычавшего Цельнопустова под мышки, деловито и толково вывели незваного друга семьи на лестничную площадку, легонько придали ему не очень, впрочем, значительное ускорение и, даже не посмотрев, что там у них получилось, вернулись в квартиру.

— Как ты смел! — встретила их Варвара, обращаясь только к мужу. — Что ты значишь по сравнению с Цельнопустовым! Ты хоть представляешь, что он с тобой сделает?!

— Ничего он не сделает, — сказал сын.

— Ты вот что, Варвара, ты это... как его... не нужна мне. А я тебе, кажется, давным-давно. Так что уходим мы с сыном. А Цельнопустов, когда очухается, пусть прописывается здесь на постоянное местожительство. Мы с сыном себе место в жизни найдем. Правда, сын?

— Правда, отец. Прощай, мать...

— Да как же это? — впервые за весь кинофильм заволновалась Варвара, даже вся лень с нее слетела. — Да как же... Жили бы вчетвером... Тихо-мирно...

— Хватит! — отрубил Непрушин.

В зале его бурно поддержали.

Непрушин оглянулся, посмотрел на то место, где он только что сидел. Его место было пусто. А рядом сидела билетерша и трогала платочком щеки.

Входная дверь квартиры со скрипом отворилась, и в комнату вошел начальник КБ, волоча за собой тело Цельнопустова. Момент очень походил на сцены из «Тита Андронника» Шекспира.

— Непрушин, — сказал начальник КБ с угрозой, — ты становишься поперек нашей дороги.

— Да, да, — подхватила Варвара. — Ненормальный он, ненормальный! Жили бы впятером... тихо... мирно...

Так они и стояли. Непрушин с сыном по одну сторону баррикады, принявшие твердое решение и уверенные в своей правоте, а Варвара, Цельнопустов, немного очухавшийся, и начальник КБ — по другую, морально разбитые, дискредитированные в глазах зрителей, но еще не сдавшиеся. Тут было ясно, что борьбы хватит еще серий на пять.

Но кинофильм был односерийным.

Зазвучала финальная тема музыкального сопровождения. Вот-вот должен был зажечься свет.

Непрушин уже почувствовал, как его закрывает огромная буква «К», дернул сына за руку, и оба они вывалились на пыльную сцену, но не ушиблись. А те трое, наверное, так бы и растворились в белизне экрана, особенно Цельнопустов, в данный момент морально совершенно несостоятельный, но начальник КБ толкнул из экрана, толкнул сильно, нерасчетливо, схватил за руку Варвару, дернул и ее. И они

оба успели выскочить из экрана в самое последнее мгновение. Аппарат уже не стрекотал, а плафоны в потолке наливались светом.

Непрушин нагнулся и поднял Цельнопустова.

Свет в это время зажегся в полную силу.

Зал ревел и стонал от восторга. На сцену лезли за автографами. Из дальней двери пробивался директор кинотеатра, которому только что сообщили, что после сеанса началась встреча с киноартистами. Откуда? Ну откуда встреча? Никто не предупреждал. Никаких наценок на билеты не было. И вообще...

Но на сцене действительно стояли артисты. Один так прямо в пижаме.

— Смотри, Непрушин, — кривя рот, зло прошептал начальник КБ. — Не на того ты напал!.. Да кланяйся же, идиот, кланяйся!

И сам премило поклонился. Поклонился и Непрушин, раз, другой. Цельнопустов при этом тоже как-то нелепо складывался пополам.

— Продолжения! — кричали в зале.

— Многосерийку!

— Сериал!

— Что делается, — пробормотал директор, пробиваясь к сцене. — Вчера ни одного человека, а сегодня — столпотворение. На два зала надо пустить... От имени и по поручению! — торжественно пожал он руки киноартистам. — Прошу прощения, не предупредили. Но встречу организуем. После выступления сразу прошу ко мне в кабинет.

Непрушин чувствовал в груди непонятное воодушевление.

— Вторую серию будем играть, — сказал он. — В голубом зале. Здесь — первая, а в голубом — вторая. Кончать с этим делом надо.

— Правильно, отец, — поддержал его сын.

— Сейчас сил нету, — запротестовал Цельнопустов. — Нечестно без передышки.

— Ничего, ничего. Отдохнешь, подлечишься. Мы тебя со средины второй серии. А в начале будет крупный разговор с начальником КБ.

На Варвару Непрушин даже не глядел.

— И еще вот что, — это относилось уже к директору. — Надежда Ивановна, билетерша вашего кинотеатра, тоже будет

играть во второй серии. И не возражайте, пожалуйста. Так требует логика развития кинофильма.

В зал уже рвались зрители.

Непрушин пристально оглядел ряды. Нет, быть киноартистом он не собирался. Довести только начатое дело до конца. Хватит ли сил? Ну да зрители, Надежда Ивановна... помогут.

Ведь сорок, сорок лет убито! Выкинуто! Зачеркнуто!.. И никто особенно не заставлял, не вынуждал... Сам, сам, только сам. А много ли осталось впереди?

Около кинотеатра «Октябрь» в этот вечер, промозглый, нудный, противный, было очень многолюдно. Даже трамваи и троллейбусы то и дело останавливались в неположенном месте, чтобы выпустить куда-то спешащих пассажиров.

ЗАЧЕМ ЖИЛ ЧЕЛОВЕК?

1

Владимир Чесноков заглядывал то в одну, то в другую дверь, не зная, к кому обратиться, и не решаясь задать вопрос. Сотрудники молодежной газеты «Утренние зори» деловито сновали мимо него по коридору. К обеду его фигура уже примелькалась, и ответственный секретарь бросил на ходу:

— Хлесткий заголовок для статьи о пионерлагерях! А?

— У меня стихотворение, — ответил Чесноков.

— Чтоб не стандартно и в самую суть. А? — остановился секретарь.

— Стихотворение... вот... — Чесноков бережно вытащил из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и начал разворачивать его.

— А, — досадно сморщился секретарь. — Стихи, стихи! Прозы сейчас пишут мало. — И он неопределенно махнул рукой куда-то в конец коридора.

Чесноков потоптался еще немного и уже собрался плюнуть на все и уйти, но в это время в коридоре снова появился секретарь.

— Ну что у вас с вашим стихотворением? Что Пионов сказал?

— Ничего.

— Он всегда так. Не унывайте.

— Я его даже и не видел еще.

— Правильно. Он сейчас в командировке. Вся поэзия в командировках. Большое стихотворение?

Чесноков не успел ответить. Ответственный секретарь взял его под руку, подвел к дверям с надписью «Редактор» и, втолкнув в комнату, крикнул:

— Тимофей Федорович, это мой знакомый! Борис!

Чесноков оказался посреди комнаты. Смущение его достигло предела. Тимофей Федорович, сорокалетний мужчина, уже страдающий одышкой и давным-давно забывший, чем интересуется юность, сидел за столом и писал заявление о переводе его на другую работу. Он уже давно чувствовал, что перестал понимать молодых сотрудников своей газеты, ходивших с модными бородками и в ярких свитерах даже в жа-

ру. Да и его, он это знал, не всегда понимали. В сорок лет руководить молодежной газетой...

— Ну что там у вас, Борис? — спросил он.

— Стихотворение... Владимир я.

— Отлично. Покажите.

Чесноков протянул ему дрожащей рукой лист бумаги. Редактор на несколько секунд углубился в чтение, а потом спросил:

— Что вы этим хотели сказать?

— ?..

— Ну, в чем идея, мысль стихотворения?

— Шел молодой человек, — начал Чесноков, стараясь говорить бодро и непринужденно, — по улице... увидел девушку. И ему стало очень хорошо.

— А что было потом?

— Не знаю... Просто ему стало хорошо.

— Они так и не поженились?

— Нет. Он ее больше не встречал никогда.

— Откуда вы знаете?

— Я видел это собственными глазами.

— Хорошо. Просто прекрасно... И что же вы хотите? Опубликовать в нашей газете?

— Я просто пришел. Кому-то все равно надо показать.

— А вы что, намерены этим заняться всерьез? Посвятить всю свою жизнь. Или просто так?

— Я бы хотел серьезно, — отважно ответил Чесноков.

— Молодец! — Редактор даже вышел из-за стола и похлопал начинающего поэта по плечу. — Если бы вы написали это просто так, мы бы напечатали недельки через две-три. А если вы серьезно, то придется еще поработать. Серьезно всегда труднее, чем просто так.

Через двадцать минут Чесноков вышел из редакции радостный и улыбающийся. Стихотворение, конечно, не приняли, но сколько он услышал полезного, сколько интересных тем подсказал ему редактор! А в будущем, если его стихи окажутся свежими и оригинальными, то даже напечатают. Честное слово, напечатают!

Чесноков прибежал к себе в квартирку на пятом этаже, с шумом распахнул дверь, поцеловал Анечку, свою жену, бросился на диван, крикнул:

— Работать и еще раз работать! — и начал подробно рассказывать.

Анечка присела на край дивана, широко раскрыла свои голубые глаза и, охая и ахая в особенно страшных местах повествования, прижимала кулачки к груди.

Так внимательно и не перебивая выслушала она Володеньку.

А когда он закончил свой рассказ, сказала:

— Володька! А ведь ты в душе и так поэт. Я это знаю.

Владимир смутился и начал было возражать, но Аня перебила его:

— Неужели ты станешь настоящим, общепризнанным поэтом?

Чесноков вздохнул и сурово произнес:

— Все зависит только от нас.

Анечка утвердительно кивнула головой.

2

Чесноков работал старшим инженером на радиозаводе. Анечка готовила торты на кондитерской фабрике. Оба любили литературу, разбирались в поэзии и значительную часть денег тратили на приобретение книг, чем вызывали недоумение, а иногда и смех у соседа по лестничной площадке Вениамина Кондратюка, весь бюджет которого был подчинен одной цели: приобретению мотороллера — мотоцикла — мотоцикла с коляской — «Запорожца» — «Москвича» и т. д.

Чесноков на три месяца был освобожден от мытья полов в квартире. Писать так писать!

Они приходили с работы почти одновременно, разогревали вчерашний борщ или суп с лапшей, наскоро перекусывали. Владимир выкладывал на стол лист чистой бумаги, шариковую авторучку и начинал расхаживать из угла в угол. Анечка занималась домашними делами, которые никогда не переделаешь, сколько ни старайся.

Начало каждого такого вечера пропадало для Чеснокова зря. Он ничего не мог написать. В голову лезла всякая ерунда, которая отлично рифмовалась, но в ней не было ни крупицы чувства. Плоское, ремесленное, как по заказу для ширпотреба.

— Вовка, перестань мучиться, — говорила обычно Анечка, вытирая мокрые руки передником и бросая свою работу. Она брала его за шею своими маленькими крепкими руками и заглядывала ему в глаза. И ее глаза были крохотным, но интересным, ласковым миром. Маленькой вселенной.

— Ну, отпусти меня, — говорила она.

— Подожди, — отвечал он. — Я еще не все прочитал.

— Что там можно прочесть?

— Все. Там все мои стихи.

Она прижималась к его груди и слушала, как бьется сердце, восторженное и одержимое.

Потом они садились на диван или прямо на пол, и она о чем-нибудь его спрашивала, а он отвечал. Или он спрашивал, а она отвечала. Они вспоминали: «А помнишь...», мечтали: «Вот будет здорово...», спорили: «Володька, ты не прав»; решали тысячи проблем и создавали тысячи новых. В голове у Чеснокова рождались музыка и стихи. Стихи у него всегда были связаны с музыкой. Анечка замолкала, чувствуя, что с ним происходит что-то странное. Может быть, это состояние странности она и любила в нем больше всего. Он и сейчас был таким же, как в день их знакомства. И она хотела, чтобы он был таким всегда — близким, родным и странным.

— Прочти, — просила она шепотом.

Он начинал говорить. И она переносилась в странный, необычный и в то же время удивительно знакомый мир.

В нем были друзья, знакомые, старый сибирский городок, ветер морей, россыпи звезд, молоденькие деревца и крики ребятишек за окном. Все было так, как она привыкла видеть каждый день, и только какой-то сдвиг его настроения делал все свежим, удивительно неожиданным. Мир раскрывался под каким-то новым углом зрения. Может быть, это было вдохновение? Или талант? В его мире плакали и смеялись, радовались и печалились, любили и ненавидели. Но все в нем было честным, странным и необыкновенным. И если в его стихи иногда врывался крик боли и отчаяния при виде уродства человеческих отношений, то он звучал диссонансом. Очень странным диссонансом, без которого вся музыка поэзии превращалась в изящную пошлость.

Перо и бумага ненужными валялись на столе.

— Кажется, начинается сплошная ерунда, — говорил он, и они шли гулять в Университетскую рощу или Лагерный сад, если погода была хорошая, или, раскрыв дверь на балкон, слушали шум дождя. И молчали.

Сколько можно сказать друг другу таким молчанием!

Иногда он сам записывал свои стихи, иногда это делала Аня.

Случалось, что у него «заклинивало» и стихи не писались. Тогда они шли к кому-нибудь в гости или приглашали к себе.

Сосед по площадке купил мотороллер. Чесноков помогал грузить его на машину, втаскивать в гараж, и вместе с женой был приглашен на «обмыв» покупки.

Собралось человек восемь, все заядлые мотоциклисты и автомобилисты. Разговор, естественно, вертелся вокруг автомобильной темы. Кондратюка поздравляли, пили за колеса, за руль, за запчасти. Советы сыпались со всех сторон. Вениамин Кондратюк сиял. Его жена незаметно сновала из комнаты в кухню, таская тарелки и стаканы.

Вначале Чесноков чувствовал себя неуютно, но потом постепенно освоился. Кондратюк то и дело бегал в гараж посмотреть, не сперли ли его мотороллер. Мотороллер никто не спер. Кондратюк показывал всем ключ зажигания и старательно окунал его в стакан с водкой.

— А почему бы и вам не купить мотороллер? — спросил он Чеснокова.

— Действительно, почему? — зашумели вокруг. — Красота! В лес, на базар за картошкой. Быстро.

— Мы как-то не думали об этом, — сказал Чесноков.

— Да у нас и денег-то нет, — сказала Анечка.

— Ага! Денег у них нет! На книги, на барахло — есть. А на мотороллер — нет!

— Книги не барахло, — сказал Чесноков.

— Ну зачем вам столько книг?

— А зачем тебе мотороллер?

— Да хотя бы в лес съездить. В автобусе не надо толкаться. Захотел — съездил. В любой момент.

— Так же и книги. Захотел — взял с полки и прочитал.

— Ну прочитал раз, и хватит. Да и в библиотеке можно взять.

— Можно ездить на такси. К чему мотороллер?

Кондратюк даже опешил:

— На мотороллере я буду ездить! Он окупается! А у вас эта макулатура стоит без пользы! Зачем?

— Это не макулатура. Это люди, друзья. Верные — и на всю жизнь.

— Врете вы! Интеллектуалами хотите казаться! Чтобы зашли к вам в квартиру и первым делом увидели полки с книгами. Вот, дескать, умные люди живут. Сервант с посудой в угол, значит, а книги на видное место... Знайте все, что мы выше соседа! Он купил мотороллер, а книг не покупает! Писаки гонорары задарма получают! Землю бы всех копать заставить!

— Это ты переборщил, — начали успокаивать Кондратюка.

— Подумаешь! — орал хозяин. — Я тоже книжный шкаф заведу!

— Кур заводят, — сказал Чесноков.

— Вот мотоцикл куплю, а потом книг полный шкаф наставлю, чтобы все знали, что я тоже не дурак.

— Ну нет! — заорал Чесноков и даже ударил кулаком по столу. — Я тебе не дам книги покупать. Не позволю! Там люди, мысли. И чтобы их в твой шкаф-гроб? Да они там зачахнут, с ума сойдут, умрут. Не позволю!

— Пойдем домой, Володя, — сказала Анечка.

Анечка тянула Чеснокова за рукав. Кондратюка держали за пиджак, он все время порывался броситься врукопашную.

Чесноков проснулся на другой день с пакостным привкусом во рту. Голова хоть, слава богу, не болела. Анечка только сказала:

— Как ты мог затеять с ним этот разговор?

— Разве я начал? — оправдывался Чесноков.

На площадке он встретился с Кондратюком. Было как-то неловко за вчерашнее, и он спросил:

— Э-э, Вениамин, как у тебя мотороллер?

— Спасибо, ничего, — ответил Кондратюк. Он тоже не совсем уверенно чувствовал себя после вчерашнего разговора. — А ты, Владимир, дал бы мне что-нибудь почитать. А? Чтоб за душу взяло!

— Такого у меня нет, да и вряд ли где найдется, — ответил Чесноков, но Кондратюк не понял иронии.

— Ну что-нибудь там современное. Что в этом году на соискание Государственной премии выдвинуто?

Они прикурили от одной спички и вместе вышли из подъезда. Работали они на одном заводе, в одном отделе.

С неделю Чесноков просил Анечку даже не упоминать о стихах и литературе вообще.

Потом отошел.

4 Через три месяца было готово около тридцати стихотворений. Чесноков отдал их перепечатать машинистке, работавшей на дому. При этом он страшно волновался, назвался чужим именем, конфузился. И когда наконец все было отпечатано, облегченно вздохнул. Однажды в пятницу, после работы, он надел белоснежную рубашку, черный костюм, нацепил синтетический галстук, поцеловал Анечку и направился в редакцию.

Особенно не размышляя, он прошел прямо к редактору. Но редактор был не в духе. Его никак не освобождали от работы в молодежной газете. Про единственный визит Чеснокова он, конечно, забыл и теперь взвинченно и недружелюбно попросил его выйти вон. Чесноков, ничего толком не понимая, — ведь его же просили прийти через три месяца! — выскочил в коридор и, собравшись с мыслями, решил все бросить и идти домой. Редактору, который, в общем-то, был хорошим и добрым человеком, стало стыдно оттого, что он ни с того ни с сего наорал на незнакомого человека. И через несколько секунд он тоже был в коридоре. Чесноков еще не ушел. Редактор облегченно вздохнул:

— Молодой человек, что, собственно, у вас?

Чесноков вкратце напомнил о своем первом визите и, смущаясь, достал пачку листов. Редактор повел его в отдел поэзии к Пионову. Там они мирно побеседовали. Чесноков оставил свои стихи. Пионов мельком взглянул на них и сказал:

— А тут что-то есть... — и записал телефон и адрес Чеснокова, обещая позвонить на будущей неделе.

Прошло четыре дня, и Пионов действительно позвонил. Он просил Чеснокова немедленно прийти в редакцию. Дело очень важное и срочное.

Чесноков отпросился с работы и кинулся в редакцию. Если они решили отказать, то незачем было бы и вызывать его, думал он. Наверное, напечатают.

Из проходной завода, он выскочил радостный и чуть ли не пел во весь голос, но, подходя к редакции, сник и начал волноваться.

Пионов встретил его довольно дружелюбно, усадил в кресло, предложил сигарету и несколько минут молча рассматривал Чеснокова, делая вид, что роется в бумагах на столе.

Молчал и Чесноков.

— Я прочел ваши стихи, — сказал наконец Пионов. — И нисколько не преувеличу, если скажу, что написаны они здорово.

У Чеснокова почему-то упало сердце.

— Я сам поэт, — продолжил Пионов. — Скоро в Западно-Сибирском издательстве выйдет мой сборничек. Я знаю, что говорю. Написано у вас талантливо. Когда вы их написали?

— С июня по август, — внутренне холодея, ответил Чесноков. Что-то в голосе Пионова говорило ему, что со стихами дело дрянь. Не напечатают. Ни при каких условиях не напечатают. — Три месяца. Недели две как закончил.

— А как бы вы назвали весь цикл, если бы это понадобилось?

В небольшой комнате клубами висел дым. Кто-то пытался знаками вызвать Пионова в коридор, но тот только крикнул: «Закройте дверь! Занят я, не видите, что ли?»

— Я назвал бы его «Удивление».

— Странно, — прошептал Пионов. — Очень странно.

— А что случилось? — спросил Чесноков.

— Вы никому не показывали свои стихи? — не отвечая на вопрос, в свою очередь, спросил Пионов. — Друзьям? Знакомым?

— Нет. Мне и в голову не приходило.

— Странно. А слышать или видеть их раньше у кого-нибудь... Впрочем, расскажу все. Меня, как я уже говорил, взволновали ваши стихи. Я сделал подборку. У нас есть такая рубрика — «Молодые голоса». Тимофей Федорович тоже одобрил. И тут к нам зашел Серегин. Знаете такого поэта? Нашего, сибирского?

— Знаю, — кивнул головой Чесноков. — Читал.

— Он у нас бывает часто. Читает все, что мы готовим в набор. Правит иногда. Он прочел ваши стихи и сказал... что это его стихи... Вот так.

— Как его? — одними губами спросил Чесноков.

— Он будет здесь с минуты на минуту. Я пригласил его. Понимаете, редакция должна разобраться. Мы не имеем права попадать в глупое положение.

— Это мои стихи, — прошептал Чесноков.

— И поэт-то он так себе, бездарность, — словно не слыша Чеснокова, сказал Пионов. — А вот, поди ж ты, выпустил уже четыре книжки. Все серость невероятная. А тут сразу такой фейерверк... Он уже отослал рукопись в издательство. И там ее приняли. И название то же — «Удивление». Понимаете, какая петрушка получается?

Пионов встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате, постукивая кулаком в раскрытую ладонь и что-то рассеянно напевая.

— Насколько я понимаю, — сказал вдруг осевшим голосом Чесноков, — меня обвиняют в воровстве...

— Что вы, что вы! — заволновался Пионов. — Я никого не обвиняю. Редакция просто должна разобраться. И кроме того... Серегин уже признанный поэт. У него летом, по его словам, был приступ вдохновения.

— Это мои стихи, — твердо сказал Чесноков.

Дверь отворилась, и в комнату уверенно, как в собственную квартиру, вошел человек средних лет с портфелем.

— Привет, Гриша, — привычно приветствовал он Пионова. — Сергей Серегин, — протянул он руку Чеснокову. Тот неуклюже поднялся, держась одной рукой за спинку стула.

— Чесноков.

— Вот как! Лю-бо-пыт-но!

На протяжении последующих пятнадцати минут Чесноков молчал. Говорил Серегин. Он бросил на стол кипу листов, исписанных чернилами и отпечатанных на машинке, и начал подробно рассказывать о том, как на него после полугодового перерыва снизошло вдохновение, как им овладела радость поэтических открытий, уверенность, что он оставит важную веху в поэзии.

— Вот, все тут. Адский труд, бессонные ночи, тонны бумаги. На каждом листе дата. Можно проследить, как рождались эти стихи. К счастью, я не уничтожаю черновиков. Вот доказательства, что это все мое. В издательстве почти приняли. Скоро договор... И в Союз писателей не сегодня-завтра примут. А у вас, у вас есть черновики с датами?

— Черновики у Анечки, — сказал Чесноков.

— У Анечкина? — насторожился Серегин. — Не знаю такого.

— У Анечки! — заорал Чесноков. — У моей жены! В голове! Понимаете!

— Так, так, так. Понимаю, — радостно проговорил Серегин. — Значит, черновиков нет? И что же вас заставило...

— Во всяком случае, не веха...

— Какая веха?

— Важная веха в поэзии. Вы же сами это сказали. Я писал, потому что не мог не писать.

В комнату вошел редактор и скромненько устроился в углу на трехногом стуле.

— Что же делать? — с нескрываемым отчаянием в голосе спросил Пионов.

— Во всяком случае, в газете ничего не помещать, — подсказал Серегин.

— Это и так ясно, — буркнул Пионов. — Дальше что?

— Плагиат! Я этого так не оставлю. Я судиться буду!

— А вы будете отстаивать свои права? — спросил Пионов у Чеснокова.

— Судиться, что ли? — ответил Чесноков. — Вряд ли. Ведь у меня нет черновиков.

«Эх, бедняга, — подумал редактор. — Не в черновиках дело. В человеке».

— Я вам заявляю со всей ответственностью! — неизвестно к кому обращаясь, кричал Серегин.

Чесноков неуклюже встал, пробормотал: «До свиданья!» — и пошел к выходу.

— Вы уходите?! — крикнул ему Пионов. — Приносите еще что-нибудь. Можно и по одному стихотворению.

— Я застолбил этот участок поэзии и никому не позволю! — все еще кричал Серегин.

«О-хо-хо, — подумал главный редактор. — Не в поэзии, а под солнышком, чтоб теплее и сытнее, ты хочешь застолбить участок. И не попрешь тебя. По судам затаскаешь!»

— Вы заходите, Владимир, — еще раз крикнул Пионов.

Чесноков осторожно прикрыл дверь и, сгорбившись, вышел на улицу.

5

Моросил дождь. Сентябрь. Пакостно на душе.

Чесноков побродил по Университетской роще, стараясь ни о чем не думать. Небо вскоре прояснилось. В сентябре дожди еще не идут неделями.

Когда он открыл дверь квартиры, Анечка была уже дома. И как он ни старался казаться спокойным, она сразу же заметила, что произошло что-то нехорошее. Она умоляюще взглянула на него, но он только покачал головой, и тогда она не стала его ни о чем расспрашивать. Он сам подошел к ней, погладил волосы, приподнял ее голову за подбородок, грустно улыбнулся и все рассказал. Она ни разу не перебила его, только глаза ее то расширялись, то сужались.

— Но ведь ты же не думаешь, что он каким-то образом присвоил твои стихи? — спросила она, когда он закончил. И голос ее был чуть-чуть испуганным.

— Конечно, нет, Анечка, — ответил он. — Это просто нелепое совпадение. Грустно.

И тогда она заплакала, а он не просил ее успокоиться — знал, что этого нельзя делать.

В дверь позвонили. Это оказался сосед Кондратюк.

— Мне бы рублишко разменять, — сказал он.

— Проходи, — предложил Чесноков.

Кондратюк прошел в комнату, увидел заплаканное лицо Ани и спросил:

— Что тут у вас происходит? Похороны, что ли?

Чесноков не умел лгать и в двух словах рассказал соседу о случившемся.

— О, да ты, оказывается, в поэты метишь!

— Никуда я не мечу, — ответил Чесноков.

— Не скромничай, не скромничай. При, если возможность есть. Там платят здорово. Вот поэтому туда все и лезут.

— Не все.

— Все, все. А вакансий мало. Вот и тащат друг у друга, кто стих, а кто и роман. И у тебя сперли. Судись, мой тебе совет. Может, что и возьмешь. А лучше купи мотороллер. Колеса, они, знаешь, всегда себя оправдают. Я уже рублей на двести малины, смородины и прочей дребедени навозил.

— Продаешь, что ли?

— Не-ет! Возни много. Увидят свои сотрудники со стаканом на базаре, засмеют. Я люблю, чтоб все было спокойно, тихо. Жена на зиму варит. С братом мы: он — сахар, а я — ягоду. Колеса — это вещь. Бери зимой в кредит. За лето оправдаешь. Дело надежное.

— Вениамин, у тебя, кажется, мотороллер спереть кто-то хочет. Слышишь, заводят?

Кондратюк прислушался, вытянув шею, опрометью бросился к двери, забыв разменять рубль.

— Володя, ты хочешь есть? — спросила Аня.

— Как зверь, — ответил Чесноков. — Сто лет не ел. — И он засмеялся.

Аня подозрительно посмотрела на него и тоже засмеялась.

— Тогда садись.

Она загремела тарелками. В дверь снова позвонили. Это опять оказался Кондратюк.

— Целый, — сказал он, ухмыляясь, — у меня не сопрут. У меня запоры, знаешь, какие!

Он вдруг недоуменно пожал плечами и спросил:

— У вас что, свадьба уже или именины? Чего смеетесь?

— Есть хочу, Вениамин, — сказал Чесноков. — Ты знаешь, так есть хочу, терпенья нет.

— А-а-а! — недоверчиво протянул Кондратюк. — Тогда понятно. Ну а как с рублишком-то?

Кондратюк ушел довольный. Рубль разменял. Мотороллер цел. Что еще надо?

— Володя, — сказала Аня, когда они ложились спать, — я ведь знаю, ты еще много напишешь.

— Много, очень много, — ответил он.

И все же после этого случая Чесноков как-то сник. Все-таки было очень неприятно. Дело даже не в том, что скоро выйдет его сборник под чужой фамилией, и уж, конечно, не в том, что кто-то другой получит за него гонорар. Просто Серегин не мог написать такие стихи. Чесноков это чувствовал. Одно дело писать стихи, чтобы глаза любимой женщины превращались в радостное удивление, другое — чтобы застолбить и оставить веху.

Совпадение? Конечно. Не украл же их Серегин. Но почему именно он? Чеснокову было бы легче, если бы это был кто-нибудь другой. Пусть Пионов или сам редактор газеты. Правда, редактор стихов не писал.

Чесноков принялся за домашние работы. Нужно было отремонтировать квартиру. Он работал с остервенением, с грохотом обдирал полуобвалившуюся штукатурку с потолка, вырывал с «мясом» гвозди из рассохшегося пола, выпивал за вечер три литра кваса и орал во все горло арии из популярных оперетт.

— Вовка, — говорила Аня, — учти, что на самом деле ты не такой. Ну что ты напускаешь на себя?!

— Я такой, я сякой, — речитативом тянул Чесноков. — Я всякий.

— Неправда. У тебя сейчас в душе злость. На кого? Зачем?

Чесноков, не отвечая, с одного удара вогнал гвоздь в доску по самую шляпку.

Однажды он, отчаянно фальшивя, запел: «Здоров ли, князь? Что призадумался?»

Аня в слезах вбежала в комнату и закричала:

— Струсил! Расписался! Никакое это не совпадение. Ты думаешь, что он у тебя украл стихи! Поэтому и бесишься!

— Нет. Я этого не думаю. А вообще, конечно, и противно на душе, и обидно. Скоро перегорит и забудется. Хочешь новые стихи? Прямо из печки! Хочешь?

— Хочу, — сказала Аня и вытерла глаза грязными ладонями.

Всего восемь строк, грубо вырубленных из твердого камня.

Аня поняла, что Вовка отошел, выжил.

А через две недели он встретил эти стихи в «Литературной газете». Подписал стихи какой-то неизвестный Чеснокову поэт.

Чесноков даже не удивился, не стал разыгрывать из себя обиженного и тяжело переживающего удары судьбы человека. Он просто перестал записывать свои стихи, не старался их запомнить, а просто длинными зимними вечерами импровизировал перед единственной своей слушательницей — Анечкой. Он был неважным чтецом. Со сцены его, быть может, никто и не стал бы слушать. А зря... Нужно было только поверить ему, понять, что мир, рождающийся в его стихах, реален, несмотря на всю свою фантастичность. Анечка верила ему и понимала его. Если бы Кондратюк присутствовал на этих вечерних чтениях, он наверняка удивился бы и сказал:

— Вот прет из тебя, Чесноков! Прямо стихами прет! Только записывай и переводи в валюту. Мотороллер ку...

Но Кондратюк никогда не слышал стихов Чеснокова — ведь это не окупалось, а значит, и не имело смысла. Да и в его присутствии стихи Чеснокова рассыпались бы ворохом беззащитных слов, робких, неуклюжих, смешных.

Анечка тайком записывала те строки, которые успевала запомнить, а память у нее была отличная. Пачка пухла из месяца в месяц. Чесноков знал, что жена пытается «сохранить для потомков» его творения, но ему не приходило в голову запретить ей это. Никогда он не просил у нее прочитать их. Зачем читать черновики? Он мог встретить все свои стихи в газетах, журналах, сборниках. Правда, всегда под чужими и разными фамилиями... Ну и что же?

Несколько раз Чеснокову на работу звонил Пионов. И просил принести что-нибудь новенькое. Но Чесноков отказывался под разными предлогами. В первый раз он сказал, что бросил писать, но Пионов ему не поверил:

— Это теперь от тебя не зависит: бросить или не бросить. Они сами будут рождаться в твоей голове. И ты тут уж ничего не поделаешь.

В следующий раз Чесноков ответил, что нет ничего значительного. Потом — что у него нет времени. И это была правда, потому что группа, где работал Владимир, как раз заканчивала тему. И в последний раз Чесноков сказал только одну фразу:

— Повторяется все та же история, — и повесил трубку.

Пионов позвонил еще раз и попросил разрешения прийти к Чеснокову домой. У Чеснокова не было причин отказывать, и он назначил время, но совершенно неожиданно уехал в командировку.

А Пионов все-таки пришел. Анечка была дома. Пионов представился, а узнав, что Чесноков уехал, даже обрадовался.

С полчаса они говорили о поэзии, выяснили, что им нравятся одни и те же поэты. Как бы невзначай Пионов спросил, продолжает ли Чесноков писать стихи. Анечка молча показала ему пачку листов и рассказала, что она записывает это тайком от Владимира.

— Все это было уже в газетах и журналах, — сказала Анечка. — Просто ужас какой-то!

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Пионов. — Вы разрешите мне это посмотреть?

Анечка разрешила. Пионов наскоро перелистал страницы, заполненные строчками с четким почерком.

— Я это уже читал, — сказал он наконец.

— Ну вот видите, — грустно сказала Анечка. — Вся трагедия в том, что он не может не писать, даже если захочет этого. Будет молчать днем, ночью во сне выговорится.

— Да, да, да! А вы могли бы дать мне эти стихи на несколько дней?

— Пожалуйста, возьмите. Только я бы не хотела, чтобы узнал Володя.

— И напрасно. Надо показать ему это. Я сам покажу, а вы уж не отказывайтесь, что записывали. Может быть, ему так будет лучше.

Аня напоила Пионова чаем с медом, а он поставил ей на газовую плиту бак со стиркой. Ей этого уже нельзя было делать самой. Аня ждала ребенка. Перед уходом Пионов заволновался — как же она снимет бак, и не успокоился до тех пор, пока не договорился с соседом, что тот поможет. Это оказался Кондратюк. Он был так рад познакомиться с представителем прессы! Как же, он знает, знает, что и Чесноков причастен к литературе. Нет, нет, не читал, но еще надеется когда-нибудь прочитать. Вот если бы было лето, он отвез бы товарища представителя прессы домой на мотороллере. Добрая и отзывчивая душа был этот Кондратюк.

6

Когда Чесноков вернулся из командировки, Анечка все ему рассказала.

— Ерунда это, — сказал Чесноков. — Записывать тут нечего. Слушай уж ты мои стихи одна. Гордись хотя бы тем, что раньше всех можешь познакомиться с ними. Но Пионова, видимо, здорово заинтересовала вся эта история. Вскоре он снова пришел к Чесноковым и притащил с собой старящегося редактора молодежной газеты Тимофея Федоровича. Услышав шум, прибежал и Вениамин Кондратюк. Пионову не хотелось высказывать свои соображения, причем совершенно фантастические, при посторонних, но Кондратюк отрекомендовался редактору лучшим другом семьи Чесноковых, к тому же соседом. И Пионову пришлось терпеть.

Разговор долгое время вертелся вокруг да около. Редактор уже был вынужден согласиться, что «Паннония» для дорог Сибири барахло по сравнению с «Уралом». Чесноков вообще ничему не радовался.

Наконец Тимофей Федорович отодвинул чашку и сказал:

— Все! Спасибо! Больше не могу!

Пионов тоже облегченно вздохнул, потянулся за своим объемистым портфелем, раскрыл его и вытащил толстую пачку листов, газетных вырезок и небольших книжечек. Кондратюк поспешно сгреб посуду на край стола, а Анечка унесла ее на кухню. Все расселись вокруг стола, серьезные и сосредоточенные, как на важном совещании.

— Владимир, — начал Пионов. — Может быть, то, что ты сейчас услышишь, для тебя будет немного неприятно.

Чесноков махнул рукой: «Валяйте».

— Тот случай с Сергеем Серегиным все никак не выходил у меня из головы, — продолжил Пионов. — Я тщательно просмотрел то, что он писал раньше и после того. Я тогда говорил, что последний сборник Серегина отличается от всего, что он написал, как небо от земли. Это же действительно явление в поэзии. Никто так не писал раньше. Вспомните Маяковского. Ведь ни до, ни после него никто так не пишет.

— Писали, Григорий, как же! Только не получалось, — вставил редактор.

— Вот именно. Ничего толкового не получалось. А у Маяковского получилось.

— Ну и что? — страшным шепотом спросил Кондратюк.

— А то, что бездари и кустари все похожи друг на друга, а талант не похож ни на кого.

— Талант, — холодея перед какой-то страшной тайной, прошептал Кондратюк.

— Сборник под названием «Удивление», который выпустил Серегин, — это Грин в поэзии. Не успел он выйти в свет, как о нем заговорили. Вы бы отличили рассказы Александра Грина от рассказов других авторов? — спросил Пионов, обращаясь к Кондратюку.

Кондратюк смутился. Некогда ему было читать Грина. То мотороллер, то грибной сезон, то ягодный. Зимой и то передохнуть некогда.

— Ну да ладно, — вздохнул Пионов. — Не в этом дело. Вот три стихотворения из «Юности», одиннадцатый номер за прошлый год. — Пионов нашел журнал в куче бумаг и прихлопнул его ладонью. — Читали?

Чесноков потянулся за папиросами.

— Понимаю, — сказал Пионов. — Неприятно. Я видел эти стихи в черновиках, которые записывает ваша жена Аня. Стиль, образ мышления, способность видеть мир не так, чуть-чуть не так, как все... Удивление, это все то же удивление! Мир потихонечку разучивается удивляться. Чем можно удивить человека? Полетом на Марс? Африкой? Узенькой полоской зари на восходе солнца? Или, быть может, музыкой, детской улыбкой? Чем?

— Вот это правильно! — восторженно произнес Кондратюк.

— Нет, неправильно. Все это еще удивляет, но как-то вяло, однобоко. Удивляет обычно. Представляете себе — обычное удивление? Обычное удивление! Разве удивление может быть обычным? Но то оно и удивление, чтобы быть необычным.

Чесноков сидел с таким видом, словно все это его не касалось.

— А в этих стихах все иначе, чем у других.

— Он и на самом деле такой, — сказала Анечка и смутилась. — Какой в жизни, такой и в стихах.

«Господи, — подумал редактор, — что за счастливая женщина».

— А стихи подписываются чужими фамилиями. Я их все собрал. Вот посмотрите. Это твои стихи, Владимир?

— Я знаю, — тихо сказал Чесноков. — Я их все читал.

— Я сначала собрал их все вместе и лишь потом пришел к вам в надежде, что увижу здесь хотя бы черновики. И я не ошибся. Они все здесь.

— Не все, — сказал Чесноков. — Последние я не читал даже Анечке.

— Вот эти?

— Да.

— И вот стихийно возникло общество поэтов, которые написали «ваши» стихи. Они как-то нашли, отыскали друг друга. Их человек десять. А Серегина они избрали своим председателем.

— Я все это знаю, — спокойно и с расстановкой сказал Чесноков. — Ничем вам полезным быть не могу.

— У меня предположение, — сказал Пионов. — Совершенно фантастическое. Может быть, это действительно не вы пишете, — Пионов машинально перешел на «вы». — Может быть, пишут действительно другие? А ваш мозг так точно настроен на определенное настроение, что мгновенно воспринимает их. И никак нельзя доказать, что они возникают у вас первого.

Анечка закусила губу.

— Телепатия! — покрываясь холодным потом, выдавил из себя Кондратюк.

— Да, да. Нет! При чем тут телепатия? Не в этом дело.

— Ну что ж! — сказал Чесноков. — Спасибо вам за хлопоты. Все-таки участие.

— В том-то и дело, — пожалуй, впервые за все это время открыл рот редактор молодежной газеты, — что все это ерунда.

— Нет никакой телепатии, — облегченно вздохнул Кондратюк. — Я слышал.

— Почему для всех этих поэтов, — редактор дотронулся кончиками пальцев до кипы бумаг, — именно эти стихи являются исключением из их творчества?

— Да, да, — поддержал его Пионов. — Напишет одно, два стихотворения или, как Серегин, целый сборник, а ни до, ни после этого ничего похожего больше нет. Зато появляется у другого. И снова как явное исключение. А у тебя ведь это система. Ничего нельзя спутать. Так, может быть, это они каким-то чудом, непосредственно из мозга в мозг воспринимают твои стихи? И эти стихи действительно твои?! Понимаешь, это твои стихи! — Пионов, довольный, откинулся на спинку стула и оглядел всех торжествующим взглядом.

— Но этого никак нельзя доказать, — сказал Тимофей Федорович. — К сожалению.

— А зачем доказывать? — спросил Чесноков.

— Нет, можно, — возразил Пионов. — Трудно, но можно. Теоретически можно, если знать, у кого они возникнут в голове. Какая-то разница во времени должна быть. Предположим, у него, у этого человека, вечером чернила кончились или бумага. Нечем записывать. А утром дела наваливаются, не передохнешь. Вот тебе и разница во времени. Ты-то успел записать. Причем, разница всегда должна быть в твою пользу.

— Что же мне, всегда пузырек с чернилами открытым держать по этому поводу? — усмехнулся Чесноков.

— Это действительно смешно, — сказала Аня.

— Надо общественность на ноги поставить, — посоветовал Кондратюк. — Общественность, она все может.

— Тут хоть на голову ставь всю общественность, — вздохнул Тимофей Федорович.

— В таком случае надо писать в «Технику — молодежи», — снова подсказал Кондратюк. — Там и не такое еще пишут.

— Нет, нет, — сказал редактор. — Тут даже сдвиг во времени не поможет. Что такое день, два? А если попадется такой человек, как Серегин? Кроме всего прочего у него амбиция, голос хорошо поставлен, а эрудит какой по охране прав автора! Попробовать, конечно, можно. Мы, собственно, решили напечатать несколько ваших стихотворений, а там будь что будет. Все ближе к чему-то определенному.

— Да, да, Владимир, подборка стихов за тобой.

— Уговорили все-таки, — обрадовался Кондратюк. Эта история разжалобила его. У него даже появилось желание помочь соседу. Чего он бьется впустую?.. Но как?

— «Уговорили» тут ни при чем, — отрезал редактор. — Просто это наше решение.

— Я не отказываюсь, — устало сказал Чесноков. Он был явно расстроен. Жена незаметно взяла его руку и погладила — осторожно, чуть-чуть.

— Мы искренне верим, что это ваши стихи. И должны они печататься под вашей фамилией, — твердо сказал Тимофей Федорович.

— Теперь я не уверен в этом.

Гости разошлись поздно. Кондратюк недоумевал. Счастье само лезет в руки человеку, а он отказывается. В то, что Чесноков пишет здорово, Кондратюк поверил. Не зря к нему приходят такие люди! При расставании Пионов поклялся, что напишет статью. Он еще не знает куда, но напишет. А Тимофей

Федорович по обыкновению ничего не сказал, лишь подумал про Чесноковых: «Ведь трудно людям. Но почему в их квартире ощущение счастья?»

7

Чесноков ничего не дал в газету. А Пионов написал все-таки толковую статью, в которой подробно изложил все факты, касающиеся загадочного явления и судьбы никому не известного талантливого поэта. Статья была отправлена в «Литературную Россию». Через несколько месяцев пришел ответ, в котором сообщалось, что газета очень редко печатает научную фантастику и в настоящее время не находит возможным опубликовать рассказ. Пионов страшно расстроился, написал в газету резкое письмо, но ответа не получил. И все же он надеялся когда-нибудь доказать свою правоту и восстановить в правах Чеснокова.

Раза два-три в год он заходил к Чесноковым в гости, но все реже и реже просил Владимира дать что-нибудь в газету. А потом его перевели на работу в Москву, в одну из центральных газет.

У Чеснокова родился сын, потом сын и дочка. Хлопот с малышами было очень много. К этому времени у Чеснокова набралось бы десятка два сборников стихов, если бы их удалось собрать вместе.

Свой первый рассказ Чесноков написал, когда старшему, тогда еще единственному сыну, исполнилось три месяца. И с этого времени писал стихи все реже и реже. И все больше его тянуло к прозе. Сначала небольшие грустные, но с тонким юмором рассказы. Потом большие, серьезные. А однажды он рискнул написать повесть. И снова он встречал их в журналах и сборниках под чужими фамилиями. Стихийно возникшее общество поэтов «Удивление» постепенно распалось, потому что все реже и реже стали появляться в печати стихи соответствующего стиля и содержания.

Так кто же все-таки писал эти стихи и рассказы? Пионов так ничего и не смог доказать. Он был уверен, что все это принадлежит Чеснокову, но требовались точные доказательства. А сам Чесноков? Конечно, ему было грустно сознавать, что кто-то мгновенно воспринимает его творения и выдает за свои, нисколько в этом не сомневаясь. Но еще хуже было бы, окажись, что сам Чесноков просто-напросто способен мгновенно воспринимать стихи и рассказы разных авторов, со-

звучные его настроению. Он много думал об этом, особенно после памятного разговора с Пионовым и Тимофеем Федоровичем. Пришел ли он к какому-нибудь выводу? Пришел. Он был твердо уверен, что пишет именно он. Но это еще не давало ему оснований посылать рукописи в издательства и редакции.

Время шло своим чередом. Чесноков уже руководил небольшой лабораторией, а Кондратюк стал начальником крупного отдела. Оба они не привыкли относиться к работе спустя рукава, а это означало, что нередко им приходилось технические проблемы своих разработок решать в нерабочее время.

Кондратюк проникся к Чеснокову каким-то странным уважением. Лезет человек на отвесную стену, выбивается из сил, падает, снова лезет. А зачем? Ведь на вершине горы все равно ничего нет. Нет ни золотых россыпей, ни красивого цветочка, даже панораму гор и долин оттуда не увидишь, потому что сама вершина вечно скрыта в тумане. И все-таки человек продолжает восхождение. И это непонятное упорство невольно вызывает уважение и страх. А если бы это был он, Кондратюк? Хорошо, что это не он!

Вениамин Кондратюк даже взял нечто вроде шефства над Чесноковыми. В летние воскресные дни предлагал свой автомобиль, чтобы выехать на лоно природы, приглашал на дачу.

Иногда Чесноковы принимали приглашения. Кондратюк был искренне рад. Людям приятно — значит, и автомобиль, и дача оправдывают себя. Не зря деньги вбиты в это дело.

Но чаще Чесноковы отказывались. Впятером шли они по проселкам и тропинкам пригородных лесов Усть-Манска. Старший сын мог уже тащить рюкзак, а младшие в основном ехали на не очень широких папиных плечах, пока впереди не показывался пустынный берег ручья или речушки. Они уходили недалеко от города, но видели очень многое. Странный талант Чеснокова помогал им видеть все не так, как обычно. И от этого становилось странно на душе, и хотелось летать и плакать оттого, что летать не можешь.

Может быть, Чесноков и бросил бы писать, если бы хоть раз Анечка, слушая его, прикрыла скучный зевок ленивой ладонью. Но этого не случилось. Ей было интересно. И так же, как десять лет назад, с замирающим сердцем слушала она о том, какой странный, удивительный, радостный и грустный, счастливый и горький мир окружает их. Он всегда был разным. А разве можно скучать, когда тебя все время окружает

разное и новое? Зевают от скуки, когда все уже давным-давно известно и ничего нового в будущем не предвидится.

Он и писал, потому что и ему, и жене Анечке, теперь уже Анне, это было интересно.

Однажды Чесноков неопровержимо доказал, что пишет именно он. Еще раньше Пионов обращал внимание на то, что необычные стихи выпадают из творчества некоторых поэтов, а для Чеснокова они являются системой. Нужно было только доказать, у кого они появляются раньше.

Чесноков начал новую повесть из жизни инженеров. Она была задумана в виде трех рассказов, от лица трех главных действующих лиц. Повесть писалась легко. Чесноков вообще писал легко. Была уже закончена первая и начата вторая часть. Как обычно, просматривая в библиотеке новые поступления, Владимир встретил первую часть повести в одном журнале. Это было настолько привычным, что не удивило ни его, ни Анну.

В тот год была ранняя весна. Днем снег таял, а утром подмораживало. Чесноков шел на работу, поскользнулся, упал и сломал руку. Бывает же такое невезение! Его положили в больницу, но кость руки долго не срасталась. Вдобавок ко всему обнаружилось повреждение позвоночника. Короче говоря, Чесноков проболтался в больнице месяца три. Писать он не мог, но зато читал сколько угодно. Как-то на глаза ему попался журнал с первой частью повести, и он обратил внимание на сообщение редакции о том, что в следующем номере будет напечатана вторая часть. Чесноков разыскал следующий номер. Продолжения в нем не оказалось. И в третьем номере он не нашел ничего. Зато в журнале появилось редакционное сообщение: по независящим от редакции причинам публикация повести откладывается на неопределенное время.

И тогда Чесноков послал автору телеграмму, в которой советовал или расторгнуть договор с издательством, или изменить сроки публикации, потому что он, Чесноков, в настоящее время не может заняться этой повестью.

Автор телеграмму получил, хотел ответить Чеснокову чем-нибудь ядовито-ехидным, но передумал. Мало ли у любого писателя недоброжелателей! Со всеми не будешь вести переписку. А повесть у него действительно застопорилась. Ни слова. В голову лезла всякая ерунда, но только не то, что нужно. Он уже несколько раз ходил на завод, чтобы посмотреть, как работают инженеры. Сам он никогда инженером не был.

И все равно ничего не получалось. И редакция уже надоела своими звонками. Ну где он возьмет продолжение, если вдохновение пропало!

А Чесноков неожиданно для самого себя написал автору письмо, в котором просил его сообщить сроки, когда он начал и закончил вторую и третью части. К этому времени Чесноков уже вышел из больницы и за две недели закончил вторую часть.

И на автора повести вдруг нашло вдохновение, да причем такое, что он закончил вторую часть точно за две недели. На радостях он написал Чеснокову пространное письмо о том, когда и как он написал вторую часть повести. Благожелательным читателям надо иногда отвечать.

Теперь Чесноков твердо знал, что пишет все-таки он сам. У него даже возникло желание подшутить над автором повести и совсем не писать третью часть. Но, немного поразмыслив, он решил, что незачем издеваться над человеком — ведь он, в общем, ни в чем не виноват.

Судя по критическим статьям, рецензиям и заметкам, Чесноков был талантливым писателем. От Кондратюка, как от старого друга семьи, у Чесноковых не было тайн. И Кондратюк был чрезвычайно обрадован, когда узнал, что сосед доказал свое первенство. Значит, если рассказы начнут печатать под настоящей фамилией, Чесноков лез в гору не зря, а потому что там материальное благополучие, добытое честным трудом, которое Кондратюк ценил превыше всего.

У Чеснокова не было никаких связей в литературных кругах, да и времени, чтобы обивать пороги, у него не было. Иногда он встречал Тимофея Федоровича. Тот все еще продолжал работать редактором молодежной газеты и по-прежнему убедительно доказывал, что его надо перевести на другую работу. Но эти встречи были случайными и короткими.

И Чесноков продолжал писать, пожалуй, даже с большим желанием, чем раньше. Не ставят его фамилию на обложке романа? Черт с ними! И не поставят никогда? Уже привык к этому. Главное, что его повести и романы нравились. Люди в них находили то, что тщетно искали в произведениях других авторов. И еще — его романы были все так же чуточку чудными, необычными, в них все еще сквозило удивление. Чесноков не переставал удивляться миру и людям.

8

Поведение Чеснокова начало раздражать Кондратюка. Не воруй, не обманывай, живи честно! Все это правильно. Кондратюк никогда в жизни не совершил ни одного нехорошего поступка. Не крал, не обманывал. Своими руками, своим собственным горбом он заработал и автомобиль, и дачу, и кооперативную квартиру одному из сыновей. Гнул шею, если этого требовали обстоятельства, и в выходные дни, и в отпуск. Но ведь это приносило пользу, окупалось, было необходимым. Если бы кто-нибудь попытался отнять у него выходной костюм или сломать изгородь на даче, разве бы он не впился своими руками в горло обидчика, разве не бил бы его смертным боем?! Мое! Не трожь! Заработай сам.

А Чесноков отдавал все добровольно. И Черное море, и яхты, и поездки за границу, и деньги, и славу. Кому? А кто подвернется. Чеснокову все равно. А ведь все, все принадлежало Чеснокову. По закону, по праву. Кондратюк чувствовал, как рушится его спокойный, понятный, обычный мир. Оба его сына пропадали целыми вечерами у Чесноковых. И для них не было большего авторитета, чем дядя Володя. Непорядок! И его жена, тихая, незаметная женщина, никогда не решавшаяся высказать свое мнение вслух, вдруг зачастила к соседям, перестала смотреть в пол, подняла голову, хоть и теперь никогда не противоречила мужу. Да и сам Кондратюк был частым гостем у Чесноковых. Там всегда было шумно. Людям почему-то нравилось бывать в этой небольшой стандартной квартирке, сплошь заставленной книгами.

А разговоры... Что это были за разговоры! Каждое слово в отдельности было понятно Кондратюку. Но смысл фраз?! Что это? Зачем? Почему жена его ворочается по ночам и не спит, лежит с открытыми мокрыми глазами и улыбается? Почему старший сын ушел из дому? Почему тошно смотреть на сверкающий лаком автомобиль? Почему вокруг пустота?

А все потому, что Чесноков пишет. Зачем пишет?

— Зачем ты пишешь?

— Интересно.

— Какая польза от этого?

Чесноков взял с полки книгу в нарядном переплете.

— Хочу, чтобы такое читали меньше.

— Я читал. Книга интересная.

— Ложь тоже бывает интересная.

А время шло. Дети выросли и разъехались. Анна, теперь уже Анна Ивановна, располнела, но смеялась все так же зара-

зительно весело и все так же любила своего Володьку, теперь уже Владимира Петровича, худого, сутулого, поседевшего.

И все так же весело было в их квартире. Даже когда Чесноков оставался один, а Кондратюк приходил к нему, чтобы покурить и помолчать, даже тогда в квартире было что-то удивительное. Кондратюк как бы видел и Анну Ивановну, и свою жену, детей Чеснокова и своих, знакомых и незнакомых людей. Все они хорошо понимали друг друга, спорили и часто не приходили к единому мнению, но все равно стремились сюда. Как они могли здесь очутиться? Ведь все они были далеко. Они хорошо знали друг друга, и только его, Кондратюка, никто не замечал. И, докурив папироску, он молча уходил, чтобы выпить стакан водки и лечь спать. Кругом было тихо и пусто как в гробу.

9

Чеснокову уже было за сорок пять, когда он встретил в последний раз Тимофея Федоровича. Тот так и вышел на пенсию редактором молодежной газеты. Много мыслей и фактов накопилось в его памяти за шестьдесят пять лет. И Тимофей Федорович писал книгу — итог своей долгой жизни.

Сначала они поговорили о погоде. Потом Тимофей Федорович посетовал на постоянные боли в пояснице, а Чесноков пожаловался на боли в сердце. Вспомнили Пионова. Он к этому времени уже был главным редактором толстого журнала.

— Все по-прежнему? — спросил Тимофей Федорович.

— Да, — ответил Чесноков. — Но работать становится все труднее и труднее. Напишу еще один роман, если успею, и все.

— Я тоже заканчиваю шедевр. А что за роман у вас? — полюбопытствовал Тимофей Федорович.

— Хочу назвать его «Зачем жил человек?» — ответил Чесноков.

Тимофей Федорович вдруг оступился на ровном месте и тяжело задышал.

— А у вас? — спросил Чесноков.

— Да так, ерунда, в общем-то. Пустяки.

— Ну, Тимофей Федорович, у вас не могут получиться пустяки. Я вас хорошо знаю.

— Да, да. Конечно. — И Тимофей Федорович перевел разговор на другую тему.

Они еще с часок побродили по Университетской роще, поговорили и разошлись.

«Вот и моя очередь пришла, — подумал Тимофей Федорович. — Осталось только уничтожить рукопись». Он тоже писал роман под названием «Зачем жил человек?»

Удивительный талант Чеснокова коснулся и его.

Больше они не встречались.

10

Чесноков умер в конце осени, когда шли затяжные, нудные дожди и на улицах была непролазная слякоть. Он умер сразу, никого не обременив ни болезнями, ни страданиями.

Чесноков умер.

Кондратюк даже не предполагал, что у Чеснокова столько друзей. Прилетели его дети и дети самого Кондратюка, не появлявшиеся дома годами. Прилетел Пионов, вызванный Тимофеем Федоровичем. Люди шли длинной печальной вереницей в квартиру. Несколько часов длилось это прощание.

— Господи, — повторяла Анечка сквозь слезы. — Он совсем не страшный. Он все такой же. Он все такой же.

На лице Чеснокова застыло вечное удивление. Он словно хотел сказать:

— Смерть... Так вот ты, оказывается, какая... странная...

Кондратюк стоял у изголовья гроба. Его покачивало от усталости и выпитой водки. Глаза слезились, руки мелко вздрагивали. Но ему не было жаль Чеснокова. Сейчас он ненавидел его лютой ненавистью. Это он, Чесноков, сделал бессмысленной всю его жизнь, свел на нет его нечеловеческие усилия. Он, проживший такую бессмысленную жизнь, перетянул на свою сторону столько людей. Плачут! И дети — его, Кондратюка, дети — плачут! И тихая незаметная женщина плачет! А когда он, Кондратюк, умрет, будут они плакать? Чуть-чуть, потому что так положено?

— Зачем жил человек?! — закричал Кондратюк. — Какая от него была польза? Какая?

Сыновья молча взяли его под руки и увели в свою квартиру.

— Зачем жил человек?! — продолжал кричать Кондратюк. — Лжете вы все! Зря! Зря жил!

— Ты!.. — закричала на него жена, тикая, незаметная женщина. Она всегда была тихая, и мать у нее была тихая, и бабка. — Как ты смеешь! Тебе этого никогда не понять!

Неужели это его жена? Откуда она и слова-то такие знает?

— Ненавижу! Ненавижу! — кричала тихая женщина.

И дети не заступились за отца.

Все перевернулось и рассыпалось в голове Кондратюка. Может быть, впервые в жизни он подумал: а зачем живет он сам? Как он живет? Не крал, не обманывал! Брал только то, что положено по закону. Неужели этого мало?! Что нужно еще? Что?!

Когда все возвращались с кладбища, Кондратюк бросился с моста в ледяную воду Маны. Его выловили и откачали. Кондратюк остался жить.

Тимофей Федорович уговорил Пионова задержаться в Усть-Манске на недельку. Они вместе разобрали архив Чеснокова. Страшно волнуясь, Тимофей Федорович начал читать последний роман Чеснокова, роман, который он писал и сам. Он предполагал встретить абсолютное сходство. Но это был совершенно другой роман. Тимофей Федорович напрасно волновался.

Пионов взял с собой рукопись романа с твердым намерением опубликовать его под фамилией Чеснокова. Он было хотел взять и рукопись Тимофея Федоровича. Ну что особенного, если у двух разных романов окажется одинаковое название?

— Нет, Гриша, — сказал Тимофей Федорович. — На вопрос «Зачем жил человек?» можно дать только один ответ. Так пусть уж на него ответит сам Чесноков.

МОЛЧАНИЕ

Мне нужно было увидеть их обоих. Но где? Я этого еще не знал. Я ходил по городу и ждал, что вот они сейчас появятся передо мной на шумной и огромной площади или на аллее космолетчиков. Но они не появлялись. И тогда я садился на свободную скамью в тени деревьев, доставал сигарету и снова ждал. Иногда мне вроде бы удавалось на мгновение увидеть их. Площадь замолкала, торжественно, чутко, радостно, как при долгожданной встрече, и чуть грустно, как при расставании.

Они стояли на возвышении, видные всем издалека. Два космолетчика, парень и девушка. В сверкающих легких и изящных доспехах-скафандрах. Они были молоды, сильны и счастливы. Они уходили в далекий космос на двух красавцах кораблях. Он должен был вести «Мысль», она — «Нежность». И вот они стояли передо мной и перед тысячами людей, намного возвышаясь над всеми, положив руки на плечи друг другу и широкими взмахами приветствуя всех, кто собрался вокруг. Они были героями. Это чувствовали и они сами и все другие. Это чувствовал и я и страшно завидовал им. Они еще не взошли на борт своих кораблей, но слава уже несла их на своих стремительных крыльях.

Забрала их шлемов были подняты, и даже отсюда, где сидел я, можно было различить их счастливые улыбки. Такими они и запомнились всем. Наверное, это была вершина их счастья. Всеобщая любовь и всеобщее уважение.

Видение исчезло. И люди снова шли по своим делам, и шумела площадь, и нещадно палило июльское солнце, а я вынужден был признавать, что что-то я еще не додумал, не дочувствовал и начинал искать ошибку, но не находил. Так проходили дни, а у меня все еще ничего не получалось, и ничьи советы мне не помогали, потому что я, наверное, закуклился в своих мыслях, и все внешнее отскакивало от меня как от стенки горох.

— Ты хоть изучил их биографии? — спрашивал меня Островой, июльский руководитель нашей мастерской. Это руководство выжимало из него все соки, он высох то ли от забот, то ли от жары.

— Изучаю, — отвечал я. — Хотя их биографии знают все.

— Да, каждая минута их жизни была расписана заранее. И все же...

— Я буду узнавать еще.

— Узнавай. Но лучше почувствуй хоть одно их мгновение.

— Я уже пытался. Сегодня, например.

— Ну и что?

— Они стояли на площади и приветственно махали всем руками.

— Приветственно, — пробормотал Островой. — Ты так решил? А что за чувства переполняли их?

— Счастье, — ответил я, — восторг, радость.

Островой грустно покачал своей лысой головой на тонкой шее. И ничего не сказал мне больше. Наверное, говорить со мной было бесполезно. Я не обиделся. Менее всего были нужны мне всякие советы, наставления и подталкивания.

Я снова шел бродить по паркам, площадям и скверам и все думал, почему мне удалось удержать ту картину на площади лишь мгновение? Ведь все было красиво, празднично, радостно. Нет, ошибка еще путалась где-то во мне. И просто, волевым усилием, мне было не поднять ее из подсознания.

Я вышел на проспект, по которому они ехали на космодром, когда вокруг стояли тысячные толпы, и миллионы роз падали на асфальт перед ними, и все вокруг кричали что-то приветственное, ласковое, радостное, героическое. Все были празднично разнаряжены, и настроение у всех было праздничное.

Остановившись на углу, я попробовал все это себе представить. И мне удалось. Удалось! Правда, всего лишь не одно мгновение, как и тогда, на площади.

Ну какой я к черту мыследел! Ведь у меня же ничего не получается!

На ближайшей стоянке я вызвал авиетку и полетел на космодром. В нагрудном кармане у меня был каплевидный ультразвуковой пропуск, и поэтому передо мной открывались все двери. Я мог проникать в святая святых этого огромного космодрома. Но сначала я просто побродил по залу ожидания с его парками и милыми уютными барами, с его солнечным прямолинейным пространством и с его уже чуть не земным временем. Люди встречали и провожали друг друга. Стройные табунчики детей смешно шествовали к посадочным площадкам, уже с очевидностью предвкушая себе приключения в песках Марса. Командированные и художники, туристы и неопытные отпускники, все они двигались вокруг меня, точно зная, что им

предстоит делать. Одежды модниц причудливо менялись на ходу, обдавая встречных сиянием переливающихся цветов радуги. Изящные роботы-корзинщики, мороженщики, доверху наполненные сластями, мороженым и бутылочками с тонизирующими напитками, бесшумно носились по залу, подчиняясь мысленным желаниям людей. Направленные узкие пучки звуковых колебаний сопровождали любителей музыки.

Я вышел на смотровую площадь, с которой люди уже казались смешными черточками. И здесь кое-где сидели провожающие. И тот, кто хотел, видел перед собой лицо или всю фигуру отъезжающего человека и мог с ним говорить, пока люки корабля не закроются наглухо. А сами корабли стройными стрелами пронзали золотисто-голубой воздух космодрома и чуть покачивались в струях разогретого воздуха. И время от времени какая-нибудь из этих стрел срывалась с места и стремительно, с легким свистом, исчезала в зените, словно растворялась в солнечных лучах. И тогда кто-нибудь из провожающих медленно вставал и шел к выходу.

Я обратил внимание на лица этих людей. За секунду до старта они были радостны и бодры, а теперь грустны и замкнуты. И тогда я понял, что эта грусть и замкнутость присутствовала на их лицах и во время разговора, только она тщательно, хотя и не нарочно, скрывалась.

Меня это заинтересовало, как чуть отдернувшийся край завесы какой-то тайны. А впрочем, подумал я, что же тут особенного: люди провожают своих близких и им грустно. Все правильно.

Забравшись повыше, где было пусто, я снова представил себе момент их отлета. Вот они стоят на подъемниках своих кораблей. А тысячи людей на этой смотровой площади и еще десятки и сотни тысяч на ближайших холмах, и еще миллионы у телевизоров приветственно машут им руками... Фу, черт! Далось мне это «приветственно». С этим «приветственно» я не мог удержать картину и на мгновение. Впрочем, эта картина мне и не была нужна. Но в ней все-таки что-то было, что так неуловимо ускользало от меня, без чего я не смог бы сделать главного.

Люди тогда провожали двух близких... Я сосредоточился... Картина получилась, я удержал ее. Но это были не сотни тысяч провожающих. Сначала я увидел девушку, стройную, в переливающемся розовыми оттенками платье. Она была очень красива, и она плакала. Она сама не замечала этого. Но поче-

му? Кого ей жалеть? Себя? Этих двух? Я думал снова и снова. И лицо девушки надвинулось на меня, остались лишь два больших черных, широко открытых глаза. И в уголках каждого — слезы. Я смотрел в эти глаза и начинал что-то чувствовать. Я, кажется, понимал ее. Она смотрела на этих двоих, которые любили друг друга. И она любила. Сейчас она была той девушкой, которая улетала на «Нежности». И любовь, и нежность, и горе были в ее глазах, в ее взгляде, в ее слезах. Это провожали ее. Пусть на мгновение, но и навсегда, надолго. От этого мира, в котором прожиты первые двадцать лет, от этих людей, чувств, улыбок, ласковых взглядов, пустячных разговоров. А что будет там, впереди? Все время был порыв, страсть, стремление вперед, в поиск, в неизвестность, и вот теперь на мгновение все прошлое остается здесь и через несколько минут с ужасающей скоростью останется позади.

Все-таки я приблизился к чему-то.

Я чуть сдвинул картину. Передо мной был парень. Он держал за руку ту девушку, в огромных глазах которой были слезы. Их руки застыли в каком-то неестественном напряжении, и я боялся, что он сломает хрупкие пальцы девушки... Только ни он, ни она этого не замечали. Я развернул лицо этого парня, так что он теперь смотрел на меня. Да... Конечно... Он провожал самого себя. И лицо у него было смелое, чуть жесткое, внешне решительное. В нем не было колебаний, только чуть заметное «Прощайте!»... Я сдвинул картину еще, все так же крупным планом. Женщина... Она провожает своего ребенка. И гордость в ее лице, и неистребимое желание вернуть все назад, не прощаться, прижать его к груди и никуда, никуда не пускать больше, никогда.

Картина сдвигается, вправо, влево, вверх, вниз... Мальчишки с разинутыми от загадочного и таинственного ртами. Это они сейчас уйдут в зенит на «Мысли». Восторг и страх! Старик, женщина, девчонка, мужчина, девушка, и еще, и еще... Лица, фигуры, и души, души людей, раскрытые сейчас тем двоим, которые стоят на подъемниках «Мысли» и «Нежности».

Ну что же, я, кажется, понял, пусть чуть-чуть, тех, кто провожал их. И мысленно создал теперь общую картину. Это удалось с трудом, но все же удалось. Стыдно стало за «приветственные» взмахи руками. Ну да! Люди, конечно, махали им руками, но каждый по-своему, с радостью, с болью, с нежностью. Одни были со слезами на глазах, как та девушка с огромными черными глазами, другие что-то кричали, смеялись,

улыбались, смотрели сурово и сдержанно, кто-то подпрыгивал, кто-то бил кулаком по спинам стоящих впереди, кто-то спокойно доедал мороженое или непослушными руками теребил воротничок рубашки.

И невозможно было удержать мыслью эту картину, силы моей и воли было слишком мало. Я бы разорвался на тысячи частей, если бы попробовал продолжать удерживать ее своим сознанием. Да это теперь уже и не нужно было мне.

Я понял, что каждый в этой толпе был самим собой и еще одним из них. Я расслабился, и картина ускользнула. Ну и хорошо! Они меня уже многому научили. Я приблизился к решению своей задачи и устал. Я сидел, откинув голову на спинку кресла, и ни о чем не думал... Стрелы кораблей устремлялись в зенит, кто-то из людей улетал, оставлял частицу своей души на Земле в тех, кто оставался. И кто-то оставался, отдавая себя космосу, который он, быть может, и никогда не увидит.

Прошел час. Ну что ж. Надо продолжать работу. Я вызвал картину их кораблей, потом приблизил ее к себе и сделал так, что лица двух космолетчиков сблизились. Они улыбались. Потом она украдкой взглянула на него. На моей картине это получилось неудачно. Ведь тогда они стояли на расстоянии ста метров друг от друга. Ее взгляд и был направлен туда, к «Мысли», и поэтому прошел сквозь него. Секунду длилось это, и картина смазалась, растаяла.

Нет, я еще не понял их. Я ужаснулся. А вдруг никогда и не пойму! Я встал и пошел вниз, потом долго бродил по службам космодрома. Двери комнат и залов открывались передо мной, но двери душ тех двоих оставались закрытыми.

Много ли я о них знал? Посещение библиотек, встречи с людьми, которые их знали, просмотр кинолент. Всему этому я отдал много времени. Я знал почти каждый час их жизни. Они всегда были на виду. Во всяком случае, начиная со школы космолетчиков и кончая отлетом с Земли.

Я не помню момента, когда они улетали. Мне тогда было всего несколько месяцев. Но, может быть, именно поэтому я и взялся за эту скульптуру, потому что был уверен, что смогу все увидеть своими глазами, без предубеждения. И все-таки я сбился. Эти «приветственные» взмахи рук, эта гордость, радость, счастье и даже зависть. Все это оказалось лишь верхним слоем, позолоченным и поэтому не глубоким и не главным.

Они учились в одном классе. Потом они поступили в одну школу космолетчиков. И там, на третьем году обучения, им

предложили полет в Дальний космос. Первый полет человека в Дальний космос. Они были абсолютно психологически совместимы. Это поразило ученых и вселило в них уверенность, что полет закончится благополучно.

Потом их начали готовить. Месяцы и годы, расписанные по минутам. Даже редкие часы отдыха были тщательно продуманы учеными. Каждый шаг их был записан в протоколах и актах. Конечно, это делалось незаметно, ненавязчиво, необидно. Вряд ли они сами это знали. Разве что чувствовали.

Я уже давно понял, что они любили друг друга. Но разве можно было из этого вывести, что они должны лететь с радостью? Ведь они должны были лететь на разных кораблях и никогда не покидать их, не встречаться вплоть до посадки на планете Сиреневой звезды. Правда, у них была постоянная видео- и звукосвязь...

Стоп!.. Вот что пришло мне в голову. Они никогда не были одни. Что-то в этом заключалось... Да. В записях распорядка их поступков и действий был один пробел. Всего на несколько часов, когда им удалось запутать, отвлечь опекунов. Это было... было... Да, я знал, где это примерно было.

И снова я вызвал авиетку и полетел на заросший ивняком берег таежной речушки. А там я долго стоял над водой, крепко держась за гибкий ствол куста.

Они не вернулись на Землю. В этом был какой-то абсурд. Это было невозможным, нечестным, дурацким. Я даже не мог придумать этому слов. Их корабли нашли в тысяче световых лет от Земли. Они не дошли до своей цели. «Нежность» была изуродована неведомой ужасной силой. И она была мертва. «Мысль» была изуродована меньше. А его на корабле не нашли. Он вышел спасать ее и не вернулся.

Они были первыми, и им необходимо было поставить памятник, созданием которого я и занимался.

Я стоял над рекой и думал. Почему я все время хотел запечатлеть вершину их славы, их почитания? Не потому ли я не могу удержать мыслью эти картины даже на мгновение? Значит, не это было главным в них. Не подвиг, не слава. Это вообще поверхностное выражение поступков и стремлений человека.

С площадями и аллеями космолетчиков я покончил навсегда. Там они не согласятся стоять.

Вот здесь, где-то рядом, они были вместе. Сказал ли он ей, что любит ее? Или это сказала ему она? Было тихо, очень

тихо, и чуть слышный плеск волн и шелест листьев на ивах только усиливали эту тишину, это молчание.

Я стоял и видел, как шли они по траве, с удивлением вслушиваясь в этот прекрасный и молчаливый мир. Это было впервые, далеко от всех людей. И он бережно обнял ее за плечо, а она прижалась к его груди. Они молчали.

Я мог, как хотел, приближать эту картину к себе. Мог видеть их фигуры, лица и глаза. И если они даже не смотрели друг на друга, они все равно взглядом тянулись друг к другу.

Молчание.

Они ничего не говорили. Это было молчание, которое красноречивее слов. Они все, все, все сейчас говорили друг другу этим молчанием. В эти минуты для них ничего в мире не существовало, кроме них самих. И его руки, ласково, но неумело, еще по-мальчишески, обнимающие ее плечи... И ее грудь трепетно и нежно прижавшаяся к нему... И волнение лиц, движение бровей, взмахи ресниц.

Они впервые были одни и знали, что это ненадолго, возможно, единственный, последний раз. Только там, на планете Сиреневой звезды, они снова смогут взять друг друга за руки. Память о шумной, на людях, жизни, мысли о предстоящем одиночестве, прижимали их друг к другу все теснее.

Картина удерживалась легко, без всякого напряжения. Значит, в ней не было лжи, значит, такими и были эти их минуты, пусть не в деталях, но в главном. Здесь начиналась моя работа. Я мог остановить эту неосязаемую еще картину в любой миг, потом добавить детали, увеличить размеры. Я мог сделать скульптуру величиной с Эйфелеву башню, если ее захотят поставить на огромной площади. А потом бы я сделал постамент и написал на его необычных формах: «Мысль» и «Нежность». И так бы они и остались на века, осязаемыми, в камне или металле, знакомые миллионам людей, чуточку непонятные, потому что ведь для всех они были героями, а я хотел сделать их людьми, обыкновенными, простыми, как все другие, как ты да я, как целующиеся на другом берегу мальчишка и девчонка.

Меня могли и не понять. Но это была правда. Эти минуты, это удивительное молчание составляли все существо их жизни. Я сделаю модель, покажу ее специалистам, пусть спорят, доказывают, у меня перед ними преимущество. Я понял их души, и никто, кроме меня, не сможет удержать картину своею мыслью, если только она не совпадет с моей. Никому

не удастся сделать их только героями, потому что главным в них была любовь. Любовь друг к другу, а через нее ко всем людям, ко всей Земле. И пусть они уходили одни, своею любовью они уносили с собой всю Землю.

Молчание...

Они спустились к реке.

Он сел на корявое, выброшенное на берег волной бревно, а она опустилась с ним рядом, положила голову на его колени и протянула вверх руки к его лицу. А он нагнулся над ней.

Это был тот миг! Я понял. Я уже ничего больше не хотел изменять. Пусть все будет так!

Без этого молчания им не вынести и месяца дороги. Без этого молчания они погибли бы. Без этого молчания они не выдержали бы взлета. А если бы и взлетели, то уже сломленными и покоренными.

Так, так, все так! Сейчас в этом молчании, в этих поднятых кверху ее руках, в его склонившемся над ней лице начинала рождаться их слава. Не нужно славы. Пусть будут людьми. Пусть любят друг друга.

Я остановил картину...

Я учился. Я создавал скульптуры и раньше. Теперь я мог превратить эту картину в нечто осязаемое, в скульптуру. Я так и сделал.

Я устал. Все-таки у мысленделов ужасно тяжелая работа. Я больше не глядел на них. Да. Я сделал свой шедевр. Я понимал это. Ни раньше, ни позже я не делал и уже не сделаю такого. Словно тяжесть свалилась у меня с души. Стало легко, но не совсем, не так, как раньше, не полностью.

Тут дело было уже не в ошибке. Тут было что-то другое. Я бросил сигарету и подошел к ним. Все было так, как я хотел. Я ласково потрогал скульптуру. Счастье и мука были в ее глазах. Счастье, горечь и растерянность в его.

Нет, я правильно схватил миг. На них будут смотреть и плакать. Люди увидят гораздо более важное, чем геройство и подвиг. Они увидят боль, в которой еще только рождается их будущее, их слава и смерть... И молчание. Это тоже правильно. Ведь по сути они говорили с собой только в эти минуты молчания.

Они молчали тогда, молчат и сейчас. Они будут молчать всегда. Тысячи поколений людей будут рождаться, проходить возле них и умирать, а они все будут молчать, как тогда. Молчать...

Я сел на бревно. Я мог сейчас разрушить эту скульптуру, а дома в своей мастерской воспроизвести вновь. Так я делал всегда. А сейчас не мог почему-то. Я знал, что все сделано правильно, но не мог показать ее людям. Слишком живыми сейчас были они для меня. И потом, эти тысячи лет молчания. Их молчание тогда было прекрасным, потому что оно было неожиданным, потому что длилось недолго, потому что впереди все-таки что-то было. А теперь? Тысячи лет молчания!

Нет! Ее нужно было разрушить. Но я не мог.

Ее нужно было показать людям. Но и этого я не мог сделать.

А третьего пути не было. Вернее, был, но он запрещался. После этого я уже не был бы мысленделом. Я не имел права этого делать. Нужно было посоветоваться хотя бы с Островым. Но это все равно означало отказ.

Я сидел возле них, которые улетели когда-то на «Мысли» и «Нежности» и не вернулись, и курил, пока не кончились сигареты. И солнце уже начало цепляться за верхушки деревьев. А я все еще ничего не мог решить. И вдруг солнце под каким-то странным углом осветило ее, и в глазах девушки я увидел слезы. С этими слезами скульптура была еще прекраснее, еще невозможнее. Я онемел, внутренне сжался, надеясь, что солнце сейчас уберет свой световой эффект. А слеза вдруг покатилась вниз... Я потрогал лицо девушки рукой: слеза была настоящая, солнце здесь было ни при чем.

И тогда я встал, оглядел их еще раз и сказал: «Ну что ж, живите...» — и пошел к своей авиетке, но не сел в нее, а лишь вызвал по каналу связи Острового.

— Ну что у тебя? — спросил он. — Что-нибудь получилось?

— Получилось, — сказал я. — Вот что... Я больше не скульптор, я больше не мысленделов. Я разрешил им... жить.

— Ты с ума сошел! Ты нарушил клятву! Что теперь будет?

— Со мной будет то же, что и с другими скульпторами-мысленделами, которые преступили закон.

Я закрыл колпак авиетки. Авиетка была мне больше не нужна. Я пошел напрямик, куда глядели глаза, внушая себе, что оглядываться нельзя. Но не вытерпел и оглянулся. Они стояли у самой кромки воды, обнявшись. Отсюда я уже не мог слышать, говорят ли они, или молчат, да это мне и не нужно было знать.

Сумерки упали на лес, а я все шел, и идти было легко, и хотелось идти.

И молчание было вокруг меня.

СЕДЬМАЯ МОДЕЛЬ

1 Полупустой автобус распахнул двери. Конечная остановка. За шоссе начинался парк, тянувшийся до самой реки. Из-за верхушек сосен виднелись два верхних этажа нашего института. Сосны быстро глушили городские звуки. Скрип песка на еще мокрых от росы дорожках, шорох ветвей и запах... Какой запах!

Из вестибюля широкая лестница вела на второй этаж в большой светлый зал со смотровой площадкой на Ману и ее левый берег. В зале стояли мягкие кресла, а на столиках — букеты цветов, полевых, лесных. Здесь уже толпились испытатели. Все еще были в обычной одежде городских жителей. Я поздоровался. Мне ответили вразнобой. Некоторые, уже постояв на смотровой площадке, выходили в дверь, ведущую в «экипировочную».

Смотреть отсюда на зеленый, с голубыми прожилками озер, левый берег Маны стало уже ритуалом. Проектировщики нашего института кое-что понимали в человеческой психологии. Вид отсюда был красив всегда, в любое время года. Даль, открывающаяся километров на двадцать, действовала на людей умиротворяюще. Чуть левее Мана круто поворачивала под девяносто градусов на север, широко блестя на солнце своей ровной тихой гладью, а еще раньше, где-то за Синим утесом, сливалась с дымкой горизонта.

Я вздохнул и оглянулся. В двух шагах от меня стоял испытатель Строкин.

— Как дела с нашей «подопечной», Валерий? — спросил я.

— В вечернюю смену все было нормально, — ответил он.

— Пусто то есть?

Строкин пожал плечами:

— Что у нас может быть интересного? Это у самого Маркелова, да еще, возможно, в третьей модели есть что-то интересное. А у нас... — Валерий махнул рукой и замолчал.

С минуту мы еще постояли рядом.

— Красота какая... — сказал Валерий.

Я кивнул и отошел в сторону. Разговаривать больше не хотелось. А место здесь действительно великолепное. Чудесное, умиротворяющее. Здесь, у этой земной красоты, полной,

спокойной и понятной, испытатели отрешались от всего земного, от всего, что было дома, в семье, у знакомых, в городе, в стране, вообще на Земле.

Странное и желанное ощущение. Я сейчас словно летел.

И сознание, уже автоматически переключенное на что-то иное, подсказывало мне, что надо идти в «экипировочную». Машинально, даже не думая об этом, я отворил дверь, вошел в зал, уже не имевший окон, но с множеством кабинок, вошел в одну из них, свою.

Через десять минут я вышел, одетый в плотно облегающий тело комбинезон, удобный и нисколько не стесняющий движений, по эскалатору в конце зала поднялся на следующий этаж. Здесь находились просмотровые, или «предбанники», как мы их называли. «Предбанников» было четырнадцать, по числу сменных испытателей. Я зашел в свой. Двухметровый экран объемного телевизора. Пульт управления и четыре кресла. В трех уже сидели инженеры обслуживающего персонала. Приятный приглушенный свет, шум аппаратуры, привычный и необходимый. Я поздоровался. Трое повернули головы и тоже поздоровались. Один крутанулся в кресле, спросил:

— Просмотр?

— Да, — ответил я. — Сколько информационных минут? — Про часы испытатели уже и не спрашивали.

— Ноль, — ответил инженер.

— Хорошо. Сколько дает машина?

— Четверть часа.

Это означало, что электронный мозг института из восьми часов работы испытателя выбрал только пятнадцать минут, которые имели хоть какое-то еще значение для исследований. Да и то... Пятнадцать минут — это просто так, минимально возможное время. Хочешь, не хочешь, а смотри. Все равно ничего полезного и интересного не будет.

— Вечерняя смена, — сказал инженер. — Седьмая модель.

Я и так знал, что будет просмотр вечерней смены. Ночная еще не вернулась. А когда вернется, то материалы ее исследований еще несколько часов будут обрабатываться. Этот разрыв в восемь часов представлял некоторое неудобство, потому что связи с испытателем во время смены не было никакой. На восемь часов испытатель был предоставлен лишь самому себе. Правда, их там двое, но это мало что могло дать. Ведь вездеходы работали в разных квадратах. В институте уже проводи-

лись работы по обработке поступающей от испытателей информации в реальном масштабе времени. Но эту систему введут еще не скоро. Несколько минут можно было поговорить с самим испытателем ночной смены Вольновым, когда он выйдет из вездехода. Но это и все...

Я сел в кресло перед экраном, сказал:

— Просмотр.

Экран ожил.

Накатились барханчики песка, ушли в стороны, желтые-желтые, безжизненные, привычные. Машина шла, по-видимому, со скоростью километров пятьдесят в час. Я это чувствовал.

— Три часа сорок пять минут, — сказал автомат.

Это означало, что кадры, возникшие на экране, соответствовали трем часам сорока пяти минутам после начала вечерней смены.

— Почему вычислительный центр выбрал именно этот момент? — спросил я.

— У испытателя участился пульс, — ответил инженер.

Учащение пульса! Я усмехнулся. Тоже мне, критерий!

Может, Крестьянчиков пить захотел?

— Оператор Крестьянчиков выпил бутылку минеральной воды, — словно прочел мои мысли инженер.

Так я и знал. У него еще в одном случае пульс обязательно учащается.

— А Васильеву в это время не хотелось пить? — спросил я. Вопрос был пустой. Я сам знал это.

— Нет, — лаконично ответил инженер.

Два других в это время, манипулируя клавишами управления вычислительного центра, еще раз небольшими кусками просматривали на экране простого телевизора всю восьмичасовую видеозапись вечерней смены.

— Четыре часа пятнадцать минут, — объявил автомат.

И снова барханчики накатывались на вездеход. А! Да эти барханчики здесь все одинаковые! Но все же я понял, что Крестьянчиков возвращается. По времени нетрудно было догадаться.

— Почему? — спросил я.

— Замедление пульса, — ответил инженер.

— Жажда?

— Нет.

— Координаты?

— Те же, что и в три часа сорок пять минут. Странно, подумал я, почему он возвращается по своему следу? Обычно вездеходы делали круг или эллипс, хотя это и не оговаривалось инструкцией. Поиск на «подопечных» был свободный, в пределах заданного квадрата, конечно.

— Почему он возвращался по своему следу?

— Конкретных объяснений нет. Крестьянчикову просто так захотелось.

— Ясно. Ощущения?

— Ничего необычного.

— Координаты этой точки в память машины?

— Записаны.

Экран погас.

— Просмотр кончен, — сказал инженер.

— Ясно.

Два других инженера тоже закончили просмотр видеозаписи вечерней смены.

— Ваше мнение? — спросил я.

— Информации мало или ее вообще нет, — ответил один. — Случайность.

— Желательно ли проверить эту точку?

— Вычислительный центр не настаивает на проверке.

— Вычислительный центр! — слегка вскипел я. — А вы-то сами? Ваш опыт, интуиция, предчувствия!

— Интуиция? Да при чем же интуиция, когда дело идет о седьмой модели? Вот у Маркелова...

— Ну и пусть! Наша модель ничуть не хуже модели Маркелова... — сказал я и внезапно успокоился. — Проверю, хотя вы, конечно, правы. Седьмая «подопечная» пуста.

— Это уж точно, — вздохнул один и с хрустом потянулся.

Ясно. Они нашу седьмую модель и всерьез даже не воспринимают.

— Через десять минут конец ночной смены, — напомнил инженер.

2

Я вошел в свой ангар. Сейчас здесь появится вездеход, Вольнов из ночной смены с облегчением выпрыгнет из него, освобождая мне место. Начнется дневная смена, и я еще восемь часов буду перепахивать гусеницами пески «подопечной».

Мы никак не могли придумать название исследуемой планете. Самое лучшее, пожалуй, было — «Песчинка». Но дело в том, что почти все модели были покрыты песком. Все можно было назвать «Песчинками». А некоторые испытатели в своей фантазии доходили даже до «Зануды».

Огромный, чуть больше Земли шар из песка. И все. Ничего здесь не было, ни жизни, ни разума. Да и самой-то ее не было. Вернее, была, но не в обычном смысле этого слова, не в буквальном.

Уже давно были известны основные параметры многих звезд: их масса, спектр и энергия излучения, небольшие отклонения в движении, что указывало на наличие у них планет. Четвертое поколение вычислительных машин вполне справлялось с моделированием. И если человек пока еще не мог улететь к другим планетам, к другим солнечным системам, то почему нельзя изучать эти планеты на Земле?

Вот и начали появляться институты, подобные нашему.

Мощь человеческого воображения и интеллекта плюс невероятные способности машин к хранению и обработке информации создали несколько десятков «подопечных» планет, одну из которых я со своими товарищами и исследовал.

Здесь не было никакой иллюзии, здесь все было настоящее, но опять же не совсем в обычном смысле. Ведь я мог погибнуть, если вездеход внезапно разгерметизируется. Я мог получить солнечные ожоги, умереть от голода или жажды, если вездеход на несколько дней застрянет в песках. В институте, конечно, на всякий случай есть специальная группа спасателей, отчаянных парней, только работы им пока не было. Но, в принципе, с нами, испытателями все могло случиться, хотя наши тела во время работы пребывали в стенах института, воображение и сознание работали на далекой, никем и никогда не виданной на самом деле планете. В создании моделей принимали участие и испытатели, но во время экспериментов специальные детекторы вычислительного центра не пропускали всплесков нашего воображения, которые могли повредить самому испытателю или «подопечной». На время работы наше воображение как бы выключалось. Оставалось лишь то, что необходимо было для планомерных исследований. И во время восьмичасовых смен мы обязаны были напрягать свое воображение, чтобы отыскать на планете что-то интересное.

Атмосфера нашей «подопечной» была непригодной для дыхания, более разреженной. При выходе из вездехода нужно

было надевать кислородную маску, у которой имелось устройство для радиопереговоров с напарником по смене. С самолетов и вертолетов исследования пока не проводились. Во-первых, не было подходящих типов, во-вторых, выхлопные газы могли нарушить первоначальный состав атмосферы. Маленький же вездеходик с электрическим приводом для этого вполне годился.

Все смоделированные на Земле «подопечные» были бесплодны. Только у самого Маркелова, да еще в третьей модели были, кажется, небольшие зацепки. Во всяком случае, в модели Маркелова была нормальная для дыхания атмосфера и вода, а третья модель иногда выкидывала какие-то фокусы, связанные с парадоксами пространства и времени. Отработает, например, испытатель восьмичасовую смену, а в институте пройдет или семь с половиной часов, или восемь часов пятнадцать минут. Впрочем, в третьей модели фокусы могла выкидывать просто сама вычислительная машина. Тут еще нужно было как следует разобраться.

А вот наша бедная, безымянная планетка почетом и уважением у инженеров и операторов не пользовалась.

З Загорелось табло, извещавшее о том, что машинное время и наше земное время совместились. Створки ангара разошлись, Вольнов с силой отбросил дверцу вездехода, спрыгнул на бетонный пол. Был он весь взъерошенный, взвинченный.

— Что интересного? — осторожно поинтересовался я.

— Надоело! — отозвался Вольнов. — Надоело! И хоть бы толк какой был... Я уже спираль начал с тоски крутить. До того закрутился, что в точке схода уснул. Даже сны цветные видел. Ерунду какую-то, а все больше про желтые пески. Хорошо, вездеход сам нашел место выхода в наше время.

Инженеры обслуживающего персонала четко и быстро осматривали машину. С ней все было в порядке.

— Спираль мы никогда не крутили, — сказал я. — Обычно круг или эллипс.

— Сам не знаю, что на меня нашло. Плохо, что я уже не верю в смысл нашей работы. Ничего мы здесь не найдем, кроме абсурда в снах.

— Что за абсурд тебе приснился?

— Так... Какая-то круглая булка хлеба, только металлическая и с пятиэтажный дом высотой... Ну... я пошел!

— Иди... А точка схода спирали?

— А! Там на карте увидишь. Ничем не отличается от всех других. Пусто все. Слаба фантазия у нас с машиной. Слаба...

Вольнов рассеянно хлопнул меня по плечу и вышел из ангара. Я его понимал. А ведь все бы изменилось, прилети мы на такую вот захудалую планетку, проведи мы предварительно пять-десять лет в стенах какого-нибудь космического корабля. Да ведь мы от радости насмотреться не смогли бы на эти безжизненные пески. Уж мы бы ее облазили всю, обсосали, выяснили, что на противоположной месту посадки стороне высота барханчиков на два миллиметра больше, в среднем, конечно. А тут, пьешь утром кофе, даешь указания дочери, чтобы она на уроках сидела внимательно и все старательно слушала, договариваешься с женой, кому после работы зайти в универсам и овощной магазин, потом шесть остановок едешь на автобусе, хорошо хоть остановка конечная, садишься в вездеход и начинаешь исследовать модель неизвестной планеты, у которой, кстати, даже названия нет. Потом говоришь сменному испытателю, что бросаешь такую работу к черту, заходишь в магазин, стоишь в очереди, вечером почитываешь потихонечку литературу по вычислительной технике, потому что уж лучше перейти в операторы и создавать очередную модель «подопечной», чем потом ее исследовать!

Начальник смены обслуживающего технического персонала подписал акт о проверке вездехода. Можно было приниматься за работу.

Я влез в машину, захлопнул дверцы, наружную и внутреннюю, проверил герметичность кабины, запасы энергии, пищи, воды, воздуха, мельком глянул на карту, лежавшую на операторском столике. Вольнов действительно вычертил спираль. Только... Только он, кажется, исследовал совсем не тот квадрат, который ему полагался по программе. Странно... Ну это Вольнов сам объяснит в отделе обработки информации, поступающей с модели.

Я дал сигнал о том, что к работе готов. Дисплей высветил программу работ на смену и предполагаемый район поиска. Но я и так знал программу работ на целый месяц вперед.

Зажглось табло. «Выход разрешаю»... Я нажал кнопку пуска. Вездеход рванулся с места, чуть замедлил ход, когда его гусеницы врезались в песок, дернулся, проскочил еще метров сто и остановился.

В кабине было прохладно. А вот там, за стеклом... Десятидневные по земным меркам сутки «подопечной»! И вот ведь что интересно: когда создавали программу нашей седьмой модели, машина никак не хотела понизить температуру на поверхности «подопечной» ниже + 53 градусов по Цельсию.

Солнце поднялось уже высоко и раскалило песок. Программа работ сегодня не предусматривала выхода наружу, хотя в комбинезоне и кислородной маске это и можно было сделать.

Сейчас я должен был задать программу авторулевому. Но чаще испытатели сами вели машину. Все-таки какое-то действие, какая-то работа, а авторулевой только выдавал поправки, если машина чуть сбивалась с курса.

Еще в ангаре я почему-то почувствовал, что мой сегодняшний маршрут не совпадет с запрограммированным. Это правилами работ разрешалось. Испытатель волен был импровизировать. Но сегодня здесь было что-то другое.

Ведь Крестьянчиков в вечернюю смену вместо круга шел по прямой, возвращаясь тем же самым путем. Вольнов в ночную смену сделал сходящуюся спираль.

И вот ведь что странно... Вольнов сразу же вышел из своего сектора. Он месил гусеницами вездехода песок в уже исследованном секторе. Стоп! А ведь точка схождения спирали совпала с тем местом, где у Крестьянчикова сначала участился, а на обратном пути замедлился пульс. Но ведь ни тот, ни другой не заметили ничего странного... Ну, участился пульс у Крестьянчикова... Да только что из этого следует? Пустяк... А вот зачем Вольнов покатил туда? Ведь он даже не знал, что в этой точке с Крестьянчиковым что-то произошло.

Так... Но ведь я-то уже кое-что знаю. Машина, конечно, все обработает и выдаст результаты. Но только это все будет лишь через восемь часов.

Запланированный сектор может и подождать. А вот эта странная точка...

Посоветоваться здесь я мог только со Строкиным, испытателем второго вездехода, который находился где-то километрах в двухстах от меня. Я включил передатчик.

— Курилов Строкину. Намерен исследовать вчерашний квадрат Крестьянчикова.

— Строкин Курилову. Что там?

— Не знаю. Но Вольнова из ночной смены почему-то понесло туда, хотя он ничего особенного и не заметил. Как у тебя?

— Я в квадрате по программе. Связь постоянная.

— Хорошо. Только тебе придется что-нибудь рассказывать. «Подопечная» дает для разговоров слишком мало информации.

— Я буду петь. Мурлыкать то есть. Знаешь, Алексей, когда я здесь, мне все время приходят в голову джазовые мелодии. И я исполняю, мысленно, конечно, все партии: трубы, банджо, саксофона, даже барабана. Усложняю обработку, создаю вариации. Даже самому нравится. А вот там, у себя в городе, в институте даже в голову такое не приходит.

— Это потому, что у тебя здесь сенсорный голод. Ощущений не хватает. Песок. Все один и тот же песок с самого начала и до самого конца... Так я, Валерий, в квадрате Крестьянчикова.

Строкин в ответ что-то замурлыкал.

Я развернул машину и на предельной скорости повел ее в точку, где у Крестьянчикова что-то произошло с пульсом. Я-то делал это вполне сознательно, а вот что повлекло туда Вольнова?

Вездеход шел легко, без натуги, как всегда. Да и местность была совершенно ровная. Песок. Один песок! Через определенные программой промежутки времени исследовательский комплекс вездехода автоматически производил самые разнообразные замеры. Но все это, как я был уверен, впустую, все для того, чтобы лишь что-то делать, чтобы выполнять программу, для очистки совести, словом.

Ведь седьмая модель пуста! Только вот такую простенькую планетку и смог смоделировать электронный мозг нашего института. Фантазии, что ли, мало у машины? Или мощности не хватает? Конечно, когда-нибудь смогут моделировать сложные миры. Когда-нибудь смогут... А сейчас вот приходится месить гусеницами сыпучий песок. И так до тех пор, пока всем не станет ясно, что на «подопечной» делать нечего и ее просто-напросто прикроют, как уже было не раз. Потом смоделируют другую, тоже, наверняка, пустую. Вначале будет некоторый интерес, все будут ждать чего-то, надеяться.

И вот ведь на каком чувстве внезапно поймал я себя: мне стало жаль седьмую модель, у которой до сих пор не было даже названия. Жаль, что за ненадобностью она будет пылиться в виде программы на бобинах с магнитной лентой где-нибудь на складе неудачных научных проектов. Жаль... Ну хорошо! «Подопечная» никому скоро не будет нужна. Исследователям, то есть операторам, испытателям. Да разве нельзя ее приспособить для каких-нибудь других целей? Отдать ее ученым, физикам, химикам или биологам. Пусть строят здесь свои научные центры. А ведь действительно! Физикам-ядерщикам, например. Соорудят они здесь какой-нибудь сногсшибательный синхрофазотрон и будут потихонечку сидеть и радоваться. А разные промышленные производства с вредными отходами? Ведь и их можно вынести вот на такие смоделированные планетки. Да и вообще все, что не нужно человечеству. А еще экскурсии можно устраивать. Да и мало ли что еще...

Конечно, пока все дело в энергии и в возможностях электронного мозга. Ведь «забросить» на смоделированную планету мой вездеход и то не так просто с точки зрения потребления энергии. Здесь-то он потребляет энергии ровно столько, сколько и на Земле. Уйму энергии жрет «переход» с Земли на модель. Но и эту проблему человечество когда-нибудь решит. Труднее с фантазией электронного мозга.

Труднее. А что это за пространственно-временные парадоксы в третьей модели? Да ведь это, наверное, не ошибка в моделировании, а именно очень сложная модель с заранее запрограммированными парадоксами! И там, наверное, будут изучать не саму «подопечную», а строить какой-нибудь исследовательский институт Пространства и Времени.

Четвертый месяц я работаю исследователем, а только сейчас пришел к мысли о том, что возможности «подопечных» гораздо шире, чем мне это казалось ранее. Но кто-то, наверняка, знал это с самого начала.

Я чуть было не запел, но сдержался. Пусть уж лучше мурлычет Строкин.

А ведь работа мгновенно стала интересной. Ай да красавица! Красавица! Конечно, красавица! А то — «подопечная». С тоски можно умереть! «Красавица»!

4

Ничто не изменилось в песках. Да и что тут могло измениться? Яркий свет с неба да желтое море без конца и краю.

И вот я уже был примерно в том месте, где сошлась спираль Вольнова, где то убыстрялся, то замедлялся пульс Крестьянчикова. Координаты я мог определить с точностью в сто метров, не лучше. Ничего интересного я тут не заметил. Но

ощущение чего-то таинственного, значительного и тревожного во мне нарастало. Я уже не сомневался, что встречу здесь нечто. Ведь недаром Крестьянчиков пересек эту точку дважды, Вольнова влекло сюда по сходящейся спирали, а я мчал напрямик, хотя мне сейчас нужно находиться совсем в другом квадрате.

Песок и солнце. Но я был уверен. Пусть я пока ничего не увидел, не услышал, но это где-то здесь. Вездеход начал утюжить квадрат. За двадцать минут я изъездил его вдоль и поперек.

И ничего...

Тогда я изменил тактику. Раз оно влечет меня, так пусть же само и укажет дорогу. Я закрыл глаза, полагаясь только на чутье. Штурвал в моих руках крутился то влево, то вправо. Вездеход шел медленно, как бы на ощупь, впотьмах.

И вдруг, сам того не сознавая, я резко нажал на тормоза. Открыл глаза... Прямо передо мной, метрах в двадцати возвышалась какая-то странная конструкция. А ведь еще минуту назад ее здесь не было. Сооружение было непонятным для меня, я не видел в нем ни смысла, ни цели. И в то же время это было явное творение разума, а не природы.

Внутренне я был подготовлен к чему-то неожиданному. И все же... И все же я был поражен. Но мозг работал спокойно, только пульс участился, да кровь прилила к лицу. Я это чувствовал.

По инструкции нужно было заснять все достойное внимания на кинопленку. Потом в институте сравнят кадры кинопленки с моделью вычислительной машины. В ста случаях из ста изображения должны совпасть. Ну это их дело... Я включил кинокамеру, установленную на крыше вездехода. Теперь нужно было убедиться, что оно не опасно для человека. Я это чувствовал, но объяснить не мог. Оно не только не было опасным для меня, оно просило о помощи! Так мне показалось. Я пристегнул кислородную маску, скользнул в шлюз и через минуту оказался в песках.

Так что же это? Машина нашего института смоделировала какую-то конструкцию? Специально, чтобы удивить меня? Или они там придумали новые испытания? Или что-то в самой вычислительной машине сломалось, произошел какой-то сбой, и она теперь будет моделировать черт знает что?! Сейчас погасит солнце или разверзнет передо мной пучину океана? Да нет. На такое моделирование она не способна.

А вот сбой... Даже если и сбой (хотя такое предположить трудно), то ведь должно было появиться нечто нецелесообразное, уродливое. И хотя мгновение назад я не видел в странной конструкции ни цели, ни смысла, мне вдруг показалось, что смысл в ней есть.

Она была похожа на каравай хлеба. На ту самую «булку», которую Вольнов увидел в кошмарном сне!.. Не во сне он ее увидел! Не во сне! Все это было наяву.

Я зашагал, тяжело вытаскивая ноги из песка. Мне попался полузасыпанный след от гусеницы. Да, я тут порядочно перемешал песок своим вездеходом.

И тут до меня дошло, что в последние несколько минут я не слышу мурлыканья Строкина. Более того, я даже не передал ему, что встретил нечто странное. Ну да ладно, две минуты подождет еще. Я только мельком взгляну на сооружение, возвышающееся передо мной, и вернусь в вездеход.

А конструкция действительно возвышалась передо мной метров на семь-восемь. Какая-то полусфера из металлических, кажется, ребер, с выступами и углублениями. Я подошел ближе и прикоснулся к сооружению рукой. Поверхность была более прохладной, чем можно было ожидать на таком солнцепеке. Тогда я двинулся по окружности, старательно обходя выступы и не рискуя пока даже заглядывать в непонятные мне углубления. Я вернулся к тому месту, откуда начал обход. Следы от моих ног были еще отчетливо видны.

Непонятно... Что же это все-таки такое?

Я влез в машину, вызвал Строкина. Мой напарник по смене мне не ответил. И автоматический радиодатчик его вездехода тоже молчал. Строкин, в принципе, мог просто уснуть, что, конечно, было очень маловероятно. Но датчику положено было бодрствовать все время, пока машина находилась на «Красавице». Причин для волнения было уже предостаточно. И, по крайней мере, в одном я был виноват: перед тем, как выйти из вездехода, я не сообщил Строкину о странной конструкции, не поставил его в известность о своих предполагаемых действиях. И все из-за того, что работа в модели была какой-то обыденной. Кончится смена, и я сразу домой. А вот на настоящей планете я бы так не поступил.

Связь между вездеходами на «Красавице» еще никогда не прерывалась, никогда не было и помех радиоприему. Возможно, и это как-то усыпило мою бдительность. Спокойствие и однообразие, песок и солнце.

Неужели со Строкиным что-то случилось? Да что здесь может произойти? И эта конструкция? А странные маршруты Крестьянчикова и Вольнова? Значит, что-то может!

Я еще колебался, хотя алгоритм моего поведения в данной ситуации был однозначным. Пусть «Красавица» хоть на голове пляшет, но самое главное — это жизнь человека.

Чтобы не объезжать непонятную конструкцию, я дал задний ход и проехал метров пятьдесят.

Все так же мурлыкал Строкин, ничего странного не было видно до самого горизонта, след от вездехода обрывался метрах в пяти-семи передо мной. Все это я воспринял мгновенно.

— Курилов Строкину! Курилов Строкину! Ты слышишь меня? Прием! Прием!

— Строкин Курилову. Слышу тебя прекрасно. Что произошло? Почему ты так кричишь?

— Я вызывал тебя, но ты не ответил. Минуту назад...

— Никакого вызова не было.

— И радиодатчик твоего вездехода не отвечал.

— А сейчас?

— Сейчас все нормально. Отвечает. Но сейчас и ты меня слышишь. Тут странное дело...

— Красавицу в песках увидел?

— Красавицу? Да, да, именно «Красавица»! Тут какая-то странная конструкция была...

— Что значит: была?

— Была. А теперь нет. Я даже обошел вокруг нее, руками потрогал. Метров восемь высотой и метров пятнадцать-двадцать в диаметре, это если не учитывать выступающие части.

— У нее даже и выступающие части есть?

— Есть, есть, у нее все есть, что надо. Да только дело в том, что она исчезла. Сначала я хотел, чтобы ты отправился в институт и вызвал сюда кого-нибудь еще. Но показывать больше нечего. Что делать?

— Ты уверен, что она действительно была?

— Думаешь, галлюцинация? Даже если и так, все равно на «Красавице» есть что-то странное. У меня никогда раньше не было галлюцинаций. А что в твоем квадрате?

— Мой квадрат пуст, как и все другие на нашей «подопечной». А «Красавица» это что, название такое, имя? И давно ты придумал?

— Совсем недавно. Да только дело сейчас не в этом. Ведь и Крестьянчиков и Вольнов чувствовали в этой точке что-то странное, непонятное. След! След. Я только что проехал задним ходом метров пятьдесят, а след от вездехода обрывается прямо передо мной.

— Полагаю, что нам нужно встретиться, — сказал Строкин.

— Похоже, что так. Только сначала один небольшой эксперимент. Я буду двигаться вперед и все время что-нибудь говорить, а ты внимательно слушай. Понял? Начали!.. А «подопечная» действительно красавица. Вот вернемся в институт, и я официально предложу называть ее «Красавицей». Слушай! Снова та же самая конструкция! Строкин! Стро... Курилов Строкину! Прием! Прием! Курилов Строкину! Прием!

Но мне никто не отвечал.

Теперь я уже сознательно не стал разворачивать вездеход. В этом моем движении то вперед, то назад что-то было... А конструкция все возвышалась. И все было как несколько минут назад. Или... или нет. Да, наверняка, все как несколько минут назад. Только я тогда не все заметил, потому что был уверен, что странность заключается только в непонятной конструкции, неожиданно возникшей передо мной. Теперь я был повнимательнее. Во-первых, связь со Строкиным снова оборвалась. Я сейчас дам задний ход и услышу от своего напарника, на каком слове она прекратилась. Во-вторых... Или это мне только кажется?.. За окнами машины было не такое уж и пекло, как всегда... В-третьих, колея от вездехода, которую я перешел пешком, тянулась перпендикулярно движению моей машины. В-четвертых, это была колея только от одной гусеницы.

Но сначала связь со Строкиным.

Я дал машине задний ход и почти тотчас же услышал!

— ...рилову! Прием! Прием!

— Курилов Строкину! Слышу нормально. Когда прекратилась связь?

— На фразе: «И я официально предложу называть ее «Красавицей».

— Все верно. Следующей фразой было: «Слушай! Снова та же конструкция!» Что будем делать? Похоже, что дело тут не в плохом прохождении радиоволн. Я куда-то попадаю. Только наш вычислительный центр вряд ли смог бы это смоделировать. А какой-либо сбой в машине уже давно бы заметили и исправили.

— Выхода два: или обоим немедленно возвращаться в институт, все рассказать, а там уж пусть начальство принимает решение, или попытаться кое-что разузнать об этой твоей конструкции, но только вдвоем. Впрочем, уже одно то, что на «подопечной», «Красавице» то есть, пропадает радиосвязь — немаловажно. И если это не причуды вычислительного центра, то работы хватит всему институту.

— Я уверен, вычислительный центр здесь ни при чем. Жду тебя в квадрате Крестьянчикова. — Я назвал координаты места, где сейчас находился. — Придумаю для тебя какой-нибудь буй. Или... или даже просто оставлю на этом самом месте свою машину, а сам пойду пешком.

— Думаешь, туда можно пройти пешком?

— Почему нет? Сейчас попробую. Иди по радиодатчику. Минуты через две я тебя вызову.

Я вылез из вездехода и пошел по следу машины. Лицо мое защищала только кислородная маска, а кисти рук были открыты вообще. Я чувствовал, какая жуткая жара стояла здесь. Колея от моего вездехода кончалась внезапно, словно срезанная ножом. Я постоял с секунду и сделал шаг вперед. Передо мной высилась конструкция. Воздух, несомненно, стал прохладнее. И еще одна странность — горизонт словно бы сузился. Но это могло быть и оттого, что в вездеходе мои глаза находились метра на полтора выше. На ровном месте и это имело значение.

Несколько минут у меня ушло на то, чтобы вернуться в машину, вызвать Строкина, сказать ему о том, что я намерен делать дальше, убедиться, что тот на предельной скорости идет в мой квадрат, и снова вернуться к странному сооружению.

5

На связь со Строкиным я должен был выйти через полчаса. Еще раза три я обошел вокруг странной конструкции, уже более смело заглядывая в ниши и похлопывая рукой выступающие части. И если раньше я отметил, что оно, кажется, было изготовлено из металла, то теперь я начал различать цвета металла. Преобладающим был малиновый с множеством оттенков, переходящих в желтый или фиолетовый. Завершенность форм конструкции привела меня к мысли, что это какой-то законченный, отдельный, специальный аппарат, у которого нет никаких функциональных связей с окружающим

миром. То есть я пришел к мысли, что это какой-то летательный, скорее всего, космический аппарат. Одна из ниш оказалась настолько глубокой, что свет в нее уже не проникал. Уверенность, что ничто здесь не причинит мне вреда, возникла у меня уже давно. Она окрепла и даже казалась внушенной, внешней, не подавляющей, но какой-то призывной. Словно кто-то приглашал меня и просил помощи.

Я уже не мог, да и не хотел противиться этому зову.

Ниша заканчивалась лазом, в котором я мог проползти. Я двинулся вперед и метров через пять очутился в помещении, светлом, достаточно просторном, круглом, с какими-то стойками по окружности, с двумя креслами или чем-то отдаленно напоминающим кресла, с пультом управления. Во всяком случае, здесь что-то переливалось всеми цветами радуги и походило на перемигивание лампочек на мнемосхеме какого-то очень сложного устройства. В одном из кресел лежало существо и глядело на меня двумя немигающими глазами. Мне показалось, что оно мертво или без сознания. Призыв о помощи, безмолвный, но страстный, исходил несомненно от него.

Что-то перевернулось в моей голове и стало на место. Спокойно... Спокойно... Спокойно...

Чьи бы это ни были штучки, но передо мной лежал человек. Да я и не рассуждал, человек это или не человек? Просто разумное существо. Я подошел и положил руку на высокий лоб. Он был тепел, этот именно человеческий лоб. Да и черты лица были явно человеческими. Глаза, уши, рот, нос. Руки, ноги, туловище. Он, кажется, был точной копией человека, хотя человеческими мне показались только глаза. Что же делать? Что с ним? Чем я могу ему помочь? Я чуть было не сгреб его в охапку и не потащил в вездеход, чтобы немедленно транспортировать в наш институт. Но вовремя опомнился. Во-первых, атмосфера. Лаз в это помещение, каюту или рубку управления был открыт. Вполне возможно, что существо дышало именно таким воздухом, какой был на этой планете. А он ведь далеко не похож на земной. Может случиться, что один глоток земного воздуха — и спасать будет некого. Во-вторых, еще одно кресло. Я не знал, есть ли здесь второй член экипажа. А если есть, то жив он или мертв? Колея одногусеничного вездехода наводила на мысль, что второе существо должно быть. Я бы сейчас сделал все, что нужно, вот только не знал, что именно. Осмотреть ко-

рабль? Теперь я был уверен, что это космический корабль. Да чем же все-таки помочь ему? Я рванулся в одну сторону, в другую, чуть было не сбил со стойки графин с водой... и остановился.

Ладно. Космические корабли, представители другой цивилизации, очень похожие на нас, вычислительная машина, продолжающая играть цветовые гаммы — все это возможно. Для меня, по крайней мере. Я ведь никогда не встречался с пришельцами, как, впрочем, и все остальные люди на Земле. Но... но этот обыденный, простой, слишком уж человеческий графин с водой. Стеклянный графин, похожий на тот, что стоял в холле нашего института. На нем только инвентарного номера не хватало!

— Пить... — сказало существо.

Понятно. Если есть графин, почему бы ему не сказать на чистейшем русском: «Дай-ка, дружище, водицы испить!»

Я спокойно взял в руки графин, даже вода в нем булькнула как-то знакомо, и поднес его ко рту человека. Теперь уже точно: человека! Только вот рта он не раскрыл. Мне пришлось приложить значительное усилие, чтобы раздвинуть стиснутые челюсти и влить в рот немного воды. Человек был без сознания. Тогда как же он смог попросить воды?

Я поставил графин на место и осмотрелся еще раз. Никакого другого выхода отсюда не было. В это помещение можно было проникнуть только одним единственным образом: через тот самый лаз, его даже ходом не назовешь.

— Спасибо... — сказал человек. — Помоги еще...

— Как? Как тебе помочь?!

Глаза человека, по-прежнему, были открыты. И все-таки он лежал без сознания. Во всяком случае, он не пошевельнулся. Да и говорил он, не открывая рта. Ладно. Переживем. Телепатия! Передача мыслей непосредственно из мозга в мозг. Поэтому он и говорит на русском. Даже в самом непонятном есть какой-то порядок, который успокаивает, делает это непонятное приемлемым, во всяком случае. Сейчас он скажет, подумал я, что у них сломалась дюза или отражатель фотонного двигателя и попросит помощи. Я даже ответа ждал на свои невысказанные вслух мысли. Но не получил. Человек не сказал больше ничего.

— Сколько вас здесь? — спросил я. — Двое? Или больше? Что это за аппарат? Космический корабль? Вы хоть знаете, что находитесь на Земле?

Я мог продолжить этот ряд вопросов до бесконечности. Мне самому нужна была помощь. Я не знал, что делать.

Но ведь где-то на подходе уже был вездеход Строкина.

Здесь мне мог помочь только он.

6

К своему вездеходу я вернулся вовремя. Машина Строкина приближалась. Вот она остановилась. Еще минута, и Валерий появился передо мной. На нем был такой же комбинезон, как у меня, и кислородная маска.

— Ну! — нетерпеливо спросил он. — Что тут у тебя?

— Полагаю, что это космический аппарат, — ответил я. — Внутри находится человек. Он даже попросил у меня пить, хотя и лежит без сознания.

— Ты хоть представляешь, что говоришь? — не поверил Строкин. — Машина нашего института создала математическую модель этой планеты. И вдруг на математическую модель преспокойно садится космический аппарат пришельцев!

— Не знаю, преспокойно он сел или нет, но существо, находящееся в нем, нуждается в помощи. Вот кончается колея моего вездехода. Можешь сделать шаг вперед и сам все проверить.

Строкин шагнул. Минут через пять он вернулся.

— Оказывается, ты прав. Только их корабль находится не на «подопечной», не на «Красавице» то есть.

— Это в каком же смысле?

Вместо ответа Строкин сказал:

— Давай загоним туда один вездеход и пусть он определит некоторые параметры планеты, а мы займемся самим человекоподобным существом.

— Человеком, — поправил я.

Предложение Строкина было правильным. Мы так и сделали. Моя машина по стандартной программе занялась исследованием планеты, которая, как мне теперь казалось, действительно заметно отличалась от «Красавицы». Но чем мы могли помочь человеку? Валерий оказался находчивее меня. Он прихватил с собой аварийную аптечку.

— Уж не собираешься ли ты лечить его земными лекарствами? — спросил я.

— Нет, не собираюсь. Но попытаться определить, что же с ним такое произошло, стоит.

— Как ты сможешь это сделать? Ведь мы же ничего о нем не знаем!

— Тогда предложи что-нибудь другое.

— Его нужно немедленно транспортировать в наш институт. А уж там пусть разбираются. — Я еще долго распространялся по поводу научного потенциала нашего института и других научных организаций нашего родного города, в том числе и медицинских.

Строкин слушал меня вполуха, то прикладывая ладони ко лбу человека, то выслушивая его. Ясно, он пытался определить, бьется ли сердце этого существа.

— Жаль, — наконец сказал он.

— Совсем уж безнадежно?

— Жаль, что мы его не можем транспортировать в наш институт.

— Да почему же?! — вскричал я и тут же все понял.

Нет! Ведь все это существует только в нашем мозгу. Ведь это только модель, созданная вычислительным центром нашего исследовательского института. Ничего мы не сможем вынести отсюда, так же, как и внести сюда. И никакие вредные отходы промышленных производств сюда тоже не перебросишь. И не создашь невиданные синхрофазотроны...

— Ты, Алексей, срочно возвращайся, — сказал Строкин. — Расскажи там все подробно. Здесь нужен опытный врач. Я уверен, что такого найдут, и он согласится посетить нашу седьмую модель.

Мне не хотелось оставлять Строкина здесь одного. Но и выхода другого, кажется, действительно не было.

— Поторопись, Алексей, — сказал Строкин.

— Я все понял. Сделаю. Только учти, что несколько фраз он мне все-таки сказал.

— Хорошо, учту. А ты не забудь сообщить, что все это происходит не в нашей модели. Не знаю уж где, но только не в нашей модели.

Я мчался на своем вездеходе к точке выхода из математической модели. Параметры планеты, на которой остался Строкин, действительно резко отличались от нашей «подопечной». Она была меньше по размерам и имела другой состав атмосферы, почти пригодный для дыхания человека. Только кислорода в ней было чуть-чуть меньше, чем в земной.

7 Оказывается, моего возвращения уже ждали. К ангару сбежался почти весь институт, по крайней мере, все необходимые мне сейчас люди.

Вычислительный центр проанализировал странности в поведении Крестьянчикова и Вольнова. И хотя рекомендаций никаких не выдал, весь институт уже ждал чего-то необыкновенного.

Первое, что попытались сделать программисты, это найти ошибку в модели нашей собственной «подопечной». Ошибки или сбоя не было. Тут же начали организовывать спасательную экспедицию, в состав которой включили двух врачей. Мне предложили отдохнуть, но я чувствовал себя проводником, первопроходцем и поэтому отказался. А у них, конечно, не хватило духу отстранить меня от дальнейших работ.

В модель меня перебросили первым. Я вышел из вездехода, и он автоматически вернулся в институт. Через минуту он появился с врачом. Затем возникло сразу три машины. Ясно. Это впервые начали работать спасатели. Машины снимали даже с модели самого Маркелова.

Через час экспедиция прибыла к тому месту, где стояла машина Строкина. Несколько человек остались возле нее, остальные пошли по колее, которая и вывела нас в какой-то другой мир.

Строкина мы нашли сидящим во втором кресле. Он сидел совершенно неподвижно. И я вначале подумал, что и он тоже находится в глубоком обмороке. Но испытатель вдруг шевельнулся и открыл глаза. Лицо его было очень усталым. Поднялся он с большим трудом.

— Можете не торопиться, — сказал он. — Контакт надежен. Этот человек моделирует не только окружающий его мир, но и самого себя. Он не знал, что для нас столь важно казаться живым, двигающимся. Скоро он встанет и пожмет нам руки. А желающие поговорить с ним должны сесть вот в это кресло. Разговор будет идти на чистейшем русском, потому что передача информации идет непосредственно из мозга в мозг. Кто желает?

Желали все, но предпочтение отдали мне. Все-таки, как ни как, а именно я нашел странное сооружение. Я сел в кресло и расслабился.

— Повторяю еще раз, — сказал человек. — Спасибо тебе за спасение!

— Но я не спасал тебя! — удивился я. — Я даже не знал, что нужно делать, если ты и нуждался в помощи!

— Контакт установлен и это — главное. Мой корабль действительно потерпел аварию. Координаты его не имеют для тебя значения. По космическим меркам это наверняка в какой-нибудь другой галактике. На случай подобных происшествий у нас имеются устройства для моделирования планет, совершив посадку на которые, мы могли бы произвести ремонт, а если планеты обитаемы, то и вступить с их обитателями в контакт.

— Но ведь все это фикция! — вскричал я. — Модели на самом деле не существуют. Они только в нашем воображении!

— Конечно, — согласился человек. — И наш контакт существует только в нашем воображении, а вернее, в нашем сознании, хотя без воображения здесь, конечно, не обойтись. Мой корабль потерпел аварию. Я начал моделировать разные миры, но все они мало пригодны для меня. Дело еще в том, что пострадала и моя вычислительная машина. Но почти все цивилизации при моделировании миров проходят через этап вот таких песчаных планет. Тут какая-то закономерность. Или люди думают, что проще песка уже нет ничего на свете? Поскольку модели существуют не в обычном пространстве и времени, вероятность встретить на одной из них разумных существ очень велика. Вот я и встретил вас.

— Но чем мы можем помочь тебе?

— Мыслями, идеями, участием.

— Подожди, между нашими моделями связь можно установить только в одной-единственной точке, которую я нашел случайно.

— Ты же сам не веришь в эту случайность. В принципе, если вам так хочется, наши модели можно совместить полностью.

— Это было бы интересно. Вот ты говорил, что корабль и вычислительная машина частично вышли из строя. А если бы машина вышла из строя полностью?

— Осталось бы мое сознание и воображение. Модель все равно можно построить.

— А если и сознание и воображение...

— Что ж, мы не бессмертны.

— Сколько вас на этом корабле?

— Я один.

— А кто же тогда проделал колею вездеходом с одной гусеницей?

— Я об этом ничего не знаю.

Я встал с кресла. Похоже, что мы разговаривали вслух. Но это не беда. Каждый наш разговор с ним будет что-то прибавлять к нашему знанию о нем. И мы ему чем-нибудь поможем. Я в этом уверен.

8

Так наша «подопечная» стала знаменитой. И ее уже вполне официально называют «Красавицей».

Обе модели по взаимному согласию совмещены в пространстве. Испытателям и программистам работы по горло. Там более, что не разгадана тайна колеи вездехода. Кажется, в нашей седьмой модели был кто-то третий.

И хотя на седьмую модель брошены основные силы института, иногда у меня нет времени после смены вернуться домой. А когда это все же получается, я сначала стою на смотровой площадке института и смотрю на заречные поля и леса, на седую дымку над горизонтом. А потом еду в переполненном автобусе домой и там занимаюсь самыми обычными делами, обыденными и вечными. И жена часто говорит мне, что у меня не хватает воображения.

Я не спорю. Возможно, она права. Я соглашаюсь.

А завтра меня снова ждет «Красавица» со своими тайнами...

ПЕЧАТАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

На семейном совете решили: пишущую машинку надо покупать. Напрокат только всякое барахло попадается. Больше времени уходит на домашний ремонт. Ну а все остальное подождет. И новое пальто жене, и беговые коньки сыну, и костюм самому Семену. Тем более что на эти деньги все сразу и не купишь.

Семен Батутин пошел в магазин вдвоем с женой Катей. Там они долго рассматривали различные марки машинок, хотя дома уже было решено, какую покупать. А потом они вместе читали техническое описание. И, наконец, попросили продавца что-нибудь отпечатать. Батутин и сам умел, но в магазине стеснялся. Продавец мигом вставил лист чистой бумаги, и машинка залилась такой оглушительной трелью, что жена Семена даже вздрогнула от неожиданности.

— Пожалуйста, — не глядя на лист, сказал продавец и протянул его покупателям.

«Ходят тут всякие! Выбирают! Выбирают! И чтобы дешево было, да еще само и печатало...» — было отстукано на листе.

— Что же это, — испуганно произнес Семен. Даже стыдно ему почему-то стало. — У нас и деньги есть. Нам машинка нужна. — И, словно обратившись за поддержкой, добавил: — Катя...

Катя сразу же начала открывать сумочку, в которой лежали деньги. Семен протянул лист продавцу. И тот, только сейчас прочитав, что там напечатано, досадливо покраснел, но тут же овладел собой и с достоинством произнес:

— Голова кругом идет. Столько народу за день... Вы уж извините, пожалуйста.

Батутин огляделся. В магазине было пустынно, как на пляже в ненастную погоду. Огляделся и мысленно простил продавца.

— Так выписать ее вам? — нетерпеливо спросил продавец.

— Да, да. И именно этот экземпляр.

Через час машинка «Эрика» красовалась в квартире Батутиных. Новенькая, чистенькая, блестящая. На ней и печатать-то было страшно.

— Первая я! — сказала Катя, вымыла руки и села за машинку.

«Скоро папка защитит диссертацию, и тогда мы заживем по-человечески!» — напечатала она.

— Правда ведь?

— Правда.

«Поедем на Черное море, а потом купим чудо-гарнитур! И все старье выкинем!»

— Правда?

— Правда, — снова согласился Семен.

Катя составила целый список необходимого (ох и много же оказалось этого необходимого!) и с победным видом уставилась на мужа:

— Осилим, Семка?

— Эх, надо бы! Ну уж раз печатающий механизм купили, будем работать. Кровь из носу, а к сентябрю диссертацию надо закончить.

— Ты закончишь, я знаю. Когда что-нибудь очень нужно, ты всегда сделаешь. Ты же у меня молодчина. — Катя встала и ласково погладила мужа по щеке. — Ты тут потренируйся немного, а я ужин приготовлю. Хорошо? Для разминки что-нибудь из книги попечатай.

— Ладно...

Жена ушла на кухню. Семен походил по комнате, о чем-то размышляя, потом подошел к книжному шкафу, выбрал книгу академика Ландау «Теория поля», подержал ее немного в руке и вернулся к столу. Нужно было напечатать какой-нибудь технический текст, чтобы научиться оставлять достаточное место для формул, которые потом вписываются от руки.

И, пока жена гремела на кухне кастрюлями, он отпечатал страницу.

Печатал он быстро, даже с каким-то изяществом, хотя только двумя пальцами. Он уже хотел было вытащить лист, но что-то его отвлекло, что-то заставило его все забыть и подойти к окну. Солнечный лучик, что ли? Или капля, сорвавшаяся с сосульки... Он подошел и прислонился к холодному окну щекой.

А за окном-то была весна. Весна!

Простоял он так несколько минут, чувствуя, что ему совсем не хочется думать о диссертации. Пробежаться бы сейчас по лужам, разбивая их хрупкий ледок. С сыном бы пойти, с женой. Посидеть бы в сквере на солнышке...

— У тебя хорошо получается, — услышал он голос Кати. В одной руке она держала столовое полотенце, а в другой — лист, только что выдернутый из каретки. — Только лучше бы ты технический текст печатал, а не стихи.

— Какие еще стихи? — засмеялся Семен. — У Ландау такие стихи, что хоть на музыку перекладывай.

— А это что? — Жена встряхнула в руке лист... — «Не любя, не страдая, не мучаясь, ожидаю прихода весны»... Евтушенко, что ли?

— Где, где?! — испугался Семен. — Ах, вот это! — На бумаге действительно были напечатаны стихи. Целых три строфы. — Нет, нет. Это одного поэта... Вот черт, забыл фамилию.

— Семен, занимался бы ты лучше делом, — посоветовала Катя и ушла на кухню, и даже закрыла за собой дверь, чтобы не мешать мужу.

А Семен пробежал глазами строчки. Стихи были незнакомые, но созвучные его настроению. Семен даже подумал, что и он мог бы такие написать. Но стихи писать было некогда. Диссертация пребывала в полусыром виде. Отпечатать ее, поизрезать ножницами, поисправить всю, склеить кусочки, снова отпечатать, чтобы сдать в Ученый совет, — вот тогда можно будет и отдохнуть. Только для стихов все равно вряд ли время найдется.

Он вставил в каретку чистый лист бумаги и напечатал целый абзац. Глазами он следил за текстом по книге и поэтому, взглянув на лист, чуть не ахнул от удивления. Даже какой-то легкий испуг пробрал его. На листе снова была напечатана строфа стихотворения. И опять про весну. И опять созвучно его немного грустному настроению.

— Интересно, — прошептал Семен и начал печатать Ландау дальше, не отрываясь от текста и не глядя на лист. — Что же получится? А?

Получилось стихотворение, три четверостишия. А одна строфа была написана белым стихом, но как-то очень необычно: и грустно, и радостно, и немного растерянно. Семен вытащил лист, положил его рядом с первым — текстом вниз, вставил в каретку чистый, но печатать ничего не стал, а позвал Катю.

— Ну что тут у тебя, горе мое? — спросила Катя. — Расположение букв забыл, наверное?

— Да нет... Все я помню. Ты вот попробуй напечатай одну страницу из «Теории поля».

— Это еще зачем? Я уж лучше что-нибудь другое. Тут я запутаюсь с этими индексами. Я ведь не знаю, какой из них надо печатать, а какой вписывать от руки.

Катя печатала быстро, почти как профессиональная машинистка. Закончив, она вынула лист из каретки и протянула мужу:

— Ну? И зачем ты меня звал?

— Действительно. У тебя все нормально получается. — Семен повертел в руках лист, на котором был список необходимых закупок на завтрашний день. Тут были и картошка, и лук, и масло, и даже телевизор.

— Про телевизор — это я так, — смутилась Катя. — Подумала просто. Вычеркнуть надо... Так я пойду?

— Подожди, Катя. Вот какая штука. — Видишь. — Он показал жене второй свой лист. — Снова стихи. А печатал я «Теорию поля». Я и в первый раз ее печатал, а получились стихи. Да и стихов-то этих я никогда не читал. Не помню.

— Эх, заставила бы я тебя обед готовить! — в сердцах сказала Катя и пошла на кухню. Там у нее что-то закипело. Семен поплелся за ней.

— Вот ты проверь, проверь, — просил он. — Я буду печатать, а ты следи.

— Будешь есть переваренные щи, — пообещала Катя, убавила газ, очистила головку лука, но все же пошла за мужем.

Семен сел очень прямо, развернул плечи, как на экзамене. Он даже вздохнул раза два, прежде чем начать печатать. И когда он принялся отстукивать строку, сразу стало ясно, что это будут стихи.

— Ты вот замечай, — говорил он. — Я нажимаю букву «в», затем «е», «к», «т», «о», «р». Следила? А теперь посмотри. — Он отвел руку, которой закрывал лист. На листе вместо слова «вектор» было напечатано «весна».

— Интересное дело, — сказала Катя. — Что же у нее, шрифт неправильно расположен, что ли?

— Но ведь ты же печатала! А потом, в слове «вектор» — шесть букв. Я шесть и нажимал. А в слове «весна» — пять. А где же шестая?

— Странно, — сказала Катя и тут же убежала на кухню убавить газ у второй конфорки. — А ну-ка попробуй еще, — попросила она, вернувшись в комнату.

Сколько Семен ни печатал, получались только стихи. Но это, странное дело, не расстроило его. И настроение как будто

улучшилось. В комнате сделалось светлее. И жена стала какая-то не такая, непохожая, а чем — и не поймешь. И понимать не хочется. Пусть такая и останется. Губу чуть прикусила. Думает, что же делать?

— Да ну ее, эту машинку! — вдруг сказал Семен. — Я лучше тебя поцелую.

— Вот еще, — сказала Катя. — Разобраться надо. Может, менять придется. — И она сама села за машинку.

— Ты только перестань составлять списки, — попросил Семен. — Попробуй все-таки Ландау попечатать. Пусть с ошибками. Сейчас не это важно.

— Хорошо, — сказала Катя и начала печатать «Теорию поля».

Она не смотрела на лист, торчащий из каретки, но Семен уже понял, что Ландау напечатать не удастся. На листе снова был какой-то хозяйственный перечень.

— Не может быть, — сказала Катя и начала новый лист. Но их, наверное, можно было начинать и сто.

Катя окончательно расстроилась, устало опустила руки.

— Но почему у меня стихи, а у тебя все по хозяйству? Значит, дело не в шрифте? Если бы шрифт был перепутан, тогда получалась бы сплошная абракадабра!

Тогда почему же?

— Почему, почему? — всхлипнула Катя. — Не знаю, почему у тебя стихи получаются. А у меня эти списки все время в голове. Только и думаешь, что бы купить и денег меньше израсходовать. На твою стипендию не очень-то развернешься. А про свою зарплату я и вспоминать не хочу.

Семен не обиделся. Знал он, что не попрекала жена его, а ей действительно трудно. Понимал он ее, и поэтому обнял за плечи, сказал:

— Недолго уж, Катя, осталось ждать. Все должно быть хорошо. И с машинкой этой разберемся. Ты, пожалуйста, не расстраивайся.

Для того, чтобы расстраиваться, у Кати не было времени. Улыбнулась она через силу и пошла на кухню.

А Семен сел за машинку. Теперь он понял, что с ней шутки плохи. И весна тут, конечно, имела какое-то значение. Необъяснимо все и запутанно, но ведь факт! Семен сосредоточился, выбросил из головы всякую ерунду вроде весны и хрустящих подмерзших лужиц, представил себе почему-то злые, недоброжелательные лица оппонентов на будущей пока еще

защите, ощетинился весь внутренне, даже лоб нахмурил... и отпечатал: «К вопросу о некоторых свойствах полевых транзисторов в режиме генерации».

Получилось! Заглавие диссертации уже получилось! Это, конечно, была еще прикидка, но все же... Семен разволновался, начал искать в черновиках первую страницу, введение. Нашел. Надо было печатать, пока получалось. Катя не появлялась из кухни. Семен благополучно отпечатал одну страницу, начал вторую... И снова настроение у него странно изменилось, и лица оппонентов уже дружески улыбались ему, и солнце снова заглянуло в комнату... И печатал Семен уже не введение к диссертации, а стихи, и не хотелось ему останавливаться.

Он работал около часа.

— Семен, — вдруг услышал он голос жены. — Ты ведь с ней диссертацию не закончишь...

Семен кивнул, сложил листы, протянул их Кате, сказал:

— Это тебе. Когда-нибудь прочитаешь. А машинку эту я унесу.

Он вставил ее в футляр, оделся и пошел в магазин. Он шел и не замечал, как похрустывают под ногами подмерзшие лужицы. И мысли его теперь вертелись вокруг диссертации, которая называлась «К вопросу о некоторых свойствах...» И тема уже казалась ему значительной, и выводы — многообещающими. И хотелось написать ее изящно, чтобы самому стало радостно.

Домой он вернулся без машинки, но зато с букетом цветов, которые купил в подземном переходе у молодого грузина. А машинку он решил больше не покупать. Можно и напрокат взять.

Катя цветам обрадовалась. А потом Семен сходил за сыном в детский сад и на обратном пути купил конфет и торт. И они вечером пили чай и смеялись, потому что старенький телевизор довольно сносно показывал действительно смешную комедию.

А через девять месяцев Семен Батутин защитил диссертацию, и в августе они ездили на Черное море. Семен теперь даже в детский сад ходил с портфелем. Поговаривали, что ему следует подумать о докторантуре. И Семен уже начал привыкать к этой мысли. А потом наступила осень, зима. Семен читал лекции, готовился к ним, писал крупные статьи в научные журналы, один и в соавторстве. И статьи эти появлялись в печати.

Как-то в сентябре Катя сказала ему, что лес пожелтел, но Семен только отмахнулся от нее. Не до этого ему было сейчас. И первый снег выпал для него незаметно. Весной он поскользнулся, упал и исцарапал о лед свой портфель.

И уже материалы новой диссертации — докторской — накапливались в этом портфеле. Семен посерьезнел и отпустил красивую бородку. Он подумывал было и о трости, но Катя решительно воспротивилась этому.

Иногда по вечерам, когда Семен читал лекции, Катя доставала листки со стихами и смотрела на них. Она их не читала, потому что знала все наизусть. И тогда ей становилось грустно и хотелось, чтобы Семен пришел сейчас и сказал: «Это тебе, Катя! Прочти, если хочешь». И засмеялся бы, закружил ее по комнате, отбросив в сторону свой портфель.

Но Семен приходил серьезный и сосредоточенный. Он аккуратно ставил в передней на специальную полку портфель, ужинал, просматривал газеты и рассказывал Кате о некоторых вопросах, имеющих отношение к его будущей диссертации.

А за окном шел золотой листопад, или сказочные снежинки медленно падали на землю, или прозрачные капельки скатывались с ледяных стрел сосулек.

А где-то за окном жили стихи и сказки...

МАМА!

Что знаем мы, двадцатилетние, о войне? Мы, ни разу не видевшие разрывов бомб, не слышавшие свиста пуль, никогда не голодавшие, не знавшие, что такое похоронная, безногий отец, в тридцать лет поседевшая мать.

Что знаем мы о войне?

...Близилась экзаменационная сессия. Около Университетской рощи нельзя было пройти, не захлебнувшись запахом цветущей черемухи. Днем уже было жарко. Вечером — еще прохладно. Проспект Ленина от Дворца Советов до Лагерного сада заполняла шумная смеющаяся толпа.

Я учился в Усть-Манском политехническом институте на факультете операторов машин времени. Мы гурьбой шли с лекции по теории прогнозирования будущего на лабораторные занятия в десятый корпус.

— А вы знаете, — сказал Валерий Трубников, — эта лабораторная — практически зачет по прогнозированию настоящего.

— Ну да! — ахнула идущая рядом со мной Вера и схватила меня за локоть. — Это правда?

— Правда, правда, — Трубников утвердительно закивал в ответ.

— Откуда ты взял? Откуда ты знаешь? — загалдели вокруг.

— Знаю, и все! Сами увидите.

Нельзя сказать, что его заявление нас обрадовало. Все слышали о педантичной скрупулезности старшего преподавателя Тронова, который вел лабораторные. Его любимой фразой было:

— С временем шутить нельзя.

Он выжимал из нас все. Он заставлял нас думать так, что голова раскалывалась на части. Его не устраивали витиеватые, эмоциональные рассуждения и доказательства. Ему нужна была строгая логика. Только логика.

После яркого солнца полусумрак коридоров был даже приятен. Кабины учебных машин времени располагались в

правом крыле здания в аудитории № 307. Все лабораторные я делал вместе с Верой. И в группе уже перестали шутить на эту тему. Привыкли.

Старший преподаватель Тронов вошел в кабину и положил на стол конверт.

— Если кому-нибудь станет плохо, нажмите вот эту кнопку, — сказал он. — Это случается.

— Почему? — спросила Вера.

— Война... Что вы знаете о войне? — Тронов пожал плечами.

— Знаем, и многое, — сказал я. — Брест, Ленинград, Майданек.

— Сталинград, — подхватила Вера. — Хиросима.

— Люди, в первую очередь люди, — тихо сказал Тронов и вышел из кабины.

— Значит, мы будем участвовать в войне? — сказала Вера. — Ой, как это здорово!

— Участвовать, — передразнил я ее. — Смотреть со стороны. Кино.

— Ну да. Кино. Это не кино. Это действительно было.

Мы прочитали задание, набрали на пульте машины координаты пространства и времени и включили ее...

Пронзительно завизжали тормозные колодки, и поезд остановился. Из теплушек, как горох, посыпались люди. Над головами на бреющем полете пронеслись один за другим три самолета. Горели два соседних вагона. Люди скатывались с насыпи и бежали в степь. Женщины и дети.

Эффект присутствия был ошеломляюще полным.

Рядом со мной упала женщина. На ней было серое тяжелое пальто, черный платок, кирзовые сапоги. Девчушка лет пяти дернула ее за руку: «Мама! Мама!» Потом, поняв, что мама подняться не может, навзрыд закричала:

— Ма-а-а-ма!

Рядом, оставляя за собой полосу крови, ползла женщина, прямо к воронке, где еще шевелилось, билось что-то бесформенное, полузасыпанное землей, что еще совсем недавно было близким ей человеком...

В открытом поле смерть настигла людей быстро и безжалостно. Горели почти все вагоны. Обезумевшие люди бежали по полю, падали, ползли по земле. Пахло горелым. Пахло цветами. Это смешение запахов казалось столь неестественным, столь диким, что хотелось кричать, чтобы хоть криком разрушить ужасающую картину летней степи, над которой гремели длинные пулеметные очереди.

Смерть, смерть кругом. Смерть, а всюду весна и солнце!

Кто-то, почти мальчишка, пытался навести порядок в вопящем, орущем мире, приказывал лежать или бежать к балке, видневшейся метрах в трехстах от железнодорожной линии, а Вера безмолвно застыла на обгоревшей траве рядом с воронкой.

— Ложись! — крикнул я, хватая ее за руку, — Ложись!

Вера вырвалась и бросилась к сидевшему неподалеку от нее ребенку. Когда земля, рассыпаясь под пулями, летела ему в лицо, он смеялся и по-детски беспечно отплевывался, размахивая руками, пуская пузыри. Рядом вставали и падали бурунчики пулеметных очередей. Это его не пугало. Для него еще не существовало понятия «война».

Вера бросилась к нему и вдруг в полуметре, широко расставив руки и навалившись грудью, как бы уперлась в твердую стену воздуха, не пускающую дальше. Она стучала о невидимую преграду и что-то кричала, пока, обессиленная, не сползла вниз, к траве.

Я на ощупь нажал кнопку возврата... Панели пульта управления, высокие стойки аппаратуры, мягкий приглушенный свет, букетик цветов в стакане на столе. Скорченная фигура Веры в углу кабины, возле самого выхода. Я бросился к ней и приподнял, думая, что она потеряла сознание. Но она широко открытыми глазами посмотрела на меня, в даль, в пустоту и осторожно освободилась. Подошла к столу, села, уронив голову на ободранную столешницу. Я знал, что творится в ее душе. Знал ее чувствительную натуру. И если я наверняка не выдержал бы еще нескольких минут, то что сейчас происходило с ней?

Так она сидела минут пятнадцать, и я не смел потревожить ее. Потом она подняла голову и сказала:

— Все сначала.

— Можно отказаться от этой работы и попросить другую.

— Другой такой не может быть. Я выдержу.

...Пронзительно завизжали тормозные колодки, и поезд остановился... Мы стояли на краю воронки. Ветер, смешанный с дымом, рвал волосы.

Плача, и размазывая слезы по грязным щекам, кричала девочка:

— Ма-а-а-ма!

Играл сухой обгоревшей землей ребенок. Он был еще настолько мал, что нельзя было понять — девочка это или мальчик. Бурунчики пулеметных очередей возникли почти рядом с ним, и он, смешно переваливаясь на крохотных неокрепших ножках, затопал к этому месту, неумело повторяя: «Мма... мма... мма...»

Через секунду он был убит.

Страшный эпизод далекого прошлого на мгновение смазался — изображение исчезло.

— У нас мало времени, — сказала Вера. — Начнем моделирование. — Ее глаза сухо блеснули, встретившись с моими. — Ничего, Сергей. Мы успеем.

Нам нужно было проследить судьбу малыша в предположении, что он останется живым. И мы делали десятки таких предположений, выбирая наиболее вероятный вариант его будущей жизни. Логическая машина, используя информацию о прошлом человека, о людях, которые его окружали, событиях, выбирала наиболее возможный вариант, и мы его видели. Вся трудность заключалась в том, чтобы учесть наибольшее количество существенных, главных факторов, отыскать их среди, может быть, на первый взгляд, более бросающихся в глаза, более эффектных. Эта работа требовала железной логики, умения мыслить строгими логическими категориями, подавлять в себе эмоции, обязательно возникающие при этом. Эта работа требовала обширных знаний о том времени.

И вот мы увидели, как маленький человечек неуверенно сделал шаг к своей смерти, покачнулся и упал, не дойдя до нее двух шажков. А через минуту самолеты, израсходовав весь свой боезапас, скрылись за горизонтом.

Вокруг плакали, перевязывали раненых, искали родных и знакомых и находили их лежащими в неестественных позах.

Смерть всегда неестественна.

Потом вереница людей потянулась вдоль насыпи на восток. Ребенка несла на руках чужая старуха, почерневшая от горя, сухонькая, маленькая. Как она только его несла? Мальчик (это оказался мальчик) попал в детдом, окончил школу, Томский университет. В сорок лет он разработал математическую теорию раковых заболеваний. Это почти на год раньше, чем произошло на самом деле. Кто-то другой сделал это на год позже. На год позже... Сколько жизней не удалось спасти из-за этого.

Второй человечек, тот, который грязным комочком еще шевелился на краю воронки, не стал бы выдающимся ученым. Он стал бы простым учителем истории в каком-то захолустном уголке.

Ну что ж. Мы выполнили задание лабораторной работы. Как всякая лабораторная, она не имела практической ценности.

До звонка оставалось не более трех минут, когда Вера сказала:

— Я хочу изменить судьбу девочки. Пусть ее мать останется живой. Хоть краем глаза я хочу посмотреть на это.

Я молча кивнул.

Сначала мы увидели то же, что и раньше. Женщину, лежащую с запрокинутой головой, и девочку. Услышали ее крик:

— Ма-а-а-ма!

Потом то, что хотели увидеть. Улетающие на запад самолеты и женщину, исступленно целующую свою дочь. Слезы радости, безмерной радости и счастья, что ее дочь жива и невредима, что еще несколько часов — и она будет в безопасности, что ей уже ничто не будет грозить, что она будет жить. Девочка, прильнувшая к матери. К заплаканному, постаревшему лицу матери.

Я тронул Веру за локоть:

— Звонок.

Она сама нажала кнопку возвращения в настоящее.

Вся группа собралась в коридоре. Не было обычного оживления и вопросов: «ну как?», «успели?».

Результаты своей работы мы узнаем на следующий день. Проверка работ будет проходить без нас. От нас никто не потребует дополнительных объяснений. Мы узнаем только результат.

На площади перед корпусом по-прежнему было солнечно и жарко. В Лагерном саду гуляли с детьми мамы и бабушки. Где-то пели песню. Мы вышли на обрыв к Мане. Здесь было прохладнее. Внизу купались нетерпеливые любители. Вода была еще очень холодная.

— Эх, война, война, — сказал кто-то.

— Да-а, — ответили ему. Что мы знали о войне?

— Я пойду, — сказала Вера. — К Тронову.

— Зачем?

— Ответ должен быть другим. Разве дело в том, что одним великим человеком могло быть больше? Просто человек мог быть... Дело не в том, что убили будущего учено-

го. Они этого еще не могли знать. Убили чью-то радость, чье-то счастье. Главное в том, чтобы не было этого страшного крика: «Ма-а-а-ма!» Чтобы никогда не было этого страшного крика.

— Тронова этим не возьмешь, — сказал Трубников. — Ему нужна только логика, строгие доказательства, без эмоций.

— Это самая лучшая логика! — крикнула Вера. — Я пойду...

— Я с тобой, — сказал я.

Мы побежали по молодой, еще только начинающей выбиваться из земли траве, торопясь застать Тронова.

УЛЫБКА

1 Началось все с простой шутки. Мне до смерти надоели глубокомысленные нравоучения филателистов и нумизматов о большой познавательной ценности марок и монет, о том, что, к примеру, нумизматика расширяет кругозор человека. Когда я ближе познакомился с этими все-таки по-своему интересными людьми, то узнал, что их волнует только приобретение какой-нибудь редчайшей марки или монеты. А все остальное является лишь длинной прелюдией к этому. Позже я узнал, что есть люди, коллекционирующие спичечные коробки, давно вышедшие из пользования, и, жалея их бесполезный труд, повинуясь какому-то внутреннему порыву или просто из чувства противоречия, заявил, что буду коллекционировать улыбки.

Это вызывало безобидные, хотя и продолжительные насмешки окружающих. Постепенно друзья и знакомые забыли о моей нелепой выходке. Забыл и я.

Прошло несколько лет, и однажды, это было на выпускном балу в политехническом институте, я увидел Энн... Увидел совершенно другими глазами, хотя знал ее уже лет десять. Ее болезненно-нервное выражение черных глаз, хрупкую мальчишескую фигуру.

— Сашка, — сказала она, как всегда, просто, — хочешь, я тебе что-то подарю?

— Хочу, — ответил я глупо и беззаботно, словно мне предлагали яблоко.

— Хочешь, я подарю тебе улыбку?

— Что? — я даже рассмеялся идиотским, ничего не понимающим смехом. — Улыбку?

— Улыбку, — сказала она, и я прозрел. — Ведь ты собирался коллекционировать улыбки... Забыл?

— Забыл... — ответил я, отчетливо вспоминая тот день. — Разве это возможно? Ты шутишь? — последняя фраза прозвучала гораздо тише, чем первая.

— Сашка-Сашка, ты...

Она не договорила, но я понял, что она хотела сказать.

— Нет, Энн, нет! Я не ослеп. Я все вижу.

— Так ли это? — и она улыбнулась.

Я запомнил эту улыбку, радостную и горькую, счастливую и безнадежную, все понимающую и недоумевающую.

— Я тоже люблю тебя, Энн! — крикнул я на весь зал.

Музыка замерла на неопределенной ноте, все выжидательно смотрели на нас, движение остановилось, мы были центром безмолвной вселенной.

— Почему — тоже? — сказала Энн. — Я просто хотела подарить тебе улыбку. — И она засмеялась.

Никто не обратил на нас внимания, разве что Андрей. Но ему лучше было этого не делать. Ведь это он любил Энн. Зал усердно и с чувством отплясывал лагетту.

— Пусть твое сердце останется чистым, — сказала она.

Я ссутулился, повернулся и вышел из веселящегося зала, не имея сил оглянуться. Я понял, что она меня любит, но не хочет показать этого, разрываясь от противоречивых чувств: «хочу» и «все бесполезно».

Меня направили работать в Усть-Манский НИИ Времени.

Через полгода я узнал, что Энн умерла. Она начала умирать, когда ей было десять лет, но сумела дожить до двадцати, ни разу не обеспокоив родных и друзей ни слезами, ни хмурым настроением.

Ее улыбка осталась в моей душе навсегда.

Чуть позже я заметил, что могу вызывать улыбку Энн на лицах своих знакомых или просто прохожих, стоит только захотеть. Но я делал это редко, потому что у Энн была очень горькая улыбка.

2

А потом я встретил Ольгу, и она стала моей женой.

Здесь тоже началось все с улыбки.

Это была вторая улыбка, которую я не мог забыть. С удивлением я заметил, что все улыбаются мне улыбкой Ольги. Улыбкой радостной, сильной, уверенной в себе и других, ободряющей и удивительно красивой.

На улицах нашего города, в тайге, в зарослях тальника около реки — везде я видел эту гордую, открытую, зовущую и... чуть настороженную улыбку. Настороженность эта была едва заметной и адресовалась только мне, потому что она еще ничего не знала о моих чувствах.

Что-то неосязаемо-необыкновенное и волнующее было в Ольгиной улыбке, неизвестное, непонятное другим, потому что нельзя увидеть улыбку, нельзя ее услышать, ее можно только ощутить, почувствовать. И как часто мы ошибаемся, когда мимолетное движение губ и изгиб едва заметных морщинок возле глаз принимаем за улыбку.

Часто в лаборатории или просто на улице, стараясь вспомнить Ольгу, я тем самым вызывал ее улыбку на губах какой-нибудь девушки, которая невольно останавливалась изумленная, не понимая, почему и кому она улыбнулась. Иногда в таких случаях меня осторожно спрашивали:

— Что с вами?

Хотя, как мне кажется, это я должен был спрашивать.

— Я коллекционирую улыбки, — ответил я однажды первое, что пришло в голову.

— Чудак, — сказали мне, и я согласился.

Постепенно я научился улавливать в улыбке Ольги различные оттенки, грани между которыми были столь неуловимы, что, пытаясь найти их, я вначале не мог отличить улыбки радостного ожидания от улыбки ожидания радости, улыбки физической боли от улыбки душевного страдания. Оказывается, бывают и такие улыбки.

Для того, чтобы запомнить улыбки Ольги, мне не нужно было тренировать память, я просто все больше и больше понимал Ольгу во всей ее сложности и простоте, во всей ее гармоничности и дисгармонии, горе и радости, во вспышках мимолетной раздражительности и нежности, в песнях и слезах.

И когда она сказала «люблю», я на одно мгновение вообразил, что знаю все ее улыбки, и тут же был раздавлен, ослеплен, вознесен на небо, опущен на землю и прощен... Это был урок.

И все же я знал тысячи ее улыбок.

Когда она приходила с работы, расстроенная и разбитая беззлобными, но обидными проделками школьников, или плакала над порезанным пальцем, отпихивая от себя корзину с овощами, я мысленно представлял себе ее улыбки, и какая-нибудь из них тотчас же находила свое единственное необходимое место в ее душе, и Ольга улыбалась. Улыбалась и плакала. Плакала и смеялась. Ей уже не было больно. Потом она говорила не то вопросительно, не то утвердительно:

— Сашка, ты колдун?..

— Нет, — говорил я. — Это ты колдунья.

— Значит, мы оба колдуны, — заключала она.

Способность вызывать улыбки, которые я запоминал, сначала удивляла моих друзей и знакомых. Потом к этому привыкли. Я же не мог объяснить этого свойства, у меня это как-то само

собой получалось, безо всякого усилия с моей стороны. Мне всегда казалось, что этим свойством должны обладать все люди.

В моей коллекции улыбок, кроме Ольгиных, были и улыбки друзей. Отрешенно-сосредоточенные улыбки Андрея — худого, высокого, нескладного, — когда он играл органные фуги и прелюдии. Его удивительные улыбки, всегда разные, — как всегда разной была его манера исполнения, — слитые с потоком звуков, то резко взрывающихся, расходящихся, то сходящихся в глубокий таинственный омут, вызывали в слушателях переживания, о которых бесполезно говорить вслух, потому что даже самые точные из возможных выражений разрушали совершенство улыбки и музыки.

Однажды я не выдержал и сказал ему:

— Андрей, в твоей музыке я чувствую самое необычное, что только могу себе представить, — многомерность пространства и времени. Я успеваю прожить, пока ты играешь, несколько непохожих одна на другую жизней. Что это?

Он пожал плечами (разве можно это объяснить?) и сказал:

— Я просто вижу улыбку Энн.

З Андрей не был профессиональным музыкантом. Мы работали в одном исследовательском институте, только на разных машинах. Машинах времени. Кто-то, еще до нас, назвал их мустангами. И мы никогда не называли их иначе.

Почти каждый день мы посылали своих мустангов в прошлое, наблюдая, только наблюдая, ни во что не вмешиваясь, скрупулезно изучая факты, отсеивая ненужное, второстепенное, мучаясь сознанием собственного несовершенства, когда вдруг второстепенное оказывалось главным и наоборот. До бессонницы и хрипоты в голосе спорили мы, пытаясь осознать, что дал нам и человечеству вообще тот или иной отрезок прошлого, который мы изучали.

Что дало нам прошлое? Куда оно нас привело?

Будущее и прошлое не существует отдельно друг от друга. Они завязаны настоящим в один тугой узелок. В этом узелке все противоречия и ошибки прошлого, все желания и мечты о будущем, вся радость и горе предыдущих тысячелетий, в нем все будущее и все прошлое.

Все будущее, потому что оно зависит от настоящего. Все прошлое, потому что от него зависит настоящее. А миг настоящего так краток!

Человечество часто делает ошибки, которые мгновенно оказываются в прошлом, уже недоступном для людей. Ошибку уже не исправить. Можно только уменьшить зло ее последствий. Но для этого приходится тратить слишком много сил, а иногда и человеческих жизней.

Мы хотели изменять прошлое, но пока только изучали его.

Афанасий Навагин, который коллекционировал хрипы, все время носился с идеей отправки Спартаку хотя бы двух пулеметов. На него не обращали внимания, так как возможные последствия этого разбирались еще на первом курсе института.

Навагин часто посещал клиники и больницы, и потом, как всегда неожиданно, кто-нибудь из нас в лаборатории вдруг начинал хрипеть. У Афанасия тоже была способность воспроизводить... воспроизводить хрипы! И когда испуганный инженер или лаборантка, придя в себя, жалобно озирались, Навагин громко хохотал, произнося всегда одну и ту же фразу:

— У всех есть способности...

— ...у одних улыбаться, у других делать гадости, — заканчивал кто-нибудь.

Но Афанасий был непробиваем, ведь у него была «способность».

Однажды я подумал, что, не будь у него этой способности воспроизводить чужие хрипы, никто бы не знал, что он за человек. Инженер он был толковый и не раз получал почетные грамоты за хорошую работу.

Я давно заметил, что он не умеет улыбаться. Правда, он довольно часто красиво изгибал губы и щурил глаза, но я не хотел называть это улыбкой. Так улыбается разрисованный под клоуна мяч, когда на него наступают ногой.

Однажды я сказал Игорю, начальнику нашей лаборатории, что Афанасий может что-нибудь натворить в прошлом. Я почему-то был уверен в этом.

— Ерунда, — ответил Игорь. — Он трус, не посмеет. Да и потом блокировка.

Блокировка меня немного успокоила.

Игорь был из того рода людей, для которых работа является целью и смыслом жизни. И только однажды он позволил себе отвлечься. На полной научной основе, с помощью приборов он исследовал мою способность вызывать у людей улыбки.

Афанасий две недели скрипел, угрожая написать докладную директору института, что оборудование лаборатории ис-

пользуется не по назначению, но на него просто не обращали внимания. И тогда он сказал:

— Ненавижу улыбки! — И ушел раньше времени с работы, хлопнув дверью. Мы же минут пять хрипели, чувствуя приближающуюся смерть, голод, боль и бессилие.

Игорь довел исследование до конца, но, потому что дело не касалось его основной работы, результаты отправил не в Академию наук, а в какой-то научно-популярный журнал, откуда вскоре понаехали корреспонденты, и я на несколько дней стал чем-то вроде трехголового ребенка.

Игорь в этой канители отказался принимать какое-либо участие, и я мотался с корреспондентами один.

О моих способностях вызывать у людей улыбки, которые хранились в моей коллекции, появилось несколько статей в популярных журналах. Посыпались отклики и реплики. Способность моя была признана шарлатанством. Меня это не особенно задело, и я даже вздохнул свободнее, когда меня оставили в покое.

А месяцев через пять почти во всех городах начали открывать магазины улыбок! Выяснилось, что способность вызывать и коллекционировать улыбки проявляется у каждого человека, конечно в большей или меньшей степени. Ничего сверхъестественного в этом не оказалось. А мы это знали уже давно. Ну, если и не знали, то чувствовали, что так должно быть.

Афанасий Навагин к этому сроку закончил исследование отведенного ему отрезка времени, написал правильный и эрудированный отчет с цитатами из классиков и получил благодарность от дирекции института. Полдня с победным видом ходил он по лаборатории, делая замечания и читая нравоучения, а потом на несколько дней исчез. Никто не разрешал ему этот самовольный отпуск, и, когда он снова появился, а Игорь без улыбки предложил ему пройти в свой кабинет, мы решили, что будет разнос. Хоть раз в жизни Афанасий поступил не по предписанию, не по инструкции...

Мы ошиблись.

Разговор в кабинете начальника лаборатории длился едва ли тридцать секунд. Афанасий вышел сияющий и довольный, а Игорь вообще долго не выходил.

— Так вот, сотрудники музея восковых улыбок, — сказал Афанасий, садясь на мой стол, с такой интонацией в голосе, что я не смог послать его к черту. — Докатились!

Мы выжидательно молчали, только Любочка — наш ученый секретарь — тихо ойкнула.

— Знаете ли вы, где я был?

— В морге, — натянуто сказал Анатолий Крутиков и покраснел. Он был очень робким и совсем недавно начал работать в нашем институте.

— Правильно. В морге. Я был в магазине улыбок. Это морг для улыбок. Докатились!

Любочка опять ойкнула. Андрей плюхнулся в кресло своего мустанга и исчез. Остальные делали вид, что все это им не очень интересно.

— Я три дня только и делал, что ходил по этим магазинам. Начальник, наверное, хотел мне сделать выговор за самовольный отгул. Но он очень щепетилен. Ведь я интересовался улыбками. Это выше его понимания, и он мне ничего не сделает. Так вот, я ходил по магазинам и пришел к выводу... — Он сделал многозначительную паузу, ожидая вопросов.

Мы молчали.

— Молчите? — сказал Афанасий. — Тогда слушайте. Всем вашим улыбкам пришел конец! Вы сами себя съели... Улыбки продаются на каждом шагу. Их может купить всякий. Выбор большой, но все же ограниченный. Есть улыбочки похуже, есть получше. Объявится какой-нибудь законодатель мод на улыбку, и вы все будете улыбаться одной, красивейшей, но стандартной улыбкой. И улыбка умрет. Ха-ха! Вы поняли?!

— Афанасий, ты сам до этого дошел? — спросила Любочка.

— Сам, своею собственной головой, — радостно ответил Афанасий.

— Да нет, я не об этом. Ты сам дошел до такой жизни? Или тебе кто-нибудь помогал?

Навагин на мгновение остолбенел, а потом взревел:

— Ты, Рагозина, нахалка! Вы не хотите даже спорить со мной, потому что это бесполезно.

Мы все разом согласно кивнули.

— А душа у тебя есть? — снова спросила Любочка.

— Есть! — заорал Навагин. — Все у меня есть! Как у каждого человека! Поняла?

— Афанасий, не ори, — сказал Крутиков и стал между Навагиным и Любочкой.

— Так вот, — Любочка чуть потеснила в сторону Анатолия Крутикова. — Если даже подбирать улыбку под размер,

фасон и цвет обуви, и то сочетаний будет много. А представь себе, сколько состояний души может быть у человека... С улыбкой ты ничего сделать не сможешь!

— Смогу, — глухо сказал Афанасий, и мне показалось, что если бы улыбку можно было давить, убивать, жечь, он бы, не откладывая на завтра, сейчас же принялся за эту работу.

В лабораторию вошел Игорь и тихо уселся в дальний угол.

— Улыбок для размера и цвета твоей души, наверное, нет, — сказал Анатолий.

— Боитесь вы! Врете! Есть! — завизжал Афанасий и даже застучал ногами об пол. — На рубль купил. Стоят-то всего-навсего копейку за сотню штук. Дешевка!

— Зря деньги потратил, — заметил Андрей, слезая со своего мустанга. Лицо его было бледно и непроницаемо. По тому, как он взглянул на меня, я понял, что он видел Энн, почувствовал, еще раз ощутил ее улыбку. Он всегда старел после таких поездок в прошлое. Ему нельзя было этого делать, потому что Энн умерла. Но кто бы нашел в себе силы остановить его.

— Афанасий, покажи хоть одну, — попросила техник Света. Она была еще очень молода и иногда даже защищала Навагина, когда дело касалось более материальных вещей, чем улыбка.

— Сейчас, — обрадовался Навагин и начал нелепо хлопать себя по карманам, потом опомнился, поняв, что не там ищет, позеленел под неодобрительные усмешки окружающих и тихо сказал:

— Смотрите.

Это была улыбка подлеца, который готовится всадить нож в спину ничего не подозревающего человека.

Света заплакала, сквозь слезы выкрикивая: «Не надо! Не надо!» Я схватил Афанасия за плечо. Он не вырывался. Улыбки трусливого злорадства всех времен и народов скользили по его лицу. Не знаю, сколько их было: на копейку или на рубль.

— Не может быть таких улыбок! — сказала Любочка, и Крутиков отвел ее в сторону.

— Пусти, — прохрипел Навагин, оторвал мою руку и снова стал нормальным, положительным, чуть испуганным молодым человеком. — Я еще могу на десятку.

Игорь встал и подошел к Навагину:

— Ну а простую, человеческую улыбку можешь?

— А это что же были, не человеческие?

— Значит, не можешь?

— Могу, но я их отталкиваю, — с достоинством ответил Навагин. — Эффект отталкивания улыбок. Я открыл этот эффект! Он так и будет называться — эффект Навагина.

— Ошибаешься, — сказал Игорь. — Это эффект отскакивания улыбок. Они сами от тебя отскакивают. И ты ничего не можешь сделать с ними.

«Эффект отскакивания улыбок», — это Игорь придумал здорово. Я давно хотел найти точное определение для патологических свойств Навагина. Эффект отскакивания улыбок! Все правильно. Они действительно отскакивали от него.

— Все равно, — не сдавался Навагин. — Улыбки продают, как картошку. Ха-ха! Продают!

— Это лучше, чем продавать пулеметы! — крикнула Любочка, голос ее сорвался, и она выскочила за дверь.

— Как знать, — многозначительно протянул Навагин.

— Выйди, Афанасий, — спокойно сказал Андрей, хлопнув его по плечу. — Выйди. Так надо.

— Все равно вы мне ничего не сможете сделать!

— Что-нибудь придумаем, — пообещал Игорь тоном, не оставляющим сомнений.

— Ничего вы мне не сделаете! Я все по закону! Вы сами просили меня показать вам улыбки! — Он струсил. Это было видно по его дергающимся губам и трясущимся рукам. Он уже сам жалел, что завел этот разговор. Ведь он ни у кого не нашел поддержки.

— Ну выйди же, выйди! — крикнул я, и Афанасий, оглядываясь и запинаясь, пошел к дверям.

— Сашка, — сказал Игорь, когда дверь осторожно закрылась. — Что-нибудь из твоей коллекции. Пожалуйста. А то очень плохо.

Я представил себе задумчивую улыбку Андрея.

— А впрочем, не надо, — сказал Игорь, улыбаясь. — Пошли по домам.

4

По дороге домой я зашел в магазин улыбок и долго всматривался, ища среди сотен тысяч ту, которой улыбнулся Навагин. Я не верил, что такое могут продавать.

Но она все же была на витрине, едва заметная под охапкой детских и женских, ослепительно радостных и таинственных, счастливых и горьких человеческих улыбок.

— Зачем это? — односложно спросил я у продавщицы.

— Это? Не все же гении, — ответила она лукаво. — А театров только в нашем городе шесть. Да еще сколько самодеятельных...

— Для бездарных артистов, — сообразил я.

— Только их почему-то не покупают, а берут на прокат. А после спектакля сразу же сдают, — и она пожала плечами.

Значит, Навагин купил эту улыбку в другом магазине.

Наверное, у меня был хмурый вид, когда я пришел в свою квартиру на шестом этаже стандартного дома. Как я ни старался казаться веселым, Ольга все заметила, и я вынужден был рассказать про Навагина.

— Когда-нибудь в магазинах будут продавать счастье или просто дарить его всем, — задумчиво сказала Ольга. — Неужели и тогда найдутся люди, которые и счастье смогут превращать в горе?

Что я мог ей ответить? Возможно, и найдутся. Все зависит только от нас.

Я весь вечер вспоминал, роясь в самых глубоких тайниках своей коллекции, улыбки Ольги, Андрея, Игоря, Крутикова, Любочки, своего будущего сына, знакомых, случайных прохожих и дарил их Ольге. Ей становилось хорошо, и она смеялась и пела. Потом я снова вспомнил Афанасия, и Ольга заплакала. И тогда я понял, что улыбку могут убить, что ее нужно беречь, охранять, драться за нее.

5

На следующий день Афанасий Навагин появился в лаборатории как ни в чем не бывало, словно и не было вчерашнего разговора. На него целый день смотрели искоса, но он словно не замечал этого. И даже когда Светланка, сияющая и радостная, забыв закрыть за собой дверь, вбежала к нам, разбрасывая по сторонам только что приобретенные в магазине шаловливые полудетские улыбки, Афанасий буркнул: «Недурно-с, мадам». Светка чуть не задохнулась от радости и расцеловала Любочку. Мы все знали, что она неравнодушна к Навагину, как бывает неравнодушен подросток к взрослому, таинственному, отличающемуся, пусть в худшую сторону, но все же отличающемуся от всех других, мужчине.

— Светка, ты прелесть, — сказала Любочка, а Афанасий неуклюже плюхнулся в кресло своего мустанга и уже оттуда крикнул Игорю:

— Проверить кое-что надо. Я скоро.

Игорь махнул рукой, и Навагин исчез.

— Что с ним? — недоуменно спросил Крутиков.

— Не знаю, — ответила Светка и покраснела.

— Может, действительно очеловечится? — спросил сам у себя Игорь.

— Нет, — сказал Андрей, но его никто не слышал, кроме меня.

...Два месяца прошло в напряженной работе.

Все мы защитили научные отчеты. Один из отделов нашего института, используя эти отчеты, микрофильмы, фотографии, магнитофонные записи и частные беседы, еще целый год будет разбираться, почему ход событий в этом отрезке прошлого был направлен так, а не иначе, будет исследовать, от чего в нем зависели скорость и ускорение развития цивилизации. Потом будет теоретически найден и обоснован оптимальный ход развития истории. Будут сделаны прогнозы о том, как бы изменилась история человечества, если бы в этом отрезке прошлого что-то произошло не так. Этой работой будут заниматься сотни людей, десятки математических машин.

Может оказаться, что человечество уже давно сумело бы стать более совершенным, прекратить войны, изжить инстинкт самосохранения или изменить его в лучшую сторону; люди могли бы научиться понимать друг друга, соизмерять свои желания с желаниями других, уважать друг друга и быть людьми в самом полном смысле этого слова.

История не раз топталась на месте и отступала вспять.

А этого могло и не быть.

Года через полтора мы прочитаем отчет о том, каким могло бы быть человечество. Могло быть... уже сейчас.

Но все это теория. Цивилизация почему-то не всегда выбирает кратчайший путь развития.

Мы не можем воздействовать на прошлое, изменять его. Нам не позволяет этого наша мораль. Можно ли исключить рождение миллионов людей для того, чтобы миллионы других стали совершеннее? Когда, с какого столетия начать выправлять ход истории? Как в процессе ее изменения самим остаться людьми, не превратиться для других во всемогущих богов, не дать начало новой страшной религии? И еще... Предсказания будущего верны еще далеко не на сто процентов.

Мы накапливаем факты. Мы — чернорабочие истории человечества.

Как всегда, между концом старой и началом новой темы выдалась передышка.

В течение года нам не всегда удавалось поговорить о некоторых моментах своей работы. Отчасти из-за того, что не хватало времени, отчасти из-за того, что не все, о чем хотелось сказать, переварилось в собственном сознании. Теперь же времени было достаточно, и мнения вполне устоялись... Шли ожесточенные споры, временами даже слишком ожесточенные и бурные. Содержание их включало в себя все, начиная с фразы «какое нам до этого дело» и кончая утверждением «мы не имеем морального права» или «не вмешаться нельзя». Мы могли спорить часами, пока кто-нибудь резко не менял тему разговора, и мы вдруг понимали, что очень устали и всем нам нужна какая-то встряска или разрядка. Тогда появлялся интерес к футболу, рыбной ловле, к запаху цветущей сирени.

6

В середине лета у меня родилась дочь. Все-таки дочь... Я хотел назвать ее Хельгой, потому что Хельга означает то же, что и Ольга, но жена настояла, чтобы дочь назвали Бекки.

Однажды в нашу небольшую квартиру ворвалась шумная компания — вся моя лаборатория. К тому времени уже вошло в привычку дарить знакомым и друзьям букеты улыбок. В передней я нашел две корзины вина, скромно оставленные застенчивыми гостями.

Женщины сразу же бросились к Ольге и Бекки, и понять что-нибудь в том, о чем они говорили, было совершенно невозможно.

Мужская половина лишь поцокала языками над бессмысленно таращившим глаза ребенком и поспешно, и даже немного трусливо, ретировалась в другую комнату.

Андрей притащил на кухню несколько бутылок и принялся готовить коктейли. Афанасий старательно запевал песни. Он очень изменился за последние месяцы. В лаборатории уже давно никто не хрипел, но я несколько раз замечал, как Навагин, словно не в силах сдержать переполнявшие его чувства, вскакивал на своего мустанга. Во всей его фигуре чувствовались страх и злоба. Но он не хотел этого показывать. Вообще последние полгода он работал, как семижильный. Его отрезок истории был разработан так тщательно, так удачно систематизирован, что стал образцом творческой работы, как говорил заместитель директора по научной работе.

Меня давно подмывало поговорить с Афанасием по душам, если только это было в принципе возможно.

Мы пели без особого вдохновения. То и дело кто-нибудь начинал говорить о работе. Это была какая-то болезнь. Почему медицина до сих пор не обратила на нее внимания? Не понимаю. Ведь болезнь-то заразная... Женщины наконец оставили Бекки в покое, и она уснула. Нам разрешили войти в комнату. Я выходил из кухни предпоследним и услышал фразу, сказанную Афанасием. Он с шумом наливал воду из крана, и фраза, очевидно, не предназначалась ни для кого:

— Они начинают улыбаться, едва успев родиться...

Я задержался:

— Разве это плохо?

— Этого я не говорил. И вообще... я не специалист по улыбкам. Это твоя сфера...

— Мы можем поговорить с тобой спокойно? — спросил я.

Он промолчал, не взглянув на меня.

— Афанасий, за что ты ненавидишь улыбку?

— Ты уверен, что я ее ненавижу?

— Мне кажется, что это так.

— Я мог бы не отвечать тебе, пока ты не докажешь, что имеешь право задавать такой вопрос.

— Пусть будет, что я просто угадал.

— А можешь ты мне ответить, почему люди улыбаются? — спросил Афанасий и лег грудью на подоконник.

— Потому что счастливы, потому что рады, потому что душа поет.

— Душа? Ну и пусть поет. Это внутри... А внешним выражением этой песни могло бы быть похлопывание ушами или скрежет зубов. Какая разница? Но принято улыбаться — и все.

— Неотразимый довод, — сказал я. — Ну хорошо. Но ведь от радости улыбаются, а не скрежещут зубами. Пусть даже это принято. Хотя на самом деле это не так.

— А я не принимаю. Понимаешь? Нет закона, чтобы нужно было улыбаться.

— Ты можешь и не улыбаться. Это твое дело. За что ты ненавидишь улыбку? И не вихляй! Улыбка — это внешнее выражение какого-то определенного состояния души. Все дело в этом состоянии. Ты ненавидишь именно его. Счастье.

Малюсенькое, величиной с мятную конфетку — в детстве. И огромное — Счастье, когда ты понимаешь людей. Если бы люди при этом шевелили ушами, ты бы отрывал им уши. Это легче сделать, чем стереть с лица человека улыбку. Так все же — почему?

— Отстань, — сказал Афанасий и попытался отодвинуть меня от двери. Он не был ни испуган, ни взволнован. Он был спокоен, и я понимал, что он меня обыграл в этом раунде, что он все равно увильнет от ответа, что я от него ничего не добьюсь. После того разговора в лаборатории он стал осторожен. Я знал, что он может негромко крикнуть: «Ну что ты ко мне пристал, Сашка! Все улыбка да улыбка!» Ребята услышат его, откроют дверь на кухню, вытащат меня за рукав и слегка пожурят, чтобы я не разжигал страстей. Андрей и Игорь скажут про себя: «Сашка, брось. Он этого не поймет. Он не из нашей породы». И я их услышу. А остальные? «Не хотелось бы ссориться в гостях. Афанасий — человек со странностями, как и все».

— Пусти, — сказал Афанасий.

Я отошел в сторону. Он уже приоткрыл было дверь, но передумал, повернулся и сказал:

— Ну хотя бы потому, что сам не могу этого сделать. Не научился улыбаться. Такого ответа ты ждал?

Я покачал головой и ничего не сказал. Он вышел. Я был уверен, что он скажет именно это. И я заранее знал, что это будет ложь. Я не верил ему.

Человек не умеет петь и поэтому ненавидит музыку?

Неправда...

7

На следующий день нас всех вызвали к директору института. Там находилось человек десять известных ученых и администраторов. Мы молча расселись в кресла, натянуто улыбаясь. Было отчего оробеть. Не каждый день всю лабораторию вызывают к директору института. Я о таком вообще не слышал. Должно было произойти что-то из ряда вон выходящее.

Встреча, или беседа, началась с вопроса, знаем ли мы, что в прошлое ничего нельзя транспортировать, нельзя даже появляться перед глазами предков. Вопрос задавали каждому в отдельности, и в этом явно чувствовалась какая-то торжественность, какой-то сюрприз. Мы отвечали, что знаем, потому

что в прошлом ничего нельзя изменять. Еще бы! Это мы знали с первого курса.

Потом заговорил человек, известный всем нам по портретам. Это был президент Западно-Сибирской Академии наук. Он сказал:

— Мы не можем бесконечно долго изучать прошлое, только изучать — и все. Рано или поздно мы должны замкнуть петлю обратной связи по времени. — Здесь он немного помолчал, исподлобья поглядывая на нас. — Сочтено возможным начать это уже сейчас.

Мы были ошеломлены и приятно обрадованы.

— Предварительно мы изучили отчеты всех лабораторий института. Нас, конечно, интересовал наиболее полный отчет о каком-нибудь отрезке прошлого. — Мы все повернули головы в сторону Афанасия. — Таким является работа Навагина.

Афанасий покраснел от гордости.

Минут пятнадцать длился краткий разбор его отчета. Действительно, Навагин все исследовал на «отлично». Нам не хватало его пунктуальности, его скрупулезной педантичности и работоспособности.

Потом нам предложили ответить на вопрос:

— Что в настоящее время, учитывая необычность эксперимента, неразработанность методики и сложность прогнозирования (ведь человеческая цивилизация развивается не в Ньютоновском, а в Бергсоновском времени), можно было бы транспортировать в прошлое?

Конечно, мы между собой уже давно спорили на эту тему, но никогда не могли прийти к общему мнению. Одни говорили, что антибиотики, другие — хлеб, третьи — знания, накопленные к настоящему времени человечеством, четвертые, такие, как Афанасий, — пулеметы.

Заспорили и сейчас, только Афанасий молчал. Он, как и мы все, уже понял, что эксперимент будет проводиться в том отрезке времени, где он работал.

Спорили долго, потом кто-то сказал:

— Ничего материального в прошлое транспортировать пока нельзя.

Мы притихли, вполголоса, словно сами себе, задавая неразрешимые вопросы:

— Тогда что же?

— Что?

— Абсолютную идею?

— Улыбку, что ли? — растерянно опросил Афанасий.

— Да, улыбку, — спокойно ответил президент Западно-Сибирской Академии наук.

— Зачем? — спросил я машинально.

— Зачем? — переспросил президент. — Это будет иметь только положительные последствия. Может быть, не очень значительные, но все же положительные. Люди должны улыбаться. Уметь улыбаться. Хотеть улыбаться. Это для начала. Эксперимент будут проводить Афанасий Навагин и Александр Ветров. У Александра, говорят, большая коллекция улыбок. Это очень кстати. — И, обращаясь к нам с Афанасием, спросил: — Вы согласны?

— Я согласен, — ответил Афанасий, бледнея от волнения.

— Я согласен, — ответил я, чувствуя, что бледнею тоже.

Нас бросились поздравлять. Игорь уже пытался задавать конкретные технические вопросы. Все что-то говорили, вряд ли слушая друг друга. Было шумно и напряженно весело. Ведь это такое событие!

Подготовка к эксперименту велась быстро. Я изучил отчет Навагина и уже хорошо представлял, с чем мне придется столкнуться в прошлом. Афанасий не знал покоя, без конца уточняя мельчайшие события в своем «подшефном» времени. Несколько раз он просил меня показать ему коллекцию улыбок.

— Для пользы эксперимента, — как говорил он.

Не знаю, попросил бы он когда-нибудь меня об этом или нет, если бы нам в скором времени не пришлось работать вдвоем.

— С этим можно... — говорил он, просмотрев коллекцию, но так ни разу и не улыбнувшись.

«С этим можно начинать», — так я понимал его слова, и это даже льстило мне. Афанасий Навагин не порицал улыбку.

8

Эксперимент начался в конце лета.

В этот день все были очень предупредительны к нам, старались что-нибудь посоветовать, чем-нибудь помочь.

— Не трусите? — спросил нас директор института.

Я отрицательно покачал головой.

— Я не струшу, — сказал Навагин.

И вот началось...

* * *

Мы стояли посреди бесновавшейся толпы мужчин, женщин, и подростков. Багровые отсветы тысяч факелов освещали перекошенные лица. Рев толпы, отчетливые ритмы маршей, взвинченность, скрытый страх и выпиравшие из людей ненависть, звериная злоба и злорадство. Я знал, с чем мне придется встретиться. И все же я был ошеломлен.

Это были люди, только совсем не такие, какими я их привык видеть. Посреди площади, окруженной многоэтажными домами, балконы, окна и крыши которых были облеплены людьми, горел костер. Его пламя поддерживали стопками книг, сгружаемых с автофургонов и грузовиков. С воплями удовлетворения и злорадства люди хватали книги и бросали их в огонь.

С того места, где мы стояли, происходящее было видно плохо, и Афанасий, схватив меня за руку, потащил ближе к костру, бесцеремонно расталкивая толпу.

Наконец мы очутились почти возле самого костра.

Улыбнуться здесь мне казалось кощунством. Я чувствовал, что не смогу этого сделать.

— Как люди могут?.. — Я не сумел договорить.

— Ничего. Сейчас начнется еще более интересное. Вон там, — Афанасий показал рукой куда-то за костер и чуть правее. — Вон там сейчас один не выдержит. И его убьют. — Он сказал это спокойно.

И тотчас же в той стороне, куда он показывал рукой, раздался пронзительный крик, который отчетливо прозвучал даже среди этого рева обезумевшей от злобы толпы. Там, за костром, толпа пришла в движение. Потом от нее отделился человек, упал, вскочил, снова упал и пополз. Десятки рук схватили его за одежду, удерживая. Но он продолжал ползти, волоча на себе других. На какую-то секунду ему удалось вырваться, и он достиг костра, выбрасывая из него полуобгоревшие книги. Чьи-то руки рванули его назад. Через несколько секунд толпа чуть отступила от костра. На асфальте осталось лежать неподвижное тело.

— Он уже умер, — сказал Афанасий. — Что же ты не показываешь свою коллекцию?

— Я не могу.

— Не можешь! — Афанасий встряхнул меня. — Не можешь! Начинай! Какая разница, сейчас или в другой раз. Начинай!

И я вспомнил улыбку Андрея... Я заставил себя это сделать. Грустную, но живую, чистую, умную улыбку Андрея.

Мне показалось, что лица людей, бросавших мысли, жизни, надежды и чувства в огонь, чуть просветлели. На мгновение сбился ритм движения их рук. Но нет... Улыбка отскакивала от них. Она была ненужной, чужой, мешающей, вредной. Они даже не замечали ее, увлеченные своим делом. А потом вдруг один из них поднял с земли автомат и, не целясь, дал короткую очередь. И улыбка умерла, издав чуть слышный стон.

— Ты видел?! — крикнул мне Навагин.

Я все видел. Убили улыбку!

— Теперь ты понял, почему я ненавижу улыбку? Она делает человека сильным! Убей улыбку и тогда можешь делать с человеком все, что захочешь! Ха-ха! Смотри, что они сделают с твоими улыбками! Ты проиграл!

Тысячи больших и маленьких радостей, чувств и мыслей мог бы я подарить им.

— Ты вернешься отсюда. Вернешься опустошенным! И тебе уже никогда больше не захочется улыбаться! Ты возненавидишь улыбку так же, как и я! Смотри внимательно! Почувствуй свое бессилие...

Убили улыбку. Убили выстрелом в упор!

Я вспомнил Андрея. Его любовь, его ненависть, его музыку. И улыбки веером разлетелись по толпе.

И я увидел, как их ловили, чтобы бросить на землю и топтать ногами. В них стреляли, давили руками, тащили к костру и с размаха бросали в огонь. Человеческие беззащитные улыбки. Я видел, как несколько улыбок все же появилось на лицах людей. Одни со страхом пытались сорвать их, срывали и отбрасывали куда-нибудь подальше, чтобы никто не успел увидеть. Другие, растерянные, не знали, что делать. Третьи старались спрятать их, но делали это робко и неуклюже. Замеченная на лице улыбка срывалась с человека теми, кто стоял рядом. Срывалась с кожей, с кровью, с криком разорванного рта.

У меня не было больше улыбок Андрея.

Нет, люди не могут так поступать, не могут не понять. И я отдал им улыбки Ольги, Любы, Светки, Толи Крутикова, Игоря. Улыбки встреченных мною когда-то прохожих. Улыбки знакомых. И еще бессмысленные, такие беззащитные улыбки моей маленькой Бекки.

И все-таки я привел их в смятение. Я видел, как, пряча под пиджак книгу, исчез в толпе человек. Я видел, как многие поспешно расходятся, как в бешенстве топают ногами перепуганные насмерть мещане, слабые даже с оружием в руках.

У меня осталась только одна улыбка. Улыбка Энн. Она была слишком горькая, чтобы отдать ее им. Но она была и слишком жаждущей жить. И я отдал им последнюю улыбку. Я заметил, как испуганно вскинула брови стоящая неподалеку девушка и спрятала что-то на груди. Я уверен, это была улыбка Энн.

Они еще жгли книги, но толпа уже бросилась прочь от костра. И ни крики, и ни выстрелы не могли ее удержать.

И тогда Афанасий указал на меня пальцем.

Дальше я ничего не помню...

9

Я очнулся лежащим на полу лаборатории на чьих-то пиджаках.

— Где Афанасий? — спросил я.

— Какой Афанасий? — удивленно спросил Игорь. — Что там произошло?

— Где Афанасий Навагин?

— Успокойся. Успокойся. О каком Афанасии ты говоришь?

— Афанасий, который слишком тщательно изучил свое «подшефное» время! Где он? — Я вскочил на ноги.

— У нас не было никакого Афанасия. Ты что-то перепутал.

В лаборатории было очень много людей. Все они смотрели на меня чуть-чуть испуганно и непонимающе.

— Афанасий ненавидел улыбку! Разве вы не помните?!

— Такого у нас не было.

— Ну хорошо, об этом позже. Как я выбрался оттуда?

— Тебя вытащил Андрей, — сказал Игорь. И такая боль почувствовалась в его словах! Светка плакала. Слезы... — Он умер. Его уже увезли...

— Умер! — закричал я. — Почему? Зачем?

— Его убили выстрелом в спину, когда он спасал тебя.

10

Прошло несколько дней. Я стараюсь ни с кем не встречаться. Я понимаю, как трудно сейчас со мной людям...

Дальнейшие эксперименты отложены на неопределенное время. Никто не помнит Афанасия Навагина. Его не было. Он

не родился. Значит, все же где-то в прошлом что-то изменилось так, чтобы Афанасий не родился.

Может быть, та девушка, что спрятала улыбку Энн, оттолкнула от себя какого-то предка Афанасия. Может быть, он, увидев эту улыбку, сам не посмел подойти к ней. Как бы то ни было, но Афанасий не родился.

Значит, этот эксперимент сделал людей хоть чуть-чуть, но лучше.

Ведь Афанасия нет.

Но нет и Андрея.

Неужели каждый раз, чтобы не было такого, как Афанасий, должен исчезать такой человек, каким был Андрей?

У меня больше нет улыбок. Я не могу улыбаться. Меня все понимают и стараются чем-нибудь помочь. Все, кроме Бекки. Ей я еще ничего не могу объяснить. Это ужасно — стоять над кроватью дочери и не иметь сил улыбнуться.

В газете я прочитал статью. Кто-то открыл закон «отталкивания улыбок». Такой закон открыл когда-то и Афанасий. Значит, он не один. Далеко не один. Их еще много. Ко мне приходят друзья, я часто вижу Ольгу. Они улыбаются мне осторожными бодрыми улыбками, как тяжелобольному.

Не бойтесь!

Мне нужны улыбки. Детские и взрослые, несмышленые и глубокомысленные, радостные и горькие, счастливые и печальные. Мне нужны улыбки, идущие от самого сердца, из самых светлых уголков души.

Люди, мне нужны ваши улыбки!

Я снова вернусь к тому пылающему костру.

Люди... мне нужны ваши улыбки...

НА ДВОРЕ ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

— Микола! — крикнул Андрюха. — Посмотри, что там на дворе!

Никто не ответил. Андрюха сердито заерзал на печи, скинув с себя изодранный полушубок, свесил голову вниз. Темнота, ничего не различишь. Тихо, только едва слышное посапывание на полу.

— Микола! — снова крикнул Андрюха. — Проснись! Чтоб тебя!

— А!.. Что?.. — Микола взмахнул рукой, ударился о березовый чурбан, сморщился, сел прямо на полу растирая кисть руки, буркнул: — Опять этот полушубок...

— Ты бы сходил посмотрел, что там на дворе? А?

— И смотреть тут нечего, все и так понятно.

— Все-таки... Может, березка подросла?

— Черта с два она подросла. Сидим здесь уже третий день.

— Все-таки...

— Ладно, схожу.

Микола поднялся с пола, в темноте нашарил руками лапти, надел их прямо на босу ногу и, как был в одних портках и без рубахи, шагнул через порог. Еле слышно сработала блокировка. Это чтобы ничего не случилось, пока Миколы нет в избенке.

Уже заметно светало. Все небо заволокло тучами. Моросил мелкий дождь. Листвы на деревьях почти не было. Микола погладил ствол тоненькой березки, что стояла около полуразвалившегося крыльца. Какая была, такая и осталась. Ничего не изменилось. Подставив руки под струю воды, стекавшую из деревянного желоба с крыши, Микола умылся, подставил грудь, спину. Холодно, а хорошо. Взбадривает.

Андрюха уже слез с печи и теперь пытался найти огрызок свечи и трут. За этим занятием и застал его Микола.

— Светает уже. Побереги.

— Ну что там? — спросил Андрюха. Он еще надеялся. Чуть-чуть, совсем немного, но надеялся.

— Засели мы. Вот и все, — спокойно ответил Микола.

— Так. Приключеньице.

— Сходи умойся. Харч надо добывать.

Пока Андрюха хлюпался на крыльце. Микола оделся, навернул портянки, завязал лапти, сел на чурбан.

Андрюха оделся тоже, спросил:

— Возьмем сегодня чего-нибудь?

Микола покачал головой:

— Бластер бы, а с этим оружием... сдохнем с голоду. Зима скоро.

— С бластером мы были бы уже не здесь. Однако надо идти. Сидеть тоже толку мало.

— Пойдем вдвоем. Веселее.

— А если здесь что произойдет?

— Ненадолго же.

Микола взял в руки рогатину, подбросил ее в руке. Ну и оружие! Вот жили люди! И Андрюха взял в руки рогатину, здоровую, на медведя разве что. Но с медведем лучше не встречаться. Они надели сверху старенькие изношенные полушубки, лохматые треухи и вышли в нудный, противный дождь.

Рядом с покосившейся избой начинался лес, непролазный, нетронутый. Ни тропинки, ни просеки.

— Куда пойдем? — спросил Андрюха. — Хорошо бы по компасу.

— Ха! По компасу, — усмехнулся Микола. — Компас того, может, и будет когда.

— Прямо, что ли, пойдем?

— Пойдем прямо, — согласился Микола.

С деревьев на них сразу же хлынули потоки воды. Идти было трудно. А тут еще рогатины мешали. Как с этим оружием можно добыть зверя, они понятия не имели. Но что-то нужно было делать.

За полчаса они продвинулись метров на пятьсот. Устали, промокли и оказались на берегу реки, на небольшом обрывчике. Внизу, у лодки, стоял мужик, разбирая латаные сетки, и что-то бормотал под нос. На днище лодки поблескивала рыба. Андрюха не сдержался и начал глотать слюну. Очень уж хотелось есть. Микола переступил с ноги на ногу, чавкая грязью. Мужик оглянулся. Сначала испуганно, потом злобно зыркнул на них глазом, схватил топор и бросился наверх, хрипло выкрикивая:

— Порешу! Антихристы! Порешу!

Андрюха бросился было бежать, но остановился. Мужик никак не мог взобраться наверх, а может быть, просто не хотел. Пугал только.

— Давай руку, — сказал Микола и нагнулся.

— Тебе чего? — сердито спросил мужик.

— Мне ничего. Живем мы тут.

— Никто тут не живет. Зверье разве одно.

— А мы вот живем. Рыбы продай, — сказал Микола, но спохватился, что покупать-то не на что. — Меняться давай.

— А что сами-то?

— Да у нас и снасти-то никакой.

— Бегете, значит?

— Бегем. А скорее догоняем. Да догнать никак не можем.

— У вас и выменять-то нечего. Разве что треух.

— Согласен на треух. Треух не сжуешь.

— Давай шапку-то. Стойте тут. Я принесу.

— Возьми мою! — крикнул Андрюха. Ему было неудобно, что он трухнул сначала. Хоть чем-то загладить свою вину. — Держи. — И он кинул мужику свой треух.

Мужик осмотрел его и, кажется, остался доволен. Он спустился к реке, набрал в низкую, как решето, корзину рыбы, с сожалением посмотрел на нее, вздохнул и, подойдя к Миколе, вывалил ее прямо на мокрую землю.

— Может, на вас кто и наткнется, — сказал он как будто невзначай.

— Это кто же? — спросил Микола.

— Может, стрельцы, может, еще кто.

— Стрельцы?! — закричал Андрюха и совсем осмелел. — Какой же сейчас год?

Мужик посмотрел на него, не понимая.

— Ну время, время какое?

— Эх, лихое время, — вздохнул мужик. — Вы, однако, поспешайте.

— Царь-то у вас хоть какой? — крикнул Андрюха, потому что мужик уже спустился к лодке и отвязывал ее.

— А-а, — махнул он рукой. — Что один, что другой. — Он толкнул лодку и поплыл, загребая веслом чуть против течения.

Печь в избе была русская. Хорошо, что хоть не по-черному топилась. Они развели огонь. Андрюха принялся чистить рыбу. Микола поплевал на бычий пузырь, протер его, потом вытащил совсем, но в избе стало не намного светлее.

Микола в который уже раз осмотрел избу. Потрогал и печь, и лавки, и стол, и чурбан.

— Не разобраться в этом. Ведь все рассчитано на абсолютную надежность. Попробуй пойми, где тут аккумуляторы, где реверины? Из-за чего мог перекрыться волновод времени?

— Все дело в аккумуляторах.

— Тогда наше дело швах.

Наоборот. Без нагрузки восстановят немного емкость, тогда продвинемся вперед лет на сто. — Андрюха явно храбрился.

— А ты сообразил, в каком мы сейчас веке?

— Где-то в тринадцатом — восемнадцатом...

— Не позже, чем конец семнадцатого, раз здесь стрельцы рыскают.

— Да, далеко нам до своих.

Они были из двухтысячного года.

Всего две недели назад они заняли места за пультом управления трансформатора времени. Это была совершенно новая машина. Новизна ее заключалась в том, что в любом времени, в каком бы она ни оказалась, она принимала внешний вид, соответствующий данному времени и месту.

Вот очутились они в шестнадцатом веке — и сразу машина стала походить на избу. И их изящные комбинезоны стали похожи на рваные портки и старые полушубки.

И так должно было происходить в любом времени.

И вот какая-то нелепая случайность остановила их в шестнадцатом веке. Случись что-нибудь другое, было бы понятно. Крыша бы вдруг стала похожей на церковную маковку, или бы они в своей избе вдруг оказались во фраках и цилиндрах. Они бы знали в таком случае, что вышло из строя. Но ведь случилось самое непредвиденное — что-то вышло из строя в самой ходовой части. Остановилась машина времени. Ни взад ни вперед.

И разбирайся теперь. Если даже аккумуляторы полетели. Вот они — ряд обыкновенных березовых чурбачков. Хоть расколи их, хоть потряси, хоть переверни на сто восемьдесят градусов. Нет, теперь только ждать. А тут и есть-то нечего. Хорошо, что хоть рыбы добыли.

Андрюха аккуратно чистил рыбу, Микола вышел из избы, нарубил здоровенным топором дров, приволок их, начал растоплять печь. Вместе с теплом и настроение людей немного улучшилось.

Где-то в лесу вдруг громыхнуло. Сначала они не обратили на это внимания. Ну громыхнуло и громыхнуло. Эка важность. Потом грохот повторился.

— Гром, что ли? — спросил Андрюха.

— Гром? Осенью гром? Откуда сейчас гром? Стреляет кто-то.

— Стреляет? Из чего тут можно стрелять? Подумай!

— А ведь верно, — спохватился Микола. — Если стреляют, значит, стрельцы, больше некому.

— А если на нас набредут? Что будем делать?

— Рыбу есть будем. Спокойно так будем есть. Ты смотри, чтоб не подгорела.

— На воде-то подгорит. Даже соли нету. Ну а все же, если они на нас набредут. Что тогда?

— По инструкции... сматываться надо, если предполагаются враждебные действия. Особенно, если нас еще не заметили.

— Деваться нам некуда. Хорошо, если не заметят.

Тропинки-то ведь к дому нет.

— Нет. А если все-таки набредут, начнут гадать, почему тропинки нет, а дом стоит.

— А! Будь что будет. Готова рыба?

Андрюха вытащил из печи огромную сковороду, потрогал ножом рыбу.

— Кажись, готова...

Только они начали есть, как где-то вдали раздался крик. Словно звали кого-то. И сразу же громыхнуло, да не так уж и далеко.

— Вот что, — сказал Микола. — Ты тут в случае чего подопри дверь рогатиной. А я пойду посмотрю, что там.

— Один? С чем пойдешь?

— Нож возьму. Дай нож.

Микола, как был без полушубка, спрыгнул с крыльца и исчез в кустах, только капли воды с них брызнули во все стороны. Андрюха приставил к дверям обе рогатины, потрогал их. Крепкие жердины!

Микола осторожно пробирался вперед, перелезая через поваленные стволы, по возможности прячась за деревьями и кустами. Он вымок весь, но не замечал этого. Минут через десять он добрался до небольшого овражка и залег на его краю, напряженно всматриваясь в кусты.

— Лю-ю-ю-ди! — услышал он вдруг.

И в тот же момент на другом краю овражка появился мужик. Он был весь в грязи, за плечами тащил рогожный мешок. А где-то за ним уже слышался треск сучьев. Микола чуть приподнялся и махнул рукой заросшему рыжей щетиной мужику. Тот увидел его, что-то пробормотал сквозь зубы, скатился вниз прямо по мокрой, скользкой глине и начал карабкаться наверх, хватаясь свободной рукой за корни деревьев и мелкие кустики.

— За тобой, что ли? — спросил Микола, кивнув в сторону, откуда раздавались крики.

— А то за кем же, — хрипло ответил мужик.

— Брось мешок-то. Упреешь.

— Ишь ты, — огрызнулся тот и вылез из оврага.

— Гонятся-то зачем?

— Догонят — разбираться не будут. Бегляков тут много. Ловят — и на березу. А сам-то кто будешь?

Не отвечая, Микола бросился в чащу, откуда только что выбрался. Метров через сто оглянулся и сказал:

— Беги за мной. Тут изба есть.

— Изба, — обрадовался мужик. — Один ты или двое?

— Двое. Да брось ты свой мешок. Золото, что ли, тащишь?

— Может, что подороже золота, — сказал мужик и не бросил. Так и тащился с ним, иногда падая на четвереньки, чертыхаясь и часто оглядываясь.

В избу они ввалились оба грязные, как черти. Мужик сразу пригнулся к грубо сколоченному столу и что-то высыпал из мешка.

— Ну вот, — сказал он. — Теперича пусть догонят, если смогут.

— А много их? — спросил Микола.

— Да поболе двух десятков. Кругом идут. Какие пешие, какие на конях.

— А коли наткнутся на нас? — забеспокоился Андрюха. — Всех ведь заберут. Драться с ними разве? Так трое нас только.

— Али спужался? — засмеялся мужик. — Что-то у вас тут стрекочет, будто сверчок?

Андрюха и Микола настороженно прислушались.

— Так ведь это... — крикнул Андрюха. — Заработала милая! Теперь поедем. — И вдруг осекся. — Куда поедем? Блокировка сработает. Пока нас трое, с места не сдвинемся.

Микола надвинулся на него, брови сердито свел:

— Может, выкинуть его? И стрельцы зря мучиться не будут.

— Не знаю. Времени-то подумать нет. Пропадем.

— Закрой дверь! — крикнул ему Микола. — Подопри рогатиной.

— Все одно подожгут.

— Не так-то сразу. Сырость вокруг.

Микола подошел к печи и с ожесточением дернул на себя вьюшку. Так сейчас должна была пускаться в ход машина.

И вдруг за окном и в избе потемнело, тошнота подкатила к горлу, все стало каким-то нереальным. И хоть ничего в избе и не было видно, они чувствовали, как все вокруг меняется, все становится другим.

— Продвигаемся ведь, — застонал от радости Андрюха. — Вырвались.

— Как же это? — удивленно произнес Микола. — А блокировка?

— А блокировку я выключил, — раздался голос мужика. — Еще когда бежал к вам. Дистанционно. Чтобы не возиться тут. Значит, трухнули маленько?

— Подожди-ка. Кто это? Темнота, черт возьми! Голос-то знакомый. Алексей, ты?

— Я самый.

— Откуда ты?

— Аккумуляторы пусковые вам, чертям, принес.

— Вот это да! — ахнул Андрюха.

— Значит, все-таки искали? — спросил Микола.

— Искали... Да там в институте такой переполох! Все машины срочно вызвали, чтобы вас искать. Едва нашли. На обычных машинах пробивались. Меня оставили здесь с этим мешком, а сами назад, чтобы никто не видел. Я примерно знал, куда надо было идти, да на стрельцов наткнулся. Заметили они меня... Хорошо, что Николай встретил. Я его сначала и не узнал. Что, думаю, за образина из кустов выглядывает?

В избе все еще было темно, хоть глаз выколи. Может быть, это была уже вовсе и не изба?

— Ты и сам, Алексей, выглядел больно по-здешнему. Даже когда в избу тебя завел, и то не догадался, что это ты.

— Почему так долго нас искали? — спросил Алексей.

— Почему? Но ведь чем дальше во времени, тем больше разброс выхода машин времени в пространстве. Вот и оказа-

лись километров за полста. А аэрофотосъемкой здесь не займешься, да она мало бы что и дала. Так бы и сидели тут!

— Николай уже хотел с рогатиной на медведя идти, — чуть с иронией заметил Андрей.

— А что? — ответил тот. — И пошел бы... Как там Антон Павлович? Начальство как ко всему этому отнеслось?

— Я уже говорил, что все машины вызвали. Все вас искали. Начальство, конечно, трухнуло немного. А Антон Павлович держался молодцом. «Не верю, — говорит, — что они сами что-нибудь не придумают».

— Ну ладно, — сказал Николай. — Сейчас явимся в свое время, сразу же под душ, потом покувыркаюсь на глайдере с часок, а там можно будет и за отчет сесть.

— Как там Ирина? — спросил Андрей.

— Ах да, — спохватился Алексей. — Ничего. Привет передавала. Волнуется, конечно. Но она всего не знает. Волновалась бы больше. Приедем, расскажешь сам.

— Уж он-то расскажет, — неопределенно протянул Николай.

Вдруг стало светлее. На столе стояла коптилка. И знакомый вибрирующий звук прекратился.

— Что за черт! — выругался Николай. — Опять остановка?

— Этого еще не хватало, — испугался Андрей.

— Дай сюда свет, — попросил Алексей и полез под стол.

Николай посветил ему. Под столом стоял деревянный ящик с какими-то допотопными аккумуляторами. Алексей проверил их соединения.

— С реверинами что-нибудь, — предположил он. — Проверить надо.

— Постойте, а где мы сейчас? — спросил Андрей.

Они огляделись. На всех троих были изрядно поношенные гимнастерки, солдатские штаны, сапоги с комками засохшей грязи. Вдоль стены шли нары. Посредине стоял стол, сколоченный из неотесанных досок. На нем коптилка, котелки, ложки, ножи. На гвоздях, вбитых в стену, висели три шинели. Николай был в пилотке. Дверь подпирали два автомата.

— Братцы! — заорал Андрей. — Да ведь это же... двадцатый век! На дворе двадцатый век!

— Ура! — закричали все.

— Двадцатый век! Да мы теперь пешком можем дойти до своих.

В дверь долбанули чем-то твердым и тяжелым.

— Открыть? — спросил Андрей.

— Открой. Что делать...

Андрей подпер дверь плечом, откинул в стороны автоматы и потом сам распахнул ее. Запахло сырой землей. За дверью было темно.

— Это что тут у тебя, Савчук? — спросил чей-то голос.

— Так ведь подходят потихоньку, — ответил кто-то, наверное, невидимый Савчук. — Выйдут и пристроятся. Не видел еще их. И землянки этой еще вчера не было. Ничего здесь не было.

— Слов у тебя много, Савчук.

В землянку вошли двое, через дверной проем можно было различить еще несколько фигур.

Первый широко шагнул на середину земляного пола и твердо спросил:

— Кто такие?

— Встать! — крикнул второй, Савчук.

Николай, Андрей и Алексей вскочили, неловко вытянулись. Хоть на них и была военная форма, но вид был совсем не солдатский, штатский какой-то.

— Кто такие? — повторил вопрос лейтенант.

— Солнцев, Нефедов, Огородников, — ответил Николай.

— Рядовые, — добавил Алексей.

— И куда же вы? — спросил лейтенант.

— К своим добираемся, — ответил Николай. — В свое время.

— К своим? Считайте, что вы у своих. Тут все свои, от этой землянки и на восток.

— Понятно, — вставил Андрей. — Двадцатый век все-таки...

— Молчать, — тихо сказал лейтенант. — Покажите документы Савчуку. Он вас на довольствие поставит. — Он повернулся и молча вышел из землянки.

Савчук сел на нары поближе к свету, расстегнул полевую сумку, достал карандаш, спросил:

— Из какой части будете?

Николай и Андрей промолчали. Алексей угрюмо ответил:

— Не родилась еще наша часть.

— Разговорчики. Номер части? Документы есть? — И он прихлопнул по столу маленькой крепкой ладонью.

И вдруг что-то так шарахнуло недалеко от землянки, что заложило уши и с потолка посыпалась земля.

— Утра гады не дождались! — крикнул с какой-то непонятной веселостью Савчук. — В окопы! Живо!

Крик был совсем не грозный, но была в нем какая-то мягкая властность.

— За мной!.. Сейчас полезут.

И еще несколько раз ударило поблизости от землянки. Затрещал пулемет, потом сразу несколько.

Савчук задержался у дверей, зыркнул серым злы глазом на этих троих, испуганных и нерешительных, мотнул головой:

— Сейчас пойдут, — и вышел в чуть начинающую светлеть темноту.

— Пошли, — сказал Николай, схватил автомат, каску.

— Да что тут происходит? — спросил Андрей.

— Война. Наверное, сорок третий. В погонах уже. — Николай выскочил в траншею, пригибаясь побежал по ходу сообщения за еле различимым Савчуком, Алексей бросился за ним. У него не было автомата. Вообще ничего в руках не было. Андрей задержался немного. Поболтал для чего-то ремень автомата и вдруг напряженно прислушался. Гул, едва заметная дрожь. Привычный стрекот. Машина снова работала! Он бросился за товарищами, хрипло крича:

— Коля! Колька! Остановитесь! Работает она!

Он догнал Алексея, схватил сзади за гимнастерку:

— Машина работает! Скорее! Осталось совсем немного. Прорвемся.

Алексей на секунду остановился, непонимающе посмотрел на Андрея. Невдалеке, чуть ниже по склону, ухнул снаряд. Алексей схватил Андрея за голову, пригнул чуть ли не к самой земле. Сверху посыпалась глина, что-то забарабанило вокруг. Глухой лязг гусениц послышался внизу, в лощинке. Метрах в пяти от них кричал солдат, но нельзя было понять, что он кричит.

— Ты что? — крикнул Алексей, сплевывая землю.

— Машина работает! Еще успеем. Колька где?

Алексей не ответил, побежал вперед. Андрей за ним.

— Колька! Колька! — иногда выкрикивал он.

— Здесь я, — вдруг раздалось совсем рядом. Андрей остановился, заметил Кольку. Тот лежал за небольшим бруствером, приникнув к самой земле, и иногда давал короткие очереди. Андрей подполз к нему.

— Колька, машина работает... Уходим... или как? — Он уже понял, что Николай отсюда не уйдет.

— Успеем, — ответил тот. — Отобьем, тогда... видно будет.

— Ладно, — вздохнул Андрей. — Только случится с ней опять что-нибудь. Застрянем здесь.

— Не скули, — попросил Николай.

С другой стороны к ним подполз Алексей и сказал:

— У меня даже винтовки нет.

Невдалеке снова разорвался снаряд. Грохнуло, оглушило на секунду. Замолк строчивший рядом пулемет.

— К пулемету! — крикнул кто-то хрипло. Похоже, Савчук.

— Есть, — отозвался Николай. — Вот и ползи к пулемету. Умеешь?

— Что?

— Обращаться с пулеметом.

— Нет.

— А, чтоб тебя... Держи автомат. Вот запасные диски. Сдуру-то не трать зря. — Николай пополз вправо.

«Не умеет ведь и он», — подумал Алексей, но пулемет справа вскоре застрочил.

Светало. И внизу, у подножия холма, уже отчетливо можно было различить фигурки людей. Они поднимались и разрозненными группками бежали вверх, стреляя на ходу, падая, поднимаясь. Некоторые оставались лежать неподвижно. Но когда эта волна уже почти накатывала на окопы, что-то в ней ломалось, и она отступала назад. И тогда начинали рваться снаряды. Андрей и Алексей уже освоились немного и, когда начиналась молотьба снарядами и минами, прыгали на дно траншеи, прижимались к земле, ближе к передней стенке. Только раз. Андрей буркнул:

— Попадет один такой в землянку... и все.

Алексей ничего ему не ответил.

Наступила небольшая передышка. Уже и солнце припекало. Хотелось пить. По траншее пробежал Савчук, без сумки, грязный. Автомат колотил его по спине. Он на ходу что-то кричал, и его все понимали. Кто-то тащил коробки с патронами и сухой паек.

И тоска подступила к горлу.

Отходят! Отходят! Кто отходит? Отступление.

— Нам прикрывать! — крикнул Савчук, опять пробегая мимо. — Эх, еще бы с полсотни человек.

К обеду их было уже менее полусотни. К вечеру — десять. А потом осталось четверо: Савчук, Алексей и еще двое. И Алексей уже обучился стрелять из пулемета.

— Вот что, ребята, — сказал Савчук. — Приказа об отступлении нам не будет. Не успеет дойти приказ.

В пяти километрах позади них была река. За рекой — город. Город заканчивал эвакуацию. Кто-то должен был удерживать врага любой ценой.

Рядом с машиной времени, землянкой, упал снаряд и развоpотил входную дверь. Но машина все еще вздрагивала чуть заметно. Это работали ее двигатели... или просто земля вздрагивала от разрывов снарядов.

А потом наступила тишина. Не по кому было бить снарядами.

Так не дошли трое парней до своего времени. И было им всего по двадцать лет... Многие не дошли. Остались на полях разбросанные на тысячах километров землянки, похожие на ту машину времени. И уже не различить среди них, где она. А стоит она, почти совсем целая и невредимая, только дверь разворочена. Входи, снимай блокировку и отправляйся в будущее.

ДВЕ ЛЕТЯЩИЕ СТРЕЛЫ

В почтовом ящике лежало письмо. На конверте значились мои имя, отчество, фамилия. Адреса не было. Странно... Я хотел разорвать конверт, но плотная бумага не поддалась. Пришлось вернуться в квартиру и разрезать конверт ножницами. На стол выпал сложенный вдвое лист бумаги. В нижнем левом его углу были оттиснуты две летящие навстречу друг другу стрелы. Почерк казался слишком четким: «Здравствуй, Олег! Вот я и пишу тебе, — ты хотел этого сам. Я ждала целую неделю, надеялась, ты зайдешь ко мне, но ты, видимо, человек весьма занятый... Все же выбери время, зайди или хотя бы напиши. Мне без тебя скучно. Анжелика».

У меня не было знакомой с таким именем, и письма я ни от кого не ждал. Розыгрыш? Шутка?

Так я и решил, но письмо не выбросил. Любопытная все-таки штука. Положил его в стол, пошел на работу. Кто мог подшутить? Девушки в нашем отделе такие серьезные, да притом, какой-никакой, но я все же был их начальником. Хоть и молодым, хоть и не в меру смущающимся, но все же шефом, как они называли меня за глаза. Если кто и решился на розыгрыш, то скорее начинающие ученые, наши юные, подающие надежды мужи. Все мы, в конце концов, находились еще в том возрасте, когда эпитет «начинающий» отнюдь не обиден. Даже мне только что исполнилось двадцать два года.

В институте я ненароком раз-другой обронил имя Анжелики, но никакой реакции это не вызвало. То ли я был плохим психологом, то ли разыгрывали меня достаточно искусно.

Я уже начал забывать об этой истории, когда вдруг через неделю получил второе письмо. Конверт был точно таким же, как и в первый раз. Письмо небольшое, в несколько строк. И заканчивалось оно словами: «Мне без тебя плохо! Анжелика».

Второе письмо легло в ящик рядом с первым. Я решил подождать, что будет дальше. Но только теперь я уже не мог забыть о них.

Еще через неделю я получил третье письмо. «Я же люблю тебя, Олег, — писала Анжелика. — Что я должна тебе написать, чтобы ты поверил в это? Приходи! Ты же знаешь, где я

живу. Я могла бы найти тебя, но не сделаю этого. Всего два часа нужно тебе, чтобы добраться до меня. А ты не появляешься уже три недели. Олег-Олег...»

Это был какой-то крик, а не письмо. Я не сразу пришел в себя. Мне долго казалось, что это так и есть, что она любит меня, ждет. И я уже было хотел пойти к ней, но потом сообразил, что идти некуда. Не было у меня знакомой по имени Анжелика.

И все-таки письма смутили мой покой. Я начал думать о ней, этой незнакомой девушке. Я уже считал, что это никакой не розыгрыш, что она есть на самом деле. Я и раньше-то не отличался особой любовью к разного рода праздникам и вечеринкам, где пьют вино, а потом танцуют. Я не страдал от этого. Просто мне было скучно в шумных компаниях. А теперь меня вообще нельзя было затащить туда.

Она ждет меня, а я танцую с другими. Нет, я не хотел быть таким неблагодарным.

Я получил еще пять писем. Она любила меня. Она больше не звала меня, она уже потеряла надежду, она просто рассказывала о себе — грустно, иногда очень грустно. И мне хотелось бросить все и бежать к ней. Хоть на край света! Я ходил вечерами и ночью по тихим улицам своего города, я все ждал, что встречу ее, узнаю в толпе веселых студенток или школьниц. Я звал ее по имени.

Анжелика!

Я никогда не видел ее, не знал ее лица, голоса. Я вообще не знал: существует ли она. Но я любил ее. Все это сделали письма. Теперь я носил их в нагрудном кармане куртки. Я никогда не расставался с ними, сотни раз перечитывал их, прижимал к губам, шепча слова любви и нежности. Я сходил с ума оттого, что не мог найти ее. И жизнь становилась невыносимой, когда я представлял, что никогда не смогу найти ее.

Я искал ее. Я уже знал в лицо всех почтальонов и сортировщиц писем, я знал всех Анжелик в нашем городе. Но это были другие Анжелики. Ту одну, единственную, мою Анжелику никто не знал.

Я понимал, что не найду ее никогда.

И тогда я подал заявление в экспедицию, которая уходила в Дальний Космос. Меня отговаривали. Ведь я был молодым восходящим светилом в кибернетике. Сейчас, когда я собирался покинуть Землю, все мне говорили об этом. И еще говорили о том, что я найду там, у звезд? Сорок лет полета по земному времени туда, и сорок — назад. В корабле пройдет семь лет. Семь лет для ученого не заниматься своей работой — это конец. А нужно еще учесть, как далеко шагнет кибернетика за эти восемьдесят лет. Чем я буду заниматься по возвращении на Землю? У меня не останется ни друзей, ни знакомых. Никого.

Космос для энтузиастов. Но я ведь никогда не болел Космосом. Это письма позвали меня туда. Я уже знал, что никогда не найду свою Анжелику. Я не мог оставаться на Земле. Я полечу к звездам. Там у меня будут новые друзья. А любовь? Она пройдет. А если нет? Мне уже некого будет искать, когда я возвращусь на Землю.

Экипаж тринадцатой звездной состоял из девяноста восьми человек. Меня приняли девяносто восьмым. Я не был ни капитаном, ни штурманом. Кибернетические уборщики были в моем подчинении.

Всего я получил от Анжелики семнадцать писем. В последнем она писала: «Я чувствую, что с тобой что-то происходит. Не делай глупостей. Я сама приду к тебе. Олежка мой смешной. Олег! Я приду к тебе, даже если ты этого не хочешь».

Она не пришла.

Я написал одно-единственное письмо, состоящее из фразы: «Анжелика, я улетаю к звездам». На конверте я написал лишь одно слово: «Анжелике». Больше я ничего не знал. Я бросил письмо в почтовый ящик, понимая, как это глупо. Что я мог еще сделать?

Прощай, Анжелика!

У меня был самый маленький багаж из всех членов нашего экипажа. Я взял с собой только письма Анжелики.

Две тысячи шестьсот дней провели мы в тринадцатой звездной. Мы облетели вокруг шести звезд, совершили посадку на четыре планеты. На одной из них потерпели аварию. Нас засыпало огромными плитами обвалившегося плато. Мои кибернетические уборщики двадцать дней раскалывали, распиливали и растаскивали эти глыбы. Мы освободились из плена, но почти все мои кибернетические уборщики остались там.

Мы видели странные солнца и сумасшедшие закаты на необитаемых безжизненных планетах. Мы боролись с бешеными ураганами и держали в руках первые проявления жиз-

ни — крохотные фиолетовые растеньица. Мы все сдружились за семь лет и стали как бы частицей огромного, сложного организма, окруженного враждебной средой. Мы все стояли у постели второго штурмана, когда он умирал от какой-то странной болезни. Мы понимали, что живы только потому, что умирает он. Он спас нас. А как он хотел увидеть Землю!

И все эти семь лет со мною рядом была Анжелика. Все эти семь лет я чувствовал ее любовь. Я мало кому рассказывал о ней. Раза два или три. Но, может быть, именно поэтому к ней относились с уважением. Никто не говорил этого вслух. Никто не произносил ее имени. Это можно было понять по глазам, по той особой внимательности, с которой относились ко мне. А ведь все они оставили на Земле, тех, кого больше никогда не увидят. Разница только в том, что я так и не видел ее никогда.

Как прорвались в нас радость и нетерпение, когда мы впервые после долгих лет установили связь с Землей! Даже не с Землей, а с красавцем кораблем, высланным нам навстречу. А потом была Земля.

В последний час пребывания на корабле мы дали клятву не забывать друг друга.

Земля встретила нас по-матерински. Ее заботу мы чувствовали ежечасно. Два месяца мы провели в клинике. Медики тщательно исследовали наши организмы. Потом нам сказали, что на Земле разработана методика обучения прибывающих из Космоса членов звездных экспедиций и что через полтора года мы будем знать все, что знают люди Земли.

— Нельзя ли за год? — спросил каждый из нас на личной беседе с комиссией.

Мы могли поселиться в любом месте, каждый на свое усмотрение. Но мы решили жить вместе. И первые дни действительно не разлучались. Потом, по одному, звездные волки стали исчезать. Кто-то нашел работу по душе, кто-то встретил девушку, кто-то отправился путешествовать. Меня не интересовало ничто, кроме кибернетики. Я хотел поскорее встать вровень с ушедшим вперед веком. Занятия, занятия. Тренировки, чтобы тело не потеряло силу и ловкость, и занятия. Свободное время я посвящал телевидению. Ведь мне хотелось побольше знать о Земле.

У нас были перерывы в занятиях. Это случалось в праздники. И вот в один из них — день Весны — я не выдержал,

бросил все и улетел в ближайший город на праздники. Все здесь было для меня необычным. И лица, и песни, и настроение людей. Сначала я бродил, болезненно сознавая свою обособленность, неумение войти в веселый и жизнерадостный ритм веселящейся толпы. Меня толкали, вовлекали в прыгающие и орущие хороводы на площадях. Мне пели чуть ли не в ухо смешные песенки. Но я уходил отовсюду. Все это было не для меня.

Кто-то недалеко от меня крикнул: «Анжелика! Иди к нам!» Это имя резануло меня, как ножом. Что за любовь владела моим сердцем? Любовь к девушке, которую я даже не знал. Которая, если даже и была, то умерла давным-давно... Я оглянулся. Девушка, невысокая, черноволосая, коротко остриженная, в блестящем черном платье и белых туфельках что-то кричала своим друзьям. Веселящаяся толпа подтолкнула меня к ней. Она посмотрела на меня машинально, так как я загородил ей дорогу, и лишь потом внимательно уставилась на меня. Я стоял и молчал. Нужно было уйти. Я даже сказал себе это. Но куда тут уйдешь, двух шагов нельзя сделать, чтобы не толкнуть кого-нибудь. Я уже повернулся к ней боком, как она вдруг прикоснулась к моей груди и погладила две сверкающие стрелы — знак космолетчиков.

— Ты из звездной? — спросила она.

— Да, — я все еще хотел уйти.

— Расскажи...

— У тебя есть время? Ведь это очень долго рассказывать.

— Я буду тебя слушать.

— Тебя действительно зовут Анжеликой?

— Да. А тебя?

— Олег.

Она кивнула, схватила меня за руку, и мы начали выбираться из толпы.

— Сколько же тебе лет?

— Сто два.

— Смешно. А мне восемнадцать.

Она водила меня по городу, который никак не хотел успокаиваться до самого утра. С ней было легко разговаривать. И время летело незаметно. Я даже забыл про Анжелику, которая писала мне письма восемьдесят лет назад. А потом вдруг вспомнил и подумал: если бы я встретил эту девушку тогда или та Анжелика была похожа на эту, я не улетел бы к звездам. Я не смог бы жить без нее.

Я проводил ее домой.

— Ты снова улетишь к звездам? — спросила она.

— Не знаю. Нет. Я хотел бы заняться кибернетикой.

Она с сомнением покачала головой и сказала:

— Если можешь — останься.

Я вызвал авиетку и через два часа был в отеле космолетчиков.

Я достал из куртки письма Анжелики и перечитал их. Я уже знал, что эти письма снова погонят меня к звездам.

И все же на следующий день я пришел к Анжелике. Она не скрывала, что ждала меня.

— Звездный волк, ты хотел видеть меня?

— Хотел.

— Сейчас модно носить эти две стрелы, — показала она на мой знак. — Я сначала не поверила, что ты вернулся со звезд. Трудно было улетать с Земли? Ведь теперь у тебя никого нет. У тебя была девушка?

— Не было. Я не нашел ее. А вот с друзьями... у меня девяносто шесть друзей... могло быть девяносто семь, но один умер.

— Что вас гонит к звездам?

— У каждого свое. Меня — любовь.

Два месяца мы почти не расставались. Она даже прилетала в наш отель и не уходила из моей комнаты, когда меня погружали в гипнотический сон, чтобы напичкать очередной порцией знаний.

Еще возвращаясь на Землю, мы, девятнадцать человек, договорились, что при первой возможности будем проситься в очередную экспедицию. И вот однажды один из нас вызвал меня по видеофону и сказал, что объявлен набор в семьдесят девятую звездную.

— Я остаюсь, — сказал я.

— Понимаю. — Он помолчал. — Я прилечу к тебе. И ты покажешь мне письма Анжелики.

Теперь я долго не отвечал ему. Письма, письма. Они вели меня в Космос. И тогда, и сейчас...

— Хорошо. Я полечу к звездам.

— Молодец. А четверо все-таки отказались. В экспедиции будет семьсот тридцать человек. Если у тебя есть девушка и у нее подходящая специальность, можешь записать и ее. Нас будут брать вне очереди.

Я решил улететь. Я, конечно, не верил, что Анжелика пойдет за мной к звездам. Романтика полетов часто обнаружи-

вается только в разговорах. А если бы она согласилась? Нет. Я просто не мог предложить ей этого.

Я еще раз встретился с Анжеликой и сказал, что буду очень занят, что у меня не останется времени для встреч. Не знаю, что она подумала, но расставание было холодным. Меня это даже обрадовало, тоскливо обрадовало. Я сказал:

— Если захочешь — пиши.

Я перемучился и немного успокоился. Я был свободен. Снова ничто не держало меня на пути к звездам.

Меня приняли в экспедицию вторым кибернетиком. Началась подготовка. Пришлось переехать из отеля космолетчиков поближе к базе экспедиции, которая располагалась в центре Сахары.

Анжелика меня не искала. Я не получил от нее ни одного письма. Она ни разу не связалась со мной по видеофону, хотя сделать это было проще простого. Письма теперь были не в моде, более совершенные средства связывали людей. И я ей сказал «пиши», наверное, только потому, что вспомнил письма Анжелики.

Прошел год. До отлета семьдесят девятой звездной оставалось два месяца.

И все-таки она пришла. Не надо было анализировать свои чувства, чтобы понять, что я ее люблю. Что же оставалось теперь мне? Бежать от любви, как и в первый раз? Но тогда я не мог ее найти. А теперь она была рядом.

— Олежек, я не хотела тебя искать. Я написала тебе столько писем, а ты не ответил мне ни на одно, кроме последнего. Я могла найти тебя. Это так просто. Но мне нужно было знать, что ты хочешь этого. А вдруг ты полюбил другую? Я только сегодня получила от тебя письмо.

Я был так рад ее видеть, что не сразу понял, о чем она говорит. — Письмо? Анжелика, я не писал тебе писем.

— Одно письмо. Ты думал, что я не пойду с тобой в звездную? Ты боялся, что улетишь со своей любовью один?

— Не только это, Анжелика.

— И все-таки написал.

— Нет, Анжелика. Я ничего тебе не писал.

— А это? Что же это?

Она протянула мне конверт. На нем стояло только одно слово: «Анжелике». Я развернул лист. «Анжелика, я улетаю к звездам».

— Анжелика, это мое письмо! Но только написал я его другой девушке, когда улетал с Земли первый раз. Ее тоже звали Анжелика. Я никогда не видел ее. Но я любил ее. Я и сейчас люблю ее.

— Почему ты не рассказал об этом раньше? — едва слышно спросила она.

— Ведь это было невообразимо давно. Если бы не ее письма, я не улетел бы тогда с Земли.

— А я хотела лететь с тобой, Олег, — сказала она растерянно и с болью в голосе. — Прости, я ухожу.

— Подожди, Анжелика. Я люблю тебя, но и ее. Как разорвать сердце между тобою и ею, землей и звездами?

— Не надо. Беги.

— Я не бегу. Она послала меня туда. Смотри. Я носил их с собою все эти годы. — Я протянул ей пачку писем.

Она взяла их. Это как бы говорило, что ей теперь все равно. Но рука ее вздрогнула, когда она прочитала надпись на конверте. Она медленно прочитала первое письмо, второе, третье и заплакала.

— Но ведь это же мои письма! Я их писала тебе целый год. А ты не захотел даже ответить.

— Это твои письма? Анжелика, но ведь я их ношу с собой много лет. Я получил их восемьдесят с лишним лет назад.

— Это мои письма! Разве ты не видишь эти две летящие стрелы? Что означали они восемьдесят лет назад? Их тогда не было. Этот символ звездных появился сорок лет назад.

Меня не надо было убеждать. Я понял. Ведь даже бумаги тогда такой не было. И эти две летящие стрелы. И год ее молчания. И мое единственное письмо.

Значит, я любил ее задолго до того, как она появилась на свете. Я получил от нее семнадцать писем. Эти письма отправили меня к звездам и сделали возможной нашу встречу здесь. Но сначала мы встретились, и лишь после этого она написала письма. Она уже знала меня.

А я получил их за восемьдесят лет до этого и отправился в звездную, чтобы после возвращения встретить ее. Но...

— Ты что-нибудь понимаешь, Анжелика?

— Понимаю. Значит, ты меня и любил.

Я, конечно, имел в виду не совсем то, но согласился. В этом-то она была права. Я любил ее, еще не встретив.

— Но ведь семьдесят девятая звездная отлетает через два месяца, — сказал я с отчаянием.

— Если бы ты ответил мне раньше, я могла бы быть в ней. Но у нас все равно есть еще два месяца.

— Два месяца, и расстаться на всю жизнь?! Ждать тебя столько лет, найти и снова потерять навсегда?

— Но ведь ты все равно полетишь к звездам?

— Мы все равно полетим к звездам.

Я отстегнул свой значок и приколол ей на платье две сверкающие летящие стрелы. Эти летящие друг другу навстречу стрелы означали: «Земля, я улетаю к звездам», «Земля, я возвращаюсь со звезд».

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

1

Четыре человека сидели в мягких удобных креслах посреди круглого, ярко освещенного зала.

— С ума можно сойти от этой тишины, — сказал Эго. Он был самым молодым из экипажа «Клеопатры». Поджарый, высокий, с черной шапкой густых вьющихся волос на голове. Вцепившись руками в подлокотники, он сидел с таким видом, словно в следующее мгновение что-то должно было с силой вырвать его из кресла и бросить в пустоту, прочь от надежных стен корабля.

— С ума можно сойти... — тихо повторил он.

Стис потянулся к пульту, чтобы включить какую-нибудь музыку, но Ройд коротким движением руки остановил его.

— Не надо. Ему сейчас нужна музыка человеческих слов, музыка человеческих мыслей.

Ройд был стариком, и все негласно признавали его старшим, хотя на корабле не положено было иметь командира. Стис молча кивнул и снова откинулся в кресле.

— У меня в голове только одна мысль, — сказал Бимон, четвертый член экипажа. — Они уже добрались сюда. Первую часть программы мы, пожалуй, выполнили? — И он вопросительно посмотрел на Ройда.

— Спроси у Эго...

— Я это чувствую, — сказал Эго, стряхнув с себя оцепенение. — Все время ощущение чего-то липкого, мерзкого, злобного, враждебного. Видеть бы, слышать, осязать, чтобы можно было стрелять из бластера, думать, искать выход из тупика. Но ведь это неизвестно что. Как бороться неизвестно с чем?

— Значит, по-твоему, они здесь? — спросил Ройд и вздрогнул, встретившись взглядом с глазами Эго. Глаза говорили, что будь Эго здесь один, он бы знал, что ему делать. Не раз за свою долгую жизнь встречал Ройд такой взгляд, и ему вдруг тоже сделалось страшно. Но он умел владеть своими чувствами. Эго отвернулся. — Скажи ты, Стис...

Стис нервно рассмеялся:

— Ха-ха-ха! Да они не только здесь. Они везде. Может быть, они уже на Земле. Отыскали ее. И сейчас там все спешно учатся делать харакири. Ха-ха-ха!

— И дети тоже? — тихо спросил Ройд.

— Н-нет, н-нет. — Стис сжал щеки ладонями. — Простите. Дети не должны. Дети уже не должны с этим встретиться. Простите меня. — Он помолчал и сказал спокойнее: — Но здесь они уже есть. А разве вы это не чувствуете? Только я один?

— Они здесь. Об этом не стоит говорить, — сказал Бимон. — Когда мы вылетали с Земли, уже было ясно, что они будут здесь. Это подтвердилось, и все.

— Зачем ты спрашиваешь, Ройд, — запальчиво крикнул Эго. — Все знают это. Разве ты сам не чувствуешь?

— Я хотел знать, как это чувствует каждый. Ведь никакие приборы их не регистрируют. Важно узнать, что это такое.

Четверть часа назад они посадили «Клеопатру» на планету под условным названием «Агриколь-4». Собственно, Агриколь — это название звезды, вокруг которой вращается семь планет. На четвертой была неуправляемая база землян, то есть база с запасами пищи, воды, энергии — словом, всем необходимым для человека. Автоматы монотонно исследовали планету: записывали температуру, давление, уровень радиации. Агриколь-4 была вполне пригодна для жизни людей. Она не была заселена лишь потому, что ее открыли всего двадцать лет назад.

Пять лет назад здесь должна была высадиться первая специальная экспедиция, которая и положила бы начало планомерному исследованию и заселению планеты. Но как раз где-то в это время в областях космоса, контролируемых Землей, появилось это. Сначала в ста восьмидесяти парсеках от Земли, в одном-единственном месте, потом сразу в нескольких. Земля оказалась в центре условной сферы, на границах которой господствовало враждебное человеку, непонятное, неуловимое и поэтому еще более страшное явление.

Сфера неумолимо сжималась. Пока она охватывала только границы освоенного человеком космоса. Многие экспедиции, не выдержав борьбы с неизвестным, катапультировались на Землю. От других не было никаких известий. Совет Земли забил тревогу. Теперь в экспедиции отправлялись тщательно проверенные люди, с уравновешенной психикой, готовые бороться до конца и катапультироваться на Землю только в том случае, когда дальнейшая борьба с неизвестным окажется бессмысленной.

Люди могли постоять за себя, но это было неуловимо и появлялось уже в ста парсеках от Земли.

«Клеопатра» была одним из многих кораблей, которые Земля бросала навстречу опасности. У экипажа было две задачи: узнать, появилось ли это в окрестностях звезды Агриколь, что неопровержимо доказало бы продвижение чего-то враждебного по направлению к Земле, и попытаться выяснить, что это такое. Пока Земля не знала, что это такое, люди не могли найти необходимого оружия и защиты.

Три месяца назад «Клеопатра» стартовала на Агриколь.

Они еще не выходили из корабля.

— Мы можем катапультироваться немедленно, — сказал Ройд. — Никто на Земле за этот поступок не будет называть нас трусами. Еще никому не удавалось справиться с ними. Мы просто увеличим число бывших рядом и несправившихся.

Стис обрадовано нагнулся вперед, потом закусил губу и откинулся в кресле с безразличным видом.

Бимон покачал головой.

Эго глубже втиснулся в кресло, так что было видно только его побледневшее лицо.

— Сидеть здесь или выйти из корабля, нам все равно. Они проникают всюду. Я предпочитаю выйти. Кто со мной? — спросил Бимон.

Никто не пошевелился. Ройд мог пойти. Он много видел, может и еще посмотреть.

— Пойдет Эго, — сказал Ройд.

— Никто его не может заставить! — крикнул Стис.

— Он должен сам себя заставить. Иди, Эго.

Ройд включил экраны кругового обзора. «Клеопатра» стояла на самой середине огромной поляны, покрытой коричневой с черными пятнами травой. Метрах в пятистах начинался корявый нелепый лес с вывихнутыми стволами.

— Дойдите до опушки, потом возвращайтесь назад.

— В глайдерах? — с трудом выговорил Эго.

— Даже силовой экран не защищает от них, — сказал Ройд. — Глайдеры не помогут.

— Мы здесь вообще как муха на чистом столе, а сверху занесенная ладонь, — пробурчал Стис. — Куда ни сунься, все равно прихлопнет.

— Случаев полного разгрома баз не было. Нас просто вытесняют. Пойдем, Эго, веселый парень. Мы еще споем твою песню! — Бимон встал во весь свой двухметровый рост. Он улыбался, показывая исключительной белизны зубы.

— Возьмем бластеры? — спросил Эго. — С ними как-то увереннее.

— Возьмем. Хотя, насколько я понимаю, бесполезная штука эти бластеры. Но если ты будешь чувствовать себя с ними увереннее, то возьмем. А я всегда ношу с собой это, — он расстегнул воротничок рубашки. На груди, на тоненькой цепочке висело нечто вроде медали.

— Амулет? — криво усмехнувшись, спросил Стис.

— Сибилла...

Это могла быть и жена, и невеста, и просто случайная знакомая, и даже дочь. Ройд ничего не сказал, только подумал, что у него никогда не было ничего подобного. Грустно и все.

2

Стис сел за пульт управления силовыми экранирующими полями. Десятиметровый колпак такого поля накрывал Эго и Бимона. Ни одна живая тварь не могла проникнуть через него, ни один материальный предмет. После того, как Бимон улыбнулся, у Стиса на душе стало легче. Надо держать себя в руках, не распускаться. Пока те двое шли по траве, управлять силовым колпаком было просто. А вот когда они войдут в лес... Впрочем, они не войдут в лес. Они должны дойти только до опушки.

Ройд манипулировал ручками управления анализирующей аппаратуры. Если это, чужое, враждебное, появится возле Эго и Бимона, должно же оно изменить что-то в картине физических полей. Если это мыслящая материя, то должны быть аномалии в поле сознания. Картина физических полей не менялась. Что касается поля сознания, то тут все было сложнее. До предела возбужденная психика людей деформировала поле.

Бимон шел немного впереди. Эго едва поспевал за ним. В руках у каждого был бластер. Две высокие фигуры на фоне уродливого леса. Бимон шире в плечах. И шаг у него широкий и уверенный. Эго приятно идти за ним. Но хорошо бы выйти вперед, чтобы Бимон был за спиной. За спиной противный холодок. Все равно сейчас что-нибудь произойдет. Тишина коварна. Бимон отмахивается от каких-то скачущих на высоту человеческого роста насекомых.

Эго отстал от Бимона шагов на десять. И снова, как в корабле, почувствовал, как его обступает что-то липкое, неприятное. Опять начиналась пытка страхом. Оно издевалось

над ним, играло, как кошка мышонком. Вот и Бимон замедлил шаг.

— Бимон, подожди...

Идущий впереди остановился, неуверенно оглянулся. Бледность заливала лицо Эго. И там, в корабле, Стис прошептал:

— Исчезнуть бы...

— Ты смеешься, Стис, — с трудом выговаривая слова, произнес Ройд.

Эго поднял руки, как бы прикрывая голову. Бимон шагнул к нему, оглядываясь на лес. И в это время, как раскат грома, отчетливо прозвучало:

— Ха-ха-ха!

И так несколько раз. Ниоткуда и сразу отовсюду.

Эго не сдержался и нажал кнопку бластера. Короткая молния выстрелила в зенит. Эго совсем потерял голову и, кружась на одном месте, полосовал воздух вспышками молний.

Хохот прекратился.

— Что это могло быть? — все еще вздрагивая от возбуждения, спросил Эго. Левой рукой он вытирал пот со лба. — Понимаешь, исчезло! Я убил его! Я убил его! Бимон, ведь правда?

— Не знаю, — ответил Бимон.

Напряжение прошло.

Анализаторы физических полей у Ройда не показали ничего. Не было ничего материального. Или это было какое-то неизвестное людям поле. Поле сознания искривилось всплеском. Это вполне объяснялось испугом Эго и состоянием людей, когда прозвучал хохот.

Бимон сплюнул, потоптался на месте и сказал:

— У страха глаза велики. Это могло быть просто какое-нибудь животное. Должны же здесь быть животные? Ройд, как ты думаешь?

— Здесь есть крупные животные, но, к сожалению, нам неизвестно, хохочут ли они, — ответил Ройд.

— Я хотел бы, чтобы это было оно, — сказал Эго. — Пусть бы это было оно. Мы бы знали, что хоть бластера оно боится.

— Ножа, каменного топора... — продолжил Бимон насмешливо.

— Не веришь, что его можно убить? — закричал Эго. — Смотри. Если оно еще раз появится, я буду стрелять. — Он

поворачивался то в одну, то в другую сторону, прижав к груди бластер. И снова за спиной он почувствовал чье-то присутствие, замер, увидев расширенные глаза Бимона, который смотрел туда, за его спину.

Какая-то тень пробежала по краю поляны, с неясными очертаниями, все время меняясь в размерах, то укорачиваясь, то удлиняясь.

Страх, выразившийся в глазах у Бимона, вызвал всплеск в анализаторах Ройда.

— Какое-нибудь поле? — с надеждой в голосе спросил Стис.

Ройд только покачал головой.

Эго ощутил, как за его спиной вырастает чудовище, готовое к прыжку. Эго был молод и все еще играл в игрушки.

Бимон увидел, как неопределенная тень вдруг сформировалась в пятиметрового гада, готового к прыжку, и, не размышляя, нажал кнопку бластера. Но, прежде чем он это сделал, Эго упал ничком на жесткую, колючую траву, очень четко сознавая, что ему в спину из-за ближайших кустов целится точно такой же бластер, какой был у него в руках.

Бимон выстрелил, но не попал, потому что не во что было попадать. Зверь исчез. И в это же мгновение из-за кустов хлестанул ответный выстрел. Молния прошла над лежащим Эго и обожгла Бимону щеку. Бимон отскочил в сторону и хотел дать еще выстрел, но Стис опередил его. На том месте, откуда только что стрелял кто-то, теперь образовался кусочек выжженной пустыни, Эго не видел этого, он только слышал выстрел с «Клеопатры», который сказал ему, что там действительно кто-то был.

Бимон пошел вперед. Напряжение и чувство страха не исчезали. Он встряхнул Эго, приподнял и поставил его на ноги.

— Я посмотрю, что там, — сказал он Ройду.

— Там нечего смотреть, — ответил тот.

Эго вдруг пошел вперед, сильно наклонившись, как будто его тошнило, одной рукой держась за грудь. Бимон попытался удержать его, потому что было ясно, что Эго уже не сознает своих поступков.

— Эго, очнись! — крикнул Бимон.

— Пусти, мы убили человека...

Бимон схватил его поперек туловища и хотел силой увести на корабль, но парень тоже был силен. Они упали и пока-

тились по траве. И тут Бимон посреди обожженной пустыни, которую сделали они, увидел что-то шевелящееся, продолговатое. Он на мгновение выпустил Эго, и тот, воспользовавшись его замешательством, вскочил и бегом бросился к странному предмету.

— Ройд, что там? — спросил Бимон, поднимаясь.

Ройд как-то странно пожевал губами и произнес:

— Человек...

Бимон бросился за Эго.

На черной земле лежал человек в странной одежде. Он еще дышал... Эго стал на колени, бросил бластер и разорвал рубашку на груди раненого.

— Откуда ты? — сам у себя спросил Бимон. Лицо человека тоже показалось ему странным.

— Возвращайтесь на корабль! — приказал Ройд.

На груди, под левым соском человека, чернело пятно, и под левую скрюченную руку стекала струйка крови.

— Он умер, — сказал Эго. — Кто бы они ни были, но умирают они людьми. Я убил человека, Бимон. Как это могло случиться?

— Это не ты. Выстрел был с корабля. Ты даже не поднимал бластера. Ты же упал и лежал к нему спиной.

— Я убил его. Я это знаю точно. — Он встал с колен, схватил бластер и расхлябанной походкой пошел к лесу.

— Бимон, задержи его! — крикнул Ройд.

Это услышал и Эго. Он повернулся спиной к лесу, поднял бластер на уровень груди и навел его на Бимона.

— Не подходи, слышишь. Я уже убил одного. Могу и второго.

— Что ты, Эго? — прошептал Бимон, делая несколько шагов в сторону. — Что ты?

Все так же пятясь, Эго дошел до леса и скрылся в зарослях. Тогда Бимон бросился за ним, забирая чуть левее.

Эго думал только об одном: он убил человека. И снова за его спиной встал страх. Душное, липкое состояние. Страх, что тот человек был не один. Не мог он быть один! Их много. Они не простят, ни за что не простят. Он поднял голову. Их шло человек пятьдесят, как на прогулке, с улыбками, звонким смехом.

«Почему у них нет оружия? — подумал он и усмехнулся. — Зачем им оружие? У них есть нечто более впечатляющее».

И тогда он упал на коричневую траву, царапая и вырывая ее пальцами, и прошептал:

— Не могу. Не могу больше.

Бимон увидел, как упал Эго и как к нему подходили неизвестные. Их фигуры вдруг смазались и начали расплываться. Эго внезапно исчез, исчезли и люди. Бимон постоял еще немного, подошел к тому месту, где исчез Эго, поднял бластер и сказал Ройду:

— Нас осталось трое... он не выдержал, — и пошел к кораблю, ни о чем не думая и машинально переставляя ноги.

...Эго вывалился на гранитный тротуар к ногам нисколько не удивившихся прохожих. Он встал, попытался стряхнуть с себя пыль и грязь, потом махнул рукой, подошел к автомату с водой, крупными глотками выпил два стакана холодной приятной воды и вызвал авиетку. Через несколько секунд он уже летел над городом, задав авиетке маршрут к зданию Совета.

Возвращение из мира страха в этот привычный, светлый, веселый мир было настолько быстро и приятно, что он не удержался и всхлипнул.

В огромной приемной он попытался было сразу пройти к руководителю, но его не пустили.

— Я член экспедиции на Агриколь, — заявил он с вызовом. — Корабль «Клеопатра». Эго.

— Ну и что вы рветесь? — спросили его.

— Они уже там, я хотел немедленно рассказать об этом.

— За этим вы и вернулись?

— Нет, — замялся Эго. — Я просто не выдержал...

— Посмотрите на этих людей.

Эго оглянулся. В зеле находилось человек двести. Многие были небриты, в рваной грязной одежде. Некоторые еще держали в руках бластеры.

— Они тоже не выдержали... Вы возвращаетесь со звезд как горох. Это появилось уже в восьмидесяти парсеках от Земли.

Эго понял, что его поразило в лицах людей. Стыд. Ему самому было невыразимо стыдно.

— Я могу еще раз... На этот раз я не...

— Хотят все! Вами занимается специальная комиссия.

Человек отошел, но Эго успел услышать:

— Они вернулись почти все...

Эго сел в конце живой человеческой очереди. Возвратившиеся, или, как их обычно называли, катапультировавшиеся, со звезд сидели молча, не пытаясь заговорить друг с другом. Одного за другим их вызывали по именам.

Эго попытался собраться с мыслями: во-первых, он — бессмертный — струсил, испугался смерти. Но ведь он же не может умереть! Во-вторых, он предал своих товарищей. В-третьих, он так и не узнал, что такое это. Тоже люди? В-четвертых, его уже никогда больше не пошлют к звездам.

Бимон шумно ввалился в рубку управления кораблем и с грохотом бросил на пол бластеры. Ройд словно не заметил его. Он продолжал как ни в чем не бывало возиться возле анализаторов полей. Стис не выдержал и сказал:

— Он катапультировался на Землю...

— Не смейте думать о нем плохо! — с вызовом сказал Бимон. — Еще неизвестно, что будем делать мы. Он, во всяком случае, хотел расправиться с ними.

— Ты с ума сошел... Никто и не думает о нем плохо.

— Он расскажет на Земле, что это уже появилось здесь, — продолжал Бимон. — Все-таки польза.

— Вот именно, — сказал Ройд, оторвавшись наконец от своих анализаторов. — Он выполнил первую часть программы. Теперь нам без особой нужды нет смысла возвращаться.

— Я и не думал возвращаться, — сказал Бимон.

— А я думал, — устало выдохнул Стис. — Подсознательно. Я знаю, что этого нельзя делать, а мысль: «На Землю, на Землю» — все равно возникает.

— Это плохо. Так нельзя, — сказал Ройд. — Тебе лучше это сделать сразу.

— Но ведь есть еще и вы. Без вас я не вернусь... Но один здесь я бы не остался ни за что.

— О чем ты говоришь?! — улыбнулся Бимон. — Последний шанс всегда у нас в кармане. Поговорим лучше о том, что здесь было. — Он сел в свое кресло и закинул ногу на ногу. Столько независимости и вызова было в его позе, что Ройд улыбнулся, а Стис сказал:

— Сейчас оно, кажется, отступило.

Оно, конечно, отступило, потому что все чувствовали себя свободнее.

— Так что же у нас есть? — спросил Бимон.

— Давайте соберемся с мыслями, — предложил Стис.

— Согласен. Хотя их и не очень много, — сказал Ройд. — Во-первых, это не является ни одним из известных полей материи. А предполагать, что существуют еще и неизвестные, я бы не осмелился.

— Но ведь не приснилось же это все нам? — слегка раздраженно сказал Бимон. — Ведь все это было!

— В том-то и дело, что было, — ответил Ройд. — Когда ты идешь по траве, изменения физических полей настолько незначительны, что не регистрируются аппаратурой и не учитываются ни в одной из теорий. Когда ты стреляешь из бластера, аппаратура регистрирует всплеск. Когда корабль протыкает трехмерное пространство, не надо никакой аппаратуры. Это заметно и без нее. Но как оно может возникать и исчезать, не нарушив структуры пространства?

— Выстрел из-за кустов прошел сквозь силовой экран, — сказал Стис. — Этого не могло быть, потому что это был обыкновенный выстрел. А выстрел из бластера не может пробить силовой экран.

Бимон осторожно потрогал правую щеку.

— Она обожжена. Это видно, — сказал Ройд. — Нематериальный выстрел не может обжечь щеку. Но аппаратура ничего не зарегистрировала.

— А поле сознания? — спросил Бимон.

— Слишком много помех. Страх, охвативший нас, забил всю информацию, если она и была. Появись они, когда все спокойны, может быть, и удалось бы что-нибудь зарегистрировать.

— Можно попробовать, — предложил Бимон. — Будем ждать. Время у нас есть.

— Я думаю, все будет напрасно, — сказал Стис и кисло улыбнулся. — Сначала появляется страх, неосознанный, непонятный, а затем они.

— Похоже, что Стис прав, — кивнул Ройд.

— Они действуют на нас страхом, подготавливают нас к тому, что мы уже не можем сопротивляться, и лишь потом появляются.

— Но ведь мы еще сопротивляемся, — сказал Бимон.

— Мы отбили первую атаку, — глядя в глаза Бимону, проговорил Ройд, — но с потерями. Будет и вторая атака, и десятая.

— ...и потом некому будет сопротивляться, — закончил Стис.

По спинам людей пробежал холодок.

— «Миссисипи, река моих предков!», — громко запел Бимон. Потом замолчал и тихо сказал: — Это была любимая песня Эго.

Стис удивленно посмотрел на него, а Ройд понимающе закивал головой. Стало чуть легче.

— Хотите кофе? — спросил Стис.

— И бутерброд с кислым сыром, — вместо ответа сказал Ройд.

Стис твердыми шагами вышел из рубки, только рука его сразу не могла найти ручку двери.

— Что с ним? — спросил Бимон.

— Он не хочет поддаться страху.

Стис вернулся с подносом и поставил его на столик возле двери, чтобы никто не видел, как он расплескал кофе. Он дал каждому по бутерброду и по чашке кофе. Несколько секунд они молча пили кофе, потом Бимон сказал:

— Так что же у нас есть?

И еще несколько секунд прошло в молчании.

— Мы не знаем, что это такое, — сказал Ройд. — Но кое-что, характеризующее их, у нас есть.

— Например? — спросил Бимон.

— Перед тем, как им появиться, нас охватывает страх. Все начинается со страха.

— Это доказано неопровержимо, — подтвердил Стис.

— Второе. Они могут принимать любой облик. От зверя до человека. Вольно или невольно мы убили одного индивидуума, который умер очень похожим на человека.

— И исчез, — вставил Бимон.

— Что ты хочешь сказать?

— Он не умер. Он тоже катапультировался, когда его жизнь оказалась в опасности. Их там было человек пятьдесят. И они тоже исчезли. Они могут мгновенно перемещаться в пространстве в обе стороны.

— Хорошо, — согласился Ройд. — Предположим, что это третье их свойство.

— То, что они могут принимать вид людей, еще не говорит, что это их естественный вид, — сказал Стис. — Это делают специально для нас. Они знают, что мы не можем стрелять в людей.

— Пусть это будет в-четвертых, — сказал Ройд. — Хотя это мне кажется наивным. В таком случае им лучше являться в виде детей.

— Ройд! — крикнул Стис. — Не подсказывай им этого!

— Ты думаешь...

— Я уверен, что они узнают наши слабые места от нас самих.

— Пусть это будет в-пятых.

Все с минуту помолчали, потом Бимон сказал:

— Помните, когда мы с Эго вышли из корабля, кто-то хохотал? Кто это мог быть? Эго молод и неопытен, но мы-то все знаем, что ни одно животное на Агриколь-4 не хохочет. Это известно из отчетов. Почему был смех? Кого из нас он мог испугать?

— А ты сам не испугался? — спросил Стис.

— Да, я вздрогнул. Это было неожиданно. Нервы напряжены. Я бы вздрогнул, наступив на сучок. Но страха не было.

— Эго мог испугаться, — сказал Ройд.

— Вы опять думаете о нем плохо, — недовольно сказал Бимон.

— Это так и было, — настойчиво повторил Ройд. — Эго испугался. Он самый молодой из нас.

— Может быть, мы зря взяли его в экспедицию? — спросил Бимон.

— Напротив, — ответил Ройд. — Я очень жалею, что его нет с нами. Он мог чувствовать тоньше и глубже нас.

— Но почему все-таки был смех? Кто-нибудь думал в это время о смехе? Может быть, сам Эго?

— У меня не было мыслей о смехе, — сказал Стис.

— И мне было не до смеха, — устало проговорил Ройд. — Постойте. Мне действительно было не до смеха, но я сказал: «Ты смеешься, Стис». И после этого раздался смех.

— Значит, это мы им подсказали, — заключил Стис. — Ну а кто подсказал им чудовище на опушке леса?

— У меня этого не было, — сказал Ройд.

— Я бы никогда не догадался, — улыбнулся Бимон. — Я думаю, в этом случае главным был Эго.

— Это правдоподобно, — согласился Ройд. — Но откуда мог быть выстрел? Почему там оказался человек? Снова Эго? Если это все было из-за Эго, то очень жаль, что его нет с нами... Все-таки почему там был человек?

— Действительно, почему, — сказал Стис. — Ведь его там не должно было быть.

Ройд и Бимон молча и недоуменно взглянули на Стиса.

— Ведь после залпа «Клеопатры» там не могло остаться ничего, кроме спекшейся земли.

— А ведь ты прав, — сказал Ройд.

— И еще, — подхватил Бимон. — У меня это совершенно выскочило из головы. Ведь у него была маленькая ранка под левым соском в груди. Значит, его убил не залп «Клеопатры». Но ни я, ни Эго в него не стреляли. Эго лежал, а я просто не успел... Меня что-то поразило в лице этого человека. Это было так молниеносно... Я не успел осознать.

— Можно включить аппаратуру видеозаписи и просмотреть все снова, — предложил Ройд.

Стис попытался улыбнуться. Чувствовалось, что он не хотел возвращаться к пережитому страху.

Ройд направился к пульту управления, и в это время затрезвонил зуммер. Это было так неожиданно и необъяснимо, как если бы на панели пульта внезапно распустился цветок.

4

Зуммер прозвучал несколько раз, а Ройд все не мог включить аппаратуру связи. Аппаратуру связи, потому что их кто-то вызывал. Сразу же разрушилась едва возникшая тонкая защитная стена, и в корабль вступило что-то неведомое и жуткое.

Ройд все же включил аппаратуру связи и облегченно рассмеялся, когда услышал доносящееся из динамиков: — Говорит автоматический связной корабль АСК-12-12. Подтвердите прием.

И снова то же самое с интервалом в пять секунд.

— Это же автомат с Земли! — заволновался Стис.

— Да, — сказал Бимон. — Автомат с Земли долетает до этой планеты за месяц. Что же они хотят нам сообщить? Так просто автомат не пришлют.

— Подтверждаю прием, — раздельно произнес Ройд. — «Клеопатра» подтверждает прием.

Автомат начал читать текст сообщения:

— Комиссия по подготовке «Клеопатры» к полету сообщает, что в системе катапультирования произошла поломка и один из членов экипажа не является бессмертным. Он не может катапультироваться на Землю. — И снова: — Комиссия по подготовке...

Все трое словно были оглушены известием. Ведь они и шли в полет, потому что знали, что в любое время, в любое мгновение могут вернуться на Землю. Они твердо знали, что не погибнут в космосе. В самое последнее мгновение, смертельно раненные или доведенные до безумия необъяснимым и непонятным или даже просто пожелав этого, они могли очутиться на Земле. В лучшей клинике, в своей квартире, в тихом лесу или на шумной улице, как это случилось с Эго.

Они, как и все люди, могли спокойно умереть в глубокой старости. Ведь люди не были бессмертными в полном смысле этого слова. Но в космосе с ними не могло произойти ничего. Система катапультирования надежно защищала их от всяких случайностей.

— Они там с ума посходили! — сдавленным голосом крикнул Стис.

— Какая нелепая ошибка, — прошептал Бимон. «Хорошо, если это я, — подумал Ройд. — Они оба еще молоды». А вслух сказал:

— Автомату: информация принята. Разрешаю старт на Землю.

Автомат подтвердил прием, и связь оборвалась.

Связной корабль стартовал на Землю.

— Почему они не прислали за нами спасательный корабль? — спросил Бимон. Лицо его побледнело. Сейчас он совсем не был похож на того храбреца, который шел впереди Эго. А непонятная волна страха уже заполняла сознание.

— Они пришлют, — тихо сказал Ройд. — Они обязательно пришлют. Корабль уже вылетел с Земли.

— Откуда это известно? — пытаясь улыбнуться, недоверчиво спросил Бимон.

— Я уверен, что спасательный корабль вылетел, как только они узнали об ошибке в системе катапультирования. Но...

— ...но, — вставил Стис, — его придется ждать еще два месяца. И это должно нас успокоить? Лучше бы мы не знали об этом. Тогда двое могли бы катапультироваться со спокойной совестью...

— А третий? — спросил Бимон.

— А третий погибнет все равно, — жестко ответил Стис. — Больше нескольких дней здесь все равно не продержаться.

— Действительно, зачем им было нас предупреждать? — заметил Ройд.

— Им потребовалось два месяца, чтобы сообразить, что они сделали ошибку, — сказал Стис. — Не многовато ли? Кто теперь будет летать в Дальний Космос?

— Найдутся такие, которые все равно захотят, — сказал Бимон.

Эта фраза потребовалась ему, чтобы как-то сбросить с себя необъяснимый страх, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя человеком. Он напряг всю свою волю, стараясь не думать о том, что ошибка произошла именно в его системе катапультирования. Ему удалось справиться с собой. Он понял это и усмехнулся. Почему «с собой»? С собой бы он справился легко. Как справиться с этим?

Стис поглядел на Бимона и Ройда. С Бимоном он был в экспедиции впервые. С Ройдом летал уже десять лет. Если бы знать, кто навеки останется на этой планете... Если он, Стис, то не стоит тянуть время, лучше распрощаться с жизнью немедленно.

А если кто-нибудь другой? И Стис принял решение...

Ройд надеялся, что именно его система катапультирования вышла из строя. Ведь должна же быть какая-то целесообразность в трагедиях и несчастных случаях. Только он должен был остаться здесь. Эти двое вернутся на Землю. Нужно сделать так, чтобы они явились не с пустыми руками. И Ройд принял решение...

«Только бы не потерять сознание», — подумал Бимон. В сознании он отсюда не уйдет. Или потому, что он выпал из системы катапультирования, или потому, что не сможет оставить здесь кого-то одного. И Бимон принял решение...

В главном их решения были одинаковы. Только Стис боялся осуществить свое, Бимон колебался, а Ройд был тверд и уверен, что сделает все так, как решил.

5

«Ситуация не из приятных, — подумал Ройд. — Если бы «Клеопатра» могла стартовать на Землю, я бы это сделал немедленно. Но после того, как изобрели систему катапультирования, разведывательные корабли перемещаются только к звездам. Обратно экипажи возвращаются без кораблей... И мы не можем провести эксперимент, чтобы выяснить, кто из нас останется здесь. Значит, остается одно — продолжать работу».

— Предлагаю просмотреть видеозапись выхода Эго и Бимона из корабля, — сказал он.

— Надо хоть что-то делать. — Бимон подошел к пульту управления. — Это сообщение выбило нас из колеи... Я включаю запись.

Они увидели, как Эго и Бимон вышли из корабля, как Эго полосовал молниями бластера воздух, как на мгновение на краю поляны возник призрак огромного чудовища.

— Внимание! — сказал Бимон. — Сейчас будет самое непонятное.

Там, на экране, Эго упал на землю, с опушки леса раздался выстрел, Бимон схватился рукой за обожженную щеку. Залп с «Клеопатры».

— Увеличь изображение, — попросил Ройд.

Оплавленный, выжженный круг земли надвинулся на людей. Почти в самом центре его лежал человек с бластером. Он был жив и даже не ранен.

— Но когда мы подбежали к нему, он был уже... почти мертв! — громко крикнул Бимон.

— Подожди, — остановил его Ройд.

Человек вдруг дернулся, выронил бластер и замер. Через несколько секунд к нему подбежали Эго и Бимон.

— Прокрути назад, — попросил Ройд. — И покажи крупным планом лицо Эго, когда он лежит на земле.

Бимон выполнил его просьбу. Лицо Эго было искажено страхом. Это длилось секунду, не более. Затем оно изменилось. Теперь на нем было мучительное раскаяние, словно Эго нечаянно совершил преступление.

— Теперь снова лицо Эго и того человека одновременно, — еще раз попросил Ройд.

— Я знаю, на кого похож убитый, — сказал Стис, до этого времени молчавший. — Он похож на самого Эго. Он точная копия Эго. Разве вы этого не заметили?

— Да, он похож на Эго, — прошептал Бимон. — Я вспомнил, что тогда меня поразило в его лице. Теперь я знаю точно. Он действительно был похож на Эго.

Они просмотрели запись до конца.

— И группа неизвестных исчезла вместе с Эго, — констатировал факт Ройд.

— А что, если они воспользовались волноводом, который образовала система катапультирования Эго? — спросил Стис.

— Волновод создается только для одного человека, — сказал Бимон. — Иначе бы они уже были на Земле.

— Жаль, что Эго нет с нами, — сказал Ройд. — Жаль. У него было очень развито воображение.

— Он был молод и неопытен, — возразил Стис.

— Может быть, этого нам и не хватает?..

— А вы заметили, что вся эта чертовщина кончилась, как только Эго катапультировался на Землю? — спросил Стис.

— Ты имеешь в виду человека, выстрел, чудовище? Это не самое страшное. Я был бы рад очутиться на планете, где все кишит этими гадами. Там всегда знаешь, что надо делать. И с людьми можно договориться. Но ведь мы не знаем, с чем столкнулись на звездах! Практически исключено, чтобы этот человек, или кто он там еще, был точной копией Эго. Я уверен, что все это только ширма. — Бимон замолчал, а потом внезапно сказал: — Я еще раз выйду из корабля. Надо ведь осмотреть и базу.

— Ты пойдешь один? — недоверчиво спросил Стис.

— Один. Вам хватит работы здесь. Я просто прогуляюсь.

— Хороша прогулка, — буркнул себе под нос Стис.

Бимон вышел из корабля, напевая старинные негритянские песни, расстегнув куртку и подставив грудь сухому, горячему ветру. Он был без бластера, и даже колпак силового поля не прикрывал его сверху.

— А что, если именно у него... — начал Стис и не докончил.

Но Ройд понял его.

— Этого мы не узнаем, пока не вернемся на Землю. И все же полагаю, что не у него.

— У тебя?

Ройд едва заметно кивнул головой.

— А что если у меня? — спросил Стис. — Я все думаю, как это проверить здесь... Я все время об этом думаю. Но почему они не указали, кто именно не является бессмертным?

— Много вопросов, Стис. Пока нет Бимона, попытайся катапультироваться на Землю. Если не получится, если это все же ты, я обещаю, что не оставлю тебя здесь одного. Бимон не узнает ничего в любом случае.

— Я боюсь даже этого.

Ройд осторожно вынул из записывающей и регистрирующей аппаратуры катушки с кинофильмами и записями показаний приборов, аккуратно обернул их прозрачной тонкой пленкой и подошел к Стису.

— Нет, — ответил тот. — Я боюсь. Неизвестность раздирает мой мозг, но и вернуться на Землю я не могу. Во мне все застыло. Холод, холод. Плохо, Ройд.

— Ничего, дружище. Мы еще с тобой полетаем.

— Я больше никогда не пойду в Дальний Космос, Ройд.

Стис навалился грудью на панель управления. Ройд хотел тронуть его за плечо, но передумал и вместо этого сунул в карман его куртки пакет с роликами лент.

Бимон шел по короткой сухой траве, хрустевшей под ногами. Он все время чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Это присутствие недоброй силы и порождало страх. Бимон старался не поддаться ему. Он интуитивно чувствовал, что пока он держится, пока его не захлестнула волна страха, с ним ничего не произойдет. Он старался идти свободным, легким шагом. В его походке была спокойная небрежность и даже какая-то лихость. И только внимательно понаблюдав за ним, можно было догадаться, каким усилием воли он добивается этого.

Чем дальше уходил он от корабля, тем труднее становилось идти. В голове все сильнее билась одна мысль: а если это я? Бимон не хотел умирать. Кому хочется умирать? И чем дальше он уходил от корабля, тем отчаяннее боролось его сознание с приступом страха, тем нерешительнее становился его шаг. Но он все же шел вперед.

База представляла собой стандартную термопластиковую конструкцию, надежную и герметичную. Бимон знал код замка, и двери перед ним широко распахнулись, когда он набрал его. Внутри станции было прохладно и тихо. Едва заметно жужжали установки кондиционирования воздуха. Светильники зажигались автоматически, когда он подходил к ним. Бимон быстро прошел холл, широкий зал с креслами, книжными стеллажами, небольшим баром и электронным органом. Дальше был коридор, и по обе стороны от него — жилые комнаты, в которых никто и никогда не жил. В конце коридора находились лаборатории. Там располагались автоматы, исследующие планету, вычислительные машины и другое оборудование.

Бимон почти бежал. Только бы успеть взять ролики с записями автоматов, только бы успеть вернуться на корабль. Ему непреодолимо захотелось вернуться на корабль, хотя, он

это отчетливо понимал, там было ничуть не безопаснее, чем здесь.

И вдруг он понял, что умер. Умер мучительно, с единственной мыслью, что умирает, с кошмарами агонии и звериным страхом перед неизбежной смертью. Если бы он мог проанализировать свое состояние, то сообразил бы, что нельзя умереть и после этого снова продолжать умирать.

— Стис! Я приказываю тебе вернуться на Землю! — крикнул Ройд. Он тоже боролся со смертью и страхом. Он, кажется, понимал, что это больное воображение Стиса подсказало новую пытку. Оно не замедлило воспользоваться страхом Стиса и обрушить его стократ усиленным на всех троих. И еще Ройд понимал, что отчаянным усилием воли, кусочком своего сознания, продолжает держаться лишь один он.

— Стис, я приказываю тебе...

— Нет... нет...

— Стис!..

— Это трусость... Страх...

— ...приказываю...

Страх вдруг придал Стису силы и затуманил сознание. Он знал сейчас только одно: нужно немедленно выяснить, кто из них останется здесь.

Он десять раз умирал, пока утвердился в своем решении. Десять раз умирали и Бимон и Ройд.

— Ведь оставшемуся все равно смерть... Я отправлю вас на Землю. — Он прыжком бросился к Ройду. — Ты должен потерять сознание. И ты окажешься на Земле. Ройд, я должен тебя ударить.

— Приказываю... на Землю, — прошептал Ройд. — Твой страх убьет нас.

— Я должен ударить тебя.

Страх перед смертью и страх совершить предательство были сейчас в сознании Стиса. Он еще мгновение колебался, а потом изо всех сил ударил Ройда кулаком.

Ройд упал вместе с креслом, в котором сидел. И тогда Стис пришел в себя. Он опустился на колени перед стариком, ощупывая его голову и тело. Ройд, казалось, уже не дышал. Струйка крови выползла у него изо рта.

— Так значит, это он. Он останется здесь.

* * *

Бимон, пошатываясь, поднялся с пола лаборатории.

— Ройд, — тихо позвал он. Никто не ответил.

— Ройд! Стис! — громко, насколько мог, позвал Бимон.

Стис расхохотался:

— Бимон, ты слышишь меня? Это был все-таки он! Он! Он!

Ройд пошевелился на полу, и Стис со страхом посмотрел на старика. Тот выбрался из кресла и молча с трудом подошел к валявшемуся на полу бластеру. Взял его и двинулся к Стису.

— Что ты хочешь делать, Ройд? Почему ты взял бластер? Почему ты идешь на меня?

— Стис, я приказываю тебе вернуться на Землю. Здесь ты больше не помощник.

— Ты гонишь меня, как труса. Но ведь я только хотел проверить. Я только хотел проверить...

— Ролики в кармане твоей куртки. Здесь ты не нужен.

Стис обмяк, мешком скользнул на пол, пополз к Ройду и прошептал:

— Я больше не могу. Прости... Не могу.

...Он вывалился из четырехмерного пространства в психиатрической лечебнице, прошептал: «Это был Ройд» и потерял сознание.

6

Ройд выронил бластер, и тот с тупым звуком упал на пол. Старик поставил на ножки кресло, опустился в него.

— Стис! Ройд! — позвал Бимон.

— Я здесь, мой мальчик, — ответил старик. — Ничего не бойся. У нас все нормально.

— Что там у вас произошло?

— Я отправил Стиса на Землю. Так было нужно. Он ушел не с пустыми руками. Все в порядке. Возвращайся на корабль. У нас еще много работы.

У Бимона гудело в голове, и неприятная слабость заполнила все тело. Но страх прошел. Он уже больше не умирал.

Бимон вытащил ролики из записывающей аппаратуры, растолкал их по карманам и неровным шагом вышел из помещения базы.

Ройд полулежал в кресле и, казалось, спал. Но когда Бимон подошел к нему, он открыл глаза и тихо сказал:

— Мы пережили детские страхи Эго и страх перед смертью Стиса. Что нам еще осталось?

— Сейчас я не боюсь ничего.

— Продолжай таким и оставаться. А я боюсь. Боюсь за тебя и за... — он хотел сказать «за Землю», но промолчал. — Я устал. Помоги мне добраться до постели.

— Он ударил тебя! — крикнул Бимон. — Как у него поднялась рука?!

— Стис экспериментировал, сынок. Он очень хотел оправдать себя. Несколько секунд я был без сознания. И все-таки остался здесь. Это значит...

— Это значит, что ты не можешь вернуться на Землю! Так вот какие эксперименты проводил Стис!

— Помоги мне добраться до кровати. Одному мне не дойти.

Бимон уложил Ройда в постель, и тот затих в полусне. Иногда он открывал глаза, смотрел невидящим взглядом сквозь Бимона и не произносил ни слова.

Бимон около часа просидел рядом с кроватью Ройда, потом вышел из комнаты и направился в отсек управления, чтобы посмотреть ролики, которые принес с собой. Он успел просмотреть видеозаписи, сделанные автоматами с воздуха. Работа продвигалась быстро, и он даже успевал следить за показаниями анализаторов полей. Все было спокойно. Появись оно сейчас, анализатор поля сознания наверняка бы засек его.

Бимон так увлекся работой, что первый приступ страха просто удивил его. Он бросился к анализатору, но было уже поздно. Поле сознания было искривлено его страхом.

Он не боялся за свою жизнь. Она теперь была в безопасности. Он был в этом твердо уверен. Страх был за кого-то другого. И не его собственный, а навязанный извне. Чужой страх. Но ведь их здесь было всего двое. Он и Ройд. Если Ройд спит, то страх можно было рассматривать поданным в чистом виде. Страх, которым мучило его оно. Близость к разгадке немного приободрила его. Да и страх был какой-то неясный. Страх вообще, не за себя. Это Бимон мог утверждать наверняка.

Стараясь держать свою волю собранной, он вернулся к Ройду. И пока он шел к старику, страх принял более конкретное содержание. Теперь Бимон боялся, что оно добралось до Земли. Теперь он видел, что делается на Земле. Всеобщее безумие и слабые попытки группы людей как-то справиться с ними. К чувству страха примешалось сознание собственной вины. Вины, потому что он так и не узнал, что представляет собой оно. И теперь уже было поздно. Земля гибла.

Бимон рывком открыл дверь комнаты Ройда. Тот метался в постели. Бимон трясущимися руками смочил тряпку холодной водой из стакана и положил ее старику на вспотевший лоб, а потом попытался разбудить его. Наконец ему это удалось. Ройд проснулся. Лишь секунду он не понимал, что происходит вокруг него. Потом взгляд его стал осмысленным, и он попытался приподняться. Бимон помог ему. Страх внезапно прошел.

— Бимон, они были?

— Да.

— Как это было? В чем проявилось?

— Страх за Землю. Страх, что они уже там.

— Я бредил?

— Ты метался в постели.

— Это был мой страх. Я бредил этим страхом. Но пока я бодрствую, я буду держать себя в руках. Положи мне подушку под голову. Повыше.

Бимон исполнил просьбу. Ройд тихо улыбнулся и сказал:

— Мне долго не протянуть. Когда меня не станет, ты немедленно катапультируешься на Землю.

Бимон отрицательно покачал головой.

— В твоем присутствии здесь не будет смысла. Ты должен будешь вернуться на Землю и рассказать все... Помнишь первые минуты, когда мы только прибыли сюда? Страх тогда не проявлялся конкретно. Нас просто окружало что-то враждебное, неприятное, липкое. Мы все время ждали враждебных действий. Мы были готовы поддаться страху. Первым не выдержал Эго. И мы увидели его «материализованные» страхи. Они были первыми, поэтому казались предельно невыносимыми. Потом не выдержал Стис. Не осуждай его строго. Стис был железным человеком. Мы летали с ним десять лет. И начали тогда, когда о катапультировании на Землю никто из космолетчиков и не мечтал. И снова его страх передался нам. Почему? Пытка страхом наиболее ужасна, потому что она сразу же лишает человека воли. Теперь нас только двое. И снова мой ужас, мой страх передался тебе... Но ведь сейчас мы ничего подобного не чувствуем...

Бимон согласился.

— Почему мы сейчас с тобой ничего не боимся? Потому, что я не боюсь смерти? Хохота? Выстрела из бластера? Прыжка дикого зверя? Мне нечего бояться. И теперь оно надо мной не властно. А ты?

— Я спокоен. Меня сейчас интересуют только две вещи: твое здоровье и суть того, что мы называем оно.

— Моему здоровью ни ты, ни я помочь не сможем. Я слишком стар. А у Стиса слишком крепкие кулаки. И потом... я очень устал. Устал вообще, устал от всего, устал от жизни... Нет. Давай говорить только о нем.

— Согласен.

— Оно действует на нас только страхом. Страхом, повод к которому мы же сами ему и выдаем на тарелочке. Стоит испугаться одному, как все оказываются под гнетом тех же страхов. Я бы назвал это усилением страха. Ведь ничто, кроме того, что мы сами придумали, нас не мучило! Даже тот убитый человек.

— Да. Эго сказал, что он убил человека. А оно предъявило нам доказательства этого.

— Это не доказательства.

— Пожалуй, ты прав. Мы-то знаем, что этого не могло быть. Но для Эго с его страхами это оказалось неопровержимым доказательством. И он не выдержал. Так происходит везде. Они усиливают наши страхи. Но что они такое? Неизвестное поле или чуждое нашему сознание? Сознание, у которого есть только один метод борьбы?

— Ройд, когда-нибудь раньше случалось такое?

— Нет, я не слышал. Не знаю. В экспедициях всегда кто-нибудь оказывается слабее других. Но его поддерживают остальные. Те, кто оказался сильнее. И он постепенно мужает. Сейчас же все наоборот. И началось это пять лет назад.

— Хорошо, что не раньше. Раньше не было катапультирования на Землю. Что бы делали экипажи экспедиций, не имей они возможности в любое время вернуться на Землю? Все бы посходили с ума.

— Да. Хорошо, что есть катапультирование.

Ройд закрыл глаза. Было видно, что разговор отнял у него все силы.

— Мне плохо, Бимон. Я приношу теперь только вред. Бластер, Бимон, или укол. Я не...

Он не договорил, потеряв сознание.

Ройд снова бредил страхами за Землю. Его видения передавались Бимону с такой отчетливостью, словно происходили наяву. Исчезли стены корабля. Исчезла Агриколь-4. Только горячая рука Ройда удерживала его от помешательства.

Он не знал, сколько времени это продолжалось.

Внезапно Ройд очнулся. Слабеющей рукой прикоснулся он к щеке Бимона.

— Бимон, оно в нас. Я не могу больше.

Рука Бимона повисла в воздухе. Ройда рядом с ним не было. Сначала Бимон ничего не понял. Потом восхитился: вот это старик! Даже в бреду он удерживал себя от желания очутиться на Земле. Даже когда он был без сознания. И только когда он убедился, что не может катапультироваться на Землю, боль и случайная фраза, совпавшая с его желанием, перенесли старика на Землю.

Ройд выпал из четырехмерного пространства на операционный стол.

— Инструменты, — сказал хирург. — У него раздроблена височная кость.

Бимон невольно восхитился выдержкой и силой воли старика. А в следующее мгновение до него дошло, что это его система катапультирования вышла из строя и что он остался один на один с ними.

7

Сначала его охватил ужас, но он сумел овладеть собой. Нельзя поддаваться страху. Страх будет все усиливаться и усиливаться. Нужно держать себя в руках. И ему это удалось. Страхи, правда, теснили его со всех сторон, но он не поддавался им. Он запел песню. Любимую песню Эго. Он выпрямился. Он даже усмехнулся. И страх пропал. Тогда он вышел из комнаты Ройда, вышел из корабля. Он не взял с собой бластер. Его не прикрывал колпак силового поля.

Солнце вставало над планетой. Краешек его уже показался из-за горизонта.

Постепенно страхи Бимона исчезли окончательно. Он шел к восходу, пока солнце не поднялось настолько, что стало жарко. Тогда он снял рубашку и повернул назад. Он вернулся на корабль и начал работать. Спасатели с Земли все равно придут. Надо только выдержать два месяца. Почему выдер-

жать? Ведь сейчас ему было легко и радостно. И пережитые страхи теперь только смешили его.

Он сварил кофе и приготовил обед. А после обеда начал изучать материалы, которые накопили автоматы-исследователи. Вечером он вышел погулять и в лесу обнаружил странные, непохожие на земные, цветы и нарвал целый букет.

После ужина он просмотрел ролики-дубли, на которых было заснято и записано все, что произошло с ними на Агриколе-4.

И на следующее утро у него было прекрасное настроение, и даже нудный шестичасовой дождь не испортил его.

Но что бы он ни делал, его мысли возвращались к одному; что же это такое было? В чем смысл этого?

И постепенно мысли его складывались в гипотезу, постепенно возникала уверенность, что он разгадал тайну этого.

Ему помогли и ролики-дубли, и память, воскрешавшая в мельчайших подробностях все его мысли, чувства и поступки. И отчеты предыдущих экспедиций, и рассказы, слышанные им когда-то. И слова Ройда.

Он переворошил многое и сделал первое открытие. Это появилось в областях, контролируемых Землей, одновременно с введением системы катапультирования. И произошло это сначала в одном-единственном месте. Что там произошло конкретно, он не знал, да это было и неважно. И пока о событии не узнали другие экспедиции, это никого не тревожило. А потом началась лавина.

Экспедиция, находившаяся на переднем крае фронта Дальнего Космоса, не выдерживала. Она узнавала, что появилось это. Но никто не знал, что именно. И случайный страх одного из членов экспедиции, усиленный во много раз, передавался другим. Возникали новые страхи, снова усиливались и передавались на Землю. И тогда наступала очередь тех, кто был ближе к Земле. И теперь они оставались один на один с неизвестным. И новые экспедиции сыпались на Землю. А создавалось впечатление, что что-то неумолимое и враждебное стягивает узел вокруг Земли.

Второе открытие он взял у Ройда. Это являлось усилителем страха. Усиление страха было единственным признаком этого. Не существовало ничего, что являлось причиной страха. Вернее, существовало лишь в воображении перепуганных насмерть людей. Бимон тщательно изучил ролики. В них были и Эго, и Стис, и Ройд, и сам Бимон, и выстрел с «Клеопатры».

Но теперь в роликах не было хохота, не было мерзкого гада на краю поляны, не было выстрела из бластера, не было человека, лежащего со смертельной раной под левым соском. Все это исчезло вместе с исчезновением страха.

«Оно в нас», — сказал Ройд.

Третье открытие заключалось в том, что поводом для атак этого всегда являлся страх самого человека.

Четвертое открытие касалось причины явления. Бимон пришел к выводу, что усилителем страха являлась система катапультирования. Оно появилось одновременно с введением систем катапультирования. Да разве он сам с его страхами не доказательство этого? Пока здесь были другие люди, их усиленные страхи передавались ему. И с ними невозможно было справиться, пока человек, излучавший страх, не катапультировался на Землю. А когда он, Бимон, остался один, никаких страхов не стало. Так и должно было быть. Ведь он не включен в систему катапультирования. Он такой же человек, как и миллиарды других на Земле, как и космолетчики прошлых десятилетий.

Бимон понимал, что с его системой катапультирования произошла нелепая ошибка. Но какая ошибка! Ведь именно она поможет человечеству справиться с этим. Ну что ж. Возможно, придется отказаться от системы катапультирования. И космолетчики будут осваивать Дальний Космос как и прежде. Будут жертвы. Наверняка будут. Но зато не остановится движение вперед.

И сам он снова уйдет в Дальний Космос.

Система катапультирования. На одной ее стороне — полная безопасность. На другой — страх. Так они и будут вечно соседствовать друг с другом.

Он провел на Агриколе-4 неделю.

А на восьмой день рядом с «Клеопатрой» опустился еще один корабль. Из него вышли люди.

— Этого больше нет! — крикнул Бимон и рассказал им все.

— Похоже, что наш эксперимент был правильным, — сказал один из вновь прибывших.

— Так, значит, неполадка в моей системе катапультирования была запланирована?! — закричал Бимон. Но закричал без гнева, просто от удивления.

— Да, неполадка была запланирована. Иначе бы не прилетели так быстро. Ведь автомат ушел только через два месяца после вашего отлета. А мы — через неделю.

— Я хочу на Землю. Я хочу видеть Сибиллу. Я хочу видеть всех.

— И своего сына?

— Сына? У меня родился сын? Ни минуты больше на этой планете! Немедленно старт! Три месяца... Я не выдержу такого длинного перелета. Я надеюсь, ваш корабль предназначен для обратных полетов?

Командир корабля с улыбкой покачал головой:

— Нет, не предназначен.

— Мы вернемся на Землю мгновенно, — сказал другой.

— Вы... А я? Ведь я не могу катапультироваться.

— Отчего же? Хоть сейчас.

— Разве систему катапультирования можно восстановить?

— Нет.

— Тогда...

— Она у тебя с самого начала была в полном порядке.

— И я мог в любое время вернуться на Землю?

— Конечно.

— Значит, моя гипотеза неверна?

— Напротив. Верна более чем на сто процентов. Система катапультирования действительно усиливает человеческие страхи.

— Но у меня же их не было!

— И это самое главное. Ты сумел побороть страх, усиленный в сотни раз, материализованный страх. Теперь это сумеют сделать и другие. И все экипажи будут возвращаться из Дальнего Космоса.

— Прекрасно! — крикнул Бимон. — Хочу на Землю!

— ...Здравствуй, Сибилла!

КАПИТАН «ГРОМОВЕРЖЦА»

О, мода!

Сдав экзамены на право вождения грузового космического корабля, Игорь немедленно направился в Управление Внегалактических Цивилизаций, где получил разрешение на вылет. А в придачу к этому разрешению — видавший виды транспортник, носивший гордое название «Громовержец». Через сутки Игорь уже рыскал на своем корабле в одной из удаленных галактик, надеясь встретить что-нибудь интересное. Это был его первый самостоятельный полет, пока еще без всякого задания.

И вот уже внизу расстилалась зеленая, гладко причесанная планетка. За бортом «Громовержца» проносились города, поселки, реки, горы. Корабль дважды облетел вокруг планеты и пошел на посадку. Космодром можно было различить невооруженным глазом.

Игорь ощутил легкий толчок и облегченно вздохнул. Посадка закончилась благополучно. Теперь можно было и осмотреться.

Со всех сторон к кораблю летели внушительных размеров диски. На них, держась за поручни, стояли еще плохо различимые фигурки существ — жителей планеты.

Игорь вышел из корабля. Летающие диски опустились метрах в ста. Существа, перепрыгивая через поручни, скатывались на шестигранные плиты космодрома. Капитан «Громовержца» ожидал увидеть разумных кузнечиков, мыслящие пишущие машинки, белых слонов, абстрактные фигуры кибернетических аборигенов, словом, все, что угодно, кроме людей, хотя гуманоиды и встречались в Метагалактике очень часто.

Но его окружали люди. Их открытые веселые лица, пропорционально сложенные загорелые фигуры были настолько красивы, что Игорю стало стыдно за свои сутуловатые плечи и спину.

— Здравствуйте! — смущенно проговорил он.

Встречающие тоже сказали: «Здравствуйте!»

Киберпереводчик переводил все, о чем они говорили:

— Какое у него оригинальное тело!

— А голова? Абсолютный сфероид!

— Откуда он к нам прибыл?

— Говорят, из провинциальной галактики.

В толпе заметно оживились и заговорили все разом, громко и возбужденно. Киберпереводчик безуспешно пытался перевести этот водопад слов на земной язык, но не мог. Его пришлось выключить. Из толпы выскочил коренастый мужчина и на чисто земном языке попросил Игоря выступить по телевидению Тевы. Тева — так называлась эта планета. Игорь очень удивился, услышав земную речь, но выступить согласился. И, уже шагая по плитам космодрома, он понял, что и у тевян тоже имелись киберустройства, которые могли переводить на родной язык любые языки Метагалактики. По одному вздоху эти удивительные устройства узнавали словарный запас, грамматику, синтаксис, лексику и стилистику чужого языка.

На Игоря смотрели с нескрываемым любопытством. Он почти физически ощутил, как взгляды измеряют пропорции его не слишком складно скроенного тела.

Игорю отвели огромное помещение, состоящее из нескольких комнат, сада и бассейна. Коренастый мужчина, которого звали Кликс, пожелал ему хорошо отдохнуть с дороги и удалился, на прощание окинув тоскливым взглядом фигуру капитана. Тот не придал этому особого значения.

Оставшись один, Игорь вышел в сад, побродил по дорожкам, вдыхая приятный аромат незнакомых цветов, подошел к бассейну и решил искупаться. Быстро раздевшись, бросился в воду и поплыл вдоль стенок бассейна. Минут пять он плескался, поднимая тучи брызг, как вдруг услышал в кустах шорох.

Из ветвей выглянул мужчина. Указательный палец его был прижат к губам. Поза человека как бы говорила: «Спокойно. Не бойтесь. Не поднимайте шума». Игорь замер на воде, лишь слегка шевеля ладонями рук, чтобы не погрузиться на дно.

— Меня зовут Слоп, — прошептал тевянин. — Вы бы не могли дать мне письменное свидетельство, подписанное вами?

Игорь промолчал, так как не имел ни малейшего представления, о каком свидетельстве идет речь.

— Дайте мне свидетельство, что только я могу владеть вашим телом. Прошу вас.

Капитан «Громовержца» испуганно открыл рот, хлебнул с пол-литра воды и пошел ко дну. Слоп, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, с беспокойством следил за странными действиями пришельца из космоса. Вдоволь наглотавшись воды, Игорь всплыл на поверхность, с трудом соображая: «Что это? Тевянская шутка? Или сумасшедший?»

— Отдайте! Умоляю! — Слоп упал на колени.

— Мое тело нужно мне самому, — ответил Игорь и поспешно отплыл к противоположному краю бассейна.

— Отдайте! Ведь я же первый! — стонал Слоп. — Не я, так кто-нибудь другой возьмет ваше тело. А я первый!

«Так вот оно что, — подумал Игорь. — Мое тело все равно кто-нибудь возьмет... Дудки! Только вместе с душой!»

— Засвидетельствуйте! — причитал Слоп. — Что вам стоит?! Разве будет лучше, если ваше тело отдадут миллионам тевян?

«Что уж тут хорошего, — лихорадочно думал Игорь. — Зачем миллионам? Хватит и одному десятку!»

Он выскочил из бассейна на камни и, не вытираясь, начал поспешно натягивать на себя одежду. Из-за огромного валуна выглянула голова второго тевянина. Первый крупными скачками огибал бассейн.

— Отдайте тело! — прохрипел второй.

— Мое... мой... мне... меня... Я умолял уже... Первый... — захлебываясь, кричал Слоп. — Я первый... Меня жена домой не пустит, если я не возьму его тело! Жена не пустит!

— А я и не женат еще! — закричал второй. — Меня невеста просила!

Тевяне стояли друг против друга, готовые сцепиться. Игорь, зажав в кулаке галстук, метнулся к дорожке, ведущей из сада. В самом начале ее стоял третий тевянин и умоляюще протягивал вперед руки.

— Тебе тоже нужно мое тело! — взревел капитан и с разбегу толкнул его в грудь. Тевянин упал. А сбоку на тропинку выскочил четвертый тевянин, пятый, шестой, десятый...

— Мне... тело... засвидетельствуйте... — Они почти окружили Игоря.

Тот понял, что влип, и бросился назад к бассейну. Но и там его уже ждало с десяток тевян. Не раздумывая ни секунды, он схватил в каждую руку по камню и с воплем кинулся на врагов. Тевяне бросились врассыпную. Игорь догнал последнего, схватил его за пояс и кинул в бассейн. Но еще около сотни тевян металось и саду. Они не подходили близко, прячась за деревьями и камнями.

— Ну что ж! Берите, если можете! — Капитан снова схватил камень и что есть силы побежал по дорожке. Часть тевян кинулась ему навстречу, другие бежали сзади. Один молниеносным броском упал Игорю в ноги, и капитан растянулся на дорожке. Из носа хлынула кровь. Игорь успел вскочить, дико оглядываясь по сторонам.

— Тело испортил! — испуганно завопил кто-то из тевян. А тот, который кинулся в ноги, побледнев и мелко вздрагивая, сделал несколько шагов спиной вперед, повернулся и опрометью бросился из сада. Это послужило сигналом. С ужасом глядя на окровавленного человека, тевяне медленно пятились от него. В конце дорожки появился Кликс.

— Что здесь происходит?! — закричал он. — Это... это... они вас так?

Игорь сплюнул:

— А вам не нужно мое тело?

— Они просили у вас тело? — ужаснулся Кликс и в бешенстве затопал ногами. — Вон! Идиоты! Как вы смели?!

Тевян будто дождем смыло.

— Странная у вас манера брать автографы, — со злостью сказал Игорь, доставая платок и вытирая им кровь. — Ни больше, ни меньше, как все тело. Сумасшедший дом!

— Простите! — взмолился Кликс. — Это действительно сумасшедшие. Фанатики. Форсуны несчастные! Этого больше не повторится. Уверяю вас.

— Предположим, — сказал капитан. — А зачем им все-таки понадобилось мое тело? Поджарить на жертвенном огне? Изучить микроструктуру или поставить в вазу на столике?

В это время ему промывали нос и смазывали ссадины какой-то пахучей жидкостью. Кликс хватался руками за голову, стонал, проклинал свою забывчивость и нерасторопность и так убивался, что Игорю, в конце концов, стало жаль его, хотя он так и не понял, зачем тевянам понадобилось его тело.

— Я все объясню, объясню, — бормотал Кликс. — Вам нечего опасаться. Вам ничто не грозит. Смогли бы вы выдержать еще час без объяснений? Боюсь, что сразу вы ничего не поймете. А я так хочу, чтобы вы нас поняли, помогли нам.

Игорь согласился подождать, хотя на душе у него скребли кошки.

После обеда Кликс предложил побродить по городу.

— Это второй по величине город Тевы, — сказал он и, довольно усмехнувшись, добавил: — Кое в чем мы значительно обогнали столицу!

Кроме Кликса в этой прогулке капитана «Громовержца» сопровождала девушка по имени Ора.

Первое, что удивило Игоря, когда они вышли на привокзальную площадь, была встреча с тевянином, который нес на плече тело мужчины, завернутое в прозрачную золотистую ткань. Кликс и Ора даже не повернулись в его сторону. А Игорь остановился.

— Пойдемте, пойдемте. — Ора взяла его под руку и потащила по тротуару. Она была высокой стройной шатенкой с красивым лицом и глазами, которые, казалось, все время смеются. Ее прикосновение было приятным, и Игорь подчинился.

По другой стороне улицы мужчина нес не плече загорелую стройную женщину, тоже завернутую в золотистую ткань. А рядом шла еще одна женщина и с нежностью смотрела на ту, которая лежала на плече.

— Это что у вас, обычное явление? — спросил Игорь у семенящего рядом Кликса. — У нас для этой цели применяются катафалки.

— Катафалки? — переспросил Кликс. — Возможно. А что вас, собственно, удивляет?

— Странный способ транспортировать тела, — уклончиво ответил Игорь.

Кликс пожал плечами:

— Вероятно, они живут где-нибудь рядом.

— Как вам нравится вот это здание? — спросила Ора. — Это Дом Моделей.

Капитан окинул взглядом громадину. Да! Здание было оригинальным и красивым.

— Извините меня, — сказала Ора. — Я на минутку зайду в магазин. Сюда поступает все самое модное.

Прохожие почтительно раскланивались с Кликсом. Похоже, он был в городе значительным лицом. А на Игоря смотрели как-то странно.

Из магазина вышла девушка невысокого роста с широкими бедрами и удивительно тонкой талией. Она подошла к Игорю и повисла у него на руке. Тот невольно отшатнулся.

— Вы меня не узнали? — рассмеялась девушка. — Я — Ора.

— Да, да, да, — сказал Игорь. — Я знакомлюсь здесь всего со второй девушкой, и обеих зовут Ора. Удивительное совпадение, не правда ли?

Девушка снова рассмеялась. Кликс тоже улыбнулся.

— Пошли дальше? — спросила Ора.

— А та, первая Ора, не пойдет с нами? — Игорю не хотелось терять знакомых в чужом городе.

— Нет, — ответила девушка. — Она вам понравилась?

— Да, — смущенно ответил Игорь.

— А у нас сейчас в моде полные шатенки. Смотрите, какая крутая линия бедра. А талия! Ах, какая тонкая талия! Разве она вам не нравится?

— Кхм, — закашлялся Игорь. — Нравится. У вас довольно жарко. А где Кликс?

Кликс исчез. Капитан и вторая Ора стояли на тротуаре вдвоем. Высокий, атлетически сложенный мужчина бесцеремонно взял Игоря за руку и предложил продолжить прогулку.

— Какого черта! — вскипел Игорь. — Я вас не знаю!

— Я — Кликс.

— Странно. Все девушки здесь Оры. А все мужчины — Кликсы.

— Если вам хочется увидеть первую Ору, — сказала девушка, — то вы ее увидите. Вечером. А мне, признаться, больше нравятся упругие крепкие бедра. С ними чувствуешь себя как-то увереннее.

На огромной площади недалеко от них стоял диск, какой Игорь уже видел на космодроме. Несколько тевян грузили на него продолговатые красивые ящики. Один из тевян вдруг оступился. Ящик стукнулся о тротуар и раскололся. Из трещины высунулась женская нога. Тевяне засуетились.

— Пошли, — капризно сморщила губы Ора номер два. — Ну что тут интересного? Составят акт. Подпишут. Если тело пострадало — заменят.

— Как заменят? Что это, рубашка, что ли? Почему их грузят штабелями и таскают по улицам на плечах?

— Я уже говорил тебе: тот, кто живет поблизости от магазина, может не пользоваться услугами транспортного бюро и перенести тело сам, — ответил Кликс номер два.

— Постой. — Игорь развернул мужчину лицом к себе. — Когда ты мне об этом говорил?

— В самом начале...

— Тут что-то не то. В самом начале вас со мной не было.

— Мы с самого начала были с тобой. — Ора снова схватила капитана под руку и попыталась сдвинуть с места. — Пойдем!

— Хватит! Я не сдвинусь с места. Сяду на тротуар и буду сидеть до тех пор, пока вы мне все не объясните. Как понимать, что вы были со мной с самого начала? Со мной были другие Кликс и Ора! Что от меня скрывают? Почему у меня хотели отнять тело? Ну?

— Мы действительно те самые Кликс и Ора. Я специально вписалась в новое тело, чтобы тебе было приятно. И Кликс тоже.

— Странно. Кажется, я начинаю что-то понимать...

— Я всегда говорил, — сказал Кликс, — что лучше все увидеть собственными глазами, чем выслушивать объяснения. Нам осталось только зайти в магазин.

Кликс и Ора подхватили капитана под руки и увлекли в открытые двери магазина.

— Что вы мне подсовываете? — возмущалась молодая высокая тевянка. — У этой модели одна рука короче другой!

— Не может быть, — забеспокоилась продавщица. — Ах, ах! Какая досада. Извините, пожалуйста, случайно попало из другого отдела. Примерьте вот эту, самую последнюю модель.

— Пожалуй, можно, — ответила покупательница, с удовлетворением рассматривая красочную этикетку. — Как ты считаешь, Вок? — Это относилось уже к стоящему рядом мужчине.

— Очень подходит. Но, дорогая, мы опаздываем на прием.

Продавщица суетливо бегала вокруг и приговаривала:

— Это тело словно создано для приемов. Да, да!

— Мне нужна модель, — говорила другая покупательница, — для кухонной работы. С толстой кожей на ладонях и не боящейся жара.

— Пройдите, пожалуйста, в другой отдел.

— Подумать только, — говорил кто-то рядом. — Муж приносит мне новую модель. Я вписываюсь в тело. И, о ужас! — обнаруживаю на пятках вот такие мозоли... Что? Ну конечно! Он наверняка купил его в комиссионном магазине. И это в день моего рождения!

— Дорогая, тебе нужно развестись с ним...

— Мы всегда стараемся поразить воображение пришельца, — сказал Кликс. — Тогда он лучше понимает нас. Это, так сказать, моральная подготовка.

— Ну что ж, — ответил Игорь. — Вы достигли своей цели. Я поражен. Вы научились делать тела и лица поразительной красоты. Но мне, надеюсь, вы не будете предлагать вписаться в новое тело?

— Мы не можем настаивать, — скромно ответил Кликс и потупился. — Хотя, как главный модельер нашего Дома Моделей, я счел бы за честь...

— Нет, нет, — поспешно отказался Игорь. — Я отлично чувствую себя и в этом.

Они сели в такси-автомат и направились к космовокзалу. Игорь чувствовал себя утомленным и хотел немного отдохнуть.

— А как вы узнаете друг друга? — спросил капитан. — Как я узнаю, Кликс вы или не Кликс?

— А как вы делаете это на Земле? По образу мышления, по походке, по привычкам, по выражению глаз, по неуловимым на первый взгляд движениям. Конечно, нужна соответствующая тренировка. Дети приучаются к этому с пеленок. Но не в этом суть. Главное — спроектировать новую модель, которая бы понравилась тевянам. Наш Дом Моделей соперничает со столичным...

— Понятно, — перебил Игорь. — Ну а зачем тевянам понадобилось мое тело?

— Поверьте, — забеспокоился Кликс, — не в прямом смысле, не в прямом. Нам нужно только записать код.

— А эти в саду?

— О, это кошмарный эпизод. Если бы вы дали кому-нибудь письменное свидетельство на владение вашим телом, мы уже не имели бы права запустить его в серийное производство. Вы хорошо поступили, что отказали всем этим недоношенным франтам. Наш Дом Моделей по достоинству оценит ваш поступок.

— Не сомневаюсь. Но ведь мое тело... оно, как бы вам сказать, менее красиво, чем тела тевян.

— О! — сказала Ора. — Ваше тело просто уродливо, удивительно уродливо!

— Тогда зачем же запускать его в серийное производство?

— Все дело в здоровой конкуренции. Мода, как и все на свете, не может стоять на месте. Она должна развиваться. Мы уже спроектировали сотни тысяч моделей. И... зашли в тупик. Новое тело из пальца не высосешь. Нам нужно что-то оригинальное. И тут являетесь вы. Как дар небес! Человек с другой планеты! Уродливое, кошмарное тело! Это же просто чудо!

Столичный Дом Моделей просто лопнет от зависти. После вашего выступления по телевидению, которое состоится через полчаса, заявки посыпятся десятками миллионов. — Кликс умолк, довольный своей речью.

Такси остановилось в саду, где Игорь безуспешно пытался бороться с законами развития тевянской моды. Он вылез из экипажа и молча направился к выходу. Сто миллионов сутулых тевян... Брр!

— Куда же вы?! — завопил Кликс. — Куда же вы?! У нас и без того трудностей много. Постойте! — Кликс загородил Игорю дорогу. — У нас еще с головными мозгами много неувязок. Купит тевянин новую модель, впишется в нее, а через некоторое время начинает жать голову. Информация не вмещается. А нам рекламации, неприятности. Постойте! У вас такая большая черепная коробка!

Игорь оттеснил Кликса и все так же молча пошел вперед.

— У нас еще хуже бывает, — стонал Кликс. — Умоляю. Код вашего тела. Всего пятнадцать минут. От вас же ведь ничего не убудет!

Игорь ускорил шаг.

— Ора, задержите его на несколько минут, — всхлипнул Кликс. — Я сейчас вернусь. — И он исчез в кустах.

Ора взяла Игоря за руку. Тот не протестовал.

— Ты обиделся, что мы назвали твое тело уродливым и кошмарным? Но ведь это ерунда! Я уверена, тебя не оскорбило бы замечание, что твой костюм скроен не по моде. Ты бы надел новый и все. Так же и с твоим телом. Это всего лишь внешняя оболочка твоего Я.

— Я не обиделся. Я просто не хочу, чтобы миллионы тевян имели сутулые спины и нескладные фигуры только потому, что ваш Дом Моделей зашел в тупик. Оставайтесь красивыми! Прощай, Ора! — Игорь повернулся и, не оглядываясь, побежал к своему «Громовержцу».

Закрыв люк, он вошел в отсек управления и устало упал в кресло. Пот лил с него градом. Глаза невольно косили на обзорный экран. Может быть, Ора еще не ушла?

Взревели двигатели корабля. Столб огня приподнял его и плавно бросил вверх.

— Согласитесь. Умоляю вас, — раздалось вдруг за спиной капитана. Игорь вскочил. В проеме люка стоял Кликс и нудно тянул: — Ну что вам «стоит? А мы утрем нос столичным модельерам!

Игорь молча сгреб обмякшего тевянина в охапку, вынес его из отсека управления, втиснул в аварийную шлюпку и сказал:

— Передайте Оре, что лучше и красивее всего она была, когда я увидел ее в первый раз.

После этого он закрутил люк шлюпки, вошел в отсек управления, нажал кнопку катапультирования и несколько секунд смотрел в обзорный экран. Аварийная шлюпка, уменьшаясь на глазах, летела к Теве.

Приключение на Ферре

Игорь знал, что на Ферре работала небольшая научная экспедиция. В ее состав входил пилот Анри Бато, биолог Анат Апухтин и археолог Виль Ярве. У экспедиции был летающий дом со всем необходимым для работы и отдыха, три авиетки и девятнадцать силовых роботов.

Аварийный передатчик экспедиции непрерывно передавал сигнал бедствия. Когда Игорь посадил свой корабль недалеко от лагеря и вышел наружу, глазам его предстала ужасная картина. Летающий дом стоял с вывороченными окнами и дверями, авиетки были разбиты, повсюду валялись останки силовых роботов. Людей не было... Игорь обошел все комнаты и везде обнаружил одно и то же: какая-то жестокая сила вырвала, искорежила, поломала все, что попалось ей на пути.

Несколько секунд Игорь стоял не двигаясь, потом опрометью бросился к кораблю. Закрыв за собой входной люк, он спустился в кладовую и долго что-то там искал, лихорадочно разбрасывая попадавшие под руку ненужные вещи.

Минут через десять он вышел из корабля, держа в руке легкий бластер. Настороженно вслушиваясь в гнетущую тишину, оглядываясь по сторонам, он более тщательно осмотрел место разыгравшейся трагедии. Странно... Исчезли все мелкие металлические предметы, но запасы пищи в картонной и бумажной упаковке уцелели. В комнате Апухтина на столе валялась запыленная тетрадь. В ней сохранилась всего одна-единственная запись:

«В двенадцать часов «Канберра» стартовал с Ферры. За нами вернутся через три месяца. Экспедиция начинает работу. Анри и Ярве обследовали окрестности лагеря. В двадцати километрах от нас найдены развалины города. Обнаружена старая железная дорога».

Запись была сделана через восемь часов после старта «Канберры» двадцать три дня назад. Следующей записи не было. Значит, это произошло после восьми часов вечера и не позже вечера следующего дня. Иначе была бы еще одна запись. Что могло произойти? Помешательство? Но все трое... Нападение? Возможно... Только не нападение зверей.

Игорь резко обернулся и схватил бластер наперевес. Ему почудилось какое-то движение за окном. Ага! Зашевелилась трава на опушке леса. Нет, показалось... Игорь перевел дыхание. Что же делать? Немедленно возвращаться на Землю? Но пока пройдешь все инстанции, пролетит неделя. Может оказаться, что будет уже поздно. Попытаться самому? Экспедицию наверняка застали врасплох. Они не ждали нападения... А он ждет. Надо быть все время наготове.

Игорь вывел из корабля авиетку, сел в нее, и она, разматывая спираль, начала удаляться от лагеря. Ярко-желтый диск солнца перевалил за зенит. На небе не было ни облачка. Внизу расстилались бескрайние заросли уродливых деревьев и колючих кустарников. Игорь не знал, в какой стороне находятся развалины города, и поэтому искал его довольно долго.

Руины возникли перед ним внезапно. Улицы заросли все теми же уродливыми деревьями и кустами. Пустые проемы окон. Обрушившиеся стены и крыши. Городок был небольшой, около километра в диаметре. Но и на этой территории пропавшую экспедицию можно было искать много дней.

Игорь посадил авиетку на плоскую крышу одного из зданий и обошел все его этажи, не заметив ничего интересного... И в других зданиях картина была такая же. Искать, искать! В дневнике говорилось о какой-то железной дороге. Может быть, там?

Фигуры странных существ Игорь обнаружил уже перед самым закатом. Подлетев поближе, он увидел и людей. Бато и Апухтин, стоя на коленях, пилили толстый рельс. Ярве сидел чуть в стороне и затачивал второе ножовочное полотно. Все трое были в грязной, рваной одежде. Вокруг расположились восемь или девять феррян.

Не долетев до заброшенной железной дороги метров сто, авиетка Игоря повисла в воздухе между ветвями деревьев. Игорь сжал рукоятку бластера. Люди работали явно не по своей воле. Они были пленниками.

Вдруг Бато перестал пилить и растянулся на насыпи. Апухтин еще раз нехотя протащил пилу вперед и назад и встал, разминая ноги. Игорь сжался как перед прыжком и, не глядя, повернул верньер, настраивая игольчатые микрофоны на полную громкость.

— Перекур, — с вызовом сказал Ярве и перестал затачивать пилу.

Черные силуэты феррян зашевелились. Один из них подошел к людям и с трудом прохрипел:

— Железо. Резать.

— А ты сам попробуй, — ответил Апухтин. — Силища-то в тебе какая! Давай сюда лапу. Становись на колени. Тяни ручку на себя. А теперь от себя. Работай, работай. Молодец! Молодец, Орс! Ург, подойди сюда. Бери вторую ручку. Работайте. А мы отдохнем. — И Апухтин отошел в сторону.

Ферряне секунд двадцать неумело пилили рельс, потом начали дергать ручку не в такт, заволновались и стали злиться друг на друга. Ург залепил Орсу затрещину, и тот, дико завопив, бросился в драку. Из круга феррян, продолжавших сидеть, выделилась еще одна фигура и начала разнимать дерущихся, отвешивая оплеухи обеим ссорящимся сторонам.

— Есть хочется, — уныло выдавил из себя Ярве. — Хоть рельс грызи.

— Да, хорошо этим волосатым, — со злостью бросил Бато.

— Ведь и они с голоду подохнут, — сказал Апухтин. — Вот придет за нами «Канберра», что они будут делать?

— Если мы раньше не подохнем. — Бато перевернулся со спины на живот и уставился тоскливым остановившимся взглядом на то дерево, в ветвях которого скрывалась авиетка Игоря, но не заметил ее. Предметы размывались, теряя конкретные очертания. Смеркалось.

— Я разведу костер. — Ярве поднялся и пошел в кусты. Двое феррян тоже поднялись с места и последовали за ним. Через несколько минут все трое вернулись назад. Ярве тащил огромную охапку сухих сучьев. Вскоре запылал костер, и люди подсели к нему поближе.

— А в летающем доме пищи сколько хочешь, — сказал Бато и грустно вздохнул. — Надо удирать.

— Попробуй тут удрать. Днем эти вертятся вокруг. А ночью через дебри... — Ярве покачал головой. — За ночь не дойти. А днем все равно поймают.

— Была бы еда, можно жить до прихода «Канберры», — неуверенно сказал Апухтин. — Пропадут ведь без нас.

— А я не буду ждать «Канберру». Я проберусь в летающий дом. Будь у меня в руках бластер, они бы живо научились работать. — Бато чертыхнулся.

— Железо. Резать. — Подошел к ним Ург.

— Режьте сами, — ответил Бато.

Никто из людей не пошевелился.

— Железо! Резать!

— К черту! Вот вам! — Анри Бато выхватил из костра пылающую ветвь и двинулся с нею на феррян.

— Анри, они не боятся огня! Это ведь не звери! — крикнул Апухтин, но пошел рядом с Бато.

Орс неожиданным ударом сбил обоих с ног.

Ярве оттащил стонавшего Бато к костру. Апухтин отошел сам.

И в это время Игорь резко бросил свою авиетку вперед на толпу феррян. Затормозив, он включил фары авиетки и сирену. Хотя нападение и было неожиданным, ферряне не растерялись. Они бросились на авиетку. Трое людей, вскочив на ноги, растерянно смотрели на происходящее. Игорь откинул прозрачный колпак машины:

— В кабину! Быстро! Чего стоите?! — И, вскинув бластер, полоснул им черноту ночи.

— Что ты делаешь! — завопил Апухтин и, перевалившись через борт, навалился на Игоря, выбил бластер из его рук. Ярве перекинул в кабину Анри, вскарабкался туда сам и, не обращая внимания на барахтавшихся Игоря и Апухтина, попытался поднять авиетку вверх. Но не менее двух тонн весили вцепившиеся в авиетку ферряне, и машина не смогла даже тронуться с места.

— Закрой колпак, — простонал Бато.

Ярве закрыл колпак и еще раз попытался поднять авиетку. Тщетно. Ферряне, яростно крича, огромными ручищами держали ее, обламывая выступающие части.

Игорь скинул с себя Апухтина и взревел:

— Какого черта! Какого черта вы на меня напали!

— В них нельзя из бластера. Их осталось совсем немного.

— Ну и пилите для них рельсы!

— Подключите к корпусу электричество, — выдавил из себя Анри Бато.

— Не более пятисот вольт, — взмолился Апухтин.

От удара электрическим током ферряне посыпались как горох, но тут же вскочили. Игорь посмотрел на насыпь железной дороги. Огромные фигуры бежали вслед за удаляющейся авиеткой и что-то кричали.

Машина, набрав высоту, вдруг начала крениться набок и падать.

— Что случилось? — испуганно спросил Ярве.

— Управление! — крикнул Игорь.

Апухтин слегка откинул колпак и осмотрел корму авиетки.

— Так и есть. Они обломили стабилизаторы.

— «В них нельзя из бластера», — передразнил его Игорь. — Будем теперь скакать как лягушки.

Авиетка длинными, метров в пятьсот скачками удалялась от полуразрушенной железной дороги. Игорь едва справлялся с управлением. Ярве копался в небольшой аптечке и перевязывал кровоточащие ссадины на теле Анри. Апухтин несколько раз со слезами в голосе простонал:

— Подохнут ведь без нас. Подохнут. Жалко.

«Ну и человек, — подумал Игорь. — Несколько минут назад они могли разорвать его на части, а он их жалеет».

Авиетка все время кренилась на один бок и не могла удержаться в воздухе более одной минуты. Игорю требовалось все его искусство водителя, чтобы не разбить непослушную машину. Руки и голова его были заняты этой напряженной работой, и Игорь ни о чем не спрашивал сидящих сзади и не отвечал на вопросы сам.

Минут через тридцать авиетка шлёпнулась на поляне возле летающего дома. Игорь включил прожекторы, откинул колпак, взял в руки бластер и спрыгнул на землю. Апухтин и Ярве бережно перенесли Бато в дом и уложили в постель. Игорь решил стартовать с Ферры утром, чтобы Анри Бато немного окреп за ночь. Даже полуторные перегрузки, возникающие при старте, могли причинить пилоту ужасную боль. У него, ко всему прочему, оказалась сломанной ключица.

В кухне дома по-прежнему на полу и на полках валялись съестные припасы, и пока Игорь и Ярве бродили по освещенной площадке, Апухтин приготовил обильный, хотя и не изысканный ужин. Настроение людей заметно улучшилось. Анри даже несколько раз прошелся по комнате, а Ярве начал рассказывать о приключениях экспедиции.

Ферряне напали на экспедицию, как и предполагал Игорь, в первую же ночь. Заслон из пяти силовых роботов

был смят в несколько секунд, быстро и бесшумно. Остальные роботы, на ночь оставленные с выключенными силовыми установками, были разворочены и разбиты. Вслед за ними пришли в негодность и авиетки. Когда люди проснулись, защищаться было нечем. А летающий дом стал просто разрушенным домом.

Ярве едва успел ссыпать в рюкзак несколько десятков пачек концентратов, как людей погнали по едва заметной тропинке куда-то на северо-запад. Шестеро феррян окружали их плотным кольцом. Побег был немыслим. Да и куда бежать? В летающем доме осталось несколько аборигенов. «Канберра» должна была вернуться только через три месяца. Так глупо влипнуть!

У феррян не было жилищ. Спали они там, где заставала их ночь. Они не занимались ни скотоводством, ни земледелием, не умели охотиться, ловить рыбу, собирать коренья и фрукты. Они вообще не питались растительной и животной пищей. Они ели железо! Могли и другие металлы и сплавы. Но охотнее всего они ели железо. Мелкие детали, прутья, пластинки.

Людей привели к заброшенной железной дороге. В полдень прибыли и остальные ферряне. Они притащили с собой все пилы, какие были на базе и заставили членов научной экспедиции пилить рельсы на тонкие пластинки.

— Они, наверное, наблюдали за нами с самого начала и видели, как Ярве пилил рельс, чтобы провести химический анализ, а я копался во внутренностях неисправного робота, — вставил пилот Бато. — Вот и решили заставить нас поработать.

— Так и пилили, — уныло закончил Ярве.

Игорь слушал внимательно. Сначала на его скулах играли желваки, затем он успокоился, а при последних словах Ярве неудержимо расхохотался:

— И сколько же километров рельс вы распилили?

— Около пятисот метров, — растерянно моргая, сказал Апухтин. — Но зато они почти научились пилить сами.

— Ни черта они не научились! — воскликнул Бато. — Завтра же съедят все пилы и снова начнут подыхать с голоду.

— Да. Они были предельно заморенными, когда напали на нас. А сейчас отъелись.

— Я чувствую себя вполне нормально, — сказал Бато. — Надо стартовать. Через час эти железоеды будут здесь. Тогда

без применения оружия не обойтись. А Апухтин снова не позволит стрелять в них. Надо стартовать.

Игорь согласился. Сборы были недолгими. Остатки разбитого оборудования брать с собой не имело смысла, а научных материалов экспедиция не накопила. Апухтин тщательно проверил все закоулки «Громовержца» и сложил рядом с развалинами дома аккуратной кучкой пилы, ножи, зубила, молотки и прочие режущие и рубящие инструменты. В другую кучу он сложил килограммов двести гаек, ключей, болтов, гвоздей и прочей металлической мелочи.

«Громовержец» стартовал в тот момент, когда на опушку леса выскочила разъяренная толпа феррян...

Через двадцать часов корабль материализовался в окрестностях Земли.

...Месяца через два Игоря неожиданно по мыслефону вызвал Апухтин. Вид у него был кислый. Вот что он рассказал.

Вторая экспедиция на Ферру в количестве десяти человек стартовала через две недели после первого возвращения на Землю. В нее снова вошли Апухтин, Бато и Ярве. На этот раз члены экспедиции вели себя осторожно. Но было уже поздно.

— Как поздно? — переспросил Игорь.

— Поздно. Они умерли с голоду. Съели все режущие инструменты и... Ург еще дышал, когда мы его нашли. Он лежал возле огромного железного парового молота и умирал. Подумать только! Этой груды железа ему бы хватило на много лет! Но ему нечем было распилить его на части. Последнее зубило он съел за два дня до нашего прибытия. Он сам мне это объяснил. Я не могу себе этого простить. Почему я тогда не остался на Ферре?!

— Он тоже умер?

— Умер. Когда мы перенесли его в авиетку, он вдруг вырвался из рук (последняя вспышка энергии перед смертью), отломил у нее стабилизаторы, проглотил их и умер... Ему нельзя было есть так много сразу.

— Они всегда питались железом?

— Нет. Когда-то они питались, как и мы, растительной и животной пищей. Цивилизация феррян очень напоминала нашу. Все началось с лезвий безопасных бритв, кнопок, скрепок, которые глотали по спору и просто ради чудачества. Потом

гвозди, гайки, болты... автомобили. Постепенно это стало потребностью. Цивилизация феррян начала деградировать. Были съедены все небольшие механизмы и приборы. Ферряне одичали... Остальное ты видел сам... Нет. Я не могу себе простить этого! Я опоздал, и он съел последнее зубило.

Изображение Апухтина постепенно размывалось и исчезало. Он выключил мыслефон.

Стригуны

Третьи сутки «Громовержец» чуть наклонным гигантским конусом торчал на поверхности планеты.

В корабле прозвучал сигнал тревоги. Игорь воспринял его внешне совершенно спокойно. Пока есть желание, надо жить. Делать что-то, чтобы жить. Стригуны? Надо отбить их нападение. А дальнейшее покажет, что делать, если оно, конечно, будет, это дальнейшее...

Выбравшись из отсека планетарных двигателей, из этого хитросплетения труб, электрических кабелей и емкостей, странных для постороннего взгляда по своей конструкции, Игорь на четвереньках начал карабкаться по вспученному, разорванному пластику коридора, ориентируясь во тьме уверенно и спокойно. Дело, пожалуй, было даже не в уверенности. Просто мозг отдавал приказ телу, и человек, ничего не видя в темноте, уверенно протягивал руки туда, куда следовало.

Открыв дверь рубки управления, Игорь перевалился через порожек, дотянулся руками до командирского кресла и вполз на него.

Теперь он почти лежал на спине. Это было неудобно, это раздражало. Он на ощупь включил обзорный экран и освещение пульта.

Мутноватые красно-желтые потоки лучей Пенты освещали уходящую вдаль равнину. За спиной, километрах в двух, неясно вырисовывались силуэты каких-то скальных нагромождений, уже тонувшие в сумерках. Впереди, слева и справа тянулись однообразные серовато-красные возвышения, нечто вроде обыкновенных кочек, только гораздо больших по размерам. Местность и в самом деле была болотистая. Это он очень хорошо почувствовал, когда еще вчера днем попытался выйти из корабля. Трясина засасывала быстро, странно и не-

приятно шлепая и чавкая при этом. Без авиетки здесь никуда не денешься. Да и куда? Куда здесь можно лететь на авиетке, если бы она и была? Груда искореженных металлических и пластиковых деталей давно уже ни на что не годилась.

Болото было не очень глубоким. Дюзы корабля в одном месте ушли в грязь на три метра, а в другом метров на пять. Хорошо, что это случилось здесь, а не в двух километрах за спиной. Тогда был бы конец!

Примерно в километре от корабля затрепетал воздух, искажая перспективу. Игорь приободрился, даже попытался спеть песню. Теперь ему было хорошо. Перед ним стояла конкретная задача: не подпустить стригунов к кораблю. Теперь надо было действовать, размышляя молниеносно или вообще не размышляя, подчиняясь лишь чисто инстинктивному чувству.

— Ну, Гром, начинается! — сказал Игорь.

Ему показалось, что кибернетический помощник вздохнул.

Стригуны появились в первый же вечер. Игорь сперва не придал значение неясному колебанию атмосферы на горизонте. Да и до того ли ему было! Следовало осмотреть планетарные двигатели, привести в порядок свои мысли, узнать, что у них с Громом осталось, на что еще можно надеяться... Он мог вообще не заметить стригунов, если бы не странный звук, проникший внутрь через наружные пластиковые микрофоны. А ведь сначала на планете не слышалось никаких звуков. Еще бы час, два... Он бы даже не понял, откуда пришла смерть.

Сигнал опасности подал киберпомощник, теперь уже наполовину ослепший и оглохший, да и не привыкший к тому, чтобы от него что-то требовали в таких условиях. Его стихией был космос, взлет, посадка, прокол пространства, обратный выход из четвертого измерения, расчет оптимального варианта движения.

После того, как нападение было отбито, Игорь вышел из корабля... Стригуны уничтожили часть обшивки. Ровно, как гигантской острой бритвой. В некоторых местах толщина обшивки уменьшилась почти на четверть. Металлокерамит на четверть! — за одну только атаку стригунов.

Колебания воздуха приближались к кораблю. Это были они! Сегодня на полчаса раньше, чем вчера. Вчера на пятнадцать минут раньше, чем в день катастрофы.

Игорь положил разбухшие пальцы на клавиши пульта.

Пульсации воздуха приблизились уже метров на пятьсот, образуя идеальное кольцо около километра шириной. Высота же его достигала двадцати метров. Передний фронт постепенно замедлял свое движение, задний — убыстрял. Кольцо становилось уже, не меняя высоты.

«Сейчас начнется», — подумал Игорь.

И в это время кольцо разорвалось на несколько десятков пучков, каждый из которых превращался в вертящуюся и мутнеющую спираль. Из них начали выскакивать сотни шаров, переливающихся в лучах красного карлика всеми цветами радуги. Одна из спиралей вытянулась наподобие щупальца и стеганула корабль.

Игорь с силой нажал клавишу и отпустил. С правого борта корабля соскользнула ослепительная молния и разметала щупальце.

«Нерационально трачу энергию», — мелькнула мысль. Надо уменьшить импульс.

В это время прямо в лоб «Громовержцу» метнулось сразу около десятка щупальцев, и одиночная молния, скользнув с корабля, лишь на мгновение остановила движение шаров. Они облепили корабль.

Игорь надавил сразу несколько клавиш и не отпускал их до тех пор, пока за бортом не исчез стригущий звук. Атака была отбита, но с потерями. Игорь это понимал. На сколько еще уменьшилась толщина обшивки корабля?

В первый вечер он разметал стригунов несколькими залпами кольцевых молний, и они быстро исчезли. Стригуны тогда напоминали неорганизованную, никем не управляемую толпу. Так ему показалось. Вчера они нападали кольцо за кольцом, но тактика их была все же проста. К сегодняшнему вечеру они многому научились. Нападали то узенькими щупальцами, то внезапно почти полукольцом, мгновенно оттягиваясь при разряде молний.

«Громовержец» израсходовал уже почти пять вчерашних количеств энергии, а стригуны, похоже, не хотели отступать.

А какова их техника будет завтра, послезавтра? Корабль не был приспособлен к подобным битвам. Все могут решить даже не запасы энергии. Час, два, три и Игорь наверняка просмотрит одно из щупалец. Потом второе, третье...

Стригуны ринулись со всех сторон узенькими язычками. У корабля было всего четыре излучателя. Чтобы создать коль-

цо молний, нужен большой импульс энергии. Если его уменьшить, стригуны полезут в щели между молниями.

Игорь представил себе, что творится снаружи. Что-то невероятное и ужасное. Адское пламя молний, грохот, треск! От высокой температуры в болоте начала испаряться вода, грязным тяжелым туманом застилая экран. Красный карлик Пенты уже скрывался за краем зловещей долины.

Стригуны рвались кольцо за кольцом. Их уже почти нельзя было рассмотреть. Только жуткий стригущий звук, да грохот, да вой и треск.

Сумасшедшими глазами глядя в экран, Игорь ладонями давил на клавиши, а потом упал на пульт грудью.

Зачем Гром в последнее мгновение вмешался в управление кораблем? Зачем? Зачем? Как тихо и хорошо сейчас было бы лежать между скал. И ничего не нужно делать. Ничего! Ничего не надо!

Силы оставляли Игоря и он упал на спинку кресла, с ужасом глядя в экран.

Возле корабля никого не было.

И тишина...

Человек не всесилен. Иначе бы он был бессмертен. Или, в крайнем случае, умирал только по собственному желанию. Сколько нелепых смертей происходит в мире!

Взглянув на экран и увидев, что стригуны исчезли, Игорь не обрадовался, не заплакал, не попытался проанализировать — почему это произошло. Он просто устало лежал в кресле. Потом выключил обзорный экран и свет в рубке.

Киберпомощник несколько раз тихонько окликал его, но Игорь ничего не слышал. Он уснул незаметно для самого себя.

Киберпомощник не нуждался в сне. Он еще и еще раз перебирал возможные варианты спасения, но тщетно. Игорю он сейчас ничем не мог помочь. Два из четырех планетарных двигателей пришли в полнейшую негодность. Их простонапросто не существовало. Один с большой натяжкой можно было считать исправным. Только он и спас корабль. И еще один можно было попытаться исправить. Немногочисленные оставшиеся исправными киберы и занимались этим. Только вот взлететь на двух двигателях «Громовержец» все равно не мог.

Красный карлик поднимался перпендикулярно к горизонту, освещая сероватую поверхность болота мрачным тусклым светом.

Игорь не сразу пришел в себя, несколько секунд путая события действительности и сна. Потом окончательно очнулся.

— Игорь, — сказал киберпомощник. — За ночь произведен частичный ремонт одного планетарного двигателя.

— Понятно, Гром, — отозвался капитан. — Что-то делать все равно нужно...

Игорь скатился с кресла, пробрался в бывшую душевую, сбросил с себя комбинезон и включил воду, которая теперь била сбоку, потому что капитан стоял на одной из стен помещения. Потом, даже не вытираясь, приготовил кофе и съел стандартный завтрак.

Как ни странно, но после вчерашней встряски Игорь чувствовал себя заметно лучше. Теперь он знал, что шансы на благополучный исход были им значительно преувеличены. Знал, что стригуны явятся сегодня еще раньше и будут действовать еще умнее. Он знал все, что ему было нужно, и был спокоен, потому что уже ничего не мог сделать.

Снова надев рабочий комбинезон, капитан возвратился в рубку управления.

Киберпомощник молчал, и это означало, что он не нашел решения, ведущего к спасению. Игорь скатился вниз по коридору к подъемнику, который, несмотря на удар во время катастрофы, действовал нормально. Рядом со шлюзом находился гардероб скафандров и ангары авиеток. Но авиетки были разбиты вдребезги. Закрепив на спине скафандра реактивный ранец, он пристегнулся гибким тросиком к специальному кольцу. Дверь камеры отошла в сторону, пандус выдвинулся на несколько метров и замер.

Капитан решил больше не опускаться в засасывающую жижу, а перескочить, насколько позволит тросик, на один из выступающих из болота бугорков. Манипулируя двумя рукоятками заплечного ранца, он благополучно добрался до одного из возвышений. Пружинистая почва выдержала вес тела, Игорь надеялся найти где-нибудь возле корабля остатки хоть одного из стригунов, чтобы потом исследовать их в более удобном месте. Он ведь до сих пор не знал, что представляют собой стригуны. Разумные существа? Ну это вряд ли! Какие-нибудь кибернетические устройства или просто устойчивые сгустки энергии?

В радиусе двухсот метров Игорь не нашел ничего. После этой неудачи капитан с полчаса исследовал свой изуродован-

ный корабль. В некоторых местах металло-керамитовая обшивка его уменьшилась почти наполовину. В других же была совершенно нетронутой. Были целы даже выступающие части локаторов, датчики биомассы и многих других приборов, которые не пострадали при ударе. Эти детали в основном состояли из высокотемпературных кремнеуглеродистых полимеров.

Уже в рубке, размышляя над результатами своей вылазки, он вдруг пришел к открытию: стригуны разрушают только то, в чем есть металл. Это было очень важное открытие, но, скорее всего, чисто теоретического характера. Корпус корабля состоял из металлокерамита. Игорю пришла хорошая мысль: покрыть корабль тонкой пленкой органического вещества. Но эта мысль сразу была отброшена как неосуществимая. Впрочем, один из участков поверхности «Громовержца» можно было закрыть такой пленкой, чтобы убедиться в правильности гипотезы. Игорь решил на следующий же день начать строительство небольшого помещения из органической пленки, чтобы перенести туда наиболее ценное и нужное, что есть в корабле. А на тот случай, если корабль окажется разгерметизированным, следовало все время находиться в скафандре.

Определив запасы энергии, кислорода, воды, пищи, Игорь несколько часов посвятил ремонту планетарного двигателя, которым занимались исправные киберы. До окончательного восстановления двигателя было, к сожалению, еще далеко.

К тому времени, когда красный карлик повис над самым горизонтом, Игорь уже сидел в рубке.

Он угадал: воздух вокруг «Громовержца» задрожал раньше, чем это случилось вчера.

Игорь успел отдохнуть, но теперь вдруг к горлу подкатила противная тошнота. Отчаяние неумолимо выплывало из глубин подсознания.

Усилием воли он унял страх. Но надолго ли хватит таких нечеловеческих усилий?

Пелена колеблющегося воздуха увеличивалась, приближалась к кораблю, вставала ввысь. Двадцать, тридцать, пятьдесят метров... Стало трудно дышать... Сто, двести... И вдруг пелена закрутилась смерчем и рванулась вверх, смыкаясь над кораблем.

Идеальная полусфера.

Да, эти переливающиеся всеми цветами радуги шары учились очень быстро.

«Сейчас начнется», — спокойно подумал капитан.

Полусфера рванулась на корабль, выбрасывая перед собой щупальца, превращаясь в миллионы шаров. Еще мгновение!.. Игорь похолодевшими ладонями нажал на клавиши. Корабль исчез в пламени молний. За его бортом сейчас творилось что-то ужасное. Все новые и новые ряды стригунов падали на корабль, исчезая в адском пламени. В защите корабля наверняка имелись бреши. Игорь явственно слышал раздирающие слух стригущие звуки. Они становились все громче и... ближе. Ближе?.. Ярость, которая охватывает человека перед смертью, когда уже все равно, лишь бы захватить с собой побольше врагов, овладела командиром умирающего «Громовержца». Он не снимал ладоней с клавиш, каким-то кусочком чудом уцелевшего сознания понимая, что броня корабля тает, что это конец.

Стригущие звуки рвали на кусочки мозг, размалывали его между двумя огромными грохочущими жерновами. Все исчезло, кроме скрежета, грохота и ужаса.

— Игорь!

Все! Слабый голос-полушепот. Какофония звуков и красок.

— Игорь!

Отчаянным усилием воли Игорь вернул ускользающее сознание. Кто это? Кто зовет его? Скорченные ладони продолжали давить на клавиши. Их сейчас нельзя было оторвать, если бы он даже и захотел этого.

— Есть шанс, — сказал Гром.

И тут, словно вспышка, в сознании Игоря возникла мысль. Тяжелая обшивка корабля почти полностью уничтожена. Масса корабля уменьшилась. Насколько? На четверть? На треть? Попытаться взлететь на двух планетарных двигателях? Игорь снял ладони с клавиш. Надо торопиться. Теперь, когда шанс, кажется, действительно появился, на него снизошло трезвое спокойствие. Надо действовать. Киберпомощник по какой-то своей программе сдерживал стригунов, подставляя им то один, то другой участок брони корабля.

Перед глазами капитана поплыли разноцветные круги... или шары. Шары-стригуны!

Теперь не пропустить момент. Пусть стригуны обдерут корабль ровно на столько, сколько нужно. Пусть стригуны из врагов превратятся в друзей. Игорь ждал. Киберпомощник молниеносно рассчитывал массу корабля. Только бы стригу-

ны не успели затронуть жизненно важные части корабля... Ну! Ну же!

Корабль вздрогнул, и ясно ощутимая вибрация пробежала по нему.

Игорь дал «Громовержцу» старт.

Словно бы нехотя, корабль оторвался от поверхности планеты, завис над ней на какое-то мгновение и стремительно рванулся вверх. Игоря вдавило в кресло, и эта внезапно навалившаяся тяжесть была сейчас для него приятнее всего на свете.

Корабль шел. Шел! Истерзанный, смертельно раненный, похожий на скелет, а не на прежнего красавца! Но все же шел!

Дефицит информации

Возвращаясь на Землю, «Громовержец» вынужден был выйти в трехмерное пространство, чтобы пополнить запас глубокого вакуума, необходимого для работы двигателей. Непредвиденная остановка срывала график рейса. Игорь расстроился и поэтому не сразу обратил внимание на перемигивание сигнальных лампочек на пульте управления. И только когда звуковая сигнализация резанула слух, он сообразил, что его вызывают по радиосвязи.

Но откуда? Здесь! Вдали от всех трансгалактических трасс!

Игорь поспешно включил радиостанцию, киберпереводчик и услышал:

— Всем, всем, всем! Говорит разведывательный корабль мысликов. Возьмите на борт нашего пострадавшего товарища!

— Я готов принять на свой корабль пострадавшего, — сказал капитан.

— Благодарим! Через минуту запускаем к вам спасательную шлюпку с умирающим.

— Габариты вашего товарища?! — крикнул Игорь, но ответа не получил.

Радиосвязь оборвалась. Очевидно, корабль неизвестных, запустив шлюпку по направлению к «Громовержцу», уже ушел в четырехмерное пространство.

Через несколько минут магнитные присоски притянули спасательную шлюпку вплотную к борту корабля. Дверь переходной камеры отошла в сторону, и Игорь увидел фигуру в скафандре, медленно двигающуюся ему навстречу. У существа было тонкое туловище метра два высотой; две длинные руки нелепо шарили в воздухе; голова была закрыта полупрозрачным шлемом, так что черты лица Игорю разглядеть не удалось. Гость приблизился к порогу камеры и упал. Капитан подхватил его и потащил по коридору. В комнате, приготовленной для странного существа, он осторожно положил неизвестного на пол и на всякий случай включил киберпереводчик. А вдруг неизвестный заговорит? На скафандре мыслика Игорь не обнаружил никаких баллонов с дыхательной смесью.

И вдруг мыслик заговорил, медленно, с большими паузами:

— Обетованная земля... где ты?.. Так мало пищи... Как не хочется умирать... Но что это?.. Здесь есть пища? — Мыслик заворочался на полу. — Неужели я спасен? — Голос его заметно окреп. — Где я?

— Ты находишься на корабле человека Земли.

— О, говори, говори! — В голосе мыслика послышалось волнение. — Говори! Мне уже становится лучше. Человек! В этом, наверное, очень много информации?

— Что я должен сделать в первую очередь? — спросил Игорь. — Как снять с тебя скафандр? Каков состав атмосферы, необходимый для твоего существования? Отвечай скорее!

— Атмосферы? Что ты имеешь в виду?

— Чем вы дышите?

— А-а... Но мы вообще не дышим...

— Тогда все в порядке, — облегченно вздохнул капитан, в душе, правда, удивляясь словам мыслика. — Значит, можно снять скафандр?

Мыслик попытался встать. Кажется, он уже чувствовал себя заметно лучше. Игорь помог ему. Что-то внутри скафандра щелкнуло, и, внезапно распавшись на две части, скафандр опал с мыслика.

Теперь Игорь смог его разглядеть.

Огромная голова мыслика была совершенно лысой, почти половину лица занимали глаза, маленький рот кривился в слабой и благодарной улыбке, вместо носа — две слегка трепещущие ноздри. Тонкие руки, туловище и ноги гостя были покрыты эластичной обтягивающей одеждой безо всяких пуговиц и застежек-молний. На ступнях некое подобие обуви. Кисти рук открыты.

— Рассказывай! — потребовал мыслик. — Говори что-нибудь!

Игорь удивился, но не отказал в этой странной просьбе. Объяснил, кто он, что тут делает, как узнал о происшествии на корабле мысликов. На секунду он прервал рассказ, но гость тут же потребовал продолжения. С улыбкой, но настойчиво.

И тут Игорь заметил, что у гостя нет зубов. Нет рта. Небольшие губы были, правда, обозначены, но между ними виднелась лишь блестящая белая мембрана, вибрирующая в такт звукам голоса. Игорь сообразил, что это орган, предназначенный для произнесения слов. Но и только!.. А каким же образам мыслики принимают пищу? Ведь все, что он пока знал о них, касалось только пищи. У них на планете голод. Этот мыслик умирал от истощения. Корабль неизвестных летел на поиски достаточных запасов пищи. И в то же время у мыслика нет рта...

И тут Игорь вспомнил слышанную когда-то в детстве историю о космических завоевателях. Неужели?.. Нет. Невозможно!..

И все же, подумал Игорь, все это странно. Вот мыслик, и о нем не скажешь, что он умирает от истощения. А ведь только что он еле двигался... Если он голоден, почему не просит еды?

— Человек, в твоих рассказах не очень много информации. Мне ее не хватает. Мне нужна информация!

— Информация? — Игорь вскочил со стула. Мыслик тоже встал. В его фигуре уже чувствовалась сила.

— То, что ты мне рассказал, поддержит меня ненадолго. Я голоден. Ты же обещал!

В словах странного гостя не звучало угрозы, но Игоря охватила тревога. Эти недомолвки, намеки... Капитану тоже не хватало информации. Что же делать? Что представляют собой мыслики?

— Сейчас я добуду тебе запас информации, — стараясь казаться спокойным, заметил Игорь. — Но очень прошу тебя не выходить из комнаты.

Мыслик кивнул.

Игорь, не спуская с него глаз, пятясь, подошел к двери, толкнул ее спиной. И, только очутившись в коридоре, заметил, что с него градом льет пот, а руки мелко вздрагивают. Заперев дверь, он бегом кинулся в отсек управления. Нужно

немедленно подготовиться к старту на Землю. Там разберутся, чего хотят эти мыслики. Собственно, есть же ведь Управление Внегалактических Цивилизаций. Это их работа.

Отдав приказ киберштурману, Игорь составил на тележку обильный ужин из мясных, овощных, рыбных и прочих блюд и, подкатив ее к двери комнаты, где находился гость, возвратился к киберштурману. Тот уже все рассчитал. Для возвращения на Землю оставалось только нажать кнопку.

Игорь вкатил тележку в комнату. Мыслик сидел на стуле в непринужденной позе и старательно изучал стены помещения. Дверцы шкафа с книгами были распахнуты, а сами книги стояли не в таком порядке, как прежде. Значит, мыслик их просматривал? Чрезвычайно любопытный гость!.. Игорь пододвинул к нему столик. Интересно, как он будет есть?

Мыслик зачерпнул ложечкой овощную пасту, раскрыл губы и положил пасту на слегка вибрирующую пластинку. То же самое он проделал и с другими блюдами.

— В таком виде это очень трудно переварить, — сказал он. — А какова химическая формула этого?

Игорь пожал плечами. Мыслик встал.

— Извини, человек. Я без твоего разрешения просмотрел книги. Уж очень велико было искушение. Ты не употребляешь их?

— Отчего же? — ответил Игорь. — Я иногда читаю их. Когда есть свободное время.

— Это сразу видно. В них не пропущено ни одной фразы. Зачем же ты их здесь держишь, если в них для тебя нет информации?

— Почему это в них нет информации?

— Эти книги новенькие. Совершенно новенькие. Только что из печки. Их никто не употреблял. Наверное, то, что в них содержится, несъедобно?

Игорь пожал плечами, уже ничего не пытаясь понять.

Мыслик еще что-то говорил, но Игорь вышел.

В рубке капитан сел в свое кресло и огляделся. Все было готово к старту. Киберштурман рассчитал элементы полета в подпространстве и теперь преспокойно занимался решением китайских головоломок.

Позади кресла послышался шум. Игорь оглянулся. В дверях стоял мыслик. Его сытое порозовевшее лицо лоснилось от удовольствия. Весь вид странного гостя говорил о том, что он испытывает величайшее блаженство.

— Это я решил оставить на десерт, — сказал мыслик. — Слушай. — Посыпались слова: «волевой лоб», «могучий интеллект», «острый ум» и дальше все в том же роде. — А? Как ты находишь это место? — Мыслик захлопнул принесенную им книгу.

— Премило, — глухо отозвался Игорь.

— Ведь это хлеб, кекс, торт!

— На Земле для некоторых это тоже хлеб...

— А для тебя?

— Для меня это, пожалуй, несъедобно.

— Не можешь переварить?

Игорь промолчал.

— Тогда я употреблю это на десерт. — И Мыслик, близоруко сощурившись, прикоснулся губами к раскрытой книге, словно хотел ее поцеловать.

Не обращая внимания на гостя, Игорь попросил киберпомощника отвлечься от решения головоломок и включил систему старта. Ритмично и почти неслышно заработали двигатели прокалывателя пространства. Мгновенный суперпереход и... в это время раздался дикий вопль. Игорь оглянулся. Мыслик, держась руками за голову, медленно оседал на пол. Издав вопль еще раз, он затих в странной, неестественной позе.

Игорь подбежал к непонятному существу и нагнулся над ним. Тот не подавал никаких признаков жизни. Схватив мыслика под мышки, капитан поволок его в биолабораторию. Положив несчастного на стол, Игорь подсоединил к нему диагностическую машину и стал ждать результата. Диагностический аппарат довольно долго анализировал информацию, поступающую в него с многочисленных датчиков, и потом сообщил, что у мыслика несварение желудка и это может окончиться смертью.

— Так я и знал, — побледнев, прошептал Игорь. — Он наверняка проглотил что-нибудь несъедобное.

Медлить было нельзя, и капитан поместил мыслика в холодильную камеру.

До прокалывания трехмерного пространства в окрестностях Солнечной системы оставалось еще несколько часов, и Игорь занялся осмотром помещений, где хоть одну секунду мог находиться мыслик. На Земле его, конечно, спасут. Но предварительные исследования мыслика могут ускорить это спасение.

Он осматривал все долго и тщательно. И не нашел ничего, кроме одного... Но это «одно» было странным и необъяснимым: книги, которые просматривал мыслик, стали просто переплетенными пачками абсолютно чистых листов. Даже обложки были без всяких надписей. В книгах больше не содержалось ни одной буквы. Теперь даже невозможно было установить, что за книги это были раньше.

Странное исчезновение печатных знаков настолько взволновало Игоря, что он чуть было не пропустил момент выхода корабля из подпространства.

Капитан немедленно попытался связаться с Управлением по Внегалактическим Цивилизациям, но попытка почему-то не увенчалась успехом. Игорь забеспокоился. В этом рейсе, казалось, все было против него. Служба автоматической посадки тоже начала выкидывать штучки. Вместо Земли ему настойчиво предлагали сесть на Венеру. А тут еще забарахлили фильтры обзорного экрана, и Солнце вместо ослепительно желтого вдруг оказалось бледно-голубым. Количество планет в Солнечной системе уменьшилось почти вдвое. И даже созвездия стали совершенно незнакомыми.

Словом, когда Игорь посадил корабль на предложенный ему космодром, он еще не знал, что попал не в Солнечную систему.

Причиной всему явились невинные занятия киберпомощника Грома в свободное от работы время. Он так умудрился забить свой кибермозг всевозможными головоломками, ребусами и шарадами, что вместо того, чтобы направить корабль к Земле, стартовал к какой-то малоизвестной планете под названием Лемзя. И это в то время, когда дорога каждая минута! Игорь только косо взглянул на проштрафившегося и даже не вскипел. Грому от этого стало, пожалуй, еще тяжелее. Уж лучше бы капитан обругал его.

Прежде, чем стартовать вновь, Игорь решил выяснить: нельзя ли чем-нибудь помочь мыслику здесь? Никто не спешил к кораблю, никто не задавал обычных при посадке вопросов. Игорь открыл холодильную камеру и увидел сидящего мыслика. Вид у него был вполне нормальный, если не принимать во внимание толстого слоя инея, покрывавшего странного гостя с ног до головы.

— Ну! — подозрительно спросил Игорь.

— Все в порядке, — как ни в чем ни бывало ответил тот. — Это действительно оказалось несъедобным. Хорошо, что ты

догадался поместить меня в прохладное место. А теперь мне снова нужна пища.

— Вот что, — сказал Игорь, — мне надоело играть в прятки. Я готов дать тебе все, что у меня есть. Все! Но я не знаю, что тебе нужно. Ты ведь практически не притронулся ни к чему из того, что я предложил тебе. С тобой происходят странные превращения, а я не знаю почему. Ты все время просишь что-нибудь рассказать. Зачем? И что случилось с моими книгами?

— Я их съел, — просто ответил мыслик.

— Как... то есть... съел?

— Обычно. Употребил в пищу всю информацию, которая была в них. Только ее в этих книгах оказалось маловато. А разве вы питаетесь не информацией?

— Это невозможно! — вскричал Игорь. — Информацией питаться нельзя! Она нематериальна. Она не может поддерживать жизнь в материальном теле.

Теперь пришла очередь удивиться мыслику:

— Как, то есть, нельзя питаться информацией? А чем же вы тогда... Уж не материальной ли пищей?!

— Естественно, — подтвердил Игорь.

По звуку, который издал мыслик, можно было заключить, что он не поверил Игорю, а если и поверил, то от души пожалел все человечество.

— У нас на планете почти не осталось информации. Всем грозит голодная смерть. Наш корабль обязательно должен найти планету, которая накопила очень много информации. Я хочу поскорее на вашу Землю.

— Это не Земля. — Капитан покраснел.

Глаза мыслика выразили безмолвный вопрос.

— Это планета Лемзя. Произошла ошибка. Кибермозг перепутал порядок букв в названии планеты.

Мыслик снова заметно ослабел. Игорь подхватил его и повел в шлюзовую камеру. Лемзя — цивилизованная планета. За время своего развития цивилизация лемзян должна была накопить достаточно информации. Мыслика надо спасать. Разумное существо не может оставить в беде другое разумное существо, если даже одно из них питается материальной пищей, а другое — информацией.

Мыслик едва доплелся до покосившегося здания космовокзала. Он жадно впитывал новую для него информацию глазами, ушами и носом. Но, вероятно, коэффициент полезного

действия этих органов был чрезвычайно мал. Да и сама информация являлась малопригодной для переваривания.

В почти пустом зале ожидания Игорь подошел к окошечку администратора и спросил, как пройти к ближайшему книжному магазину.

Администратор старательно переписывал что-то из большой толстой книги в красивом переплете в почти такую же толстую красивую тетрадь. На вопрос Игоря он долго не отвечал, а когда тот начал терять терпение, поднял посоловевшие глаза на посетителя и махнул рукой куда-то влево. Жест был довольно неопределенным.

Проходя мимо окошечек различных служб космовокзала и окидывая взглядом немногочисленные фигурки лемзян, сидящих в зале, Игорь обратил внимание, что все они что-то пишут, вернее, переписывают из книг. Некоторые отстукивали на пишущих машинках длиннющие очереди. А те, у кого не было машинок, бросали на счастливчиков завистливые взгляды. Несколько пришельцев негуманоидного происхождения, выпучив глаза, с явным удивлением взирали на эту потрясающую воображение картину.

То же самое повторилось и на улицах. Даже мамаши, катившие в колясках младенцев, умудрялись писать что-то в небольших блокнотиках, приспособив переписываемые книги на козырьках колясок. Мужчины, женщины, старики и дети занимались только одним — переписыванием книг.

На двух пришельцев никто не обратил внимания.

Книжный магазин нашли довольно быстро, но в нем толкалось столько народу, что Игорь не смог пробиться к прилавку. Через десяток метров встретился второй магазин, затем третий, пятый, десятый... Везде было много, очень много книг! И раскупались они с потрясающей быстротой. Но количество их нисколько не уменьшалось. Это было море, океан, вселенная книг!

Игорь даже подумал, не питаются ли и лемзяне информацией. Но вокруг жевали обыкновенные пирожки, булочки и сосиски.

Над каждым магазином висел плакат: «Экономьте бумагу! Пишите мельче! Исписывая мелким почерком лист с двух сторон, вы помогаете самим себе!»

Мыслик заметно повеселел, как голодный человек при виде вкусно пахнущего блюда, но все еще еле-еле переставлял ноги. Наконец, Игорю удалось пробиться к прилавку и купить два десятка книг.

Мыслик заметно повеселел. Игорь мельком успел взглянуть на названия. Это были книги по радиоэлектронике: «Проблемы электроники», «Радиоэлектроника», «Промышленная электроника», «Новые схемы в радиоэлектронике», «Новые схемы на транзисторах», «Новые...», «Новые...», «Новые...»

Мыслик превратил первую книгу в стопку абсолютно чистых листов секунд в пять. Вторую еще быстрее. Третью. Четвертую. Игорь только удивленно покачивал головой. Мыслик растерянно посмотрел на капитана «Громовержца».

— Но здесь же нет почти никакой информации!

— Как?! — забеспокоился Игорь. — Ведь двадцать книг!

— В них нет информации. Они почти слово в слово повторяют друг друга, отличаясь одной, двумя страницами.

Игорь рванулся со скамейки, растолкал плечами толпу лемзян и купил еще несколько десятков книг, истратив последние имеющиеся у него сертификаты.

По удрученному виду мыслика он понял, что тот снова не нашел в книгах никакой информации.

Через несколько минут все свободное пространство возле мыслика было завалено огромными грудами чистых листов, но сам мыслик буквально таял на глазах.

— Я не кит и не могу пропустить через себя море, чтобы выбрать из него килограмм планктона, — прохрипел он.

— Что, воды много? — с заботливым участием спросил Игорь.

— Сплошная вода.

— Что же делать?

Планета Лемзя, вторая в системе звезды Шансон, по возрасту и уровню развития цивилизации была почти двойником Земли. Материальный уровень жизни лемзян неуклонно рос. Росли и их духовные потребности. На каждого жителя планеты приходилось по три экземпляра новых книг в год и по 1,714 экземпляров газет и журналов. Если учесть, что лемзяне очень любили детей, и в каждой семье было по три, по четыре ребенка, то эти цифры звучали достаточно убедительно. Количество научных работников, писателей и поэтов постепенно опережало естественный прирост населения. Росло и количество книг, журналов и газет.

И вот однажды, лет сто назад по лемзянскому времени, они узнали, что на других планетах прирост количества информации намного больше, чем на Лемзе. Сначала это вызвало лишь удивление, затем недовольство собственными темпами. Лемзяне решительно взялись за исправление создавшегося положения. И началось катастрофическое увеличение числа издательств и изданий.

Лемзяне не утруждали себя работами по увеличению количества информации. Это ведь давалось трудно. Многие, правда, пробовали, но у них ничего не получалось. Гораздо проще было взять, например, книгу по радиоэлектронике, переписать первые ее три четверти, где приводились общеизвестные истины о работе транзисторов и интегральных схем, добавить одну четверть из другой книги и придумать новое название.

Издательства расхватывали рукописи. Между ними даже возникло нечто вроде соревнования — кто больше выпустит книг.

Писать новые книги стало легко. Особенно по технике. Видя удивительные успехи технических издательств, к ним вскоре примкнули и другие: сельскохозяйственные, промышленные, издательства, выпускающие литературу по искусству, музыке и т. д... Дольше всех держались прозаики и поэты. Но, в конце концов, сдались и они.

Уже давным-давно Лемзя по количеству книг, выпускаемых на душу населения, перегнала все обитаемые миры в ближайших обозримых частях Метагалактики. Но ведь оставались еще неизвестные, неоткрытые миры! А вдруг там выпускают еще больше? Это «а вдруг» придавало лемзянам силу, бодрость и вдохновение, так необходимые при переписке книг.

Книги писали все. Запрещение писать научный труд или монографию считалось самым жестоким наказанием. Истинные лемзяне этого не выдерживали. Но, к счастью, запрещение писать применялось крайне редко, только к закоренелым преступникам.

Книг выпускалось много. Может, пятьсот, а может, и пять тысяч на человека. Точно этого никто не знал. Статистики уже давно побросали свою работу и теперь тоже писали книги. Один даже именно по статистике. Расхватывались же книги молниеносно. И каждая давала начало десяткам других.

А на скамейке умирал мыслик — разумное существо. Умирал от недостатка информации.

Игорь начал приходить в бешенство. Положив мыслика на скамейку, он вскочил на ближайшее крыльцо возле книж-

ного магазина и заговорил. Сначала он говорил зло, потом убежденно, затем просяще и, наконец, умоляюще. Он говорил о том, чтобы лемзяне написали несколько книг, в которых бы действительно была информация. Ведь умирает мыслящее существо!

Лемзяне удивленно останавливались возле странного оратора, на несколько минут отвлекаясь от переписывания книг. На их лицах появлялось негодующее выражение. Этот пришелец говорил явную чепуху. Только идиот мог придумать такое. Вскоре лемзяне поняли, что они зря теряют время, и начали безмолвно, но поспешно расходиться.

Игорь взвалил умирающего мыслика на плечо и угрюмо побрел к своему «Громовержцу». Лучше бы он не делал этой остановки!

— Послушай, друг, — сказал он. — Не торопись умирать. Мне кажется, что на Земле тебе хватит информации. Крепись. Я буду рассказывать тебе сказки.

И Игорь рассказывал мыслику сказки до тех пор, пока корабль не вошел в трехмерное пространство уже в окрестностях Земли. Игорь немедленно связался по радио с Управлением по Внегалактическим Цивилизациям и сообщил все, что произошло с ним и мысликом.

На космодроме его ждали сотрудники Управления и грузовые авиетки с несколькими Большими Энциклопедиями.

Видя, что его никто не расспрашивает, Игорь немного потолкался рядом с авиетками, прощально махнул рукой уже повеселевшему мыслику и отправился к диспетчеру космодрома. Пора было разгружать «Громовержец».

С мысликом он больше никогда не встречался.

В печати, по радио и телевидению о нем говорили тоже очень мало. Не такое это уж и значительное событие — еще одна неизвестная ранее цивилизация.

В разговорах с друзьями за стаканом тонизирующего шипучего напитка Игорь часто развивал недавно разработанную им гипотезу о путях мыслящих существ во Вселенной. Эта гипотеза увлекала его несколько месяцев. Она была не то чтобы антинаучной, а просто, по-видимому, не имеющей смысла. Друзья подшучивали над Игорем. Сначала нападки на свою гипотезу он воспринимал всерьез и с отчаянием защищался, но постепенно и сам начал охладевать к ней.

Гипотеза заключалась в том, что когда-то давным-давно все мыслящие существа питались только информацией. По-

степенно там, где накопление информации шло медленно или вовсе прекращалось, пища для души заменялась пищей для желудка. Этот мучительный процесс радикальной перестройки занял, по-видимому, очень большой период времени и за несколько тысяч лет до новой эры (для цивилизации Земли) полностью закончился. Во всяком случае, о нем не сохранилось никаких воспоминаний или записей ни в шумерской, ни в египетской культурах, ни в культуре майя или ольмеков. Правда, и в настоящее время требуется пища для души, но разве в таком количестве, как мысликам?! Гипотеза Игоря разбивалась шутя. Но иногда он все-таки сопротивлялся.

— А как вы думаете, почему говорят: «В этой статье много воды», «я не могу переварить эту информацию», «книга несъедобна»? А? Вы думаете, по аналогии с пищей и желудком?.. А я все-таки думаю, что наоборот!

Игорь всегда любил кому-нибудь противоречить.

Исключение

«Громовержец» приняли на девятый космодром Селги, как Игорь и хотел. Он быстро оформил все формальности, связанные с прибытием и сдачей груза с Земли, подписал график работы кибергрузчиков и внимательно просмотрел список аппаратуры, которую он должен был доставить в Солнечную систему. Аппаратура показалась ему очень любопытной и даже несколько неожиданной. Затем он отправился на стоянку авиеток, чтобы навестить своих друзей: Гела и Найю. Поселок, в котором они жили, находился километрах в пятистах от космодрома. Улетая с Селги два месяца назад, он обещал им вернуться. И вот — вернулся.

Авиетка шлепнулась посреди группы коттеджей, расположенных в роще деревьев с белыми стволами и фиолетовыми стрельчатыми листьями. Дверь домика Гела оказалась закрытой. И Игорь, чувствуя себя здесь своим, влез в открытое окно. В комнате никого не было, но за стеной слышался приглушенный шум голосов.

— Гел! Это я, Игорь! — на всякий случай крикнул капитан «Громовержца».

Ему никто не ответил. Тогда Игорь открыл дверь в другую комнату. В глубине ее во всю стену был виден большой зал ка-

кой-то лаборатории. Несколько человек стояло и сидело возле незнакомых ему аппаратов и приборов. Игорь шагнул вперед, очутился в лаборатории и крикнул, увидев Гела и Найю:

— Привет! Я...

На него замахали руками, словно он помешал. Голубая девушка оглянулась и лишь покачала головой. Игорь повернулся и хотел выйти, но перед ним оказалась сплошная матовая стена. Комната, в которой он только что находился, исчезла... Игорь растерянно топтался на месте, не зная, что делать, потом сделал шаг к стене... и снова очутился в комнате, во всю стену которой была видна все та же лаборатория.

На чужих планетах часто попадаешь впросак. Что это? Нуль-транспортировка? Но на таких маленьких расстояниях!.. Невероятно!.. И тут он вспомнил, что груз для Солнечной системы и представлял как раз аппаратуру нуль-транспортировки. Интересно...

Игорь не утерпел, выпрыгнул в окно и обежал домик. Коттедж как коттедж, с окнами, входной дверью и стенами. Значит, действительно нуль-транспортировка... Когда он вернулся в комнату, в проеме стены возник огромный зал с тысячами прогуливающихся голубых людей... А не шагнуть ли еще раз в экран? Если что-нибудь окажется не так, он просто отступит... Игорь решился и сразу же оказался в зале с полированным полом и терявшимися где-то в вышине потолками. За его спиной возвышалась лишь гладкая колонна. Отступать было некуда, но он никому и не мешал здесь! Постояв, Игорь нерешительно двинулся вперед. Ему было все равно, куда идти. Толкаясь в толпе, он обратил внимание на красивого молодого человека с выпиравшими из плотно облегавшей его рубашки рельефными могучими мускулами. С атлетом шли две девушки, лицо одной из них поразительно напоминало лицо древнеегипетской царицы Нефертити. Все трое прошли мимо Игоря и растворились в водовороте людей.

Голос, раздававшийся сразу отовсюду, называл какие-то имена. И то одна, то другая группа голубых людей, торопливо шагая, скрывалась в дверях в дальнем конце зала.

Неожиданно Игорь очутился возле столика с надписью «Прием заявлений»; не успел он отойти, как старичок, сидевший за столиком, спросил:

— Ваше имя?

Игорь ответил.

— Судя по цвету кожи, вы не с Селги?

— Да, я землянин.

— У вас есть здесь ливанна?

Игорь замялся. Что такое «ливанна»?.. Спрашивать ему не хотелось, вечером он все узнает у друзей.

— Ее здесь нет?

— Нет, — облегченно выдохнул Игорь.

— Почему она не пришла? У нас нет ограничений для людей других планет. Ее имя, адрес?

— Не знаю, — Игорь развернулся, собираясь нырнуть в толпу.

— Не знаете? — удивился старичок. — Но такого не может быть! Она отказывается?

— Да. То есть, нет! — Игорь устал от разговора неизвестно о чем. — Нет у меня никакой ливанны!

— Вы впервые на Селге?

— Я был здесь уже много раз.

— Тогда я ничего не понимаю. Невероятно. Это чрезвычайно редкий случай. У вас есть ливанна, но вы просто не знаете об этом. Обратитесь ко мне через два часа.

Игорь, наконец, скрылся в толпе. Надо скорее встретиться с друзьями. Что здесь все-таки происходит?

От нечего делать он довольно долго бродил по огромному залу. Голова шла кругом от бесконечных поворотов, разворотов, шума, света, странных выражений лиц. Надо найти выход из зала. Посидеть где-нибудь под деревьями. Упасть на фиолетовую с синими прожилками траву. Отдохнуть от всего этого.

Внезапно он остановился. Вот те две девушки, которых он уже видел. А юноша? Юношей тоже было двое! Совершенно одинаковых, с похожими движениями, жестами, улыбкой. Да, они улыбались. А девушки выжидательно смотрели на них. Это же близнецы! Смешная ситуация.

— Айра, — сказал один из молодых людей. Девушка с лицом Нефертити вздрогнула и вдруг заплакала, не закрывая лица и словно даже не замечая этого.

— Я боялась, Сэт, — сказала она сквозь слезы. — Что бы они ни говорили...

— Айра, уйдем отсюда. — Он обнял ее за плечи и увлек в толпу.

Девушка задержалась. Остановилась. Оглянулась.

— Но ты так похож на него!

— Сейчас нам лучше уйти отсюда.

— Нет... Я что-то поняла. Мне плохо! Ты совсем другой!

Юноша поднял Айру на руки, прижав ее лицо к своей груди, и пошел через расступившуюся толпу.

— Отпусти меня! — вырывалась девушка. — Это не ты... Ты совсем такой же... Что теперь будет со мной? Я ничего не знаю! Отпусти меня!

Но юноша не выпускал Айру из рук. К ним быстро подошла женщина в халате врача, приложила к виску девушки блестящий диск, и та затихла.

— У нее это очень быстро пройдет, — сказала женщина. — Только пореже встречайтесь с вашим близнецом.

Юноша, как драгоценную хрупкую ношу, бережно понес девушку на руках.

Постояв еще немного, Игорь решил искать выход. Только теперь он обратил внимание, что в толпе преобладают именно близнецы. Какой-то всепланетный съезд близнецов!

Число голубых людей в зале не уменьшалось. Пожалуй, даже становилось больше. Случайно Игорь оказался возле колонны. Какая-то девушка нажала несколько выступающих из нее кнопок, и на колонне появилось изображение здания. Девушка шагнула вперед, прямо в колонну и исчезла. Так же поступали и другие. Только на колонне появлялись каждый раз совершенно непохожие друг на друга изображения. Это были целые комнаты, лаборатории, дворики, улицы, площади, перекрестки, сады. Люди входили в эти изображения и исчезали вместе с ними.

Игорь несколько раз обошел вокруг колонны, затем решил понаблюдать, в каком порядке и сколько кнопок нужно нажимать. Хорошо бы очутиться где-нибудь в лесу, недалеко от стоянки авиеток, чтобы в любое время можно было добраться до знакомого поселка. Но люди так быстро нажимали кнопки, что он ничего не разобрал и не понял и, решив, что придется рискнуть наугад, еще минут десять кружил возле колонны. И только сообразив, что на него начали обращать внимание, небрежным шагом подошел к колонне, нажал несколько кнопок и, не успев разобрать, что за изображение появилось перед ним, шагнул вперед.

Очутился он в незнакомой комнате. Солнце светило в широкие распахнутые окна. В углу перед зеркалом стояла девушка. Очевидно, она увидела незнакомца именно в это зеркало, потому что резко обернулась. Высокая прическа на ее голове была разлохмачена.

— Какой ты, — сказала она без всякого раздражения или испуга. — Какой ты неосторожный. Разве можно входить в чужую комнату без разрешения?

Игорь молча попятился назад. Там должно быть спасение. Но спина ощутила лишь гладкую холодную поверхность.

— Я не хотел, — покраснев от смущения, сказал Игорь. — Я не знал. Куда...

— Нажми кнопки и будь в следующий раз осмотрительнее.

Игорь с удивлением уставился на ряд кнопок, выступавших из панели стены, и вдруг ему стало так неуютно, так стыдно, что он вскричал:

— Не знаю!.. Я ничего здесь не знаю!

— Какой ты, — снова сказала девушка и пошла прямо на него. Игорь отскочил в сторону. Из соседней комнаты доносились голоса:

— Сиб, ты скоро переоденешься?

— Мы, наверное, еще успеем сыграть пару партий в шахматы.

— Поторопись, Сибилла!

— Сиб! Сибилла!

Девушка остановилась в двух шагах от Игоря и нетерпеливо спросила:

— Куда тебе?

— Не знаю.

От девушки пахло лесом.

— Какой ты, — в третий раз сказала девушка. — Хочешь в парк?

Игорь кивнул. Девушка нажала кнопки, но капитан вдруг, даже не взглянув на изображение, метнулся к окну, перебросил тело через подоконник, упал в траву, ободрал ладони о какие-то колючки, вскочил и побежал, не разбирая дороги, перепрыгивая через ручьи и канавы, остановившись лишь на вершине холма. Сердце бешено колотилось. Игорь лег на траву и с удивлением отметил, что не знает, с какой стороны он прибежал. Трава была чуть-чуть влажной. Отовсюду доносился стрекот незнакомых насекомых. Ослепительно голубое солнце спускалось к далеким горам. Немного отдышавшись, Игорь рассмеялся. Прошло только два месяца. Два месяца назад ему казалось, что он знает Селгу достаточно хорошо. Правда, он и тогда попадал впросак, но не настолько, чтобы стыдиться своего невежества. А сейчас?

Игорь встал, отряхнул с одежды комочки земли, сухие листья, травинки и начал спускаться с холма. Во что бы то ни стало нужно найти авиетку. В ней он будет чувствовать себя уверенно. Капитан спускался довольно долго, на ходу машинально срывая попадавшиеся под руку цветы. Наверное, он все-таки спускался по другую сторону холма, потому что ему не попалось на пути ни камней, через которые он перепрыгивал, ни ручья. Потом он наткнулся на тропинку и побрел по ней, точно зная, что тропинка приведет его куда-нибудь.

Тропинка долго петляла между деревьев и кустов. Воздух стал прохладнее. Приближалась ночь. Чужое солнце уже зацепилось за верхушки гор, осветив оранжевым отсветом далекие вершины, а Игорь все шел, похлопывая себя по ногам коротеньким прутиком и потихонечку насвистывая. Тропинка то поднималась на какой-нибудь бугор, то опускалась в ложбинку. Иногда ему приходилось карабкаться, цепляясь за тоненькие ветки кустов. Несколько раз он падал. В душе наступила кроткая тишина, и он уже с улыбкой вспоминал события прошедшего дня.

Всегда так. Увидишь непонятное и хочется его понять. И не дает покоя неизвестное. Тайна заманчиво и настойчиво влечет тебя в водоворот событий, до которых тебе еще вчера, еще час, минуту назад не было никакого дела.

А надо ли стараться понять, чем живут красивые голубые люди Селги? Ведь они все-таки отличаются от нас. Своими заботами и мечтами, мыслями и самим образом мышления... Игорь был уверен в этом.

Капитан надеялся, что тропинка приведет его к авиетке и он полетит к своим друзьям. Там будет много смеха и стакан зеленого шипучего вина. Гел, как обычно, большую часть времени будет молчать и тискать в громадной ладони свой подбородок. Нет сомнения, что он влюблен в Найю. А она?.. И тут Игорю снова пришло в голову: что же сегодня происходило в зале? Почему Айра вырывалась из рук Сэта? Ей было плохо?

— Почему Айре было плохо? — Он опомнился и сообразил, что кричал вслух. — Что здесь происходит? Ответьте!

Перед ним стоял домик. Солнце скользнуло за горы. Все окутала темнота. Лишь на самом горизонте чуть искрились и блестели вершины гор.

Игорь остановился возле низенькой ограды. В доме слышался тихий смех. Потом два красивых голоса, мужской и женский, низкими голосами запели песню, но слов нельзя было разобрать. Эти два голоса, переплетаясь, временами почти затихали, чтобы через мгновение вновь зазвучать громко, призывно. Они заставили Игоря задержаться, затаить дыхание, но вдруг неожиданно, на высокой ноте, смолкли. В домике зашумели, но никто не аплодировал, не хвалил певцов, лишь одно Игорь сумел расслышать:

— Послушай, Сибилла... Пусть только Дан не сердится и не хмурится... Я ведь не влюблен в тебя, но твоя песня разрывает мне сердце. Отчего это?

Девушка рассмеялась низким грудным смехом.

«Потому что в ней счастье!» — захотелось крикнуть Игорю.

— Хорошо, если ты этого не понимаешь, — сказала девушка и снова рассмеялась.

Заговорили все.

Игорь постоял перед оградой, раздумывая, войти ему в дом или нет, и в это время в распахнутом окне появился силуэт мужчины.

— Эй, — тихо позвал Игорь. — Я тоже слушал песню.

Силуэт вздрогнул, исчез, но через секунду в распахнутом окне появилось сразу несколько.

— Заходи!

— Что ты стоишь один?

— Заходи, заходи!

Игорь перепрыгнул через изгородь и оказался в квадрате света, падающего из окна.

— А-а, — раздался удивленный возглас. — Это он! Заходи же. Какой ты! Это тот, я вам про него рассказывала!

Кто-то рассмеялся, но Игорь ничуть не обиделся. Значит, он несколько часов бродил по лесу, чтобы выйти к тому же месту, откуда так поспешно и глупо бежал.

— У вас есть авиетки? Мне нужно лететь.

— Зачем тебе лететь? Мы тебя и так переправим. Заходи. Сегодня на Селге все празднуют день Счастья.

— Мне нужно лететь, — упрямо повторил Игорь.

— Может быть, ему есть с кем праздновать и без нас, — сказал кто-то. — Правильно я говорю?

— Правильно. Меня уже, наверное, ждут. Так у вас есть лишняя авиетка?

— Есть. Они теперь все лишние. Сибилла, это твой знакомый. Проводи его.

Компания еще некоторое время выглядывала из окон, затем по одному все исчезли в глубине дома.

— Зашел бы, — неуверенно предложил еще раз последний из них. — Мы бы тебя телепортировали.

— Нет. Я полечу.

— Как хочешь... — И он тоже отошел от окна.

Сибилла вынырнула из темноты и схватила Игоря за руку.

— Какой ты! Мог бы и остаться!

— Я слышал от тебя десяток фраз, и девять из них были: «Какой ты!» А какой я?

— Смешной. Ты ведь откуда-то прилетел?

— Да. С Земли. Я капитан грузового корабля.

— Наверное, поэтому ты и странный...

— Наверное, — согласился Игорь.

— А с кем ты будешь на празднике?

— С Найей, — ответил Игорь. — Она работает в институте Счастья.

Девушка неопределенно покачала головой.

— А что это за праздник? — спросил Игорь.

— Ты не знаешь? Какой ты... Теперь все будут счастливы. — В ее словах, так же как и в песне, чувствовалась грусть. — Разве твоя девушка тебе не говорила? Ведь это происходило там, в институте...

Найя не была девушкой капитана. И он не знал, что этот огромный зал принадлежал институту, где работала Найя.

— А я и без того счастлива, — сказала Сибилла. Сказала Игорю или самой себе, он не понял.

— Знаю.

— Как ты можешь знать?

— Я слушал песню... Дан?

— Да. Он.

Они дошли до небольшого ангарчика. Сибилла вывела одноместную авиетку.

— Значит, это происходило в институте Счастья? — спросил Игорь.

— Ну да. Из его дверей выходили только счастливые.

— А Айре было плохо. Она плакала.

— Плачут и от счастья...

— Нет. Я знаю. Ей было плохо.

— Это тебя тронуло? Тогда найди ее. Может, она ждет этого?

— Я с ней даже незнаком.

Сибилла промолчала. Игорь открыл дверцу авиетки и сел на сиденье перед пультом.

— Ну я пойду? — Белое платье девушки смутным пятном выделялось в темноте ночи. Лицо и руки были почти незаметны. — Я пойду?

— Конечно. Иди. Спасибо тебе, Сибилла! — Игорь захлопнул дверцу. Осветилась панель управления. Игорь набрал на пульте маршрут. Ого! До поселка коттеджей было полторы тысячи километров. Это около часа полета.

Авиетка взлетела вертикально вверх и, сделав круг над освещенным домом, рванулась вслед скатившемуся за горизонт солнцу.

Дверь коттеджа Гела оказалась открытой, но сам дом был пуст. В стене-экране виднелся все тот же зал, но только теперь он был превращен в банкетный. Слышалась приятная и негромкая музыка. Нарядно одетые и счастливые люди сидели за столиками или танцевали, разговаривали, разбившись на группы. Игорь распахнул окно коттеджа и тут заметил на столе лист бумаги. Записка предназначалась ему.

«Игорь, — писала Найя. — Куда ты пропал? Неужели ты обиделся на нас? Мы тебя ждем. Система телепортировки включена. Смелее шагай в экран. Ждем».

Игорь сложил лист, сунул его в карман и уже довольно спокойно шагнул в экран. Передвигаясь вдоль столиков, он увидел своих друзей. И они его заметили.

— Игорь! Игорь!

— Твое место ожидает тебя уже два часа!

Игорь подошел к столику и сразу попал в объятия Гела. О! Тот мог превратить Игоря в лепешку.

— Оставить в живых! — взмолился капитан.

— Оставить в живых! — приказала Найя.

Игоря усадили в кресло.

— Где ты был? — спросила Найя. — Я беспокоилась за тебя. Где?

— В зале вашего института и еще в разных местах.

— Ну и как? — задал вопрос Гел.

— В общем, неплохо. Только я ничего не понял. Что же это за праздник Счастья?

— Сейчас объясню, — сказал Гел. — Ты заметил, сколько здесь похожих друг на друга людей?

— Действительно, — ответил Игорь. — Я заметил это еще днем.

— Так вот. Это близнецы. Они во всем похожи друг на друга. В привычках, в мировоззрении, в интеллектуальном развитии, не говоря уже о внешнем сходстве. Во всех своих слабостях и достоинствах. Во всем, кроме одного...

Игорь кивнул и спокойно принялся за еду. Ведь он не ел сегодня целый день.

— Слушай. Все они родились сегодня.

Игорь снова машинально кивнул. Но тут до него дошел смысл сказанного, и непроглоченный кусок стал поперек горла.

Все рассмеялись, а Гел стукнул Игоря кулаком по спине.

— Значит... значит, вы научились делать копии?

— Это не копии, потому что их нельзя отличить от оригинала, — сказала Найя.

— Интересно... Но в чем же смысл?

— Представь себе, — продолжил Гел. (Гел никогда не отличался особым красноречием. Что с ним сегодня?..) — Представь себе, что тебя любит, например, Найя.

— Меня? — Игорь снова поперхнулся и покраснел. А Найя с явной досадой отвернулась. Капитан начинал чувствовать себя неуютно. Что ж... Ему нравилась Найя. Да и кому она не нравится? Но зачем об этом говорить вслух? Ведь любит-то ее сам Гел! Это Игорь знал наверняка. Подшутить решил он, что ли?

— Я говорю: предположим, — сказал Гел.

— Ну хорошо. Предположим.

— А ты ее нет. Так ведь?

Игорь посмотрел Гелу в глаза. Лицо того было непроницаемо. Не поймешь, шутит он или говорит всерьез. Найя мельком взглянула на Игоря, и что-то грустное почудилось ему в этом взгляде.

— Предположим, — с неохотой согласился Игорь. Есть ему вдруг расхотелось.

— Она любит тебя так, что это на всю жизнь. А ты — нет. Что ей делать?

— Не знаю. А что делают другие? Наверное, это проходит или человек просто забывает... Привыкает... Находится кто-нибудь другой.

— А если нет?

— Не знаю, — Игорь растерянно замолчал. То, что сказал Гел, было настолько известным и обычным, встречающимся миллионы и миллиарды раз, что, казалось, тут и говорить не о чем.

— А что если создать твоего близнеца? Абсолютно тождественного. С одним единственным изменением. Этот новый человек будет любить Найю. Ведь первого-то нельзя заставить, потому что каждый человек свободен в своих чувствах.

— Так это и есть всеобщее счастье?

— Да, — ответил Гел.

Что-то в его словах Игорю не понравилось.

— Я понимаю. Это слишком неожиданно для тебя, — сказал Гел.

— Все хорошо. Но только почему вы не слишком веселы?

— Мы же устали, Игорь, — сказала Найя. У нее действительно был очень усталый вид. — Ведь у нас сегодня был сумасшедший день!

— Да, да! Естественно. Я просто влез к вам со своими земными мерками... Я, наверное, не прав. Я еще слишком плохо знаю Селгу. Это неожиданно для меня. Одним махом вы решили такую сложную проблему.

— Не мы, — усмехнулся Гел. — Эта идея родилась неизвестно где и как. А рассматривал ее Высший Научный Совет. Подавляющее большинство высказалось «за»... А мы лишь рядовые исполнители.

— Значит, некоторые все же были против?

— Конечно, были.

— Ну а каковы результаты сегодняшнего дня? Все счастливы?

— Все, — ответила Найя. — Но исключения возможны.

— Ты только посмотри вокруг, — сказал Гел. — Покажи мне здесь хоть одного, кто не был бы счастлив!

Игорь впервые как следует огляделся... Глаза людей были красноречивее всяких утверждений. Да, эти люди были счастливы. Счастливы, и не скрывали этого.

Было далеко за полночь, когда люди начали постепенно расходиться. Они уходили все через те же колонны. Игорь усмехнулся. Теперь-то он уж немного разбирался в этих кнопках. Достаточно, чтобы не попадать в чужие комнаты...

— Давайте побродим перед сном по парку, — предложил Гел. И вся компания, которую Игорь знал еще плохо, с ним согласилась.

Парк лишь кое-где освещался шаровыми светильниками, так что тропинки и дорожки были едва заметны. Игорь сел на

траву, обхватив колени руками, и прислонился спиной к дереву. Рядом примостилась Найя, положив голову ему на плечо. На Селге так было принято. Гел лежал перед ними, уткнувшись лицом в траву. Остальные расположились вокруг, как кому удобно. Несколько минут все молчали.

Воздух был напоен ароматом трав и цветов. Пахло корой и смолой. Эти незнакомые запахи, шорохи, звуки будили в Игоре какие-то смутные чувства... Конечно. Он чужой, чужой... Он никогда не сможет понять Селгу... Там, на Земле, все иначе. Там он является частичкой самой планеты с ее людьми и проблемами... Почему это пришло ему в голову только сейчас? Может быть, проблемы землян только количественно отличаются от проблем Селги, которые они решили уже давно? Или их образ мышления покоится совсем на других принципах? Ведь Игорь думает, мыслит совсем не так, как Гел. А сам Гел? Смог бы он принять нашу цивилизацию? Цивилизацию Земли... Понимают ли они его?

Яркие незнакомые звезды просвечивали сквозь кроны развесистых деревьев. Тихо, ласково и грустно. Но все это было не его...

— А вы сами? — спросил вдруг Игорь. — У кого-нибудь из вас тоже должен появиться близнец?

— Конечно, — спокойно ответила Найя. — Будет вторая Найя. Доктор Сарапул — мой ливанна.

Как спокойно она это сказала.

«А Гел?» — чуть было не спросил Игорь, но вовремя сдержался.

— Что такое ливанна?

— Ливанна — это человек, которому нужна твоя любовь.

— И тебе не жалко ту, вторую, Найю?

— Нет. Она же будет счастлива.

— Рядом с этим гениальным лысым стариком?

— Игорь, — сказал Гел. — Вряд ли ты сможешь понять это сразу.

Капитан кивнул и замолчал. Гел был прав.

Все стали расходиться. Вот уже и Гел вопросительно смотрит на Найю. А та молчит, словно не замечает его. И Гел ушел, тяжело ступая по траве.

— Игорь...

Капитан все понял. Значит, Гел уже знал.

Найя чуть отодвинулась.

— Что с тобой, Найя? — глупый, нечестный вопрос.

— Ты не любишь меня. — Она не спрашивала. Она сказала это утвердительно, чтобы ему было легче ответить: «Да, не люблю». Все равно он не мог этого сказать.

— Не знаю! Я не знаю, Найя! — Это была полуложь, потому что можно было ответить только — «да» или «нет».

— А я знаю: «нет». — И она поцеловала его. В это мгновение он почти ненавидел ее, потому что в его душе начали рождаться нежность, желание, а он не хотел этого. Он не мог справиться с собой... Уходи же!.. Она не давала ему говорить. Она понимала его лучше, чем он ее.

— Тебе не придется решать, — сказала она.

Капитан уснул в коттедже Гела и проснулся уже днем. Нужно побывать на космодроме, проверить график выполнения погрузки. Теперь это на Селге делалось просто! А скоро так будет и на Земле. Ведь «Громовержец» везет в своем трюме аппаратуру бытовой транспортной телепортации... Итак, выяснил Игорь, стартовать можно следующим утром.

Игоря неудержимо влекло в толпу. Набрав номер зала, он смело шагнул в экран. Тысячи людей кружились в огромном зале медленным замысловатым водоворотом. Институт продолжал создавать счастливых.

«Что делать? Значит, Найя — моя ливанна? Но ведь я не люблю ее. — Игорь пытался думать отвлеченно, как будто не о себе. — Как оставить здесь своего двойника? Неужели он действительно будет счастлив?» — Ничего он не мог придумать. Ничего.

«Это не ты, это он!» Так, кажется, кричала Айра. Досадное исключение? Издержки производства? Необходимость?

Они готовились к этому много лет и вот — почти мгновенное удвоение числа жителей. И для всех «новых» нужна еще и работа. И где гарантия, что эта лавина не начнет стремительно расти? Ведь это не опыт на собаках...

«Грандиозно и страшно! — подумал Игорь. — А может, страшно для него? А для них нет?.. Ведь они подготовлены ко всему этому... Но тогда почему была невесела Айра?..»

Через головы окружавших его людей Игорь увидел стол, у которого его вчера допрашивал седобородый старичок. Игорь протиснулся к самому столу и сказал:

— Меня зовут Игорь. Капитан «Громовержца» с Земли. Вчера вы заполняли мою анкету. Помните?

Старичок заиграл на клавишах пульта, и из узкой щели стола выскочил лист. Старичок протянул его Игорю:

— Записать вас для производства двойника?

Он так и сказал: «для производства».

— Пока нет. Ведь я имею право встретиться с ней, прежде чем...

— Имеете, — не дослушав вопрос до конца, ответил старичок. — Но заявка не помешает. Ведь вы все равно не откажетесь?

— Я хотел бы знать, где находится справочная машина, — сказал Игорь, уклоняясь от ответа.

— Странно. Но как хотите, — проворчал старичок и показал рукой куда-то влево.

Игорь отошел за первую попавшуюся колонну, благо в нее сейчас никто не входил и развернул лист.

Неужели он еще надеялся на что-нибудь другое? С листа на него живыми, смеющимися глазами смотрела Найя. Гулко и резко заколотилось сердце. Найя, Найя... Это, наверное, было возможным... Игорь скомкал лист. Всеобщее счастье! Оптом и в розницу! Легко и непринужденно! Только захоти!

Какая-то девчонка задела его плечом, засмеялась и исчезла в толпе. Игорь расстегнул воротничок рубашки. Жарко. Расправил ладонью лист. На бумаге появились морщинки и мелкие трещинки. Взгляд Найи потух... А вот и текст. Все как в магазине. Возраст, рост, вес. Основные черты характера. Место работы. Домашний адрес. Увлечения. Да-а-а... Куда уж тут маленькой кустарной любви тягаться с этим великолепно отлаженным механизмом производства счастья. Если он захочет, будет три Найи. Одна для доктора Сарапула, другая для Гела и третья для него самого.

Ну и что ж? Может быть, людям нужно десять Най. Сто! В чем же дело? Нет. Она ему просто нравится. Она очень красивая. Он любит ее!.. Нет... Он бы об этом знал. Ведь он сам-то бы об этом знал?! Вот он и знает теперь. Знает все. Он любит ее! Если она захочет... Нет!

— Вам плохо? — Перед Игорем стоял человек и застенчиво, но участливо улыбался.

— Нет. Ничего. — Игорь сложил лист и повернулся в сторону, затем внезапно обернулся. Человек все еще улыбался. — А вам? Вам хорошо?

— Конечно. Вчера и сегодня всем хорошо.

«А Айра?!» — чуть не крикнул он вслух, но только сказал:

— Значит, позавчера было плохо?

Человек растерялся:

— Но ведь теперь все счастливы.

— Еще бы! — Сунув лист в карман, Игорь натянуто улыбнулся и зашагал прочь.

Он подошел к автомату и выпил стакан холодной воды. Захотелось еще. Но и второй стакан не принес облегчения. Во рту было сухо. Сердце, глухо бухая, вырывалось из груди. Его вдруг потянуло броситься в море. И чтобы ветер свистел мокрой пеной с верхушек волн. Плыть, вкладывая во взмахи всю силу рук. Дальше в море, лишь бы плыть. Ощутить, как устают руки, как в голову закрадывается липкий страх перед бездной и как мозг лихорадочно ищет спасения. Как возникает злость, желание выплыть. Как снова вливаются силы в уже ослабевшие руки. И все поет, и мечется, и орет, и низвергается в бездну. Но это уже не страх. Это уже радость, злая, выстраданная, чуть не погибшая, но победившая... А потом упасть на мокрый песок. И пусть щупальца волн пытаются стянуть его в пучину.

Очнувшись, он увидел перед собой отполированную сотнями тысяч пальцев панель справочной машины.

Что он имел в виду, когда спрашивал у старика, где находится эта машина? Найя? Гел? Айра?.. Айра! Узнать, где она живет. Увидеть. Здесь всем хорошо. Только ей и ему плохо. Почему ей плохо?

Игорь подошел к панели пульта.

— Айра!

Сигнальные огни машины замигали.

— Почему ей плохо? — И тут же сообразил, что машина не может ответить на такой вопрос.

— Где она живет или работает?

Машина требовала дополнительной информации. Игорь вспомнил:

— Ее друга, а может быть, и мужа зовут Сэтом. Вчера у Сэта появился близнец. У нее, у Айры, лицо, как у египетской царицы Нефертити. — Откуда машина могла знать, какое лицо было у царицы Нефертити? — Больше ничего.

Машина молчала больше минуты. И Игорь уже отчаялся получить ответ, но машина все же ответила. Из щели в подставленную ладонь выпала небольшая карточка.

Это была она. Айра. Серьезная, с чуть удивленным выражением лица. На оборотной стороне адрес и место работы. Игорь, не раздумывая, направился к ближайшей колонне и через несколько секунд уже стоял в вестибюле института Статистики. Айра работала здесь.

А через минуту он увидел и ее саму. Она вышла ему навстречу легкой изящной походкой, спокойная и уверенная. У Игоря что-то оборвалось в душе. Словно исчезла последняя надежда, словно его обманули. Обманули просто и мимоходом... Он даже не поздоровался.

— Это действительно прошло?

— Что — это? — Все-таки она не улыбнулась.

— То, что произошло с тобой вчера в зале института Счастья.

— Ты спрашиваешь так, словно имеешь на это право, а ведь я даже не знаю тебя. Зачем тебе?

— Я хочу знать, прошло это или нет? Разве ты не помнишь? «Что теперь со мной будет?!» Ты вырывалась из рук Сэта. Ты хотела от него уйти... Почему?

Они шли по широкому коридору-аллее. Прохладный ветерок шевелил легкое платье Айры. Мягкий искусственный свет был теплым и ласковым. Айра остановилась, притянула к себе ветку молодого деревца и сорвала прозрачный трепещущий листок.

— Это прошло. Я даже не могу представить, как все со мной произошло. Бедный Сэт. Он прожил ужасный день. И я не знаю, почему это со мной произошло. Наверное, было нечто вроде нервного шока. — Айра улыбнулась ему такой радостной улыбкой, что он понял — эта улыбка предназначалась Сэту. Сэт сейчас был рядом с ней. Он всегда будет рядом с ней, потому что она так хочет.

Ну вот и все. Можно уходить. Можно не сомневаться — она счастлива. Проблема любви решена.

Игорь вышел на улицу. Пешеходы встречались редко, для деловых перемещений пользовались теперь телетранспортировкой.

Игорь чувствовал себя опустошенным. Он не понял, не принял того, что поняли и приняли люди Селги. Пусть он не прав, но... Неужели он боится нового, непонятного? Или эта приманка всеобщего счастья действует безотказно?.. Да полно! Никакая это не приманка! Каждый получил, что хотел.

Бесцельно бродил Игорь по улицам города. Странно, как опустели улицы. К этому тоже, видимо, надо привыкнуть.

Войдя в кабину телетранспортировки, Игорь понял: следует попрощаться с друзьями. Мало ли что он их не понял...

И Игорь нажал кнопку.

* * *

В коттедже Гела было шумно. Кроме вчерашней компании Игорь увидел и совсем ему незнакомых людей. Подняв руку, он приветствовал всех, и незнакомая девушка шепнула Игорю:

— Здесь помолвка. Понимаешь, как это интересно!

— Кто? — спросил Игорь.

— Гел и Найя.

Впрочем, он мог и не спрашивать, стоило только взглянуть на Гела. Все написано у него на лице. А Найя? Увидев Игоря, она вскочила с кресла и поспешно подошла к нему.

— Игорь...

— Я уже все знаю, Найя. Поздравляю! Так будет лучше?

— Так будет лучше.

Подошел Гел и стиснул капитана своими могучими руками:

— Где тебя носит? Все выискиваешь истину? Ну и как? Нашел?

— Нашел, но по-прежнему...

Гел понимающе улыбнулся:

— Это очень трудно. Тем более мы разные.

Игоря усадили в кресло.

— Хочешь вина?

Игорь отказался.

— А как с доктором Сарапулом?

— Ты его увидишь. Он обещал быть с Найей.

— Как! — Игорь вскочил с кресла. — Уже?!

Найя кивнула и рассмеялась:

— У тебя такой испуганный вид.

— Все это было как-то вообще... А теперь с вами... с тобой... Как же вы будете работать, встречаться?

— Та Найя остается здесь, а мы с Гелом улетаем на Агриколь. Там филиал нашего института. Рук и голов всегда не хватает. Да и работы много. Ведь счастье не в одной любви. Многое нужно для счастья. И каждому — свое.

Вот сейчас Игорь был с нею согласен.

— Понятно... А как идут дела вообще? На всей Селге? Все, как и предполагалось? Аномалий по-прежнему нет? Вчера я еще сомневался. А сегодня уже нет.

Найя промолчала. Гел тщательно исследовал свои кулаки и сказал:

— Все это очень сложно. И всего не предусмотришь. Появились непредвиденные исходы. Даже не то, чтобы непредвиденные... Просто процент их значительно выше, чем предполагалось.

— И какой же?

— Около пяти.

— Значит, проблема не решена?

— Нет. Но мы и не надеялись решить все сразу. Вряд ли это возможно вообще.

— Что же делать с теми, у которых не получилось?

— Не знаю. Но уже есть кое-какие мысли. Да и они сами...

— Что, они сами?

— Сегодня был случай, — сказала Найя. — Одна молодая женщина попросила, чтобы мы сделали ее близнеца для ее же мужа. И чтобы он этого не знал. Она его больше не любит. Вчера у мужа тоже появился близнец, и с ней, с этой женщиной, произошло...

— Ее имя?

— Я не знаю. Не помню. Но могу узнать. Для тебя. Хотя это тайна.

Найя вышла из комнаты.

Значит, все-таки он не один. Но это не принесло облегчения. Напротив. Ему стало очень грустно. Почему у людей хорошее никогда не получается на сто процентов?

В это время из экрана появился доктор Сарапул и... Найя. Ни за что на свете Игорь не отличил бы ее от той, которая только что вышла из комнаты. Правда, на ней было другое платье. И еще... она была с этим ученым стариком.

Игорь встал.

— Игорь! Как я тебя хотела увидеть! — Она даже обняла капитана. — Ты знаком с моим Реем?

Она сказала: «с моим Реем», а не «с доктором Сарапулом».

— Да, немного.

— А-а-а! Это тот молодой человек, который без разрешения входит в экраны. — Доктор густо расхохотался. И вообще он показался вдруг Игорю очень симпатичным. — Как вам у нас нравится?

— Неплохо...

В комнату вошла первая Найя. Обе кивнули друг другу, как ни в чем не бывало. Для Игоря это оказалось уже слишком.

— Мне нужно на космодром, — сказал он. — Прощайте же! — И не оглядываясь, направился к выходу.

— Я узнала ее имя, Игорь, — шепнула Найя, когда он проходил мимо нее.

— Не нужно. Ничего не нужно! — Он тронул ее за руку. — А ты та самая Найя? — И не дожидаясь ответа, выскочил из домика. Вышла на крыльцо и Найя.

— Да, та самая.

— Это теперь невозможно доказать.

— Возможно. Ведь я все еще люблю тебя... Прощай!

— Прощай! — Игорь бросился к авиетке.

— Ее звали Айра, — успела крикнуть Найя. — Айра!

Авиетка свечой взвилась вверх.

На космодроме было многолюдно. Диспетчер объявил, что корабль Игоря должен стартовать в пять утра. Выйдя на плоскую крышу здания, Игорь опустился в шезлонг. Спать не хотелось.

«Айра! Ее звали Айра!» Это дошло до него только сейчас. Не может быть! Неужели это она? Где она сейчас? Значит, там, в институте Статистики он видел уже не ее. Найти! Нет, поздно. Да и зачем?

Игорь не выдержал и вскочил. Бегом спустился на второй этаж, где стояла справочная машина космовокзала. На ходу вытаскивая фотографию Айры из кармана, он подбежал к машине, сунул карточку в приемную щель и спросил, еле выговаривая слова от волнения.

— Ее зовут Айра. Сегодня... она не стартовала на каком-нибудь корабле с этого космодрома?

— Нет, — ответила машина, и Игорь облегченно вздохнул.

— Она есть в списках пассажиров?

— Да. Корабль «Фреантина». Старт в два часа одиннадцать минут.

Оставалось полтора часа.

На просьбу явиться к справочной, объявленной по местному вещанию, Айра не пришла. Он нашел ее на крыше космовокзала метрах в ста от того места, где недавно сидел сам.

— Айра, — он дотронулся до ее плеча. — Я ищу тебя второй день. Я все знаю. Кроме одного. Можно мне спросить у тебя?

Она позволила одним движением век.

— Почему тебе было плохо там, в зале?

Айра перестала раскачиваться в кресле-качалке. В ее больших глазах было столько страдания и терпения, что на мгновение он пожалел, что задал этот вопрос.

— Откуда ты знаешь?

— Я был там. Я все видел. И тебя, и Сэта. Обоих Сэтов. Я был сегодня у тебя и говорил с той, второй Айрой. А потом случайно узнал, что это была не ты. Так почему?

Айра долго молчала, а Игорь не задавал больше вопросов. Наконец Айра заговорила.

— Я не люблю его... И поняла это я там, в зале... Слишком поздно. Но если бы он был один, я, наверное, этого никогда не узнала бы... А что говорит Айра, которая осталась?

— О! Она будет любить своего Сэта вечно!

— Да, они научились это делать.

— Но для чего? Ведь проблема любви все равно не решена. И разве можно ее решить с помощью науки, техники, близнецов или каких-нибудь таблеток? Каждый должен сам решать ее и по-своему.

— У них этого никто не отнял. Они решают одну проблему за другой. Когда-нибудь должна была прийти и очередь любви. Вот она и пришла.

— Почему ты говоришь: у них?

— Потому что «Фреантина» стартует через час.

— Но ведь эксперимент не совсем удачен.

— Я занималась статистикой и поэтому знаю, чего они сумели добиться в эти два дня. О! Селга когда-нибудь будет счастливейшей из планет. И уже скоро.

— Тогда почему ты покидаешь ее?

— Я не люблю Сэта, и мне кажется, что здесь я все время буду попадать в исключения. А их будет все меньше и меньше.

Наконец-то Игорь понял все. И себя, и Айру, и Найю, и Гела, всех их. Кто-то, кажется, Шекспир, сказал, что любовь — всегда исключение. Появилось два Сэта, и Айра поняла, что она уже не любит своего Сэта... Не стало исключения... Теперь Сэтов, абсолютно одинаковых может быть и пять, и десять, и сто. Одинаковых в мыслях, в поступках, в чувствах, в чертах лица. Какое уж тут исключение! Нет исключения — нет любви. Потому Айра и бежит с Селги. И Сибилла, маленькая голубая девчонка с чудным низким голосом, тоже не выдержала бы, если бы ее Данов стало два. Когда она говорила о празднике Счастья, в ее лице было что-то чуть-чуть испуганное. И ее песня... Нет, она любит Дана, пока он такой, какой есть, пока он один, пока он составляет для нее исключение.

Ну а другие? Найя, Гел? Наверное, они находят исключение в чем-то другом, чего Игорь так и не понял. Они другие. Не похожи на него, на Айру, на Сибиллу. Они будут счастливы и на Селге.

— Но почему ты хотел узнать, что произошло со мной? Этого у меня никто не спрашивал. Даже Сэт. Меня только успокаивали и убеждали, что это пройдет. А это не прошло.

— Не знаю, — сказал капитан. — Я еще не знаю... Но если ты когда-нибудь попадешь на Землю, спроси там Игоря, капитана «Громовержца».

— Хорошо. Я обязательно спрошу.

Диктор объявил посадку на «Фреантину».

— До свиданья, Игорь.

— До свиданья, Айра.

ПОЮЩИЙ ЛЕС

«Громовержец» — старый грузовой корабль, похожий на приплюснутую консервную банку, — вторую неделю шел с такой непостижимой для него скоростью, что уже на сутки опережал график выхода из гиперпространства в окрестностях Земли.

Игорь — капитан корабля и единственный член экипажа — немало потрудился, чтобы «Громовержец» с такой скоростью поглощал парсеки, и теперь, сидя в своем командирском кресле, он ласково поглаживал панель пульта управления, вслушиваясь в многоголосую симфонию корабельных двигателей. Настроение у капитана было превосходное, и лишь одна мысль несколько удручала его. Он знал наверняка, что этот лишний день зря пропадет в блужданиях среди контор и складов земного космодрома.

Можно было, конечно, на несколько часов выйти в трехмерное пространство в окрестностях какой-нибудь планеты, побродить по непохожему на земной лесу, подышать странно пахнущим воздухом или, надев скафандр высшей защиты, взять бластер и поохотиться на диковинных чудовищ. Правилами такие остановки не запрещались, был бы выдержан график.

Игорь достал из ящичка пульта управления звездный атлас и раскрыл его на нужной странице. Палец капитана медленно полз по гладкому толстому листу, останавливаясь на мгновение возле черных точек с надписями на галактическом языке. Тоббус, Цинта, Бугиламия, Гревтеч, Адерс... Игорь попытался припомнить какие-нибудь сведения об этих звездах и их планетах, но ничего не вспомнил и махнул рукой. Где уж ему было в предыдущих рейсах заниматься этим! Старый грузовой корабль все время отставал от графика, и прийти в порт назначения вовремя стоило многих бессонных ночей.

Капитан попробовал извлечь какую-нибудь информацию из названий, но скоро был вынужден признать, что это невозможно. Тогда он закрыл глаза и ткнул пальцем в атлас. Потом осторожно открыл глаза, оторвал палец от страницы и прочитал: Карамбуния.

Карамбуния так Карамбуния! Он ввел ее координаты в кибернетического пилота. Для выхода в трехмерное пространство оставалось только нажать кнопку, но Игорь поборол искушение сделать это немедленно и сначала прошел в грузовой отсек и проверил там крепления небольших коробочек с лепестками роз с планеты Цидия. Через несколько дней этими лепестками девчонки с Земли будут украшать свои волосы.

Крепления были в образцовом состоянии. Игорь вернулся в командирский отсек, окинул приборы быстрым взглядом и нажал кнопку выхода в трехмерное пространство.

А через полчаса он уже подписывал анкету на космодроме города Асхи — столицы Карамбунии. Вскоре все формальности были закончены, и предупредительные карамбунийские киберы предложили Игорю шикарный экипаж для поездки в столицу, но он отказался и пошел неторопливым шагом к видневшимся невдалеке горам, покрытым густым зеленым лесом.

Игорь легко ступал по траве, вдыхая незнакомые ароматы, иногда останавливаясь, чтобы полежать в тени деревьев. Потом он вскочил на замшелый пенек, посмотрел в ту сторону, откуда пришел. Внизу, в долине, сквозь розоватую дымку колеблющегося воздуха и нежные, полупрозрачные верхушки кустарника еще можно было различить смутные очертания космопорта. Игорь прикинул в уме, сколько километров он уже отмахал. Пожалуй, километров пять. Но в ногах не чувствовалось никакой усталости. Он нисколько не жалел, что отказался от услуг предупредительных киберов и не воспользовался ни одним из видов транспорта, который бы за несколько минут доставил его в Асху.

До Асхи оставалось еще километров пять. Десять километров пешком в такой ясный солнечный день! По яркой, сочной траве! А этот лес, который стометровыми колоннами уходит в медленно поднимающуюся гору! Нет, он правильно сделал, что пошел пешком. На Карамбунию стоило заглянуть хотя бы для того, чтобы увидеть этот гигантский, могучий и в то же время странно нежный и задумчивый лес, послушать его прозрачную стеклянную тишину. Игорь уже заметил, что если долго вслушиваться в тишину леса, то в голове возникают мимолетные звуки незнакомой музыки. Даже лучи света тихонько позванивают. Но стоило хрустнуть ветке... Все пропало, снова тишина.

Игорь с шумом спрыгнул с пенька, упал на спину, раскинул руки и рассмеялся. Просто так, без всякой видимой при-

чины. И сразу стало тихо. Это было очень странно. Чем больше шумишь, тем глубже тишина... Игорь смотрел на облака, летящие над головой, не мигая, не шевелясь, затаив дыхание. И в лесу снова зазвенела странная незнакомая музыка. Игорю на мгновение показалось, что он знает эту мелодию. Да нет же! Откуда? И, сам того не замечая, Игорь запел. Запел одним голосом, без слов.

— Извините, — раздался совсем рядом бесстрастный голос.

Игорь вскочил. В нескольких шагах от него на четырех суставчатых металлических ножках, подняв голову вверх, стоял кибер.

— Извините, — повторил он, — это была новая песенка.

— Ну и что же? — недовольно спросил Игорь. Уж очень не вовремя появился этот кибер.

— Это была новая песенка, — снова повторил кибер, и в его голосе капитану «Громовержца» почудилось недоумение. Словно фраза, сказанная кибером, имела однозначный и всем известный смысл, а он, Игорь, почему-то его не понял. — Я выдам вам патент. Это была новая песенка.

— Мне не нужен патент, — сказал Игорь, чтобы только отделиться от назойливого собеседника. — Я не изобрел ее. Это пели деревья.

— Никто не поверит, что деревья могут петь. Это ваша песенка.

Кибер ткнул паучьей лапкой себя в грудь, и из нее на колесиках выкатился печатающий механизм. Кибер ловко застучал по клавишам металлическими пальцами и через несколько секунд протянул человеку узкую карточку с водяными знаками. В ней удостоверялось, что Игорь запатентовал песенку.

— Для чего это нужно? — спросил Игорь.

В лесу снова стояла мертвая тишина.

— Таков порядок, — бесстрастно ответил кибер.

— Чей порядок? Кто его ввел?

— Я не отвечаю на бессмысленные вопросы, — ответил кибер.

Игорю послышалась в его голосе издевка. Кибер не без изящества спрятал в своей груди печатающий механизм.

— Все равно. Песню нельзя запатентовать! Это бессмысленно, — убежденно произнес Игорь.

Кибер замер на несколько секунд, словно пытаясь что-то вспомнить. Коленки его мелко подрагивали. Левый глаз слегка косил.

— Извините. Это новый афоризм. Вы получите патент, — и кибер, быстро выкатив из себя машинку, снова лихо застучал по клавишам. — Вот ваш патент.

— Это уже настолько бессмысленно, что становится интересным.

Раздалась барабанная дробь, и кибер молча протянул Игорю третью карточку с водяными знаками.

— Я снова сказал афоризм? — спросил Игорь, вконец ошеломленный.

— Да, — коротко ответил кибер, спрятал печатающий механизм и смешно, по-собачьи, зашевелил ушками.

— Пасик! — раздалось за деревьями.

Кибер несколько раз нетерпеливо подпрыгнул на месте и стремглав кинулся на голос.

— Пасик, куда ты пропал? — капризно сказал звонкий женский голос. — Ты нехороший, Пасик... Оставил меня одну.

Из-за деревьев показалась невысокая загорелая девушка в ярком красном платье и с пышной копной пепельных волос. Похожая на диковинный цветок, она неторопливо шла вниз по бугру босиком. Кибер, подпрыгивая в высоту метра на полтора, старался лизнуть ее в нос. Девушка рассеянно отмахивалась от него. Заметив незнакомого человека, она на мгновение остановилась, затем решительно подошла к нему и спросила:

— Конечно, беседовали?

— Да, — первым ответил кибер и понурил голову.

— Очень интересно побеседовали, — сказал Игорь, поглядывая на кибера слегка неприязненно.

— Пасик у меня очень любопытный. И везде любит совать свой нос. Впрочем, для этого они и созданы. — И без всякого перехода вдруг выпалила: — Здравствуйте! Меня зовут Арика. У меня четыре патента и два дополнительных.

— Очень приятно, — вежливо раскланялся капитан «Громовержца», пряча в карман карточки с водяными знаками и косо поглядывая на членистоногого кибера, сновавшего возле ног. — Игорь. Капитан одной консервной коробки... А у меня, кажется, три патента. Впрочем, вашему Пасику это лучше знать.

— Три патента?! — удивилась девушка. — О! Это порядочно.

Но в ее голосе, когда она говорила о своих четырех патентах и двух дополнительных, было столько гордости и превос-

ходства, что Игорю стало стыдно за свои три, да еще полученные неизвестно за что.

— Свой второй дополнительный я получила три месяца назад за зеленую корову.

— За зеленую корову? — переспросил Игорь.

— Да. Это пришло мне в голову внезапно, как какое-то озарение. Мэр нашего города запатентовал картину «Корова на пяти ногах».

— На пяти ногах! — воскликнул капитан «Громовержца».

— Да. А я изменила цвет.

— У вас коровы имеют пять ног? — спросил Игорь.

— Какие еще пять ног? Конечно, четыре. Но на четырехногую корову патент ведь уже не получишь. Он очень умный, этот Жажога.

— Жажога?..

— Да. Это мэр нашего города. Разве вы не знаете?

— Нет. А для чего он нарисовал корову с пятью ногами?

— Ну как вы не поймете! Ведь патент выдается только в том случае, если есть существенная новизна. Вот он и нарисовал пятиногую.

— А на самом деле пятиногих коров нет?

— Откуда они могут взяться? Все коровы четырехногие.

— Угу... — пробормотал Игорь. — Теперь все понятно. Только вот зачем он нарисовал пятиногую?

— Я же вам говорила. Какой вы бестолковый! И за что только вам дали три патента?

— Я и сам не знаю.

— Чтобы получить патент, нужно что-нибудь изобрести. Понятно?

Игорь согласно кивнул.

— А изобретением признается отличающееся существенной новизной решение эстетической задачи в любой области искусства, дающее положительный эффект.

Игорь растерянно опустился на траву и, глядя снизу вверх, спросил:

— Только искусства?

Арика недоуменно пожала плечами:

— А где еще можно что-нибудь изобрести?

— А наука, техника?

Арика присела рядом с Игорем и осторожно положила ему на лоб свою руку:

— Пасик, он, кажется, болен.

— Я здоров, как бык! — попробовал отшутиться Игорь.

— Патент № 1278329. Выдан 243 года назад. Незаконное использование... — забубнил кибер. Игорь изловчился и поддел его носком ботинка. Пасик перевернулся, отбежал за ближайший куст и, ничуть не обидевшись, продолжал: — ...карается по статье № 1 Кодекса Законов. Штраф в пользу владельца патента 211 буреней.

— Что за штраф? — возмутился Игорь. — Чем я незаконно воспользовался?

Арика с опаской посмотрела на Пасика:

— Но ведь ты же сказал: «Я здоров...» — и так далее.

— Я действительно здоров, как бык, — сказал Игорь, разводя в недоумении руками. — Что же здесь незаконного?

— Штраф еще в 211 буреней, — отметил кибер. Игорь запустил в него попавшейся под руку палкой, но промахнулся.

— Эта фраза запатентована. Если у тебя нет на нее лицензии, ты не имеешь права ею пользоваться, — сказала Арика. Она была явно огорчена случившимся.

— Бред какой-то. У вас что, всегда так встречают новичков?

— Так ты из провинции? — в голосе Арики промелькнуло сочувствие.

— Да. Я — человек с Земли.

— Это на юго-западе?

Игорь печально кивнул:

— Да, почти рядом. В соседней спиральной галактике.

— Я так и знала, — сказала Арика и снова перешла не «вы». — Штраф вы можете уплатить непосредственно Пасику. Он все передаст кому нужно.

Игорь лег на траву, рассеянно покусывая стебелек какого-то цветка. Арика пододвинулась к нему поближе и погладила по голове.

— Какой ты смешной и нелепый! Не знаешь самых элементарных вещей.

Игорь перевернулся на спину и спросил:

— А для чего тебе самой патенты?

— Их же можно продать, — оживилась девушка.

— Это очень выгодно?

— Да. Только вот с моей зеленой коровой... — девушка замялась и всхлипнула. — Никто не берет.

— Неужели никто? — удивился Игорь.

— Никто. Ну и пусть! Зато теперь никто не имеет права рисовать зеленую корову.

— Это, наверное, большое утешение?

— Да! — сказала Арика с вызовом. — Представь себе, большое!

— А-а-а! — Игорь изо всех сил старался казаться понятливым. — И что же у вас запатентовано? Все искусство?

— Да. Музыка. Живопись. Поэзия. Юмор. Афоризмы. Танцы.

И вдруг снова без всякого перехода:

— Нет. Игорь, ты не из юго-западного района. Ты, наверное, свалился с Нулы. Или, может быть, ты с Бугиламии? Ты не шпион?

— Ну, Арика, — засмеялся капитан «Громовержца», — ты поражаешь меня своей проницательностью. А что бы ты сделала, будь я действительно шпион с Бугиламии? Кстати, попроси своего Пасика удалиться куда-нибудь подальше. Он мне не нравится. Слишком назойлив. Все подслушивает, подсматривает, принюхивается. Пошел прочь!

Игорь сделал движение рукой. Пасик отскочил на безопасное расстояние и лениво почесал паучьей лапкой свое брюшко.

Арика подозрительно посмотрела на Игоря:

— Зачем ты его прогоняешь?

— А тебе он разве не мешает? Он и тебя оштрафует. Или ты знаешь все патенты наизусть?

— У каждого должен быть свой кибер. Так было всегда. Иначе вся система патентов не имела бы смысла. Каждый мог бы воспользоваться любым изобретением. Сказать, например, какую-нибудь шутку вслух, а потом отказаться. Попробуй докажи тогда, что он воспользовался чужим патентом. О, это были бы бесконечные судебные процессы. Хаос. Конец. Конец всего разумного. Конец мира. Вот киберы и помогают нам. У каждого есть кибер, который следит за соблюдением патентной дисциплины. Он и патенты выдает, и накладывает штраф за незаконное пользование чужими. Но почему ты меня об этом спрашиваешь? Каждый должен знать это.

— Я уже говорил тебе, что я не житель Карамбунии. Все это для меня так ново!

— Если ты не житель Карамбунии, значит, ты с Бугиламии, — Арика испуганно закрыла себе рот рукой, чуть отодвинулась и оглянулась, желая убедиться, что паукообразный

Пасик поблизости. — Ты ведь знаешь, что киберы охраняют своих хозяев? У них есть электрические хлысты.

— Нет, не знаю, — сказал Игорь и, помолчав немного, спросил: — А разве, кроме Карамбунии и Бугиламии, в мире нет других обитаемых миров?

— Откуда же им взяться?

— Да, довод неотразимый. — Игорь снова лег на траву, а Арика своим приятным голоском затараторила что-то о своей бедной зеленой корове.

Лес молчал. Все в нем замерло. Ни малейшего движения, хотя по небу несутся облака. Значит, ветер все-таки есть?! Значит, движение все-таки есть! Тогда почему все вокруг замерло, затаилось? Потому что Арика не может закрыть рот? Тишина, потому что в лесу есть посторонний шум? А какая симфония звучала в лесу! Но ведь он пел вслух! И лес его не испугался, не затих. Странный лес.

— Арика, — вдруг спросил Игорь, — ты часто бываешь в Поющем Лесу?

— Разве лес может петь? — удивилась девушка. — Ты что-то путаешь, Игорь.

— Никто не поверит, что лес может петь, — ехидно заметил Пасик. — Я уже говорил ему.

Арика весело расхохоталась:

— Ты очень забавный парень, Игорь. И что же это за лес? Где он расположен? Неужели прямо на Карамбунии?

Теперь Игорь с удивлением посмотрел на девушку:

— Но ведь лес, в котором мы сейчас находимся, — Поющий Лес!

— Ошибаешься, — жестко сказала Арика и сразу стала серьезной. — Этот лес называется Всегда Молчащим Лесом. Здесь всегда тихо. Очень тихо.

— Это потому, что ты все время говоришь. Попробуй помолчать. И он запоет.

— Ошибаешься, — повторила Арика. — Он будет молчать. Сейчас ты убедишься в этом.

Арика села, поджав под себя босые ноги, и притихла. Несколько минут они оба не шевелились. В лесу было тихо. Так тихо, что становилось нехорошо на душе. Мрачная, ледяная тишина. Лес молчал. И Игорь, не выдержав, заговорил первым:

— Сейчас он действительно почему-то молчит. Но ведь он же пел! Я слышал музыку. Я даже сам запел вслух, и твой Пасик выдал мне патент. Пасик, это ведь правда?

— Никто не поверит, что лес может петь, — с достоинством ответил Пасик.

— Но я не успел запомнить мелодию! Твой пауко-кибер сразу же вручил мне вот этот патент, — Игорь достал из кармана продолговатый листок и протянул его девушке. — У меня есть патент, но у меня нет самой песни. Я ее забыл. Понимаешь, забыл! А Лес, наверное, обиделся. Поэтому и молчит. Не веришь?

Арика отрицательно покачала головой и сказала:

— Твоя песня должна быть записана в запоминающем устройстве Пасика.

— Тогда прикажи ему, чтобы он ее проиграл!

— Я этого не могу сделать. Ведь это твоя песня. Сделай сам.

— А он меня послушает?

— Конечно, если ты ему покажешь свой патент.

Игорь протянул лист с водяными знаками к самым глазам кибера. Тот, зашипев: «Вижу, вижу!», нажал кнопку на своей груди, и капитан «Громовержца» услышал мелодию, которую он пел здесь, в Поющем Лесу.

Арика вся подалась вперед. Удивление и восхищение было написано на ее лице. Мелодия была несложная, да и певец из Игоря был неважный. И все-таки девушку все это очень взволновало. А мелодия скоро кончилась.

— Ну как? — спросил Игорь. — Теперь ты веришь, что эту песню сочинил Лес?

— Ты изобрел чудесную песню, Игорь. Я ее буду иногда напевать про себя.

— Пой вслух, если она тебе нравится.

— Ты думаешь, что у меня тысячи буреней? Чем же я буду платить штрафы?

— Это все из-за того, что у меня есть на нее патент? Но я не возражаю. Пой.

— А Пасик на что? Он сейчас же наложит штраф в тысячу буреней.

— А ну-ка пошел отсюда, паук! — Игорь вскочил и пошарил в траве, ища какую-нибудь палку.

— Игорь, это бесполезно. — Арика потянула его за руку. — Сядь со мной. От Пасика никуда не денешься. Он все равно все будет знать. Он все видит и слышит.

— Так как же вы в таком случае поете? Покупаете лицензии на любимые песни?

— Конечно. Только это очень дорого. Последний раз я пела, когда мне было семнадцать лет. Это было в мой день рождения. Папа купил мне в подарок одноразовую лицензию одной очень грустной песенки. О! Как это было чудесно!.. А ты говоришь — Поющий Лес. Разве такое бывает?

— Было! — упорно повторил Игорь. — Было! А хочешь, я подарю тебе эту песню? А?

Арика сначала не поняла смысла слов, сказанных Игорем, а потом испуганно замахала на него руками.

— Что ты! Не делай этого!

— Пасик, сюда! — крикнул капитан «Громовержца». Кибер подбежал поближе, но остановился на почтительном расстоянии. — Этот патент принадлежит Арике. Я дарю его ей. Понял?

Пасик осторожно взял лист, протянутый ему, разорвал на мелкие части, ткнул себя пальцем в грудь и застучал по клавишам машинки.

— Игорь, не делай этого! Я уже не смогу отдать тебе патент. Ведь дарить можно всего лишь один раз!

— Глупая! Я дарю его тебе навсегда! Что в этом особенного?

— У тебя, наверное, очень много буреней?

— У меня нет ни одного буреня.

— Тогда зачем ты подарил патент? Надо было отдать вместо штрафа. Может быть, ты и этого не знал?

— Не знал. Но если бы и знал, ничего бы не изменилось. Подарил, и все. У меня есть еще два патента. Этого будет достаточно, чтобы рассчитаться?

— Да. Но тогда у тебя ничего не останется. Без патентов и буреней! Что же ты будешь делать? У меня есть деньги, я внесу их за тебя. Хорошо?

— Плохо. Плевал я на патенты, Пасик, лови! Ну, теперь я тебе ничего не должен?

— Задолженность погашена, — мрачно ответил Пасик.

— Ну и прекрасно. А теперь, Арика, спой свою песенку. Я ее тоже с удовольствием послушаю.

— Я так давно не пела. Не знаю, получится ли?

— Получится!

По небу, догоняя друг друга, плыли облака. Их становилось все больше. Ветер изменил направление. Воздух трепетал в ветвях безмолвных неподвижных деревьев. А деревья по-прежнему молчали. Арика опустилась на колени и

запела, подняв вверх руки. У нее был красивый и сильный голос.

Голос рвался в вышину, к облакам, мягко расстилался по траве, шевелил листья деревьев. Голос девушки расшевелил Молчащий Лес. Игорь удивленно осмотрелся. Лес пел. Нет, он не пел, он аккомпанировал голосу сотнями скрипок, арф, флейт, виолончелей. Мягкая дробь барабанов и гулкие глубокие звуки контрабасов. Игорь встал и повернулся на месте. Весь Лес! Весь Лес исполнял эту необыкновенную песню. Это уже была не просто песня. Это был концерт для голоса с оркестром. Даже Пасик замер и, кажется, внимательно слушал. Игорь закрыл глаза и медленно закружился, чувствуя, как всю его душу наполняет странная радость и грусть. И в это время голос, плавно замирая, стих.

Затих и Лес.

Пасик украдкой вытер глаза платочком и тотчас же спрятал его в нишу на правом боку. Арика прижала руки к груди и прошептала:

— О-о! Как это было чудесно!

— Да. Это было чудесно. У тебя такой сильный и красивый голос. И ты поешь только раз в несколько лет?

— Я пела раза два или три.

— Ну а теперь ты слышала, как вместе с тобою пел Лес? Даже Пасик расчувствовался, хотя, как я предполагаю, ни за что в жизни в этом не признается.

— Игорь, зачем ты меня разыгрываешь? Я не слышала, как пел Лес. Я даже свой голос слышала как будто во сне. Откуда-то издалека. Это было так странно.

— Конечно, ты могла и не заметить. Но ведь я-то слышал. Слышал! Прошу тебя, спой еще раз и прислушайся к Лесу.

Арику не надо было просить дважды. Казалось, она была готова петь с утра до вечера.

И снова Игорь отчетливо, всем своим существом ощутил, как пели, дополняя друг друга, Лес и девушка, как Лес аккомпанировал голосу и как старался он побороть легкую грусть Арики, наполнить ее душу ощущением счастья и красоты.

Кибер отбежал за ближайший куст и там потихонечку вытер нос. Он опять расчувствовался.

А Арика снова ничего не слышала.

— Ты слишком увлекаешься, — глотая комок в горле, сказал Игорь. — Это, конечно, очень хорошо. Но так ты действительно ничего не услышишь. Давай проведем эксперимент. Ложись на спину и смотри в небо. А ты, Пасик, перестань хлюпать носом и замри... Тише. Сейчас, если не шуметь, будет музыка. Сейчас она начнется.

Хрустальная тишина Леса заколыхалась, пришла в движение, зазвенела тоненькими тростиночками, колокольчиками, камышинками. Волнами зашевелилась, запела густая трава, затрепетали в медленном танце листья. Как все необыкновенно! Красиво, ласково и стройно пели листья Леса. Но вот по траве пробежали первые смутные, неясные признаки тревоги. Нет, показалось. Все спокойно. Лежать и слушать. Вот в чем счастье. Слушать эту совершенную красоту.

Лес пел о человеке. О человеке, который увидел в облаках, плывущих в бездонном голубом небе, лицо любимой. Оно все время меняется. Смеется и радуется, грустит и плачет. Оно все время разное и одно и то же. Оно одно, потому что любимое, и разное, потому что живое. Лес пел о человеке, который увидел в стройном деревце обнаженное тело своей любимой и обнял его. И о том, как в стремительном полете птицы человек узнал свою мечту. О звездах, об этих маленьких светлячках на черном покрывале Ничто. О человеке, который покорил это великое Ничто. Это великое Все.

И вдруг песня оборвалась. Сотни труб и кларнетов застонали одновременно и неожиданно. Деревья замахали руками, сопротивляясь свирепому ветру, ворвавшемуся в их стройный, красиво звучащий мир. А флейты ветра рвались вперед, срывая с деревьев одежды. Ведь деревья стояли на их пути. Лес сопротивлялся. Трубы, флейты, кларнеты разорвали небо на сотни кусков, и небо упало вниз. Ударил огромный барабан. И вот уже ничего не слышно, кроме сплошного грохота...

Арика трясла Игоря за плечо:

— Ты снова пел. Это было еще лучше!

Игорь вскочил. Гремел гром где-то высоко над лесом. Крупные капли дождя барабанили по лицу, рукам, голым ногам девушки, по траве и листьям.

— Ты изобретаешь песни на ходу. Пасик уже выбивает тебе очередной патент. Так, чего доброго, ты скоро станешь мэром Асхи.

— Значит, ты опять ничего не слышала?

— Ты пел. Я слышала.

— А Лес? Ведь это он пел!

— Нет, Игорь, этого я не слышала. И никто никогда этого не слышал. Этот Лес всегда молчит. Бежим!

— Куда? — Игорь с грустью посмотрел на Арику.

— В город. Из Леса. Ведь дождь.

— Действительно. — Игорь рассмеялся, рывком стянул с себя водоотталкивающую рубашку и накинул ее на плечи девушки. Та сделала движение, как бы сбрасывая ее с себя.

— Я ведь все равно уже промокла.

— Промокла до нитки, — улыбнулся Игорь.

— Игорь! — закричала девушка. — Этого нельзя говорить. Что ты наделал!

Капитан «Громовержца» посмотрел на нее удивленно, в это время Пасик объявил об очередном нарушении Закона о патентах. Игорь отмахнулся:

— Ерунда! У меня есть чем рассчитаться.

— Как это нелепо! Такую музыку отдать за такую глупую оплошность. Я заплачу за тебя. Хорошо?

— Нет. Плохо. Ты же меня совсем не знаешь.

— Ты меня тоже.

— Послушай, а твоя зеленая корова? Я не хочу быть должным киберу. Я дарю тебе музыку, а ты мне свою зеленую корову. Идет?

Через минуту дело было улажено, и зеленая корова перешла в собственность какого-то неизвестного счастливца.

Арика снова повеселела и, держа Игоря за руку, бежала по Лесу, разбрызгивая капли воды и не разбирая дороги. На опушке Леса она, запыхавшись, остановилась и схватилась правой рукой за грудь, тяжело дыша.

— Зря бежали. В Лесу было так хорошо.

— Зря, — согласился Игорь.

По его загорелому торсу стекала ручейками вода. Волосы намокли и слиплись на лбу.

— Ты такой добрый. Почему? — лукаво спросила Арика.

— С чего ты взяла, что я добрый.

— Но ведь ты подарил мне две песни. Незнакомой девушке.

— Я могу подарить их столько, сколько мне придет в голову. Просто у нас любую песню может петь каждый.

— Ты рассказываешь сказки. Я все равно в это не поверю. Не хитри. Я знаю, в чем дело. Ты в меня немного влюблен. Правда ведь?

Игорь рассмеялся.

— Я влюблен во всех красивых девушек. И всем готов дарить песни.

— Значит, ты считаешь, что я красивая?

— Да. Ты ведь это и сама знаешь.

— Знаю; — тихо сказала Арика и смешно сморщила нос.

Дождь все еще лил, как из ведра. Игорь и Арика сбежали вниз по косогору по мокрой скользкой траве. Пасик с понурым видом трусил за ними. Девушка несколько раз чуть не упала, но Игорь вовремя подхватывал ее и удерживал. И все же в самом низу, почти у самой дороги, они упали. Перемазанные грязью и мокрые, они сели у обочины дороги. Пасик, явно недовольный остановкой, нетерпеливо бегал вокруг. Широкое полотно шоссе было пустынно.

— У нас скоро будет праздник Лета, — сказала Арика. — Мы уже купили лицензии на несколько шуток и острот. А теперь у меня есть две такие песни! Ах, если бы мне удалось продать свои патенты! Какой бы был праздник!

— Я постараюсь тебе помочь, — ответил Игорь.

Он вдруг задумался. Почему Арика не слышит Поющего Леса? Ведь не глухая же она! У нее такой музыкальный слух и голос, что, слушая ее, можно забыть все на свете. Тогда почему она не слышит Поющего Леса?

— Я помогу тебе, — машинально проговорил он.

— Что ты! Ты и так сделал для меня очень много. Я буду петь твои песни целый день. Такое не у всех бывает на праздниках.

— Праздник без песен. Как вы могли дойти до этого?

— Но ведь так было всегда. А у вас разве не выдают патенты на изобретения?

— Выдают.

— Ну вот видишь. — Арика торжествующе посмотрела на него. — Везде так!

— Правда, у нас выдаются патенты только в науке и технике.

— Что ты говоришь? — изумилась Арика. — Как мне вас жаль! Как вы могли дойти до этого? — Она посмотрела ему прямо в глаза: — Игорь, скажи, что ты пошутил.

— Я сказал правду.

— Но для чего? Для чего?

— Чтобы был стимул для развития науки и техники.

— Невероятно. А разве без этого развитие науки и техники у вас остановилось бы?

— Если не будет стимула, кто же захочет что-нибудь изобретать?

— А разве вы не можете изобретать просто так, потому что это интересно, приятно, потому что не изобретать нельзя?

Арика смотрела на него. Струйки воды катились по лбу, носу, щекам, становились мутными и стекали по подбородку.

— Игорь, скажи мне правду. Откуда ты появился здесь?

— Я тебе говорил. С Земли.

— Это там? — Арика подняла палец вверх.

Капитан «Громовержца» кивнул головой.

Гроза прошла. Последние крупные тяжелые капли летнего дождя. Над Поющим Лесом небо освободилось от туч. Блестящая коричневая лента пластикового шоссе кое-где еще вспыхивала, вспучивалась небольшими водяными пузырями. За шоссе начиналось поле, покрытое высокой густой травой и усыпанное цветами. Цветы тихонечко вызванивали какую-то незамысловатую мелодию. Вдали, у горизонта, виднелись остроконечные пирамиды зданий. Это и была Асха, столица Карамбунии.

— Пошли, — Арика выскочила и потянула Игоря за руку. — И возьми свою рубашку.

— В таком виде?

— Здесь недалеко есть озеро.

Игорь встал, и они вышли на шоссе. Метров через двести Арика свернула в сторону, и Игорь увидел озеро. Они разделись, развесили на кустах свою мокрую одежду и бросились в прохладную воду, а потом упали на траву, блаженно подставив солнцу свои загорелые спины.

— А теперь расскажи мне о Земле, — попросила Арика.

— На моей родине каждый может говорить, что захочет, петь, что ему нравится, рисовать все, что ему вздумается, танцевать, играть в театре и смеяться. — И Игорь рассказал ей о Земле.

Арика слушала с волнением и недоверием. Она сидела перед ним на коленях, то машинально откидывая волосы со лба, то срывая травинки, то прижимая маленькие кулачки к груди и покусывая губы.

— Это сказка? — простодушно спросила она, когда Игорь кончил рассказывать.

— Это правда.

— Я не могу в это поверить. Даже представить себе не могу.

Пасик сидел с отвисшей челюстью, недоверчиво поглядывая на капитана «Громовержца».

— Послушай, Арика, — сказал Игорь. — А разве вы не можете сочинять музыку и писать картины просто так, потому что это интересно, приятно, потому что не сочинять нельзя? Я сказал почти твоими словами.

— Ах, Игорь, но ведь существует же система патентов. И если я сразу же не возьму патент, то это сделает кто-нибудь другой. А какая мне от этого польза?

— Ты можешь умереть с голоду, если у тебя не будет патентов и буреней?

— Нет, Игорь. И пища, и одежда, и квартиры у нас бесплатные. Деньги нужны только, чтобы купить песенку, смешную фразу, движение в танце.

— Прекрасно. Значит оттого, что ты не возьмешь патент, пользы тебе мало. Но ведь и сейчас ты не можешь ни петь, ни рисовать, ни говорить смешные остроты. Да и что значат твои шесть патентов по сравнению с миллиардами уже имеющихся? Как это у вас все началось?

— Наверное, когда-то давным-давно, никто не хотел сочинять музыку, рисовать, смеяться, и вот, чтобы стимулировать искусство, ввели эту систему.

— Ага! Ты уже не говоришь, что это было всегда.

— Я не знаю, — сказала Арика растерянно.

— А если было не так? Если кому-то просто захотелось все прибрать к своим рукам? Ведь вы совсем не поете. Вас или обманывают, или вы сами бессознательно делаете это.

Арика молчала.

— Мне обидно за вас, за то, что вы никогда не слышали музыку Поющего Леса, годами не слышите шуток, рисуете уродливых зеленых коров с пятью ногами, боитесь произнести лишнее слово и платите штрафы металлическим паукам, которых сами когда-то и изобрели. Мне жаль тебя, Арика.

— Не жалей, — сказала девушка тихим голосом. Что-то в ней изменилось, сломалось. В ней уже не чувствовалось уверенности и гордости за себя. — Не жалей, Игорь. Все всегда было так.

— Ложь это! — вскричал Игорь. — Все всегда было поразному! Прости, я сорвался, — он дотронулся до ее плеча пальцами. Она вздрогнула и сказала:

— Уходи к своим... уходи.

— Я скоро уйду.

Она оттолкнула его, скорчилась в комочек и заплакала совсем по-детски, всхлипывая и размазывая слезы ладонью.

Потом повернулась к нему, опершись на вздрагивающую руку, и крикнула срывающимся голосом, в котором совсем не чувствовалось убежденности, а были только жалость к себе и страстное желание, чтобы ее разубедили:

— Не верю, не верю! И Лес не может быть Поющим! Лес всегда молчит!

Пасик открыл было рот, но не сказал своего обычного: «Никто не поверит, что Лес может петь».

— Ты злой, Игорь, — совсем тихо сказала Арика. — Ты хороший, но злой. Ты рассказываешь сказки, слушая которые человек делается счастливым. А потом сказка кончается, человек оглядывается, и ему совсем не хочется жить. Потому что вокруг все по-другому, все страшно, все вечно. А хуже всего твоя сказка про Поющий Лес. Бог с ней, с Землей. Она далеко. И я никогда не узнаю, так ли на ней, как ты рассказывал. Но ведь Лес-то рядом. И я знаю, что он всегда молчит. Всегда молчит, молчит, молчит. Это жестоко! Я теперь никогда не войду в Лес. Мне не вынести этого... Спасибо тебе за песни.

Она медленно встала, стройная, смуглая и изящная, осторожно сняла с куста свое яркое красное платье, надела его и резко тряхнула копной пепельных волос.

Игорь сидел, обхватив колени руками, положив на них подбородок, и улыбался. Весело улыбался!

Арика взглянула на него, заметила улыбку, закусила губу и гордо произнесла:

— Прощай, Игорь. Пасик, пошли домой.

Но Пасик вдруг виновато опустил голову к земле, пригибая передние лапки, и нерешительно замялся на месте.

— Прощай! — еще раз сказала Арика.

— Ты не уйдешь, — ответил ей Игорь.

Арика заложила руки за затылок и медленно, но решительно пошла к шоссе.

— Ты не уйдешь! — крикнул Игорь. — Я знаю, почему ты не слышишь Поющего Леса. Арика, я знаю! Ты услышишь его!

Девушка остановилась в нерешительности. Отчаяние и надежда были написаны на ее лице.

Игорь вскочил на ноги, путаясь в рукавах, натянул на себя рубашку, смешно запрыгал на одной ноге, не попадая другой в брюки.

— Пошли! — крикнул он, но девушка не сдвинулась с места. — Пошли! — Он схватил ее за руку чуть повыше запястья.

И они снова бросились в Лес. Спотыкаясь и чуть не падая, взобрались на косогор. За ними семенил возбужденный Пасик.

Они прибежали к тому месту, где встретились. Арика тяжело дышала. Она вся была в напряженном ожидании чуда. Он обещал ей, что она услышит Поющий Лес. Еще никто из карамбунийцев не слышал этого, а она услышит, сейчас услышит. Можно было представить, что бы с ней произошло, обмани ее Игорь.

— Арика, ты веришь, что Лес может петь? — спросил Игорь немного торжественно.

— Верю.

— И ты очень хочешь услышать его?

— Очень.

— Тогда подари свои патенты.

— Кому? — испуганно спросила Арика. Потом неуверенно взглянула на него исподлобья. — Тебе? Да?

— Нет. Просто подари. Всем карамбунийцам. Каждому! Сообщи об этом Пасику. Он знает свое дело.

— Как! И твои песни?

— И их тоже.

— Игорь, я сделаю все, как ты хочешь.

— Страшно? Страшно расставаться с ними?

— Страшно, но я верю тебе.

— Помнишь, я все говорил тебе, что Лес поет, но ты не слышала его. А я слышал, когда был один. Потом твой Пасик выдал мне три патента. И тут, захотев еще раз услышать Лес, я не услышал ничего. Мы сидели тихо-тихо, а он все молчал. Потом я избавился от своих пиитов и снова услышал Лес, а ты — по-прежнему нет. Ты понимаешь меня?

— Я понимаю, Игорь. Пасик, я дарю патенты. Я избавляюсь от них. Пасик, у меня нет больше патентов?

— Арика, у вас нет патентов... и почти нет буреней.

— А теперь слушайте, — сказал Игорь.

И они услышали.

Медленно и напевно журчал ручеек мелодии, ласково обнимая верхушки деревьев, шевеля и снимая с них остатки сладостной дремы. Проснитесь! Посмотрите, как прекрасно вокруг! Как прекрасен мир! Сколько в нем чудес! Пусть исчезнут расплывчатые хлопья низко несущихся туч, издав чуть слышный печальный стон. Вы слышите, как заплакала скрипка резко разогнувшейся ветки, и миллионы звенящих

звуков-брызг маленькими солнцами упали на мягкую мокрую траву.

Арика пела.

Ее голос просил. Нет! Он требовал! Оглянитесь! Разве вы не замечаете, как в зачарованном хороводе кружатся деревья, аккомпанируя себе на гитарах, как они незаметными движениями поправляют свои нарядные платья. Как гордо горят их глаза. Ведь они красивы и знают это.

Голос Арики уносился в небо. Какая сила была в нем! И уже нельзя было понять, кто был первым. Этот ли Поющий Лес разбудил песню в душе девушки, стоящей на коленях. Или она вдохнула жизнь в этот Молчащий Лес.

Еще несколько аккордов, и Лес смолк. Арика, сияющая от счастья, обернулась к Игорю:

— Теперь я все слышала. Он пел!

Пасик выкатил из себя печатающий механизм и выжидающе посмотрел на свою хозяйку.

— Не надо, Пасик. Подари ее людям.

— Почему же ты, Пасик, теперь не говоришь, что Лес не может петь? — спросил Игорь с иронией, но без ехидства.

— Ты был прав, — сконфуженно ответил кибер, — когда говорил, что Лес может петь. Я это знаю давно. Все киберы это знают. На Карамбунии поет каждый куст, не то что дерево.

— Зачем же ты возражал?

— Никто из карамбунийцев этого не знает. Мне бы не поверили.

— Теперь поверят?

— Наверное, нет.

— Теперь они поверят, — убежденно сказала Арика. — Какой теперь у нас будет праздник Лета! Ты останешься, Игорь. Это очень скоро. Через десять дней.

— Нет, Арика. Я улетаю.

— Но ты вернешься назад к празднику?

Капитан «Громовержца» потер лоб ладонью. Шесть дней до Земли. Один день разгрузки. И шесть обратно. Всего тринадцать. Нет, не успеть.

— Я успею, — сказал Игорь, и у него даже голова загудела, когда он вспомнил свою колымагу «Громовержца». — Я обязательно успею. До свиданья, Арика. Спой мне с Лесом на прощанье что-нибудь.

— До свиданья, Игорь! Я жду тебя!

Голос и Лес пели о Человеке.

О Человеке, который прошел мучительную, изнуряющую дорогу недоверия, жестокости, страданий и горя, но не разучился видеть прекрасное, не разучился его создавать.

Создавать, не прося взамен славы и признательности, любви и благодарности, потому что он просто не может не делать прекрасное. Это у него в крови. Это у него в сознании. В этом суть Человека.

Голос пел. Как прекрасен мир!

— Проводи меня немного, — сказал Игорь Пасику.

— Возьми меня с собой!

— Нет, ты останешься с ней.

— Мне будет трудно без тебя.

— Знаю. Но Арике будет еще труднее. Без меня и без тебя.

Платок Пасика был мокр от слез, и Игорь подарил ему свой.

Они шли тихо, стараясь не хрустнуть веткой, затаив дыхание, вслушиваясь в затихающие звуки Голоса и Поющего Леса.

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ

Игорь работал с упоением. Его остро отточенное мачете бешено мелькало в зарослях тростника. Аккуратно поваленные стебли растений ровной полосой тянулись за ним на сотни метров. Ноги часто проваливались в неглубокие ямы, и тогда вода поднималась почти до пояса. Игорь на мгновение терял равновесие, но не падал. Все его тело подчинялось стройному ритму мелодии, звучавшей в голове. Иногда возникали какие-то неясные ощущения, но они проносились так быстро, что Игорь не успевал их осмыслить. Это не огорчало. Спасительный ритм звучал отчетливо. Движения были удивительно точными и быстрыми. Со стороны могло показаться, упади он сейчас, руки его с остро отточенным мачете высунутся из воды и, выворачиваясь в суставах, все так же точно, в трех сантиметрах от воды, будут ровными рядами срезать тростник.

Взмах. Руби! Взмах. Руби! Руби!! Руби!!! И вдруг ритм оборвался. Поднятые руки на мгновение замерли. Лицо исказила гримаса боли и недоумения, Игорь сделал шаг вперед. Обрушил мачете вниз. Удар получился слабый и неточный. Мачете выскользнуло из рук, Игорь покачнулся и упал навзничь. Вода хлынула ему в рот, перекошенный криком. Липкая пелена страха заволакивала сознание. Все исчезло. Не было ни тела, ни воды, ни тростника. Все заполнила непонятная, неизвестно откуда идущая боль. Мир, состоящий из страха и боли!

Гарс, загорелый великан, который рубил справа от Игоря, тоже уронил мачете и безвольно осел в грязную жижу. Жадно ловя почерневшим ртом воздух, он ждал, когда пройдет эта внезапно навалившаяся тяжесть и боль... Повернув голову, он увидел извивающееся в судорогах тело человека. Запинаясь и падая на четвереньки, с трудом переставляя ослабевшие ноги, Гарс доплелся до Игоря, дрожащими от напряжения руками приподнял его голову и помог сесть. Игорь обвел блуждающим взглядом поле. Рабочие сидели или полулежали, опершись на стену тростника.

Страх проходил. Осталась боль и смертельная усталость.

«Спасибо», — хотел сказать Игорь, но даже не расслышал своего голоса. Гарс участливо взглянул на него и опустился рядом. Его огромные руки мелко вздрагивали.

— Старый бульдог перематывает ленту... Это всегда бывает, когда перематывают ленту... Я слышал... Сейчас это кончится... Он хороший парень... Последнюю ленту не будет так гнать...

Игорь согласно кивал головой, хотя никак не мог припомнить, о какой ленте говорит Гарс. Грязь сбегала по лицу, но не было сил поднять руку и вытереть ее. Все тело нестерпимо болело. Лицо осунулось и стало землистым.

В полукилометре от них виднелись силуэты грузовых фургонов и легковых мобилей. Где-то в одном из них мастер перематывал ленту. Казалось, что взгляды рабочих прикованы к фургонам. Сейчас «Бульдог» перемотает ленту — и все пройдет. Сейчас. Еще немного.

Из фургона выскочил человек и пустил в небо ракету.

В голове медленно возникал знакомый ритм. Руки шарили в воде, ища мачете. Боль исчезла. Гарс крупными скачками мчался на свое место.

Игорь поправил эластичные браслеты на запястьях и схватил мачете. Взмах. Руби. Руби!! Руби!!! Вновь стройный ритм неосязаемой, непонятной мелодии звучал в голове. Ритм управлял мускулами Игоря. Он ни о чем не думал. Нескрываемое удовольствие было написано на его загорелом лице. Это было великолепно — рубить тростник со скоростью в десять раз большей, чем без браслетов, по колено в воде, ни о чем не думая и ничего не ощущая.

Катушка с лентой сделала последний оборот и остановилась.

И снова навалившаяся усталость вдавила Игоря в рыхлую почву и захлестнула мутной водой. Но на этот раз он не потерял сознания, с трудом встал на четвереньки, выпрямился и, еле переставляя ноги, побрел к насыпи. По обеим сторонам от него, падая и упрямо поднимаясь вновь, тянулась шеренга грязных, смертельно уставших людей. Путь до автофургонов казался бесконечным.

«Бульдог» завел мотор одного из них, съехал с насыпи и осторожно двинулся навстречу шеренге людей. Фургон приближался медленно, очень медленно. Через ветровое стекло было видно сосредоточенное, угрюмое лицо мастера. Он отчаянно крутил баранку, но огромная машина каждую секунду заваливалась то на один, то на другой бок, грозя окончательно перевернуться. Его никто не просил выезжать навстречу. Это строго запрещалось. Но он все-таки выезжал.

«Скорее стиралочку, — думал Игорь, вспоминая, что вчера рассказывал ему Гарс. — Стереть эту боль. Скорее стереть».

— Однажды я выиграл пари, — сказал Гарс. Он рассказывал эту историю каждый день, подходя к фургонам, всем, кто был рядом. Но на другой день ничего не помнил и начинал все сначала, потому что сегодня не существовало для завтра, так же, как вчера не существовало для сегодня... — Я выиграл пари, отказавшись от стирания усталости... Это было давно, не помню когда. Тело горело, как в огне, до самого утра. Выйти на работу на следующий день я не смог. Боль и усталость прошли только через трое суток. — Гарс выругался.

Игорь споткнулся и повис на нем, ухватившись правой рукой за пояс.

— Держись, уже скоро, — сказал Гарс, помогая Игорю встать на ноги, и добавил: — И выиграл-то всего-навсего потрепанный двухместный мобиль. Через месяц все равно выбросил на свалку.

Игорь плелся из последних сил. Хотелось сплюнуть липкую горячую слюну, но он даже этого не мог сделать.

— Нет, — Гарс крепче обнял Игоря за пояс, не давая ему упасть. — Теперь бы я не повторил этого спора ни за что на свете.

Они доплелись до машины почти последними. И им пришлось ждать. Куча грязных мачете валялась возле колеса. Гарс бросил в нее еще два.

Когда подошла их очередь, мастер легонько подтолкнул Игоря в фургон. Под ногами чавкала жидкая грязь. От спертого, вонючего воздуха перед глазами пошли разноцветные круги, стены и потолок медленно перевернулись и стали странно размытыми, колеблющимися, нереальными. Игорь упал, больно ударившись плечом об острый угол какого-то ящика. И эта знакомая, простая, обыкновенная боль на мгновение вернула ему сознание. Он встал и, широко расставив руки в стороны, пошел по коридору в душевую.

Снять с себя одежду он не смог. Впрочем, этого не делал никто. Теряя сознание, Игорь шагнул под холодный ливень душа. Ледяная вода снова вернула его в реальный мир. Он был до предела мал, этот мир. В нем существовала боль, заполняющая все тело, и «стиралочка», до которой еще нужно было дойти.

Игорь упал в липкое от грязи и человеческого пота кресло. Сбоку на гибком шланге болтался резиновый шлем с металлической сеткой. Он показался Игорю непомерно тяжелым и громоздким. Кое-как приподняв и приладив его на голове, Игорь кулаком ударил по кнопке, вмонтированной в подлокотник.

Через десять секунд процедура стирания усталости кончилась. Игорь открыл глаза и удивленно осмотрелся.

— Слазь, — яростно прохрипела огромная, но изможденная фигура. — Слазь!

Игорь снял шлем, легко приподнялся с кресла, чувствуя, с какой грацией сокращаются его крепкие мускулы, провел рукой по лицу и груди.

«Грязный, — отметил он про себя. — Откуда? Что я хотел делать? Поработать один день с Гарсом?»

— Гарс, мы рубили с тобой или еще нет?

— Черт его знает! Надо спросить у мастера, — ответил тот, вскакивая с кресла. — Пошли!

Игорь вдруг почувствовал безотчетный стыд. К счастью, это чувство прошло почти сразу же. В чем причина такого состояния, он не знал... Не мог вспомнить... Ага! Может быть, в том, что «стиралочка» вместе с усталостью и болью стирала из памяти все, что было с человеком с того мгновения, как он утром защелкивал на запястьях эластичные браслеты, и до того момента, как он вставал с кресла после процедуры стирания.

— Гарс, что со мной было? Я ничего не помню!

— Я же предупреждал тебя.

— Гарс, я ничего не помню. Это унизительно и страшно.

— Ерунда! Зачем помнить все это? Так лучше. Кажется, только надо начать работу... а она уже кончена. — И Гарс громко и искренне рассмеялся.

Они пошли к насыпи, разбрызгивая черные капли и обдавая друг друга фонтанами мутной воды.

— Неужели это наша работа? — удивился Игорь, показывая рукой на длинные ровные ряды срубленных растений.

— Наверное, наша, — ответил Гарс. Но в голове его не чувствовалось уверенности. — Порядочный кусочек отмахали, не правда ли? А теперь по паре рюмок. Как ты?

— Это принято? — Игорь пожал плечами.

— Просто это приятно. Так делают все. И если уж ты направлен ко мне, то и делай, как я. А я, как все.

— Ну хорошо. По паре, так по паре.

— Я уверен, что тебе понравится быть в нашей шкуре. А то, что ты рассказывал вчера... — Гарс презрительно покачал

головой. — Это неинтересно. Мы не знаем неприятного. Вот так-то...

— Каким же образом ты узнаешь приятное?

— «Стиралочка» все знает. Она не может ошибиться. Меньше думай, больше ешь! — И Гарс рассмеялся, довольный своей остротой.

Пока они шли к насыпи, вереница людей растянулась по всему полю. Вереница сильных, довольных, улыбающихся, забрызганных с ног до головы грязью людей. Солнце перевалило за зенит, щедро отдавая им свои живительные лучи. А они воспринимали это как должное. Как что-то само собой разумеющееся и обыденное.

Фургон-душ был битком набит хохочущими и орущими людьми. Игорь и Гарс решили подождать и развалились на песке. Особенно торопиться было некуда.

— Твои планы на сегодня не изменились? — спросил Гарс.

— Как они могут измениться? Я же здесь ничего не знаю.

— Сначала поедем в Пале-Ройль?

Игорь согласно кивнул.

— Ты каким будешь играть?

— Для начала вместе с тобой, конечно.

— Значит нападающим! Интересно, сколько я сегодня забью?

— Ты про «Флорину»? — спросил, подсаживаясь, один из рабочих.

— Ну ее к черту! Плевать мне и на «Флорину» и на «Ройс». Забивать голы! Вот это да! Помнишь, как мы разгромили «Сонтик»? Шесть — один! Помнишь?

— Нет, Гарс, не помню. И ты не помнишь, — ответил рабочий.

— Ну как это не помню. Шесть —'один...

— Гарс, в тот вечер мы пользовались «стиралочкой». У тебя так болела голова. Этот матч тебе потом Фигеролла рассказывал.

— В общем, какая разница. Все равно мы их разгромили. Пойдем в душ. Там, кажется, стало свободнее.

— Пойдем, — согласился Игорь, вставая. У него было какое-то странное чувство собственной внутренней опустошенности. Или это чувствовалось в других? Все и всем здесь довольны! И, кажется, для этого есть основания. Почти за сутки пребывания на Сатке он ни разу ни видел огорченного, удрученного или просто печального лица. Лишь иногда едва

заметное выражение стыда и неуловимой брезгливости. Но и то, если бы он сам сейчас не испытал этого чувства, заметить подобное выражение он едва ли смог бы.

— Игорь! — крикнул ему Гарс в самое ухо. — Ты что стал, как вкопанный? Душ, а потом по паре рюмочек? А! Увидишь, как это здорово.

Бросив грязную одежду в утилизатор и вымывшись в душе, они оделись во все чистое и не спеша пошли к своим мобилям.

Гарс вытащил из холодильника покрытую инеем бутылку и две рюмки. Обменявшись с ним незначительными фразами и допив вторую рюмку, Игорь пошел к своему мобилю.

Теперь что-то приятное наполняло все его существо. Это было не от вина. Ему вдруг захотелось попасть в Пале-Ройль. Забивать голы. Обнимать женщин. Что еще? Мысль работала вяло и лениво. И вдруг он понял — на какую-то секунду — ему просто страшно, что это ощущение сейчас пройдет. Надо что-то сделать. Он подошел к своей машине, полученной на космодроме в бюро туризма. Ярко-голубая, спортивного типа, она была красива... Игорь ласково потрепал ее по капоту, рухнул на сиденье и захлопнул дверцу. Голубой мобиль глухо заурчал и медленно тронулся с места. Стоянка почти опустела. Только несколько человек копошились около своих машин.

— Держись за мной! — крикнул Гарс. И два мобиля, похожие друг на друга, как близнецы, вырулили на пластиковую автостраду. Ветер свирепо рвал волосы, и было приятно. Сотни машин, обгоняя друг друга, мчались навстречу ветру. Летящая под колеса лента автострады, убаюкивающий шелест шин, ровное гудение мотора... Игорь был искренне раздосадован, когда стрелка спидометра поползла вниз и остановилась на цифре «80».

Начинался город.

Сутки назад Игорь посадил своего «Громовержца» на грузовом космодроме. Сатка — так называлась эта планета. Он уже трижды совершал сюда рейсы. Планета как планета. Люди как люди. Довольные, веселые, жизнерадостные. В первый раз ничего не поразило его, хотя он много смотрел, слушал, ходил, старался понять.

И лишь в третий раз прибыв на Сатку, он с удивлением отметил ускользавшее от него ранее. Сатка почти сравнялась с Землей по уровню развития техники. Недаром же он поведет

на Землю корабль, груженный киборгами... Но ведь здесь всюду применяется ручной труд! В сельском хозяйстве, на заводах, при рытье каналов, в шахтах, горных рудниках. И это при наличии огромного количества кибернетических механизмов, использующихся в сфере обслуживания.

— Ручной труд дешевле, — объяснили ему. Но он не верил. И вот, прилетев сюда в очередной раз, он решил провести один день так, как проводят его рядовые жители Сатки. Один обычный день.

В бюро туризма ему выдали голубой автомобиль, адрес среднего саткианца и рекомендательное письмо.

Туризм здесь всячески поощрялся.

...Место на стоянке возле огромного стадиона Гарс и Игорь нашли сразу. Через несколько минут эскалатор уже поднимал их на трибуну. Огромная чаша стадиона Пале-Ройль, рассчитанная на триста тысяч человек, была почти полна.

Игорь и Гарс уселись в мягкие кресла. Гарс обвел отсутствующим взглядом трибуны. Игорь же любовался красочным зрелищем. Цветок стадиона был неповторим. Гул сотен тысяч голосов, иногда разрываемый громким свистом или выкриком. Движение ярких красок, загорелых золотистых человеческих рук. Пышные прически женщин. Мимолетные выстрелы нечаянно встреченных взглядов. Гибкие движения. Изящный изгиб шеи сидящей впереди девушки. Тонкий запах духов и сигар.

Гарс достал из ниши переднего кресла две микроскопические рюмочки и бутылку слинига. Друзья выпили.

На зеленое поле выходили футболисты. Чаша стадиона заколыхалась. Рев болельщиков потряс трибуны.

Тишина наступила почти мгновенно.

Зрители наклонились вперед. Каждый нажал кнопку на спинке стоящего впереди кресла. Сотни тысяч миниатюрных пультов выдвинулись из кресел. Из специальных отсеков извлечены сетчатые шлемы. Переключатели пультов ставились в положения, соответствующие одному из двадцати двух игроков. Гарс и Игорь выбрали левого крайнего нападающего «Флорины».

— На сколько минут поставить автовыключатель? — спросил Игорь. Он во всем полагался на своего нового друга.

— Пожалуй, на три, — ответил тот. — Пристегнись покрепче.

— Все в порядке.

Сотни тысяч шлемов прилегли к головам. Переключатели стояли в нужных положениях. Стадион приготовился к игре и замер. Судья поднес секундомер к лицу. Взмах руки. Резкий свисток.

Игорь мельком взглянул на свои бутсы. Чуть наклонился, готовый ринуться вперед. Центральный «Ройса» ввел мяч в игру. Короткая комбинация, и вот мяч уже у полузащитника «Флорины». Игорь, резко меняя направление, перемещался по своему краю, стараясь оторваться от защитников. Выгодная позиция! Бол понял и сделал прострел на левый край. Игорь рванулся вперед по самой бровке. У линии ворот он остановился и, не разворачиваясь, сильным ударом навесил мяч на ворота. Боль резанула по ноге. Подлец! На мгновение Игорь потерял сознание. Но только на мгновение. Вскочил и, прихрамывая, побежал к центру поля... Вратарь «Ройса» взял мяч и, ударяя им о землю, высматривал свободного игрока. Теперь работа нашим защитникам.

Трудно играть с «Ройсом». Могут сломать ногу незаметно и красиво. Хорошо, что Энн не соглашается ходить на стадион. Э-э-энн!

Атака. Мяч задел защитника. Вратарь отбивает мяч, а второй защитник сильным ударом посылает его вперед. Игорь оттягивается ближе к центру. Чуть заметное приятное покалывание в затылке и в висках, там, где в череп вмонтированы миниатюрные генераторные датчики.

Игорь удивленно посмотрел вниз на поле. А-а... Это сработал автоматический выключатель. Мысли и чувства левого крайнего нападающего «Флорины» больше не поступали в мозг Игоря.

— Ну, что, Игорь, будем играть левым? Гол почти был. И откуда выскочил этот защитник? Надо было взять чуть-чуть левее.

— Надо было взять чуть-чуть левее, — как эхо отозвался Игорь.

Гарс снова включился в игру. Игорь немного помедлил. Огляделся. Через ряд, ниже и чуть левее, в кресле корчилась молодая женщина. С поля на носилках уносили нападающего «Ройса». Женщина, наверное, играла именно его.

— Не завидую ей, — раздалось слева. Обрюзгший немолодой человек перегнулся через ряд и крикнул: — Да выключите же вы ее! Эй, кто там рядом!

Вокруг раздавались нелепые для постороннего наблюдателя выкрики, вопли, сопение, ругательства. Люди дрыгали ногами, руками, головой, приглушенно стонали и хохотали.

Игорь отстегнул ремень кресла и, упав вперед, повернул ручку на пульте женщины. Она тотчас же перестала корчиться и кричать, но через мгновение заплакала. Безудержно и страшно.

Игорю показалось, что его сейчас вырвет. Надо выйти. И женщине надо выйти.

— Включи «стиралочку», дура! — крикнул сосед Игоря.

По-видимому, женщина воспользовалась его советом, потому что внезапно замолчала.

— Новичок? — спросил парень у Игоря, глянув в его позеленевшее лицо. — Ер-рунда! Играй и все пройдет. Выбраться отсюда все равно сейчас невозможно.

Комок злости и отвращения подкатил к горлу. Злости еще совершенно неясной, абстрактной, ни к кому в частности не обращенной. Сосед испуганно посмотрел на Игоря и ударил кулаком по кнопке его пульта... Игорь снова был на поле. Азарт игры усиливался. Гол в ворота «Ройса» назревал. И вот он, этот момент! Игорь ворвался в штрафную площадку, буквально волоча на себе двух защитников, и пробил в дальний нижний угол ворот. К нему подбежали игроки «Флорины», понесли на плечах.

Половина стадиона захлебывалась от восторга. Половина угрюмо сплевывала в сторону и молчала.

Первый тайм кончился со счетом один — ноль в пользу «Флорины».

Зрители, удивленно оглядываясь, приходили в себя. Возникали споры. Вскоре стадион загудел, как гигантский растревоженный улей. Какой-то мужчина вел к выходу женщину. Ей было дурно. Она то и дело хваталась рукой за грудь. Мужчина был зол и что-то сердито говорил ей. За ними пробирался заплаканный мальчишка и нудно гнусавил: «Я не хочу из-за тебя уходить. Не хочу... Не хочу...» Стадион блестел тысячами стаканчиков и рюмок. Гарс выпил еще одну и теперь жевал бутерброд.

— Я, пожалуй, поиграю еще центральным, — сказал он. — Не может быть, чтобы он не забил гола.

— А мне нравится этот крайний, — заявил сосед слева. — Он слишком часто вспоминает свою Энн. Может, узнаю что-нибудь интересное. — И он смачно захохотал.

Игорь был оглушен. Кто он? Левый крайний? Ведь он, Игорь, только что был там, на поле. Он жил мыслями и чувствами этого человека. Ему захотелось увидеть Энн. Что представляет собой эта женщина? Он любит ее? Кто он? Тот, что на поле, или здесь, на трибуне? Думать о женщине, которую никогда не видел и не увидишь...

— Игорь, выпей, — сказал Гарс. — Меньше думай, будет лучше.

Да, да. Знакомая, успокаивающая, все оправдывающая фраза. Меньше думай! А если мозг не может переварить всего, что происходит вокруг? Здесь, на стадионе. Там, в зарослях тростника. Нет, не в этом. В головах людей... Обидно. Обидно, что этот измочаленный сосед слева будет знать об Энн... Но ведь это не из-за угла. Ведь левый крайний «Флорины» сознательно продает свои мысли и чувства... и свою Энн. Кто же из них более омерзителен? Кто? Меньше думай. Меньше.

— Игорь, выпей! Это успокаивает. — Гарс влил ему в рот что-то обжигающее. — Ты мой гость, и я за тебя отвечаю, черт возьми!

Игорь повернулся к соседу слева. Тот испуганно подобрался.

— А у вас нет в черепе датчиков? Я бы хотел посидеть в вашем мозге.

— Игорь, включай. Ты кого будешь играть? Крайнего?

— Конечно. Мне тоже стало интересно, что он будет думать о своей Энн.

— Как хочешь, — сказал Гарс. — Забивать голы, вот это да!

Во втором тайме гол забил центральный нападающий. Но и Игорь был доволен своей игрой. Он много сделал для победы. До конца тайма оставались считанные секунды. Теперь уже ничего не изменится. Энн может быть спокойна. Ноги ему сегодня не переломали.

Матч закончился.

И снова болельщики несколько секунд с недоумением оглядывали поле и трибуны. А затем над стадионом пронесся шквал рева и свиста. Игроки «Ройса» уходили с поля, опустив головы. Зрители вскочили с мест. Некоторые уже пробирались к выходам.

— Какой счет? — извиняющимся тоном спросили у Игоря.

— А! Болельщик «Ройса»! — злорадно взревел Гарс. — Два — ноль в нашу пользу.

Парень, который спрашивал Игоря, сжался и боком нырнул в толпу. Вокруг то и дело раздавалось: «Как это было? Какой счет?»

«Болельщики «Ройса», — грустно и чуть-чуть насмешливо думал Игорь. — Они уже все стерли. Слабоватые парни... Или в этом что-нибудь другое?.. Страх перед неприятным? Страх? Наверное...»

Эти люди ничего не помнили. Нервный шок от поражения «Ройса» оказался для них слишком сильным. В каждом кресле была «стиралочка». На мгновение перед Игорем промелькнуло лицо женщины, которая в первом тайме кричала, корчилась и плакала. Сейчас она смеялась. Чему? Лицо промелькнуло и исчезло в толпе.

Гарс и Игорь с трудом пробирались к своим мобилям.

— Говорил тебе, играй центрального. У меня сегодня два гола. А какой был второй! А! Заметил?

— Заметил, — угрюмо ответил Игорь.

— Впрочем, не мешало бы нам и пообедать. Как ты?

— Я сыт по горло. Улетаю.

— Брось дурить. Ты мой гость. Программа еще не кончена. Ты сегодня заработал много денег. Не повезешь же их домой?

— Я не помню, как работал.

— Какая разница... Этого лучше не помнить. Того, что не приносит удовольствия, лучше не помнить.

— Раньше работа всегда приносила мне радость.

— Врешь, — спокойно возразил Гарс. — Ты сегодня просто устал. Это оттого, что ты много видел. Утром все пройдет. Поедем в «Брикини». Там отлично готовят.

— В «Брикини» так в «Брикини», — сдался Игорь.

Мобили медленно выруливали на автостраду. А через полчаса Гарс и Игорь уже входили в ресторан «Брикини».

Свободных мест было достаточно. В глубине зала худенькая девушка играла что-то очень похожее на музыку Шопена. Оркестр отдыхал. Основная часть программы была еще впереди.

За огромной прозрачной стеной ресторана плескалось море. Оно было как настоящее. Ощущалось даже слабое дуновение ветра, пахнущего морской пеной. В море купались юноши и девушки. И каждый из сидящих в зале мог

сделать то же, нажав соответствующую кнопку в подлокотнике кресла.

Официанты скользили по залу полупрозрачными изысканно вежливыми тенями. Один из них поднес сигары, коньяк и замер с позолоченной зажигалкой в красиво вытянутой руке.

Гарс и Игорь закурили, удобно откинувшись в креслах. Говорить не хотелось. Было очень приятно и уютно. Лишь немного раздражали мятущиеся аккорды фортепьяно.

Когда на сцену вышла певица с обворожительной улыбкой на красивом лице, они уже были готовы, — как выразился Гарс, к употреблению прекрасного.

— Ты будешь петь? — спросил Гарс.

— Нет, мне хочется поиграть на рояле вон с той девушкой.

— Ты думаешь, ее игра кого-нибудь интересует? Ее даже нет в программе.

Гарс нетерпеливо сморщился и надел сетчатый шлем, который на голове был совершенно незаметен и не портил прически. Глаза Гарса были полузакрыты. Губы шевелились в такт мелодии. Иногда он выкрикивал вслух слова песенки.

К столу подошел новый посетитель — старик с потрепанным лицом. Спросил, свободно ли место. Игорь кивнул. Старик привычно развалился в кресле. Предупредительный официант уже хлопотал возле него.

Песенка кончилась. Оркестр заиграл нервную изломанную мелодию. На сцену выскочила почти нагая танцовщица и ее партнер — высокий стройный юноша с красиво развитой мускулатурой. Гарс с плотоядной улыбкой подтолкнул Игоря в бок:

— Эй, турист! Зачем ты прилетел сюда? Изучать, отдыхать, развеяться?

— У меня был свободный день, и мне было интересно узнать, как вы живете.

— Тогда включайся на партнера. Может, что-нибудь поймешь.

Игорь взял программу, нашел индекс танцовщика и торопливо надел шлем.

В лицо ударил волнующий запах молодого женского тела. Игорь выделывал замысловатые па, держа руку на голой талии девушки. Рука медленно ползла вверх. Он почувство-

вал, как учащенно билось сердце девушки и упруго пружинила тугая грудь. Видел ослепительную улыбку, узкий разрез миндалевидных глаз. Да! Она была восхитительна! Танец длился долго, несколько раз повторяя одни и те же па. Игорь не замечал этого. Где-то далеко-далеко звучала изуродованная музыка.

Танец кончился.

— Джонней! Джонней! — кричали из-за столиков.

Аплодисменты. Цветы.

— Еще раз! Повторить!

Гарс и старичок старались изо всех сил.

И гармония распалась. Стало тошно.

— Попробуйте набрать индекс Джонней, — услышал Игорь чей-то голос. В четвертом кресле за столиком сидел молодой парень и потягивал через трубочку коньячный коктейль.

— Это еще зачем? — грубо оборвал его Игорь. — Какого черта меня все здесь учат?! Кто вы и зачем?

— Предположим, что я жених Джонней. И еще предположим, что я люблю ее. — В словах парня не было ни иронии, ни цинизма. И Игорь как-то сразу поверил: это действительно так.

— Что за удовольствие щупать этого... — Гарс презрительно кивнул в сторону партнера Джонней.

— Вы же не будете знать, что вы мужчина. Впрочем, как хотите.

Игорь уже изрядно опьянел, и предложение парня показалось ему очень важным и значительным.

— Я попробую, раз здесь все можно.

— Игорь, не дури, — хотел остановить его Гарс.

— Я попробую, — твердо сказал Игорь.

Потные липкие пальцы судорожно сдавили грудь. Их прикосновение было невыносимо омерзительным. Наглые голодные глаза партнера. Оскаленные рожи сидящих за столиками. Теперь он видел их отчетливо. Боже! Когда это кончится?

Музыка смолкла.

— Джонней! Джонней! — визжали вокруг.

Игоря мутило. На душе было противно и одиноко.

— Зачем ты это сделал? — с трудом выговаривая слова, спросил он у парня.

Парень нагло улыбался.

— Зачем ты это сделал? — заорал Игорь.

— Что... вам плохо? — парень продолжал улыбаться.

— Чего ты бесишься? — Гарс положил руку на плечо Игоря. — Успокойся.

— Да, да. Я должен успокоиться. — Игорь обмяк и тупо уставился взглядом в остатки обеда.

Парень за столом пил рюмку за рюмкой и не уходил.

— Я знаю, — сказал Игорь. — Это уже было. Это называлось наркотиками. Детское, безобидное занятие.

Старик нагнулся к Игорю и что-то прошептал. Игорь не расслышал и не обратил внимания. Оркестр снова заиграл. Теперь на сцене была влюбленная пара.

— А ты что продаешь? — спросил Игорь у парня. — Она — тело, а ты?

— Врешь! — вспылил парень, но тут же успокоился. — Она продает свои чувства. Но, кажется, не очень удачно. А я продаю кусочек своего головного мозга. С утра его заселяют формулами и уравнениями и задают программу. А вечером он снова чист как стеклышко.

— «Стиралочка»?

— Естественно, — парень весело кивнул. — Разве можно все это выдержать без «стиралочки?»

— А зачем?

— А есть ты хочешь? — медленно проговорил собеседник.

— Понятно, — ответил Игорь. — Надо сделать так, чтобы надел вот такой сетчатый шлем и был сыт.

Парень рассмеялся.

— Шутник ты!

— А получать только приятное, надев этот шлем, тебе не смешно? А стирать все остальное с его помощью тебе не смешно?

— Но, но, — парень выставил вперед обе руки, как бы осаживая Игоря. — Без неприятного можно жить. Без радости — нельзя.

— Радость, счастье и приятное — это не одно и то же. Кстати, как ты отличаешь приятное от неприятного?

— Это делает «стиралочка». Она все знает.

— Еще бы! Не думай! Не смей думать! И даже более того, не смей огорчаться, не смей испытывать боль, неприятное, горе. Какая трогательная забота!

— Кто ты? — спросил парень.

— Человек, — ответил Игорь.

— Ты странный.

— Еще бы!

— Ну чего ты бесишься? — оторвался от программы Гарс. — Что тебе здесь не нравится? Ты можешь получить все. Денег у каждого хватает. Не на космические путешествия, конечно. А кому они нужны, если правда все, что ты вчера рассказывал о своей Земле. Чем ты недоволен?

— Думать не надо?

— Не стоит.

— Если тебе сказали, что это хорошо, значит, это действительно хорошо?

— Игорь, ты все утрируешь. Иногда можно и подумать. Например, при выборе спиртного. Ха-ха-ха! Даже нужно. — Гарс долго хохотал над своей шуткой. Парень сидел насупившись. Старик все время пытался что-то сказать Игорю.

Наконец тот обратил на него внимание, услышав последнюю часть фразы:

— ...в зависимости от желаний, фантазии и способностей каждого. А здесь все одинаково для всех.

— Что в зависимости от желаний? — переспросил Игорь.

— Это действует субъективно в зависимости от желаний. У одного — женщина. У другого — власть. У третьего — талант. И самое главное — никто не может подсмотреть, подслушать, разделить, отнять ваше. Только ваше. Вас ведь возмутило то, что Джонней может обнять каждый?

— И это тоже, — ответил Игорь, ничего не понимая.

— Тогда возьмите. Бесплатно. Попробуйте. Первый раз бесплатно. Я найду вас завтра. О цене, если вам подойдет, договоримся позже.

Старик заискивающе улыбнулся и вложил в ладонь Игоря маленький пакетик.

— Что это? — спросил Игорь удивленно.

— Наркотик, — тихо ответил старик.

— Наркотик? Мне? Зачем?

Последние слова Игоря совпали с концом очередного номера. И их услышал Гарс.

— Что? Наркотики?! — взревел он. — Игорь, иди за полицией. Я его попридержу.

Резко перегнувшись через стол, Гарс вцепился старику в воротничок рубашки. Рюмка с коньяком упала на пол и разбилась.

— Отпусти его, — сказал Игорь.

— Подлец! Он принимает нас за наркоманов. Никогда в жизни Гарс не пользовался наркотиками. И не будет! Слышал? И не будет!

Старик задыхался. Глаза его беспомощно смотрели то на Игоря, то на Гарса.

— Отпусти старика. — Игорь сжал Гарсу руку. — Отпусти. Разберемся и без полиции.

Гарс подчинился.

— Успокойтесь, — уговаривал Гарса парень. — Сейчас будет номер, пальчики оближете.

— Иди к черту! — И Гарс угрюмо замолчал. Старик поспешно расплатился и ушел.

— Питаете врожденную ненависть к наркотикам? — насмешливо спросил парень у Гарса. Тот ничего не ответил.

— Он состоит в обществе борцов с наркотиками, — съехидничал Игорь.

— А... Я так сразу и подумал, — поддержал парень шутку.

Игорь развернул пакетик. Он был пуст. Игорь удивленно рассматривал пустую бумажку. Заметив его замешательство, парень сказал:

— В первый раз они просто испытывают. Надо сначала проверить человека. Они не дураки... Ну, я пошел. Джонней сегодня уже не выйдет на сцену... До завтра! — И он насмешливо подмигнул Игорю. Тот кивнул ему в ответ.

Домой Гарс и Игорь добрались уже заполночь. Двери коттеджа не были заперты. Слена, жена Гарса, лежала, обмотав голову мокрым полотенцем.

— Что-нибудь серьезное? — спросил Гарс, еле ворочая языком.

— Ужасно болит голова. Я смотрела прыжки с трамплина на мобилях. Этот идиот умудрился свернуть себе шею. А «стиралочки» там еще не успели установить.

— Выпей чего-нибудь.

— Уже выпила. Гарс, оставь мне чек сотни на две. Рона обещала достать «стиралочку» для домашнего пользования.

— Да? Хорошо бы ее достать. У меня тоже болит голова. А Эрнан спит?

— Спит. Гарс, он, кажется, начинает ходить на футбол.

— Ну что ж. Значит, становится мужчиной.

После этого разговора Гарс вышел из спальни жены и, захватив из небольшого бара начатую бутылку, подошел к

Игорю, который полулежал в кресле, рассеянно разглядывая иллюстрированный журнал.

— Выпьем, друг. И спать. Завтра снова рубить тростник.

— Завтра я возвращаюсь на Землю.

— Брось ты дурить. — Гарс был явно огорчен. — Рано утром «стиралочка» сотрет из твоей памяти все неприятное. Ты будешь чувствовать себя новорожденным.

— Я хотел бы все это запомнить.

— Пей!

— Я выпью, но завтра... вернее уже сегодня, я возвращаюсь.

Гарс захохотал и, опрокинувшись навзничь на диван, громко захрапел.

Игорь сидел рядом и мелкими глотками пил вино.

Почему? Что? Зачем?

Работу здесь сделали изнуряюще трудной, изматывающей, чтобы одно воспоминание о ней вызывало страх, чтобы только всемогущая «стиралочка» позволяла выдерживать все это. И то, что могут делать машины, делают люди, сами становясь машинами.

Не надо думать! — вот основной принцип этого могущественного, красивого, блестящего, оболванивающего мира. Он дает все... почти бесплатно. Все, что бы ты ни захотел. Он оберегает тебя от всяких неприятностей, от несчастий, от горя, от болезней и слез. Правда, он не дает взамен счастья. Он заменяет счастье просто приятным. Но зато вся, вся жизнь заполнена только приятным.

Одному подсунули красивое, стройное, теплое, живое женское тело; другому возможность забивать голы; третьему мнимую и в то же время такую осязаемую власть над другими; четвертому талант певца или математика... пятому, шестому... миллионному... Почти бесплатно... Взамен только кусочек памяти. Раз, два, три... месяц... год... всю жизнь. По маленькому кусочку. И они забыли все. Им оставили только страх. Страх, чтобы не вздумали отказаться от приятного, от только приятного.

Они довольны. Они не счастливы, они просто довольны.

Гарс встал рано утром и, убедившись, что Игорь действительно исчез, искренне огорчился. Многое из воспоминаний вчерашнего дня было малоприятным или совсем неприятным.

Он едва дождался, когда откроется общественный пункт «стирания». После «стиралочки» он на мгновение испытал какой-то безотчетный стыд. К счастью, это чувство прошло почти сразу же и без следа.

Гарс справился у администратора, какое сегодня число. Попытался вспомнить, — что с ним было вчера. Потом небрежно махнул рукой и сел в мобиль. Летящая лента автострады, убаюкивающий шелест шин, ровное гудение мотора. Гарс чувствовал себя всемогущим.

На плантации тростника почти все уже были в сборе.

— Здорово мы вчера разделали «Ройс»? — спросил Гарс у одного из рабочих.

— Не помню, — сухо ответил тот.

— Жаль, — разочарованно произнес Гарс. — Ну что ж, спрошу у Фигероллы.

В небе возникла блестящая, стремительно летящая в зенит точка. Это «Громовержец» покидал Сатку, возвращаясь на Землю.

Гарсу даже не пришло в голову взглянуть в этот момент в небо. Он уже переоделся и застегивал на запястьях эластичные браслеты.

Начинался обычный день.

О БЫСТРОТЕКУЩЕМ ВРЕМЕНИ, О НЕВОЗВРАТНОМ ВРЕМЕНИ...

В самом начале перестройки, работая на разные справочники, посвященные российской фантастике (конечно, в свет вышли считанные единицы), получил я массу биографических заметок от писателей, как признанных, так и молодых. Самые солидные, самые пространные заметки, как и следовало ожидать, пришли от молодых. Издав книжку, иногда две, они много и охотно писали о прекрасных и значительных результатах своего труда. Что же касается писателей известных, состоявшихся к тому времени, их заметки выглядели скромнее.

Виктор Колупаев, например, писал:

***Виктор Колупаев**: родился в 1936 году в поселке Незаметный (ныне город Алдан) Якутской ССР. Окончил Томский политехнический по специальности «радиоэлектроника». Работал в различных научных организациях города Томска. В 1976 году принят в Союз писателей СССР.*

***Книги**: «Случится же с человеком такое...» (1972), «Качели Отшельника» (1974), «Билет в детство» (1977), «Фирменный поезд «Фомич»» (1979), «Зачем жил человек?» (1982), «Поющий лес» (1984), «Весна света» (1986), «Волевое усилие» (1991). Всего вышло 16 книг (в том числе в США, ГДР, Чехословакии).*

***Кредо**: Хорошо прожил тот, кто прожил незаметно.*

Кредо своему он никогда не изменял.

Представлял гостей: «Дмитрий Биленкин, Москва... Виталий Бугров, Свердловск... Геннадий Прашкевич, Новосибирск... Борис Штерн, Киев...», и в конце скромно добавлял: «Виктор Колупаев, местный житель...» Страшно не любил находиться на первом плане. И мечта у него была своеобразная: понять, что такое Время и Пространство. (Насколько я знаю, нынешних фантастов это интересует меньше всего.) В школе был не прочь совершить кругосветку на паруснике, в десятом классе даже подал документы в Военно-морское училище, но забыл приложить фотографии. После этого он всю жизнь (теперь уже действительно — *всю*) прожил в Томске. С любопытством расспрашивал меня о дальних странах, но даже любопытство его никогда не выглядело чрезмерным.

Одной томской журналистке он признался:

«...всегда хотел научиться виртуозно играть на фортепиано.

Классическую музыку я довольно хорошо знал, собирал пластинки любимых композиторов, а в школе еще радио слушал. В 1963 году купил рояль, тогда лишь третий год был женат и дочь еще была маленькая. В квартире — ничего, кроме какой-то кровати и этажерки, ну стол, кажется, был. И вот я купил в комиссионке старый разбитый беккеровский рояль длиной больше двух с половиной метров. Вместо одной ножки подставил березовый чурбан. Сам научился настраивать его, причем он был настолько разбит, что на нем играть можно было ну день от силы. Мне из гитарного сделали ключ плоскогубцами, и этим ключом почти каждый день его настраивал. Видимо, у меня был такой возраст, когда учиться не хватало терпения. Но играл, сочиняя что-то свое и получая удовольствие от извлечения самих звуков. Поднимал крышку и перебирал клавиши в порядке, одному мне ведомом.

Можно представить, какой грохот стоял.

Если дома никого не было, играл на нем часами.

Лет шесть у нас был этот рояль. А потом, когда я получил двухкомнатную квартиру, появилась другая мебель, и ему не хватило места. Пришлось рояль отдать, просто подарить. Купили пианино. И вот звук нового инструмента настолько мне был неприятен, что я больше к клавишам не прикасался...»

Поиски своего угла — исконно русская тема.

Виктор Колупаев написал о поисках своего угла поразительную и печальную повесть — «Жилплощадь для фантаста». Она полна живых людей — безобразных и удивительных, она полна жизни — безобразной и удивительной. И, конечно, не прочтена еще по-настоящему, как не прочтены по-настоящему повесть «Жизнь как год», роман «Фирменный поезд "Фомич"», никогда, кстати, не издававшийся в полном, не извращенном цензурой и редакторами варианте.

В 1988 году Виктор Колупаев был удостоен самой престижной по тем временам премии по фантастике — «Аэлита». Но началась перестройка, сломался быт, сломалась вся система привычных отношений. Одному своему московскому другу Виктор писал, что был внутренне готов к потрясениям, чему,

наверное, не мало способствовали глубокие размышления над проблемой Времени и Пространства:

«...диалектика, как философия и логика, безумно интересна, но чрезвычайно сложна. Это и понятно: ведь она предназначена для вневременного мира и выразить ее на языке, основанном на временных отношениях, чрезвычайно трудно. Деятели, пытавшиеся переделать мир на принципах сингулярности, не разбираясь в диалектике, кое-что, тем не менее, чисто интуитивно схватывали верно. Например, закрытие границ своих государств, прекращение почти всех связей с внешним миром. Конечно, до создания одной отдельно взятой точки, не имеющей размеров, здесь еще очень далеко, но все же... И как только границы открыты — коммунистический режим неизбежно должен рухнуть. Величайшей интуитивной догадкой коммунистических правителей было осознание того факта, что нужно незамедлительное и полное уничтожение всех религий, христианской в первую очередь, поскольку христианский Бог наделяет человека свободой воли.

...Коммунистическую идею я не признаю уже давно, еще со школьных лет. Помнишь, как мы с тобой ходили за клубникой после 9 класса. Вернулись, и оказалось, что Берия — предатель. Вот тогда это со мной и началось. Ты понимаешь, что я не хочу сказать, будто западная модель общества являет собой хорошее. Нет. Но эта модель все же для общества, живущего в пространственно-временном мире. А коммунизм — для вневременного мира. И ничто не могло его спасти...»

Однако осознание факта еще не победа над ним.

Все оказалось сложней, и на долгое время Виктор исчез с литературных горизонтов.

«...у меня ничего нового, — писал он тому же другу в 1995 году. — *В начале лета я разработал «блестящий» рекламный проспект по изданию произведений Виктора Колупаева, разослал его в десять издательств. До сих пор ответа — никакого. И теперь уже ясно, что не будет. При коммунизме всегда отвечали. Издевались, писали доносы, включали в списки, но всегда отвечали. А сейчас — полная пустота. Отказы меня не огорчили бы. Я к ним привык. А вот к тому, что я настолько никому не нужен, что мне и отвечать-то не стоит, привыкнуть не могу...»*

Только в 2000 году в Томске, после почти десятилетнего молчания, вышел в свет большой роман «Безвременье», написанный в соавторстве с Ю. Марушкиным. Моя рецензия в «Книжном обозрении» была, кажется, единственной. Да и кто увидит книгу, изданную тиражом в 75 (семьдесят пять) экземпляров?

Другая книга Виктора, в некотором смысле итог всей жизни — поэтическое исследование «Пространство и Время для фантаста» вышла там же в Томске, правда тиражом несколько бóльшим — 300 экземпляров.

«...размышлять специально о Времени по какому-то плану мне не требуется, — писал Виктор. — *Что бы я ни делал, о чем бы ни думал, старая загадка постоянно напоминает о себе, тревожит, радует и мучает меня. И вторым слоем сознания (подсознания?), что ли, я размышляю о Времени. О Пространстве и Времени. Наверное, нет ничего особенного в том, о чем я думаю. Не я один. Осознанно или неосознанно об этом думают все. Только чаще обыденно: «О! Уже шесть часов вечера!» О быстротекущем времени, о невозвратном времени, о невозможности остановить его или хотя бы растянуть думает, конечно, каждый. Отсюда и печаль, грусть — самые информационные для меня человеческие чувства. В таком состоянии мне хорошо думается.*

Классе в седьмом или восьмом, вот уж и не помню точно, я впервые обнаружил, что существуют Пространство и Время. День, ночь, год, расстояние до школы и до леса — это все я, конечно, знал и раньше. Они были обыденными, естественными и понятными. А вот то Пространство, которое само по себе и в котором живут звезды, то Время, которое тоже само по себе, и в котором живу я и вся Вселенная... Это поразило меня в ту зимнюю ночь на всю жизнь.

Весь день падал снег, было тепло и вдруг разъяснилось и резко похолодало, но в воздухе еще чувствовалась влажность. Я шел из школы. Наш дом стоял на склоне горы, так что с улицы он выглядел одноэтажным, а в глубине двора становился двухэтажным. И мы жили в последней квартире на втором этаже, окнами на железнодорожную станцию. С того места, где я шел, открывался вид на вокзал, железнодорожные пути, забитые составами, прожекторы на стальных опорах, виадук, депо. Там внизу что-то грохотало, лязгало, гудело, переливалось огнями. Я остановился и посмотрел

чуть вверх, потом выше, а затем вообще задрал голову насколько мог.

И тут я обомлел.

Я не понимал, что произошло.

Я вдруг увидел небо объемным. Одни звезды были ближе, другие дальше, а третьи вообще мерцали из бездонной глубины. Они были цветными: голубыми, желтыми, красноватыми, почти белыми. Какие-то странные фигуры, знаки, таинственные письмена образовывали они на небе. И небо было прекрасно, неописуемо красиво, невыразимо красиво и в то же время жутковато своей необъятностью. Я и прежде тысячи раз видел звезды, они и тогда, они всегда были красивы. Но в эту ночь в них появился какой-то скрытый и непонятный для меня смысл...»

Возможно, это было главным открытием Виктора Колупаева, которое он внес не просто в свою жизнь, — внес в отечественную литературу. Именно об этом он возвышенно и взволнованно писал всю жизнь. Открытие позволило ему высказать странную догадку, объясняющую если не все, то многое:

«...Я не знаю, каким образом Вселенная может выйти из сингулярного состояния. Скорее всего эта проблема не просто физическая. Но предположим, что скорость фундаментального воздействия начинает уменьшаться и Вселенная выходит из сингулярного состояния. Это происходит не в шуме и грохоте Большого взрыва, а в тихом Сиянии и Славе...»

Вот так.

В тихом Сиянии и Славе...

«Если вам повезет, вы и этот роман не заметите, — не без горечи заметил Виктор немногим своим друзьям собравшимся на презентацию романа «Безвременье», — хотя действие в романе (в полном его виде) охватывает все Время и Пространство, начиная от возникновения Вселенной до ее конца. Более того, — добавил Виктор, — оно прихватывает и ту Вселенную, которая будет после ее конца».

Работая над «Безвременьем», Виктор сажал картошку и овощи на мичуринском участке, как называют в Томске сады. Надо было жить. Книги не издавались. Старые издательства исчезли, новые не нуждались в романтических исследованиях. Да и силы уходили.

«...двадцать лет назад я мог писать без передышки целый месяц, отвлекаясь на прогулку с собакой. Сейчас так не могу. Шесть-семь часов работы — и просто падаю перед телевизором, не видя, что там показывают, меня это не интересует. Лишь бы он тарахтел. Но мыслей, мне кажется, у меня стало больше. Продолжаю работать над темой Пространства и Времени, параллельно с трилогией. Это философская работа. Мне приятно сидеть за столом, даже не столько писать, сколько читать. Скажем, Платона или Лосева, кого-то еще...»

Встречаясь время от времени, мы завершали веселые вечера пением оперных арий. Иногда мешали друг другу, иногда голоса сливались. Худой, смуглый, всегда внимательный Виктор на все смотрел пытливо, с первого взгляда мог даже показаться скучноватым, замкнутым, но это было не так. Мичуринский участок его располагался за Огурцово (аэропорт Томска). Когда «Ту» или «Илы» на форсаже уходили в небо, от рева и ужаса на грядках сами собой закрывались цветы. А если рейс по непогоде отменяли, посмеивался Виктор, в предполагаемую минуту взлета цветы все равно привычно закрывались. О юморе Виктора говорит само за себя и крошечное вступление, предпосланное самому любимому и, к сожалению, последнему его роману — «Сократ Сибирских Афин» («День и ночь», 2002).

«Прошу прощения у всех когда-то живших, ныне живущих и еще не родившихся философов за то, что я в этом романе не только использовал их мысли и идеи, но и всячески их исказил и переврал».

На знаменитом московском семинаре 1976 года Аркадий Натанович Стругацкий сказал, что Виктор Колупаев пишет интереснее, чем Рэй Брэдбери. Для многих тогда это прозвучало неожиданно, но Аркадий Натанович никогда не отказывался от сказанного. И в Союз писателей Виктор вступал по его рекомендации.

Время быстротекущее, время невозвратное...

Геннадий Прашкевич,
Март 2003, Новосибирск

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей 5
Качели Отшельника 7
«Толстяк» над миром 76
Случится же с человеком такое!.. 144
Жилплощадь для фантаста 187
Защита 270
Жизнь как год (Фантастическое повествование в двенадцати новеллах) 360
Билет в детство 454
Девочка 464
Газетный киоск 491
На асфальте города... 506
Весна света 514
Разноцветное счастье 522
Вдохновение 547
Настройщик роялей 557
Спешу на свидание 565
Жемчужина 577
Самый большой дом 584
Какие смешные деревья 595
Фильм на экране одного кинотеатра 605
Зачем жил человек? 623
Молчание 649
Седьмая модель 658
Печатающий механизм 680
Мама! 687
Улыбка 693
На дворе двадцатый век 713
Две летящие стрелы 725
Оборотная сторона 734
Капитан «Громовержца» 761
Поющий лес 816
Обычный день 836
Г. Прашкевич. О быстротекущем времени, о невозвратном времени... 854

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ ПРЕДЛАГАЕТ



ЛУЧШИЕ КНИЖНЫЕ СЕРИИ

СЕРИЯ "ЗВЕЗДНЫЙ ЛАБИРИНТ"

Лучшие произведения отечественных писателей-фантастов! Признанные мастера: Андрей Лазарчук, Евгений Лукин, Сергей Лукьяненко - и молодые, но не менее талантливые авторы: Владимир Васильев, Александр Громов и многие другие. Глубина мысли, захватывающий сюжет, искрометный юмор - все многообразие фантастики в новой серии нашего издательства.

Книги издательства АСТ можно заказать по адресу: 107140, Москва, а/я 140 АСТ – "Книги по почте".

Издательство высылает бесплатный каталог.

Издательская группа АСТ

Издательская группа АСТ, включающая в себя около **50 издательств** и редакционно-издательских объединений, предлагает вашему вниманию **более 20 000 названий книг** самых разных видов и жанров.

Мы выпускаем классические произведения и книги современных авторов.

В наших каталогах — интеллектуальная проза, детективы, фантастика, любовные романы, книги для детей и подростков, учебники, справочники, энциклопедии, альбомы по искусству, научно-познавательные и прикладные издания, а также широкий выбор канцтоваров.

В числе наших авторов мировые знаменитости:

Сидни Шелдон, Стивен Кинг, Даниэла Стил, Джудит Макнот, Бертрис Смолл, Джоанна Линдсей, Сандра Браун, создатели российских бестселлеров Борис Акунин, братья Вайнеры, Андрей Воронин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко, братья Стругацкие, Фридрих Незнанский, Виктор Суворов, Виктория Токарева, Эдуард Тополь, Владимир Шитов, Марина Юденич, Виктория Платова, Чингиз Абдуллаев; видные ученые деятели академик Мирзакарим Норбеков, психолог Александр Свияш, авторы книг из серии «Откровения ангелов-хранителей» Любовь Панова и Ренат Гарифзянов, а также любимые детские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Григорий Остер, Владимир Сутеев, Корней Чуковский.

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Справки по телефону:

(095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru http://www.ast.ru

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших **фирменных магазинах:**

Москва

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05
- м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 86, к. 1
- м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89
- м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 18, к.1
- м. «Кузьминки», Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
- м. «Павелецкая», ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97
- м. «Пушкинская», «Маяковская», ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84
- м. «Сокол», Ленинградский пр., д. 76, к. 1, Торговый комплекс «Метромаркет», 3-й этаж, тел. 781-40-76
- м. «Сокольники», ул. Стромынка, д. 14/1, тел. 268-14-55
- м. «Таганская», «Марксистская», Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, тел. 322-28-22
- Торговый комплекс «XL», Дмитровское шоссе, д. 89, тел. 783-97-08
- Торговый комплекс «Крокус-Сити», 65—66-й км МКАД, тел. 942-94-25

Регионы

- г. Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. (8182) 65-44-26
- г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 132а, тел. (0722) 31-48-39
- г. Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. (0112) 44-10-95
- г. Краснодар, ул. Красная, д. 29, тел. (8612) 62-55-48
- г. Курск, ул. Ленина, д. 11, тел. (0712) 22-39-70
- г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 1/16, тел. (8312) 33-79-80
- г. Новороссийск, сквер имени Чайковского, тел. (8612) 68-81-27
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. (3532) 41-18-05
- г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 15, тел. (88632) 35-99-00
- г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1 / Волжская наб., д. 107, тел. (0855) 52-47-26
- г. Рязань, ул. Почтовая, д. 62, тел. (0912) 20-55-81
- г. Самара, пр. Кирова, д. 301, тел. (8462) 56-49-92
- г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 4, тел. (0812) 65-53-58
- г. Тула, пр. Ленина, д. 18, тел. (0872) 36-29-22
- г. Череповец, Советский пр., д. 88а, тел. (8202) 53-61-22

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Справки по телефону:

(095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru http://www.ast.ru

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Колупаев Виктор Дмитриевич

Качели отшельника

Сборник

Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерный дизайн: А.С. Сергеев
Младший редактор Е.А. Лазарева

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — *книги, брошюры*

Гигиеническое заключение
№ 77.99.02.953.Д.008286.12.02 от 09.12.2002 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ЗАО НПП «Ермак»
115201, г. Москва, 2-й Котляковский проезд, д. 1, стр. 32

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Виктор Дмитриевич Колупаев (1936—1999) — автор поистине удивительный. Удивителен его творческий путь: спустя всего год после первой публикации («Билет в детство», 1969) он становится *профессиональным* писателем — явление, неординарное для советской литературы вообще, а уж для *фантастики* — тем более.

Удивительно его творчество — абсолютное большинство произведений Колупаева представляют собой «странную городскую прозу» или же — лиричную фэнтези. Жанры, мягко говоря, *нетипичные* для советской фантастической литературы.

В книгу, которую вы держите в руках, вошли повести и рассказы, демонстрирующие все МНОГООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ писателя. Как это всегда бывает с НАСТОЯЩИМИ вещами — их нельзя оценить однозначно. Кто-то восхитится отточенным стилем автора, кому-то придется по вкусу захватывающий сюжет, кого-то охватит лиричная грусть... Можно гарантировать лишь одно — отсутствие разочарования.

Найдите СВОЙ текст в этой книге. Выбор богат:

Толстяк над миром
Качели отшельника
Билет в детство
Самый большой дом
Зачем жил человек?
Капитан «Громовержца»



ISBN 5-17-019613-X